Тост безответный


Прошлое и настоящее



И. Северянин

Тост безответный

Стихотворения
Поэмы
Проза

Москва
Издательство "Республика"
1999

ББК 84Р1
С28

Составитель, автор предисловия
и комментариев
Е. Филькина

Северянин И.
С28 Тост безответный: Стихотворения. Поэмы. Проза / Сост., авт. предисл. и коммент. Е. Филькина. — М.: Республика, 1999. — 543 с. — (Прошлое и настоящее).

ISBN 5—250—02610—9

Настоящее издание — наиболее полное собрание произведений знаменитого русского поэта Игоря Северянина (1887—1941). В него вошли все изданные при жизни писателя сборники стихотворений и автобиографические романы в стихах. Читатели познакомятся с прозой И. Северянина — книгой "Уснувшие весны. Критика. Мемуары. Скитания". Мемуарные очерки о К. М. Фофанове, Ф. Сологубе, В. Я. Брюсове, других современниках, о начале своей литературной деятельности, жизни в Эстонии И. Северянин начал писать в 1923 году и в 1930-е годы объединил эти воспоминания в отдельную книгу.

Для широкого круга читателей.

ББК 84Р1

ISBN 5—250—02610—9

Предисловие

Игорь Северянин... При упоминании этого имени невольно всплывает в памяти знакомое с детских лет: "Я, гений Игорь Северянин...", или "Ананасы в шампанском", или "Мороженое из сирени", его скандальная слава и его эгофутуризм.

Долгое время о нем не вспоминали, считали салонно-будуарным поэтом, а его поэзию чуть ли не "второстепенной". Но современники А. А. Блок, В. Я. Брюсов, О. Э. Мандельштам, Ф. Сологуб и другие высоко ценили творчество Северянина, считая талантливым, истинным поэтом. "Поэтом с открытой душой" называл его А. А. Блок.

Игорь Васильевич Лотарев — таково настоящее имя Игоря Северянина — родился 4(16) мая 1887 г. в Петербурге в семье военного инженера штабс-капитана Василия Петровича Лотарева. Его мать — Наталия Сергеевна — из дворянского рода Шеншиных. От первого брака с Г. И. Домонтовичем у нее была дочь Зоя (умерла в 1907 г.), которую Северянин нежно любил. Детские годы поэт провел в Петербурге, а в 1896 г., когда родители расстались, переехал вместе с отцом в Череповецкий уезд Новгородской губернии, где жили сестра и брат отца.

Учился Северянин в Череповецком реальном училище, но не закончил его. В 1903 г. отец уехал на Квантун и взял с собой сына. Но поездка на Дальний Восток для Северянина оказалась недолгой, вскоре (в декабре 1903 г.) он вернулся в Петербург и поселился с матерью в Гатчине. Свои детские и отроческие годы Северянин описал в автобиографической поэме в стихах "Роса оранжевого часа" (1925).

Начало своей литературной деятельности поэт относил к 1905 г.: 1 февраля в журнале "Досуг и дело" было опубликовано его стихотворение "Гибель Рюрика", подписанное "Игорь Лотарев". Позднее именно эту дату он отмечал как начало литературного пути, хотя писать и печатать стихи в виде отдельных брошюрок начал значительно раньше.

Первые опубликованные стихи подписаны настоящей фамилией, а с 1905 г. появляется псевдоним "Игорь-Северянин", именно так, через дефис, подписывал поэт свои произведения, подчеркивая этим связь с любимым им севером России.

Своеобразный язык Игоря Северянина, манера письма складывались постепенно. В ранних произведениях слышны надсоновские и апухтинские мотивы, стихи 1904—1905 гг., включенные в первые брошюры, еще лишены индивидуальности, носят явно подражательный характер; стихи 1907—1908 гг. написаны под влиянием поэзии К. М. Фофанова, одного из поэтических кумиров Северянина, и только в брошюре "Интуитивные краски" (1909) появляются первые неологизмы.

Брошюры выходили небольшими тиражами — по 100 экземпляров, все за счет автора, и, в основном, рассылались по редакциям "для отзывов", которых, к сожалению Северянина, не было: стихи не воспринимались всерьез и лишь вызывали улыбки. С 1904 по 1912 год поэтом было выпущено 35 брошюр.

Первым его заметил К. М. Фофанов, с которым Игорь Северянин познакомился 20 ноября 1907 года. Эту встречу Северянин

описал в автобиографическом романе "Падучая стремнина" (1922).

К. М. Фофанов не только оценил творчество молодого поэта, но и помог ему познакомиться с редакторами и издателями. Один из современников вспоминал: "Однажды Фофанов пришел в редакцию в сопровождении молодого, стройного, симпатичного человека, безбородого и безусого, держащегося со светской выправкой, скромно и спокойно...

— Познакомьтесь: Игорь Северянин. Поэт. Очень талантливый, очень талантливый, — заговорил своей нервной заикающейся скороговоркой Фофанов. ...Огромный и прекрасный талант, Фофанов был щедр на признание дарований в начинающих... Игорь Северянин платил ему явным обожанием". И действительно, Северянин нежно любил Фофанова, посвятил ему много стихотворений, отмечал годовщину их первой встречи и написал очень трогательное стихотворение на смерть поэта "Над гробом Фофанова" (сб. "Громокипящий кубок").

Северянин неоднократно повторял, что его учителя и любимые поэты — Мирра Лохвицкая и К. М. Фофанов. В одном из писем он писал: "Боготворю Мирру Лохвицкую, считая ее величайшей мировой поэтессой. Затем: я очень люблю Фофанова и Бодлера".

Но, несмотря на признание Фофановым поэтического дарования Северянина, редакторы не спешили печатать его стихи. Молчала и пресса.

На недостаток внимания начинающий поэт мог пожаловаться только до 1910 г. В тот год писатель И. Ф. Наживин отвез одну из брошюр Северянина — "Интуитивные краски" в Ясную Поляну и прочитал Л. Н. Толстому. Лев Николаевич сперва посмеялся, а затем как будто бы сказал: "Чем занимаются!.. Чем занимаются... Это литература! Вокруг виселицы, полчища безработных, убийства, невероятное пьянство, а у них "упругость пробки". Это стало известно московской прессе. С. Яблоновский написал фельетон, "всероссийская пресса подняла вой и дикое улюлюканье" и сразу сделала Игоря Северянина известным на всю страну: его стали ругать все кому не лень. Таков пролог "двусмысленной славы" певца сирени и весны. И, надо сказать, сам поэт явно способствовал этому. Не говоря уже о необычных словообразованиях, "салонно-будуарной", как ее часто называла критика, тематике стихов, внимание привлекали и заголовки, и оформление брошюр. Например: "Электрические стихи. Апофеозная тетрадь третьего тома". Внизу: "Столица на Неве. 1912. Предвесенье" — так обозначались место и год издания. На обложках печатались анонсы: "Начинающих поэтесс и поэтов, так часто обращающихся ко мне за советами, я с удовольствием принимаю по воскресеньям от —— до ——"; "Устроители концертов и читатели принимаются мною по пятницам от —— до ——"; "Интервьюеры могут слышать меня по субботам от —— до ——" и так далее.

Ш. Бодлер говорил, что удивление есть первый и существенный момент в восприятии художественных произведений. Стихи Игоря Северянина могли поразить, возмутить, рассердить, но на них обращали внимание: Северянина узнали, запомнили, им заинтересовались. К тому же далеко не все стихотворения в брошюрах — "новаторские". А. Измайлов считал, что в брошюрах были сердечные, нежные песни, — чудачества заслоняли их, и их не замечали. В "Интуитивных красках", например, — 15 стихотворений, но цитировали именно "Хабанеру II", которую раскритиковал Л. Н. Толстой.

В конце 1911 г. Северянин создал свою литературную "Интуитивную школу", "Вселенский Эго-футуризм", возвестив о ней изданием брошюры "Пролог Эго-футуризма". Была организована "Академия Эго-поэзии", выпустившая манифест Вселенского Эго-футуризма "Скрижали Эго-поэзии". По существу, это довольно наивная философия индивидуализма и эгоцентризма. Впоследствии поэт гордился, что его эгофутуризм зародился на несколько месяцев раньше, чем кубофутуризм москвичей (Д. Д. Бурлюка, В. В. Маяковского, А. Е. Крученых и др.). У Северянина появились последователи, ученики, он стал

признанным главой эгофутуристов, "мэтром", как он сам себя считал, но быстро охладел к своему детищу и уже в октябре 1912 г. в брошюре "Эпилог Эго-футуризма" заявил, что считает миссию эгофутуризма выполненной:

Я выполнил свою задачу,
Литературу покорив.

Тогда же он написал: "Я желаю быть одиноким, считаю себя только поэтом, и поэтому я солнечно рад". И действительно, больше он не примыкал ни к какой поэтической группировке. Но в сознании читателей он на долгие годы остался эгофутуристом со своими эгофутуристическими "эксцессами".

1911 год был удачным для поэта. Во втором номере журнала "Русская мысль" появилась статья В. Я. Брюсова с положительной оценкой стихов брошюры "Электрические стихи". Этот отзыв наверняка должна была заметить писательская среда. В том же году В. Я. Брюсов, лично не знакомый с Северяниным, прислал ему приветливое письмо и свои книги в подарок. Он же посоветовал Северянину подготовить к печати "большой" сборник стихотворений и устроил первое публичное выступление поэта в Москве в "Обществе свободной эстетики". "Заметил" Северянина и А. А. Блок. В конце того же 1911 года, также не будучи лично знакомым с начинающим поэтом, А. А. Блок прислал ему в подарок только что вышедший из печати сборник стихотворений "Ночные часы" с дарственной надписью: "Поэту — с открытой душой".

Третьим поэтом, после К. М. Фофанова и В. Я. Брюсова, сыгравшим большую роль в становлении Игоря Северянина как поэта, его признании и росте популярности, был Ф. Сологуб. В 1912 году в своем литературном салоне он представил петербургскому литературному миру Северянина и взял его с собой в гастрольную поездку. В 1913 году Сологуб написал трогательное, нежное предисловие к "Громокипящему кубку", первому сборнику стихотворений молодого поэта, что несомненно сыграло положительную роль в успехе книги. "Люблю стихи Игоря Северянина. Пусть мне говорят, что в них то или другое неверно с правилами пиитики, раздражает и дразнит, — что мне до этого! Стихи могут быть лучше или хуже, но самое значительное то, что они мне понравились", — писал Ф. Сологуб, веря в успех книги. А успех был ошеломляющий! "Громокипящий кубок" вышел в свет в 1913 году и за первые два года был издан семь раз, а за шесть лет выдержал 10 изданий. Высокую оценку получил этот сборник и у А. А. Блока и у В. Я. Брюсова, который назвал его "книгой истинной поэзии". В декабре 1913 года состоялся первый "поэзовечер" Северянина в зале Тенишевского училища. Позднее, в 1939 году поэт подсчитал, что всего за пять лет, с 1913 по 1918 год, он выступил около 130 раз, из них в Петербурге — 55, в Москве — 26, в Харькове — 10, в Тифлисе — 4 и во многих других городах.

Во второй половине 1913 года произошло некоторое сближение Северянина с кубофутуристами, — 29 ноября он с В. В. Маяковским и А. Е. Крученых выступал в зале "Соляного городка", а в конце 1913 — начале 1914 года совершил с В. В. Маяковским и Д. Д. Бурлюком турне по югу России — Симферополь, Севастополь, Керчь.

В Керчи Северянин прервал свою гастрольную поездку и вернулся в Петербург. Причиной своего внезапного возвращения он называл эпатирующий эксцентризм кубофутуристов, которые обещали Северянину выступать в "обычных" одеждах, но не сдержали слова. Возможно, это было и так, а возможно, все было иначе: оба — и Северянин, и Маяковский — были молоды, оба увлечены одной девушкой... Так или иначе, с кубофутуристами произошел разрыв, они продолжили турне, а Северянин организовал свои новые гастроли совместно с критиком Виктором Ховиным и С. С. Шамардиной, которая читала стихи поэта, выступая под экзотическим псевдонимом Эсклармонда Орлеанская.

Слава Северянина росла. Он был одним из первых поэтов, кто стал читать свои стихи перед большой аудиторией. Еще в 1910 году он писал:

Позовите меня,
Я прочту вам себя,
Я прочту вам себя,
Как никто не прочтет.

Чтением своих стихов он буквально завораживал публику. И те, кто еще два года назад осмеивали и освистывали поэта, теперь с восторгом принимали. На концерты было невозможно попасть, число поклонников росло с каждым днем. Зрителей увлекали и необычные слова *озерзамки, грёзерки*, и манера исполнения стихов. Надев маску "эстета-гения", всегда в черном строгом сюртуке, всегда с цветком в петлице невозмутимый и, якобы равнодушный к славе, нараспев читал, почти пел он свои стихи:

Элегантная коляска, в электрическом биеньи
Эластично шелестела по шоссейному песку.
(*"Июльский полдень"*)

Закончив чтение, удалялся: ни поклона, ни взгляда, ни улыбки публике. А публика неистовствовала, загипнотизированная его "пением".

К. И. Чуковский в своих знаменитых статьях о футуризме (1914) после критической оценки творчества Северянина не мог не отметить: "Все, что увидит или почувствует [Северянин. — *Е. Ф.*], у него претворяется в музыку, и даже эти коляски, кабриолеты, кареты, — ведь каждая в его стихе звучит по-своему, имеет свой собственный ритм, свой собственный стихотворный напев..."

На стихи Северянина писали музыку С. В. Рахманинов и М. Якобсон, О. Строк и А. Н. Вертинский. Всего было написано более 30 романсов. В 1930-е годы С. С. Прокофьев высказывал мнение, что у Северянина имелись "начатки" композиторского дарования, а в его стихах "присутствует контрапункт". Особенно восхищался он стихотворением "Квадрат квадратов".

В 1914 г. был издан второй сборник стихотворений Северянина "Златолира" (выдержал 7 изданий), в 1915 г. — "Ананасы в шампанском" (5 изданий), в 1916 г. — "Victoria Regia" (4 издания), затем "Поэзоантракт" и "Тост безответный" (соответственно — 2 и 1 издания). Сборники были встречены критикой довольно прохладно: автора обвиняли в повторах, отсутствии вкуса, слащавости. Частично это объяснялось тем, что Северянин включил во второй и третий сборники свои юношеские стихи, написанные еще в 1903—1910 гг. Особенно обидела Северянина рецензия В. Я. Брюсова на "Златолиру", в которой он отмечал в стихах Северянина налет пошлости, отсутствие вкуса. Интересно, что стихам Игоря Северянина уделялось критикой такое внимание, что в 1916 г. был издан целый сборник статей о творчестве поэта, чего удостаивался далеко не каждый.

Но несмотря на обилие критических статей, число поклонников Северянина не уменьшалось. И как апофеоз его славы — выборы "короля поэтов". Еще в 1908 г. Северянин писал:

Я коронуюсь утром мая
Под юным солнечным лучом,
Весна, пришедшая из рая,
Чело украсит мне венцом.
(*"Сонет"*)

А в 1918 г. его предсказания сбылись. 27 февраля на празднике поэтов в Политехническом музее Игорь Северянин "путем прямого и тайного" голосования был избран "королем поэтов". Второе место занял В. В. Маяковский, третье — К. Д. Бальмонт.

После выборов вышел сборник "Поэзоконцерт" (1918), обложка которого была украшена фотографией Северянина, его автографом и новым титулом.

Отныне плащ мой фиолетов,
Берета бархат в серебре:
Я выбран королем поэтов
На зависть нудной мошкаре.
(*"Рескрипт короля"*)

Надо сказать, что к своему титулу Северянин относился довольно серьезно и не раз использовал его во время выступлений в первые годы жизни в Эстонии.

И еще раз перед долгим замалчиванием имя Игоря Северянина появится в сборнике "Стихи 1918" (М.; Одесса, 1919) рядом с А. А. Ахматовой, А. А. Блоком, И. А. Буниным.

В марте 1918 г. Игорь Северянин навсегда покинул Россию, поселившись в Тойле, небольшом рыбацком поселке на берегу

Финского залива. Северянину поселок был известен давно. Впервые он посетил его в 1912 г. В 1913 и 1914 гг. в Тойле снимал дачу Ф. Сологуб, и Северянин часто навещал его, а в 1914 г. он и сам впервые провел там два месяца, снимая дачу; там же он жил и летом 1915 г.

28 января 1918 г. Северянин перевез в Тойлу больную мать и гражданскую жену М. В. Домбровскую (именно эту дату он впоследствии будет называть началом жизни в Эстонии). Скорее всего поэт собирался просто "отсидеться" в тихом рыбацком поселке Эстляндской губернии, переждать продовольственные и другие "трудности". В "Заметках о Маяковском" он писал, что собирался к осени 1918 г. вернуться в Петроград.

Переехав с семьей в Тойлу, Северянин еще не один раз возвращается в Петроград и Москву и лишь в марте 1918 г. окончательно перебирается на берег Финского залива. Но в этом же месяце Эстония была оккупирована немцами, а в 1920 г. провозглашена Эстонская республика.

Игорь Северянин становится эмигрантом. Хотя сам он не считал себя таковым и в 1930 г. в беседе с полпредом Ф. Ф. Раскольниковым сказал: "... я не эмигрант и не беженец. Я просто дачник. С 1918 г.". Он и чувствовал себя дачником в маленькой, уютной, "ёловой" Тойле с ее 76 озерами, красивыми лесами, тишиной и покоем; много рыбачил (Северянин был заядлым рыбаком), бродил по окрестностям.

Поэт довольно быстро включился в литературную жизнь Эстонии. Первое его выступление состоялось 22 марта 1919 года в Таллине, за ним последовали другие. В первые годы жизни в Эстонии Северянин активно публикуется в русскоязычных газетах: "Последние известия" (Таллин), "Сегодня" (Рига), "За свободу!" (Варшава) и др. В 1919 — 1923 годах одна за другой выходят 9 его книг: "Crème des Violettes" (1919), "Pühajõgi. Эстляндские поэзы" (1919), "Вервэна. Поэзы. 1918—1919" (1920), "Менестрель. Новейшие поэзы" (1921), "Миррэлия. Новые поэзы" (1922) и др. В 1919 году Северянин занялся переводами эстонских поэтов — переведенный им сборник стихотворений Х. Виснапу "Amores" был издан в 1921—1922 годах в Москве. Всего им издано 6 сборников переводов эстонских поэтов.

В 1921 году он впервые выезжает за пределы Эстонии и выступает в Латвии и Литве. Год был насыщен и личными событиями: умерла мать Наталия Сергеевна Шеншина, в том же году он принял эстонское гражданство, а в декабре женился на молодой эстонской поэтессе Фелиссе Михайловне Круут, которая в течение 14 лет была верной спутницей поэта и помощницей в переводе эстонской поэзии (Северянин, прожив 23 года в Эстонии, так и не выучил эстонского языка). Неоднократно они вместе выступали на концертах. Сценическое имя жены Игоря Северянина — Ариадна Изумрудная. В 1922 году у них родился сын Вакх.

В первой половине двадцатых годов поэт много гастролировал: 1922 г. — Берлин, 1923 г. — Финляндия, 1924 г. — Германия, Латвия, Польша, 1925 г. — Германия, Латвия, Чехия и др. В 1922 году в Берлине произошла знаменательная встреча Игоря Северянина с В. В. Маяковским, которой они оба были рады. Северянин присутствовал на всех выступлениях В. В. Маяковского, и дважды они выступали вместе: в болгарском студенческом землячестве и в советском посольстве в день пятой годовщины советской власти. В посольстве Северянин читал "Весенний день", "Восторгаюсь тобой, молодежь" и был принят очень тепло. В. Маяковский и А. Б. Кусиков помогли Северянину продать его книги в издательстве "Накануне". В. В. Маяковский уговаривал вернуться на родину. Поэт и сам думал о возвращении, позднее он вспоминал: "В Берлине я, уговариваемый друзьями, хотел, не заезжая в Эстонию, вернуться в СССР. Но Ф. М. ни за что не соглашалась, хотя вся ее семья была крайне левых взглядов". Кроме того, в Тойле его ждал маленький сын, возможно, было страшно нарушать налаженную жизнь... А налаженная жизнь вскоре начала рушиться. Северянин терял своего читателя. Эмигранты его не очень-то жаловали: поэт неоднократно подчеркивал, что он "вне политики", вел

себя независимо, не желал примыкать ни к каким политическим группировкам, выступать против Советской России. В его стихотворениях порой проскальзывали насмешки над русскими эмигрантами в Эстонии:

В этой маленькой русской колонии,
Здесь спасающей от беззакония
Свои бренные дух и тела,
Интересы такие мизерные,
Чувства подленькие, лицемерные,
Ищут все лишь еды и тепла.

(*"Поэза для беженцев", 1919*)

Очевидно, что такое отношение не могло способствовать его популярности в русскоязычной эмигрантской среде маленькой Тойлы. Такое не прощалось.

Жили они с Фелиссой Михайловной очень уединенно, почти ни с кем не общаясь, много времени проводя на рыбалке. "... Всю весну, лето, осень неизменно ужу рыбу! Это такое ни с чем не сравнимое наслаждение! Природа, тишина, благость, стихи, форель!" — писал он в одном из писем. К тому времени у Северянина изменились и тематика стихов, и их стиль. Время "ананасов в шампанском" прошло. Стихи становятся проще, лиричнее, пропадают столь характерные для раннего Северянина смелые неологизмы, новаторские словообразования, значительно реже звучат иронические нотки, много стихотворений посвящено природе любимой Тойлы. Изменилась и манера исполнения стихов: он перестал их петь, стал читать строже, значительно проще. В 1922—1925 годах Северянин пишет три книги в довольно редком жанре — автобиографические романы в стихах: "Падучая стремнина" (1922), "Роса оранжевого часа" (1925), "Колокола собора чувств" (1925). В них нет замысловатых неологизмов, экстравагантных сюжетов. Все чаще в его творчестве звучит тоска по Родине, мечта о возвращении домой. Еще в сентябре 1920 года в стихотворении "С утесов Эстии" он писал:

Я говорю себе: исходит срок,
Когда скажу я Эстии: "Прости, —
Весенний луч высушивает лужу,
Пора домой. Сестра моя, расти".

(*Сборник* "Фея Eiole")

В 1922—1923 гг. он получил два письма от А. М. Коллонтай, советского посла, своей троюродной сестры, которая, прочитав его автобиографический роман "Падучая стремнина", писала: "Мы с Вами, Игорь, очень разные сейчас. Подход к истории — у нас — иной, противоположный, в мировоззрении нет созвучия у нас! Но в восприятии жизни — есть много общего... Я люблю Ваше творчество, но мне бы ужасно хотелось показать Вам еще одну грань жизни — свет и тени неизмеримых высот, того бега в будущее, куда Революция — эта великая мятежница — завлекла человечество".

Северянин ответил стихотворением, которое заканчивалось такими словами:

Спасибо, дорогая Шура,
Я рад глубокому письму.
Изысканна его структура,
А я ль изысков не пойму?
Все, все, что тонко и глубоко
Моею впитано душой —
Я вижу жизнь не однобоко
Вы правы: я Вам не чужой!

(*"Кузине Шуре", 1923*)

В том же 1923 г. он писал о своей возможной поездке в Россию осенью, но поездка не состоялась. В середине 1920-х гг. Северянин создал целый цикл стихов о России, о Москве, которые вошли впоследствии в сборник "Классические розы" (1931).

И будет вскоре весенний день,
И мы поедем домой в Россию.
Ты шляпу шелковую надень:
Ты в ней особенно красива.

(*"И будет вскоре...", 1923*)

И действительно он верил, что когда-либо он вернется "домой", но опасался, что ему не дадут визы, не будет возможности выступать и печататься в СССР, считал, что Советской России не нужны "лирики", а политикой он заниматься не желал.

С 1923 г. жизнь Северянина в Тойле начала меняться, все труднее стало находить литературный заработок, все чаще газеты не хотели печатать его стихи, а издатели публиковать уже готовые сборники. Так, в 1923 г. Северянину не удалось организовать ни одного поэтического вечера ни в Юрьеве, ни в Ревеле, "вернулся обескураженный людской черствостью и отчуж-

денностью". Вечер же, состоявшийся в Везенберге в октябре 1923 г., дал 1500 марок убытку. А это означало безденежье, а порой и просто нищету. Именно с этого года начала материально поддерживать Северянина его верный друг и поклонница его таланта Августа Дмитриевна Баранова (1891—1975), жившая в те годы в Швеции. Поэт познакомился с ней еще в Москве, очевидно, в 1916 г., в этот же год он посвятил ей стихотворение "Поэза странностей жизни" ("Миррэлия", 1922).

Периоды безденежья перемежались с периодами взлетов, успеха, славы. Очень удачно прошли гастроли в 1924 г., в 1925 г. возобновилась его работа во многих издательствах, редакциях газет и журналов, выходят в свет два автобиографических романа "Роса оранжевого часа" (1925) и "Колокола собора чувств" (1925). Но в декабре 1925 г. в письме снова звучат грустные слова: "... В столе много рукописей для издания, в горле — голоса для эстрады, в груди — вдохновения для творчества. И все тщетно, ибо ничего никому в это гнусное реалистическое время не нужно".

С 1925 по 1931 год не вышло ни одного сборника стихотворений Игоря Северянина. Редки были публичные выступления.

За услуги по переводу и пропаганде эстонской поэзии иногда ему выделяли субсидии из государственного фонда. Но денег явно не хватало, жилось трудно, иногда приходилось питаться только хлебом и картошкой. В 1926 г. Северянину оказывал помощь С. В. Рахманинов.

В 1930—1931 гг. состоялись гастроли Северянина в Югославии, Болгарии, Чехословакии с многочисленными выступлениями, шумным успехом. Два концерта дал Северянин и в Париже. На втором из них, состоявшемся 27 февраля 1931 г., присутствовала М. И. Цветаева. Находясь под большим впечатлением от вечера, М. И. Цветаева даже написала Северянину письмо: "Вы выросли, Вы стали простым, Вы стали поэтом больших линий и больших вещей, Вы открыли то, что отродясь Вам было приоткрыто — природу, Вы, наконец, раз-нарядили ее..." Но Северянин этого письма не получил: в Париже он не задержался, и письмо не было отправлено.

Хотя гастроли, по выражению Северянина, прошли "блестяще", дохода они принесли немного. Поэту по-прежнему не удавалось найти издателей для своих книг, редакции газет неохотно брали его стихотворения. Русская колония, считал он, "мстила" ему за былую независимость и насмешки, и теперь уже с грустью отмечал, что "русская колония в Эстонии отличается какой-то совершенно особой неотзывчивостью и бессердечием". Правда, и в эти годы Игорь Северянин не стремился к сближению с ней.

В 1932 г. поэт за свой счет издал сборник стихов "Адриатика", написанных под впечатлением от поездки на Балканы. И сам же распространял его, рассылая знакомым для продажи.

В марте 1933 г. Северянин предпринял полуторагодичную поездку по Югославии, Бессарабии, Румынии, Болгарии, где выступал с лекциями и концертами. Лишь в июле 1934 г. вернулся в Тойлу. Это были последние гастроли поэта. А в 1935 г. выходит последняя книга Северянина "Рояль Леандра". Его основной литературной работой становятся переводы эстонских поэтов (М. Ундер. Предцветье. Таллин, 1937; А. Раннит. В оконном переплете. Таллин, 1938; Г. Виснапу. Полевая фиалка. Таллин, 1939; А. Раннит. Via dolorosa. Стокгольм, 1940).

Особенно ухудшается материальное положение Северянина к 1936 г. В 1935 году он расстался с Ф. Круут и переехал с Верой Борисовной Коренди в Таллин. Здесь они жили только на зарплату В. Б. Коренди. Всплеск интереса к его творчеству вызвало 50-летие поэта в 1937 г. Удалось организовать несколько вечеров, правительство Эстонии назначило ему пожизненную пенсию в 8 долларов. Вынужденная жизнь в городе (В. Б. Коренди работала учительницей) для антиурбаниста Северянина была очень тяжела: он рвался за город, к столь им любимым рекам. В последние годы жизни поэт неоднократно менял место жительства: в 1937 г. они переехали в деревушку Саркуль, затем Усть-Нарва — изящный го-

родок, который очень нравился поэту. Но средств к существованию не было, и опять смена места жительства — сырой, ненавистный Северянину Пайде, где В. Б. Коренди смогла получить место учительницы. Но заработка не хватало, и, чтобы иметь дополнительные средства к существованию, ей приходилось распространять книги Северянина: она ходила по домам, предлагая старые сборники стихотворений поэта. Порой и самому Северянину приходилось ходить по гостиницам, предлагая заезжим знаменитостям свои книги с автографами. Об этом вспоминал М. А. Чехов. Северянин часто болел, климат Пайде не подходил для его здоровья, но денег не было даже на лекарства.

В начале 1940 г., накануне 35-летнего юбилея творческой деятельности, в статье "Игорь Северянин беседует с Игорем Лотаревым о своем 35-летнем юбилее", поэт с горечью писал: "Вы теперь что-нибудь пишете?" — спрашиваю я, стараясь переменить тему. "Почти ничего: я слишком ценю поэзию и свое имя, чтобы позволить новым стихам залеживаться в письменном столе [...] Издателей на настоящие стихи теперь нет. Нет на них и читателя. Я пишу стихи, не записывая их, и почти всегда забываю".

Но все же Северянин не был забыт. В марте, в Таллине, в помещении клуба Черноголовых был торжественно отмечен его литературный юбилей. Артисты читали стихи юбиляра и пели романсы на его слова, и почти два часа поэт читал стихи из сборника "Классические розы".

1940 г. был годом надежд для Северянина: Эстония была присоединена к СССР, поэт приветствовал это событие, воскресли надежды вернуться к литературной работе. Началась переписка с Москвой и Ленинградом. Северянин посылал туда свои стихи, некоторые из них были напечатаны в журналах "Красная новь" и "Огонек". Он подготовил и послал своему давнему другу Г. А. Шенгели сборник последних стихов. В ответ Г. А. Шенгели писал: "Я не мог не порадоваться, читая Ваши стихи. Прежняя певучесть, сила, прежняя "снайперская" меткость эпитета. Какой Вы прекрасный поэт, Игорь Васильевич. И я больше чем уверен, что Вы еще направите "колесницу Феба зажечь стопламенный закат"! Вспомните Тютчева, который лучшие стихи написал под старость, а Вам до старости далеко: 53 года всего..." К сожалению, этот сборник стихотворений не был напечатан (возможно, помешала начавшаяся война). Несмотря на болезнь (у Северянина было больное сердце), он был полон творческих планов, думал о скором возвращении на родину.

Но вернуться он не успел: Эстонию оккупировала гитлеровская Германия, а эвакуироваться Северянин не сумел.

Умер поэт 20 декабря 1941 г., похоронен на Александро-Невском кладбище в Таллине. На его могиле стоит плита с высеченным на ней двустишием из сборника "Классические розы":

Как хороши, как свежи будут розы,
Моей страной мне брошенные в гроб!

Е. Филькина

Стихотворения

Громокипящий кубок

Ты скажешь: ветреная Геба,
Кормя Зевесова орла,
Громокипящий кубок с неба,
Смеясь, на землю пролила.

Ф. Тютчев

I. Сирень моей весны

Очам твоей души

Очам твоей души — молитвы и печали,
Моя болезнь, мой страх, плач совести моей;
И все, что здесь в конце, и все, что здесь
в начале, —
Очам души твоей...

Очам души твоей — сиренью упоенье
И литургия — гимн жасминовым ночам;
Все — все, что дорого, что будит вдохновенье, —
Души твоей очам!

Твоей души очам — видений страшных
клиры...
Казни меня! пытай! замучай! задуши! —
Но ты должна принять!.. И плач, и хохот
лиры —
Очам твоей души!..

Мыза "Ивановка".
1909. Июнь

Солнце и море

Море любит солнце, солнце любит море...
Волны заласкают ясное светило
И, любя, утопят, как мечту в амфоре;
А проснешься утром, — солнце засветило!

Солнце оправдает, солнце не осудит,
Любящее море вновь в него поверит...
Это вечно было, это вечно будет,
Только силы солнца море не измерит!..

1910. Август

Весенний день

Дорогому К. М. Фофанову

Весенний день горяч и золот, —
Весь город солнцем ослеплен!
Я снова — я: я снова молод!
Я снова весел и влюблен!

Душа поет и рвется в поле,
Я всех чужих зову на "ты"...
Какой простор! какая воля!
Какие песни и цветы!

Скорей бы — в бричке по ухабам!
Скорей бы — в юные луга!
Смотреть в лицо румяным бабам,
Как друга, целовать врага!

Шумите, вешние дубравы!
Расти, трава! цвети, сирень!
Виновных нет: все люди правы
В такой благословенный день!

1911. Апрель

В грехе — забвенье

Ты — женщина, и этим ты права.

Валерий Брюсов

Вся радость — в прошлом, в таком далеком
и безвозвратном,
А в настоящем — благополучье
и безнадежность.

Устало сердце и смутно жаждет, в огне
закатном,
Любви и страсти; — его пленяет
неосторожность...

Устало сердце от узких рамок благополучья,
Оно в уныньи, оно в оковах, оно в томленьи...
Отчаясь грезить, отчаясь верить, в немом
безлучьи.
Оно трепещет такою скорбью, все в гипсе лени...

А жизнь чарует и соблазняет, и переменой
Всего уклада семейных будней влечет куда-то!
В смущеньи сердце: оно боится своей изменой
Благополучье свое нарушить в часы заката.

Ему подвластны и верность другу,
и материнство,
Оно боится оставить близких, как жалких
сирот...
Но одиноко его биенье, и нет единства...
А жизнь проходит, и склеп холодный,
быть может, вырыт...

О, сердце! сердце! твое спасенье —
в твоем безумьи!
Гореть и биться пока ты можешь —
гори и бейся!
Греши отважней! — пусть добродетель —
уделом мумий!
В грехе забвенье! а там — хоть пуля,
а там — хоть рельсы!

Ведь ты любимо, больное сердце!
ведь ты любимо!
Люби ответно! люби приветно! люби бездумно!
И будь спокойно: живя, ты — право!
сомненья, мимо!
Ликуй же, сердце: еще ты юно! И бейся шумно!

1911

В березовом котэдже

На северной форелевой реке
Живете вы в березовом котэдже.
Как Богомать великого Корреджи,
Вы благостны. В сребристом парике
Стряхает пыль с рельефов гобелена
Дворецкий ваш. Вы грезите, Мадлена,
Со страусовым веером в руке.

Ваш хрупкий сын одиннадцати лет
Пьет молоко на мраморной террасе;
Он в землянике нос себе раскрасил;
Как пошло вам. Вы кутаетесь в плэд

И, с отвращеньем, хмуря чернобровье,
Раздражена, теряя хладнокровье,
Вдруг видите брильянтовый браслет,
Как бракоцепь, повиснувший на кисти
Своей руки: вам скоро... много лет,
Вы замужем, вы мать... Вся радость —
в прошлом,
И будущее кажется вам пошлым...
Чего же ждать? Но — морфий или выстрел?..

Спасенье — в безумьи! Загорись,
Люби меня, дающего былое,
Жена и мать! Коли себя иглою,
Проснись любить! Смелее в свой каприз!
Безгрешен грех — пожатие руки
Тому, кто даст и молодость, и негу...
Мои следы к тебе одной по снегу
На берега форелевой реки!

1911. Август

Berceuse осенний

День алосиз. Лимонолистный лес
Драприт стволы в туманную тунику.
Я в глушь иду, под осени berceuse,
Беру грибы и горькую бруснику.

Кто мне сказал, что у меня есть муж
И трижды овесененный ребенок?..
Ведь это вздор! ведь это просто чушь!
Ложусь в траву, теряя пять гребенок...

Поет душа, под осени berceuse,
Надежно ждет и сладко-больно верит,
Что он придет, галантный мой Эксцесс,
Меня возьмет и девственно озверит.

И утолив мой алчущий инстинкт,
Вернет меня к моей бесцельной яви,
Оставив мне незримый гиацинт,
Святее верб и хризантем лукавей...

Иду, иду, под осени berceuse,
Не находя нигде от грезы места.
Мне хочется, чтоб сгинул, чтоб исчез
Тот дом, где я — замужняя невеста!..

1912. Февраль

Элементарная соната

О, милая, как я печалюсь! о, милая, как я тоскую!
Мне хочется тебя увидеть — печальную
и голубую...

Мне хочется тебя услышать, печальная
и голубая,
Мне хочется тебя коснуться, любимая
и дорогая!

Я чувствую, как угасаю, и близится
мое молчанье;
Я чувствую, что скоро — скоро окончится
мое страданье...

Но, Господи! с какою скорбью забуду я свое
мученье!
Но, Господи! с какою болью познаю я свое
забвенье!

Мне кажется, гораздо лучше надеяться, хоть
безнадежно,
Чем мертвому, в немом безгрезье, покоиться
бесстрастно-нежно...

О, призраки надежды — странной —
и сладостной, и страстно — больной,
О, светлые, не покидайте мечтателя с душою
знойной!

Не надо же тебя мне видеть, любимая
и дорогая...
Не надо же тебя мне слышать, печальная
и голубая...

Ах, встречею боюсь рассеять желанное свое
страданье,
Увидимся — оно исчезнет: чудесное — лишь
в ожиданьи...

Но все-таки свиданье лучше, чем вечное к нему
стремленье,
Но все-таки биенье мига прекраснее веков
забвенья!..

1911. Октябрь

Идиллия

Милый мой, иди на ловлю
Стерлядей, оставь соху...
Как наловишь, приготовлю
Переливную уху.

Утомился ты на пашне, —
Чай, и сам развлечься рад.
День сегодня — как вчерашний,
Новый день — как день назад.

Захвати с собою лесы,
Червяков и поплавки
И ступай за мыс, на плесы
Замечтавшейся реки.

Разведи костер у борозд,
Где ковровые поля;
Пусть потрескивает хворост,
Согревается земля...

А наловишь стерлядей ты
И противно-узких щук,
Поцелуй головку флейты, —
И польется нежный звук.

Засмеясь, я брошу кровлю
И, волнуясь и спеша,
Прибегу к тебе на ловлю,
Так прерывисто дыша.

Ты покажешь мне добычу
(У меня ведь ты хвастун!),
Скажешь мне: "Давно я кличу!" —
И обнимешь, счастьем юн.

И пока, змеяся гибкой,
Стройной тальей у костра,
Ужин лажу, — ты с улыбкой
(А улыбка так остра!)

Привлечешь меня, сжигая,
Точно ветку — огонек,
И прошепчешь: "Дорогая!" —
Весь — желанье, весь — намек...

Мыза "Ивановка".
1909. Май

Это все для ребенка

О, моя дорогая! ведь теперь еще осень,
ведь теперь еще осень...
А увидеться с Вами я мечтаю весною,
бирюзовой весною.
Что ответить мне сердцу, безутешному сердцу,
если сердце вдруг спросит.
Если сердце простонет: "Грезишь мраком
зеленым, грезишь глушью лесною".
До весны мы в разлуке. Повидаться не можем.
Повидаться нельзя нам.
Разве только случайно. Разве только в театре.
Разве только в концерте.
Да и то бессловесно. Да и то беспоклонно.
Но зато — осиянным
И брильянтовым взором обменяться успеем...
— как и словом в конверте...

Вы всегда под охраной. Вы всегда под надзором.
Вы всегда под опекой.
Это все для ребенка... Это все для ребенка...
Это все для ребенка...
Я в Вас вижу подругу. Я в Вас женщину вижу.
Вижу в Вас человека.
И мне дорог Ваш крестик, — как и Ваша слезинка, как и Ваша гребенка...

Янтарная элегия

Деревня, где скучал Евгений,
Была прелестный уголок.

А. Пушкин

Вы помните прелестный уголок —
Осенний парк, в цвету янтарно-алом?
И мрамор урн, поставленных бокалом
На перекрестке палевых дорог?

Вы помните студеное стекло
Зеленых струй форелевой речонки?
Вы помните комичные опенки
Под кедрами, склонившими чело?

Вы помните над речкою шалэ,
Как я назвал трехкомнатную дачу,
Где плакал я от счастья, и заплачу
Еще не раз о ласке и тепле?

Вы помните... О, да! забыть нельзя
Того, что даже нечего и помнить...
Мне хочется Вас грезами исполнить
И попроситься робко к Вам в друзья...

Мыза "Ивановка".
1911

Все по-старому

— Все по-старому... — сказала нежно:
Все по-старому... —
Но смотрел я в очи безнадежно —
Все по-старому...
Улыбалась, мягко целовала —
Все по-старому...
Но чего-то все недоставало —
Все по-старому!..

Мыза "Ивановка".
1909. Июль

Из письма

Жду — не дождусь весны и мая,
Цветов, улыбок и грозы,
Когда потянутся, хромая,
На дачу с мебелью возы!
У старой мельницы, под горкой,
На светлой даче, за столом,
Простясь с своей столичной "норкой",
Вы просветлеете челом.
Как будет весело вам прыгать
То к чахлой лавке, то к пруду,
Детей к обеду звонко кликать,
Шептать кому-то: "Я приду"...
И как забавно до обеда,
Когда так яростны лучи,
Позвать мечтателя-соседа
С собой на дальние ключи...

1911

Посвящение

Тебя не зная — всюду, всюду
Тебя искал я, сердцем юн:
То плыл на голубую Суду,
То на нахмуренный Квантун...

Мне много женских душ дарило
Свою любовь, свою печаль...
В них не найдя тебя, ветрило
Я поднимал — и снова в даль!

Так за второй встречалась третья...
Но не было меж них тебя...
Я не отчаивался встретить
Тебя, владычица моя!

Тогда, бесплотная доныне,
Прияла ты земную плоть:
Весной, в полях, под небом синим,
С тобой нас съединил Господь.

Твой первый взгляд явил мне чудо
(Он — незабвенный амулет!);
И ты меня искала всюду,
Как я тебя, пятнадцать лет!

Найти друг друга, вот — отрада!
А жизнь вдвоем — предтеча тьмы...
Нам больше ничего не надо:
Лишь друг вне друга — вместе мы!

1912

Романс

О, знаю я, когда ночная тишь
Овеет дом, глубоко усыпленный,
О, знаю я, как страстно ты грустишь
Своей душой, жестоко оскорбленной!..

И я, и я в разлуке изнемог!
И я — в тоске! я гнусь под тяжкой ношей...
Теперь я спрячу счастье "под замок", —
Вернись ко мне: я все-таки хороший...

А ты — как в бурю снасть на корабле —
Трепещешь мной, но не придешь ты снова:
В твоей любви нет ничего земного, —
Такой любви не место на земле!

1910. Ноябрь

Примитивный романс

Моя ты или нет? Не знаю... не пойму...
Но ты со мной всегда, сама того не зная.
Я завтра напишу угрюмцу твоему,
Чтоб он тебя пустил ко мне, моя родная!

Боюсь, он не поймет; боюсь, осудит он;
Боюсь, тебя чернить он станет подозреньем...
Приди ж ко мне сама! Ты слышишь ли мой стон?
Ты веришь ли тоске и поздним сожаленьям?

Иль нет, — не приходи! и не пиши в ответ!
Лишь будь со мной и впредь, сама того не зная:
Так лучше... так больней... Моя ты или нет?
Но я... я твой всегда, всегда, моя родная!

1912

Стансы

Простишь ли ты мои упреки,
Мои обидные слова?
Любовью дышат эти строки, —
И снова ты во всем права!

Мой лучший друг, моя святая!
Не осуждай больных затей;
Ведь я рыдаю, не рыдая,
Я, человек не из людей!..

Не от тоски, не для забавы
Моя любовь полна огня:
Ты для меня дороже славы!
Ты — все на свете для меня!

Я соберу тебе фиалок
И буду плакать об одном:
Не покидай меня! — я жалок
В своем величии больном...

"Дылицы".
1911

Намеки жизни

В вечерней комнате сидели вы втроем.
Вы вспоминали безмолвно о четвертом.
Пред первым, тем, кто презирался чертом,
Четвертый встал с насмешливым лицом...

Увидевший вскричал, а двое вас —
Две женщины с девической душою —
Зажгли огонь, пугаясь бледнотою
Бессильного осмыслить свой рассказ...

...Утрела комната. И не было троих.
Все разбрелись по направленьям разным.
Служанка Ваша, в любопытстве праздном,
Сдувала пыль. И вдруг раздался крик:

У письменного, — скрытного, — стола
Увидела подгорничная, в страхе,
Что голова хозяина... на плахе!
Все через миг распалось, как зола.

...А заденела комната, с письмом
От Вашего врага пришел рассыльный.
И в том письме, с отчаяньем бессильным,
Молили Вас прийти в презренный дом:

Ребенок умирал. Писала мать.
И Вы, как мать, пошли на голос муки,
Забыв, что ни искусству, ни науке
Власть не дана у смерти отнимать.

...Вы вечером страдали за порыв,
И призраки Вам что-то намекали...
А жизнь пред Вами в траурной вуали
Стояла, руки скорбно опустив...

И показав ряд родственных гробов,
Смертельный враг духовных одиночеств,
Грозила Вам мечом своих пророчеств,
Любовь! ты — жизнь, как жизнь
— всегда любовь!

1911

День на ферме

Из лепестков цветущих розово-белых яблонь
Чай подала на подносе девочка весен восьми.
Шли на посев крестьяне. Бегало солнце
по граблям.
Псу указав на галку, баба сказала: "Возьми!"

Было кругом раздольно! было повсюду майно!
Как золотела зелень! воздух лазурно-крылат!
Бросилась я с плотины,
— как-то совсем случайно,
Будто была нагая, вниз головой, в водопад!

И потеряв сознанье от высоты паденья,
Я через миг очнулась и забурлила на мыс...
Я утопляла солнце! плавала целый день я!
А на росе, на ферме, жадно пила я кумыс.

1912

Лесофея

Она читает зимой Евангелье,
Она мечтает о вешнем ангеле,
Душой поэта и аполлонца
Все ожидает литавров солнца.

Умом ребенок, душою женщина,
Всегда капризна, всегда изменчива,
Она тоскует о предвесеньи,
О незабудках, о росной сени...

И часто в ложе, на пестрой опере,
Когда ей сердце мечты отропили,
Она кусает платок, бледнея, —
Демимонденка и лесофея!..

1912

Рондели

Нарцисс Сарона — Соломон —
Любил Балькис, царицу Юга.
Она была его супруга.
Был царь, как раб, в нее влюблен.
В краю, где пальма и лимон,
Где грудь цветущая упруга,
Нарцисс Сарона, Соломон,
Любил Балькис, царицу Юга.
Она цвела, как анемон,
Под лаской царственного друга.
Но часто плакал от испуга,
Умом царицы ослеплен,
Великолепный Соломон...

1911

Письмо из усадьбы

В мои мечты неизреченные
Вплелась вечерняя печаль.

Мирра Лохвицкая

Вчера читал я, — Тургенев
Меня опять зачаровал.
Закатный запад был сиренев
И, все в грядущем обесценив,
Меня к былому призывал.
Шел тихий снег; вдали долины
Снежели, точно полотно;
Глядели голые малины
В мое любимое окно.
Всегда все то же, все одно...
Мне запечалилось. Я вышла
В холодный, омертвелый сад, —
Он был от снега полосат.
Пошла к каретнику; на дышло
Облокотилась, постояв
Минуты две; потом я в сани
Присела мягко, крикнув Сане
Свезти к реке меня. Твоя
В то время я была, мой нежный,
Тобой дышала в этот миг!
А потому я напрямик,
Окружена природой снежной,
К тебе стремилася в мечте...
(Вы, эти, тут, — далече те!..) —
Мои мечты... О, знаешь их ты, —
Они неясны, как намек...
Их понимают только пихты,
А человеку невдомек...
Но ты не думай: я не буду
Былого трогать, — где та кисть,
Чтоб передать мою корысть
К минувшим дням? Кто верит в Будду,
Тому не нужен Магомет.
Как миру страшен хвост комет,
Так мне — столица: ведь концерты
Тебя от поля отвлекли,
И уж давно твои конверты
Я не вскрываю... Заколи!
Замучь меня! повесь! — но дай мне
Хотя два слова о себе.
Как в алфавите "а" и "б",
Так мы с тобою в нашей тайне.
Я так люблю свои поля,
Свои игольчатые рощи.
Что может быть милей и проще
Усадьбы нашей? Жизнь паля,
Как хворост, в шелковых салонах,
Я так измучилась, я так
Истосковалась... За "пятак"
Я не купила б опаленных

Столичных душ с их пустотой,
Задрапированной мишурно.
А здесь-то, здесь-то! Как лазурно
Сияет небо; простотой
Здесь веет воздух. Посмотрел бы,
Как я похорошела тут!
Как розы алые, цветут
Мои ланиты, — это вербы
Рождают розы на лице!..
Приди ко мне, забудь столицу, —
Я быль даю за небылицу,
Начало чувствую в конце...
Не бойся "скуки деревенской",
Предай забвенью мишуру!
С твоей душой, душой вселенской,
Не место там, — "не ко двору"
Пришелся ты; ты только вникни,
Приди ко мне, ко мне приникни,
И позабудься на груди,
Тобой трепещущей... Приди!..

1910. Декабрь

Nocturne

Я сидел на балконе, против заспанного парка,
И смотрел на ограду из подстриженных ветвей.
Мимо шел поселянин в рыжей шляпе из поярка,
Вдалеке заливался невидимка-соловей.

Ночь баюкала вечер, уложив его в деревья.
В парке девушки пели, — без лица и без фигур.
Точно маки сплетали новобрачной королеве,
Точно встретился с ними коробейник-балагур...

Может быть, это хоры позабывшихся монахинь?..
Может быть, это нимфы обездоленных прудов?..
Столько мук нестерпимых, целомудренных и ранних
И щемящего смеха опозоренных родов...

"Дылицы".
1911

Ее монолог

Не может быть! вы лжете мне, мечты!
Ты не сумел забыть меня в разлуке...
Я вспомнила, когда, в приливе муки,
Ты письма сжечь хотел мои... сжечь!.. ты!..

Я знаю, жгут бесценные дары:
Жжет молния надменные вершины,
Поэт — из перлов бурные костры,
И фабрикант — дубравы для машины;

Бесчувственные люди жгут сердца,
Забывшие для них про все на свете;
Разбойник жжет святилище дворца,
Гордящегося пиршеством столетий;

И гении сжигают мощь свою
На алкоголе — символе бессилья...
Но письма сжечь, — где я тебе пою
Свою любовь! где распускаю крылья!

Их сжечь нельзя — как вечной красоты!
Их сжечь нельзя — как солнечного неба!
В них отзвуки Эдема и Эреба...
Не может быть! вы лжете мне, мечты!

Мыза "Ивановка".
1909. Июнь

И ты шел с женщиной

И ты шел с женщиной, — не отрекись. Я все заметила, — не говори.
Блондинка. Хрупкая. Ее костюм был черный. Английский. На голове —
Сквозная фетэрка. В левкоях вся. И в померанцевых лучах зари
Вы шли печальные. Как я. Как я! Журчали ландыши в сырой траве.

Не испугалась я, — я поняла: она — мгновенье, а вечность — я.
И улыбнулась я, под плач цветов, такая светлая. Избыток сил
В душе почувствовав, я скрылась вглубь. Весь вечер пела я. Была — дитя.
Да, ты шел с женщиной. И только ей ты неумышленно взор ослезил.

1912. Май

В очарованьи

Быть может оттого, что ты не молода,
Но как-то трогательно-больно моложава,
Быть может оттого я так хочу всегда
С тобою вместе быть; когда, смеясь лукаво,
Раскроешь широко влекущие глаза,
И бледное лицо подставишь под лобзанья,
Я чувствую, что ты — вся нега, вся — гроза,
Вся — молодость, вся — страсть; и чувства без названья
Сжимают сердце мне пленительной тоской,

И потерять тебя — боязнь моя безмерна...
И ты, меня поняв, в тревоге, головой
Прекрасною своей вдруг поникаешь нервно, —
И вот, другая ты: вся — осень, вся — покой...

"Дылицы".
1912. Июнь

В кленах раскидистых

В этих раскидистых кленах мы наживемся
все лето,
В этой сиреневой даче мы разузорим уют!
Как упоенно юниться! ждать от любви амулета!
Верить, что, нам в услажденье, птицы
и листья поют!
В этих раскидистых кленах есть водопад
вдохновенья,
Солнце взаимного чувства, звезды истомы
ночной...
Слушай, моя дорогая, лирного сердца биенье,
Знай, что оно пожелало не разлучаться с тобой!
Ты говоришь: "Я устала"... Ты умоляешь:
"О, сжалься! —
Ласки меня истомляют, я от блаженства
больна"...
Разве же это возможно, если зеленые вальсы
В этих раскидистых кленах бурно бравурит
Весна?!.

Веймарн.
1912. Июнь

Эскиз вечерний

Она идет тропинкой в гору.
Закатный отблеск по лицу
И по венчальному кольцу
Скользит оранжево. Был ворот
Ее рубашечки сквозной.
Завороженная весной,
Она идет в лиловый домик,
Задумавшийся над рекой.
Ее душа теперь в истоме,
В ее лице теперь покой.
Озябший чай и булки с маслом
Ее встречают на столе.
И на лице ее угасло
К опрозаиченной земле
Читаю нежное презренье,
Слегка лукавую печаль.
Она откидывает шаль
И обдает меня сиренью.

Веймарн.
1912. Июнь

Весенняя яблоня

Акварель

Перу И. И. Ясинского посвящаю

Весенней яблони, в нетающем снегу,
Без содрогания я видеть не могу:
Горбатой девушкой — прекрасной, но немой —
Трепещет дерево, туманя гений мой...
Как будто в зеркало — смотрясь в широкий плес,
Она старается смахнуть росинки слез
И ужасается, и стонет, как арба,
Вняв отражению зловещего горба.
Когда на озеро слетает сон стальной,
Бываю с яблоней, как с девушкой больной,
И, полный нежности и ласковой тоски,
Благоуханные целую лепестки.
Тогда доверчиво, не сдерживая слез,
Она касается, слегка, моих волос,
Потом берет меня в ветвистое кольцо, —
И я целую ей цветущее лицо...

1910

На реке форелевой

На реке форелевой, в северной губернии,
В лодке, сизым вечером, уток не расстреливай:
Благостны осенние отблески вечерние
В северной губернии, на реке форелевой.

На реке форелевой в трепетной осиновке
Хорошо мечтается над крутыми веслами.
Вечереет холодно. Зябко спят малиновки.
Скачет лодка скользкая камышами рослыми.
На отложье берега лен расцвел мимозами,
А форели шустрятся в речке грациозами.

1911. Август

Элегия

Я ночь не сплю, и вереницей
Мелькают прожитые дни.
　　Теперь они,
　　Как небылицы.

В своих мечтах я вижу Суду
И дом лиловый, как сирень.
　　Осенний день
　　Я вижу всюду.

Когда так просто и правдиво
Раскрыл я сердце, как окно...

Как то давно!
Как то красиво!

Я не имею даже вести
От той, которой полон май;
Как ни страдай, —
Не будем вместе.

Я к ней писал, но не достоин
Узнать — счастлива ли она.
Прошла весна,
Но я... спокоен.

О, я не требую ответа,
Ни сожаления, ни слез,
Царица грез
Елисавета!

Биеньем сердца молодого,
Стремленьем любящей души
Хочу тиши
Села родного.

Я на мечте, своей гондоле,
Плыву на Суду в милый дом,
Где мы вдвоем
Без нашей воли.

Меня не видишь ты, царица,
Мечтаешь ты не обо мне...
В усталом сне
Твои ресницы.

1905

Январь

Январь, старик в державном сане,
Садится в ветровые сани, —
И устремляется олень
Воздушней вальсовых касаний
И упоительней, чем лень.
Его разбег направлен к дебрям,
Где режет он дорогу вепрям,
Где глухо бродит пегий лось,
Где быть поэту довелось...
Чем выше кнут, — тем бег проворней,
Тем бег резвее; все узорней
Пушистых кружев серебро.
А сколько визга, сколько скрипа!
То дуб повалится, то липа —
Как обнаженное ребро.
Он любит, этот царь-гуляка,
С душой надменного поляка,
Разгульно-дикую езду...
Пусть душу грех влечет к продаже:
Всех разжигает старец; — даже
Небес полярную звезду!

1910. Январь

Фиалка

Морозову-Гоголю

Снежеет дружно, снежеет нежно,
Над ручейками хрусталит хруп.
Куда ни взглянешь — повсюду снежно,
И сердце хочет в лесную глубь.

Мне больно — больно... Мне жалко
— жалко...
Зачем мне больно? Чего мне жаль?
Ах, я не знаю, ах, я — фиалка,
Так тихо-тихо ушла я в шаль.

О ты, чье сердце крылит к раздолью,
Ты, триумфатор, ты, властелин!
Приди, любуйся моей фиолью —
Моей печалью в снегах долин.

О ты, чьи мысли всегда крылаты,
Всегда победны, внемли, о ты:
Возьми в ладони меня, как в латы,
Моей фиолью святя мечты!..

Пляска Мая

В могиле мрак, в объятьях рай,
Любовь — земли услада!..

А. Будищев

Вдалеке от фабрик, вдалеке от станций,
Не в лесу дремучем, но и не в селе —
Старая плотина, на плотине танцы,
В танцах поселяне, все навеселе.

Покупают парни у торговки дули,
Тыквенное семя, карие рожки.
Тут беспопья свадьба, там кого-то вздули.
Шепоты да взвизги, песни да смешки.

Точно гуд пчелиный — гутор на полянке:
— Любишь ли, Акуля?.. — "Дьявол, не замай!.."
И под звуки шустрой, удалой "тальянки"
Пляшет на плотине сам царевич Май.

Разошелся браво пламенный красавец, —
Зашумели липы, зацвела сирень!

Ветерок целует в губы всех красавиц,
Май пошел вприсядку в шапке набекрень.

Но не видят люди молодого Мая,
Чувствуя душою близость удальца,
Весела деревня, смутно понимая,
Что царевич бросит в пляске два кольца.

Кто поднимет кольца — жизнь тому забава!
Упоенье жизнью не для медных лбов!
Слава Маю, слава! Слава Маю, слава!
Да царят над миром Солнце и Любовь!

1910

Русская

Кружевеет, розовеет утром лес,
Паучок по паутинке вверх полез.
Бриллиантится веселая роса;
Что за воздух! что за свет! что за краса!
Хорошо гулять утрами по овсу,
Видеть птичку, лягушонка и осу,
Слушать сонного горлана-петуха,
Обменяться с дальним эхо: "ха-ха-ха!"
Ах, люблю бесцельно утром покричать,
Ах, люблю в березах девку повстречать,
Повстречать и, опираясь на плетень,
Гнать с лица ее предутреннюю тень,
Пробудить ее невыспавшийся сон,
Ей поведать, как в мечтах я вознесен.
Обхватить ее трепещущую грудь,
Растолкать ее для жизни как-нибудь!

1910. Февраль

Chanson russe

Зашалила, загуляла по деревне молодуха.
Было в поле, да на воле, было в день Святого Духа.
Муж-то старый, муж-то хмурый укатил в село под Тройцу.
Хватит хмелю на неделю, — жди-пожди теперь пропойцу!
Это что же? разве гоже от тоски сдыхать молодке?
Надо парня, пошикарней, чтоб на зависть в околодке!
Зашалила, загуляла! знай, лущит себе подсолнух!..
Ходят груди, точно волны на морях, водою полных.
Разжигает, соблазняет молодуха Ваньку-парня,
Шум и хохот на деревне, будто бешеная псарня!..
Все старухи взбеленились, расплевались, да — по хатам;
Старикам от них влетело и метлою, и ухватом.
Всполошились молодухи, всех мужей — мгновенно в избы!
А звонарь на колокольне заорал: "Скорее вниз бы!"
Поспешил, да так ретиво, что свалился с колокольни...
А молодка все гуляла, ветра буйного раздольней!

1910

В парке плакала девочка

Всеволоду Светланову

В парке плакала девочка: "Посмотри-ка ты, папочка,
У хорошенькой ласточки переломлена лапочка, —
Я возьму птицу бедную и в платочек укутаю"...
И отец призадумался, потрясенный минутою,
И простил все грядущие и капризы, и шалости
Милой маленькой дочери, зарыдавшей от жалости.

Пасхальный гимн

Христос Воскресе! Христос Воскресе!
Сон смерти — глуше, чем спит скала...
Поют Победу в огне экспрессий,
Поют Бессмертье колокола.
Светло целуйте уста друг другу,
Последний нищий — сегодня Крез...
Дорогу сердцу к святому Югу! —
Христос Воскресе! Христос Воскрес!

1910. Февраль

Канон св. Иосафу

Я сердце свое захотел обмануть,
А сердце меня обмануло!

К. Фофанов

"Цветы любви и веры разбросав,
Молю Тебя, Святитель Иосаф:
Посей в душе благие семена,
Дай веру мне в златые времена!"

Так пред Твоей иконой всеблагой
Молился я, и набожной рукой

Не раз творил интуитивный крест,
И слышал я, как вздрагивал окрест.

Все, все, о чем Тебя я попросил,
Исполнил Ты. Я жарко оросил
Свои глаза и, к образу припав,
Пою Тебя, Святитель Иосаф!

Маргаритки

О, посмотри! как много маргариток —
И там, и тут...
Они цветут; их много; их избыток;
Они цветут.

Их лепестки трехгранные — как крылья,
Как белый шелк...
Вы — лета мощь! Вы — радость изобилья!
Вы — светлый полк!

Готовь, земля, цветам из рос напиток,
Дай сок стеблю...
О, девушки! о, звезды маргариток!
Я вас люблю...

Мыза "Ивановка".
1909. Июль

Маленькая элегия

Она на пальчиках привстала
И подарила губы мне.
Я целовал ее устало
В сырой осенней тишине.

И слезы капали беззвучно
В сырой осенней тишине.
Гас скучный день — и было скучно,
Как всё, что только не во сне.

Чайная роза

Если прихоти случайной
И мечтам преграды нет, —
Розой бледной, розой чайной
Воплоти меня, поэт!

Мирра Лохвицкая

Над тихо дремлющим прудом —
Где тишина необычайная,
Есть небольшой уютный дом,
И перед домом — роза чайная.

Над нею веера стрекоз —
Как опахала изумрудные;
Вокруг цветы струят наркоз
И сны лелеют непробудные.

В пруде любуется фасад
Своей отделкой прихотливою;
И с ней кокетничает сад,
Любуясь розою стыдливою.

Но дни и ночи, ночи, дни —
Приливы грусти необычные.
И шепчет роза: "Мы — одни
С тобою, сад мой, горемычные"...

А между тем, с огней зари
И до забвения закатного,
В саду пигмеи, как цари,
Живут в мечте невероятного.

Они хохочут и шумят,
Ловя так алчно впечатления;
Под их ногами сад измят:
Бессмертье — часто жертва тления!..

Что станет с розой, если весть
О ней дойдет до них случайная?..
И неуспевшая расцвесть
Спешит увянуть роза чайная...

Мыза "Ивановка".
1909

Четкая поэза

Разум мой бесстрастен. Сердце бьется
четко.
Вспомнилось мне лето давнее в лесу.
Только что узнал я: у тебя чахотка, —
Вскоре гроб твой белый к церкви понесу.

Вспомнилось мне лето: мошки, незабудки,
Грозы и туманы, вечера в луне.
Силы были сильны, чувства были чутки;
Ты была со мною, ты была при мне.

Может быть, томилась вешнею ажурью,
Может быть, любила чувственно и зло, —
Только вся дышала знойною лазурью,
Или омрачалась девственно светло...

Часто мы лежали в ландышах и в кашке,
Точно брат с сестрою, телом к телу льня,
Часто приходила ты в одной рубашке
Ночью в кабинет мой, возжелав меня...

Но когда тянулся я к тебе всем телом,
Чтоб в тебя, как в омут, глубоко упасть,
Ты, с лицом от муки страстной
побледнелым,
Грубою издевкой охлаждала страсть...

То лазорьно-нежно, то кошмарно-едко
Говорила броско о каком-то "нем";
Тщетно я терзался: кто ты? амулетка,
Верная обету? лилия ль с вином?..

Все я понял после. Хорошо и кротко
На душе печальной. Слушай-ка, дитя!
Твой удел — могила: у тебя — чахотка.
От тебя заразу я приму шутя.

1912

На мотив Фофанова

Я чувствую, как падают цветы
Черемухи и яблони невинных...
Я чувствую, как шепчутся в гостиных, —
О чем? О ком?.. Не знаю, как и ты.

Я чувствую, как тают облака
В весенний день на небе бирюзовом,
Как кто-то слух чарует полусловом...
И чей-то вздох... И чья-то тень легка...

Я чувствую, как угасает май,
Томит июнь, и золотятся жатвы...
Но нет надежд, но бесполезны клятвы!
Прощай, любовь! Мечта моя, прощай!

1911. Май

"Виктория Регия"

Наша встреча — Виктория Регия:
Редко, редко в цвету...
До и после нее жизнь — элегия
И надежда в мечту.

Ты придешь, — изнываю от неги я,
Трепещу на лету.
Наша встреча — Виктория Регия:
Редко, редко в цвету!..

Стансы

Ни доброго взгляда, ни нежного слова —
Всего, что бесценно пустынным мечтам...
А сердце... а сердце все просит былого!
А солнце... а солнце — надгробным крестам!

И все — невозможно! и все — невозвратно!
Несбыточней бывшего нет ничего...
И ты, вся святая когда-то, развратна...
Развратна! — не надо лица твоего!

Спуститесь, как флеры, туманы забвенья,
Спасите, укройте обломки подков...
Бывают и годы, короче мгновенья,
Но есть и мгновенья длиннее веков!..

Мыза "Ивановка".
1909. Август

Ты ко мне не вернешься

Злате

Ты ко мне не вернешься даже ради Тамары,
Ради нашей дочурки, крошки вроде крола:
У тебя теперь дачи, за обедом — омары,
Ты теперь под защитой вороного крыла...

Ты ко мне не вернешься: на тебе теперь бархат;
Он скрывает бескрылье утомленных плечей...
Ты ко мне не вернешься: предсказатель на картах
Погасил за целковый вспышки поздних лучей!..

Ты ко мне не вернешься, даже... даже проститься,
Но над гробом обидно ты намочишь платок...
Ты ко мне не вернешься в тихом платье из ситца,
В платье радостно-жалком, как грошовый
цветок.

Как цветок... Помнишь розы из кисейной
бумаги?
О живых ни полслова у могильной плиты!
Ты ко мне не вернешься: грезы больше
не маги, —
Я умру одиноким, понимаешь ли ты?!

Berceuse

Миньонет

Пойте, пойте, бубенчики ландышей,
Пойте, пойте вы мне —
О весенней любви, тихо канувшей,
О любовной весне;

О улыбке лазоревой девичьей
И — о, боль! — о луне...

Пойте, пойте, мои королевичи,
Пойте, пойте вы мне!

1910

Сонет

Любви возврата нет, и мне как будто жаль
Бывалых радостей и дней любви бывалых;
Мне не сияет взор очей твоих усталых,
Не озаряет он таинственную даль.

Любви возврата нет, — и на душе печаль,
Как на снегах вокруг осевших, полуталых.
— Тебе не возвратить любви мгновений алых:
Любви возврата нет, — прошелестел февраль.

И мириады звезд в безводном океане
Мигали холодно в бессчетном караване,
И оскорбителен был их холодный свет:

В нем не было былых ни ласки, ни участья...
И понял я, что нет мне больше в жизни счастья,
Любви возврата нет!..

Гатчина.
1908

Душистый горошек

Сказка

Прост и ласков, как помыслы крошек,
У колонок веранды и тумб
Распускался душистый горошек
На взлелеянной пажити клумб.

И нечаянно, или нарочно,
Но влюбился он в мрамор немой,
Точно был очарован он, точно
Одурачен любовью самой!

Но напрасно с зарей розовел он,
Обвивая бесчувственный стан:
Не для счастия камень был сделан,
И любить не умел истукан.

Наступали осенние стужи,
Угасал ароматный горох;
И смотрелся в зеркальные лужи
Грубый мрамор, закутанный в мох.

— Мох идет мне, — подумал он важно:
Но зачем я цветами обвит? —
Услыхал это вихрь и отважно
Порешил изменить его вид.

Взял он в свиту песчинки с дорожек
И шутливо на старца напал, —
И опал разноцветный горошек,
Алым снегом мечтаний опал!..

1909

Ноктюрн

Бледнел померанцевый запад,
В горах голубели туманы,
И гибко, и цепко сплетались
В объятья над вами лианы.

Сквозь кружево листьев ажурных
Всплывали дворцов арабески,
Смеялись алмазы каскадов
Под их пробужденные плески.

Вам слышался говор природы,
Призывы мечтательных веток,
И вы восхищалися пляской
Стрекоз, грациозных кокеток.

Растенья дышали душисто
Вечерним своим ароматом,
И птицы, блаженствуя, пели —
Как вы, восхищаясь закатом.

Весь мир оживал при закате,
По странной какой-то причуде...
И было так странно, так дивно
Вам, жалкие темные люди!

И было вам все это чуждо,
Но так упоительно ново,
Что вы поспешили... проснуться,
Боясь пробужденья иного...

1908

Баллада

И.

У мельницы дряхлой, закутанной в мох
Рукою веков престарелых,
Где с шумом плотины сливается вздох
Осенних ракит пожелтелых,
Где пенятся воды при шуме колес,
Дробя изумрудные брызги,
Где стаи форелей в задумчивый плес
Заходят под влажные взвизги
Рокочущих, страстных падучих валов,
Где дремлет поселок пустынный, —

Свидетель пирушек былых и балов,
Дворец приютился старинный.
Преданье в безлистную книгу времен
Навек занесло свои строки;
Но ясную доблесть победных знамен
Смущают все чьи-то упреки.
Нередко в часовне в полуночный час
Бредут привиденья на паперть
И стонут, в железные двери стучась,
И лица их белы, как скатерть.
К кому обращен их столетний упрек
И что колыхает их тени?
А в залах пирует надменный Порок,
И плачут в полполье ступени...

1909

Октябрь

Люблю октябрь, угрюмый месяц,
Люблю обмершие леса,
Когда хромает ветхий месяц,
Как половина колеса.
Люблю мгновенность: лодка... хобот...
Серп... полумаска... леса шпиц...
Но кто надтреснул лунный обод?
Кто вор лучистых тонких спиц?
Морозом выпитые лужи
Хрустят и хрупки, как хрусталь;
Дороги грязно-неуклюжи,
И воздух сковывает сталь.
Как бред земли больной, туманы
Сердито ползают в полях
И отстраданные обманы
Дымят при блеске лунных блях.
И сколько смерти безнадежья
В безлистном шелесте страниц!
Душе не знать любви безбрежья,
Не разрушать душе границ!
Есть что-то хитрое в усмешке
Седой улыбки октября,
В его сухой ехидной спешке,
Когда он бродит, тьму храбря.
Октябрь и Смерть — в законе пара,
Слиянно тесная чета...
В полях — туман, как саван пара,
В душе — обмершая мечта.
Скелетом черным перелесец
Пускай пугает: страх сожну.
Люблю октябрь, предснежный месяц,
И Смерть, развратную жену!..

1909. Октябрь

Секстина

Предчувствие — томительней кометы,
Непознанной, но видимой везде.
Послушаем, что говорят приметы
О тягостной, мучительной звезде.
Что знаешь ты, ученый! сам во тьме ты,
Как и народ, светлеющий в нужде.

Не каждому дано светлеть в нужде
И измерять святую глубь кометы...
Бодрись, народ: ведь не один во тьме ты, —
Мы все во тьме — повсюду и везде.
Но вдохновенна мысль твоя к звезде,
И у тебя есть верные приметы.

Не верить ли в заветные приметы,
Добытые забитыми в нужде?
Кончина мира, скрытая в звезде, —
Предназначенье тайное кометы;
И ты, мужик, твердишь везде, везде,
Что близок час... Так предрешил во тьме ты.

Как просветлел божественно во тьме ты!
Пророчески туманные приметы;
Они — костры, но те костры — везде...
Народный гений, замкнутый в нужде,
Один сумел познать мечту кометы
И рассказать о мстительной звезде.

Я вижу смерть, грядущую в звезде,
И, если зло затерянный во тьме ты
Пророк-поэт языческой приметы
Мне говоришь об ужасах кометы,
Сливаюсь я с тобой, и о нужде
Хочу забыть: к чему? ведь смерть везде!

Она грядет, она уже везде!..
Крылю привет карающей звезде —
Она несет конец земной нужде...
Как десять солнц, сверкай, звезда, во тьме ты,
Жизнь ослепи и оправдай приметы
Чарующей забвением кометы!

1910. Январь

Земля и Солнце

Вселенская поэма

Земля любит Солнце за то,
Что Солнце горит и смеется.
А Солнце за то любит Землю,
Что плачет и мерзнет она.
Не сблизиться им никогда,
Они и далеки, и близки;

Пока не остынет светило,
Живет и страдает Земля.
Хотя у них общего нет,
Не могут прожить друг без друга;
Земля для того и живет ведь,
Чтоб только на Солнце смотреть.
Оно для нее — идеал,
Любимая, вечная греза;
А Солнце живет для того лишь,
Чтоб Землю холодную греть.
Они неизменны в любви,
И, если не видятся долго,
Виною — нелепые тучи,
Которые их разлучат.
Разлука рождает тоску,
И Солнце томится и страждет,
И жаждет скорее свиданья
С далекой, но милой Землей.
Влюбленные видятся днем,
Встречаясь всегда на рассвете;
Но к часу вечернему Солнце
Улыбно уходит домой.
А если б оно не ушло
В урочное время — от жара
Земля бы блаженно зачахла,
И было б виновно оно.
А если б оно не ушло
Три дня и три долгие ночи,
Земля бы сама запылала
И ярче, чем Солнце само!
Тогда бы погибла любовь! —
Когда бы увидело Солнце,
Что больше Земля не тоскует...
Пускай бы погибла любовь!
Тогда бы погибла мечта! —
Когда бы увидело Солнце
Веселой и радостной Землю...
Пускай бы погибла мечта!
В своей всепобедной любви
Светило готово на жертву —
Отдать и сиянье, и пламя
Для блага, для счастья Земли.
Не хочет, боится Земля
Сравняться с прекрасным светилом:
Кому же тогда ей молиться?
Кого же тогда ей любить?

Страданье — природы закон...
Нет равной любви на планете...
— Тебя я люблю за бессилье,
Ты любишь за силу меня!

1911. Февраль

Завет

Не убивайте голубей.

Мирра Лохвицкая

Целуйте искренней уста —
Для вас раскрытые бутоны,
Чтоб их не иссушили стоны,
Чтоб не поблекла красота!
С мечтой о благости Мадонны
Целуйте искренней уста!

Прощайте пламенней врагов,
Вам причинивших горечь муки,
Сковавших холодом разлуки,
Топящих в зле без берегов.
Дружней протягивайте руки,
Прощайте пламенней врагов!

Страдайте стойче и святей,
Познав величие страданья.
Да не смутят твои рыданья
Покоя светлого детей!
Своим потомкам в назиданье
Страдайте стойче и святей!

Любите глубже и верней —
Как любят вас, не рассуждая,
Своим порывом побуждая
Гнать сонмы мертвенных теней...
Бессмертен, кто любил, страдая, —
Любите глубже и верней!

1909. Сентябрь

Надрубленная сирень

Проснулся хутор.
Весенний гутор
Ворвался в окна... Пробуждены,
Запели — юны —
У лиры струны.
И распустилась сирень весны.

Запахло сеном.
И с зимним пленом
Земля простилась... Но — что за сны?!.
Согнулись грабли...
Сверкнули сабли,
И надрубили сирень весны!..

1908

II. Мороженое из сирени

Мороженое из сирени!

— Мороженое из сирени! Мороженое из сирени!
Полпорции десять копеек, четыре копейки буше.
Сударыщни, судари, надо ль? — не дорого
— можно без прений...
Поешь деликатного, площадь: придется товар
по душе!

Я сливочного не имею, фисташковое все
распродал...
Ах, граждане, да неужели вы требуете
крэм-брюле?
Пора популярить изыски, утончиться вкусам
народа,
На улицу специи кухонь, огимнив эксцесс
в вирэле!

Сирень — сладострастья эмблема. В лилово-
изнеженном крене
Зальдись, водопадное сердце, в душистый
и сладкий пушок...
Мороженое из сирени! Мороженое из сирени!
Эй, мальчик со сбитнем, попробуй! Ей Богу,
похвалишь, дружок!

1912. Сентябрь

Фиолетовый транс

О, Лилия ликеров, — о, Crème de Violette!
Я выпил грёз фиалок фиалковый фиал...
Я приказал немедля подать кабриолет,
И сел на сером клёне в атласный интервал.

Затянут в черный бархат, шоффер
— и мой клеврет —
Коснулся рукоятки, и вздрогнувший мотор,
Как жеребец заржавший, пошел на весь простор,
А ветер восхищенный сорвал с меня берэт.

Я приказал дать "полный". Я нагло приказал
Околдовать природу и перепутать путь!
Я выбросил шоффера, когда он отказал, —
Взревел! и сквозь природу — вовсю
и как-нибудь!

Встречалась ли деревня, — ни голосов, ни изб!
Врезался в чернолесье, — ни дерева, ни пня!
Когда б мотор взорвался, я руки перегрыз бы!!.
Я опьянел грозово, все на пути пьяня!..

И вдруг — безумным жестом остолблен
кленоход:
Я лилию заметил у ската в водопад.
Я перед ней склонился, от радости горбат,
Благодаря за встречу, за благостный исход...

Я упоен. Я вешний. Я тихий. Я грёзэр.
И разве виноват я, что лилии колет
Так редко можно встретить, что путь
без лилий сер?..
О, яд мечты фиалок, — о, Crème de Violette...

1911

Качалка грёзэрки

Л. Д. Рындиной

Как мечтать хорошо Вам
В гамаке камышовом
Над мистическим оком — над бестинным
прудом!
Как мечты — сюрпризэрки
Над качалкой грёзэрки
Истомленно лунятся: то — Верлэн,
то — Прюдом!

Что за чудо и диво! —
То Вы — лэди Година,
Через миг — Иоланта, через миг Вы — Сафо...
Стóит Вам повертеться, —
И загрезится сердце:
Все на свете возможно, все для Вас ничего!

Покачнетесь Вы влево, —
Королев Королева,
Властелинша планеты голубых антилоп,
Где, от вздохов левкоя,
Упоенье такое,
Что загрезит порфирой заурядный холоп!

Покачнетесь Вы вправо, —
Улыбнется Вам Слава,
И дохнет Ваше имя, как цветы райских клумб;
Прогремит Ваше имя,
И в омолненном дыме
Вы сойдете на Землю, — мирозданья Колумб!

А качнетесь Вы к выси,
Где мигающий бисер,
Вы постигнете тайну: вечной жизни процесс.
И мечты — сюрпризэрки
Над качалкой грёзэрки

Воплотятся в капризный, но бессмертный
эксцесс!

"Дылицы".
1911

Боа из кризантэм

Вы прислали с субреткою мне вчера
кризантэмы —
Бледновато-фиалковые, бледновато-фиалковые...
Их головки закудрились, ароматом наталкивая
Властелина Миррэлии на кудрявые темы...

Я имею намеренье Вам сказать в интродукции,
Что цветы мне напомнили о тропическом
солнце,
О спеленатых женщинах, о янтарном румянце,
Но японец аляповат для моей репродукции...

А потом мне припомнился — ах, не смейтесь!
— констрактор,
И боа мне понравилось из маркизных головок...
Вы меня понимаете? Я сегодня неловок...
О, в поэзах изысканных я строжайший редактор!

Не имею намеренья, — в этот раз я намерен, —
Вас одеть фиолетово, фиолетово-бархатно.
И — прошу Вас утонченно! — прибегите Вы
в парк одна,
У ольхового домика тихо стукните в двери,

Как боа кризантэмное бледно-бледно фиалково!
Им Вы крепко затянете мне певучее горло...
А наутро восторженно всем поведает Пулково,
Что открыли ученые в небе новые перлы...

1911

Шампанский полонез

Шампанского в лилию! Шампанского
в лилию! —
Ее целомудрием святеет оно.
Mignon с Escamillio! Mignon с Escamillio!..
Шампанское в лилии — святое вино.

Шампанское, в лилии журчащее, искристо —
Вино, упоенное бокалом цветка.
Я славлю восторженно Христа и Антихриста
Душой, обожженною восторгом глотка!

Голубку и ястреба! Рейхстаг и Бастилию!
Кокотку и схимника! Порывность и сон!
В шампанское лилию! Шампанского в лилию!
В морях Дисгармонии — маяк Унисон!

1912. Октябрь

Поэзоконцерт

Где свой алтарь воздвигли боги,
Не место призракам земли!

Мирра Лохвицкая

В Академии Поэзии — в озерзамке
беломраморном —
Ежегодно мая первого фиолетовый концерт,
Посвященный вешним сумеркам, посвященный
девам траурным...
Тут — газэллы и рапсодии, тут — и глина,
и мольберт.

Офиалчен и олилиен озерзамок Мирры
Лохвицкой.
Лиловеют разнотонами станы тонких поэтесс.
Не доносятся по озеру шумы города и вздох
людской,
Оттого, что груди женские — тут не груди,
а дюшес...

Наполняется поэтами безбородыми, безусыми,
Музыкально говорящими и поющими Любовь.
Золот гордый замок строфами, золот девушками
русыми,
Золот юным вдохновеньем и отсутствием рабов!

Гости ходят кулуарами, возлежат на софном
бархате,
Пьют вино, вдыхают лилии, цепят звенья
пахитос...
Проклинайте, люди трезвые! Громче, злей,
вороны, каркайте! —
Я, как ректор Академии, пью за озерзамок тост!

1911

Это было у моря

Поэма-миньонет

Это было у моря, где ажурная пена,
Где встречается редко городской экипаж...
Королева играла — в башне замка — Шопена,
И, внимая Шопену, полюбил ее паж.

Было все очень просто, было все очень мило:
Королева просила перерезать гранат;
И дала половину, и пажа истомила,
И пажа полюбила, вся в мотивах сонат.

А потом отдавалась, отдавалась грозово,
До восхода рабыней проспала госпожа...

Это было у моря, где волна бирюзова,
Где ажурная пена и соната пажа.

1910. Февраль

Зизи

Постигнуть сердцем все возможно,
Непостижимое уму...

К. Фофанов

Бесшумно шло моторное ландо
По "островам" к зеленому "пуанту",
И взор Зизи, певучее рондо,
Скользя в лорнет, томил колени франту...

Хрустит от шин заносчиво шоссе,
И воздух полн весеннего удушья.
В ее душе — осколки строф Мюссэ,
А на лице — обидное бездушье.

Зизи, Зизи! Тебе себя не жаль?
Не жаль себя, бутончатой и кроткой?
Иль, может быть, цела души скрижаль,
И лилия не может быть кокоткой?

Останови мотор! сними манто
И шелк белья, бесчестья паутину,
Разбей колье и, выйдя из ландо,
Смой наготой муаровую тину!

Что до того, что скажет Пустота
Под шляпками, цилиндрами и кэпи!
Что до того! — такая нагота
Великолепней всех великолепий!

1910. Февраль

Кэнзели

В шумном платье муаровом, в шумном платье муаровом
По аллее олуненной Вы проходите морево...
Ваше платье изысканно, Ваша тальма лазорева,
А дорожка песочная от листвы разузорена —
Точно лапы паучные, точно мех ягуаровый.

Для утонченной женщины ночь всегда новобрачная...
Упоенье любовное Вам судьбой предназначено...
В шумном платье муаровом, в шумном платье муаровом —
Вы такая эстетная, Вы такая изящная...
Но кого же в любовники! и найдется ли пара Вам?

Ножки плэдом закутайте дорогим ягуаровым,
И, садясь комфортабельно в ландолете бензиновом,
Жизнь доверьте Вы мальчику, в макинтоше резиновом,
И закройте глаза ему Вашим платьем жасминовым —
Шумным платьем муаровым, шумным платьем муаровым!..

1911

Воздушная яхта

Ивану Лукашу

Я вскочила в Стокгольме на летучую яхту,
На крылатую яхту из березы карельской.
Капитан, мой любовник, встал с улыбкой на вахту, —
Закружился пропеллер белой ночью апрельской.

Опираясь на румпель, напевая из Грига,
Обещал он мне страны, где в цвету абрикосы,
Мы надменно следили эволюции брига,
Я раскрыла, как парус, бронзоватые косы.

Приставали к Венере, приставали к Сатурну,
Два часа пробродили по ледяной Луне мы.
Там в саду урны с негой; принесли мне в сад урну —
На Луне все любезны, потому что все немы...

Все миры облетели, все романсы пропели,
Рады были с визитом к самому Палладину...
А когда увидали, что поломан пропеллер,
Наша яхта спустилась на плавучую льдину...

M-me Sans-Gene

Рассказ путешественницы

Это было в тропической Мексике, —
Где еще не спускался биплан,
Где так вкусны пушистые персики, —
В белом ранчо у моста лиан.

Далеко-далеко, за льяносами,
Где цветы ядовитее змей,
С индианками плоско-курносыми
Повстречалась я в жизни моей.

Я гостила у дикого племени,
Кругозор был и ярок, и нов.
Много-много уж этому времени!
Много-много уж этому снов!

С жаркой кровью, бурливее кратера,
Краснокожий метал бумеранг,
И нередко от выстрела скваттера
Уносил его стройный мустанг.

А бывало: пунцовыми ранами
Пачкал в ранчо бамбуковый пол...
Я кормила индейца бананами,
Уважать заставляла свой пол...

Задушите меня, зацарапайте, —
Предпочтенье отдам дикарю,
Потому что любила на Западе
И за это себя не корю...

Июльский полдень

Синематограф

Элегантная коляска, в электрическом биеньи,
Эластично шелестела по шоссейному песку;
В ней две девственные дамы, в быстро-темпном упоеньи,
В ало-встречном устремленьи — это пчелки к лепестку.

А кругом бежали сосны, идеалы равноправий,
Плыло небо, пело солнце, кувыркался ветерок,
И под шинами мотора пыль дымилась, прыгал гравий,
Совпадала с ветром птичка на дороге без дорог...

У ограды монастырской столбенел зловеще инок,
Слыша в хрупоте коляски звуки "нравственных пропаж"...
И с испугом отряхаясь от разбуженных песчинок,
Проклинал безвредным взором шаловливый экипаж.

Хохот, свежий точно море, хохот, жаркий точно кратер,
Лился лавой из коляски, остывая в выси сфер,
Шелестел молниеносно под колесами фарватер,
И пьянел, вином восторга, поощряемый шоффер...

Хабанера III

От грез Кларета — в глазах рубины,
Рубины страсти, фиалки нег.
В хрустальных вазах коралл рябины,
И белопудрый, и сладкий снег.

Струятся взоры... Лукавят серьги...
Кострят экстазы... Струнят глаза...
— Как он возможен, миражный берег...
В бокал шепнула синьора Za.

О, бездна тайны! О, тайна бездны!
Забвенье глуби... Гамак волны...
Как мы подземны! Как мы надзвездны!
Как мы бездонны! Как мы полны!

Шуршат истомно муары влаги,
Вино сверкает, как стих поэм...
И закружились от чар Малаги
Головки женщин и кризантэм...

Каретка куртизанки

Каретка куртизанки, в коричневую лошадь,
По хвойному откосу спускается на пляж.
Чтоб ножки не промокли, их надо окалошить, —
Блюстителем здоровья назначен юный паж.

Кудрявым музыкантам предложено исполнить
Бравадную мазурку. Маэстро, за пюпитр!
Удастся ль душу дамы восторженно омолнить
Курортному оркестру из мелодичных цитр?

Цилиндры солнцевеют, причесанные лоско,
И дамьи туалеты пригодны для витрин.
Смеется куртизанка. Ей вторит солнце броско.
Как хорошо в буфете пить крем-де-мандарин!

За чем же дело стало? — к буфету, черный кучер!
Гарсон, сымпровизируй блестящий файв-о-клок...
Каретка куртизанки опять все круче, круче,
И паж к ботинкам дамы, как фокстерьер, прилег...

"Дылицы".
1911

Нелли

Константину Олимпову

В будуаре тоскующей нарумяненной Нелли,
Где под пудрой молитвенник, а на ней Поль де-Кок,
Где брюссельское кружево... на платке из фланели! —
На кушетке загрезился молодой педагог.

Познакомился в опере и влюбился, как юнкер.
Он готов осупружиться, он решился на все.

Перед нею он держится, точно мальчик
на струнке,
С нею в парке катается и играет в серсо.

Он читает ей Шницлера, посвящает в коктэбли,
Восхвалив авиацию, осуждает Китай.
И, в ревнивом неверии, тайно метит
в констэбли...
Нелли нехотя слушает, — "Лучше ты покатай".

"Философия похоти!.." Нелли думает едко:
"Я в любви разуверилась, господин педагог...
О, когда бы на "Блерио" поместилась кушетка!
Интродукция — Гауптман, а финал
— Поль де-Кок!"

"Дылицы".
1911

Клуб дам

Я в комфортабельной карете, на эллипсических
рессорах,
Люблю заехать в златополдень на чашку чая
в жено-клуб,
Где вкусно сплетничают дамы о светских дрязгах
и о ссорах,
Где глупый вправе слыть не глупым, но умный
непременно глуп.

О, фешенебельные темы! от вас тоска моя
развеется!
Трепещут губы иронично, как земляничное
желе...
— "Индейцы — точно ананасы, и ананасы — как
индейцы"...
Острит креолка, вспоминая о экзотической
земле.

Градоначальница зевает, облокотясь на пианино,
И смотрит в окна, где истомно бредет
хмелеющий июль.
Вкруг золотеет паутина, как символ ленных
пленов сплина,
И я, сравнив себя со всеми, люблю клуб дам
не потому ль?..

Июнь. 1912

Эксцессерка

Ты пришла в шоколадной шаплетке,
Подняла золотую вуаль.
И, смотря на паркетные клетки,
Положила боа на рояль.

Ты затихла на палевом кресле,
Каблучком молоточа паркет...
Отчего-то шепнула: "А если?.."
И лицо окунула в букет.

У окна альпорозы в корзине
Чуть вздохнули, — их вздох витьеват...
Я не видел кузины в кузине
И едва ли я в том виноват...

Ты взглянула утонченно-пьяно,
Прищемляя мне сердце зрачком...
И вонзила стрелу, как Диана,
Отточив острие язычком...

И поплыл я, вдыхая сигару,
Ткя седой и качелящий тюль, —
Погрузиться в твою Ниагару,
Сенокося твой спелый июль...

Chanson coquette

Над морем сидели они на веранде,
Глаза устремив к горизонту.
Виконт сомневался в своей виконтессе,
Она доверяла виконту.

Но пели веселые синие волны
И вечера южного влага,
И пела луна, танцовавшая в море:
"Доверие высшее благо"...

И песнь понималась легко на веранде,
Смущение верилось зонту...
Виконт целовал башмачок виконтессы,
Она отдавалась виконту!

Юг на Севере

Я остановила у эскимосской юрты
Пегого оленя, — он поглядел умно.
А я достала фрукты
И стала пить вино.

И в тундре — вы понимаете? — стало южно...
В щелчках мороза — дробь кастаньет...
И захохотала я жемчужно,
Наведя на эскимоса свой лорнет.

Фантазия восхода

Утреет. В предутреннем лепете
Льнет рыба к свинцовому грузику.
На лилий похожи все лебеди,
И солнце похоже на музыку!

Светило над мраморной виллою
Алеет румянцем свидания.
Придворной певицей Сивиллою
На башне пропета "Титания".

У статуи Мирры паломники
Цветами кадят, точно ладаном.
Мечтатели — вечно бездомники...
Мечтатели — в платье заплатанном...

В лице, гениально изваянном,
Богини краса несказанная!
Гимн Солнцу исполнен хозяином,
"Осанна!" гремит за "Осанною!".

Коктэбли звучат за коктэблями,
Поют их прекрасные женщины;
Их станы колышатся стеблями,
Их лица улыбкой увенчаны.

Все гнезда в лопочущем хлопоте...
Все травы в брильянтовом трепете...
Удало в ладони захлопайте, —
И к солнцу поднимутся лебеди!

Полонез "Титания"

("Mignon", ария Филины)

1

Зовусь Титанией, царицей фей,
Я лунокудрая нимфея — ночь!
Мой паж, сообщник мой, немой Морфей,
Соткал июнь,
Вуаля лунь;
Но только дунь, —
Прочь!

2

Благоуханная, как детский сон,
И легковейная, как мотылек,
Порхаю всюду я, и, вознесен
Моим крылом,
Мир стал орлом;
Взмахну жезлом, —
Лёг!

3

Со свитой эльфовой сажусь в челнок
На хрупких крылышках, к Земле летя.
Я из дурман-травы плету венок.
И на лету
Всю волю ту
В него вплету
Я!

1910. Лето

Песенка Филины

("Mignon", A. Thomas)

Лаэрт, Лаэрт, мой милый,
Возлюбленный Лаэрт!
Сейчас я получила
Сиреневый конверт.

Чего вы рот раскрыли,
Как стофранковый клерк?
Дает нам снова крылья
Барон фон-Розенберг!

Зовет нас на гастроли
В свой замок на концерт.
Вы, право, точно кролик,
Любимый мой Лаэрт!

Послушайте, мой шельма,
Покрасьте свой парик.
Пускай зовет Вильгельма
Капризный Фредерик.

Ах, ужин за спектаклем
На сто один куверт...
Как весел он! — не так ли,
Мой преданный Лаэрт?..

"Дылицы".
1911

Диссона

Георгию Иванову

В желтой гостиной, из серого клена, с обивкою шелковой,
Ваше Сиятельство любит по вторникам томный журфикс.
В дамской венгерке комичного цвета, коричнево-белковой,
Вы предлагаете тонкому обществу ирисный кэкс,
Негно вдыхая сигары эрцгерцога абрис фиалковый...

Ваше Сиятельство к тридцатилетнему
— модному — возрасту
Тело имеете универсальное... как барельеф...
Душу душистую, тщательно скрытую
в шелковом шелесте,
Очень удобную для проституток и для королев...
Впрочем, простите мне, Ваше Сиятельство,
алые шалости...
Вашим супругом, послом в Арлекинии, ярко
правительство:
Ум и талант дипломата суть высшие качества...
Но для меня, для безумца, его аристотельство,
Как и поэзы мои для него, лишь чудачество...
Самое ж лучшее в нем, это — Ваше Сиятельство!

1912

Эпиталама

Пою в помпезной эпиталаме
— О, Златолира, воспламеней! —
Пою Безумье твое и Пламя,
Бог новобрачных, бог Гименей!

Весенься вечно, бог пьяный слепо,
Всегда весенься, наивный бог!
Душа грёзэра, как рай, нелепа!..
Вздох Гименея — Ивлиса вздох!

Журчит в фиалах вино, как зелье,
О, молодые, для вас одних!
Цветы огрезят вам новоселье —
Тебе, невеста! тебе, жених!

Костер ветреет... Кто смеет в пламя?!
Тот, кто пылает костра сильней!
Пою в победной эпиталаме
Тебя, бог свадьбы, бог Гименей!

1911

В шалэ березовом

Поэметта

В шалэ березовом, совсем игрушечном
и комфортабельном,
У зеркалозера, в лесу одебренном, в июне севера,
Убила девушка, в смущеньи ревности, ударом
сабельным
Слепого юношу, в чье ослепление так слепо
верила.

Травой олуненной придя из ельника с охапкой
хвороста,
В шалэ березовом над Белолилией застала
юного,
Лицо склонившего к цветку молочному в порыве
горести,
Тепло шептавшего слова признания в тоске
июневой...

У лесоозера, в шалэ березовом, —
березозебренном, —
Над мертвой лилией, над трупом юноши,
самоуверенно,
Плескалась девушка рыданья хохотом темно-
серебряным...
— И было гибельно. — И было тундрово.—
И было северно.

Сонет

Мы познакомились с ней в опере, — в то время,
Когда Филина пела полонез.
И я с тех пор — в очарованья дреме,
С тех пор она — в рядах моих принцесс.
Став одалиской в грезовом гареме,
Она едва ли знает мой пароль...
А я седлаю Память: ногу в стремя, —
И еду к ней, непознанный король.
Влюблен ли я, дрожит в руке перо ль,
Мне все равно; но вспоминать мне сладко
Ту девушку и данную ей роль.
Ее руки душистая перчатка
И до сих пор устам моим верна...
Но встречу вновь посеять — нет зерна!

1909. Ноябрь

Сонет

Ее любовь проснулась в девять лет,
Когда иной ребенок занят куклой.
Дитя цвело, как томный персик пухлый,
И кудри вились, точно триолет.
Любовь дала малютке амулет:
Ее пленил — как сказка — мальчик смуглый...
Стал, через месяц, месяц дружбы — круглый.
Где, виконтесса, наше трио лет?

Ах, нет того, что так пленяло нас,
Как нет детей с игрой в любовь невинной!
Стремится смуглый мальчик на Парнас,
А девочка прием дает в гостиной
И, посыпая "пудрой" ананас,
Ткет разговор, изысканный и длинный.

Мыза "Ивановка".
1909. Июнь

Сонет

По вечерам графинин фаэтон
Могли бы вы заметить у курзала.
Она входила в зал, давая тон,
Как капельмейстер, настроеньям зала.
Раз навсегда графиня показала
Красивый ум, прищуренный бутон
Чуть зрелых губ, в глазах застывший стон,
Как монумент неверности вассала...

В ее очей фиалковую глубь
Стремилось сердце каждого мужчины.
Но окунать их не было причины, —
Напрасно взоры ныли: "Приголубь"...

И охлаждал поклонников шедевра
Сарказм *ее сиятельства из сэвра.*

1910. Январь

Когда придет корабль

Вы оделись вечером кисейно
И в саду стоите у бассейна,
Наблюдая, как лунеет мрамор
И проток дрожит на нем муаром.
Корабли оякорили бухты:
Привезли тропические фрукты,
Привезли узорчатые ткани,
Привезли мечты об океане.
А когда придет бразильский крейсер,
Лейтенант расскажет Вам про гейзер
И сравнит... но это так интимно!..
Напевая нечто вроде гимна.
Он расскажет о лазори Ганга,
О проказах злых орангутанга,
О циничном африканском танце
И о вечном летуне — "Голландце".
Он покажет Вам альбом Камчатки,
Где еще культура не в зачатке,
Намекнет о нежной дружбе с гейшей,
Умолчав о близости дальнейшей...
За моря мечтой своей зареяв,
Распустив павлиньево свой веер,
Вы к нему прижметесь в теплой дрожи,
Полюбив его еще дороже...

В госпитале

Елене Семеновой

В незабудковом вуальном платье,
С белорозой в блондных волосах,
Навещаешь ты в седьмой палате
Юношу, побитого в горах...

И когда стеклянной галереей
Ты идешь, улыбна и легка,
Зацветают, весело пестрея,
Под ногой цветы половика.
Льется в окна ароматный рокот...
Ты вдыхаешь с музыкой в лице
Птичье пенье, — и смущенный доктор
Мнет в руке написанный рецепт...
А больной, разматывая марлю,
Не умея чувств своих скрывать,
Отставляя рюмку с Беникарло,
Проклинает скучную кровать...
И весенней девушкой омаен,
Упоен девической весной,
Талию твою слегка сжимая,
Хочет жить больной!

1911. Декабрь

Любить единственно...

Любить пленительно одну и ту же,
В полузабвении молить: "Приди!
Пригубь уста мои, пригубь! и туже
Озера страсти запруди!"

И бронзой верности грудь окандалив,
Ручьиться шелестно в извивах душ;
И сочным вечером, когда он палев,
Быть каждой женщине, как муж.

Сметь смело чувствовать, и труд пчелиный
Светло опринципить в своем уме:
То — сок из ландыша, то — из малины
И в поцелуе, и в письме...

Пускай же милая твоя не тужит
И не устраивает слезоем:
Любить единственно, одну и ту же, —
Не надо вечно быть вдвоем!

Мыза "Пустомержа".
1912. Июль

В пяти верстах по полотну...

Весело, весело сердцу! звонко, душа, освирелься! —
Прогрохотал искрометно и эластично экспресс.
Я загорелся восторгом! я загляделся на рельсы! —
Дама в окне улыбалась, дама смотрела на лес.

Ручкой меня целовала. Поздно! — но как же тут "раньше?.."
Эти глаза... вы — фиалки! эти глаза... вы — огни!

Солнце, закатное солнце! твой дирижабль
оранжев!
Сяду в него, — повинуйся, поезд любви обгони!

Кто и куда? — не ответит. Если и хочет,
не может.
И не догнать, и не встретить. Греза —
сердечная моль.
Все, что находит, теряет сердце мое... Боже,
Боже!
Призрачный промельк экспресса дал мне
чаруйную боль.

Варш. ж.д.
1912. Май

Nocturno

Навевали смуть былого окарины
Где-то в тихо вечеревшем далеке, —
И сирены, водяные балерины,
Заводили хороводы на реке.

Пропитались все растенья соловьями
И гудели, замирая как струна.
А в воде — в реке, в пруде, в озерах, в яме —
Фонарями разбросалася луна.

Засветились на танцующей сирене
Водоросли под луной, как светляки.
Захотелось белых лилий и сирени, —
Но они друг другу странно далеки...

Сказка сиреневой кисти

Пастель

Напевая лунные ноктюрны,
Бредил Май о призрачной вакханке,
Охлаждал свой жар росой из урны,
И скользили ножки, точно санки,
Порошею бело-яблоновой,
Скованы желанья знойным хмелем...
И, блистая белизной слоновой
Ровных зубок, шепчет Ночь: "Постелим
Свадебное ложе на поляне,
Набросаем ландышей, азалий
Там, где бродят вдумчивые лани,
Там, где мы впервые рассказали
Сердцем сердцу смутные волненья,
Ожидая тщетно выполненья,
Как шагов невыясненных в зале"...
Тут луна скользнула в аметисте
Глаз царицы, скрытой сонным тюлем, —
И вспорхнули грезы Мая ульем,
И впились в сиреневые кисти...

1909. Октябрь

Полярные пылы

Снеговая поэма

Влюбленная в Северный Полюс Норвегия
В гордой застыла дремоте.
Ленивые лоси! вы, серебро-регие,
Льдяное пламя поймете...
И там, где сливается с снегом медведица,
Греза ее постоянна...
Бледнея в экстазе, сомнамбулой светится
Так же, как д'Арк Иоанна.
Не быть Северянке любовницей полюса:
Полюс — бесплотен, как греза...
Стремленья об иглы лесов укололися...
Гаснет ее ариозо...
Морей привидения — глыбы ледяные —
Точат насмешливо лязги...
И марева сыплют пророчества рдяные
Волнам в сердитой припляске...
Дух Полюса чутко тревожит элегия, —
Он воплощается в ноте...
И, гордо вздыхая обманом, Норвегия
Вновь застывает в дремоте.

1909. Октябрь

Квадрат квадратов

Никогда ни о чем не хочу говорить...
О поверь! — я устал, я совсем изнемог...
Был года палачом, — палачу не парить...
Точно зверь, заплутал меж поэм и тревог...

Ни о чем никогда говорить не хочу...
Я устал... О, поверь! изнемог я совсем...
Палачом был года, — не парить палачу...
Заплутал, точно зверь, меж тревог и поэм...

Не хочу говорить никогда ни о чем...
Я совсем изнемог... О поверь! я устал...
Палачу не парить!.. был года палачом...
Меж поэм и тревог, точно зверь, заплутал...

Говорить не хочу ни о чем никогда!..
Изнемог я совсем, я устал, о поверь!
Не парить палачу!.. палачом был года!..
Меж тревог и поэм заплутал, точно зверь!..

В предгрозье

Этюд

Захрустели пухлые кайзэрки,
Задымился ароматный чай,
И княжна улыбкою грезэрки
Подарила графа невзначай.

Золотая легкая соломка
Заструила в грезы алькермес.
Оттого, что говорили громко,
Колыхался в сердце траур месс.

Пряное душистое предгрозье
Задыхало груди. У реки,
Погрузясь в бездумье и безгрезье,
Удили форелей старики.

Ненавистник дождевых истерик —
Вздрагивал и нервничал дубок.
Я пошел проветриться на берег,
И меня кололо в левый бок.

Детонировал бесслухий тенор —
На соседней даче лейтенант.
Вспыливал нахохлившийся кенар —
Божиею милостью талант.

Небеса растерянно ослепли,
Ветер зашарахался в листве,
Дождевые капли хлестко крепли, —
И душа заныла о родстве...

Было жаль, что плачет сердце чье-то,
Безотчетно к милому влекло.
Я пошел, не дав себе отчета,
Постучать в балконное стекло.

Я один, — что может быть противней!
Мне любовь, любовь ее нужна!
А княжна рыдала перед ливнем
И звала, звала меня княжна!

Молниями ярко озаряем,
Домик погрузил меня в уют.
Мы сердца друг другу поверяем,
И они так грезово поют.

Снова — чай, хрустящие кайзэрки,
И цветы, и фрукты, и ликер,
И княжны, лазоревой грезэрки,
И любовь, и ласковый укор...

Грасильда

1

Когда взвуалится фиоль,
        Офлеря ручеек,
Берет Грасильда канифоль
        И скрипку, и смычок.
Потом идет на горный скат
        Запеть свои псалмы.
Вокруг леса, вокруг закат
        И нивы, и холмы.
Прозрачна песня, как слюда,
        Как бриллиант в воде...
И ни туда, и ни сюда, —
        И всюду, и везде!

2

Я выхожу в вечерний сад,
        Утопленный в луне.
Шагну вперед, шагну назад, —
        То к дубу, то к волне.
Повсюду сон, везде туман,
        Как обруч — голоса...
Струят чарующий обман
        Еловые леса.
Грасильда песнь поет во тьме,
        Подобную звезде...
И ни в груди, и ни в уме, —
        И всюду, и везде!

3

Какая ночь! — и глушь, и тишь,
        И сон, и лунь, и воль...
Зачем же, сердце, ты грустишь?
        Откуда эта боль?
Грасильда, пой. Грасильда, пой,
        Маячь пути ко сну.
Твоей симфонией слепой
        Я сердце захлестну!
Грасильда, пой!.. Уста к устам, —
        И мы уснем в воде...
Любовь ни здесь, любовь ни там, —
        И всюду, и везде!

Июневый набросок

Мисс Лиль

Взгляни-ка, девочка, взгляни-ка! —
В лесу поспела земляника,
И прифрантился мухомор —
Объект насмешек и умор...
О, поверни на речку глазы

(Я не хочу сказать: глаза...)
Там утки, точно водолазы,
Ныряют прямо в небеса.
Ты слышишь? — чьи-то голоса
Звучат так весело — задорно
Над онебесенной рекой?
Дитя, послушай, — успокой
Свою печаль; пойми, все вздорно
Здесь, на земле... Своей тоской
Ты ничего тут не изменишь,
Как нищего не обезденежь,
Как полдня ты не олунишь...
Взгляни вокруг себя, взгляни ж!
Оно подобно мигу, лето...
Дитя, ты только посмотри:
Ведь мухомор — как Риголетто,
Да не один еще — их три!..

Гурманка

Сонет

Ты ласточек рисуешь на меню,
Взбивая сливки к тертому каштану.
За это я тебе не изменю
И никогда любить не перестану.
Все жирное, что угрожает стану,
В загоне у тебя. Я не виню,
Что петуха ты знаешь по Ростану
И вовсе ты не знаешь про свинью.

Зато когда твой фаворит — арабчик
Подаст с икрою паюсною рябчик,
Кувшин Шабли и стерлядь из Шексны,
Пикантно сжав утонченные ноздри,
Ты вздрогнешь так, что улыбнутся сестры,
Приняв ту дрожь за веянье весны...

Марионетка проказ

Новелла

Чистокровные лошади распылились в припляске,
Любопытством и трепетом вся толпа сражена.
По столичному городу проезжает в коляске
Кружевная капризная властелина жена.

Улыбаясь презрительно на крутые поклоны
И считая холопами без различия всех,
Вдруг заметила женщина — там, где храма колонны,
Нечто красочно-резкое, задохнувшее смех.

Оборванец, красивее всех любовников замка,
Шевелил ее чувственность, раболепно застыв.
И проснулась в ней женщина, и проснулась в ней самка,
И она передернулась, как в оркестре мотив.

Повелела капризница посадить оборванца
На подушку атласную прямо рядом с собой.
И толпа оскорбленная не сдержала румянца,
Хоть наружно осталася безнадежной рабой.

А когда перепуганный — очарованный нищий
Бессознательно выполнил гривуазный приказ,
Утомленная женщина, отшвырнув голенищи,
Растоптала коляскою марьонетку проказ...

Prélude 1

Я, белонежный, печальноюный бубенчик-ландыш,
Шуршу в свой чепчик
Зефира легче
Для птичек певчих...
И тихо плачу белесой ночью, что миг мне дан лишь —
Для вдохновенья,
Для упоенья
Самозабвенья...

О, Май душистый,
Приляг на мшистый
Ковер пушистый!
Люблю, как утром мои коронки ты обрильянтишь!
На лунострупе
Пою чаруний —
Стрекоз ажурных... Я — милый, белый, улыбный ландыш —
Усну в июне...

Virelai

Я голоса ее не слышал,
Я имени ее не знал...
...Она была в злофейном крэпе...
...В глазах ее грустили степи...
Когда она из церкви вышла
И вздрогнула — я застонал...
Но голоса ее не слышал,
Но имени ее не знал.

1912. Ноябрь

Дель-Аква-Тор

Лирическая вуаль

1

— Иди к цветку Виктории Регине,
    Иди в простор
И передай привет от герцогини
    Дель-Аква-Тор.
На том цветке созрело государство;
    Найди шалэ;
У входа — страж, в руке у стража — астра,
    Звезда во мгле.
Тогда скажи, застолбенея в дверцах:
    "Несу простор!
Привет тебе, лилиесердный герцог
    Дель-Аква-Тор!
Вставай на путь, по благости Богини
    Тоску забудь...
Внемли послу грозовой герцогини —
    Вставай на путь!
Довольно мук; ты долго пожил ало,
    Твой бред кровав;
Она тебя увидеть пожелала,
    К себе призвав.
Довольно мук — их искупило время...
    Твой взор смущен...
Коня, коня! огнистей ногу в стремя, —
    Ведь, ты прощен!" —

2

Ушел посол к Виктории Регине,
    Ушел в простор,
Чтоб передать привет от герцогини
    Дель-Аква-Тор.
Он долго брел в обетах ложных далей
    И — в щелях скал —
Испепелил подошвы у сандалий,
    И все искал.
Искал страну и, втайне, думал: сгину, —
    Не поверну...
Искал страну Викторию Регину,
    Искал страну.
Лишь для него пчела будила струны
    Своих мандол;
Лишь для него ломалось о буруны
    Весло гондол;
Лишь для него провеерила воздух
    Слюда цикад.
И шел гонец, и шел с гонцом сам Грез Дух —
    Все наугад.

Он не пришел к Виктории Регине,
    Он не пришел;
Не передал прощенья герцогини, —
    Он не нашел.
Он не нашел такой страны цветковой
    И — между скал —
Погиб посол, искать всегда готовый...
    Да, он искал!

3

Прошли века, дымя свои седины,
    Свой прах сложив,
В земле — рабы, и в склепах — паладины,
    Но герцог — жив.
Он жив! он жив! Он пьет очами сердца
    Пустой простор.
И мира нет, — но *где-то* бьется герцог
    Дель-Аква-Тор...

Сонаты в шторм

На Ваших эффектных нервах звучали всю ночь
    сонаты,
А Вы возлежали в башне на ландышевом ковре...
Трещала, палила буря, и якорные канаты,
Как будто титаны-струны, озвучили весь корвет.

Но разве Вам было дело, что где-то рыдают
    и стонут,
Что бешеный шторм грохочет, бросая на скалы
    фрегат.
Вы пили вино мятежно. Вы брали монбланную
    ноту!
Сверкали агаты брошек, но ярче был взоров
    агат!

Трещала, палила буря. Стонала дворцовая
    пристань.
Кричали и гибли люди. Корабль набегал
    на корабль.
А вы, семеня гранаты, смеясь, целовали
    артиста...
Он сел за рояль, как гений, — окончил игру,
    как раб...

"Дылицы".
1911

Балькис и Валтасар

Лириза
(По Анатолю Франсу)

Прекрасною зовут тебя поэты,
Великою зовут тебя жрецы.

Мирра Лохвицкая

1. Царь Валтасар у стен Сабата

Повеял шумный аромат
Цветов, забвенней, чем Нирвана.
Конец пути для каравана:
Вот и она, страна Сабат!
Царь Эфиопский Валтасар
Вскричал рабам: "Поторопитесь!
О, маг мой мудрый, Сембобитис,
Мы у Балькис, царицы чар!
Снимайте пыльные тюки
С присевших, в устали, верблюдов
И мирру, в грани изумрудов,
И золотые пустяки".
Гостей приветствует весна,
Цветут струистые гранаты;
Как птицы, девушки крылаты,
Все жаждет ласки и вина!
Где золотеют купола —
Фонтан, лук сабель влажно-певчих,
Ракетит ароматный жемчуг
И рассекает пополам!
Волнуйно-теневый эскиз
Скользнул по зубчикам дворцовым, —
В наряде чувственно-пунцовом
К гостям спускается Балькис.
Цветет улыбка на губах,
Разгоряченных соком пальмы, —
И Валтасар, как раб опальный,
Повержен долу при рабах...

2. В шатре блаженства

Улыбно светит с неба Син —
Цветка эдемного тычинкой.
Царь кипарисною лучинкой
Разлепесточил апельсин.
В углу распластан леопард,
И — кобылицею на воле —
Балькис, в гирляндах центифолий,
На нем волшбит колоду карт.
Ланитный алый бархат смугл,
И губы алчущие пряны...
Глаза — беспочвенные страны,
Куда — ни слон, ни конь, ни мул...
Омиррен палевый шатер,
И царь, омгленный ароматом,
От страсти судорожно-матов,
К царице руки распростер...
Менкера, евнух женофоб,
Бледнеет желтою досадой...
А в окна льется ночь из сада —
Черна, как истый эфиоп.
И вот несет уже кувшин
С водой душистою Алави...
И Суламифь, в истомной славе,
Ждет жгучей бездны, как вершин...

3. В Эфиопии

Олунен ленно-струйный Нил,
И вечер, взяв свое кадило,
Дымит чешуйкам крокодила, —
Он сердце к сердцу заманил.
Печален юный Валтасар.
Трепещут грезы к Суламите...
На звезды смотрит он: "Поймите
Мою любовь к царице чар!"
Он обращается к Кандас:
"Пойми, Балькис меня отвергла
И прогнала меня, как негра,
Насмешкою маслинных глаз!.."
Тиха терраса у реки,
Спят Сембобитис и Менкера.
Завоет в роще пальм пантера,
Завьются змеи в тростники, —
И снова тишь. Тоской объят,
Царь погружается в безгрезье...
Склонился ангел в нежной позе,
Твердит, что вымышлен Сабат...
Все это — сон, мечта, каприз...
Извечный вымысел вселенский...

...В стране Сабат царь Комагенский
Берет горящую Балькис!

1911

Городская осень

Как элегантна осень в городе,
Где в ратуше дух моды внедрен!
Куда вы только ни посмотрите —
Везде на клумбах рододендрон...

Как лоско матовы и дымчаты
Пласты смолового асфальта,
И как корректно-переливчаты
Слова констэблевого альта!

Маркизы, древья улиц стриженых,
Блестят кокетливо и ало;
В лиловом инее — их, выжженных
Улыбкой солнца, тишь спаяла.

Надменен вылощенный памятник,
(И глуповат!) прибавлю в скобках...
Из пыли летней вынут грамотник
Рукой детей, от лени робких.

А в лиловеющие сумерки, —
Торцами вздорного проспекта, —
Зевают в фаэтонах грумики,
Окукленные для эффекта...

Костюм кокоток так аляповат...
Картавый смех под блесткий веер...
И Фантазэр на пунце Запада
Зовет в страну своих феерий!..

Оскар Уайльд

Ассо-сонет

Его душа — заплеванный Грааль,
Его уста — орозенная язва...
Так: ядосмех сменяла скорби спазма,
Без слез рыдал иронящий Уайльд.
У знатных дам, смакуя Ривезальт,
Он ощущал, как едкая миазма
Щекочет мозг; — щемящего сарказма
Змея ползла в сигарную вуаль...

Вселенец, заключенный в смокинг дэнди,
Он тропик перенес на вечный ледник, —
И солнечна была его тоска!

Палач-эстет и фанатичный патер,
По лабиринту шхер к морям фарватер,
За Красоту покаранный Оскар!

Гюи де-Мопассан

Сонет

Трагичный юморист, юмористичный трагик,
Лукавый гуманист, гуманный ловелас,
На Францию смотря прищуром зорким глаз,
Он тек по ней, как ключ — в одебренном овраге.
Входил ли в форт Beaumonde, пред ним
спускались флаги,
Спускался ли в Разврат — дышал, как водолаз,
Смотрел, шутил, вздыхал и после вел рассказ
Словами между букв, пером не по бумаге.

Маркиза ль, нищая, кокотка ль, буржуа, —
Но женщина его пленительно свежа,
Незримой, изнутри, лазорью осиянна...

Художник-ювелир сердец и тела дам,
Садовник девьих грез, он зрил в шантане храм,
И в этом — творчество Гюи де-Мопассана.

1912. Апрель

Памяти Амбруаза Тома

Сонет

Его мотив — для сердца амулет,
А мой сонет — его челу корона.
Поют шаги: Офелия, Гамлет,
Вильгельм, Рэймонд, Филина и Миньона.

И тени их баюкают мой сон
В ночь летнюю, колдуя мозг певучий.
Им флейтой сердце трелит в унисон,
Лия лучи сверкающих созвучий.

Слух пьет узор нюансов увертюр,
Крыла ажурной грацией амур
Колышет грудь кокетливой Филины.

А вот страна, где звонок аромат,
Где персики влюбляются в гранат,
Где взоры женщин сочны, как маслины.

1908

На смерть Масснэ

Я прикажу оркестру, где-нибудь в людном месте,
В память Масснэ исполнить выпуклое попурри
Из грациоз его же. Слушайте, капельмейстер:
Будьте построже с темпом для партитур-
"causerie"!

Принцем Изящной Ноты умер седой
композитор:
Автор "Таис" учился у Амбруаза Тома,
А прославитель Гете, — как вы мне там
ни грозите, —
Это — король мелодий! — Это — изящность
сама!

Хитрая смерть ошиблась и оказалась
не хитрой, —
Умер Масснэ, но "умер" тут прозвучало
как "жив".
Палочку вверх, маэстро! Вы, господа,
за пюпитры, —
Мертвый живых озвучит, в творчество душу
вложив!

Веймарн.
1912. Август

III. За струнной изгородью лиры

Интродукция

Триолет

За струнной изгородью лиры
Живет неведомый паяц.
Его палаццо из палацц —
За струнной изгородью лиры...
Как он смешит пигмеев мира,
Как сотрясает хохот плац,
Когда за изгородью лиры
Рыдает царственный паяц!..

1909

Нерон

Поверяя пламенно золотой форминге
Чувства потаенные и кляня свой трон,
На коне задумчивом, по лесной тропинке,
Проезжает сгорбленный, страждущий Нерон.

Он — мучитель-мученик! Он — поэт-убийца!
Он жесток неслыханно, нежен и тосклив...
Как ему, мечтателю, в свой Эдем пробиться,
Где так упоителен солнечный прилив?

Мучают бездарные люди, опозорив
Облик императора общим сходством с ним...
Чужды люди кесарю: Клавдий так лазорев,
Люди ж озабочены пошлым и земным.

Разве удивительно, что сегодня в цирке,
Подданных лорнируя и кляня свой трон,
Вскочит с места, в бешенстве, выместив
в придирке
К первому патрицию злость свою, Нерон?

Разве удивительно, что из лож партера
На урода рыжего, веря в свой каприз,
Смотрят любопытные, жадные гетеры,
Зная, что душа его — радостный Парис?

Разве удивительно, что в амфитеатре
Все насторожилося, и задохся стон,
Только в ложе кесаря появился, на три
Мига потрясающих, фьолевый хитон?

1911

Сонет

Я коронуюсь утром мая
Под юным солнечным лучом.
Весна, пришедшая из рая,
Чело украсит мне венцом.

Жасмин, ромашки, незабудки,
Фиалки, ландыши, сирень
Жизнь отдадут — цветы так чутки! —
Мне для венца в счастливый день.

Придет поэт, с неправдой воин,
И скажет мне: "Ты быть достоин
Моим наследником; хитон,

Порфиру, скипетр — я, взволнован,
Даю тебе... Взойди на трон,
Благословен и коронован".

1908

Из Анри де Ренье

Боги

Во сне со мной беседовали боги:
Один струился влагой водорослей,
Другой блестел колосьями пшеницы
И гроздьями тяжелыми шумел.
Еще один — прекрасный и крылатый
И — в наготе — далекий, недоступный;
Еще один — с лицом полузакрытым;
И пятый бог, который с тихой песней,
Берет омег, анютины глазенки
И змеями двумя перевивает
Свой золотой и драгоценный тирс.
И снились мне еще другие боги...

И я сказал: вот флейты и корзины,
Вкусите от плодов моих простых,
Внимайте пенью пчел, ловите шорох
Смиренных ив и тихих тростников.
И я сказал: Прислушайся... есть кто-то,
Кто говорит устами эхо где-то,
Кто одинок на страже шумной жизни,
Кто в руки взял двойные лук и факел,
Кто — так непостижимо — сами мы...

О, тайный лик! Ведь я тебя чеканил
В медалях из серебряной истомы,
Из серебра, нежнее зорь осенних,
Из золота, горячего, как солнце,
Из меди, мрачной меди, точно ночь.

Чеканил я тебя во всех металлах,
Которые звенят светло, как радость,
Которые звучат темно и глухо,
Звучат — как слава, смерть или любовь.
Но лучшие — я мастерил из глины,
Из хрупкой глины, серой и сухой...
С улыбкою вы станете считать их
И, похвалив за тонкую работу,
С улыбкою пройдете мимо них...
Но как же так? но что же это значит?
Ужель никто, никто из нас не видел,
Как эти руки нежностью дрожали,
Как весь великий сон земли вселился,
Как жил во мне, чтоб в них воскреснуть вновь?
Ужель никто, никто из нас не понял,
Что из металлов благостных я делал
Моих богов и что все эти боги
Имели лик того, всего святого,
Что чувствуем, угадываем тайно
В лесу, в траве, в морях, в ветрах и в розах,
Во всех явленьях, даже в нашем теле,
И что они — священно — сами мы!..

1910. Февраль

Поэза о солнце, в душе восходящем

В моей душе восходит солнце,
Гоня невзгодную зиму.
В экстазе идолопоклонца
Молюсь таланту своему.

В его лучах легко и просто
Вступаю в жизнь, как в листный сад.
Я улыбаюсь, как подросток,
Приемлю все, всему я рад.

Ах, для меня, для беззаконца,
Один действителен закон:
В моей душе восходит солнце,
И я лучиться обречен!

1912. Май

Грезовое царство

Я — царь страны несуществующей,
Страны, где имени мне нет...
Душой, созвездия колдующей,
Витаю я среди планет.

Я, интуит с душой мимозовой,
Постиг бессмертия процесс.
В моей стране есть терем грезовый
Для намагниченных принцесс.

В моем междупланетном тереме
Звучат мелодии Тома.
Принцессы в гений мой поверили,
Забыв земные терема.

Их много, дев нерассуждающих,
В экстазе сбросивших плащи,
Так упоительно страдающих
И переливных, как лучи.

Им подсказал инстинкт их звончатый
Избрать мой грезовый гарем.
Они вошли душой бутончатой,
Вошли — как Ромул и как Рем.

И распустилось царство новое,
Страна безразумных чудес...
И, восхищен своей основою,
Дышу я душами принцесс!..

Тринадцатая

Новелла

У меня дворец двенадцатиэтажный,
У меня принцесса в каждом этаже.
Подглядел-подслушал как-то вихрь протяжный, —
И об этом знает целый свет уже.

Знает, — и прекрасно! сердцем не плутую!
Всех люблю, двенадцать, — хоть на эшафот!
Я настрою арфу, арфу золотую,
Ничего не скрою, все скажу... Так вот:

Все мои принцессы — любящие жены,
Я, их повелитель, любящий их муж.
Знойным поцелуем груди их прожжены,
И в каскады слиты ручейки их душ.

Каждая друг друга дополняет тонко,
Каждая прекрасна, в каждой есть свое:
Та грустит беззвучно, та хохочет звонко, —
Радуется сердце любое мое!

Поровну люблю я каждую принцессу,
Царски награждаю каждую собой...
День и ночь хожу по лестнице, завесу
Очередной спальни дергая рукой...

День и ночь хожу я, день и ночь не сплю я,
В упоеньи мигом некогда тужить.
Жизнь — от поцелуя, жизнь — до поцелуя,
Вечное забвенье не дает мне жить.

Но бывают ночи: заберусь я в башню,
Заберусь один в тринадцатый этаж,

И смотрю на море, и смотрю на пашню,
И чарует греза все одна и та ж:

Хорошо бы в этой комнате стеклянной
Пить златистогрезый черный виноград
С вечно-безымянной, странно так желанной,
Той, кого не знаю и узнать не рад.

Скалы молят звезды, звезды молят скалы,
Смутно понимаю тайну скал и звезд, —
Наполняю соком и душой бокалы
И провозглашаю безответный тост!..

Прогулка короля

Этюд

П.Я.Морозову

Я иду со свитою по лесу.
Солнце лавит с неба, как поток.
Я смотрю на каждую принцессу,
Как пчела на мёдовый цветок.

Паутинкой златно перевитый
Веселеет полдневый лесок.
Я иду с принцессовою свитой
На горячий моревый песок.

Олазорен шелковою тканью,
Коронован розами венка,
Напевая что-то из Масканьи,
Вспоминаю клумбу у окна...

Наклонясь с улыбкой к адъютанту —
К девушке, идущей за плечом, —
Я беру ее за аксельбанты,
Говоря про все и ни о чем...

Ах, мои принцессы не ревнивы,
Потому что все они мои...
Мы выходим в спеющие нивы —
Образцом изысканной семьи...

Вьются кудри: золото и бронза,
Пепельные, карие и смоль.
Льются взоры, ласково и грезно —
То лазорь, то пламя, то фиоль.

Заморело! — глиняные глыбки
Я бросаю в море, хохоча.
А вокруг — влюбленные улыбки,
А внизу — песчаная парча!

На pliant из алой парусины
Я сажусь, впивая горизонт.
Адъютант приносит клавесины,
Раскрывает надо мною зонт.

От жары все личики поблекли,
Прилегли принцессы на песке;
Созерцают море сквозь бинокли
И следят за чайкой на мыске.

Я взмахну лорнетом, — и Сивилла
Из Тома запела попурри,
Всю себя офлерила, овила,
Голоском высоко воспарив.

Как стройна и как темноголова!
Как ее верхи звучат свежо!
Хорошо!.. — и нет другого слова,
Да и то совсем не хорошо!

В златосне, на жгучем побережье,
Забываю свой высокий сан,
И дышу, в забвении, все реже,
Несказанной Грезой осиян...

Призрак

Ты каждый день приходишь, как гризетка,
В часовню грез моих приходишь ты;
Твоей рукой поправлена розетка,
Румянцем уст раскрашены мечты.

Дитя мое! Ты — враг ничтожных ролек,
А вдохновлять поэта — это честь.
Как я люблю тебя, мой белый кролик!
Как я ценю!.. Но чувств не перечесть.

Я одинок... Я мелочно осмеян...
Ты поняла, что ласка мне нужна —
Твой гордый взор так нежен, так лилеен,
Моя сестра, подруга и жена.

Да, верю я глазам твоим, влекущим
Меня к Звезде, как верю я в Звезду.
Я отплачу тебе своим грядущим
И за собой в бессмертие введу!

1909. Декабрь

Мисс Лиль

Котик милый, деточка! встань скорей
на цыпочки,
Алогубы-цветики жарко протяни...
В грязной репутации хорошенько выпачкай
Имя светозарное гения в тени!..

Ласковая девонька! крошечная грешница!
Ты еще пикантнее от людских помой!
Верю: ты измучилась... Надо онездешниться,
Надо быть улыбчатой, тихой и немой.

Все мои товарищи (как зовешь нечаянно
Ты моих поклонников и незлых врагов...)
Как-то усмехаются и глядят отчаянно
На ночную бабочку выше облаков.

Разве верят скептики, что ночную бабочку
Любит сострадательно молодой орел?
Честная бесчестница! белая арабочка!
Брызгай грязью чистою в славный ореол!..

1911

Коктебель

Подходят ночи в сомбреро синих,
Созвездья взоров поют звезде,
Поют в пещерах, поют в пустынях,
Поют на море, поют везде.

Остынет отзвук денного гуда, —
И вьюгу звуков вскрутит закат...
Подходят ночи — зачем? откуда? —
К моей избушке на горный скат.

Как много чувства в их взмахах теплых!
Как много тайны в их ласк волшбе!
Весь ум — в извивах, все сердце — в воплях...
Мечта поэта! пою тебе...

Алтайский гимн

О, океана золотая, —
Крещенский солнечный восход!
Скользит, как вздох Эола тая,
По скатогориям Алтая
Победоносный лыжеход.

    Снега, снега, — как беломорье...
    Восход бестепел. Вдоль полян
    Метет предутренник с нагорья
    Пушисто-снежное узорье,
    А ветер светел и ледян.

Осветозарь мои веленья,
Мои желанья и пути,
Ты, созидающий оленя,
Как бодрость упоенной лени,
Дающий десять для пяти!

    Гуди, ледяное безводье!
    Пылай короною, Январь!
    Крепи, бурят, свои поводья,
    А Ты, Эмблема Плодородья,
    Мои пути осветозарь!

Агасферу морей

Вижу, капитан "Скитальца-Моряка",
    Вечный странник,
Вижу, как твоя направлена рука
    На "Titanic"...

Знаю, капитан немого корабля,
    Мститель-призрак,
Знаю, что со дня, как выгнала земля,
    Буре близок...

Верю, капитан "Голландца-Летуна",
    Враг боязни,
Верю, для тебя — пустить корабль до дна —
    Страстный праздник...

Злобный хохот твой грохочет в глубине
    Окаянно:
Все теперь — твое, лежащее на дне
    Океана...

Рыбам отдаешь — зачем трофей тебе?! —
    Все — для пищи...
Руку, капитан, товарищ по судьбе,
    Мой дружище!

1912. Апрель

На летуне

Валерию Брюсову

Король на плахе. Королевство —
Уже республика; и принц
Бежит, сестры спасая девство,
В одну из моревых провинц.

И там, в улыбности привета,
У острых шхер, у сонных дюн,
Их ждут — и палуба корвета,
И комфортабельный летун.

Вперед! — осолнечен пропеллер,
Стрекочет, ветрит и трещит.
Моторолёт крылит на север,
Где ощетинен бора щит.

Скорбит принцесса. В алой ленте
Лукавит солнце, как Пилат.

Злодея мыслит в президенте
Беглец из мраморных палат.

И, очарованный полетом,
Дарит пилоту комплимент,
Не зная, что его пилотом —
Никто иной, как президент!

Газэлла

Мой мозг словами: "Ты — больной!"
сжимаешь ты
И хлыст упругий и стальной сжимаешь ты.

Я хохочу тебе в лицо, я хохочу, —
И, в гневе, хлыст своей рукой сжимаешь ты.

Над головой моей взнесла свистящий хлыст, —
Ударить хочешь, но с тоской сжимаешь ты.

"Живи, люби, пиши, как все! и будешь — мой"...
Меня в объятьях, — и с мольбой, —
сжимаешь ты.

Немею в бешенстве — затем, чтоб не убить!
Мне сердце мукой огневой сжимаешь ты.

Веймарн.
1912. Август

Рондели

О Мирре грезит Вандэлин,
О Вандэлине грезит Мирра,
Она властительница мира,
И он — вселенной властелин.
Люблю я в замке меж долин
Внимать душою, полной мира,
Как Миррой грезит Вандэлин,
Как Вандэлином грезит Мирра.
Под стрекотанье мандолин
Дрожит моя больная лира,
Что Мирры нет, что в мире сиро
И что — всегда, всегда один —
Грустит о Мирре Вандэлин.

1911

Врубелю

Так тихо-долго шла жизнь на убыль...
В душе, исканьем обворованной...
Так странно-тихо растаял Врубель,
Так безнадежно очарованный...
Ему фиалки струили дымки
Лица трагически безликого...
Душа впитала все невидимки,
Дрожа в преддверии великого...

Но дерзновенье слепило кисти,
А кисть дразнила дерзновенное...
Он тихо таял, — он золотистей
Пылал душою вдохновенною...

Цветов побольше на крышку гроба:
В гробу — венчанье!.. Отныне оба —
Мечта и кисть — в немой гармонии,
Как лейтмотив больной симфонии...

1910. Апрель

Демон

Княжне Ар. Шахназаровой

Кавказ! Я никогда не видел
Твоих ущелий, рек и скал
И на арабце, чуя гибель,
В ущельях скользких не скакал.

Но страстная волна Дарьяла
В моей душе рождает гул;
Мне сердце часто повторяло,
Что порывается в аул.

Там где-нибудь в грузинской сакле,
Под стон унывной каманчи,
Еще легенды не иссякли —
Грез неистечные ключи.

Мне верится, твои Тамары,
О магнетический Кавказ,
Еще волшбят в чинарах чары,
Еще не кончили свой сказ...

Еще не высохла Арагва,
Еще не вымер Синодал,
Но Демон пламенно и нагло
Уж не возникнет между скал:

Теперь, когда проник в Эдем он,
Воссев на покоренный трон,
Томится пресыщенный Демон
И ни о чем не грезит он...

1911. Ноябрь

На смерть Фофанова

Поэзия есть зверь, пугающий людей!

К. Фофанов

Пока поэт был жив, его вы поносили,
Покинули его, бежали, как чумы...
Пред мудрым опьяненьем — от бессилья
Дрожали трезвые умы!

Постигнете ли вы, "прозаики-злодеи",
Почтенные отцы, достойные мужи,
Что пьяным гением зажженные идеи —
Прекрасней вашей трезвой лжи?!

Постигнете ли вы, приличные мерзавцы,
Шары бездарные в шикарных котелках,
Что сердце, видя вас, боялось разорваться,
Что вы ему внушали страх?!

Не вам его винить: весь мир любить готовый,
И видя только зло, — в отчаяньи, светло
Он жаждал опьянеть, дабы венец терновый,
Как лавр, овил его чело!..

Я узнаю во всем вас, дети злого века!
Паденье славного — бесславных торжество!
Позорно презирать за слабость человека,
Отнявши силы у него!

"Дылицы".
1911. Август

Над гробом Фофанова

Интуитта

Милый Вы мой и добрый! Ведь Вы так измучились
От вечного одиночества, от одиночного холода...
По своей принцессе лазоревой — по Мечте своей соскучились:
Сердце-то было весело! сердце-то было молодо!

Застенчивый всегда и ласковый, вечно Вы тревожились,
Пели почти безразумно, — до самозабвения...
С каждою новою песнею Ваши страданья множились,
И Вы — о, я понимаю Вас! — страдали от вдохновения...

Вижу Вашу улыбку, сквозь гроб меня озаряющую,
Слышу, как Божьи ангелы говорят Вам: "Добро пожаловать!"
Господи! прими его душу, так невыносимо страдающую!
Царство Тебе Небесное, дорогой Константин Михайлович!

1911. Май

Любовь и слава

Я полюбил двух юных королев,
Равно влекущих строго и лукаво.
Кого мне предпочесть из этих дев?
Их имена: Любовь и Слава.

Прекрасные и гордые! владеть
Хочу двумя, чарующие, вами.
В ответ надменно блещете очами,
И я читаю в них: "Не сметь!"

Влекусь к Любви, — заносит ржавый нож,
Грозя гангреной, мстительная Слава.
К ней поверну, молю ее, — "Направо!"
Кричит Любовь: "А я-то что ж?"

"Вы обе дороги", — стенаю. "Нет!" —
Ответствуют мне разом девы:
"Одну из нас, — кому свои напевы
И жизнь свою вручишь, поэт!"

Я выбрать не могу. Прочь, Смерть! — Рабов
Удел — самоубийство! выход найден:
Дай, Слава, мне питья из виноградин,
Ты отрави его, Любовь!

1912

Героиза

Мне улыбалась Красота,
Как фавориту — аполлонцу,
И я решил подняться к Солнцу,
Чтоб целовать его уста!
Вознес меня аэроплан
В моря расплавленного злата;
Но там ждала меня расплата:
Голубоперый мой палан
Испепелен, как деревянный
Машинно-крылый истукан,
А я за дерзновенный план,
Под гром и грохот барабанный,
Был возвращен земле жеманной —
Живым и смелым. Ураган
Взревел над миром, я же, странный,
Весь от позора бездыханный,
Вином наполнил свой стакан,

Ища в нем черного безгрезья
От вдохновения и грез...
И что же? — в соке сжатых гроздий
Сверкал мне тот же Гелиос!
И в белом бешенстве ледяном,
Я заменял стакан стаканом,
Глотая Солнце каждый раз!..
А Солнце, в пламенном бесстрастьи,
Как неба вдохновенный глаз,
Лучи бросало, точно снасти,
И презирало мой экстаз!..

...Ищу кудесное кольцо,
Чтоб окрылиться аполлонцу,
И позабывшемуся Солнцу
Надменно плюну я в лицо!

1911. Декабрь

Рядовые люди

Я презираю спокойно, грустно, светло и строго
Людей бездарных: отсталых, плоских, темно-упрямых.
Моя дорога — не их дорога.
Мои кумиры — не в людных храмах.

Я не желаю ни зла, ни горя всем этим людям, —
Я равнодушен; порой прощаю, порой жалею.
Моя дорога лежит безлюдьем.
Моя пустыня — дворца светлее.

За что любить их, таких мне чуждых? за что убить их?!
Они так жалки, так примитивны и так бесцветны.
Идите мимо в своих событьях, —
Я безвопросен: вы безответны.

Не знаю скверных, не знаю подлых: все люди правы;
Не понимают они друг друга, — их доля злая;
Мои услады — для них отравы.
Я презираю, благословляя...

Мои похороны

Меня положат в гроб фарфоровый,
На ткань, снежинок яблоновых,
И похоронят (...как Суворова...)
Меня, новейшего из новых.

Не повезут поэта лошади, —
Век даст мотор для катафалка.
На гроб букеты вы положите:
Мимоза, лилия, фиалка.

Под искры музыки оркестровой,
Под вздох изнеженной малины —
Она, кого я так приветствовал,
Протрелит полонез Филины.

Всем будет весело и солнечно,
Осветит лица милосердье...
И светозарно-ореолочно
Согреет всех мое бессмертье!

Секстина

Я заклеймен, как некогда Бодлэр;
То — я скорблю, то — мне от смеха душно.
Читаю отзыв, точно ем "эклер":
Так обо мне рецензия... воздушна.
О, критика — проспавший Шантеклер! —
"Ку-ка-ре-ку!", ведь солнце не послушно.

Светило дня душе своей послушно.
Цветами зла увенчанный Бодлэр,
Сам — лилия... И критик-шантеклер
Сконфуженно бормочет: "что-то душно"...
Пусть дирижабли выглядят воздушно,
А критики забудут — про "эклер".

Прочувствовать талант — не съесть "эклер",
Внимать душе восторженно, послушно —
Владеть душой; нельзя судить воздушно, —
— *Поглубже вглубь*: бывает в ней *Бодлэр*.
И курский соловей поет бездушно,
Когда ему мешает шантеклер.

Иному, впрочем, ближе "шантеклер",
Такой "иной" воздушен, как "эклер",
И от такого вкуса — сердцу душно.
"Читатель средний" робко и послушно
Подумает, что пакостен Бодлэр,
И примется браниться не воздушно...

И в воздухе бывает не воздушно,
Когда летать захочет шантеклер,
Иль авиатор, скушавший "эклер",
Почувствует (одобришь ли, Бодлэр?)
Почувствует, что сладость не послушна,
Что тяжело под ложечкой и душно...

Близка гроза. Всегда предгрозье душно.
Но хлынет дождь живительный воздушно,—
Вздохнет земля свободно и послушно.
Близка гроза! Вы курятник, Шантеклер!
В моих очах éclair, а не "эклер"!
Я отомщу *собою*, как — Бодлэр!

1910. Весна

IV. Эго-футуризм

Пролог

Вы идете обычной тропой, —
Он к снегам недоступных вершин.

Мирра Лохвицкая

I

Прах Мирры Лохвицкой осклепен,
Крест изменен на мавзолей, —
Но до сих пор великолепен
Ее экстазный станс аллей.

Весной, когда, себя ломая,
Пел хрипло Фофанов больной,
К нему пришла принцесса мая,
Его окутав пеленой...

Увы! — Пустынно на опушке
Олимпа грезовых лесов...
Для нас Державиным стал Пушкин, —
Нам надо новых голосов!

Теперь повсюду дирижабли
Летят, пропеллером ворча,
И ассонансы, точно сабли,
Рубнули рифму сгоряча!

Мы живы острым и мгновенным, —
Наш избалованный каприз:
Быть ледяным, но вдохновенным,
И что ни слово, — то сюрприз.

Не терпим мы дешевых копий,
Их примелькавшихся тонов
И потрясающих утопий
Мы ждем, как розовых слонов...

Душа утонченно черствеет,
Гнила культура, как рокфор...
Но верю я: завеет веер!
Как струны, брызнет сок амфор!

Придет Поэт — он близок! близок! —
Он запоет, он воспарит!
Всех муз былого в одалисок,
В своих любовниц претворит.

И, опьянен своим гаремом,
Сойдет с бездушного ума...
И люди бросятся к триремам,
Русалки бросятся в дома!

О, век Безразумной Услады,
Безлистно-трепетной весны,
Модернизованной Эллады
И обветшалой новизны!..

"Дылицы".
1911. Лето

II

Опять ночей грозовы ризы,
Опять блаженствовать лафа!
Вновь просыпаются капризы,
Вновь обнимает их строфа.

Да, я влюблен в свой стих державный,
В свой стих изысканно-простой,
И льется он волною плавной
В пустыне чахлой и пустой.

Все освежая, все тревожа,
Топя в дороге встречный сор,
Он поднимает часто с ложа
Своих кристальных струй узор.

Препон не знающий с рожденья,
С пренебреженьем к берегам,
Дает он гордым наслажденье
И шлет презрение рабам.

Что ни верста — все шире, шире
Его надменная струя.
И что за дали! что за шири!
Что за цветущие края!

Я облеку, как ночи, — в ризы
Свои загадки и грехи,
В тиары строф мои капризы,
Мои волшебные сюрпризы,
Мои ажурные стихи!

Мыза "Ивановка".
1909. Июнь

III

Не мне в бездушных книгах черпать
Для вдохновения ключи, —
Я не желаю исковеркать
Души свободные лучи!

Я непосредственно сумею
Познать неясное земле...

Я в небесах надменно рею
На самодельном корабле!

Влекусь рекой, цвету сиренью,
Пылаю солнцем, льюсь луной,
Мечусь костром, беззвучу тенью
И вею бабочкой цветной.

Я стыну льдом, волную сфинксом,
Порхаю снегом, сплю скалой,
Бегу оленем к дебрям финским,
Свищу безудержной стрелой.

Я с первобытным неразлучен,
Будь это жизнь ль, смерть ли будь.
Мне лед рассудочный докучен, —
Я солнце, солнце спрятал в грудь!

В моей душе такая россыпь
Сиянья, жизни и тепла,
Что для меня несносна поступь
Бездушных мыслей, как зола.

Не мне расчет лабораторий!
Нет для меня учителей!
Парю в лазоревом просторе
Со свитой солнечных лучей!

Какие шири! дали! виды!
Какая радость! воздух! свет!
И нет дикарству панихиды,
Но и культуре гимна нет!

Петербург.
1909. Октябрь

IV

Я прогремел на всю Россию,
Как оскандаленный герой!..
Литературного Мессию
Во мне приветствуют порой.

Порой бранят меня площадно, —
Из-за меня везде содом!
Я издеваюсь беспощадно
Над скудомысленным судом!

Я одинок в своей задаче
И оттого, что одинок,
Я дряблый мир готовлю к сдаче,
Плетя на гроб себе венок.

"Дылицы".
1911. Лето

Поэза вне абонемента

Я сам себе боюсь признаться,
Что я живу в такой стране,
Где четверть века центрит Надсон,
А я и Мирра — в стороне;

Где вкус так жалок и измельчен,
Что даже, — это ль не пример? —
Не знают, как двусложьем: *Мельшин* —
Скомпрометирован Бодлэр;

Где блеск и звон карьеры — рубль,
А паспорт разума — диплом;
Где декадентом назван Врубель
За то, что гений не в былом...

Я — волк, а Критика — облава!
Но я крылат! И за Атлант —
Настанет день! — польется лава —
Моя двусмысленная слава
И недвусмысленный талант!

Прощальная поэза

(Ответ Валерию Брюсову
на его послание)

Я так устал от льстивой свиты
И от мучительных похвал...
Мне скучен королевский титул,
Которым Бог меня венчал.

Вокруг — талантливые трусы
И обнаглевшая бездарь...
И только Вы, Валерий Брюсов,
Как некий равный государь...

Не ученик и не учитель,
Над *чернью* властвовать устав,
Иду в природу, как в обитель,
Петь свой осмеянный *устав*...

И там, в глуши, в краю олонца,
Вне поощрений и обид,
Моя душа взойдет, как солнце,
Тому, кто мыслит и скорбит.

1912

Поэза о Карамзине

Известно ль тем, кто, вместо нарда,
Кадит мне гарный дым бревна,
Что в жилах северного барда
Струится кровь Карамзина?

И вовсе жребий мой не горек!..
Я верю, доблестный мой дед,
Что я — в поэзии историк,
Как ты — в истории поэт!

1912

Эпилог

1

Я, гений Игорь Северянин,
Своей победой упоен:
Я повсеградно оэкранен!
Я повсесердно утвержден!

От Баязэта к Порт-Артуру
Черту упорную провел.
Я покорил Литературу!
Взорлил, гремящий, на престол!

Я, — год назад, — сказал: "Я буду!"
Год отсверкал, и вот — я есть!
Среди друзей я зрил Иуду,
Но не его отверг, а — месть.

— Я одинок в своей задаче! —
Прозренно я провозгласил.
Они пришли ко мне, кто зрячи,
И, дав восторг, не дали сил.

Нас стало четверо, но сила,
Моя, единая, росла.
Она поддержки не просила
И не мужала от числа.

Она росла, в своем единстве
Самодержавна и горда, —
И, в чаровом самоубийстве,
Шатнулась в мой шатер орда...

От снегоскалого гипноза
Бежали двое в тлен болот;
У каждого в плече заноза, —
Зане болезнен беглых взлет.

Я их приветил: я умею
Приветить *все*, — божи, Привет!
Лети, голубка, смело к змею!
Змея! обвей орла в ответ!

2

Я выполнил свою задачу,
Литературу покорив.
Бросаю сильным наудачу
Завоевателя порыв.

Но, даровав толпе холопов
Значенье собственного "я",
От пыли отряхаю обувь,
И вновь в простор — стезя моя.

Схожу насмешливо с престола
И, ныне светлый пилигрим,
Иду в застенчивые долы,
Презрев ошеломленный *Рим*.

Я изнемог от льстивой свиты
И по природе я взалкал.
Мечты с цветами перевиты,
Росой накаплен мой бокал.

Мой мозг прояснили дурманы,
Душа влечется в Примитив.
Я вижу росные туманы!
Я слышу липовый мотив!

Не ученик и не учитель.
Великих друг, ничтожных брат,
Иду туда, где вдохновитель
Моих исканий — говор хат.

До долгой встречи! В беззаконце
Веротерпимость хороша,
В ненастный день взойдет, как солнце,
Моя вселенская душа!

1912. Октябрь

Златолира

I. Живи, живое!

Эгополонез

Живи, Живое! Под солнца бубны
Смелее, люди, в свой полонез!
Как плодоносны, как златотрубны
Снопы ржаные моих поэз!

В них водопадят Любовь и Нега,
И Наслажденье, и Красота!
Все жертвы мира во имя Эго!
Живи, Живое! — поют уста.

Во всей вселенной нас только двое,
И это двое — всегда одно:
Я и Желанье! Живи, Живое! —
Тебе бессмертье предрешено!

Веймарн.
1912

Поэза возмездия

Моя вторая Хабанера
Взорвалась, точно динамит.
Мне отдалась сама Венера, —
И я всемирно знаменит!

То было в девятьсот девятом...
Но до двенадцатого — дым
Все стлался по местам, объятым
Моим пожаром золотым.

Возгрянул год Наполеона
(Век — эхо громогласных дел!).
Вселенского Хамелеона
Душа — бессмертный мой удел.

Издымлен дым, и в льстивый танец
Пустился мир, войдя в азарт.
Я — гениальный корсиканец!
Я — возрожденный Бонапарт!

Но óстрова Святой Елены
Мне не угрозен небосклон:
Не мне трагические плены,
Зане я сам Хамелеон!

Что было в девятьсот девятом,
То будет в миллиард втором:
Я покорю миры булатом,
Как покорял миры пером.

Извечно странствуя с талантом
По плоской лосскости земной,
Был Карлом Смелым, был я Дантом,
Наполеоном — и собой.

Так: будет то, что было, снова —
Перо, булат, перо, булат...
Когда ж Земли падет основа —
О, ужас! — буду я крылат!..

Веймарн.
1913

Валерию Брюсову

Сонет-ответ

(Акростих)

Великого приветствует великий,
Алея вдохновением. Блестит
Любовью стих. И солнечные блики
Елей весны ручьисто золотит.

Ручьись, весна! Летит к тебе, летит
Июнь, твой принц, бессмертник неболикий!

Юлят цветы, его гоньбы улики,
Божит земля, и все на ней божит.

Рука моя тебе, собрат-титан!
Юнись душой, плескучий океан!
Самодержавный! мудрый! вечный гордо!

О, близкий мне! мой окрылитель! ты —
Ваятель мне! И царство Красоты —
У нас в руках. Мне жизненно! мне бодро!

1912

Самогимн

Меня отронит Марсельезия,
Как президентного царя!
Моя блестящая поэзия
Сверкнет, как вешняя заря!
Париж и даже Полинезия
Вздрожат, мне славу воззаря!

Мой стих серебряно-брильянтовый
Живителен, как кислород.
— О, гениальный! О, талантливый! —
Мне возгремит хвалу народ.
И станет пить ликер гранатовый
За мой ликующий восход.

Пусть на турнирах славоборчества
Стиха титаны и кроты
Берлинства, Лондонства, Нью-Йорчества
Меня сразить раскроют рты:
Я — я! Значенье эготворчества —
Плод искушенной Красоты!

1912

Моя мечта

Моя мечта — моряк-скиталец...
Вспеняя бурный океан,
Не раз причаливал страдалец
Ко пристаням волшебных стран.
Не раз чарующие взоры
Сулили счастье моряку,
Но волн изменчивые горы
Вновь к океану-старику
Руль направляли у голландца,
И с местью тайною в глазах
Пускался он в морские танцы
На сумасшедших парусах.
Стремился он победоносно,
Своим безумьем смел и горд,
И, прорезая волны грозно,
Вплывал в разбуженный фиорд.
Еще встревоженные волны
Грозили смертью рыбакам,
Еще испуганные челны
Стремились, в страхе, к берегам,
Еще, как дьявольские трубы,
В горах не замерли гудки, —
А он, смеясь над сушей грубо,
В порыве злобы и тоски,
В своем отчаяньи скитанья
И без надежды в якоря
Спешил на новые страданья,
Стремился в новые моря.
Пусть мне грозит небесный палец,
Но дерзновенно я почту
Мечту — как он, моряк-скиталец, —
Мою гонимую мечту!

Мыза "Ивановка".
1908

На смерть Лермонтова

Погиб поэт, невольник чести...

М. Ю. Лермонтов

Пал жертвой лжи и зла земного,
Коварства гнусного людского
И низкой зависти людей
Носитель царственных идей.
Погиб и он, как гениальный
Его предшественник-собрат,
И панихидой погребальной
Страна гудит, и люд печальный
Душевной горестью объят.

* * *

Но не всего народа слезы
Сердечны, искренни, чисты,
Как не всегда пунцовы розы,
Как не всегда светлы мечты.
Для горя ближних сердцем зорок,
Не забывал ничьих он нужд;
Пускай скорбят — кому он дорог!
Пускай клеймят — кому он чужд!
И пусть толпа неблагодарна,
Коварна, мелочна и зла,
Фальшива, льстива и бездарна
И вновь на гибель обрекла
Другого гения, другого
Певца с божественной душой, —
Он не сказал проклятья слова
Пред злом кончины роковой.

* * *

А ты, злодей, убийца, ты, преступник,
Сразивший гения бесчестною рукой,
Ты заклеймен, богоотступник,
Проклятьем мысли мировой.
Гнуснее ты Дантэса — тот хоть пришлый,
В нем не течет земель славянских кровь;
А ты, змея, на битву с братом вышла, —
И Каин возродился вновь!..
Не лейте слез, завистники, фальшиво
Над прахом гения, не оскорбляйте прах;
Вы, стадо жалкое, ничтожно и трусливо,
И ваш пастух — позорный страх.
Вас оценят века и заклеймят, поверьте,
Сравнивши облик каждого с змеей...
И вы, живые, — мертвые без смерти,
А он, и мертвый, — да живой!

1908

Солнце всегда вдохновенно

Солнце всегда вдохновенно!
Солнце всегда горячо!
Друг мой! сольемся мгновенно:
Наше желанье — ничье.

Жизнь безнадежна и тленна,
Мигом трепещет плечо...
Солнце, как мы, вдохновенно!
Солнце, как мы, горячо!

1909

Вдыхайте солнце

Вдыхайте солнце, живите солнцем, —
И солнцем сами блеснете вы!
Согреют землю лучи живые
Сердец, познавших добро и свет...

Вдыхайте небо, живите небом, —
И небесами засветит взор.
С любовью небо сойдет на землю,
А мир прощенный — на небеса.

Мыза "Ивановка".
1908

Эхо

Ради шутки, ради смеха
Я хотел бы жить всегда!
Но ответило мне эхо:
"Да!"

Повтори... еще... сначала...
Кто бессмертен, как мечты?
Снова эхо отвечало:
"Ты!"

Мыза "Ивановка".
1909

Ave Maria

О, Дева-Мать, возрадуйся блаженно!
Господь с Тобой, носившая Его,
Хранителя бессмертья моего!..
Да будешь Ты меж жен благословенна,
Благословен плод чрева Твоего!

Певица лилий полей Сарона

1

Есть ли счастье на свете сильней любви?

2

Слава тем, чья любовь побеждает смерть!

Мирра Лохвицкая

Певица лилий полей Сарона,
Тебе корона!
К тебе у трона
Сойдутся мира всего пути —
Лишь захоти!

Полей Сарона певица лилий!
Тщета воскрылий...
Тщета усилий...
Мы не достигнем твоих высот —
Снесет, снесет!..

Да воцарится
Цариц царица,
Сарона лилий полей певица!
В хитоны солнца возоблекись,
Балькис!

1909

Симфония

Схороните меня среди линий и роз,
Схороните меня среди лилий.
Мирра Лохвицкая

Моя любовь твоей мечте близка.
Черубина де Габриак

У старой лавры есть тихий остров,
Есть мертвый остров у старой лавры,
И ров ползет к ней, ползет под мост ров,
А мост минуешь — хранятся лавры
Царицы грез.

Я посетил, глотая капли слез,
Убогую и грубую могилу,
Где спит она — она, царица грез...
И видел я, — и мысль теряла силу...
Так вот где ты покоишься! и — как!
Что говорит о прахе величавом?
Где памятник на зависть всем державам?
Где лилии? где розы? где же мак?

Нет, где же мак? Что же мак не цветет?
Отчего нагибается крест?
Кто к тебе приходил? кто придет?
О, дитя! о, невеста невест!
Отчего, отчего
От меня ты сокрыта?
Ведь никто... никого...
Ни души... позабыта...

Нет, невозможно! нет, не поверю!
Власти мне, власти — я верну потерю!
Взрою землю!.. сброшу крест гнилой!..
Разломаю гроб я!.. поборюсь с землей!..
Напущу в могилу солнца!.. набросаю цветов...
— Встань, моя Белая!.. лучше *я* лечь готов...

"Забудь... забудь о чуде",
Шептала мне сентябрьская заря...
А вкруг меня и *здесь* ходили люди,
И *здесь* мне в душу пристально смотря...
И где же?! где же?! — У алтаря.

Из черного гордого мрамора высечь
Хотел бы четыре гигантские лиры,
Четыре сплетенные лиры-решетки —
На север, на запад, на юг, на восток.
У лир этих струны — из чистого золота прутья,
Увитые алым и белым душистым горошком,
Как строфы ее — бархатистым, как чувства — простым.
А там, за решеткой, поставил бы я не часовню,
Не памятник пышный, не мрачный — как жизнь — мавзолей,
А белую лилию, символ души ее чистой,
Титанию — лилию, строгих трудов образец.
В молочном фарфоре застыло б сердечко из злата,
А листья — сплошной и бесценный — как мысль — изумруд.
Как росы, на листьях сверкали б алмазы и жемчуг
При Солнце, Венере, Авроре и мертвой луне.
И грезил бы Сириус, ясный такой и холодный,
О лилии белой, застывшей в мечтаньи о нем...

И в сердце пели неба клиры,
Душа в Эдем стремила крылия...
А сквозь туман взрастала лилия
За струнной изгородью лиры...

1909

Балькис

От Солнца я веду свой древний род!
Мирра Лохвицкая

Есть что-то в ней, что красоты прекрасней.
Е. Баратынский

До дня грядущего от сотворенья мира
— (Кто скажет искренно?.. Кому земли не жаль?..)
Кто знает женщину, прекрасную, как лира,
И ясномудрую, как горная скрижаль?

Их было несколько, великих, как держава,
Прекрасных, доблестных и светлых, как эмаль.
Но я — про женщину, прекрасную, как слава!
Но я — про женщину, Синайскую скрижаль!

До дня грядущего от сотворенья мира
Подобной женщины на свете не цвело...
Ищите женщину, прекрасную, как лира,
И ясномудрую, как гения чело!

И лишь у Лохвицкой, чья мысль и греза — лава,
В поэме солнечной и жизненной, как май,
Я встретил женщину, прекрасную, как слава,
И ясномудрую, как царственный Синай!

До дня грядущего от сотворенья мира
Прекрасней не было от нищих до маркиз...
И эта женщина, прекрасная, как лира,
И ясномудрая, как заповедь — Балькис!

1909

Поэза о Фофанове

Возьмите "Фофанова" в руки
И с ним идите в вешний сад.
Томленье ваше, скуку, муки
Его напевы исцелят.

Себя самих не понимая,
Вы вдруг заискритесь, как Мумм.
Под "Майский шум" поэта мая
И под зеленый майский шум.

Пропев неряшливые строки,
Где упоителен шаблон,
Поймете сумерек намеки
И все, чем так чарует он.

Не будьте ж к мигу близоруки, —
Весна и солнце отблестят!
Берите "Фофанова" в руки
И с ним бегите в вешний сад!

Веймарн.
1913. Начало июня

Элегия

Вы мать ребенка школьнических лет,
И через год муж будет генералом...
Но отчего на личике усталом —
Глухой тоски неизгладимый след?

Необходим для сердца перелом:
Догнать... Вернуть... Сказать кому-то слово...
И жутко Вам, что все уже в былом,
А в будущем не видно и былого...

1911

С ядом у костра

Мне в гроб не страшно, но обидно:
Любви взаимной сердце ждет.
Шаги? — не слышно! Плащ? — не видно.
Шептать бесстыже — как-то стыдно:
"Тот, настоящий, — он придет?"

Я замужем, вполне любима,
И чувство мужье — мой шатер.
А жизнь и тот проходят мимо...
— "Постой: ты — мой!" Но — имя?! имя?!
Догнать! Призвать! И с ним — в костер!

1912

Интима

С улыбкою на чувственных губах,
Как школьница, вы вышли из трамвая.
Я у вокзала ждал вас, изнывая,
И сердце мне щемил зловещий страх.

Вы подали мне руку, заалев
Застенчиво, глаза свои прищуря.
В моей груди заклокотала буря,
Но я сдержался, молча побледнев.

Эффектен был ваш темный туалет,
Пропитанный тончайшими духами.
Вы прошептали: "Ехать ли мне с вами?"
Я задрожал от ужаса — в ответ:

— Возможно ли?! Вы шутите?! —
Мой взор
Изобразил отчаянье такое,
Что вы сказали с ласковой тоскою:
"Ну, едемте... туда... в осенний бор...

Вы любите меня, свою "ее",
Я верю, вы меня не оскорбите...
Вот вам душа, — себе ее берите,
Мое же тело — больше не мое:

Я замужем, но главное — я мать.
Вы любите меня нежнее брата
И вы меня поймете... Это — свято.
Святыню же не надо осквернять".

И я сказал: "Любовь моя щитом!
Пускай дотла сожгу себя я в страсти, —
Не вы в моей, а я у вас во власти!"...
...Моя душа боролася с умом...

Мыза "Ивановка".
1911

Два дня в саду осеннем

(Стихотворение дилетантки)

Вчера

Зачем вы расцвели, осенние цветы?
Замерзните... засохните... увяньте...
Вы говорите мне о горестном таланте,
О юности моей, о жажде красоты.
Я так утомлена, мне нужен лишь покой,
Весне возврата нет, мечты мои померкли...
Мне все равно: среда, суббота ли, четверг ли, —
Живу я не живя, замерзла я душой...
Но было время... да! была я молода,

Я верила, ждала... надеялась... страдала...
Но не было "его"... Сирень благоухала,
И яблони цвели... и вяли без плода!
А я-то! я-то! я!.. Как я хотела жить,
Любить, безумствовать, смеяться до рыданья!
И вот явился "он"... Но новые страданья
Он мне принес с собой; он не умел любить!
Он не постиг моей трепещущей души, —
Он не сумел постичь... он понял только тело...
А я его всего, всего его хотела!..
За все мои "цветы" он мог мне дать... "гроши"!..
О, я превозмогла отчаянье и стыд, —
Его отвергла я! Я, гордая, не пала...
Окаменела я... Сирень благоухала...
И яблони цвели... Но их бесплодный вид
Внушал холодный страх и навевал печаль мне...
Спасаясь от себя, я вышла замуж; муж
Остался мне чужим, — и без слиянья душ
Я зачала детей в своей трагичной спальне...
Люблю ли я детей? О, да! они — исход
Безвыходной мечты... Они — мое забвенье.
А я все жду "его", не веря в появленье, —
И снова нет "его"... В мечте — сирень цветет,
И яблони бесплодные цветущи...
Но я утомлена... Весне возврата нет...
Осенние цветы! гасите же свой свет:
Пока цветете вы, мои мученья пуще...

Сегодня

Благоухайте вы, осенние цветы!
Молю, помедлите... да пощадит вас тленье...
"Он" сам пришел ко мне, "он" принял воплощенье!
Но я... гоню "его"... чтоб сохранить... мечты!

1911

Песенка-весенка

Итак, Вы снова в "Дылицы"?
Ну, что же, в добрый час.
Счастливица! счастливица! —
Я радуюсь за Вас!

Запасшись всякой всячиной,
Садитесь Вы в купэ,
Забыв уже за Гатчиной
О шуме и толпе.

И сердце вновь олетено,
Кипит, как Редерер...
И вот — Елизаветино!
И вот — дебаркадер!

Вдали столичной пошлости
Сияя так светло,
На рослой серой лошади
Вы едете в село.

Уже кивает мельница
Вам ласковый привет,
Вы снова — карусельница,
Ребенок и поэт!

У дачи бродит курочка,
И рядом с ней петух...
Ликует шумно Шурочка
Среди веселых рюх...

Поймать стараясь зяблика,
Шалун бежит к лесам;
Я узнаю в нем Дьяблика,
Который — зяблик сам...

Вам сердце окудесила
Проказница-Весна:
Бежите в поле весело —
Одна! одна! одна!

Впивая радость рьяную,
Бросаетесь в траву,
Снегуркою-Тианою
Мечтая на яву...

Как сладко этой девочке
Шепнуть: "Тоске капут"...
А в парке пляшут белочки,
И ландыши цветут!

Пускай же сердце выльется
В бокал любви полней!
О, "Дылицы"! О, "Дылицы"! —
Страна Мечты моей!

1912

Вина Балькис

Триоли

(Вариация поэмы Мирры Лохвицкой "На пути к Востоку")

1

Царица южная Балькис
Грядет к престолу Соломона.
Влекут, влекут его знамена
Царицу южную Балькис!
Ифрит лазурный и Ивлис,
Злой гений, враг святого трона,
Царицу южную Балькис
Влекут к престолу Соломона.

2

Лазурноокий Гиацинт
Был морем выброшен на скалы,
Когда душа любви искала.
Лазурноокий Гиацинт
Изранен щебнем. Приласкала
Балькис его, дав ране бинт.
Лазурноокий Гиацинт
Был бурей выброшен на скалы.

3

Балькис забыла для него
Свой путь, свой сан, свое значенье.
Чтоб облегчить его мученья,
Она забылась для него.
А он, изведав облегченье,
Ее покинул... Для чего
Она забыла для него
Свой путь, свой сан, свое значенье?

4

Дальнейший путь ей запрещен
Ифритом, гением лазурным.
Ивлис победой восхищен:
Дальнейший путь ей запрещен.
Тогда, томясь порывом бурным,
Скорбит царица: "Соломон!
Мне путь священный запрещен
Ифритом, гением лазурным"...

5

Над Гиацинтом правит суд
Балькис, премудрая царица.
Он пойман! вот его ведут!..
Она над ним свершает суд,
Она убить его грозится...
Но грёзы вдаль ее несут —
И свой оканчивает суд
Прощеньем мудрая царица.

6

Спешит лазоревый Ифрит
Направить путь ее к Сарону,
И осеняет ей корону
Крылом лазоревым Ифрит.
Он вдохновенно говорит:
— Готовься в жены Соломона! —
И вновь ликующий Ифрит
Ведет Балькис в поля Сарона.

1911

Благодатная поэза

Ты набухла ребенком! ты — весенняя почка!
У меня вскоре будет златокудрая дочка.
Отчего же боишься ты познать материнство?
Плюй на все осужденья, как на подлое свинство!
Возликуй беспредельно, крещена благодатью,
Будь хорошей подругой и такою же матью!
Вытравлять же ребенка — ты согласна со мною? —
Это то же, что почки уничтожить весною,
Цвет плодов поразвеять. Эта мысль неотступно
Беспокоит меня; — так не будь же преступна!

Ст. Веймарн, мыза "Пустомержа".
1912

Невод грез

У меня, как в хате рыболова,
Сеть в избе, — попробуй, рыб поймай!
В гамаке, растянутом в столовой,
Я лежу, смотря в окно на май.
На окошке солнится лиловый
Crème de Violette. Я — мальчик-пай.
И она, любимая, в два слова
Напевает нежно: "баю-бай"...

Зеленеет, золотеет зелень,
И поет — чирикает листва...
Чей капот так мягок, так фланелев?
Кто глазами заменил слова?

Для тебя все цели обесцелив,
Я едва дышу, я жив едва.
Телом, что в моем тонуло теле,
Обескровить вены мне — права.

А теперь, пока листвеют клены,
Ласкова, улыбна и мягка,
Посиди безмолвно и влюбленно,
Около меня, у гамака.
Май шалит златисто и зелёно,
Дай ему ликеру два глотка, —
И фиалкой волшбой спеленат,
Падая, даст липе тумака!

Веймарн.
1913

Майская песенка

Раскачни мой гамак, подкачни! —
Мы с тобою вдвоем, мы одни,
И какое нам дело, что там,
Где-то там, не сочувствуют нам?!

Май любезно смеется в окно...
Нам любовно с тобой и смешно:
(Ты меня целиком понимай!)
Пред поэтом заискивал май!..

Понимает, должно быть, что я,
Беспредельную силу тая,
Захочу — и оперлю его,
Ну, а нет — про него ничего!

В этот год мне отрадна весна,
И пришедшая слава ясна, —
Будет славно воспет мною май!
Подкачай же гамак! раскачай!

Веймарн.
1913

Реабилитация

Ты осудил меня за то, что я, спеша
К любимой женщине, родами утомленной,
Прервал свое турнэ, что с болью исступленной
        К ней рвалась вся душа!

Еще ты осудил меня за то,
Что на пути домой я незнакомку встретил,
Что на любовь ее так нежно ей ответил,
        Как, может быть, никто!

Но что же я скажу тебе в ответ? —
Я снова с первою — единственной и вечной.
Как мог ты осудить меня, такой сердечный,
        За то, что я — поэт?

Веймарн.
1913

Обе вы мне жены...

Обе вы мне жены, и у каждой дети —
Девочка и мальчик — оба от меня.
Девочкина мама с папой в кабинете,
А другой не знаю тысячу три дня.

Девочкина мама — тяжко ль ей, легко ли —
У меня, со мною, целиком во мне.
А другая мама где-то там на воле,
Может быть, *на море*, — может быть, *на дне*.

Но ее ребенок, маленький мой мальчик,
Матерью пристроен "за три пятьдесят"
Кто же поцелует рта его коральчик?
Что же: я невинен или виноват?

Ах, я взял бы, взял бы крошку дорогого
Миленького детку в тесный кабинет.
Девочкина мама! слово, только слово! —
Это так жестоко: ты ни "да", ни "нет"!..

Ст. Вруда.
1913

Поэза без названия

Князь взял тебя из дворницкой. В шелка
Одел дитя, удобное для "жмурок"...
Он для тебя не вышел из полка,
А поиграл и бросил, как окурок.

Он роскошью тебя очаровал
И отуманил слабый ум ликером.
И возвратилась ты в родной подвал,
Не осудив любовника укором.

Пришел поэт. Он стал тебе внимать
И взял к себе в убогую мансарду.
Но у него была старуха мать,
Язвившая за прежнюю кокарду.

И ты ушла вторично в свой вертеп,
А нищий скальд "сошел, в тоске, в могилу".
Ты не могла трудом добыть свой хлеб,
Но жить в подвале стало не под силу.

И ты пошла на улицу, склонясь
Пред "роком злым", с раскрытым
                прейскурантом.
И у тебя в мечте остался — князь
С душой того, кто грел тебя талантом.

1911

Nocturne

Сон лелея, лиловеет запад дня.
Снова сердце для рассудка западня.

Только вспомню о тебе, — к тебе влечет.
Знаешь мысли ты мои наперечет.

И хочу, иль не хочу — к тебе без слов
Я иду... А запад грустен и лилов.

1908

Только миг

Я гостил в твоем сердечке
        Только миг.
Это было возле речки,
        Где тростник.

Ты в душе моей — как дома
        Навсегда!
И разрушит те хоромы
        Кто? Когда?

1909

Встречать выхожу...

На нашу дорогу встречать выхожу я тебя, —
Но ты не приходишь... А сердце страдает,
                                        любя...

Я все ожидаю: вот-вот ты прорежешь листву
И мне улыбнешься опять наяву... наяву!

Отдашься... как прежде, отдашься! даруя,
                                        возьмешь.
Но ты не приходишь и, может быть, ты
                                        не придешь.

А я на дороге, на нашей, встречаю тебя!
А я тебе верю!.. И мечется сердце, любя...

Мыза "Ивановка".
1909

Вальс

(На мотив Мирры Лохвицкой)

Если это возможно, устрой
Наше счастье, разбитое мной.
Ощущений отцветших пуст рой,
И в душе полумрак ледяной.

Но к кому? но к кому? но к кому
Я взываю со скорбной мольбой?
Почему? почему? почему
Я исполнен, как раньше, тобой?

Мы расстались с тобою, когда
Тихо очень истлела в снегу.
Шли минуты, шли дни, шли года, —
Но тебя позабыть не могу!

Не могу позабыть никогда!
Ты со мною, хотя без меня...
Ты всегда для меня молода
И желанна, как солнце для дня.

Ты ушла, наше счастье поправ, —
Кто из нас виноват, посуди!
Но я прав! но я прав! да, я прав
Тем уже, что взываю: "Приди!"

Пусть я жалок тебе, — пожалей!
Пусть я грешен, — прощенье неволь!
Или мсти, прегрешения злей, —
Но тобой надышаться дозволь!

Мыза "Ивановка".
1909

Аккорд заключительный

Но есть упоенье в позоре
И есть в униженьи восторг!

Валерий Брюсов

Она ко мне пришла и говорила здесь,
Вот в этой комнате, у этого окна:
— Любимый! милый мой! убей меня! повесь! —
        Тебе я больше не верна. —

Ты удивляешься? растерян ты теперь?
Не оскорбила ль я тебя? О, не скрывай!
Мы разошлись с тобой... Я мучилась... Поверь,
        С тобой я потеряла рай.

Ты разлюбил меня, — я вижу по глазам; —
О! мне твои глаза не лгали никогда...
Ты честен, справедлив! и ты согласен сам:
        Я отгадала, милый? да?

Я все тебя люблю по-прежнему! ты — мой!
И я... я вся — твоя! нет, впрочем, не совсем:
Уж пятеро — с тех пор! — повелевали мной!..
        Но... оскорблять тебя зачем?..

Зачем? ведь это — грех! о, я теряю ум.
Ты знаешь, извини меня: нет больше сил,
Я больше не могу... устала я от дум...
        Ты все ж мне близок, дорог, мил!

Я все еще тебя люблю, люблю... Увы,
Теперь уж я не та... о, нет! совсем не та, —
Теперь я... падшая! Позволите ли Вы
        У Вас побыть, моя Мечта?!

Вы слезы видите? ведь Вы добрее всех...
Простите, не могу: я плачу... ничего!
Наплюйте мне в лицо: ведь я одна из тех,
        Которых... тяжко!.. одного.

У Вас молю: чуть-чуть Вы любите меня?
Мне, впрочем, все равно: *Я* все еще люблю!
О, бейте, мучайте несчастную, гоня, —
Все, что хотите, претерплю!..

Я на слова ее молчать уже не мог
И руку, застонав, над нею я занес,
И захотелось мне ей дать удар в висок
При виде этих красных слез...

— Ударь! ударь меня! ты видишь — жду,
молю! —
Она шептала мне с неистовой тоской:
Но все-таки люблю! ты слышишь? — я люблю!
И мой ты! слышишь?! — мой!! —

Возненавидел я ее в мертвящий миг
И, проклиная, дико крикнул: "С глаз долой,
Змея проклятая! о, я тебя постиг:
Ты издеваешься над мной!

Уйди! уйди скорей! — все кончено! позор
Пусть упадет теперь на голову твою!..
И вот она ушла, потупив грустно взор,
Сказав в последний раз: люблю.

Отравленные уста

Новелла

Вот единственный поцелуй, который
я могу тебе дать.

М. Метерлинк

1

...И снова надолго зима седьмой раз засыпала,
И в лунной улыбке слезилось унынье опала,
И лес лунодумный, казалося, был акварель сам,
А поезд стихийно скользил по сверкающим
рельсам;
Дышал паровоз тяжело; вздохи были так
дымны;
Свистки распевали протяжно безумные гимны.

2

В купе, где напоенный лунными грезами воздух
Мечтал с нею вместе, с ней, ясно-неясной, как
грез дух,
Вошел он, преследуем прошлым, преследуем
вечно.
Их взоры струили блаженную боль бесконечно.
Он сел машинально напротив нее, озаренный
Луной, понимавшей страданья души
осребренной.

3

И не было слова, и не было жажды созвучья,
И грезами груди дышали; и голые сучья
Пророчили в окна о шествии Истины голой,
Что шла к двум сердцам, шла походкой
тоскливо-тяжелой.
Когда же в сердца одновременно грохнули стуки,
Враги протянули — любовью зажженные руки.

4

И грозы запели, танцуя, сплетаясь в узоры.
И прошлым друзья не взглянули друг другу
во взоры.
А если и было когда-нибудь прошлое, — в миге
Оно позабылось, как строки бесцветные —
в книге.
— Твоя, — прошептала, вспугнув тишину,
пассажирка.
Звук сердце заискрил, как камень — холодная
кирка.
"Вина прощена", улыбнулося чувство рассудку.
"Она", завесенясь, смахнула слезу-незабудку.

5

Он пал к ней на грудь, как на розы
атласистый венчик,
Пчела упадает, как в воду — обманутый птенчик.
И в каждой мечте и души зачарованной фибре
Порхали, кружились, крылили желанья-колибри.
— Вздымается страсть, точно струй занесенные
сабли!

6

Уста ее пил он, не думая — царь ли он, раб ли...
А губы ее, эти губы — как сладостный опий —
Его уносили в страну дерзновенных утопий,
И с каждою новой своею горячей печатью,
Твердя о воскресшей любви всепобедном
зачатьи,
Его постепенно мертвили истомой атласа,
Сливая нектар свой коварный застывшего часа.

С крестом сирени

Цветы лилово-голубые,
Всего в четыре лепестка.
В чьих крестиках мои былые
Любовь, отвага и тоска!

Ах, так же вы благоухали
Тогда, давно, в далеком, там,
Зовя в непознанные дали
По опадающим цветам!

И слушая благоуханье,
Вдыхая цветовую речь,
Я шел на брань завоеванья
С сиренью, заменившей меч...

А вы цвели и увядали...
По опадающим, по вам,
Я шел в лазоревые дали —
В цветы, в цветах и по цветам!

Со мною были молодые
Мечты и смелая тоска,
И вы, лилово-голубые
Кресты в четыре лепестка!

Веймарн.
1913. Май

Интермеццо

Сирень моей весны фимьямною лиловью
Изнежила кусты в каскетках набекрень.
Я утопал в траве, сзывая к изголовью
Весны моей сирень.

— Весны моей сирень! — И голос мой был звончат,
Как среброгорлый май: дыши в лицо пьяней...
О, да! о, никогда любить меня не кончит
Сирень весны моей!

Моей весны сирень грузила в грёзы разум,
Пила мои глаза, вплетала в брови сны
И, мозг испепелив, офлерила экстазом
Сирень моей весны.

Акварель

Бежит — дрожит на жгучем побережье
Волна, волна пленительных былин.
Везде песок, на нем следы медвежьи.
Центральный месяц — снова властелин.

И ни души. Весь мир — от солнца! — вымер.
Но все поет — и море, и песок.
Оно печет, небесный князь Владимир,
И облако седит его висок.

С зайчатами зажмурилась зайчиха,
И к чайке чиж спешит песочком вскачь.
В душе трезвон. На побережье тихо.
И слабый бодр, и истомлен силач.

Рондели о ронделях

Как журчно, весело и блестко
В июльский полдень реку льет!
Как девно солнится березка,
Вся — колыханье, вся — полет!
Душа излучивает броско
Слова, которых не вернет...
Как журчно, весело и блестко
В мой златополдень душу льет!
Природу петь — донельзя плоско,
Но кто поэта упрекнет
За то, что он ее поет?
И то, что в жизни чуть громоздко,
В ронделях и легко, и блестко.

Веймарн.
1913. Июль

На сенокос

Льется дождь, златисто-кос,
Льется, как из лейки.
Я иду на сенокос
По густой аллейке.
Вот над речкою откос, —
Сяду на скамейке
Посмотреть на сотни кос,
Как стальные змейки.

Пудость "Ивановка"

Дачный кофе

Как вкусен кофе утром летним
В росисто-щебетном саду.
За стадом, за быком последним,
Идет пастух, пыхтя в дуду.

За ним несется вскачь корова,
Как помелом, хвостом маша.
И милолица, и здорова
Девчонка деет антраша.

Стремясь уйти у бонн из-под рук,
Бежать куда глядят глаза,
Капризничает каждый отрок,
Нос гувернантке показав.

Вот финский рикша: в таратайке
Бесконкурентный хлебопек
Везет "француженок" и сайки —
С дорогою за пятачок...

Я подливаю в кофе сливки
И — мил, и юн, и добросерд —
Вскрываю утренний конверт
На коленкоровой подшивке...

Веймарн.
1913. Июнь

Ветер

Ветер весел, ветер прыток,
Он бежит вдоль маргариток,
Покачнет бубенчик сбруи,
Колыхнет речные струи.

Ветер, ветреный проказник,
Он справляет всюду праздник,
Кружит, вертит все, что хочет,
И разнузданно хохочет.

Ветер мил и добродушен
И к сужденьям равнодушен,
Но рассердишь — не пеняй:
И задаст же нагоняй!

Мыза "Ивановка"

К рассказу Ф. Сологуба

Вселенна "Белая березка"!
Как сердце сладостно болит...
И вдруг излучивает броско:
"Она — Лилит! Она — Лилит!"

Женская душа

(Berceuse)

Что такое — девичья душа?
Это — тайна. Тайна хороша.
Я дышу. Дышу я, не дыша.
Убаюкай, девичья душа!

Мало для души одной души, —
Души дев различно хороши.
После бури хочется тиши.
Мало для меня одной души!

Околдован каждою душой.
Пусть чужая будет не чужой.
...Спят цветы под первой порошой...
Очарован новою душой.

Что такое — женская душа?
Я не знаю, — только хороша...
Я ее вдыхаю, не дыша...
Убаюкай, женская душа!..

Поэза предвесенних трепетов

О. С.

Весенним ветром веют лица
И тают, проблагоухав.
Телам легко и сладко слиться
Для весенеющих забав.

Я снова чувствую томленье
И нежность, нежность без конца...
Твои уста, твои колени
И вздох мимозного лица, —

Лица, которого бесчертны
Неуловимые черты:
Снегурка с темпом сердца серны,
Газель оснеженная — ты.

Смотреть в глаза твои русалчьи
И в них забвенно утопать;
Изнежные цветы фиалчьи
Под ними четко намечать.

И видеть уходящий поезд
И путь без станций, без платформ,
Читать без окончанья повесть, —
Душа Поэзии — вне форм.

Синий сонет

Синеет ночь, и с робостью газели
Скользит ко мне Ваш стройный силуэт;
И Вашу тень качает лунный свет —
Луны далекой ясные качели.

Шум ручейка и дальний звук свирели
Сливаются в пленительный дуэт;
Мы шепот поцелуев шлем в ответ,
Разнежены на свежих трав постели.

Никто из нас друг в друга не влюбленный
Сближается томленьем синевы,
Мотивами природы усыпленной
И пряною душистостью травы...
Не мучьтесь после совестью бессонной:
В такую ночь отдаться — вправе Вы!

Еще вы девушка

Еще Вы девушка: ведь этот алый крапат
На блузке лилиебатистовой — весень...
Еще Вы девушка, читающая Запад,
Секрет несущая в сиреневую сень.

Такая милая!.. Как золотистый грошик...
Поете молодость на разных голосах...
Очарователен улыбчатый горошек.
Ушко наивное опутав в волосах.

И, вот что, знаете: возьмите в руки прутик,
И — кто кого теперь?!. — бежим на плац-крокет!
Еще Вы девушка, еще Вы только лютик, —
И я из лютиков Вам подарю букет...

Я запою

Я запою на лире звонкой
Мятежно, бурно — как гроза —
Черты улыбки чьей-то тонкой
И чьи-то русские глаза!

Я запою в восторге встречи
Влюбленных взоров, их игру,
Их гармонические речи,
Их смех, подобный серебру.

Я запою улыбок солнца,
Их золотистые лучи,
Сердец раскрытые оконца
И душ струистые ключи.

Благоухая вешним пылом,
Предав забвенью грусть свою,
О ком-то призрачном и милом
Я в упоеньи запою.

Мыза "Ивановка"

Я не лгал

Я не лгал никогда никому,
Оттого я страдать обречен,
Оттого я людьми заклеймен
И не нужен я им потому,

Никому никогда я не лгал.
Оттого жизнь печально течет.
Мне чужды и любовь, и почет
Тех, чья мысль, это — лживый закал.

И не знаю дороги туда,
Где смеется продажная лесть.
Но душе утешение есть:
Я не лгал никому никогда.

Под впечатлением "Обрыва"

Я прочитал "Обрыв", поэму Гончарова...
Согласна ль ты со мной, что Гончаров — поэт?
И чувств изобразить я не имею слова,
И, кажется, — слов нет.

Я полон женщиной, я полон милой Верой,
Я преклоняюся, я плачу, счастлив я!
Весна в душе моей! я слышу соловья, —
На улице ж — день серый.

И как не слышать мне любви певца ночного,
И как не чувствовать и солнце, и весну,
Когда прочел сейчас поэму Гончарова
И вспомнил юности волну!

А вместе с юностью свою я вспомнил "Веру",
Страданий Райского поэзию, обрыв,
Я вспомнил страсть свою, я вспомнил в счастье веру,
Идеи ощутив.

И я хочу борьбы за право наслажденья,
Победы я хочу над гордою душой,
Оберегающей так свято убежденья,
Не выдержавшей бой.

Велик свободный Марк, решительный, правдивый,
Заветы стариков не ставящий во грош;
Он сделал женщину на миг один счастливой,
Но как тот миг хорош!

Да знаете ли вы, вступающие в споры,
Вы, проповедники "законности" в любви, —
Что счастье не в летах, а лишь в зарнице взора,
Да, знаете ли вы?!..

И я, клянусь, отдам за дивное мгновенье,
Взаимность ощутив того, кого люблю, —
Идеи и мечты, желанья и волненья,
И даже жизнь свою.

Октавы

Хочу туда — где море бирюзово,
Где у звезды сочнее лепестки,
Где спит палач — вулкан на страже зова,
Где от избытка счастья — вздох тоски...
Хочу туда, где чувствуют грозово,
А потому — раздолия узки!

Звучи, душа, в мечтаньях замирая...
Но край ли то? мираж ли только края?

Везде лазорь, повсюду померанцы,
Надменность пальм и лунь лимонных рощ,
На женских лицах спелые румянцы,
Весь музыка — алмазно-струйный дождь.
Там вечный пир и музыка, и танцы,
Победный клич и дерзостная мощь!..
Я вся — полет под ураганом зова!..
Хочу туда — любить тебя грозово!

Когда ночами...

Когда ночами все тихо-тихо,
Хочу веселья, хочу огней.
Чтоб было шумно, чтоб было лихо,
Чтоб свет от люстры гнал сонм теней!

Дворец безмолвен, дворец пустынен,
Беззвучно шепчет мне ряд легенд...
Их смысл болезнен, сюжет их длинен,
Как змеи черных ползучих лент...

А сердце плачет, а сердце страждет.
Вот-вот порвется, того и ждешь...
Вина, веселья, мелодий жаждет,
Но ночь замкнула, — где их найдешь?

Сверкните, мысли! рассмейтесь, грезы!
Пускайся, Муза, в экстазный пляс!
И что нам — призрак! и что — угрозы!
Искусство с нами, — и Бог за нас!..

Мыза "Ивановка".
Охотничий дворец Павла I

Дурак

Жил да был в селе "Гуляйном" дьяк-дурак,
Глоткой — прямо первый сорт, башкою — брак.
Раз объелся пирогами, — да в барак.
А поправился, купил потертый фрак,
Да с Феклушею вступить желает в брак.
Али ты, дурак, своей свободе враг?
А зачем, дурак, ночной бывает мрак?
А зачем, дурак, у леса есть овраг?
Али съест тебя, дурак, в овраге рак?
Вот-то дурень, дуралей-то! вот дурак!

Письмо Феклы

Ты послушай меня, мой суразный! ты послушай меня, мой уклюжий:
Кровью сердце мое истекает, ты любовью мне сердце запрудь.
Ах, багряно оно изручьилось, запеклось в лиловатые лужи,
Поиссякло ключистое сердце, поиссохла цветущая грудь!

На деревне калякают девки (любопытство у горя на страже!):
"Знать, у Феклы запачкана совесть, или бремени ждет в животе:
Потому что из солнечной девки, веселящей, здоровой и ражей,
Стала попросту старой уныклой, на какой-то споткнулась мечте".

Вот еще и вчера, Евфросинью повстречав на покосе, священник
(Нынче новый в селе; я не знаю, как зовут молодого попа)
Говорил: Вот какая-то Фекла, мне сказали, мутится от денег,
Все боится воров, скопидомка, ну а замуж — должно быть, глупа.

Заклевали меня, оболгали! Из веселой когда-то, из смелой
Стала я, от любви безысходной, мокрой курой и дурой для всех.
Пожалей же меня, мой уклюжий! Полюби же меня, мой умелый!
Разгрешилась на девке деревня — значит, девку попутает грех!

Веймарн

Народная

Солнце Землю целовало, —
Сладко жмурилась Земля.
Солнце Землю баловало,
Сыпля злато на поля.

Солнце ласково играло
В простодушной похвальбе.
И Земля его избрала
В полюбовники себе.

И доколе будет длиться
Их немудрая любовь,
Будет мир в цветы рядиться,
В зелень вешнюю лугов!

На пристани

Сидела на пристани я ветхой,
Ловя мечтанья тихих струй,
И посылал сухою веткой
Тебе, далекой, поцелуй.

Сидел я долго-долго-долго
От всех вдали и в тишине.
Вдруг ты, пластичная, как Волга,
Прошла по правой стороне.

Мы увидались бессловесно,
Мы содрогнулись — каждый врозь.
Ты улыбалась мне прелестно,
Я целовал тебя насквозь.

И я смотрел тебе вдогонку,
Пока не скрылась ты в лесу,
Подобна чистому ребенку,
С мечтою: "Все перенесу"...

День засыпал, поля морозя
С чуть зеленеющей травой...
Ты вновь прошла, моя Предгроза,
И вновь кивала головой.

Мыза "Ивановка"

Предгроза

...Вы помните "Не знаю" Баратынского?..

Хороша кума Матреша!
Глазки — огоньки,
Зубки — жемчуг, косы — русы,
Губки — лепестки.
Что ни шаг — совсем лебедка,
Взглянет — что весна;
Я зову ее Предгрозей —
Так томит она.
Но строга она для парней,
На нее не дунь...
А какая уж там строгость,
Коль запел июнь!
Полдень дышит — полдень душит.
Выйдешь на балкон
Да "запустишь" — ради скуки —
Старый граммофон.
Понесутся на деревню
"Фауст", "Трубадур", —
Защекочет сердце девке
Крылышком амур.
Глядь, — идет ко мне Предгроза,
В парк идет ко мне;
Тело вдруг захолодеет,
Голова в огне.
— Милый кум... —
— Предгроза... ластка!.. —
Спазмы душат речь...
О, и что это за радость,
Радость наших встреч!
Сядет девушка, смеется,
Взор мой жадно пьет.
О любви, о жгучей страсти
Нам июнь поет.
И поет ее сердечко,
И поют глаза;
Грудь колышется волною,
А в груди — гроза.
Разве тут до граммофона
Глупой болтовни?
И усядемся мы рядом
В липовой тени.
И молчим, молчим в истоме,
Слушая, как лес
Нам поет о счастье жизни
Призрачных чудес.
Мнится нам, что в этом небе
Нам блестят лучи;
Грезим мы, что в этих ивах
Нам журчат ключи.
Счастлив я, внимая струям
Голубой реки,
Гладя пальцы загорелой,
Милой мне руки.
Хорошо и любой, — вижу,
Вижу по глазам,
Что нашептывают сказки
Верящим цветам.
И склоняется головка
Девушки моей
Ближе все ко мне, и жарче
Песнь ее очей.
Ручкой теплою любовно
Голову мою
Гладит долго, поверяя
Мне беду свою:
"Бедность точит, бедность губит;
Полон рот забот;
Разве тут похорошеешь
От ярма работ?
Летом все же перебьешься,
А зимой что есть?
По нужде идешь на место, —
То-то вот и есть".
Мне взгрустнется поневоле,
Но бессилен я:

Ничего я не имею,
        Бедная моя.
Любишь ты свою деревню, —
        Верю я тебе.
Дочь природы, дочь простора,
        Покорись судьбе.
А она уже смеется,
        Слезку с глаз смахнув,
И ласкается, улыбкой
        Сердце обманув.
Я прижмусь к ней, затрепещет,
        Нежит и пьянит,
И губами ищет губы,
        И томит, томит.
Расцелую губки, глазки,
        Шейку, волоса, —
И ищи потом гребенки
        Целых два часа.
...Солнце село, и туманы
        Грезят над рекой...
И бежит Предгрозя парком,
        Что есть сил, домой;
И бежит, мелькая в липах,
        С криком: "Не скучай —
Я приду к тебе поутру,
        А пока — прощай!.."

Моя дача

Моя зеленая избушка —
В старинном парке над рекой.
Какое здесь уединенье!
Какая глушь! Какой покой!

Немного в сторону — плотина
У мрачной мельницы; за ней
Сонлива бедная деревня
Без веры в бодрость лучших дней.

Где в парк ворота, — словно призрак,
Стоит заброшенный дворец;
Он обветшал, напоминая
Без драгоценностей ларец.

Мой парк угрюм: в нем много тени;
Сильны столетние дубы;
Разросся он; в траве дорожки;
По сторонам растут грибы.

Мой парк красив: белеют урны;
Видны с искусственных террас
Река, избушки, царский домик...
Там хорошо в вечерний час.

Кто идет?

Кто идет? какой пикантный шаг!
Это ты ко мне идешь!
Ты отдашься мне на ландышах
И, как ландыш, расцветешь!

Будут ласки небывалые,
Будут лепеты без слов...
О, мечты мои усталые,
Сколько зреет вам цветов!

Ты — дитя простонародия,
Много звезд в моей судьбе...
Но тебе — моя мелодия
И любовь моя — тебе!

Мыза "Ивановка"

И рыжик, и ландыш, и слива

I

Природа всегда молчалива,
Ее красота в немоте.
И рыжик, и ландыш, и слива
Безмолвно стремятся к мечте.
Их губят то птицы, то черви,
То люди их губят; но злак
Лазурит спокойствие в нерве,
Не зная словесных клоак.
Как жили бы люди красиво,
Какой бы светились мечтой,
Когда бы (скажу для курсива):
Их Бог одарил немотой.
Безмолвие только — стыдливо,
Стыдливость близка Красоте.
Природа всегда молчалива,
И счастье ее — в немоте.

II

Постой... Что чирикает чижик,
Летящий над зрелым овсом?
— И слива, и ландыш, и рыжик
Всегда и везде, и во всем:
И в осах, и в синих стрекозах,
И в реках, и в травах, и в пнях,
И в сочно-пасущихся козах,
И в борзо-бегущих конях,
И в зареве грядковых ягод,
И в нимфах заклятых прудов,
В палитре сияющих радуг,
И в дымных домах городов.
Природа всегда бессловесна,

И звуки ее — не слова.
Деревьям, поверь, не известно —
Чем грезит и дышит трава...
Мечтанья алеющих ягод
Неясны пчеле и грибам.
Мгновенье им кажется за год;
Все в мире приходит к гробам.

III

Я слышу, над зарослью речек,
Где ночь — бирюзы голубей,
Как внемлет ажурный кузнечик
Словам голубых голубей:
"И рыжик, и слива, и ландыш
Безмолвно стремятся к мечте.
Им миг ослепительный дан лишь,
Проходит их жизнь в немоте.
Но слушай! в природе есть громы
И бури, и штормы, и дождь.
Вторгаются вихри в хоромы
Спокойно мечтающих рощ.
И губят, и душат былинки,
Листву, насекомых, цветы,
Срывая с цветов пелеринки,
Но мы беззаботны, как ты.
Мы все, будет время, погибнем, —
Закон изменения форм.
Пусть гимну ответствует гимном
Нам злом угрожающий шторм.
Она справедлива — стихия —
Умрет, что должно умереть.
Налеты ее огневые
Повсюду: и в прошлом, и впредь.
Восславим грозовые вихри:
Миры освежает гроза.
И если б стихии затихли,
Бог, в горе, закрыл бы глаза.
Но помни: Бессмертное — живо!
Стремись к величавой мечте!
Величье всегда молчаливо,
И сила его — в немоте!"

"Дылицы"

Белая улыбка

Мистическая поэма

Ты помнишь? В средние века
Ты был мой властелин...

М. Лохвицкая

I

Есть в лесу, где шелковые пихты,
Дней былых охотничий дворец.
Есть о нем легенды. Слышать их ты
Если хочешь, верь, а то — конец!..
У казны купил дворец помещик,
Да полвека умер он уж вот;
После жил лет семь старик-объездчик,
А теперь никто в нем не живет.
Раз случилось так: собралось трое
Нас, любивших старые дома,
И хотя мы были не герои,
Но легенд истлевшие тома
Вызывали в нас подъем духовный,
Обостряли нервы до границ;
Сердце билось песнею неровной,
И от жути взор склонялся ниц.
И пошли мы в темные покои,
Под лучами солнца, как щита.
Нам кивали белые левкои
Грустно вслед, светлы, как нищета.
Долго шли мы анфиладой комнат,
Удивленно слушавших шаги;
Да, покои много звуков помнят,
Но, как звякнут, — в сторону беги!..
На широких дедовских диванах
Приседали мы, — тогда в углах
Колыхались на обоях рваных
Паутины в солнечных лучах.
Усмехались нам кариатиды,
Удержав ладонью потолки.
В их глазах — застывшие обиды;
Только уст дрожали уголки...
Но одна из этих вечных статуй
Как-то странно мнилась мне добра;
И смотрел я, трепетом объятый,
На нее, молчавшую у бра.
Жутко стало мне; но на пороге,
Посмотрев опять из-за дверей
И ее увидев, весь в тревоге,
Догонять стал спутников скорей.
Долго-долго белая улыбка
Белых уст тревожила меня...
Долго-долго сердце шибко-шибко
Шибко билось, умереть маня.

II

На чердак мы шли одной из лестниц,
И скрипела лестница, как кость.
Ждали мы таинственных предвестниц
Тех краев, где греза наша — гость.
На полу — осколки, хлам и ветошь,
Было сорно, пыльно; а в окно
Заглянуло солнце... Ну, и свет уж
Лило к нам насмешливо оно!
Это солнце было не такое,
Как привыкли солнце видеть мы —
Мертвое, в задумчивом покое,
Иначе блестит оно для тьмы;
Этот свет не греет, не покоит,
В нем бессильный любопытный гнев.

Я молчу... Мне страшно... Сердце ноет...
Каменеют щеки, побледнев...

III

Это — что? откуда? что за диво!
Смотрим мы и видим — у трубы
Перья... Кровь... В окно кивнула ива,
Но молчит отчаяньем рабы.
Белая, как снег крещенский, птица
На сырых опилках чердака
Умирала тихо... С ней проститься
Прислан был я кем издалека?..
Разум мой истерзан был, как перья
Снежной птицы, умерщвленной кем?
В этом доме, царстве суеверья,
Я молчал, догадкой сердца нем...
Вдруг улыбка белая на клюве
У нее расплылась, потекла...
Ум застыл, а сердце, как Везувий,
Затряслось, и в раме два стекла
Дребезжали от его биенья
И звенели, тихо дребезжа...
Я внимал, в гипнозе упоенья,
Хлыстикам полившего дождя.
И казалось мне, что с пьедестала
Отошла сестра кариатид
И бредет по комнатам устало,
Напевая отзвук панихид.
Вот скрипят на лестнице ступени,
Вот хрипит на ржавой меди дверь...
И в глазах лилово, — от сирени,
Иль от страха, знаю ль я теперь!..
Как нарочно, спутники безмолвны...
Где они? Не вижу. Где они?
А вдали бушуют где-то волны...
Сумрак... дождь... и молнии огни...
— Защити! Спаси меня! Помилуй!
Не хочу я белых этих уст!.. —
Но она уж близко, шепчет: "Милый"...
Этот мертвый звук, как бездна, пуст...
Каюсь я, и вижу — крепнет солнце,
Все властнее вспыхивает луч
И ко мне сквозь мокрое оконце,
Как надежда, светит из-за туч.
Все бодрей, ровней биенья сердца,
Веселеет быстро все кругом.
Я бегу... вот лестница, вот дверца, —
И расстался с домом, как с врагом.

IV

Как кивают мне любовно клены!
Как смеются розы и сирень!
Как лужайки весело-зелены,
И тюльпанов каски набекрень!
Будьте вы, цветы, благословенны!
Да сияй во веки солнца свет!
Только те спасутся, кто нетленны!
Только тот прощен, кто дал ответ!

"Ивановка".
Охотничий дворец

II. Лунные тени

Прелюдия

Лунные тени — тени печали —
Бродят бесшумной стопой
В черном, как горе земли, покрывале
Призрачной робкой толпой.

Многих любовно и нежно качали,
Чутко давали ответ...
Лунные тени, тени печали,
Мой повторят силуэт!..

Сонет

Я полюбил ее зимою
И розы сеял на снегу
Под чернолесья бахромою
На запустелом берегу.

Луна полярная, над тьмою
Всходя, гнала седую мглу,
Встречаясь с ведьмою хромою,
Поднявшей снежную пургу.

И, слушая, как стонет вьюга,
Дрожала бедная подруга,
Как беззащитная газель;
И слушал я, исполнен гнева,
Как выла злобная метель
О смерти зимнего посева.

Мыза "Ивановка"

Из Сюлли-Прюдома

"No jamais la voir, ni l'entendre"...

Мне никогда не видеть, не слыхать
И не назвать ее мне никогда.
Но верным быть, ее любовно ждать,
Любить ее — всегда!

К ней руки простирать, молить, дрожать
И их сомкнуть без цели... Не беда:
Ведь снова к ней, ведь снова продолжать
Любить ее всегда!

Ах, только бы надеяться, мечтать
И в этих слезах таять, как вода...
Как радостно мне слезы проливать,
Любить ее всегда!

Мне никогда не видеть, не слыхать
И не назвать ее мне никогда.
Но знать ее, ее благословлять,
Любить ее — всегда!

Триолет

Ты мне желанна, как морю — буря,
Тебе я дорог, как буре — штиль.
Нас любит море... И, каламбуря
С пурпурным небом: "как морю — буря,
Она желанна", — на сотни миль
Рокочут волны, хребты пурпуря
Зарей вечерней: ... как морю — буря...
...Как буре, штиль...

Саронская фантазия

Посвящено Грааль-Арельскому

Царица я народам, мне подвластным,
Но ты, дитя, зови меня — Балькис.

Мирра Лохвицкая

Давно когда-то; быть может, это в мифе;
Где померанец и пальма, и лимон; —
К царице Савской, к прекрасной Суламифи,
Пришел забыться премудрый Соломон.

Пришел нежданно, пришел от пышных кляуз,
Устав от царства, почета и песка, —
Чтоб в белогрудьи запрятать ум, как страус,
Чтоб выпить губы — два алых лепестка.

Июлил вечер, мечтая звезды высечь...
"Нарцисс Сарона" прилег под кипарис...
И та, которой дано имен сто тысяч,
Все променяла на арфное — Балькис.

27 августа 1912

Двадцать седьмое августа; семь лет
Со дня кончины Лохвицкой; седьмая
Приходит осень, вкрадчиво внимая
Моей тоске: старуха в желтый плэд
Закутана, но вздрагивает зябко.
Огрязнены дороги, но дождей
Неделя — нет. Девчонка-косолапка
На солнышке искомкалась. Желтей,
Румяней лист: земля заосенела.

Коровница, — в мелодиях Фенелла, —
На цитре струны щупает. Она
Так молода, и хочется ей звуков;
Каких — не все равно ли? Убаюкав
"Игрою" кур, взгрустила — и бледна.
На зелени лужка белеет чепчик.
Опять княгиня яблоки мне шлет,
И горничная Катя, — алодевчик, —
Торопится лужайку напролет...

Веймарн, мыза "Пустомержа"

Морская памятка

Сколько тайной печали, пустоты и безнадежья
В нарастающем море, прибегающем ко мне,
В тишине симфоничной, в малахитовом
изнежье,
Мне целующем ноги в блекло-шумной тишине.

Только здесь, у прибоя, заглушающего птичье
Незатейное пенье, озаряющее лес,
Познаю, просветленный, преимущество величья
Земноводной пучины над пучиною небес...

1912. Август. Эстляндия.
Иеве, деревня "Тойло"

Вне

Ивану Лукашу

Под гульливые взвизги салазок
Сядем, детка моя, на скамью.
Олазорь незабудками глазок
Обнищавшую душу мою!

Пусть я жизненным опытом старше, —
Научи меня жить, научи! —
Под шаблонно-красивые марши,
Под печально-смешные лучи.

Заглушите мой вопль, кирасиры!
Я — в сумбуре расплывшихся зорь...
Восприятия хмуры и сиры...
Олазорь же меня, олазорь!

Я доверьем твоим не играю,
Мой порыв, дорогая, глубок.
Голубок, я тебе доверяю,
Научи меня жить, голубок!

Не смотрите на нас, конькобежцы:
Нашу скорбь вы сочтете за шарж.
Веселитесь, друг друга потешьте
Под лубочно-раскрашенный марш.

Нам за вашей веселостью шалой
Не угнаться с протестным бичом...
Мы с печалью, как мир обветшалой,
Крепко дружим, но — вы-то при чем?

Мы для вас посторонние люди,
И у нас с вами общее — рознь:
Мы в мелодиях смутных прелюдий,
Ваши песни — запетая кознь.

Мы — вне вас, мы одни, мы устали...
Что вам надо у нашей скамьи?
Так скользите же мимо на стали,
Стальносердные братья мои!..

Замужница

Е. Я.

Исстражденный, хочу одевить,
Замужница, твои черты:
Невиденная мною девять
Осенних лет, ты — снова ты!

Смеющаяся, в отстраданьи,
Утихшая — ...июнь в саду... —
Растративши дары и дани,
Пристулила в седьмом ряду.

Я — солнечник и лью с эстрады
На публику лучи поэз.
Ты, слушая, безгрезно рада
(Будь проклята приставка "без"!)

Но может быть, мое явленье,
Не нужное тебе совсем,
Отторгнуло тебя от лени,
Пьянительней моих поэм?

Напомнило, что блеклых девять
Осенних лет твои черты
Суровеют, что их одевить
В отчаяньи не можешь ты...

1912. Ночь под Рождество

Портниха

Ты приходишь утомленная, невеселая, угаслая,
И сидишь в изнеможении, без желаний и без слов...
Развернешь газету — хмуришься, от себя ее отбрасывая:
Тут уже не до политики! тут уже не до балов!

Светлый день ты проработала над капотом мессалиновым
(Вот ирония! — для женщины из разряда "мессалин"!).
Ах, не раз усмешка едкая по губам твоим малиновым
Пробегала при заказчице, идеал которой — "блин"...

В мастерской — от вздорных девочек — шум такой же, как на митинге,
Голова болит и кружится от болтливых мастериц...
Не мечтать тебе, голубушка, о валькириях, о викинге:
Наработаешься за день-то, к вечеру — не до цариц!

Будь спокойна

Будь спокойна, моя деликатная,
Робко любящая и любимая:
Ты ведь осень моя ароматная,
Нежно-грустная, необходимая...

Лишь в тебе нахожу исцеление
Для души своей обезвопросенной
И весною своею осеннею
Приникаю к твоей вешней осени...

1912. Июль. День Игоря.
Ст. Елизаветино, село "Дылицы"

Моя улыбка

Моя улыбка слезы любит,
Тогда лишь искренна она,
Тогда лишь взор она голубит, —
И в душу просится до дна.

Моей улыбке смех обиден,
Она печалью хороша.
И если луч ее не виден,
Во мне обнажена душа.

Мыза "Ивановка"

Звезды

Бессонной ночью с шампанским чаши
Мы поднимали и пели тосты
За жизни счастье, за счастье наше.
Сияли звезды.

Вино шипело, вино играло.
Пылали взоры и были жарки.
— Идеи наши, — ты вдруг сказала:
Как звезды — ярки!

Полились слезы, восторга слезы...
Минуты счастья! я вижу вас ли?
Запело утро. Сверкнули грезы.
А звезды... гасли.

Простить? Никогда!

Какой изнурительный сон!..
Я шел и твой дом повстречал.
Была на крыльце ты. Начал
Былого конца лился звон.

Любовь во мне снова зажглась
И сердце грозила смести.
— Прости, застонал я, прости! —
И брызнули слезы из глаз.

Смотрю я: ты вздрогнула вся,
Ты вся изменилась в лице...
Я бился в мечте на крыльце,
Тебя о прощеньи прося.

И ты, засверкав, хохоча,
Любя, как давно, как всегда,
Сказала: "Простить? никогда!.."

— Где в храме потухла свеча?.. —

Год миновал

Я с рукава срываю креп:
Год миновал. Мой взор окреп,
Окреп от слез.

Так крепнет травка от дождя.
Так крепнет рать в крови вождя.
И ум — от грёз.

Горелово

Орешек счастия

В цветах стыдливости, в мечтах веселья,
В душистом полыме своей весны,
Она пришла ко мне, — и без похмелья
Пьянели девственно поэта сны.

А сколько радости! а сколько счастья!
Ночей жасминовых!.. фиалок нег!..
О, эта девочка — вся гимн участья,
Вся — ласка матери, вся — человек!

Орешек счастия сберечь в скорлупке
Я не сумел тогда... Молчи, постой! —
Ведь нет... ведь нет ее, моей голубки.
Моей любовницы... моей святой!

Снег яблонь...

Снег яблонь — точно мотыльки,
А мотыльки — как яблонь снег.
Еще далеко васильки,
Еще далеко ночи нег.

И все — в огне, и все — в цвету,
Благоухает каждый вздох!..
Зову и жажду, — жажду ту,
От чьих слезинок дымен мох!..

Мыза "Ивановка"

Рондо

— Бери меня, — сказала, побледнев
И отвечая страстно на лобзанье...
Ее слова — грядущих зол посев —
Ужальте мне мое воспоминанье!
Я обхватил трепещущую грудь;
Как срезанный цветок, ее головка
Склоняется в истоме... "Смелой будь",

Хотел сказать, но было так неловко...
— Возьми меня, — шепнула, побледнев,
Страдальчески глаза мои проверив;
Но дальше — ни мазков, ни нот, ни перьев!..
То вся — любовь, то вся — кипучий гнев,
— Бери меня! — стонала, побледнев.

Мыза "Ивановка"

Ничего не говоря...

Это было так недавно,
Но для сердца так давно...
О фиалке грезил запад,
Отразив ее темно.

Ты пришла ко мне — как утро,
Как весенняя заря,
Безмятежно улыбаясь,
Ничего не говоря.

Речку сонную баюкал
Свет заботливой луны.
Где-то песня колыхалась,
Как далекий плеск волны.

И смотрел я, зачарован,
Ничего не говоря.
Как скрывала ты смущенье
Флером — синим, как моря.

О, молчанье нашей встречи, —
Все тобой озарено!
Так недавно это было,
А для сердца так давно!..

А если нет?..

А если нет?.. А если ты ушла,
Чтоб не прийти ко мне до панихиды?..
Кто даст ответ?
Одна лишь ты могла,
Но ты полна обиды...
А если нет?

Какая грусть... Как мраморна печаль...
Как высока, свята и вдохновенна!
Но пусть, но пусть:
Разбитая скрижаль —
Осколком драгоценна...
Какая грусть!

Мыза "Ивановка"

Утренний эскиз

Сегодня утром зяблики
Свистели и аукали,
А лодку и кораблики
Качели волн баюкали.

Над тихою деревнею
Дышали звуки вешние,
И пред избушкой древнею
Светлела даль поспешнее.

Хотелось жить и чувствовать
Зарей студено-ясною.
Смеяться и безумствовать
Мечтой — всегда напрасною!

Мыза "Ивановка"

У бездны

О, юность! О, веры восход!
О, сердца взволнованный сад!
И жизнь улыбалась: "вперед!"
И смерть скрежетала: "назад"...

То было когда-то тогда,
То было тогда, чего нет...
Клубились, звенели года —
Размерены, точно сонет.

Любил, изменял, горевал,
Знал смерти, невзгоды, нужду,
И жизнь, как пират моря вал,
Добросила к бездне. Я жду!

Я жду. Я готов. Я без лат.
Щит согнут, и меч мой сдает.
И жизнь мне лепечет: "назад"...
А смерть торжествует: "вперед!"

Ненужное письмо

Семь лет она не писала,
Семь лет молчала она.
Должно быть, ей грустно стало,
Но, впрочем, теперь весна.

В ее письме ни строчки
О нашей горькой дочке,
О тоске, о тоске,
Спокойно перо в руке.

Письмо ничем не дышит,
Как вечер в октябре.
Она бесстрастно пишет
О своей сестре.

Меня настойчиво просит
Сестры ее не бросить:
"Ведь Ваш от нее сын
Покинут. Один, один".

Ах, что же я отвечу
И надо ль отвечать...
Но сегодняшний вечер
Будет опять, опять.

Веймарн

Зарею жизни

Зарею жизни я светом грезил,
Всемирным счастьем и вечным днем!
Я был так пылок, так смел, так весел,
Глаза горели мои огнем.

Мир рисовался — прекрасен, дивен.
Прожить казалось — я мог шутя...
Зарею жизни я был наивен,
Зарею жизни я был дитя!

Закатом жизни порывы стихли,
Иссякли силы, и жар погас.
Мне жаль сердечно, не знаю, — их ли,
Погибшей грезы ль, но — близок час.

Он, ироничный, пробьет бесстрастно,
Я улетучусь, тоской объят...
Зарею жизни — все в жизни ясно!
Закатом жизни — всему закат!

Спустя пять лет

Тебе, Евгения, мне счастье давшая,
Несу горячее свое раскаянье...
Прими, любившая, прими, страдавшая,
Пойми тоску мою, пойми отчаянье...

Вся жизнь изломана, вся жизнь истерзана,
В ошибке юности проклятье вечное...
Мечта иссушена, крыло подрезано,
Я не сберег тебя, — и жизнь — увечная...

Прости скорбящего, прости зовущего,
Быть может — слабого, быть может — гения...
Не надо прошлого: в нем нет грядущего, —
В грядущем — прошлое... Прости, Евгения!

Сонмы весенние

Сонные сонмы сомнамбул весны
Санно манят в осиянные сны.

Четко ночами рокочут ручьи.
Звучные речи ручья горячи.

Плачут сирени под лунный рефрэн.
Очи хохочут несчастных сирен.

Лунные плены былинной волны.
Сонные сонмы весенней луны.

Весна

Вечер спал, и Ночь на сене
Уж расчесывала кудри.
Одуванчики, все в пудре,
Помышляли об измене.

Шел я к Ночи, — Ночь навстречу,
Повстречалися без речи...
— Поцелуй... "Я не перечу"...
И — опять до новой встречи.

Шел я дальше. Незнакомка
Улыбалась мне с поляны.
Руки гнулись, как лианы,
И она смеялась громко.

Вместо глаз синели воды
Обольстительного юга,
Голос страстный пел, как вьюга,
А вкруг шеи хороводы

Заводили гиацинты
С незабудками с канавок...
Я имел к миражам навык,
Знал мечтаний лабиринты, —

И пускай, кто хочет, трусит.
Но не мне такая доля.
И сказал я: "Дева с поля,
Кто же имя девы вкусит?"

Уже, уже нить лесная,
Комаров порхают флотты...
Тут ее спросил я: "Кто ты?"
И прозвякала: "Весна — я!"

Под настроеньем чайной розы

1. Октава

От вздохов папирос вся комната вуалевая...
Свой абрис набросал на книге абажур.
В вазетке на столе тоскует роза палевая,
И ветерок ее колышет, весь ажур.

Пугает холодок... А вдохновенье, спаливая,
Зовет меня в леса из копоти канур.
Я плащ беру и верный хлыст,
И чайной розы сонный лист.

2. Газэлла

И все мне доносится чайная роза...
Зачем тосковала так чайная роза?

Ей в грезах мерещились сестры пунцовые...
Она сожалела их, чайная роза.

Ее обнадежили тучи свинцовые...
О! влага живительна, чайная роза...

Дыханьем поила закаты лиловые
И лепеты сумерек чайная роза...

В груди ее таяли чаянья новые...
Их пела случайная чайная роза.

Мыза "Ивановка"

Поэза о незабудках

Поет Июнь, и песни этой зной
Палит мне грудь, и грезы, и рассудок.
Я изнемог и жажду незабудок,
Детей канав, что грезят под луной
Иным цветком, иною стороной.
Я их хочу: сирени запах жуток,
Он грудь пьянит несбыточной весной;
Я их хочу: их взор лазурный чуток,
И аромат целебен, как простор.
Как я люблю участливый их взор!
Стыдливые, как томны ваши чары...
Нарвите мне смеющийся букет,
В нем будет то, чего в сирени нет,
А ты, сирень, увянь в тоске нектара.

Мыза "Ивановка"

Мой сад

П.М. Кокорину

Войди в мой сад... Давно одебрен
Его, когда-то пышный, вид.
Днем — золочен, в луне — серебрян.
Он весь преданьями овит.

Он постарел, он к славе алчен,
И может быть — расскажет он,
Как потерял в нем генерал чин,
Садясь в опальный фаэтон...

И, может быть, расскажет старец,
Как, много лет тому назад,
Графиня ехала в Биарриц
И продала поспешно сад;

Как он достался генеральше,
Как было это тяжело,
И, может быть, расскажет дальше,
Что вслед за тем произошло...

А если он и не расскажет
(Не всех доверьем он дарит...)
Каких чудес тебе покажет!
Какие дива озарит!

И будешь ты, когда в росе — лень,
А в сердце — нега, созерцать
Периодическую зелень
И взором ласково мерцать.

Переживать мечтой столетья,
О них беззвучно рассуждать,
Ждать девушек в кабриолете
И, не дождавшись их, страдать...

Мой тихий сад — в луне серебрян,
А в солнце — ярко золочен.
Войди в него, душой одебрен,
И сердцем светел и смягчен.

Ты не шла...

Кармените

Целый день хохотала сирень
Фиолетово-розовым хохотом.
Солнце жалило высохший день.
Ты не шла. (Может быть, этот вздох о том?)
Ты не шла. Хохотала сирень,
Удушая пылающим хохотом...
Вдалеке, у слепых деревень,
Пробежал паровоз тяжким грохотом.

Зло-презло хохотала сирень,
Убивая мечты острым хохотом.
Да. А ты все не шла — целый день.
И я ждал. (Может быть, этот вздох о том..?)
До луны хохотала сирень
Беспощадно-осмысленным хохотом...
Ты не шла. В парке влажная тень.
Сердце ждет, сердце бесится грохотом.
— Отхохочет ли эта сирень?
Иль увянет, сожженная хохотом?!

Павловск

На строчку больше, чем сонет

К ее лицу шел черный туалет...
Из палевых тончайшей вязи кружев
На скатах плеч — подобье эполет...
Ее глаза, весь мир обезоружив,
Влекли к себе...

Садясь в кабриолет
По вечерам, напоенным росою,
Она кивала мужу головой
И жаждала душой своей живой
Упиться нив вечернею красою.

И вздрагивала лошадь, под хлыстом,
В сиреневой муаровой попоне...
И клен кивал израненным листом.
Шуршала мгла...

Придерживая пони,
Она брала перо, фантазий страж,
Бессмертя мглы дурманящий мираж...

Мыза "Ивановка"

Град

Дарю Дорину-Николаеву

Качнуло небо гневом грома,
Метнулась молния, — и град
В воде запрыгал у парома,
Как серебристый виноград.

Вспорхнула искорка мгновенья,
Когда июль дохнул зимой —
Для новых дум, для вдохновенья,
Для невозможности самой...

И поднял я бокал высоко, —
Блеснули мысли для наград...
Я пил вино, — и в грезах сока
В моем бокале таял град.

Мыза "Ивановка"

Сон мстительный

Вошла в мой сон: немного пополнев,
Все так же легкомысленна и лжива,
Все те ж духи и тот же все напев, —
И вот опять все прожитое живо!

Легко узнать в чертах, всегда твоих,
Чрез много лет оскóрбленных громоздко,
Тех лет черты, когда звенел мой стих,
И ты была в периоде подростка.

Легко узнать в улыбке Valerie,
В изысках надушенного шиньона,
Дикарку в бликах розовой зари,
Которую я называл: Миньона.

Но отчего ж не тот же жгучий хлыст
В твоей руке, в перчатке — элегантной,
А мальчик с дохом, превращенным в свист,
Овалголовый, чахлый, крупногландный?

Я сновиденьем сладко угнетен,
Не превозмочь растерянной улыбки:
Весна моя, пришедшая в мой сон,
Мне отомстить за вешние ошибки...

Веймарн

Принцесса Мимоза

Сказка в триолетах

1

Живет в фарфоровом дворце
Принцесса нежная Мимоза
С улыбкой грустной на лице.
Живет в фарфоровом дворце...
Летают в гости в ней стрекозы.
Жучки дежурят на крыльце:
Живет в фарфоровом дворце
Принцесса нежная Мимоза.

2

Она стыдлива и чиста,
И ручки бархатные хрупки:
Наряд из скромного листа.
Она стыдлива и чиста,
Как вздохи девственной голубки,
Как в ранней юности уста.
Она стыдлива и чиста,
И ручки бархатные хрупки.

3

Дрожит сердечко, как струна
У арфы дивной, сладкозвучной:

Она впервые влюблена;
Поет сердечко, как струна,
И во дворе теперь ей скучно,
Она давно не знает сна:
Поет сердечко, как струна
У арфы громкой, сладкозвучной.

4

Ее избранник, Мотылек,
Веселый, резвый, златотканый,
Ей сделал о любви намек;
Ее избранник, Мотылек,
Любимый ею и желанный,
Подносит стансы в восемь строк;
Ее избранник, Мотылек, —
Поэт с душою златотканой.

5

Мимозу робко просит он
Дозволить слиться поцелуем,
Коротким, как волшебный сон;
Мимозу страстно просит он,
Любовью пылкою волнуем,
За поцелуй дает ей трон.
Мимозу умоляет он
Дозволить слиться поцелуем!

6

Принцесса любит... Почему ж
Его противиться желанью?
Притом он вскоре будет муж...
Принцесса любит... Почему ж?!
Уже назначено свиданье,
И близится слиянье душ;
Принцесса любит... Почему ж
Противиться его желанью?

7

Как обнадежен мотылек —
Поэт и юноша веселый!
В благоуханный вечерок
К ней подлетает Мотылек.
Принцесса очи клонит долу,
Он наклоняется и — чмок!
Мимозу шустрый Мотылек —
Поэт и юноша веселый.

8

И вдруг смежила вечным сном
Глаза лазурные принцесса
Пред потрясенным Мотыльком.
Увы! Смежила вечным сном.
Сокрыла счастие завеса,
И веет в сердце холодком,
Когда смежила вечным сном
Глаза невинные принцесса.

9

Ее святая чистота —
Причина гибели Мимозы,
Что чище вешнего листа.
В любви духовной — чистота,
А не в земной, рабыне прозы;
Есть для одних молитв уста.
И их святая чистота —
Причина гибели Мимозы!

Белая Лилия

Сказка в триолетах

1

Белая Лилия, юная Лилия
Красила тихий и сумрачный пруд.
Сердце дрожало восторгом идиллии
У молодой и мечтательной Лилии.
Изредка разве пруда изумруд
Шумно вспугнут лебединые крылья.
Белая Лилия, светлая Лилия
Красила тихий и сумрачный пруд.

2

Белую Лилию волны баюкали,
Ночи ласкали, исполнены чар.
Сердце ль застонет, томит его мука ли,
Лилию ласково волны баюкали.
Ей объяснялся в любви Ненюфар,
С берега ей маргаритки аукали.
Белую Лилию волны баюкали,
Ночи ласкали, исполнены чар.

3

Всеми любима, собою всех радуя,
Распространяя вокруг аромат,
Тихо цвела, неподвижна, как статуя,
Юная Лилия, очи всех радуя.
Грезно внемля, как любовью объят,
Пел Ненюфар, на судьбу не досадуя.
Тихо цвела она, души всех радуя,
Нежный, как греза, лия аромат.

4

Лодка изящная, лодка красивая
Как-то прорезала зеркало вод;
Сразу нарушила жизнь их счастливую
Лодка изящная, лодка красивая;
Весла ее подгоняли вперед,
Заволновалося царство сонливое...
Лодка бездушная, лодка красивая
Грубо разбила все зеркало вод.

5

Девушка бледная, девушка юная
Воды вспугнула ударом весла.
Ночь просыпалась с улыбкою лунною,
Девушка плакала бледная, юная;
Скорбь у нее не сходила с чела,
Арфа рыдала, ее звонкострунная.
Девушка кроткая, девушка юная
Воды вспугнула ударом весла.

6

— Белая Лилия, юная Лилия, —
Девушка вдруг обратилася к ней:
Как нас сближает с тобою бессилие...
Грустно мне, Лилия, чистая Лилия.
Сердце страдает больней и больней,
Счастье вернуть, напрягая усилия...
О, посочувствуй мне, милая Лилия, —
Девушка вдруг обратилася к ней.

7

— Добрая девушка, девушка милая, —
Лилия грустно вздохнула в ответ;
Чем облегчу я — бессильная, хилая —
Сердце твое, моя девушка милая?
Кажется, мне твой понятен секрет:
Первое чувство сроднилось с могилою?..
Правда ли, девушка, девушка милая? —
Лилия грустно вздохнула в ответ.

8

— Ты отгадала, — с печальной улыбкою
Та отвечала, головку склонив:
Чувство мое оказалось ошибкою.
Ты отгадала, — с печальной улыбкою
Молвила девушка, грусть ощутив,
Молча следя за играющей рыбкою;
Ты отгадала! — с щемящей улыбкою
Дева сказала, головку склонив.

9

Лилия скорбно вздохнула, растрогана
Этим признанием, этой тоской.
— Знаешь?.. сорви меня, дева,
для локона, —
Лилия тихо шепнула, растрогана:
Буду лелеять твой локон златой. —
Ей для дыханья давала свой сок она,
Всю отдавала себя ей, растрогана
Робким признанием, страстной тоской.

10

... И сорвала ее дева задумчиво,
Бледной прекрасной рукой сорвала...
И угасала осмысленно, вдумчиво
Лилия, снятая с стебля задумчиво.
Снова раздались удары весла,
И Ненюфар запечалился влюбчивый...
Лилию бедную дева задумчиво
Бледной, прекрасной рукой сорвала.

11

Белая Лилия, чистая Лилия
Больше не красила сумрачный пруд,
И не дрожала восторгам идиллия:
Белая Лилия — мертвая лилия!..
Пруд спит по-прежнему... Разве
вспугнут
Сон иногда лебединые крылия...
Белая Лилия, светлая Лилия
Больше не красила сумрачный пруд...

Светосон

Девушкам "Тойла"

Отдайте вечность за мгновенье,
Когда в нем вечности покой!..
На дне морском — страна Забвенья,
В ней повелитель — Водяной.
На дне морском живут наяды,
Сирены с душами медуз;
Их очи — грезовые яды.
Улыбки их — улыбки муз.
Когда смеется солнце в небе,
Король воды, как тайна, тих:
Ведь он не думает о хлебе
Ни для себя, ни для других!
Когда ж, прельстясь лазурной сталью,
Приляжет в море, как в гамак,
С такой застенчивой печалью
И раскрасневшись, точно мак,
Светило дня, — в свою обитель
Впустив молочный сонный пар
Замыслит донный повелитель
Оледенить небесный жар:
Лишь Водяной поднимет коготь,
Залентят нимфы хоровод
И так лукаво станут трогать
И щекотать просонок вод.
И волны, прячась от щекотки,
Сквозь сон лениво заворчат
И, обозлясь, подбросят лодки,
Стремя рули в грозовый чад.
Рассвирепеет мощно море,
Как разозленный хищный зверь...
Поди, утешь морское горе!
Поди, уйми его теперь!
Как осудившие потомки
Ошибки светлые отцов,
Начнет щепить оно в обломки
Суда случайные пловцов.

Оно взовьет из волн воронку,
Загрохотав, теряя блеск,
Стремясь за облаком вдогонку —
Под гул и гам, и шум, и треск.
А солнце, дремлющее сладко
На дне взбунтованных пучин,
Уйдет — но как? его загадка!
Распутав плен зеленый тин.
Оно уйдет, уйдет неслышно
И незаметно, точно год...
Пока пылает буря пышно,
Оно таинственно уйдет...
Когда ж палитрою востока
Сверкнет взволнованная сталь,
Светило дня — душа пророка! —
Опять поднимется в эмаль.
Одной небрежною улыбкой
Оно смирит волнистый гнев, —
И Водяной, смущен ошибкой,
Вздохнет, бессильно побледнев...
Спешите все в страну забвенья
Вы, изнуренные тоской!
Отдайте вечность за мгновенье,
Когда в нем вечности покой!..

Инэс

Фантастическая поэма

> О пойми, ...о, пойми, о, пойми,
> В целом свете всегда я одна...
>
> *Мирра Лохвицкая*

1

Давался блистательный бал королем,
Певучим владыкой Парнаса,
Сплывались галеры, кивая рулем,
К пробитью закатного часа.

2

В них плыли поэты, заслугой умов
Достигшие доступа в царство,
Где молнии блещут под хохот громов
И блещут притом без коварства.

3

Шел час, когда солнце вернулось домой
В свои золотые чертоги,
И сумрак спустился над миром немой
В усеянной звездами тоге.

4

Свистали оркестры фарфоровых труб.
Шел шелк перламутровых скрипок;
И тот, кто недавно погасший был труп,
Воскрес в воскресенье улыбок...

5

Цвели, как мечтанья поэта, цветы
Задорными дерзко тонами,
И реяли, зноем палитры, мечты
Земле незнакомыми снами.

6

Собрались все гости. Огнем полонез
Зажегся в сердцах инструментов, —
И вышла к гостям королева Инэс,
Колдунья волшебных моментов.

7

В каштановой зыби сиял мрамор чела,
Качалась в волнах диадема.
И в каждой черте королевы жила
Восторгов сплошная поэма.

8

Чернели маслины под елями дуг,
Дымилася инеем пудра;
Инэс истомляла, как сладкий недуг,
Царя, как не женщина, мудро.

9

Букеты левкоев и палевых роз,
Казалось, цвели на прическе,
Алмазы слезились, как капельки рос,
На рук розовеющем воске.

10

Наряд королевы сливается с плеч
Каскадами девственных тканей.
На троне она соизволила взлечь
На шкурках безропотных ланей.

11

Рассеянно, резко взглянув на гостей,
К устам поднесла она пальчик, —
И подал ей пару метальных костей
Паж, томный и женственный мальчик.

12

Бледнея, как старый предутренний сон,
Царица подбросила кости.
Они покатились на яркий газон
В какой-то загадочной злости.

13

Царица вскочила и сделала шаг,
Жезлом отстранила вассала,
Склонилась, взглянула, зарделась, как мак,
Ей многое цифра сказала!

14

Смущенно взошла она снова на трон,
С мечтой, устремленной в пространство.
И к ней подошел вседержитель корон,
Пылающий зноем убранства.

15

С поклоном склонился пред нею король
В обласканной солнцем тиаре,
Сказав ей: "Лилея! сыграть соизволь
На раковин моря гитаре".

16

Но странно взглянула Инэс на него
И, каждое слово смакуя,
Ему отвечала: — Больна, — оттого
Сегодня играть не могу я...

17

И бал прекратился к досаде гостей...
С тех пор одинока царица.
Но в чем же загадка метальных костей?
— Да в том, что была *единица*!

Мыза "Ивановка"

Осенние мечты

Бодрящей свежестью пахнуло
В окно, — я встала на заре.
Лампада трепетно вздохнула.
Вздох отражен на серебре
Старинных образов в киоте...
Задумчиво я вышла в сад;
Он, как и я, рассвету рад;
Однако холодно в капоте,
Вернусь и захвачу платок.

... Как светозарно это утро!
Какой живящий холодок!
А небо — море перламутра!
Струи живительной прохлады
Вплывают в высохшую грудь,
И утром жизнь мне жаль чуть-чуть,
При светлом пробужденьи сада.
Теперь, когда уже не днями
Мне остается жизнь считать,
А лишь минутами, — я с вами
Хочу немного поболтать.
Быть может, вам не "интересно" —
Узнать, что смерть моя близка,
Но пусть же будет вам известно,
Что с сердцем делает тоска
Любимой женщины когда-то
И после брошенной, как хлам.
Да, следует напомнить вам,
Что где-то ждет и вас расплата
За злой удар ее мечтам.

Скажите откровенно мне,
По правде, — вы меня любили?
Ужели, что вы говорили,
Я только слышала ... во сне?!
Ужель "игра воображенья" —
И ваши клятвы, и мольбы,
А незабвенные мгновенья —
Смех иронический судьбы?
Развейте же мои сомненья,
Сказав, что это был не сон,
Не сказка, не мираж, не греза, —
Что это жизнь была, что стон
Больного сердца и угроза
Немая за обман, за ложь —
Плоды не фикция страданья,
А сердца страстные стенанья,
Которым равных не найдешь.

Скажите мне: "Да, это было". —
И я, клянусь, вам все прощу:
Ведь я вас так всегда любила
И вам ли, другу, отомщу?
Какой абсурд! Что за нелепость!
Да вам и кары не сыскать...
Я Господа молю, чтоб крепость
Послал душе моей; страдать
Удел, должно быть, мой печальный,
А я — религии раба,
И буду доживать "опальной",
Как предназначила судьба.

Итак, я не зову вас в бой,
Не стану мстить, как уж сказала:
Но вот что видеть я б желала
Сейчас в деревьях пред собой:
Чтоб вы, такой красивый, знатный,
Кипящий молодостью весь,
Мучительно кончались здесь.
Вдыхая воздух ароматный,
Смотря на солнечный восход
И восхищаясь птичьей трелью,
Желая жить, вкушать веселье.

Ушли б от жизненных красот.
Мне сладко, чтобы вы страдали.
В сознаньи ожидая смерть.
Я превратила б сердце в твердь,
Которую б не размягчали
Ни ваши муки, ни мольбы,
Мольбы отчаянья, бессилья...
У вашей мысли рвутся крылья,
Мутнеет взор... То — месть судьбы!

Я мстить не стану вам активно,
Но сладко б видеть вас в беде,
Хоть то религии противно.
Но идеала нет нигде,
И я, как человек, конечно,
Эгоистична и слаба
И своего же "я" раба,
А это рабство, к горю, вечно.

... Чахотка точит организм,
Умру на днях, сойдя с "арены"...
Какие грустные рефрэны!
Какой насмешливый лиризм!

Гатчина

Злата

(Из дневника одного поэта)

24-го мая 190... г.

Мы десять дней живем уже на даче.
Я не скажу, чтоб очень был я рад,
Но все-таки... У нас есть тощий сад,
И за забором воду возят клячи;
Чухонка нам приносит молоко,
А булочник (как он и должен!) — булки;
Мычат коровы в нашем переулке,
И дама общества — Культура — далеко.
Как водится на дачах, на террасе
Мы "кушаем" и пьем противный чай;
Смежаем взор на травяном матрасе
И проклинаем дачу невзначай.
Мы занимаем симпатичный флигель
С скрипучими полами, с сквозняком;
Мы отдыхаем сердцем и умом;
Естественно, теперь до скучной книги ль?
У нас весьма приятные соседи,
Maman в знакомстве с ними и беседе;
Но не для них чинил я карандаш,
Чтоб иступить его без всякой темы;
Нет, господа! Безвестный автор ваш
Вас просит "сделать уши" для поэмы,
Что началась на даче в летний день,
Когда так солнце яростно светило,
Когда цвела, как принято, сирень...
Не правда ли, — я начал очень мило?

7-го июня.

Четверг, как пятница; как понедельник —
вторник,
И воскресенье — как неделя вся;
Хандрю отчаянно... И если бы не дворник,
С которым мы дня три уже друзья,
Я б утопился, может быть, в болоте...
Но, к счастью, подвернулся инвалид;
Он мне всегда о Боге говорит,
А я ему о черте и ... Эроте!..
Как видите, в нас общего — ничуть,
Но я привык в общественном компоте
Свершать свой ультра-эксцентричный путь
И не тужу о разных точках зренья,
И не боюсь различия идей.
И — верите ль? — в подвальном помещеньи
Я нахожу не "хамов", а людей.
Ах, мама не права, когда возмущена
Знакомством "низменным", бросает сыну:
"Shoking!"
Как часто сердце спит, когда наряден смокинг,
И как оно живет у "выбросков со дна"!
В одном maman права (спорить бы не стал!):
— Ты опускаешься... В тебе так много риска! —
О, спорить можно ли! — я опускаюсь низко,
Когда по лестнице спускаюсь я в подвал!..

10 июня.

Пахом Панкратьевич — чудеснейший хохол
И унтер-офицер (не кто-нибудь!) в отставке —
Во мне себе партнера приобрел,
И часто с ним мы любим делать "ставки".
Читатель, может быть, с презреньем мой
дневник
Отбросит, обозвав поэта "алкоголик!".
Пусть так... Но все-таки к себе нас тянет столик,
А я давно уже красу его постиг.
С Пахомом мы зайдем, случается, в трактир,
Потребуем себе для развлеченья "шкалик";
В фонографе для нас "запустят" валик;
Мы чокнемся и станем резать сыр.
А как приятен с водкой огурец...
Опять, читатель, хмуришься ты строго?
Но ведь мы пьем "так"... чуточку... немного...
И вовсе же не пьем мы, наконец!
Пахом меня сегодня звал к себе:
— "Зашли бы", говорит, "ко мне Вы, право;
Нашли бы мы для Вас веселья и забаву.
Не погнушайтеся, зайдите к "голытьбе".
Из слов его узнал, что у него есть дочь —
Красавица... работает... портниха;
Живут они и набожно, и тихо,
Но так бедно... я рад бы им помочь.
Зайду, зайду... Делиться с бедняком
Познаньями и средствами — долг брата.
Мне кажется, что дочь Пахома, Злата,
Тут все-таки при чем-то... Но — при чем?

22-го июня.

Она — божественна, она, Пахома дочь!
Я познакомился сегодня с нею. Редко
Я увлекаюсь так, но Злата — однолетка —
Очаровательна! я рад бы ей... помочь!
Блондинка... стройная... не девушка — мечта!
Фарфоровая куколка! мимоза!
Как говорит Ростан — Принцесса Греза!
Как целомудренна, невинна и чиста!
Она была со мной изысканно любезна,
Моя корректность ей понравилась вполне.
Я — упоен! я в чувственном огне.
Нет, как прелестна! как прелестна!
Вот, не угодно ли, maman, — в *такой* среде
И ум, и грация, и атрибуты такта...
Я весь преобразился как-то!..
Мы с нею сблизимся на лодке, на воде,
Мы подружимся с ней, мы будем неразлучны!..
Хоть дорогой ценой, но я ее куплю!
Я увидал ее и вот уже люблю.
Посмейте мне сказать, что жить на свете скучно!
Но я-то Злате, я — хотелось знать бы — люб ль?
Ответ мне время даст, пока же — за сонеты!
Прощаясь со стариком, ему я сунул рубль,
И он сказал: "Народ хороший — вы, поэты".

3-го июля.

Вчера я в парке с Златою гулял.
Она была в коричневом костюме.
Ее лицо застыло в тайной думе.
Мне кажется, я тайну отгадал:
Она во мне боится дон-жуана,
Должно быть, встретить: сдержанная речь,
Холодный тон, пожатье круглых плеч —
Мне говорит, что жертвою обмана
Не хочет, нет, в угоду страсти пасть.
Прекрасный взгляд!.. Бывает все же страсть,
Когда не рассуждаешь... Поздно ль, рано
И ты узнаешь, Злата, страсти чад:
Тогда... тогда я буду триумфатор!..
Мы создадим на севере экватор!..
Как зацветет тогда наш чахлый сад!
Мы долго шли. Вдали виднелись хаты.
Пить захотелось... отыскали ключ.
Горячим золотом нас жег июльский луч,
И золотом горели косы Златы.

24-го июля.

Вот уж два месяца мы обитаем здесь,
И больше месяца знаком я с милой Златой.
Вздыхаю я, любовию объятый,
И тщетно думаю, сгорая страстью весь,
Зажечь ответную: она непобедима,
Ведет себя она с большим умом;
Мои искания ее минуют мимо,
И я терзаюся... Ну, удружил Пахом!
Зачем он звал меня? зачем знакомил с Златой?
Не знал бы я ее и ведал я покой.
Больное сердце починить заплатой
Забвения — труд сложный и пустой.
Мне не забыть ее, мою принцессу грезу.
Я ею побежден, я ею лишь дышу.
В мечтах ее одну всегда ношу
И, ненавидя серой жизни прозу,
Рвясь вечно ввысь, в подвал к ней прихожу.

1-го августа.

Что это — явь или сон, приснившийся вчера
На сонном озере, в тени густых акаций?
Как жаль, что статуи тяжеловесных граций —
Свидетели его — для скорости пера
Не могут разрешить недоуменья.
Я Златою любим? я Злате дорог? Нет!
Не может быть такого упоенья!
Я грезил попросту... я попросту — "поэт"!
Мне все пригрезилось: и вечер над водой,
И томная луна, разнежившая души,
И этот соловей, в груди зажегший зной,
И бой сердец все тише, глуше...
Мне все пригрезилось: и грустный монолог,
И слезы чистые любви моей священной,
Задумчивый мой взор, мой голос вдохновенный
И в милых мне глазах сверкнувший огонек;
И руки белые, обвившие мне шею,
И алые уста, взбурлившие мне кровь.
И речи страстные в молчании аллеи,
И девственной любви вся эта жуть и новь!
Какой, однако, сон! Как в памяти он ясен!
Детали мелкие рельефны и ясны;
Я даже помню бледный тон луны...
Да, это сон! и он, как сон, прекрасен!

2-го августа.

То был не сон, а, к ужасу, — конец
Моей любви, моих очарований...
Сегодня мне принес ее отец
        Короткое посланье:
"Я отдалась: ты полюбился мне.
Дороги наши разны, — души близки.
Я замуж не пойду, а в роли одалиски
Быть не хочу... Забудь о дивном сне".
Проснулась ночь, и вздрогнула роса.
А я застыл, и мысль плыла без формы.

3-го августа, 7 час. утра.

Она скончалась ночью, в три часа,
        От хлороформа.

III. Колье принцессы

Увертюра

Колье принцессы — аккорды лиры,
Венки созвездий и ленты лье,
А мы, эстеты, мы — ювелиры,
Мы ювелиры таких колье.

Колье принцессы — небес палаццо,
Насмешка, горечь, любовь, грехи,
Гримаса боли в лице паяца...
Колье принцессы — мои стихи.

Колье принцессы, колье принцессы...
Но кто принцесса, но кто же та —
Кому все гимны, кому все мессы?
Моя принцесса — моя Мечта!

В Миррэлии

Сексты

Озвень, окольчивай, опетливай,
Мечта, бродягу- менестреля!
Опять в Миррэлии приветливой
Ловлю стремительных форелей;
Наивный, юный и кокетливый,
Пригубливаю щель свирели.

Затихла мысль, и грезы шустрятся
Как воробьи, как травок стебли.
Шалю, пою, глотаю устрицы
И устаю от гибкой гребли...
Смотрю, как одуванчик пудрится.
И вот, опять, все глуше в дебри.

В лесах безразумной Миррэлии
Цветут лазоревые сливы,
И молнии, как огнестрелие,
Дисгармонично грохотливы;
И расцветают там, в апрелие,
Гиганты — лавры и оливы.

В доспехах Полдня Златогорлого
Брожу я часто по цветочью,
И, как заплеснелое олово,
Луна мне изумрудит ночью;
В прелюде ж месяца лилового
Душа влечется к средоточью.

Заосенеет, затуманится,
Заворожится край крылатый, —
Идет царица, точно странница,
В сопровождении прэлата,
Смотреть, как небо океанится,
Как море сковывают латы.

Встоскует нежно и встревоженно...
Вдруг засверкает, как богиня,
И вдохновенно, и восторженно
На всё глядит светло и сине:
Пылай, что льдисто заморожено!
Смерть, умирай, навеки сгиня!

Веймарн

Авиатор

Я песнопевец-авиатор...
Моих разбегов льдяный старт —
Где веет севера штандарт,
А финиш мой — всегда экватор.

Победен мой аэроплан,
Полет на нем победоносен,
Смотри, оставшийся у сосен,
Завидуй мне, похить мой план!

Куда хочу — туда лечу!
Лечу — как над Байкалом буря,
Лечу, с орлами каламбуря,
Их ударяя по плечу...

Меж изумленных звезд новатор,
Лечу без планов и без карт...
Я всемогущ, — я авиатор!
И цель моя — небес штандарт!

Процвет Амазонии

Въезжает дамья кавалерия
Во двор дворца, под алый звон.
Выходит президент Валерия
На беломраморный балкон.

С лицом немым, с душою пахотной,
Кивая сдержанно полкам,
Передает накидок бархатный
Предупредительным рукам.

Сойдя олилиенной лестницей,
Она идет на правый фланг,

Где перед нею, пред известницей,
Уже безумится мустанг.

Под полонез Тома блистательный
Она садится на коня,
Командой строго-зажигательной
Все эскадроны съединя.

От адъютанта донесения
Приняв, зовет войска в поход:
"Ах, наступают дни весенние
И надо же... найти исход...

С тех пор, как все мужчины умерли,
Утеха женщины — война...
Мучительны весною сумерки,
Когда призывишь, и одна...

Но есть страна — mesdames, доверие! —
Где жив один орангутанг.
И он, — воскликнула Валерия, —
Он будет наш! Вперед, мустанг!"

И увядавшая лавзония
Вновь заструила фимиам...
Так процветает Амазония,
Вся состоящая из дам.

Веймарн.
1913. Май

Самоубийца

Вы выбежали из зала на ветровую веранду,
Повисшую живописно над пропастью и
над рекой.
Разнитив клубок восторга, напомнили Ариадну,
Гирлянду нарциссов белых искомкали смуглой
рукой.

Вам так надоели люди, но некуда было деться,
Хрипела и выла пропасть. В реке утопал
рыболов.
Из окон смеялся говор. Оркестр играл
интермеццо,
Лицо ваше стало бледным, и взор бирюзовый
— лилов.

Как выстрел, шатнулись двери. Как крылья,
метнулись фраки.
Картавила банда дэнди, но Вам показалось
— горилл.
Как загнанная лисица, дрожа в озаренном мраке,

Кого-то Вы укусили и прыгнули в бездну
с перил.

В духане над Курой

В духане играл оркестр грузинов,
Он пел застольцам: "Алаверды!"
Из бутоньерки гвоздику вынув,
Я захотел почерпнуть воды.

Мне ветер помог раскрыть окошко, —
В ночь воткнулась рама ребром...
В мое лицо, как рыжая кошка,
Кура профыркала о чем-то злом...

Плюясь и взвизгнув, схватила гвоздику
Ее усатая, бурая пасть...
Грузины играли и пели дико...
— Какая девушка обречена пасть?

Веймарн.
1913. Июнь

Гризель

Победой гордый, юнью дерзкий,
С усладой славы в голове,
Я вдохновенно сел в курьерский,
Спеша в столицу на Неве.

Кончалась страстная Страстная
Вся в персиках и в кизиле.
Дорога скалово-лесная
Извивно рельсилась в тепле.

Я вспоминал рукоплесканья,
Цветы в шампанском и в устах,
И, полная златошампанья,
Душа звенела на крылах.

От Кутаиса до Тифлиса
Ночеет день, когда в тоннель,
Как в некий кулуар Ивлиса,
Вступает лунный Лионель.

Но только пройдено подгорье,
И Лионель — уже Ифрит!
О, безбережное лазорье!
Душа парит! паря, творит!

Подходит юная, чужая,
Извечно-близкая в толпе;
Сердцам разрывом угрожая,
Мы вовлекаемся в купэ...

Сродненные мильонолетье
И незнакомые вчера,
Мы двое созидаем третье
Во славу моего пера!

О, с ликом мумии, с устами
Изнежно-мертвыми! газель!
Благослови меня мечтами,
Моя смертельная Гризель!

Петербург.
1913. Пасха

Катастрофа

Произошло крушенье,
И поездов движенье
Остановилось ровно на восемнадцать часов.
Выскочив на площадку,
Спешно надев перчатку,
Выглянула в окошко: тьма из людских голосов!

Росно манила травка.
Я улыбнулся мягко,
Спрыгнул легко на рельсы, снял ее на полотно.
Не говоря ни слова,
Ласкова и лилова,
Девушка согласилась, будто знакома давно...

С насыпи мы сбежали, —
Девушка только в шали,
Я без пальто, без шапки, — кочками и
по пенькам
Влагой пахнули липы,
Грунта плеснули всхлипы,
Наши сердца вздрожали, руки прильнули
к рукам.

Благостью катастрофы
Блёстко запел я строфы,
Слыша биенье сердца, чуждого сердца досель.
Чувства смешались в чуде,
Затрепетали груди...
Опоцелуен звонко, лес завертел карусель!

Веймарн.
1913. Июнь

Южная безделка

Н. М. К—чь

Вся в черном, вся — стерлядь, вся — стрелка
С холодным бескровным лицом,
Врывалась ко мне ты, безделка,
Молчать о великом ничём...

Вверх ножками кресло швыряла, —
Садилась на спинку и пол,
Вся — призрак, вся — сказка Дарьяла,
Вся — нежность и вся — произвол!

Пыль стлалась по бархату юбки,
Зло жемчуг грустил на груди...
Мы в комнате были, как в рубке,
Морей безбережных среди...

Когда же сердечный припадок
Беззвучно тебя содрогал,
Я весь был во власти догадок,
Что где-то корабль утопал...

Но лишь приходила ты в чувство,
К моим припадала ногам
И скорбно шептала: "Как пусто,
Где сердце у каждого, — там"...

Веймарн.
Мыза "Пустомержа".
1913. Июнь

Призрак-девушка

Гризельде

Третий вечер приносит почтальон конверты
в трауре,
Третий вечер читаю мутно-желтые листки.
Призрак-девушка пишет, обезумев от тоски,
О безликом монахе, появляющемся на море
И бросающем в волны пальцы, точно лепестки...
Это как-то я помню: мы когда-то с нею
плавали...

Ландыш-девушка плачет через три-четыре улицы
О пробуженном матерью больном весеннем сне,
Что в вагоне экспресса был милей и неясней
Ленокрылых туманок; и голубкой ландыш
гулится.
Третий вечер все пишет и все плачет на окне —
Ах! — не зная, что смертью так легко
подкараулится...

1913. Апрель

Гашиш Нефтис

Ты, куря папиросу с гашишем,
Предложила попробовать мне,
И отныне с тобою мы дышим
Этим сном, этим мигом извне.

Голубые душистые струйки
Нас в дурман навсегда вовлекли:
Упоительных змеек чешуйки
И бананы в лианах вдали.

Писки устрицы, пахнущей морем,
Бирюзовая теплая влажь...
Олазорим, легко олазорим
Пароход, моноплан, экипаж!

Все равно, что угодно, но только,
Чтобы было движенье и лёт.
Может быть оттого, что ты полька,
Может быть оттого, что я лёд!

Ах, в картине, в стихах ли, в романсе —
Светозарь, олазорь, впечатлей
Наш гашиш, где, под танцы шимпанзе,
Зло-сверкательны кольчики змей!

Так одевьтесь, все жены, одевьтесь,
Как одевил порочность Уайльд,
Как меня юно-древняя Нефтис,
Раздробив саркофага базальт!

Веймарн.
1913. Май

Душа и разум

Душа и разум — антиподы:
Она — восход, а он — закат.
Весеньтесь пьяно-пенно, воды!
Зальдись, осенний водоскат!

Душа — цветник, а ум — садовник.
Цветы в стакане — склеп невест.
Мой палец (...белый червь...) — любовник.
Зев ножниц — тривиальный крест...

Цветы букета инфернальны,
Цветы букета — не цветы...
Одно безумье гениально,
И мысль ничтожнее мечты!

Тоска о Сканде

Валерию Брюсову

У побережья моря Черного
Шумит Балтийская волна,
Как символ вечно-непокорного,
В лиловый север влюблена.

На море штормно, и гигантские
Оякорены в нем суда, —
Но слышу шелесты эстляндские,
Чья фьоль атласится сюда.

И вот опять в душе лазорие,
И вновь душа моя поет
Морей Альдонсу — Черноморие
И Сканду — Дульцинею вод!

Одесса.
1913. Март

Балтийское море

Зинаиде Гиппиус

Сребреет у моря веранда,
Не в море тоня, а — в луне,
Плывет златоликая Сканда
В лазурной галере ко мне.

Как парус — раскрытые косы,
Сомнамбулен ликий опал.
Глаза изумрудят вопросы,
Ответ для которых пропал...

Пропал, затерялся, как эхо,
В лазори небес и волны...
И лунного, блёклого смеха
Глаза у плывущей волны.

Плывет — проплывает галера
Ко мне — не ко мне — никуда.
Луна — золотое сомбреро,
А Сканда — луна и вода.

Одесса.
1913. Март

От Севастополя до Ялты

Вам, горы юга, вам, горы Крыма.
    Привет мой северный!
В автомобиле — неудержимо,
    Самоуверенно!

Направо море; налево скалы
    Пустынно-меловы.
Везде провалы, везде обвалы
    Для сердца смелого.

Окольчит змейно дорога глобус, —
    И нет предельного!
От ската к вскату дрожит автобус
    Весь цвета тельного.

Пыль меловая на ярко-красном —
    Эмблема жалкого...
Шофер! а ну-ка движеньем страстным
    В волну качалковую!

Ялта.
1913. Март

Бахчисарайский фонтан

Меня стремит к Бахчисараю
Заботливо автомобиль.
Ушедшее переживаю,
Тревожу выблекшую пыль.

Не крась улыбок охрой плотской
Ты, Современность, — побледней:
Я бьюсь Мариею Потоцкой
И сонмом теней, близких к ней.

Пока рассудные татары
Взирают на автомобиль, —
В цвет абрикосов белочарый
И в желто-звездчатый кизиль!

Вхожу во двор дворца Гирея,
Мечтой и солнцем осиян,
Иду резною галереей, —
И вот он, слёзовый фонтан...

Но ни Марию и ни хана
Встречая, миновав гарем,
Воспевца монумент-фонтана,
Я музыкой былого нем...

Симферополь.
1913. Март

Симфониэтта

Всю ночь грызешь меня, бессонница,
Кошмарен твой слюнявый шип.
Я слышу: бешеная конница —
Моих стремлений прототип.
Бесстрастно слушает иконница
Мой встон, мой пересохший всхлип.
О, Голубая Оборонница,
Явись мне в пчелах между лип
Ужель душа твоя не тронется? —
Я разум пред тобой расшиб.

Уйти. Куда? Все — среды, вторники...
Пойти на улицу? Одень
Себя, как пожелают дворники
И проститутки, — в ад их день!
Столица ночью, это — в сорнике
Хам — Город в шапке набекрень
Презренны "вольные затворники":
В их снах животных — дребедень
Поймете ль вы меня, просторники?
Моя бессонница — С и р е н ь .

Рассказ без поясненья

(Приключение на Монмартре)

Посмотрев "Zaza" в театре,
Путешествующий франт
В ресторане на Монмартре
Пробегать стал прейскурант,
Симпатичный, лет под тридцать,
Сразу видно, что поляк,
Он просил подать девицу
Земляничный корнильяк.

Посвистав "Терреадора",
Он потребовал форель,
Посмотрев не без задора
Прямо в очи fille d'hôtel.
Взгляд зарозовил веснушки
На лице и на носу.
Франт сказал: "Я вам тянушки,
Разрешите, принесу.
Не видал во всем Париже
Упоительней волос:
Что за цвет! Златисто-рыжий!
О, когда бы довелось
Захлебнуться в этих косах!.."
Усмехнулась fille d'hôtel,
И в глазах ее раскосых,
Блекло-тонных, как пастэль,
Проскользнула тень сарказма,
Губы стали, как желе,
И застыла в горле спазма,
Как ядро в сыром жерле...
Понял франт: ни слова больше,
Оплатил безмолвно счет.
— Этим жестом в гордой Польше
Достигается почет...

"Дылицы"

Кин-Като

Вы не бывали в чайном домике
Напротив виллы адвоката?
И на бамбуковом ли столике
Поила чаем вас Кин-Като?

Что вам она читала в томике,
Цветов восточного заката?
Глазами, резвыми, как кролики,
На вас смотрела ли Кин-Като?

В благоуханьи карилопсиса
Вы с ней сидели ли покато,
Следя, как от желанья лопался
Костюм вуалевый Кин-Като?

Скажите мне, какими темами
Вы увлекли жену фрегата?..
О, вероятно, кризантэмами
Ваш торс украсила Кин-Като!

"Дылицы"

Прогулка мисс

Мисс по утрам сопровождает лайка,
Предлёнчные прогулки любит мисс
И говорит собачке: "Что ж! полай-ка
На воробья, но вовремя уймись"...

Забавно пес рондолит острый хвостик,
С улыбкою смотря на госпожу:
Они идут на грациозный мостик,
Где их встречать предложено пажу.

Попробуем пажа принять за лорда
И прекратим на этом о паже...
— Кто понял смысл последнего аккорда,
Тот автору сочувствует уже.

Кокетта

В черной фетэрке с чайной розою
Ты вальсируешь перед зеркалом
Бирюзовою грациозою
И обласканной резервэркою...

Не хочу считать лет по метрике,
А на вид тебе — лишь четырнадцать...
С чайной розою в черном фетэрке
Ты — бессмертница! ты — всемирница!

И тираду я обличайную
Дам завистливых — пусть их сердятся! —
Игнорирую. С розой чайною
В черной фетэрке, ты — бессмертница!

Веймарн

Я — композитор

Я — композитор: под шум колёс
        Железно-дорожных —
То Григ, то Верди, то Берлиоз,
        То песня острожных.

Я — композитор: ведь этот шум
        Метрично-колёсный
Рождает много певучих дум
        В душе монстриозной.

Всегда в лазори, всегда в мечтах,
        Слагаю молитвы.
Я — композитор: в моих стихах —
        Чаруйные ритмы.

Ст. Вруда. Поезд

Квартет

...Марсель Швоб

Перронета, Гильометта
Иссабо и Жаннетон.
Вашей страстности комета
Продается за тестон.

Гильометта, Перронета,
Жаннетон и Иссабо,
Вы для девочки-корнета
Припасли стихи Рэмбо.

Это — верная примета,
Что в крови повышен тон,
Перронета, Гильометта,
Иссабо и Жаннетон.

Ах, теперь для кабинета
Надо ль спаржу и тюрбо,
Гильометта, Перронета,
Жаннетон и Иссабо?..

Веймарн.
1913. Август

Бриндизи

Полней бокал наполни
И пей его до дна,
Под бичелучье молний,
Истомна и бледна!

        Душа твоя, эоля,
        Ажурит розофлер.
        Гондола ты, Миньоля,
        А я — твой гондольер.

Пускай вокруг все сыро
От каркающих стай, —
В объятьях эксцессэра
Снегурово истай!

        О, в виноградной капле! —
        Премудрость всех планет...
        Направь на дирижабли
        Кокетливый лорнет!

И, очи офиоля,
Благоговейно грез...
Дурман везде, Миньоля,
Везде — и там, и здесь!

В кустах жасмина

То клубникой, то бананом
Пахнет кремовый жасмин,
Пышно-приторным дурманом
Воссоздав оркестр румын.

Раковина окарины.
Пёстротканое шитье.
Устрицы и мандарины.
Вместо жизни — пляс-житье.

Лоскощекие мещанки.
Груди — дыни, жабой брошь.
Разговорные шарманки.
Имперьял идет за грош.

Бутафорскою туникой
Шансонетка, с гнусью мин,
То бананом, то клубникой
Помавает, вся — жасмин.

Веймарн.
1913. Июнь

Почти газэлла

И розы, и грезы, и грозы — в бокалы!
Наполним бокалы, осушим бокалы!

Звените, как струны, как лунные струны,
С напитком ледяным бокалы!

Плещите, как моря седые буруны,
Плещите нектаром, бокалы!

Вскрутите восторгов волшебные руны,
Со льдом раскаленным бокалы!

И вспыхнут в крови огневые Перуны,
Когда испарятся бокалы!..

Хабанера I

Сонет

Зое Ч.

Гитана! сбрось бравурное сомбреро,
Налей в фиал восторженный кларет...
Мы будем пить за знойность кабалеро,
Пуская дым душистый сигарет.
Мечта плывет, как легкая галера,
Куда-то вдаль... плывет куда — секрет!
Огня! огня! пусть вспыхнет хабанера, —
Взнуздаем страсть и унесемся в бред!..

Галоп мандол достигнет аллегрэтто,
Заворожен желаньем пируэта,
          Зашелестят в истоме вздохи пальм...

Вина! вина! Обрызгай им, гитана,
          Букеты грёз... Тогда не надо тальм, —
Тогда помпезный культ нагого стана!..

Хабанера II

Синьоре Za.

Вонзите штопор в упругость пробки, —
И взоры женщин не будут робки!..
Да, взоры женщин не будут робки,
И к знойной страсти завьются тропки...

Плесните в чаши янтарь муската
И созерцайте цвета заката...
Раскрасьте мысли в цвета заката
И ждите, ждите любви раската!..

Ловите женщин, теряйте мысли...
Счет поцелуям — пойди, исчисли!..
А к поцелуям финал причисли, —
И будет счастье в удобном смысле!..

Из Шарля Бодлэра

Креолка

Сонет

"En pays parfumé que
soleil caresse..."

Где ласков луч, в стране благоуханной
Я знал под пестрым куполом дерёв,
Где все полно какой-то неги странной,
Царицу чар, креолку, дочь лесов.

Атлас лица и смуглый и горячий;
Горд очерк шеи: власть она хранит;
Изящный бюст весь вылеплен удачей;
В улыбке — зыбь; в глазах ее — гранит.

О, к Вам бы шел и малахит Луары.
И Сэны гладь — как изумруды прерий...
Украсьте замки, гнезда суеверий,
В тени аллей будите Ваши чары,

Соткните сеть сонетов для поэта, —
Ваш взгляд один властнее глаз дуэта!..

Мыза "Ивановка"

Кутеж

Дайте, дайте припомнить... Был на Вашей головке
Отороченный мехом незабудковый капор...
И еще Вы сказали: "Ах, какой же Вы ловкий:
Кабинет приготовлен, да, конечно, и табор!"...

Заказали Вы "пилку", — как назвали Вы стерлядь, —
И из капорцев соус, и Рейнвейнского конус...
Я хочу ошедеврить, я желаю оперлить
Все, что связано с Вами, — даже, знаете, соус...

А иголки Шартреза? а Шампанского кегли?
А стеклярус на окнах? а цветы? а румыны?
Мы друг друга хотели... Мы любви не избегли.
Мы в слияньи слыхали сладкий тенор жасмина...

Но... Вам, кажется, грустно? Ах, Люси, извините, —
Это можно поправить... Вы шепнули: "Устрой-ка"?..
Хорошо, дорогая, для "заплаты есть нити", —
У подъезда дымится ураганная тройка!..

"Ойле"

На Ойле далекой и прекрасной
Вся любовь и вся душа моя.

Ф. Сологуб

Мы выключили электричество:
Луна в стекле
И Ваше светлое владычество,
Моя Ойле.

На свечи, реющие пчелами,
Устремлены
Глаза, поющие виолами,
И видят сны:

Дымится снег голубо-фьолевый.
В снегу — шалэ.
"Благоговея, друг, оголивай
Свою Ойле"...

Благоуханный и свирельчатый
Ваш голос пью,
И Вы вонзаете взор стрельчатый
В мечту мою.

Вспылало древнее язычество
В душевной мгле:
Не выключено электричество
В телах, Ойле!..

1913. Февраль

Рондо

Твои духи, как нимфа, ядовиты
И дерзновенны, как мои стихи.
Роса восторг вкусившей Афродиты —
Твои духи!

Они томят, как плотские грехи,
На лацкан сюртука тобой пролиты,
Воспламеняя чувственные мхи...

Мои глаза — они аэролиты! —
Низвергнуты в любовные мехи,
Где сладострастят жала, как термиты,
Твои духи!

Веймарн

Роза в снегу

Как в пещере костер, запылает камин...
И, звонок оправдав, — точно роза в снегу,
Ты войдешь, серебрясь... Я — прости, не могу... —
Зацелую тебя... как идею брамин!
О! с мороза дитя — это роза в снегу.

Сладострастно вопьет бархат пестрой софы,
Он вопьет перламутр этих форм... он вопьет!
Будь моею, ничья!.. Лью в бокалы строфы,
Лью восторг через край, и бокал запоет...

А бокал запоет — запоет кабинет,
И камина костер, и тигрица — софа...
Опьяненье не будет тяжелым, — о, нет:
Где *вино вне вина* — жить и грезить лафа!

Миньонеты

I

Твои уста — качели лунные,
Качели грезы...
Взамен столбов две ручки юные,
Как две березы,
Сольем в дуэт сердечки струнные —
Виолончели...
Люблю уста, качели лунные,
Твои качели!

II

О. Ф.

Гудят погребальные звоны...
Как жутко ты мне дорога!..
Мечтаю ль, — лунятся лимоны;
Заплачу ль, — пушатся снега,
Плывут монотонные стоны,
Меняя в пути берега...
И где-то лунятся лимоны,
И где-то пушатся снега...

Тундровая пастэль

Ландыши воздушные, реющие ландыши
Вечером зимеющим льдяно зацвели...
Выйди на поляны ты, сумраком полян дыши,
Падающим ландышам таять повели!

Ландыши небесные, вы всегда бесстебельны,
Безуханно юные искорки луны...
Лунное сияние — это точно в небе льны...
Ленно лани льняные лунно влюблены...

Сердце северянина, не люби лиан души!..
Кедров больше, лиственниц, хрупи, мги и пихт!
Ландыши бесплотные, тающие ландыши,
И у тундры клюквовой зубра сонный выход...

Диссо-рондели

Шмелит-пчелит виолончель
Над лиловеющей долиной.
Я, как пчела в июле, юный,
Иду, весь — трепет и печаль.
Хочу ли мрака я? хочу ль,
Чтоб луч играл в листве зеленой?
Шмелит-пчелит виолончель
Над лиловеющей долиной...
Люблю кого-то. Горячо ль?
Священно или страстью тленной?
И что же это над поляной:
Виолончелят пчелы иль
Шмелит-пчелит виолончель?..

Вуалетка

Евгению Пуни

Вздыхала осень. Изнежена Малина.
Клен разузорен. Ночами тьма бездонна.
... Она смеялась, томно, как Мессалина,
И улыбалась, лазурно, как Мадонна.
Ветреет вечер. Стрекочет мандолина.
В студеном флере теченье монотонно.
Сапфирны грезы Виденье Вандэлина.
И тембры парка рыдают баритонно.

В саду княгини

В яблони в саду княгини,
Милая, в седьмом часу
Выбеги в кисейке синей,
Лилию вплетя в косу.

Ласково сгибая клевер,
Грёзово к тебе приду, —
К девочке и королеве,
Вызеркаленной в пруду.

Фьолево златые серьги
Вкольчены в твое ушко.
Сердцем от денных энергий
Вечером взгрустим легко.

Веймарн

Невыразимая поэза

Невыразимо грустно, невыразимо больно
В поезде удаляться, милое потеряв.
Росно зачем в деревьях? в небе зачем фиольно?
Надо ли было в поезде? может быть, я не прав?

Может быть, только плакать было бы проще, лучше
Перед такой страдальной, точно всегда чужой?..
Нежно письмо оскорблю; только когда ж получишь
Эту цепочку строчек, спаянную душой?

Бело ночеет поле, и от луны в нем мольно,
Филины — пассажиры, и беспощаден пар...
Невыразимо грустно! невыразимо больно!
Хочется мне вернуться, но позади — кошмар!..

Веймарн.
1913. Июнь

Лисодева

Как ты похожа сегодня в профиль на
шельму-лисицу.
Но почему же твой завтрак — скумбрия
и геркулес?
Ах, понакрала бы яиц, — курицы стали
носиться, —
И наутек — через поле, через канаву и в лес!

В поле теперь благодатно: там поспевает
картофель,
Розовая — земляника; гриб набухает в лесу.
Вспомни, забывшая травы, что у тебя
лисопрофиль,
Вспомни, что ты каждым вскидом напоминаешь
лису.

В рыжей лукавой головке, чувствую, хитрости
лисьи
(Вот еще что: на лисицу очень похожа оса!..)
Взгляд твой крылат, но пристало ль грезить
лисице о выси.
Это едва ли удобно: аэроплан и лиса...

Веймарн.
1913. Май

Charlotte Corde

Она была на казнь осуждена,
Но в правоте своей убеждена;
Отважную смутить могла ли плаха?
Пошла на эшафот она без страха.

По мертвому ее лицу палач
Нанес удар и прочь отбросил тело;
Тогда от оскорбленья, как кумач,
Лицо казненной в гневе покраснело.

Промельк

В каждом городе, в комнате девьей,
Есть алтарь королеве,
Безымянной, повсюдной.
Он незримо-голуб.

Вы ненайденную потеряли
Бирюзу на коралле;
Но она в вашей чудной
Озаренности губ...

Минск.
1913. Март

Пока проходит поезд...

Я в поле. Вечер. Полотно.
Проходит поезд. Полный ход.
Чужая женщина в окно
Мне отдается и берет.

Ей, вероятно, двадцать три.
Зыбка в ее глазах фиоль.
В лучах оранжевой зари
Улыбку искривляет боль.

Я женщину крещу. Рукой
Она дарит мне поцелуй.
Проходит поезд. Сам не свой.
Навек теряя, я люблю.

Варш. ж.д.
1912. Май

Беспрерывная запряжка

Каждое утро смотрю на каретник
В окно из столовой:
Кучер, надевши суровый передник,
Лениво, без слова,
Рыжую лошадь впрягает в пролетку,
Та топчется гневно,
Бьется копытами мерно и четко, —
Всегда, ежедневно!
Странная мысль мне приходит: "А если б
Впрягал бесконечно
Он свою лошадь?.." — но это для песни
Так дико, конечно...

..." Лишь запряжет, глядь, нелепая лошадь,
Знай, ржет себе в стойле.
И не удастся ему уничтожить
Судьбы своеволья"...

Веймарн

Решено

Есть в небе сад невянущий
Для детских душ, для радостных...
М. Лохвицкая

Она (обнимая его и целуя):
О, друг мой... Сегодня — блаженству предел:
Отныне любви нашей мало двух тел...
Ты понял?
Он (сердце догадкой волнуя):

Дитя от ребенка! Устрой мне! устрой...
Ты мать мне заменишь; ты будешь сестрой.
(Целуются долго, друг друга чаруя.)
... Она машинально смотрела в окно:

По улице — в шляпе с провалом мужчина
Нес розовый гробик...

... "Сильна скарлатина",
Читал муж в газетах, — и стало темно.
Она (обращаясь к предчувствию): Боже?!
Он бросил газету и думает *то же*...
И каждому кто-то шепнул: Решено.

Сонет

Георгию Иванову

Я помню Вас: Вы нежный и простой.
И Вы — эстет с презрительным лорнетом.
На Ваш сонет ответствую сонетом,
Струя в него кларета грез отстой...

Я говорю мгновению: "Постой!"
И, приказав ясней светить планетам,
Дружу с убого-милым кабинетом:
Я упоен страданья красотой...

Я в солнце угасаю — я живу
По вечерам: брожу я на Неву, —
Там ждет грезэра девственная дама.
Она — креолка древнего Днепра, —
Верна тому, чьего ребенка мама...
И нервничают броско два пера...

Ананасы в шампанском

I. Розирис

Увертюра

Ананасы в шампанском! Ананасы в
шампанском!
Удивительно вкусно, искристо и остро!
Весь я в чем-то норвежском! весь я в чем-то
испанском!
Вдохновляюсь порывно! и берусь за перо!

Стрекот аэропланов, беги автомобилей!
Ветропросвист экспрессов! крылолёт буэров!
Кто-то здесь зацелован! там кого-то побили!
Ананасы в шампанском — это пульс вечеров!

В группе девушек нервных, в остром обществе
дамском.
Я трагедию жизни претворю в грёзофарс...
Ананасы в шампанском! Ананасы в
шампанском!
Из Москвы — в Нагасаки! из Нью-Йорка —
на Марс!

Петроград.
1915. Январь

Грандиоз

Грааль-Арельскому

Все наслажденья и все эксцессы,
Все звезды мира и все планеты
Жемчужу гордо в свои сонеты,
Мои сонеты — колье принцессы!

Я надеваю, под взрыв оркестра,
Колье сонетов (размах измерьте!)
Да, надеваю рукой маэстро
На шею Девы. Она — Бессмертье!

Она вне мира, она без почвы,
Без окончанья и без начала...
Ничто святое ее зачало...
Кто усомнится — уйдите прочь вы!

Она безместна и повсеместна.
Она невинна и сладкогрешна.
Да, сладкогрешна, как будто бездна,
И точно бездна — она безбрежна.

Под барабаны, под кастаньеты,
Все содроганья и все эксцессы
Жемчужу гордо в колье принцессы,
Не знавшей почвы любой планеты...

1910. Июнь

В коляске Эсклармонды

Я еду в среброспицной коляске Эсклармонды
По липовой аллее, упавшей на курорт,
И в солнышках зеленых лучат волособлонды
Зло-спенной Эсклармонды шаплетку-
фетроторт...

Мореет: шинам хрустче. Бездумно и бесцельно.
Две раковины девы впитали океан.
Он плещется дессертно, — совсем
мускат-люнельно, —
Струится в мозг и в глазы, по-человечьи пьян...

Взорвись, как бомба, солнце! Порвитесь, пены
блонды!
Нет больше океана, умчавшегося в ту,
Кто носит имя моря и солнца — Эсклармонды,
Кто на земле любезно мне заменил мечту!

Екатеринослав.
1914. Февраль

Барбарисовая поэза

Гувернантка-барышня
Вносит в кабинет
В чашечках фарфоровых
Crème d'epine vinette.

Чашечки неполные
Девственны на вид.
В золотой печеннице
Английский бисквит.

В кабинете общество
В девять человек.
Окна в сад растворены,
В саде, где речи рек.

На березах отсветы
Неба. О, каприз! —
Волны, небо, барышня
Цвета "барбарис".

И ее сиятельство
Навела лорнет
На природу, ставшую
Crème d'epine vinette...

Мыза "Ивановка".
1914. Июль

Цветок букета дам

В букете дам Амьенского beau mond'a
Звучнее всех рифмует с резедой
Bronze-oxidè блондинка Эсклармонда,
Цветя бальзаколетнею звездой.

Она остра, как квинт-эссенца специй,
Ее бравадам нужен резонанс,
В любовники берет "господ с трапеций"
И, так сказать, смакует mésalliance...

Условностям всегда бросает: "schoking!"
Экстравагантно выпускает лиф,
Лорнирует базарно каждый смокинг, —
Но не во всяком смокинге *калиф*...

Как устрицу, глотает с аппетитом
Дежурного огейзерную дань...
При этом всем — со вкусом носит титул,
Иной щеке даря свою ладонь.

1911. Февраль

В блесткой тьме

В смокингах, в шик опроборенные,
великосветские олухи
В княжьей гостиной наструнились, лица свои
оглупив.
Я улыбнулся натянуто, вспомнил сарказмно
о порохе:
Скуку взорвал неожиданно нео-поэзный мотив.

Каждая строчка — пощечина. Голос мой
— сплошь издевательство.
Рифмы слагаются в кукиши. Кажет язык
ассонанс.
Я презираю вас пламенно, тусклые Ваши
Сиятельства,
И, презирая, рассчитываю на мировой резонанс!

Блесткая аудитория, блеском ты зло отуманена!
Скрыт от тебя, недостойная, будущего горизонт!
Тусклые Ваши Сиятельства! Во времена
Северянина
Следует знать, что за Пушкиным были и Блок,
и Бальмонт!

1913

В лимузине

Она вошла в моторный лимузин,
Эскизя страсть в корректном кавалере.
И в хрупоте танцующих резин
Восстановила голос Кавальери.

Кто звал ее на лестнице: "Manon?"
И ножки ей в прохладном вестибюле,
Хотя она и бросила: "mais non!" —
Чьи руки властно мехово обули?

Да все же он, пустой как шантеклер.
Проборчатый, офраченный картавец,
Желательный для многих кавалер,
Использованный многими красавец.

О, женщина! Зови его в турнэ.
Бери его, пожалуй, в будуары...
Но не води с собою на Массне:
Письмо Массне... Оно не для гитары!..

1910. Июль

На островах

В ландо моторном, в ландо шикарном
Я проезжаю по островам,
Пьянея встречным лицом вульгарным
Среди дам просто и "этих" дам.

Ах, в каждой "фее" искал я фею
Когда-то раньше. Теперь не то.
Но отчего же я огневею,
Когда мелькает вблизи манто?

Как безответно! как безвопросно!
Как тривуазно! но всюду — боль!
В аллеях сорно, в куртинах росно.
И в каждом франте жив Рокамболь.

И что тут прелесть? и что тут мерзость?
Бесстыж и скорбен ночной пуант.
Кому бы бросить наглее дерзость?
Кому бы нежно поправить бант?

1911. Май

Валентина

Валентина, сколько счастья! Валентина, сколько жути!
Сколько чары! Валентина, отчего же ты грустишь?
Это было на концерте в медицинском институте.
Ты сидела в вестибюле за продажею афиш.

Выскочив из ландолета, девушками окруженный,
Я стремился на эстраду, но, меня остановив,
Предложила мне программу, и, тобой завороженный,
На мгновенье задержался, созерцая твой извив.

Ты зашла ко мне в антракте (не зови его пробелом)
С тайной розой, с красной грезой, с бирюзовою грозой
Глаз восторженных и наглых. Ты была в простом и белом.
Говорила очень быстро и казалась стрекозой.

Этот день!.. С него — начало. Телефоны и открытки.
К начинаньям поэтессы я был очень милосерд,
И когда уже ты стала кандидаткой в фаворитки,
Ты меня сопровождала ежедневно на концерт.

А потом... Купэ. Деревня. Много снега, леса. Святки.
Замороженные ночи и крещенская луна.
Домик. Нежно и уютно. Упоенье без оглядки.
Валентина безрассудна! Валентина влюблена!

Все прошло, как все проходит. И простились мы неловко:
Я "обманщик", ты сердита, т. е. просто трафарет.
Валентина, плутоглазка! остроумная чертовка!
Ты чаруйную поэму превратила в жалкий бред!

1914. Март

Тебе, моя красавица!

Ариадниной мамочке

Вуаль светло́-зеленая с сиреневыми мушками
Была слегка приподнята над розовыми ушками.
Вуаль была чуть влажная, она была чуть теплая,
И ты мне улыбалася, красивая и добрая...
Смотрела в очи ласково, смотрела в очи грезово.
Тревожила уснувшее и улыбалась розово.
И я не слышал улицы со звонами и гамами,
И сердце откликалося взволнованными гаммами.
Шла ночь, шурша кокетливо и шлейфами, и тканями,
Мы бархатною сказкою сердца друг другу ранили,
Атласные пожатия... рождения и гибели...
Отливы... содрогания... кружения и прибыли...
Да разве тут до улицы со звонами и шумами?!..
Да разве тут до города с пытающими думами?!..
Кумирно строил в сердце я, я строил в сердце пагоды...
Ах, губки эти алые и сочные, как ягоды!
Расстались... для чего, спроси... я долго грезил в комнате.

О, глазки в слезках-капельках, мои глаза вы помните?
Вы помните? вы верите? вы ждете! вы, кудесные!
Они неповторяемы мгновенности чудесные!..
Я требую настойчиво, приказываю пламенно:
Исчезни все, мне чуждое! исчезни, город каменный!
Исчезни все, гнетущее! исчезни, вся вселенная!
Все краткое! все хрупкое! все мелкое! все тленное!
А мы, моя красавица, утопимся в забвении,
Очаровав порывностью бесстрастное мгновение!..

1910. Январь

Поэза о тысяча первом знакомстве

Лакей и сенбернар — ах, оба баритоны!
Встречали нас в дверях ответом на звонок.
Камелии. Ковры. Гостиной сребротоны.
Два пуфа и диван. И шесть бесшумных ног.

Мы двое к ней пришли. Она была чужою.
Он знал ее, но я представлен в этот раз.
Мне сдержанный привет, и сенбернару Джою
Уйти куда-нибудь и не мешать — приказ.

Салонный разговор, удобный для аббата,
Для доблестной ханжи и столь же для тетерь.
И мы уже не мы: Альфред и Травиата.
И вот уже оркестр. И вот уже партер.

Так: входим в роли мы совсем непроизвольно.
Но режет сердце мне точеный комплимент.
Как больно говорить! Как нестерпимо больно,
Когда предвидишь вот любой, любой момент!

Все знаем наперед: и будет то, что смято
Когда-то, кем-то, как и где — не все равно ль?
И в ужасе, в тоске, — Альфред и Травиата, —
Мы шутим — *как тогда*! лелея нашу боль...

1914. Осень

В осенокошенном поле

Июль блестяще осенокошен.
Ах, он уходит! держи! держи!
Лежу на шелке зеленом пашен,
Вокруг — блондинки, косички ржи.

О, небо, небо! твой путь воздушен!
О, поле, поле! ты — грезы верфь!
Я онебесен! Я онездешен!
И Бог мне равен, и равен червь!

"Дылицы".
1911. Июль

Родник

Восемь лет эту местность я знаю.
Уходил, приходил, — но всегда
В этой местности бьет ледяная
Неисчерпываемая вода.

Полноструйный родник, полнозвучный,
Мой родной, мой природный родник,
Вновь к тебе (ты не можешь наскучить!)
Неотбрасываемо я приник.

И светло мне глаза оросили
Слезы гордого счастья, и я
Восклицаю: ты — символ России,
Изнедривающаяся струя!

Мыза "Ивановка".
1914. Июль

К черте черта

Какою нежностью неизъяснимою, какой
сердечностью
Осветозарено и олазорено лицо твое,
Лицо незримое, отожествленное всечертно
с Вечностью
Твое, — но чье?

В вагоне поезда, на каждой улице и в сновиденьи,
В театре ль, в роще ли, — везде приложится
к черте черта.
Неуловимая, но ощутимая, — черта-мгновение,
Черта-мечта!

И больно-сладостно, и вешне-радостно!
Жить — изумительно,
Чудесно все-таки! Ах, сразу нескольких —
одну любить!
Невоплощенная! Невоплотимая! тебя
пленительно
Ждать — это жить!

1914. Ноябрь

Поэза спичечного коробка

Что это? — спичек коробок? —
Лучинок из берез?
И ты их не заметить мог? —
Ведь это ж грандиоз!

Бери же, чиркай и грози,
Восторжен, нагл и яр!
Ползет огонь на все стези:
В твоей руке — пожар!

Огонь! огонь, природоцап,
Высовывай язык!
Ликуй, холоп! Оцарься, раб!
Ничтожный, ты велик!

Мыза "Ивановка".
1914. Начало июля

Рондо

Л. Рындиной

Читать тебе себя в лимонном будуаре,
Как яхту грез, его приняв и полюбя...
Взамен неверных слов, взамен шаблонных
арий.

Читать тебе себя.

Прочувствовать тебя в лиловом пеньюаре,
Дробя грядущее и прошлое, дробя
Второстепенное, и сильным быть в ударе.

Увериться, что мир сосредоточен в паре:
Лишь в нас с тобой, лишь в нас! И только
для тебя,
И только о тебе, венчая взор твой царий,
Читать тебе себя!

1914. Февраль.

Амазонка

Я встретил у парка вчера амазонку
Под звуки бравурной раздольной мазурки,
— Как кукольны формы у синей фигурки! —
Наглея восторгом, сказал я вдогонку.

Она обернулась, она посмотрела,
Слегка улыбнулась, раздетая взором,
Хлыстом помахала лукавым узором,
Мне в сердце вонзила дремучие стрелы...

А рыжая лошадь под ней гарцовала,
Упрямо топталась на месте кобыла.
И, право, не знаю, — казалось ли, было,
В угоду хозяйке, меня баловала...

1910. Февраль

Berceuse

(На мотив Мирры Лохвицкой)

Ты так светла в клубящемся покрове.
Твое лицо — восходный Уротал.
В твоем дремучем чернобровье
Мой ум устало заплутал.

Ты вся — мечта коралловых уловок.
Твои уста — факирская печать.
В твоих очах, в очах лиловых
Хотел бы сердце закачать.

А где-то плач и грохоты орудий...
Так было встарь, так вечно будет впредь.
Дай погрузиться в белогрудьи
И упоенно умереть!

1910. Сентябрь

Электрассонанс

Что такое электрассонанс?
Это — молния и светлячок.
Сон и сказка. Гекзаметр и станс.
Мысль и греза. Пила и смычок.
Равнокровье и злой мезальянс.
Тайна ночи и женский зрачок.
Мирозданье — электрассонанс!

1911. Февраль

В гостинице

В большом и неуютном номере
провинциальной гостиницы
Я лежу в бессоннице холодноватыми
вечерами.
Жутко мне, жутко, что сердце скорбью
навеки вынется
Из своего гнездышка — ... разбитое
стекло в раме...

Из ресторана доносится то тихая, грустная
музыка —
Какая-нибудь затасканная лунная соната,
То такая помпезная, — правда, часто
кургузая,
— Лилию оскорбляющее полнокровье
граната...

И слышатся в этой музыке души всех женщин
и девушек,
Когда-либо в жизни встретившихся
и возможных еще в пути.
И плачется, бесслезно плачется
в номерной тиши кромешной
О музыке, о девушках, обо всем, что
способно цвести...

Симферополь.
1914. Январь

Кузина Лида

Лида, ты — беззвучная Липковская. Лида,
ты — хорошенькая девушка.
Стройная, высокая, изящная, ты
— сплошная хрупь, ты вся — улыбь.

Только отчего же ты недолгая? Только
отчего твое во льду ушко?
Только для чего так много жемчуга?
Милая, скорей его рассыпь!

Русая и белая кузиночка, не идут тебе,
поверь мне, ландыши;
Не идут тебе, поверь мне, лилии, —
слишком ты для белого бела...
Маки, розы нагло-оскорбительны,
а лианы вьются, как змееныши; —
Трудно обукетить лиф твой девичий, чтобы ты
сама собой была.

...Папоротник в блестках изумрудовых,
снег фиольно-белый и оискренный.
Пихтовые иглы эластичные — вот тебе
единственный убор.

Девушке со старческой улыбкою,
замкнутой, но, точно солнце, искренней,

Незаметно как-то умирающей, — как по ягоды
идущей в бор...

1912. Февраль

Никчемная

Ты меня совсем измучила, может быть, сама
не ведая;
Может быть, вполне сознательно; может быть,
перестрадав;
Вижусь я с тобой урывками: разве вместе
пообедаю
На глазах у всех и каждого, — и опять
тоска-удав.

О, безжалостница добрая! ты, штрихующая
профили
Мне чужие, но знакомые, с носом
мертвенно-прямым!
Целомудренную чувственность мы
зломозгло обутопили
Чем-то вечно ожидаемым и литаврово-немым...

Слушай, чуждая мне ближница! обречённая
далёчница!
Оскорбить меня хотящая для немыслимых
услад!
Подавив негодование, мне в тебя так просто
хочется,
Как орлу — в лазорь сияльную, как теченью
— в водопад!

Одесса.
1914. Февраль

Жуткая поэза

О, нестерпимо-бóльные места,
Где женщины, утерянные мною,
Навек во всем: в дрожании листа,
В порыве травном к солнечному зною.
В брусничных и осиновых лесах,
Во всхлипах мха — их жалобные плачи...
Как скорбно там скрипенье колеса!
Как трогательно блеянье телячье!
На севере и рощи, и луга.
И лады душ, и пьяненькие сельца —
Однообразны только для пришельца:
Для северян несхожесть их легка.
Когда-нибудь я встречу — это так! —
В таком лесу унылую старуху.
И к моему она приблизит уху
Лукавый рот. Потом за четвертак
Расскажет мне пророчная шарманка
О их судьбе, всех жертв моих. Потом
Я лес приму, как свой последний дом...
Ты — смерть моя, случайная цыганка!

Одесса.
1914. Февраль

Рондо оранжевого заката

Невымученных мук, невыгроженных гроз
Так много позади, и тяжек сердца стук.
Оранжевый закат лианами оброс
Невыкорченных мук.

Оранжевый закат! ты мой давнишний друг.
Как лепеты травы, как трепеты берез,
Как щебеты мечты... Но вдруг изменишь? вдруг?

Заплакать бы обжогом ржавых слез.
В них утопить колечки змейных скук
И ждать, как ждет подпоездник колес,
Невысмертивших мук!

Веймарн.
1913. Август

Евгения

Это имя мне было знакомо —
Чуть истлевшее пряное имя.
И в щекочущем чувственном дыме
Сердце было к блаженству влекомо.

Как волна — броненосцу за пену.
Как за плен — бег свободный потока.
Это имя мне мстило жестоко
За забвенье, позор, за измену...

Месть швырнула в лицо мне два кома,
Кома грязи — разврат и бескрылье.
Я кончаюсь в неясном усилье...
Это имя мне жутко-знакомо!..

1909

Когда ночело

Уже ночело. Я был около
Монастыря. Сквозила просека.
Окрест отгуживал от колокола.
Как вдруг собака, вроде мопсика,
Зло и неистово залаяла.
Послышались осечки хвороста,
И кто-то голосом хозяина
"Тубо!" пробаритонил просто.
Лес заветрел и вновь отгуживал
Глухую всенощную, охая.
Мне стало жутко, стало нужно
Людей, их слова. Очень плохо я
Себя почувствовал. Оглу́шенный,
Напуганный, я сел у озера.
Мне оставалось верст одиннадцать.
Решительность меня вдруг бросила, —
От страха я не мог подвинуться...

"Дылицы".
1911. Июль

Пятицвет I

Заберусь на рассвете на серебряный кедр
Любоваться оттуда на маневры эскадр.
Солнце, утро и море! Как я весело-бодр,
Точно воздух бездумен, точно мумия мудр.
Кто прославлен орлами — ах, тому не до выдр!

1910. Сентябрь

Регина

Когда поблекнут георгины
Под ало-желчный лесосон,
Идите к домику Регины
Во все концы, со всех сторон.

Идите к домику Регины
По всем дорогам и тропам,
Бросайте на пути рябины,
Дабы назад вернуться вам.

Бросайте на пути рябины:
Все ваши скрестятся пути.
И вам, искателям Регины,
Назад дороги не найти.

1913. Лето.
Веймарн

Лиробасня

Бело лиловеет шорох колокольчий,
Веселится летоветр;
Мы проходим полем, мило полумолча,
На твоей головке — фетр.
А на теле шелк зеленый, и — босая.
Обрываешь тихо листик и, бросая
Мелкие кусочки,
Смеешься, осолнечив лоб.
...Стада голубых антилоп
Покрыли травы, покрыли кочки...
Но дьяконья падчерица,
Изгибаясь, как ящерица,
Нарушает иллюзию...
Какое беззаконье!
— Если хочешь в Андалузию,
Не езди в Пошехонье...

Улыбаясь, мы идем на рельсы:
Телеграфная проволока
Загудела:
Грозовеет облако, —
К буре дело.

Попробуй тут, рассвирелься!..

1911

На премьере

Овеев желание грезовым парусом,
Сверкая устовым колье,
Графиня ударила веером страусовым
Опешенного шевалье.

Оркестромелодия реяла розово
Над белобархатом фойэ.
Графиня с грацией стрекозовой
Кусала шоколад-кайэ.

Сновала рассеянно блесткая публика
Из декольтэ и фрачных фалд.
А завтра в рецензии светскою рубрикой
Отметится шикарный гвалт.

1911

Диссо-рондо

Ожили снова желанья...
Воспоминаний папирус
Снова ветреет, как парус,
И в бирюзе умиленья
Призрак слияния вырос.

Блекло-сапфировый ирис
Вяло поет новолунье,
Льется душа снова через, —
Снова желанья.

Мысли, как сон, испарились
В прямости жизненных линий;
Долго со Злом мы боролись,
Отдых найдем в Аполлоне.
Снова сердца разгорелись,
Снова желанья!

1911. Февраль

Тень апельсинной ветки

(Из Тин-Тун-Линг)

Одиночила в комнате девушка.
Взволновали ее звуки флейты, —
Голос юноши в них... Голос, чей ты?
О, застынь в напряженной мечте ушко!

Чья-то тень на колени к ней падает, —
Из окна апельсинная ветка.
"Разорвал кто-то платье мне метко",
Грезит девушка с тайной отрадою...

Веймарн, мыза "Пустомержа".
1912. Август

Шантажистка

Так Вы изволите надеяться, что Вам меня
удастся встретить
Уж если не в гостиной шелковой, так в жесткой
камере судьи?
Какая все же Вы наивная! Считаю долгом Вам
заметить:
Боюсь, Вы дело проиграете, и что же ждет Вас
впереди?..

Конечно, с Вашею энергией, Вы за инстанцией
инстанцию:
Съезд мировой, затем суд округа, потом
палата и сенат.
Но только знаете, любезная, не лучше ль
съездить Вам на станцию,
И там купить билет до Гатчины, спросив
в буфете лимонад.

Он охладит Ваш гнев тропический, и Вы, войдя
в вагон упруго,
Быть может, проведете весело в дороге
следуемый час.
И, может быть, среди чиновников
Вы повстречаете экс-друга,
Который — будем же надеяться! — не поколотит
вовсе Вас!..

Приехав к месту назначения, Вы с ним
отправитесь в гостиницу.
Он, после шницеля с анчоусом, Вам даст...
Малагу-Аликант!
Вам будет весело и радостно, Вы будете, как
именинница,
Ах, при уменьи, можно выявить и в проституции
талант!..

Зачем же мне Вы угрожаете и
обещаете отместки?
Зачем так нагло Вы хватаетесь за правосудия
набат?
Так не надейтесь же, сударыня, что я
послушаюсь повестки
И денег дам на пропитание двоякосмысленных
ребят!

1912. Ноябрь

Шансонетка горничной

Я — прислуга со всеми удобствами —
Получаю пятнадцать рублей,
Не ворую, не пью и не злобствую
И самой инженерши честней.

Дело в том, что жена инженерская
Норовит обсчитать муженька.
Я над нею труню (я ведь дерзкая!)
И словесно даю ей пинка.

Но со мною она хладнокровная, —
Сквозь пять пальцев глядит на меня:
Я ношу бильедушки любовные
От нее, а потом — для нея.

Что касается мужа господского —
Очень добр господин инженер...
"Не люблю, — говорит, — ультра-скотского
Вот, супруги своей — например"...
. . . .
. . . .

В результатах мы скоро поладили, —
Вот уж месяц, как муж и жена.

Получаю конфекты, материи
И филипповские пирожки,
И — на зависть кухарки Гликерии,
Господина Надсона стишки.

Я давно рассчитала и взвесила,
Что удобная должность, ей-ей:
Тут и сытно, и сладко, и весело,
Да вдобавок пятнадцать рублей!

Веймарн.
1913. Июль

Озеровая баллада

Св. кн. О. Ф. Имеретинской

На искусственном острове крутобрегого озера
Кто видал замок с башнями? кто к нему подплывал?
Или позднею осенью, только гладь подморозило,
Кто спешил к нему ветрово, трепеща за провал?

Кто, к окну приникающий, созерцания пестрого
Не выдерживал разумом — и смеялся навзрыд?
Чей скелет содрогается в башне мертвого острова,
И под замком запущенным кто, прекрасный, зарыт?

Кто насмешливо каялся? кто возмездия требовал?
Превратился кто в филина? кто — в летучую мышь?
Полно, полно, то было ли? может быть, вовсе не было?..
...Завуалилось озеро, зашептался камыш.

1910. Июнь

Издевательство

Как блёкло ткал лиловый колокольчик
Линялую от луни звукоткань!
Над ним лунел вуалевый эольчик
И, камешки кидая в воду: "кань",
Чуть шепотал устами, как коральчик...
Он был оно: ни девочка, ни мальчик.

На озере дрожал электробот.
Все слушали поэта — экстазера
И в луносне тонули от забот.
Но призраками Серого Мизэра
Шарахнулся пугающий набат, —
И в отблесках пылающего замка
Умолк поэт, как жалкий акробат.

— Царица Жизнь воспитана, как хамка!

1911. Март

На голос весенней новеллы

Обстругав ножом ольховый прутик,
Сделав из него свистящий хлыстик,
Королева встала на распутьи
Двух аллей. И в девственном батисте
Белолильной феей замерла.
Вот пошла к избушке столяра,
Где лежали дети в скарлатине,
Где всегда отточенный рубанок
Для гробов, для мебели, для санок.
Вот и пруд, олунен и отинен,
Вот и дом, огрустен и отьмён.
— Кто стучит? — спросил столяр Семен,
"Королева"... шепчет королева.
Прохрипели рыжие засовы.
Закричали в отдаленьи совы.
Вспомнилась весенняя новелла:
В ясенях отданье столяру.
Он впустил. Взглянула — как стрелу,
Прямо в глаз любовника метнула.
И пошла к отряпенной кроватке.
Смерть и Жизнь над ней бросали ставки.
Было душно, холодно и лунно.
Столяриха билась на полу
И кричала: "Дайте мне пилу!"

1911. Ноябрь

Эскизетка

Соны качеля, белесо ночело.
Лес печалел в белосне.
Тюли эоля качала Марчелла:
— Грустно весенне усни! —
Точно ребенка, Марчелла качала
Грезы, меня и весну.
Вот пробесшумела там одичало
Глуше затишия мышь.
Крылья дымели, как саван истлевший.
— Сердце! тебя не поймешь,
Лед запылавший!

1911. Март

Эго-рондола

Я — поэт: я хочу в бирюзовые очи лилии белой.
Ее сердце запело... Ее сердце крылато... Но
Стебель есть у нее. Перерублю, и...
Белый лебедь раскрыл бирюзовые очи.
Очи лилии
Лебедь раскрыл. Его сердце запело. Его
сердце
Крылато! Лебедь рвется в Эфир к
облакам —
К белым лилиям неба, к лебедям небес!
Небесная бирюза — очи облак. Небо запело!..
Небо
Крылато!.. Небо хочет в меня: я — поэт!

Промельк

Ив. Лукашу

Голубые голуби на просторной палубе.
А дождинки капали, — голуби их по́пили.
На просторной палубе голубые голуби
Все дождинки по́пили, а дождинки капали.

1911

Пятицвет II

В двадцать лет он так нашустрил:
Проституток всех осёстрил,
Астры звездил, звезды астрил,
Погреба перереестрил.
Оставалось только — выстрел.

1911

В ресторане

Граалю Арельскому

Воробьи на дорожке шустрятся.
Зеленеют кудри кротекуса.
Привезли из Остэндэ устрицы
И стерлядей из Череповца.
— Послушайте, вы, с салфеткою,
Накройте мне стол под липою;
И еще я вам посоветую
Не стоять каменной глыбою,
А угостить меня рыбою,
Артишоками и спаржей.
Вы поняли? — "Помилуйте, даже
Очень
И буду точен".

1911. Май

Отчаяние

Я, разлоконив волосы русые,
Ухватила Петьку за ушко,
В него шепнула: "Тебя я скусаю"...
И выпила бокал Клико.

Успокоив его, благоматного,
Я дала ему морковки и чайку
И, закричавши: "Всего приятного!",
Махнула серной по лужку.

Муж приехал с последним автобусом —
Будничный, потертый манекен...
Я застонала и перед образом
Молила участи Кармен!..

1912. Май

Поэза о "Mignon"

Не опоздайте к увертюре:
Сегодня ведь "Mignon" сама!
Как чаровательны, Тома,
Твои лазоревые бури!

"Mignon"!.. она со мной везде:
И в бледно-палевых гостиных,
И на форелевых стремнинах,
И в сновиденьях, и в труде.

Ищу ли женщину, с тоской
Смотрюсь ли в давнее былое,
Кляну ль позорное и злое, —
"Mignon"!.. она везде со мной!

И если мыслю и живу,
Молясь без устали Мадонне,
То лишь благодаря "Миньоне" —
Грезовиденью наяву...

Но ты едва ли виноват,
Ее бесчисленный хулитель:
Нет, не твоя она обитель...
О, Арнольдсон! о, Боронат!

1914. Октябрь

Блаженный Гриша

Когда проезжает конница
Мимо дома с красною крышей,
В кухне дрожит иконница,
Сколоченная блаженным Гришей...

И тогда я его мучаю
Насмешкою над дребезжаньем...
Убегает. И над гремучею
Речкою льет рыданья.

И хотя по благочестию
Нет равного ему в городе,
Он злится, хочет мести,
Мгновенно себя очертив...

1912. Март

Предостерегающая поэза

Художники! бойтесь "мещанок":
Они обездарят ваш дар
Своею врожденною соньюю,
Своим организмом шарманок;
Они запесочат пожар
В душе, где закон — Беззаконье.

Страшитесь и дев апатичных,
С улыбкой безлучно-стальной,
С лицом, постоянным как мрамор:
Их лики, из псевдо-античных,
Душе вашей бально-больной
Грозят беспросыпным кошмаром.

Они не прощают ошибок,
Они презирают порыв,
Считают его неприличьем,
"Явленьем дурного пошиба"...
А гений — в глазах их — нарыв,
Наполненный гнойным величьем!..

1912. Июль.
Веймарн

Chansonnette

Изящная, среднего роста
С головкою bronze-oxidé,
Она — воплощение тоста.
Mais non, regardez, regardez!

Пикантная, среднего роста,
Она — героиня Додэ.
Поклонников много, — их до ста,
Mais non, regardez, regardez!

Но женщина среднего роста
Бывает *высокой* en deux...
И надо сознаться, что просто... —
Mais non, regardez, regardez!

1909. Ноябрь

Она критикует

— Нет, положительно искусство измельчало,
Не смейте спорить, граф, упрямый человек!
По пунктам разберем, и с самого начала;
Начнем с поэзии: она полна калек.
Хотя бы Фофанов: пропойца и бродяга,
А критика ему дала поэта роль...
Поэт! хорош поэт!.. ходячая малага!..
И в жилах у него не кровь, а алкоголь.
Как вы сказали, граф? до пьянства нет нам дела?
И что критиковать мы можем только труд?
Так знайте ж, книг его я даже не смотрела:
Не интересно мне!.. тем более, что тут
Навряд ли вы нашли б занятные сюжеты,
Изысканных людей привычки, нравы, вкус,
Блестящие балы, алмазы, эполеты, —
О, я убеждена, что пишет он "en russe".
Естественно, что нам, взращенным на Шекспире,
Аристократам мысли, чувства и идей,
Неинтересен он, бряцающий на лире
Руками пьяными, безвольный раб страстей.
Ах, да не спорьте вы! поэзией кабацкой
Не увлекусь я, граф, нет, тысячу раз "нет"!
Талантливым не может быть поэт
С фамилией — pardon! — такой... дурацкой.
И как одет! Mon Dieu! Он прямо хулиган!..
Вчера мы с Полем ехали по парку,
Плетется он навстречу, — грязен, пьян;
Кого же воспоет такой мужлан?.. кухарку?!..
Смазные сапоги, оборванный тулуп.
Какая-то ужасная папаха...
Сам говорит с собой... взгляд страшен,
нагл и туп...
Поверите? — я чуть не умерла от страха.
Не говорите мне: "Он пьет от неудач!"
Мне, право, дела нет до истинной причины.
И если плачет он, смешон мне этот плач:
Сантиментальничать ли создан мужичина
Без положенья в обществе, без чина?!

1908

II. Незабудки на канавках

Стихи "давно минувших лет"

Nocturne

Месяц гладит камыши
Сквозь сирени шалаши...
Все — душа, и ни души.

Все — мечта, все — божество,
Вечной тайны волшебство,
Вечной жизни торжество.

Лес — как сказочный камыш,
А камыш, как лес-малыш.
Тишь — как жизнь, и жизнь — как тишь.

Колыхается туман —
Как мечты моей обман,
Как минувшего роман...

Как душиста, хороша
Белых яблонь пороша...
Ни души, — и все душа!

1908. Декабрь

Тоска по Квантуну

О, греза дивная, мне сердца не тирань! —
Воспоминания о прожитом так живы.
Я на Квантун хочу, в мой милый Да-Лянь-Вань,
На воды желтые Корейского залива.

Я в шлюпке жизненной разбился о бурун,
И сердце чувствует развязку роковую...
Я по тебе грущу, унылый мой Квантун,
И, море Желтое, я по тебе тоскую!..

1904.
Петербург

Запад погас...

Запад
Погас...
Роса
Поддалась...
Тихо
В полях...
Ива —
Голяк...
Ветрится
Куст...
Зебрится
Хруст...
Ломок
Ледок...
Громок
Гудок...
Во мгле
Полотно
И склепа
Пятно...

1910. Октябрь

Триолет

В протяжных стонах самовара
Я слышал стон ее души.
Что было скрыто в песне пара —
В протяжных стонах самовара?
Венчалась ли она в глуши,
Иль умирала дочь Тамара?
Как знать! Но в воплях самовара
Я слышал вопль ее души.

1909. Июль.
Мыза "Ивановка"

Морской набросок

Е. А. Л.

Тому назад всего два года
На этом самом берегу
Два сердца в страсти без исхода,
Дрожали, затаив тоску.
Два женских сердца... Этой дрожью
Трепещет берег до сих пор...

...Я прихожу поднять свой взор
На море, и у гор подножья
Послушать благостную дрожь,
Потосковать душой пустынной
Вновь о вине своей невинной,
Где правду скрашивала ложь...

1912. Август.
Эстляндия, Иеве, Тойла

Грациоза

Дмитрию Крючкову

Я нежно хотел бы уснуть,
Уснуть, — не проснуться...
Далёко-далёко уйти,
Уйти, — не вернуться...

Хотел бы ее целовать,
Почти не целуя:
Словами ведь грубо сказать,
Как тонко люблю я...

Ни страсти хочу, ни огня,
И боли слиянья,
Чтоб телом к ней в тело войти,
Войти для страданья...

Хочу я не тела ее,
Но лишь через тело
Прочувствовать душу могу
Всецело...

1911. Октябрь

Prélude II

Мои стихи — туманный сон.
Он оставляет впечатление...
Пусть даже мне неясен он, —
Он пробуждает вдохновение...
О, люди, дети мелких смут,
Ваш бог — действительность угрюмая.
Пусть сна поэта не поймут, —
Его почувствуют, не думая...

1909

"Где при вздохе ветерка поет фарфор"...

Маньчжурский эскиз

Там, где нежно колокольчики звенят
И при вздохе ветерка поет фарфор,
Еду я, восторгом искренним объят,
Между бархатных полей и резких гор.

Еду полем. Там китайцы сеют рис;
Трудолюбьем дышат лица. Небеса
Ярко сини. Поезд с горки сходит вниз.
Провожают нас раскосые глаза.

Деревушка. Из сырца вокруг стена.
Там за ней фанзы приземисты, низки.
Жизнь скромна, тиха, убога, но ясна
Без тумана русской будничной тоски.

Пасть раскрыл свою, на нас смотря, дракон,
Что из красной глины слеплен на фанзе.
Я смеюсь: мне грозный вид его смешон.
Село солнце, спит трава в сырой росе.

1905

Эскиз

Клубится дым при солнце зимнем.
Несется в дебри паровоз;
Причудлив он в хитоне дымном,
В хитоне смутном, как хаос.

Снег лиловатого оттенка
Пылит под небом голубым.
Вдали темнеет леса стенка,
А дым — как снег, и снег — как дым.

1908. Декабрь.
Лигово. Вагон

Траурная элегия

Умирала лилия лесная...

К. Фофанов

Умерла она в пору августа,
Когда зелень трав и дубрав густа,
Когда в воздухе вкус малиновый,
Когда ночь дрожит в тьме осиновой.
Умерла она, ясно ведая,
Что такое смерть, храбро следуя
За давнишними пожеланьями
Молодой уснуть, с колебаньями
Незнакомая... И правдивая,
И невинная, и красивая!..
Умерла она, сделав грустно нам...
К ней путем идем, болью устланным,
На могилу к ней, одинокую,
Как она была, на далекую...
Там помолимся о душе ее:
— Да прославится имя твое!

1909. Июнь

Царица из цариц

В моей душе — твоих строфа уст,
И от строфы бесплотных уст
Преображаюсь, словно Фауст, —
И звук любви уже не пуст.

Как в Маргариту юный Зибель —
В твой стих влюблен я без границ,
Но ждать его не может гибель:
Ведь ты — царица из цариц!

1908. Ноябрь

Оттого и люблю

Я люблю сердечно, безрассудно,
Безотчетно всю, как есть, тебя!
Но за что люблю, я знаю смутно,
А верней — совсем не знаю я.
Как тебя целую! как милую!
Ты со мной — смеюсь, а нет — грущу...
Оттого тебя ведь и люблю я,
Что любви причины не ищу!..

1907

Вернуть любовь

...То ненависть пытается любить,
Или любовь хотела б ненавидеть?..
Минувшее я жажду возвратить,
Но, возвратив, боюсь его обидеть.
Боюсь его возвратом оскорбить.

Святыни нет для сердца святотатца,
Как доброты у смерти... Заклеймен
Я совестью, и мне ли зла бояться,
Поправшему любви своей закон!

Но грешники — безгрешны покаяньем,
Вернуть любовь — прощение вернуть.
Но как боюсь я сердце обмануть
Своим туманно-призрачным желаньем:

Не месть ли то? не зависть ли? сгубить
Себя легко, и свет небес не видеть...
Что ж это: зло старается любить,
Или любовь мечтает ненавидеть?..

1908

Букет забвенья

Я погружу в букет душистый
Лицо и душу погружу.
И лес ресниц твоих пушистый,
Пушистый лес воображу.

Я озарял его, сжигая
Доверья хрупкие костры...
О, дорогая-дорогая
С душой любовницы-сестры!

Но то ушло, пришло другое...
Того, что было, не спасти...
О, дорогое-дорогое,
Мое далекое, прости!

Прости и ты, мой ангел чистый,
Краса и гордость бытия!
Бросаю жизнь в букет душистый,
И захлебнусь в букете я!

1910. Май.
Мыза "Ивановка"

Berceuse томления

Я люблю тебя нежнее
Белой лилии,
Я пою тебя волшебней
Сказок фей.
Я беру тебя в аллее
Весь — воскрылие,
В поэтическом молебне
Чародей.

К груди грудь, во взоры взоры!
Вешней лени я
Не осилю — ах, нет мочи, —
Я в плену.
Мне мерещатся озера
Из томления.
В них все глубже, все жесточе
Я тону.

1913. Май.
Веймарн

Мельница и барышня

Постарела труженица-мельница
На горе стоит, как богодельница;
Под горою барышня-бездельница
Целый день заводит граммофон
На балконе дачи; скучно барышне:

Надоел в саду густой боярышник,
А в гостиной бронза и плафон.
Я смотрю, вооруженный... лупою:
Граммофон трубой своею глупою
Голосит, вульгаря и хрипя,
Что-то нудно-пошлое, а дачница,
В чем другом, но в пошлости удачница,
Ерзает на стуле, им скрипя...
Крылья дряхлой мельницы поломаны,
Но дрожат, в обиде, внемля гомону
Механизма, прочного до ужаса,
И пластинкам, точным до тоски...
Ветра ждет заброшенная мельница,
Чтоб рвануться с места и, обрушася,
Раздавить ту дачу, где бездельница
С нервами березовой доски...

От жары и "музыки" удар меня,
Я боюсь, вдруг хватит, и — увы!..
Уваженье к мельнице, сударыня,
Здесь она хозяйка, а не вы!

1911. Лето.
"Дылицы"

Миньонеты

I

Да, я хочу твоих желаний,
Да, я люблю твое "люблю"!
Но мы уйдем туда, где — лани,
Уйдем: здесь больно, я скорблю.
Лишь там тебе, моей Светлане,
Я расскажу, я распою,
Как я хочу твоих желаний,
Как я люблю твое "люблю"!

II

Ловлю печаль в твоей улыбке
И тайный смех в твоих слезах...
Твои глаза блестят, как рыбки,
Но сердце — в смутных голосах.
Ты в заблужденьи, ты в ошибке!
Топлю глаза в твоих глазах, —
И снова — смех в твоей улыбке,
И снова — грусть в твоих слезах!

1910. Март

Один бы лепесток!..

Мне тайно верится, что ты ко мне придешь,
Старушка-девушка, согбенная в позоре
И взором бархатя затепленные зори,
Мне тайно верится — ты бодро расцветешь.

Мне тайно верится — ты все еще грустишь
О том, что сказано, о том, что не успето...
О, разберись в пыли истлевшего букета:
Один бы лепесток! — и ты меня простишь,
Мне свято верится!..

1910. Февраль

Чьи грезы?..

Я пить люблю, пить много, вкусно,
Сливаясь пламенно с вином.
Но размышляю об одном
И не могу решить искусно.

Да, мудрено решить мне это
(И в этом вся моя вина!):
Поэт ли хочет грёз вина,
Вино ли просит грёз поэта?

1909

Колыбельная

(Ария Лотарио)

Спи-усни, дитя — Миньона,
Улыбаяся шутя...
Спи-усни без слёз, без стона,
Утомленное дитя.

Замок спит, и спят озера,
Позабудь скитаний дни.
С голубой надеждой взора
Незабудкою усни.

Сердце, знавшее уроны,
Зачаруй в уютном сне, —
И растает грусть Миньоны,
Как снежинка по весне.

1908. Ноябрь

Мадригал

Ал. Ал. Наумовой

Часто вы мне грезитесь фиалкой —
Этим нежным, ласковым цветком;
Иногда — таинственной русалкой,
Воплощенной грезящим умом.
Иногда — принцессой кроткой, хрупкой,
Милосердной даже к комару;
И всегда — свободною голубкой,
Ввысь летящей к правде и добру!

1907

Повсеместная

Ее глаза, глаза газели,
Синеют в усиках ресниц.
Она опустит очи ниц,
И щеки вдруг зарозовели.

В устах змеящийся укус,
Лицо меняет беспрестанно.
И волосы, длиннее стана,
Немного приторны на вкус.

Бескрылой похоти раба,
Она приниженно кичлива.
Эскиз готов. Пошлоречива
Моей натурщицы судьба.

1911. Июнь.
Елисаветино

По восемь строк

I

Вы стоите на палубе за зеркальною рубкою
И грызете, как белочка, черносливную косточку...
Вы — такая изящная и такая вы хрупкая,
Вы похожи на девочку и немного на ласточку...
Улыбаются весело два матроса у румпела,
Капитан донжуанствует, вам стихи декламируя,
О таинственном крейсере, о голубке под куполом,
То чаруя Мореллою, то Дарьяльской Тамарою...

1910

II

Карменсите

В тебе столько нежности тихой,
Но, время бездумно влача,
Ты скрыла ее под шумихой
Такого ж бездумного дня.
Но в каждом движеньи плеча
И в склоне твоем над гречихой —
В тебе столько нежности тихой...
О, если б она для меня!

1910.
Саблино

III

Я приду к тебе, еврейка,
В звездном плеске сонных струй.
Отворяй-ка поскорей-ка,
Отвори и не горюй!
За любовь плати любовью.
За измену отомсти:
По холмистому горбовью
Труп мой в озеро спусти...

1910

Рондель

От Солнца я веду свой древний род!

Мирра Лохвицкая

"От Солнца я веду свой род!" —
Сказала доблестная Саба.
В краю банана, змей и краба
Жил впечатлительный народ.
Царь слов обратно не берет,
Когда звучат слова не слабо...
"От Солнца я веду свой род!"—
Сказала доблестная Саба.
Всегда венец! всегда вперед! —
Вот лозунг знойного араба.
Но в небе грянула гроза бы,
Когда бы смел воскликнуть "крот":
— От Солнца я веду свой род!

1911

Полусонет

Твои горячие кораллы
Коснулись бледного чела,
Как сладострастная пчела, —
И вот в душе звучат хоралы.
Моя тоска меня карала,
И я не пел, и петь не мог.
Но ты сняла с души забрало
И с песни рыцарской — замок.

Без жизни жизнь и сон без сна
Теперь окончены. Весна
Моей любви поет и трелит...

Спеши вдыхать весны цветок,
Спеши! И радости поток
Нас захлестнет, но не разделит!

1909

Ванда

Октавы

Посв. *В. В. Уварову-Надину*

1

Грустила ночь. При чахлом свете лампы
Мечтала Ванда, кутаясь в печаль;
Ей грезился дурман блестящей рампы,
Ей звуков захотелось, — и рояль
Ее дразнил прелюдией из "Цампы".
Она встает, отбрасывая шаль,
И медленно подходит к пианино
Будить его от грезящего сплина.

2

А ночь глядит в растворенную дверь,
Вся трепеща и прислонясь к веранде...
Как девушка взволнована теперь!
Как дышит ночь душисто в душу Ванде!
Мотив живит... И если б *вечный* зверь
Его услышал, если б зверской банде
Он прозвучал, — растроганное зло,
Хотя б на миг, любовью мысль зажгло.

3

...О, чаровница-музыка, тебе
Крылю восторг, пылаю фимиамы!
О власти мысль внушаешь ты рабе,
Ребенка устремляешь к сердцу мамы.
Туманишь зло, зовешь любовь к себе
И браку душ поешь эпиталамы.
Тебе дано пороки побороть,
Гармония, души моей Господь...

1908. Ноябрь

Насмешка короля

Властитель умирал. Льстецов придворных стая
Ждала его конца, сдувая с горностая
Одежды короля пылинки, между тем,
Как втайне думала: "Когда ж ты будешь нем?"

Их нетерпение заметно королю
И он сказал, съев ломтик апельсина:
— О, верные рабы! Для вас обижу сына:
Я вам отдам престол, я сердце к вам крылю! —

И только он умолк, — в разнузданности дикой
Взревели голоса, сверкнули палаши.
И вскоре не было у ложа ни души, —
Лишь двадцать мертвых тел лежало пред владыкой.

1911. Июль.
Ст. Елисаветино, село "Дылицы"

Леониду Афанасьеву

"У плотины старой мельницы"...

Леонид Афанасьев

Ваши милые мелодии,
Где воспели вы наш сад,
Как волшебные рапсодии —
Души многих вдохновят.

Так любовна и так красочна,
Друг мой, ваша акварель;
Целомудренна и сказочна,
Как на севере апрель.

Если снова на свободе я
Заберусь в мой старый сад,
Приезжайте, — и мелодии
Ваши снова зазвучат!

1908

Ответ Л. Афанасьеву на его послание

Ты шел дорогою проезжей,
И был твой шаг трудолюбив.
А я парил в лазури вещей,
Весь мир в осколки раздробив!

Ты робко пел и робко шел ты,
Боясь прохожих обогнать...
Лист зеленел, потом стал желтый, —
Зазеленеет ли? — Как знать!

Ты изменил Луне и Нимфе,
Изменой поругав сердца...
Но пусть шалаш твой на Олимпе —
Напротив моего дворца!

1910

Измена мая

Я родился в мае, в месяце весеннем,
Звонком и веселом,
Шумном и душистом,
И сказали розы: "Мы тебя оденем
Светлым ореолом —
Как молитва, чистым".

Улыбнулось солнце, солнце засверкало.
Ласковым приветом
Чествуя рожденье;
Солнце загорелось, запылало ало
И зажгло поэтом
С искрой вдохновенья!

Разодет цветами с детской колыбели,
Я запел соловкой
Радостно и звонко,
Запечатлевая мир, где все скорбели,
Юною головкой
И душой ребенка.

Время шло, — и солнце потускнело в тучах.
Лаской не блестело,
Злоба песнь косила;
Опадали розы при ветрах летучих,
Истомилось тело,
Притупилась сила.

Время шло... И радость дней моих весенних
Растопилась в слёзах,
Сердцу не внимая;
И теперь я плачу, плачу на коленях
О погибших грезах,
Об измене мая!

1908. Февраль

Неразгаданные звуки

В детстве слышал я ночами
Звуки странного мотива.
Инструмент, мне неизвестный,
Издавал их так красиво.

Кто играл? на чем? — не знаю;
Все покрыто тайной мглою;
Только помню, что те звуки
Власть имели надо мною.

Их мотив был так чарующ,
Так возвышен, полон ласок;
Вместе с тем печален, страшен —
Описать его нет красок.

Я боялся этих звуков,
Их таинственного свойства,
Но когда я их не слышал,
Я был полон беспокойства.

Я любил, когда незримый
Музыкант играл ночами;
Я лежал в оцепененьи
С удивленными очами;

Я лежал в своей кроватке,
Щуря глазки и, дыханье
Затаив, ловил так жадно
Их гармонию рыданья.

Звуков больше я не слышу.
Что они мне предвещали?
Счастье ль в мире равнодушья
Или горе и печали?

Не нашел себе я счастья, —
Звуки горе мне напели:
Я боялся их недаром
С безмятежной колыбели.

А любил я их, мне мнится,
Потому, что эти звуки
Мне сулили счастье в смерти,
На земле напев лишь муки.

Знает кто? быть может, струны
Пели мне слова Завета:
"Кто страдает в царстве мрака,
Насладится в царстве света".

8-го октября 1903.
Квантун, порт Дальний

Nocturne

Струи лунные,
Среброструнные,
Поэтичные,
Грустью нежные, —
Словно сказка вы
Льетесь, ласковы,
Мелодичные,
Безмятежные.

Бледно-палевы,
Вдруг упали вы
С неба синего;
Льетесь струями
Со святынь его
Поцелуями,
Скорбь сияния...
Свет страдания...

Лейтесь, вечные,
Бесприютные —
Как сердечные
Слезы жаркие!..
Вы, бескровные,
Лейтесь ровные, —
Счастьем мутные,
Горем яркие...

1908. Сентябрь

Перекат II

Как эта грустная обитель,
Твое сердечко опустело.
Любовь, как ясный небожитель,
В нем больше жить не захотела.

И вот глаза твои тоскливы,
Как эта грустная обитель.
Они угрюмы и пугливы,
Когда увидят белый китель.

Я понимаю: обольститель
Убил любовь в тебе изменой,
Как эта грустная обитель
Вступает в бой с морскою пеной!

Дитя, взгляни: волна обратно
Бежит покорно. Так Спаситель
Тебя хранит, — ты благодатна,
Как эта грустная обитель.

1908. Декабрь

Новогодняя элегия

С новолетьем мира горя —
С новым горем впереди!
Ах, ни счастья, ни отрады,
Ни сочувствия не жди!

Проследи печальным оком
Миновавшие года:
Не дождался от них счастья, —
Не дождешься никогда.

И с какою ты надеждой
Им судьбу свою вверял,
Верил в сбыточность мечтаний
И надеялся, и ждал.

Не ищи в унылой тундре
Ароматных ярких роз, —
Не ищи любви и счастья
В мире муки, в мире слез.

Не дождался — не дождешься,
Боль была и есть в груди...
С новолетьем мира скорби —
С новой скорбью впереди!..

1908. 2-го янв.

Все то же

Все те же краски, те же типы
В деревьях, птицах и цветах:
Как век назад — сегодня липы,
Как век вперед — любовь в мечтах.

Строй мирозданья одинаков,
Почти разгадан, скуп и плоск.
Но есть значение без знаков,
Есть знак, расплывчатый как воск.

1909. Июль.
Мыза "Ивановка"

***

...То будет впредь, то было встарь...
Он полюбил Мечту, рожденную мечтою,
И первую любовь, заворожен святою
Своей избранницей, принес ей на алтарь.

Но полюсом дышал ее далекий взор,
От веянья его увяли в сердце розы,
В глазах замерзли слезы...
И треснул форм Мечты безжизненный фарфор!
— Фарфоровые грезы! —

1908. Апрель

Проба пера

Полна чаруйных разочарований
Весна в лесу:
Крестьянку в ало-синем сарафане
На полосу
Хлебов, вчера посеянных, жду в полдень,
Но —
И сыро, и темно,
И день так холоден...

1914. Июль.
Мыза "Ивановка"

Цветы и ядоцветы

Цветы не думают о людях,
Но люди грезят о цветах...
Цветы не видят в человеке
Того, что видит он в цветке...

Цветы людей не убивают —
Цветы садов, цветы полей...
А люди их срывают часто!
А люди часто губят их!

Порою люди их лелеют,
Но не для них, а для себя...
В цветах находят "развлеченье",
Души не видят у цветов...

Нет тяжелее и позорней,
Судьбы доступного цветка!
Но есть цветы с иным уделом:
Есть ядовитые цветы!..

Их счастье в том, что их расцвета
Не потревожит человек...

1911. Февраль

Промельк

Янтарно-гитарные пчелы
Напевно доили азалии,
Огимнив душисто-веселый
Свой труд в изумрудной Вассалии.

1911. Июль.
"Дылицы"

Миррэты

Зоюсе

В березовом вечернем уголке
С тобою мы на липовой скамейке.
И сердце бьется зайчиком в силке.
Олуненные тени, точно змейки,
То по песку, то по густой аллейке
В березово-жасминном уголке.

Жасмин — мой друг, мой верный фаворит:
Он одышал, дитя, твое сердечко, —
Оно теперь душисто говорит,
Оно стрекочет нежно, как кузнечик.
Да освятится палевый наш вечер
И ты, жасмин, цветущий фаворит!

1911

Лепестки оживают

Эти люди не в силах загрязнить то, что я любил в тебе; их слова падали подобно камням, брошенным в небо и неспособным смутить ни на минуту ясной его лазури...

М. Метерлинк

Помнишь, Женя? — это было в мае,
Года два, мой друг, тому назад.
Если ты забыла, дорогая,
Не забыл, быть может, старый сад.

Вечерело. Мы вдыхали струи
Ветерка, обнявшего сирень.
Что за речи! что за поцелуи!
Что за чудный, незабвенный день!

Подойдя задумчиво к сирени,
Ты роскошный сделала букет
И сказала: "Вот тебе от Жени,
Получай, возлюбленный поэт!"

Засмеялась ласково и нежно,
Я пьянел, вдыхая аромат.
Ты взглянула в очи мне прилежно,
Прошептав: "Мне грустно, милый брат..."

Вздрогнул я, склонился на колени
Я тебя, голубку, утешал,
И тебе, моей любимой Жене,
Губки, глазки, ручки целовал.

...Мы расстались: мы с тобой "не пара",
Как сказали "добрые друзья",

Но нельзя забыть признаний жара
И тебя нельзя забыть, нельзя!

И нельзя забыть былого тени,
Эти раз любившие сердца,
Этот вздох, душистый вздох сирени,
Эти ласки, ласки без конца!

До сих пор, тревожа и волнуя
Душу мне, палят мои уста
Эти, только наши, поцелуи
Под охраной нашего куста.

О, когда б вернулись чувства мая,
Чувства наши светлые назад!
Помнишь, Женя? помнишь, дорогая?
Если ты забыла, помнит сад.

1908. Февраль

Сердце мое...

Сердце мое, этот колос по осени,
Сжато серпом бессердечия ближнего,
Сжато во имя духовного голода,
В славу нетленных устоев Всевышнего.

Пусть же слепые жнецы, бессознательно
Сжавшие сердце мне многолюбивое,
Им напитаются с мысленным отблеском
Радуги ясной, сулящей счастливое.

1908. Август.
Мыза "Ивановка"

Молчанье шума

Убийцей жизни, мысли пробужденья,
Порывов светлых, воздуха и грез —
Преступным городом — убийцей вдохновенья
Ползу среди ударов и угроз.

Ползу без направленья, без сознанья,
Без чувств, без глаз, без слуха и без сил...
И шумом города смеется мне Молчанье
Мертвее, безнадежнее могил.

1908. Март.
Петербург

Что такое грёза?

Что такое — грёза? Что такое — грёза?
Это мысль о розе, но еще не роза...

Что такое грёза? Что такое — грёза?
Это бархатисто-нежная мимоза...

Что такое — грёза? Что такое — грёзы?
Это серафима блещущие слезы!

1909. Май.
Мыза "Ивановка"

Стансы

Счастье жизни — в искрах алых;
В просветленьях мимолетных,
В грезах ярких, но бесплотных
И в твоих очах усталых.

Горе — в вечности пороков,
В постоянном с ними споре,
В осмеянии пророков
И в исканьях счастья — горе.

1907

Триолет

П. А. Ларионову

Мне что-то холодно... А в комнате тепло:
Плита натоплена, как сердце нежной лаской.
Я очарован сна загадочною сказкой,
Но всё же холодно, а в комнате тепло.
Рассудок замер. Скорбь целует мне чело
Таинственная связь грозит своей развязкой,
Всегда мне холодно... другим всегда тепло!..
Я исчервлён теплом, как сердце — едкой лаской...

1909. Май.
Мыза "Ивановка"

Victoria Regia

I. А сад весной благоухает!..

Весенние триолеты

Андрею Виноградову

Еще весной благоухает сад,
Еще душа весенится и верит,
Что поправимы страстные потери, —
Еще весной благоухает сад...
О, нежная сестра и милый брат!
Мой дом не спит, для вас раскрыты двери...
Еще весной благоухает сад,
Еще душа весенится и верит...

Еще благоухает сад весной,
Еще в глазах моих блестят слезинки,
Еще влекут в безвестное тропинки, —
Еще благоухает сад весной...
О, жизнь моя! Ты вся еще пред мной!
Черемух цвет пророчит мне снежинки...
Еще благоухает сад весной,
Еще в глазах моих дрожат слезинки...

А я устал! а юность позади!
Зачем же сад весной благоухает?
Взор отсверкал, померк и потухает.
И я устал... и юность позади...
О, жизнь моя! ты вся еще в груди!
Вопью тебя, — и сердце воспылает!
Пусть я устал, пусть юность позади,
Но сад еще весной благоухает!..

Веймарн.
Мыза "Пустомержа".
1913

Восторженная поэза

Восторгаюсь тобой, молодежь! —
Ты всегда, — даже стоя, — идешь,
Но идешь постоянно вперед,
Где тебя что-то многое ждет.
Не желаю я думать о том,
Что с тобою случится потом,
Что, спустя много весен и зим,
Будет твой крылолёт отразим.
Но пока молодежь молода,
Не погаснет на небе звезда,
Не утопится солнце в воде, —
Да весенятся все и везде!
И смотрю я в сплошные глаза:
В них потоп, а в потопе — гроза,
А в грозе зацвели васильки...
Оттого — я, не зная тоски,
Так спою, что и ты запоешь,
О восторженная молодежь!
Так грозо́во возгряну "ура",
Что умрет безвоскресно вчера!
И вонзаю я в завтра копье,
Прославляя Сегодня твое!

Керчь.
1914. Январь

Кузнец

Спеши к наковальне, кузнец!
Покуда здоров ты, покуда ты молод,
Куй счастью надежный венец!
Душою измолот, душою расколот,
Душою истерзан, когда, как свинец,
Жизнь станет тяжелой, и старости холод
Напомнит про глупый, нелепый конец, —
Тогда берегись, не хватайся за молот:
Тебе он изменит, кузнец!

1910

Поэза доверия

Верю небу! верю морю!
Верю ночи! верю дню!
Никого не опозорю!
Ничего не оскверню!

Верю солнцу! верю смерти!
Верю вере и любви!
Каждой грезе! каждой жертве!
Слову вечному: "Живи!"

Верю в радость и в страданье!
Верю в фабрику! в стихи!
Верю в строгое молчанье
И в вульгарное "хи-хи"!

Все приемлемо, все нужно, —
Это каждому скажи,
Как мне северно, как южно
Верить этой общей лжи!

Одесса.
1914. Февраль

В июле

В полях созрел ячмень.
Он радует меня!
Брожу я целый день
По волнам ячменя.

Смеется мне июль,
Кивают мне поля.
И облако — как тюль,
И солнце жжет, паля.

Блуждаю целый день
В сухих волнах земли,
Пока ночная тень
Не омрачит стебли.

Спущусь к реке, взгляну
На илистый атлас;
Взгрустнется ли, — а, ну, —
А, ну печаль от глаз.

Теперь ли тосковать,
Когда поспел ячмень?
Я всех расцеловать
Хотел бы в этот день!

Мыза "Ивановка".
1909. Июль

Не завидуй другу...

Не завидуй другу, если друг богаче,
Если он красивей, если он умней.
Пусть его достатки, пусть его удачи
У твоих сандалий не сотрут ремней...

Двигайся бодрее по своей дороге,
Улыбайся шире от его удач:
Может быть, блаженство — на твоем пороге,
А его, быть может, ждут нужда и плач.

Плачь его слезою! смейся шумным смехом!
Чувствуй полным сердцем вдоль и поперек!
Не препятствуй другу ликовать успехом:
Это — преступленье! Это — сверхпорок!

1909

Предчувствие поэмы

Душа все больше, все безгневней,
Все милодушнее она...
Я грежу лесом и деревней,
И это значит — вновь весна!

О, неизменная невеста,
Подруга моего стиха,
Под взрывы птичьего оркестра
Встречай улыбно жениха!

Прости былые заблужденья,
Ошибки молодой любви,
И, в ореоле всепрощенья,
Вновь нареченным назови!

Своею негою измаяв,
Дай благостно с тобой возлечь, —
Чтоб на бессмертье Дочь обречь, —
Чрез двадцать шесть волнуйных маев,
Чрез двадцать шесть бесплотных встреч...

Петроград.
1914. Март

Лучистая поэза

Ан. Н. Чеботаревской

Я хочу быть росою двух цветущих цветов.
Я хочу быть стезею голубых голубков.
Я хочу быть солучьем двух лазурных планет.
Я хочу быть созвучьем между "да", между "нет".

Если буду росою, обрильянчу цветы.
Если буду стезею, олазорю мечты.
Если буду солучьем, я миры съединю.
Если буду созвучьем, я себя сохраню.

Так да буду собою я во веки веков! —
Животворной росою двух цветущих цветов,
Бирюзовой стезею голубых голубков,
И солучьем созвездий, и созвучьем основ.

1913. Февраль

Carte-postale

Сегодня я плакал: хотелось сирени, —
В природе теперь благодать!
Но в поезде надо; — и не было денег; —
И нечего было продать.

Я чувствовал, поле опять изумрудно,
И лютики в поле цветут...
Занять же так стыдно, занять же так трудно,
А ноги сто верст не пройдут.

Гулять же по городу — видеть автобус,
Лицо проститутки, трамвай...
Но это же гадость! Тогда я взял глобус
И, в грёзах, поехал в Китай.

Спб.
1912. Май

Монолог

Не правда ль? — позорно дать руку тому,
Кто гибнет и верит, что можешь помочь ты...
Позорно и скучно, и странно... К чему —
Когда есть "летучие почты",
Конфетти и шпоры, и танцы, и лесть?

Вот в том-то и ужас, что все это есть!

Когда же умрет он — бессильный, больной —
И в церковь внесут его прах охладелый,
Ты плакать, пожалуй, посмеешь!.. Иной
Подумает: "слезы души опустелой"...

...Будь я мертвецом, я покинул бы гроб,
Согнул бы законов природы кольцо
И все для того, для того это, чтоб —
Тебе плюнуть в лицо!..

1909. Декабрь

Рондолет

Смерть над миром царит,
а над смертью — любовь!

Мирра Лохвицкая

"Смерть над миром царит, а над смертью —
любовь!"
Он в душе у меня, твой лазоревый стих!
Я склоняюсь опять, опечален и тих,
У могилы твоей, чуждой душам рабов.

У могилы твоей, чуждой душам рабов,
Я склоняюсь опять, опечален и тих.
"Смерть над миром царит, а над смертью —
любовь!"
Он в душе у меня, твой пылающий стих!

Он в душе у меня, твой скрижалевый стих:
"Смерть над миром царит, а над смертью
— любовь!"
У могилы твоей, чуждой душам рабов,
Я склоняюсь опять, опечален и тих.

Я склоняюсь опять, опечален и тих,
У могилы твоей, чуждой душам рабов,
И в душе у меня, твой надсолнечный стих:
"Смерть над миром царит, а над смертью —
любовь!"

1910. Февраль

Соната

Каждый вечер вы веете мимо
В темном платье и с бледным лицом,
Как гетера усладного Рима,
. . . .

Я всегда вижу только ваш профиль,
Потаенно-печальный овал
И в Магдалах ли вас, на Голгофе ль,
Только, помню, когда-то знавал.

На меня никогда, никогда вы
Не взглянули, не смели взглянуть:
Вашу память душили удавы,
И медянки окольчили грудь.

И пока полносердно с балкона
Я, ледея, смотрел вам во след,
Богоматери меркла икона,
И дрожал я войти в кабинет:

Мне казалось, что гасла лампада,
И пустел, закрываясь, киот...

Все я ждал, что из росного сада
Кто-то девно меня позовет...

И на миг несказанным обманут,
Я спешил на нескáзанный зов,
И не видел, как ландыши вянут
От моих недостойных шагов.

1911. Ноябрь

Романс III

За каждую строку, написанную кровью,
За каждую твою улыбку обо мне, —
Тебе ответствую спокойною любовью
И образ твой храню в душевной глубине.

Не видимся ли миг, не видимся ль столетье —
Не все ли мне равно, не все ль равно тебе,
Раз примагничены к бессмертью цветоплетью
Сердца углубные в медузовой алчбе?..

О, да: нам все равно, что мы с тобой в разлуке,
Что у тебя есть муж, а у меня — жена.
Ищи забвения в искусстве и в науке,
И в сновидениях, и в грёзности вина.

Работай и мечтай! читай, переживая!
Живи себе вовсю, отчаянно греша!
Ведь ты же человек! ты — женщина живая!
Ведь не без тела же — она, твоя душа!

Я то жене святой... Но со святой любовью
Благодарю тебя, отвоенный вполне,
За каждую мечту, проникнутую кровью,
За каждую твою слезинку обо мне!

1914. Март

Весенние рондели

1

Опять Вы бродите в лесах
Опять Вы бегаете в поле,
Вы рады солнцу, ветру, воле,
И ландыш в Ваших волосах.
Вы снова в смутных голосах
Очарования и боли.
Опять Вы бродите в лесах,
Опять Вы бегаете в поле.
Я к Вам спешу на парусах
Своих экстазных своеволий,
Плету венки из центифолий,
И сердце — твердо на часах,
Пока Вы бродите в лесах.

2

Я Вас не видел года два,
Но никогда не забываю,
Как выходил встречать к трамваю
И как кружилась голова,
Какие нежные слова,
Какое устремленье к маю!
Я Вас не видел года два,
Но никогда не забываю.
Два раза уж росла трава —
Я уходил к иному краю,
Но все по-прежнему сгораю
Желаньем встретить Вас у рва,
Где не встречал Вас года два!

3

Вы не видали средь осин
По направленью пятой горки
Сухие сморщенные корки
Того, что было — апельсин?
С другою женщиной, чей сын
Был создан мной на том пригорке,
Вы нас встречали средь осин,
По направленью к пятой горке?
Я спасся, спасся от трясин,
И вот опять один я в норке,
Мой разум ясен, взоры зорки,
И, что поэт опять один,
Вы не слыхали шум осин?

4

Вы мужу верная жена,
Но Вам от этого не слаще.
Грустите Вы все чаще, чаще,
Душа тоской поражена.
Мечта светла, мечта нежна,
Когда Вы с ней в ольховой чаще.
Вы мужу верная жена,
Но Вам от этого не слаще.
Как жизнь угрозна и страшна
В своей бездарности кричащей,
И где же выход настоящий
Тому, кто в ночь не знает сна,
Кто мужу верная жена?

5

Зажгла малиновый фонарь
И плачет на груди кузины.
Закат. Лиловые долины.
Томленье. И луна — янтарь.
Ей вспоминается январь.
Концерт и взор его орлиный.
Зажгла малиновый фонарь
И плачет на груди кузины.

Как обманул ее алтарь!
Грустит. Из небольшой корзины
На блюдечко кладет малины.
И апатично, впредь как встарь,
Горит малиновый фонарь.

6

Ах, барышня, я Вас виню,
Что Вы сестры не окрылили,
Что вместо каталога лилий
Позволили взглянуть в меню...
Я слов своих не изменю
И, без особенных усилий,
Ах, барышня, я Вас виню,
Что Вы сестры не окрылили.
Муж хочет есть? ну, дать свинью;
Глядишь, цыпленком угостили;
Но Вы же сами — в "новом стиле",
И вдруг — не допустить к огню?..
Да, барышня, я Вас виню...

Мыза "Пустомержа".
1913

Она и он

Ночеет парк, отишен весь бесстыжей тьмой.
Я прохожу, хожу, брожу по тьме, во тьме.
И знаю я, что ждет меня ее письмо.
И хорошо мне оттого, и сон — в уме.

Здесь нет ее, но здесь они, и много их.
Что ты шипишь, хрипишь, скрипишь, ворчишь, скамья?
Да, я сидел на трухло-злых столбах твоих.
Да, до нее и не она была моя.

И много их. И мне не счесть. Ну да, ну да.
Все знаю я. Все помню я. Хочу забыть,
Как на траве, как на скамье, как у пруда
Случайных дев хотел в мечту я осудьбить...

Душа вне тела, ты — мечта! А груда тел,
Тел вне души — возмездье жизни за мечту.
Пока я ею до конца не овладел,
Души другой (и ни одной!) я не прочту...

Гатчина.
1911. Ноябрь

Так уж сказалось...

О своей любви Вы мне не говорите:
Я люблю мужа, у меня дети;
Не трудитесь расставлять сети,
А если пылаете, — сгорите!..

Меня коробят Ваши признанья,
Вы меня не уважаете. Оставьте.
От сантиментальностей избавьте,
Или — я скажу: "до свиданья".

Ах, я хотела сказать: "прощайте",
А сказалось отчего-то: "до свиданья" ...
Ну что же делать? В наказанье
И Вы можете сказать мне: "прощайте..."

И дождетесь моего прощенья...
(Все должно прощаться до свиданья...)
О, не правда ли: мое оправданье —
Ваше наслажденье?

1911. Ноябрь

Корректное письмо

Тебе доверяюсь: сочувствуй иль высмей,
Но выслушай несколько строк.
Читая твои укоризные письма,
Я снова печален и строг.
Во многом права ты, мне данная Богом
Сберечь от опасного рва.
Но, критик суровый, во многом, во многом,
Прости, не совсем ты права.
Тебя все смущает: но кто же он? кто он?
Нахал? сумасшедший? больной?
Новатор в глазах современников, клоун,
В глазах же потомков — святой.
Я разве не мог бы писать примитивно
Без новых метафор и слов?
Я так и пишу иногда. Но наивно
Порой от запетых стихов.
Твой ласковый голос когда-то мне вырек —
(Ты помнишь, мой друг дорогой?)
Что я не новатор, что я — только лирик,
Дитя с мелодичной душой...
Сужденье твое — мне закон: твой поклонник
Я весь, — с головы и до ног.
Допустим, я лирик, но я — и ироник...
Прости. Я подавлен и строг.

1912

Тиана

Тиана, как странно! как странно, Тиана!
Былое уплыло, былое ушло...
Я плавал морями, садился в седло,
Бродил пилигримом в опалах тумана...

Тиана, как скучно! как скучно, Тиана!
Мадлэна — как эхо... Мадлэна — как сон...

Я больше уже ни в кого не влюблен:
Влюбляются сердцем, но — как, если — рана?..

Тиана, как жутко! как жутко, Тиана!
Я пил и выплескивал тысячи душ
И девьих, и женских, — все то же; к тому ж
Кудесней всех женщин — ликер из банана!..

Тиана, как дико! мне дико, Тиана,
Вложить вам билеты в лиловый конверт
И ждать на помпезный поэзоконцерт:
Ведь прежде так просто — луна и поляна.

И вдруг — вы, снегурка, нимфея, лиана,
Вернули мне снова все миги тех лет,
Когда я был робкий, безвестный поэт,
О славе мечтавший, — без славы дурмана...
Тиана, как больно! мне больно, Тиана!

1913. Ноябрь

Кладбищенские поэзы

I

Да, стала лирика истрепанным клише.
Трагично-трудно мне сказать твоей душе
О чем-то сладостном и скорбном, как любовь,
О чем-то плещущем и буйном, точно кровь.

И мне неведомо: хочу сказать о чем,
Но только надобно о чем-то. Быть плечом
К плечу с любимою, глаза в глаза грузя.
Так мало можно нам, а сколького нельзя!

Какою нежностью исполнена мечта
О девоженщине, сковавшей мне уста
Противоплесками чарующих речей,
Противоблесками волнующих очей!

Не то в ней дорого, что вложено в нее,
А то, что сердце в ней увидело мое,
И так пленительно считать ее родной,
И так значительно, что нет ее со мной...

Мадлэна милая! Среди крестов вчера
Бродя с тобой вдвоем, я думал: Что ж, пора
И нам измученным... И сладок был озноб,
Когда — нам встречные — несли дубовый гроб.

И поворачивали мы, — плечо к плечу, —
И поворотом говорили: "Не хочу".
Но вновь навстречу нам, и нам наперерез,
И нагоняя нас, за гробом гроб воскрес.

И были мертвенными контуры живых,
Под завывания о мертвых дорогих,
И муть брезгливости, и тошнота, и страх
Нас в глушь отбросили...

Живой на мертвецах,
Как я скажу тебе и что скажу, когда
Все всяко сказано уж раз и навсегда?!..

1914. Декабрь

II

Вы на одиннадцатом номере, из
Девьего монастыря,
Домой вернулись в черной кофточке и в шляпе
беломеховой,
С лицом страдальческим, но огненным,
среброморозовой мечтой горя,
И улыбаясь смутно — милому, чуть вздрагивая
головой.

И было это в полдень солнечный, в одну из
наших зимних встреч
На парковоаллейных кладбищах, куда на час
иль полтора
Съезжались мы бесцельно изредка, — давнишние
ль мечты сберечь,
Глаза ль ослёзить безнадежностью, иль в завтра
претворить вчера...

Как знать? да и зачем, любимая? Но "незачем"
больней "зачем":
"Зачем" пленительно безвестностью, а "незачем"
собой мертво.
Так мы встречались, разнотропные, наперекор
всему и всем,
Мы, не встречаться не сумевшие во имя чувства
своего...

Ни поцелуя, ни обручия, — лишь слезы,
взоры и слова.
Слегка присев на холм оснеженный, а часто
— стоя тайный час.
Какой озлобленною нежностью зато кружилась
голова!
Какою хлесткой деликатностью звучало — "Вы"
и "Вам", и "Вас".

Назвать на "ты" непозволительно; и в голову
мне не придет
Вас звать на "ты", когда действительно Вам
дорог Ваш привычный муж.

Особенно Вы убедительна, что легче не
встречаться год,

Что эти встречи унизительны, что надобность
скрывать их — ужас!..

О, любящая двух мучительно! Вам муж, как мне
моя жена:
Ни в мужа, ни в жену влюбленные и ни друг
в друга, — в Красоту!
Пленительнейшая трагедия! Душа, ты скорбью
прожжена!
Зато телесно неслиянные, друг в друге видим
мы Мечту!

1914. Декабрь

Вариация

Весна — и гул, и блеск, и аромат...
Зачем мороз снежинки посыпает?
Наряд весны нежданной стужей смят,
А сад еще весной благоухает!..

Но солнце вновь дробит лучистый звон
И лед в лучах певучих растопляет;
Опять весна взошла на пышный трон, —
И снова сад весной благоухает!

1908. Ноябрь

Поэза майских дней

Какие дни теперь стоят!
Ах, что это за дни!
Цветет, звенит, щебечет сад,
Господь его храни!

И нет кузнечикам числа,
Летящим на восток.
Весна себя переросла,
И рост ее — жесток...

У моря, в липовой тени,
Стада на берегу.
Я не могу в такие дни
Работать, не могу!..

Ах, что же делать мне с собой?
Я весь сплошная лень:
В такие дни я сам не свой,
Ведь в эти дни — сирень!

Безволно море. Синегладь.
А небо — как оно.
Нельзя ни грезить, ни желать,
Чего-то не дано...

Чего-то жду, кого-то жду...
Так страстно жду весь день...
Сирень, сирень в моем саду!
В моем саду — сирень!

Цвети, звени, пылай, мой сад,
Господь тебя храни!
Какие дни теперь стоят!
Ах, что это за дни!

Эст-Тойла.
1914. Май

Балтика

Балтийская поэза

1

О, море нежное мое, Балтийское,
Ты — миловиднее всех-всех морей!
Вот я опять к тебе, вот снова близко я,
Тобой отвоенный, для всех ничей...

2

О, Сканда-Балтика, невеста Эрика!
Тебе я с берега
Дарю венок...
Ты, лебедь белая, голубка сизая,
Поешь капризово
У барда ног.

3

В цветах апрелести,
В улыбках весени,
В алмазах юности,
В мечтах любви
Пою я прелести
И тоны плесени,
И среброструнности,
Мое, твои!

4

О, дева-женщина!
Ты овселенчена
Своими предками,
Родивши их...
Клич орлий викингов
Зыбучих митингов
Словами меткими
Вмещаешь в стих.

5

Фатой венечною
Туман опаловый
Тебя изла́скает
И задраприт,
И негой вязкою
Закат коралловый,
Лазурно-млечное,
В тебе сгорит.

6

Да, я опять к тебе! Да, снова близко я.
И вновь восторженно тебя пою,
О, море милое мое, Балтийское,
Ты, воплотившее Мечту мою!

Балтийские кэнзели

В пресветлой Эстляндии, у моря Балтийского,
Лилитного, блеклого и неуловимого,
Где вьются кузнечики скользяще-налимово,
Для сердца усталого — так много любимого,
Святого, желанного, родного и близкого!

И в час ранне-утренний, и в полдень обеденный,
И в сумерки росные в мой сад орезеденный
В пресветлой Эстляндии, у моря Балтийского,
Столпляются девушки... Но с профилем Эдиным
Приходит лишь изредка застенчиво-рисково...

О, с профилем Эдиным! Мне сердце обрызгала
Косою, — оволнила. И к берегу южному
Залива Финляндского, сквозь девушек дюжину,
Все ближе ледяная сафирно-жемчужная
Пресветлой Эстляндии царица Балтийская!

Эст-Тойла.
1914. Май

Эстляндская поэза

Андрею Виноградову

Распахните все рамы у меня на террасе,
распахните все рамы —
Истомило предгрозье. Я совсем задыхаюсь.
Я совсем изнемог.
Надоели мне лица. Надоели мне фразы. Надоели
мне "драмы".
Уходите подальше, не тревожьте. Все двери я
запру на замок.
Я весь день и весь вечер просижу на террасе,
созерцая то море,
То особое море, нет которому равных во
вселенной нигде.
Помню Ялту и Дальний, и Баку с Таганрогом.
На морях, — я не спорю.
Но Балтийское море разве с теми сравнится
при полярной звезде?..
Это море — снегурка. Это море — трилистник.
Это — вишен цветенье.
Это — призрак бесчертный. Эрик, принц
светлоокий. Это море — Лилит.
Ежецветно. Капризно. Несказанно-больное. Все
— порыв. Все — мгновенье.
Все влеченье и зовы. Венценосная Сканда.
Умоляя — велит.
Оттого-то и дом мой — над отвесным обрывом
у любимого моря.
Миновало предгрозье. Я дышу полной грудью.
Отдыхаю. Живу.
О, сказанья про Ингрид! О, Норвегии берег!
О, эстляндские зори!
Лишь в Эстляндии светлой мне дано вас увидеть
наяву! наяву!

Эст-Тойла.
1914. Май

Осени предчувствие

Заалеют клены и залимонеют, будут ало-желты.
Побуреет в бурях море голубое, голубое небо,
Будет в зорях холод, в вечерах — угрозье, в
полднях — хлаже золото.

Хочешь иль не хочешь — сердцем затоскуешь
от немого гнева.
Ах, земле сочувствуй, — осудить опасно: после
жатвы тяжко.
Надо же на отдых: хлеб свой оправдала
труженица-матка.
Всех она кормила: и крестьян, и птичек, травку
и барашка.
Смертно вы устали: ты, земля, и лошадь, рыжая
лохматка.
Отдохните осень, отдохните зиму. Пробудитесь
к марту.
С помощью Господней, помощью надежной,
снова за работу.
Приходи, старуха, в старой желтой кофте!
вымечи-ка карту
На свою погибель, предсказавши солнцу к маю
позолоту.

Эст-Тойла.
1914. Май

Письмо на юг

Наш почтальон, как друг прилежный,
Которому чего-то жаль,
Принес мне вашу carte-postale
В лиловый влажный безмятежный
Июньский вечер. Друг мой нежный,
Он отемнил мою печаль —
Открытки вашей тон элежный.

Мы с вами оба у морей,
У парусов, у рыб, у гребли.
Вы в осонетенном Коктэбле,
А я у ревельских камней,
Где, несмотря на знои дней,
Поля вполную не нахлебли,
Но с каждым днем поля сильней.

...Скажи, простятся ль нам измены
Селу любезному? зачем
Я здесь вот, например? и с кем
Ты там, на юге? Что нам пены,
В конце концов?!.. что нам сирены?!..
Я к нам хочу! и вот — я нем
У моря с запахом вервэны...

Эст-Тойла.
1914. Июнь

Экстаза

О, ландышевая сирень! оранжевые облака!
Закатно-лимонное море безволное!
Несбыточная Мадлэн! О, веровая тоска!
О, сердце — минувшим, как будущим, полное!
И только. И больше ни чувства, ни слова.
Все живо, как прежде. Как прежде, все
ново.
Как прежде!..
Бессмертные настроения:
Сирень ландышевая...
Облака оранжевые...
В надежде
Да святится мгновение!

Эст-Тойла.
1914. Июнь

Вервэна

Как пахнет морем от вервэны
И устрицами, и луной!
Все клеточки твои, все вены
Кипят вервэновой волной.

Целую ли твои я веки,
Смотрюсь ли в зеркала очей,
Я вижу сон чаруйный некий,
В котором море все свежей.

Неистолимою прохладой
Туда, где крапчатый лосось,
Где чайка взреяла Элладой,
Влекусь я в моревую сквозь.

Но только подойду я к морю,
Чтоб тронуть шлюпки бичеву,
Со сном чаруйным вплавь заспорю,
К тебе у моря воззову!

Повеет от волны вервэной,
Твоею блузкой и косой.
И, смутным зовам неизменный,
Я возвращусь к тебе с тоской.

Эст-Тойла.
1914. Июнь

Письмо хорошей девушки

Милый, добрый! пожалейте
Бедную свою пичужку:
Мельницу сломали нашу,
Нашу честную старушку.

Больно. Тяжко. Бестолково.
Все былое рушат, губят.
Люди ничего святого,
Дорогого нам, не любят.

Знали б вы, как я тоскую!..
Потоскуемте же вместе...
Может быть, теперь пивную
Выстроят на этом месте?!..

Пусть не смеют, — я сломаю!
Отомщу за честь старушки!
Добрый, милый! вы поймите:
Няня!.. Мельница!.. игрушки!..

Эст-Тойла.
1914. Июнь

Рондель белой ночи

Сегодня волны не звучат,
И облако — как белолилия.
Вот английская эскадрилия
Плывет из Ревеля в Кронштадт.
Ты на балконе шоколад

Кусаешь, кутаясь в мантилии.
Сегодня волны не звучат,
И облака — как белолилии.
Я у забора. Горный скат.
Ах, ленно сделать мне усилия —
Сбежать к воде: вот если б крылия!
Я странной немотой объят
И жутью: волны не звучат.

Эст-Тойла.
1914. Июнь

Октава

Татьяне Краснопольской

Заволнуется море, если вечер ветреет.
Если вечер ветреет, не слыхать мандолин.
А когда вечер сонен, захоти, — и зареет,
И зареет над морем голубой Вандэлин.
Вандэлин околдует, Вандэлин обогреет,
Обогреет живущих у студеных долин.
У студеных долин, где приют голубей,
Замиражится принц бирюзы голубей!

1910. Август

Поэма между строк

1

Мечты мои всегда у моря —
Того, откуда я бежал,
Себя безвольем опозоря,
Боясь любви, как змейных жал...

Я помню: сумерки лиловы...
Да, север, сумерки и май...
Идем втроем. Их две. Как новы!
Как неисчерпаны! — познай!

Олесенное побережье
И повороты, и холмы...
Какая нега! фразы реже...
И нет ли нас? И есть ли мы?..

Ах, я не знаю, не узнаю,
Как я не знал тогда, тогда!..
Но к северу, но к морю, к маю! —
Всегда не здесь, всегда туда!

Не от того, что здесь мне плохо:
Мне лучше, мне милее здесь,
Но не сдержать о прошлом вздоха,
И я — так что ж? — я в прошлом весь...

2

Стояли в полночь у обрыва
Я, мой Перунчик и жена...
Как Эда Финского залива,
Светила блондная луна...

О т о й я думал. У рыбачьих
Хибарок, лодок и сетей
Сверкнули глаза два горячих,
Меня зовущих из ветвей...

Я вздрогнул, — я шагнул для спуска!
Смелей с уступа на уступ!
Звала батистовая блузка
И очерк тех, — вервэнных, — губ...

Но тихо мне жена сказала
С неизменившимся лицом:
"Пусть подождет дочь адмирала,
Не торопись, — мы все сойдем"...

Как можно было в силуэте
Среди деревьев, сверху вниз,
Узнать соперницу — в ответе
Нуждается такой сюрприз...

3

Дни, лепестковые как розы!..
Вдыханье счастья впопыхах!..
...Елены Яковлевны слезы,
И мой перед слезами страх...

Забуду ли и вас, профессор,
Анатом, сводник и хитрец,
Ползун по скалам и повеса,
Рогатых жен родной отец?..

Забуду ли террасу с пивом,
Ваш разговор с моей женой,
И тут же фразу: "под обрывом",
Закушенную ветчиной?..

Забуду ли и нашу шлюпку
И бурноволновый волан?
Скидаемую быстро юбку,
На пляже позы "под Дункан"?..

А после звука Берлиоза —
Ее призыв в ночных полях!..
...Елены Яковлевны слезы,
И мой перед слезами страх?..

Мыза "Ивановка".
1914. Август

Яблоня-сомнамбула

Спит белая вешняя яблоня.
Ей любо, как девушке, грезить,
Что, в зеркале неба корабль луня,
Восходит тоскующий месяц.

Плывет над землею он алчною.
Во влажном скользит малахите.
Он дышит дыханием яблочным
И сердце ее он похитил.

О, грезы! К нему вы зареяли,
Вас месяц приветливо встретил...
Вам знойно, — просите о веере, —
И жар ваш овеерит ветер.

1910. Ноябрь

Из цикла "Сириус"

Сонетный вариант

О ты, звезда лазоревого льда,
Ты, Сириус сверкательно-кристальный,
Есть на тебе дворец, — он весь хрустальный!
Вокруг него серéбрится вода;
Повсюду снег; но снег тот не печальный:
Лазурно-бел и бархатно-пушист;
Он вид всегда хранит первоначальный
И до сих пор, как в день созданья, чист.
Я покажу тому, чей взор лучист,
Все чудеса открытой мной планеты.
Вы слышите? — поют мои сонеты,
Ледяный стих серебрян и душист.
Лети, корабль, на Сириус, — туда,
В кольцо волшбы лазоревого льда!

1909. Декабрь

Вечером жасминовым

Сочным вечером жасминовым, под лимонный
плеск луны,
Повстречалась ты мне, грешница с белой
лилией в руке...
Я приплыл к очам души твоей по лунящейся
реке...
Берега дремали хлебные — золотые галуны.

Распустила косу русую, — проскользнула в рожь
коса
И скосила острым волосом звездоликий василек.
Улыбнулась лепестковая, и завился мотылек —
Не улыбка ль воплощенная?.. Загудело, как оса...

Сердце тихо очаровано... Сердце ранено
чуть-чуть...
Захлебнулся ум в забвении... Вдалеке —
виолончель...
Сочным вечером жасминовым сядь на лунную
качель:
Будет с лилиями грешница и чарующая чудь...

1910. Март

Это только в жасмин...

Это только в жасмин... Это только в сирень...
Проклинается город надрывно...
Заночеет бело, — и в простор деревень
Окрыляется сердце порывно...

И не хочется сна... И зачем ты один?..
Кто-то бродит в ничем... Что-то в ком-то...
Это только в сирень... Это только в жасмин...
Это только узоры экспромта...

1912. Весна

И она умерла молодой...

Я хочу умереть молодой...

Мирра Лохвицкая

И она умерла молодой,
Как хотела всегда умереть!..
Там, где ива грустит над водой,
Там покоится ныне и впредь.
Как бывало, дыханьем согреть
Не удастся ей сумрак густой,
Молодою ждала умереть,
И она умерла молодой.

От проезжих дорог в стороне
Есть кладбище, на нем — островок,
И в гробу, как в дубовой броне,
Спит царица без слез, без тревог.
Спит и видит сквозь землю, — насквозь, —
Кто-то светлый склонился с мечтой
Над могилой и шепчет: "Сбылось, —
И она умерла молодой".

Этот, грезой молящийся, — кто?
Он певал ли с почившей дуэты?
Сколько весен душой прожито?
— Он поэт! он поэт! он поэт! —
Лишь поэту она дорога,

Лишь поэту сияет звездой!
Мирра в старости зрила врага, —
И она умерла молодой.

Мыза "Ивановка".
1909. Май

Нет ничего

Молодость кончилась как-то сразу.
Ночью увяла в саду сирень.
Я не влюбляюсь больше ни разу.
Даже лениться, лениться — лень!

Было когда-то все голубое:
Негодованье, порыв, тоска.
Было когда-то все молодое,
И безразличье — теперь, пока...

Но если "пока" — навек, без срока?
Удастся ль в "опять" претворить его?
Надеюсь безумно! Хочу жестоко!
И нет ничего, как нет ничего!..

Мыза "Ивановка".
1914. Сентябрь

Загорной...

В столице Грузии загорной,
Спускающейся по холмам
К реке неряшливо-проворной,
Есть милое моим мечтам.

Но тем странней мое влеченье
В те чуждые душе края,
Что никакого впечатленья
От них не взял на север я.

И тем страннее для рассказа,
Что не смутила ни на миг
Меня загадочность Кавказа
(Я Лермонтова не постиг...)

Однако, в Грузии загорной
Есть милое моим мечтам:
Я вижу женщину, всю черной,
Кому я имени не дам.

Она стройна, мала и нервна,
Лицо бескровно, все — вопрос,
Оно трагически безгневно
И постоянно, как утес.

Уста умершей: уголками
Слегка опущены; сарказм
И чувственность — в извечной драме;
В глазах — угрозье горлоспазм.

Не встретите на горных шпилях
Ее "с раздумьем на челе":
Она всегда в автомобилях,
Она всегда навеселе!

Я не пойму — ты явь иль пена
Прибоя грез моих, но век
Ты в памяти запечатлена,
Нечеловечий человек.

1913. Октябрь

Сегодня не приду...

Сегодня не приду; когда приду — не знаю...
Ее телеграмма

"Сегодня не приду; когда приду — не знаю..."
Я радуюсь весне, сирени, солнцу, маю!
Я радуюсь тому, что вновь растет трава!
— Подайте мой мотор. Шоффэр, на Острова!

Пускай меня к тебе влечет неудержимо,
Мне хочется забыть, что я тобой любима,
Чтоб чувствовать острей весенний этот день,
Чтоб слаще тосковать...
                    — В сирень, шоффэр! в сирень!

Я так тебя люблю, что быть с тобою вместе
Порой мне тяжело: ты мне, своей невесте,
Так много счастья дал, собой меня впитав,
Что отдых от тебя среди цветов и трав...

Пощады мне, молю! Я требую пощады!
Я видеть не могу тебя и мне не надо...
— Нельзя ли по морю, шоффэр?.. а на звезду?..
Чтоб только как-нибудь: "сегодня не приду"...

Эст-Тойла.
1914. Июнь

Амулеты

Звенели ландыши во мху,
        Как сребротканый колокольчик,
И белки, в шубках на меху,
        Сгибали хвостики в колечки.
О, красота пушистых кольчек!
        О, белок шустрые сердечки!

И было красочно везде
В могучий, бравый полдень мая;
И птички трелили в гнезде,
Кричали утки, как китайцы,
И, хворост радостно ломая,
Легко попрыгивали зайцы.

Была весна, был май — сам сон!
Любилось пламенно, но строго...
Был пышнокудр еще Самсон!..
Коляска, тройка и бубенчик...
К тебе знакомая дорога...
О, май! о, белочка! о, птенчик!

1910. Февраль

Весенний мадригал

В душистом бело-розовом горшке
Играют две батистовые крошки.
Постукивают ножки по дорожке.
Показывает бонна детям рожки.
О, фрейлейн! Вы и пара ваших крошек —
Душистый бело-розовый горошек.

1911. Май

Сердцу девьему

Сонке

Она мне принесла гвоздику,
Застенчива и молода.
Люблю лесную землянику,
В брильянтовые холода!

Рассказывала о концерте
И о столичном том и сем;
Но видел поле в девьем сердце,
Ручьи меж лилий и овсом...

Я знаю: вечером, за книгой,
Она так ласково взгрустнет,
Как векше, сердцу скажет: "Прыгай!"
И будет воль, и будет гнет...

С улыбкою, сомкнув ресницы,
Припомнит ольхи и родник,
И впишет четкие страницы
В благоуханный свой дневник.

1913

Заклинание

Татиане Краснопольской

На клумбе у меня фиалка
Все больше — больше с каждым днем.
Не опали ее огнем,
Пчела, летучая жужжалка.
Тебе ее да будет жалко,
Как мне тебя: мы все уснем.

Эст-Тойла.
1914. Май

Одно из двух

Ты в жизнь вошла в колье жемчужном
Горда, сверкательна, строга.
Глаза, проникнутые южным,
Омра́ченные жемчуга.

И встреченному незнакомцу,
Который так безбрежно жил,
Ты поклонилась, точно солнцу,
И встречный близок стал и мил.

Сердца улыбно укачали
И утолились до зерна...
Но жемчугов твоей печали,
Как прежде, матовость черна.

Твой черный жемчуг целомудрен,
Невинна темная душа,
И девственный твой лик окудрен.
Ты ожиданьем хороша.

Ты ждешь со страстностью упорной
Иного встречного, когда
Зарозовеет жемчуг черный,
А нет — погаснет навсегда!

1913. Январь

Песенка горничной

Пошла бродить я по́ полю
И прислонилась к тополю...
Смотрю: а рядом перепел
Всю воду в луже перепил...
Смотрю, лягушек дюжина
На солнышке сконфуженно
Присела и не прыгает,
Ногами только дрыгает...
Залюбовалась пчёлками
С взлохмаченными чёлками

И восхитилась осами
С расчесанными косами...
Глазами жадно-пыткими
Любуясь маргаритками,
Я собрала букетики
Себе и другу Петьке...
В лесу, у муравейника,
Связала я три веника
И поспешила вечером
Я на свиданье с кучером...

1911. Июль.
Дылицы

Поэза трех принцесс

Моя дежурная адъютантэсса, —
Принцесса Юния де-Виантро, —
Вмóлнилась в комнату быстрей экспресса,
И доложила мне, смеясь остро:

— Я к Вам по поводу Торкватто Тассо...
В гареме — паника. Грозит бойкот...
В негодовании княжна Инстасса
И к светозарному сама идет.

Мне даже некогда пригубить жало,
И взор сиреневый плеснуть в лазорь:
Бегу — мороженое из фиалок
Вам выльдить к празднику Лимонных Зорь... —

И фиолетовая, как черника,
Фигурка Юнии газéлит в сад.
Дверь раскрыляется, и Вероника
Уже готовится журчать доклад:

— Я к Вам по поводу Торкватто Тассо...
В гареме — паника. Грозит бойкот...
В негодовании княжна Инстасса,
И к светозарному сама идет.

Но — ах! — мне некогда к Вам на колени,
"Кальвиль раздория" среди принцесс:
Варить приходится ликер сирени
Для неисчерпываемых поэз. —

И точно ласточка в окно порхнула,
Слегка вервэною проколыхав...
Виолончелили от меццо-гула
В саду наструненные души трав...

И в этих óтгулах рванулись двери, —
И изумительнейший гастроном,
Знаток изысканнейших эксцессерий,
Инстасса въехала на вороном.

— Мы, изучавшие Торкватто Тассо
По повелению, по твоему, —
Все перессорились... Но я, Инстасса,
Всех оправдаю я и все пойму.

Утишу бешенство и шум базарный,
Всех жен разрозненных объединя,
Лишь ты, мечтанный мой, мой светозарный,
Впусти не в очередь к себе меня! —

1915. Январь

Письмо-рондо

С курьерским, в пять, я радостно приеду
К тебе, Олег, и будешь ты опять
Встречать меня. Везу тебе победу
        С курьерским, в пять.

Что хочешь, делай все со мной. Распять
Ты, может быть, свою захочешь Эду
За годы те, что нам пришлось страдать.

Простишь ли, нет — неважно мне. Но "Леду"
Изволь к пяти на станцию прислать:
Имей в виду, что буду я к обеду,
        С курьерским, в пять.

1915. Январь

Метёлка-самомёлка

С утра ушел Ермолка
К елани по грибы.
Метёлка-самомёлка
В углу его избы.

Ермолкина светелка
Углами не красна.
Метёлка-самомёлка,
Изба тебе тесна!

Вдруг ощетинясь колко, —
Без цели, без пути, —
Метёлка-самомёлка
Пошла себе мести!

Окурок и иголку,
Опорки, самовар
Метёлка-самомёлка
Гребет, войдя в ковар.

Сгребает все без толка
В Ермолкиной избе
Метёлка-самомёлка,
Смеется, знай себе!

Айда на двор! глядь, ёлка!
А там и целый лес...
Метёлка-самомёлка
Сильна, как Геркулес.

Как будто богомолка
В мужском монастыре,
Метёлка-самомёлка
Ширеет на дворе...

Глядь, мельня-мукомолка, —
И тотчас же мука
Метёлкой-самомёлкой
Взвитá под облака!

Сметает рощи, волка,
Деревни, города.
Метёлка-самомёлка,
Метением горда.

Такая уж веселка:
На нивы, хоть мала,
Метёлка-самомёлка
Все реки намела!

Все в кучу: слон и кролка!
Америка, Китай!
Метёлка-самомёлка,
Мети себе, катай!

...Метёлка-самомёлка,
Где, бывшее Землей?..
Живи в веках, Ермолка,
Прославленный метлой!

Мыза "Ивановка".
1914. Июль

Поэза детства моего и отрочества

1

Когда еще мне было девять,
Как Кантэнак — стакана, строф
Искала крыльчатая лебедь —
Душа, вдыхая Петергоф.
У нас была большая дача,
В саду игрушечный котэдж,
Где я, всех взрослых озадача,
От неги вешней мог истечь.
Очарен Балтикою дивной,
Оласкан шелестами дюн,
Уже я грезил королевной
И звоном скандинавских струн.
Я с первых весен был отрансен!
Я с первых весен был грезэр!
И золотом тисненный Гранстрэм —
Мечты галантный кавалер.
По волнам шли седые деды —
Не паруса ли каравелл? —
И отчего-то из "Рогнеды"
Мне чей-то девий голос пел...
А в шторм высокий тенор скальда
Его глушил — возвестник слав...
Шел на могильный холм Руальда
По брынским дебрям Изяслав.
Мечты о детстве! вы счастливы!
Вы хаотичны, как восторг!
Вы упояете, как сливы,
Лисицы, зайчики без норк!

2

Но все-таки мне девять было,
И был игрушечный котэдж,
В котором — правда, это мило? —
От грез ребенок мог истечь...
В котэдже грезил я о Варе,
О смуглой сверстнице, о том,
Как раз у мамы в будуаре
Я повенчался с ней тайком.
Ну да, наш брак был озаконен,
Иначе в девять лет нельзя:
Коробкой тортной окоронен,
Поцеловал невесту я.

3

Прошло. Прошло с тех пор лет двадцать,
И золотым осенним днем
Случилось как-то мне скитаться
По кладбищу. Цвело кругом,
Пестрело. У Комиссаржевской
Благоухала тишина.
Вдруг крест с дощечкой, полной блеска
И еле слышимого плеска:
Варюша С. — Моя жена!
Я улыбнулся. Что же боле
Я сделать мог? Ушла — и пусть.
Смешно бы говорить о боли,
А грусть... всегда со мною грусть!

4

И все еще мне девять. Дача —
В столице дач. Сырой покров
Туман, конечно. Это значит —
Опять все тот же Петергоф.
Сижу в котэдже. Ряд плетеных
Миньонных стульев. Я — в себе.
А предо мною два влюбленных
Наивных глáза. То — Бэбэ.
Бэбэ! Но надо же представить:
Моя соседка; молода,
Как я, но чуточку лукавит.
Однако это не беда.
Мы с ней вдвоем за файв-о-клóком.
Она блондинка. Голос чист.
И на лице лазурнооком —
Улыбка, точно аметист.
Бэбэ печальна, но улыбит
Свое лицо, а глазы вниз.
Она молчит, и чай наш выпит.

И вскоре нас принудит мисс,
Подъехав в английской коляске,
С собою ехать в Монплезир,
Где франтам будет делать глазки,
А дети в неисходной ласке
Шептать: "Но это ж... votre plaisir?.."

5

Череповец! Пять лет я прожил
В твоем огрязненном снегу,
Где каждый реалист острожил,
Где было пьянство и разгул.
Что не учитель — Передонов,
Что не судеец — Хлестаков.
О, сколько муки, сколько стонов,
Наивно-жалобных листков!
Давно из памяти ты вытек,
Ничтожный город на Шексне,
И мой литературный выдвиг
Замедлен по твоей вине...
Тебя забвею. Вечно мокро
В твоих обельменных глазах.
Пускай грядущий мой биограф
Тебя разносит в пух и прах!

6

О, Суда! голубая Суда!
Ты, внучка Волги! дочь Шексны!
Как я хочу к тебе отсюда
В твои одебренные сны!
Осеверив свои стремленья,
Тебя с собой перекрылив,
К тебе, река моя, — оленья
За твой стремительный извив.
Твой правый берег весь олесен,
На берегу лиловый дом,
Где возжигала столько песен
Певунья в тускло-золотом.
Я вновь желаю вас оперлить,
Река и дева, две сестры:
Ведь каждая из вас, как стерлядь:
Прозрачно-струйны и остры.
Теките в свет, душой поэта,
Вы, русла моего пера,
Сестра-мечта Елисавета
И Суда, греза и сестра!

Петербург.
Декабрь. 1912

Колье рондо

Александру Толмачеву

I

В мимозах льна, под западные блики,
Окаменела нежно влюблена,
Ты над рекой, босая и в тунике,
　　В мимозах льна.

Ты от мечтаний чувственных больна,
И что-то есть младенческое в лике,
Но ты, ребенок, слабостью сильна.

Ты ждешь его. И кличешь ты. И в клике
Такая страстность! Плоть закалена
В твоей мечте. Придет ли твой великий
　　В мимозы льна?

2

Окаменела, нежно влюблена,
И вот стоишь, безмолвна, как Фенелла,
И над тобой взошедшая луна
　　Окаменела.

Твое лицо в луненьи побледнело
В томлении чарующего сна,
И стало все вокруг голубо-бело.

Возникнуть может каждый миг страна,
Где чувственна душа, как наше тело.
Но что ж теперь в душе твоей? Она
　　Окаменела.

3

Ты над рекой, босая и в тунике,
И деешь чары с тихою тоской.
Но слышишь ли его призыво-крики
　　Ты над рекой?

Должно быть, нет: в лице твоем покой,
И лишь глаза восторженны и дики,
Твои глаза, колдунья под луной!

Воздвиг камыш свои из речки пики.
С какою страстью бешеной, с какой
Безумною мольбою к грёзомыке —
　　Ты над рекой!

4

В мимозах льна олуненные глазы
Призывят тщетно друга, и одна
Ты жжешь свои бесстыжие экстазы
　　В мимозах льна.

А облака в реке то вид слона,
То кролика приемлют. Ухо фразы
Готово различить. Но — тишина.

И ткет луна сапфировые газы,
Твоим призывом сладко пленена,
И в душу льнут ее лучи-пролазы
　　В мимозах льна.

5

Ты от мечтаний чувственных больна,
От шорохов, намеков и касаний.
Лицо как бы увяло, и грустна
Ты от мечтаний.

Есть что-то мудро-лживое в тумане:
Как будто *тот*, но всмотришься — сосна
Чернеет на офлеренной поляне.

И снова ждешь. Душе твоей видна
Вселенная. Уже безгранны грани.
Но это ложь! И стала вдруг темна
Ты от мечтаний!

6

И что-то есть младенческое в лике,
В его очах расширенных. Чья весть
Застыла в них? И разум в знойном сдвиге
И что-то есть.

Что это: смерть? издевка? чья-то месть?
Невидимые тягостны вериги...
Куда-то мчаться, плыть, лететь и лезть!

К чему же жизнь, любовь, цветы и книги,
Раз некому вручить девичью честь,
Раз душу переехали квадриги,
И что-то есть...

7

Но ты, ребенок, слабостью сильна, —
И вот твой голос тонок стал и звонок,
Как пред тобой бегущая волна:
Ведь ты — ребенок.

Но на форелях — розовых коронок
Тебе не счесть. Когда придет весна,
Не всколыхнуть сиреневый просонок,

И в нем не счесть, хотя ты и ясна,
Спиральных чувств души своей. Бессонок!
Готовностью считаешь их — ты властна,
Но ты — ребенок...

8

Ты ждешь его. И кличешь ты. И в клике —
Триумф тщеты. И больше ничего.
Хотя *он* лик не выявит безликий,
Ты ждешь его.

И в ожиданьи явно торжество,
И нервные в глазах трепещут тики,
Но ты неумолимей оттого:

Раз ты пришла вкусить любовь владыки
Своей мечты, безвестца своего,
Раз ты решила пасть среди брусники, —
Ты ждешь его!

9

Такая страстность. Плоть закалена.
Во мраке жажды тела скрыта ясность.
Ты верою в мечту упоена:
Такая страстность!

Тебя не испугает безучастность,
Пути к тебе незнающего. На
Лице твоем — решимость и опасность.

И верою своей потрясена,
Ты обезумела. И всюду — красность,
Где лунопаль была: тебе дана
Такая страстность.

10

В твоей мечте придет ли твой великий?
Ведь наяву он вечно в темноте.
Что ты безумна — верные улики
В твоей мечте.

И вот — шаги. Вот тени. Кто, вы, те?
Не эти вы! но тот, — единоликий, —
Он не придет, дитя, к твоей тщете!

Высовывают призраки языки,
И прячутся то в речке, то в кусте...
И сколько злобы в их нещадном зыке —
К твоей мечте.

11

В мимозах льна — ах! — не цветут мимозы,
А только лён!.. Но, грёза, ты вольна,
А потому — безумие и слёзы
В мимозах льна.
Да осветится жизнь! Она тесна
В оковах зла. И в безнадежьи прозы
Мечта на смерть всегда обречена.

Но я — поэт! И мне подвластны грозы,
И грóзами душа моя полна.
Да превратятся в девушек стрекозы
В мимозах льна!

Петроград.
1915. Января 20-го

"Перунчик"

Петру Ларионову

Я хочу, чтобы знала Россия,
Как тебя, мой Перунчик, люблю,
Чтобы очи твои голубые
Осветляли улыбку мою!

В тихой Гатчине, в парке дворцовом,
У форелей, цветов и лисиц,
Ты живешь молодым, бестолковым,
Весь пронизанный трелями птиц.

Для тебя незаметно начальство, —
Ты свободен, восторжен и дик.
Жизнь в природе — пьянительней вальса;
Утонувший в природе — велик.

Русокудрый, плечистый, громадный,
Весь лазоревый и золотой,
Ты какой-то особо-отрадный:
Полупьяный и полусвятой!..

Ах, недаром же Фофанов дивный,
Мой Перунчик, тебя полюбил:
Мой Перунчик — цыпленок наивный!
Мой Перунчик — эмблема всех сил!

О, мой пламенный! мой вдохновенный,
Бесталанный, но истый поэт!
Русский! юный! весенний! нетленный!
Мой сообщник грозовых побед!

Киев.
1914. Апрель

II. Монументальные моменты

Германия, не забывайся!

Германия, не забывайся! Ах, не тебя ли сделал Бисмарк?
Ах, не тебя ль Вильгельм Оратор могущественно укрепил?
Но это тяжкое величье солдату русскому на высморк!
Германия, не забывайся! — на твой расчет ответом — пыл!

Твое величье — в мирном росте; твоя политика к победам —
Германия, не забывайся! — не приведет тебя, а тут:
И наша доблестная Польша, и Прибалтийский край, соседом
К тебе придвинутый, под скипетр твоей державы не взойдут.

С твоей союзницею наглой, с Австро-Венгеркою, задирой,
Тебе ль грёзэркой быть, буржуйка трудолюбивая? тебе ль?!..
Германия, не забывайся! Дрожи перед моею лирой
И помни, что моя Россия твою качала колыбель!

Эст-Тойла.
1914. Июнь

Примечание: Поэза эта написана автором за несколько дней до убийства Франца-Фердинанда, наследника австрийского престола...

Поэза возмущения

Культурнейший монарх культурной части света!
Оратор и мудрец! философ и солдат!
Внемли моим словам свободного поэта,
Гремящим, как набат!

Я говорю тебе, чья "гордая" корона
Иного ослепить способна невзначай:
Ты — варвар! — ты тиран! ты — шут Наполеона!
Пред Богом отвечай!

Виню тебя за то, что ты, нахмурив брови,
Воздвиг в своей стране гоненье на славян;
Виню тебя за то, что ты возжаждал крови,
Гордыней обуян!

Виню тебя за то, что мысль направил косо,
Чем запятнал себя и всю свою семью;
Виню тебя за то, что сбросил, как с откоса,
Германию свою!

Предатель! мародёр! воитель бесшабашный!
Род Гогенцоллернов навек с тобой умрет...
Возмездие тебе — торжественный и страшный
Народный эшафот!

Так вот она, страна Бетховена и Канта,
Плюющая в глаза славянским матерям!..
Так вот культурный центр и мощи, и таланта,
Короновавший Срам!

О, Гёте, оживи! Воскресни, светлый Шиллер!
Кричите из гробов, всеобщие друзья:

— Вильгельм, постой! в стране, где немцами
мы жили,
Разбойничать нельзя!

Мыза "Ивановка".
1914. Август

Поэза к Европе

Вильгельм II, германский император,
Хотел давно Европу покорить.
Он подал знак, — и брат пошел на брата,
Рубя сплеча. Живи, кто хочет жить!

А жить теперь — вопрос самозащиты:
Кто хочет жить, будь доблестным бойцом!
Да будут вечной славою покрыты
Идущие на недруга с мечом!

Запомните, идущие от клена,
От рыбных рек, от матери-сохи:
Кощунственно играть в Наполеона, —
Им надо быть! — вот в том-то и грехи.

Да, тяжело забыть сестру и брата,
Уют семьи и таинства любви...
Он должен пасть, германский император,
Вильгельм II: кто хочет жить, живи!

Мыза "Ивановка".
1914. Июль

Поэза благословения

Я не сочувствую войне,
Как проявленью грубой силы.
Страшны досрочные могилы
И оскорбительны вдвойне.

К победе красная стезя,
И скорбь на ней — исход конечный.
Безра́зумной и бессердечной
Войне сочувствовать нельзя.

Но есть великая война —
Война народной обороны:
Отбросить вражьи легионы
Встает пронзенная страна.

Когда отечество в огне,
И нет воды, лей кровь, как воду...
Благословение народу!
Благословение войне!

Мыза "Ивановка".
1914. Август

Все вперед!

Кто рушит Германию, скорее на станцию! —
Там поезд за поездом стремится вперед.
Да здравствует Сербия! Да здравствует
Франция!
И сердце Славянии — наш хлебный народ!

За малую, милую и смелую Сербию
Мы крепко и пламенно, друзья, постоим!
Проявим спокойствие, восторг и энергию,
Россия-Медведица, пред гневом твоим!

Раскройте же, матери и жены, Евангелие!
В ряды Краснокрестия ступайте без слов!
Да здравствует Бельгия, Япония, Англия!
Ура, Черногория, царица орлов!

Мыза "Ивановка".
1914. Июль

Поэза о гуннах

Смешна пангерманизма мания, —
В нее поверит лишь профан.
С ушами влезешь ты, Германия,
В просторный русский сарафан!

С тобой, Россия, Англо-Франция:
Утроенная, ты стройна.
Ома́товит весь лоск германца
Отечественная война.

А ты, культурник века нашего,
Универсальный нео-гунн,
Чья дипломатия апашева,
Кровавых жаждешь ты лагун!

Да сгинет наглая Вильгельмия —
Разбойническая страна!
И да воскликнет мир в веселии:
"Германия прекращена!"

Мыза "Ивановка".
1914. Август

Забава безумных

Война им кажется забавой,
Игрой, затеей шалуна.
А в небе бомбою кровавой
Летящая творит луна
Солдата липою корявой
И медью — злато галуна.

И Бельгию уж не луна ли
Хотела претворить в отель,
Где б их не только не прогнали,
А приготовили постель
И накормили, как едва ли
Кормили злаки их земель.

А герцогство Аделаиды
С его заманчивым мостом
Какие открывало виды!
Но встал автомобиль крестом
На том мосту, — и панихиды
Звучат на их пути пустом.

И Льеж сражен, и близко Сэна,
Над Notre-Dame аэроплан
Кощунствует и, в жажде тлена,
Бросает бомбы... Рухнул план:
Взрыв душ французских, пушек пена, —
И враг смятеньем обуян!
От сна восставшая Варшава!
Ты поступила, как Париж:
Когда тевтонская орава
Надеялась — ты смертно спишь, —
Вздохнула ты, вся — гнев и лава,
Смела ее, и снова тишь.

Что ж, забавляйтесь! Льет отраду
Во всей Вселенной уголки
Благая весть: круша преграду,
Идут, ловя врага в силки,
К Берлину, к Вене и к Царьграду
Благочестивые полки!

1914. Октябрь

Они сражаются в полях...

Они сражаются в полях,
Все позабывшие в боях,
Не забывая лишь о том,
Что где-то есть родимый дом.
Что дома ждет, тоскуя, мать
И не устанет вечно ждать,
Что плачет милая жена,
В такие дни всегда верна,
И дети резвою гурьбой
Играют беззаботно "в бой"...

Они сражаются в полях,
Сегодня — люди, завтра — прах,
Они отстаивают нас.
Но кто из них свой знает час?
А если б знать!.. А если б знать,
Тогда нельзя душой пылать:
Ужасно заряжать ружье,
Провидя близкое свое...
Неумертвимые в мечтах,
Они сражаются в полях!

1914. Октябрь

Переход через Карпаты

Войска победоносные
Идут на Будапешт,
В терпеньи безвопросные,
Исполнены надежд.

"Идем себе, не знаючи,
Дорожкою-путем...
Во Львове были давеча, —
Куда теперь идем?.."

Идут себе, веселые
В святой своей тоске...
Вокруг — долины голые,
Карпаты — вдалеке.

"Карпаты — дело плёвое, —
Нам взять их не хитро,
Когда у нас здоровое
Рассейское нутро...

Ходите, ноги резвые!
Дыши вольготней, грудь!
Мы — хлебные, мы — трезвые,
Осилим как-нибудь!"

Храни вас Бог, любимые,
У вражьего леска,
Войска непобедимые,
Чудесные войска!

1914

Еще не значит...

Еще не значит быть изменником —
Быть радостным и молодым,
Не причиняя боли пленникам
И не спеша в шрапнельный дым...

Ходить в театр, в кинематографы,
Писать стихи, купить трюмо,
И много нежного и доброго
Вложить к любимому в письмо...

П р о й т и т ь с я по Морской с шатенками,
Свивать венки из кризантэм,
По-прежнему пить сливки с пенками
И кушать за десертом крэм —

Еще не значит... Прочь уныние
И ядовитая хандра!
Война — войной. Но очи синие,
Синейте завтра, как вчера!

Война — войной. А розы — розами.
Стихи — стихами. Снами — сны.
Мы живы смехом! живы грезами!
А если живы — мы сильны!

В желаньи жить — сердца упрочены...
Живи, надейся и молчи...
Когда ж настанет наша очередь,
Цветы мы сменим на мечи!

1914. Октябрь

Мой ответ

Еще не значит быть сатириком —
Давать озлобленный совет
Прославленным поэтам-лирикам
Искать и воинских побед...

Неразлучаемые с Музою
Ни под водою, ни в огне,
Боюсь, мы будем лишь обузою
Своим же братьям на войне.

Мы избалованы вниманием,
И наши ли, pardon, грехи,
Когда идут шестым изданием
Иных "ненужные" стихи?!

— Друзья! Но если в день убийственный
Падет последний исполин,
Тогда ваш нежный, ваш единственный,
Я поведу вас на Берлин!

1914. Зима

Белая фея

По слёзным лестницам, как белка, прыгая,
Крепясь при публике, во сне рыдая,
Мелькает белая, святая, тихая,
Такая скромная и молодая.

И в годы — сумерки, и в зори вешние,
И жизни вечером — одна и та же:
Всегда безвестная, всегда нездешняя,
Покоя раненых она на страже.

В палатах churn будничо, — и удивительно ль,
Что фея белая больным желанна?
Кто поднимается, кто руку вытянул,
Смеются ласково и осиянно.

Полётом голубя бинты покажутся,
Шампанским вспенится лекарство в склянке,
И что-то доброе такое скажется,
Непроизвольное, сестре-смуглянке...

Негулким отзвуком, неясным отблеском
Сестры и матери, жены, невесты
Провеет строгая героям-доблестным,
А где расплачется — то свято место!

1914. Октябрь

Поэза о Бельгии

Вере Вертер

Кто знает? — ты явь или призрак?
Ты будешь ли? есть ли? была ль?
Но лик твой прекрасный нам близок,
В котором восторг и печаль...

Волшебница! ты златодарна:
Твоих городов карусель,
Под строфы Эмиля Верхарна
Кружа, кружевеет Брюссель...

Не верим — не можем! не смеем! —
Что в брызгах снарядовых пен,
Смертельно ужаленный змеем,
Сгорел бирюзовый Лувэн...

И чей это шепот, crescendo
Сверлящий умы и сердца,
О бегстве народа в Остендэ,
Где будет начало конца?..

О, город прославленных устриц
И пепельно-палевых дюн,
И волн, голубеющих шустриц, —
О, город, трагичный канун!..

Ужель затерялась тропинка,
Тропинка туда, под уклон,
В укромный приют Мэтерлинка,
Дающего сладостный сон?..

Дождя светозарные нити
Сулят плодородье опять...
Помедлите, нежно усните, —
Не надо, не стоит бежать!..

Нам нужно дружнее сплотиться,
Прияв твой пленительный плен,
О Бельгия, синяя птица
С глазами принцессы Малэн!..

Петроград.
1914. Октябрь

Поэза для Брюсова

Вы, чьи стихи, как бронзольвы,
Вы поступаете бесславно.
Валерий Яковлевич! Вы —
Завистник, выраженный явно.

Всегда нас разделяла грань:
Мы с Вами оба гениальцы,
Но разных толков. Ваша брань —
Уже не львы, а просто зайцы...

Различны данные у нас:
Я — вдохновенностью экватор,
И я осоловьил Парнас.
Вы — бронзовый версификатор!

И свой у каждого подход
Все к тем же темам мирозданья.
У каждого свой взгляд, свой взлёт,
Свои мечты, свои заданья.

Вы — терпеливый эрудит,
И Ваше свойство — всеанализ.
Я — самоучка-интуит, —
Мне непонятна Ваша зависть!

Но чем же, как не ею, чем
Я объясню нападки Ваши
На скудость тем, моих-то тем!
На лейт-мотивность, мая краше!

Не отвечаю никому:
Достойных нет. Но Вам отвечу,
Я Вам отвечу потому,
Что верю в нашу снова встречу.

Я исто смел. Я исто прям.
Вас ненавидят много трусов.
Но я люблю Вас: вот я Вам
И говорю, Валерий Брюсов.

Не Вы ль приветили меня
В те дни, когда еще бутылки
Журчали, весело звеня.
Как Фофанов приветил пылкий?

Я Вам признателен всегда,
Но зависть Вашу не приемлю...
Прояснись, каждая звезда,
Ты, озаряющая землю!

1915. Январь

Памяти К. М. Фофанова

Погасли пламенные похороны
Поэта, спящего в мечте...
Да озарится имя Фофанова
В земной рутине и тщете!

Не позабудьте, люди, подвига его:
Он златолетье с вами жил...
Душа измучилась юродивого, —
Разузлена система жил.

Сожженный трезвыми и пьяницами,
Лежит обуглившийся ствол.
Благоговейно ветер кланяется
Тому, чье имя — Произвол!

Листва седеет, и седеющая
Испепеляется во прах.
А сердце... сердце стонет: "Где еще его
Ждет неизбежный новый страх?.."

О, ожидание убийственное!
Но, может быть, Земля — пролог
К загробному, всегда невыясненному,
Где есть спокойный уголок?..

Там Царство неба — аметистовая
Страна, где в мире и любви,
В душистых сумерках посвистывая,
Перятся серо соловьи.

1911. Май

Памяти А. М. Жемчужникова

Что сделать я мог, то я сделал,
и с миром ты ныне,
О, жизнь, отпускаешь меня.

А. Жемчужников

Он отошел под колокол обедни,
Порвав злоцепь с печалью и нуждой.
Благословен почивший в день святой
Певец нужды — из могикан последний.
Храня заветы славной старины
В своей душе, душе идеалиста,
Он жизнь будил на пиршество весны,
И просыпалась жизнь, смеясь лучисто.
Но пробил час, как зло земли, жесток. —
Борцу за свет объятья тьма раскрыла.
Спокойно спи: ты сделал все, что мог.
И Смерть тебя на жизнь благословила!

1908. Март

Памяти П. И. Чайковского

Я окропил росой его таланта
Свои мечты и вижу: входят в парк —
Как призраки — Онегин, Иоланта,
Татьяна, Лиза, Герман, Жанна д'Арк.

Струи ручья целуют черевички...
Эскиз теней набросила луна...
И гости грез запели там, где птички
В березах спят, и дремлет тишина.

О греза — сон! о, греза — чародейка!
О, греза — луч созвездия поэм!
Но вскоре жизнь, как ведьма, как злодейка,
Рассеет сна обманчивый эдем...

1908. Октябрь

Памяти Мациевича

Он стал на миг бесстранным королем;
        "Гном" стал велик...
Загрезился, забылся над рулем —
        На миг...

"Куда хочу — везде: в дурман гитан,
        Иль на Квантун...
Я все могу!" — подумал капитан-
        Летун.

— Не все, — шепнулось кем-то, и на твердь —
        Ни то, ни се —
Он грохнулся. То прошептала смерть:
        — Не все...

Столяр, сюда! Рубанок — касса ты
        Для всех порфир...
В эфир, кто в смерти ищет красоты, —
        В эфир!

1910. Сентябрь

У Е. К. Мравиной

Мравина и колоратура —
Это ль не синонимы и стиль?
Догорела лампа. Абажура
Не сохранила выблеклая Джильда:
Нет ни лампы, ни надлампника,
        Все сгорело...
(Недосмотр неопытного рампника?..)
Отчего так жутко-онемело
Поднялась навстречу мне она?
И она ли это? Как больна! —
Ничего от Мравиной. Тень тени.
Ветка перееханной сирени
И бокал, извиненный до дна.

Ялта.
1913. Март

Боронат

Мадригал

В оперных театрах сказочных планет,
Там, где все палаццо из пластов базальта,
Там, где веет воздух бархатом контральто, —
Лучшего сопрано, чем Ржевусска, нет.
И когда графиня, наведя лорнет,
Нежит соловьисто зал колоратурой
И со строго-мерной светскою бравурой
Резвится по сцене в снежном парике, —
Точно одуванчик, пляшущий в реке,
Точно кризантэма в трепетной руке, —
Сколько восхищенья всюду: справа, слева!
Блещут от восторга серьги у гетер...
— Да, это — графиня, — говорит партер,
А балкон щебечет: "Это — королева!"

1910. Июнь

Тарновская

Сонет с кодою

По подвигам, по рыцарским сердцам,
Змея, голубка, кошечка, романтик, —
Она томилась с детства. В прейскуранте
Стереотипов нет ее мечтам
Названья и цены. К ее устам
Льнут ровные "заставки". Но — отстаньте! —
Вот как-то не сказалось. В бриллианте
Есть место электрическим огням.

О, внешний сверк на хрупости мизинца!
Ты не привлек властительного принца:
Поработитель медлил. И змея

В романтика и в кошечку с голубкой
Вонзала жало. Расцвела преступкой,
От электричных ядов, — не моя!..
        Тарновская.

Веймарн.
1913. Август

Монументальные пустяки

Прочтя рецензий тысяч двадцать,
Мне хочется поиздеваться.

Эпиграф-экспромт

1

Когда какой-нибудь там "критик"
(Поганенький такой "поэт")
Из зависти твердит: "Смотрите,
Ваш Игорь — миг, ваш Игорь — бред;
Он на безвременьи заметен
И то лишь наглостью своей",
Тогда я просто безответен:
Так хорошо душе моей.
Не все ли мне равно — я гений
Иль заурядная бездарь,
Когда я точно сад весенний
И весь сплошная светозарь.
Я улыбаюсь безмятежно
Успехам, ругани, — всему:
Мое бессмертье неизбежно,
И я спокоен потому.

Эст-Тойла.
1914. Июнь

2

Очаровательные темы
Меня преследуют весь год.
Но если я "большой" поэмы
Не напишу вовек, пусть тот,
Кто "где же твой Онегин?" ноет,
Вчитается в ту "мелюзгу",
Какую я даю: "не стоит"
Еще не значит — "не могу".
В наш век все длительное немо,
А современному уму:
Все творчество мое — поэма,
Какой не снилось никому.

Эст-Тойла.
1914. Июнь

3

Так много разных шалопаев
Владеет "мастерски" стихом, —
Петров, Иванов, Николаев,
Что стих становится грехом.
Пусть угрожает мне "Удельной"
Любой желающий болван:
Как хорошо, что я — отдельный,
Что Игорь я, а не Иван!

Эст-Тойла.
1914. Июнь

Сувенир критике

Ах, поглядите-ка! ах, посмотрите-ка!
Какая глупая в России критика:
Зло насмеялась над "Хабанерою",
Блеснув вульгарною своей манерою.

В сатире жалящей искала лирики,
Своей бездарности спев панегирики,
И не расслышала (иль то — *политика*?)
Моей иронии глухая критика...

Осталось звонкими, как солнце, нотами
Смеяться автору над идиотами,
Да приговаривать: "Ах, посмотрите-ка,
Какая подлая в России критика!"

1910

Крымская трагикомедия

И потрясающих утопий
Мы ждем, как розовых слонов.

Из меня

Я — эго-футурист. Всероссно
Твердят: он — первый, кто сказал,
Что все былое — безвопросно,
Чье имя наполняет зал.

Мои поэзы в каждом доме,
На хуторе и в шалаше.
Я действен даже на пароме
И в каждой рядовой душе.

Я созерцаю — то из рубок,
То из вагона, то в лесу,
Как пьют "Громокипящий кубок" —
Животворящую росу!

Всегда чуждаясь хулиганства,
В последователях обрел
Завистливое самозванство
И вот презрел их, как орел:

Вскрылил — и только. Голубело
Спокойно небо. Золото́,
Плеща, как гейзер, солнце пело.
Так: что мне надо, стало то!

Я пел бессмертные поэзы,
Воспламеняя солнцесвет
И облака, — луны плерэзы, —
Рвал беззаботно — я, поэт.

Когда же мне надоедала
Покорствующая луна,
Спускался я к горе Гудала,
Пронзовывал ее до дна...

А то в певучей Бордигере
Я впрыгивал лазурно в трам:
Кондуктор, певший с Кавальери
По вечерам, днем пел горам.

Бывал на полюсах, мечтая
Построить дамбы к ним, не то
На бригах долго. Вот прямая
Была б дорога для авто!

Мне стало скучно в иностранах:
Все так обыденно, все так
Мною ожиданно. В романах,
В стихах, в мечтах, все — "точно так".

Сказав планетам: "Приготовьте
Мне век", спустился я в Москве;
Увидел парня в желтой кофте, —
Все закружилось в голове...

Он был отолпен. Как торговцы,
Ругалась мыслевая часть,
Другая — верножелтокофтцы —
К его ногам готова пасть.

Я изумился. Все так дико
Мне показалось. Этот "он"
Обрадовался мне до крика.
— Не розовеющий ли слон?

Подумал я, в восторге млея.
Обескураженный поэт.
Толпа раздалась, как аллея.
Я — Маяковский, — был ответ.

Увы, я не поверил гриму
(Душа прибоем солона)...
Как поводырь, повел по Крыму
Столь розовевшего слона.

И только где-то в смрадной Керчи
Я вдруг открыл, рассеяв сон,
Что слон-то мой — из гуттаперчи,
А следовательно — не слон.

Взорлило облегченно тело, —
Вновь чувствую себя царем!
Поэт! поэт! совсем не дело
Ставать тебе поводырем.

С.-Петербург.
21 января 1914 г.

Поэза истребления

Меня взорвало это "кубо",
В котором все бездарно сплошь, —
И я решительно и грубо
Ему свой стих точу, как нож.
Гигантно недоразуменье, —
Я не был никогда безлик:
Да, Пушкин стар для современья,
Но Пушкин — Пушкински велик!
И я, придя к нему на смену,
Его благоговейно чту:
Как он — Татьяну, я Мадлэну
Упорно возвожу в Мечту...
Меж тем, как все поэзодельцы,
И с ними доблестный Парнас,
Смотря, как наглые пришельцы —
О, Хам Пришедший! — прут на нас, —
Молчат в волшбе оцепенений,
Не находя ударных слов,
Я, среди них единый гений
Сказать свое уже готов:
Позор стране, поднявшей шумы
Вкруг шарлатанов и шутов! —
Ослы на лбах, "пьеро"-костюмы
И стихотомы... без стихов!
Позор стране, дрожащей смехом
Над вырожденьем! — дайте слез
Тому, кто приравнял к утехам
Призывы в смерть! в свинью! в навоз!
Позор стране, встречавшей "ржаньем"
Глумленье надо всем святым
Былым своим очарованьем
И над величием своим!
Я предлагаю: неотложно
Опомниться! и твердо впредь
Псевдоноваторов, — осторожно
Иль игнорирно, — но презреть!
Для ободрения ж народа,
Который впал в угрозный сплин,
Не Лермонтова — "с парохода",
А бурлюков — на Сахалин!
Они — возможники событий,
Где символом всех прав — кастет...
Послушайте меня! поймите! —
Их от сегодня больше нет.

1914. Февраль.
С.-Петербург

III. Стихи в ненастный день

В ненастный день взойдет,
как солнце,
Моя вселенская душа!

(Заключительные строки
"Громокипящего кубка").

Вере Жуковской

I

Я жив, и жить хочу, и буду
Жить — бесконечный — без конца.
Не подходите, точно к чуду,
К чертам бессмертного лица:

Жизнь — в нашей власти: мы дотоле
Трепещем, бьемся и живем,
Пока в нас много ярой воли
К тому, что жизнью мы зовем.

Смерть торжествует в те мгновенья,
Когда поверил ты в нее,
И нет в тебе сопротивленья:
Смерть — малодушие твое.

Я не могу себе представить
Всем ощущеньем, всей душой,
Как можно этот мир оставить, —
Молчать, истлеть, не быть собой!

Я превозмог порывы гнева:
Убив другого — я убит...
А потому — любимец неба —
Прощу — чтоб жить! — всю боль обид.

Я смел и прям, и прост, и светел,
И смерти явно я бегу.
Я всех простил, я все приветил,
А большего я не могу!..

Что значит жить? для вас, — не знаю...
Жить для меня — вдыхать сирень,
В крещенский снег стремиться к маю,
Благословляя новый день!

Искать Ее, не уставая,
И петь, и мыслить, и дышать.
Какие нови в чарах мая!
Какая в новях благодать!

И сколько новей в чарах мая,
Ведь столько ж песен впереди!
Живи, живое восторгая!
От смерти мертвое буди!

Но если ты, в чьих мыслях узость,
Мне скажешь: "трус", — услышишь ты:
— Да здравствует святая трусость
Во имя жизни и мечты!

1914. Октябрь

II

Во имя зорь весны грядущей
И вешнего разлива рек
Прости обидчика, живущий,
Как человека — человек.

В существование обиды
Душой и разумом не верь,
Враждебные эфемериды
Да изничтожатся теперь!

Да распылится самолюбье,
Как одуванчик золотой.
Цвети, улыбка алогубья,
Эмблема жизни молодой.

Смелее к ближнему с приветом,
А встретишь злобу — отойди,
Не осудив его при этом:
Людей так много впереди.

Непонимающий невинен,
Его винящий виноват.
Грядущий день весенен, дивен,
Сиренен, птичен, солнчен, злат!

И мая — новый май сюрпризный
Своею новью огневой.
Во имя ощущенья жизни
Люби живущее, живой!

1914. Ноябрь.
Петроград

III

Мою страну зовут Россией.
Я в ней рожден, ее люблю.
И если б вы меня спросили,
Молю ль победы ей, — молю!

Да, я молю. Но оттого ли,
Что край мой лучше всех краев?..
Везде краса и святость боли,
И скорбь везде, где льется кровь...

И люди все же всюду люди, —
Утонченники ль, дикари ль, —

Ведущие в добре и худе
Свою банальную кадриль.

Я, призывающий к содружью
И к радостям тебя, земля,
Я жажду русскому оружью
Побед затем, что русский — я́!

Ах, роднозём, как заусенец,
Докучен, иногда кровав.
Кто мыслит глубже, тот вселенец:
Тогда, как я, мой недруг прав.

Но если недруг прав разбоем,
Самозащитою я свят.
Мы победим. И успокоим,
И оправдаем всех солдат.

IV

Мы победим! Не я, вот, лично:
В стихах великий — в битвах мал.
Но если надо, — что ж, отлично!
Шампанского! коня! кинжал!

Великий в строфах — зауряден
По паспорту своей страны.
От девушек и виноградин
Поля кровавые видны.

Живой всегда над жизнью властен,
И выбор есть, и есть исход...
Какую же из двух напастей
Мне выбрать, милый мой народ?

Вот если б я был поэтесса! —
На Красный Крест сменил я меч...
Повторны времена Дантэса,
И глупо гениев беречь!..

Но издавна дружащий с риском
Здесь я останусь невредим,
Тем более что в очень близком
Мы несомненно победим.

V

Провижу день: в цветах застава.
Весна и солнце, и народ.
В улыбках дев — любовь и слава.
Войска окончили поход.

Под музыку кавалерийских,
И значит щегольских, полков —
Чужие лица, как у близких,
В лучах расширенных зрачков.

Кирасы, каски и кокарды.
Звяк шпор и сабель сереброзлат.

Блистательны кавалергарды
В светилах элегантных лат.

И белоконные гусары
Венгерки приспустили с плеч.
Героям девы деят чары,
Брачуясь радые возлечь...

Отрадно в этот день весенний,
В парадный, музычный, цветной,
Не чувствовать былых сомнений
Повеселевшею душой.

И что еще вчера томило,
Противоречьями дразня,
Теперь так просто, любо, мило, —
Вчерашнее — не для меня.

Привет победе, людям, маю!
Цветам и чувствам молодым!
Я мертвецов не воскрешаю,
Но ярко радуюсь живым!

VI

Благословенны ваши домы!
Любовь и мир несу в страну
Я, выгромлявший в небе громы,
Зажегший молнией луну!

Ушедшее непоправимо,
Шампань холопно пролита...
Но жизнь жива! но жизнь любима!
И есть восторг! и есть мечта!

Вы, культоры гнилого мира,
Мир перестройте до основ!
Бряцай пророчно, Златолира,
Чарунья грёз, вещунья снов!

В них — людоко́сящие войны
Невероятны, как потоп.
В них — убежденья непробойны
И милосердней антилоп.

Не повторятся впредь ошибки,
Вас устремлявшие к войне!
Тому порукою — улыбки,
Замотыльчившие ко мне.

Я верю, я охотно верю
В людскую светлую судьбу.
Нет места в человеке зверю,
Как в гордом места нет рабу!

1914. Ноябрь

Поэзоантракт

I. Зарницы мысли

Дифирамб

Почему не брать от жизни все, что она дает?

Генрих Ибсен

Цветов! огня! вина и кастаньет!
Пусть блещет "да"! Пусть онемеет "нет"!
Пусть рассмеется дерзновенное!
Живи, пока живешь! Спеши, спеши
Любить, ловить мгновенное!
Пусть жизнь за счастье сдачи даст гроши,
Что толку в том, когда — все тленное?!
Пей! хохочи! танцуй! смеши!

Воспламенись! всех жги! и сам гори!
Сгори! — что там беречь?!
Рискуй! рубись! выигрывай пари!
В свой фаэтон сумей момент запречь!
Сверкай мечом! орлом пари!
Бери!!

1909. Июль

Мой год

Я десять месяцев мечтаю,
А два живу и пью вино, —
Тогда для всех я пропадаю,
Но — где и как — не все ль равно?
Как лютик, упоенный лютней, —
Я человек не из людей...
И, право, как-то жить уютней
С идеей: пить из-за идей.

1909. Март

Странно...

Мы живем, точно в сне неразгаданном,
На одной из удобных планет...
Много есть, чего вовсе не надо нам
А того, что нам хочется, нет...

1909

Мой монастырь

Мой монастырь — не в сводах камня,
Не на далеких островах, —
В устоях духа нерушимых,
В идее: жизнь земная — прах.

Мой монастырь — не в песнопеньях,
Не в облегчении молитв, —
В делах, где принцип справедливость,
В непониманьи смысла битв.

Мой монастырь — не в истязаньи
Бездушной плоти, — в грезе вширь,
В неверии в бессмертье ада
И в вере в Рай — мой монастырь.

1907

Надежды нет...

Глупец и трус способны жизнь любить:
Кто понял жизнь — тому надежды нет.
Но я живу и даже жажду жить,
Хотя и жду вседневно новых бед.

Я жизнь люблю, хотя не верю ей, —
Она не даст ни счастья, ни любви.
Приди же, смерть, приди ко мне скорей,
Чтоб я не ждал, и сразу все порви...

1909. Октябрь

Песня

М. И. Кокорину

Велика земля наша славная,
Да нет места в ней сердцу доброму:
Вся пороками позасыпана,
Все цветущее позагублено.
А и дадено добру молодцу
Много-множество добродетелей.
А и ум-то есть, точно молынья,
А и сердце есть, будто солнышко,
И пригож-то он, ровно царский сын,
И хорош-то он, словно ангельчик.
Да не дадено, знать, большой казны,
И пуста мошна, что лес осенью,
А зато не знать ему радости
И прожить всю жизнь прозябаючи...

1909. Август.
Мыза "Ивановка"

Извне

Я не живу душой на свете,
Хотя реально в нем живу;
Но где мой край, где шири эти, —
Я вам навряд ли назову.

Мне непонятна жизнь земная,
Темна, ненужна и гадка;
Зачем мне жить — не понимаю:
Я здесь без чувств, без языка...

Ведь жизнь души моей — в пространстве,
Ни на земле, ни на луне,
Ни в миге и ни в постоянстве,
Но царства злобного — извне.

Я речь держу...

Я речь держу... Да слушает, кто хочет! —
Черствеет с каждым днем суровый мир.
Порок гремит, сверкает и грохочет.
Он — бог земли! он — мировой кумир!

Я речь держу... Да слушает, кто может! —
Искусство попирается стопой.
Его огонь болотный мрак тревожит,
Его огонь ослаб перед толпой.

Я речь держу... Да слушает, кто верит! —
Настанет день — искусство станет звук:
Никто значенья строго не измерит
И, может быть, никто не примет мук.

Я речь держу... Да слушает, кто близок! —
Настанет день, день эпилога чувств.
Тот день убьет (Зачем же он так низок?)
Вселенную — искусство из искусств!

1909. Июнь.
Мыза "Ивановка"

Раз навсегда

Уделом поэта
И было, и будет — страданье.

Мирра Лохвицкая

И помни: от века из терний
Поэта заветный венок.

Валерий Брюсов

Мой смех ответом суждений язве!
Поэт сознаньем себя велик!
Вы, судьи, — кто вы? вы боги разве,
Что вам доступен небес язык?

Когда кто видел, чтоб к солнцу совы
Свой обращали полночный взор?
Когда кто слышал, что песни зовы
Дороже людям, чем шумный вздор?

О вы, слепые земли пигмеи,
Что вам до звуков святой трубы! —
В безмозглой злобе — всегда вы змеи.
В убогом гневе — всегда рабы.

Смешон и жалок поэт, доступный
Толпе презренной и зверски-злой,
Толпе бездарной, толпе преступной, —
Развенчан гений ее хвалой.

Но славен ясно, но славен вечно
Певец, желанный душе певца.
Кто чует смутно, кто жив сердечно —
Тому пою я с зарей лица.

1909. Апрель

"Собратья"

Все — Пушкины, все — Гёте, все — Шекспиры.
Направо, влево, сзади, впереди...
Но большинство из лириков — без лиры,
И песни их звучат не из груди...

Все ремесло, безвкусие и фокус,
Ни острых рифм, ни дерзостных мазков!
И у меня на "фокус" рифма — флокус,
А стиль других — стиль штопаных носков.

Изношены, истрепаны, банальны
Теперь стихи, как авторы стихов.
Лубочно-вдохновенны и подвальны
Их головы без нужного голов.

Титаны — все, а вместе с тем — все крохи,
Швейцар, столяр, извозчик и купец —
Все, все поют, смеша, как скоморохи,
Гадливость вызывая, как скопец.

И хочется мне крикнуть миллионам
Бездарностей, взращенных в кабаке:
" — Приличней быть в фуражке почтальоном,
Чем лириком в дурацком колпаке".

1909. Июнь.
Мыза "Ивановка"

Вы, те...

Вы, те, что носите на плечах мертвый шар,
Наполненный, Бог весть, какой ничтожной
дрянью,
Сумели бы вы зажечь в себе пожар
Такой, как я зажег за недоступной гранью?

Вы, те, что учитесь, чтоб ничего не знать,
Вы, незнакомые с восторгом восприятья,
Вы, пролетарии и блещущая знать,
Я вас не допущу до нового распятья.

Все светозарное в вас пробуждает злость, —
Будь это Сам Господь или поэта строфы.
Но помните одно: забит последний гвоздь,
Что кован для Креста, — и нет второй Голгофы!

1909. Июнь.
Мыза "Ивановка"

Мой стих

Мой стих — пощечина
Условиям земли.
Чья мысль отточена,
Внемли!

Эй, вы, иуды-братия,
Сжигайте песнь мою:
Всему проклятия.
Пою!..

1909. Июнь.
Мыза "Ивановка"

Щит — солнце

Солнце — мой щит от ночного щемящего ужаса.
Я прибегаю ко власти Высоких Защит.
С первым лучом да отпрянет злой дух,
разоружася,
И да слепит его очи мой солнечный щит.
Скроется ночь, омертвив беспокойные шорохи,
Тайны свои захватив для грядущей сестры...
Тайна ночей — не огонь ли в чуть тлеющем
порохе?
Взоры ночей не цветами ли гроба пестры?
Ночи безумны, и нас призывают к безумию...
Старое здание молит, клянет и трещит...
Мечется сердце, а мысль — непогоды угрюмее...
Чтобы и было, когда бы не солнце, мой щит...

1909

А знаешь край?..

"Ты знаешь край, где все обильем дышит?"

Гр. А. К. Толстой

...А знаешь край, где хижины убоги,
Где голод шлет людей на тяжкий грех,
Где вечно скорбь, где лица вечно строги,
Где отзвучал давно здоровый смех,
И где ни школ, ни доктора, ни книги,
Но где — вино, убийство и... вериги?..

1907

Все кончено, а солнце вновь восходит

Параллель

Борец за благоденствие страны
Жизнь отдает, не зная колебанья,
Но зная хорошо, что суждены
Ему, герою, муки и страданья.
С презрением смотря на палачей,
С улыбкою на эшафот он всходит,
Но ясен смысл смеющихся очей:
— "Все кончено, а солнце вновь восходит".
Так героиня, знавшая сердец
В нее влюбленных силу, ад и пламя,
Почувствовав, что всем мечтам конец,
На море смотрит грустными глазами.
Блестящий, яркий солнечный восход
Ее на размышления наводит.
Она твердит, смотря на лоно вод:
— "Все кончено, а солнце вновь восходит".

1906

Воздвиженье

Посв. *А. Н. Иерусалимскому*

Из сел иди, из рощ иди
К широкой лобной площади,
Печальный, сирый люд.
Кричи во всеуслышанье:
"Для праздника Воздвиженья
Погибнет тот, кто лют".
Пред ним, судьею праведным,
И Тем, Кто мудро правит им,
Разлей, как море, скорбь:
Пусть гибнет безрассудное!..
Святися место судное!
Спины, народ, не горбь!
Сегодня крест страдальческий, —
Как эпилог скитальческий, —
Во храме водружен;
Поставьте ж крест забвения
Вы, цепи жизни звения,
Толпа мужей и жен.
Поставьте в душах любящих
Вы, легионы в рубищах,
Своим невзгодам крест;
Прощеньем награжденные,
Живые, возрожденные,
Заполните окрест!

1909

Царство небесное

Рыцарям честным идейного мужества,
Всем за свободу свершившим чудесное,
Павшим со славой за дело содружества —
Царство небесное.
Верным и любящим гражданам нации
Объединенным могилою тесною,
Детям сознательным цивилизации —
Царство небесное.
Всем, закаленным в стремления пламени,
Всем, испытавшим мучения крестные,
Витязям доблестным честного знамени —
Царство небесное.
Вечная слава героям несдавшимся!
Вечная память и имя известное!
Всем потрудившимся, всем исстрадавшимся
Царство небесное!

1909

Рыцарь духа

(Символ)

Человек, заковавший свой разум
В строгих принципах духа кольчугу,
Этим к небу возносится разом,
Примыкая к почетному кругу.
Взявши меч справедливости в руки,
Что гимнастикой развиты веры,
Он идет под штандартом науки
Показать нам отваги примеры.
Ждет его не один уже недруг:
Смотришь, Ложь подползает ехидной.
То Соблазн на ретивом коне вдруг
Пристает к нему с речью бесстыдной.
Не смущается доблестный витязь,
На удар отвечает ударом,
Грозно кличет: "С пути расступитесь!"
И глаза его пышат пожаром.
Наказуя гордыней объятых
Он — смиренных и правых защита.
Сердце светлое спрятано в латах,
И душа в них великая скрыта.
Да, мечи из Божественных кузниц
Обладают могучею силой
И, свободными делая узниц,
Палачам угрожают могилой.

1907

Бунт волн

Небо грустно и сиренево,
Как моих мечтаний фон.
Вновь дыханием осеннего
Ветра парус оживлен.

...Вóды сильны, вóды зелены,
Как идейные юнцы:
Непонятны гор расщелины
Вóлнам, словно нам — отцы.

Уговоры ветра ласковы,
Он волнует, манит ввысь,
И, кипучие, от ласки вы
Речки-мамы отреклись.

Вы бушуете, взволнованы
Светозарною мечтой,
Тайной мыслью околдованы,
Вызывая все на бой.

И песок, и камни с рыбами
Вы кидаете, грозя
Уничтожить, их ушибами
Награждая и разя.

Все могучими расстреляно!..
Уважая смелый риск,
Вы в гранитные расщелины
Шлете бездну светлых брызг.

Разукрашенный сединами
Возмущается утес
И с другими исполинами
Шлет в ответ огонь угроз.

Вы смеетесь, волны белые,
Над угрозой стариков
И, отважные и смелые,
Шлете брызги вновь и вновь.

Но как дряхлые расщелины
Не опасны для воды, —
Так и брызги, что нацелены
В них, — бесцельны и пусты.

1907

Тленность ада

(Интуитивный этюд)

Человек в немом общеньи
С духом мертвого бессмертным —
В вечном перевоплощеньи,
В восприятии инертном.
Дух проходит много стадий,
Совершенствуясь величьем;
Только в высшем он разряде
Будет одарен безличьем.
Все земные оболочки
Только временны и тленны
И нужны для проволочки
Достиженья неизменно.
Интуитивностию слуха
Я вдаюсь в предположенье —
Совершенствованья духа
До известного мгновенья:
Дух достиг культурной точки,
Предназначенной судьбою,
И, уйдя из оболочки,
Кончил навсегда с землею;
В этом — Рай, — души победа;
В чем же ад, — вопрос уместный:
Не испытанные ль беды
В оболочке бренной тесной?
Этим рушу ада вечность:
Ад — в исканиях предела
Перехода в бесконечность
Пред последней смертью тела;
Мне твердят инстинкты слуха:
Злые духи есть явленье
Совершенствованья духа
В формах перевоплощенья.
Резюмирую: нет злобы
В окончательном пределе,
И живет она особо
Только в воплощенном теле,
Да в моменты перехода;
Солнце правды торжествует,
С голубого небосвода
Нас надеждою дарует.
Рай — в конечном достиженьи
Духом вечного безличья,
В бестелесном воплощеньи
Совершенного величья.

1907

Здесь и там

(Рефрены)

1

Тайна смерти непонятна
Для больших умов;
Разгадать, — мы, вероятно,
Не имеем слов.
Мне догадка шепчет внятно:
"Верь моим словам:
Непонятное — понятно,
Но не здесь, а Там".

2

Мысль работает тревожно:
"Жил, всю жизнь греша,
И тебе навряд ли можно
Рая ждать, душа".
Друг, твое сомненье ложно;
Верь моим словам:
"Невозможное — возможно,
Но не здесь, а Там".

3

Жил ты с другом беззаботно,
Гимны пел судьбе;
Друг, любимый безотчетно,
Жертвой пал в борьбе.
Дружий дух ушел обратно,
Словно фимиам...
"Невозвратное — возвратно,
Но не здесь, а Там".

1907

Импровизация

Как смеют хоронить утром, когда на небе
солнце?
Как смеют ковать цепи, когда не скован венец?
Как смеют срывать розу, когда она благоухает?
Как смеют бросать женщину, когда она полна
любви?
Как смеют пить воду, когда в воде падаль?
Как смеют улыбаться, когда существует скорбь?
Как смеют надеяться, когда есть разочарованье?
Как смеют жить, когда жизни нет?!..

1910. Август

Похоронная ирония

Мы помолимся, когда придем на вынос:
Господи! Спаси нас, Господи, спаси нас!
И подумаем, склоняясь над могилой:
Господи! Помилуй, Господи, помилуй!
И о жизни мы помыслим в нашем тайном:
Господи! Подай нам, Господи, подай нам!..

1910. Июнь

Поэту

Лишь гении доступны для толпы!
Но ведь не все же гении — поэты?!
Не изменяй намеченной тропы
И помни: кто, зачем и где ты.
Не пой толпе! ни для кого не пой! —
Для песни пой, не размышляя — кстати ль!..
Пусть песнь твоя — мгновенья звук пустой, —
Поверь, найдется почитатель.
Пусть индивидума клеймит толпа:
Она груба, дика; она — невежда.
Не льсти же ей: лесть — счастье для раба,
А у тебя — в цари надежда...

1907

Великому современнику

(День 20 ноября 1907 г.)

В северном небе играют огни.
Вечную жизнь возвещают они.

Мирра Лохвицкая

На пустынной дороге, у старой часовни,
Где старушка зима в белой шубе брела,
Где скрипучий мороз забирался под дровни, —
Наша первая встреча, учитель, была.

Кротко встретились мы. Как-то ласково молча,
Мы с тобою пошли в твой приветливый дом.
Отчего эта песня далекая волчья,
Что скучала тогда, мне звучала потом?

Отчего, отчего эти бледные блики
Той особой луны не погасли теперь?
Отчего так близки, так безмерно велики
Этот дом, этот сад, эти сени и дверь?

Всею гаммою чувств, всей душою порывной
Я отдался тебе в незабвенную ночь,
Преклонясь перед скорбью твоей
беспрерывной, —
И, — спасибо тебе, — ты не гнал меня прочь.

Гениальный поэт — вдохновенный психолог
И провидец людей с их бездушием душ.
Ты взглянул на меня... Был и грозен и долог
Твой внимательный взгляд. Мне лукавить к
чему ж? —

Я, смутясь, трепетал под невиданным
взглядом...
Вдруг ты встал — точно солнце, сверкая лицом!
Ты мне мысль подарил бесконечным нарядом,
Ты мне душу объял неразрывным кольцом.

Мой учитель и друг! мой отец и властитель!
Пусть же сердце играет и бьется во мне!
Я к тебе сохраню, — это видит Спаситель! —
И любовь, и восторг в непробуженном сне!

1909. Март

У К. М. Фофанова

(Один из вечеров у поэта)

Мигая, лампа освещала,
Как ландыш, чистые листы.
Лицо поэта озаряла
Улыбка ласковой мечты.

Я, углубляясь в воплощенья
Его измученной души,
Слыхал, как сердце в упоеньи
Мне пело: "Стихни... не дыши..."

С миражем в вдохновенном взгляде
Я аромат элегий пил.
Дышало маем от тетради,
Сиренью пахло от чернил!

Как много разных ощущений
Я в этот вечер восприял:
Страданий, бодрости, стремлений,
Поверив снова в идеал.

И в пору зимнюю пахнуло
На нас вдруг раннею весной.
Поэт молчал, жена вздохнула,
Тоскливо пробил час ночной.

1907

Певица страсти

(Памяти Мирры Лохвицкой)

Не слышу больше я песен страстных,
Горячих песен, любовных песен,
Не вижу взоров ее прекрасных,
И мир печален, и сер, и тесен.
Темнеет небо, и вянут розы;
Тоска мне сердце щемит уныло;
Сгубили юность певицы грозы,
Ее толкнули они в могилу.
В могиле дева — певица страсти.
Как иронична, жестока фраза!
И сердце рвется мое на части:
Как это скоро! как это сразу!..
О, как контрастно звучат два слова:
Смерть — замерзанье, а страсть — кипенье.
Уж не услышу я песен снова,
Не зарыдаю от вдохновенья.
Но что совершилось, то безвозвратно...
Порвались струны, умолкла лира...
Так спи ж спокойно: ты нам понятна,
Певица страсти горячей, Мирра.

Полусонет

Под стрекотанье ярких мандолин
Цвела мечта, моя фата-моргана.
Балькис, Мадлэн, Морэлла, Вандэлин
Проплыли в даль — как бархат струн органа.

А вот еще — Луиза и Мюргит,
Лилит, Роберт, Агнеса, Сандрильона...
У палевых, олуненных ракит
Они стеклись ко мне для котильона.

Но подожди, чей призрак это? Тих
Спокойный шаг в безмолвии долины;
В его очах поет ключистый стих
И заглушает стрекот мандолины.

Средь призраков нетленной красоты, —
Ты, автор их, прекраснее всех — ты.

1909. Сентябрь

Реквием

...И будет дух мой над тобой
Витать на крыльях голубиных.

М. Лохвицкая

Помилуй, Господи, Всесветлый Боже,
Царицу грёз моих, Твою рабу,
И освяти ее могилы ложе,
И упокой ее в ее гробу...
И вознеси ее святую душу,
Великий Господи, в пречистый Рай...
А если я, Твой раб, любовь нарушу,
Своей немилостью меня карай.
Даруй страдалице-любимой, милой —
Познать величие Твоих щедрот...
Господь, укрой ее! Господь, помилуй!
Услышь, о Господи, мой грешный рот...
Услышь мольбу мою, и, веру множа
В Твое сияние, внемли рабу:
Помилуй, Господи, Всесильный Боже,
Мою владычицу, — Твою рабу!

1910. Март.

Океану — капля

(Посвящается Льву Толстому)

Сын мира — он, и мира он — отец.
Гигантское светило правды славной.
Литературы властелин державный.
Добра — скрижалей разума — певец.

Он мыслью, как бичом, вселенную рассек.
Мир съежился, принижен, в изумленьи.
Бичуя мир, он шлет ему прощенье.
Он — человек, как лев. Он — лев, как человек.

1907

Памяти Н. А. Некрасова

Помните вечно заветы почившего,
К свету и правде Россию будившего,
Страстно рыдавшего,
Тяжко страдавшего
С гнетом в борьбе.
Сеятель! зерна взошли светозарные:
Граждане, вечно тебе благодарные —
Живы заветами,
Солнцу обетами! —
Слава тебе!

1907

Памяти В. Башкина

Скромным и застенчивым
Ушел от нас он, юным...
Я обращаюсь к струнам,
Струнам переменчивым.
Пойте, струны в трауре,
Кончину незаметную.
Элегию ответную
Моря ль споют, дубравы ли?
Я отпеваю юношу,
Светило мимолетного,
С любовью жизнь твою ношу
В мечте всего бесплотного.

1909. 17 ноября

Гpaaлю Арельскому

(Рецензия на его "Голубой Ажур")

...И сладкий мед в растеньи горьком
Находит мудрая пчела...

К. Фофанов

Я Вам скажу, как строгий ментор,
Снимая с лампы абажур:
Вы — идеальный квинт-эссентор,
И элегантен Ваш ажур...
Когда б стихи назвать поэзы
И не смущаться света рамп,
Я на мотивы Марсельезы
Вам спел бы наглый дифирамб.

Пускай Верлэн с трудом Ренана
Не составляют мезальянс...
Пью рюмку пряного Банана
За боле спецный ассонанс...

1911. Октябрь

Памяти Н. А. Римского-Корсакова

Сонет

Баян умолк... Слеза его аккордов
Еще блестит кристаллом неземным —
Как всплески вод таинственных фиордов,
Как над грехом безгрешный серафим.
Он жизнь отпел... Душа вспорхнула гордо
На небеса зефиром голубым...
Перенеси удар, отчизна, твердо,
Воспой его, как ты воспета им.
Пусть задрожат в сердцах народных арфы
И воспоют творца Садко и Марфы;
Снегурочка воскреснет в Мая Ночь;
Раздастся гимн торжественных созвучий,
Он загудит, живящий и могучий,
Прославив песнь, — нам мать, Баяну
— дочь...

1908. Июнь.
Мыза "Ивановка"

Арнольдсон

... И время трет его своим крылом.

Ш. Бодлэр

Элен себе искала компаньона,
Желая в заграничное турнэ;
Жан, встретясь с ней, сказал: "Je vous connais:
Вы — грёза Гёте и Тома — Миньона.
Хоть грёза их, положим, без шиньона,
Я, — все равно, — готов продлить свой сон...
Итак, Элен, Вы для меня — Миньона,
Чей образ воплотился в Арнольдсон".

Пусть, пусть года — нещаднее пирата,
Все ж Арнольдсон — конечная Сперата,
В ее душе святой огонь горит.
О, время, время! Смилуйся и сдобрись, —
О, подожди стирать слиянный образ
Двух гениев в лице одной Зигрид.

1910. Благовещенье

В альбом Олимпии Боронат

Есть где-то край... Есть где-то край волшебный,
Где небеса и море — бирюза,
Где все поет кому-то гимн хвалебный,
Где мысль — огонь, и чувство где — гроза.

И этот край, его очарованьем,
С его мечтой, струистой, как гранат,
С его огнем, с его благоуханьем
Зовет любить чарунья — Боронат.

1909. Январь

Повестушка дней Малюты

I

Там, вблизи от пышных гридниц,
Где князья в кругу бесстыдниц —
Полюбовниц правят пир,
Где истомы горностаи,
И блестят при люстрах стаи
Безалаберных рапир,
Там разбросились избушки
На темнеющей опушке
У заросшего пруда.
А в избушках все холопы,
Столяры да землекопы,
Все сподвижники труда.
У владельца, как нарочно,
Мысль разнузданно-порочна,
И каприз его — закон.
Все боятся, все трепещут,
Видно, больно плети хлещут,
Извиваясь, как дракон.
Княжич Ор из зла изваян.
У кого такой хозяин,
Тот и жизнь готов проклясть.
Раз случилось, что Глашурка,
Миловидная девчурка,
Пробудила в князе страсть.
Что приказано — исполни,
А не то, мгновенней молний,
Вспыхнет гнев, — тогда конец.
И Глафиру шлет к тирану,
Затаив глубоко рану,
Старший брат ее кузнец.

II

Глазки Глаши — васильковы,
Озарят они альковы,
Точно звезды декабря,
Пробуждают в князе зверя,
В страсть свою всесильно веря,
К пылу новому храбря.
Не кляла Глафира доли,
Полудикая дотоле.
Забрала над Ором власть
Плеть его давно не хлещет,
Перед Глашей Ор трепещет,
Проклиная в тайне страсть.
Что поделать! мозг бессилен,
Точно днем при солнце филин, —
Село чувство на престол.
Всем привольно, всем вольготно,
Всем поется беззаботно,
Весел в праздник людный стол.

III

Честь сестры оберегая,
Думал Петр: "Пускай другая,
Но не Глаша — без венца".
Он один грустил в поместье,
И создался способ мести
Вдруг в мозгу у кузнеца.
Что вы скажете! вот смех-то!
Когда радостно у всех-то,
Положительно у всех,
Вздумал мстить крестьянин честный,
Замуравлен в мысли тесной,
Что любовь без брака — грех.

Эх, ты, матушка Россия,
Просвещенье, как Мессия —
Не идет к тебе, хоть плачь.
Ты сама себе заноза,
Ты сама себе угроза,
Ты сама себе палач!

1909. Июль.
Мыза " Ивановка"

Похороны

Баллада

1

Страна облачается в траур —
Великий поэт опочил...
И замер от горя преемник,
Чей гений певец отличил.

Театры беззвучны, как склепы;
На зданиях — черный кумач;
Притихли людей разговоры;
Бесслезен их искренний плач.

Лишилась держава пророка,
Устала святая звезда,
Светившая темному миру
Путь мысли, любви и труда.

Унылы холодные зори,
И мглисты бесцветные дни,
А ночи, как горе, глубоки,
Как злоба, жестоки они.

Рыдают воспетые ветры,
Поют панихиду моря,
Листву осыпают деревья
В июне, как в дни сентября.

2

Сияет торжественно лавра,
Но сумрачны лики икон;
Выходит старейший епископ
Из врат алтаря на амвон.

Выходит за ним духовенство, —
Оно в золоченой парче.
Кадило пылает лампаде,
Лампада мерцает свече.

Толпой окруженный народа,
Подходит к собору кортэж;
Но где же стенанья и слезы,
И скорбные возгласы где ж?

В толпе и природе затишье —
Ни жалоб, ни воплей, ни слез:
Когда умирают поэты,
Земное под чарами грез.

Несут светлоокие люди
Таинственный гроб к алтарю,
И славят церковные хоры
Загробного мира зарю.

Над гробом склонился преемник —
Безмолвен, как строгий гранит —
С негреющим солнцем во взоре
И лунною сенью ланит.

Он смотрит на первую маску:
Смерть шутит жестоко и зло...
Он видит — как лилии руки,
Он видит — как мрамор чело.

3

Что смолкли церковные хоры?
Что, в диве, склонилась толпа? —
С небес светозарною дымкой
Сквозь купол струится тропа.

По этой тропе лучезарной
Снисходит поющий эдем;
То звуки нездешних мелодий!
То строфы нездешних поэм!

Очнулся скорбящий наследник,
Он вещую руку простер;
И солнце зажглося во взоре.
И вспыхнула речь, как костер.

— Живи! — он воскликнул, и тотчас
Поднялся из гроба поэт:
Он был — весь восторг вдохновенья,
Он был — весь величье и свет!

Он принял от ангела лиру
И молвил, отбросив аккорд,
Земною кончиною счастлив,
Загробным рождением горд:

— О, люди друг другу не верят...
Но лгать им не станет мертвец:
Я песней тебя короную,
И ты — мой наследник, певец!..

4

Когда же расплылось виденье, —
Как жизнь, неразгаданный гроб
Хранил в себе прах, еще юный,
И ждал его червь-землекоп.

От чар пробужденная лавра
Не знала, — то чудо иль сон?..
То знал коронованный песней,
Но тайну не выдаст он.

Бряцала ли лира в соборе,
Спускался ль заоблачный мир,
И кто был преемник поэта —
Пророк, или просто факир?..

1908. 17-го окт.

Призрак великой царицы

Баллада

Глава Екатерины Великой —
великая глава русской истории.

Автор

Я шел крещенским лесом,
Сквозистым и немым,
Мучительной и смутной
Тревогою томим.

Ночь зимняя дышала
Морозно на меня,
Луна лучи бросала
Холодного огня.

Таинственностью леса
И ночи тьмой смущен,
Я шел, и мне казалось,
Что кем-то окружен —

Холодным, как дорога,
Нездешним, словно Бог,
Неясным, как тревога,
Но кем, — я знать не мог.

Деревья заредели,
И вышел в поле я;
А там, вдали, мерцали
Уж огоньки жилья.

Загадочной тревогой
Все более томим,
На лес я обернулся,
Завороженный им:

На ели-исполины
Луна, бросая свет,
Второй Екатерины
Чертила силуэт.

Казалось мне: три ели,
Как в сказочном кругу,
Царицу воплощали
В сверкающем снегу.

Казалось, три вершины
В слиянии своем —
Глава Екатерины
Под белым париком.

Ветвей же пирамида
Подсказывала мне,
Что в мантии царица
Предстала при луне.

Красивой головою
Она качала вновь:
Знать, ветром колебались
Вершины их стволов.

Прорезали мгновенно
Мне мысли мозг, как бич,
И мог я вдохновенно
Виденья смысл постичь:

Царицы привиденье
Над лесом, в тихом сне,
Всей жизни измененье
Вещало молча мне.

Я вспомнил, что, в сияньи
Порфиры золотой,
Она немало блага
Вершила над страной;

И вспомнил я преданье,
Что этим же путем
Из города, при море,
Рожденного Петром,

Она езжала часто
До шведского дворца,
Доставшегося смертью
Последнего борца;

Что ею на дороге
Поставлены везде
Внушительные боги
В чугунной красоте;

Что эти истуканы,
Признательные ей
За их созданье, призрак
Являют для очей...

И мысли, как зарницы,
Сверкали в голове
Пред призраком царицы
В морозной синеве.

И как все изменялось
Под царственным венцом,
Так мне теперь казалось —
И в бытии моем

Произойдет по воле
Великой из цариц...
И я на снежном поле
Упал пред нею ниц...

1907

Снежная летаргия

(Этюд)

Посв. *И. А. Дашкевичу*

Вам, чьи прекрасные уроки
В душе запечатлели след,
Вам посвящает эти строки
Вас понимающий поэт.
В них не таится смысл глубокий
И мысли в них великой нет,

Но в них надежда, вера в свет —
Кипучей молодости соки.
Примите ж, друг мой дорогой,
Этюд, подсказанный душой, —
Дитя минуты вдохновенья.
Безвестный автор просит Вас
Мольбой своих печальных глаз
Не похвалы, а снисхожденья.

I

От подводных ключей незамерзшая,
Речка льется, поспешная, синяя;
Лишь природа, зимою обмершая,
Заколдована в снежном унынии.
Оголились деревья кудрявые,
Притаились за речкой застенчиво —
Словно витязь, увенчанный славою,
Вдруг развенчан судьбою изменчивой.
Солнце, пылкое в летние месяцы,
Утомилося жизнью палящею,
Бредом солнцу минувшее грезится,
И отрадно ему настоящее.
Часто люди, безделицей каждою
Увлекаясь, палятся порывами
И, упившись мучительной жаждою,
Отдыхают мечтами счастливыми.

II

Я иду и ищу, по наитию,
В лабиринте лесном указания;
А тропа ариадниной нитию
Сокращает пути расстояния.
Много символов мира далекого:
Духа доброго, зла инфузорию,
Вплоть до Бога, Собою высокого, —
Мог найти в сосен, елок узоре я.
Вот я вижу лицо Мефистофеля —
Два рожка и бородка козлиная;
Рядом с ним выплывают два профиля —
Чертенята с улыбкой змеиною.
Отстрани от меня нечестивого,
От соблазна избавив угарного;
Силой разума, злого и льстивого,
Да не сделают мне зла коварного.
Вот три ели слились в одной линии,
И одною мерещатся издали.
Что за символ над снежной пустынею,
Да и место рожденья их чисто ли?
Преклонись, духом смысл прозревающий
Откровенья Творца всеединого:
Этот символ, тебя поражающий, —
Знак святой Божества триединого.

III

Вечер мягко вздохнул и приветливо
Убаюкивал лес засыпающий;
Ветерок обнимался кокетливо
С липой, днями былыми мечтающей.
Снег кружился воздушными грезами,
Как они, рассыпаяся в воздухе,
Или плакал, растаявший слезами,
Как о силах, накопленных в роздыхе.
Сколько грусти в момент усыпления,
В зимний вечер, в деревьях мертвеющих —
Словно тысячи душ в угнетении
Здесь собрались, о рае жалеющих!
Ветерок напевает мелодии,
От которых душа разрывается.
Это — песенки смерти пародии;
Кто-то с кем-то надолго прощается...

IV

Заблестит солнце яркое, вешнее,
Разукрасятся ветви одеждою,
И пробудится — силой нездешнею —
Вновь природа горячей надеждою.
Забурлят воды радостным говором,
Пробужденные царственным голосом;
Разогретые солнечным поваром,
Вновь поля разукрасятся колосом.
Птица станет слетаться за птицею
Из-за синего моря свободного...
Как отрадно весною-царицею
Грезить в царстве Мороза холодного!

V

Так и мы, как природа уснувшая
В пору зимнюю — в смерти мгновение:
Нас не манит земное минувшее
И бодрит светлый луч возрождения.
О, не плачьте, друзья безутешные:
Мы ведь живы душою бессмертною —
Нашей мыслью последней безгрешною,
Наших близких молитвой усердною.

1907

II. Это было так недавно...

Notturno

Это было в самом деле,
Или только показалось.
Над рекой мы ночь сидели,
Но ни слова не сказалось?
Где — не помню; как — загадка,
Повстречались мы любовно...
Сонно фыркала лошадка,
Отведенная за бревна.
Кто-то пел под арфы гутор,
Кто-то что-то мне ответил...
Спал в бреду вишневом хутор,
Как слиянье наше светел.
Думал я, сгибая прутик:
"Точно радость, ты короток"...
И на нас смотревший лютик
Был, как чувства наши, кроток.
И хотелось, и желалось
Без конца истомы в теле...
Это только мне казалось,
Или было в самом деле?

1911

Лилии души

А. На-ой

> Лилии, лилии чистые,
> Звезды саронских полей...
>
> *М. Лохвицкая*

В светозарной душе белых лилий посев
Расцветет для услад урожая,
И болотный туман испарится, осев,
Только солнце дохнет, угрожая.
В светозарной душе — лилий белый посев,
И такая душа — всем чужая.

Как расцвет золотист! как расцвет ее бел!
Помнишь? — днем лепестки перелили
Гаммой радуги звонкой, — но луч ослабел,
И померкли мелодии лилий.
А зарею опять тихий колокол бел,
Сердце златно лучи распалили.

Без боязни сбирай белоснежный посев,
Тот сбирай, кто — исчадье порока.
Пусть тебя не страшит окружающий зев:
Эта жатва не знает упрека...
Ты надменно пожнешь искупленья посев,
Но души не поймешь — как пророка...

1909. Ноябрь

Мимоходом

Зое О.

Она заходит в год раза два...
Совсем случайно... мимоходом...
Ее движенья, ее слова —
Как и давно, как прошлым годом.
Все та же гордость, все тот же лед
И равнодушье напускное;
И то — паденье, и то — полет,
Полувражда, полуродное...
Но эти взгляды, — они не лгут...
В них даже ненависть любовна...
В них столько чувства, такой уют,
Что, право, дышится неровно.
Но блещут ядом ее слова,
Цинично-мучающим ядом.
Она заходит в год раза два...
Так... мимоходом... бывши рядом...

1909. Сентябрь

Выйди в сад...

Выйди в сад... Как погода ясна!
Как застенчиво август увял!
Распустила коралл бузина,
И янтарный боярышник — вял.
Эта ягода — яблочко-гном...
Как кудрявый кротекус красив.
Скоро осень окутает сном
Теплый садик, дождем оросив.
А пока еще — зелень вокруг,
И вверху безмятежная синь;
И у клена причудливость рук —
Много сходного с лапой гусынь.
Как оливковы листики груш!
Как призывно плоды их висят!
Выйди в сад и чуть-чуть поразрушь, —
Это осень простит... Выйди в сад.

1909. Август.
Мыза "Ивановка"

Катюлинька

Гуля — гулинька, гуля — гулинька,
С белым крылышком голубок...
Это ты, мой друг, ты Катюлинька.
Ты, Катюлинька, мой дружок?
Осень дымчата. Лес и хижина.

День склоняется. Ночь близка.
Ты обижена... Ты унижена...
Ты любима мной, — как тоска...
Двери скрипнули. Бьется крылышко, —
То колышется твой платок...
Где ты, молодость?.. где ты, силушка?..
Где Катюлинька — мой дружок?..

1909

Вдохновение

Я пробегаю мокрой рожью,
Ищу во ржи огнистый мяч...
И слышу — вижу: к Запорожью
Течет Олонецкий Кивач.
И Лена лентится к Дунаю,
Войдя в Байкал, громя Алтай...
О, ты поймешь — я это знаю,
Но берегись, — не разболтай...
Спадает с неба Сакраменто,
Земля — сплошная бирюза...
Привет тебе, мираж момента —
Молниеносная гроза!

1910. III

В самуме

Меня качал двухгорбно
Верблюд, корабль пустынь,
Мне было скорбно-скорбно,
Цвела в душе полынь.
Вдали пестрел оазис,
Бездумен был сам ум,
Вдруг небеса порвались,
И взвихрился самум.
Свистело что-то где-то,
Кружился кто-то там;
И кем-то я раздета,
И кто-то льнет к устам...
Чарует черный голос, —
Слабею от борьбы...
Сдаюсь... Но я боролась,
Цепляясь за горбы.
Молиться?.. — нет святыни...
Я гибну... я в тоске...
Верблюд, корабль пустыни,
Топи меня в песке!

1911

Резедовый букет

Испуганно внемля далекой ракете,
Когда задремали в истоме сады,
Купая лицо в резедовом букете,
Она понимала мирок резеды.
"О, как бархатисты, как томно-кудрявы",
Она обращалась чуть слышно к цветам:
"Я верю: вы чутки, и люди неправы,
Когда вас срывают, — ведь больно же вам...
Я в вазу поставлю вас, цветики, в вазу
С такою холодной прозрачной водой..."
Цветы эту ласку восприняли сразу
И к ней потянулись душистой мечтой.
Они благодарны, цветковые души, —
Она это знала... Но выпал букет,
И, все их измяв крошкой-туфелькой в плюше,
Она разрыдалась, упав на паркет...

1909

Я хочу...

Я тебя постараюсь простить,
Как прощает свечу мотылек...
Пусть отныне тебе я далек,
Но приди же меня навестить.
Приходи, как бывало, гостить,
Не вверяйся обиды пращу.
Я хочу... я могу... я прощу...
Я тебя постараюсь простить...

1909

Рондель

Лионель — певец луны.

Мирра Лохвицкая

Я — лунопевец Лионель —
Пою тебя, моя царица.
Твоим лучом да озарится
Моя унывная свирель.
Пою в сентябрь, пою в апрель...
Пока душа не испарится,
Я, лунопевец Лионель,
Пою тебя, моя царица.
Сотки туманную фланель,
Луна, любви и неги жрица,
И пусть тобой осеребрится
Измученный полишинель —
Твой лунопевный Лионель...

1911. Март

Интродукция

Не было, может быть, этого?
Может быть, это и было?..
Тайна пруда фиолетова,
Месяц — что солнце без пыла.

Кто-то, как нимфа, загадочный,
В тальме, как страсть, беспорядочной,
Дышит в лицо мне гвоздикой
С улыбкой восторженно-дикой...

Хочется мне ненасытного,
Этого тайного *этого*...
Месяца звездносвитного!
Воды, где глубь фиолетова!..

1909. Январь

Глазенки

Твои глазенки, как небо — тучки,
Застлали думы, и я, как вождь
Твоих мечтаний, лелеял ручки,
Боясь, что хлынет из глазок дождь.

Крылила чувства в саду певунья,
И раздушила мечты сирень...
Ты прояснилась, моя шалунья,
Защебетала, как майский день.

Нет места грусти! Нет русла слёзам!
Под звон природы тюрьму ломай!..
Свободу чувству! свободу грезам!
Свободу страсти! — так хочет май.

1908. Октябрь

Что — жизнь?..

Что — жизнь? грядущим упоенье
И ожиданье лучших дней.
А смерть — во всем разуверенье
И издевательство над ней.

И я — как жизнь: весь — скорбь, весь близость
К тебе, готовый вновь расцвесть...
А ты — как смерть: вся — зло и низость,
Вся — бессердечие и месть.

1908. Октябрь

Триолеты

Вы знаете осеннюю весну
Своей любви унылых увлечений,
Своей души сонливых пробуждений, —
Встречали ль вы осеннюю весну?
Какая ширь стыдливых сновидений!
Какая пропасть к огненному сну!
Ценили ль вы осеннюю весну,
Весну своих бесплотных увлечений?
Улыбок нет. Живительные слёзы
Одни поят измученную грудь.
Тогда... тогда о страсти позабудь.
Улыбок нет: их захлестнули слезы.
Грезь, только грезь, — заменят чувства грезы,
Тебе себя удастся обмануть...
Улыбок нет. Мечтательные слёзы
Одни поят истерзанную грудь...

1908. Июнь.
Лигово

Любовь —

Любовь — это сон в сновидении...
Любовь — это тайна струны...
Любовь — это небо в видении...
Любовь — это сказка луны...
Любовь — это чувственных стран душа...
Любовь — это дева вне форм...
Любовь — это музыка ландыша...
Любовь — это вихрь! это шторм!..
Любовь — это девственность голая...
Любовь — это радуга снов...
Любовь — это слезка веселая...
Любовь — это песня без слов!..

1908. Ноябрь

Твой домик...

И. Д.

Твой домик затерян в уснувшем лесу,
Где речки капризны извивы.
Утрами ты любишь смотреть на росу —
На слезы тоскующей ивы.

Мой угол — где улицы, ругань и шум.
Оградой от них подоконник,
Где роза улыбкой чарует мой ум.
— Ты — ивы, я — розы поклонник.

1908. 12 окт.

Стансы

Скорбишь ли ты о смерти друга,
Отца любимого ль, сестры, —
Утешься, добрая подруга,
В возмездье веруя поры.
Нет в мире вечного биенья,
Нас всех удел единый ждет.
Поддержку черпай в изреченьи:
"Со смертью мира смерть умрет".

1907

Рондо

О, не рыдай над мертвым телом
И скорбь свою превозмоги:
Душа ушла в порыве смелом
Из мира мрака и тоски.
Не плакать, — радоваться надо:
Души счастливый переход —
Не наказанье, а — награда,
И не паденье, а — восход.
О, не рыдай над мертвым телом,
Молись за вознесенный дух,
Над прахом же осиротелым
Не расточай души: он глух.
Нет, не рыдай над мертвым телом...

1907

Жизнь считаешь ли...

Жизнь считаешь ли бесполезною,
Утомилась ли ты, скиталица, —
Не кручинься, моя болезная,
Крепни духом, моя страдалица.
Небеса, — смотри, — как лазоревы;
Видишь зорьку в них, в даль манящую.
Приласкали бы, хотя зори вы,
Душу чуткую и скорбящую.

1907

Грезы Миньоны

Памяти сестры *Зои*

Знаешь рощ лимонных шорох,
Край огнистых померанцев?
Сколько песен, сколько танцев
Там в лесах, морях и горах.

Там, как песни, звучны краски,
Там, как краски, сочны песни...
О, душа моя, для ласки
И для жизни там воскресни!..

1908. 21-го окт.

Ласточки

Дуэт из "Mignon"

Миньона

Вы, ласточки-касатки,
Туда летите вдаль,
Где взоры женщин сладки,
А зубки — как миндаль;
Где щечки — абрикосы,
А губки — как коралл,
Где круты гор откосы,
Где все поет хорал.

Лотарио

О, ласточки-летуньи,
Туда летите вы,
Где встретят вас певуньи
В просторе синевы.
Мгновенья счастья кратки,
Всем горе даст медаль...
О, ласточки-касатки,
Летите ввысь и вдаль!

1909. Июнь.
Мыза "Ивановка"

Ко дню рождения

Я пришел тебя поздравить
С новым годом дней твоих:
Приласкай же, как ласкала
В пору радостей былых.
　　Улыбнись былой улыбкой,
　　Что душе моей мила.
　　О, какое бы мне счастье,
　　Улыбнувшись, дать могла!
Улыбнись же снова, детка,
Птичка, звездочка души,
Поцелуй любовно, сладко,
Слово нежное скажи.
　　И тогда тебя поздравлю,
　　По примеру лет былых,
　　Не со счастьем, а с терпеньем —
　　Грустной старью дней твоих.

1908

Лепестки роз жизни

I. Встреча

Сонет

Мы встретились холодною зимою
В селении, заброшенном в снегах,
И поняли: пришел конец покою —
Любовь опять забрезжилась в сердцах.
Я видел Вас всегда в своих мечтах,
И были Вы любимою мечтою.
— Я Вас люблю, — так думал я порою;
Что любите, — читал у Вас в глазах.

Любовь опять забрезжилась при встрече;
Смотрите: разрастается она,
Свободна, как могучая волна.
Весна зовет желания на вече;
Я знать хочу: что скажет им весна?
Какие им она нашепчет речи?

С.-Петербург.
Январь. 1906 г.

II. Никогда, никогда

Ты сказала: "Пойдем мы с тобою туда,
Где впервые увиделись мы".
И пошли мы с тобой. И вела нас мечта
К лету знойному, вдаль от зимы.

Все твердил, что люблю. То же слышал в ответ.
Ручку нежно целуя твою,
Я тебе говорил, мое солнце, мой свет,
Что к тебе в своем сердце таю.

— Нам дорогой одной никогда не идти, —
Ты со вздохом сказала, грустя.
— Отчего же двум розам вблизи не цвести,
Лепестками — "люблю" шелестя?

Дорогая, скажи: что разлучит с тобой?
Я бороться хочу: силы есть.
— Позабудь поскорей, как холодной зимой
Повстречались... Разлучница — честь.

Что я сделать могу, чтобы честь сокрушить?
Да и стану ль ее сокрушать?..
Но тебя буду вечно и нежно любить,
И надеяться тщетно, и ждать.

Но тебя позабыть... Что за тяжесть труда!
Да и зря! — не могу позабыть.
Будь моей! будешь? да? — "Никогда! Никогда!
Не могу никогда твоей быть!"

— Почему? но послушай: мне больно... пойми:
Я страдаю... скажи, почему?
Отвечай поскорей, мне души не томи. —
"Хорошо, я отвечу: к чему?"

— Как к чему?.. я люблю тебя страстно, хочу
Обладать тобой. Молви же: да. —
Но напрасно в мечтах я высоко лечу —
Мне в ответ: "Никогда, никогда!"

О, скажи: отчего холодна ты со мной?
Ты призналась, что любишь меня...
Так обнимемся ж крепко и жарко с тобой,
Поцелуемся жарче огня.

В поцелуях найдем мы усладу. Скорей!
Ну, не будь холодна и тверда...
Приласкай понежней, поцелуй горячей,
Будь моей! — "Никогда, никогда!"...

С.-Петербург.
Январь. 1906 г.

III. Одно из минувших свиданий

Мы с тобой говорили, с любовью смотря
Друг на друга, о наших невзгодах.
И алела любви безрассудной заря
И вещала о солнечных годах.

Приоткрыла мне сердце. Я видел, что в нем
Только с честностью правда да горе;
И, что это я видел, ты знала о том
В моем грустном, доверчивом взоре.

Ты меня понимала, как берег волну,
Что порою несет ему ласки,
И любила меня, словно роза весну,
Словно грезы — волшебные сказки.

Грусть ковала сердца, и хотелось — чего?
Неги? страсти? лобзаний и зноя?
Разумеется, нет: не хотя ничего,
Мы с тобою хотели покоя.

Позабыться хотели от горя и лжи,
Удалиться хотели в пустыню,
Чтобы отдых найти для усталой души,
Чтоб забытую вспомнить святыню.

Молодые сердца бились звучно, и в них
Столько удали было и силы,
Столько чувств вдохновенных и чисто святых,
Что молчать нам немыслимо было.

Твои губы внезапно обжег поцелуй.
Ты зарделась: он огнен и жуток.

Это я, пылкой страсти своей златоструй,
Потерял на мгновенье рассудок.

Но встречает препоны неопытный шаг,
А затем уж свободна дорога;
Мы с тобой целовалися много...
О, порыв! Что за чудный, волшебный ты маг!

Лишь утихла, как все и должно утихать,
Страсть, что вспыхнула яркою искрой,
Мы с тобою печальны и сонны опять,
И ничтожны пред жизнию быстрой.

С.-Петербург.
17-го февраля 1906 г.

IV. Триолет

Зачем ты говорила: "Никогда",
Когда тебя молил я быть моею,
        И, чувство обмануть в себе сумея,
Зачем ты говорила: "Никогда"?
        Теперь ты говоришь: "Твоя всегда",
        И до сих пор понять я не умею:
Зачем ты говорила: "Никогда",
Когда тебя молил я быть моею?

1906

Элегия

Я ко всему тебя ревную
        И — страдая —
Все печалюсь, все тоскую,
        Дорогая.
Все сомнения терзают,
        Сушат душу;
Голос тайный напевает:
        "Все разрушу"...
Тайный голос, страшный голос,
        О, проклятый!
И сгибаюсь, словно колос,
        В поле сжатый.

1906

Царевна Суды

Помню я вечер — все в слёзах деревья:
Белой вуалью закрылась земля;
Небо бесцветно. Сижу я над Судой,
Шуму вод чистых с любовью внемля.

Лодка на якоре; в центре я русла;
Жадно смотрю на поверхность реки;
Там, под поверхностью этой стальною,
Мнятся мне пальцы прекрасной руки.

Пальцы зовут меня нежным изгибом;
В грезы впадаю... Пред мною дворец;
Нимфы, сирены несут меня ко дну;
Перед царевной встаю, наконец.

Эта царевна — из Суды русалка:
Бледное тело, и в страсти глаза;
Губы — магниты; широкие груди;
Нежно-волнисты ее волоса.

Взгляд ее манит... Одно лишь движенье —
Новый оттенок велит отступить...
Новые взоры, и — новые чувства:
Хочется плакать, сердиться, любить...

Судская дева мне все ж недоступна,
Хоть и играет порою огнем.
Я очарован, озлоблен и жажду
Думать о призрачном счастье своем.

Я забываю, что я ей не пара,
Что создана она не для меня:
Я — сын свободы, она — дочь неволи:
Мы ведь контрастней воды и огня.

Я постепенно от грез пробуждаюсь,
Снова мечтаю, теченью внемля.
Небо бесцветно; все в слёзах деревья;
Белой вуалью закрылась земля...

Порт-Дальний.
6-го августа 1903 г.

Обманщица-весна

Ты, помнишь, мне в письме дала такой вопрос:
"Что принесет с собой весна? — печаль и горе,
Иль радость светлую без зла житейских гроз,
Широкую, как степь, безбрежную, как море?.."

Я промолчал тогда, предчувствуя вперед,
Что принесет с собой весна, — цветов царица, —
Я промолчал тогда и ждал, когда черед
Зиму-кудесницу заставит в страхе скрыться.

...И вот весна пришла... Ты счастье получила:
Она тебе его в подарок принесла.
А мне, хотя она могилу посулила,
Но до сих пор ее еще все не дала...

Порт-Дальний.
Сентябрь 1903 г.

Несбыточный сон

Ты снилась мне прекрасной, как всегда,
Способной понимать мои страданья.
Я шел к тебе, я звал тебя туда,
Где наяву прекрасно, как в мечтаньи.

Я звал тебя, но зов мой умирал,
Меня за дерзость страшную карая;
Преступник я; тебя я в мыслях звал
Любить в пределах Божеского Рая.

...О, если б Он воздал за муки мне
Твою любовь, хотя за крышкой гроба, —
Моя душа нашла б покой вполне
От мысли — мне смешно! — "мы любим оба..."

Порт-Дальний.
7-го декабря 1903 г.

Безотрадная жизнь

Шесть месяцев прошло уж с того дня,
Как... но зачем?.. Нам то без слов понятно.
Шесть месяцев терзаний для меня
И впереди немало, вероятно...

И впереди немало сердца мук;
Подумать страшно, — страшно и ужасно...
Я верю, что любовь моя не звук —
Она безмерна, истинна и властна.

Я верю, что любовь моя — вся власть:
Она неизмеряемая сила...
Та сила меня рушит. Скоро пасть
Под тяжестью я должен... Жди, могила.

Любовь — причина горя и тоски:
Начало слезы, под конец молчанье...
Молчанье статуи, тупое... Столбняки,
Бесчувствие — последствия страданья.

Ужасные последствия... Жизнь, как сон,
Растительная жизнь; мысль без сознанья.
Нет больше слез... Стена со всех сторон
Из тупости, а я... я в этом зданьи...

Я в зданьи тупости... И я ... я тоже туп...
Я отупел... О, Боже справедливый!
Нет больше слез... Я мучусь, но я груб...
И муки грубы... тени нет красивой...

И чувства грубы... Но уж чувств-то нет...
О, что со мной...

Порт-Дальний.
28-го октября 1903 г.

Письмо

— "Ну, что ты делаешь?" — ты говоришь
в письме...
Как тяжело давать ответ мне, дорогая.
Сплошной туман в моем измученном уме,
И в жизни многого уж я не понимаю.

Я познакомился и с горем, и с нуждой,
С житейской прозою в мучительной разлуке,
Я ослабел своей весеннею душой;
Глубоко грудь болит, мои бессильны руки.

И в жизни цели нет, ни жажды, ни борьбы...
Все рухнуло... Ну чем я лучше автомата?
Проклятья грозные пришли сменить мольбы...
Сестра моя, мой друг, о, дай поддержку брату.

О, подбодри меня на трудный жизни путь,
О, приласкай меня, в дорогу отправляя!
А там, измученный, пойду я как-нибудь
Туда, куда ты мне прикажешь, дорогая...

1905

Сердцу — сердце

(I — II)

1. Элегия

Моими слезами земля орошена
На мысе маленьком при речке быстрой устьи.
Есть там высокая тоскливая сосна,
Есть в песне дерева немало нежной грусти.
Моими грезами впервые создана,
Запечатлелась ты в нежизненном убранстве;
И та высокая тоскливая сосна —
Моя любовь к тебе в священном постоянстве.

1907

2. Стансы

Ты подошла к волнуемой струями,
Ласкаемой туманами реке;
С раскрытыми отчаяньем зрачками
Ты вспомнила о ком-то вдалеке.
Там кто-то плыл куда-то в мглистой дали,
Кольнула сердце чья-то вдруг тоска.
Застыла ты... Деревья застонали.
Вздохнула ночь. Заплакала река.

1907

3. Рэфрэны

Держу ли путь зимою в снежном поле,
Плыву ли я в ладье морскою синью,
Мне грезятся мечи щемящей боли
Ее бездонных серых глаз унынья.

Я чувствую, что в этом злобном мире,
В трясине лжи, как смерть, всегда один я;
Что буду петь всегда на слезной лире
Ее бездонных серых глаз унынье.

1907

4. Река поет...

Река поет... Порог, обросший мохом,
Как я, угрюм, тосклив и одинок;
Камыш дрожит с печальным тихим вздохом,
Когда его тревожит мой челнок.

Ночь грезит солнцем... Ширь реки мелодий
Чарует ночь и грезящих людей.
Ночь кончит жизнь при солнечном восходе,
Как я, решась назвать тебя своей.

1907

Триолет

Бывал ли ты в лесах полей —
        Лесах цветов?
Что — голубее? Что — алей?
Все так пестро в лесах полей...
Я хохочу. Я петь готов,
И даже жить мне веселей,
И я пою леса полей,
        Леса цветов.

1909. Июль.
Мыза "Ивановка"

Звено любви

Я разрубил докучный узел, —
И оборвалась наша связь.
Я взмахом этим счастье сузил
И ураганом поднял грязь.

Не измеряй мой шаг позорный
И не ищи любви звена!
Подъем души моей нагорной
Замедлит страшная вина.

1909. Май.
Мыза "Ивановка"

Не верь...

Не верь, не верь, обманутая мной
                                        Весной
                                    Однажды,
Не утоляй моей порочной жажды.
Пусть стон души, стон каждый
                Звучит свирелью кровяной:
                Не верь, обманутая мной.

Не верь, но жди. Приду — гони, но верь.
                                        Измерь
                                        Мученье.
Мне сладким будет в скорби заточенье,
И пусть твое презренье
                Откроет в злое сердце дверь.
                Не верь, не верь... Приду, — поверь.

1909. Май.
Мыза "Ивановка"

Сказанье ночи

Л. А.

Мне ночь говорила сказанья,
Я смутно ее понимал
И, в бешенстве, все достоянья
Грядущего дня изломал.

Не верил я лживым посулам
Врага — обольстителя — дня,
Пьянея раздольным разгулом,
Рассудок пороком дразня.

Не верил. Но только с зарею
Блеснуло мне солнце, я — вновь
Овеян горячей игрою
Лучей, где сияет любовь.

Уходит с улыбкой презренья
Любовница хитрая — ночь.
Прости меня, день, за сомненья
И мщеньем себя не порочь!

1909. Май, 4.
Мыза "Ивановка"

Мне весело грустить...

Мне весело грустить о звонких трелях,
        О майских кликах,
Когда мы просыпались при свирелях
        В лазурных бликах.

Как были хороши тогда улыбки
        На лицах светлых!
Так часто серебрятся в речке — рыбки,
        И росы — в ветлах.

1909. Март

Прошли года...

Тебя мне встретить не хотелось бы,
Когда расстались мы в грозе.
— Живя в избе, я не хотел избы, —
— Слеза растопится в слезе. —

Прошли года. Любовь — забава нам.
И вот опять хочу твой взор.
— Кто шевелился ли под саваном?
— Кто передал ли грез узор?

1909. Июнь.
Мыза "Ивановка"

Фантазия

Был взгляд ее надменен
И черен, как порок.
Я знал, что слаб и пленен,
Когда скрипел порог.

Бывало: вечер сонен,
Вуалится туман,
Я вижу облик Сонин,
Неясный, как обман.

Придет и сядет: "Здравствуй".
Угрюм я: "В чем нужда?"
— О, милый, не коварствуй,
Что я тебе чужда.

Невольная улыбка
Раскружит губы мне,
Мечта нырнет, как рыбка,
В сердечной глубине.

А дева сладострастно
Прижмется — и возьмет,
Но как — и мне неясно...
Кто знает? кто поймет?

1909. Май.
Мыза "Ивановка"

Не понять

Отчего ты, дорогая, так ко мне несправедлива?
Отчего ты не простила? не сказала ничего?
Отчего не улыбнулась примирительно-
                                        стыдливо?
        Отчего же, дорогая? отчего?

Что люблю в тебе — ты знаешь, как люблю
                                  — тебе известно, —
Почему же мы расстались и обязаны чему?
Наша страсть неудержима, мы сплелись друг
                                       с другом тесно,
        Почему ж ты не вернешься? почему?

Ты страдаешь одиноко, я страдаю перед всеми,
Мы не можем жить в разлуке, но не можем
                                           — и вдвоем.
Что за странное проклятье нашей страсти
                                           скрыто в сем?
        Никогда, — о, никогда! — мы не поймем...

1909. Июль.
Мыза "Ивановка"

Дина

Тридцать весен встречала она,
Отдавалась бесстыдно не раз,
Но была ли хоть раз влюблена,
Влюблена от души, без прикрас?

Отчего так ее я хотел?
Я ведь в ней не нашел ничего,
Кроме жажды познания тел.
Но ее я хотел... Отчего?

Эти шелесты, краски, духи
Опьяняли меня, как толпа,
Распевала Баркова стихи
И была невозможно глупа.

А в дурманной ее красоте,
В дерзких ласках ее и словах
Мой рассудок терялся в правах,
И... сияла она в высоте...

Ноябрь

Зина

Кроткая, ленивая, ласково-покорная,
Скромно-миловидная пошлая мещанка
Не могла увлечь меня вялая, повторная,
В каждом проявлении — скучная шарманка.

Но любил я за город, сев в купэ уютное,
Ездить к ней, затерянной в деревушке малой,
И о ней осталося чувство мягко-смутное,
И о ней с улыбкою вспомню я, пожалуй...

1909. Ноябрь

Триодиссона

Но почему так ясны ясени,
Когда ветрит дыханье осени,
Когда в прудах цветенья плесени?

И почему рябины кисточки
Пугают взоры быстрой ласточки,
На юг завеерившей перышки?

Не потому ли пред кончиною
Ты, человек, гора песочная,
Меняешь бренное на вечное?

1909. Июль.
Мыза "Ивановка"

Nocturne

П. Г. Гаврилову-Лебедеву

Кто был со мною
Вчера при звездах,
Когда сырели
Ковры полей?
Кто цвел луною?
В чьих взорах-гнездах
Сверкали трели
Во тьме аллей?

Была ль загадка
Для сердца ясной?
Быть может, смутно
Я знал был: с кем?
И чья палатка
С каймою красной,
Дрожа уютно,
Звала зачем?

Почем я знаю!
Зачем мне нужно! —
Будь это призрак,
Будь то живой...
Но я страдаю...
Мысль безоружна...
О, ты, кто близок,
Чаруй собой!..

1909. Июль.
Мыза "Ивановка"

Голосок

Голосок, как колокольчик,
Зазвонил любви слова,
И от гула у поэта
Закружилась голова.

Все могло бы быть так мило,
Но разбито пустячком:
Голосок, твой колокольчик,
Вяло двигал язычком.

Ну и вышло очень скучно...
Голосок, ты — дурачок:
Тем приятней колокольчик,
Чем резвее язычок...

1909. Октябрь

А все вместе...

Голосок твой — серебристый колокольчик,
А глазята — лиловатые прудки...
Уст жемчужные улыбки — коротки,
И не счесть твоих волос веселых кольчик.

Губки? губки — две пушистые малинки,
И чело — равнина снежной чистоты.
Брови? брови — это в мир чудес тропинки,
А все вместе... а все вместе — это ты!

1909. Октябрь

У горошка

Там, где кружатся кузнечики
У душистого горошка,
Поцелую крошку в плечики,
Засмеется тихо крошка.

Обоймет руками смуглыми,
Расцелует прямо в губы.
Над прудами влажно-круглыми
Нам свиданья эти любы.

1909. Июль.
Мыза "Ивановка"

Но зачем?..

И в каштановых волнах прически,
И в бутоне прищуренных губ
Мне сквозят голубые наброски,
Что влюблен и, мне кажется, люб.

Но зачем бирюзятся зигзаги
Этих ясных, доверчивых глаз:
Избегают ли ясности влаги,
Или прячут свой девственный сказ?

1909. Март

Любить ради любви

О, если б ты умела
        Любить ради любви,
И мне сказала смело:
"Мужайся и живи".

Я стал бы жить, пожалуй,
Свободней и живей...
О, друг мой, мозг усталый
Мне ласкою овей.

Но ты в ответ немела,
Был сон в твоей крови...
Нет, нет, ты не умела
        Любить ради любви...

1909. Май.
"Мыза Ивановка"

Увидь...

Увидь меня близким и любящим,
Под ветхим, изодранным рубищем,
Дай слезы мои с твоим хохотом слить.
Ты видела гордого, смелого, —
Увидь же теперь запустелого...
Увидь...

1909

Они поют

Миньонет

Они поют, вершины эти,
Они поют, они поют!
Они тоскуют о поэте
И обещают свой приют.
Я слышу в липовом дуэте
Мечте обещанный уют.
Они поют, вершины эти,
Они поют, они поют...

1909

Как кошечка

В ее устах томилася малина,
В ее глазах смеялись васильки,
А по ночам синели угольки...
Она была изящна, как Филина.
Она была — как кошечка. "Кис-кис",
Хотелось ей сказать, ее лаская.
В ее фигурке хрупкость восковая,
В ее душе — величие Балькис.

1909

Любила

Любила... Но что это значит?
Да, что это значит — любила?
Откуда узнал я? Не знаю...
Но знаю, что это так было.
Мы счастливы были... Что значит —
Мы счастливы были? Пойми-ка!
Но помню: при ней — жизнь и солнце,
А нет ее — жутко и дико...

1909

Женщина в тюльбэри

Она приезжала ко мне в голубом тюльбэри,
Когда утомленное солнце сменялось луною.
Встречал ее конюх, приняв от нее: "Убери".
Она поспешала скорей повидаться со мною
И быстро взбегала, заставив шептаться батист,
На темный балкон, проходила поспешно вдоль зала
И — в мой кабинет. Улыбалась, как тонкий артист...
А сердце любило, хотя о любви не сказало!
Стихала в дверях. Я перо оживлял за столом,
Рисуя мгновенье... Глаза наслаждались глазами...
Затем подходила, склоняясь высоким челом,
И я целовал ее губы, сверкая слезами.
Мы с ней говорили немного: зачем нам слова,
Когда мы сольемся в молчаньи чудесней и краше?
Я пил эти губы... Она успевала едва
Наполнить их страстью и вновь подносила, как чаши...

1909

Все глуше парк...

А. И. Лопатину

Все глуше парк. Все тише-тише конь.
Издалека доносится шаконь.
Я утомлен, я весь ушел в седло.
Май любит ночь, и стало быть — светло...
Я встреч не жду, и оттого светлей
И чище вздох окраинных аллей,
Надевших свой единственный наряд.
Не жду я встреч. Мне хорошо. Я рад.
А помнишь ты, усталая душа,
Другую ночь, когда, любить спеша,
Ты отдавалась пламенно другой,
Такой же пылкой, юной и родной?
А помнишь ты, болезная моя,
Какой голубкой грезилась змея,
Как обманула сердце и мечты?
Нет, не могла забыть той встречи ты.
Май любит ночь, и стало быть — светло...
Качает сон, баюкает седло.
Блуждает взор меж лиственных громад.
Все глуше парк, — все тоньше аромат...

1910

В августе

Есть в тихом августе, мечтательном и кротком,
Такая мягкая, певучая печаль,
Так жаль минувшего, мелькнувшего в коротком,
Что сердце просится: "К забвению причаль".
Мне вспоминаются, туманны и бессвязны,
Обрывки августов, их встречи, их уход...
И для души моей они однообразны,
Как скалам озера — проплывший пароход...

1909

Самообман

Я писал ей вчера, — робко, слезно просил,
Если можно, зайти вечерком —
Потому что забыт, потому что нет сил,
Потому что я плачу тайком.
И я знал, что она приласкает, я знал,
Что не будет фальшивым порыв.
Ах, от сердца письмо — это к счастью сигнал,
На него не ответить — разрыв.
... Не пришла, — побоялась... Чего же, чего?
Откровенно любить и ... спасти?
Душно... слезы... люблю... все пройдет... ничего...
Пошутила... ошибся... прости...

1908

Я иду...

В глубь извилистой тропинки
Я иду из пустоты
Поля снежного. Цветы
Мая сердца пьют росинки.
Грезы вьются, как снежинки,
И снежинки, как мечты.

Я иду в дремоту леса
Бредить сказкою небес,
Сказкой той, что бредит лес,
Как невинная принцесса.

День был хмур, угрюм и гневен;
Ночь спустилась на поля;
Звезды — точно рой царевен,
А рабыня их — земля...

1908. Октябрь.
Спб.

Ландшафт

Глушь, северная глушь — как скорби изваянье —
Способна вдохновить немало горных душ
И залечить порыв душевного страданья.
Глушь, северная глушь.

Снег бледный, как лицо покойника, холодный...
Со дня рождения он — старец, словно век:
Такой же он немой, осмысленно бесплодный,
Бездушный, бледный снег.

И в снежных берегах стеклянное теченье
Чарующей раздолием реки...
О, если б знала ты, как эти впечатленья
Душе моей близки!

1907. Февраль.
Мыза "Ивановка"

Жажда жизни

Жизни — в полном смысле слова!
Жизни дайте, — умоляю.
Вихря жизни! Жизни снова!
Жизни, жизни я желаю!
Задыхаюсь... Жизни больше!
Жизни, сколько капель в море.
Жизни бездну! Жизни столь же,
Сколько в мире зла и горя!..

1903. Порт-Дальний.
Квантун

Сонет

В томящих сумерках увидел этот свет,
В томящих сумерках влачил существованье...
Никто не понимал души моей страданья,
Никто на мой вопрос мне не давал ответ.
Живу немного я, но в веренице лет
Томящих сумерек я знаю прозябанье;
Блестящих, ясных дней не помню я сиянья;
И были ли они? ...теперь их больше нет,
О, скорбь души моей, мятущейся, бессонной,
В томящих сумерках заглохшей и больной,
Как ненавистен мне твой облик бледнотонный,
Безгранно близкий мне, до странности чужой...
В томящих сумерках вступал на путь земной,
Услышу в сумерках напев я похоронный...

1907. Апрель

Страдать...

Страдать, страдать... Но это ведь ужасно. —
Вчера, сегодня, завтра и — всегда.
Страдать — как жить: вседневно, ежечасно...
Иль разом никогда...

Пусть разум мой решит, — есть два исхода:
Коль жить нельзя, зачем существовать?
Нет, нет. Во имя светлого восхода
Рискну еще страдать!

1907. Апрель

Мне тяжело

Мне тяжело. Унынье без просвета,
Когда-то в сердце светлое легло.
Душа моя любовью не согрета.
Мне тяжело.

Мне тяжело. Не надо мне причины. —
Пусть в жизни мне упорно не везло,
Пусть я погряз в болоте злобной тины, —
Мне тяжело.

Мне тяжело. Что с сердцем — сам не знаю,
Теченьем жизни радость унесло,
И что надежду в счастье я теряю —
Мне тяжело.

Ушедшая весна

Лазоревые цветики, порхающие ласточки,
Сияющее солнышко, и небо, как эмаль.
О, дни мои прекрасные! О, дни мои счастливые!
Как вас вернуть мне хочется! Как искренне вас жаль!
Далекое! минувшее! высокое! волшебное!
Красавица, будившая любовь в душе моей.
Улыбки, слезы чистые, молитвы и рыдания.
О, радости бывалые! О, бури вешних дней!
Где вы, брильянты юности? Зарницы грез пленительных?
Любовь благоуханная? Чарующие сны?
Где ты, моя желанная, божественная, светлая?
О, где ты, вдохновение умчавшейся весны?!

1906

Стансы

Не высказать ничтожной речью
Величья ледяной тюрьмы.
Но, друг мой, сколько красноречья
В молчаньи северной зимы.

Не описать бесцветным словом —
Как жизнь прекрасна и ясна,
И сколько счастья, друг мой, в новом
Краю любовно даст она.

Мелодии "идеальной идиллии"

I

Элегия

Шумит, шумит падучая стремнина;
Бежит, бежит зеленая волна;
А я стою в раздумьи у плотины,
И ночь, как я, тоской упоена.
Мой взор плывет на водные равнины
В тумане слез; но мысль моя ясна
И глубока — как шумная стремнина,
И рвется вдаль — как звонкая волна.

Летят, летят и месяцы, и годы;
Живут, живут бессчетные века
Всегда везде несчастные народы,
И их удел, как всех людей, — тоска.
Живут — грешат пигмеи, исполины;
Но час придет, — и доля всех равна —
Как брызги волн, что мечет вширь стремнина,
И — как волне беспечная волна.

1908

II

Ты, вероятно, помнишь...

Ты, вероятно, помнишь, да и забыть
могла ли,
Хотя бы и старалась навеки позабыть
Те вечера и ночи, когда с тобой мечтали —
И как с тобой мечтали счастливыми мы быть!

Ты, вероятно, знаешь, да и не знать
возможно ль,
Хотя бы и хотела ты этого не знать, —
Что я виной несчастью... Но ты-то, ты
тревожно ль
Относишься, что стражду и буду впредь
страдать?

Ты, вероятно, веришь, да и не верить
странно,
Хотя бы и не верить отраднее подчас, —
Что встреча наша мною так пламенно желанна,
Что этот час — прощенье, а нет — мой
смертный час...

1908

Дуэт душ

Как арфа чуткая Эола
Поет возвышенный хорал, —
Моя душа пропела соло,
Рассвету чувства мадригал.

Тобой была ли песня спета,
Споешь ли песню эту впредь, —
Не мог дождаться я дуэта
И даже мыслил умереть.

Но я живу... С тех пор красиво
Мной спето много песен дню;
Лишь песнь рассвету чувств ревниво
Я в тайнике души храню.

Я увлекался, пел дуэты,
Но вскоре забывал мотив,
Мелодий первого обета,
Страданий первых не забыв.

Сестре раскрылася могила
В июньской шелковой траве,
И сердце мне захолодило
Предчувствие, что будут две.

Уйду... и скоро, веря свято,
Что ты над грудою песка
Споешь мотив, тоской объята,
И будет долгою тоска.

Но возрождением мотива,
Хотя и поздним (ну, так что ж?..),
Ты беззаботно и счастливо
В эдем прекрасный перейдешь.

И там душа — раба обета
И чувства первого раба —
С твоей сольется для дуэта,
Как повелела ей судьба.

1907

Ты вошла...

Ты вошла в кабинет неожиданно,
Упоительно снова обрадовав...
Твое сердце давно мной разгадано,
Но тобой его тайна не выдана.

Рассказать ли про все, что мной видано?
Рассказать ли?.. Но лучше — не следует,
Часто море кипенья не ведает,
А глядишь — вспыхнет шторм неожиданно.

1909. Декабрь, 6

Летом

Студеной синью блещет озеро,
Знобя полдневные лучи.
Рой бархатистых пчелок, к розе рой
Стремясь, гуторит, как ключи.
Над малахитовую лужею
Жужжит комар, заворожен.
Мой жаркий взгляд щемящей стужею
Твоих очей расхоложен.

1909

Не будет опять...

Ты всегда с голубыми очами
Приходила ко мне ночевать...
Это было так сладостно-больно,
Но не будет, не будет опять.
И порхали мгновенья-стрекозы,
Приседая к заре на цветок.
Мы любили, хотели друг друга...
Ты близка, но теперь я далек.
Да, не ты далека: ты все та же,
Как желанье, покорная мне...
Это было так сладостно-больно,
Это было всегда при луне...

1909

Отчего?

Отчего снег бесследно пропал,
И ручьи отчего потекли?
Отчего соловей засвистал,
И цветы отчего зацвели?

Отчего лес оделся в листву,
И влечет меня зелень его?
Отчего я дышу и живу
Так привольно?.. зачем? отчего?

Отчего так внезапно весь мир
Пробудился от долгого сна?
— "Оттого", — прошептал мне зефир,
— "Оттого, что настала весна".

1904

Заря Воскреса

Воскрес любви зарей Воскреса!
Я, умиленный без мольбы,
С зарею жду Господня взвеса
Моей трагической судьбы.

Оркестр любви — в груди, как прежде,
И вера — снова лейтмотив.
Я верю блещущей надежде,
Что ты вернешься, все простив.

Я спать не лягу в ночь святую,
И до зари колоколов
Я буду ждать тебя, простую,
Мне все сказавшую без слов.

Едва блеснет на небе марта
Воскресный луч, воскресный диск,
Предскажет сердце, точно карта,
Что наступил последний риск.

И грянут гимн во храмах хоры,
И запоют колокола,
Зовя на солнечные горы,
Где высь близка и весела.

Я буду знать, внимая пушке,
Что Он незримо снова тут,
И лица в праздничной опушке
Природы раньше расцветут.

Я подойду тогда к воротам
И распахну их широко,
И ты войдешь к моим заботам,
Желая твердо и легко.

О, долгожданное мгновенье,
В святую ночь — твоя пора...
Прощен, кто верит в воскресенье
Любви, прощенья и добра!

1909. Март, 28

Ведь в двенадцать часов...

Я хотел бы тебе рассказать,
Как мне страшно в старинном дворце,
Рассказать тебе все, но молчать
Я обязан с мученьем в лице...
Но когда бы тебе рассказать!..

Ты мне можешь не верить, мой друг,
Что червями исползан покой,
Что в углу притаился паук,
Весь кровавый паук — вот какой!
Но попробуй поверить, мой друг...

А в двенадцать часов... не могу...
Не могу продолжать, извини...
Для бессмертья я смерть берегу...
Ах, зачем прекращаются дни:
Ведь в двенадцать часов... не могу!..

1909. Июль.
Мыза "Ивановка".
Дворец

Красный жасмин

— Ты меня целовала в жасмине...
— ...Одуванчик мечтал об измене...
— ...На цветах стрекозовые тени...
— ...Дай припомнить: все озеро — в тине...
— ...Подожди... Шаловливые рыбки...
—...А еще... змеи дерева крепки...
—...И... ты, помню, бледнела от счастья...
—...Как краснею теперь от бесчестья.

1909. Декабрь

Поздней осенью

Посв. К. Ф и И. Д.

Болела роща от порубок,
Душа — от раненой мечты.
Мы шли по лесу: я да ты,
И твой дубленый полушубок
Трепали дружески кусты,

От поздней осени седые,
От вешних почек далеки,
Весною — принцы молодые,
Порой осенней — голяки.
Уже зазвездились ночные
Полей небесных светляки,

Уже порядком было снега,
Хрустели валенки в снегу,
Мы шли, а нам хотелось бега
Под бесшабашную дугу.

Люблю дугою говорливой
Пугать лесов сонливых глушь!
На тройке шустрой и сварливой
Ломать кору дорожных луж!
Эх-ма... В душе моей гульливой
Живет веселый бес — Разрушь.

Эй, бес души, гуляй, найди-ка,
Найди-ка выход для проказ!
Давай посулы напоказ!
Но бес рыдал в бессильи дико,
И жалок был его приказ.

А мы все шли, все дальше, дальше,
Среди кустов и дряблых пней,
Стремясь уйти от шумной фальши,
Дыша свободней, но больней.

...Присел ты, мрачный, на обрубок
Червями съеденного пня...
Стонала роща от порубок,
Душа — от судного огня...

20 ноября 1909 г.

Терцина

Люблю в туман осенних вечеров
Мечтать с тобой в избушке в сердце леса,
Смотря на печь, на агонию дров.

Из уст моих плывет за пьесой пьеса,
Гремят пред нами оргии пиров,
Как наяву. Пятою Ахиллеса

Шагает впечатление. Нам кровь
Волнует взор то ангела, то беса.
О, сколько вечера дают даров!

И сколько чувств! И сколько интереса!
Деревня спит. Молчание дворов
Пугает нас. Глядит из-под навеса

Сквозь темноту ряд туловищ коров.
Нам тяжело от тяжести их веса...
Восток далек. Пора под звездный кров.

В постели мы. Но долго поэтесса
Еще нам шепчет много тайных строф, —
И в них я — принц, а ты — моя принцесса.

1909. Ноябрь

Тебе я верю иногда...

Ты, может быть, меня и любишь,
Я в это верю иногда,
Но никогда не приголубишь
И не отдашься никогда.

Ты никогда мне не раскроешь
Своей причудливой души,
Но от меня любви не скроешь,
Как чувство там ни придуши.

Твоя любовь — как на ладони:
Пожатье плеч, холодный тон,
Уста в прищуренном бутоне —
Все это верный камертон.

С тобой тепло, уютно, славно
Играть до утренней поры,
Твоя игра, дитя, забавна,
Но берегись такой игры!

1909. Ноябрь

Перекат I

На кладбище, на родственных могилах,
Для всех живых далекий и чужой,
В ее глазах, доверчивостью милых,
Я отдыхал усталою душой.

В ее глазах, доверчивостью милых,
Я находил забвенье и покой
И от людей вдали, людей постылых,
Я оживал под нежною рукой.

Вся жизнь моя, весь дальний путь земной —
В ее глазах, доверчивостью милых...
"О, не грусти о притуплённых силах", —
Мне голос пел, спокойный и грудной.

Я приникал — к ней, близкой и родной,
Среди крестов, на вянущих могилах,
И плакал, плакал, веря ей одной,
У глаз ее, доверчивостью милых...

1909

Осенняя элегия

Посв. *П. М. Кокорину*

Сердцу больно-больно,
Сердце недовольно,
Жалобно так плачет,
Стонет и болит.
Осень грустно-грустно,
Нагибаясь грузно,
В сад вошла, и значит —
Будет сон разлит.
Где вы, краски лета?
Скоро вид скелета
Примет сад певучий,
Теплый и цветной.
Выйду я, горюя,
В сад, и посмотрю я
Листьев дождь летучий,
Скорбному родной.

1909

Сиреневый ноктюрн

Инстассе

В твоем саду вечернем бокальчики сирени
Росою наполняет смеющийся июнь,
И сердце утопает в мелодиях курений,
И сердце ускользает в развеенную лунь.
Меня ты клонишь в кисти, расцветшая лилово,
Захлебывая разум в сиреневых духах.
Истомно отдаваясь, растаявая слово,
Тобою наслаждаюсь, целуя впопыхах...

1910. Март

Гатчинская мельница

Неумолчный шум плотины;
Пена с зеленью в отливе;
Камни — в ласке теплой тины;
Ива, жмущаяся к иве;
Государя домик низкий —
Пункт во дни его охоты —
Спит у быстрой речки близкой,
Мрачно хмурясь отчего-то;
Историческое зданье
Над рекой стоит убого;
Зданье знатно по преданью,
Стариною зданье строго;
Спеет в холоде кротекус —
Диссонанс унынья фону;
Добродушно смотрит Термос,
Встав на ржавую колонну.
Не в сверкающем чертоге
Он поставлен, — у плотины
На проселочной дороге,
Встарь, во дни Екатерины;
Вея прошлым, бюст чугунный
Выделяется в ракитах;
Он причудлив ночью лунной
В ветвях, инеем повитых;
В старой мельнице колеса
Воду пенят равнодушно.
Здесь рождаются вопросы,
В голове теснятся дружно.
Здесь, где все так элегично,
Так пустынно, одичало, —
Мысль с природой гармонична,
И для отдыха — причалы;
Здесь, где веяньем культуры
Не всколышены ракиты,
Где избушки дремлют, хмуры,
Здесь идеи не убиты.
Приходи, усталый духом,
Брать, изверившийся в счастье,
И лови здесь чутким слухом
В шуме вод слова участья;
Приходи, ослабший верой,
В солнце, в утренние зори,
Приходи и вникни в серый
Колорит — целитель горя.
Исцелишься от кручины,
Наберешься сил счастливых
Под глубокий шум плотины,
Под напевы ив тоскливых...

1907

По владениям Кучума

1. На Урале

Чернозем сменился степью,
Необъятною для взора;
Вдалеке синеют цепью
Разновидной формы горы.

Все покрыты травкой свежей
Скаты темного Урала;
Взглянешь вправо, влево — те же
Содержатели металла.

Много речек и потоков
Вдоль по скатам вниз стремятся,
Средь деревьев и порогов
Воды их в горах теснятся.

Там покрытые хвоею
Появились пихты, ели,

И одеждою седою
Кедры-старцы засерели.

Горы круче, горы выше;
А в горах, тесняся робко,
Льются речки; вправо ближе
Александровская сопка.

Неуклюжей пирамидой,
С виду пасмурной и темной,
Лесом изредка покрытой,
Сопка кажется огромной.

Вот и воды Сыростана
Миновали мы два раза,
Там бледнеет гладь Атляна,
А за ней простор Миаса.

Вот Ильменские отроги,
Пресноводные озера,
Те же реки, те ж пороги,
Те ж долины, те же горы.

1903. Порт-Дальний

2. Около Иртыша

Местность вкруг уныла, скучна:
Тундра, кочки и болота —
Перед взором безотлучны...
Жизнь без шума, без заботы.

Я завидую той жизни
Средь глуши в уединеньи:
Здесь не слышно укоризны,
Злого слова, оскорбленья.

Нет здесь лжи несправедливой,
Нет здесь зависти и злобы.
В этой тундре молчаливой
Веет прелестью особой.

Едем дальше. Вечереет.
Средь прибрежного камыша
Плавно льются и чернеют
Воды мутного Иртыша.

Я смотрю на эти воды,
Что текут, как будто, в мире —
Воды взяли воеводу,
Победителя Сибири.

Я смотрю, припоминая
Славный облик атамана,
Что фантазия, играя,
Создает в фате тумана.

Уж Иртыш остался сзади,
Уж тайга сменила тундру,
Спит природа вся в прохладе;
Через Обь проедем к утру.

Вкруг тайга мрачна, угрюма.
Поезд наш ползет лениво.
Царство, бывшее Кучума,
Живописно и красиво.

1903. Порт-Дальний

3. Озеро Байкал

Зеленая вода в высоких берегах,
И берега вокруг, подернутые мглою.
Вершины темных гор виднеются в снегах
И грозно высятся над чистою водою.

Какой кругом простор! Какая ширина!
Как воздух чист и свеж! Как озеро спокойно!
Какая мертвая, холодная весна!
Как дышится легко! Как сердце бьется стройно!

Святое море спит... Воды зеркальна гладь;
Местами только лед покоится на водах;
Не может сразу взор картины всей обнять,
И даль теряется вдали на неба сводах.

А в горах глухо ветр порывисто гудит;
Тоскливый шум его в ущельях замирает;
В прозрачном воздухе Святое Море спит;
При солнце северном гладь озера сверкает.

Порт-Дальний.
Июнь. 1903 г.

Ночная прогулка

Эскиз

Прозрачный небосклон Далекого Востока
Сменяет ночи тьма, мертвя собой жару.
Я шляпу легкую и плащ с собой беру,
Дышу прохладою живительной глубоко.

Вдоль улиц города, среди китайских фанз,
Коттэджей в зелени, залитых ярким светом,
Иду вперед, и родины приветом
Меня дарит знакомый мне романс.

А вкруг клокочет жизнь: гуляют пешеходы;
И рикши грязные, согнувшись до горба,
Бегут рысцой; шумят залива воды;
Да где-то вдалеке с тоской скрипит арба.

1906

Сириус

Интродукция

Ты, человек, клянущий небеса,
Клянущий землю, плаху вечной казни,
Пойми меня: о, что за чудеса —
Снега — снега — снега... И гасни... гасни...

Из цикла "Сириус"

Второй сонетный вариант

Я пристаю на легком корабле
К планете льда, сверкательной, как сабли.
Что пред моим судном все дирижабли,
Созданья рук живущих на земле?
Какой мороз! Тому, кто жил в тепле,
Не вытерпеть брильянтовых иголок,
Но я рожден на севере — я колок,
Как сам мороз, запрятанный в игле.
Встречает ночь, — светла и голуба, —
Там ночь всегда, там солнце не знакомо...
Я познаю, что я теперь лишь дома...
Я рад, я горд. Прощай, земля-раба.
Я превращу теперь в ничто корабль,
Моим безумьям верный дирижабль.

1909. Декабрь

Из цикла "Сириус"

На Сириусе

Снега — снега... Снега — снега — снега...
На них растет так тихо-тихо замок.
Иду, иду... Чуть звякает нога...
Сапфирный тон чуть льется из-за рамок.
Какая тишь! Какая пустота!
За залом зал, сияние немое...
О, лишь в таком палаццо Простота
Достойна жить, себя безлюдьем моя!
За залом зал меня рисует пол, —
Он золотисто-зеркально опалов.
Мой шаг земной тут легок, как Эол,
И каблуки звенят, как тост бокалов.
Иду, иду... Чуть звякает нога.
Снега — снега... Снега — снега — снега...

1909. Декабрь

Муза

Волнистый сон лунящегося моря.
Мистическое око плоской камбалы.
Плывет луна, загадочно дозоря
Зеленовато-бледный лик сомнамбулы.

У старых шхун целует дно медуза,
Качель волны баюкает кораблики,
Ко мне во фьорд везет на бриге муза
Прозрачно-перламутровые яблоки.

В лиловой влаге якорь тонет... Скрип.
В испуге колыхнулась пара раковин,
Метнулись и застыли стаи рыб,
Овин полей зовет и манит в мрак овин.

Вот сталью лязгнул бриг о холод скал,
И на уступ спустилась Муза облаком.
Фиорд вскипел, сердито заплескал
И вдруг замолк, смиренный строгим
обликом.

Она была стройна и высока,
Как северянка, бледная и русая,
Заткала взор лучистая тоска,
Прильнув к груди опаловую бусою.

Нет в Музе, нет античной красоты,
Но как глаза прекрасны и приветливы!
В ее словах — намеки и мечты,
Ее движенья девственно-кокетливы.

Она коснулась ласково чела
Устами чуть холодными и строгими
И яблоки мне сыпать начала,
Вдохновлена созвездьями высокими.

К лицу прижав лицо, вся — шорох струй,
Запела мне полярную балладу...
О, Муза, Муза, чаще мне даруй
Свою неуловимую руладу.

И яблоко за яблоком к устам,
К моим устам любовно подносила.
По всем полям, по скалам и кустам
Задвигалась непознанная сила.

Везде заколыхались голоса
И вскоре в мощный гимн они окрепли;
Запело все — и море, и леса,
И даже угольки в костровом пепле.

А утром встал, под вдохновенья гром,
Певец снегов с обманчивой постели,
Запечатлев внимательным пером
Виденья грез в изысканной пастэли.

1909. Октябрь

"Она осчастливить его захотела..."

Повесть

> Любовь к женщине! Какая бездна тайны!
> Какое наслаждение и какое острое,
> сладкое страданье!
>
> *А. Куприн* ("Поединок")

1

Художник Эльдорэ почувствовал — солнце
Взошло в его сердце высоко; и ярко
Светило и грело остывшую душу;
Душа согревалась, ей делалось жарко.

2

Раздвинулись грани вселенной, а воздух
Вдруг сделался легче, свободней и чище...
И все-то в глазах его вдруг просветлело:
И небо, и люди, и жизнь, и жилище.

3

Напротив него жила женщина... Страстью
Дышало лицо ее; молодость тела
Сулила блаженство, восторги, усладу...
Она осчастливить его захотела...

4

Пропитанным страсти немеркнущим светом
Взглянула лишь раз на него она взором,
И вспыхнули в юноше страсти желанья,
И чувства восторгов просить стали хором.

5

Он кинулся к ней, к этой женщине пылкой,
Без слова, без жеста представ перед нею,
И взгляд, преисполненный царственной страстью,
Сказал ей: "Ты тотчас же будешь моею!"...

6

Она содрогнулась. Сломалась улыбка
На нервных устах, и лицо побледнело —
Она испугалась его вдохновенья,
Она осчастливить его захотела...

7

Она осчастливить его захотела,
Хотя никогда его раньше не знала,
Но женское пылкое, чуткое сердце
Его вдохновенно нашло и избрало.

8

Что муж ей! что люди! что сплетни! что совесть!
К чему рассужденья!.. Они — неуместны.
Любовь их свободна, любовь их взаимна,
А страсть их пытает... Им тяжко, им тесно...

9

И молнией — взглядом, исполненным чувства
Любви безрассудной, его подозвала...
Он взял ее властно... Даря поцелуи,
Она от избытка блаженства рыдала...

10

Так длилось недолго. Она позабыла
И нежные речи, и пылкие ласки,
Она постепенно к нему остывала,
А он ей с любовью заглядывал в глазки.

11

А он с каждым днем, с каждым новым свиданьем,
С улыбкою новою женщины милой
Все больше влюблялся в нее, ее жаждал,
И сердце стремилось к ней с новою силой.

12

Ее тяготила та связь уже явно,
И совесть терзала за страсти порывы:
Она умоляла его о разлуке,
Его незаметно толкая к обрыву.

13

Она уж и мненьем людей дорожила,
Она уж и мужа теперь опасалась...
Была ли то правда, рожденье рассудка,
Иль, может быть, в страхе она притворялась?

14

Вернулся супруг к ней однажды внезапно.
О, как его видеть была она рада...
Казалось, что только его ожидала,
Что, кроме него, никого ей не надо...

15

А бедный художник, ее полюбивший
Всем сердцем свободным, всей чистой душою,
Поверивший в чувство магнитного взора,
Остался вдвоем со своею тоскою.

16

И часто, печально смотря на окошко,
Откуда, смотря, она им завладела,
Он шепчет с улыбкой иронии грустной:
— "Она... осчастливить меня захотела"...

1905

Их встреча

Драматическая поэметта

Зое О-вич

Она.

Что скажете?..

Он.

Все то же, что всегда:
Я Вас люблю.

Она.

Но это мне известно
И знаете, — неинтересно мне...

Он.

Пускай. Готов, как прежде, на страданье
Безмолвное; на многое готов.

Она.

На многое... О, друг мой, на словах —
Мы рыцари, а иногда и боги...

Он.

А иногда, к несчастью, мы ничто...
Но не всегда мы в этом виноваты,
И не всегда мы можем проявлять
Все мужество, весь пыл и благородство
Своей души, священной, как Синай.

Она.

Однако Вы, я вижу, вдохновенны...
Но не у всех великая душа, —
Вы увлеклись...

Он.

Нисколько. Повторяю:
Я то сказал, что я желал сказать —
Душа есть луч Единственного Духа,
Источника сиянья и тепла,
Прекрасного уже своим бессмертьем,
Которого зовем мы Божеством.
А может ли быть грязным луч — от солнца,
От Божества спускающийся к нам?

Она.

Итак, душа есть луч Святого Духа?
Согласна я; но вот что странно мне:
Как этот луч способен ослабеть,
Впитать в себя земной порок и злобу
И не сиять, а тлеть, как уголек?
Вот что меня смущает. Отвечайте.

Он.

Скажите мне: когда-нибудь в болоте
Вы видели потопленное солнце?
Не делалось ли жутко Вам? Но, взор
Направив ввысь, Вы видели... другое.
Спеша улыбку вызвать на уста
И свой минутный страх, как сон, развеять,
Вы убеждались сами, что оно,
Светило дня, корона мировая,
Не создано быть жертвою болот...
Но в плесени блуждавшие лучи —
Не правда ли, не украшали плесень?
Наоборот, озарена лучом,
Гладь мутных луж отталкивала взоры
И, остывая в предзакатный час,
Дышала ядовито и опасно,
Дурманя грудь туманом. Это так?

Она.

Все ясно мне, и это все прекрасно.
Всему виной земная оболочка,
Негодная для таинства души.
Душа всегда останется душою —
Прекрасною, лучистой и живой...
Но человек, от разума безумный,
Спешит умом святыню осквернить:
Из этого что следует? — что разум
Властней души, раз царствует порок?..
Но это не ужасно, Вы поймите,
И я права, сказав, что человек
По существу — порочен и бессилен...

Он.

О, нет! О, нет! Не правы Вы, о нет!
Поверьте мне: душа сильней рассудка.
В конце концов она восторжествует,
В конце концов возьмет победный верх.
Но весь вопрос: где только это будет —
Здесь, на земле, иль после где-нибудь?

Она.

Но солнце-то, гостящее в болоте,
Уродует его, я поняла?

Он.

Но это ведь наружное уродство...
Так видит созерцатель; между тем
Подумайте, какое бы несчастье
Произошло с болотом, если б луч
Не посещал его, собой не грея:
Болото бы задохлось от себя!
И если нас теперь оно тревожит,
В закатный час туманами дыша,
Струя нам в грудь проклятье испарений, —
То каково бы было человеку,
Когда б светило пламенного дня

Не погружало луч свой златотканый
В сырую мглу стоячих, тленных вод?..

Она.

Утомлена. Оставим эту тему:
Есть что-то беспощадное во всем,
Где разумом желаем мы проникнуть
В непостижимое и тайну разгадать.
Мы отвлеклись от главного...

Он.

От страсти
И от любви моей мы отвлеклись.

Она.

Опять любовь. Но это, право, скучно;
Хотя, хотя...

Он.

Вы любите меня.

Она.

Нет, не люблю. Однако, отчего Вы
Так думали? Ваш убежденный тон —
Я сознаюсь — меня интересует
И несколько смущает...

Он.

О, дитя!
О, девочка, с лукавою улыбкой,
Как ты мила в наивности своей!

1910. Лето. Спб.

Вторая симфония

1. Октава

Когда в апреле поля воскресли
От летаргии пустых снегов,
Элеонора смотрела в кресле
На пробужденье своих лугов —
И умирала... "А вдруг? а если?"
Хотелось верить... Как на врагов,
Она смотрела на маргаритки...
А силы чахлы... а грезы прытки...

2. Триолет

И умиравшая на литургии
По тихо канувшей Зиме, — ворон
И тьмы сообщнице, — как в летаргии, —
Княжна услышала на литургии
Напевы жуткие и похорон
Своих подробности — со всех сторон.
Княжна заплакала на литургии
По тихо канувшей душе ворон...

3. Просто поэза

Как тяжело, как грустно умирать,
Когда душа наряжена апрелем,
Когда цветет земля, дурманя прелем,
Когда леса уже не мумий рать.
Как он хорош, застенчивый шумок
Апрельских трав и веток сочно-скользких!
Как он легко запасть ей в душу мог
В садах ее владений южно-польских!
Чуть пошутить, немного поиграть —
И в этом жизнь, и в этом — водопады!
Где говорит коню подвода: "падай"?
Нигде, нигде. Так как же умирать?..

4. Финал

А сад весной благоухал... Воскресли,
Кто только мог.
Сон жизни тихо потухал,
И в кресле —
Земли комок...
Но как же так, если
Сад весной благоухал?..

1910. Апрель

Тоска Тоски

Наброски

Пуччини и Сарду

Стонет, в страданиях мечется То́ска,
Мысли расплылись, как глетчеры воска,
Взоры — безумны, в устах ее — вопли...
— Пли ему в сердце, — ей мнится: в него пли!
Марио мучают, Марио в пытке...
Скарпиа пьян, его грезы в напитке
Ищут себе упоительной злости.
Марио тяжко, хрустят его кости.
Дороги Флории призраки счастья.
...Скарпиа мертв. Но глядит без участья
Мертвому в очи страдалица — То́ска,
В сердце зазвездилась мщения блестка.
...К смерти художник готовится стойко.
Сердце часов бьется ровно и бойко,
Моется в облаке радужном зорька.
Марио плачет и сетует горько,
И призывает любовницу долго
Именем прошлого, именем долга.

В грезе далекой — былого услада.
Холодно в сердце, и в утре — прохлада.
Сколько стрел веры! о, сколько любви стрел!
Марио верит, надеется... Выстрел! —
Падает, падает... холоден, бледен...
То́ска смеется, и смех так победен.
Молча стрелявшие шествуют в крепость.
То́ска смеется: "Какая нелепость!"
То́ска склоняется к Марио: "Встань же"...
Нет, он не встанет, не Встанет — как раньше.
Ужас ужалил ей сердце... "жизнь — робость...
Пропасть — без жизни, поэтому — в пропасть".

1910. Февраль

В северном лесу

I

Поет метель над тихо спящим бором;
Мерцает луч холодных, тусклых звезд;
Я еду в глушь, и любопытным взором
Смотрю на туч волнующихся рост.

Я еду в глушь, в забытую усадьбу,
На берега играющей реки.
Мне чудится, что леший правит свадьбу,
Пируя у невесты, у Яги.

Мне чудится, что рядом пляшут бесы,
И ведьмы сзади водят хоровод;
Мне слышится в тоске мелодий леса
Порою песнь. Но кто ее поет?..

Порою смех, порою восклицанье
Мне слышатся, вселяя в душу страх.
Чье скорбное лицо встает в слезах?
Чье слышу я безумное рыданье?

Кто плачет здесь, здесь, в мерзлом царстве снега,
И почему здесь сотни голосов?
В ответ мечте я слышу топот бега
Своих коней да говор бубенцов.

II

Мне нравится унылая природа
Мне дорогого севера с красой
Свободного славянского народа
С великою и гордою душой.

Люблю леса я северных окраин,
Люблю моря и горы, и тайгу.
Я — властелин над ними! Я — хозяин!
Я там дышать и властвовать могу!

Любовь моя! Лети к простору поля,
Где я порой на паре быстрых лыж
Лечу стрелой с хвалебным гимном воле,
С беспечностью, с какой летает чиж.

Лети, моя любовь, с поклоном к лесу,
Ты соснам вековым снеси привет;
Скажи, что не завидую я Крезу,
А тем, кто может жить в расцвете лет,

Когда бывает сердце нежно, — чутко,
Когда весною веет от души, —
В лесу глухом, где так отрадно-жутко,
В любимой мною северной глуши.

Я вас пою, волшебные пейзажи,
Бегущие при трепетной луне,
И вас пою я, звезды, — ночи стражи, —
Светящие в лесу дорогу мне.

И лес в одежде цвета изумруда,
И небо шатровидное из туч.
Пою тебя, моя царица Суда,
И песни звук победен и могуч.

Пою тебя, мой лес, — товарищ старый, —
Где счастье и любовь я повстречал,
И вас пою, таинственные чары
Любви, которой молодость отдал.

На север я хочу! На север милый!
Туда, туда, в дремучий хвойный бор,
Где тело дышит бодростью и силой,
Где правду видит радостный мой взор.

Мечты мне сказки нежно шепчут хором,
Пока я тихо еду через мост.
Поет метель над тихо спящим бором;
Мерцает луч холодных, тусклых звезд.

1905. Декабрь

III. Лироирония

Колокол и колокольчик

Грузно каялся грешный колокол —
Это медное сердце собора.
Он эфир колол, глубоко колол,
Как щепу, звук бросал у забора.

В предзакатный час неба полог — ал;
Звуки веяли в алые долы...
И пока стонал хмурый колокол,
Колокольчик смеялся удало...

1909. Декабрь

Хабанера IV

Под бубны солнца, под гуд гитары,
Эксцессы оргий не будут стары,
Своим задором лишь будем стары,
Под гуд гитары, под бас гитары,
        Под солнца бубны.

Литавры солнца — вот наши лавры.
С цепей сорвутся души центавры...
Пускай трепещут души центавры,
Когда заслышат лучей литавры
        И грохот трубный.

Наполним солнцем свои амфоры,
Давая нервам вкушать рокфоры —
Весь день, весь вечер, всю ночь — рокфоры,
Смущая утром глаза Авроры
        Разгулом тела...

В кострах желаний, в безумном пекле,
С рассудком нити мы пересекли...
Но кто ж мы сами, что все рассекли?..
Не все равно ли, — скот, человек ли, —
        Не в этом дело...

1909. Декабрь

Полонез "Бравура"

Расцвел камин костром пунцовым,
        Расцвел костром.
Целую долго я лицо Вам,
        Под серебром.
Вы пунцовеете, маркиза,
        Цветком костра.
Изящна грезовость эскиза
        И так остра.
Хотите спелого дюшеса,
        Как Ваша грудь?
Люби поэта, поэтесса,
        И строфы сгрудь.
Подайте, нимфы и сирены,
        Вина, вина. —
Светлей, под винные рэфрэны,
        Волшба звена.
Бряцайте, грезовые звенья,
        Сплетаясь в цепь.
Пылайте, красные поленья,
        Как лес, как степь.
Беги, испытанный прозаик,
        В провалы ниш:
Ты не поймешь души мозаик
        И осквернишь.
Целую страстно я лицо Вам, —
        Гроза и гром!
Расцвел камин костром пунцовым,
        Расцвел костром.

1910. Апрель

Иногда...

Иногда — но это редко! —
В соблазнительном вуале
Карменситная брюнетка
Озарит мой уголок
И качнет — но это редко! —
Вы при качке не бывали! —
И качнет мечты каюту,
Пол вздымая в потолок.
Тут не вихрь — какое! — вихри!
И не шторм — какое! — штормы!
Вдруг завоют, вдруг закрутят,
Приподнимут, да как — трах!..
Ай да резвы эти игры!
Ай да резки эти формы!
Ай да знойны эти жути!
Я люблю их, просто страх!..

1909. Декабрь

Сонет-каприз

Встрепенулся звонок и замолк,
        А за дверью — загадка.
Это кто? Это ты? Как мне сладко!
Дорогая, войди... Черный шелк
Зажурчит ароматно сонату,
И конфузливо скромная складка
Вдруг прильнет к огневому гранату.

За окошком завистливый толк
Приумолк ядовито.
Это вздорно для нас... Все повито
Упоеньем... Страсть алчет, как волк...
Я пойму... ты поймешь... мы поймем...
Да, поймем, как мечта даровита,
И гранат мы иссушим вдвоем...

1909. Декабрь

Сириусотон

Н. А. Тэффи

Счастье снежинки —
Ландыша с Сирьюса —
В таяньи алом...
Будут поминки
В сердце у ириса,
Лунно-линялом...

1910. Сентябрь

Какое мне дело?!..

Какое мне дело, что зреют цветы?!..
Где вазы? Ваз нет... Не куплю ваз!
Какое мне дело! Когда созревали мечты,
"Простите, но я не люблю Вас", —
Сказала мне ты.
Сказала... Горел, но теперь не горю,
На солнце смотрю уже — щурясь.
К чему эти розы? окрасить больную зарю?
Простите, но я не хочу роз, —
Тебе говорю.

1909. Март

Поэзия мещанки

Все было поэтично в ней... хотя
Ее отец был при соборе сторож.
Уж с ранних лет нездешнее дитя
Любило снег черемуховых порош.

Став девушкой, взяла она иглу,
Питалась ею, язычком колола,
Живя в подвале, в бедности, в углу,
Спасала честь девичью от укола.

Знакомых было много. Все пшюты,
Как девушка говаривала броско,
Но появился "он", и он стал "ты", —
Расцвел пейзаж шаблонного наброска,
Но кто был он? Да царь ее мечты —
Писец с физиономьей недоноска...

1909. Июль.
Мыза "Ивановка"

В луни

Ты пела грустно, я плакал весело?!..
Сирень смеялась так аметистово...
Мне показалось: луна заметила
Блаженство наше, — и серебристого
Луча с приветом послала ласково...
Нас луч к слиянию манил неистово...
Сюда, сирены! Оставьте пляски вы!
Оставьте пляски вы, скажите сказки нам
О замках раковин, о рыбках в золоте,
О влажных лилиях, песке обласканном,
Чего вы просите, кого вы молите...
Рассейте грезы, испепелите их! —
Они сжигают, они неистовы.
Такая мука в былых событиях...
Глаза сирени так аметистовы...
Сирены, с хохотом, на маргаритки
Легко упали и сказки начали.
Позабывали мы о нашей пытке...
Твои глазенки во тьме маячили...

1910. Январь

Маленькая диссона

Да, вспоминай, как ты бродила
Лениво грубым шагом в долы,
Как тупо над рекой сидела,
Дыша уродливо-устало.

И если вспомнишь это лето,
Его стесняющие латы,
Поймешь, что часто позолота —
Как монумент аэролита.

1909. Декабрь

Ах, автор...

Она ли взяла меня? Я ли?
Забылось: давно ведь: забылось.
Но кто-то играл на рояле;
Я вспомнил рояль, — и забилось
Былым мое сердце... Дыханье
Вдруг стало и жарче, и суше...
Я вспомнил ее колыханье...
Мнет нервно она мои уши...
И стиснула зубы... И губы
Сжимает своими губами...
Ах, автор! Бесстыдно и грубо
Плясать кэк-уок над гробами.

1909. Декабрь

Знать это надо ли?

Сбываются грезы лазоревые,
Сбываются майские сны,
И, снова восторг раззадоривая,
Дарят упоенье весны.

Даль-сказка волшебно олунена,
Танцует незримый прибой,
Все веет палитрою Бунина,
Как северный май голубой.

В чем счастье? Но знать это надо ли? —
Мы счастливы тем, что живем,
И чувства в восторге запрядали,
А мы их поем, да поем.

1909

Или мне показалось то...

Сколько горя и злобы, и жалости,
Если дéрзко при встрече кричать —
Этих женщин вульгарные шалости,
И проспектный, чудовищный чад.

Вот сейчас (или мне показалось то?),
Оттянув подбородком вуаль,
В красной шубке сказала: "Пожалуйста —
Если Вам золотого не жаль"...

А глаза — точно вялые финики,
На устах утомленный сарказм...
— Эй, прохожие, изверги, циники.
Слезопийцы, убили бы разом...

Иссосали, расхитили женщину
И швырнули, глумясь, на панель...—
"Не впадайте, милсдарь, в декадентщину", —
На ходу проворчала шинель.

1909. Декабрь

Оредеж

Скала молчит. Ответам нет вопроса...

Валерий Брюсов

О, швейцарец обрусевший, — о, Оредеж!
Ты течешь недоуменно, тайно бредишь
Об утонченных притоках. Звонок, тонок,
Ты опошлился от ласки рек-чухонок.

Ты, альфонс России дряхлой, чисто вымыт
И прилизан, и причесан. Серый климат
Отражается опасно на здоровье...
Хмуришь ты свои леса, как чернобровье:

Так все дико, так все странно чужеродцу.
Мужики к тебе приходят, как... к колодцу.
Господа к тебе приходят, как... к вертепу.
Розе Альпов ли отдаться... курослепу?!..

Да, Оредеж, нам твои красоты чужды:
Ведь у нас, великороссов, плоски нужды...
Поневоле о Швейцарии ты бредишь,
Чуждый нам, как мы тебе, альфонс Оредеж.

1911. Сиверская

Хабанеретта

Наликерьте сердца, орокфорьте мечты,
Всех зовите на "ты".
Пейте уст алькермес, ешьте девий дюшес,
Чтоб рассудок исчез...
Ало жальте уста и вонзайте кинжал,
Чтобы бюст задрожал...

Ее муза

Ее муза — конечно, шатенка,
Как певица сама,
А накидка такого оттенка —
Как мечта вне ума...

Улови-ка оттенок, попробуй!
Много знаю я муз,
Но наряд ее музы — особый.
Передать не возьмусь...

1909. Июль.
Мыза "Ивановка"

Восьмистрочие

Каждая женщина любит неправду
И комплименты, и лесть.
Если понравишься, — будет награда,
Если прогневаешь, — месть.

Каждая женщина любит измену
И униженья, и... бич.
Женщина любит такие контрасты,
Что невозможно постичь.

1909. Июнь.
Мыза "Ивановка"

На чужой мотив

(В пику Л. А.)

Как бездна, страшен мне таинственный кошмар,
И мечутся, как мышь бесперая, химеры;
Как зарево, горит багряный солнца шар,
Молчанье, как удав, и мысли даже серы...
От пошлой суеты и всех житейских зол,
Медлительно мой мозг окутавших сетями,
Стремлюсь туда в мечтах, где Аполлон возвел,
Как яркий метеор, дворец царит над нами...

1909. Октябрь

Беседа Самоварова с Кофейкиным

(Диалог)

Самоваров: Что пьешь лениво? Ну-ка, ну-ка,
Давай-ка хватим по второй...
Кофейкин: Изволь, потешить надо друга;
Ну, будь здоров, любезный мой.
Самоваров: И ты. Закусывай селедкой.
Или вот семгой, — выбирай.
Огурчики приятны с водкой...
Кофейкин: Да ты меня не угощай,
Я, братец, сам найти сумею,
Что выбрать: выбор ведь не мал,
А коли, в случье охмелею,
Скажу, что ты наугощал.
Самоваров: Ну, ладно там, не философствуй,
Знай пей, и больше никаких...
Уж коли вдов, так ты и вдовствуй —
Пей больше с горьких дум своих.
Кофейкин: И, братец, горя-то немало
И впрямь приходится мне пить.
Здоровье только б позволяло, —
Сумею грусть свою залить.
Самоваров: Чего здоровье, ты ли болен?
Здоров, как бык, силища — во!
За это должен быть доволен.
Кофейкин: Не видишь сердца моего
И говоришь ты, этак, сдуру,
Что только в голову придет.
Имею крепкую натуру,
Да сердцем, сердцем я не тот.
Самоваров: Ну съехал дурень на амура.
Кофейкин: Как умерла моя хозяйка,
Оставив пятерых птенцов,
Узнал я горя... Ты узнай-ка,
Ты испытай, что значит "вдов".
Самоваров: Э, надоел мне. Только скуку
На всех умеешь нагонять.
Давай-ка лучше хватим, ну-ка,
Не заставляй же угощать.
Эх, вспомню я порой, Петруша,
Как жизнь мы нашу провели,
Как отводили наши души,
Как много денег мы прожгли.
И жалко мне, да вспомнить сладко:
Вот это жизнь так жизнь была!
С тобою жили мы вприсядку.
Глядишь, и старость подошла.
Вспомянь, как пили мы у Лиды
"Клико", да разные "Помри".
Да что там, видывал я виды
И пожил всласть, черт побери.
А как француженок купали
В шампанском, помнишь?
Ха, ха, ха!
Мы в ванны дюжины вливали
И пили, пили вороха.
Однажды, помню, мы на тройке
Компаньей теплой, удалой,
Катили с дружеской попойки,
"Вдрызг нализавшися", домой.
Катим. Навстречу мужичонка
С дровами едет напрямик.
"Эй, отверни свою клячонку!"
Кричит напившийся ямщик.
А он, каналья, в ус не дует,
Кричим, как будто не ему.
"Не знаешь, што ль, где рак зимует?
Покажем мы тебе зиму".
Захохотали мы тут звонко,
Ямщик по тройке выгнул кнут,
И вот с дровами мужичонка
Перевернулся старый шут...

1907

На мотив Гейне

Не помню, когда это было,
Но, помнится, было когда-то...
Она меня просто любила,
А я — даже нежно и свято.

Что счастливы были мы, это
Теперь для меня несомненно,
Но вот, уж которое лето,
Я петь не могу вдохновенно.

Мы с нею расстались преглупо
В разгаре любви, без причины, —
Как два застывающих трупа,
Забывшие ужас кручины.

Мы встретиться больше не можем,
Хотя почему — неизвестно...

К разлуке привыкли, положим,
Но все-таки встреча — прелестна.

Как жаль, что из вздора и чуши
Порой вырастают страданья.
Но так наши созданы души,
И в этом — дефект мирозданья.

А все же она не забудет,
Вернется, любовью объята.
Не знаю, когда это будет,
Но чувствую, будет когда-то.

1909. Июнь.
Мыза "Ивановка"

Под Шарля Бодлэра

Отрезвление

Ангел веселья. Знакомо ль томленье тебе,
Стыд, угрызенье, тоска и глухие рыданья,
Смутные ужасы ночи, проклятья судьбе?
Ангел веселья, знакомо ль томленье тебе?

Ненависть знаешь ли ты, белый ангел добра,
Злобу и слезы, когда призывает возмездье
Вспомнить былое, над сердцем царя до утра?
В ночи такие как верю в страдания месть я!
Ненависть знаешь ли ты, белый ангел добра?

Знаешь ли, ангел здоровья, горячечный бред?
Видишь, изгнанники бродят в палатах больницы,
К солнцу взывая, стремясь отрешиться от бед...
Чахлые губы дрожат, как в агонии птицы...
Знаешь ли, ангел здоровья, горячечный бред?

Ангел красы! ты видал ли ущелья морщин,
Старости страх и уродство, и хилость мученья,
Если в глазах осиянных ты встретишь презренье,
В тех же глазах, где ты раньше бывал палладин?
Ангел красы, ты видал ли ущелья морщин?

Радости, света и счастья архангел священный,
Ты, чьего тела росой обнадежен Давид,
Я умоляю тебя о любви неизменной!
Тканью молитвы твоею да буду обвит,
Радости, света и счастья, архангел священный!

1909. Декабрь

Под Шарля Бодлэра

Музыка

Переносит меня музыка, как море,
        К моей бледной звезде,
Под защитою тумана, на просторе
        Путь держу я везде.
Раскрывая грудь, вздуваю я дыханье,
        Как челнок — паруса.
И прорезываю спины волн, в мерцаньи
        Ночи, взявшей глаза.
Я душой своей впиваю все волненья,
        Все страдания скитальца-корабля,
Влажный ветер и гроза, в огне биенья,
        Этой бури меня нежат. А внемля,
А внемля порой волнам в оцепененьи,
        Если зеркало спокойно, — стражду я...

1909. Июнь.
Мыза "Ивановка"

Под Шарля Бодлэра

Больная муза

Бедная муза моя, что сегодня с тобою?
Впадины глаз твоих полны видений ночных,
И на лице разливаются тени волною,
Тени безумья и ужаса чувств ледяных.

Ваза зеленая с сумраком розово-бледным,
Страх и любовь в тебя влиты из
                                        пасмурных урн...
Деспот-кошмар, распаленный задором
                                        победным,
Он не столкнул ли тебя в знаменитый
                                        Минтурн?

Я бы хотел, аромат разливая здоровья,
Грудь напоить твою мыслью могучей
                                        и властной,
Чтоб твоя кровь протекала струею
                                        согласной, —

Точно античных письмен миллионные звуки,
Где воцарились навек с неизменной любовью
Феб, царь мелодий, и Пан, бог
                                        оправданной муки.

1909. Июнь.
Мыза "Ивановка"

Под Шарля Бодлэра

Цыгане в пути

Вчера опять пророческое племя
Пустилось в путь, забрав своих детей;
У матерей созрел дюшес грудей;
Зрачки горят... (Не знойно ль было семя?..)

Отцы бредут, блестя своим оружьем,
И табором раскинулась семья,
Тяжелыми глазами обоймя
Простор небес с тоскливым равнодушьем.

Всегда при них звучнее песни птиц.
Им божество дает благоволенья:
Там, где они, — пышнее цвет растенья,
Там орошен утеса гордый шпиц,

И, как сады, цветут для них пустыни...
Для них нет тайн, — и счастья нет отныне...

1909

Пленница

Сонет

(Из Анри де Рэнье)

Ты убежала от меня, ты убежала,
Отдав свои глаза, как амулет...
Запомнила рука моя, — как жало, —
Вес горла твоего, и вкус, и цвет,
И линию исчезнувшего тела,
К которому желание крылит...
Ты ночь и лес поставить захотела
Преградою меж нами. Но, налит
Твоею вероломной красотою,
Я воссоздам расплывшуюся тьмою
Твою красу. Забрезжили поля...
Я выкую твой образ отомщенно,
И будешь ты — вся мрамор иль земля,
Вся гнев немой — змеиться возмущенно...

1910. Август

Тост безответный

Посвящается Моей Тринадцатой.

...Наполняю соком и душой бокалы
И провозглашаю безответный тост!..

Игорь-Северянин.
(*"Громокипящий кубок"*)

I. Бал зацветающий

Пусть завтра смерть — сегодня мы живем!
Мирра Лохвицкая

Тринадцатая встреча

Подлец ли я, что я ее покинул,
Ее, с которой прожил трое лет,
Что, может быть, уйдя, ей сердце вынул?..
Подлец ли я? подлец я, или нет?

Немолода, нехороша собою,
Мещаниста и мало развита,
Она была оправдана весною,
Когда в уродстве бродит красота...

Кто сблизил нас? Весна, вино и юность, —
Мои друзья и тайные враги, —
Те, что давали лире златострунность
И героизму — шаткие шаги...

Двенадцать дев прошло передо мною,
В которых тщетно я искал "ее",
Двенадцать дев, оправданных весною,
Явивших все убожество свое...

И каждый раз разочарован снова,
Скорбя и обвиняя лишь себя,
Искал я в новой все *того ж, иного*,
Что отличает от других — тебя!

Тебя, моя Тринадцатая Встреча!
Тебя, моя Годива наших дней!
Сама Балькис была тебе предтеча
И грезила о высоте твоей!

Ты — совершенство в полном смысле слова!
Ты — идеал, приявший плоть и кровь!
Моя душа приять тебя готова,
Воздав тебе бессмертную любовь!

Подлец ли я?!.. Но что такое — подлость?!
И кто из вас быть смеет мне судьей?..
Я знаю независимости гордость,
И что двенадцать жизней — пред тобой?!..

1915. Май.
Эст-Тойла

Красота передсмертная

Безнаказанно не воплощается
Целомудренная мечта, —
И Тринадцатая встречается
В белых лилиях у креста...
А встречается, — начинается
Передсмертная красота.

Встретил женщину небывалую,
Невозможную на земле, —
Береги ее, так усталую,
Так озлобленную в зе́мном зле.
Всею нежностью запоздалою
Возожги восторг на челе.

До Тринадцатой — жизни не было:
Повстречавшаяся — конец:
Отвергающая — жизнь потребовала
И сплела гробовой венец.
Все ошибочное вдруг ослепло,
Как прозрела правда сердец.

В светлой мрачности, в мрачной светлости,
В скорбной радостности конца —
Столь значительные незаметности
Предназначенного лица.
Я молюсь твоей нежной бледности,
И в глазах твоих — два кольца...

1915. Апрель

Примитива

Я слишком далеко зашел,
Полушутя, полусерьезно...
Опомниться еще не поздно:
Недаром я тебя нашел.

Все на поэзию валить —
Ах значит ли всегда быть правым?
И с помышлением лукавым
Тебя мне можно ль заслужить?

Я жил все годы как-нибудь,
Как приходилось, без отчета...
Я тяготился, отчего-то
Себя стараясь обмануть.

Халатность это или лень —
Я не задумывался много
И, положась на милость Бога,
Все верил в поворотный день.

Я знал, что ты ко мне придешь
С твоим лицом, с твоей душою,
И наглумишься надо мною
За всю мою былую ложь.

Сначала будет грусть и тишь,
И боль, и стыд в душе поэта.
Потом я обновлюсь. За это
Ты праведно меня простишь.

1915. Май.
Эст-Тойла

Встреча предначертанная

Не отнимай у меня ее:
В ней все будущее мое,
В ней предгрозье весенних дней,
Безнадежье надежды в ней.

Наша встреча нам суждена:
Предначертанная она.
Повстречавшиеся во лжи,
Мы стоим у одной межи.

В изумлении и в тоске
Замирает рука в руке;
Негодует ее душа,
Так в сомнениях хороша.

Но ворочаются века,
Выпрямляя свои бока,
И стараются нас задавить —
Встретившихся разъединить.

Берегись! берегись! берегись!
Нам завидуют бездна и высь.
На земле, — нет труднее труда, —
Так не встречаются никогда!

1915. Март.
Харьков

Муринька

Муринька, милая-милая девонька,
        Радость моя!
Ты ли мечта моя? ты ль королевонька
        Грезного "я"?

Гляну ль в глаза твои нежно-жестокие,
        Чую ль уста,
Узкие, терпкие, пламеннотокие, —
        Все красота!

Чувствую ль душу твою равнодушную —
        Млеющий лед, —
Сердце играет во мне простодушное,
        Сердце поет!

Сколько искания, сколько страдания,
        Сколько обид
Сердце твое, Мессалина-Титания,
        Строго таит!

Так-то, всегда и во всем чересчуринка,
        Радость моя!
Муринька, милая-милая Муринька,
        Ангел-змея!

1915. Март, 9.
Ростов-на-Дону

Тринадцатая наяву

Тобою услаждаясь ежечасно,
Мне никогда тобой не досладиться:
Ты, как Балькис опасная, прекрасна,
Как истина прекрасная, опасна,
Тринадцатая — ты! ты — синептица!

Как ты могла мне встретиться так поздно?
Как мог в тебе не ошибиться сразу?
Как подошла ты просто и серьезно
К моей душе! Как посмотрела грозно,
Безмолвностью уничтожая фразу!

Все прошлое мое взяла на плаху
И назвала его своим названьем,
Беспечность превратила в... росомаху!

И по лицу души моей с размаху
Ударила врачующим сознаньем!

1915. Апрель.
Петроград

Два триолета

1

— Хочу быть Аделиной Патти!—
В три года говорила ты.
О милые твои мечты
О замечательности Патти!..
Прошло семнадцать лет. Чисты
Венки святых твоих объятий.
Что будешь выше всякой Патти,
В три года думала ли ты?

2

Пройдя сквозь хлесткий строй мужчин,
Осталась ты сама собою.
Я преклоняюсь пред тобою
И презираю "тех" мужчин!
Ах, ведь никто, ведь ни один
Не посвятел твоей душою.
Пройдя сквозь ярый строй мужчин,
Осталась ты сама собою.

1915. Июнь.
Эст-Тойла

Не по любви

Год назад я была молода:
Для любви, для добра, для труда —
Было столько избытка в груди,
Было столько надежд впереди!

За немилого сватала мать.
Как бы свадьбы такой избежать?
Да, но надо ль? возникнул вопрос, —
И взошла я на брачный утес...

Но зато в ту же ночь, в ту же ночь
Я ушла от немилого прочь
И товарищу, — не по любви, —
Отдала все куртины свои...

А с рассветом ушла от него,
Я ушла от него оттого,
Что себя обокрала в чаду...
— Как единственного я найду?

1915. Апрель.
Петроград

Погибающие спасатели

Их было так много, так много,
Но не было ни одного,
Который бы нежно и строго
Коснулся ума твоего,

И попросту, тайной инерце
В угоду, к тебе подойдя,
Прослушал бы чистое сердце,
Как лилию после дождя.

В своей целомудренной грусти,
Презрительностью весела,
Уздала взбешенных в разнузде —
Спасая, спасти не могла...

Погибшим не ведать спасенья!
Нельзя самогибцев спасать!—
И гибли они в исступленьи,
Способные лишь погибать!..

Да, гибли и вот, погибая
В безразумной тине услад,
Тянули тебя, дорогая,
За твой милосердный канат...

Да, гибли и, гибнув, взахлебе,
Кричали: "Цепляйся за нас!"
И в самоубийственной злобе
К тебе приближали твой час.

Но — тронутая недотрога —
Ты гневно швырнула канат.
Их было так много, так много,
Был каждый *собой* виноват.

1915. Июнь.
Эст-Тойла

Поэза моего бесправия

Только в силу своей человечности,
Не любя, о любви не сказав,
Проявляешь ты столько сердечности,
Что всегда пред тобой я не прав.

Я не прав непонятной жестокостью,
Что порою нежданно томим,
Роковою духовной безокостью, —
Я не прав всем бесправьем своим!

И в минуты затмения гневного,
Даже в эти минуты любя,
Перед солнцем лица королевного
Я тускнею, разволив себя...

Огради меня от упоенности
Разрушенья невинных вещей
Всей святыней своей невлюбленности,
Всей премудростью ясной своей!

Я не прав мотыльковой беспечностью,
Тайным бешенством, гневным огнем...
Идеальною всечеловечностью
Ты спасаешь меня день за днем.

День за днем истомленно усталая,
Ускользающая светотень,
Ты, откашливаясь кровью алою,
Незакатный готовишь мне день...

Поклоняюсь твоей бронзокудрости
И дышу лишь твоею душой!
Что же, сдержанную по премудрости,
Удержало с тяжелым со мной?

Молодая, смеюнья, здоровая
(Ты горда: ты здорова для всех!..),
Жизнерадостная, вечно — новая,
По тебе истоскуется Грех!

Или мало тропинок пленительных
Вдоль ручьев, сквозь сирень, в трелях птиц?..
И возможностей умокружительных
В ро́скоши деловитых столиц?..

Есть вопросы, понятные вечности,
А не людям, рабам пред судьбой...
Только в силу своей человечности
Ты всегда остаешься собой!

1915. Май.
Петроград

Все хорошо в тебе...

Быть любимым как ни сладостно,
Все же сладостней — любить.

Д. Мережковский

Все хорошо в тебе: и ноги, и сложенье,
И смелое лицо ребенка-мудреца,
Где сквозь энергию сквозит изнеможенье,
В чьей прелюдийности есть про́тени конца...

Все хорошо в тебе: и пламенная льдяность,
Ориентация во всем, что чуждо лжи,
Щек майски-девственных осенняя багряность...
Что ни подумай ты и что ты ни скажи —
Все хорошо в тебе!

Дитя, ты лучше грезы!
И грезу отебить хотел бы я свежо:
Тебя нельзя уже огрезить: все наркозы,
Все ожидания — в тебе: все — хорошо!

Все хорошо в тебе! и если ты инкубишь
Невинные уста, инкубость тут нужна...
Люблю тебя за то, что ты меня не любишь,
За то, что ты в своей жестокости нежна!..

1915. Май.
Петроград

Поэза тебе

Ни с кем сравнить тебя нельзя:
Сама ты по себе.
К тебе по лилиям стезя.
Молиться бы тебе!

Тебя ни с кем нельзя сравнить:
Ты лучше, чем мечта!
Тобой дышать, тебя любить,
Святить твои уста.

Сравнить нельзя ни с кем тебя:
Ты — женщина, а те,
Кого, вводя в обман себя,
Так звал, барьер к мечте!..

Нельзя тебя сравнить ни с кем —
Ни на земле, ни вне...
Твоею музыкой я нем, —
То смерть пришла ко мне!

1915. Май.
Эст-Тойла

II. Амфора эстляндская

И сколько новей в чарах мая
Ведь столько ж песен впереди.

Игорь-Северянин.
("Victoria Regia")

Прелюдия

Воспетое Лохвицкой Миррой,
Ее златострунною лирой,
Балтийское милое море
Вскипело в эстляндской амфоре...

Вскипело оно и запело,
Запело о том, что вскипело,
А это ничто ведь иное,
Как то, что оно — молодое!..

1914. Июнь.
Эст-Тойла

Поэза маковых полей

Снова маки в полях лиловеют
Над опаловой влагой реки,
И вы́миндаленные лелеют
Абрикосовые ветерки...

Ты проходишь мореющим полем,
Фиолетовым и голубым,
К истомленным усладам и болям,
Одинаково близким своим...

Как серебряные черепахи,
В полднелень проползают серпы...
Сколько бодрости мягкой во взмахе
Струнно-млеющей девьей стопы!

На златисто-резедной головке
Пылко-красный кумачный платок,
А в головке так много обновки,
И в душе — обновленный поток!

Розовеют лиловые маки,
Золотеет струистый опал,
И луна возжигает свой факел,
Отравив зацветающий бал...

1915. Март.
Харьков

Поэза о барашках

По дороге над морем, ясным утром весенним,
В Духов день лучезарный — в молодой!
в молодой! —
Шли в сосновую рощу, дорогая, с тобой.
Нежно нежилось море голубым сновиденьем,
Вековою медузою, устрицевым томленьем, —
Нежно нежилось море, упиваясь собой.
Нам встречались то дачи, то блондинки-эстонки,
Строголицые девы с жуткой старью в глазах.
И барашки в пятнашки не играли в волнах,
А резвились на воле, так ажурны и тонки,
Как рожденные в море... Отчего, — ах! —
ребенки
Не родятся барашковыми в городах?..
Оттого что там город. Оттого что здесь поле.
Оттого что здесь море. Оттого что здесь свет.
Ах, вы очень культурны, но души-то в вас нет:
Вы не знаете горя, вы не знаете боли,
Что в столице лишились этой шири и воли,
Что подснежник мудрее... чем университет!

Эст-Тойла.
1915. Май

Утро дня Св. Духа

Мы сидели в соснах над крутым обрывом,
Над лазурным морем, в ясный Духов день.
Я был безоблачно-счастливым,
В моей душе цвела сирень!

В ландышевом шелке, затканном златисто
(Дивен в белорозах милый твой капот!)
Ты, лежа, слушала лучисто,
Как вся душа моя поет!

Не было похожих на тебя, — не будет.
Изменял другим, — тебе не изменю.
Тебя со мною не убудет,
Себя с тобою сохраню.

Я построю замок, — маленький, дешевый, —
В этих самых соснах будущей весной, —
С тобою жить всегда готовый,
Готовый умереть с тобой!

1915. Май.
Эст-Тойла

Миленькая девочка скучает...

Миленькая девочка скучает,
Миленькая девочка не знает,
Как смотреть на грусть ее мне больно,
Что своей печали мне довольно...

А какие могут быть печали
У меня, все ждавшего вначале,
Чуть не с детства, женщину такую,
Как она, несбыточно-простую?

Миленькая девочка скучает,
Миленькая девочка не знает,
Как жестоко ошибался часто,
Как платился, как и сколько раз-то!

Так платился за свои ошибки,
Что дивлюсь, как расцветать улыбки
На устах моих не разучились,
Как мозги мои не помрачились!..

Миленькая девочка скучает,
Миленькая девочка не знает,
Что ее одну искал я в каждой,
В каждой встречной, а нашел однажды:

В ней самой нашел ее случайно!..
Как находке рад необычайно,
Миленькая девочка не знает.
Знает, да не верит... и скучает!

1915. Май.
Эст-Тойла

Поэза о Гогланде

Иногда, в закатный час, с обрыва,
После солнца, но еще до звезд,
Вдалеке Финляндского залива
Виден Гóгланд зá семьдесят верст.

Никогда на острове я не был,
Ничего о нем я не слыхал.
Вероятно: скалы, сосны, небо,
Да рыбачьи хижины меж скал.

Обратимся, милая, к соседям,
К молчаливым, хмурым рыбакам,
На моторной лодке мы поедем
Далеко, к чуть видным берегам.

Я возьму в волнистую дорогу
Сто рублей, тебя, свои мечты,
Ну, а ты возьми, доверясь Богу,
Лишь себя возьми с собою ты!..

Вот и все. Нам большего не надо.
Это все, что нужно нам иметь.
Остров. Дом. Стихи. Маруся рядом.
А на хлеб я раздобуду медь.

1915. Май.
Эст-Тойла

Поэза счастья

Я не могу не радоваться маю
И не воспеть его я не могу,
Когда тебя так пылко обнимаю
На благодатном этом берегу.

Который раз все в тот же, все в зеленый,
В весенний шелк закуталась земля?
Который раз, в мечту свою влюбленный,
Я ухожу в зовущие поля?

Но в этот год — весна совсем иная,
И май иной, — все лучше, все светлей!
Мечта сбылась: со мною ты, родная,
А потому — я только соловей!

Мне все равно, в какие там размеры
Вольется стих горячий, все равно! —
Кощунственны изысков камамберы,
И быть банальным снова мне дано!..

Когда тебя я к сердцу прижимаю,
И твоего капота тлеет тюль,
Могу ли я не радоваться маю
И пережить любимую могу ль?

1915. Май.
Эст-Тойла

Девятнадцативешняя

Девятнадцативешней впечатления жизни
несравненно новее,
Несравненно острее, чем готовому встретить
май тридцатой весны.
Девятнадцативешней легче в истину верить, как
в прекрасную фею,
Как бы ни были годы, — восемнадцать
минувших, — тяжелы и грустны!..

И когда расцветают бирюзовые розы и
душистый горошек,
Ей представить наивно, что они расцветают для
нее, для одной;
И когда вылетают соловьями рулады из
соседских окошек,

Ей представить наивно, что поет кто-то близкий,
кто-то тайно-родной...

Девятнадцативешней может лес показаться
никогда нерубимым,
Неувядными маки, человечными люди,
неиссячным ручей.
Девятнадцативешней может сделаться каждый
недостойный любимым:
Ведь его недостойность не видна, не понятна для
пресветлых очей...

И когда молодые — о, душистый горошек! —
о, лазурные розы! —
Веселятся резвуньи, мне мучительно сладко,
но и больно за них...
И когда голубые поэтички, как птички, под
угрозами прозы
Прозревать начинают, я в отчаяньи плачу о
мечтах голубых!..

1915. Май.
Эст-Тойла

Ах, все мне кажется...

Ах, все мне кажется (и отчего бы то? —
Ведь ты мне поводов не подаешь...)
Что ты изменишь мне, и все, что добыто
Твоим терпением, продашь за грош.

В тебя уверенность непоколеблена.
В твоей корректности — тому залог.
Но все мне кажется, что ложь остеблена,
И распускается ее цветок.

И все мне кажется, и все мне чудится
Не то подпрапорщик, не то банкир...
И все мне чудится, что *это* сбудется,
И позабудется тобой весь мир.

Поверь, о милая, что мной не скажется
Ни слова едкого тебе в укор:
Ты — неизменная! Но все же кажется,
И то, что кажется, уже позор!

1915. Май.
Эст-Тойла

Поэза предупреждения

Я бессловно тебя застрелю,
Если ты... с кем-нибудь... где-то там...
Потому что тебя я люблю
И тебя никому не отдам.

Предаю себя в руки твои,
Твой защитник, твой раб и твой друг,
Лишь со мной неуходно живи,
Замыкая мой пламенный круг.

Если скучно тебе иногда,
Если хочется видеть людей,
Будь спокойна, тверда и горда,
О безлюдьи, дитя, не жалей:

Вспомни, сколько тревог и обид
В жизни ты получала от них,
Сколько сердце печали таит,
Сколько низких на свете и злых...

Презирала — и впредь презирай!
Не искала — и впредь не ищи!
В хлев людьми превращается рай...
Бойся их! избегай! трепещи!

А скучать... ах, нельзя не скучать,
Если хочется жить! — о, пойми:
В одиночестве лучше кричать,
Чем смеяться, болтая с людьми!

Болтовня перейти может в крик,
В крик не скуки, а горя и зла.
Как мне больно! — тебя я постиг,
Ты меня допостичь не могла...

Впрочем, делай что хочешь, но знай:
Слишком верю в невинность твою.
Не бросай же меня! не бросай!
Ну, а бросишь — прости, застрелю.

Застрелю потому, что нельзя ж
Сжиться с мыслью, что гибнет мечта,
Что другому себя ты отдашь
И его поцелуешь в уста.

Если ж ты, от тоски изойдя,
Для земли беспробудно уснешь,
Ты прозреешь, невеста — дитя,
И меня в светлый рай призовешь!

1915. Май.
Эст-Тойла

Что за счастье!

Что за счастье — быть вечно вдвоем!
И ненужных не ждать визитеров,
И окружных не ткать разговоров, —
Что за счастье — быть вечно вдвоем!

Быть с чужою вдвоем нелегко,
Но с родною пьянительно-сладко:

В юбке нравится каждая складка,
Пьется сельтерская, как Клико!..

И "сегодня" у нас — как "вчера",
Но нам "завтра" не надо иного:
Все так весело, бодро, здорово!
Море, лес и ветров веера!

Эст-Тойла.
1915. Июнь

Не улетай!

Бегут по морю голубому
Барашки белые, резвясь...
Ты медленно подходишь к дому,
Полугрустя, полусмеясь...

Улыбка, бледно розовея,
Слетает с уст, как мотылек...
Ты цепенеешь, морефея,
И взгляд твой близок и далек...

Ты видишь остров, дальний остров,
И паруса, и челноки,
И ты молчишь легко и просто, —
И вот — крыло из под руки!..

Не улетай, прими истому:
Вступи со мной в земную связь...
Бегут по морю голубому
Барашки белые, резвясь...

Эст-Тойла.
1915

Поэза голубого вечера

Мы ехали с тобою в бричке
Широкою и столбовой.
Порхали голубые птички.
Был вечер сине-голубой.

Из леса выбежала речка
И спряталась, блеснув хвостом.
О, речка, речка — быстротечка!
О, призрак, выросший кустом!

Плясали серые лисички
На задних лапках pas de grâce.
Мы ехали с тобою в бричке
И бредили, — который раз?

Навстречу нам ни человека:
Безлюдье мертвое и тишь.
И только хата дровосека,
Да разве ель, да разве мышь.

Смотрю: глаза твои синеют,
И бледный лик поголубел,
И только губы весенеют —
Затем, чтоб я их алость пел...

Не по желанью, — по привычке
Нам надо двигаться с тобой,
А потому мы ездим в бричке
Проселочной и столбовой.

Эст-Тойла.
1915. Май

Больная поэза

В твоих висках немолчные прибои
И жуткий шум в настра́женных ушах.
Незримые вторгаются гобои
В твою тоску о солнечных ночах.

О, солнце ночи! вечная бездённость!
И полуявь. И сказка наяву.
Опалово-лазорная томленность.
Молочный блеск оголубил листву...

О, существа без крови и без плоти!..
О, голоса кого-то, но ничьи!..
Наструненные выплески в болоте
И судорожно-страстные ручьи!..

Ты влажнеешь. Ты присталишь обои:
Сто паучков возникло в их цветах...
Угрозные в висках твоих прибои,
И страшен алый шум в твоих ушах...

Эст-Тойла.
1915. Июнь

Поэза успокоения

Ты так напугана, должно быть,
Еще с младенчества, что я
Весь трепещу глазами трогать
Неосторожными тебя.

Ты так боишься потрясений,
Хотя бы чуть неверных слов,
Что даже здесь, в благой сирени,
Твой взор от ужаса лилов...

Но... где здесь город? где здесь люди?
Здесь только ты. Здесь только я.

Здесь только ягоды на блюде,
И скрыта ль в ягодах змея?..

Здесь только море, только травы,
Нет ревности и нет вина.
Зачем же в сердце лить отравы
Для аппетита и для сна?

Не запирай ножей в буфете,
Но лучше душу отвори,
Утончившуюся на Фете
В дни утренней твоей зари.

Спокойна будь, дыши свободней,
Поправься в тихом уголке,
Я не убью тебя сегодня,
А будущее — вдалеке...

Эст-Тойла.
1915. Май

Поэза маленькой дачи

Граммофон выполняет, под умелой рукою
Благородно и тонко, амбруазный мотив.
Я внемлю Тетраццини с мимолетной тоскою:
Тетраццини — в деревне, где безбрежие нив!..
Разве могут быть где-то и толпа, и эстрада?
Разве может даваться элегантный концерт?
Сердце бьется спокойно, сердце сельнему радо,
Сердцу здешнему чужды и Вильгельм,
и Альберт...
Как поверю я в город? Как поверю я в войны?
Как поверю в театры? Как поверю в толпу? —
Если плещется море бирюзово-спокойно,
И луна намечает золотую тропу?
Я — в Эстляндии светлой, с воплощенной
мечтою!
У меня есть поэзы; мне незримо поют
Тетраццини и ветер... Потому-то не стоят
Все заботы земные дачи маленькой — Крут!

1915. Май.
Эст-Тойла

Томление бури

Сосны качались, сосны шумели,
Море рыдало в бело-седом.
Мы замолчали, мы онемели,
Вдруг обеззвучил маленький дом.

Облокотившись на подоконник,
В думе бездумной я застывал.
В ветре галопом бешеным кони
Мчались куда-то, пенился вал.

Ты на кровати дрожко лежала
В полуознобе, в полубреду.
Сосны гремели, море рыдало,
Тихо и мрачно было в саду.

Съежились листья желтых акаций.
Рыжие лужи. Карий песок.
Разве мы смели утром смеяться?
Ты одинока. Я одинок.

Эст-Тойла.
1915. Июнь

Поэза оттенков

Есть в белых ночах лиловость,
Лиловость в белых ночах.
В нежных очах — суровость,
Суровость в твоих очах...

В фиалке бывает бледность,
Бледность в лиловом цветке.
В златоприческе — медность,
Медь в золотом волоске.

Есть что-то в весне старушье,
Как вешнее есть в былом.
В душе у тебя — бездушье,
Душа — в бездушьи твоем!

1915. Май.
Эст-Тойла

Хочется мне плакать...

Хочется мне плакать, плакать безнадежно,
плакать бесконечно,
Плакать о минувшем, плакать о грядущем,
плакать беспричинно...
Все как будто мирно, все как будто верно, все как
будто чинно,
А на самом деле очень уж условно, кратко,
бессердечно.

Слушайте, что лучше: не любить, все время
говоря о страсти?
Или же тиранить, не любя открыто, сладкой
нелюбовью,
Блестко издеваясь, хлестко угрожая, опьяняться
кровью,
Любящего кротко и самозабвенно сердце рвя
на части?

Красота и злоба, молодость и черствость тайно
— совместимы!

Берегите женщин, говорящих часто о своем
уходе:
Надо их лелеять хладнокровно-мудро. Сказка
на исходе.
Тягостно и душно. Сладостно и грёзно. Глубь
невозмутима.

1915. Май.
Эст-Тойла

Скорбь, прорезающая смех...

Ты сегодня алоуста, ты сегодня синеглаза,
И лицо полно экстаза,
Веселишься и поешь,
Вся — весна, вся — май счастливый,
восхитительная грезка,
И кокетливо, и броско
Ты улыбки расточаешь,
Все живишь, все оживляешь
И живешь! живешь! живешь!

Дай наслушаться мне песен! дай мне в очи
наглядеться!
Дай куда-нибудь мне деться
От весны и от стихов!..
Посмотри, за этим полем — видишь сосны?
видишь елки? —
Тлеют там в зеленом шелке
Трупы, жизнь любивших нежно,
Целовавшихся мятежно
Под напевы соловьев...

1915. Май.
Эст-Тойла

Трехцветный триолет

Пойдем, Маруся, в парк; оденься в белый цвет
(Он так тебе идет! ты в белом так красива!).
Безмолвно посидим на пляже у залива, —
Пойдем, Маруся, в парк; оденься в синий цвет.

И буду я с тобой — твой рыцарь, твой поэт,
И буду петь тебя восторженно-ревниво:
Пойдем, Маруся, в парк! Оденься в алый цвет:
Он так тебе к лицу! ты в алом так красива!

1915. Май.
Эст-Тойла

Поэза раскрытых глаз

Арфеет ветер, далеет Нарва,
Синеет море, златеет тишь.
Душа — как парус, душа — как арфа.
О чем брякаешь? куда летишь?

Свежо и знойно. Светло и смело.
Чего-то надо. Чего-то ждешь.
Душа жестокость свершить посмела!
Душа посмела отторгнуть ложь!

В былом ошибка. В былом — ненужность.
В былом — уродство. Позор — в былом.
В грядущем — чувства ее жемчужность,
А в настоящем — лишь перелом.

Ах, оттого-то арфеет ветер,
Далеет берег, поет залив!..
Ах, оттого-то и жить на свете
Я страстно жажду, глаза раскрыв!..

1915. Июнь.
Эст-Тойла

Поэза для Мадлэны

Мадлэна здесь. Мадлэна рядом. —
Сегодня видели ее...
Но нет! душа моя не рада,
И сердце холодно мое.

В волненьи не брожу по саду,
Сирень восторженно не рву,
Я только чувствую досаду
И больше прошлым не живу.

Как флер полей, как в море пена,
Как обольстившие слова,
Растаяла моя Мадлэна,
И для души уже мертва...

Прозрел: о, в прошлом все пустое!
Мечта, ты стала инженю...
Меня не трогает былое:
Я настоящее ценю!

Когда назад четыре года
Ее я встретил в первый раз,
Всю жизнь, всю юность, всю свободу
Я ей вручал без громких фраз.

Не отвергая, не приблизив,
Любя другого, но в тоске,
Она шутя бросала вызов
Мне, грезившему вдалеке.

Она брала меня за сердце
И, нежно сердце теребя,
Его колола, чтоб вертеться
Меня заставить, — не любя.

Изнемогал. Изнемогая,
Молил прижать иль отшвырнуть.
Ее игра четыре мая
Мою испытывала грудь.

Ее игра четыре лета
Из жизни вырвала моей.
Но славою стихи поэта
Обязаны, быть может, ей.

Благодарю. Но — просветленный —
Крушу безжалостно Мечту,
В свою Последнюю влюбленный,
В которой Сбывшуюся чту!

1915. Июнь.
Эст-Тойла

Поэза раздражения

Не успокоиться и не поправиться
Мне в этой местности, всегда чужой:
Мне все недужится, мне все не нравится,
Мне все мечтается пейзаж иной...

Здесь сад на улицу, здесь многодачие,
Здесь домик к домику рабом прижат.
Соседка мучает меня Боккачио, —
О, вальс Боккачио сто раз подряд!..

Лес в отдалении весьма значительном,
И море милое мое вдали...
Я весь в тоскующем, я весь в мучительном,
Весь в полонении иной земли...

Хотел бы выскочить утрами юными
Из душной комнаты, упасть в траву
И, в упоении, бряцая струнами
Души восторженной, кричать: "Живу!"

Читать без умолку стихи свободные —
Мое дыхание! моя душа! —
Лобзать без устали лицо природное —
Букеты ландышей, во всю дыша!

Но разве мыслимо в осуществление
Желанья пламенные привести,
Раз любопытные у "дачи гения"
Снуют, и некуда от них уйти?!..

1915. Июнь.
Эст-Тойла

Поэза удивления

Ты хочешь немногого,
По-моему — лишнего:
Какого-то общества,
Каких-то людей...

И в кинематографе
Смотреть на Венецию,
И в поле с прислугою
Цветы собирать.

В гамак в палисаднике
Ложиться с романами,
На почту за письмами
Ходить по утрам.

Меня ты уверила
В классической верности
И в высокомерии
К убогой земле.

Я верю восторженно
В порядочность редкую,
Но ты понимаешь ли,
Что ты говоришь?!

Поймешь ли ты, странная,
Свои оскорбления,
Которые, попросту,
Наносишь ты мне!..

Ведь это ж пощечина —
Желанье обидное,
Хотя бы мгновение
Прожить не со мной!..

Придет ли мне в голову,
Упиться разлукою,
Когда вся вселенная —
В тебе лишь одной?!

1915. Июнь.
Эст-Тойла

Пленница лилии алой...

Лилиевое тело
В прожилках голубых
Искристо запотело
В со́нах полубольных...

Лепестки лилии алой
Ты затаила в платке...
Разве же этого мало,
Чтоб сжалось сердце в тоске?

1915. Июнь.
Эст-Тойла

Поэза отказа

Она мне прислала письмо голубое,
Письмо голубое прислала она.
И веют жасмины, и реют гобои,
И реют гобои, и льется луна.

О чем она пишет? что в сердце колышет?
Что в сердце колышет усталом моем?
К себе призывает! — а больше не пишет,
А больше не пишет она ни о чем...

Но я не поеду ни завтра, ни в среду,
Ни завтра, ни в среду ответ не пошлю.
Я ей не отвечу, я к ней не поеду, —
Она опоздала: другую люблю!

1915. Июнь.
Эст-Тойла

Избегнувшие Петрограда

Я с каждым днем к тебе все чутче,
В моей душе властнеет Тютчев,
Любовь углубней с каждым днем,
Все слаже—слаже быть вдвоем.

Мне тягостно себе представить,
Как мог бы я тебя оставить, —
Хотя на день, хотя на час,
Из деревушки отлучась...

Прощай, in pace Петрограда:
Тебя избегли мы. Отрада
Да внидет к нам с крестом в руке
В уездном старом городке.

Засентябреет желтополье, —
Прости, эстляндское приволье,
Покинем мы тебя на год,
Нас в Нарве снегом занесет...

Чем больше тиши, больше снега,
Тем выразительнее Эго;
Тем упоительнее дни,
Чем дольше будем мы одни...

В дубовом синем кабинете
Я буду петь о новом лете,
Я буду новых ждать побед,
Твоим присутствием согрет...

И ты, как рыцарица духа,
Благодаря кому разруха
Дотебной жизни — где-то там,
Прижмешь свои к моим устам...

1915. Июнь.
Эст-Тойла

Три триолета

1

Страданья старого урода —
Никчемней шутки Красоты.
Согласен ли со мною ты,
Ты, защищающий урода?
Со мною — Бог, со мной — природа,
Мои понятия чисты.
Жизнь отнимаю от урода
Из-за каприза Красоты.

2

Она казалась мне прекрасной,
Всегда уродливою быв.
Пусть миг, но был я с нею счастлив!
Пусть миг, была она прекрасной!
Прозрел. И с жаждой ежечасной
Искал тебя, мечтою жив.
И ты, прекрасная, прекрасной
Пришла, уродливой не быв.

3

Она всегда была мне верной
И быть не верной не могла:
Суха, неинтересна, зла,
Была она, конечно, верной...
Тебе, любимая, примерной
Труднее быть: ты так мила!
Но, если б ты была неверной,
Ты быть собою не могла!..

1915. Июнь.
Эст-Тойла

Поэза "невтерпеж"

> Терзаю ли тебя, иль веселю,
> Влюбленности ли час, иль час презренья, —
> Я через все, сквозь все, — тебя люблю.
>
> *З. Гиппиус*

Чем дальше — все хуже, хуже,
Все тягостнее, все больней,
И к счастью тропинка у́же,
И ужас уже́ на ней...

И завтрашнее безнадежней,
Сегодняшнее невтерпеж:
Увы, я мечтатель прежний,
За правду принявший ложь.

Ты мне про любовь молчала,
Чужого меня не любя.

Надеялся я сначала,
Что трону потом тебя.

Но в месяцы дни стекались,
Как в реки текут ручьи,
И чуждыми мы остались, —
Не ведал твоей любви...

То в нежности, то в исступленьи,
Желая любовь вкусить,
Решался на преступленье,
Готовый тебя умертвить...

Мы пламенно отдавались,
Единым огнем горя,
Но чуждыми оставались,
Друг другу в глаза смотря.

И в месяцы дни стекались,
Как реки текут в моря.

1915. Июль.
Леса Эст-Тойлы

Поэза лесной опушки

Ты бродила на опушке леса, —
Девушка без крови и без веса, —
В синей с белым воротом матроске,
С персиковым шарфом вкруг прически.

Накорзинив рыжики и грузди,
С тихим смехом, в чуть веселой грусти,
Кушала лиловую чернику.
Брал тебя туман в свою тунику.

Так, от полдня вплоть до повечерья,
Ты со взором, чуждым суеверья,
На опушке леса проблуждала
И меня глазами колдовала...

1915. Июль.
Эст-Тойла

Поэза о тщете

В ее руке платочек-слёзовик,
В ее душе — о дальнем боль...
О, как ненужен подберезовик!
О, как несладок гоноболь!

И лес, не давший исцеления,
Она меняет на экспресс,
На мимолетность и движение
Она меняет тихий лес.

Как раздражают эти станции!
Олюденные поезда!
Как в город хочется Констанции!
Как ей наскучила езда!

Навстречу яркому и резкому
И скорбному наперекор,
Она по блещущему Невскому
Пускает пламенный мотор.

То в опере Консерватории,
То в блеске званых вечеров,
То в промельке пустой истории
Старается расслышать зов...

Все тщетно. Явно обесцелено.
Ни в чем забвенья не найти.
Страдать до смерти кем-то велено,
И к смерти все ведут пути!..

Ст. Иеве.
23 авг. 1915 г.

Накануне

Как на казнь, я иду в лазарет!
Ах, пойми! — я тебя не увижу...
Ах, пойми! — я тебя не приближу
К сердцу, павшему в огненный бред!..

Ты сказала, что будешь верна
И меня непременно дождешься...
Что ж ты, сердце, так бешено бьешься?
Предбольничная ночь так черна...

Я пылаю! Я в скорби! И бред
Безрассудит рассудок... А завтра
Будет брошена жуткая карта,
Именуемая: Лазарет.

1915. Ноябрь.
Петроград

Поэза о том, чего, может быть, не было

С каждым днем, пятый месяц, ты все тоньше
и тоньше,
Все нежней эта бледность, все острей этот взор...
Каждый день, пятый месяц, туалет свой
не кончив,
Ты, ложась, изучаешь оттоманки узор...

И на нежные речи, и на нежные взгляды
Я не знаю иного отвечанья, как тишь —
Тишь цветущей запруды, тишь весенней
прохлады,
Тишь, в которой ты столько уязвленья таишь...

А еще так недавно, в дни цветенья сирени,
В дни фиолевых флеров и лиловых сирен,
Ты, как белка пушиста, в золотом озареньи,
Мотыльчила по парку, напевая "Кармен"!..

Говорила так пылко, целовалась так славно,
Хохотала так звонко и смотрела светло!
Ты теперь еле дышишь... А еще так недавно
Было то, что, пожалуй, вовсе быть не могло!..

16 дек. 1915 г.
Москва

Поэза издалека...

Ты ледовитыми глазами
Полгода цепенишь меня...
За синелистными лесами
Живет меня добавный я...

Он полон тем, чем я пустею...
Во мне, чем он опустошен...
Он ждет тебя, как лесофею,
Ты ждешь его, как лесосон...

Весна сменяется весною,
И осень — осенью. А я
И ты, живущая со мною,
Все чтим добавного меня...

1915. 25 сент.
Петроград

III. Саги, Балтикой рассказанные

Сказание об Ингрид

1

На юго-восток от Норвегии, в Ботническом
шхерном заливе,
Был остров с особенным климатом: на севере
юга клочок.
На нем — королевство Миррэлия, всех царств
и республик счастливей,
С красавицею-королевою, любившей народ
горячо.

2

У Ингрид Стэрлинг лицо бескровно.
Она — шатенка.
Стройна. Изящна. Глаза лиловы.
И скорбен рот.
Таится в Ингрид под лесофеей
демимондэнка.
Играет Ингрид. Она поэзит. Она поет.

3

Она прославлена, как поэтесса. Она прославлена,
как композитор.
Она прославлена, как королева. Она прославлена
всеславьем слав.
Наследник маленький, Олег Полярный — и дочь
прелестная Эклерезита,
И принцем-регентом суровый викинг, но сердце
любящее — Грозоправ.

4

Эрик Светлоокий, Севера король,
Любит Ингрид нежно,
Любит Ингрид тайно,
Любит Ингрид вечно.
Эрик Светлоокий, Севера король,
Хочет к ней мятежно,
Ищет с ней случайной
Встречи и сердечно
Пишет: "Королева! выслушать изволь:
Ждет с тобой свиданья Севера король".

5

Ингрид прочла посланье, Ингрид смеялась
нервно,
Ингрид кусала губы: Ингрид любила его!
Но Грозоправ был мужем! Но Грозоправ был
первым,
Первым, невинность взявшим; кроме нее —
ничего!..

6

И отвечает Ингрид Эрику, и отвечает Ингрид
дальнему,
Такому дальнему и милому страны полярной
королю:
"Привет влюбленному-любимому! Привет, как
я сама, печальному!
Привет тому, о ком тоскую я! Привет тому, кого
люблю!"

7

И больше ни слова. Пойми, как желаешь.
Пойми, как умеешь. Пойми, как поймешь.

8

Плывет эскадрилья в столицу Сияиж.
О, Эрик! в Миррэлию ты ли плывешь?

9

Его корабль с штандартом короля
В восходный час
Приплыл.
И свита дев, страну ее хваля,
Поет: "Для нас
Край мил".

10

Выходит Ингрид на южный берег,
При Грозоправе идет к нему:
— Тебя встречаю, пресветлый Эрик,
Ты осветляешь земную тьму.

11

Но край мой, не правда ли, светел? но край мой, не правда ли, ясен?
И светлого гостя встречает не менее светлый народ.
Я знаю, что Эрик отважен! Я знаю, что Эрик прекрасен!
Я знаю, что любит он Ингрид и смело к себе призовет!

12

Ты прости, Грозоправ: я тебя не хочу,
Светлоокому Эрику рада...

13

Потянулась рука Грозоправа к мечу
И свершила мгновенно, что надо.

14

Грозоправа хоронили, Грозоправа провожали,
Грозоправа называли: "Справедливый Грозоправ".
В замке Ингрид начертали в спальне новые скрижали:
"На несчастии другого каждый счастье строить прав".

15

Это было в счастливой Миррэлии,
В синей тени лазоревых слив.
Златолира же оменестрелила
Сердцу Игоря сладостный миф...

1915. Май.
Эст-Тойла

Слепая Зигрид

Слепая Зигрид девушкой была.
Слепая Зигрид с матерью жила.
Их дом стоял над речкою в лесу.
Их сад впивал зaристую росу.

До старого села недалеко.
Им Диза приносила молоко,
Хорошенькая шведка из села.
Слепая Зигрид девушкой была.

Оно была добра и молода,
Но так уродлива и так худа,
Что ни один прохожий селянин
Не звал ее в траву своих долин.

Коротко ль, долго ль — только жизнь текла.
Слепая Зигрид девушкой жила.
Слепая Зигрид жаждала любить:
Ах, кто придет любовью упоить?

Никто не шел, но шел за годом год.
Слепая Зигрид верить устает,
Слепая Зигрид столько знает слез,
Что весь от них растрескался утес...

И старый дом, и затаенный сад,
Уже дрожа, обрушиться грозят.
И безобразный лик ее слепой
Все безобразней с каждою весной.

И час настал: в закатный час один
Пришел ее мечтанный властелин...
Седой скопец... и, увидав ее,
Вскричал: "Отдайте прошлое мое!"

Но он заглох, его безумный крик:
Холодный труп к груди его приник.
Слепая Зигрид девою жила, —
Слепая Зигрид девой умерла.

1915. Май.
Эст-Тойла

"Привиденье Финского Залива"

"Привиденье Финского Залива",
Океанский пароход-экспресс,
Пятый день в Бостон плывет кичливо,
Всем другим судам наперерез.

Чудо современного комфорта —
Тысячи вмещающий людей —
Он таит от швабры до офорта
Все в себе, как некий чародей.

Ресторан, читальня и бассейны;
На стеклянных палубах сады,
Где электроветры цветовейны
Знойною прохладой резеды.

За кувертом строгого брэкфэста
Оживленно — важен табль-дот.
Едет Эльгра, юная невеста,
К лейтенанту Гаррису во флот.

А по вечерам в концертозале
Тонкий симфонический оркестр,
Что бы вы ему ни заказали,
Вносит в номеров своих реестр.

И еще вчера, кипя, как гейзер,
Меломанов в море чаровал
Скорбью упояющий "Тангейзер",
Пламенно наращивая вал.

И еще вчера из "Нибелунгов"
Вылетал валькирий хоровод,
И случайно мимо шедший юнга
Каменел, готовый на полет...

А сегодня важную персону —
Дрезденского мэра — студят льдом,
И оркестр играет "Брабансону",
Вставши с мест и чувствуя подъем.

Побледнела девушка-норвежка
И за Джэка Гарриса дрожит,
А на палубе и шум, и спешка:
Их германский крейсер сторожит!

Но среди сумятицы и гама,
Голосов взволнованных среди,
Слышит Эльгра крик: "Иокагама"
Показалась близко впереди!..

Точно, так: под солнценосным флагом
Шел дредноут прямо на врага,
Уходящего архипелагом, —
Несомненно, немец убегал.

Но теряя ценную добычу —
Английский громадный пароход —
Немец вспомнил подлый свой обычай:
Беззащитный умерщвлять народ.

К пароходу встав вполоборота,
За снарядом выпускал снаряд,
А корабль японский отчего-то
Промахнулся много раз подряд...

Вдруг снаряд двенадцатидюймовый
В пароходный грохнулся котел,
И взревел гигант, взлететь готовый,
Как смертельно раненный орел.

Умирали, гибли, погибали
Матери, и дети, и мужья,
Взвизгивали, выли и стонали
В ненасытной жажде бытия...

Падали, кусали ближним горла
И родных отталкивали в грудь:
Ведь на них смотрели пушек жерла!
Ведь, поймите, страшно им тонуть!

Только б жить! в болезнях, в нищете ли
Без руки, без глаза — только б жить!
"Только б жить!" несчастные хрипели:
"Только б *как-нибудь еще побыть*"...

Был из них один самоотвержен,
Но, бросая в шлюпку двух детей,
И толпою женщин ниц повержен,
Озверел и стал душить людей.

Женщины, лишенные рассудка,
Умоляли взять их пред концом,
А мужчины вздрагивали жутко,
Били их по лицам кулаком...

Что — комфорт! искусства! все изыски
Кушаний, науки и идей! —
Если люди в постоянном риске,
Если вещь бессмертнее людей?!..

1915. Июнь.
Эст-Тойла

Веранда над морем

Роланд

Полгода не видясь с тобою,
Полгода с Эльвиной живя,
Грущу и болею душою,
Отрады не ведаю я.

Любимая мною когда-то
И брошенная для другой!
Как грубо душа твоя смята!
Как шумно нарушен покой!
Оставил тебя для Эльвины,
Бессмертно ее полюбя.
Но в зелени нашей долины
Могу ль позабыть я тебя?
Тебя я сердечно жалею
И сам пред собою не лгу:
Тебя позабыть не умею,
Вернуться к тебе не могу.
И ныне, в безумстве страданий,
Теряясь смятенной душой,
К тебе прихожу для признаний,
Как некто не вовсе чужой...
Найдем же какой-нибудь выход
Из тягостного тупика.
Рассудим ужасное тихо:
Довольно мучений пока.

Милена

Полгода не видясь с тобою,
Полгода кроваво скорбя,
Работала я над собою,
Смирялась, любила тебя.
Когда-то тобою любима,
Оставленная для другой,
Как мать, как крыло серафима,
Я мысленно вечно с тобой.
Но в сердце нет злобы к Эльвине:
Ты любишь ее и любим.
Ко мне же приходишь ты ныне,
Как ходят к умершим своим.
Роланд! я приемлю спокойно
Назначенный свыше удел.
Да буду тебя я достойна,
Раз видеть меня захотел.
Ничем вас, друзья, не обижу:
Вы — милые гости мои.
Я знаю, я слышу, я вижу
Великую тайну любви!

Эльвина

Полгода живя с нелюбимым,
Полгода живя — не живя,
Завидую тающим дымам,
Туманам завидую я.
Рассеиться и испариться —
Лелеемая мной мечта.
Во мне он увидел царицу —
Тринадцатую у креста.
И только во имя чувства,
Во имя величья его
И связанного с ним искусства,
Я не говорю ничего.
Но если б он мог вернуться,
Тоскующая, к тебе,
Сумела бы я очнуться
Наперекор судьбе.
Но, впрочем, не все равно ли
С кем тусклую жизнь прожить? —
Ведь в сердце черно от боли,
Ведь некого здесь любить!

Милена

Я плачу о радостных веснах,
С тобой проведенных вдвоем,
Я плачу о кленах и соснах,
О счастьи плачу своем.
Я плачу о бедном ребенке,
О нашем ребенке больном,
О забытой тобой иконке,
Мне данной тебе в былом.
Я плачу о мертвой маме,
О мертвой маме своей,
О твоей Прекрасной Даме —
Бессердечной Эльвине твоей.
Но плачу всего больнее
Ни о ребенке, ни о себе,
Я плачу, вся цепенея,
Исключительно о тебе.
Я плачу, что ты ее любишь,
Но ею ты не любим,
Я плачу, что ты погубишь
Свой гений сердцем своим.
Я плачу, что нет спасенья,
Возврата, исходов нет.
Я плачу, что ты — в смятéньи,
Я плачу, что ты — поэт!

Роланд

Я жить предлагаю всем вместе, —
О, если бы жить нам втроем!..
Милена не чувствует мести
К сопернице в сердце своем.
Эльвина же, чуждая вечно,
Не станет меня ревновать.

Эльвина

Ты слышишь?

Милена

Я слышу, конечно.

Эльвина

И что же?

Милена

Не смею понять.

Эльвина

Я тоже.

Милена

Ты тоже? Что значит
Твоя солидарность со мной?

Эльвина

Он плачет, Милена, он плачет.
Утешь его: мне он... чужой...

Роланд

Милена! Эльвина! Милена!
Эльвина! Что делать? Как быть?
Есть выход из вашего плена:
Обеих вас надо забыть.
Жить с чуждой Эльвиной — страданье,
Вернуться к Милене — кошмар.
Прощайте! пускаюсь в скитанья:
Мой путь — за ударом удар.

1915. Июль.
Эст-Тойла

IV. Шалости кузины

Шалит...

Упруга, как резина
(Уж лучше не задень!..),
Шалит твоя кузина
Сегодня целый день.

Шалит, сама не зная,
Чего она шалит...
Должно быть, воздух мая
Кузину веселит...

Такая уж девчонка
(Ну что поделать с ней?),
Кудрява, как болонка,
Нежна, как цвет лилей...

За миной строит мину,
В лицо швыряет зов...
Схвачу твою кузину,
В уста! — и был таков!..

Эст-Тойла.
1915. Май

Ажур весенний

Мне сладостно-грустно сегодня...
Ах, это весна-ежегодня
Навеяла милую грусть!
Мне хочется странных хотений,
И лик твой офьолили тени,
Подчеркивая алоусть...

Ты смотришь изнеженно-томно,
Вздыхаешь глубоко-укромно,
Увлажнив фиолью зрачки.
Меня ты томишь и томишься,
С садовой фиалкой кумишься,
Горошку грызешь язычки...

Весенься, весенняя весень!
Просторься, щемящая тесень!
Озвенься, звеня, алозвонь!
Все влажно! душисто! фиольно!
Всего и всегда не довольно!..
Целуй! прикасайся! затронь!

1915. Май.
Эст-Тойла

Твое утро

С постели
Встала.
На голом теле
Дымится ало
И стынет сон...

Улыбки дрожко
Стрекозят крылья.
В глазах — умилье...
Еще немножко, —
И под уклон!

1915. Май.
Эст-Тойла

Бирюзовая поэза

Как солнце восходит раз в сутки,
Восходит в крови моей страсть...
И счастья минуту украсть
Спешу у Тоски-Беспробудки,
Сидящей собакою в будке,
Оскалив зубастую пасть.

Вся уличка в маевой тюльке
Качается, чуть бирюзясь.
Окрепла поснежная грязь.
Эстонка проносит копчульки.
И в птичьем восторженном бульке
Есть с бульком крови моей связь...

Я молод! Отдайся мне, солнце!
Отдайся, вся зелень! вся синь!
Отдайся отдачей святынь
Пчелиной душе аполлóнца!
Сквози голубая коронца
Над ликом любимой! Аминь.

Эст-Тойла.
1915. Май

"Поклонница"

Приехала из Петрограда
Поклонница и — вот досада! —
Блуждает целый день вдоль сада,
    Неинтересна и суха.

Мне пишет пламенные письма.
Пойди, Барбос, старушку высмей,
Полай, кусни!.. Встречался ты с ней?
    А я — подальше от греха:

Боюсь, не удержусь и резко
Наговорю ей, не без блеска,
Что в море, право, больше плеска,
    Чем в письмах пошлых и тупых...

Что эти письма и букеты
Мешают мне писать сонеты,
И что лишь для того и лето,
    Чтоб летом отдохнуть от них...

Избрала б цензора иль гуся
И поклонялась им, не труся,
А у меня — моя Маруся,
    И я давно ее жених.

1915. Май.
Эст-Тойла

Царство Здравого Смысла

Царство Здравого Смысла —
    Твоя страна.
Чуждо над нею нависла
    Моя луна.

Все в образцовом порядке
    В стране твоей;
Улицы блестки и гладки,
    Полны людей.

Люди живут, проходят
    Туда-сюда,
Все, что им нужно, находят,
    И без труда.

Учатся, и на спектакли
    Ходят подчас.
Только поэты иссякли
    Что-то у вас...

Да! Но никто не скучает:
    Меньше грехов,
Благо, страна процветает
    И без стихов...

1915. Июнь.
Эст-Тойла.

Это страшно...

Это страшно! — все одно и то же:
Разговоры, колкости, обеды,
Зеленщик, прогулка, море, сон.
Граммофон, тоска, соседей рожи,
Почта, телеграммы про победы,
И в саду все тот же самый клен...

Из окна коричневая пашня
Грандиозной плиткой шоколада
На зеленой скатерти травы.
Где сегодняшний и где вчерашний
Дни? Кому была от них услада?
Я не знаю! Знаете ли вы?

1915. Лето.
Эст-Тойла

Летняя поэза

Белеет черемуха над сонной гусынею,
И море прохладою подернулось синею...
А в поле так воздушно! а в парке так сосново!
О, радости праздного! восторг безвопросного!

Где желтые лютики златеют на солнышке,
Забегали клевера веселые волнышки,
И белые бабочки, и белые курочки
Доверчиво ластятся к резвящейся Мурочке...

Блаженство бессмысленно, и в летней
лилейности —
Прекрасен и сладостен триумф безыдейности...
Лишь думой о подвиге вся сладость окислена,
И как-то вздыхается невольно двусмысленно...

1915. Июнь.
Эст-Тойла

Шутливая рондель

Тебе в альбом электростишу
Свою шутливую рондель,
Возьми же эту самодель,
Чтоб спрятать в башенку под крышу.

Ты что-то говоришь, я слышу?
Что? лучше скрыть ее в постель?
Как хочешь! — я электростишу
Тебе в альбом свою рондель.

А может быть, ты спрячешь в нишу
Своей души, под сердца хмель?
Там ненадежно? неужель?
Своей тревоги не утишу,
Но все-таки электростишу.

1915. Июнь.
Эст-Тойла

Триолет о клене

О, если б клен, в саду растущий,
Расправив ветви, улетел!..
О, если бы летать хотел
Безмозглый клен, в саду растущий!..

Он с каждым днем все гуще-гуще,
И вот уж сплошь он полиствел.
Что толку! — лучше бы: растущий,
Взмахнув ветвями, улетел!

1915. Июнь.
Эст-Тойла

V. Бессмертника золотоцвет

Поэма Беспоэмия

А если я себе позволю,
Дав ямбу пламенному волю,
Тряхнуть прекрасной стариной
И, вдохновляемый весной,
Спою поэму на отличье,
В которой будет пенье птичье,
Призывотрели соловьев
И воды рек, и сень лесов,
И голубые лимузины,
И эксцентричные кузины,
И остро-пряный ассонанс,
И элегантный Гюисманс,
И современные грезэрки,
Заполнившие этажерки
Томами сладостных поэз,
Блестящими, как полонез,
И просто девственные дамы,
Себе построившие храмы
В сердцах совсем чужих мужей,
Забывшие своих детей,
Своих супругов — из-за скуки;
И тут же Скрябинские звуки, —
Поэма, полная огня, —
И жалопчелье златодня,
И сумасшествие Берлина,
И мудрость английского сплина,
И соком плещущий гранат,
Эолпиано Боронат
И с ней снегурочность Липковской,
И Брюсов, "президент московский",
И ядовитый Сологуб
С томящим нервы соло губ,
Воспевших жуткую Ортруду,
И графоманы, отовсюду
В журналы шлющие стихи,
В которых злющие грехи,
И некий гувернер недетский
Адам Акмеич Городецкий,
Известный апломбист "Речи",
Бездарь во всем, что ни строчи,
И тут же, публикой облапен,
Великий "грубиян" Шаляпин
И конкурент всех соловьев
И Собинова — сам Смирнов,
И парень этакий-таковский
Смышленый малый Маяковский,
Сумевший кофтой (цвет танго!)
Наделать бум из ничего.
И лев журналов, шик для Пензы,
Работник честный Митя Цензор,

Кумир модисток и портних,
Блудливый взор, блудливый стих...
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
И свита баб Иллиодора,
Сплошной нелепицы и вздора,
И, наконец, само Танго —
"Бери ее! бери его!.."

Мой пылкий ямб достиг галопа
И скачет, точно антилопа,
Но я боюсь его загнать:
Вдруг пригодится мне, как знать!
Уж лучше я его взнуздаю
И дам погарцевать по маю:
Иди, пленяй собой луга...
А там — ударим на врага!

1915. Май.
Эст-Тойла

"Бродячая собака"

1

Залай, Бродячая собака!
И ровно в полночь в твой подвал
И забулдыга, и гуляка
Бегут, как рыщущий шакал.
Богемой в папах узаконен
Гостей встречает Борька Пронин
Подвижен и неутомим.
(Друзья! вы все знакомы с ним!)
И рядом — пышущий, как тульский
С солидным прошлым самовар,
Распространяющий угар,
Известный женовраг Цибульский,
Глинтвейнодел и музыкант,
И, как тут принято, талант...

2

А кто же эти, с виду дети,
А по походкам — старички?
Их старший книжку издал "Сети",
А эти — альманах... "Сморчки!"
Глаза подведены кокотно,
Их лица смотрят алоротно,
И челки на округлых лбах
Внушают дамам полустрах...
О, сколько ласки и умилий
В глазах, смотрящих на *своих*!..
От них я очищаю стих
И, избегая их фамилий,
Уж превращенных в имена,
Оставлю им их времена!..

3

Все это "цвет литературы",
"Надежда" выцветших писак,
Готовых пригласить на туры
Поэзовальса этот "брак",
Дабы помодничать прекрасным
Зло-недвусмысленным маразмом,
Себя их кровью обновить...
Но тут легко переборщить
И гнилокровьем заразиться...
Нет, в самом деле, черт возьми,
Какими полон свет "людьми!"
Я не могу не возмутиться
И поощрителям "сморчков"
Бросаю молнии зрачков!

4

"Они талантливы"... Допустим!
Но что — в таланте без души?
Бездушные не знают грусти,
А только скуку. Напиши
Поэзу, вызванную скукой, —
И гений мой тому порукой, —
Как тонки ни были б слова,
Она останется мертва.
Ни возмутит, ни зачарует
Скопец, развратник, женофоб.
И современца медный лоб
Теперь лишь сталь бича взволнует,
Да, сталь бича иль гений! Вот
Какой пошел теперь народ!

5

"Ну что же, разве это плохо?
Ведь требовательность нужна"...
Тут не сдержалась бы от вздоха
Моя знакомая княжна.
Однако ж, чем живет богема?
Какая новая поэма
Бездушье душ объединит?
Что мысли их воспламенит?
Чего хотят? о чем тоскуют?
Зачем сбираются сюда?
Да так... Куда ж идти? куда?
Посплетничают, потолкуют
И, от безделья отдохнув,
Зевают: "Скучно что-то, уф"...

6

Ничьей там не гнушались лепты, —
И в кассу сыпали рубли
Отъявленные фармацевты,

Барзак мешавшие с Шабли!
Для виду возмущались ими,
Любезно спрашивая: "Имя
Как ваше в книгу записать?"
Спешили их облобызать,
А после говорили: "Странно,
Кто к нам пускает всякий сброд?.."
Но сброд позатыкал им рот,
Зовя к столу на бутерброд...
Но все это уже туманно:
Собака околела, и
Ей околеть вы помогли!

1915. Май.
Эст-Тойла

Поэза о Харькове

Я снова в нежном, чутком Харькове,
Где снова мой поэзовечер,
Где снова триумфально-арковы
Двери домовые — навстречу.

О, Харьков! Харьков! букворадугой
Твоею вечно сердце живо:
В тебе нежданно и негаданно
Моя мечта осуществима.

О, Харьков! Харьков! Лучший лучшего!
Цвет самой тонкой молодежи! —
Где я нашел себя, заблудшего,
Свою тринадцатую тоже.

Такая журчная и сильная,
В лицо задором запуская,
Мной снова изавтомобилена
Смеющаяся мне Сумская.

На восхищающем извозчике
Спускаюсь круто прямо к Поку.
Улыбки дамьи, шляпок рощицы
Скользят на тротуарах сбоку.

А вот и девочка графинина,
Одетая тепло-кенгурно,
Болтает с мисс (здесь это принято?):
"Maman им принята... "недурно"...

Пусть афишируют гигантские
Меня афиши, — то ль не эра!
— Мартын! Сверни к ручьям шампанского
В гурманоазисах Проспэра.

1915. Декабря 19-го.
Харьков — Павлоград
(поезд)

Поэза о Маиоренгофе

Я помню: в Маиоренгофе,
Когда мне было семь лет,
Я грезил о катастрофе,
О встречах, которых нет.

Как верная мне вассалка,
Собака ходила за мной,
И грезилась мне "Русалка",
Погибшая той весной.

Maman с генеральшей свитской
Каталась в вечерний час.
И *нынешний* Кусевицкий
Настраивал контрабас...

А я увлекался рьяно
Оркестром "дружка" своего:
О, палочка Булерьяна!
О, милый автограф его!

И это же самое море,
Когда мне было семь лет,
Мне пело, мечты лазоря,
О встречах, которых нет...

Эст-Тойла.
1915. Июнь

Поэза о Иоланте

Иоланта в брильянтах, Иоланта в фиалках,
Иоланта в муаре, Иоланта в бандо,
Иоланта в шантанах, Иоланта в качалках,
Иоланта в экспрессе, Иоланта в ландо!

Иоланта в идеях, Иоланта в болезнях,
Иоланта в страданьях, в кабаках и в нужде,
Иоланта в порывах и в восторженных песнях,
И в любви Иоланта! Иоланта везде!

Иоланта в Калуге, Иоланта в Сорренто,
Иоланта в Венере и во влаге цистерн,
В стилях, — в этих надмодных монументах моментам, —
В Rococo, в Renessans'e, в Louis XV и в Moderne!

Иоланта в варьянтах и контрастах религий,
Иоланта в метаньях, в заблужденьях, в труде,
В интервалах планетных, в каждом дне, в каждом миге,
И в тебе — Иоланта! Иоланта везде.

Иоланта в рокфоре, Иоланта в омаре,
Иоланта в Сотерне и в triple sec curasso,
Иоланта в Вольтэре, Иоланта в Эмаре,
В Мопассане, в Баркове и в Толстом, и в Руссо!

Иоланта повсюду, Иоланта всеместна...
Что же это такое — Иоланта моя?
Ничего я не знаю, ничего неизвестно,
Но мне кажется — это раздробленное "Я"!

1915. Июнь.
Эст-Тойла

Мёдовая поэза

Вадиму Баяну

Гостей любезно принимающий
В своей беззлобной стороне
Сиренью мёд благоухающий
Вы предложили к чаю мне.

О! вместе с мёдом просирененным
Вы предложили мне... весну! —
И Таню, смуженную Греминым,
Я вновь свободой оплесну.

И птицу, скрыленную клеткою,
Пущу я в воздух, хохоча,
И отклоню над малолеткою
Сталь занесенного меча...

Прощу врагам обиды кровные
И обвиню себя во всем,
И ласковые, и любовные
Стихи Ей напишу в альбом...

И вновь горящий, вновь пылающий
Я всею воспою душой
Сиренью мёд благоухающий,
Меня овеявший весной!

Александровск-Екатеринославский.
23-го декабря 1915 г.

Поэзошпилька

Ты говоришь: "Татьяна Гремина
Совсем неправильно овсемена,
Как чудо девичьей души:
Провинциалочке, как водится,
Онегин по душе приходится
Средь Митрофанушек в глуши.

Однако же, став дамой светскою
Она — с душой ореха грецкого! —
Его отвергла для того,
Чтоб отомстить ему за прошлое
И, выставив причину пошлую,
Как... честь супруга своего.

Любовью старца не онегена
И, не любя совсем Онегина,
Довольна партией своей.
Да, Танечка, до брака — Ларина,
Довольно скверно переварена
Мозгами наших матерей...

Смешно бы обвинять Евгения
За нежное его презрение
К причудам девочки-дичка.
Лишь Таня сделалась Татьяною, —
Он вспыхнул всей душою рьяною.
Но лицемерно, свысока

Ответила княгиня Гремина,
Та, кто в мечту страны овсемена:
"Другому буду век верна".
Как это холодно и каменно!
Любовь воскликнула бы пламенно:
"Я рада, что тебе нужна!"

1915. Май.
Эст-Тойла

Поэза моей светозарности

Когда мне пишут девушки:
"Его Светозарности",
Душа моя исполнена
Живой благодарности.

Ведь это ж не ирония
И не пародия:
Я требую отличия
От высокородия!

Пусть это обращение
Для всякой бездарности...
Не отнимай у гения
Его Светозарности!

1915. Июнь.
Эст-Тойла

Поэза королеве

Моя ль душа, — душа не короля?
В ней в бурю, — колыханья корабля.
Когда же в ней лазорие и штиль,
Моих стихов классично-ясен стиль.

Тенденциозной узкости идей,
Столь свойственных натуре всех людей,
Не признаю, надменно их презрев,
В поэзии своей ни прав, ни лев...

Одно есть убежденье у меня:
Не ведать убеждений. Не кляня,
Благословлять убожество — затем,
Дабы изъять его навек из тем...

Я не люблю людей, но я им рад,
Когда они мне рады — вот мой взгляд.
Не верю им и гордо, свысока,
Смотрю на них, к тому ж издалека.

Вступать в ряды людей — не мой удел,
Но вот я строй омаршить захотел, —
И я пою, движение любя;
Они идут, чем тешу я себя.

А стоит мне сильнее захотеть, —
И будут люди вечно жить и петь,
Забыв про смерть, страдания и боль:
Ведь я поэт — всех королей король!

1915. Май.
Эст-Тойла

Поэза чуда

Во всем себя вы в жизни сузили,
Одна осталась вам игра:
Самообманы да иллюзии, —
Убогой жизни мишура.

Рожденные в земном убожестве
Полуцари, полукроты
Вы величаетесь в ничтожестве,
Ложась холопно под кресты...

Зачем вам жить, не отдающие
Себе отчета в слове "жить"?
Всю жизнь свой сами крест несущие,
Чтоб под него себя сложить?

Бунтующие и покорные,
Игрушки воли мировой,
В самом бессмертии тлетворные,
Порабощенные судьбой!

Жалеть ли вас, земли незнающих
И глупый делающих вид
Вселенной тайны постигающих,
Какие чует интуит?

Вас презирать без сожаления, —
Единственное, что для вас!
Вас бичевать за все стремления,
За все "стремления на час"!

Честнее будьте вы, нечестные,
Но восхваляющие честь:
Без жалоб лягте в гробы тесные,
А жить хотите — выход есть:

Все, как один, в огне содружества,
Развихривая жизни ход,
Имейте пыл, имейте мужество
Все, как один, идти вперед!

И чудо явится чудесное:
Слиянные в своем огне,
Поработите вы Безвестное
И да поклонитесь вы мне!

1915. Май.
Эст-Тойла

Поэза о людях

Разве можно быть долго знакомым с людьми?
И хотелось бы, да невозможно! —
Все в людских отношеньях тревожно:
То подумай не так, то не этак пойми!..

Я к чужому всегда подходил всей душой:
Откровенно, порывно, надежно.
И кончалось всегда неизбежно
Это тем, что чужим оставался чужой.

Если малый собрат мне утонченно льстит,
Затаенно его презираю.
Но несноснее группа вторая:
Наносящих, по тупости, много обид.

И обижен-то я не на них: с них-то что
И спросить, большей частью ничтожных?!..
Я терзаюсь в сомнениях ложных:
Разуверить в себе их не может никто!

И останется каждый по-своему прав,
Для меня безвозвратно потерян.
Я людей не бегу, но уверен,
Что с людьми не встречаются, их не теряв...

1915. Май.
Эст-Тойла

Поэза безнадежия

Я чем-то подавлен, я чем-то стеснен.
Нет слов подходящих для звончатых песен.
И май в этот год уж не прежне-чудесен.
И жизнь — полуявь, полубред, полусон.

Я чем-то обижен, я как-то устал,
Мне так одосадели мелкие люди...
Мечтал о безлюдьи, как будто о чуде:
Никто из них милого мне не сказал!

Как горько от зависти, лести, интриг,
От всех подражаний! от всех посвящений!
От их увенчаний развенчан мой гений!..
Мне тяжко: я их беспощадно постиг.

Незваная свита терзала весь год
Своими заботами, сплетнями, грязью...
Ах, есть ли ей равные по безобразью
Духовных надежд, меркантильных забот?!..

Какие-то гаденькие толмачи,
Мечты толкователи, лексионеры...
О как безнадежно бездарны и серы
Их чувства — лягушки, их песни — грачи!

Я ими расстроен, я смят, угнетен.
Мне надо лечиться безлюдьем все лето.
Апатия, леность, усталость. Поэта
Во мне убивают, и близок мой сон...

... Маруся! Маруся! услышь, помоги! —
Ведь только в тебя упоительна вера...
Но вижу в руках твоих сталь револьвера,
А там, за тобою, не видно ни зги...

1915. Май.
Эст-Тойла

У памятника Комиссаржевской

Вера Федоровна! Сегодня
Я заехал к Вам из полка:
Уж изнервничался я очень,
И такая была тоска...

Долго вглядывался я, сгорбясь,
В Ваши бронзовые черты:
В них застыло так много скорби,
Вдохновенности и мечты...

Я спросил Вас, — о Вы поймете,
Вера Федоровна, о чем!..
Шевельнули едва губами
И чуть-чуть повели плечом...

А в глазах (в уголках, у носа)
Вспыхнул гнев, человечий гнев...
Всю бестактность своего вопроса
Понял, плача и покраснев...

1915. Октябрь.
Петроград

Все — за новь!

Дождь за дождем, за бурей буря.
За песнью песнь, за болью боль.
Чело то хмуря, то лазуря,
Живут и нищий, и король.

О, всколыхните безмятежность,
Благополучье раздробя!
Прекрасней после гнева нежность,
Как, после муки, вы — себя!

Свершайте явные ошибки,
Крушите счастье и любовь,
Чтоб только не было на Шипке
Душ ваших тихо. Все — за новь!

Да, все за новь, за блеск, за звонкость,
За обиенность и за шаг!
Я славлю мудрую ребенкость
И молодеческий кулак.

Живи, воистину живое,
Не уставая звать меня!
Пылай восторгом, ретивое:
Ведь даже в счастьи скорбен я!

1915. Июнь.
Эст-Тойла

Creme des Violettes

Избранные поэзы

За чаем после оперы

— Он лучший изо всех моих Хозэ. —
Прощебетала пылкая Ирина,
Изящно выпив ломтик мандарина.
Пел самовар. Отрезав сыр в слезе
И разорвавши розанчик, старушка
Прошамкала: "Ты, детушка, права;
В нем жизнь кипит и бьется за права".
— Бессмертие, — Ирэн мечтала: — душка!.. —

А знаете ли, милые mesdames,
(Ах, господа, мы многого не знаем!)
Что тенор, так понравившийся вам,
Уж не артист, а — кости под трамваем?

1909

Это сон или бред?..

Это сон или бред? Это греза или жизни отрывок?
Я опять целовал эти губы, вкушая ответ!
И луна расцвела, и у ржи золотеющих гривок
Отдыхала мечтой, посылая колосьям привет.

Ты ко мне подошла, подошла, улыбаясь
тревожно,
Заглянула в глаза, молча руку свою подала...
Это так хорошо, что увидеть во сне невозможно!
Это явь! это жизнь! ты не грезилась мне, —
ты была!

1909

Сердце, печалься...

Когда за сценою хор девушек аукал,
И восхищение писало мемуар, —
Их было несколько, нарядных этих кукол,
Пришедших в оперу послушать свой муар.

Пусть сердце разуму шептало: "Овуалься..."
Пусть разум внемлющий развеевался в лунь... —
Их было несколько, непьющих влаги вальса,
Бездушно-вдумчивых, и юных, как июнь.

... Ах, не обидно ли: представить, что у окон,
Зеленым вечером, затянуты в корсет,
Они не чувствуют, как бродит в речке окунь,
Как фантазирует туман, белесо-сед.

Их было несколько, невинные Прилепы,
И содержательней, чем "Тоски" средний акт.
Но не обидно ли, — их души были слепы
Для впечатления и спали, точно склепы,
Под камнем разума, где высечено: "Такт".

1910

Увертюра к т. VIII

Весна моя! ты с каждою весной
Все дальше от меня, — мне все больнее...
И, в ужасе, молю я, цепенея:
Весна моя! побудь еще со мной!

Побудь еще со мной, моя Весна,
Каких-нибудь два-три весенних года:
Я жизнь люблю! мне дорога природа!
Весна моя! душа моя юна!

Но чувствуя, что ты здесь ни при чем,
Что старости остановить не в силах
Ни я, ни ты — последних лилий милых,
Весна моя, певец согрет лучом...

Взволнованный, я их беру в венок,
Твои цветы, стихи моего детства
И юности, исполненные девства, —
Из под твоих, Весна, невинных ног.

Венок цветов, — стихов наивный том, —
Дарю тому безвестному, кто любит
Меня всего, кто злобой не огрубит
Их нежности, и примет их в свой дом.

Надменно презираемая мной,
Пусть Критика пройдет в молчаньи мимо,
Не осквернив насмешкой серафима,
Зовущегося на земле: Весной.

1918.
Toila.

Отъезд герцогини

Она призадумалась в дверцах
Входя в броненосный вагон.
Грустил провожающий герцог
Унылым движеньем погон.

И дамы, надевшие скальпы,
(Фальшивы прически иных!..)
Ее провожали на Альпы, —
Она уезжала от них.

Блестели на темени глянцы,
Качались в руках котелки,
И горбили спины не ранцы,
А лишь — поцелуи руки.

Все хором желали здоровья
И лгали — до искренних слез.
Она же, сомкнув чернобровье,
Ждала оживленья колес.

Ничто ее здесь не держало:
Муж-герцог давненько потух,
А в Альпах, как сладкое жало,
Оставленный ею пастух.

Упившись мечтательной сказкой,
Забылась и слов не спасла,
Что герцог, махающий каской,
Был в профиль похож на осла!..

1910

Месть

Я пришла к дверям твоим...

Валерий Брюсов

Она в мои стучалась двери,
Но я дверей не отворял.
Она ждала в упорной вере, —
Бесстрастно я не доверял.

И слыша стуки, мысля злобно,
Я ликовал, как вечный зверь.
Она звала, любви подобна,
Она ко мне врывалась в дверь.

— Впусти меня, — она кричала, —
Я жизнь несу тебе: впусти! —
Ей только эхо отвечало, —
Я не хотел тебя спасти.

Я не хотел вернуть потери,
Как в шторм не хочет челн ветрил.
Она мне жизнь бросала в двери,
А я ей смерть не отворил!

1909

Pühajõgi

Эстляндские поэзы

В хвойной обители

И снова в хвойную обитель
Я возвращаюсь из Москвы.
Где вы меня не оскорбите
И не измучаете вы.

Вы, кто завистлив и бездарен,
Кто подло-льстив и мелко-зол.
Да, гений мудр и светозарен,
Среди бескрылых — он орел.

Как сердцу нестерпимо-грустно
Сознаться в ёловой тени,
Что мало любящих искусство,
Но тем ценней зато они.

Среди бездушных и убогих,
Непосвященных в красоту,
Отрадно встретить их, немногих,
Кого признательно я чту.

Вы, изнуренные в тяжелых
Условьях жизни городской,
Ко мне придите: край мой ёлов,
В нем — красота, а в ней — покой.

Тойла.
1918

Привет Эстонии

Привет республике эстляндской, —
Культурной, честной и благой, —
Правленья образ шарлатанский
Поправшей твердою ногой!

Ликуйте, мудрые эстонцы,
В чьих жилах северная кровь:
Отныне солнце — ваше солнце!
Новь жизни вашей — ваша новь!

Сыны Эстонии приморской,
Просторьтесь в золотых полях,
Как малоросс над тихой Ворсклой
И как над Вислою — поляк.

Но вы счастливей: нет в вас лени
Тупого хитрого хохла
И польских взбалмошных надмений, —
И ваша жизнь вдвойне светла.

В часы досуга пойте Бойто,
Читайте много вечных книг
И на заре встречайте Койта,
А на закате — Эмарик!

Тойла.
1918

Край благословенный

Отрадно сознавать, что хлеба
Нам хватит вплоть до сентября,
Что эстов возлюбило небо,
Их плодородием даря.

И как ни хмурься Мефистофель,
Какие козни им ни строй,
У них неистощим картофель:
Так здесь налажен жизни строй.

Запасов разных хватит на год,
К тому же близок урожай.
А сколько здесь грибов и ягод —
Ты, русский, лишь воображай!

Весной начнется ловля рыбы, —
Не знает кто эстляндских шпрот?
Ну как же не сказать: "Спасибо"
Тебе, трудящийся народ?

Благодаря тебе, быть может,
Меня Россия сохранит.
Освобожденный не острожит, —
Своей свободы не чернит.

Тойла.
1918

Вервэна

Поэзы 1918 — 1919

I. Жемчуг прилива

Интродукция

Вервэна, устрицы, луна и море,
Порабощенный песней Демон —
Вот книги настоящей тема,
Чаруйной книги о Святом Аморе.

Она, качелящая ваши грезы,
Утонченные и больные,
Приобретает то льняные,
То вдруг стальные струнные наркозы.

Всмотритесь пристальнее в эти строки:
В них — обретенная утрата.
И если дух дегенерата
В них веет, помните: всему есть сроки...

Устрицы

О, замороженные льдом
Вы, под олуненным лимоном,
Своим муарным морезвоном
Заполонившие мой дом,
Зеленоустрицы, — чей писк
И моря влажно-сольный запах —
В оттенках всевозможных самых —
Вы, что воздвигли обелиск
Из ваших раковин, — мой взор,
Взор вкуса моего обнищен:
Он больше вами не насыщен, —
Во рту растаял ваш узор...

Припоминаю вас с трудом,
Готовый перерезать вены,
О, с лунным запахом вервэны
Вы, замороженные льдом!

Ликер из вервэны

Ликер из вервэны — грёзэрки ликер,
Каких не бывает на свете,
Расставил тончайшие сети,
В которые ловит эстетов — Амор
Искусно.

Луною наполнен сомнамбул фужер
И устричным сердцем, и морем.
И тот, кто ликером аморим,
Тому орхидейное нежит драже
Рот вкусно.

Уста и фужер сетью струн сплетены,
При каждом глотке чуть звенящих,
Для нас — молодых, настоящих, —
Для нас, кто в Сейчас своего влюблены
Истому.

Лишь тот, кто отрансен, блестящ, вдохновен,
Поймет тяготенье к ликеру,
Зовущему грезы к узору,
К ликеру под именем: Créme de verveine —
Больному.

Январь 1919

При свете тьмы

Мы — извервэненные с душой изу́стреченною.
Лунно-изне́рвленные у нас умы.
Тоны фиолевые и тени сумеречные
Мечтой болезненной так любим мы.

Пускай упадочные, но мы — величественные.
Пусть неврастеники, но в свете тьмы
У нас задания, веку приличественные,
И соблюдаем их фанатно мы.

Январь 1919

Фанатики изборов

Мы — фанатики наших изборов,
Изысков, утонка.
Мы чувствуем тонко
Тем, что скрыто под шелком проборов,

Тем, что бьется под легким, под левым, —
Под левым, под легким.
Мечтам нашим кротким
Путь знаком к бессемянным посевам.

Не подвержены мы осязанью
Анализа грубых.
В их грохотных трубах —
Нашим нервам и вкусам терзанье.

Пусть структура людей — для заборов:
Структура подонка.
Мы созданы тонко:
Мы — фанатики наших изборов.

Морефея

Флакон вервэны, мною купленный,
Ты выливаешь в ванну
И с бровью, ласково-насупленной,
Являешь Монну-Ванну.

Правдивая и героичная,
Ты вся всегда такая...
Влечешь к себе, слегка циничная,
Меня не отпуская.

И облита волной вервэновой,
Луной и морем вея,
Душой сиренево-сиреневой
Поешь, как морефея.

Белый транс

Ночью, вервэной ужаленной, —
Майскою, значит, и белой, —
Что-нибудь шалое делай,
Шалью моею ошаленный.

Грезь о луне, лишь намекнутой,
Но не светящей при свете
Ночи, невинной, как дети,
Грешной, как нож, в сердце воткнутый.

Устрицы, острые устрицы
Ешь, ошаблив, олимонив,
Грезы, как мозгные кони,
Пусть в голове заратустрятся.

Выплыви в блеклое, штильное
Море, замлевшее майно.
Спой, опьяневши ямайно,
Что-нибудь белое, стильное...

Январь 1919

Лунные блики

Лунные слезы легких льнущих ко льну
сомнамбул.
Ласковая лилейность лилий, влюбленных в плен
Липких зеленых листьев. В волнах полеты
камбал,
Плоских, уклонно-телых. И вдалеке — Мадлен.

Лень разветвлений клена, вылинявшего ало.
Палевые поляны, полные сладких сил.
Лютиковые лютни. В прожилках фьоль опала.
Милая белолебедь в светлом раскрыльи крыл.

Лучше скользить лианно к солнечному Граалю.
Кроликов лунно-бликих ловко ловить в атлас
Платьев лиловых в блестках. Пламенно лик
реалю
И, реализм качеля, плачу печалью глаз.

Январь 1919

Чары Лючинь

Лючинь печальная читала вечером
ручьисто-вкрадчиво,
Так чутко чувствуя журчащий вычурно чужой ей
плач,
И в человечестве чтя нечто вечнее, чем чушь
Боккачио,
От чар отчаянья кручинно-скучная, чла час удач.

Чернела, чавкая чумазой нечистью, ночь
бесконечная,
И челны чистые, как пчелы-птенчики безречных
встреч,
Чудили всячески, от качки с течами полоувечные,
Чьи очи мрачные из чисел чудную чеканят речь.

Чем, — чайка четкая, — в часы беспечные мечтой
пречистою
Отлично-честная Лючинь сердечная лечила чад,
Порочных выскочек? Коричне-глетчерно кричит
лучистое
В качалке алчущей Молчанье чахлое, влача
волчат...

Январь 1919

Образ прошлого

Я слышу в плеске весла галер,
Когда залив заснет зеркально;
Судьба Луизы дэ-Лавальер —
И трогательна и печальна.

Людовик-Солнце, как кавалер,
Знал тайну страсти идеально.
Судьба Луизы дэ-Лавальер
Все ж трогательна и печальна.

Когда день вешний нежданно сер,
И облака бегут повально,
Судьба Луизы дэ-Лавальер
Так трогательна и печальна.

Пусть этот образ из прежних эр
Глядит и тускло, и банально:
Судьба Луизы дэ-Лавальер
Всегда пленительно печальна.

У окна

В мое окно глядит луна.
Трюмо блистает элегантное.
Окно замерзло бриллиантное.
Я онемела у окна.

Луна глядит в мое окно,
Как некий глаз потустороннего.
С мечтой о нем, молю: "Не тронь его,
Луна, люблю его давно"...

В мое окно луна глядит
То угрожающе, то вкрадчиво.
Молюсь за чистого, но падшего
В порок, с отчаяньем в груди.

Луна глядит в окно мое,
Как в транс пришедшая пророчица.
Ах, отчего же мне так хочется
Переселиться на нее?

Цветы, как крылья

В долине Святой реки
Крылят цветы-мотыльки,
Крылят цветы-мотыльки
        Белоснежные.

Из снега они торчат,
Как уши моих зайчат,

Как уши моих зайчат:
        Уши нежные.

Сквозь снег они ввысь растут
В долине и там, и тут,
В долине и там, и тут, —
        Шелкостружные.

Шуршащие, так легки
Цветочные мотыльки,
Цветочные мотыльки —
        Грёзокружные...

Дизель I

Ветер ворвался в окно —
        Ветер весенний,
        Полный сирени...

Мы не видались давно, —
Ветер ворвался в окно,
        Полный видений...

Скучно, и в сердце темно:
        Нет воскресений
        Прежних мгновений...
Ветер ворвался в окно.

Дизель II

Проплывает вдали канонерка.
        Над кружком камамбера
        Ты читаешь Флобера.

И зачем тебе видеть, грёзэрка,
Как плывет вдалеке канонерка:
        Ведь корабль — не гетера...

Вдруг снаряд, — и твоя этажерка,
        Где стихи эксцессера,
        Тлеет исчерно-серо...

Так плывет вдалеке канонерка...

Кэнзель XI

Миньона, Мирра, Ингрид и Балькис —
Слиянных воедино их четыре,
Извечным украшеньем в этом мире
Проведших жизнь, и вот воспеть на лире,
Прославить их — начертан мой девиз.

От каждой взяв, что в каждой характерно,
По качествам оценивая верно,
Миньону, Мирру, Ингрид и Балькис
Я превращаю в пятую. Ильферна —
Вот имя ей: так хочет мой каприз.

И в этот год, когда, как бич, навис
Над миром гром неотвратимой кары,
Да отразит кровавые удары
Ильферна, в ком свои сокрыли чары
Миньона, Мирра, Ингрид и Балькис.

Кэнзель XII

Птицы в воздухе кружатся
И летят, и поют,
И, летя, отстают,
Отставая, зовут...
Воздух северный южится.

Не считая минут,
Без печали, без смут,
Птицы в воздухе кружатся.
Мотыльки там и тут
Золотисто жемчужатся.

Стаи белые вьюжатся
Мотыльковых причуд,
Воздух золотом ткут...
Бросив трав изумруд,
Птицы в воздухе кружатся.

Газэлла IV

Серый заяц плясал на поляне.
Лунный свет трепетал на воляне.

В сини глаз загорелся восторг.
Подойдя, я стоял на поляне.

Вот второй, вот и третий бегут, —
Собрались стар и мал на поляне.

Я смотрел на диковинный пляс
И на заячий бал на поляне.

Все танцуют: прыжок за прыжком
Блекнет лунный опал на поляне.

Газэлла V

Да, ты поехала кататься, сев в голубой
кабриолет.
Покачивается рессорно твоей судьбой
кабриолет.

Покачивается рессорно, стремясь на рокотный
пуант,
Твой голубой, идущий гордо — ведь он с тобой!
— кабриолет.

Откинулась ты на подушки. Спит на коленях
том, Жорж Занд.
Качелит сон старинной книги твой моревой
кабриолет.

Его рессоры — точно волны. Им управляет
лейтенант.
Он так похож на миноноску — твой огневой
кабриолет.

Сама же ты — угрозней мины: на твой
чарующий талант
Кто натолкнется, тот взорвется. О, роковой
кабриолет!

Газэлла VI

Приезжай ко мне обязательно, приезжай.
Эта встреча мне так желательна. Приезжай.

Привези с собой ноты новые и стихи:
Ты читаешь их увлекательно. Приезжай.

Привези с собой свой сиреневый пеньюар:
В нем ты, нежная, так мечтательна. Приезжай.

Привези с собой бриллиантовое колье.
Красота твоя в нем блистательна. Приезжай.

Привези с собой сердце ласковое свое:
Ах, поет оно обязательно. Приезжай!

Газэлла VII

Твоих невоплотимых глаз, Ильферна моя,
Никто не целовал из нас, Ильферна моя.

А кто бы их увидеть мог, тот не жил бы дня.
Когда бы в них взглянуть хоть раз,
Ильферна моя.

Тебе одной дары миров, сиянье огня,
Цветы, восторги и экстаз, Ильферна моя.

Тебе, одной тебе, поет и лира, звеня.
Тебе хвалу воздаст Парнас, Ильферна моя.

Я твой, я безраздельно твой! люби же меня!
Тебя увижу в смертный час, Ильферна моя!

Газэлла VIII

Ты любишь ли звенья персидских газэлл —
изыска Саади?
Ответить созвучно ему ты хотел, изыску Саади?

Ты знаешь, как внутренне рифмы звучат
в персидской газэлле?
В нечетных стихах, ты заметил, звук
бел — в изыске Саади?

Тебя не пугал однотонный размер в газэлловом
стиле?
Поймать, уловить музыкальность сумел
в изыске Саади?

Так что же так мало поэты у нас газэлл
написали?
Ведь только Кузмин был восторженно-
смел с изыском Саади...

Звените, газэллы — газельи глаза! — и пойте,
как пели
На родине вашей, где быть вам велел изыском
— Саади!

Рондо XIX

Вервэна, упоенная морской
Муаровой волной, грустней Лювэна,
Овеяла меня своей тоской
Вервэна.

И под ее влияньем вдохновенно
Я начал петь глаза Манон Леско,
Смотрящие мне в душу сокровенно.

Возник в душе улыбчивый покой.
Она свята, как древняя Равенна:
То льется в душу лунною рекой
Вервэна.

Рондо XX

Пока не поздно, дай же мне ответ,
Молю тебя униженно и слезно,
Далекая, смотрящая мимозно:
Да или нет? ответь — да или нет?
Поэзно "да", а "нет" — оно так прозно!

Слиянные мечты, но бьются розно
У нас сердца: тускнеет в небе свет...
О, дай мне отзвук, отзнак, свой привет,
Пока не поздно.

Ты вдалеке. Жизнь превратилась в бред.
И молния, и гром грохочет грозно.
И так давно. И так десятки лет.

Ты вдалеке, но ты со мною грезно.
Дай отклик мне, пока я не скелет,
Пока не поздно!..

Рондель XV

Ее веселая печаль,
Ее печальная веселость...
Саней задернутая полость,
И теплая у губ вуаль.
Какая тяга в зовы миль!
Какая молодая смелость!
В душе — веселая печаль,
В душе — печальная веселость.
В мечтах — кабинки, пляж, Трувиль.
Вокруг — зимы нагая белость.
В устах — коралловая алость.
В ушах — весенняя свирель.
В глазах — веселая печаль.

Сонет XXX

Петрарка и Шекспир, и Бутурлин
(Пусть мне простят, что с гениями рядом
Поставил имя, скромное парадом...)
Сонет воздвигли на престол вершин.

Портной для измеренья взял аршин.
Поэт окинул нео-форму взглядом
И, напитав ее утопий ядом,
Сплел сеть стихов для солнечных глубин.

И вот, сонета выяснив секрет,
Себе поэты выбрали сонет
Для выраженья чувств, картин, утопий.

И от Петрарки вплоть до наших дней
Сонет писали тысячи людей, —
Оригинал, ты потускнел от копий!..

Баллада XXI

Витает крыльный ветерок
Над звездочными васильками,
Над лентой палевых дорог,
Над голубыми ручейками.
Витает на восточной Каме,
Как и на западной Двине,
И цветовейными устами
Целует поле в полусне.

Витает, свой свершая срок,
Над рощами и над лесами,
Над оперением сорок
И над пшеничными усами.
Мы, впив его, витаем сами,
Витаем по его вине
Над изумрудными красами,
Целуя травы в полусне.

Его полет — для нас урок,
Усвоенный чудесно нами:
Так добродетель и порок
Равно лелеемы волнами
Зефира, мучимого снами
И грезой о такой стране,
Где поэтическое знамя
Целует ветер в полусне.

Чаруемы его мечтами
О невозможной стороне,
Мы в этом мире, точно в храме,
Целуем знамя в полусне...

Баллада XXII

В четверку серых лошадей
Несется синяя карета.
Внутри ее, средь орхидей,
Сидит печальная Иветта.
Она совсем легко одета,
За что ее корит злой толк.
Ее овил вокруг корсета
Gris-perle вервеновейный шелк.

Она устала от людей,
Равно: от хама и эстета,
От их назойливых идей, —
Она, мимоза полусвета.
Ей так тяжел грасир корнета
И пред семьей дочерний долг,
Что прячет перламутр лорнета
В gris-perle вервеновейный шелк...

В нее влюбленный лицедей —
С лицом заморыша-аскета,
С нелепым именем Фадей —
Поднес ей белых два букета.
И, в орхидеях, как комета
На отдыхе, кляня весь полк,
Из-за корнета, грезит: "Где-то —
Волна, — вервеновейный шелк"...

Сверни же к морю, в дом поэта.
Что ехать в город? он — как волк!
Кто, как не ты, придумал это.
Gris-perle вервеновейный шелк?..

Баллада XXIII

(Диссо, фиг.1)

Поэт, во фраке соловей,
Друг и защитник куртизанок,
Иветту грустную овей
Улыбкой хризантэмных танок,
Ты, кто в контакте с девой тонок,
Ты, сердца женского знаток,
Свой средь грузинок и эстонок,
Прими Иветту в свой шатрок!

Ты, вдохновенно-огневой,
Бродящий утром средь барвинок,
Приветь своей душой живой
Иветту, как певучий инок.
Врачуй ей боль душевных ранок,
Психолог! интуит! пророк!
Встречай карету спозаранок,
Прими Иветту в свой шатрок.

Стихи и грезы ей давай,
Беднеющей от шалых денег,
Пой про любовью полный май,
Дай ей любовь вкусить, весенник!
Целуй нежней ее спросонок
И помни меж поэзных строк:
Застенчивая, как ребенок,
Вошла Иветта в твой шатрок...

Тебе в отдар — созвучных струнок
Ее души журчащий ток.
Возрадуйся же, вечный юнок,
Что взял Иветту в свой шатрок!

Баллада XXIV

(Диссо, фиг.2)

Царевич Май златистокудрый
Был чудодейный весельчак:
Прикидывался девкой бодрой,
То шел, как некий старичок,
Посасывая каучук
Горячей трубочки интимной...
То выдавал мальчишкам чек
На пикники весною томной.

А иногда царевич мудрый,
Замедлив в резвом ходе шаг,
Садился на коня, и бедра
Его сжимал меж сильных ног.
Иль превращался в муху вдруг
И в ухо лез, жужжа безумно,
Смотря, как мчится человек
На пикники весною томной...

Осыпав одуванчик пудрой,
Воткнув тычинки в алый мак,
Налив воды студеной в ведра,
Сплетя из ландышей венок,
Хваля, как трудится паук,
И отстоявши в праздник храмный
Обедню, — направлял свой бег
На пикники весною томной.

Люблю блистальный майский лик,
Как антипода тьмы тюремной.
Ловлю хрустальный райский клик
На пикники весною томной!

Баллада XXV

Ibeo

Усни в зеленом гамаке
Под жéмчужными мотыльками,
Над слившимися ручейками, —
Усни в полуденной тоске.
Зажми в снежеющей руке,
Без дум, без грез и без желанья
С ним встречи в странном далеке,
Его последнее посланье.

Умей расслышать в ручейке
Его уста с его стихами,
Эола вьющееся знамя
Умей увидеть в мотыльке.
В отдальной песне на реке
Почувствуй слезы расставанья,
Прижми ладонью на виске
Его последнее посланье.

Следи за солнцем на песке,
За ползающими тенями.
Пробудят пусть сравненье с днями
Они в тебе, в людском цветке.
Ты, легкая, здесь — налегке,
Лишь гостья краткого свиданья,
И смерть твоя видна в листке
Его последнего посланья.

Чем ближе к гробовой доске,
Сильней — любви очарованье:
В руке, как в глиняном куске,
Его последнее посланье...

Квинтина I

Благоухающая вся луною
И упояющая соловьем
Она владычествует надо мною —
Вервэна, выглотанная живьем, —
С лимоном устрица, — фужер с волною.

Не захлебнуться ли теперь волною?
Не погрузиться ли в нее живьем?
Весь озаряемый больной луною;
Остро я чувствую, что надо мною —
Соблазн, растрелившийся соловьем.

Кто не прикидывался соловьем
Под этой ветреной, шальной луною?
Кто не мечтал меня изъять живьем?
Глубь не влекла ль меня своей волною?
Кто не рапировал в мечтах со мною?

О, благодать небес! Ты надо мною
Благоуханною течешь волною,
Поешь весенящимся соловьем,
И, обливая вдруг меня луною,
Возносишь в синие верхи живьем.

Та, кто живое все берет живьем,
Неторжествующая надо мною,
Легко выбрасывает мне волною
Вервэну, трелющую соловьем,
И упоящую мозг луною...

Квинтина II

Моя земля! любовью ты жива!
Моя любовь! ты вскормлена землею!
Ты каждый год по-вешнему нова!
Сверкающие утренней зарею
Пою тебе хвалебные слова!

О, что за власть имеют те слова,
Которые излучены зарею!
Земная жизнь! да будь всегда жива!
Земная страсть! да будь всегда нова!
Бессмертно будь, рожденное землею!

Я создан сам цветущею землею,
И только ею грудь моя жива.
Я вдохновляюсь юною зарею,
Шепчу в восторге нежные слова.
Так: жизнь земли всегда душе нова.

И ты, моя любимая, нова,
Когда щебечешь чарные слова,
Дарованные млеющей землею.
К тебе любовь бессмертная жива,
Она сияет майскою зарею.

О, наслаждайтесь красочной зарею
И славословьте жизнь: она нова!
Творите вдохновенные слова!
И пусть планета, что зовут Землею,
Пребудет ввек прекрасна и жива!

Квинтина III

Я здесь один, совсем один —
В том смысле, что интеллигента
Ни одного здесь нет. Вершин
Сосновый говор. Речки лента
Зеркальная в кудрях долин.

Отрадны шелесты долин,
И влажная влекуща лента.
Среди людей я все ж один,
И, право, тоньше шум вершин
Для слуха грез интеллигента.

Искусство — для интеллигента:
Среди невежд лишь он один
Ждет, чтобы даже кинолента
Струила аромат долин,
И свято любит свет вершин.

Стремитесь к холоду вершин,
Привыкшие к теплу долин,
Беря пример с интеллигента.
Пусть из ползучих ни один
Не падает, виясь как лента.

Милей всех лент — любимой лента,
Она превыше всех вершин.
Внемлите, жители долин,
Всей гамме чувств интеллигента:
Взлет — смысл единственный один!

Квинтина IV

Любовь приходит по вечерам,
А на рассвете она уходит.
Восходит солнце и по горам,
И по долинам лучисто бродит.
Лучи наводит то здесь, то там.

Мир оживает то здесь, то там,
И кто-то светлый по миру бродит.
Утрами бродит, а к вечерам
Шлет поцелуи лесам, горам
И, миротворя весь мир, уходит.

Уходят годы, и век уходит.
И что звучало по вечерам,
Забыто к утру. Лишь Память бродит,
Как привиденье, то здесь, то там,
Да волны моря бегут к горам.

Нам надоели низы, — к горам
Мы устремились: ведь солнце там!
А вечерами оно уходит...
Тогда — обратно: по вечерам
Уходит Яркость и Нежность бродит.

Пока мы юны, пока в нас бродит
Кровь огневая, спешим к горам:
Любовь и Солнце мы встретим там!
Пусть на закате *оно* уходит,
Она приходит по вечерам...

Лэ I

О вы, белосиреневые сны,
Объятые вервэновой печалью!
О, абрис абрикосовой весны!
О, личико, окутанное шалью
Лимонною, ажурною, кисейною!
О, женщина с душой вервэновейною,
Приснившаяся в оттепель февралью!..

Приснившееся в оттепель февралью —
В моем коттэдже у кривой сосны —
Лицо под фиолетовой вуалью,
Лицо, глаза которого грустны
И, как вуаль, немного фиолетовы,
Я знал тебя, и, может быть, от этого
Мне многие туманности ясны...

Мне многие туманности ясны,
Они влекут недостижимой далью...
Ах, все наливки для меня вкусны,
Но предпочту кизилью и миндалью:
От них мои мечты ажурно кружатся,

То ярко грозоносятся, то вьюжатся,
Как ты, рояль с надавленной педалью...

О ты, рояль с надавленной педалью
И с запахом вервэновой волны,
Ты озарял квартиру генералью
Созвучьями, текущими с луны...
Улыбки уст твоих клавиатурные...
Ее лица черты колоратурные
На фоне бирюзовой тишины...

На фоне бирюзовой тишины
Я помню краску губ ее коралью,
Ее волос взволнованные льны
И всю ее фигуру феодалью...
Мы не были как будто влюблены,
А может быть — немного: ведь под алью
Ее слова чуть видны, чуть слышны...

Ее слова чуть видны, чуть слышны,
Заглушены поющею роялью
И шумом голосов заглушены,
Они влекут мечтанно к изначалью —
И я переношу свои страдания
В великолепный хаос мироздания,
Создавший и холеру, и... Италию!

Создавший и холеру, и Италию,
Тебе мои моленья не нужны...
Мне хочется обнять ее за талию:
Ее глаза зовущие нежны;
В них ласковость улыбчиво прищурена,
Им фимиамов множество воскурено... —
О вы, белосиреневые сны!..

О вы, белосиреневые сны,
Приснившиеся в оттепель февралью!
Мне многие туманности ясны,
И — ты, рояль с надавленной педалью...
На фоне бирюзовой тишины
Ее слова чуть видны, чуть слышны
Создавшему холеру и Италию...

Berceuse сирени

Когда сиреневое море, свой горизонт офиолетив,
Задремлет, в зеркале вечернем луну лимонно отразив,
Я задаю вопрос природе, но, ничего мне не ответив,
В оцепененьи сна блистает, и этот сон ее красив.

Ночь, белой лилией провеяв, взлетает, точно белый лебедь,
И исчезает белой феей, так по-весеннему бела,
Что жаждут жалкую планету своею музыкой онебить,
Бряцая золотом восхода, румяные колокола.

Все эти краски ароматов, всю филигранность настроений
Я ощущаю белой ночью у моря, спящего в стекле,
Когда, не утопая, тонет лимон луны в его сирени
И, от себя изнемогая, сирень всех нежит на земле.

1918. VI

Последние зеленые листки...

На эстляндском ли берегу, восемнадцатого ноября,
У Балтийского в сизый цвет моря выкрашенного,
Над вершинами гор и скал — я над кручами иду царя.
В бездну тучи летят песка, шагом выкрошенного.

Что за пламенная мечта, увлекающая, словно даль,
Овладела опять душой? чего выскочившая
И вспорхнувшая снова ввысь возжелала ты, птица-печаль,
В это утро, как малахит, все заиндевевшее?

Цель бесцельных моих шагов — не зеленые ли вы, листики,
Уцелевшие от костлявой, — сочувствующие, —
Той, что осенью все зовут, покровительницы чар тоски,
Той, чьи кисти — шалобольные, безумствующие?..

1918. XI

Пора безжизния

Кончается октябрь, бесснежный и туманный.
Один день — изморозь. Тепло и дождь — другой.
Безлистый лес уснул, гнилой и безуханный,
Бесцветный и пустой, скелетный и нагой.

На море с каждым днем все реже полотенца:
Ведь Осень, говорят, неряха из нерях...
И ходят две сестры — она и Инфлюенца,
Две девы старые, — и топчутся в дверях.

Из скромных домиков их гонят: кто — дубиной,
Кто — жаркой банею, кто — ватным армяком;
Кто подогадливей, их просто гонит хиной,
Легко тягающейся с крепким тумаком...

Пора безжизния!.. И даже ты, телега,
Не то ты ленишься, не то утомлена...
Нам грязь наскучила. Мы чистого ждем снега.
В грязи испачкала лицо свое луна...

1918. X

Предвешняя элегия

Не знаю — буду ли я жив
К весне и вкрадчивой, и нежной,
Пойду ли вновь с мечтой элежной
К полянам, песнь про них сложив.

Не знаю — станет ли сирень
Меня дурманить вновь фиолью,
Какою занеможет болью
Моя душа в весенний день.

Не знаю — буду ли я знать,
Что значит упиваться маем,
Туберкулезом злым ломаем,
И, умирая, жить желать.

Декабрь 1918

Это явь или греза?

Сон мой был или не был? что мне снилось,
что снилось? только море и небо,
Только липы и поле! это явь или греза? сон мой
был или не был?

Я здесь жил или нé жил? ты была ли со мною?
здесь тебя ли я нежил?
Что-то все по-другому... Будто то, да не то же...
Я здесь жил или нé жил?
Та же самая дача... Те же самые окна... В
них смотрела ты, плача...
А потом улыбалась... А потом... Да, конечно:
та же самая дача!..

Значит, "Тост безответный" здесь написан, не
правда ль? И обложкой приветной,
Все сомненья рассеяв, убедил меня в яви
милый "Тост безответный".

Апрель 1918

Музе музык

Не странно ли, — тринадцатого марта,
В трехлетье неразлучной жизни нашей,
Испитое чрез край бегущей чашей, —
Что в Ревель нас забрасывает карта?

Мы в Харькове сошлись и не в Иеве ль
Мечтали провести наш день интимный?
Взамен — этап, и, сквозь Иеве, в дымный
Холодный мрак, — и попадаем в Ревель.

Как он красив, своеобразен, узок
И элегантно-чист, весь заостренный!
Восторженно, в тебя всегда влюбленный,
Твое лицо целую, муза музык!..

Придется ли нам встретить пятилетье
И четверть века слитности — не знаю.
Но знаю, что никто-никто иная
Не заменит тебя, кого ни встреть я...

Встреч новых не ищу и не горюю
О прежних, о дотебных, — никакие
Соблазны не опасны. Я целую
Твое лицо открытое, Мария.

13 марта 1918.
Ревель, гост(иница) "Золотой лев"

Элегия изгнания

В моем добровольном изгнаньи
Мне трудно представить, что где-то
Есть мир, где живут и мечтают,
Хохочут и звонко поют.
Да полно! не только ль мечтанье —
Соблазны культурного света?
Не всюду ли жизнь проживают,
Как я в заточении тут?

И разве осталась культура,
Изыски ее и изборы,
Утóнченные ароматы
Симфоний, стихов и идей?
И разве полеты Амура
Ткут в воздухе те же узоры?
И разве мимозы не смяты
Стопой озверелых людей?

Вот год я живу, как растенье,
Спасаясь от ужасов яви,
Недавние переживанья
Считая несбыточным сном.
Печально мое заточенье,
В котором грущу я по славе,
По нежному очарованью
В таком еще близком былом...

Октябрь 1918

II. Пчелы и стрекозы

Восемнадцатый век

Восемнадцатый век! не ему ли дано
Слыть изысканным хамом во веки веков?
В нем с учтивостью грубость сплелась заодно,
И с изяществом пошлость придворных домов.

Ришелье исщипал в синяки Шаролэ.
Бил Субиз по щекам, наземь бросив де-Нель.
За Шасси выбегала кокетка Буфлэ
И кричала: "Желаю его на постель!"

Герцогиня Беррийская в пьянстве сожглась.
Graille и Logre называли maman... Пампадур!..
Было много чудовищных зрелищ для глаз,
Было много средь фрейлин развратниц и дур.

Куаньи, проиграв капитал принцу Домб,
Закричал: "Так везет лишь ублюдкам одним!"
Создавая шантан, устроители *помп*
Говорили: "Традиции monde'а храним"...

Эстрада́, в браке с маршалом, и́гровый дом
Совершенно открыто держала, свой сан
Позабыв, — дом, где "в пух" проигрался
Вандом,
И богачкою стала madame Монтеспань...

1918. IX

Сонет XXIX

Век грации, утонченный век-стебель!
Ланкрэ, Ла-Туш, Бушэ, Грэз и Ватто!
Андрэ Шарль Булль — поэт не твой ли, мебель?
И ты, Бертон, не ты ль певец манто?

Век мушек-"поцелуев", вздохов, гребель,
Духов и комплиментов, — но зато
Виконт бранился дома, как фельдфебель,
А виконтесса, как — не знаю! — кто...

Двуликий век Роттье и Фрагонара —
Изящества и грубого кошмара! —
Ты мне напомнил "эти" времена:

Не та же ли культурность показная,
Которую, определенно зная,
Спасти не могут наши имена?

1918. IX

Газэлла IX

А если б Пушкин о́жил и к нам пришел?..
Тогда бы он увидел, что Хам пришел.

И Мережковскому бы сказал он: "Да,
Собрат, Вы были правы — "он" там пришел.

Грядущий Хам окончил свой дальний путь
И рады иль не рады, он к вам пришел"...

Потом бы Пушкин "новых" читал стихи:
"На смену мне рой целый в мой храм пришел,

И "гениев" так много теперь у вас,
Что и меня забыли, — я сам пришел:

Хотелось посмотреть на вашу жизнь,
Но, посмотрев, воскликну: В бедлам пришел!.."

"Самарский адвокат"

Посредственному адвокату
Стать президентом — не удел.
Он деловито шел к закату,
И вот, дойдя, — он не у дел!..

Напрасно чванилась Самара:
"Волжанин стал почти царем!"
Он поднимался, как опара,
А лопнул мыльным пузырем.

Но не конфузятся волжане:
"Керенки" знает вся страна.
Они у каждого в кармане —
А чтобы драл их сатана!

Народ, жуя ржаные гренки,
Ругает "детище" его:
Ведь потруднее сбыть "керенки"[1],
Чем Керенского самого!..

1918. V

[1] Простонародное произношение. (*Примеч. Северянина.*)

Александр IV

Что думал "Александр Четвертый",
Приехав в гатчинский дворец,
Обозревая пол, протертый
Людьми без мозга и сердец?

Аллеей векового сада
Бродя, он понял ли афронт,
Что шел к нему из Петрограда?
Ужель надеялся на фронт?

Как он, чей путь был сладко-колок,
Свой переоценил завет!
Какой же он плохой психолог
И жалкий государствовед!

Как символичен "милосердья
Сестры" костюм, который спас
Его: не то же ли *внетвердье*
И сердобольностей запас?

Да, он поэт! да, он фанатик,
Идеалист stile décadence!
Паяц трагичный на канате.
Но идеальность — не баланс...

1918. V

Крашеные

Сегодня "красные", а завтра "белые" —
Ах, не материи! ах, не цветы! —
Людишки гнусные и озверелые,
Мне надоевшие до тошноты.

Сегодня пошлые и завтра пошлые,
Сегодня жулики и завтра те ж,
Они, бывалые, пройдохи дошлые,
Вам спровоцируют любой мятеж.

Идеи вздорные, мечты напрасные,
Что в "их" теориях — путь к Божеству.
Сегодня "белые", а завтра "красные" —
Они бесцветные по существу.

Влюбленные в поэтику

Меня мутит от Асквита,
Либкнехта, Клемансо.
Стучит у дома засветло
Пролетки колесо.

"Эй, казачок!" Дав Витеньке
Пальто, она — в дверях,
Мы с нею вне политики,
Но целиком в стихах.

Нам дела нет до канцлера,
До ультиматных нот,
До Круппа и до панциря,
И ноль для нас — Синод.

Мы ищем в амфибрахиях
Запрятанный в них ямб.
В ликерах и ратафиях
Находим отблеск рамп.

Строй букв аллитерации
И ассо-диссонанс —
Волшба версификации —
Нас вовлекают в транс.

Размеры разностопные
Мешаем мы в один —
Узоры многотропные
На блесткой глади льдин.

И сближены хореями,
Слиянные в одно,
Мы над землей зареяли,
Как с крыльями зерно.

По справедливости

Его бесспорная заслуга
Есть окончание войны.
Его приветствовать, как друга
Людей, вы искренне должны.

Я — вне политики, и, право,
Мне все равно, кто б ни был он.
Да будет честь ему и слава,
Что мир им, первым, заключен!

Когда людская жизнь в загоне,
И вдруг — ее апологет,
Не все ль равно мне — как: в вагоне
Запломбированном иль нет?..

Не только из вагона — прямо
Пускай из бездны бы возник!
Твержу настойчиво-упрямо:
Он, в смысле мира, мой двойник.

1918. V

Тэффи

Где ты теперь, печальная душа
С веселою, насмешливой улыбкой?
Как в этой нови, горестной и зыбкой,
Ты можешь жить, и мысля, и дыша?

Твои глаза, в которых скорбь и смех,
Твои уста с язвительным рисунком
Так близки мне и серебристым стрункам
Моей души, закутанная в мех.

О, странная! о, грустная! в тебе
Влекущее есть что-то. Осиянна
Ты лирикой души благоуханной,
О, лилия в вакхической алчбе!

1918. XII

Памяти Н. И. Кульбина

Подвал, куда "богемцы" на ночь
Съезжались, пьяный был подвал.
В нем милый Николай Иваныч
Художественно ночевал.

А это значит — спич за спичем
И об искусстве пламный спор.
Насмешка над мещанством бычьим
И над кретинами топор.

Новатор в живописи, доктор.
И донжуан, и генерал.
А сколько шло к нему дорог-то!
Кто, только кто его не знал!

В его улыбке миловзорца
Торжествовала простота.
Глаза сияли, как озерца
В саду у Господа Христа.

Среди завистливого, злого
Мирка теплел он, как рубин.
Да, он в хорошем смысле слова
Был человеком — наш Кульбин!

1918. V

Судьба Таси

Наш век — чудоребенка эра
И всяких чуд. Был вундеркинд
И дирижер Вилли Ферреро,
Кудрявый точно гиацинт.

Девятилетний капельмейстер
Имел поклонниц, как большой,
И тайно грезил о невесте
Своею взрослою душой.

Однажды восьмилетке Тасе
Мать разрешила ехать с ней —
На симфоническом Парнасе
Смотреть на чудо из детей.

В очарованьи от оркестра,
Ведомого его рукой,
В антракте мальчику-маэстро
Малютка принесла левкой.

Хотя чело его увили
Цветы, — их нес к нему весь зал, —
Все ж, в знак признательности, Вилли
В лоб девочку поцеловал.

О, в этом поцелуе — жало,
А в жале — яд, а в яде — Тлен...
Блаженно Тася задрожала,
Познало сердце нежный плен.

Уехал Вилли. Стало жутко.
Прошло три года. Вдалеке
Ее он помнил ли? Малютка
Скончалась в муке и тоске.

1918. V

Лососья идиллия

Там, где растет на берегу осина
        И вкривь и вкось,
Вплыла из моря в речку лососина,
        За ней — лосось.

И стала выкрапчáтая лososька
        Метать икру.
На душегубке слышен шепот: "Фроська,
        Оставь игру.

Не шевелись. Ах, лучше б ты осталась
        На берегу.
Зря к деду на ночное затесалась...
        Дай острогу".

И дедушка, дрожащею, но верной
        Сухой рукой
Взмахнув, слегка прицелился примерно
        И — острогой!

От восхищенья закричала Фроська:
        "Поди, небось,
Ты пала, икрометная лососька!"
        Но пал — лосось.

Январь 1919

Кондитерская дочь

Германский лейтенант с кондитерскою дочкой
Приходит на лужок устраивать пикник,
И саркастически пчела янтарной точкой
Над ним взвивается, как злой его двойник.

Они любуются постельною лужайкой,
Тем, что над травкою, и около, и под.
И — френч ли юнкерский заботливою байкой
Иль страсть заводская — его вгоняет в пот.

Так в полдень млеющий на млеющей поляне
Млеть собирается кондитерская дочь...
Как сочь июльская, полна она желаний:
В ее глазах, губах, во всей — сплошная сочь...

Вот страсть насыщена, и аккуратно вытер
Отроманировавший немец пыль и влажь...
А у кондитерской встречает их кондитер
С открытой гордостью, — как связи их бандаж...

1918. XI

В роли рикши

Пятнадцать верст на саночках норвежских
Я вез тебя равниной снеговой,
На небе видя зубров беловежских,
Из облаков содеянных мечтой.

Пятнадцать верст от Тойлы и до Сомпе,
В дороге раза два передохнув,
Я вез тебя и вспоминал о помпе,
С какой поил вином меня Гурзуф...

Пятнадцать верст, уподобляясь рикше,
Через поля и лес тебя я вез...
Но, к лошадиной роли не привыкши,
Прошу мне дать обед, а не овес...

Квинтина V

Когда поэт-миллионер,
При всем своем богатстве, — скряга,
Он, очевидно, духом сер.
Портянки, лапти и сермяга —
Нутро. Снаружи — эксцессер.

О, пошехонский эксцессер,
Офрачена твоя сермяга!
О, нищий миллионер,
Твой алый цвет промозгло-сер!
Ты даже в ощущеньях скряга!

Противен мот. Противней скряга,
Тем более — миллионер,
Кому отцовская сермяга
Стеснительна: ведь эксцессер
Фрак любит — черен он иль сер...

Вообразите: фрак — и сер...
Тогда рутинствуй, эксцессер!
Тогда кути, беспутно, скряга!
Тогда бедуй, миллионер!
Стань фраком, серая сермяга!

Компрометирует сермяга
Того лишь, кто душою сер.
Отвратен горе-эксцессер, —
По существу — скопец и скряга,
По кошельку — миллионер.

Лэ II

(Алексею Масаинову)

В Японии, у гейши Ойя-Сан,
Цветут в саду такие анемоны,
Что друг ее, испанский капитан,
Ей предсказал "карьеру" Дездемоны.
Не мудрено: их пряный аромат
Всех соблазнит, и, ревностью объят,
Наш капитан ее повергнет в стоны.

Наш капитан ее повергнет в стоны,
Когда микадо, позабыв свой сан,
Придет к японке предлагать ей троны, —
За исключением своей, — всех стран...
И за зеленым чаем с ней болтая,
Предложит ей владения Китая:
"За поцелуй — Китай Вам будет дан".

"За поцелуй Китай Вам будет дан", —
И Ойя-Сан воздаст ему поклоны,
И Ойя-Сан введет его в дурман,
В крови царя она пробудит звоны...
Сверкая черным жемчугов зубов,
Струя ирис под шелк его усов,
Она познает негные уроны.

Она познает негные уроны,
И, солнцем глаз гетеры осиян,
Забудет бремя и дефект короны
Микадо, от ее лобзаний пьян.
Потом, с неловкостью произношенья
Сказав: "adieu", уйдет — и в подношенье,
Взамен Китая, ей пришлет... тюльпан.

Взамен Китая, ей пришлет тюльпан
Высокий bon vivant "нейтральной зоны",

Нелюбящий в свиданьях "барабан",
Ходящий чрез ограду и газоны,
Чтоб (как грузины говорят: шайтан!)
Придворный не схватил за панталоны,
Усердием особым обуян...

Усердием особым обуян,
Придворный сыщик, желтый как лимоны,
Не постеснится из дворца шантан
Устроить на пиру жрецов Мамоны
И (сплетней, — не буквально!) за штаны
Схватив царя, с вспененностью волны
Друзьям расскажет "сверх-декамероны"...

Друзьям расскажет "сверх-декамероны"
Дворцовый "шпик" — невежда и болван.
Не оттого ль, чтоб не дразнить "тромбоны",
Избрал забор микадо-донжуан?
Он отдохнет от суеты житейской,
Как азиатской, так и европейской,
У поданной, у гейши Ойя-Сан.

В Японии, у гейши Ойя-Сан,
Микадо сам ее повергнет в стоны:
"За поцелуй — Китай Вам будет дан", —
Она познает негные уроны, —
Взамен Китая ей пришлет тюльпан...
Усердием особым обуян,
Друзьям расскажет "сверх-декамероны"...

У гейш

Разноцветно поют фонарики,
Отзеркаленные заливом,
И трелят на флейтах арийки
Гейши, подобные сливам...

В кимоно фиолетово-розовом,
Смеющиеся чаруйно,
С каждым, волнуемым позывом,
Встречаются беспоцелуйно...

Уютные домики чайные
Выглядят, как игрушки.
Моряки, гости случайные,
Пьют чай из фарфоровой кружки

И перед гейшами желтыми
Хвастают лицами милых
На карточках с глазами проколотыми
За нарушенье "клятв до могилы"...

Японки смотрят усмешливо
На чуждых женщин безглазых
С душою края нездешнего,
Вынутых из-за пазух...

Шалунья Сливная Косточка
Отбросила веер бумажный,
И на гостя посыпалась горсточка
Вишен, манящих и влажных...

III. Шорохи интуиции

Поэза упадка

К началу войны европейской
Изысканно тонкий разврат,
От спальни царей до лакейской,
Достиг небывалых громад.

Как будто Содом и Гоморра
Воскресли, приняв новый вид:
Повальное пьянство. Лень. Ссора.
Зарезан. Повешен. Убит.

Художественного салона
И пьяной харчевни стезя
Совпала по сходству уклона.
Их было различить нельзя.

Паскудно гремело витийство,
Которым восславлен был грех.
Заразное самоубийство
Едва заглушало свой смех.

Дурил хамоватый извозчик,
Как денди эстетный дурил.
Равно среди толстых и тощих
Царили замашки горилл.

И то, что расцветом культуры
Казалось, была только гниль.
Утонченно-тонные дуры
Выдумывали новый стиль.

Они, кому в нравственном тесно,
Крошили бананы в икру,
Затеивали так эксцессно
Флиртирующую игру.

Измызганно-плоские фаты,
Потомственные ромали,
Чьи руки торчат, как ухваты,
Напакоститься не могли.

Народ, угнетаемый дрянью,
Безмозглой, бездарной, слепой,

Усвоил повадку баранью:
Стал глупый, упрямый, тупой.

А царь, алкоголик безвольный,
Уселся на троне втроем:
С царицею самодовольной
И родственным ей мужиком.

Был образ правленья беспутен, —
Угрозный пример для корон:
Бесчинствовал пьяный Распутин,
Усевшись с ногами на трон.

Упадочные модернисты
Писали ослиным хвостом
Пейзажи, и лишь букинисты
Имели Тургенева том.

Свирепствовали декаденты
В поэзии, точно чума.
Дарили такие моменты,
Что люди сбегали с ума.

Уродливым кактусом роза
Сменилась для моды. Коза
К любви призывалась. И поза
Назойливо лезла в глаза.

Но этого было все мало,
И сытый желудок хотел
Вакхического карнавала
Разнузданных в похоти тел.

И люди пустились в эксцессы,
Какие не снились скотам.
Изнервленные поэтессы
Кривлялись юродиво там.

Кишки обжигались ликером,
И похоть будили смешки,
И в такт бархатистым рессорам
Качелились в язвах кишки.

Живые и сытые трупы,
Без помыслов и без идей,
Ушли в черепашие супы, —
О, люди без сути людей!

Им стало филе из лягушки
Дороже пшеницы и ржи,
А яды, наркозы и пушки —
Нужнее, чем лес и стрижи.

Как сети, ткать стали интриги
И, ближних опутав, как рыб,
Забыли музеи и книги,
В руках затаили ушиб!

Злорадно они ушибали
Того, кто доверился им.
Так все очутилось в опале,
Что было правдиво-святым.

И впрямь! для чего людям святость?
Для святости — анахорет!
На подвиги, боль и распятость
Отныне наложен запрет.

И вряд ли при том современно
Уверовать им в интеллект
И в Бога. Удел их — надменно
Идти мимо "разных там сект"...

И вот, под влиянием моды,
Святое отринувшей, все
На модных ходулях "комоды"
Вдруг круг завели в колесе.

Как следствие чуши и вздора —
Неистово вверглись в войну.
Воскресли Содом и Гоморра,
Покаранные в старину.

1918. XII

Борису Верину

В свое "сиреневое царство"
Меня зовешь ты в Петроград
Что это: едкое коварство?
Или и вправду мне ты рад?

Как жестко, сухо и жестоко
Жить средь бесчисленных гробов,
Средь диких выходцев с востока
И "взбунтовавшихся рабов"!

И как ты можешь, тонкий, сильный,
Ты, принц от ног до головы,
Жить в этой затхлости могильной
В болотах призрачной Невы?

Скелетовидная Холера
И пучеглазая Чума
Беспутствуют, смеются серо,
Ужасные, как смерть сама.

И методически Царь Голод
Республику свергает в топь...
А ты, который горд и молод,
Пред ним — опомнись! — не холоп!..

Беги ко мне, страшись "татарства"!
Мой край возник, как некий страж.
Твое ж "сиреневое царство" —
Болотный призрак и мираж.

Не дай мне думать, рыцарь верный,
Чей взлет всегда был сердцу люб,
Что ты бесчувственный, безнервный,
Что ты средь грубых сам огруб.

1918. XII

Отходная Петрограду

За дряхлой Нарвой, верст за двести,
Как окровавленный пират,
Все топчется на топком месте
Кончающийся Петроград.

Кошмарный город—привиденье!
Мятежный раб! живой мертвец!
Исполни предопределенье:
Приемли страшный свой конец!

В молитвах твоего литурга
Нет о твоем спасеньи просьб.
Ты мертв со смертью Петербурга, —
Мечты о воскресеньи брось.

Эпоха твоего парада —
В сияньи праздничных дворцов
Нет ничего для Петрограда:
О, город—склеп для мертвецов!

Твоя пугающая близость —
Над нами занесенный нож.
Твои болезни, голод, сырость —
Вот чем ты власть свою умножь!..

Ты проклят. Над тобой проклятья.
Ты точно шхуна без руля.
Раскрой же топкие объятья,
Держащая тебя земля.

И пусть фундаментом другому
Красавцу-городу гранит
Пребудет твой: пусть по-иному
Тебя Россия сохранит...

1918. VII

Конечное ничто

С ума сойти — решить задачу:
Свобода это иль мятеж?
Казалось, все сулит удачу, —
И вот теперь удача где ж?

Простор лазоревых теорий,
И практика — мрачней могил...
Какая ширь была во взоре!
Как стебель рос! и стебель сгнил...

Как знать: отсталость ли европья?
Передовитость россиян?
Натура ль русская — холопья?
Сплошной кошмар. Сплошной туман.

Изнемогли в противоречьях.
Не понимаем ничего.
Все грезим о каких-то встречах —
Но с кем, зачем и для чего?

Мы призраками дуализма
Приведены в такой испуг,
Что даже солнечная призма
Таит грозящий нам недуг.

Грядет Антихрист? не Христос ли?
Иль оба вместе? раньше — кто?
Сначала тьма? не свет ли после?
Иль погрузимся мы в ничто?

1918. XII

Монолог императрицы

Я, вдовствующая императрица,
Сажусь на свой крылатый быстрый бриг
И отплываю в море, чтоб укрыться
От всех придворных сплетен и интриг.

Мой старший сын, сидящий на престоле,
И иноземная его жена
В таком погрязли мрачном ореоле,
Что ими вся страна поражена.

Его любовниц алчущая стая,
Как разъяренных скопище пантер,
Рвет мантию его из горностая
Руками недостойными гетер.

Его жена, от ревности свой разум
Теряя, зло и метко мстит ему.
А весь народ, подверженный заразам,
Грузится в похоть, пьянство, лень и тьму.

Им льстит в глаза разнузданная свита,
Куя исподтишка переворот.
О, паутиной цепкою повита
Интрига та, ползущая в народ.

Ни с кем и ни о чем не сговориться
В стране, пришедшей к жалкому нолю.
Бездействующая императрица,
Спешу уплыть к соседу-королю.

К воскресенью

Идут в Эстляндии бои, —
Грохочут бешено снаряды,
Проходят дикие отряды,
Вторгаясь в грустные мои
Мечты, вершащие обряды.

От нескончаемой вражды
Политиканствующих партий
Я изнемог: ищу на карте
Спокойный угол: лик Нужды
Еще уродливей в азарте.

Спаси меня, Великий Бог,
От этих страшных потрясений,
Чтоб в благостной весенней сени
Я отдохнуть немного мог,
Поверив в чудо воскресений.

Воскресни в мире, тихий мир!
Любовь к нему, в сердцах воскресни!
Искусство, расцвети чудесней,
Чем в дни былые! Ты, строй лир,
Бряцай нам радостные песни!

Во имя искусства

Они идут на Петроград
Спасти науку и искусство.
Всей полнотой, всей ширью чувства
Поэт приветствовать их рад.

Печальный опыт показал,
Как отвратительна свобода
В руках неумного народа,
Что от свободы одичал.

Царь свергнут был. Пустой престол
Привлек не мало претендентов,
И в выкрашенный кровью лентах
На трон уселся Произвол.

А ты, поэт-идеалист,
В свободу веривший так свято,
Постиг, что ею нагло смято
Все то, чем мира взор лучист.

Ни президента, ни царя —
Или обоих сразу вместе!
Лишь бы была на прежнем месте
Святая ценность алтаря.

Газэлла X

В эти тягостные годы сохрани меня, Христос!
Я Тебе слагаю оды, сохрани меня, Христос!

Каюсь: грешен. Каюсь: вспыльчив. Каюсь: дерзок. Каюсь: зол.
Но грешней меня народы. Сохрани нас всех, Христос!

Я в Тебя, Господь Мой, верил. Я всегда Тебя любил.
Я — певец Твоей природы, сохрани меня, Христос!

Пусть воспрянут, оживая, исцеляясь, мир хваля,
Все калеки и уроды, — сохрани их всех, Христос!

Помни: я, Твой рыцарь верный, Твой воспевец, гений Твой —
Человеческой породы, — сохрани меня, Христос!

Словом добрым, делом мудрым, отпущением грехов,
В наших душах, где невзгоды, сохрани Себя, Христос!

Секстина IV

("Ингеборг", Келлермана)

Кто смерть, на жизнь напавшую, отторг
Своей любовью — бархатной рапирой, —
Какой тому пришлось вкусить восторг!
Как он воспет вселенской вещей лирой!
Бессмертен Аксель, спасший Ингеборг,
Своей любви благоуханной миррой!

Чье чувство распустилось в сердце миррой,
Тот, победив стихию, смерть отторг.
Пусть вероломна память Ингеборг,
И пусть измены ржавою рапирой
Она пронзила Акселя, пусть: лирой
Воспетые, их имена — восторг.

Любовь всегда должна будить восторг,
Благоухая терпко-пряной миррой,
Звучать волшебно-звонной пламной лирой,
И горе тем, кто светлую отторг:
Проклятье поразит его рапирой, —
Так проклята вовеки Ингеборг.

О радость жизни! солнце! Ингеборг!
Будившая вокруг себя восторг!
Разившая сердца взорорапирой!

Упившаяся сердцем друга, — миррой, —
Чей, как не твой, взор — Акселя отторг,
Прославленного пламенною лирой!

О, бедный князь! взамен воспетья лирой —
Ты возвратил бы лучше Ингеборг...
Но нет! но нет! души твоей восторг,
Которым смерть ты от нее отторг,
Не понят ею. Не кадить бы миррой
Изменнице, — пронзить ее рапирой.

Благословен не тронувший рапирой:
Он не был бы воспет вселенской лирой.
Благословенна, вспыхнувшая миррой
Для Акселя, и ты, ты, Ингеборг,
Проклятая, исторгшая восторг
В его душе, что смерть твою отторг!

1918. V

Секстина V

В моей стране — разбои и мятеж
В моей стране — холера, тиф и голод.
Кто причинил ее твердыне брешь?
Кем дух ее кощунственно расколот?
Надежда в счастье! сердце мне онежь! —
Я жить хочу! я радостен и молод!

Меня поймет, кто, как и я, сам молод,
Кому претит разнузданный мятеж,
Кто, мне подобно, молит жизнь: "Онежь!"
Кому угрозен тиф и черный голод,
Кто целен, бодр и духом не расколот,
Кому отвратна в государстве брешь!

Да, говорит о разрушеньи брешь...
Живой лишь раз, единственный раз, молод!
И если жизни строй разбит, расколот,
И если угнетает всех мятеж,
И если умерщвляет силы голод,
Как не воскликнуть: "Счастье! нас онежь!"

Лишь грубому не нужен вскрик: "Онежь!"
Ему, пожалуй, даже ближе брешь,
Чем целостность; ему, пожалуй, голод
Отраднее, чем сытость; он и молод
По-своему: вскормил его мятеж,
И от рожденья грубый весь расколот.

Ужасный век: он целиком расколот!
Ему смешно сердечное: "Онежь!"
Он, дикий век, он сам сплошная брешь.
Его мятеж — разбойничий мятеж.
Он с детства стар, хотя летами молод,
И вскормлен им царь людоедов — Голод.

Но он умрет обжора жирный Голод,
Кем дух людской искусственно расколот!
И я, и ты, и каждый будет молод!
И уж не мы судьбе, она: "Онежь!"
Воскликнет нам. Мы замуравим брешь
И против грабежа зажжем мятеж!

Секстина VI

Эстония, страна моя вторая,
Что патриоты родиной зовут,
Мне принесла все достоянье края,
Мне создала безоблачный уют,
Меня от прозы жизни отрывая,
Дав сладость идиллических минут.

"Вкуси восторг чарующих минут
И не мечтай, что будет жизнь вторая;
Пей жадно радость, уст не отрывая;
И слушай, как леса тебя зовут;
Ступай в зеленолиственный уют
Приявшего гостеприимно края.

Быть может, под луной иного края
Когда-нибудь ты вспомнишь песнь минут,
Тебе дававших благостный уют,
Вздохнешь, что где-то родина вторая,
Которую Эстонией зовут,
Влечет тебя, от юга отрывая.

Тогда приди, в мечтах не отрывая
Любви ко мне, от пламенного края
На север свой, где все своим зовут
Тебя, поэт, чарун святых минут:
Ведь творчество твое, как жизнь вторая,
Дает нам сказку, счастье и уют".

Благословен Эстонии уют,
Который, от России отрывая
Благочестивою душою края,
Как мать, как сон, как родина вторая,
Соткал гамак качелящих минут.
Минуты те! их творчеством зовут...

Но чу! что слышу я? меня зовут
К оружию! Прости, лесной уют,
И вы, цветы сиреневых минут,
Простите мне! Бездушно отрывая
От вас, от милых мне, за целость края
Жизнь требует мою страна вторая...

Секстина VII

Здесь в Крымскую кампанию жил Фет —
В Эстляндии приморской, прибалтийской;
Здесь Сологуб, пленительный поэт,
Жил до войны с Германией царийской;
Здесь я теперь живу, почти семь лет
Знакомый с нею, милою и близкой.

Здесь жил Бальмонт — в стране, к России близкой,
Здесь Брюсов был, изысканный, как Фет,
Здесь лейтенант Случевский, в цвете лет,
Пел красоту природы прибалтийской,
Но, послан в бой по воле злой царийской,
У берегов японских пал поэт.

Не для боев рождается поэт,
А для души, его напеву близкой...
Лишь произвол убийственный царийский
Мог посылать таких певцов, как Фет,
В отряды!.. Но хранил край прибалтийский
Талантливых людей в расцвете лет.

Тому назад уже тринадцать лет,
Как у Цусимы смерть нашел поэт,
На "Александре III-м" прибалтийский
Край бросивший, воспевший Ревель, близкий
Своей душе. Приветь его, о Фет,
В обители надсолнечно-царийской!

Царизм земной отринув, лишь царийский
Небесный рай я признаю, где лет,
Как и мгновений, нет, где жив поэт,
Кто б ни был он: Случевский или Фет, —
И вот теперь, к своей кончине близкий,
Я рай пою, живя в стране балтийской.

Цвети же, край — эстонский, прибалтийский,
Отвергнувший строй низменный, царийский:
Моей душе ты родственный и близкий!
Цвети же, край, десятки, сотни лет
И помни, что мечтал в тебе поэт,
Такой поэт, как несравненный Фет!

Секстина VIII

Мой дом стоит при въезде на курорт
У кладбища, у парка и у поля.
Он с виду прост, но мною дом мой горд:
Он чувствует — там, где поэт, там воля.
В нем за аккордом я беру аккорд,
Блаженствуя, мечтая и коро́ля!

Привыкни, смертный, жить, всегда коро́ля,
И в каждой деревушке видь курорт,
Буди в своей душе цветной аккорд,
Люби простор и ароматы поля, —
И, может быть, тебя полюбит воля,
И будешь ты ее любовью горд.

Безличный раб — и вдруг ты будешь горд,
Средь окружающих работ коро́ля!..
Познаешь ли, что означает воля?..
Не превратишь ли в свальный ров курорт?..
Не омерзишь ли девственного поля?..
Не соберешь ли ругань всю в аккорд?

Аккорд аккорду рознь. Звучи, аккорд
Лишь тот, что упоителен и горд:
Аккорд лесов, ручьев, морей и поля!
Над толпами властительно коро́ля,
Озвучь своим бряцанием курорт
И покажи, как сладкозвучна воля!

Да здравствует всегда и всюду воля
И вольный, волевой ее аккорд!
Кто слушал песню воли, будет горд.
Пусть вольные сберутся на курорт,
Над плотью духом солнечно коро́ля,
Свободу растворяя в воле поля.

Не оттого ли и мой дом у поля,
Где на просторе поля бродит воля?
Не оттого ль душа моя, коро́ля,
Берет свободный огненный аккорд?
Не оттого ль моим воспетьем горд
И мной самим заброшенный курорт?..

Секстина IX

Две силы в мире борются от века:
Одна — Дух Тьмы, другая — Светлый Дух.
Подвластна Силам сущность человека,
И целиком зависит он от двух.
И будь то Эсмеральда иль Ревекка,
У них все тот же двойственный пастух.

На пастуха восстал другой пастух.
Для их борьбы им не хватает века.
Для Эсмеральды точит нож Ревекка —
То ею управляет Злобный Дух.
Когда ж победа лучшей сил из двух,
Тогда прощают люди человека.

Что выше — оправданья человека?!
Когда блюдет стада людей Пастух
В одежде белой, грешницы, из двух,

Оправданными будут обе: века
Отрада и надежда — Светлый Дух,
И как ты без него жила б, Ревекка?

Нет, ты не зла: злых вовсе нет, Ревекка,
Но горе причинить для человека
Тебе легко: так хочет Черный Дух...
Но Светозарный не уснул Пастух:
Он зло твое рассеял вихрем века, —
И ты невинна, как дитя лет двух.

Но так как ты во власти грозных двух
Великих Сил, ничтожная Ревекка,
Но так как ты и облик человека
Имеешь, данный Силами, то века
Тебе не переделать: Злой Пастух
В тебя опять вмещает грешный дух.

Издревле так. Но будет день — и Дух
В одежде солнца и луны, из двух
Планет сотканной, встанет, как Пастух
И Дух Тьмы, и твой, и всех, Ревекка!
Господь покажет взору человека,
Что покорен Бунтующий отвека!..

Секстина X

Мне кажется, что сердце биандрии,
Идейной биандрии, — виноград.
Оно стремится в зной Александрии,
Лед Мурмана в него вместиться рад.
Ему отраден запах малярии,
Ему набатны оргии трибад.

Влиянье винограда на трибад,
Как и на сердце пламной биандрии,
Утонченней миазмов малярии.
Да, в их телах блуждает виноград,
Он опьянять безумствующих рад
Экваторьяльностью Александрии.

Причин не мало, что в Александрии
Гораздо больше чувственных трибад,
Чем в Швеции; способствовать им рад
Там самый воздух. Но для биандрии
И выльденный шипучий виноград
На севере — намек о малярии...

В Батуме, там, где царство малярии,
Гордятся пальмы, как в Александрии,
У рощ лимонных вьется виноград,
Зовя к себе мечтания трибад.
Он, родственный инстинктам биандрии
Припасть к коленям, льнущим к страсти, рад.

О, как турист бывает ярко рад,
Когда ему удастся малярии
Избегнуть, или зной в Александрии
Умерить льдяным взором биандрии
Кокетливой, иль в хохотке трибад
Пить дышущий поляром виноград...

Не для мужчин трибадный виноград, —
Его вкусив, не очень будешь рад:
В нем смех издевный девственных трибад...
Страшись и биандрийной малярии,
То веющей огнем Александрии,
То — холодом распутной биандрии...

Лэ III

Покаран мир за тягостные вины
Свои ужаснейшей из катастроф:
В крови людской цветущие долины,
Орудий шторм и груды мертвецов.
Развал культуры, грозный крах науки,
Искусство в угнетеньи, слезы, муки,
Царь Голод и процессии гробов.

Царь Голод и процессии гробов,
Пир хамов и тяжелые кончины,
И притесненье солнечных умов,
И танки, и ньюпор, и цеппелины,
И дьявол, учредивший фирму Крупп,
Испанская болезнь, холера, круп —
Все бедствия, притом не без причины...

Все бедствия, притом не без причины:
От деяний, от мыслей и от слов.
Еще порхают ножки балерины,
Еще не смолкли ветерки стихов,
Еще звучат цветения сонаты,
Еще воркуют сладко адвокаты, —
А мир приять конец уже готов.

Да, мир приять конец уже готов
В когтях нечеловеческой кручины,
Пред судным ликом массовых голгоф
И пред разверстой пропастью трясины.
Но жизнь жива, и значит — будет жив
И грешный мир — весь трепет, весь порыв!
Он будет жить, взнесенный на вершины!

Он будет жить, взнесенный на вершины,
В благоуханном шелесте дубров,
В сияньи солнца, в звуках мандолины,
В протяжном гуде северных ветров,
В любви сердец, в изнежии малины,
В симфониях и в меди четких строф.
Мир исполин, — бессмертны исполины!

Мир исполин, — бессмертны исполины!
Он будет до скончания веков
Самим собой: тенеты паутины
Ему не стра́шны — богу из богов!
Да здравствует вовек величье мира!
Да славит мир восторженная лира!
Да будет мир и радостен, и нов!

Да будет мир и радостен, и нов!
Греми, оркестр! Цветите, апельсины!
Пылай, костер! Я слышу жизни зов!
Перед глазами — чарные картины,
И дали веют свежестью морской.
Но помни впредь, безбожный род людской:
Покаран мир за тягостные вины.

Покаран мир за тягостные вины:
Царь Голод и процессии гробов —
Все бедствия, притом не без причины,
И мир приять конец уже готов.
Но будет жить, взнесенный на вершины,
Мир исполин, — бессмертны исполины!
Да будет мир и радостен, и нов!

Лэ IV

Нет табаку, нет хлеба, нет вина, —
Так что же есть тогда на этом свете?!
Чье нераденье, ленность, чья вина
Поймали нас в невидимые сети?
Надолго ль это? близок ли исход?
Как будет реагировать народ? —
Вопросы, что тоскуют об ответе.

Вопросы, что тоскуют об ответе,
И даль, что за туманом не видна...
Не знаю, как в народе, но в поэте
Вздрожала раздраженная струна:
Цари водили войны из-за злата,
Губя народ, а нам теперь расплата,
За их проступки мстительно дана?!

За их проступки мстительно дана
Нам эта жизнь лишь с грезой о кларете...
А мы молчим, хотя нам и ясна
Вся низость их, и ропщем, точно дети...
Но где же возмущенье? Где протест?
И отчего несем мы чуждый крест
Ни день, ни год, — а несколько столетий?!

Ни день, ни год, а целый ряд столетий
Мы спины гнем. Но близится волна
Слиянья наших мыслей, — тут ни плети,
Ни аресты, ни пытка, что страшна
Лишь малодушным, больше не помогут:
Мы уничтожим Произвола догмат, —
Нам молодость; смерть старым суждена.

Нам молодость. Смерть старым суждена!
Художник на холсте, поэт в сонете,
В кантате композитор, кем звучна
Искусства гамма, репортер в газете,
Солдат в походе — все, кому нежна
Такая мысль, докажут пусть все эти
Свою любовь к издельям из зерна.

Свою любовь к издельям из зерна
Докажет пусть Зизи в кабриолете:
Она всем угнетаемым верна.
Так пусть найдет кинжальчик на колете
И бросит на подмогу бедняку,
Чтоб он убил в душе своей тоску
И радость в новом утвердил завете.

Так радость в новом утвердил завете
И стар и мал: муж, отрок и жена.
Пусть в опере и в драме, и в балете
Свобода будет впредь закреплена:
Пускай искусство воспоет свободу,
И следующий вопль наш канет в воду:
"Нет табаку, нет хлеба, нет вина!"

Нет табаку, нет хлеба, нет вина —
Вопросы, что тоскуют об ответе.
За "их" проступки мстительно дана, —
Ни день, ни год, а целый ряд столетий, —
Нам молодость: смерть старым суждена!
Свою любовь к издельям из зерна
Пусть радость в новом утвердит завете.

Лэ V

Они придут — ни эти и ни те,
Те, что живут теперь и прежде жили,
А новые, кто предан Чистоте,
С лазурью в каждой вене, в каждой жиле.
Безвраждные, не знающие смут,
Незлобиво-прекрасные, — придут,
Чтоб мы при них глаза свои смежили.

Чтоб мы при них глаза свои смежили
И отошли, погрязшие в тщете,
В свой смертный сон, чтоб больше не вражили
В уродстве, зле, грязи и нищете.
Мы им уступим место на планете,
И наши торжествующие дети
Возгрянут гимн добру и красоте.

Возгрянут гимн добру и красоте,
Зло победят единодушно или
Не будут вовсе жить, в своей мечте
Узревшие лазоревые были.
Пленительным и легким станет труд,
Все лучшее себе они возьмут
И забожат, как деды не божили.

И забожат, как деды не божили,
Грядущие, со взором, к высоте
Направленным, с которым подружили
Луна и звезды в светлой темноте.
Они отвергнут специое гурманство,
Они воздвигнут культ вегетарьянства
И будут жить в священной простоте.

И будут жить в священной простоте,
Служа не зверской, дерзкой, мерзкой силе;
А духу своему, петь о Христе,
О том, как мы Исуса поносили
В своей бесчеловечной пустоте,
Петь о Его расхолмленной могиле,
Петь о Христовом пóдвижном кресте.

Петь о Христовом пóдвижном кресте
Могли б и мы, пока еще мы были
Безгрешными, пока на животе
Не ползали и не глотали пыли.
Но нет: мы тьме сиянье предпочли,
Погрязли в злобной тине и пыли,
О том, кем быть могли, мы позабыли.

О том, кем быть могли, мы позабыли,
Предавшись сладострастью, клевете
И всем земным грехам, — мы утаили
В себе наш дух, в своей неправоте.
Пусть нас, разнузданных, без устрашенья,
Простить за деянья и прегрешенья
Они придут — ни эти и ни те.

Они придут — ни эти и ни те,
Чтоб мы при них глаза свои смежили,
Возгрянут гимн добру и красоте
И забожат, как деды не божили.
И будут жить в священной простоте,
Петь о Христовом пóдвижном кресте,
О том, кем быть могли, мы позабыли.

Финал

Кончается одиннадцатый том
Моих стихов, поющих о бывалом,
О невозвратном, сказочном, о том,
Что пронеслось крылатым карнавалом.

Не возвратить утраченных услад
В любви, в искусстве, в soirée, в ликерах, —
Во всем, во всем!.. Заплачьте, и назад
Смотрите все с отчаяньем во взорах.

Пусть это все — игрушки, пустяки,
Никчемное, ненужное, пустое!..
Что до того! дни были так легки,
И в них таилось нечто дорогое!

Любили мы любовь и пикники,
И души вин и женщин тонко знали.
Вначале повстречали нас венки,
И поношенье хамское — в финале.

Мы смели жить! мы смели отдавать
Чаруйный долг великолепной моде,
Не утомясь молитвенно мечтать
О равенстве, о братстве, о свободе.
Вам "новым", вам "идейным" не понять
Ажурности "ненужного" былого:
На ваших лбах — бездарности печать,
И на устах — слух режущее слово!..

Конечно, я для вас "аристократ",
Которого презреть должна *Рассея*... —
Поэт, как Дант, мыслитель, как Сократ, —
Не я ль достиг в искусстве апогея?
Но будет день, — и в русской голове
Забродят снова мысли золотые,
И памятник воздвигнет мне в Москве,
Изжив "Рассею", вечная Россия!

Менестрель

Новейшие поэзы

Увертюра к т. XII

Пой, менестрель! Пусть для миров воспетья
Тебе подвластно все! пусть в песне — цель!
Пой, менестрель двадцатого столетья!
Пой, менестрель!

Пой, менестрель! Слепец, — ты вечно зрячий.
Старик, — ты вечно юный, как апрель.
Растопит льды поток строфы горячей, —
Пой, менестрель!

Пой, менестрель, всегда бездомный нищий,
И правду иносказно освирель...
Песнь, только песнь — души твоей жилище!
Пой, менестрель!

I. Быть собой

Поэза об Эстонии

Как феникс, возникший из пепла,
Возникла из смуты страна.
И если еще не окрепла,
Я верю, окрепнет она:

Такая она трудолюбка,
Что сможет остаться собой.
Она — голубая голубка
И воздух она голубой.

Всегда я подвержен надежде
На этих утесах, поверь, —
В Эстляндской губернии прежде,
В республике Эсти теперь.

Где некогда бился Калевич,
Там может ли доблесть уснуть?
О, сказочный принц-королевич
Вернется к любимой на грудь!

Давно корабли вдохновений
Качнул к побережью прилив:
Их вёл из Поэзии гений
Со сладостным именем — Лийв.

Запомни: всегда вдохновенна
Мелодий ее бирюза.
У Ridala, Suits'a и Enno
Еще не закрылись глаза...

И вся ты подобна невесте,
И вся ты подобна мечте,
Эстония, милая Эсти,
Оазис в житейской тщете!

Письмо

Отчаянье и боль мою пойми, —
Как передать мне это хладнокровно? —
Мужчины, переставши быть людьми,
Преступниками стали поголовно.

Ведь как бы человека ни убить,
При том в какие б роли ни рядиться,
Поставив лозунг: "быть или не быть", —
Убивший всё равно всегда убийца.

Разбойник ли, насильник, патриот,
Идейный доброволец, подневольный
Простой солдат, — ах, всякий, кто идет
С оружием, чтоб сделать брату больно,

Чтоб посягнуть на жизнь его, — палач,
Убийца и преступник, вечный Каин!
Пускай всю землю оглашает плач
С экватора до полюсных окраин...

Какие ужасающие дни!
Какая смертоносная отрава!..
Отныне только женщины одни
Людьми назваться получают право...

Поэза о старых размерах

О вы, размеры старые,
Захватанные многими,
Банальные, дешевые,
Готовые клише!
Звучащие гитарою,
И с рифмами убогими —
Прекраснее, чем новые,
Простой моей душе!

Вы были при Державине,
Вы были при Некрасове,
Вы были при Никитине,
Вы были при Толстом!
О вы — подобны лавине!
И как вас ни выбрасывай,
Что новое ни вытяни, —
Вы проситесь в мой том.

Приветствую вас, верные
Испытанно-надежные,
Округло-музыкальные,
Любимые мои!
О вы — друзья примерные,
Вы, милые, вы, нежные,
Веселые, печальные,
Размеры-соловьи!

Рондо Генрику Виснапу

У Виснапу не только лишь "Хуленье"
На женщину, дразнящее толпу:
Есть нежное, весеннее влюбленье
У Виснапу.

Поэт идет, избрав себе тропу,
Улыбкой отвечая на гоненье;
Пусть критика танцует ки-ка-пу, —

Не в этом ли ее предназначенье?..
Вдыхать ли запах ландыша... клопу?!..
— О, женщины! как чисто вдохновенье
У Виснапу!

Поэза правительству

Правительство, когда не чтит поэта
Великого, не чтит себя само
И на себя накладывает veto
К признанию, и срамное клеймо.

Правительство, зовущее в строй армий
Художника под пушку и ружье,
Напоминает повесть о жандарме,
Предавшем палачу дитя свое.

Правительство, лишившее субсидий
Писателя, вошедшего в нужду,
Себя являет в непристойном виде
И вызывает в нем к себе вражду.

Правительство, грозящее цензурой
Мыслителю, должно позорно пасть.
Так, отчеканив яркий ямб цезурой,
Я хлестко отчеканиваю власть.

А общество, смотрящее спокойно
На притесненье гениев своих,
Вандального правительства достойно,
И не мечтать ему о днях иных...

Самопровозглашение

Еще семь дней, и год минует, —
Срок "царствованья" моего.
Кого тогда страна взыскует:
Другого или никого?

Где состоится перевыбор
Поэтов русских короля?
Какое скажет мне спасибо
Родная русская земля?

И состоится ли? — едва ли:
Не до того моей стране, —
Она в мучительном развале
И в агоническом огне.

Да и страна ль меня избрала
Великой волею своей
От Ямбурга и до Урала?
Нет, только кучка москвичей.

А потому я за неделю
До истеченья срока, сам
Все злые цели обесцелю,
Вернув "корону" москвичам.

Я отрекаюсь от порфиры
И вдохновляем февралем,
За струнной изгородью лиры,
Провозглашаюсь королем!

Поэза сострадания

Жалейте каждого больного
Всем сердцем, всей своей душой,
И не считайте за чужого,
Какой бы ни был он чужой.

Пусть к вам потянется калека,
Как к доброй матери — дитя;
Пусть в человеке человека
Увидит, сердцем к вам летя.

И обнадежив безнадежность,
Все возлюбя и все простив,
Такую проявите нежность,
Чтоб умирающий стал жив!

И будет радостна вам снова
Вся эта грустная земля...
Жалейте каждого больного,
Ему сочувственно внемля.

Поэза "ego" моего

Из меня хотели сделать торгаша,
Но торгашеству противилась душа.

Смыслу здравому учили с детских дней,
Но в Безразумность влюбился соловей.

Под законы все стремились подвести, —
Беззаконью удалось закон смести.

И общественное мненье я презрел,
В предрассудки выпускал десятки стрел.

В этом мире только я, — иного нет.
Излучаю сквозь себя огни планет.

Что мне мир, раз в этом мире нет меня?
Мир мне нужен, если миру нужен я.

Поэза доказательства

Все то, что раньше было б диким,
Теперь естественно вполне:
Стать пред решением великим —
Быть иль не быть — пришлось и мне.

Но так как дух "не быть" не может,
И так как я — певучий дух,
Отныне выбор не тревожит:
"Быть" выбрал из решений двух.

Поэза светлому брату

Поэту, как птице, Господь пропитанье дает:
Не сею, не жну — существую второй уже год.
И добрые люди за добрые песни-стихи
Прощают ошибки и, если найдутся, грехи.
Кому теперь нужно искусство? не знаю кому...
Но мне — оно воздух, и вот я пою потому.
А некто лучистый, — не русский, эстонец, чужой, —
Не ангел ли Божий? — следит неустанно за мной.
Он верит в искусство, и полон ко мне он любви:
"Поэт, будь собою: пой песни свои и живи!"
Как нищая птица, поэт подаянию рад...
Восторженной трелью я славлю тебя, светлый брат!

Эфемериды...

Он лежал, весь огипсен,
Забинтован лежал,
И в руке его Ибсен
Возмущенно дрожал...

Где же гордая личность?
Где же ego его?
Человека отличность
От иного всего?

Неужели все бренно?
Неужели все прах?
И его постепенно
Стал охватывать страх.

Пред окном лыжебежец
Эфемерил свой круг...
И великий норвежец
Выпал на пол из рук.

Люди ли вы?..

Жизнь догорает... Мир умирает...
Небо карает грешных людей.
Бог собирает и отбирает
Правых от грешных, Бог-Чудодей.

Всюду ворчанье, всюду кричанье,
Всюду рычанье, — люди ли вы?

Но в отвечанье слышно молчанье:
Люди — как тигры! люди как — львы!

Все друг на друга: с севера, с юга,
Друг и подруга — все против всех!
Нет в них испуга, в голосе — вьюга,
В сердце преступность, в помыслах грех...

Полно вам, будет! Бог вас рассудит,
Бог Вас очудит! Клекот орла
Мертвых пробудит, грешников сгрудит,
Верить понудит: смерть умерла!

Молитва Мирре

Тяжко видеть гибель мира,
        Ощущать ее.
Страждет сердце, друг мой Мирра,
        Бедное мое.

Все так жалко, так ничтожно...
        День угрозней дня...
Дорогая, если можно,
        Поддержи меня.

В этой яви только злоба, —
        Радость лишь во сне...
Дорогая, встань из гроба
        И приди ко мне.

Безнадежно! жутко! пусто!
        В днях не видно дней...
Гибнет, чувствую, искусство,
        Что всего больней.

Гибель мира для поэта
        Ведь не так страшна,
Как искусства гибель. Это
        Ты поймешь одна.

Ты, родная, ты, благая,
        Кем прекрасен рай,
Дай мне веру, дорогая,
        И надежду дай.

Это вопли сердца, Мирра,
        Это не слова...
Ты, умершая для мира,
        Для меня жива!..

II. Снежинки полыни

Поэза моих наблюдений

Я наблюдал, как день за днем
Грубела жизнь, и вот огрубла.
Мир едет к цели порожнем,
Свои идеи спрятав в дупла.

Я наблюдал — давно! давно! —
За странным тяготеньем к хамству
Как те, кому судьбой дано
Уменье мыслить, льнут к бедламству.

Я наблюдал, как человек
Весь стервенеет без закона,
Как ловит слабых и калек
Пасть легендарного дракона.

Я наблюдал, — во всем, везде, —
Восторги перед силой грубой,
И как воскрылия к звезде
Задерживались тяжкой шубой...

Я наблюдал, как вечный зверь
Младенца грыз, прокравшись в ясли...
Зверели люди, и теперь
В их душах светочи погасли.

Чего ж ты ждешь, пророк Илья?
Греми из всех своих орудий!
Не люди — люди, или я —
Не человек, раз люди — люди!..

Стеклянная дверь

Дверь на балконе была из стекол
Квадратиками трех цветов.
И сквозь нее казался сокол,
На фоне моря и кустов,
Трехцветным: желтым, алым, синим.
Но тут мы сокола покинем:
Центр тяжести совсем не в нем...
Когда февральским златоднем
Простаивала я у двери
Балкона час, по крайней мере,
Смотря на море, чрез квадрат
То желтый, то иной, мой взгляд
Блаженствовал; подумать только
Оттенков в море было столько!

Когда мой милый проходил,
Смотрела я в квадратик алый, —
И друг болезненный усталый,

Окровянев, вампиром был.
А если я смотрела в синь
Стеклянную, мертвел любимый.
И предо мною плыли дымы,
И я шептала: "Призрак, сгинь"...
Но всех страшнее желтый цвет:
Мой друг проникнут был изменой...
Себя я истерзала сменой
Цветов. Так создан белый свет,
Что только в белом освещеньи
Лицо приводит в восхищенье...

Поэза причины бодрости

Теперь в поразительной смене
Контрастных событий живешь.
Голодные ужасы в Вене
Бросают нас в холод и дрожь.

А то, что от нас на востоке,
Почти не подвластно уму,
Но веришь в какие-то сроки,
Не зная и сам почему.

Над жизнью склонясь, как над урной,
Еще не ослабнул душой:
В республике миниатюрной
Наложен порядок большой.

Пускай мы в надеждах разбиты
И сброшены в бездну с горы, —
Мы сыты, мы главное — сыты,
И значит — для веры бодры.

Мы верим — не можем не верить! —
Мы ждем — мы не может не ждать!
Что мир воцарится в той мере,
Какую вернет — Благодать.

Поэза душевной боли

Из тусклой ревельской газеты,
Тенденциозной и сухой,
Как вы, военные галеты,
А следовательно — плохой,

Я узнаю о том, что в мире
Идет по-прежнему вражда,
Что позабыл весь мир о мире
Надолго или навсегда.

Все это утешает мало
Того, в ком тлеет интеллект.
Язык богов земля изгнала,
Приняла прозы диалект.

И вот читаю в результате,
Что арестован Сологуб,
Чье имя в тонком аромате,
И кто в словах премудро-скуп;

Что умер Леонид Андреев,
Испив свой кубок не до дна,
Такую высь мечтой прорееяв,
Что межпланетьем названа;

Что Собинов погиб от тифа
Нелепейшею из смертей,
Как яхта радости — от рифа,
И как от пули — соловей;

Что тот, чей пыл великолепен,
И дух, как знамя, водружен,
Он, вечно юный старец Репин,
В Финляндии заголожен.

Довольно и таких известий,
Чтоб сердце дало перебой.
Чтоб в этом благодатном месте
Стал мрачным воздух голубой.

Уходите вы, могикане,
Последние, родной страны...
Грядущее, — оно в тумане...
Увы, просветы не видны...

Ужель я больше не увижу
Родного Федор Кузмича?
Лицо порывно не приближу
К его лицу, любовь шепча?

Тогда к чему ж моя надежда
На встречу после тяжких лет?
Истлей, последняя одежда!
Ты, ветер, замети мой след!

В России тысячи знакомых,
Но мало близких. Тем больней,
Когда они погибли в громах
И молниях проклятых дней...

На смерть Собинова

Я две весны, две осени, два лета
И три зимы без музыки живу...
Ах, наяву давали ль "Риголетто"?
И Собинов певал ли наяву?

Как будто сон: оркестр и капельмейстер,
Партер, духи, шелка, меха, лорнет.
Склонялся ли к Миньоне нежно Мейстер?
Ах, наяву склонялся или нет?

И для чего приходит дон Пасквале,
Как наяву когда-то, ныне в бред?..
Вернется ль жизнь когда-нибудь? Едва ли...
Как странно молвить: Собинов — скелет...

Узнав о смерти Вертэра, весною
В закатный час я шел, тоской гоним,
И соловей, запевший над рекою,
Мне показался жалким перед ним!

О, как тонка особенность оттенка
В неповторимом горле у того,
Кем тронута была демимондэнка,
И соловей смолкал от чар его...

Поэза нови прозаической

Ах, люди живут без стихов,
Без музыки люди живут,
И роскошью злобно зовут
Искусную музыку строф.

Ах, люди живут без икон,
Без Бога в безбожной душе.
Им чуждо оттенков туше, —
Лишь сплетни, обжорство и сон.

И даже — здесь, в доме моем, —
В поэта кумирне святой, —
И здесь тяготятся мечтой,
Стремясь обеззвучить мой дом...

Увы, даже дома и то
Сочувствия мне не найти...
И некуда вовсе уйти;
Ведь грёзы не любит никто.

Теперь лишь один спекулянт, —
"Идеец", мазурик, палач, —
Плоды пожинает удач,
Смотря свысока на талант.

Черствеют и девьи сердца,
Нет больше лиричности в них, —
Наряды, танцульки, жених...
Любовь — пережиток глупца...

Жизнь стала противно-трезва,
И жадность — у всех идеал.
Желудок святыню попрал,
Свои предъявляя права.

Художник для всех — человек
Ленивый, ненужный, пустой.
О, трезвый, рабочий, сухой,
В искусство не верящий век!

Поэза дополнения

Для ободрения ж народа,
Который впал в угрозный сплин
...Они возможники событий,
Где символом всех прав — кастет.

"Поэза истребленья" (т. IV)

В своей "Поэзе истребленья"
Анархию я предсказал.
Прошли три года, как мгновенье, —
И налетел мятежный шквал.

И вот теперь, когда наука
Побита неучем рабом,
Когда завыла чернь, как сука,
Хватив искусство батогом,

Теперь, когда интеллигента
К "буржую" приравнял народ,
И победила кинолента
Театр, прекрасного оплот,

Теперь, когда холопу любо
Мазнуть Рафаэля слюной, —
Не вы ль, о футуристы-кубо,
Происходящего виной?

Не ваши ль гнусные стихозы
И "современья пароход"
Зловонные взрастили розы
И развратили весь народ?

Не ваши ль мерзостные бредни
И сумасшедшая мазня
Забрызгали в Москве последний
Сарай, бездарностью дразня?

Ушли талантливые трусы,
А обнаглевшая бездарь,
Как готтентоты и зулусы,
Тлит муз и пакостит алтарь.

А запад для себя гуманный!..
С презреньем смотрит сквозь лорнет
На крах ориентальной, странной
Ему культуры в цвете лет.

И смотрит он не без злорадства
На политических вампук,
На все республичное царство,
Где президентом царь Бурлюк.

Куда ж деваться вам от срама
Вы, русские низы и знать?
...Убрав царя, влюбиться в хама,
А гражданина вон изгнать?!..

Влюбиться в хама может хамка,
Бесстыжая в своей гульбе.
Позор стране, в поджоге замка
Нашедшей зрелище себе!

Позор стране, в руинах храма
Чинящей пакостный разврат!
Позор стране, проведшей хама —
Кощунника меж царских врат!..

III. Терцины-колибри

Терцины-колибри

1

Зелёно-дымчатое море. Гребни
Молочно-светозарные — во тьме.
Душа к Тебе в восторженном молебне,

Такая ясность в ледяном уме.
В Октябрьский вечер, крепкий и суровый
Привет идущей из-за гор зиме,

Предвестнице весны издревле-новой!

2

Мы сходимся у моря под горой,
Там бродим на камнях. Потом уходим,
Уходим опечаленно домой

И дома вспоминаем, как мы бродим.
И это — все. И больше — ничего.
Но в этом мы такой восторг находим!

Скажи мне, дорогая, — отчего?

3

Ты все молчишь, как вечер в октябре,
Но плещется душа, как море — в штиле.
Мы в инее, в лиловом серебре.

И я ли — я теперь? и ты — о, ты ли?
Как море в штиле, плещется душа:
Совсем слегка, вся в бирюзе умилий...

Как хороша ты! как ты хороша.

4

Твои уста, покорные моим,
Ласкательны, податливы и влажны.
Я ими упоительно томим.

Исполнены они узывной жажды...
Сквозь них в мои струится сладкий сок, —
И вздрагивает отзвуком нерв каждый.

О, если б ими захлебнуться мог!

5

Ах, взять тебя и трудно, и легко...
Не брать тебя — и сладостно, и трудно...
Хочу тебя безбрежно, глубоко!

О, влей в глаза мне взор свой изумрудный!
Вонзи в уста мне острые уста!
Прости мой жест, в своем бесстыдстве чудный.

Ведь страсть чиста! Пойми ведь.

6

Ты ждешь весны, как ждет тебя весна.
Вы встретитесь, две девы, две юницы,
И будет ширь природы вам тесна,

И будет вам опять иное сниться:
Вам, две весны, пригрезится мороз,
Его меха, алмазы и денницы,

На окнах лепестки морозных роз...

7

Люби меня, как хочется любить,
Не мысля, не страшась, не рассуждая.
Будь мной, и мне позволь тобою быть.

Теперь зима. Но слышишь поступь мая?
Мелодию сирени? Краски птиц?
Люби меня, натуры не ломая!

Бери меня! Клони скорее ниц!

8

Не избегай того, что быть должно:
Бесцельный труд, напрасные усилья, —
Ведь ты моя, ведь так предрешено!

О, страсть! расправь пылающие крылья
И за собой в безбрежность нас взорли.
И скажем мы, в восторге от воскрылья:

"Да, мы с собой бороться не могли".

9

Вот пятый год, как ты мне дорога,
А страсть юна, — как прежде, неизбывна,
И нас влекут по-прежнему луга.

По-прежнему стремлюсь к тебе порывно,
Все нови открываю с каждым днем...
О, наша связь вовеки неразрывна,

И страсть бессмертным зажжена огнем.

10

Тебя провожать, чтобы встретить потом,
С тобою расстаться, чтоб свидеться вновь
Чтоб в этой разлуке загрезиться сном,

Чтоб в этой разлуке грузиться в любовь,
И чувствовать то, чего нет при тебе...
Когда мы вдвоем, стынет сердце и кровь,

Но если мы врозь, каждый в тайной алчбе.

11

По долгу кайтселита я с ружьем
До четырех утра брожу вдоль хижин,
Расползшихся чудовищным ужом.

Не тронь меня, кто кем-нибудь обижен:
Чем помогу? — ружье мое без пуль,
И вид его угрозный неподвижен.

Убийцу даже — я убить смогу ль?

12

Я несомненно скверный патриот,
Но не могу не радоваться бою
У петербургских западных ворот:

Быть может, жизнь несет тот бой с собою,
А значит — и искусство, и любовь.
В нем чувствуется что-то голубое,

А в голубом всегда сияет новь.

13

Деревня спит. Оснеженные крыши —
Развернутые флаги перемирья.
Все тихо так, что быть не может тише.

В сухих кустах рисуется сатирья
Угрозья головы. Блестят полозья
Вверх перевернутых саней. В надмирье.

Летит душа. Исполнен ум безгрёзья.

IV. Сирень средь лютиков

Осенняя палитра

Вид поля печальный и голый.
Вид леса уныло-нагой.
На крыше одной — белый голубь,
И карий — на крыше другой.

И море, — и то как-то наго
У гор оголенных грустит.
И суша, и воздух, и влага —
Все грусть и унынье таит.

Малиновый berceuse

В ней тихо бродила душа.

Тургенев

В ней тихо бродила душа.
Она была так хороша.

Душа хороша, как она:
Пригожа, светла и нежна.

И не было мига средь дня,
Чтоб ей не хотелось меня.

И не было суток в году,
Чтобы мог я помыслить: ”не жду”...

Она приходила ко мне
И тихая, и в тишине.

Когда приходила она,
Тишала при ней тишина,

И жизнь была так хороша:
В ней тихо бродила душа.

Это — она

Если вы встретите женщину тихую,
Точно идущую в шорохах сна,
С сердцем простым и с душою великою,
Знайте, что это — она!

Если вы встретите женщину чудную,
Женщину, чуткую, точно струна,
Чисто живущую жизнь свою трудную,
Знайте, что это — она!

Если увидите вы под запискою
Имя прекрасней, чем жизнь и весна,
Знайте, что женщина эта — мне близкая,
Знайте, что это — она!

Сонет XXXI

— Диссо. —

Изыскная, как жительница Вены,
В венгерке дамской, в платье bleugendarme,
Испрыскав на себя флакон вервэны,
Идет она, — и в ней особый шарм.

К ней цужат золотые караваны
Поклонников с издельями всех фирм...
Лишь донжуаны, чьи карманы рваны,
Берут ее глазами из-за ширм...

Изящница, очаровалка, венка,
Пред кем и герцогиня — деревенка,
В ней что-то есть особое совсем!

Изысканка, уто́нченка, гурманка,
С весталковой душой эротоманка, —
Как у нее выходит: "Жду Вас в семь"...!

Рондель XVI

Люблю лимонное с лиловым:
Сирень средь лютиков люблю.
Лимон фиалками томлю.
Пою луну весенним словом:
Лиловым, лучезарным, новым!
Луна — подобно кораблю...
Люблю лиловое с лимонным:
Люблю средь лютиков сирень.
Мне так любовно быть влюбленным
И в ночь, и в утро, в вечер, в день,
И в полусвет, и в полутень,
Быть вечно жизнью восхищенным,
Любить лиловое с лимонным...

Рондо XXI

Далёко-далёко, там за скалами сизыми,
Где веет пустынями неверный сирокко,
Сменяясь цветочными и грезными бризами,
Далёко-далёко,

Ильферна, бесплотная царица востока,
Ласкает взор путника восходными ризами,
Слух арфой, вкус — негою бананного сока...

Потом испаряется, опутав капризами
Случайного странника, и он одиноко
Тоскует над брошенными ею ирисами, —
Далёко-далёко!

Газэлла XI

Я помню весеннее пенье весла,
За взлетом блестящим паденье весла.

Я помню, как с весел струился рой брызг.
В руке твоей твердо движенье весла.

Когда ты гребла, в сердце стих возникал:
Он зачат, сдается, в биеньи весла.

Когда ты гребла, музыкально гребла,
Не брызги текли, — упоенье с весла.

И вся ты в полете была золотом, —
Так златно твое окрыленье весла!

Поэза твоих контрастов

Ты так ясна и вместе с тем туманна.
Ты так верна и вместе с тем обманна.
И нет к тебе дорог.

Уста чисты, — слов грешных ими хочешь.
Рыдая, ты отчаянно хохочешь.
Развратный облик строг.

Тебя не взять, пока ты не отдашься.
Тебя не брать — безбрачью ты предашься.
Как поступить с тобой?

Ты так горда и так несамолюбна.
Ты — без следа, но в мире златотрубна,
К тебе влекусь с мольбой.

Поэза летней встречи

Я шел по берегу реки
Тропинкой в центре склона.
Ромашки — точно мотыльки.
И все вокруг зелено.

На повороте, на крутом,
Как будто из Жюль Верна,

Возникла в уровень с кустом
Хорошенькая серна.

И этой встречею врасплох
Захвачены, мы стали,
Из губ ее метнулся вздох
Испуга ли? печали?

Спустя мгновенье, — как стрела,
Она неслась обратно.
Ужель душа моя была
И серне непонятна?..

Поэза о веранде

Не Ваша ли веранда, Лина,
Где розовеет lieberlong,
Закутанная вся сиренью,
Мне навевает настроенье —
Цитировать из "Ванделина",
Сзывая слушателей в гонг?

Внемли, тенистая веранда,
Душисто красочным стихам,
Поэме истинной и чистой.
Пусть некий голос соловьистый,
Который нежно любит Сканда,
Звучит с тебя по вечерам.

Поэза весеннего ощущения

От тоски ты готова повеситься,
Отравиться иль выстрелить в рот.
Подожди три оснеженных месяца, —
И закружит весна хоровод.

Будут петь соловьи о черемухе,
И черемуха — о соловьях.
Дай-то Бог револьверу дать промахи
И веревке рассыпаться в прах.

Будут рыб можжевеловой удочкой
Подсекать остриями крючка.
Будет лебедь со снежною грудочкой
Проплывать по реке, так легка.

Будут почки дышать влагой клейкою,
Зеленеть и струить аромат.
И, обрадованные лазейкою,
Ливни шейку твою обструят.

Зачеремушатся, засиренятся
Под разливной рекою кусты
Запоют, зашумят, завесенятся.
Все подруги твои, как — и ты.

Зазвенит, заликует, залюбится
Все, что гасло зимой от тоски.
Топором все сухое обрубится
Смело сочное пустит ростки.

Чем повеситься, лучше загрезиться.
Не травись и в себя не стреляй
Как-нибудь перебейся три месяца,
Ну, а там недалеко и май!

Поэза новая на старый лад

Что значит — одну любить?
Что значит — с одною жить?

Зачем же так много дев,
И в каждой есть свой напев?

И этих напевов рой
Не может пребыть в одной...

Кто любит напевы все,
Тот предан одной красе.

Краса не в одной, — во всех.
В одной только часть утех.

Чтоб всю красоту впитать,
Нельзя уставать искать.

Стремиться от сна ко сну...
Всех — значит любить одну.

Тебе ответ

Ты говоришь, что книги — это яд,
Что глубь душевную они мутят,
Что после книг невыносима явь.
"Избавь от книг", — ты говоришь: "Избавь"...

Не только в книгах яд, — он и в весне,
И в непредвиденном волшебном сне,
И в роскоши волнующих витрин,
В палитре струн и в музыке картин.

Вся жизнь вокруг, мой друг, поверь мне, яд —
То сладостный, то горький. Твой напад
На книги — заблужденье. Только тот
Безоблачен, кто вовсе не живет.

Наперекор

Опять себя вообрази
Такой, какой всегда была ты,
И в дни, когда блестят булаты,
Ищи цветочные стези.

Вообрази опять себя
Эстеткой, а не грубой бабой,
Жизнь, ставшую болотной жабой,
В мечтах, как фею, голубя.

Пусть мир — вперед, а ты — все вспять:
Не поддавайся прозным бредням...
Цветком поэзии последним
Вообрази себя опять!

Лиловая цветунья

Стремись поймать эола,
Дитя, в цветной сачок.
Дурманит матиола.
Стрекочет ручеек.

И в обонянье гвозди
Сирень, безбольно вбив,
Пылает на погосте,
Вся — фьёлевый порыв.

В цветение июня
Кусты свои накрень,
Певучая цветунья,
Крылатая сирень!

Но́на

О, среброголубые кружева
Уснувшей снежной улицы — аллеи!
Какие подыскать для вас слова,
Чтоб в них изобразить мне вас милее?

В декабрьской летаргии, чуть жива,
Природа спит. Сон — ландыша белее.
Безмужняя зима, ты — как вдова.
Я прохожу в лазури среброкружев,
Во всем симптомы спячки обнаружив.

Секстина XI

Каких-нибудь пять лет, — и что за перемена!
Какой разительный с умчавшимся контраст!
Взамен изысканных деликатэсов — сено,
И братоненависть взамен и сект, и каст.
Картофель — тысяча рублей мешок!.. Полено
В продаже на фунты!.. Выбрасывай балласт!

Умчаться от земли мешает нам балласт —
Земная наша жизнь. Но манит перемена:
Самоубийством ли покончить? взять полено
И голову разбить? — ведь жизнь и смерть контраст:
Не лучше ль умереть, чем жить средь зверских каст,
И вместо хлеба — есть овес, солому, сено?

Нет, сена есть нельзя. Однажды ели сено
В "Пенатах" Репина, на мясо, как балласт
К возвышенным мечтам, смотря... Но "сенных каст"
Судьба плачевная: такая перемена
Ускоривает смерть, — трава и вол — контраст,
Как дева и мечта, как скрипка и полено.

Убийственные дни! не время, а — полено!..
И не цветы цивилизации, а — сено!..
В Гармонию ножом вонзившийся контраст...
И жизнь — нескидываемый вовек балласт...
И с каждым новым днем угрозней перемена
Средь политических противоречных каст...

Нам не на чем уплыть от голода, от каст,
От драговизны: вместо корабля — полено,
Нам некуда уйти: едят повсюду сено;
И нечего нам ждать: какая перемена
Нам участь облегчит? Весь выброшен балласт,
А шар не высится: его влечет контраст...

Живя в поленный век, где царствует контраст
Утонка с грубостью; устав от всяких каст
Разбойных и тупых; на жизнь, как на балласт,
С унынием смотря; в душе людской полено
Невольно усмотрев; — ложимся мы на сено
И пробуем уснуть: сон — все же перемена...

Секстина XII

Любовь и страсть! Страсть и любовь.

Валерий Брюсов

Страсть без любви — лишь похоть, а не страсть.
Любовь без страсти просто безлюбовье.
Как в страстный бред без нежности упасть?
Без чувства как ознойть хладнокровье?
Как власть любви сменить на страсти власть
Без огневзорья и без огнесловья?

Горячими тропами огнесловья
Идет всегда безра́зумная страсть.
Сладка ее мучительная власть,
И перед ней, в испуге, безлюбовье
Шарахнется, и, съежась, хладнокровье
Сторонится, чтоб, в страхе, не упасть.

Как счастлив тот, кто может в страсть упасть,
Скользя в нее лавиной огнесловья,
В зной претворяя сердца хладнокровье,
В нее, в засасывающую страсть.
Ах, перед тем бессильно безлюбовье:
Власть безлюбовья — призрачная власть.

Лишь власть любви есть истинная власть,
И этой власти вечно не упасть,
Пусть временно и тленно безлюбовье,
Но где цветет кострами огнесловье,
Где соловьем руладящая страсть,
Там кровь жарка, — пусть мертвым хладнокровье.

Эмблема смерти — это хладнокровье,
И ледовита хладнокровья власть.
Как на катке, опасно там упасть.
Тех не вернет живительная страсть
Вновь к жизни эликсиром огнесловья, —
Нелюбящему — ледник безлюбовья.

Будь скопческое клято безлюбовье
И ты, его наперсник, хладнокровье!
Будь жизненное славно огнесловье!
Прославься ты, единственная власть,
Под игом чьим отрадно мне упасть, —
Страсть и любовь! и вновь — любовь и страсть!

Секстина XIII

Блажен познавший власть твою и гнет,
Любовью вызываемая ревность!
В тебе огонь, биенье и полет,
Вся новь в тебе, и мировая древность.
Ах кто, ах кто тебя не воспоет?
Ты — музыка! ты нега! ты — напевность!

И что ни разновидность, то напевность
Иная каждый раз, и разный гнет...
Кто все твои оттенки воспоет,
Хамелеон! фатаморгана! — ревность!
Одной тобой благоухает древность,
Одной тобой крылат любви полёт.

Однако обескрылен тот полет,
Однако безнапевна та напевность,
Тот аромат не истончает древность,
И тягостен, как всякий гнет, тот гнет,
Когда не от любви возникнет ревность,
А от тщеславья, — ту кто воспоет?..

Никто, никто ее не воспоет,
Не обратит ее никто в полет, —
Нет, не оправдана такая ревность.
При ней смолкает нежная напевность,
Она — вся мрак, вся — прах земной, вся — гнет,
Ее клеймят равно и новь, и древность...

Чем ты жива, мудрейшая, — о, древность?
Не вспомнив страсть, кто древность воспоет?
Не оттого ль бессмертен твой полет,
Что знала ты любви и страсти гнет?
Не оттого ль ярка твоя напевность,
Что зачала ты истинную ревность?

Блаженны те, кто испытали ревность
И чрез нее прочувствовали древность,
Чьи души перламутрила напевность!
Прославься, мозгкружительный полет!
Тебя безгласый лишь не воспоет...
Чем выше ревность, тем вольнее гнёт.

Секстина XIV

Не может сердце жить изменой,
Измены нет, — любовь одна.

З. Гиппиус

Измены нет, пока любовь жива.
Уснет любовь, пробудится измена.
Правдивы лживые ее слова,
Но ложна суть изменового плена.
Измена — путь к иной любви. Права
Она везде, будь это Обь иль Сэна.

Изысканность, — не воду, — льешь ты Сэна,
И, — не водой, — искусством ты жива,
И, — не водой, ты мыслями права.
Лишь против вкуса не была измена
Тобой зачата. Нет вольнее плена,
В котором вы, парижские слова.

Монументальны хрупкие слова.
Величественней Амазонки — Сэна.
Прекрасней воли — угнетенья плена
Изящества; и если ты жива,
Французов мысль, — лишь грубому измена
Живит тебя: ты грацией права.

Любовь — когда любовь — всегда права,
И непреложны все ее слова.
Ей антиподна всякая измена.
Но всех острей ее познала Сэна,
Хотя она на всей земле жива —
Владычица ласкательного плена.

Плен воли и равно свободу плена,
Все их оттенки, как и все права,

Я перевью в жемчужные слова, —
И будет песнь моя о них жива.
Пусть внемлет ей восторженная Сэна,
Познав, как мной оправдана измена.

Измены нет. Сама любовь — измена;
Когда одна любовь бежит из плена,
Другая — в плен. Пусть водоплещет Сэна
Аплодисментно на мои слова;
Измены нет: любовь всегда права,
И этим чувством грудь моя жива.

Секстина XV

О похоть, похоть! ты — как нетопырь
Дитя-урод зловонного болота,
Костер, который осветил пустырь
Сусальная беззлатка — позолота
Ты тяжела, как сто пудовых гирь
Нет у тебя, ползучая, полета.

И разве можно требовать полета
От мыши, что зовется нетопырь,
И разве ждать ажурности от гирь,
И разве аромат вдыхать болота,
И разве есть в хлопушке позолота
И разве тени может дать пустырь?

Бесплоден, бестенист и наг пустырь —
Аэродром машинного полета.
На нем жалка и солнца позолота
Излюбовал его лишь нетопырь,
Как злой намёк на тленное болото
На пустыре, и крылья с грузом гирь.

О, похоть, похоть с ожерельем гирь,
В тебе безглазый нравственный пустырь
Ты вся полна миазмами болота
Поврага страсти, дрожи и полета,
Но ты летишь на свет, как нетопырь,
И ведая, как слепит позолота.

Летучей мыши — света позолота
Опасна, как крылу — вес тяжких гирь,
Как овощам — заброшенный пустырь.
Не впейся мне в лицо, о нетопырь,
Как избежать мне твоего "полета",
О, серый призрак хлипкого болота?

Кто любит море, тот бежит болота.
Страсть любящему — плоти позолота
Не золотá. Нет в похоти полета
Кто любит сад, тому постыл пустырь.
Мне паутинка драгоценней гирь
И соловей милей, чем нетопырь.

Рисунок

В приморском парке над рекою есть сосна,
Своею формою похожая на лиру.
И на оранжевом закате в октябре
Приходит девушка туда ежевечерно.
Со лба спускаются на груди две косы,
Глаза безумствуют весёло-голубые,
Веснушки радостно порхают по лицу,
И губы узкие и длинные надменны...
В нее, я знаю, вся деревня влюблена
(Я разумею под "деревней" всё мужское).
Ей лестно чувствовать любовь со всех сторон,
Но для исканий всех она неуловима.
Она кокетлива и девственно-груба,
Такая ласковая по природе,
Она чувствительна и чувственна, но страсть
Ей подчиняется, а не она — порыву...

Утопленный душой

Мое одиночество полно безнадежности,
Не может быть выхода душе из него.
Томлюсь ожиданием несбыточной нежности,
Люблю подсознательно — не знаю кого.

Зову несмолкаемо далекую—близкую,
Быть может — телесну, быть может — мечту.
И в непогодь темную по лесу я рыскаю,
Свою невозможную зовя налету.

Но что ж безнадежного в моем одиночестве?
Зачем промелькнувшая осталась чужой?
Есть правда начальная в старинном пророчестве
"По душам тоскующий захлёснут душой".

И пост, и пир

Твои глаза, глаза лазурные,
Твои лазурные глаза,
Во мне вздымают чувства бурные,
Лазоревая стрекоза.

О, слышу я красноречивое
Твое молчанье, слышу я...
И тело у тебя — красивая
Тропическая чешуя.

И губы у тебя упругие,
Упруги губы у тебя...
Смотрю в смятеньи и испуге я
На них, глазами их дробя...

Ты вся, ты вся такая сборная:
Стрекозка, змейка и вампир.

Златая, алая, лазорная,
Вся — пост и вакханальный пир...

Ванг и Абианна

Ванг и Абианна, жертвы сладострастья,
Нежились телами до потери сил.
Звякали призывно у нее запястья.
Новых излияний взор ее просил.

Было так безумно. Было так забвенно.
В кровь кусались губы. Рот вмещался в рот.
Трепетали груди и межножье пенно.
Поцелуй головки — и наоборот.

Было так дурманно. Было так желанно.
Била плоть, как гейзер, пенясь, как майтранк.
В муках сладострастья млела Абианна,
И в ее желаньях был утоплен Ванг.

V. Змей укусы

Поэза для лакомок

Berrin, Gourmets, Rabon, Ballet,
Иванов, Кучкуров и Кестнер
Сияли в петербургской мгле —
Светил верхушечных чудесней...

Десертный хлеб и грезоторт
Как бы из свежей земляники —
Не этим ли Иванов горд,
Кондитер истинно-великий?..

А пьяновишни от Berrin?
Засахаренные каштаны?
Сначала — tout, а ныне — rien:
Чтоб левых драли все шайтаны!

Bonbons de violettes Gourmets,
Пирожное каштанов тертых —
Вкушать на яхтенной корме
Иль на beaumonde'овых курортах.

Мечтает Grace, кого мятеж
Загнал в кургауз Кисловодска;
"О, у Gourmèts был boule de neige"
Как мятно-сахарная клецка...

И Нелли к Кестнеру не раз
Купить "пластинок из малины"
Заехала: забыть ли вас?
Вы таяли, как трель Филины!

И ты прославлен Кучкуров,
Возделыватель тортов "Мокка"!
Ах, не было без них пиров
От запада и до востока...

А Гессель? Рик? Rabon? Ballet?
О что за булочки и слойки!
Все это жило на земле,
А ныне все они — покойки!

Их культурность...

Мне сказали однажды:
"Изнывая от жажды
Просвещенья, в России каждый, знай, гражданин.
Тонко любит искусство,
Разбираясь искусно
Средь стихов, средь симфоний, средь скульптур и картин".

Чтобы слух сей проверить,
Стал стучаться я в двери:
"Вы читали Бальмонта, — Вы и Ваша семья?"
— "Энто я-то? аль он-то?
Как назвали? Бальмонта?
Энто что же такое? не пойму что-то я.

Може, энто письмовник?
Так читал нам садовник,
По прозванью Крапива — ик! — Крапива Федул.
Може, энто лечебник?
Так читал нам нахлебник,
Что у нас проживает: Пармошка Разгул.

Може, энто оракул?" —
Но уж тут я заплакал:
Стало жаль мне Бальмонта и себя, и страну:
Если "граждане" все так —
Некультурнее веток,
То стране такой впору погрузиться в волну!..

Икра и водка

Раньше паюсной икрою мы намазывали булки.
Слоем толстым маслянистым приникала к ним икра.
Без икры не обходилось пикника или прогулки.
Пили мы за осетрину — за подругу осетра.

Николаевская белка, царская красноголовка,
Наша знатная казенка — что сравниться может с ней,
С монополькой русской хлебной?!.. выливалась в горло ловко...
К ней икра была закуской лучше всех и всех вкусней!

А в серебряной бумаге, мартовская, из Ростова,
Лакированным рулетом чаровавшая наш глаз?!..
Разве позабыть возможно ту, что *грезиться* готова,
Ту, что наш язык ласкала, ту, что льнула, как атлас!

Как бывало не озябнешь, как бывало не устанешь,
Как бывало не встоскуешь — лишь в столовую войдешь:
На графин кристальной водки, на икру в фарфоре взглянешь, —
Сразу весь повеселеешь, потеплеешь, отдохнешь!..

Поэза о знатной даме

Кто это ходит по улице в саке
Плюшевом желтом, беседуя с прачкой
О происшедшей на ярмарке драке?
— Знатная дама, дама с собачкой.

Кто это сплетничает так умело
В местной аптеке, охваченной спячкой,
О поэтессе, смеющейся смело?
— Знатная дама, дама с собачкой.

Кто это в спальне, раскрывши оракул,
Ищет с кем муж изменяет: с полячкой
Или с жидовкой, чтоб грешную на кол?
— Знатная дама, дама с собачкой.

Кто это день наполняет свой целый
Руганью, картами, храпом и жвачкой?
Кто это ходит все с ношею белой?
— Знатная дама, дама с собачкой.

Г-н Цап-Царап

1

По деревне ходит местный
Скоморох и шут, —
Враль и пьяница известный,
Выжига и плут.

Из охранки экс-чиновник
И большой богач,
Всех продажных баб любовник,
Девушек пугач.

"Я волшебник! Я полковник!
Поп и эскулап!" —
Уверяет экс-чиновник
Сыска — Цап-Царап.

"Я ль не крестник государя?
Я ли не герой?" —
И надуется вдруг харя,
Как пузырь, порой.

"Всех на свете я полезней:
Перенес, ей-ей,
Даже женские болезни
И рожал детей!

Дайте мне солдат штук восемь
Под начальство, и
Двести тысяч мы отбросим
Черт, в края твои!" —

Попивая самогонку
Иль денатурат,
Трам бранит и хвалит конку
Старый ретроград.

И телятиною густо
Понабив свой рот,
В пух и в прах честит искусство
Жалкий идиот.

Носом, точно прелой грушей,
Машет, то и знай:
Коли не любо — не слушай,
Врать же не мешай!

2

Говорят, он очень добрый,
Прелый весь, как нос:
Не ломает людям ребра,
Только шлет донос...

И смотря по настроенью,
Просто с пьяных глаз,
В камеру для заключенья
Приглашает вас...

А потом, при встрече, нежно
Кланяется вам,
Вопрошая вас небрежно,
Как гостили там...

За подобную любезность
И за добрый нрав

Цап-Царапа ценит местность
Нужным ей признав;

Он полезен: он в подарок
Богадельне даст
Раз в пять лет пятнадцать марок, —
Он на то горазд...

Так-то полублагодетель,
Но и целый шпик,
Пуль, ножей, дубин и петель
Избегать привык...

Поэза для беженцев

В этой маленькой русской колонии,
Здесь спасающей от беззакония
Свои бренные дух и тела,
Интересы такие мизерные,
Чувства подленькие, лицемерные,
Ищут все лишь еды и тепла.

Все едят — это очень естественно,
И тепло в наше время существенно —
С этим спорить не будет никто.
Но ведь кроме запросов желудочных
И телесных, есть ряд мозгогрудочных,
Кроме завтраков, дров и пальто.

Есть театр, есть стихи, есть симфонии.
Есть картины и, если в Эстонии
Ничего нет такого для вас,
Соотечественники слишком русские,
Виноваты вы сами, столь узкие,
Что теряете ухо и глаз.

Если здесь в деревушке подобного
Ничего не найти, кроме сдобного
Хлеба, можно давать вечера
Музыкально-поэзо-вокальные,
Можно пьесы поставить лояльные
И, пожалуй, плясать до утра.

Можно вслух проштудировать Гоголя
(Ах, сознайтесь, читали вы много ли
Из него в своей жизни, друзья!..)
Можно что-нибудь взять из Некрасова,
Путешествие знать Гаттерасово,
Если Ницше, допустим, нельзя...

Но куда вам такие занятия,
Вызывающие лишь проклятия, —
Лучше карты, еда и разврат!
Лучше сплетни, интриги и жалобы,
Что давно-де войскам не мешало бы,
Взять для ваших удобств Петроград!..

VI. С эстонского

Из Марии Ундэр

(С эстонского)

Утро

Вновь воскресаю я каждое утро —
Розовая в светлой пене простынь:
Блондных волос ручейки, — желтовинь, —
Льются с висков — с чаши из перламутра.
Вновь я интимна, свежа и тепла!
Вот соскользнули с цветущей постели
Белые ночи одухотворенные,
Лунью расплавленной осеребренные;
Струйки одежд молоком заблестели.
Пауза солнца к заре истекла.
Сыплет ко мне золотистый песок
Солнце на сонные крошки-окошки,
Тихо, невестно, зовет на дорожки.
Вдребезги сердце распалось. Глубок
Сад, как колодец, прохладен и зелен,
Полон предчувствий, как тайна великая.
Здравствуй, Сегодня! покойся, Вчера!
Утро — мост роз, сходня розовобликая
К дню. День — корабль, к чуду путь чей нацелен:
Синему парусу вздуться пора.

Из Густава Суйтса

(С эстонского)

1

Кошмар

Боль в голове ото дня.
Ночь даже сну западня
В отчем краю.

Юности вера, где ты?
В сердце томленье мечты.
Муку таю

Дело дней серых закрыл
Круг заколдованный сил
Ночи немой.

В темном плененье земля,
Даже во сне не внемля,
Ужас со мной.

В темном, земля, ты плену.
Тучи закрыли луну.
"Помощь подай!"

Чей-то как будто возник
В ветре таинственный вскрик:
"Помощь подай!"

Чувствую: руку занес,
Чтоб умерщвлять, дух угроз —
Сам сатана.

Чувствую: брат мой зовет.
Помощь душа не дает:
В путах она.

2

Боги и глупцы

Боги бессмертные, в выси живущие...
Смертные дурни, в низинах ползущие...

Здесь даже днем — ни конца, ни начала.
Лишь по ночам от них свет излучало.

Тысячи, тысячи там светлых окон.
Щеки ничтожных, вперивших ввысь око.

Никнут, вздыхая, певцы. Плачут жены.
Глухи недвижных друзей моих стоны.

Финал

Лэ VI

Под новый год кончается мой труд —
Двенадцатая книга вдохновений.
Ее снега событий не затрут
На перепутьях новых откровений.
Я верю: девятьсот двадцатый год
Избавит мир от всех его невзгод, —
Ведь он идет, как некий светлый гений.

Ведь он идет, как некий светлый гений,
Походкой ровной, совершить свой суд,
Свой правый суд, где чудо воскресений,
Над теми, кто со злобой крест несут.
Закончится всем злым и добрым проба, —
Он идеалы выведет из гроба,
И вновь поля и чувства зацветут.

И вновь поля и чувства зацветут,
Исчезнет голод мысли и растений,
Вновь заиграет злаков изумруд,
Зазолотится урожай осенний,
И станет снова сытым человек
И телом, и душой. Растает снег,
Лишь заблестит светила луч весенний.

Лишь заблестит светила луч весенний,
Начнется пляска радостных минут.
Среди кустов черемух и сиреней
Вновь соловьи разливно запоют.
Придет любовь из своего изгнанья,
Вернется об руку с Искусством Знанье, —
Все обновленной жизнью заживут.

Все обновленной жизнью заживут,
Без злобы, без убийства и без лени;
И не орудий будет слышен гуд,
А гуд труда, любви и наслаждений.
О, верьте, верьте: эти дни придут,
Дни музыкально-ласковых мгновений...
О, эти дни! вы — близко, рядом, тут!

О, эти дни! вы — близко, рядом, тут!
Я в настроеньи ваших настроений.
Вы влиты в обрильянченный сосуд —
Сосуд чудес, пророчеств и видений.
Да, смерть умрет! да, жизнь воскреснет вновь!
В своей душе ей место приготовь! —
Так повелел круговорот свершений.

Так повелел круговорот свершений! —
Он предназначен, властен, мудр и крут,
В его вращеньи нет ни отклонений,
Ни замедлений, ни преград, ни пут.
Под вечным знаком предопределения,
С душой, познавшей таинства прозренья,
Под новый год кончается мой труд.

Под новый год кончается мой труд, —
Ведь он идет, как некий светлый гений!
О, вновь поля и чувства зацветут,
Лишь заблестит светила луч весенний!
Все обновленной жизнью заживут!
О, эти дни! вы — близко, рядом тут!
Так повелел круговорот свершений.

Миррэлия

Новые поэзы

I. Корона ее светозарности

Увертюра

Миррэлия — светлое царство,
Край ландышей и лебедей,
Где нет ни больных, ни лекарства,
Где люди не вроде людей.

Миррэлия — царство царицы
Прекрасной, премудрой, святой,
Чье имя в веках загорится
Для мира искомой Мечтой!

Миррэлия — вечная Пасха,
Где губы влекутся к губам.
Миррэлия — дивная сказка,
Рассказанная мною вам.

Миррэлия — грёза о юге
Сквозь северный мой кабинет.
Миррэлия — может быть, в Луге,
Но Луги в Миррэлии нет!..

Качает там лебедя слива,
Как символ восторгов любви...
Миррэлия! как ты счастлива
В небывшем своем бытии!

1916. Август.
Им. "Бельск"

Поэза их оправдания

С тех пор, как Эрик приехал к Ингрид в ее Сияиж,
И Грозоправа похоронили в дворцовом склепе,
Ее тянуло куда-то в степи,
В такие степи, каких не видишь, каких не знаешь.

Я не сказал бы, что своенравный поступок мужа
(Сказать удобней: не благородный, а своенравный)
Принес ей счастье: он был отравный, —
И разве можно упиться счастьем, вдыхая ужас?!..

Она бродила в зеркальных залах, в лазурных сливах,
И — ах, нередко! — над ручейками глаза журчали...
Из них струился алмаз печали...
О, эта роскошь не для утешных, не для счастливых!

Разгневан Эрик и осуждает он Грозоправа:
— Такая жертва страшнее мести и ядовитей.
Поют поэты : "Любовь ловите!"
Но для чего же, когда в ней скрыта одна отрава?

Ведь есть же совесть на этом свете — цариц царица,
Любви эмблема, эмблема жизни! ведь есть же совесть!..
И ей подвластна и Ингрид, т. е.,
И королева должна послушно ей покориться.

Но стонет Ингрид: "В твоей кончине не виновата, —
Я разлюбила и эту правду тебе открыла,
Не изменила и не сокрыла
Любви к другому. Я поступила, о муж мой, свято!"

В такие миги с его портрета идет сиянье,
Сквозит улыбка в чертах угрюмых, но добродушных.
Он точно шепчет: "Ведь мне не нужно,
Чтоб ты страдала, моя голубка, — утишь страданья.

Не осуждаю, не проклинаю, — благословляю
Союз твой новый и боле правый, чем наш
неравный!
Твой Эрик юный, твой Эрик славный
Весне подобен, как ты, царица, подобна маю"...

Тогда любовью и тихой скорбью царицы выгрет
Подходит Эрик, раскрыв объятья, к своей
любимой
И шепчет с грустью невыразимой:
— Мы заслужили страданьем счастье, о друг
мой, Ингрид!

Им. "Бельск".
1916. Август

Эпиталама Ингрид

Как некогда Балькис стремилась к Соломону,
Я к Эрику неслась на парусах души.
Я видела во сне полярную корону
И ледяной дворец, и музыку тиши.
Я слушала, дрожа, предчувствием томима,
Предчувствием того, что вечно буду с ним.
И вот сбылся мой сон: я королем любима!
И стала я его! и стал король моим!
О, как же мне воспеть венец моих стремлений,
Венец моей любви и торжества венец?
Я славлю царство льда, фиордов и оленей.
Любовник мой! мой брат! товарищ и отец!
Я славлю белый край, в котором ты королишь,
И подношу я в дар тебе свою страну,
Молю тебя, как ты одно лишь небо молишь:
Владей мной целиком! люби меня одну!
Рабою припаду к блистательному трону, —
Целуй меня иль бей! ласкай иль задуши!
Подобна я Балькис, как Эрик — Соломону,
Душа моей мечты! мечта моей души!

1916. Август.
Им. "Бельск"

Северный триолет

Что Эрик Ингрид подарил?
Себя, свою любовь и Север.
Что помечталось королеве,
Все Эрик Ингрид подарил.
И часто в рубке, у перил
Над морем, чей-то голос девий
Я слышу: "Он ей подарил
Себя, любовь свою и Север".

1916. Август.
Им. "Бельск"

Поэза о вальдшнепе и зайчике

Синеглазый вальдшнеп и лукавый зайчик,
Маленький кусайчик,
Весело играя, бегали в столовой.
Гас закат лиловый.
Вальдшнеп длинноклювый, зайчикова цвета,
Сожалел, что лето
Он уже отбегал, — бегая, отлетил,
Милую не встретил...
А лукавый зайчик, шерсткою как вальдшнеп,
Думал, что-то дальше,
Осенью-зимою, будет с ним такое:
Жизнь или жаркое...
Но в дверях столовой на ковровом тигре
Появилась Ингрид,
И ее любимцы, и ее питомцы
Вновь познали солнце!
И легко подпрыгнув, бросился к ней зайчик,
Ласковый кусайчик,
А за ним и вальдшнеп поспешил к хозяйке
На спине у зайки...

1916. Август.
Им. "Бельск"

Поэза рыбной ловли

И крапчатых форелей, и пильчатых
стерлядок
На удочку искусно вылавливать привыкла
Королева Миррэльская.
И до луны июльской, сообщницы загадок,
Когда ее сиянье острит у кедра иглы,
Вёслит лодка корельская.
В невинном развлеченьи так много чарованья,
Так много ожиданья и острых ощущений, —
Хорошо ей над струями...
И до заката солнца, в очаренном молчаньи
Сидит она на лодке в бездумном упоеньи,
Рыбной ловлей волнуема...
Лишь поплавок сапфирный, стерлядкою
влекомый,
Молниеносно канет во влагу малахита,
Загорится красавица.
О, эти ощущенья ей хорошо знакомы!
И с рыбою ведёрко луною все облито,
Королеве так нравится.
Любовно фаворитка головку на колени
Царице положила, легка как балерина,
Королеве сочувствуя...
И обе — в чарованьи, и обе — в мягкой лени:
И Ингрид — королева и фрейлина Эльгрина,
Девушка алоустая...

1916. Август.
Им. "Бельск"

Рябиновая поэза

Из октябрьской рябины
Ингрид варит варенье
Под осенних туманов сталь — седое куренье
И под Эрика шепот, точно гул голубиный...
Никому не позволит
Ей помочь королева.
Оттого и варенье — слаще грезонапева...
Всех улыбкой малинит, всех глазами фиолит...
(Не варенье, а Ингрид!..)
А у Ингрид варенье —
Не варенье, а греза и восторг вдохновенья!
При дворе — лотерея, и его можно выиграть...
А воздушные слойки
Из рябиновых ягод
Перед этим шедевром посрамленными лягут
Поварихи вселенной, — перед ней судомойки...
А ликеры рябиньи
Выделки королевьей!
Это — аэропланы! это — вальсы деревьев!
Это — арфа Эола и смычок Паганини!
Всем сластям и напиткам
Прорябиненным — слава!
Ингрид ало смеется и смакует лукаво
Свой ликер несравненный, что наструен
с избытком.

1916. Август.
Им. "Бельск"

Поэза маленького преувеличения

Луна чуть звякала,
А Ингрид плакала:
Ей нездоровилось. Душа болела.
Близка истерика...
Нет дома Эрика...
Кровь гордо-гневная в щеках алела.
О, совершенное
И неизменное
Блаженство тленное планеты этой!
Не плачь же, гордая,
Будь в горе твердая,
На одиночество свое не сетуй!

Есть тайны в жизни, —
И как их выяснить?..
Ведь не попался ж король в измене!

Но возмутительно,
Но оскорбительно,
Что разогнул он на миг колени!

Что миги краткие
Не пьет он сладкие
Уста любимые, уйдя куда-то!
Что есть биение
В разъединении

Что — пусть мгновение! — но вот одна ты!
А жизнь поэзилась:
Ей с детства грезилась
Любовь бессмертная: быть вместе вечно.

Да, в разлучении —
Всегда мучение...
О, я сочувствую тебе сердечно!

1916. Август.
Им. "Бельск"

Тихая поэза

"Мне хочется тихого-тихого вечера",
Королева сказала:
"Уйти подальше от искалеченного
Людного зала...

Мне так надоела свита льстивая,
Подлая свита.
Я, королева благочестивая,
Мечтой овита.

Мне даже король со своим величием
Нередко в тягость.
О, если б упиться могла безразличием,
Была бы радость...

Лишь ты, Эльгрина моя любимая,
Моя Эльгрина,
Поймешь страданье неуловимое,
Взор не отринув...

И что-то потеряно, и что-то не встречено,
И что-то сломала...
И даже... самого тихого вечера
Тиха тишь мало!.."

1916. Август.
Им. "Бельск"

Поэза без слов

Съеженная рябина ржаво-красного тона...
Пальчиками голубика с нежной фиолью налета...
И ворожба болота...
И колдовство затона...
И немота полета...
И крутизна уклона.
Мыши летучей, карей... Месяца позолота...

А вдалеке — две скрипки, арфы и виолончели,
И долгота антрактов, а в долготе
окарины,
Трели любви соловьиной,
Палевые качели,
Pas голубой балерины,
Призраки Боттичелли,
И нагота сплетенных Ингрид и фейной
Эльгрины.

1916. Август.
Им. "Бельск"

Письмо Эльгрине и от нее

Эльгрина уехала в гости
К подруге своей в Копенгаген, —
И что на словах раньше было,
Отныне уже на бумаге...
И в чарах изысканной злости
И ревности, пишет ей Стэрлинг:
— А если бы я полюбила
Палана не меньше, чем стерлядь?..

А если бы я целовала
Фиалки не меньше пионов?
А если бы я тяготела
К искусству — ты слышишь? — шпионов?
А если бы я выпивала
Не crème des lilas, а — oporto,
А если бы я свое тело
Лелеяла только для черта?! ...

И то ли поет окарина,
И то ли летает сильфида,
И то ли из датского порта —
Конверт, а в конверте — обида:
Смеясь, отвечает Эльгрина:
"Целуй, если хочешь, пионы,
И пей, если хочешь, oporto,
И даже попробуй в шпионы...

Послушай, но это забавно,
Немного смешно и наивно,
Но все-таки, — о, дорогая! —
Так дивно! так дивно! так дивно!
Так будь же всегда своенравна,
Моя голубая голубка,
Но чтобы не смела другая
Познать тебя страстно и глубко..."

1916. Сентябрь.
Им. "Бельск"

Декрет министрессы

Графиня Крэлида Фиорлинг,
Изящных искусств министресса,
Под чьим покровительством пресса
Познала тропичный расцвет,
Чье имя у критика в горле
Спирает дыханье от страха,
Звуча для него, точно плаха,
Насущный издала декрет,
В котором она, между прочим,
Редакторов всех обезличив,
И "этих", и "тех" без различья
В особый собрав комитет,
Успех комитету пророча,
Советала объединиться,
Мотивя, что у "единицы"
Достаточной выдержки нет...

Открытое при министерстве
Собранье всех вкусов и взглядов
Отныне должно было рядом
Речей браковать иль ценить
Труды, находящихся "в детстве
И старости литературы"
Бездарное — до корректуры! —
Порвало с читателем нить...
Но то, что талантливо было,
От знати имен не завися,
В печать отдавалось, чтоб к выси
Неведомые имена
Взнести, — поощренное жило!
Навеки исчезла обида...
Не правда ль, графиня Крэлида
Была государству нужна?..

1916. Сентябрь.
Им. "Бельск"

Поэза о поэзах

Когда у королевы выходит новый томик
Изысканных сонетов, кэнзелей и поэз,
Я замечал, что в каждом доме
К нему настражен интерес.

Идут ее поэзы десятками изданий
И служат украшеньем окниженных витрин.
Ее безумств, ее мечтаний —
В стихах чаруйный лабиринт...

Все критики, конечно, ей курят фимиамы,
Как истые холопы, но курят невпопад.
И нет для Ингрид большей драмы,
Чем их рецензий сладких "пат"...

Прекрасные поэзы от их похвал пошлеют,
Глупеют и мерзеют от фальши их похвал,
И гневом, и стыдом алеет
Щек царских матовый овал...

А те, кто посмелее, с тенденцией "эс-деков",
Бранить ее решались, но тоже не умно.
Читая "этих человеков",
Царице все же хоть смешно.

Однажды Ингрид Стэрлинг (о, остроумья сила!)
Всем ядно отомстила — в редакцию письмом,
В котором критиков просила
Забыть "ее творений дом".

"Не раз я разрешала бранить меня печатно,
Но только беспристрастно и лишь по существу.
А ваша лесть мне неприятна:
Я тоже мыслю и живу...

Теперь я запрещаю всей властью королевы
Рецензии о книгах моих изготовлять:
Из вас бездарны те, кто "левы",
А "правых" трудно "олевлять"...

Еще одна причина бессмыслицы рецензий:
Чтоб разбирать большое — ах, надо быть
большим!
Бездарь бездарна и при цензе,
Талант бездарностью душим!..

Чтоб отзыв беспристрастный прочесть,
под псевдонимом
Пришлось бы мне поэзы печатать, но зачем,
Когда трудом своим любимым
Я дорога свободным всем?

Да и сама всех лучше себе я знаю цену:
Стихи мои прекрасны без брани и похвал!
На сцену, молодежь, на сцену!
Смелей! — успех или "провал"!

1916. Август.
Им. "Бельск"

Балькис Савская

Поэзосолистка Ее Светозарности речитативом
Читает ее сочиненья лирично сопрано красивым.
Она происходит из древней миррэльской
фамилии графской.
Она выступает под именем звучным — Балькис,
девы Савской.
Поэзоконцерты с изящным участием славной
солистки.
Всегда интересны, и стильно проходят на фоне
арфистки.
Хрустальная дикция и фразировка, изыски
— нюансы.
Она филигранно читает газэллы, канцоны
и стансы.

Слегка ледяная, с высокой прической,
и миниатюрна,
Она на эстраде ажурно-сквозная, и все в ней
ажурно!
Каштаново-бронзовы волосы, губы — веселая
алость.
Усталая в ней шаловливость, иначе — шальная
усталость...

И если завистливо критика пишет
умышленно-злобно,
Соперниц не зная в своих выступленьях,
она бесподобна!
Сама королева ее отличила, даруя солисткой:
Так что же ей зависть и даже клакеры с наемной
освисткой?

Она не боится, она презирает всю фальшь
рецензентов,
Ее ободряют, звуча так литаврово,
аплодисменты
Ценителей истинных и королевского дара,
и — Савской.
Ах, с нею сравниться не снилось актрисе, актрисе
заправской!

1916. Сентябрь.
Им. "Бельск"

Визит Ваальяры

Автомобиль Ваальяры около виллы Эльгрины,
Фыркая, остановился. Выбежала Гарриэт:
"Милая! Вы ли не кстати? — я получила кларет
Вашей излюбленной марки, да и паштет
куриный,
Нашего повара гордость, входит сегодня
в обед"...

Но усмехнулась актриса, строя сарказмную
мину,
Тонко прищурила очи, их направляя в лорнет,
И процедила сквозь зубы: "Вкусный, конечно,
обед,
Но, Ваша Светлость, простите, из ридикюля
я выну
Крошечную безделушку", — и заблестел
пистолет!

Расхохоталась бравурно маленькая принцесса, —
На призывающий хохот вышла пантера,
но "пиль!"
Сказано не было вовсе... Взяв из вазетки
кальвиль,
Четко сказала хозяйка: "Мне — дать обедать,
Агнесса,
А госпоже Ваальяре — собственный
автомобиль".

1916. Август.
Им. "Бельск"

Гастроль Ваальяры

("Ирис" Масканьи)

В королевском театре
Ваальяру рассматривая,
Королева прослушала год нешедшую "Ирис".
Автор сам дирижировал
И король игнорировал
Потому платья нового помрачительный вырез.
Убаюканный тактами,
Развлекаем антрактами,
Проводимыми весело в императорской ложе,
Был Масканьи блистательный
В настроеньи мечтательном,
И ее Светозарности было солнечно тоже...
Королевскими просьбами
Привлеченная, гроздьями
Бриллиантов сверкавшая, в дверь вошла
Ваальяра, —
Прима колоратурная, —
Вся такая ажурная,
Как изыски Бердслеевы, как berceuse'ы Годара.
И блестя эполетами,
Бомбоньерку с конфетами,
В виде Леды и Лебедя, предлагает ей Эрик.
Ваальяра кокетничает,
А придворные сплетничают —
Открыватели глупые небывалых Америк...
Композитор признательно,
Правда, очень старательно,
Ей целует под веером надушенную руку.
И король комплиментами,
Загораясь моментами,
Угощает дающую крылья каждому звуку.
Королевой же ласково
(Что там скрыто под маскою?)
Ободряется пламная от смущенья актриса.
И полна благодарности, —
Дар ее Светозарности, —
Примадонна пришпилила к лифу ветку ириса.

1916. Август.
Им. "Бельск"

Прогулки Ингрид

Ингрид любит прогулки на ореховом бриге,
Ежедневно пускаясь в бирюзовые рейсы.
На корме — эдельвейсы
И качалка, и книги.
Малларме и Сенкевич, Пшибышевский
и Стриндберг.
Шелковые закладки. Переплет из сафьяна.
Как читает их пьяно
Фьолеглазая Ингрид!
Фьолеглазая Ингрид! Эти взгляды, — как сабли!
В них сердца утопали, как любовные грузы...
И целуют медузы
Дно стальное кораблье.
Стаят злые акулы, и взлетают дельфины,
Но Ее Светозарность замечталась в лонг-шезе
И читает в поэзе
Про былые Афины...
Или палевых писем кружевные интриги
С королем, улыбаясь, разбирает в шкатулке...
Ингрид любит прогулки
На ореховом бриге.

1916. Август.
Им. "Бельск"

Баллада I

Баллад я раньше не писал,
Но Ингрид филигранить надо
То в изумруды, то в опал, —
И вот о ней моя баллада.
Какая странная услада —
Мечтать о ней, писать о ней...
Миррэлия — подобье сада,
А я — миррэльский соловей.
Дала однажды Ингрид бал.
Цвела вечерняя прохлада.
Фонтан, как сабли, колебал
Сереброструи; винограда
Дурман, для торжества парада,
Легко кружился средь гостей.
Я пел, и было сердце радо,
Что я — миррэльский соловей.

Взнеси, читатель, свой фиал:
То — возрожденная Эллада,
И не Элладу ль ты искал
В бездревных дебрях Петрограда?
Ну что же, вот тебе награда:
Дарю тебе край светлых фей.
Кто — ты, читатель, знать не надо,
А я — миррэльский соловей.
В моей балладе мало склада, —

В ней только трели из ветвей...
И ты, быть может, ищешь стада,
А я — миррэльский соловей!..

1916. Август.
Им. "Бельск"

Баллада II

Десятый день ее корвет
Плывет среди полярной сини,
И нет все пристани, но нет
На корабле ее — уныний.
Ах, в поиски какой святыни
Она направила свой путь?
Ах, грезы о какой богине
Сжимают трепетную грудь?
Не прозвучал еще ответ,
Но неуверенных нет линий
В пути руля: сквозь мрак, сквозь свет
Плывет корвет под всплеск — то линьий,
То осетровый; и павлиний
Узорный веер опахнуть
Спешит ее. Волшба Эринний
Сжимает трепетную грудь.

О королева! Ты — поэт!
Источник ты среди пустыни!
Твой чудодейный амулет
Хранит тебя средь бурь, средь скиней...
На палубе сребреет иней
И голубеет он чуть-чуть...
Но вот мечты о милом сыне
Сжимают трепетную грудь...
Забыть бы о ветрах, о мине,
Корвет обратно повернуть:
Ведь там весна!.. Она, в жасмине,
Сжимает трепетную грудь.

1916. Август.
Им. "Бельск"

Баллада III

Она катается верхом
Почти всегда ежевечерно.
Ее коня зовут конем
Совсем напрасно: он — как серна!
И то вздымаясь кордильерно,
И то почти прильнув к земле,
Он мчит ее неимоверно,
И тонет бег коня во мгле.

Бывает: Ингрид над прудом
В лесу, где ветхая таверна,
Коня придержит, и потом
Любуется собой венерно
В пруду, как в зеркале. Конь мерно
И жарко дышит. На скале
Дозорит солнце — все ли верно,
И тонет солнца ход во мгле.

Стэк, оплетенный серебром,
На миг взовьется, — вздрогнув нервно,
Скакун несется ветерком.
И королева, камамберно
Глумясь над крестиком из Берна,
Глаз практикует на орле.
Ружье прицелено примерно, —
И тонет лет орла во мгле.

Душа — прозрачная цистерна.
Почило солнце на челе.
И все-таки, как то ни скверно,
Потонет жизнь ее во мгле.

1916. Август.
Им. "Бельск"

Баллада IV

Эльисса бегает с пажом,
Гоняя шарики крокета.
О, паж, подстриженный ежом,
И ты, о девушка-ракета!
Его глаза, глаза кокета,
Эльиссу ищут и хотят:
Ведь лето, наливное лето
Струит в юнцов любовный яд.

Что делать юношам вдвоем,
Раз из двоих, из этих — эта
И этот налицо, причем
У каждого и кровь согрета?..
Какого может ждать ответа
Восторгов тела пьяный ряд,
Когда один намек запрета
Струит в юнцов любовный яд?

Мигнула молния, и гром
Прохохотал задорно где-то,
И лес прикинулся шатром...
Они в шатре. Она раздета.
Ее рука к дождю воздета.
А дождь, как некий водопад,
Глуша, что мною не допето,
Струит в юнцов любовный яд.

Маркиза Инэтро карета
Свезла промокшую назад.
Паж вновь, при помощи сонета,
Струит в нее любовный яд.

1916. Август.
Им. "Бельск"

Баллада V

"Баллада Рэдингской тюрьмы" —
Аккорд трагический Оскара.
За фейерверки кутерьмы —
Она прощение и кара.
Подбитое крыло Икара...
Обрушившийся Вавилон...
Восторг запретов Гримуара...
И он все тот же, да не он.

Что значат сильные умы
И вся окрылость их удара?
Не видеть лета средь зимы,
Из моря не извлечь пожара.
Не нежить зайцу ягуара,
Не опрокинуть небосклон.
Один ли был? была ль их пара?
Но он все тот же, да не он.

Свет мира есть частица тьмы
И тьмы губительная чара...
Зло сулемы! сумы! чумы!
О, тяжесть черного кошмара!
Лилит, Годива и Тамара,
Ах, кто из вас не угнетен?..
Монах надел мундир гусара,
И он все тот же, да не он.

В Уайльде есть черты Эмара,
Уайльд в Эмаре отражен...
Так пой же, пой же, Ваальяра,
Что он все тот же, да не он!

1916. Август.
Им. "Бельск"

Баллада VI

У Юнии де Виантро
Совсем левкоевая шейка.
Смакует triple sec Couantrau
Весь день изысканная миррэлька.
Вокруг весна — душистовейка,
Просоловьенная луна,
Мечта о принце, грезогрейка
И голубая пелена...

Как смотрит Юния остро
На вешний пир и, точно змейка,
На солнце греется пестро,
И манит вдаль ее аллейка...
Смутить попробуй-ка, посмей-ка!
Она весенне-влюблена...
Вокруг весна, улыбногрейка
И голубая пелена...

Ночей весенних серебро,
Тумана легкая фланелька
И листьев пальмовых перо
Грудь нежат ласково и клейко...
Весна, природовая швейка,
Луг рядит в тогу изо льда...
А там, над озером, скамейка
И голубая пелена...

Служанка, бронзная корейка,
В ее мечты вовлечена...
И тает в грезах корифейка,
Как голубая пелена...

1917. Февраль.
Харьков

Баллада VII

Мне ярко грезится река,
Как будто вся из малахита...
Она прозрачна и легка
Река — мечта! река — Пахита!
В ней отразились облака,
Лучисто звезды утонули.
Она извивна и узка, —
И музыка в прохладном гуле...

Эльгрины нежная рука
Ведет в страну, что не забыта,
По крайней мере — з д е с ь, пока...
О ты: восторг речного быта!
Твоя свобода широка,
И пламя есть в твоем разгуле,
Есть ненюфары для венка,
И музыка в прохладном гуле...

Для молодого старика
Природа, не родясь, убита...
Но для меня, чья мысль тонка,
Чье сердце пламени раскрыто,
Как хороша, как глубока,
Мечта о феврале в июле,
Цветов душистая тоска
И музыка в прохладном гуле!..

И если б вы, спустя века,
Балладу эту проглянули,
Сказали: "Каждая строка
Здесь — музыка в прохладном гуле"...

1917. Февраль.
Харьков

Баллада VIII

Эльгрина смотрит на закат;
В закате — пренье абрикоса;
У ног ее — надречный скат, —
Головокружно у откоса.
А солнце, улыбаясь косо,
Закатывается за лес.
Эльгрина распускает косы
И тихо шепчет: "День исчез"...

А день угасший был так злат!
Мужали крылья альбатроса!
И бился на море фрегат,
Как бьется сердце у матроса.
Казалось, не было вопроса
Ни у земли, ни у небес.
Эльгрина курит пахитоссу,
И вот дымок ее исчез...

Ее глаза — сплошной агат;
Ее душа летит в льяносы;
В устах ее созрел гранат;
Наги плеча, и ноги босы;
На наготе сверкают росы,
Мечта — орлу наперерез;
Эльгрина жадно пьет кокосы,
И вот их млечный сок исчез...

Вокруг кружатся златоосы.
В природе — колыханья месс.
Она пускает в ход колеса, —
И вот велосипед исчез...

1917. Февраль.
Харьков

Баллада IX

О ты, Миррэлия моя! —
Полустрана, полувиденье!
В тебе лишь ощущаю я
Земли небесное волненье...
Тобою грезить упоенье:
Ты — лучший сон из снов земли,
И ты — эмблема наслажденья, —
Не оттого ль, что ты вдали?

Благословенные края,
Где неизживные мгновенья,
Где цветны трели соловья,
Где соловейчаты растенья!
Земли эдемские селенья,
К вам окрыляю корабли!
Но это страстное влеченье —
Не оттого ль, что вы вдали?

Да, не любить тебя нельзя,
Как жизнь, как май, как вдохновенье!
К тебе по лилиям стезя,
В тебе от зла и смут забвенье;
В тебе от будней исцеленье, —
Внемли мечте моей, внемли!
Я верю, примешь ты моленье, —
Не оттого ль, что ты вдали?..

Уже конец стихотворенью,
А строфы только расцвели,
И веет от стихов сиренью —
Не оттого ль, что ты вдали?!

1917. Февраль.
Харьков

Баллада X

Любовь! каких-нибудь пять букв!
Всего две гласных, три согласных!
Но сколько в этом слове мук,
Чувств вечно-новых и прекрасных!
Чувств тихо-нежных, бурно-страстных,
Чувств, зажигающих в нас кровь,
Чувств радостных и чувств несчастных —
Под общим именем: "Любовь".

Любовь! какой чаруйный звук!
Букет цветов с избытком красных...
Волшба сплетенных в страсти рук,
И фейерверки слов напрасных...
Аэропланы чувств опасных,
Паденья, рвы и взлёты вновь,
Все то, что в образах неясных —
Под общим именем: "Любовь".

Любовь! как дед когда-то, внук
Тебя же в признаках компасных
Найдет, усилив сердца стук,
В полях, среди цветов атласных,
В горах, среди ветров ужасных,
Везде найдет, вздымая бровь,
Тебя, кто брезжит в днях ненастных
Под общим именем: "Любовь".

Любовь! как мало душ согласных,
С тобой познавших счастья новь!
Но сколько гибелей злосчастных —
Под общим именем: "Любовь".

1917. Февраль.
Харьков

Баллада XI

Экспресс уходит на фиорд
По вторникам в двадцать четыре.
Торопится приезжий лорд
Увидеть вновь морские шири.
Сияижа нет лучше в мире,
Но все же надо в Ливерпуль...
Когда нас ждут счета и гири,
Нас мало трогает июль...

Гимнастикой своею горд,
Все струны на душевной лире
Давно порвав, стремится в порт
Культурный лорд, и на "Вампире"
В кают-компаньевом empire'е,
Плывет на родину. "Буль-буль",
Журчит волна вином на пире;
Ее не трогает июль.

Смотря, как бьет волна о борт,
О паюсной икре, о сыре
Мечтает лорд и — что за черт! —
Об ананасовом пломбире...
Как рыцарь даме на турнире,
Кивает нежно банке муль,
Но в небе, в золотой порфире,
Его не трогает июль...

Спит солнце в моревом имбире;
Уже к земле направлен руль;
Лишь дома, в горничной Эльвире,
Милорда трогает июль...

1917. Февраль.
Харьков

Кэнзель III

Яхта Ингрид из розовых досок груш
комфортабельна,
Ренессансно отделана и шелками, и бронзою.
Безобидная внешностью, артиллерией грозная,
Стрельчатая — как ласточка, как порыв —
монстриозная,
Просто вилла плавучая, но постройки
корабельной.

Королева название ей дала поэтичное:
"Звон весеннего ландыша", — правда,
чуть элегичное?
Яхта Ингрид из розовых досок груш
комфортабельна
И эффектна при месяце, если волны коричневы
С темно-крэмной каемкою, лучиками
ограбельной.
Если небо затучено, и титаново-сабельный
Путь сапфирно-излуненный обозначится
на море,
Яхта вплавь снаряжается, и, в щебечущем
юморе,
Королева готовится к путешествию по морю
В быстрой яхте из розовых досок груш,
комфортабельной.

1916. Сентябрь.
Им. "Бельск"

Кэнзель IV

В ее будуаре так много нарциссов,
Китайских фонариков радуга светов
И ярких маркизов, и юных поэтов,
Сплетающих Ингрид гирлянды сонетов,
И аплодисментов, и пауз, и бисов!
И знойных мечтаний, и чувств упоенных,
Желаний фривольных и фраз окрыленных
В ее будуаре, в лученьи нарциссов,
Так много, так много... И взглядов влюбленных
Весенних поэтов и пылких маркизов.

И фрейлина царья, принцесса Эльисса,
Жене моей как-то в интимной беседе
Поведала нечто о знатной милэди
И пылко влюбленном в нее правоведе,
Но то... в будуаре, где много нарциссов.

1916. Август.
Им. "Бельск"

Кэнзель V

Федору Сологубу

Однажды приехала к Ингрид Ортруда
С Танкредом и Афрой на легком корвете.
В те дни беззаботно дышалось на свете.
Войной европейской пугались лишь дети,
Итак, на корвете из дали Оттуда.

Представила гостья царице Танкреда,
Чье имя для женщин звучало — победа. —
Зачем же приехала к Ингрид Ортруда?
Да так: отдохнуть от интриг, как от бреда,
Взять моря и соли его изумруда.

О, чудное диво! О, дивное чудо! —
Миррэлия сходна с ее островами!
Она ей рассказана странными снами!
"Вы с нами", сказалось. Ответили: "С Вами"...
Так вот как приехала к Ингрид Ортруда!

1916. Август.
Им. "Бельск"

Кэнзель VI

Ингрид бродит мечтанно над рекою форелью.
Так лимоново небо! гоноболь так лилов!
Чем безудержней грезы, тем ничтожней улов.
За олесенным кряжем глухи трубы ослов.
Перетрелиться ветер любит с нежной свирелью.

Все здесь северно-блекло. Все здесь
красочно-южно.
Здесь лианы к березам приникают окружно.
Ингрид видит победно: за рекою форелью
Плодоносные горы встали головокружно,
Где ольха с тамариндом, где банан рядом
с елью.

Одновременно место и тоске, и веселью!
Одновременно север и тропический юг!
Одновременно музыка самума и вьюг!
Упоенно впивая очарованный круг,
Ингрид плачет экстазно над рекою форелью.

1917. Февраль.
Харьков

Кэнзель VII

Какая в сердце печаль!..
Никто, никто не идет...
Душа уже не цветет...
Весна уже не поет...
Уже никого не жаль...

Заплакать — ни капли слез...
Загрезить — ни грозди грез...
О, злая сердца печаль!
Стынет в устах вопрос...
Снежеет, ледеет даль...

Июль это или февраль?
Ночь или яркий день?
Цветнет ли опять сирень?
Думать об этом лень:
Немая в сердце печаль...

1917. Февраль.
Харьков

Кэнзель VIII

Букет незабудок был брошен небрежно
На письменном розовом дамском столе...
Покинуто было хозяйкой шалэ,
И солнце блистало в оконном стекле
Прощально и нежно.

У окон гостиной сох горько миндаль.
Эльгриной, уплывшей в исканную даль,
Букет незабудок был брошен небрежно
В ее кабинете; в гостиной рояль
Вздыхал так элежно...

Струнец благородный, он слушал прилежно,
Как плакал букет бирюзовых цветов,
И вторить букету рояль был готов,
И клавишил — это ль не песня без слов? —
"Был брошен небрежно"...

1917. Февраль.
Харьков

Кэнзель IX

Уже в жасмине трелят соловьи,
Уже журчат лобзания в жасмине,
И фимиамы курятся богине,
И пишут вновь в весеневом кармине
Уста твои!

Уста твои — чаруйные новеллы!
Душист их пыл, и всплески их так смелы,
И так в жасмине трелят соловьи,
Что поцелуй вальсом из — "Миррэлы"
Скользят крови.

На! одурмань! измучай! упои!
Испчёль, исжаль кипящими устами!
Да взветрит над жасминными кустами
Царица Страсть бушующее знамя,
Пока в жасмине трелят соловьи!

1917. Февраль.
Харьков

Кэнзель X

Я — Сольвейг полярная, блондинка печальная,
С глазами газельими, слегка удивленными,
Во все неземное безумно влюбленными,
Земным оскорбленными, земным уязвленными...
В устах — окрыленная улыбка коральная.

Приди же, мой ласковый, любовью волнуемый!
Приди, мною грежемый, душою взыскуемый!
Я, Сольвейг полярная, блондинка печальная,
Привечу, далекого, прильну поцелуйно,
Вопью в гостя милого уста свои жальные!

Так сбудься ж, несбывная мечта моя дальняя!
Блесни, упоение, хотя б мимолётное, —
Мое бирюзовое! мое беззаботное!
К бесплотному юноше льнет дева бесплотная —
Я — Сольвейг полярная, блондинка печальная!

1917. Февраль.
Харьков

Ингрид и молодежь

На улицах светлого города
Со свитою и с королем
И просто, и вместе с тем гордо,
Встречается Ингрид пешком.
И с нею друзья неизменные —
Курсистки, студенты, военные.

Всем очень легко, очень весело,
Смущенье навеки исчезло,
Идет, под бряцание шпор,
Свободный и вежливый спор;
Но в тоне к Ее Светозарности
Не слышно у них фамильярности.

Бывают на выставках, в опере,
То все отправляются к кобре
И кормят ручную змею,
Сливаясь в большую семью.
И губы искусаны до крови
В каком-нибудь кинематографе.

А то на вечёрках студенчества
Царица, впадая в младенчество,
Принявши ребяческий вид,
Шалит, неунятно шалит!
Тогда берегись, философия:
Ты всех приведешь к катастрофе!..

Заходит ко всем она запросто,
Пьет чай, помогает всем часто,
Готовая снять с себя брошь, —
И ценит ее молодежь.
Пред царскою кофточкой ситцевой
Трепещет одна лишь полиция!..

1916. Сентябрь.
Им. "Бельск"

Любопытство Эклерезиты

— Мама, милая мамочка,
Скоро ль будет война?
— Что с тобой, моя девочка?
Может быть, ты больна?

— Все соседи сражаются,
Не воюем лишь мы.
— Но у нас, слава Господу,
Все здоровы умы.

— Почему нас не трогают?
Не пленят почему?
— Потому что Миррэлия
Не видна никому...

— Почему ж наша родина
Никому не видна?
— Потому что вселенная
Нам с тобой не нужна...

— Мама, милая мамочка,
Плачет сердце мое...
— Различай, моя девочка,
От чужого — свое...

— Ну, а что окружает нас?
Кто ближайший сосед?
— Кроме звезд и Миррэлии,
Ничего в мире нет!

1916. Сентябрь.
Им. "Бельск"

Секстина мудрой королевы (III)

Не вовлечет никто меня в войну:
Моя страна для радости народа.
Я свято чту и свет, и тишину.
Мой лучший друг — страны моей свобода.
И в красный цвет зеленую весну
Не превращу, любя тебя, природа!

Ответь же мне, любимая природа,
Ты слышала ль про красную войну?
И разве ты отдашь свою весну,
Сотканную для радости народа,
Рабыне смерти, ты, чей герб — свобода,
И в красную войдешь ли тишину?
Я не устану славить тишину,
Не смерти тишину, — твою, природа, —
Спокойной жизни. Гордая свобода
Моей страны пускай клеймит войну,
И пусть сердца свободного народа
Впивают жизнь — цветущую весну.

Прочувствовать и оберечь весну,
Ее полей святую тишину —
Счастливый долг счастливого народа.
Ему за то признательна природа,
Клеймящая позорную войну,
И бережет такой народ свобода.

Прекрасная и мудрая свобода!
Быть может, ты взлелеяла весну?
Быть может, ты впустила тишину?
Быть может, ты отторгнула войну?
И не тобой ли дивная природа
Дарована для доброго народа?

Для многолетья доброго народа,
Для управленья твоего, свобода,
Для процветанья твоего, природа,
Я, королева, воспою весну,
Ее сирень и блеск, и тишину,
И свой народ не вовлеку в войну!

1916. Август.
Им. "Бельск"

II. Поврага

Поврага

У вдавленного в лес оврага,
Стремясь всем головы вскружить,
Живет неведная поврага,
Живет, чтобы живя, вражить.

То шлет автомобильной шине
Пустобутыльное стекло,
То ночь, подвластную вражине,
Нажить снежино наголо.

То заблуждает сердце девье
И — заблужденная — блудит,
То валит вялые деревья.
И — ворожбовая — вражит...

Сраженная вражиней Драга
Вздрожала дрогло в дряблой мгле...
Пока божит, вража, поврага,
Не будет дружно на земле...

Петроград.
Январь. 1916 г.

18 февраля 1915 года

Девятьсот пятнадцатого года
Восемнадцатого февраля,
Днем была пригожая погода,
К вечеру овьюжилась земля.

Я сидел в ликеровой истоме,
И была истома так пошла...
Ты вошла, как женщина, в мой номер,
Как виденье, в душу мне вошла...

Тихий стук, и вот — я знаю, знаю,
Кто войдет! — входи же поскорей!
Жду, зову, люблю и принимаю!
О, Мечта в раскрылии дверей!..

О, Любовь! Тебе моя свобода
И тебе величье короля
С восемнадцатого февраля
Девятьсот пятнадцатого года!..

Москва.
Февраль. 1916 г.

О, горе сердцу!

Ты вся на море! ты вся на юге! и даже южно
Глаза сияют. Ты вся чужая. Ты вся полет.
О, горе сердцу! — мы неразлучны с тобою год.
Как это странно! как это больно! и как ненужно!

Ты побледнела, ты исхудала: в изнеможеньи
Ты вся на море, ты вся на юге! ты вся вдали.
О, горе сердцу! — мы год, как хворост,
шутя, сожгли.
И расстаемся: я — с нежной скорбью,
ты — в раздраженьи.

Ты осудила меня за мягкость и за
сердечность, —
За состраданье к той неудачной, забытой
мной, —
О, горе сердцу! — кого я наспех назвал родной...
Но кто виною? — моя порывность!
моя беспечность!

Моя порывность! моя беспечность! да, вы —
виною,
Как ты, о юность! ты, опьяненность!
ты, звон в крови!
И жажда женской чаруйной ласки! и зов любви!
О, горе сердцу — ведь так сменялись весна
весною...

Сирень — сиренью... И с новым маем, и с новой
листью
Все весенело, сверкало, пело в душе опять.
Я верил в счастье, я верил в женщин, —
четыре, пять,
Семь и двенадцать встречая весен, весь —
бескорыстье!

О, бескорыстье весенней веры в такую встречу,
Чтоб расставаться не надо было, — в тебе ль
не зло?
О, горе сердцу! — двенадцать женщин судьбой
смело!
Я так растерян, я так измучен, так искалечен...

Но боль за болью и за утратой еще утрата:
Тебя теряю, свою волшебку, свою мечту...
Ты вся на море, ты вся на юге, вся налету...
О, горе сердцу! И за ошибки ему расплата...

Петроград.
17 февраля 1916 г.

Поэза странностей жизни

Авг. Дм. Барановой

Встречаются, чтоб разлучаться...
Влюбляются, чтоб разлюбить...
Мне хочется расхохотаться
И разрыдаться — и не жить!

Клянуться, чтоб нарушить клятвы...
Мечтают, чтоб клянуть мечты...
О, скорбь тому, кому понятны
Все наслаждения Тщеты!..

В деревне хочется столицы...
В столице хочется глуши...
И всюду человечьи лица
Без человеческой души...

Как часто красота уродна,
И есть в уродстве красота...
Как часто низость благородна,
И злы невинные уста.

Так как же не расхохотаться,
Не разрыдаться, как же жить,
Когда возможно расставаться,
Когда возможно разлюбить?!..

Москва.
Февраль. 1916 г.

Бывают такие мгновенья...

Бывают такие мгновенья,
Когда тишины и забвенья, —
Да, лишь тишины и забвенья, —
И просит, и молит душа...

Когда все людские тревоги,
Когда все земные дороги
И Бог, и волненья о Боге
Душе безразлично-чужды...

Не знаю, быть может, усталость,
Быть может, к прошедшему жалость, —
Не знаю — но, зяблое, сжалось.
Печальное сердце мое...

И то, что вчера волновало,
Томило, влекло, чаровало,
Сегодня так жалко, так мало
В пустыне цветущей души...

Но только упьешься мгновенной
Усладой, такою забвенной,
Откуда-то веет вервэной,
Излученной и моревой...

И снова свежо и солено,
И снова в деревьях зелено,
И снова легко и влюбленно
В познавшей забвенье душе!..

Гатчина.
19 апреля 1916 г.

Поэза сиреневой мордочки

Твоя сиреневая мордочка
Заулыбалась мне остро.
Как по тебе тоскует жердочка,
Куренок, рябчатый пестро!..

Как васильковы и люнелевы
Твои лошадии глаза!
Как щеки девственно-апрелевы!
Тебя Ифрит мне указал!..

И вся ты, вся, такая зыбкая,
Такая хрупкая, — о вся! —
Мне говоришь своей улыбкою,
Что есть сирень, а в ней — оса...

Харьков.
4 мая 1916 г.

Поэза северного озера

В двенадцати верстах от Луги,
В лесу сосновом, на песке,
В любимом обществе подруги
Живу в чарующей тоске...

Среди озер, берез и елок
И сосен мачтовых среди,
Бежит извилистый проселок,
Шум оставляя позади.

Я не люблю дорог шоссейных:
На них — харчевни и обоз.
Я жить привык в сквозных, в кисейных
Лесах, где — колыбели грез.

В просторном доме, в десять комнат,
Простой, мещанистый уют,
Среди которого укромно
Дни северлетние текут.

Дом на горе, а в котловине,
Как грандиозное яйцо,

Блистает озеро сталь-сине,
И в нем — любимое лицо!

С ольховой удочкой, в дырявой
И утлой лодке, на корме,
Ты — нежный отдых мой от славы,
Который я найти сумел...

То в аметистовом, то в белом,
То в бронзовом, то в голубом,
Ты бродишь в парке запустелом
И песней оживляешь дом.

На дне озерном бродят раки
И плоскотелые лещи.
Но берегись в зеленом мраке:
Медведи, змеи и клещи!

А вечерами крыломыши
Лавируют среди берез,
И барабанит дождь по крыше,
Как громоносный Берлиоз.

Да, много в жизни деревенской
Несносных и противных "но",
Но то, о чем твердит Каменский,
Решительно исключено...

Здесь некому плести интриги
И некому копать здесь ям...
Ни до Вердэна, ни до Риги
Нет дела никакого нам...

Здесь царство в некотором роде,
И оттого, что я — поэт,
Я кровью чужд людской породе
И свято чту нейтралитет...

Им. "Бельск".
Конец июля 1916 г.

Опечаленная поэза

Не вечно мне гореть. Не вечно мне пылать.
И я могу стареть. И я могу устать.
Чем больше пламени в моем давно бывалом,
Тем меньше впереди огня во мне, усталом.

Но все-таки, пока во мне играет кровь,
Хоть изредка, могу надеяться я вновь
Зажечься, засиять и устремиться к маю...
Я все еще живу. Я все еще пылаю.

Гатчина.
8 декабря 1916 г.

Музей моей весны

О, милый, тихий городок,
Мой старый верный друг,
Я изменить тебе не мог
И, убежав от всех тревог,
В тебя въезжаю вдруг!

Ах, не в тебе ль цвела сирень,
Сирень весны моей?
Не твой ли — ах! — весенний день
Взбурлил во мне "Весенний день",
Чей стих — весны ясней?

И не окрестности твои ль,
Что спят в березняке,
И солнцесвет, и лунопыль
Моих стихов сковали стиль,
Гремящих вдалеке?

И не в тебе ли первый раз
Моя вспылала кровь?
Непредназначенных мне глаз, —
Ах, не в тебе ль, — я пил экстаз
И думал: "Вот любовь!"

О, первый мой самообман,
Мне причинивший боль,
Ты испарился, как туман,
Но ты недаром мне был дан:
В тебе была эоль!

И только много лет спустя,
Ошибок ряд познав,
Я встретил женщину — дитя
С таким неотразимым "я",
Что полюбить был прав.

Да, не заехать я не мог
Теперь, когда ясны
Мои улыбки, в твой шатрок,
Мой милый, тихий городок, —
Музей моей весны!..

Гатчина.
19 апр. 1916 г.

Поэза Дмитрию Дорину

Я перечитываю снова
Твои стихи, — и в ореол
Давно угасшего Былого
Взлетел "Тоскующий Орел"!

Ах, чувствам нет определенья...
Чего до слез, до муки жаль?
Какое странное волненье!
Какая странная печаль!

Твои стихи! — они мне милы!
На редкость дороги они!
Моя известность не затмила
Того, что помним мы одни!

И если не совсем умелы
Твои смущенные стихи,
Что мне до этого за дело,
Раз сердцу моему близки?!..

Ведь в них и Фофанов, и Пудость,
Твоей застенчивости "аль",
И вешних лет святая скудость,
Которую-то мне и жаль...

Пусть мой порыв нелеп и вздорен, —
Я не стыжусь его; я рад,
Что где-то жив мой грустный Дорин,
Меня волнующий собрат!

Гатчина.
9 ноября 1916 г.

Гастрономы древности

Лукулл, Октавий, Поллион,
Апиций, Клавдий — гастрономы!
Ваш гурманический закон:
Устроить пир, вспенить ритон
И уедаться до истомы.

Прославленный архимагир,
Одетый чуть не в латиклаву,
Причудами еды весь мир
Дивил, и рокотанье лир
Отметило его по праву.

Не раз в шелках имплувиат,
Закутав головы кукулем,
К Лукуллу толпы шли мэнад.
Пить выгрозденный виноград,
Соперничающий с июлем.

Из терм Агриппы сам Нерон,
Искавший упоенья в литре,
Шел к гастрономам снить свой сон,
И не Нероном ли пронзен
Пронзающий его Димитрий?

И не на этих ли пирах
Тот, кто рожден с душой орлиной, —
Пизон, Петроний, — пал во прах,
Сраженный той, чье имя — страх:
Статилиею — Мессалиной?

Гатчина.
15 октября 1916 г.

Рифмодиссо

Вдали, в долине, играют Грига.
В игранья Грига такая нега.
Вуалит негой фиордов сага.
Мир хочет мира, мир ищет Бога.
О, сталь поляра! о, рыхлость юга!

Пук белых молний взметнула вьюга,
Со снежным полем слилась дорога,
Я слышу поступь мороза — мага;
Он весь из вьюги, он весь из снега.
В мотивах Грига — бессмертье мига.

Гатчина.
Ноябрь 1916 г.

Миньонет

О, мечта бархатисто-фиолевая,
Ты, фиалка моя,
Расцветаешь, меня окороливая,
Аромат свой лия...

Нежно теплится в сердце эолевая
Синих вздохов струя,
О, мечта бархатисто-фиолевая,
Ты, фиалка моя!

Гатчина.
8 декабря 1916 г.

Белая фиалка

Когда вы едете к деревне
Из сквозь пропыленной Москвы,
Уподобляетесь царевне
Веков минувших тотчас Вы.

К фиалкам белым зная ревность,
Берете страстно их в букет,
Оправдываете царевность
Отлеченных когда-то лет.

И может быть — кто смеет спорить? —
Способна, нежно-хороша,
Злой папоротник разузорить
Фиалки белая душа?

Ни шоколадных, ни лиловых, —
Лишь белые берете Вы...
Не в поезде, не на почтовых, —
На крыльях надо из Москвы...

Гатчина.
26 декабря 1916 г.

Осенняя поэза

Уже деревья скелетеют...
Балькис Савская

Уже деревья скелетеют
И румянеют, и желтеют;
Уж лето бросило поля,
Их зелень златом опаля.

Уж ветки стали, как дубины;
Уже заежились рябины;
И поморозили грибы
В сухой листве свои горбы.

Уже затинились озера;
И мирового фантазера
Мечты отусклены уже,
Уже печаль в земной душе.

Им. "Бельск".
7 сентября 1916 г.

Поэза лунных настроений

Как в сказке... Как в сказке!.. Луна голубеет...
Луна серебреет...
Прозрачная тишь...
Как в сказке... Как в сказке!.. Луна голубеет...
И лес скелетеет...
Зачем ты молчишь?..
Как в сказке... Как в сказке!.. Луна голубеет...
Не дышит, не веет
Озерный камыш...
Как в сказке... Как в сказке!.. Луна голубеет...
Поля осенеют...
О чем ты грустишь?
Как в сказке... Как в сказке!.. Луна голубеет...
И в луни светлеет
Изгорбленность крыш...
Как в сказке... Как в сказке!.. Луна голубеет...
И лик твой бледнеет...
Что в сердце таишь?..
Как в сказке... Как в сказке!.. Луна голубеет...
Подняться не смеет
Летучая мышь...
Как в сказке... Как в сказке!.. Луна голубеет...
Мне хочется ласки!..
Откликнись! Пойми ж!

Им. "Бельск".
3 сентября 1916 г.

Поэза октябрьского полдня

С крыш падая, тают брильянтики,
И солнце осталило стекла,
Сирень еще держит листву...
Мороз закрутил ее в бантики,
Но к полдню, — двенадцати около, —
Разъежась, глядит в синеву.

Подстрижены к маю акации,
И коврики тлеют листовые,
Их тоны темнеют, увяв...
Ветшают к зиме декорации
Природы, чтоб в дни лепестковые
Облечься в фантазную явь...

Гатчина.
15 октября 1916 г.

Поэза стыдящимся молодости

Куда вы отдаете силы?
Вы только вдумайтесь — куда!
И разве вам уже не милы
И лес, и поле, и вода?

И разве вам уже не любы
Восторги кисти и стиха?
И целовать любимых в губы —
Да разве это от греха?

И разве ничего не нужно
Для вашей юности, друзья?
Как слабы вы! как мало — дружны!
Над вами властвует Нельзя.

И вам не больно? не обидно?
Вы покоряетесь? — чему? —
Своей же робости постыдной
И малодушью своему!

Вы в заблужденьи! Пусть исправить
Ошибки сердце повелит.
Одна ведь молодость! Одна ведь!
И лишь ее стыдиться — стыд!

Гатчина.
Ноябрь 1916 г.

Зайчьи моноложки

1

Что в мыслях не таи,
Сомненьями терзаемый,
Хозяева мои —
Предобрые хозяева:
Горячим молоком
Животик мне распарили —
И знаете? — при том
Ни разу не зажарили!..

Им. "Бельск".
15 сентября 1916 г.

2

— "Похож ты на ежа
И чуточку на вальдшнепа",
Сказала, вся дрожа,
Собака генеральшина:

— "Случалось мне тайком
Вам, зайцам, хвост обгрызывать"...
И наглым языком
Рот стала свой облизывать...

Им. "Бельск".
Сент. 1916 г.

3

Вчера сибирский кот
Его Высокородия
Вдруг стибрил антрекот
(Такое уж отродие!..)
Сказал хозяйский сын:
— "Бери примеры с заиньки",
И дал мне апельсин
Мой покровитель маленький.

Им. "Бельск".
Сент. 1916 г.

4

Зачем-то нас зовут
Всегда каким-то трусиком,
А сами нас жуют,
Смешно виляя усиком...
Ужели храбрость в том,
Чтоб вдруг на нас обрушиться
С собакой и с ружьем,
Зажарить и накушаться?..

Им. "Бельск".
Сент. 1916 г.

Песенка о зайце

Я впивала аромат
В молодых сиренях.
Заяц кушал виноград
На моих коленях.
Я подшеила ему
Золотой бубенчик.
Стал мой заяц потому
Вылитый оленчик.

Им. "Бельск".
Сент. 1916 г.

Триолеты о зайце

1

Наш заяц, точно Передонов, —
Перед отъездом рвет обои.
Смеясь, решили мы с тобою:
Наш заяц — точно Передонов!
В них поруганье роковое
Цивилизации законов...
Наш заяц, точно Передонов,
С остервененьем рвет обои...

Им. "Бельск".
8 сент. 1916 г.

2

Ликует тело заячье:
По горло молока!
Свобода далека,
Но сыто тело заячье.
Живет он припеваючи
И смотрит свысока.
В неволе тело заячье,
Но вволю молока!

Им. "Бельск".
8 сент. 1916 г.

Гирлянда триолетов

1

Печальное и голубое,
Ах, вам мой грёзовый поклон!
Подумать только — все былое:
Печальное и голубое.
Я в прошлое свое влюблен,
Когда все было молодое...
Печальное и голубое,
Ах, вам мой грёзовый поклон!

2

Ах, вам мой грёзовый поклон!
Тебе, сирень, ледок во зное,
Тебе, жасмин, душистый сон, —
Тебе мой грёзовый поклон!
Тебе, бывалое иное,
Тебе, весенний унисон,
Тебе мой грёзовый поклон,
Моя сирень, ледок во зное!..

3

Моя сирень, ледок во зное,
И ты, гусинолапый клен!
Покойтесь мирно! Спи в покое,
Моя сирень, ледок во зное!
Я равнодушно утомлен,
Тревожим смутною тоскою:
Была сирень — ледок во зное...
Был он — румянолапый клен...

4

Печальное и голубое
Хранит гусинолистый клен;
Скрывает он своей листвою
Печальное и голубое.
Тайн никому не выдаст он:
Ведь в нем молчание благое.
Печальное и голубое
Таит румянолистый клен.

5

Таит гусинолапый клен
Вам чуждое, нам с ним родное.
Охраной тайны опален,
Зардел гусинолистый клен.
Молчание его святое.
И, даже под бурана стон,
Таит, — ладонь в пять пальцев, — клен.
Вам чуждое, нам с ним — родное.

6

Вам чуждое, нам с ним родное
Постигнет кто? Лишь небосклон
Губерний северных. Мечтою,
Вам чуждою, нам с ним родною,
Из нас с ним каждый упоен,
И в этом — наше роковое...
Вам чуждое, нам с ним родное,
Постигнет кто? Лишь небосклон.

7

Печальное и голубое,
Ах, вам мой грёзовый поклон!
О, ласковое ты и злое,
Печальное и голубое!
И я на севере рожден
С печально-голубой душою.
Печальное и голубое,
Ах, вам мой грёзовый поклон!

8

Ах, вам мой грёзовый поклон,
Печальное и голубое.
Вас обвивающий змеею,
Ах, вам мой грезовый поклон!
На миг минувшим осенен,
Я сознаю: в нем все пустое.
Но вам мой грёзовый поклон,
Печальное и голубое!

9

Печальное и голубое!
Ах, вам мой грезовый поклон!
Моя сирень — ледок во зное —
Печальное и голубое.
Хранит гусинолапый клен
Вам чуждое, нам с ним родное.
Печальное и голубое,
Ах, вам мой грезовый поклон!

Гатчина.
Декабрь 1916 г.

Поэза о поэтессах

Как мало поэтесс! как много стихотворок!
О, где дни Жадовской? где дни Растопчиной?
Дни Мирры Лохвицкой, чей образ сердцу дорог,
Стих гармонический и веющий весной?

О, сколько пламени, о, сколько вдохновенья
В их светлых творчествах вы жадно обрели!
Какие дивные вы ведали волненья!
Как окрылялись вы, бескрылые Земли!

С какою нежностью читая их поэзы
(Иль, как говаривали прадеды: стихи...),
Вы на свиданья шли, и грезового Грэза
Головки отражал озерный малахит...

Вы были женственны и женско-героичны,
Царица делалась рабынею любви.
Да, были женственны и значит — поэтичны,
И вашу память я готов благословить...

А вся беспомощность, святая деликатность,
Готовность жертвовать для мужа и детей!

Не в том ли, милые, вся ваша беззакатность?
Не в том ли, нежные, вся прелесть ваших дней?

Я сам за равенство, я сам за равноправье, —
Но... дама-инженер? но... дама-адвокат?
Здесь в славе женщины — неясное бесславье
И скорбь отчаянья: Наивному закат...

Во имя прошлого, во имя Сказки Дома,
Во имя Музыки, и Кисти и Стиха,
Не все, о женщины, цепляйтесь за дипломы, —
Хоть сотню "глупеньких": от "умных" жизнь суха!

Мельчает крупное. Кто — прошлому соперник?
Где просто женщина? где женщина — поэт?
Да, только Гиппиус и Щепкина-Куперник.
Поэт лишь первая; вторая — мир и свет...

Есть... есть Ахматова, Моравская, Столица...
Но не довольно ли? как "нет" звучит здесь "есть"...
Какая мелочность! И как безлики лица!
И модно их иметь, но нужно их прочесть.

Их много, пишущих: их дюжина, их сорок!
Их сотни! тысячи! Но кто из них поэт?
Как мало поэтесс! Как много стихотворок!
И Мирры Лохвицкой среди живущих — нет!

Им. "Бельск".
23 августа 1916 г.

На смерть Верхарена

Вновь, Бельгия, невинностью твоей
Играет ритм чудовищного танца:
Лишилась и великого фламандца,
Лишенная свободы и полей.

И что тебе, страдалица, милей:
Твоя ли участь жертвенного агнца?
Иль розы возмущенного румянца?
Иль он, поэт, как некий солнцелей?

Все дорого: и почва, и Верхарен.
Твой скорбный взор страданьем светозарен.
Твой гордый дух насильем уязвлен!

Но вот что для меня непостижимо:
Зачем же он, Культура кем любима,
Ее певец — Культурой умерщвлен?!

Гатчина.
16 ноября 1916 г.

Койт и Эмарик

(Эстляндская легенда о белых ночах)

Алексею Масаинову

1

Койт, зажигатель солнца, и Эмарик, гасунья,
Встретились перед ночью в небе, весной золотом:
Встречею чаровались. Койт запылал: "Чарунья"...
А Эмарик сказала: "Счастье — в тебе молодом".
И позабыла махнуть рукавом,
И не подула на солнце июнье,
И ослепило оно новолунье
Победоносным лучом.

2

Бог, Вседержитель неба, Солнечный Вседержитель,
Сам себя сотворивший, Койта и с ним Эмарик,
Бог разразился гневом: "Дерзостные, дрожите, —
План мой нарушить смели, оцепенившие миг".
В небе раздался испуганный крик:
То растерялись и Койт — небожитель,
И Эмарик, распустившая нити
Льняных волос на свой лик.

3

Но пережив мгновенье, пламенным чувством смелы,
Прав своей любовью, искренностью осмелев,
Койт с Эмарик вскричали: "Мы перед Тобою белы!
Мы перед Тобой невинны! Твой непонятен гнев".
И Эмарик, от тоски побледнев,
Облако в руки взяла и запела,
Пела о чувстве своем и бледнела
Бледностью девственных дев...

4

Он справедлив, Премудрый! Бог остается Богом!
Светлое возмущенье может судью восхитить!
Месть пробуждает правда только в одном убогом.
Бог же всегда был Богом, пламя готовым простить!
И даровал Он им право — любить,
В вешние ночи скрещаться дорогам,
Разным путям их, и в этом немногом —
Счастье уметь находить!

1916 г. Апрель. 19.
Гатчина

Бесстрастие достижения

Назад два года наша встреча
Не принесла любви твоей:
Ты отвечала мне, переча,
Чужому из чужих людей...

Я полюбил тебя поэтно:
Самозабвенно, в первый миг
Пусть не была любовь ответна,
Я не поблек, я не поник.

Но выдержкою и терпеньем,
Но верою в любовь свою,
Но пламенным тебя воспеньем
Достиг, что говоришь: "Люблю".

И в каждом слове, в каждом жесте,
И в каждом взгляде на меня
Читаю: "Мы два года вместе —
Из часа в час, в день изо дня".

О, я уверен был, что это
Когда-нибудь произойдет,
Что чувство чистое поэта
В тебе ответное найдет!

Но отчего ж не торжествую
Своей победы над тобой?
Тебя я больше не ревную
И не молю: "Живи со мной!"

Не потому, чтоб разлюбилось,
Не потому, чтоб я остыл; —
Но сердце слишком быстро билось, —
И я усталость ощутил!..

Восторг — в безумстве! счастье — в бреде!
В лиловой лжи весенних дней!
Бесстрастно радуюсь победе,
Не зная, что мне делать с ней!..

1917. Январь, 2.
Гатчина

Мне плакать хочется...

Мне плакать хочется о том, чего не будет,
Но что, казалось бы, свободно быть могло...
Мне плакать хочется о невозможном чуде,
В твои, Несбывная, глаза смотря светло...

Мне плакать хочется о празднике вселенском,
Где Справедливость облачается в виссон...
Мне плакать хочется о чем-то деревенском,
Таком болезненном, как белый майский сон...

Мне плакать хочется о чем-то многом, многом
Неудержимо, безнадежно, горячо
О нелюбимом, о бесправном, о безногом,
Но большей частью — ни о ком и ни о чем...

1917. Январь, 13.
Гатчина

Кавказская рондель

Январский воздух на Кавказе
Повеял северным апрелем.
Моя любимая, разделим
Свою любовь, как розы — в вазе...
Ты чувствуешь, как в этой фразе
Насыщены все звуки хмелем?
Январский воздух на Кавказе
Повеял северным апрелем.

Поэза Южину

На мотив Виктора Гофмана

Весеннее! весеннее! как много в этом слове!
Вы, одуванчики, жасмины и сирень!
Глаза твои, глаза! они как бы лиловей,
Они сиреневей в весенний этот день!

Любимая! любимая! как много в этом звуке!
Уста улыбные и синева ресниц...
Уста твои, уста! о что же в них за муки,
Святая из святых! блудница из блудниц!

Люблю тебя, люблю тебя! и буду вечно — вечно
Любить тебя, моя! все вылилось в моей...
О, как же ты добра, прекрасна и сердечна,
Мой Южик! мой бокал! поэзосоловей!

1917. Январь, 27.
Тифлис

Поэза белой сирени

Белой ночью в белые сирени,
Призраком возникшие, приди,
И целуй и нежь, и на груди
Дай упиться сонмом упоений...
И целуй, и нежь, и утруди...

Белой ночью белые приветы...
Ласк больных весенних полусны...
И любовь, и веянье весны...
Полутемени и полусветы...
И любовь... И чувства так лесны...

Эта ночь совсем, совсем живая!
В эту ночь приди ко мне, приди!
И судьбу свою опереди...
А сирень цветет, слегка кивая!
А любовь растет, легко, в груди!

1917. Июнь.
Гатчина

Гатчинский весенний день

Тридцатый год в лицо мне веет
Веселый светлый майский день.
Тридцатый раз сиреневеет
В саду душистая сирень.

"Сирень" и "день"! нет рифм банальней!
Милей и слаще нет зато!
Кто знает рифмы музыкальней
И вдохновенней — знает кто?!..

"Сирень" и "день"! как опьяненно
Звучите вы в душе моей!
Как я на мир смотрю влюбленно,
Пьян сном сиреневых кистей!

Пока я жив, пока я молод,
Я буду вечно петь сирень!
Весенний день горяч и золот, —
Виновных нет в весенний день!

1917, 31 мая.
Гатчина

Поэза разъяснения

Мои стихи не очень вдохновенны
Последний год...
Не вдохновенны оттого, что пленны,
А я все тот...

Я не могу сказать всего, что надо,
Хотя могу...
И чтоб не лгать реально, — вот досада, —
Фантазно лгу.

Да, наших дней волнующая проза —
Больной вопрос...
А потому — Миррэлия — как грёза, —
Взамен всех проз!..

1916. Ноябрь, 9.
Гатчина

Поэза алых туфель

Ало-атласные туфли были поставлены на стол,
Но со стола поднимались и прижимались
к губам.
Создал сапожник-художник, а инженер вами
хвастал:
Ало-атласные туфли глаз щекотали гостям!..

Ало-атласные туфли, вы наподобие гондол,
Помните температуру требовательной ноги?
Ало-атласные туфли, сколько купивший вас
отдал
Разума и капитала — знает один Ибрагим...

Ало-атласные туфли с дымчатым кроличьим
мехом
Грелись кокетно в ладонях и утопали в коврах,
Топали в пламенном гневе, то содрогались
вы смехом,
Вас на подносах носили на вакханальных пирах!

Плавали бурно в шампанском, кушали пряные
трюфели,
Аэропланом взлетали, били мужчин по щекам.
Ало-атласные туфли! ало-атласные туфельки!
Вы, чьи носки к молодежи! чьи каблуки
к старикам!

1917. Октябрь, 15.
Петроград

Гений Лохвицкой

Я Лохвицкую ставлю выше всех:
И Байрона, и Пушкина, и Данта.
Я сам блещу в лучах ее таланта,
Победно обезгрешившего Грех:

Познав ее, познал, что нет ни зла,
Нет ни добра, — есть два противоречья,
Две силы, всех влекущие для встречи,
И обе — свет, душа познать могла.

О, Бог и Черт! из вас ведь каждый прав!
Вы — символы предмирного контраста!
И счастлив тот, о ком заботясь часто,
Вселяется в него, других поправ.

И в ком вас одинаково, тот благ:
Тот знает страсть, блаженство и страданья,
Тот любит жизнь, со смертью ждет свиданья.
И тот велик, как чародей, как маг!

И грех, и добродетель — красота,
Когда их воспринять благоговейно.
Так Лохвицкая просто, беззатейно
Открыла двух богов и два креста.

1912. Июль.
Веймарн

Промельк

И в зле добро, и в добром злоба,
Но нет ни добрых, нет ни злых.
И правы все, и правы оба, —
Их правоту поет мой стих.

И нет ни шведа, ни японца:
Есть всюду только человек,
Который под ненужьем солнца
Живет свой жалкий полувек.

21. Дек. 1917 г.
Петроград

К шестилетию смерти Фофанова

Как это так могло случиться,
Что мог он в мае умереть,
Когда все жаждет возродиться
И соком жизненным кипеть?

Певец весны, певец сирени
И майских фей, и соловьев,
Чьей лиры струны так весенни,
Чей стих журчливее ручьев, —

Как мог он, этот вешнепевец,
Как он сумел, как он посмел
Уйти от плещущих деревьец
И от кипящих маем тел?!..

На скорбь обрёк живых умерший,
На осень он весну обрек.
Что может быть больней и горше,
Чем умолканье вешних строк?

Все не могу я надивиться
И всё дивиться буду впредь:
Как это так могло случиться,
Что мог он в мае умереть?

1917. Июнь.
Мыза "Ивановка"

Россини

Сонет

Отдохновенье мозгу и душе
Для девушек и правнуков поныне...
Оркестровать улыбку Бомарше
Мог только он, эоловый Россини.

Глаза его мелодий ясно — сини,
А их язык понятен в шалаше.
Пусть первенство мотивовых клише
И графу Альмавиве и Розине.

Миг музыки переживет века,
Когда его природа глубока, —
Эпиталамы или панихиды!

Россини — это вкрадчивый апрель.
Идиллия селян "Вильгельма Телль".
Кокетливая трель "Семирамиды".

1917. Октябрь.
Петроград

Поэза бывшему льстецу

Одному из многих

Как Вы могли, как Вы посмели.
Давать болтливый мне совет?
Да Вы в себе ль? да Вы в уме ли?
Зачем мне Ваш "авторитет"?

Вы, мелкий журналист и лектор,
Чья специальность — фельетон,
Как смели взять меня в свой спектор?
Как смели взять свой наглый тон?

Что это: зависть? "порученье"?
Иль просто дурня болтовня?
Ничтожества ли озлобленье
На светозарного меня?

Вы хамски поняли свободу,
Мой бывший льстец, в искусстве тля,
И ныне, соблюдая моду,
Поносите Вы короля!

Прочь! прочь! а ну Вас к Николаю!
"Работайте" на экс-царе!
Я так пишу, как я желаю, —
Нет прозы на моем пере!..

А вы, абориген редакций,
Лакей газетных кулаков,

Член подозрительнейших фракций,
Тип, что "всегда на все готов"...

Вы лишь одна из грязных кочек
В моем пути, — что мне до них?
И лучшая из Ваших строчек —
Все ж хуже худшей из моих!

Не только Ваш апломб пигмея, —
Апломб гигантов я презрел,
И вот на Вас льстеца и змея,
Свой направляю самострел!

Да ослепит Вас день весенний,
И да не знают Вас века!
Вы — лишь посредственность — я гений!
Я Вас не вижу свысока!

1917. Март, 31.
Гатчина

III. Револьверы революции

Гимн Российской Республики

Свобода! Свобода! Свобода!
Свобода везде и во всем!
Свобода на благо народа!
Да радуемся! да живем!

Мы, русские республиканцы, —
Отсталым народам пример!
Пусть флагов пылают румянцы!
Сверкает в руках револьвер!

Победа! Победа! Победа!
Над каждым в Европе царем!
Победа — расплата за деда!
Да радуемся! да живем!

Столетья царями теснимы,
Прозрели в предвешние дни:
Во имя России любимой
Царь свергнут, — и вот мы одни!

Труд, равенство, мир и свобода,
И песня, и кисть со стихом —
Отныне для счастья народа!
Да радуемся! да живем!

1917.
Гатчина — Петроград

Все — как один

Народу русскому дивитесь:
Орлить настал его черед!
Восстал из недр народных витязь
И спас от деспота народ.

Не важно знать — какое имя
Носил народа лучший сын
Не важно знать — он шел какими
Путями к пламени вершин.

Но он пришел, освободитель!
Но он возник! но он восстал!
И голос был: "За мной идите!" —
Не гром ли то прогрохотал?

Все, как один, рванулись люди
За счастьем! за мечтой! за сном!
Все, как одна, вздохнули груди.
Одно — во всех, и все — в одном!

Но незачем идти им стало, —
Свобода к ним из-за угла.
В глазах, как солнце, заблистала
И в душах факелы зажгла.

И улыбнулась им Свобода:
"Все, как один! Вот в чем секрет
Удачи зрелого народа...
Иных путей к свободе нет!"

Благословен да будет витязь,
Воспламенивший всех вперед!
Народу русскому дивитесь:
Пример народам — мой народ!

1917. Март, 5.
Орел

Моему народу[1]

Народ оцарен! царь низложен!
Свободны слово и печать!
Язык остер, как меч без ножен!
Жизнь новую пора начать!

[1] Эта поэза, как и весь отдел третий, восстанавливается автором по памяти в феврале 1919 г. в Тойле. Рукописи оставлены в феврале 1918 г. в Москве у О. Я. Долидце. В поэзе "Моему народу" автор помнит всего 2 первые строфы. (*Примеч. Северянина.*)

Себя царями осознали
Еще вчерашние рабы,
Разбили вздорные скрижали
Веленьем солнечной судьбы.

1917. Март.
Москва

И это — явь?..

И это — явь? не сновиденье?
Не обольстительный обман?
Какое к жизни возрожденье!
Я плачу! я свободой пьян!

Как! неужели все, что в мыслях,
Отныне и на языке?
Никто в Сибирь не смеет выслать?..
Не смеет утопить в реке?

Поверить трудно: вдруг все ложно!
Трепещет страстной мукой стих...
Но невозможное — возможно
В стране возможностей больших!

1917. Март.
Москва

Баллада XII

"Когда отечество в огне,
И нет воды — лей кровь, как воду",
Вот что в укор поставить мне
Придется вольному народу:
Как мог я, любящий свободу,
Поющий грезовый запой,
Сказать абсурд такой в угоду
Порыву гордости слепой?!

Положим, где-то в глубине
Своей души я эту "коду"
Тогда ж отбросив, как во сне,
Пытал и прозревал природу.
И вскоре же обрел я оду
Любви и радости земной,
Проклятью предал я невзгоду
Порыва гордости слепой.

"Стихи в ненастный день" — оне
Вот увертюра к любвероду.
Они возникли в вышине,
Подобные громоотводу.
Не минами грузи подводу,
А книжек кипою цветной,
Лей зрячую, живую воду
На веки гордости слепой!

Проклятье пасмурному году,
Мир зачумившему войной,
И выродившемуся роду
Державной гордости слепой!

1917. Апрель.
Гатчина

Баллада XIII

Не поняты моей страной
"Стихи в ненастный день", три года
Назад написанные мной
Для просветления народа.
В них — радость; счастье и свобода,
И жизнь, и грезы, и сирень!
Они свободны, как природа,
Мои "Стихи в ненастный день"!

Не тронута моей струной
Осталась рабская порода.
Зерно, посеянное в зной,
Не принесло тогда приплода.
Что для морального урода
Призыв к любви? урод — как пень...
Затмила дней ненастных мода
Мои "Стихи в ненастный день".

И только этою весной
Народ, почуяв ледохода
Возможность раннего, волной
Потек, волною вешневода,
Разлился, не оставив брода
Для малодушных, свергнул лень
И осознался. Прочь, невзгода!
Вперед, "Стихи в ненастный день"!

И я, издревле воевода,
Кричу в просторы деревень:
Что как не человеку ода —
Мои "Стихи в ненастный день"?!

1917. Апрель.
Гатчина

Баллада XIV

Должна быть кончена война,
При том — во что бы то ни стало:
Измучилась моя страна,
Нечеловечески устала.
Есть примененье для металла
Гораздо лучше, чем твой брат.
Да свергнут ужас с пьедестала
Министр, рабочий и солдат!

Должна быть вам троим видна
(Иль вам трех лет кровавых мало?)
Смерть, что распутна и жадна,
Зев гаубицы, сталь кинжала.
Из пасти смерти вырвав жало,
Живи, живой, живому рад!
Не я — вам это жизнь сказала,
Министр, рабочий и солдат!

Все, все в крови: вода, луна,
Трава, лампасы генерала.
В крови зеленая весна,
Сменила кровь вино бокала.
Кровь все покрыла, захлестала,
Для крови нет уже преград.
У вас глаза сверкают ало,
Министр, рабочий и солдат!

Взгляните на себя сначала:
Не вами ль создан этот ад?
Долой войну! долой Ваала!
Министр, рабочий и солдат!

1917. Апрель.
Гатчина

Баллада XV

Блюдите фронт, но вместе с тем
Немедленно в переговоры
Вступите с немцами, затем
Надеждой озарите взоры.
Ни вам немецкие позоры,
Ни немцам — русские, — нужны
Тем и другим полей просторы
И ласка любящей жены!

Зачем же ужас вам? зачем
Боль ран и смерть, и все раздоры?
Чем оправдаете вы, чем
Пролитье крови? мертвых хоры
Вас не тревожат? их дозоры
В час полуночной тишины
Не вызывают вас на споры
О слезах любящей жены?

Нет во вселенной лучше тем,
Чем тема: лес, поля и горы.
Кто с этим не согласен — нем.
Кроту милее солнца — норы.
А как пленительны озера,
Бубенчик — ландыш, плеск луны,
Улыбка в небесах Авроры
И взоры любящей жены.

Иль мы, поэты, фантазеры,
И вам в окопах не слышны
Ни наши нежные укоры,
Ни голос любящей жены?..

1917. Апрель.
Гатчина

Баллада XVI

Жизнь человека одного —
Дороже и прекрасней мира.
Биеньем сердца моего
Дрожит воскреснувшая лира.
Во имя заключенья мира,
Во имя жизни торжества
Пускай из злата и сапфира
Пребудут вещие слова!

Да вспыхнет жизни торжество,
И да преломится рапира.
. . . .
От Бергена и до Каира,
От древнеперсидского Кира
И вплоть до человека Льва, —
Светлей счастливого Маира, —
Пребудут вещие слова.

Все для него, все для него, —
От мелкой мошки до тапира, —
Для человека, для того,
Кто мыслит: наподобье пира
Устроить жизнь, и вечно сиро
Живет, как птица, как трава...
Для светозарного эмпира.
Пребудут вещие слова!

Отныне в синеве эфира,
Полны святого волшебства...
И струй благоуханья миро,
Пребудут вещие слова.

1917. Апрель.
Гатчина

Баллада XVII

Вселенец — антипатриот,
Но к человеку человечен:
Над братом он не занесет
Меча, в своем вселенстве вечен.
Он завистью не искалечен,
Не свойственно вселенцу зло.
Он мягок, кроток и сердечен,
И смотрит мудрый взгляд светло.

Я верю: мой родной народ
Вселенством душ давно отмечен,
Я говорю: старинный гнет
Моей страны навек отлечен.
Вознагражден, увековечен
Народ, забыв свое тягло.
Достойно день свободы встречен —
И так надежно, так светло!

Я чувствую: уже грядет
Желанный мир (он обеспечен!)
Вновь немец русскому пожмет,
Как брату, руку, дружно встречен.
И мир, от диких войн излечен,
В музей поставит под стекло
Промозглых патриотов печень —
(Зародыш войн!) смотря светло.

Пошлем привет грядущей встрече
И озарим свое чело:
Вселенцы сходятся на вече,
Чтобы жить и мудро, и светло.

1917. Апрель.
Гатчина

Трагическая поэза

О, что за ужасный кошмар:
Исполненные вольной нови,
Мы не хотим пролитья крови,
Но жаждет крови земный шар!..

Людскою кровью он набух, —
Вот-вот не выдержит и лопнет...
Никто не ахнет и не охнет,
И смерть у всех захватит дух.

Ну что ж! пусть — коли суждено!
Но мне обидно за Россию:
Свободу обретя впервые,
Погибнет с миром заодно...

Хоть "на миру и смерть красна",
Но жизнь-то, жизнь ее в расцвете!
Теперь бы ей и жить на свете,
Когда свободна и ясна.

Что ж, вновь за меч? что ж, вновь в окоп?
Отстаивать свою свободу?
Лить кровь людскую, словно воду,
И, как в постель, ложиться в гроб?!..

Я не могу, не смею я
Давать подобные советы...
Дороже этой всей планеты —
Жизнь неповторная твоя!

А если нет? А если нет,
Как насмеется враг над нами,
Над женами, над матерями!
Тогда на что же нам и свет?..

Но вместе с тем не защищать,
Не рисковать — погибнуть все же.
Что делать нам, о Боже! Боже!
На нас — заклятия печать!

Одна надежда, что солдат
Германский, вдохновляем веком,
Стать пожелавши человеком,
Протянет руку нам, как брат...

Так сбрось последнего царя,
Европа старая, с престола:
Забрезжит с легкостью эола
Над миром мирная заря!

О, как ничтожен человек,
Хотя бы даже гениальный,
Пред мыслью глубоко-печальной
О мертвой жизни всех калек!

1917. Апрель.
Гатчина

Каприз царя

Царь на коне, с похмелья и в дремоте,
И нищая красавица в лесу.
Развратница в забрызганных лохмотьях,
Похожая на рыжую лису...

Смеется царь: "Когда бы были седла!..
Но, может быть, ко мне Вы на седло?"
Бесстыдница расхохоталась подло,
Смотря в глаза вульгарно, но светло:

— У Вашего Величества есть кони,
И если не с собой, то при дворе...
Вы их не пожалейте для погони, —
Тогда мой труп настигнут на заре.

А я... А я ни за какие средства
Не смею сесть в одно седло к царю:
Я — нищая, и я порочна с детства,
И с Вами мне не место, говорю".

Царь запылал, и загремел он: "Падаль!
Как смела ты разинуть рабский зев?"
С коня он слез и — пояснение надо ль?
Царь взял ее, как черт рассвирепев.

Он бил ее, он жег ее нагайкой,
То целовал, то рвал за волоса...
И покраснело солнце над лужайкой,
И, как холопы, хмурились леса.

А нищая, в безумьи от побоев,
Громила трон царя — до хрипоты:
— Моя болезнь взята самим тобою, —
Страдай, дурак: меня не понял ты!

1911.
Село "Дылицы"

Поэза истины

В ничем — ничто. Из ничего вдруг — Что-то.
И это — Бог!
В самосозданьи не дал Он отчета, —
Кому б Он мог?
Он захотел создать Себя и создал,
Собою прав.
Он — Эгоист. И это так же просто,
Как — запах трав.
Бог создал свет, но не узнали люди,
Как создан свет.
И поэтично грезить нам о чуде,
И Бог — поэт!
И люди все — на Божие подобье:
Мы — богодробь.
И если мы подвластны вечной злобе,
Отбросим скорбь:
Не уничтожен Богом падший ангел,
Не умерщвлен.
Он — в женщине, он в бешеном мустанге,
Повсюду он.
Так хочет Бог. Мечты Его пречисты,
И взор лучист.
Природа, Бог и люди — эгоисты:
Я — эгоист!

1912. Лето.
Веймарн

Поэза оправдания

Я — Демон, гений зла! Я Богом пренебрёг!
За дерзостный Мой взлет Бог возгордился
Мною,
Как перлом творчества, как лучшею мечтою,
Венцом своих забот, венцом своих тревог.
Я — Демон, гений зла! Я Богом пренебрёг!

Но Я Его люблю, как любит Он Меня:
Меня ожизнил Бог, экстазом осиянный!
И ныне Я Его приветствую "Осанной"!
Я, Демон, Гений тьмы, пою Поэта дня
И Я Его люблю, как любит Он Меня!

Меня вне Бога нет: Мы двое — Эгобог.
Извечно Мы божим, но нас не понимали.
О, человечество! в надсолнечной эмали
Начертаны слова, как упоенья вздох:
"Нет Бог вне Меня! Мы двое — Эгобог!"

1912. Лето.
Веймарн

Поэза не для печати

Федору Сологубу

Остритесь, ядовые иглы!
Плетись, изысканный тернец!
Мы зрить Антихриста достигли,
Свой оголгофили конец.

Грядет, иллюзно опобеден,
Как некогда Христос, Протест.
И он истражден, чахл и бледен
Жених незачатых невест...

Наш эшафот — не в Палестине
У плодоструйных жирных вод,
А в отелесенной пустыне
В столице Культры эшафот.

Moderne — Голгофа измельчала:
Не три креста, а миллиард.
Но там и здесь — одно начало,
Одно заданье и азарт.

Мы, двойственные изначально,
Растерянно даем вопрос:
"Антихрист, у Христа опальный, —
Не псевдонимный ли Христос?"

1913

Начальники и рядовые!

Начальники и рядовые,
Вы, проливающие кровь,
Да потревожат вас впервые
Всеоправданье и любовь!

О, если бы в душе солдата —
Но каждого! но навсегда! —
Сияла благостно и свято
Всечеловечности звезда!

И если б жизнь — живи! не мешкай! —
Как неотъемлемо — свое
Любил ты истинно, с усмешкой
Ты только гладил бы ружье!

И если б, ты, раб оробелый, —
Но человек! но царь! но бог! —
Души своей, как солнце — белой,
Познать всю непобедность мог!

Тогда сказали бы все дружно:
"Я не хочу — мы не хотим!"
И рассмеялись бы жемчужно
Над повелителем своим!

Кого б тогда он вел к расстрелу?!
Ужели всех? ужели ж всех?!
Вот солнце вышло и запело,
И всюду — звон, и всюду — смех!

О, споры, вы, что неизбежны,
Как хлеб, мы нужно вас жуем.
Солдаты! Люди! Будьте нежны
С незлобивым своим ружьем.

Не разрешайте спора кровью, —
Ведь спор ничем неразрешим.
Всеоправданьем, вселюбовью
Мы никогда не согрешим.

Сверкайте, сабли! стройтесь, ружья! —
Игрушки удалой весны
И мирового златодружья
Легко брящающие сны!

Сверкайте, оголяйтесь, сабли!
Переливайтесь, как ручей!
Но чтобы души не ослабли,
Ни капли крови и ничьей!

А если молодо — безумно,
И если пир, и если май,
Чтоб было весело и шумно,
Бесцельно в небеса стреляй!

1914. Сентябрь.
Мыза "Ивановка"

Газетчики на Юпитере

Первый:

— Экстренное прибавление к "Юпитерскому
Известию":
Антихриста Маринетти на Землю —
планету пришествие!
Лишенье Земли невинности! Кровавое
сумасшествие!
Экстренное прибавление к "Юпитерскому
Известию"!

Второй:

— К "Юпитерскому Известию" экстренное
прибавление:
Разрушенье старинных памятников!
Цивилизаций разгноение, —
Пробужденный инстинкт человечества —
жажда самоистребления...
К "Юпитерскому Известию" экстренное
прибавление!

Третий:

— Экстренное прибавление к "Известию
Юпитерскому" :
Земля, обезумев, как волосы, все сады и леса
свои выдергала...
Статья профессора Марсова: "Апофеоз
вселенского изверга".
Экстренное прибавление к "Известию
Юпитерскому".

Четвертый:

— К "Известию Юпитерскому" прибавление
экстренное:
Поэтов и светлых мыслителей на земле
положение бедственное...

Пятый:

— Еще, еще прибавление, — почти уже
бестекстенное:
Земля провалилась в хаос! Купите, самое
экстренное!

1914

Умалишенная

На днях Земля сошла с ума
И, точно девка площадная,
Скандалит, бьет людей, в дома
Врывается, сама не зная —
Зачем ей эта кутерьма.

Плюет из пушек на поля
И парится в кровавых банях.
Чудовищную чушь меля,
Извиртуозничалась в брани
Умалишенная Земля.

Попробуйте спросить ее:
"В твоей болезни кто в ответе?"
Она завоет: "Сети — в лете!
Лишил невинности мое
Святое тело Маринетти!

Антихрист! анархист! маклак!
Модернизованный Иуда!
Я не могу... Мне худо! худо!"
Вдруг завопит и, сжав кулак,
Отсебя бросится, — отсюда.

Она безумна, — это факт,
Но мы безразумны, а это —
Не сумасшедшие. Поэты,
Составимте об этом акт
И устремимся на планеты,
Где все живое бьется в такт.

1914

Пир братания

Увлажненное послегрозье...
И блаже женственная лань...
И слаже роза жмется к розе...
Журчанье крови, как шампань.

О, мельниц молнийных зигзаги!
Раздробленные жернова!
Какие песни, сказы, саги!
Какие грезы и слова!

На пир всемирного братанья
Спеши, воистину живой,
Объятый трепетом свиданья
С весною, девой огневой!

Целуйте, девушки, гранатно
Живых возлюбленных своих:
Ах, разве же невероятно,
Что материнство — для живых?

Мужи! не будьте в праздник праздны,
И, точно пули из ружья,
Мечите зерна в дев экстазно:
Теперь — все жены! все мужья!

Весной дарована свобода
Для воссоздания людей.
Ликуй же, юная природа!
Любись, живи и жизни дей!

1914

Мужья земли

Живи, как хочешь, как умеешь,
Как можешь, — но живи! живи!
Ты обезжизниться не смеешь
Запретом жизни и любви!

Мы — люди, это значит — боги!
И если рабством сражены,
Так рабством рыцарей. Мы — ноги,
И мы мужья земли — жены.

Прекрасна наша Грёзопева
В своем бесчислии имен:
Весна и жизнь, и женодева, —
Все та же явь, все тот же сон!

Жить без любви — не жить бы вовсе!
Но может ли не жить живой?..
Рожденный, в рыцари готовься
К своей земле святонагой!

Быть рыцарем святой блудницы —
Ведь это значит богом быть!
Расти, трава! летайте, птицы!
Давайте жить! давайте жить!

1914

Пора кончать!

Пора кончать! Пожалуй, слишком
Вы далеко уже зашли
И алым предались излишкам
Для удобрения земли!..

Пора кончать! Ведь, кроме смерти,
Жизнь существует на земле...
В аду ублажены все черти,
Глумясь на ваших тел золе...

Пора кончать! воздвигни знамя!
"Любовь и жизнь!" — зажги на нем.
Пора кончать! иль кончит с вами
Готовый грянуть Божий гром!

Пора кончать! остановитесь!
Довольно Бога искушать!
Вот сходит с неба белый витязь
И молит вас: "Пора кончать!"

1916. Ноябрь.
Гатчина

Поэза строгой точности

Борису Верину

Искусство — в загоне, сознаемся в этом:
Искусство затмила война!
Что делать в разбойное время поэтам,
Поэтам, чья лира нежна?

Дни розни партийной для нас безотрадны, —
Дни мелких, ничтожных страстей.
Мы так неуместны, мы так невпопадны
Среди озверелых людей.

Мы так равнодушны к их жалким раздорам
И к их интересам мертвы.
Мы тянемся к рекам и к вольным просторам
И в шелковый шепот травы.

Мы искренне славим паденье престолов
Во имя свободы людской!
Но если и после царей вы в тяжелых
Раздорах, — мы машем рукой!

Союзник царизма — для нас не союзник,
Как недруг царизма — не враг.
Свободный художник зачахнет, как узник,
Попав в политический мрак.

Нам пакостны ваши враждебные будни:
Мы вечным искусством горим.
Вы заняты "делом", а мы — только "трутни",
Но званьем гордимся своим!

Отправьте ж искусство куда-нибудь к мифу:
Трещит от него материк!..
И кланяйтесь в пояс Голодному Тифу, —
Диктатору ваших интриг!

1917. Июнь, 13.
Мыза "Ивановка"

Поэза последней надежды

Не странны ли поэзовечера,
Бессмертного искусства карнавалы,
В стране, где "завтра" хуже, чем "вчера".
Которой, может быть, не быть пора,
В стране, где за обвалами — обвалы?

Но не странней ли этих вечеров
Идущие на них? да кто вы? — дурни,
В разгар чумы кричащие: "Пиров!"
Или и впрямь фанатики даров
Поэзии, богини всех лазурней!..

Поэт — всегда поэт. Но вы-то! вы!
Случайные иль чающие? кто вы?
Я только что вернулся из Москвы,
Где мне рукоплескали люди-львы,
Кто за искусство жизнь отдать готовы!

Какой шампанский, искристый экстаз!
О, сколько в лицах вдохновенной дрожи!
Вы, тысячи воспламененных глаз, —
Благоговейных, скорбных, — верю в вас:
Глаза крылатой русской молодежи!

Я верю в вас, а значит — и в страну.
Да, верю я, наперекор стихии,
Что вал растет, вздымающий волну,
Которая все-все сольет в одну,
А потому — я верю в жизнь России!..

1917. Ноябрь.
Петроград

Фея Eiole

Поэзы 1920 — 1922 гг.

I. Зеленый монастырь

Фея Eiole

Кто движется в лунном сияньи чрез поле
Извечным движеньем планет?
Владычица Эстии, фея Eiole,
По-русски ei ole есть: нет.

В запрете есть боль. Только в воле нет боли.
Поэтому боль в ней всегда.
Та боль упоительна. Фея Eiole
Контраст утверждения: да.

Она в осиянном своем ореоле,
В своем отрицаньи всего
Влечет непостижно. О, фея Eiole,
Взяв все, ты не дашь ничего...

И в этом услада. И в боли пыл воли.
И даже надежда — тщета.
И всем своим обликом фея Eiole
Твердит: "Лишь во мне Красота!"

Sirel

Сирел — сирень по-эстонски —
Только вчера расцвела.
Слышишь ли, Tiiu, топ конский?
То приближается Страсть!

Sirel — чаруйные тоны!
Tiiu меня увлекла
Вдруг на речные затоны, —
Tiiu, не хочешь ли пасть?..

Sirel — как звуки свирели...
Тоньше, чем наша сирень...
Пели тебя менестрели
Всех осирененных стран!

Sirel — как розы фиоли...
Неумолимая тень
Чья это? — Фея Eiole!
Tiiu — узыв и обман...

Подругам

Ani Martin

Как тебя она любит! как тобою любима!
Вы — как два дьяволенка! вы — как два серафима!

Вы — всегдашние дети моря, леса и поля!
Вы — художницы чувства! вы свободны, как воля!

Мне она полюбилась, став навеки моею.
То возлюблено мною, что возлюблено ею.

Раз тебя она любит, — мне близка поневоле
Ты, подруга любимой, — дочь природы и воли.

Раз меня она любит, — ты меня полюбила.
Это есть, это будет, как всегда это было.

Мы всегда были вместе, мы всегда были трое:
В дни развала Помпеи, в дни падения Трои.

Так не бойся при встрече целовать меня смело:
Ты, ее полюбивши, стать мне близкой сумела!

Tiiu и Ani

О, моя милая Tiiu!
О, моя милая Ani!
Tiiu похожа на сливу,

Ani — на белку в капкане...

Tiiu немного повыше,
Ani — сиренка-каштэнка;
В лунные ночи на крыше
Грезит, как зябкая пенка.

Ani, льняная блондинка,
Ландышами окороня
Волосы, как паутинка,
Можно подумать — тихоня...

Девушки обе надменны,
Девушки обе эксцессны,
Обе, как май, вдохновенны!
Обе, как август, прелестны!

Ножки у вас, как у лани...
Что ж, устремимся к обрыву...
Правую ручку дай, Ani,
Левую даст только Tiiu.

Поэза о сборке ландышей

Как бегали мы за ландышами
Серебряными втроем:
Две ласковые милые девушки —
Две фрейлины с королем!

У вас были платья алые,
Алые платья все.
По колени юбки коротки,
Босые ноги в росе.

У вас были косы длинные,
Спускавшиеся с висков
На груди весенне-упругие,
Похожие на голубков...

У вас были лица смелые,
Смеющиеся глаза,
Узкие губы надменные,
И в каждой внутри — гроза!

У вас были фразы вздорные,
Серебряные голоски,
Движения вызывающие
И ландышевые венки!

Все было вокруг зеленое,
Все — золото, все — бирюза!
Были лишь платья алые,
В которых цвела гроза.

Я помню полоски узкие
Меня обжигавших уст...

Как чисто звенели ландыши,
Запрятанные под куст!

Как нежно слова эстийские
Призывали над леском!
Как быстро сменялись личики
Перед моим лицом!..

Ах, это у моря Финского,
От дома за десять верст, —
Веселые сборы ландышей
С восхода до самых звезд!

Ах, это в пресветлой Эстии,
Где любит меня земля,
Где две босоногие фрейлины —
Две фрейлины короля!

Расцвет сирени культивированной

Цвела сирень малиново-лилово,
И бело-розово сирень цвела...
Нас к ней тропа зигзагами вела
Чрез старый парк, нахмуренный елово.

Налево море, впереди река,
А там за ней, на кручи гор, сирени
Уже струят фиоль своих курений
И ткут из аромата облака.

Цвела сирень, и я сказал Фелиссе:
"Руке моей не только брать перо!.."
И отвечала мне она остро:
"Цветет сирень — и крупная, и бисер..."

Ночь нервная капризна и светла.
Лобзанья исступленнее укуса...
В тебе так много тонкости и вкуса.
Цвела сирень, — у нас цвели тела.

Поэза верной рыболовке

Идем ловить форелей на пороги
В леса за Aluoja, к мызе Rant.
Твои глаза усмешливы, но строги.
Ты в красном вся. Жемчужно-босы ноги.
И меж двух кос — большой зеленый бант.

А я в просторной черной гимнастерке,
В узорной кепке, в русских сапогах.
Сегодня здесь, а завтра мы в Нью-Йорке,
Не правда ль, Tiiu, если взоры зорки
И некая тревожность есть в ногах?

Остановись у криволапой липы
И моментально удочку разлесь:
Форелей здесь встречаются все типы,
У обезводенных так сиплы всхлипы,
А иногда здесь бродит и лосось...

И серебро, и золото, и бронза!
Широкие и узкие!.. Итак,
Давай ловить восторженно-серьезно
По-разному: плечо к плечу и розно,
Пока домой нас не погонит мрак.

Придя домой, мы рыб свернем в колечки
И сварим их, и сделаем уху.
А после ужина, на русской печке,
Мы будем вспоминать о нашей речке.
И нежиться на кроличьем меху...

По грибы — по ягоды

Мы шли от ягоды к ягоде
И от гриба к грибу
На дальную мельницу Lagedi,
В приветливую избу.

В лесу бежала извивная,
Порожистая река.
Дрожала в руке узывная
Талантливая рука.

Погода стояла дивная,
Чуть перились облака,
А рядом, как ты узывная,
Стремглавно неслась река.

И чувства, чуть поздноватые,
В груди чертили свой знак:
И щеки продолговатые
Твои алели, как мак.

И выпуклости бронзотельные
Чуть бились под блузкой твоей.
И косы твои параллельные
Спадали вблизи ушей.

И очи твои изумрудные
Вонзали в мои свою сталь,
Скрывая за нею запрудную,
Безу́держную печаль.

Даря поцелуи кроткие, —
Как молния их лезвиё! —
Бросала ты строки четкие
Свои — о себе, про свое...

В них было так много лирики,
Была она так резка...
Смотрел, как тают пузырики
В ключе на опушке леска.

Смотрел, как играет с мушкою,
Выпрыгивая на мель,
Быв в то же время игрушкою
Сама для меня, — форель...

Мы ели чернику черную,
Фиолевый гоноболь,
Срывали траву узорную
И сладкую знали боль...

Твои поцелуи

Твои поцелуи похожи на розу,
Которая ветром прижата к другой.
Твои поцелуи похожи на грезу,
На грезу о жизни какой-то иной...

Лобзанья твои исступленно лазурю
(Для самоубийцы пленителен гроб...).
Твои поцелуи похожи на бурю!
На бездну! На хаос! На зной! На потоп!

О, если б...

О, если б ты могла услышать,
Что говорит моя душа, —
Высокий дух твой стал бы выше,
И ты б затихла, не дыша!

О, если б ты могла увидеть,
Какие в сердце спят края, —
Ты позабыла б об обиде,
Какую причиняю я!

О, если б ты могла почуять
Как я безгрешен, не смотря
На все грехи, — меня целуя,
Ты б улыбнулась, как заря!

Триолет

Она сидит мечтанно над рекой,
Смотря в ее синеющие глуби,
Вдыхая упоительный левкой.
Она сидит часами над рекой,
Зачерпывая изредка рукой
Ее воды и воду чуть пригубив.
Она сидит, вся в грезах, над рекой,
Любя ее ласкающие глуби.

Терцина-колибри

В твоих губах есть тайный уголок,
Исполненный неизъяснимой сласти,
Где ток бежит от головы до ног.

Изнемогая от избытка страсти,
Лианой приникаешь ты к груди, —
И если я в твоей покуда власти —

В моей, в моей ты власти впереди!

1919

"Каприз изумрудной загадки"

Под обрывом у Орро, где округлая бухта,
Где когда-то на якоре моторная яхта
Ожидала гостей,
Под обрывом у замка есть купальная будка
На столбах четырех. И выдается площадка,
Как балкон, перед ней.

К ней ведут две аллеи: молодая, вдоль пляжа,
От реки прямо к морю — и прямее, и ближе, —
А вторая с горы.
Эта многоуступна. Все скамейки из камня.
В парке места тенистее нет и укромней
В час полудневной жары.

Я спускаюсь с откоса и, куря сигаретку,
Крутизной подгоняем, в полусгнившую будку
Прихожу, и, как дым
Сигаретки, все грезы и в грядущее вера
Под обрывом у замка, под обрывом у Орро,
Под обрывом крутым.

Прибрежной аллеей эластично для слуха
Ты с надменной улыбкой приближаешься тихо
И — встаешь предо мной.
Долго смотрим мы в море, все оветрены в будке,
Что зову я "Капризом изумрудной загадки",
Ты — "Восточной страной".

А когда вдруг случайно наши встретятся очи,
И зажгутся экстазом сумасшедшие речи, —
Где надменность твоя?
Ты лучисто рыдаешь, ты смеешься по-детски,
Загораешься страстью и ласкаешься братски,
Ничего не тая.

А потом мы уходим, — каждый разной дорогой,
Каждый с тайной тревогой, упоенные влагой, —
Мы уходим к себе.
И опять сигаретку раскурив, я не верю
Ни бессмертью, ни славе, ни искусству, ни морю,
Ни любви, — ни тебе!..

Поэза новых штрихов

> — Выпьем за наших любимых — ненавистных! — сказал как-то мне Бальмонт.

Цветет сирень, благоухая,
Томя, и нежа, и пьяня.
Какая радость! грусть какая
Сегодня в сердце у меня!

То я горю, то сладко гасну.
Всем отвечаю невпопад.
О, как невыносимо-страстно
Меня терзает аромат!

Я в исступленьи! я до боли
В ноздрях вдыхаю целый день
Меня лишающие воли
Цветы под именем — Сирень!

Как призрачно! как белокистно!
Болезнен белой ночи мрак...
Любимая! ты — ненавистна!
Ты вражий друг! ты дружий враг!

Канцона

О, водопады Aluoja, —
Пятиуступная стремнина,
Пленительные падуны!
Паденье ваше — удалое!
Вы, кем овлажнена ложбина,
Вы, кто над скалами звучны, —
Краса эстийской стороны, —
Я вас пою, о водопады
Реки извилистой и бурной,
В орешник, в густоте сумбурной,
Запрятанные! Край прохлады
В полдневный изумрудный зной,
Отныне вы воспеты мной!

Aluoja

Два цветка

От Aluoja до Pühajõgi
Нет ни вершка:
Одна с другою сомкнулись в беге
С рекой река.

Какой он быстрый! какой он шустрый,
Хрусталь-приток!
А при слиянии, в затоне, грустный
Речной цветок.
Он в Pühajõgi иль в Aluoja, —
Узнаешь как,
Когда ни доброе и ни злое,
А просто так!
Ведь влага — влагой, река — рекою,
Водой — вода.
Так наше чувство — призыв к покою —
Цветет всегда.
Оно твое ли? оно мое ли?
Никто того
Из нас не знает. Но нет в том боли, —
Лишь торжество.

Алая монахиня

Алая монахиня.
Очи — изумруд.
Дерзость в них и ласковость.
Нрав капризен. Крут.

Льдяная. Надменная.
Едкая. Кому,
Богу или Дьяволу, —
Служит — не пойму.

Нежно-милосердная.
Жестока и зла.
Сколько душ погублено!
Сколько душ спасла!

Помолись за грешника,
С чистым согреши...
О, душа безгранная,
Дева без души!

Любовь — жертва

И есть любовь, но жертвы нет.

Фелисса Круут

Слова без песни есть, и песни
Без слов, но вот что улови:
Любви без жертвы нет, и, если
Нет жертвы, значит — нет любви.

Любовь и жертва, вы — синоним,
И тождественны вы во всем:
Когда любовь мы окороним,
Мы Богу жертву принесем.

Любовь светла и жертва тоже:
Ведь жертвы вынужденной нет.
На всем, что с принужденьем схоже,
Лежит клеймо, позор, запрет.

Любви без жертвы не бывает.
Неизменимо, вновь и вновь,
Упорно сердце повторяет:
Любовь без жертвы — не любовь.

Tartu (Dorpat)

Kevade

Проворная просторная бежала по весне вода.
Ты, черная, позорная зима-мертвунья, сгинь.
Аморная задорная шалила дева Kevade.
Лазорно-иллюзорная сияла небосинь.

Узорная озерная трава на пряже невода.
Минорная подгорная растительность болот.
Фаворная вся флерная смеюнья-струнья Kevade.
Упорная бесспорная забота от работ.

Сонет студеный

Мы с ней идем над морем вдоль откоса:
Лазурен штиль в лучистом серебре,
И вкус прессованного абрикоса
Таит шиповник прелый на горе.

Студеный день склоняется к заре.
Четвертый солнца час прищурен косо.
Щетиною засохшего покоса
Мы с ней идем над морем в октябре.

Мучительно представить город нам, —
Ведь он нанес удар тем самым снам,
Которыми у моря мы томимы.

Но не могли забыть его совсем:
Еще вчера мы были в нем, — меж тем
Как с нашим морем часто разлучимы.

Valaste.
21.X

Поэза влияний
Crème d'épinne-vinette

Соловьи пьют сиреньи мотивы
Из бокалов зеленых весны.
И гудящие локомотивы
На ажуре весны так грузны...

Вся весна соловьится, пьянея,
Как и я, как и ты, как и все.
И у жертвенника Гименея
Мир, брачуясь, приникнул к росе...

На душе так светло соловьисто, —
Вся она — аромат, звон и свист!
И от этого вешняго свиста
Соловьится сирень — аметист.

Järve

Вечеровая

Серебряно-зелено-голубою
Луною
Освещен ноябрьский снег.
В тиши, в глуши заброшен я с тобою.
Со мною
Ты, чарунья нежных нег.

Ночь так тиха, как тихи ночи моря
Без бури.
Лунно-лучезарен лед.
Мир бьется в политической уморе,
Понурив
Свой когда-то гордый лёт.

Нам дела нет до чуждого нам мира —
Кошмара
Зла враждующих людей.
Лишь лунные лучи поют, как лира.
В них — чара,
Символ в них любви моей.

Tiiu и Jukku

Tiiu ночью внемлет стуку:
Тук-тук-тук.
— "Это ты, мой милый Jukku?
Верный друг?

Это ты, невоплотимый?
Дон ли, Ганг
Ты покинул для любимой?
Иль ты — Ванг?

Vang и Jukku! вас ведь двое...
Общий лик...
В нем единство роковое:
Вечный миг". —

Протянула Tiiu руку
И окно
Распахнула настежь: Jukku
Нет давно.

Да и был ли? Сыро. Бело.
Стынет сон.
Где-то тьма и мирабелла,
Где-то он.

II. Что значит — время?

Мирре Лохвицкой

(1905 — 27 августа — 1920)

Что значит время? Что значат годы?
Любовь и верность сильнее их!
Пятнадцать вёсен слагает оды
И славословит Ее мой стих.

Пятнадцать вёсен — пятнадцать маев!
Сирень раскрылась пятнадцать раз!
И лед, пятнадцать раз растаяв,
Открыл для глаз голубой атлас...

Пятнадцать вёсен — романов главы,
Успехов пламя, цветы удач...
А сколько счастья! а сколько славы!
Блестяще вырешенных задач!

Так что мне годы! Обезвопросен
Их тленный облик. Ее слова
Всегда бессмертны! Пятнадцать вёсен
В могиле лежа, Она жива!

На смерть Александра Блока

Мгновенья высокой красы! —
Совсем незнакомый, чужой,
В одиннадцатом году,
Прислал мне "Ночные часы".
Я надпись его приведу:
— Поэту с открытой душой.

Десятый кончается год
С тех пор. Мы не сблизились с ним.
Встречаясь, друг к другу не шли:
Не стужа ль безгранных высот
Смущала поэта земли?..
Но дух его свято храним
Раздвоенным духом моим.

Теперь пережить мне дано
Кончину еще одного
Собрата — гиганта. О, Русь
Согбенная! горбь, еще горбь
Болящую спину. Кого
Теряешь ты ныне? Боюсь,
Не слишком ли *многое?* Но
Удел твой — *победная* скорбь.

Пусть варваром Запад зовет
Ему *непосильный* Восток!
Пусть смотрит с презреньем в лорнет
На русскую душу: глубок
Страданьем очищенный взлет,
Какого у Запада нет.
Вселенную, знайте, спасет
Наш *варварский* русский Восток!

Сонет Бальмонту

(9 — 11 июля в Ревеле)

В гирляндах из ронделей и квинтин,
Опьянены друг другом и собою
В столице Eesti, брат мой Константин,
На три восхода встретились с тобою.

Капризничало сизо-голубою
Своей волною море. Серпантин
Поэз опутал нас. Твой "карантин"
Мы развлекли веселою гульбою...

Так ты воскрес. Так ты покинул склеп,
Чтобы пить вино, курить табак, есть хлеб,
Чтоб петь, творить и мыслить бесконтрольно.

Ты снова весь пылаешь, весь паришь
И едешь, как на родину, в Париж,
Забыв свой плен, опять зажить корольно.

11 сентября 1920 г.
Toila

Сонет Ольге Гзовской

Ее раздольный голос так стихиен,
Крылат, правдив и солнечно-звенящ.
Он убедителен, он настоящ,
Насыщен Русью весь, — он оросиен.

При голосе таком глаза какие, —
Нежней лазори и прохладней чащ,
Которые проглазятся сквозь плащ, —
Какие, как не только голубые?..

Необходим закон — при том, что в двух
Строфах рассказано, иметь и дух
Денно-светильный, голубой, крылатый.

А раз душа небесна, то и дар
Не может быть иным. В святой пожар
Иду калить побед своих булаты!

21 января 1921 г.
Tallinn

Рондо

Борису Правдину

Я тронут: Ваша лира мне близка,
И строфы Ваши праведны. Корону,
Дар неба, смяла выродка рука, —
...Я тронут!

Приял уклон к утонченному тону
Строф аромат, приплыв издалека.
В сочувствии — от зла зрю оборону.

Так "у моря погоды" жду. Река,
Поля и лес со мною вместе стонут
Надеждою моею. А пока —
Я тронут.

Отзнак

Анатолию Кайгородову

Благоухала матиола
Семь лет назад в пресветлой Эстии,
И значит — жил здесь Сологуб...
И голос некий, как виола,
Потусторонние известия
Вещал их женских алогуб...

Увы, Вы этого не помните —
Затем, что Вы тогда здесь не жили,
И это, право, очень жаль:
Духовней были дни и скромней те,
Мы больше дух, чем тело, нежили, —
И чтилась некая скрижаль...

Поэза принцу сирени

Там, где моря влага синяя
Острошхерною косой
С прибрежной полосой
Разграничена, сфинкс — Финния.
Взор дарит свой красой.

В пробравшийся в Финляндию
И попавший в Гельсингфорс
Вы, отвергший "красный форс",
Получаете гарантию,
Что из Вашей крови морс

Сатане не будет выделан,
С чем и поздравляю Вас
И целую много раз.
Бедный принц! как много видел он!
Сколько слышал страшных фраз!

Исцелитесь от уныния
На лужайках финских скал.
Полню ныне я бокал
За твое величье, Финния!
За полярный твой закал!

Поэза принцу лилии

Пользуясь любезным разрешеньем
Вашим — посещать Ваш дом без Вас,
Мы пришли со скромным подношеньем
Более для слуха, чем для глаз...

Я — поэт, и мне доступны страсти,
Алый притягательный графин:
Разделил его я на две части, —
Я повинен в этом не один...

Ведь моя возлюбленная тоже
Поэтесса, знающая страсть...
Ах, и ей, как мне, вино пригоже!
Ах, и ей его желанна сласть!

За здоровье Принца — Лильевзора
Пили бесподобный "Барбарис",
В результате: нет у Вас ликера,
Но — одна их ярких импровиз.

Ж. Оффенбах

Сонет

Трагические сказки! Их лишь три.
Во всех мечта и колдовство фантазий,
Во всех любовь, во всех душа в экстазе,
И всюду смерть, куда ни посмотри.

О, сказочные звуки, где внутри
Тщета любви и нежность в каждой фразе...
Какая скорбь почти в святом рассказе!
О, Время! Ты глаз Памяти не три:

Пусть сон мотивов сказочно-тревожных
Мне сердца чуть не рвущих, невозможных
В уловленной возможности своей,

Пусть этот сон всю жизнь мою мне снится,
Дабы иным ему не замениться, —
Сон музыки, которой нет больней!

III. Подарки по средствам

Подарок по средствам

Она противостатна мне. Она
Совсем не то, чего ищу я в деве,
Но лишь при ней душе поют деревья,
И только с ней мне жизнь моя нужна.

Ей не понять стилистики изысканной
Лианно-обольстительных секстин,
Ни Врубеля внеразумных картин, —
Ей не понять — убоженке мне близкой...

Ее мирок — не космос чувств моих,
А просто — буржуазная улыбка.
Она — моя любимая ошибка,
Сознательно мной вложенная в стих...

Она мила своею простотою.
Душевною опрятностью мила.
Пусть я велик, пускай она мала,
Но я, — признаться ль вам? — ее не стою !..

"Медуза"

Глаза зеленые с коричневыми искрами.
Смуглянка с бронзовым загаром на щеках.
Идет высокая, смеющаяся искренно,
С вишневым пламенем улыбок на губах.

Такая стройная. Она такая стройная!
Она призывная и емкая. Она
Так создана уже, уж так она устроена,
Что льнуть к огнистому всегда принуждена...

Вся пророкфорена, и вместе с тем не тронута...
О, в этом самчестве ты девность улови!
И как медуза, что присосана к дредноуту,
Пригвождена она трагически к любви...

Поэза через залив

Кн. В. Н. М-ой

С той стороны Финляндского залива,
Из города страны озер и скал,
Вы пишете, — и в грезах зреет слива,
Находишь вдруг, чего и не искал...

Капризно расстоянье укоротив,
Десятки верст считая за вершок,
С той стороны, из города напротив,
Вы пишете, что я для Вас — б о ж о к !

Я, Вашему покорствуя желанью,
Слегка коснусь податливой струны.
Послав в ответ "с т о й стороны посланью"
Свою поэму — с э т о й стороны...

Сонет Т.

Ваш дом среди заводских пустырей,
От города приморского в трехверстьи,
Ваш дом, куда охотно ездят гости,
Дом широко распахнутых дверей,

Куда попасть, чем выбраться, скорей,
И где поэт в своем заздравном тосте
(Хотя вокруг и злобствовал Борей...)
Приветствовал хозяев, чуждых злости,

Ваш дом, где неизменен тонкий вкус
В литературе, мебели, гравюрах,
Где фея настроенья — в абажурах
И где не редкость — встречи знатных муз,

Где культ наипрекраснейшей богини,
Ваш дом — оазис в городской пустыне.

Ревель.
21янв. 1921 г.

Фелиссе Круут

Надпись на "Менестрэле"

Моя Фелиссочка! Моя красавица!
Тебе, Любимая, мой "Менестрэль".
Всему изыскному должна ты нравиться.
Моя Фелиссочка, — моя свирель!

Пускай для грубого ты только "выскочка", —
Что мне до этого: ты мне люба!
Моя Таланточка! Моя Фелиссочка!
Моя Исканная! Моя Судьба!

Тебе лишь сладко мне сказать: "Невесточка", —
Здесь браконенависть — браколюбовь...
О, символ Эстии, ребенок — Эсточка,
С тобою молодость познал я вновь!

Развенчание

Да разве это жизнь — в квартете взоров гневных,
В улыбках, дергаемых болью и тоской,
И в столкновениях, и в стычках ежедневных
Из-за искусства, угнетенного тобой?

Да разве это жизнь — в болоте дрязг житейских,
В заботах мелочных о платье и куске,
В интригах, в сплетнях, сальностях лакейских
С фразеологией гнусней, чем в кабаке?

Да разве это жизнь, достойная поэта,
Избранника сердец, любимца Божества,
Да разве это жизнь — существованье это?
И если это жизнь, то чем она жива?

Она жива тобой, цветком махровым прозы,
Бескрылой женщиной, от ревности слепой,
Тупою к красоте и к окрыленьям грезы.
Тобой рожденная, она жива тобой!

Она жива тобой, мертвящею поврагой
Природы, лирики, любви и Божества,
Тобой, ничтожною, залившей черной влагой
Мои горячие и мысли, и слова.

Разбитою мечтой, причиной катастрофы
Поэта творчества вовеки ты пребудь.
Ты — бездна мрачная! ты — крест моей Голгофы!
Ты — смерть моя! ты — месть! в тебе сплошная жуть.

Я так тебя любил, как никого на свете!
Я так тебя будил, но не проснулась ты!
Да не пребудешь ты пред Господом в ответе
За поругание невинной красоты!

27 окт. 1919 г.
Toila

IV. Земле — земное

За несколько часов

Дорогая ты моя мамочка,
Поправься ради меня,
Ради твоего сына блудного —
Поэта светозарней дня.

Мамочка моя ненаглядная,
Побудь еще немного жива:
Ведь мною еще недосказаны
Все нежные тебе слова.

О, единственно-единственная,
Не заменимая здесь никем!
Перед жизнью твоей драгоценною
Так ничтожно величье поэм.

Пусть ты чуждая всем, ненужная,
Пусть ты лишняя на земле, —
Для меня ты — моя мамочка,
Избави Бог видеть тебя на столе...

Боже! Господи! Великий и милостивый!
Дай пожить ей и смерть отсрочь!
Не отнимай у меня моей матери, —
Не превращай моего дня в ночь...

13. XI. 1921 г. 10 ч. веч.
Toila

Поэза к смерти

Именем Божьим тебе запрещаю войти
В дом, где Господь повелел жизни жить и цвести,
Именем Божьим тебе запрещаю я, смерть!

Мало ли места тебе на обширной земле —
В стали кинжальной и пушечном емком жерле?
Именем Божьим тебе запрещаю я, смерть!

Эй, проходи, проститутка! не стой у дверей!
Льдяным дыханьем своим дом поэта не грей!
Именем Божьим тебе запрещаю я, смерть!

С утесов Эстии

Риторнель

1

Который день?.. Не день, а третий год, —
А через месяц — даже и четвертый, —
Я в Эстии живу, как в норке крот.

Головокружный берег моря крут,
И море влажной сталью распростертой
Ласкается к стране, где — мир и труд.

Я шлю привет с эстийских берегов
Тому, в ком обо мне воспоминанье,
Как о ловце поэзожемчугов.

Лишь стоило мне вспомнить жемчуга,
В душе возникло звуков колыханье:
Prélude Бизе, — иные берега...

2

В мечтах плыву на красочный восток:
Там, где Надир целует знойно Лейлу,
Растет священный сказочный цветок.

Он — мира мир, желанная мечта.
И не она ль мою чарует Тойлу
И оживляет здешние места?

Но север мне и ближе, и родней:
Здесь по ночам мне напевает Сканда.
Люблю ее и счастлив только с ней!

Пусть бьется мир, как некий Громобой, —
Тиха моя тенистая веранда.
О, Балтика! о, Сканда! я с тобой!

3

По вечерам вернувшись в свой шатрок, —
Я целый день обычно рыбу ужу, —
Я говорю себе: исходит срок,

Когда скажу я Эстии: "Прости, —
Весенний луч высушивает лужу:
Пора домой. Сестра моя, расти!

Спасибо, благородная страна,
Любимая и любящая братски, —
В гостеприимстве ты была нежна..."

До полночи я пью Crème de prunelle
И, позабыв бич современья адский,
Плести, как сеть, кончаю риторнель.

Письмо из Эстонии

Когда в оранжевом часу
На водопой идут коровы
И перелай собак в лесу
Смолкает под пастушьи зовы;
Когда над речкою в листве
Лучится солнце апельсинно
И тень колышется недлинно
В речной зеленой синеве;
Когда в воде отражены
Ногами вверх проходят козы
И изумрудные стрекозы
В ажурный сон погружены;
Когда тигровых окуней
За стаей стая входит в заводь,
Чтобы кругами в ней поплавать
Вблизи пасущихся коней;

Когда проходят голавли
Голубо-серебристо-ало, —
Я говорю: "Пора настала
Идти к реке". Уже вдали
Туман, лицо земли вуаля,
Меняет абрис, что ни миг,
И солнце, свет свой окораля,
Ложится до утра в тростник.
Светлы зеркальные изгибы
Реки дремотной и сырой,
И только всплески крупной рыбы,
Да крики уток за горой...
Ты, край святого примитива,
Благословенная страна.
Пусть варварские времена
Тебя минуют. Лейтмотива
Твоей души не заглушит
Бедлам всемирных какофоний.
Ты светлое пятно на фоне
Хаосных ужасов. Твой вид —
Вид девочки в публичном доме.
Мир — этот дом. Все грязны, кроме
Тебя и нескольких сестер, —
Республик малых, трудолюбных,
Невинных, кротких. Звуков трубных
Тебе не нужно. Твой шатер
В тени. И путь держав великих
С политикою вепрей диких
Тебе отвратен, дик и чужд:
Ведь ты исполнен скромных нужд...

Повечерело. С ловли рыбы
Я возвращаюсь. Окуньки
На прутике. Теперь икры бы
Под рюмку водки! Огоньки
Сквозь зелень теплятся уютно,
И в ясной жизни что-то смутно...

Хвала полям

Поля мои, волнистые поля:
Кирпичные мониста щавеля
И вереск, и ромашка, и лопух.
Как много слышит глаз и видит слух!

Я прохожу по берегу реки,
Сапфирами лучатся васильки,
В оправе золотой хлебов склонясь,
Я слышу, как в реке плеснулся язь,

И музыкой звучит мне этот плеск.
А моря синий штиль? А солнца блеск?
А небные барашки-облака?
Жизнь простотой своею глубока.

Пока я ощущать могу ее,
Да славится дыхание Твое!
А там землею станет пусть з е м л я...
Поля! Животворящие поля!

Сонет

Вселенная — театр. Россия — это сцена.
Европа — ярусы. Прибалтика — партер.
Америка — "раек". Трагедия — "Гангрена".
Актеры — мертвецы. Антихрист — их премьер.

Но сцена им мала: обширная арена —
Стремленье их. Они хотят безгранных сфер,
Чтоб на губах быков окровенела пена,
Чтоб в муках исходил извечный Агасфер!

О, зритель, трепещи! От бешеных животных,
Ужасных в ярости, от мертвецов бесплотных
И смертью веющих — преградой лишь барьер.

Вот-вот не выдержит их дикого напора, —
И в чем тогда твоя последняя опора?
— Строй перед цирком храм объединенных вер!

Поэза отчаянья

Я ничего не знаю, я ни во что не верю,
Больше не вижу в жизни светлых ее сторон.
Я подхожу сторожко к ближнему, точно к зверю.
Мне ничего не нужно. Скучно. Я утомлен.

Кто-то кого-то режет, кто-то кого-то душит.
Всюду одна нажива, жульничество и ложь.
Ах, не смотрели б очи! ах, не слыхали б уши!
Лермонтов! ты ль не был прав: "Чем этот
мир хорош?"

Мысль, даже мысль продажна. Даже любовь
корыстна.
Нет воплотимой грезы. Все мишура, все прах.
В жизни не вижу счастья, в жизни не вижу
смысла.
Я ощущаю ужас. Я постигаю страх.

Апрель 1920.
Toila

Блестящая поэза

Carl Sarap'ile

Я жить хочу совсем не так, как все,
Живущие, как белка в колесе,
Ведущие свой рабий хоровод,
Боящиеся в бурях хора вод.

Я жить хочу крылато, как орел,
Я жить хочу надменно, как креол,
Разя, грозя помехам и скользя
Меж двух соединившихся "нельзя".

Я жить хочу, как умный человек,
Опередивший на столетье век,
Но кое в чем вернувшийся назад,
По крайней мере лет на пятьдесят.

Я жить хочу, как подобает жить
Тому, кто в мире может ворожить
Сплетеньем новым вечно-старых нот, —
Я жить хочу, как жизнь сама живет!

Поэза "Villa mon repos"

Мясо наелось мяса, мясо наелось спаржи,
Мясо наелось рыбы и налилось вином.
И, расплатившись с мясом, в полумясном
экипаже
Вдруг покатило к мясу в шляпе с большим
пером.

Мясо ласкало мясо, и отдавалось мясу,
И сотворяло мясо по прописям земным.
Мясо болело, гнило и превращалось в массу
Смрадного разложенья, свойственного мясным.

Ревель

Только о детях

Альтруизм:

О, дети, дети, всеблагия! —
Вздох по весне...
Игорь-Северянин

Эгоизм:

Но раз во мне живут другие,
Нет места мне!
Фелисса Круут

Ревель.
Сент. 1921

V. Письма из Парижа

Первое письмо

Живет по-прежнему Париж,
Грассирующий и нарядный,
Где если и не "угоришь",
То, против воли, воспаришь
Душою, даже безотрадной.
Буквально все как до войны,
И charme все тот же в эксцессере;
На карточках запретных серий,
Как прежде, женщины стройны, —
Стройней "натур", по крайней мере...
И в "Призраках" его разнес
Тургенев все-таки напрасно:
Здесь некрасивое прекрасно,
И ценны бриллианты слез,
И на Монмартре Аполлон —
Абориген и завсегдатай.
Жив "Современный Вавилон",
Чуть не разрушенный когда-то...
Там к Наслажденью семафор
Показывает свет зеленый,
И лириков король, Поль Фор,
Мечтает о волне соленой,
Усевшись в цепком кабаке,
Тонущем в крепком табаке,
Где аргентинское танго́
Танцует родина Пого.
Столица мира! Город-царь!
Душа, исполненная транса!
Ты положила на алтарь
Гражданство Анатоля Франса.

Вчера в Jardin des Tuileries
Я прбродил до повечерья:
С ума сводящая esprits,
И paradis, и просто перья...
Кабриолеты, тильбюри,
"Бери авто и тюль бери,
И то, что в тюле"... Я пари
Держу: так все живут в Paris,
Однако бросим каламбур,
Хотя он здесь вполне уместен.
О, как пьянительно-прелестен
Язык маркизы Помпадур!

Люблю бродить по Lauriston
(Поблизости от Трокадэро),
Вдоль Сены, лентящейся серо,
К Согласья площади. Тритон
И нимфы там взнесли дельфинов,
Что мечут за струей струю.
Египет знойный свой покинув,
Спит обелиск в чужом краю.

Чаруен Тюльерийский сад,
Где солнце плещется по липам,
Где все Людовиком-Филиппом
До сей поры полно. Грустят
Там нимфы темные, и фавны
Полустрашны, полузабавны.
Деревья в кадках, как шары
Зеленокудрые. Боскеты
Геометричны. И ракеты
Фраз, смеха и "в любовь игры"!
О, флирт, забава парижанок,
Ты жив, куда ни посмотри!
В соединении с causerie —
Ты лишь мечта для иностранок...

Стою часами у витрин.
Чего здесь нет! — и ананасы,
И персики, и литры вин,
Сыры, духи, табак. Для кассы
Большой соблазн и явный вред,
Но неизвестен здесь запрет.
Притом, заметьте, скромность цен:
Дороже лишь в четыре раза,
Чем до войны. И эта фраза
Мне мелодична, как "Кармен".
Здесь, кстати, все, что ни спроси
Из музыки, к твоим услугам,
И снова музыкальным плугом
Вспахал мне сердце Дебюсси...
А "Клеопатра", Жюль Масснэ?
"Манон", "Таис", "Иродиада"?
По этим партитурам рада
Душа проделать petite tournée
(Тут мне припомнился Кюи,
Масснэ "расслабленным Чайковским"
Назвавший. С мнением "таковским"
Понятья борются мои).
На всем незримое клеймо:
"Здесь жизнь — как пламя, а не жижа".

— Я лишь пересказал письмо,
Полученное из Парижа.

Второе письмо

На ваш вопрос: "Какие здесь
Заметны новые теченья",
Отвечу: как и прежде, смесь
Ума с налетом поглупенья.
Apollinaire[1], Salmon, Sendras —
Вот три светила футуризма!
Второе имя — слов игра! —
Нас вводит в стадию "рыбизма",
Иначе — просто немоты:
Для уха нашего беззвучно
Их "нео-творчество"; докучно
Оно, как символ тошноты.
А "дадаизм", последний крик
Литературной ложной моды.
Дегенератные уроды
Изображают крайний сдвиг.
В театрике "Ambassa deurs"
Актер, игравший дадаиста,
Кричал: "Да-да!!!" — по-русски чисто —
Дадаистический пример!..

От пышного "Folies-bergéres"
До "Noctambules", мирка студентов,
Их пародируют. Одни
Они — объект экспериментов
Неисчерпаемый. Они —
Великовозрастные дурни.
В салоне, в парковой тени
И в подозрительной "амурне"
Они завязли на зубах...
Ошеломляющая "слава"
Дегенератов (тлен и прах!)
Плывет, как восковая пава...
Исканье — вечный идеал
Художника. Но эти "томы" —
Весьма плачевные симптомы.

Теперь, когда весь мир устал
От шестилетней гнусной бойни,
От глупых деяний и слов,
Пора искусству стать достойней
И побросать "хвосты ослов"!

[1] Сконч. в 1919. (*Примеч. Северянина.*)

Уже в прославленном кафе
Среди Латинского квартала
Моя знакомая встречала
Тонущего в своей строфе
(А может статься — и в софе,
Как в алькермессе!..) солнцепевца,
Решившего покушать хлебца
Французского. Итак, Бальмонт
Вошел под кровлю "La Rotonde",
Где не бывал лет шесть. За эти
Лета немало перемен,
Но он все так же вдохновен
И непосредственен, как дети.
Литературно обрусел
Париж достаточно. На кейфе
Живет в Contrexéville Тэффи,
И Бунин прочно здесь осел.
Сменил на вкус бордоских вин
"Денатуратный дух Расеи",
Вотще свой огород посеяв,
Туземец Гатчины — Куприн,
Маяк "Последних Новостей"!..
И, как ее ни ороси я,
Суха грядущая Россия
Для офранцуженных гостей...

В Париже — полу-Петербург,
Полу-Москва. И наша "грыжа",
Болезнь России, для Парижа, —
Заметил друг словесных пург,
Который брови вдруг насупил, —
Как для купчих московских — жупел.
Весь мир похлебкою такой
Наш русский человек "осупил",
Что льется изо ртов рекой
Она обратно... Для француза,
Эстета до мозга костей,
Приезд непрошеных гостей,
Избегших "грыжи",— вроде груза
На модном галстуке. Но он,
Француз, любезен и лощен:
Ведь узы прежнего союза
Обязывают до сих пор...
А потому — умолкни спор!

1920

VI. Трагедия на легком фоне

Роман в канцонах

Над нами гнет незыблемой судьбы...

Мирра Лохвицкая

1

Ирэн жила в пейзажах Крыма,
На уличке Бахчисарая —
Вы помните Бахчисарай? —
Где целый день мелькают мимо
Красоты сказочного края,
Где каждый красочен сарай
О, что за благодатный край
С цветами-блюдцами магнолий,
Со звездочными кизилями
И с гиацинтными полями,
Средь абрикосовых фриволей, —
Изрозопудренных маркиз, —
Душистых, как сама Балькис!

2

А эти белые мечети
И стрельчатые минареты,
Воспетый Пушкиным фонтан?
Забыть ли мне виденья эти?
Теперь в лета — анахореты
Я ими плавно обуян.
И ты, Гирей, ты, неуч — хан,
Мне представляешься отныне
Культурным тонким человеком,
Так я разочарован веком,
Разбившим вечные святыни,
Проклявшим грезу и сирень,
Картуз надевшим набекрень...

3

Живя в Крыму и Крыму рада,
Ирэн забыла все былое, —
Своих знакомых и родных.
В стране прекрасной винограда
Позабывается все злое...
Она в мечтах своих цветных
Ждала восторгов лишь земных,
Но поэтических. Эксцессно
Настроенная, миловидна,
Со средствами. Такой обидно
Не жить "во всю". "В морали тесно"
Излюбленный в наш век рефрэн
Был лозунгом моей Ирэн.

4

Вакх Александрович был статный
И далеко еще не старый
Блистательный кавалергард.
И каждый август аккуратно
Его влекли к себе татары,

И в августе был некий март:
Тревога, зовы и азарт.
Свою жену отправив в Ниццу
(Она не выносила Крыма),
Он ехал в Ялту в блеске грима.
Предпочитая "заграницу"
Красотам Таврии, жена
Была ему полуверна.

5

Произошло знакомство просто:
Ирэн на палевой кобыле
Неслась стремительно в Мисхор,
Как вдруг у маленького моста,
Где поворот, — автомобили,
И прямо на нее мотор.
Лошадка на дыбы. Звяк шпор.
Гудок. Испуг. Успокоенья
Слова. И бархат баритона...
Глаза сафирового тона...
И бесконечны извиненья...
И томен ласковый грасир.
Война на миг, и тотчас — мир.

6

Он ей понравился. Она же
Ему казалась очень спецной.
Затем отправились они —
Барон в моторном экипаже,
Она — верхом. И пело сердце.
И в Ялте теплились огни.
Мисхор проехали. Одни
Их окружали кипарисы,
Не удивляясь быстрой связи,
На юге частой. Ночь, в экстазе,
Вдыхала трепетно ирисы.
Бродили тени от маслин,
И плакал стрекот мандолин.

7

Любовь по существу банальна.
Оригинальное в оттенках.
Сюрпризы любит ткать сюжет.
Всегда судьба любви печальна.
О парижанках иль о венках
Рассказывает вам поэт.
Давно любви бессмертной нет.
Лишь ряд коротеньких "любовей" —
Иллюзия невоплотимой
Любви к Исканной и Любимой.
Пусть мы пребудем в вечном зове
Недосягаемой жены, —
Мы в промежутках жить должны.

8

Одну мы любим за характер.
Другую за ее таланты,
А третью — только за глаза.
Порой мечтаем мы о яхте,
Порою нас влекут куранты,
Порою — цирк, порой — "Заза".
И если неба бирюза
Порой затучена, то чувства
Подвластны измененьям чаще.
Итак, рассказ мой настоящий, —
В канонах строгого искусства, —
Вам повествует о любви,
Которой нет, как ни зови!

9

Не правда ль, элегантна Ялта,
Столица бархата и шелка,
Изыскно-женского цветник?
Он на коленях (генерал-то!)
Молил Ирэн не мучить колко,
А показать ему дневник, —
Загадочнейшую из книг, —
Где, свойственным ей резким слогом,
Она размашисто писала,
Где девственность, цинизм и "сало"
В чередованьи были строгом,
Где предрассудкам злой укор,
Где все всему наперекор.

10

Тон их знакомства был фриволен,
Непринужден и слишком легок,
А в дневнике — ее душа.
Но от отказа чуть не болен
Барон настаивал, так робок,
Так нежно-мил, что, не спеша,
Она игриво — распуша
Его за дерзость приставанья,
Раз в Ореанде в синий вечер,
Дней через двадцать после встречи,
Решила дать дневник, вниманье —
Не любопытство! — усмотрев
В мольбах. Читал он, побледнев:

11

"— Люблю любовь, в нее не веря.
Ищу его, его не зная.
И нет его, и он — во всех.
Уйдет любовник — не потеря:
Уже идет любовь иная.
За смехом грусть. За скорбью — смех.
Грешна лишь фальшь. Безгрешен грех.

Условность — это для ослицы
Хомут. А воль всегда напевна.
"Княгиня Марья Алексевна" —
Весьма бескрыла в роли птицы,
Скорей напоминая тлю.
Я мнений света не терплю.

12

Пусть я со всяким похотлива,
Но в этом я не виновата:
Страсть? Лишь единственному страсть.
Пример в природе: даже слива
Душисто-сизо-синевата
Цветет, чтобы, созрев, упасть, —
Ах, все равно в какую пасть,
Раз рта с красивым очертаньем
Не будет к мигу созреванья...
Так: есть предел для нагреванья
И чувств людских. Обречь скитаньям
Бесцельным за своей мечтой
Себя — считаю я тщетой.

13

Одна непереносна дума:
Он, цельный, для меня раздроблен:
Мужчина плюс мужчина, плюс —
До бесконечности... Вся сумма —
Единственный, что уподоблен
Несбыточному. Этот груз
Несу я с юности. Медуз
Ко дну дредноута присоска —
Вот в чем мое предназначенье,
Вот символ моего мученья". —
Ирэн размашисто и броско
В своем писала дневнике,
И Вакх, читая, стыл в тоске.

14

Раздался гулкий взрыв контраста:
Ее изящная веселость,
Ее общительность — и вдруг... —
Да, то встречается не часто! —
Вдруг эта мрачная тяжелость
И этот неизбывный круг —
Так непредвиденно, мой друг! —
Душа заключена в котором,
Но и не в этом главный ужас,
А в том, что с детства Вакх к тому же
С тоской пришел. Кричащим взором
Веранду генерал обвел
И голову склонил на стол...

15

Ирэн со странною улыбкой
Смотрела на его кончину
И что-то силилась понять.
Вдруг Ореанда стала зыбкой:
Постигла женщина причину,
Попробовала с места встать,
Присела, поднялась опять,
Но пол стал скользок, — и поплыли
И сад, и горы, и веранда:
И озарилась Ореанда
Предсмертным криком, на полмили
Сверкающим из темноты:
— Единственный! ведь это ты!

1920. XI.
Toila

VII. Зачатие Христа

Долой политику!

Долой политику — сатанье наважденье!
Пребудем братьями! какое наслажденье
Прожить в содружестве положенные дни!
Долой политику, мешающую слиться
В любви и в равенстве! Да прояснятся лица!
Нет "друга" и "врага": есть люди лишь одни!

Враждующих мирить — мое предназначенье!
Да оглашает мир божественное пенье!
Пусть голос гения грохочет над землей!
Уйдем в прекрасное, в высокое, в глубины
Науки и искусств и будем голубины
Душой бессмертною, надземною душой!

Своих родителей любите крепче, дети:
Ведь им благодаря живете вы на свете.
Вы — в детях молодость приветьте, старики.
Целуйте, женщины, нежней любовниц мужа:
Винить ли любящих? ведь ненавидеть хуже!..
Муж! от возлюбленных жены не прячь руки!

Долой политику — вражды и зла эмблему!
Из жизни сотворим певучую поэму!
Пусть человечным станет слово "человек".
Простим обидчика, все в мире оправдаем,
И жизнь воистину покажется нам раем
Под славословие убогих и калек.

Дай средства нищему, богач, — не грош,
а средства,
Чтоб нищий тоже жил. Верни ребенку детство,
Из-за политики утраченное им.
Благословен твой дар! презренно подаянье!
Пускай исполнится законное желанье
Живущего: быть сытым и живым.

Долой политику, создавшую из меди
Противожизненных орудий ряд! К победе
Над ней зову я мир! да сгинет произвол!
Да здравствует Любовь, Свобода и Природа!
Да здравствует душа вселенского Народа!
Долой политику — причину всяких зол!

Toila.
VII. 1921 г.

Второе пришествие

Я не к "союзникам" свое направлю слово
Победоносное, как все мои слова,
Не реставрации я требую былого, —
Я, в Небо верящий, Его жду торжества.

Для вас союзники — романские державы
И англосакские. Иное — для меня.
Враги — все темные, чьи чувства зло-шершавы,
Друзья — все светлые, кто светозарней дня.

Не чернодушных, белотелых генералов,
Не интервенцию зову на помощь я,
И не дождется от поэта мадригалов
Мир, согрешающий стеня и трепеща.

Не бичевать хочу народ родной мой русский,
В его правителей пращи я не мечу.
Кто с лаской тихою помыслил о березке,
За здравье родины затеплил тот свечу.

И столько ясности в уме, и столько грусти
В душе, что, с верой осенив себя крестом,
Я к человечеству взываю из запустья:
— Внемлите: борется Антихрист со Христом!

Они не в личностях, не в двух отдельных людях:
Весь мир раздвоился, — неравных части две,
Пора забыть об обвиняемых, о судьях,
Пора глаза поднять к надземной синеве!

Не только родина, — вселенная погрязла
В корыстолюбии и всех земных грехах,
Не только Русь антихристическая язва
Постигла всем другим краям на смертный страх.

Пристрастно веровать, что "белое" есть бело,
Что красно — "красное", что "черное" — черно:
Не только *белая* рука от зверств робела,
Не только *красная* из мести жгла зерно.

Ведь зло вселяется не только в хулигана,
Но зачастую и в особу короля.
Не только Русь одна,— весь мир живет погано,
И тяготится человечеством земля.

Грехом Антихриста всемирье одержимо...
Как богохульствуют похабные уста!
Под смрадным хаосом вселенского режима
Кто исповедует в душе своей Христа?

Их мало — благостных, невинных и блаженных,
Природу любящих, незлобивых душой,
Религиозных и, как солнце, вдохновенных, —
Их мало, избранных, а мир такой большой!..

Христос в младенчестве, Антихрист — в зрелой
силе:
Борьба неравная, но в ней растет Христос.
Устройте жизнь свою по образу идиллий!
Стремитесь, светлые, чтоб в душах Он возрос!

Остановите же скорей кровопролитье
И перековывайте меч на мирный плуг,
Иначе страшные готовятся событья,
Иначе Дьяволу сомкнуть удастся круг!

Культура новая заменит пусть гнилую,
Сознанье космоса — не кепка апаша...
С благословением я пажити целую!
Долой бездушное! Да здравствует Душа!

XII. 1920.
Toila

VIII. С немецкого

Зеленый луг

(Из Лилиенкрона)

Куда, красавица моя,
Везешь белить ты воз белья?
На козлы я к тебе вскочу:
Ведь править вместе я хочу
        На твой зеленый луг.

На солнце ты расстелишь там
Рубашки, панталоны дам.
Проснулось сердце пред тобой.
Исполнен свадебной игрой
        Весь твой зеленый луг.

Лишь ночь, лишь нежная луна,
Белье ты стережешь одна,
Я тем встревожен. От воров
И от убийц хранить готов
        Я твой зеленый луг.

Järve

Соловей

Борису Верину — принцу сирени

Вы — Принц Фиолевой Сирени
И друг порхающей листвы.
Весенней осени, осенней
Весны нюанс познали Вы...

Интродукция

Я — соловей: я без тенденций
И без особой глубины...
Но будь то старцы иль младенцы, —
Поймут меня, певца вёсны.

Я — соловей, я — сероптичка,
Но песня радужна моя.
Есть у меня одна привычка:
Влечь всех в нездешние края.

Я — соловей! на что мне критик
Со всей небожностью своей? —
Ищи, свинья, услад в корыте,
А не в руладах из ветвей!

Я — соловей, и, кроме песен,
Нет пользы от меня иной.
Я так бессмысленно чудесен,
Что Смысл склонился предо мной!

Тойла. *III.*

Эст-Тойла

За двести верст от Петрограда,
От станции в семи верстах,
Тебе душа поэта рада,
Селенье в ёловых лесах!

Там блекнут северные зори,
Чьи тоны близки к жемчугам,
И ласково подходит море
К головокружным берегам.

Как обольстительное пойло, —
Колдуйный нектар морефей, —
Влечет к себе меня Эст-Тойла
Волнами моря и ветвей.

Привет вам, шпроты и лососи,
И ракушки, и голоса,
Звучащие мне на откосе, —
Вы, милые мои леса!

Давно я местность эту знаю,
Ее я вижу часто в снах...
О, сердце! к солнцу! к морю! к маю!
К Эст-Тойле в ёловых лесах!

Тойла. *I,7.*

Опять вдали

И вот опять вдали Эст-Тойла
С лазурью волн, с ажурью пен.
Конь до весны поставлен в стойло
Я снова взят столицей в плен.

Я негодую, протестую,
Но, внемля хлебному куску,
Я оставляю жизнь простую,
Вхожу в столичную тоску.

О, как мучительно, как тонко
Моя душа оскорблена!..
... Приходит тихая эстонка,
В чьих косах — рожь, лен и луна.

Идет, — Альвина или Лёйла, —
Береговою крутизной.
Идет века. Прости, Эст-Тойла,
И жди меня во влажный зной!

Петроград. *I,9.*

Ах, есть ли край

Ах, есть ли край? ах, края нет ли,
Где мудро движется соха,
Где любит бурю в море бретлинг,
И льнет к орешнику ольха?

Где в каждом доме пианино
И Лист, и Брамс, и Григ, и Бах?
Где хлебом вскормлена малина,
И привкус волн морских в грибах?

Где каждый труженик-крестьянин
Выписывает свой журнал
И, зная ширь морских скитаний,
Порочной шири ввек не знал?

Где что ни местность — то кургауз,
Спектакли, теннис и оркестр?
Где, как голубка, девствен парус, —
Как парус, облик бел невест?

Ах, нет ли края? край тот есть ли?
И если есть, что то за край?
Уж не Эстляндия ль, где, если
Пожить, поверить можно в рай?..

Петроград. *I*.

На лыжах

К востоку, вправо, к Удреасу,
И влево — в Мартс и в Изенгоф,
Одетый в солнце, как в кирасу,
Люблю на лыжах скользь шагов.

Колеса палок, упираясь
В голубо-блесткий мартный наст,
Дают разгон и — черный аист —
Скольжу, в движеньях лыжных част.

О, лыжный спорт! я воспою ли
Твою всю удаль, страсть и воль?
Мне в марте знойно, как в июле!
Лист чуется сквозь веток голь!

И бодро двигая боками,
Снег лыжей хлопаю плашмя,
И все машу, машу руками,
Как будто крыльями двумя!..

Петроград. *I*.

В Ревель

Упорно грезится мне Ревель
И старый парк Катеринталь.
Как паж влюбленный королеве
Цветы, несу им строфосталь.

Влекут готические зданья,
Их шпили острые, — иглой, —
Полуистлевшие преданья,
Останки красоты былой.

И лабиринты узких улиц,
И вид на море из домов,
И вкус холодных, скользких устриц,
И мудрость северных умов.

Как паж влюбленный к королеве,
Лечу в удачливый четверг
В зовущий Ревель — за Иеве,
За Изенгоф, за Везенберг!

Петроград. *I*.

Лейтенант С.

Вы не слыхали про поэта,
Поэта лейтенанта С.?
В нем много теплоты и света
И море милое, и лес.

Он сын Случевского. По крови
И духу сын... В лазори строк —
Он белый голубь. На Нарове
Его именье "Уголок".

Не подходите, как к Синаю
К нему, а просто, как к стеблю...
Пятнадцать лет его я знаю
И ласково его люблю.

Люблю я грусть элегий "С моря",
Посланий молодой жене,
В которых он, природе вторя,
Так родственен, так близок мне.

Он чистотой доступен детям,
И нежно я его пою.
Поэт погиб на тридцать третьем
В Цусимском горестном бою.

Сосед Эстляндии волшебной,
Воспевший Гогланд, край чудес,
Тебе мой поздний гимн хвалебный,
Мне — книга лейтенанта С...

Петроград. *I*.

У Сологуба

Жил Сологуб на даче Мэгар,
Любимый, старый Сологуб,
В ком скрыта магия и нега,
Кто ядовит и нежно-груб...

Так в Тойле прожил он два лета
На крайней даче, у полей
И кладбища, и было это
Житье мне многого милей.

Из Веймарна к нему приехать
Мне нравилось в рассветный час,
Когда, казалось мне, утеха
Искать в траве росы алмаз.

Я шел со станции, читая
Себе стихи, сквозь холодок.
Душа пылала молодая,
И простудиться я не мог.

Я приходил, когда все спали
Еще на даче, и в саду
Бродил до полдня, и в опале
Тумана нюхал резеду...

Петроград.
I

Прежде и теперь

А вечерами матиола
Нас опьяняла, как вино,
И строфам с легкостью Эола
Кружиться было суждено.

Ночами мы пикниковали,
Ловили раков при костре,
Крюшон тянули, и едва ли
В постель ложились на заре...

Второе лето на курорте
И я с ним вместе проводил.
То были дни, когда о торте
И сам кондитер не грустил...

Когда проехаться в вагоне
Еще ребенок рисковал,
Когда Herr Брюкман в пансионе
Вино открыто продавал...

День стоил не бумажек тридцать,
А три серебряных рубля,
Что могут ныне появиться
Лишь разве в замке короля!..

Петроград.
I

Царица русского стиха

Поэма Лохвицкой "У моря",
Где обрисован Петергоф,
Мне грёзы красочно узоря,
Волшбит меня ажуром строф.

И Миррой Балтика воспета,
Царицей русского стиха,
Признавшей тьму во имя света
И добродетель для греха!..

Бывала ль она в Иеве?
Ходила ль в сосны на обрыв?
И пел ли ей, как королеве,
О светлом Эрике залив?

Он славил ли ее, как Ингрид,
Как королеву королев?
С тех пор, как склеп для Мирры вырыт,
Он заскорбел ли, поседев?

Не знаю я. Никто не знает.
То тайна Мирры и волны.
Но взор увидеть ожидает
Ее в сиянии луны.

Она мертва? Она воскреснет!
Она не может не ожить!
Она споет такие песни,
Что перестанет мир тужить!

Петроград.
I

Два острова

За постом Мартсом, в острых соснах,
Над морем высится обрыв
Для грезящих и безвопросных
В житейской прозе, — тех, кто жив!

Оттуда (там меня не троньте:
Мне ваши дрязги не нужны!)
Два острова на горизонте
В погоду ясную видны.

Пою обрыв, который вогнут
По направленью к ним дугой.
Один из них зовется Гогланд
И Белым — маленький, другой.

Их контуры маняще-четки,
Влекущи обликом своим.
Лелею мысль: в моторной лодке
Когда-нибудь поехать к ним.

Готовь судно, Василий Крохов,
Ты, обэстоненный рыбак!
А чтобы не было плыть плохо,
Возьмем и водку, и табак!

Петроград.
I

Нарва

Я грежу Нарвой, милой Нарвой,
Я грежу крепостью ее,
Я грежу Нарвой,— тихой, старой, —
В ней что-то яркое свое.

О, город древний! город шведский!
Трудолюбивый и простой!
Пленен твоей улыбкой детской
И бородой твоей седой.

Твой облик дряхлого эстонца
Душе поэта странно-мил.
И твоего, о Нарва, солнца
Никто на свете не затмил!

Твоя стремглавная Нарова
Галопом скачет в Гунгербург.
Косится на тебя сурово
Завидующий Петербург.

Как не воспеть твою мне честность
И граждан дружную семью,
И славную твою известность,
И... проституцию твою?

Она, как белая голубка,
Легка, бездумна и чиста!
О, добрый взгляд! О, лисья шубка!
О, некрасивых красота!

Петроград.
I

Юрьев

Где Эмбах, берег свой понурив,
Течет лифляндскою землей,
Как центр культурный, вырос Юрьев,
Такой радушный и живой.

Он, переназванный из Дерпта,
Немецкий дух не угасил.
В моих стихах найдется лепта
И Юрьеву, по мере сил.

О, ты, столетняя крапива,
Нам расскажи про прежний пир,
Про вкус студенческого пива,
Про лязг студенческих рапир;

Нам расскажи о глазках Гретхен,
Сентиментально-голубой,
И о беседке в парке ветхой,
О козннях, деянных тобой...

О романтической эпохе,
О рыцарстве былых времен,
Как упоенны были вздохи,
И как безоблачен был сон!..

Петроград.
I

Половцева-Емцова

Я помню вечер, весь свинцовый,
В лучах закатного огня,
И пальцы грезящей Емцовой,
Учившей Скрябину меня.

Играла долго пианистка,
И за этюдом плыл этюд.
А я склонился низко-низко,
И вне себя, и вне минут.

Так властно душу разубрала
Неизъяснимая печаль...
А после Вагнера играла,
И пели пальцы, пел рояль.

Да, пело сердце, пели пальцы
Ее, умеющие петь.
И грёзы, вечные скитальцы,
Хотели, мнилось, умереть.

Деревня тихо засыпала.
Всходило солнце из волны.
Мне в душу глубоко запала
Игра в ночь белую весны.

Петроград.
I

Евгению Пуни

Ты помнишь, мне любезный Пуни,
Как ты приехал раз ко мне,
И долго мы с тобой в июне
В полях бродили при луне?

У моря грезили, и в парке
Читали новые стихи?
Иль говорили о Петрарке,
Ложась в траву под сень ольхи?

Ты помнишь, милый мой Евгений,
Наш взгляд на женщин и семью?

Что должен жить безбрачно гений
И "за печатями семью"?

И только изредка, налётом,
Врываться в жизнь и, как пчела,
Ее впитав, вернуться к "сотам"
С бесстрастьем лика и чела?

Не раз захватывали страсти
Меня с тех пор, и наш проект
Отчасти выполнен, отчасти...
Но мысль и дело — разных сект!..

Петроград.
I

К Альвине

Не удивляться ничему...
К. Фофанов

Соседка, девочка Альвина,
Приносит утром молоко
И удивляется, что вина
Я пью так весело-легко.

Еще бы! — тридцать пять бутылок
Я выпил, много, в десять дней!
Мне позволяет мой затылок
Пить зачастую и сильней...

Послушай, девочка льняная,
Не удивляйся ничему:
Жизнь городская — жизнь больная,
Так что ж беречь ее? к чему?

Так страшно к пошлости прилипнуть, —
Вот это худшая вина.
А если суждено погибнуть,
Так пусть уж лучше от вина!

Петроград.
I

Почтальон

То по шоссе, для шины колком,
То по тропинке через лен,
То утрамбованным проселком
Велосипедит почтальон.

Он всем знаком. Он старый Перник.
Он служит здесь тридцатый год.
Письмо от Щепкиной-Куперник
Он мне в окно передает.

Я приглашаю на террасу
Его, усталого, зайти,
Чтоб выпить хересу иль квасу
И закусить в его пути.

Он входит очень деликатно
И подвигает стул к столу.
А море благостно-закатно,
Подобно алому стеклу.

Сосредоточенно и ровно
Он пьет токайское вино.
Что пишет мне Татьяна Львовна?
Но, впрочем, кажется темно.

Петроград.
I

Яля

В вуальной апельсинной шали
Идёт в вечерние поля.
Я выхожу на встречу к Яле,
Как в бурю лодка без руля.

Идет насмешливо, но робко.
Так угловато, но легко.
Зигзагами ведет нас тропка,
Ах, близко или далеко?

Я не влюблен в нее нисколько,
Как, впрочем, и она в меня.
Мы лишь слегка флёртуем только —
День изо дня. День изо дня.

Читаются стихи крылато:
Я — ей, и мне в ответ — она.
А небо морем все объято,
Волной захлёстнута луна.

Петроград.
I

Слава

Мильоны женских поцелуев —
Ничто пред почестью богам:
И целовал мне руки Клюев,
И падал Фофанов к ногам!

Мне п е р в ы м написал Валерий,
Спросив, как нравится мне он;
И Гумилев стоял у двери,
Заманивая в "Аполлон".

Тринадцать книг страниц по триста
Газетных вырезок — мой путь.
Я принимал, смотря лучисто,
Хвалу и брань — людишек муть.

Корректен и высокомерен,
Всегда в Неясную влюблен,
В своем призвании уверен,
Я видел жизнь, как чудный сон.

Я знаю гром рукоплесканий
Десятков русских городов,
И упоение исканий,
И торжество моих стихов!

Петроград.
I

Елизаветино Кикерино

Елизаветино! Налево,
От станции в одной версте,
Тоскует дылицкая дева,
По-своему, о красоте...

Дыша Оранской Изабеллой,
Вступаю в лиственный покой.
Молчит дворец меж сосен белый
И парк княгини Трубецкой.

За Дылицами — Вераланцы.
За Пятигорьем — Озерá.
Какие девичьи румянцы!
Жасминовые вечера!

Через Холóповицы прямо
Я прохожу к монастырю
И, на колени встав у храма,
Пою вечернюю зарю.

В моем порыве — глубь бездонья!
Я растворяюсь в тишине
И возвращаюсь чрез Арбонье
При новоявленной луне.

Петроград.
I

Веймарн

Под Веймарном течет Азовка, —
Совсем куриный ручеек.
За нею вскоре остановка.
Там встретит кучер-старичок.

Моей душе, душе вселенской,
Знаком язык цветов и звёзд.
Я еду к мызе Оболенской, —
Не больше трех шоссейных вёрст.

Вдали Большая Пустомержа.
Несется лошадь по росе.
Того и ждешь: вот выбьет стержень:
Ведь спицы слиты в колесе!

Проехан мост. Немного в горку,
И круто влево. Вот и двор.
Княгиня приоткрыла шторку.
И лай собак, и разговор.

Плывет туман от нижней Тормы,
Вуаля бледную звезду.
Зеленые в деревьях штормы,
И пахнут яблони в саду

Петроград.
I

Афоризмы Уайльда

Мы слышим в ветре голос скальда,
Рыдающего вдалеке,
И афоризмы из Уайльда
Читаем, сидя на песке.

Мы, углубляясь в мысль эстета,
Не презираем, а скорбим
О том, что Храм Мечты Поэта
Людьми кощунственно дробим...

Нам море кажется не морем,
А в скорби слитыми людьми...
Мы их спасем и олазорим, —
Возможность этого пойми!

Вотще! В огне своих страданий,
В кипеньи низменной крови,
Они не ищут оправданий
И не нуждаются в любви!

Петроград.
I

Ассоциация

Мелькнула сине перелинка
На крэме платья — за углом...
О Синей Птице Метерлика
Вдруг в мыслях выявлен излом.

Ассоциация символик,
Как ты захватна иногда!
По смеху узнаю́ я полек, —
По солнцу — таяние льда.

Не женщиной ли морефея
Прикинулась, или жена
Какого-либо Тимофея
В костюмы фей наряжена?!

И в первом случае — за птицей,
За Синей Птицей возгореть!
А во втором — за той "синицей"
Не стоит даже и смотреть.

Петроград.
I

Былое

Он длится, терпкий сон былого:
Я вижу каждую деталь,
Незначащее слышу слово,
К сну чуток, как к руке — роль.

ила малейшая мне мелочь,
Как ни была б она мала.
Не Дельвигу ли Филомела,
Чуть ощутимая, мила?

Люба не Пушкину ли няня?
И не Мюссе ль — перо Жорж Занд?
Не маргаритка ли — поляне?
И не горошку ль — столб веранд?

Всё незначительное нужно,
Чтобы значительному быть.
Былое так головокружно!
Былого не могу забыть!

Петроград.
I

Лейтмотивы

Всегда мечтательно настроен,
Я жизнь мечтанью предаю.
Я не делец. Не франт. Не воин.
Я лишь пою — пою — пою!

На что мне царства и порфиры?
На что мне та иль эта роль?
За струнной изгородью лиры —
Наикорольнейший король!

На что мне ваших мыслей холод
И политический раздор?
Весенний день горяч и золот, —
И у меня весенний взор!

Благословенны будьте, травы
И воды в зелени оправ!
Виновных нет: все люди правы,
Но больше всех — простивший прав!

Петроград.
I

Коляска

Четырехместная коляска
(Полурыдван полуковчег...)
Катилась по дороге тряско,
Везя пять взрослых человек.

Две очень молодые дамы
И двое дэнди были в ней.
Был пятым кучер. Этот самый
Стегал ленивых лошадей.

Июльский полдень был так душен,
Кружились злобно овода.
Наряд прелестниц был воздушен.
Сердца же — точно невода.

Их лица заливала краска, —
От страсти или от жары?..
— Вам не встречалась та коляска,
Скажите, будьте так добры?

Петроград.
I

Стэлла

Баронессе С. Р. М-ф

Сначала баронесса Стэлла
Прочла "Вы лжете мне, мечты!",
Потом из Грига мне пропела
Во имя т о л ь к о Красоты!

О, воплощенная Вервэна!
Античной пластики полна,
Приняла позы под Шопэна
Так отчеканенно она.

Апологетка поз Далькроза,
В окаменелости живой,
То пламенела грозороза,
То поникала головой...

...А я, в Калифа превращенный,
В халате пестром и чалме,
Сидел и, ею опаленный,
Крылил к ней руки в полутьме...

К Калифу руки простирая,
Заглядывала мне в глаза, —
И вновь кружилась, ускользая,
Вся — страсть! вся — трепет! вся — гроза!

А то, ко мне склоняясь близко,
И наслаждения суля,
Утонченная одалиска
Отпрядывала, опаля...

В глазах — узор чаруйной боли,
В груди — брожение огней...
А если б вышел я из роли
И женщину увидел в ней?!

Петроград.
I

Февраль

Февраль к Апрелю льнет фривольно,
Как фаворитка к королю.
Апрель, смеясь самодовольно,
Щекочет нервы Февралю.

Ночами снежно-голубыми
Мечтает палевый Февраль,
Твердя Весны святое имя,
О соловье, влекущем вдаль...

Дымящиеся малахиты
(Не море ль в теплом Феврале?),
Сокрыв прибрежные ракиты,
Ползут и тают в блеклой мгле.

Снег оседает. Оседая,
Он бриллиантово блестит.
И на него сосна седая
Самоуверенно глядит.

Осядет снег,— седые кудри
Смахнет бессмертная сосна.
Я слышу дрожь в февральском утре:
О, это вздрогнула весна!

Toila.
5. II

Высшая мудрость

Петру Ларионову

Я испытал все испытанья.
Я все познания познал.
Я изжелал свои желанья.
Я молодость отмолодал.

Давно все найдены, и снова
Потеряны мои пути...
Одна отныне есть основа:
Простить и умолять: "прости".
Жизнь и отрадна и страданна,
И всю ее принять сумей.
Мечта свята. Мысль окаянна.
Без мысли жизнь всегда живей.

Не разрешай проблем вселенной,
Не зная существа проблем.
Впивай душою вдохновенной
Святую музыку поэм.

Внемли страстям! природе! винам!
Устраивай бездумный пир!
И славь на языке орлином
Тебе — на время данный! — мир!

Toila.
II

Ямбург

Всегда-то грязный и циничный,
Солдатский, пьяный, площадной,
С культурным краем пограничный,
Ты мрешь над лужскою водой.

И не грустя о шелке луга,
Услады плуга не познав,
Ты, для кого зеркалит Луга,
Глядишься в мутный блеск канав.

Десяток стоп живого ямба,
Ругательных и злых хотя б,
Великодушно брошу, Ямбург,
Тебе, растяпа из растяп!

Тебя, кто завтра по этапу
Меня в Эстляндию пошлет,
Бью по плечу, трясу за лапу...
Ползучий! ты мне дал полет!

Ямбург.
9.III

По этапу

Мы шли по Нарве под конвоем,
Два дня под арестом пробыв.
Неслась Нарова с диким воем,
Бег ото льда освободив.

В вагоне заперты товарном, —
Чрез Везенберг и через Тапс, —
В каком-то забытьи кошмарном,
Все время слушали про "шнапс".

Мы коченели. Мерзли ноги.
Нас было до́ ста человек.
Что за ужасные дороги
В не менее ужасный век!

Прощайте, русские уловки:
Въезжаем в чуждую страну...
Бежать нельзя: вокруг винтовки.
Мир заключен, но мы в плену.

Ревель. *14*
III

В хвойной обители

И снова в хвойную обитель
Я возвращаюсь из Москвы,
Где вы меня не оскорбите
И не измучаете вы.

Вы, кто завистлив и бездарен,
Кто подло-льстив и мелко-зол,
Да, гений мудр и светозарен,
Среди бескрылых — он орел.

Как сердцу нестерпимо-грустно
Сознаться в ёловой тени,
Что мало любящих искусство,
Но тем ценней зато они.

Среди бездушных и убогих,
Непосвященных в Красоту,
Отрадно встретить их, немногих,
Кого признательно я чту.

Вы, изнуренные в тяжелых
Условьях жизни городской,
Ко мне придите: край мой ёлов,
В нем — Красота, а в ней — покой.

Тойла.
23. III

Рескрипт короля

Отныне плащ мой фиолетов,
Берэта бархат в серебре:
Я избран королем поэтов
На зависть нудной мошкаре.

Меня не любят корифеи, —
Им не удобен мой талант:
Им изменили лесофеи
И больше не плетут гирлянд.

Лишь мне восторг и поклоненье
И славы пряный фимиам.
Моим — любовь и песнопенья! —
Недосягаемым стихам.

Я так велик и так уверен
В себе,— настолько убежден, —
Что всех прощу и каждой вере
Отдам почтительный поклон.

В душе — порывистых приветов
Неисчислимое число.
Я избран королем поэтов, —
Да будет подданным светло!

Двусмысленная слава

Моя двусмысленная слава
Двусмысленна не потому,
Что я превознесен неправо, —
Не по таланту своему, —

А потому, что явный вызов
Условностям — в моих стихах
И ряд изысканных сюрпризов
В капризничающих словах.

Во мне выискивали пошлость,
Из виду упустив одно:
Ведь кто живописует площадь,
Тот пишет кистью площадной.

Бранили за смешенье стилей,
Хотя в смешеньи-то и стиль!
Чем, чем меня не угостили!
Каких мне не дали "pastilles"!

Неразрешимые дилеммы
Я разрешал, презрев молву.
Мои двусмысленные темы —
Двусмысленны по существу.

Пускай критический каноник
Меня не тянет в свой закон, —
Ведь я лирический ироник:
Ирония — вот мой канон.

Любители "Гелиотропа"

"Приказчик или парикмахер,
Еще вернее: maître d' hôtel" —
Так, в критиническом размахе
Рычала критика досель.

За что? — за тонкое гурманство?
За страсть к утонченным духам?
За строф нарядное убранство?
Из зависти к моим стихам?

Но кто ж они, все эти судьи —
Холопы или мудрецы?
Искусством бились ли их груди?
Впускали ль их в себя дворцы?

И знают ли они, что значит
Лиловый crème de violette?
Постигнут ли, как обозначит
Свои рефрэны триолет?

Поймут ли, что гелиотропа
Острей "Crigoria" Риго,
Что, кроме Тулы, есть Европа
И, кроме "русской", есть Танго?..

Всеприемлемость

Одно — сказать: "Все люди правы".
Иное — оправдать разбой.
Одно — искать позорной славы.
Иное — славы голубой.

Холопом называть профана
Не значит: брата — "мужиком".
Я, слившийся с природой рано,
С таким наречьем незнаком...

Любя культурные изыски
Не меньше истых горожан,
Люблю все шорохи, все писки
Весенних лесовых полян.

Любя эксцессные ликеры
И разбираясь в них легко,
Люблю зеленые просторы,
Дающие мне молоко.

Я выпью жизнь из полной чаши,
Пока не скажет смерть: "Пора!"
Сегодня — гречневая каша,
А завтра — свежая икра!..

Эпизод

На "Сказках Гофмана", зимою,
Я был невольно потрясен
И больно уязвлен толпою,
Нарушившей чаруйный сон:

Когда в конце второго акта
Злодей Олимпию разбил,
Олимпию,— как символ такта, —
Чью душу Гофман полюбил,

И Гофман закричал от муки
(Ведь он мечту свою терял!) —
Нежданные метнулись звуки:
Вульгарно зал захохотал!..

Я побледнел. Мне больно стало
И стыдно, стыдно за толпу:
Она над драмой хохотала,
Как над каким-то "ки-ка-пу"...

И я не знал, куда мне деться
От острой боли и стыда,
И погрузился в интермеццо
Пред пятым актом — навсегда.

"Кармен"

Кармен! какая в ней бравада!
Вулкан оркестра! Луч во тьме!
О, Гвадиана! О, Гренада!
О, Жорж Бизэ! О, Меримэ!

Кокетливая хабанера,
И пламя пляски на столе,
Навахи, тальмы и сомбреро,
И Аликант в цветном стекле!..

Застенчивая Микаэла
И бесшабашный Дон-Хозэ...
О ты, певучая новелла!
О, Меримэ! О, Жорж Бизэ!

И он, бравурный Эскамильо,
Восторженный тореадор:
И ты, гитанная Севилья,
И контрабанда в сердце гор...

Кармен! И вот — Медея Фигнер,
И Зигрид Арнольдсон, и Гай...
Пускай навеки май их сгинул, —
Но он ведь был, их звучный май!

Пусть время тленно, и сквозь сито
Его просеяны лета, —
Она бессмертна, Карменсита,
И несказáнно золота!

Дюма и Верди

Дюма и Верди воедино
Слились, как два родных ручья.
Блистает солнце. Тает льдина.
Чья драма? музыка к ней чья?

Она дороже амулета
И для души, и для ума.
О, Маргарита — Виолетта,
В тебе и Верди, и Дюма!

Душа элегией объята,
В ней музыкальное саше:
То вкрадчивая Травиата,
Прильнувшая к моей душе.

Элементарна? Устарела?
Сладка? опошлена? бледна?
Но раз душа на ней горела,
Она душе моей родна!

Наивны сморщенные книги
Прадедушек, но аромат,
Как бы ни спорил Каратыгин,
Неподражаемый хранят.

Он, кстати, как-то в разговоре,
Пусть — полном едкого ума,
Поверг меня в большое горе,
Назвав "водицею"... Томá!

Амбруаз Тома

Томá, который ... Что иное
Сказать о нем, как не — Тома!..
Кто онебесил все земное
И кто — поэзия сама!

Тома — "водица"!.. Как хотите,
Подсуден даже модернист,
Сказавший, — вы меня простите, —
Что композитор... "водянист"!..

Тома, озвучивший Миньону,
Созданье Гетевской мечты,
Кому весь мир воздал корону
За звуки чистой красоты!

Каким же нужно быть чурбаном,
Бездушным, черствым и сухим
И непробивным барабаном
И просто гадким и плохим,

Чтобы назвать "Миньону" "нотным
Кваском", ее не ощутив
И не поняв, о чем поет нам
За лейтмотивом лейтмотив!

О чем поет

О чем поет? поет о боли
Больного старика — отца,
Поет о яркой жажде воли,
О солнце юного лица.

О чем поет? о крае смутном,
Утерянном в былые дни,
О сне прекрасном и минутном,
О апельсиновой тени...

О чем поет? о вероломстве
Филины, хрупкой как газель,
О нежном с Мейстером знакомстве,
О хмеле сладостных недель...

О чем поет мотив крылатый,
Огнем бегущий по крови?
О страстной ревности Сператы,
О торжестве ее любви!

О чем поет? о многом, многом,
Нам близком, нужном и родном,
О легкомысленном, о строгом,
Но вечно юном и живом!

Обзор

В тебя, о тема роковая,
Душа поэта влюблена:
Уже глава сороковая
Любовно мной закруглена.

Я, перечитывая главы,
Невольно ими изумлен:
Они стрекозны и лукавы,
И шелковисты, точно лен.

Какая легкость и ажурность,
И соловейность, и краса!
И то — помпезная бравурность!
И то — невинная роса!

Чего в них нет! в них пульс культуры
И ассонансовый эксцесс,
И стилевой колоратуры
Страна безрáзумных чудес...

В них взгляд на ценности земные,
Омонуменченный момент,
В них волны моря голубые —
Балтийский аккомпанемент.

Сон в деревне

Грассирующая кокетка,
Гарцующая на коне.
Стеклярусовая эгретка —
На пляже méditerrannée.

Навстречу даме гарцовальщик,
Слегка седеющий виконт,
Спортсмен, флёртэр и фехтовальщик,
С ума сводящий весь beau-monde...

Она, в горжетке горностая,
В щекочущий вступает флёрт,
И чаек снеговая стая
Презреньем обдает курорт.

Ее зовет король рапирный
Пить с мандаринами крюшон,
И спецный хохоток грассирный
Горжеткой мягко придушен...

Трактовка сна

Фелиссе Круут

Зачем приснилась мне гарцунья
И он, неведомый гарцун?..
Уж это не весна ль — чарунья
Испытывает верность струн?..

Не смутные ли это зовы
Воспрянувшей от сна весны?..
Недаром дали бирюзовы,
Недаром небеса ясны...

Недаром в царстве беззаконий,
В повиновении весне,
Не только пламенные кони, —
Гарцуют всадники — во сне...

Недаром взор настроен зорко,
И возникают в сини гор
Она, неведная гарцорка,
И он, неведомый гарцор...

Речонка

Меж Тойлою и Пюхаеги —
Ложбина средь отвесных гор.
Спускаясь круто к ней в телеге,
Невольно поднимаешь взор.

В ложбине маленькая речка, —
В июле вроде ручейка, —
(...О, речка, речка-быстротечка!)
Течет... для рачного сачка?!

Уж так мала, уж так никчемна,
Что — для чего и создана?
Но и в нее глядит надземно
Небрезгающая луна...

По ней двухлетняя девчонка
Пройдет, "не замочивши ног"...
Но эта самая речонка
Весной — бушующий поток!

Она внушительна в разливе,
Она слышна за три версты,
Она большой реки бурливей
И рушит крепкие мосты.

Тогда люблю стоять над нею
На сером каменном мосту:
Она бурлит,— я пламенею,
В ней славословя Красоту!

Валерию Брюсову

Нежны berceuse'ные рессоры —
Путь к дорогому "кабаку".
В нем наша встреча,— после ссоры, —
Меж наших вечеров в Баку.

Я пил с армянским мильонером
Токай, венгерское вино.
В дыму сигар лилово-сером
Сойтись нам было суждено.

Походкой быстрой и скользящей,
Мне улыбаясь, в кабинет
Вошли Вы — тот же все блестящий
Стилист, философ и поэт.

И вдохновенно Вам навстречу
Я встал, взволнованный, и вот —
Мы обнялись: для новой речи,
Для новых красок, новых нот!

О, Вы меня не осудили
За дерзкие мои слова, —
И вновь певцу лесных идиллий
Жизнь драгоценна и нова!

Я извиняюсь перед Вами,
Собрат, за вспыльчивость свою
И мне подвластными стихами
Я Вас по-прежнему пою!

Те, кого так много

От неимения абсента,
От созерцания кобур —
Я раздражённей дез'Эссента
У Гюисманса в "A rebours".

И глаз чужих прикосновенье
На улице или в лесу —
Без бешенства, без раздраженья,
Без боли — как перенесу?!

А от "мурлыканья" и "свиста"
Меня бросает в пот и дрожь:
В них ты, ирония, сквозисто
Произрастаешь и цветешь!

Но нет непереносней боли —
Идти дорогой меж домов,
Где на скамейках в матиоле
Немало "дочек" и "сынков"...

Скамейки ставят у калиток,
И дачники садятся в ряд:
Сидят и с мудростью улиток
О чем-то пошлом говорят.

И "похохатывают" плоско, —
Сам черт не разберет над чем:
Над тем ли, что скрипит повозка,
Иль над величием поэм!..

Обозлённая поэза

В любви не знающий фиаско
(За исключеньем двух-трех раз...)
Я, жизнь кого — сплошная сказка,
От дев не прихожу в экстаз:

Я слишком хорошо их знаю,
Чтоб новых с ними встреч желать,
И больше не провозглашаю
Им юношески: "Исполать!"

Все девы издали прелестны
И поэтичны, и милы, —
Вблизи скучны, неинтересны,
И меркантильны, и пошлы.

Одна гоняется за славой,
Какой бы слава ни была;
Другая мнит простой забавой
Все воскрыления орла;

Мечтает третья поудобней
Пристроиться и самкой быть;
Но та всех женщин бесподобней,
Кто хочет явно изменить!

Притом не с кем-нибудь достойным,
А просто с первым наглецом —
С "красивеньким", богатым, "знойным",
С таким картиночным лицом!

Маленькие пояснения

То не пальнула митральеза,
Не лопнул купол из стекла, —
То "Обозлённая поэза"
Такой эффект произвела!

Еще бы! надо ль поясненье?
Поэт "девический"— и что ж?
Такое вдруг "разуверенье",
Над девой занесенный "нож"...

Нет, кроме шуток,— "отчего бы",
Мне скажут: "странный этот взгляд
С оттенком плохо скрытой злобы?"
И — объясниться повелят.

Охотно, милые синьоры,
Охотно, милые mesdames,
Рассею я все ваши споры,
Вам объяснения я дам!

Мой взгляд на женщин есть не личность,
А всеми обобщенный факт:
Не только "этих дам публичность",
Но и "не этих домный такт"...

Есть непонятные влеченья, —
Живой по-своему ведь жив...
Бывают всюду исключенья,
Но в массе — вывод мой не лжив.

О юге

Тебя всё манит Калабрия,
Меня — Норвегии фиорд.
О, дай мне взять, моя Мария,
Последний северный аккорд!

Дай утонуть в Балтийском море
Иль на эстляндском берегу
Уснуть, лаская взором зори,
Что вечно в сердце берегу...

Тебя влечет Александрия,
Тебе всё грезится Каир,
Как мне — Миррэлия, Мария,
Как Сологубу — сон-Маир!

Ты мной всегда боготворима,
И за тобою я пойду
За них — меридианы Рима —
Прославить южную звезду.

Тебе угрозна малярия,
Но если хочешь, — верный друг,
Я для тебя, моя Мария,
Уеду с севера на юг!

Март

Март — точно май: весь снег растаял;
Дороги высохли; поля
Весенний луч теплом измаял, —
И зеленеет вновь земля.

И море в день обезольдилось,
Опять на нем синеет штиль:
Все к созиданью возродилось,
И вновь зашевелилась пыль.

На солнце дров ольховых стопик
Блестит, как позлащенный мел,
И соловей,— эстонский ööpik, —
Запеть желанье возымел...

Опять звенит и королеет
Мой стих, хоть он — почти старик!..
В закатный час опять алеет
Улыбка грустной Эмарик.

И ночь — Ночь Белая — неслышной
К нам приближается стопой
В сиреневой накидке пышной
И в шляпе бледно-голубой...

Madis

Ежевечерно из "Quo vadis"
Играл чахоточный цитрист.
Ему внимал грустящий Madis,
Рыбак и местный колонист.

"Как в сеть весной пойдет салака,
И как-то будет дорога?"
Блестит луна на глянце лака
Шикарящего сапога...

"И крапчатая лососина
Поймается ли весом в пуд?"
Белеет шляпы парусина,
Дрожит клочок паучьих пут...

"А вдруг среди костлявых сирко
Пошлёт мне небо осетра?!"
И поощряет грёзы кирка,
В луне сафирно-серебра...

Норвежские фиорды

Я — северянин, и фиорды
Норвежские — моя мечта,
Где мудро, просто, но и гордо
Живет Царица Красота.

Лилово-стáльные заливы
В подковах озерносных гор:
В них зорь полярных переливы,
Меж сосен белой розы взор.

И синеглазые газели,
Чьи игр созерцает лось,
Устраивают карусели,
Где с серым синее слилось...

Там тишина невозмутима,
И только гордый орлий клич
Ласкает ухо пилигрима,
Способного его постичь...

Льву Никулину

Когда, воюя, мир лукавил
Позерством социальных проб,
Несчастный император Павел
Свой покидал столетний гроб...

В крестах, отбрасывавших тени,
На склоне золотого дня,
Приял великий неврастеник
Поэта облик, трон кляня...

Принял для самооправданья,
Для выявленья существа
Своей души, в часы страданья
Струившей чары волшебства...

Что ж, ввертесь странному капризу,
Поэт и царь, и, сев верхом,
Направьте шаг коня на мызу
"Ивановку", в свой бредный дом.

Въезжайте в ветхие ворота,
Где перед урной, над рекой,
Вас ждет скончавшаяся рота
И я, поклонник Ваш живой...

Стихи И. Эренбурга

В дни пред паденьем Петербурга, —
В дни пред всемирною войной, —
Случайно книжка Эренбурга
Купилась где-то как-то мной.

И культом ли католицизма,
Жеманным ли слегка стихом
С налетом хрупкого лиризма,
Изящным ли своим грехом, —

Но только книга та пленила
Меня на несколько недель:
Не шрифт, казалось, не чернила,
А — тонко-тонная пастэль.

Прошли лета. Кумиры ниже
Склонились, я — достиг вершин:
Мне автор книгу из Парижа
Прислал в обложке crêpe de chine.

Она была, должно быть, третьим
Его трудом, но в ней, увы,
Не удалось того мне встретить,
Что важно в небе — синевы.

И нет в ней сладостного ига,
Померкла росная краса...
Мне скажут: "небеса — не книга",
Пусть так, но книга — небеса!..

Синее

Сегодня ветер, беспокоясь,
Взрывается, как динамит,
И море, как товарный поезд,
Идущий тяжело, шумит.

Такое синее, как небо
На юге юга, как сафир.
Синее цвета и не требуй:
Синей его не знает мир.

Такое синее, густое,
Как ночь при звездах в декабре.
Такое синее, такое,
Как глаз газели на заре.

"Синее нет", так на осине
Щебечут чуткие листы:
"Как василек, ты, море, сине!
Как небеса, бездонно ты!"

Банальность

Когда твердят, что солнце — красно,
Что море — сине, что весна
Всегда зеленая — мне ясно,
Что пошлая звучит струна...

Мне ясно, что назвавший солнце
Не иначе, как красным, туп;
Что рифму истолчет: "оконце",
Взяв пестик трафаретных ступ...

Мне ясно, что такие краски
Банальны, как стереотип,
И ясно мне — какой окраски
Употребляющий их "тип"...

И тем ясней, что солнце — сине,
Что море — красно, что весна —
Почти коричнева!.. — так ныне
Я убеждаюсь у окна...

Но тут же слышу голос бесий:
"Я вам скажу, как некий страж,
Что это ложный миг импрессий
И дальтонический мираж"...

Рыбная ловля

Вновь ловля рыбная в разгаре:
Вновь над рекою поплавки,
И в рыбном, у кустов, угаре
Азартящие рыбаки.

Форель всегда клюет с разбегу
На каменистой быстрине.
Лещ апатичный любит негу:
Клюет лениво в полусне.

И любящий ракитный локон,
Глубокий теневой затон,
Отчаянно рвет леску окунь,
И всех сильнее бьется он.

Рыб всех глупей и слабовольней,
Пассивно держится плотва.
А стерлядь, наподобье молний
Скользнув, песком ползет едва.

У каждой рыбы свой характер,
Свои привычки и устав...
... Не оттого ли я о яхте
Мечтаю, от земли устав?..

В парке

А ночи с каждым днем белее,
И с каждой ночью ярче дни!
Идем мы парком по аллее.
Налево море. Мы — одни.

Зеленый полдень. В вешней неге,
Среди отвесных берегов,
Река святая, — Pühajõgi, —
Стремится, слыша моря зов.

На круче гор белеет вилла
В кольце из кедров и елей,
Где по ночам поет Сивилла,
Мечтая в бархате аллей.

Круглеет колющий кротекус,
И земляничны тополя,
Смотрящиеся прямо в реку,
Собою сосны веселя.

О, принц Июнь, приди скорее,
В сирень коттэджи разодень!
Ночь ежедневно серебрее,
И еженощно звонче день!

Рассказ княгини

Св. кн. О. Ф. Им-ской

То было в Гатчине, лет десять
Тому назад, но до сих пор
Отрадно мне тем летом грезить
И вспоминать наш разговор.

И вот, я помню: мы, княгиня,
Сидим в столовой. Ночь близка.
Вы говорите мне о сыне,
И в Вашем голосе — тоска:

О, если юность возвратить бы!
И быть счастливою, как он!..
Его любовь... его женитьба...
И жизнь на озере — как сон...

Он в честь своей Прекрасной Дамы, —
Полу-поэт, полу-toqué, —
Под Витебском построил замок
На озеровом островке...

"Он создал царство в сердце леса!" —
Восторженно твердите Вы.
Поддакивает вам профессор
Наклоном легким головы.

Я пью вино и вижу: в тине
Озёрной — косы, много кос...
Устала старая княгиня
От юных, — невозможных, — грёз...

Бэбэ

Баронессе М. А. Д-н

Что было сказочно лет в девять,
То в двадцать девять было б как?
Могли б Вы также королевить
Теперь, вступив со мною в брак?

Вы оправдали бы те слезы,
Что Вами пролиты, теперь?
Вы испытали бы те грезы?
Почувствовали б ряд потерь?

Где Вы теперь? все также ль новы
Для Вас мечтанья и слова?
Быть может, замужем давно Вы,
Но, впрочем, может быть, вдова?..

Меня Вы помните ль? бывали
Вы у меня на вечерах?
На Вашего лица овале
Текла ль слеза о детских снах?

Прочтете ли поэзы эти?
Найдете ль строки о себе?
А, может быть, Вас нет на свете,
Моя наивная Бэбэ?..

Иль Вашей зрелости одевить
Уже не в силах жизни мрак?..
Что было интересно в девять,
То в двадцать девять было б как?!

Кн. Б. А. Тенишеву

Князь! Милый князь! ау! Вы живы?
Перебирая писем ряд,
Нашел я Ваше, и, счастливый
Воспоминаньем, как я рад!

Мне сразу вспомнилась и школа,
И детство, и с природой связь,
И Вы, мой добрый, мой веселый,
Мой остроумный, милый князь!

В Череповце, от скуки мглистом
И тривиальном, и пустом,
Вас называли модернистом
За Сологуба первый том...

Провинциальные кокетки
От князя были без ума,
И казначейша (лик с конфетки!)
Была в Вас влюблена сама...

Ведь штраусовская "Электра" —
Не новгородская тоска!..
О, Вы — единственный директор,
Похожий на ученика!

И вот, когда Вы, поседелый,
Но тот же юный и живой,
Пришли на вечер мой, я целый
Мирок восставил пред собой.

И поздравленья принимая
От Вас, и нежно Вас обняв,
Я вспомнил дни иного мая
И шорохи иных дубрав...

Стихи Ахматовой

Стихи Ахматовой считают
Хорошим тоном (comme il faut...)
Позёвывая, их читают,
Из них не помня ничего!..

"Не в них ли сердце современной
Запросной женщины?" — твердят
И с миной скуки сокровенной
Приводят несколько цитат.

Я не согласен, — я обижен
За современность: неужель
Настолько женский дух унижен,
Что в нудном плаче — самоцель?

Ведь, это ж Надсона повадка,
И не ему ль она близка?
Что за скрипучая "кроватка"!
Что за ползучая тоска!

Когда ж читает на эстраде
Она стихи, я сам не свой:
Как стилен в мертвом Петрограде
Её высокопарный вой!..

И так же тягостен для слуха
Поэт (как он зовётся там?!)
Ах, вспомнил: "мраморная муха"[1].
И он же — Осип Мандельштам.

И если в Лохвицкой — "отсталость",
"Цыганщина" есть "что-то", то
В Ахматовой ее "усталость"
Есть абсолютное ничто.

Лира Лохвицкой

Порыв натуры героичной,
Полет в бездонье голубом,
Меж строчек голос мелодичный —
Вот пафос этой лиры в чем!

Ее слеза слезой зовется
И выглядит она слезой,
И полным сердцем сердце бьётся,
Гроза трепещет в нём грозой.

Изысканные полутоны
Есть полутоны, а не ноль.
Мучительны Агнессы стоны
И настоящая в них боль.

Виденье принца Вандэлина
Есть не слова, а — Вандэлин,
Возникновения причина
Кого — в рядах мирских причин.

И ведьма у нее есть ведьма,
А не — "нарочно", "для детей".
При том стихи бряцают медью
И веют запахом полей.

Бальмонт

Его стихи — сама стихия.
Себе бессмертье предреша,
Свершает взлёты огневые
Его стихийная душа.

Он весь поэт, поэт великий.
В нем голоса́ всего и всех.
Неуловимый лик столикий
Отображает свет и грех.

Он ощущает каждый атом
И славословит солнце он
То Серафимом, то пиратом
Является хамелеон.

Но вместе с тем он весь, из дюжин
Томов составленный своих,
Мне не желанен и не нужен:
Я не люблю Бальмонта стих.

[1] Честь этого обозначения принадлежит кубо-футуристам. — *Примеч. Северянина.*

Есть что-то приторное в книгах
Его, что слаще голубей...
И Фофанов в своих веригах,
В своих лохмотьях — мне любей!

Брюсов

Никем не превзойденный мастер.
Великий ритор и мудрец.
Светило ледовитой страсти.
Ловец всех мыслей, всех сердец.

Разламывающая сила
Таится в кованых стихах.
Душа рассудок научила
Любить, сама же пала в прах.

И оттого — его холодность:
Душа, прошедшая сквозь ум.
Его бесспорная надмодность
Не столь от чувства, сколь от дум.

Великий лаборант, он каждый
Порыв усвоил и постиг.
Он мучим неизбывной жаждой
Познанья всех вселенских книг.

В нем фокус всех цветов и светов
И ясной мысли торжество.
Он — президент среди поэтов.
Мой царский голос за него.

Сологуб

Какая тающая нежность!
Какая млеющая боль!
Что за чеканная небрежность!
Что за воздушная фиоль!

Он весь из сладостного вздоха,
Он весь — безгрешное дитя...
Плохое у него не плохо,
И темное поет, блестя...

Изысканнейший рисовальщик.
Провидец существа людей.
Он — чарователь, чаровальщик,
Чарун, он — чарник, чародей.

Так, пой же, пой же, нам, фиоль же,
Струи свой ароматный свет!
Такой поэт, каких нет больше:
Утонченней, чем тонкий Фет.

Гиппиус

Блистательная Зинаида
Насмешливым своим умом,
Которым взрощена обида,
Всех бьет в полете, как крылом...

Холодный разум ткет ожоги,
Как на большом морозе — сталь.
Ее глаза лукаво-строги,
В них остроумная печаль.

Большой поэт — в ее усмешной
И едкой лирике. Она
Идет походкою неспешной
Туда, где быть обречена.

Обречена ж она на царство
Без подданных и без корон.
Как царственно ее коварство,
И как трагично-скромен трон!

Пять поэтов

Иванов, кто во всеоружьи
И блеске стиля,— не поэт:
В его значительном ненужьи
Биенья сердца вовсе нет.

Андрея Белого лишь чую,
Андрея Белого боюсь...
С его стихами не кочую
И в их глубины не вдаюсь...

Пастэльно-мягок ясный Бунин,
Отчётлив и приятно-свеж.
Он весь осолнечен, олунен,
Но незнаком ему мятеж.

Кузмин изломан черезмерно,
Напыщен и отвратно-прян.
Рокфорно, а не камамберно,
Жеманно-спецно обуян.

Нет живописней Гумилева:
В лесу тропическом костер!
Благоговейно любит слово.
Он повелительно-остер.

Ее каприз

Памяти Н. Львовой

Я с нею встретился случайно:
Она пришла на мой дебют
В Москве. Успех необычайный
Был сорван в несколько минут.

Мы с Брюсовым читали двое
В "Эстетике", а после там
Был шумный ужин с огневою
Весёлостью устроен нам.

И вот она встает и с блеском
В глазах — к Валерию, и тот,
Поспешно встав движеньем резким,
С улыбкою ко мне идет:

"Поцеловать Вас хочет дама",
Он говорит, и я — готов.
Мы с ней сближаемся, и прямо
Передо мной — огонь зрачков...

Целую в губы просветленно,
И тут же на глазах у всех
Расходимся мы церемонно,
Под нам сочувствующий смех.

Виктор Гофман

Памяти его

Его несладкая слащавость,
Девическая бирюза
И безобидная лукавость
Не "против" говорят, а "за".

Капризничающий ребенок,
Ребёнок взрослый и больной,
Самолюбив и чутко-тонок
Души надорванной струной.

К самопожертвованию склонный,
Ревнивый робко, без хлопот,
В Мечту испуганно-влюбленный, —
Чего ему не достает?

Не достает огня и силы,
Но именно-то оттого
Так трогательно сердцу милы
Стихи изящные его.

Пушкин

Он, это — чудное мгновенье,
Запечатлённое в веках!
Он — воплощенье Вдохновенья,
И перед ним бессилен прах...

Лишь он один из всех живущих
Не стал, скончавшись, мертвецом:
Он вечно жив во всех поющих,
И смерть здесь не звучит "концом".

В его созданьях Красота ведь
Показывает вечный лик.
Его нам мертвым не представить
Себе, и этим он велик!

Пускай он стар для современья,
Но современье для него
Ничтожно: ведь, его мгновенье —
Прекрасней века моего!

У моря

Финляндский ветер с моря дует, —
Пронзительно-холодный норд, —
И зло над парусом колдует,
У шлюпки накреняя борт.

Иду один я над отвесным
Обрывом, видя волн разбег,
Любуясь и́розо-телесным
Песком. Все зелено — и снег!..

Покрыто снегом всё подскалье
От самых гор и до песка.
А там, за ним, клокочет далью
Всё та же синяя тоска...

Зелёный верх, низ желто-синий,
И промежуток хладно-бел.
Пустыня впитана пустыней:
Быть в море небу дан удел.

К морю

Полно тоски и безнадежья,
Отчаянья и пустоты,
В разгуле своего безбрежья,
Безжалостное море, ты!

Невольно к твоему унынью
Непостижимое влечёт
И, упояя очи синью,
Тщетою сердце обдаёт.

Зачем ты, страшное, большое,
Без тонких линий и без форм?
Владеет кто твоей душою:
Смиренный штиль? свирепый шторм?

И не в тебе ли мой прообраз, —
Моя загадная душа, —
Что вдруг из беспричинно-доброй
Бывает зверзче апаша?

Не то же ли и в ней унынье
И безнадежье, и тоска?
Так влейся в душу всею синью:
Она душе моей близка.

Разбор собратьев

Разбор собратьев очень труден
И, согласитесь, щекотлив:
Никто друг другу не подсуден,
И каждый сокровенным жив...

Но не сказать о них ни слова —
Пожалуй, утаить себя...
Моя душа сказать готова
Все, беспристрастье возлюбя.

Тем мне простительней сужденье
О них, что часто обо мне
Они твердят — без снисхожденья,
Не без пристрастия вполне...

Я Пушкиным клянусь, что святы
Характеристики мои,
Что в них и тени нет расплаты
За высмеянные стихи!

Василию Каменскому

Да, я люблю тебя, мой Вася,
Мой друг, мой истинный собрат,
Когда, толпу обананася,
Идешь с распятия эстрад!

Тогда в твоих глазах дитяти —
Улыбчивая доброта
И утомленье от "распятий",
И, если хочешь, красота...

Во многом расходясь с тобою,
Но ничего не осудя,
Твоею юнью голубою
Любуюсь, взрослое дитя!

За то, что любишь ты природу,
За то, что веет жизнь от щек
Твоих, тебе слагаю оду,
Мой звонкоструйный Журчеек!

После "Онегина"

Сегодня утром после чая,
Воспользовавшись мерзлым днем,
"Онегина" — я, не скучая,
Читал с подъемом и огнем.

О, читанные многократно
Страницы, юности друзья!
Вы, как бывало, ароматны!
Взволнован так же вами я!

Здесь что ни строчка — то эпиграф!
О, века прошлого простор!
Я современности, как тигров,
Уже боюсь с недавних пор.

И если в пушкинское время
Немало было разных "но",
То уж теперь сплошное бремя
Нам, современникам, дано...

Конечно, век экспериментов
Над нами — интересный век...
Но от щекочущих моментов
Устал культурный человек.

Мы извращеньем обуяны,
Как там, читатель, не грози:
И духу вечному Татьяны
Мы предпочтем "душок" Зизи!..

Интермеццо

Чаруют разочарованья
Очарованием своим...
Культурные завоеванья
Рассеиваются, как дым...

Обвеяны давно минувшим,
Им орошенные мечты,
Минувшим, ласково-прильнувшим
К мечтам, больным от пустоты...

Неизъяснимые волненья
Поят болеющую грудь...
На нежном пляже вдохновенья
Так несказáнно — отдохнуть!..

Непостижимые желанья
Овладевают всей душой...
Чаруют разочарованья
Очарованья пустотой...

Рисунок иглой

Ореховые клавесины,
И отраженная в трюмо
Фигурка маленькой кузины,
Щебечущей на них Рамо...

В углу с подушкою качалка
Воздушнее затей Дидло.
На ней засохшая фиалка,
Которой сердце отцвело...

Оплывшие чуть жалят свечи,
Как плечи — розу, белый лоб.
Окно раскрыто в сад. Там вечер.
С крутин плывет гелиотроп.

Все ноты в слезовом тумане,
Как будто точки серебра...
А сердце девичье — в романе,
Украдкой читанном вчера...

В деревне

В деревне, где легко и свято
Природе душу передам,
Мне прямо страшно от разврата
Столичных девствующих дам.

И здесь, — где поле, лес и книги,
И Богом озаренный дом, —
Тем отвратительней интриги,
Столиц Гоморра и Содом.

Я вовсе не любитель охать
И ныть, но любо вспомнить зло
Их торжествующую похоть,
И как их ею развезло.

Нелюбящий нравоученья
И презирающий мораль,
Я не могу без возмущенья
Их пакостную вспомнить саль...

"Зола в стекле"

Казалось бы, что благородство
Есть свойство нужное для всех,
Что в негодяйстве яд уродства
И в пакости — бесспорный грех;

Что не достоинством считать бы
Нам благородство, а — судьбой,
Не волочиться после свадьбы
За первой юбкой площадной;

Не наставлять рогов мужьям бы
С мимоидущим молодцом,
И не писать бы эти ямбы
С гневом пылающим лицом.

Казалось бы!.. На самом деле ж
Все по-иному на земле:
В меня за правду злобой целишь
Ты, человек, — "зола в стекле"!

А. К. Толстой

Кн. Л. М. Ухтомской

Граф Алексей Толстой, чье имя
Звучит мне юностью моей
И новгородскими сырыми
Лесами в густоте ветвей;

Чей чудный стих вешне-березов
И упоенно-соловьист,
И тихий запад бледно-розов;
И вечер благостно-росист;

Он, чьи припевы удалые —
Любви и жизни торжество;
Чья так пленительна Мария,
И звонко-майно "Сватовство";

Он, чье лицо так благородно,
Красиво, ясно и светло;
Чье творчество так плодородно
И так роскошно расцвело;

Ему слагаю, благодарный,
Восторженные двадцать строк:
Его напев великодарный —
Расцвета моего залог!

Тайна песни

Обворожительных имений,
Рек, деревень, садов и сел
На свете много; тем не меней, —
Кто где всю жизнь свою провел,

Иль только юность, только детство, —
Свой славословит уголок,
Поет, не разбирая средства,
Его, от прочих мест далек.

Неподражаемых поэтов,
Художников, артистов и
Музыкотворцев — много, в этом
Уж убедиться вы могли.

Однако же, у всяких вкусов
Излюбленный искусник свой:
Одним — мил Дебюсси и Брюсов,
Другим — Серов и А.Толстой.

Очаровательных созданий
Не мало между разных рас:
Блондинок цвета шерсти ланей,
Брюнеток с васильками глаз.

И редко тот, кто любит шведку,
Японкой будет увлечен.
Лишь соловей, вспорхнув на ветку,
И я, такой же, как и он,

Поем равно все то, что видим,
И славословим всех равно.
Мы никого не ненавидим,
Да и не любим заодно!

Не оттого ль?..

Итак, нежданное признанье
Слетело с изумленных уст!..
Не оттого ль мое терзанье?
Не оттого ли мир мне пуст?

Не оттого ли нет мне места,
Взлелеянного мной вполне?
И в каждой девушке невеста
Является невольно мне?

Не оттого ль без оговорок
Я не приемлю ничего?
Не оттого ль так жутко-зорок
Мой взор, вонзенный в Божество?

Не оттого ль мои паденья,
Из глуби бездны снова взлет?
Не оттого ль стихотвореньям
Чего-то все недостает?..

И как судить я брата смею,
Когда я недостатков полн,
И, — уподобленный пигмею, —
Барахтаюсь в пучине волн?..

Чары соловья

Но соловей не величавей
Меня, а все ж он — соловей,
Чья песнь посвящена дубраве
И первым трепетам ветвей!

В его бесцельном распеванье
Не больше смысла, чем в траве,
И все же в нем очарованье, —
В ничтожном этом соловье!

И в пенье бестенденциозном
Не мудрость высшая ль видна?
Не надо вовсе быть серьезным,
Когда томит тебя весна!

Весной упиться всем уменьем
Души безра́зумной умей!
Так говорим волшебным пеньем
Тебе и я, и соловей!

Возрождение

Величье мира — в самом малом.
Величье песни — в простоте.
Душа того не понимала,
Нераспятая на кресте.

Теперь же, после муки крестной,
Очищенная, возродясь,
Она с мелодией небесной
Вдруг обрела живую связь.

Освободясь от исхищрений
Когтистой моды, ожил стих —
Питомец чистых вдохновений
И вешних радостей живых.

И вот потек он ручейково,
Он бьет струей поверх запруд,
И нет нигде такой оковы;
Зальдить ручей — мой вольный труд!

"Эти" мужчины

Предвижу критиков ухмылки,
Их перекошенные рты.
Их презирает стих мой пылкий —
Явленье истой красоты!

Огонь святого вдохновенья
Растопит скептицизма лед,
И критиков в одно мгновенье
Закружит мой водоворот.

В нем эти лысые, косые,
Кривые, пошлые и все,
Кем разукрашена Россия,
Вдруг явятся во всей красе.

И взвоют "евнухи Парнаса",
Кружась передо мной волчком:
"Позволь, о автор "Ананасов",
Тебя ругнуть... чуть-чуть... бочком:

Ведь при такой дороговизне
Как нам прожить без руготни?"...
Нет, кроме шуток, эти "слизни"
Существовали в оны дни

Почти что мной, напропалую
Меня угодливо браня,
В глаза — чуть руки не целуя
И ремесло свое кляня...

Вне политики

Где ходит море синим шагом
То к берегу, то к островам,
Нет плаца бешеным ватагам,
Нет фразы взбалмошным словам;

Где в зелень берегов одета
Златисто-каряя река,
Здесь нет ни одного "кадета",
Ни единого "большевика".

И где в растущем изумруде
Лесов и поля дышит Бог,
Здесь братьями живут все люди
И славословят каждый вздох.

И здесь, где лишь от счастья плачет
Живой, где горести чужды,
Здесь нет политики, и, значит,
Нет преднамеренной вражды!

Доказательство рабства

Есть доказательство (бесспорней
Его, пожалуй, не найти!),
Что вы, культурники, покорней
Рабов, чем вас ни возмути! —

Вы все, — почти без исключенья,
И с ранних юношеских лет, —
Познали радость опьяненья
И пьяных грез чаруйный бред.

И что же? Запрещенье водки —
Лишенье вас свободных грез —
Вы, — апатичны, вялы, кротки, —
Перенесли, как жалкий пес!

Вы без малейшего протеста
Позволили вас обокрасть, —
И ваше грезовое место
Взяла разнузданная власть!

Пожалуй, с солнцем и сиренью
Могли б расстаться без борьбы?!..
Примите ж хлесткое презренье
Мое, культурные рабы!

Соната "Изелина"

(Кнут Гамсун, "Пан")

I. Встреча

Спи, спи! пока ты будешь спать,
Я расскажу тебе о ночи
Моей любви, как не отдать
Себя ему — не стало мочи.

Я дверь забыла запереть
Свою шестнадцатой весною:
Ах, веял теплый ветер, ведь,
Ах, что-то делалось со мною!..

Он появился, как орел.
Мы встретились однажды утром
Перед охотой. Он пришел
Из странствий юно-златокудрым.

Со мной по саду он гулял,
И лишь меня рукой коснулся,
Он близким, он родным мне стал.
В нас точно кто-то встрепенулся.

И у него на белом лбу
Два лихорадочных и красных

Пятна явились. Я судьбу
Узрела в них — в желаньях страстных.

II. Наивность

Потом... Потом я вышла в сад,
Его искала и боялась
Найти. А губы чуть дрожат
Желанным именем. Смеркалось.

Вдруг он выходит из кустов
И шепчет: "Ночью. В час". Вздыхает.
Вдыхает аромат цветов.
Молчит. Молчит — и исчезает.

Что этим он хотел сказать:
"Сегодня ночью. В час"? не знаю.
Вы это можете понять?
Я — ничего не понимаю.

Что должен он уехать в час,
Хотел сказать он, вероятно?..
Что мне за дело! вот так раз:
Зачем мне это непонятно?..

III. Первое свидание

И вот я забываю дверь
Свою закрыть, и в час он входит...
Как я изумлена теперь,
Что дверь открытою находит!..

— Но разве дверь не заперта?.. —
Я спрашиваю. Предо мною
Его глаза, его уста,
В них фраза: "Я ее закрою"...

Но топота его сапог
Боюсь: разбудит он служанку.
И стула скрип, и топот ног...
"Не сесть ли мне на оттоманку?"

— Да, — говорю. Лишь потому,
Что стул скрипел... Ах оттого лишь!..
Он сел, приблизясь к моему
Плечу. Я — в сторону. Неволишь?..

Глаза я опустила. Он
Сказал: "Ты зябнешь". Взял за руку,
Своею обнял. Входим в сон.
Петух провозгласил разлуку.

IV. Вкушение

"Пропел петух, ты слышишь?" Сжал
Меня, — совсем я растерялась.
Я бормотала: ты слыхал?
Ты не ослышался? Металась,

Хотела встать. Но вновь на лбу
Пятна два лихорадно-красных
Увидев, вверила судьбу
Свою глазам его прекрасным...

Настало утро. Пробудясь,
Я комнаты не узнавала
И даже башмачков. Смеясь,
Себя невольно вопрошала:

Во мне струится что-то. Что ж
Во мне струиться-то могло бы?..
Который час, — как тут поймешь?
И я — одна? и мы — не оба?

V. Восторг

Ах, я не знаю ничего...
Лишь помню: дверь закрыть забыла...
Служанка входит: "Отчего
Свои цветы ты не полила?"

— Я их забыла. — Снова та:
"Где платье ты свое измяла?"
Смеется сердце. Та-та-та!
О, если бы я это знала!..

Подъехал к саду фаэтон...
"И ты не накормила кошку",
Твердит служанка. "Это он!"
Твердит мне сердце. Я — к окошку!

Проси, проси его ко мне, —
Я жду его: мне надо что-то...
И у меня наедине —
Запрет он дверь? — одна забота...

VI. Второе свидание

Стучится. Отворяю. И,
Желая оказать услугу,
Дверь вмиг на ключ. В уста мои
Меня целует, как подругу.

— Не посылала за тобой, —
Шепчу... "Так ты не посылала?"
Смущаюсь и кричу душой:
— Да, мне тебя недоставало!

Да, посылала! да, побудь
Немного здесь! — Глаза руками
Закрыла от любви, на грудь
К нему склонив уста с глазами...

"Но кажется пропел петух?"
Он стал прислушиваться. Я же
Подумала невольно вслух:
— Как это мог подумать даже?..

Никто не пел. Пожалуй, лишь
Кудахтала немного кура...
Он мне: "Немного погодишь, —
Я дверь запру". И вечер хмуро

В окно взглянул. А я едва
Могла шепнуть: — Но дверь закрыта...
Я заперла уже... — Трава,
Деревья, все — луной облито.

VII. У зеркала

Уехал он опять. Во мне
Как будто золото струилось.
Я — к зеркалу. Там, в глубине,
Влюбленных глаза два светилось.

Лишь я увидела тот взгляд,
Во мне вдруг что-то задрожало,
И заструился сладкий яд
Вкруг сердца, выпуская жало...

О, раньше я была не та:
Так на себя я не смотрела!..
И в зеркале себя в уста
Поцеловать я захотела...

Георгию Шенгели

Ты, кто в плаще и шляпе мягкой,
Вставай за дирижерский пульт!
Я славлю культ помпезный Вакха,
Ты — Аполлона строгий культ!

В твоем оркестре мало скрипок:
В нем все корнеты-а-пистон.
Ищи средь нотных белых кипок
Тетрадь, где — смерть и цепий стон!

Ведь так ли, иначе (Иначе?..)
Контрастней раков и стрекоз,
Сойдемся мы в одной задаче:
Познать непознанный наркоз...

Ты, завсегдатай мудрых келий,
Поющий смерть, и я, моряк,
Пребудем в дружбе: нам, Шенгели,
Сужден везде один маяк.

Финал

Закончен том, но не закончен
Его раздробленный сюжет.
Так! с каждою главою звонче
Поет встревоженный поэт.

Напрасно бы искать причала
Для бесшабашного пловца:
В поэме жизни нет начала!
В поэме жизни нет конца!

Неисчерпаемая тема
Ждет всей души, всего ума.
Поэма жизни — не поэма:
Поэма жизни — жизнь сама!

Классические розы

Стихи 1922 — 1930 гг.

Королеве Марии

Однажды в нашей северной газете
Я Вас увидел с удочкой в руках, —
И вспыхнуло сочувствие в поэте
К Жене Монарха в солнечных краях.

И вот с тех пор, исполнена напева,
Меня чарует все одна мечта.
Стоит в дворцовом парке Королева,
Забрасывая удочку с моста.

Я этот снимок вырезал тогда же,
И он с тех пор со мной уже всегда.
Я не могу себе представить даже,
Как без него в былые жил года.

Мне никогда уж не разубедиться
В мечте, над финской созданной волной,
Что южная прекрасная царица
Владеет поэтической душой!

Белград.
18—XII—1930

Чаемый праздник

Запевка

О России петь — что стремиться в храм
По лесным горам, полевым коврам...

О России петь — что весну встречать,
Что невесту ждать, что утешить мать...

О России петь — что тоску забыть,
Что Любовь любить, что бессмертным быть!

1925

Классические розы

Как хороши, как свежи были розы
В моем саду! Как взор прельщали мой!
Как я молил весенние морозы
Не трогать их холодною рукой!

Мятлев
1843

В те времена, когда роились грезы
В сердцах людей, прозрачны и ясны,
Как хороши, как свежи были розы
Моей любви, и славы, и весны!

Прошли лета, и всюду льются слезы...
Нет ни страны, ни тех, кто жил в стране...
Как хороши, как свежи ныне розы
Воспоминаний о минувшем дне!

Но дни идут — уже стихают грозы.
Вернуться в дом Россия ищет троп...
Как хороши, как свежи будут розы,
Моей страной мне брошенные в гроб!

1925

Кто же ты?

Гой ты, царство балагана!
Ты, сплошная карусель!
Злою волей хулигана
Кровь хлебаешь, как кисель...

Целый мир тебе дивится,
Все не может разгадать:
Ты — гулящая девица
Или Божья благодать?

1925

Предвоскресенье

На восток, туда, к горам Урала,
Разбросалась странная страна,
Что не раз, казалось, умирала,
Как любовь, как солнце, как весна.

И когда народ смолкал сурово
И, осиротелый, слеп от слез,
Божьей волей воскресала снова, —
Как весна, как солнце, как Христос!

1925

Что нужно знать

Ты потерял свою Россию.
Противоставил ли стихию
Добра стихии мрачной зла?
Нет? Так умолкни: увела
Тебя судьба не без причины
В края неласковой чужбины.
Что толку охать и тужить —
Россию нужно заслужить!

1925

И будет вскоре...

И будет вскоре весенний день,
И мы поедем домой, в Россию...
Ты шляпу шелковую надень:
Ты в ней особенно красива...

И будет праздник... большой, большой,
Каких и не было, пожалуй,
С тех пор, как создан весь шар земной,
Такой смешной и обветшалый...

И ты прошепчешь: "Мы не во сне?.."
Тебя со смехом ущипну я
И зарыдаю, молясь весне
И землю русскую целуя!

1925

Или это чудится?

Или это чудится?
Или это так?
Тихо шепчет: "Сбудется:
К свету этот мрак.
Только не растаскивай
Скопленных лучей".
Чей ты, голос ласковый?
Чьих ты блеск очей?

Возникает гридница.
Смотришь, — ничего.
Слышится, — не видится.
Что за колдовство!
Проплывает утица
На призывный кряк.
Или это чудится?
Или это так?

1929

В тот май

Был май. На подстриженной Стрелке
Уже продавали фиалки.
Детишки играли в горелки,
И нежились горизонталки.

И шины колясок хрустели,
Прижатый тревожили гравий.
Был май, и на майской пастэли
Все было в Островской оправе.

Белесо ночела столица
За Невками и за Невою.
И были обвеяны лица
Сиренью в тот май неживою...

Болотной, чахоточной, белой
Обвеяны были сиренью.
Дышали уста Изабеллой —
Чуть терпкой, чуть тленною ленью...

Была обреченность и гибель
В глазах, в Островах, в белой жути.
И в каждой-то каменной глыбе
Был сказ о последней минуте.

Угаслыми были горелки
И зяблыми горизонталки
В тот май полумертвый на Стрелке,
Где мертвыми стали фиалки...

1929

Предгневье

Москва вчера не понимала,
Но завтра, верь, поймет Москва:
Родиться Русским — слишком мало,
Чтоб Русские иметь права...

И вспомнив душу предков, встанет,
От слова к делу перейдя,
И гнев в народных душах грянет,
Как гром живящего дождя.

И сломит гнет, как гнет ломала
Уже не раз повстанцев рать...
Родиться Русским — слишком мало:
Им надо *быть*, им надо *стать!*

1925

Русские вилы

Когда Бонапарт приближался к Москве
И щедро бесплодные сеял могилы,
Победный в кровавом своем торжестве, —
В овинах дремали забытые вилы.

Когда ж он бежал из сожженной Москвы
И армия мерзла без хлеба, без силы, —
В руках русской бабы вдруг ожили вы,
Орудием смерти забытые вилы!

...Век минул. Дракон налетел на Москву,
Сжигая святыни, и, душами хилы,
Пред ним москвичи преклонили главу...
В овинах дремали забытые вилы.

Но кровью людскою упившись, дракон
Готовится лопнуть: надулись все жилы.
Что ж, русский народ! Враг почти побежден:
— Хватайся за вилы!

1925

Отечества лишенный

Была у тебя страна,
И был у тебя свой дом,
Где ты со своей семьей
Лелеял побеги роз...
Но родины не ценя,
Свой дом не сумев сберечь,
И мало любя семью,
Ты все потерял — был день.
Зачем же теперь видна
Во взоре тоска твоем,
И в чуждом краю зимой
Ты бродишь и наг, и бос?
И ждешь не дождешься дня
Услышать родную речь
И, сев на свою скамью,
Смотреть на сгоревший пень?..
И снова сажать ростки,
И снова стругать бревно,
И, свадьбу опять сыграв,
У Неба молить детей, —
Чтоб снова в несчастный час,
Упорной страшась борьбы,
Презренным отдать врагам
И розы, и честь, и дом...
Глупец! от твоей тоски
Заморским краям смешно,
И сетовать ты не прав,
Посмешище для людей...
Живи же, у них учась
Царем быть своей судьбы!..
— Стихи посвящаю вам,
Всем вам, воплощенным в "нем"!

1925

Я мечтаю...

Я мечтаю о том, чего нет
И чего я, быть может, не знаю...
Я мечтаю, как истый поэт, —
Да, как истый поэт, я мечтаю.

Я мечтаю, что в зареве лет
Ад земной уподобится раю.
Я мечтаю, вселенский поэт, —
Как вселенский поэт, я мечтаю.

Я мечтаю, что Небо от бед
Избавленье даст русскому краю.
Оттого, что я — русский поэт,
Оттого я по-русски мечтаю!

1922

Спящая красавица

— Что такое Россия, мамочка?
— Это... впавшая в сон княжна...
— Мы разбудим ее, любимая?
— Нет, не надо: она — больна...

— Надо ехать за ней ухаживать...
— С нею няня ее... была...
Съели волки старушку бедную...
— А Россия что ж?
— Умерла...

— Как мне больно, моя голубушка!..
Сердце плачет, и в сердце страх...
— О, дитя! Ведь она бессмертная,
И воскреснет она... на днях!

1925

Колыбель культуры новой

Вот подождите — Россия воспрянет,
Снова воспрянет и на ноги встанет.
Впредь ее Запад уже не обманет
Цивилизацией дутой своей...

Встанет Россия, да, встанет Россия,
Очи раскроет свои голубые,
Речи начнет говорить огневые, —
Мир преклонится тогда перед ней!

Встанет Россия — все споры рассудит...
Встанет Россия — народности сгрудит...
И уж у Запада больше не будет
Брать от негодной культуры росток.

А вдохновенно и религиозно,
Пламенно веря и мысля серьезно,
В недрах своих непреложностью грозный
Станет выращивать новый цветок...

Время настанет — Россия воспрянет,
Правда воспрянет, неправда отстанет,
Мир ей восторженно славу возгрянет, —
Родина Солнца — Восток!

1923

Стихи Москве

Мой взор мечтанья оросили:
Вновь — там, за башнями Кремля, —
Неподражаемой России
Незаменимая земля.

В ней и убогое богато,
Полны значенья пустячки:
Княгиня старая с Арбата
Читает Фета сквозь очки...

А вот к уютной церковушке
Подъехав в щегольском "купэ",
Кокотка оделяет кружки,
Своя в тоскующей толпе...

И ты, вечерняя прогулка
На тройке вдоль Москвы-реки!
Гранитного ли переулка
Радушные особняки...

И там, в одном из них, где стайка
Мечтаний замедляет лёт,
Московским солнышком хозяйка
Растапливает "невский лед"...

Мечты! вы — странницы босые,
Идущие через поля, —
Неповергаемой России
Незаменимая земля!

1925

Страничка детства

В ту пору я жил в новгородских дебрях.
Мне было около десяти.
Я ловил рыбу, учился гребле,
Мечтал Америку посетить.

И часто, плавая в душегубке
И ловко вылавливая тарабар,
Размышлял о каком-нибудь там поступке,
Который прославила бы труба...

Я писал стихи, читал Майн Рида,
При встречах с девочками краснел,
И одна из сверстниц была мой идол,
Хотя я и не знал, что мне делать с ней...

Дружил с рабочими нашего завода,
Но любил все-таки — больше людей —
В преддверьи своего одиннадцатого года,
Всех наших четырнадцать лошадей!

В катанье на масленице, в день третий,
Когда доставляла тройка меня
В город, в котором учились дети,
По главной улице ее гонял.

И, разгоревшись, дав Тимофею
На чай прикопленных три рубля,
Говорил: "Понимаешь? Чтобы всех быстрее!"
И кучер гиком ее распалял.

Десятки саней оставались сзади,
Саней уважаемых горожан,
И, к общей зависти и досаде,
Мальчишка взрослых опережал!

А кончилось тем, что и сам стал взрослым
И даже довольно известным стал,
И этого достичь было очень просто,
Потому что истина всегда проста...

1929

Пасха в Петербурге

Гиацинтами пахло в столовой,
Ветчиной, куличом и мадерой,
Пахло вешнею Пасхой Христовой,
Православною русскою верой.

Пахло солнцем, оконною краской
И лимоном от женского тела,
Вдохновенно-веселою Пасхой,
Что вокруг колокольно гудела.

И у памятника Николая
Перед самой Большою Морскою,
Где была из торцов мостовая,
Просмоленною пахло доскою.

Из-за вымытых к Празднику стекол,
Из-за рам без песка и без ваты
Город топал, трезвонил и цокал,
Целовался, восторгом объятый.

Было сладко для чрева и духа.
Юность мчалась, цветы приколовши.
А у старцев, хотя было сухо,
Шубы, вата в ушах и галоши...

Поэтичность религии, где ты?
Где поэзии религиозность?
Все "бездельные" песни пропеты,
"Деловая" отныне серьезность...

Пусть нелепо, смешно, глуповато
Было в годы мои молодые,
Но зато было сердце объято
Тем, что свойственно только России!

1926

Ночь на Алтае

На горах Алтая,
Под сплошной галдеж,
Собралась, болтая,
Летом молодежь.

Юношество это
Было из Москвы,
И стихи поэта
Им читали Вы.

Им, кто даже имя
Вряд ли знал мое,
Им, кто сплел с другими
Все свое житье...

Ночь на бивуаке.
Ужин из ухи.
И костры во мраке,
И стихи, стихи!

Кедры. Водопады.
Снег. Луна. Цветы.
Словом, все, что надо
Торжеству мечты.

Ново поколенье,
А слова ветхи.
Отчего ж волненье
Вызвали стихи?

Отчего ж читали
Вы им до утра
В зауральской дали,
В отблесках костра?

Молодежь просила
Песен без конца:
Лишь для русских — сила
Русского певца!

Я горжусь, читая
Ваше письмецо,
Как в горах Алтая
Выявил лицо...

1929

Народный суд

Я чувствую, близится судное время:
Бездушье мы духом своим победим,
И в сердце России пред странами всеми
Народом народ будет грозно судим.

И спросят избранники — русские люди —
У всех обвиняемых русских людей,
За что умертвили они в самосуде
Цвет яркий культуры отчизны своей.

Зачем православные Бога забыли,
Зачем шли на брата, рубя и разя...
И скажут они: "Мы обмануты были,
Мы верили в то, во что верить нельзя..."

И судьи умолкнут с печалью любовной,
Поверив себя в неизбежный черед,
И спросят: "Но кто же зачинщик виновный?"
И будет ответ: "Виноват весь народ.

Он думал о счастье отчизны родимой,
Он шел на жестокость во имя Любви..."
И судьи воскликнут: "Народ подсудимый!
Ты нам не подсуден: мы — братья твои!

Мы — часть твоя, плоть твоя, кровь твоя, грешный,
Наивный, стремящийся вечно вперед,
Взыскующий Бога в Европе кромешной,
Счастливый в несчастье, великий народ!"

1925

Слова солнца

Много видел я стран и не хуже ее —
Вся земля мною нежно любима.
Но с Россией сравнить?.. С нею — сердце мое,
И она для меня несравнима!

Чья космична душа, тот плохой патриот:
Целый мир для меня одинаков...
Знаю я, чем могуч и чем слаб мой народ,
Знаю смысл незначительных знаков...

Осуждая войну, осуждая погром,
Над народностью каждой насилье,
Я Россию люблю — свой родительский дом —
Даже с грязью со всею и пылью...

Мне немыслима мысль, что над мертвою — тьма...
Верю, верю в ее воскресенье
Всею силой души, всем воскрыльем ума,
Всем огнем своего вдохновенья!

Знайте, верьте: он близок, наш праздничный день,
И не так он уже за горами —
Огласится простор нам родных деревень
Православными колоколами!

И раскается темный, но вещий народ
В прегрешеньях своих перед Богом.
Остановится прежде, чем в церковь войдет,
Нерешительно перед порогом...

И в восторге метнув в воздух луч, как копье
Золотое, слова всеблагие,
Скажет солнце с небес: "В воскресенье свое
Всех виновных прощает Россия!"

1925, март

Бывают дни...

Бывают дни: я ненавижу
Свою отчизну — мать свою.
Бывают дни: ее нет ближе,
Всем существом ее пою.

Все, все в ней противоречиво,
Двулико, двуедино в ней,
И дева, верящая в диво
Надземное, — всего земней.

Как снег — миндаль. Миндальны зимы.
Гармошка — и колокола.
Дни дымчаты. Прозрачны дымы.
И вороны — и сокола.

Слом Иверской часовни. Китеж.
И ругань — мать, и ласка — мать...
А вы-то тщитесь, вы хотите
Широкократную объять!

Я — русский сам и что я знаю?
Я падаю. Я в небо рвусь.
Я сам себя не понимаю,
А сам я — вылитая Русь!

Ночь под 30-й год

Моя Россия

> И вязнут спицы расписные
> В расхлябанные колеи...
>
> *Ал. Блок*

Моя безбожная Россия,
Священная моя страна!
Ее равнины снеговые,
Ее цыгане кочевые, —
Ах, им ли радость не дана?
Ее порывы огневые,
Ее мечты передовые,
Ее писатели живые,
Постигшие ее до дна!
Ее разбойники святые,
Ее полеты голубые,
И наше солнце, и луна!
И эти земли неземные,
И эти бунты удалые,
И вся их, вся их глубина!
И соловьи ее ночные,
И ночи пламно-ледяные,
И браги древние хмельные,
И кубки, полные вина!
И тройки бешено-степные,
И эти спицы расписные,
И эти сбруи золотые,
И крыльчатые пристяжные,
Их шей лебяжья крутизна!
И наши бабы избяные,
И сарафаны их цветные,
И голоса девиц грудные
Такие русские, родные,
И молодые, как весна,
И разливные, как волна,
И песни, песни разрывные,
Какими наша грудь полна,
И вся она, и вся она —
Моя ползучая Россия,
Крылатая моя страна!

1924

Бессмертным

Бессмертным

Любовь! Россия! Солнце! Пушкин! —
Могущественные слова!..
И не от них ли на опушке
Нам распускается листва?

И молодеет не от них ли
Стареющая молодежь?..
И не при них ли в душах стихли
Зло, низость, ненависть и ложь!

Да, светозарны и лазорны,
Как ты, весенняя листва,
Слова, чьи звуки чудотворны,
Величественные слова!

При звуках тех теряет даже
Свой смертоносный смысл в дали
Веков дрожащая в предаже
Посредственная Natalie...

При них, как перед вешним лесом,
Оправдываешь, не кляня,
И богохульный флерт с Дантесом —
Змею Олегова коня...

1924

Бальмонту

Мы обокрадены своей эпохой,
Искусство променявшей на фокстрот.
Но как бы ни было с тобой нам плохо,
В нас то, чего другим недостает.

Талантов наших время не украло.
Не смело. Не сумело. Не смогло.
Мы — голоса надземного хорала.
Нам радостно. Нам гордо. Нам светло.

С презреньем благодушным на двуногих
Взираем, справедливо свысока,
Довольствуясь сочувствием немногих,
Кто золото отсеял от песка.

Поэт и брат! Мы двое многих стоим
И вправе каждому сказать в лицо:
— Во всей стране нас только двое-трое
Последних Божьей милостью певцов!

1927

Незрячей

Любовь явила зренье Иоланте,
Когда судьбой ей послан был Бертран.
...Я размышляю об одном таланте,
Незрячем в безлюбовии пера...

Его-то кто же вызрит? Что за рыцарь?
Не поздно ли на старости-то лет?
О, злая и сварливая царица,
Яд у тебя на письменном столе!

Взамен чернил ты пишешь им и жалишь
Всех и подчас — подумай — и меня...
Но ты сама почти уже в опале, —
О, пусть тебя все рифмы сохранят.

Остерегись, прославленная! Рано
Иль поздно ты познаешь суд судьбы.
Моли у неба своего Бертрана:
Еще прозреть есть время, может быть!..

1927

Лидии Липковской

Вы так жалеете, что том моих стихов
Забыт в Америке перед отъездом Вами.
Греха подобного не наказать словами,
И я даю Вам... отпущение грехов!

Вы говорите, что среди сонетных строф
Вы не нашли Вам посвященных мной. Как даме,
Я Вам, польщенный, отвечаю: Вас стихами
Я пел четырежды, и впредь всегда готов...

Сирень весны моей! Вот я на Вас гляжу,
Переносясь мечтой к совсем иному мигу,
Когда я молод был и мир готовил к сдвигу,

И Вы, мой соловей, мне пели на межу.
И пусть Вы за морем мою забыли книгу,
Я голос Ваш всегда в душе своей вожу.

Варшава.
17 сент. 1924

Девятое октября

Девятое октября

Девятого октября
Оранжевая заря
Свела нас у струй реки.
Молила рука руки.

Девятого октября
Пришел я к реке, горя
Любовью к тебе большой,
Постигнув тебя душой.

Девятого октября
Ты встретилась мне, даря
Святое свое святых
И свой непорочный стих.

С тех пор я — ничей, стал — твой,
И ты над моей листвой —
Оранжевая заря
С девятого октября.

Юрьев.
1923

Дороже всех...

Моя жена всех женщин мне дороже
Величественною своей душой.
Всю мощь, всю власть изведать ей дай Боже
Моей любви воистину большой!

Дороже всех — и чувства вновь крылаты,
И на устах опять счастливый смех...
Дороже всех: дороже *первой* Златы!
Моя жена *душе* дороже всех!

Моя жена мудрей всех философий, —
Завидная ей участь суждена,
И облегчить мне муки на Голгофе
Придет в тоске одна моя жена!

Toila-Uljaste.
1923

Ее питомцы

Она кормила зимних птичек,
Бросая крошки из окна.
От их веселых перекличек
Смеялась радостно она.

Когда ж она бежала в школу,
Питомцы, слыша снега хруст,
Ватагой шумной и веселой
Неслись за ней с куста на куст!

Озеро Uljaste.
1923

"Моряна"

Есть женщина на берегу залива.
Ее душа открыта для стиха.
Она ко всем знакомым справедлива
И оттого со многими суха.

В ее глазах свинцовость штормовая
И аметистовый закатный штиль.
Она глядит, глазами омывая
Порок в тебе, — и ты пред ней ковыль...

Разочарованная в человеке,
Полна очарованием волной...
Целую иронические веки,
Печально осиянные луной.

И твердо знаю вместе с нею: грубы
И нежные, и грубые нежны.
Ее сомнамбулические губы
Мне дрогнули об этом в час луны...

Озеро Uljaste.
1924

Фиолетовое озерко

Далеко, далеко, далеко
Есть сиреневое озерко,
Где на суше и даже в воде —
Ах, везде! ах, везде! ах, везде! —
Льют цветы благодатную лень,
И названье цветам тем — Сирень.

В фиолетовом том озерке —
Вдалеке! вдалеке! вдалеке! —
Много нимф, нереид, и сирен,
И русалок, поющих рефрен
Про сиреневo-белую кровь,
И названье тем песням — Любовь.

В той дали, в той дали, в той дали, —
Где вы быть никогда не могли, —

На сиреневом том озерке, —
От земли и небес вдалеке, —
Проживает бесполая та —
Ах, не истинная ли Мечта? —

Кто для страсти бесстрастна, как лед...
И полет, мой полет, мой полет —
К неизведанному уголку,
К фиолетовому озерку,
В ту страну, где сирени сплелись,
И названье стране той — Фелисс!

1923

Закаты одиночества

Если с нею — как храм, природа.
Без любимой — она тюрьма.
Я за марку улов свой отдал:
Без обеда — не без письма.

Я пишу ей, что трижды встретил
Без нее — и я жив? — закат,
Что не надо рождаться детям,
Если ждет их, как нас, тоска.

Что для счастья больной и белой
И единственной, как земля,
Я не знаю, чего не сделал,
Но я знаю, что сделал я!

Озеро Uljaste.
1925

И тогда —

В альбом *Б. В. Правдину*

Я грущу по лесному уюту,
Взятый городом в плен на два дня.
Что ты делаешь в эту минуту
Там, у моря теперь, без меня?

В неоглядное вышла ли поле
В золотистых сентябрьских тонах?
И тогда — сколько радости воли
В ненаглядных любимых глазах!

Или, может быть, легкой походкой
Ты проходишь по пляжу сейчас?
И тогда — море с дальнею лодкой
В зеркалах обожаемых глаз...

Или в парк по любимой тропинке
Мчишься с грацией дикой козы?
И тогда — ветрятся паутинки
Женской — демонстративной — косы...

Не раскрыт ли тобою Шпильгаген?
Книга! — вот где призванье твое!
И тогда — моя ревность к бумаге:
Ты руками коснулась ее...

Неизвестность таит в себе смуту...
Знаю только — и это не ложь! —
Что вот в самую эту минуту
Ты такой же вопрос задаешь...

Юрьев.
17 сент. 1926

Зеленое очарованье

Распустилась зеленая и золотая,
Напоенная солнечным соком листва.
Грез весенних вспорхнула лукавая стая,
И опять — одряхлевшие юны слова.

Снова — необъяснимо и непостижимо,
Обнадеженно, опыту наперекор —
Все разлюбленное стало нежно-любимо,
Очаровывая разуверенный взор.

И недаром ты в парке вчера щебетала
О давно не затрачиваемой любви:
Ведь на то и весна, чтобы все, что устало,
Зазвучало, как тихие губы твои...

1928

В снегах

Глубокий снег лежит у нас в горах.
Река в долине бег остановила.
Вся белая, слилась со снегом вилла.
И мы одни идем в своих снегах.
В устах медлительное: "Разлюбила..."
"Всегда люблю!" — поспешное в глазах.

Ну да, всегда... Я знаю, снег растает,
Под звон литавр взломает лед река.
В ней снова отразятся облака,
И в рощах жемчуг трелей заблистает.
Ну да — всегда! Об этом сердце знает!
Иначе снег лежал бы здесь — века!

1927

Серебряная соната

Я стою у окна в серебреющее повечерье
И смотрю из него на использованные поля,
Где солома от убранной ржи ощетинила перья
И настро́жилась заморозками пустая земля.

Ничего! — ни от вас, лепестки белых яблонек детства,
Ни от вас, кружевные гондолы утонченных чувств...
Я растратил свой дар — мне врученное Богом наследство, —
Обнищал, приутих и душою расхищенной пуст...

И весь вечер — без слов, без надежд, без мечты, без желаний,
Машинально смотря, как выходит из моря луна
И блуждает мой друг по октябрьской мерзлой поляне,
Тщетно силясь в тоске мне помочь, — я стою у окна.

1925

Не более чем сон

Мне удивительный вчера приснился сон:
Я ехал с девушкой, стихи читавшей Блока.
Лошадка тихо шла. Шуршало колесо.
И слезы капали. И вился русый локон...

И больше ничего мой сон не содержал...
Но, потрясенный им, взволнованный глубоко,
Весь день я думаю, встревоженно дрожа,
О странной девушке, не позабывшей Блока...

1927

Поющие глаза

Над калиткой арка из рябины.
Барбарис разросся по бокам.
За оградой домик голубиный.
Дым из труб, подобный облакам.

Домик весь из комнаты и кухни.
Чистота, опрятность и уют.
Подойди к окну и тихо стукни:
За стеклом два глаза запоют.

Женщина с певучими глазами
Спросит, кто любимый твой поэт,
И, с улыбкой прислонившись к раме,
Терпеливо будет ждать ответ.

Назови какое хочешь имя:
Будь то Надсон или Малларме,
В дом, где облака таятся в дыме,
Будешь вхож, назвать себя сумев.

Если же ты скажешь: "Что мне в этом!
Знать стихов я вовсе не хочу", —
Женщина, рожденная поэтом,
Вдруг погасит взоры, как свечу.

И хотя бы кудри поседели
Пред стеклом, скрывающим уют,
О твоем тебя не спросят деле
Те глаза, которые поют...

1927

На закате

...отдыхала глазами на густевшем закате...

Н. Лесков

Отдыхала глазами на густевшем закате,
Опустив на колени том глубинных листков,
Вопрошая в раздумьи, есть ли кто деликатней,
Чем любовным вниманьем воскрешенный Лесков?

Это он восхищался деликатностью нищих,
Независимый, гневный, надпартийный, прямой.
Потому-то любое разукрасят жилище
Эти книги премудрости вечной самой.

А какие в них ритмы! А какая в них залежь
Слов ядреных и точных русского языка!
Никаким модернистом ты Лескова не свалишь
И к нему не посмеешь подойти свысока.

Достоевскому равный, он — прозеванный гений.
Очарованный странник катакомб языка!
Так она размышляла, опустив на колени
Воскрешенную книгу, созерцая закат.

1928

Солнечный луч

В твою мечтальню солнце впрыгнуло
С энергиею огневой,
И, разогревшись, кошка выгнула
Полоски шубки меховой.

И расплескался луч в хрусталиках
Цветочной вазы от Фраже,
С улыбкой на диванных валиках
Заметив томики Бурже...

Луч попытается камелии
Понюхать, в тщетном рвеньи рьян.
Разглядывая рукоделия,
Тебе покажет на изъян.

Потом (пойми, ведь солнце молодо
И пустовато, как серсо!)
Чуть-чуть придать захочет золота
Недопитому кюрасо...

О, солнце марта любознательно,
В нем шутка и предвешний хмель!
Смотри, сосет оно признательно
Развернутую карамель...

И все стремится в сердце девичье
Бесцеремонно заглянуть:
Вместилась в грудь строфа ль Мицкевича,
Строфа ль Мюссе вместилась в грудь?

И напроказничав в мечталенке,
Взглянув кокетливо в трюмо,
Запрячется в конвертик маленький,
В котором ты пошлешь письмо...

1926

Узор по канве

По отвесному берегу моря маленькой Эстии,
Вдоль рябины, нагроздившей горьковатый коралл,
Где поющие девушки нежно взор заневестили,
Чья душа целомудренней, чем березья кора,

По аллее, раскинутой над черной смородиной,
Чем подгорье окустено вплоть до самой воды,
Мы проходим дорогою, что не раз нами пройдена,
И все ищем висячие кружевные сады...

И все строим воздушные невозможные замки,
И за синими птицами неустанно бежим,
Между тем как поблизости — ласточки те же самые,
Что и прошлый раз реяли, пеночки и стрижи.

Нет, на птицу на синюю не похожа ты, ласточка,
На палаццо надземное не похожа изба.
Дай рябины мне кисточку, ненаглядная Эсточка,
Ту, что ветер проказливо и шутя колебал...

Toila — Valaste.
1923

Отличной от других

Ты совсем не похожа на женщин других:
У тебя в меру длинные платья,
У тебя выразительный, сдержанный смех
И выскальзыванье из объятья.

Ты не красишь лица, не сгущаешь бровей
И волос не стрижешь в жертву моде.
Для тебя есть Смирнов, но и есть соловей,
Кто его заменяет в природе.

Ты способна и в сахаре выискать "соль",
Фразу — в только намекнутом слове...
Ты в Ахматовой ценишь бессменную боль,
Стилистический шарм в Гумилеве.

Для тебя, для гурманки стиха, острота
Сологубовского триолета,
И, что Блока не поцеловала в уста,
Ты шестое печалишься лето.

А в глазах оздоравливающих твоих —
Ветер с моря и поле ржаное.
Ты совсем не похожа на женщин других,
Почему мне и стала женою.

1927

Любовь коронная

Посв. Ф. М. Л.

Она, никем не заменимая,
Она, никем не превзойденная,
Так неразлюбчиво-любимая,
Так неразборчиво влюбленная,

Она, вся свежесть призаливная,
Она, моряна с далей севера,
Как диво истинное, дивная,
Меня избрав, в меня поверила.

И обязала необязанно
Своею верою восторженной,
Чтоб все душой ей было сказано,
Отторгнувшею и отторженной.

И оттого лишь к ней коронная
Во мне любовь неопалимая,
К ней, кто никем не превзойденная,
К ней, кто никем не заменимая!

1929

Твоя дорожка

Свежей душистого горошка,
И значит — свежести свежей,
Немножко больше, чем немножко,
Ты захотела стать моей...

И к свежим я влекусь озерам
В незаменимости лесной,
Твоим сопровождаем взором,
Сопутствуем твоей весной.

Он сник, услад столичных демон,
Боль причинивший не одну...
Я платье свежее надену!
Я свежим воздухом вздохну!

Я — твой! Веди меня! Дорожка
Мне выисканная тобой, —
Свежей душистого горошка:
Свежее свежести самой!

1929

Ведь только ты одна!

Ни одного цветка, ни одного листка.
Закостенел мой сад. В моем саду тоска.

Взад и вперед хожу, по сторонам гляжу.
О чем подумаю, тебе сейчас скажу.

Ведь только ты одна всегда, всегда нежна,
В печальной осени душе всегда нужна.

И только стоит мне взглянуть в глаза твои —
Опять весна пришла и трелят соловьи.

И на устах моих затеплен юный стих
От прикасания живящих уст твоих.

И пусть в саду пустом ни одного цветка,
И пусть в бокале нет ни одного глотка,

И пусть в столе моем нет ни одной строки, —
Жду мановения твоей благой руки!

1929

Любовница

1

"Любовница" пошло звучит, вульгарно,
Как все позахватанное толпой,
Прочти ли сам Пушкин свой стих янтарный,
Сама ли Патти тебе пропой.

Любовница — плоть и кровь романа,
Живая вода мировых поэм.
Вообразить себе Мопассана
Без этого слова нельзя совсем...

"Любовница" — дивное русское слово,
И как бы ты смел на него напасть,
Когда оно — жизни твоей основа
И в нем сочетались любовь и страсть?!

2

В этом слове есть что-то неверное,
Драматическое что-то есть,
Что-то трогательное и нервное, —
Есть оправдываемая месть.

В этом слове есть томик шагреневый,
На бумаге веленевой станс.
В этом слове есть тайна Тургенева
И сиреневый вешний романс.

Благодатно до гроба запомнится
Озаряющее бытие
Грустно-нежное слово "любовница",
Обласкавшее сердце твое.

3

Если же слово это
Может быть применимо
К собственной — не другого
И не к чужой — жене,
Счастье тебе готово,
Равное власти Рима
В эру его расцвета,
Можешь поверить мне!

1929

Стихи октябрьского заката

Ты чутко читала Сергея Волконского
На синей тахте у стены голубой.
Я только что кончил работу с эстонского,
И мы говорили о книге с тобой.

— Ведь это не часто, чтоб книга претолстая
Была целиком и умна, и тонка, —
Сказала так славно, и хлынули волосы
Каштановым ливнем на край дневника.

Луч солнца упал на склоненную талию,
На женственный шелк старомодных волос.
И нас, северян, потянуло в Италию,
И южное в северном сердце зажглось!

Ты вспомнила строфы священные Блоковы,
Шепнула: "И нашим бы музам на юг..."
А луч западающий двигался около,
Как будто обрадовался: "узнаю!"

1929

Как хорошо...

Как хорошо, что вспыхнут снова эти
Цветы в полях под небом голубым!
Как хорошо, что ты живешь на свете
И красишь мир присутствием своим!

Как хорошо, что в общем внешнем шуме
Милей всего твой голос голубой,
Что, умирая, я еще не умер
И перед смертью встретился с тобой!

1928

На колокола

На колокола

Ко всенощной зовут колокола,
Когда, в путь вышедшие на рассвете,
Мы различаем в далях монастырь.

Окончен лес, и пыльная бела
В полях дорога к церкви, где на третьей
Версте гора, вокруг которой ширь.

Там, за полями, на горе собор
В лучах печалящегося заката,
И не печальные ли купола?

Нам, проозеренный оставив бор,
Где встретилась с утра одна лишь хата,
Идти на нежные колокола.

У башенки зубчатого кремля,
Воздвигнутой над позаросшим скатом,
Свернув с пути, через калитку мы

Вступаем в монастырь. Его земля
Озарена печалящим закатом,
И в воздухе сгущенье белой тьмы.

Монашенки бесшумны и черны.
Прозрачны взоры. Восковые лики.
Куда земные дели вы сердца?

Обету — в скорби данному — верны,
Как вы в крови своей смирили клики?
Куда соблазн убрали из лица?

Иль, может быть, покойницы на вид,
Иных живых вы, девушки, живее,
И молодость повсюду молода?

И в ночь, когда сирень зашевелит
Свой аромат и вас весной овеет,
Не ищете ли повод для стыда?..

1927

Молитва

Достоевскому

Благочестивого монастыря
Гостеприимство радостно вкушая,
Я говорю: жизнь прожита большая,
Неповторяемая на земле!
Все находимое порастерял.
И вот, слезами взоры орошая,
Я говорю: жизнь прожита большая...
Проговорил — и сердцем обомлел:

Большая жизнь, но сколького не знал!
Мелькают страны, возникают лица
Тех, о которых некому молиться,
Кто без молитвы жил и постарел...
Чем дольше жизнь, тем явственней сигнал...
С кем из безвестных суждено мне слиться?
О всех, о ком здесь некому молиться,
Я помолюсь теперь в монастыре...

Ночь под 1927 г.

Земное небо

Как царство средь царства, стоит монастырь.
Мирские соблазны вдали за оградой.
Но как же в ограде — сирени кусты,
Что дышат по веснам мирскою отрадой?

И как же от взоров не скрыли небес, —
Надземных и, значит, земнее земного, —
В которые стоит всмотреться тебе,
И все человеческим выглядит снова!

На монастырском закате

Если закат в позолоте,
Душно в святом терему.
Где умерщвленье для плоти
В плоти своей же возьму?

Дух воскрыляю свой в небо...
Слабые тщетны мольбы:
Все, кто вкусили от хлеба,
Плоти навеки рабы.

Эти цветы, эти птицы,
Запахи, неба кайма,
Что теплотой золотится,
Попросту сводят с ума...

Мы и в трудах своих праздны, —
Смилуйся и пожалей!
Сам ты рассыпал соблазны
В дивной природе своей...

Где ж умерщвленье для плоти
В духе несильном найду?
Если закат в позолоте —
Невыносимо в саду...

1927

Черные, но белые

Белоликие монахини в покрывалах скорбно-черных,
Что в телах таите, девушки, духу сильному покорных?

И когда порханье запахов в разметавшемся жасмине,
Не теряете ли истины в ограждающем Амине?

Девушки богоугодные, да святятся ваши жертвы:
Вы мечтательны воистину, вы воистину усердны!

Но ведь плотью вы оплотены, и накровлены вы кровью, —
Как же совладать вы можете и со страстью, и с любовью?

Соловьи поют разливные о земном — не о небесном,
И о чувстве ночи белые шепчут грешном и прелестном...

И холодная черемуха так тепло благоухает,
И луна, луна небесная, по-земному так сияет...

Как же там, где даже женщины, даже женщины — вновь девы,
Безнаказанно вдыхаете ароматы и напевы?

Не живые ль вы покойницы? Иль воистину святые? —
Черные, благочестивые, белые и молодые!

1927

Все они говорят об одном

С. В. Рахманинову

Соловьи монастырского сада,
Как и все на земле соловьи,
Говорят, что одна есть отрада
И что эта отрада — в любви...

И цветы монастырского луга
С лаской, свойственной только цветам,
Говорят, что одна есть заслуга:
Прикоснуться к любимым устам...

Монастырского леса озера,
Переполненные голубым,
Говорят: нет лазурнее взора,
Как у тех, кто влюблен и любим...

Toila.
1927

У моря и озер

У моря и озер

У моря и озер, в лесах моих сосновых,
Мне жить и радостно, и бодро, и легко,
Не знать политики, не видеть танцев новых
И пить, взамен вина, парное молоко.

В особенности люб мне воздух деревенский
Под осень позднюю и длительной зимой,
Когда я становлюсь мечтательным, как Ленский,
Затем, что дачники разъехались домой.

С отъездом горожан из нашей деревеньки
Уходит до весны (как это хорошо!)
Все то ходульное и то "на четвереньках",
Из-за чего я сам из города ушел...

Единственно, о чем взгрустнется иногда мне:
Ни звука музыки и ни одной души,
Сумевшей бы стиха размер расслышать давний
Иль новый — все равно, кто б о стихе тужил.

Здесь нет таких людей, и вот без них мне пусто:
Тот отрыбачил день, тот в поле отпахал...

Как трудно без души, взыскующей искусства,
Влюбленной в музыку тончайшего стиха!

Доступность с простотой лежат в моих основах,
Но гордость с каждым днем все боле мне сродни:
У моря и озер в лесах моих сосновых
Мы с Музой радостны, но в радости — одни.

1927

На земле в красоте

Восемь лет я живу в красоте
На величественной высоте.
Из окна виден синий залив.
В нем — луны золотой перелив.

И — цветущей волной деревень —
Заливает нас в мае сирень,
И тогда дачки все и дома —
Сплошь сиреневая кутерьма!

Оттого так душисты мечты —
Не сиреневые ли цветы?
Оттого в упоенье душа,
Постоянно сиренью дыша...

А зимой — на полгода — снега,
Лыжи, валенки, санки, пурга.
Жарко топлена русская печь,
Книг классических четкая речь.

Нет здесь скуки, сводящей с ума:
Ведь со мною природа сама.
А сумевшие сблизиться с ней
Глубже делаются и ясней.

Нет, не тянет меня в города,
Где царит "золотая орда".
Ум бездушный, бездумье души
Мне виднее из Божьей глуши.

Я со всеми в деревне знаком:
И с сапожником, и с рыбаком.
И кого не влекут кабаки,
Те к поэту идут рыбаки.

Скучно жить без газет мужичку...
Покурить мне дадут табачку,
Если нет у меня самого,
Если есть — я даю своего.

Без коня, да и без колеса
Мы идем на озера в леса
Рыболовить, взяв хлеба в суму,
Возвращаясь в глубокую тьму.

И со мной постоянно она,
Кто ко мне, как природа, нежна,
Чей единственный истинный ум
Шуму дрязг предпочел синий шум.

Я природой живу и дышу,
Вдохновенно и просто пишу.
Растворяясь душой в простоте,
Я живу на земле в красоте!

1925

Десять лет

Десять лет — грустных лет! — как заброшен в приморскую глушь я.
Труп за трупом духовно родных. Да и сам полутруп.
Десять лет — страшных лет! — удушающего равнодушья
Белой, красной — и розовой! — русских общественных групп.

Десять лет! — тяжких лет! — обескрыливающих лишений,
Унижений щемящей и мозг шеломящей нужды.
Десять лет — грозных лет! — сатирических строф по мишени
Человеческой бесчеловечной и вечной вражды.

Десять лет — странных лет! — отреченья от многих привычек,
На теперешний взгляд — мудро-трезвый — ненужно-дурных...
Но зато столько ж лет рыб, озер, перелесков, и птичек,
И встречанья у моря ни с чем не сравнимой весны!

Но зато столько ж лет, лет невинных, как яблоней белых
Неземные цветы, вырастающие на земле,
И стихов из души, как природа, свободных и смелых,
И прощенья в глазах, что в слезах, и — любви на челе!

1927

Не устыдись...

Не устыдись, склонив свои колени,
Благодарить в восторге небеса,
Что зришь еще один расцвет сирени
И слышишь птиц весенних голоса.

Земля цветет, вчера еще нагая,
Цветет душа, ее цветам внемля.
Нисходит в сердце радость всеблагая.
Ценней бессмертья — смертная земля!

Один лишь раз живя на этом свете
И ощущая землю только раз,
Забудь о судьбах будущих столетий:
Вся жизнь твоя — в лучах раскрытых глаз!

1926

В деревушке у моря

В деревушке у моря, где фокстрота не танцуют,
Где политику гонят из домов своих метлой,
Где целуют не часто, но зато, когда целуют,
В поцелуях бывают всей нетронутой душой;

В деревушке у моря, где избушка небольшая
Столько чувства вмещает, где — прекрасному сродни —
В город с тайной опаской и презреньем наезжая
По делам неотложным, проклинаешь эти дни;

В деревушке у моря, где на выписку журнала
Отдают сбереженья грамотные рыбаки
И которая гневно кабаки свои изгнала,
Потому что с природой не соседят кабаки;

В деревушке у моря, утопающей весною
В незабвенной сирени, аромат чей несравним, —
Вот в такой деревушке, над отвесной крутизною,
Я живу, радый морю, гордый выбором своим!

1927

Соблазны влаги

В однообразии своем разнообразны,
Они разбросаны, как влажные соблазны,
Глазами женскими, и женственны они,
Как дальней юности растраченные дни.
Я часто к ним иду, покорный власти зова.
Один прохладный глаз лучится васильково.
Другой — коричневый — лукавой глубиной
Коварно ворожит, веселый, надо мной.
И серый — третий — глаз, суровый, тайно-нежный,
Напоминает мне о девушке элежной,
Давно утраченной в те щедрые лета,
Когда вот эта жизнь была совсем не та...
И, глядя на друзей, взволнованных и влажных,
Я вспомнил девушек в домах многоэтажных
И женщин с этою озерностью в глазах,
Всех женщин, взрощенных и вскормленных в лесах
Отчизны, взвившейся на мир змеей стожалой,
Крылатой родины, божественной, но шалой...

Их было у меня не меньше, чем озер
В лесу, где я иду к обители сестер:
Не меньше ста озер и женских душ не меньше,
Причем три четверти приходится на женщин.
И, углубляясь в приозерные леса,
Я вижу их глаза, я слышу голоса
И слезы вижу я, и смех припоминаю...
Я ими обладал, — я их теперь не знаю.
Я смутно помню их, когда-то близких мне,
Мне отдававших все со мной наедине —
И души, и тела... И что боготворимо
Когда-то было мной, теперь не больше дыма...
В разнообразии своем однообразны
Вдруг стали все они, и влажные соблазны
Их некогда живых и мертвых ныне глаз
Не будят нежности, не вовлекут в экстаз.
Настолько радостны нагаданные встречи,
Настолько тягостны разлуки. Вы — далече,
Непредназначенные женщины мои!..

И видя хлесткие движения змеи,
Ползущей к озеру, и вспомнив о России,
Глаза усталые, глаза немолодые
Закрыв в отчаяньи, я знаю, что слеза
Мне зацелованные женщиной глаза
Кольнет нещедрая — последняя, быть может:
Утеря каждая до сей поры тревожит...
О, эти призраки! Мучительны они...
Я силюсь позабыть растерзанные дни,
Смотрюсь в озера я, но — влажные соблазны
В однообразии уже однообразны...

14 окт. 1928

В пути

Иду, и с каждым шагом рьяней
Верста к версте — к звену звено.
Кто я? Я — Игорь Северянин,
Чье имя смело, как вино!

И в горле спазмы упоенья.
И волоса на голове

Приходят в дивное движенье,
Как было некогда в Москве...

Там были церкви златоглавы
И души хрупотней стекла.
Там жизнь моя в расцвете славы,
В расцвете славы жизнь текла.

Вспененная и золотая!
Он горек, мутный твой отстой.
И сам себе себя читая,
Версту глотаю за верстой!

4 октября 1928

В пустые дни

Бывает: сразу станут дни пусты.
Рьянь стихнет в них. Я складываю книжки
И тридцать верст иду без передышки
В свой девичий озерный монастырь.

Идти лесными тропами легко,
Бесчисленные обходить озера,
Идти не очень тихо и не скоро,
Дышать сосной и влагой глубоко.

Со мною только удочка моя —
Дороже всех услад земных тростинка.
Об Аглавене грежу Матэрлинка
И мучаюсь о Селизете я ...

К закату возникает монастырь.
Мне шлют привет колокола вечерни.
Все безнадежнее и все безмерней
Я чувствую, как дни мои пусты...

1928

Вода примиряющая

Сам от себя — в былые дни позера,
Любившего услад душевных хмель —
Я ухожу раз в месяц на озера,
Туда, туда — "за тридевять земель"...

Почти непроходимое болото.
Гнилая гать. И вдруг — гористый бор,
Где сосны — мачты будущего флота —
Одеты в несменяемый убор.

А впереди, направо, влево, сзади,
Куда ни взглянешь, ни шагнешь куда,
Трав водяных взлохмаченные пряди
И все вода, вода, вода, вода...

Как я люблю ее, всегда сырую,
И нежную, и емкую, как сон...
Хрустальные благословляю струи:
Я, ими углубленный, вознесен.

Люблю сидеть над озером часами,
Следя за ворожащим поплавком,
За опрокинутыми вглубь лесами
И кувыркающимся ветерком...

Как солнышко, сверкает красноперка,
Уловлена на острие крючка.
Трепещущая серебрится горка
Плотвы на ветхом днище челнока.

Под хлюпанье играющей лещихи,
Что плещется, кусая корни трав,
Мои мечты благочестиво-тихи,
Из городских изъятые оправ...

Так как же мне от горя и позора
К ненужью вынуждающей нужды
Не уходить на отдых на озера
К смиренью примиряющей воды?..

1926, сентябрь

Лесные озера

За пустынною станцией Орро,
От морской теплоты в стороне,
Шелестят шелковисто озера
О развееренной старине...

К ним лесные приводят канавы,
Тропки вьются, вползая в бурьян.
Все в слепнях мечевидные травы.
В медуницах цветет валерьян.

Скрылось первое озеро в желтый
Длинностебельный лильчатый шарф,
Что при солнце слепительно золот:
Это — тинистое Пиен-Ярв.

А за ним — удаленное к югу,
Растворенное в голубизне,
Голубому подобное лугу, —
Дремлет Изана-Ярв в полусне.

Мы идем, как лунатики, в чарах,
Отдаляясь от моря и рек.
Нас приветствует, все в ненюфарах,
Сонно-нежное озеро Рэк.

Под сосновою скользкой горою,
Жуть в глубины бездонные влив,

В час рассвета и лунной порою
Угрожающе озеро Лийв.

Салютуя удилищем влаге,
Мы идем к благодати полян,
Где береза сквозистые флаги
Наклоняет над озером Пан.

Но вся песня была бы бестактна,
Если б этой, последней из строф
Я не отдал для озера Акна,
Украшенья эстийских лесов.

1926, август

Моя удочка

Эта удочка мюнхенского производства,
Неизменная спутница жизни моей,
Отвлекает умело меня от уродства
Исторических — и истерических! — дней.

Эта палочка тоненькая, как тростинка,
Невесомая, гибкая, точно мечта,
Точно девушка, — уж непременно блондинка, —
Восхитительные мне открыла места.

Нежно взяв ее в руки и мягко лаская,
Как возлюбленную, я иду с ней в леса,
Где не встретится нам эта нечисть людская,
Где в озерах поблескивают небеса.

Мы идем с нею долго — с утра до заката —
По тропинкам, что трудный соткали узор.
Нам встречается лишь лесниковая хата,
Но зато нам встречается много озер!

И на каждом из них, в мелочах нам знакомом,
Мы безмолвный устраивать любим привал.
Каждый куст служит нам упоительным домом,
Что блаженство бездомному мне даровал.

Наклонясь над водой и любуясь собою
В отразивших небес бирюзу зеркалах,
Смотрит долго подруга моя в голубое,
Любопытство в тигровых будя окунях.

И маня их своим грустно-хрупким нагибом,
Привлекает на скрытый червями крючок,
Чисто женским коварством доверчивым рыбам
Дав лукавый, — что делать: смертельный,
— урок.

Уловив окунька, выпрямляется тотчас
И, свой стан изогнув, легкий свист торжества
Издавая, бросает, довольная очень,
Мне добычу, лицо мне обрызгав едва...

Так подруга моя мне дает пропитанье,
Увлекает в природу, дарует мечты.
Оттого-то и любы мне с нею скитанья —
С деревянной служительницей Красоты!

1927

У лесника

Мы ловили весь день окуней на лесистых озерах
От зари до зари. Село солнце. Поднялся туман.
Утомились глаза, поплавки возникали в которых
На пути к леснику, чью избушку окутала тьма.

Закипал самовар. Тени мягкие лампа бросала.
Сколько лет старику? Вероятно, не меньше
чем сто.
Яйца, рыба, и хлеб, и кусочки холодного сала
Были выставлены на — приманчивый к вечеру
— стол.

И зашел разговор, разумеется, начатый с рыбы,
Перешедший затем на людей и на их города.
И когда перед сном мы, вставая, сказали
спасибо,
О нелепости города каждый посильно страдал:

Ведь не явный ли вздор — запереться по душным
квартирам,
Что к ненужным для жизни открытьям людей
привели?
Этот старый лесник, говоривший о глупости
мира,
В возмущенье своем был евангельски прост и
велик.

1927

В забытьи

В белой лодке с синими бортами,
В забытьи чарующих озер,
Я весь день наедине с мечтами,
Неуловленной строфой пронзен.

Поплавок, готовый кануть в воду,
Надо мной часами ворожит.
Ах, чего бы только я не отдал,
Чтобы так текла и дальше жизнь!

Чтобы загорались вновь и гасли
Краски в небе, строфы — в голове..
Говоря по совести, я счастлив,
Как изверившийся человек.

Я постиг тщету за эти годы.
Что осталось, знать желаешь ты?
Поплавок, готовый кануть в воду,
И стихи — в бездонность пустоты...

Ничего здесь никому не нужно,
Потому что ничего и нет
В жизни, перед смертью безоружной,
Протекающей как бы во сне...

1926

В часы росы

Засмотревшись в прохладную прозелень
Ключевой и бездонной воды,
Различаешь, как водит по озеру
Окуней в час росы поводырь...

И когда пук червей вглубь посыпался,
Наблюдаешь, с нажимом в бровях,
Как коленчатого схватят выползня —
Извивающегося червя...

И тогда уж, не чувствуя лодочки
Под собой, ни себя, ничего —
Снарядив невесомые удочки,
Воплощаешься в свой поплавок...

1926

В гичке

Речка, от ветра рябая,
Качкою гичке грозит.
Гичка моя голубая
Быстро по речке скользит.

Вдоль уводящих извилин
Встал увлекающий лес.
Весело, как в водевиле,
Плыть по воде на Земле.

В озеро к ночи въезжая —
В глаз голубой Божества, —
Шепчешь: Земля — не чужая:
Здесь я и раньше бывал...

Все мне знакомо земное
В дымке особой земной:
Озеро ли голубое,
Взгляд ли очей голубой,

Лодочка ли голубая,
Голубь ли в голубизне
Неба, где грусть колебала
Душу и мертвый грустнел...

1927

Изольда изо льда

Этот лес совсем по Мейерхольду
Ставила природа, и когда
Я войду в него, свою Изольду
Встречу в нем — Изольду изо льда...

Взгляд ее студеный смотрит зорко
Сквозь обставшие ее леса.
Блестко выхрусталено озерко,
И на нем заката полоса.

Создал чей резец мою снегурку,
Девственную женщину мою?
В Сивку-Бурку — вещую Каурку
Превращу покорную скамью...

И взлетя на ней победолетно,
Вскрою вены — кровью
Голубой снегурки лед бесплотный,
Чтобы он воспринял кровь и плоть!

1929

Слезы мертвых ночей

Однажды осенью, совсем монастырскою осенью,
Когда в грустнеющей и шепотной просини вод
Успокоение, плыла она в лодке по озеру,
Был день Успения и нежное в нем торжество.

О, слезы женские! Все озеро вами наструено.
Из глаз монашеских накаплено до берегов.
Оно наслезено, — в нем просто воды нет
ни дюйма.
Оно наплакано монахинями глубоко.

И этой девушкой, что плавала грустно по озеру,
Весло опущено не в воду, а в слезы всех тех,
Кто жизнь оплакивал всю жизнь — и весною,
и осенью, —
Кто в ночи мертвые о грешной вздыхал суете...

1928

Озеро девьих слез

Заголубеет первозимок,
Снежинка сядет на плечо, —
Тогда меня неотразимо
К нагорным соснам повлечет.

И в лес путем голубоватым
В час лучезарящейся мглы
Шагну — по полушубку ваты
Зимы — безудержностью лыж.

Я побегу, снега утюжа,
Свой путь обратный желобя.
Мороз окреп, — ноге все туже:
Я упоенностью объят!

По вызеркаленным озерам,
В них облик скользкий отразив,
Промчусь, как снизившийся ворон,
Куда ведут меня стези.

Они ведут, — в закате бронза,
И сосны гор ее пестрят, —
На озеро — дев слезы — Конзо
У женского монастыря...

1928

Озеро Рэк

Ряды березок удочкообразных.
Меж них тропа. За ними же, правей,
Ползет река. Вода в тонах топазных.
И на плывущей щепке — муравей.

Вдруг поворот налево. Мостик. Горка,
И апельсинно-лучезарный бор.
Вспорхнула растревоженно тетерка,
Нас не заметившая до сих пор.

Внизу, меж сосен в блещущих чешуйках,
Печальное сизеет озерко.
Над ним стою в табачных синих струйках
И думаю светло и глубоко.

Пятнадцать верст прошел, покинув море,
Чтоб грусть и нежность, свойственные Рэк,
Впитать, чтоб блеклые увидеть зори
Озерные, любимые навек.

Красиво это озеро лесное.
Какая сонь! Какая тишина!
В нем грусть, роднящая его со мною,
И завлекающая глубина.

Из обволакивающего ила
Не сделать ли последнюю постель?
— О, Рэк! О, Рэк! поэтова могила! —
В ближайшем поле скрипнет коростель...

1928, сентябрь

Озеро Лийв

Луны рыбоносной последняя четверть.
Наструненный лес на закатах ущерба.
Во влажных зеркалах просохшие ветви.
Рдян воздух. Всю воду из водных пещер бы!

Тогда бы узрел легендарную щуку,
Векующую в озорной озерине.
Страх смотрится в воду. Хохочет. Ищу,
Куда бы укрыться мне в этой грустыне.

И ели на скатах крутых — как попало
(Как семя попало!), нахмурясь космато.
И "спальней графини" пчела прожужжала,
Откуда-то взявшись и девшись куда-то...

1928

Озеро Конзо

На озере Конзо, большом и красивом,
Я в лодке вплываю в расплавленный зной.
За полем вдали монастырь над обрывом,
И с берега солнечной пахнет сосной.

Безлюдье вокруг. Все объято покоем.
Болото и поле. Леса и вода.
Стрекозы лазурным проносятся строем.
И ночи — как миги, и дни — как года.

К столбам подплываю, что вбиты издревле
В песчаное, гравием крытое дно.
Привязываюсь и мечтательно внемлю
Тому, что удильщику только дано:

Громадные окуни в столбики лбами
Стучат, любопытные, лодку тряся,
И шейку от рака хватают губами:
Вот всосан кусочек, а вот уж и вся.

Прозрачна вода. Я отчетливо вижу,
Как, шейку всосав, окунь хочет уйти.
Но быстрой подсечкой, склоняясь все ниже,
Его останавливаю на пути.

И взвертится окунь большими кругами,
Под лодку бросаясь, весь — пыл и борьба,
Победу почувствовавшими руками
Я к борту его, и он штиль всколебал...

Он — в лодке. Он бьется. Глаза в изумленьи.
Рот судорожно раскрывается: он
Все ищет воды. В золотом отдаленьи
Укором церковный тревожится звон...

И солнце садится. И веет прохлада.
И плещется рыбой вечерней вода.
И липы зовут монастырского сада,
Где ночи — как миги, и дни — как года...

1928

С озер незамерзших

Из приморской глуши куропатчатой,
Полюбивший озера лещиные,
Обновленный, весь заново зачатый,
Жемчуга сыплю вам соловьиные —
Вам, Театра Сотрудники Рижского, —
Сердцу, Грезой живущему, близкого;
Вам, Театра Соратники Русского, —
Зарубежья и нервы и мускулы;
Вам, Театра Родного Сподвижники,
Кто сердец современных булыжники,
Израсходовав силы упорные,
Претворяет в ключи животворные!
А ключи, пробудясь, неиссячные —
Неумолчные, звучные, звячные —
Превращаются в шири озерные...
И, плывя по озерам, "браввиссимо!"
Шлет актерам поэт независимый.

1926, декабрь

В часы предвесенья

В просолнечненные часы воскресенья
Природы и с ней Иисуса Христа —
Что может быть радостнее всепрощенья,
Облагораживающего уста?

В часы, когда вызолоченное поле
На ультрамариновый смотрит залив,
Вкушаю безропотно полное боли
Питье из полыни, восторг в него влив...

В часы, когда грезы в надречных фиалках
И в первых травинках у трухлого пня,
Прощаю бессовестных критиков жалких,
Старающихся изничтожить меня...

Я весь преисполнен чудес воскресенья,
Чудес совершенной, высокой красы
В часы чаровательные предвесенья —
В простые, величественные часы!

1924

Таймень

Ночь выплыла из Байкала
И, поближе держась к кайме
Нижних скал (не меня ль искала?),
Ангарою пошла таймень.

К Ледовитому океану
В неприснившиеся края
Увлекла (это все по плану!)
Малахитовая струя.

Перерезала путь фаланге
Лодок с рыбой, плывущих в порт,
Посетила в пути Архангельск
И в Норвежский зашла фиорд.

Только — долго ли там, коротко ль, —
Много странного пережив,
Утомленная рыба кротко
Финский выискала залив.

И в ту речку, где я весною
Постоянно, она вплыла,
И ту удочку, что со мною
Неизменно, она нашла...

Там я выудил в предвесенний
Бодрый, солнечный, тихий день
В силу высших предназначений
Мне ниспосланную таймень.

1927

Накануне ледохода

В этот год я встречаю вторую весну,
Возвратясь с недалекого юга,
Где одна завакханилась, мне проблеснув,
И ушел я в приморский свой угол.

В эту зиму вторично вступил я в зиму,
От разливной реки к ледоставу
Возвратился опять и с восторгом приму
Ту весну, что дана мне по праву.

Здравствуй, северная, мне родная весна,
Целомудренная, чуть скупая!
Уж давно я тебя в совершенстве познал,
Всю черемухой рифм осыпая.

Ежедневно хожу к бело спящей реке
Измененья следить ледостоя,
Льдины моря, мокреющие вдалеке,
И само это море пустое.

Замечаю, как желтая с мутью вода
С каждым днем накопляется на лед.
Жду, чтоб начали льдины друг друга бодать
В час, когда их теченьем развалит.

В реку, в море умчавшую сломанный лед,
Знаю, тотчас войдет лососина,
И когда лососина из моря войдет,
Я реки ни за что не покину.

Отдохнувшая за зиму удочка, ты,
Кто прославлена гибкой и броской,
Чтоб недаром с тобою у речки нам стыть,
Угости меня вешней лосоской!

1928

Бабочка лимонная

Весенеет линия
Берега вдали.
Перелески синие
В парке расцвели.

И сниженье чувствуя
В речке полых вод,
Лососина шустрая
В море вновь идет.

Вышел цветик вычурный,
Солнцем осиян.
И свинцовый исчерна
Стал клевать максан.

С верой непреклонною
Много счастья жду:
Бабочка лимонная —
Первая в году!

1929, май

Наверняка

Я чувствую наверняка —
Ах, оттого и боль сугуба! —
Что прозы подлая рука
Весь этот парк повалит грубо
Когда-нибудь.

Когда-нибудь.
Не будет зарослей над речкой.
И станет выглядеть увечкой
Она, струя отбросов муть
Взамен форельности кристальной
Своей теперешней.

Дубы
Пойдут банкирам на гробы,
И парк мой, глубоко печальный,
Познав превратности судьбы,
Жить перестанет, точно люди,
И будет гроб ему — пустырь.
И только ветер вечно будет
Ему надгробный петь псалтирь...

1923

Что шепчет парк

О каждом новом свежем пне,
О ветви, сломанной бесцельно,
Тоскую я душой смертельно,
И так трагично-больно мне.
Редеет парк, редеет глушь.
Редеют ёловые кущи...
Он был когда-то леса гуще,
И в зеркалах осенних луж
Он отражался исполином...
Но вот пришли на двух ногах
Животные — и по долинам
Топор разнес свой гулкий взмах.
Я слышу, как, внимая гуду
Убийственного топора,
Парк шепчет: "Вскоре я не буду...
Но я ведь жил — была пора..."

1923

Любят только душой

Хрустит под сапогом валежник:
Еще недавно здесь был куст.
В моей душе — ведь я элежник! —
Отдался грустью этот хруст.

Так каждодневно портят, рубят
И обезглушивают глушь.
И чем же парк они полюбят,
Раз вовсе не имеют душ?!..

1923

История имения "Чудлейль"

Ф. М. Лотаревой

Мисс Чудлейль из Англии Императрице
Вакханочной Екатерине Второй
Представлена утром послом под горой,
Вблизи Приората гулявшей в теплице.

Она императорскою фавориткой
Немедленно стала, заморская мисс.
Носила прическу она с маргариткой,
Любила живое бандо — барбарис.

Немного сутуловата, круглолица,
Она некрасива, полна и мала.
Но русско-германская императрица
Была обольстительно с нею мила.

Характер мисс Чудлейль настолько был светел,
Что даже светлейший Таврический князь
Ухаживал, робко пред нею клонясь,
Пока гнев в глазах властелинши не встретил.

Попала в опалу любимица вдруг,
В немилость попала веселая Чудлейль.
И царская ль воля, людской пересуд ли,
Но свыше решили: "Ей нужен супруг..."

Призвав одного из английских вельмож,
В семье своей сильного правом единства,
Ему намекнули: "Ее ты возьмешь", —
И стала она герцогинею Кингстон...

Под Нарвой, близ Конью, построили им
Большое величественное поместье.
Но молодожены не стали жить вместе,
И в Англию герцог уехал к своим.

Она же давала в именье пиры,
Пиры, что гремели за быстрой Наровой.
Ей гости сердца приносили и дары
В честь знатной хозяйки дворца дугобровой.

И не оттого ли, что Тойла моя
Верстах в четырех от дворца герцогини,
В чьем липовом парке брожу часто я,
О ней рассказать захотелось мне ныне?

1923

Купанье звезд

П. М. Костанову

Выхожу я из дома, что построен на горке,
— и открыты для взора
В розовеющей дымке повечерья и утром в
золотой бирюзе,
Грудь свежащие бодро, в хвойных линиях леса,
ключевые озера,
Где лещихи играют и пропеллером вьется
стрекоза к стрекозе.

Никуда не иду я, лишь стою перед домом,
созерцая павлиний
Хвост заката, что солнце, удаляясь на отдых,
распустило в воде.
Зеленеют, синея, зеркала, остывая, и, когда уже
сини,
В них звезда, окунаясь, шлет призыв
молчаливый надозерной звезде...

И тогда осторожно, точно крадучись, звезды,
совершая купанье,
Наполняют озера, ключевые озера, и тогда,
— и тогда
Я домой возвращаюсь, преисполнен восторга,
преисполнен сознанья,
Что она звездоносна, неиссячна эта питьевая
вода!

Озеро Uljaste.
1924

Мудрость идиллии

Над узкою тропкою клены
Алеют в узорчатой грезе
Корова, свинья и теленок
Прогулку свершают вдоль озера.

Коровой оборвана привязь,
Свиньею подрыта дверь хлева.
Теленок настроен игривей:
Он скачет, как рыба из невода...

Гуськом они шествуют дружно.
Мы в лодке навстречу им плыли.
Твои засверкали жемчужины
В губах, и зардели щек лилии...

И ты закричала: "Прелестно!
Ах, эта прогулка ведь чудо!"
С восторгом смотрела на лес,
Отбросила в сторону удочку...

Жемчужины рта вдруг поблекли,
Жемчужины глаз заблистали,
И ты проронила: "Намек
На то, что и здесь, и в Италии:

Чем люди различнее, дружба
Их крепче, как это ни странно...
О, если возможно, не рушь
Божественно-непостоянного..."

Озеро Uljaste.
1924

Шатенка в розовом

Аллеей лиственниц иду вдоль озера.
Вода прозрачная у самых ног.
Навстречу девушка мелькает розово,
Чтобы мыслить горестно поэт не мог...

Аллея темная и тьмой тяжелая,
И тьма безрадостна, и тьма пуста.
А та сверкальная! А та веселая!
И упоенная такая та!

Неторопливые подходят окуни
И неподвижные в воде стоят,
Как будто думают о русом локоне,
О платье розовом мечту таят...

Озеро Uljaste.
28 августа 1925

Зовущаяся Грустью

Как женщина пожившая, но все же
Пленительная в устали своей,
Из алых листьев клена взбила ложе
Та, кто зовется Грустью у людей...

И прилегла — и грешно, и лукаво
Печалью страсти гаснущей влеча.
Необходим душе моей — как слава! —
Изгиб ее осеннего плеча...

Петь о весне смолкаем мы с годами:
Чем ближе к старости, тем все ясней,
Что сердцу ближе весен с их садами
Несытая пустынность осеней...

Uljaste
1926, сентябрь

Осенние листья

Осеню́ себя о́сенью — в дальний лес уйду.
В день туманный и серенький подойду к пруду.

Листья, точно кораблики, на пруде застыв,
Ветерка ждут попутного, но молчат кусты.

Листья мокрые, легкие и сухие столь,
Что возьмешь их — ломаются поперек и вдоль.

Не исчезнуть скоробленным никуда с пруда:
Ведь она ограниченна, в том пруде вода.

Берега всюду топкие с четырех сторон.
И кусты низкорослые стерегут их сон.

Листья легкие-легкие, да тяжел удел:
У пруда они выросли и умрут в пруде...

1929

На Эмбахе

Ее весны девятой голубые
Проказливо глаза глядят в мои.
И лилию мне водяную Ыйэ
Протягивает белую: "Прими..."

Но, как назло, столь узкая петлица,
Что сквозь нее не лезет стебелек.
Пока дитя готово разозлиться,
Я — в лодку, и на весла приналег...

Прощай! И я плыву без обещаний
Ее любить и возвратиться к ней:
Мне все и вся заменит мой дощаник,
Что окунается от окуней...

Но и в моем безлюдье есть людское,
Куда бы я свой якорь ни бросал:
Стремят крестьян на озеро Чудское
Их барж клокочущие паруса.

Взъерошенная голова космата
И взъерепененная борода.
И вся река покрыта лаком "мата",
В котором Русь узнаешь без труда...

1929

В лесах приволжских

Над озером смеялись берегини
Зеленовзорые и русые.
И были небеса спокойно-сини
Над обольстительной чарусою.

Мы шли весь день и захватили вечер,
Ведомы странными летасами.
Нам в городе жить больше стало нечем
С его ненужными прикрасами.

Мы ночью развели костер в лывине,
И запорхали всюду искры скорые.
И к огоньку присели берегини
Притихшие, зеленовзорые.

Toila.
1930

Играй целый вечер...

Сыграй мне из "Пиковой дамы",
Едва ль не больнейшей из опер,
Столь трогательной в этой самой
Рассудочно-черствой Европе...

Сначала сыграй мне вступленье,
Единственное в своем роде,
Где чуть ли не до преступленья
Мечта человека доводит...

Мечта! Ты отринута миром...
Сестра твоя — Страсть — в осмеяньи ...
И сердцу, заплывшему жиром,
Не ведать безумства желаний...

О, все, что ты помнишь, что знаешь,
Играй мне, играй в этот вечер:
У моря и в северном мае
Чайковский особо сердечен...

1927

Тишь двоякая

Высокая стоит луна.
Высокие стоят морозы.
Далекие скрипят обозы.
И кажется, что нам слышна
Архангельская тишина.

Она слышна, она видна:
В ней всхлипы клюквенной трясины,
В ней хрусты снежной парусины,
В ней тихих крыльев белизна —
Архангельская тишина...

1929

Девушка безымянная

Она живет в глухом лесу,
Его зовя зеленым храмом.
Она встает в шестом часу,
Лесным разбуженная гамом.

И умывается в ручье,
Ест только хлеб, пьет только воду.
И с легкой тканью на плече
Вседневно празднует свободу.

Она не ведает зеркал
Иных, как зеркало речное.
Ей близок рыбарь, житель скал,
Что любит озеро лесное.

Но никогда, но никогда
Она ему о том не скажет:
Зачем? К чему! Идут года,
И время умереть обяжет.

Ее друзья — два зайца, лось
И чернобурая лисица.
Врагов иметь ей не пришлось,
Вражда ей даже не приснится...

Не знать страданья от вражды
И от любви не знать страданья —
Удел божественный! Чужды
Ей все двуногие созданья.

И только птиц, двуногих птиц
Она, восторженная, любит.
Пусть зверство человечьих лиц
Безгрешной нежность не огрубит!

Не оттого ль и рыболов,
Любезный сердцу, инстинктивно
Ее пугает: и без слов
В нем что-то есть, что ей противно...

Людское свойство таково,
Что не людей оно пугает...
Она — земное божество,
И кто она — никто не знает!..

1923

Тяга на юг...

Не старость ли это, — не знаю, не знаю, —
Быть может, усталость — души седина,
Но тянет меня к отдаленному краю,
Где ласковей воздух и ярче волна.

Мне хочется теплого и голубого,
Тропических фруктов и крупных цветов,
И звончатой песни, и звучного слова,
И грез без предела, и чувств без оков.

Я Север люблю, я сроднился с тоскою
Его миловидных полей и озер.
Но что-то творится со мною такое,
Но что-то такое завидел мой взор,

Что нет мне покоя, что нет мне забвенья
На родине тихой, и тянет меня
Мое пробудившееся вдохновенье
К сиянью иного — нездешнего — дня!

1929

Там, у вас на Земле...

Там, у вас на Земле...

На планете Земле, — для ее населенья обширной,
Но такой небольшой созерцающим Землю
извне, —
Где нет места душе благородной, глубокой
и мирной,
Не нашедшей услады в разврате, наживе, войне;

На планете Земле, помешавшейся от самомненья
И считающей все остальные планеты ничем,
Потому что на ней — этом призрачном перле
творенья, —
Если верить легенде, был создан когда-то Эдем;
Где был распят Христос, жизнь отдавший за
атом вселенной,
Где любовь, налетая, скорбит на отвесной скале
В ужасе перед людьми — там, на вашей планете
презренной,
Каково быть поэтом на вашей жестокой Земле?!..

1926

Фокстрот

Король Фокстрот пришел на землю править,
Король Фокстрот!
И я — поэт — его обязан славить,
Скривив свой рот...

А если я фокстротных не уважу
Всех потрохов,
Он повелит рассыпаться тира́жу
Моих стихов...

Ну что же, пусть! Уж лучше я погибну
Наверняка,
Чем вырваться из уст позволю гимну
В честь дурака!

1927

"Культура! Культура!"

"Культура! Культура!" — кичатся двуногие
звери,
Осмеливающиеся называться людьми,
И на мировом языке мировых артиллерий
Внушают друг другу культурные чувства свои!

Лишенные крыльев телесных и крыльев
духовных,
Мечтают о первых, как боле понятных для них,
При помощи чьей можно братьев убить своих
кровных,
Обречь на кровавые слезы несчастных родных...

"Культура! Культура!" — и в похотных тактах
фокстрота,
Друг к другу прижав свой — готовый
рассыпаться — прах,
Чтут в пляске извечного здесь на земле Идиота,
Забыв о картинах, о музыке и о стихах.

Вся славная жизнь их во имя созданья
потомства:
Какая величественная, священная цель!
Как будто земле не хватает еще вероломства,
И хамства, и злобы, достаточных сотне земель.

"Культура! Культура!" — и прежде всего: это
город —
Трактирный зверинец, публичный —
общественный! — дом...
"Природа? Как скучно представить себе эти
горы,
И поле, и рощу над тихим безлюдным прудом...

Как скучно от всех этих лунных и солнечных
светов,
Таящих для нас непонятное что-то свое,
От этих бездельных, неумных, голодных поэтов,
Клеймящих культуру, как мы понимаем ее..."

1926

Праздники

Пошлее праздников придумать трудно,
И я их внешности не выношу:
Так отвратительно повсюду людно,
Что в дивной праздности таится жуть.

Вот прифрантившееся обнищанье
Глядит сквозь розовенькие очки,
Как в банях выпаренные мещане
Надели чистые воротнички,

Как похохатывают горожанки,
Обворожаемые рожей лжи, —
Бессодержательные содержанки
Мужей, как собственных, так и чужих...

Три дочки Глупости — Бездарность, Зависть
И Сплетня — шляются, кичась, в толпе,
Где пышно чествуется мать красавиц,
Кто в праздник выглядит еще глупей.

Их лакированные кавалеры —
Хам, Вздор и барственный на вид Разврат, —
Собой довольные сверх всякой меры,
Бутылки выстроили вдоль ковра.

Кинематографом и лимонадом
Здесь открываются врата в тела,
И Пошлость радуется: "Так и надо",
И Глупость делает свои дела...

1927

Стреноженные плясуны

Это кажется или это так и в самом деле,
В пору столь деловитых и вполне бездельных дел,
Что крылатых раздели, что ползучих всех одели
И ползучие надели, что им было не в удел?

И надев одеянье, изготовленное Славой
Для прославленных исто, то есть вовсе не для них,
Животами пустились в пляс животною оравой,
Как на этих сумасшедших благосклонно ни взгляни...

И танцуют, и пляшут, да не час-другой, а — годы,
Позабыв о святынях, об искусстве и любви,
Позабыв о красотах презираемой природы,
Где скрываются поэты — человечьи соловьи...

И скрываясь от гнуси со стреноженною пляской,
От запросов желудка, от запросов живота,
Смотрят с болью, презреньем и невольною опаской
На былого человека, превращенного в скота...

1927

Те, кто морит мечту...

Я ни с этими и ни с теми,
Одинаково в стороне,
Потому что такое время,
Когда не с кем быть вместе мне...

Люди жалки: они враждою
Им положенный полувек
Отправляют, и Бог с тобою,
Надоедливый человек!

Неужели завоеванья,
Изобретенья все твои,
Все открытья и все познанья —
Для изнедриванья Любви?

В лихорадке вооруженья
Тот, кто юн, как и тот, кто сед,
Ищет повода для сраженья
И соседу грозит сосед.

Просветительная наука,
Поощряющая войну,
Вырвет, думается, у внука
Фразу горькую не одну.

А холопское равнодушье
К победительному стиху,
Увлеченье махровой чушью
И моленье на чепуху?

Мечтоморчатые поганки,
Шепелявые сосуны, —
В скобку стрижены мальчуганки
И стреножены плясуны.

Ложный свет увлекает в темень.
Муза распята на кресте.
Я ни с этими и ни с теми,
Потому что как эти — те!

1927

Возмездие

Был дух крылат,
Бескрыло тело.
Земных палат
Не захотело.

Приобрело
У птицы крылья,
Превозмогло
Свое бессилье.

Все побороть!
Не тут-то было:
Крылата плоть,
Душа бескрыла.

1929

Отрада приморья...

Изумительное у меня настроенье:
Шелестящая чувствуется чешуя...
И слепит петухов золотых оперенье...
Неначертанных звуков вокруг воспаренье...
Ненаписываемые стихотворенья...
— Точно Римского-Корсакова слышу я.

Это свойственно, может быть, только приморью,
Это свойственно только живущим в лесу,
Где оплеснуто сердце живящей лазорью,
Где свежаще волна набегает к подгорью,
Где наш город сплошною мне кажется хворью,
И возврата в него — я не перенесу!..

1927, март

Поэту

Как бы ни был сердцем ты оволжен,
Как бы лиру ни боготворил,
Ты в конце концов умолкнуть должен:
Ведь поэзия не для горилл...

А возможно ли назвать иначе,
Как не этой кличкою того,
Кто по-человечески не плачет,
Не переживает ничего?

Этот люд во всех твоих терцинах
Толк найдет не больший, — знаю я, —
Чем в мессинских сочных апельсинах
Тупо хрюкающая свинья...

Разве же способен мяч футбольный
И кишок фокстротящих труха
Разобраться с болью богомольной
В тонкостях поэтова стиха?

Всех видов искусства одиноче
И — скажу открыто, не тая —
Непереносимее всех прочих —
Знай, поэт, — поэзия твоя!

Это оттого, что сердца много
В бессердечье! Это оттого,
Что в стихах твоих наличье Бога,
А земля отвергла Божество!

1922, 9 окт.

Дон Жуан

Чем в старости слепительнее ночи,
Тем беспросветней старческие дни.
Я в женщине не отыскал родни:
Я всех людей на свете одиноче.

Очам непредназначенные очи
Блуждающие теплили огни.
Не проникали в глубину они:
Был ровным свет. Что может быть жесточе?

Не находя Искомой, разве грех
Дробить свой дух и размещать во всех?
Но что в отдар я получал от каждой?

Лишь кактус ревности, чертополох
Привычки да забвенья трухлый мох.
Никто меня не жаждал смертной жаждой.

1929

Стихи о Человеке

Меж тем как век — невечный — мечется
И знаньями кичится век,
В неисчислимом человечестве
Большая редкость — Человек.

Приверженцы теории Дарвина
Убийственный нашли изъян:
Вся эта суетливость Марфина —
Наследье тех же обезьян.

Да, в металлической стихийности
Всех механических страстей —
Лишь доля малая "марийности"
И серебристости вестей...

Земля! Века — ты страстью грезила,
Любовь и милосердье чла,
И гордостью была поэзия
Для человечьего чела!

Теперь же дух земли увечится,
И техникою скорчен век,
И в бесконечном человечестве,
Боюсь, что кончен Человек.

1929

А мы-то верили!..

Сомненья не было — а мы-то думали! а мы-то верили... —
Что человечество почти не движется в пути своем:
Как в веке каменном, как при Владимире в днепровском тереме,
Так в эру Вильсона зверье останется всегда зверьем...

Война всемирная, — такая жадная, такая подлая
Во всеоружии научных методов, — расписка в том,
Что от "божественного" современника животным отдало,
И дэнди в смокинге — размаскированный — предстал скотом...

Кто кинофильмами и бубикопфами, да чарльстонами
Наполнил дни свои, кто совершенствует мертвящий газ,
О, тот не тронется природой, музыкой, мечтой и стонами,
Тот для поэзии — а мы-то верили! — душой угас...

1926

Обидно поверить...

С отлогой горы мы несемся к реке на салазках,
И девушкам любо, и девушкам очень смешно.
Испуг и блаженство в красивых от холода глазках,
Обычно же... впрочем, не все ли мне это равно!

Мне трудно поверить, в морозных участнику гульбах,
Что эти здоровые дети — не тяжкий ли сон? —
С парнями пойдут, под расстроенный старенький Мюльбах,
Отплясывать ночью стреноженный дохлый чарльстон!..

1927

Когда отгремел барабан

Мне взгрустнулось о всех, кому вовремя я не ответил,
На восторженность чью недоверчиво промолчал:
Может быть, среди них были искренние, и у этих,
Может быть, ясен ум и душа, может быть, горяча...

Незнакомцы мои положений и возрастов разных,
Завертело вас время в слепительное колесо!
Как узнать, чья нужда деловою была и чья — праздной?
Как ответить, когда ни имен уже, ни адресов?..

Раз писали они, значит, что-нибудь было им нужно:
Ободрить ли меня, ободренья ли ждали себе
Незнакомцы. О, друг! Я печален. Я очень сконфужен.
Почему не ответил тебе — не пойму, хоть убей!

Может быть, у тебя, у писавшего мне незнакомца,
При ответе моем протекла бы иначе судьба...
Может быть, я сумел бы глаза обратить твои к солнцу,
Если б чутче вчитался в письмо... Но — гремел барабан!

Да, гремел барабан пустозвонной столицы, и грохот,
Раздробляя в груди милость к ближнему, все заглушал...
Вы, писавшие мне незнакомцы мои! Видят боги,
Отдохнул я в лесу, — и для вас вся раскрыта душа...

1926

Перстень

Как драгоценен перстень мой,
Такой простой, такой дешевый,
На мой вопрос мне дать готовый
Единственный ответ прямой!

Есть в перстне у меня тайник,
Причудливый своим затвором,
Тот благодетельный, в котором
Сокрыт последний в жизни миг.

С трудом, но все еще дышу.
В миражи всматриваясь далей,
Цианистый лелею калий...
Когда же умереть решу,

Неуподобленный герою,
Уверившись, что даль пуста,
Бестрепетно тайник открою
И смерть вложу в свои уста.

1927

Случай

Судьбою нашей правит Случай,
И у него такая стать,
Что вдруг пролившеюся тучей
Он может насмерть захлестать.

Но он же может дать такое
Блаженство каждому из нас,
Что пожалеешь всей душою
О жизни, данной только раз!

1929

Современной девушке

Ты, девушка, должна
Пример с природы брать:
Луна — пока юна —
Уходит рано спать...

Ты, девушка, должна
Пример с природы брать:
Весна — пока весна —
Не станет летовать...

И не волна — вóлна,
Пока — на море гладь...
Ты, девушка, должна
Пример с природы брать.

1928

Отчего она любит контрасты...

Говорят, что она возвращается пьяная утром
И, склонясь над кроватью ребенка, рыдает
навзрыд,
Но лишь полночь пробьет, в сердце женщины,
зыбком и утлом,
О раскаяньи утреннем вдруг пробуждается
стыд...

Говорят, что она добродетель считает ненужной,
Вышивая шелками тайком для ребенка жабо...
Говорят, что она над любовью глумится
и дружбой,
В ежедневных молитвах своих славословя
любовь!

Говорят, что порочностью очень ей нравится
хвастать,
Осуждая в душе между тем этот самый разврат...
Говорят, оттого-то она так и любит контрасты,
Что известно ей все, что повсюду о ней говорят!..

1926

Оставшимся в живых

Ни меня не любили они, ни любви моей к ним,
Ни поющих стихов, им написанных
в самозабвенье,
Потому что, расставшись со мной, не окончили
дни,
Жить остались они и в других обрели утешенье...

Пусть, живя у меня, никогда не свершали измен,
Но зачем же расстаться с поэтом сумели так
просто?
Ах, о том ли я грезил при встречах и в каждом
письме,
Очаровываясь милой новою женщиной
вдосталь?

О, никем никогда вечно любящий незаменим:
Не утратила смысла старинная верность
"до гроба"...
Ни меня не любили они, ни стихов моих к ним,
Ни боязни разлук... Но и я не любил их,
должно быть!

1926

Сосны ее детства

Когда ее все обвиняли в скаредности,
В полном бездушьи, в "себе на уме",
Я думал: "Кого кумушки не разбазарят?
Нести чепуху может всякий суметь".

Но когда ее муж-проходимец, пиратствуя,
Срубил двухстолетние три сосны
В саду ее детства и она не препятствовала,
Я понял, что слухи про нее верны.

1928

Элегия небытия

Все наши дéяния, все наши дарованья —
Очаровательные разочарованья,
И каждый человек до гроба что донес?
Лишь невыплакиваемые глуби слез,
Лишь разуверенность во всем, во что он верил,
Лишь пустоту глубин, которых не измерил,
Лишь сон, пробуживаемый небытием...
Мы этот жалкий ноль бессмертием зовем.

1929

В опустошенье

Я подхожу к окну: в опустошенье
Деревья, море, небо и поля.
Опустошенным кажется движенье
И проплывающего корабля.
Все пустота. Такое положенье
Дано тебе, осенняя земля.

Я подхожу к душе своей, — и тоже
Там пусто все: желанья и мечты!
Как это все на юность не похоже,
И сам себя признать боишься ты!
Смыкаются уста и брови строже
В предчувствии смертельной пустоты.

1929

Роскошная женщина

Ее здесь считают счастливой: любовник
батрачит,
Муж "лезет из кожи" — завидная участь для
дам!
Ее называют красавицей здесь: это значит —
По формам кормилица, горничная по чертам.

Она здесь за умницу сходит легко и свободно:
Ее бережливость, рассудочность разве не ум?
И разве не ум отдаваться всем встречным
за модный,
В других вызывающий зависть весенний костюм?

Ее отношенье к искусству одно чего стоит!
Она даже знает, что Пушкин был... чудный поэт!
Взгрустнется ль — "Разлукою" душу свою
успокоит
И "Родину" любит просматривать прожитых
лет...

Мы с Вами встречаем ее ежедневно, читатель,
Хотя и живем в совершенно различных краях,
Роскошная женщина, как говорит обыватель,
Тот самый, о ком повествуется в этих стихах...

1927

Годами девочка...

Годами девочка, а как уже черства,
Жестка, расчетлива, бездушна и практична.
И в неприличности до тошноты прилична,
И все в ней взвешенно: и чувства, и слова.
Ах, не закружится такая голова
Затем, что чуждо ей все то, что поэтично...

Такая женщина не любит никого,
Но и ее любить, конечно, невозможно:
Все осторожно в ней, бескрыло и ничтожно.
Толпа любовников, и нет ни одного,
О ком подумала бы нежно и тревожно...

И это — женщина, земное божество!

1929

Орхидея

Изменить бы! Кому? Ах, не все ли равно!
Предыдущему. Каждому. Ясно.
С кем? И это не важно. На свете одно
Изменяющееся прекрасно.

Одному отдаваясь, мечтать о другом —
Неиспробованном, невкушенном,
Незнакомом вчера, кто сегодня знаком
И прикинется завтра влюбленным...

Изменить — и во что бы ни стало, да так,
Чтоб почувствовать эту измену!
В этом скверного нет. Это просто пустяк.
Точно новое платье надену.

И при этом возлюбленных так обмануть,
Ревность так усыпить в них умело,
Чтобы косо они не посмели взглянуть, —
Я же прямо в глаза бы посмела!

Наглость, холод и ложь — в этом сущность моя.
На страданья ответом мой хохот.
Я красива, скользка и подла, как змея,
И бездушно-суха, как эпоха.

22 декабря 1928

Жемчужинка

Этой милой девушке с легкою недужинкой
В сердце, опрокинутом в первый же полет,
Доброглазой девушке, названной Жемчужинкой,
Ливней освежительных счастье не прольет.

Сердце обескрыливший юноша хорошенький
Причинил нечаянно жгучую печаль.
"Боже! Правый Господи! Не вреди Алешеньке:
Был он легкомысленным, и его мне жаль..."

Сердце успокоивший, нелюбимый девушкой,
Женщиной разлюбленный, преданностью мил...
Разве успокоиться ей в такой среде мужской?
Ждать же принцев сказочных не хватает сил.

И не надо, милая, этих принцев сказочных:
Чванные и глупые. Скучные они.
И они не стоят ведь лент твоих подвязочных,
И от встречи с принцами Бог тебя храни!

Так-то, безудачная мужняя безмуженка,
Жертвы приносящая в простоте своей,
Смерть не раз искавшая, кроткая Жемчужинка,
Драгоценный камешек средь людских камней!

1928

Антинэя

Антинэя! При имени этом бледнея,
В предвкушенье твоих умерщвляющих чар,
Я хотел бы пробраться к тебе, Антинэя,
В твой ужасный — тобою прекрасный — Хоггар.

Я хотел бы пробраться к тебе за откосы
Гор, которые скрыли действительность — мгла.
Мне мерещатся иссиня-черные косы,
Изумруд удлиненных насмешливых глаз.

Мне мерещится царство, что скрыто из вида
И от здравого смысла, поэма — страна,
Чье названье — загадка веков — Атлантида,
Где цветет, Антинэя, твой алчный гранат.

О, когда бы, познав зной извилистой ласки,
Что даруют твои ледяные уста,
В этой — грезой французскою созданной — сказке
Сто двадцатой — последнею — статуей стать!..

1929

Моя знакомая

Ты только что была у проходимца Зета,
Во взорах похоти еще не погася...
Ты вся из Houbigant! ты вся из маркизета!
Вся из соблазна ты! Из судорог ты вся!

И чувствуя к тебе брезгливую предвзятость
И зная, что тебе всего дороже ложь,
На сладострастную смотрю твою помятость
И плохо скрытую улавливаю дрожь.

Ты быстро говоришь, не спрошенная мною,
Бесцельно лишний раз стараясь обмануть,
И, будучи чужой неверною женою,
Невинность доказать стремишься как-нибудь.

Мне странно и смешно, что ты, жена чужая,
Забыв, что я в твоих проделках ни при чем,
Находишь нужным лгать, так пылко обеляя
Себя в моих глазах, и вздрагивать плечом...

И это тем смешней, и это тем досадней,
Что уж давным-давно ты мой узнала взгляд
На всю себя. Но нет: с прозрачной мыслью задней
Самозабвенно лжешь — и часто невпопад.

Упорно говоришь о верности супружьей, —
И это ты, чья жизнь — хронический падеж, —
И грезишь, как в четверг, в час дня, во всеоружье
Бесстыдства, к новому любовнику пойдешь!

Toila.
1930

Встреча в Киеве

Еще одно воспоминанье выяви,
Мечта, живущая бывалым.
...Вхожу в вагон осолнеченный в Киеве
И бархатом обитый алым.

Ты миновалась, молодость, безжалостно,
И притаилась где-то слава...
...Стук в дверь купе. Я говорю: "Пожалуйста!"
И входит женщина лукаво.

Ее глаза — глаза такие русские.
— Вот розы. Будь Вам розовой дорога!
Взгляните, у меня мужские мускулы, —
Вы не хотите их потрогать? —

Берет меня под локти и, как перышко,
Движением приподнимает ярым,
И в каждом-то глазу ее озерышко
Переливает Светлояром.

Я говорю об этом ей, и — дерзкая —
Вдруг принимает тон сиротский:
— Вы помните раскольников Печерского?
Я там жила, в Нижегородской.

Я изучила Светлояр до донышка...
При мне отображался Китеж...
Звонок. Свисток. "Послушайте, Вы — Фленушка?"
— Нет, я — Феврония. Пустите ж!

Toila.
1930

Стихи сгоряча

Я проснулся в слегка остариненном
И в оновенном — тоже слегка! —
Жизнерадостном доме Ирининым
У оранжевого цветника.

И пошел к побережью песчаному
Бросить к западу утренний взор.
Где, как отзвук всему несказанному,
Тойла в сизости вздыбленных гор...

И покуда в окне загардиненном
Не сверкнут два веселых луча,
Буду думать о сердце Ирининым
И стихи напишу сгоряча!

А попозже, на солнечном завтраке,
Закружен в карусель голосов,
Стану думать о кафровой Африке,
Как о сущности этих стихов...

Шмецке.
29 авг. 1930

Лилия в море

Она заходила антрактами — красивая, стройная, бледная,
С глазами, почти перелитыми всей синью своею в мои,
Надменная, гордая, юная и все-таки бледная-бледная
В ей чуждом моем окружении стояла, мечту затаив.

Хотя титулована громкая ее мировая фамилия,
Хотя ее мужа сокровища диковинней всяких чудес,
Была эта тихая женщина — как грустная белая лилия,
Попавшая в море, — рожденная, казалось бы, грезить в пруде...

И были в том вычурном городе мои выступленья увенчаны
С тюльпанами и гиацинтами бесчисленным строем корзин,
К которым конверты приколоты с короной тоскующей женщины,
Мечтавшей скрестить наши разные, опасные наши стези...

Но как-то все не было времени с ней дружески поразговаривать:
Иными глазами захваченный, свиданья я с ней не искал,
Хотя и не мог не почувствовать ее пепелившего зарева,
Не знать, что она — переполненный и жаждущий жажды бокал...

И раз, только раз, в упоении приема толпы триумфального,
Спускаясь со сцены по лесенке, ведущей железным винтом,
Я с нею столкнулся, прижавшейся к стене, и не вынес печального
Молящего взора — дотронулся до губ еще теплым стихом...

Toila.
1930

Пиама

Есть странное женское имя — Пиама,
В котором зиянье, в котором ужал,
И будь это девушка, будь это дама, —
Встречаясь с Пиамою, — я бы дрожал...

Мне все рисовалась бы мрачная яма,
Где в тине трясинной пиявок возня,
При имени жутко-широком Пиама,
Влекущем, отталкивая и дразня...

Какая и где с ним связуется драма
И что знаменует собою оно?
Но с именем этим бездонным — Пиама —
Для сердца смертельное сопряжено.

В нем все от вертепа и нечто от храма,
В нем свет, ослепляющий в полную тьму.
Мы связаны в прошлом с тобою, Пиама,
Но где и когда — я никак не пойму.

1927

И было странно ее письмо...

И было странно ее письмо:
Все эти пальмовые угли
И шарф с причудливой тесьмой,
И завывающие джунгли.

И дикий капал с деревьев мед,
И медвежата к меду никли.
Пожалуй, лучше других поймет
Особенности эти Киплинг.

Да, был болезнен посланья тон:
И фраза о безумном персе,

И как свалился в речной затон
Взлелеянный кому-то персик.

Я долго вчитывался в листок,
Покуда он из рук не выпал.
Запели птицы. Зарел восток.
В саду благоухала липа.

И в море выплыл старик-рыбак,
С собою сеть везя для сельди.
Был влажно солонен его табак
На рыбой пахнущей "Гризельде".

1929

Сорока

Я — плутоватая, лукавая сорока
И я приятельница этих строк,
Живущих в бедности по мудрой воле рока,
Про все вестфальские забыв окорока...

Собравшись в праздники у своего барака,
Все эти нищие, богатые враньем,
Следят внимательно, как происходит драка
Меж гусем лапчатым и наглым вороньем...

Уж я не знаю, что приходит им на память,
Им, созерцающим сварливых птиц борьбу,
Но мечут взоры их разгневанные пламя,
И люди сетуют открыто на судьбу.

Но в этом мире все в пределах строгих срока,
И поле брани опустеет в свой черед.
Тогда слетают к сорока, их друг сорока,
И руки тянутся ко мне вперед, вперед.

Тот крошки хлебные мне сыплет, тот — гречихи,
Один же, седенький, всегда дает пшена.
Глаза оборвышей становятся так тихи,
Так человечны, что и я поражена.

Так вот что значит школа бед! Подумать только!
Тот говорит: "Ты, точно прошлое, легка..."
Другой вздыхает: "Грациозна, словно полька..."
И лишь один молчит — один из сорока.

Презрительно взглянув на рваную ораву,
Он молвит наконец: "Все это ерунда!
Она — двусмысленный, весьма игривый траур
По бестолочи дней убитых, господа".

1929

Олава

Метелит черемуха нынче с утра
Пахучею стужею в терем.
Стеклянно гуторят пороги Днепра,
И в сердце нет места потерям, —
Варяжское сердце соловкой поет:
Сегодня Руальд за Олавой придет.

А первопрестольного Киева князь,
Державный гуляка Владимир,
Схватился с медведем, под зверем клонясь,
Окутанный в шерсти, как в дыме.
Раскатами топа вздрожала земля:
На вызов к Владимиру скачет Илья.

А следом Алеша Попович спешит,
С ним рядом Добрыня Никитич.
— Дозволим ли, — спрашивают от души: —
Очам Красно-Солнечным вытечь? —
И рушат рогатиной зверя все три —
Руси легендарные богатыри.

Но в сердце не могут, хоть тресни, попасть.
Не могут — и все! Что ты скажешь!
Рогатины лезут то в брюхо, то в пасть,
И мечется зверь в смертном раже,
— А чтоб тебя, ворог!.. — Рев. Хрипы. И кряк.
Вдруг в битву вступает прохожий варяг.

И в сердце Олавином смолк соловей:
Предчувствует горе Олава —
За князя Руальд, ненавистного ей,
Жизнь отдал, — печальная слава!
И вьюгу черемуха мечет в окно,
И ткет погребальное ей полотно...

1929

Dame d'Azow

Нередко в сумраке лиловом
Возникнет вдруг, как вестник бед,
Та, та, кто предана Орловым,
Безродная Elisabeth,

Кого, признав получужою,
Нарек молвы стоустый зов
Princesse Владимирской, княжною
Тьму-Тараканской, dame d'Azow.

Кощунственный обряд венчанья
С Орловым в несчастливый час
Свершил, согласно предписанья,
На корабле гранд де Рибас.

Орловым отдан был проворно
Приказ об аресте твоем,
И вспыхнуло тогда Ливорно
Злым, негодующим огнем.

Поступок графа Алехана
Был населеньем осужден:
Он поступил коварней хана,
Предателем явился он!

Граф вызвал адмирала Грейга, —
Тот слушал, сумрачен и стар.
В ту ночь снялась эскадра с рейда
И курс взяла на Гибралтар.

— Не дело рассуждать солдату, —
Грейг думал с трубкою во рту.
И флот направился к Кронштадту,
Княжну имея на борту.

И шепотом гардемарины
Жалели, видя произвол,
Соперницу Екатерины
И претендентку не престол.

И кто б ты ни был, призрак смутный,
Дочь Разумовского, княжна ль
Иль жертва гордости минутной,
Тебя, как женщину, мне жаль.

Любовник, чье в слияньи семя
Отяжелило твой живот,
Тебя предал! Он проклят всеми!
Как зверь в преданьях он живет!

Не раз о подлом исполине
В тюрьме ты мыслила, бледнев.
Лишь наводненьем в равелине
Был залит твой горячий гнев.

Не оттого ль пред горем новым
Встаешь в глухой пещере лет
Ты, та, кто предана Орловым,
Безродная Elisabeth.

1923, 23 янв.

Прага

Магнолии — глаза природы —
Раскрыл Берлин — и нет нам сна...
...По Эльбе плыли пароходы,
В Саксонии цвела весна.

Прорезав Дрезден, к Баденбаху
Несясь с веселой быстротой,
Мы ждали поклониться праху
Живому Праги Золотой.

Нас приняли радушно чехи,
И было много нам утех.
Какая ласковость в их смехе,
Предназначаемом для всех!

И там, где разделяет Влтава
Застроенные берега,
И где не топчет конь Вацлава
Порабощенного врага,

Где Карлов мост Господни Страсти
Рельефит многие века,
И где течет в заречной части
Венецианская "река",

Где бредит уличка алхимья,
И на соборе, в сутки раз,
Вступает та, чье смрадно имя,
В апостольский иконостас,

Там, где легендою покрыто
Жилище Фауста и храм,
Где слала Гретхен-Маргарита
Свои молитвы к небу, — там,

Где вьются в зелени овраги,
И в башнях грезят короли,
Там, в золотистой пряже Праги
Мы с явью бред переплели.

Yarve.
1925

Нарва

Над быстрой Наровой, величественною рекой,
Где кажется берег отвесный из камня огромным,
Бульвар по карнизу и сад, называемый Темным,
Откуда вода широко и дома далеко...

Нарова стремится меж стареньких двух крепостей —
Петровской и шведской, — вздымающих серые башни.
Иван-город тих за рекой, как хозяин вчерашний,
А ныне, как гость, что не хочет уйти из гостей.

На улицах узких и гулких люблю вечера,
Когда фонари разбросают лучистые пятна,
Когда мне душа старой Нарвы особо понятна,
И есть вероятья увидеться с тенью Петра...

Но вместо нее я встречаю девический смех,
Красивые лица, что много приятнее тени...
Мне любо среди молодых человечьих растений,
Теплично закутанных в северный вкрадчивый мех.

И долго я, долго брожу то вперед, то назад.
Любуясь красой то доступной, то гордо-суровой,
Мечтаю над темень пронизывающей Наровой,
Войдя в называемый Темным общественный сад.

Двинск.
1927

Байкал

Я с детства мечтал о Байкале,
И вот — я увидел Байкал.
Мы плыли, и гребни мелькали,
И кедры смотрели со скал.

Я множество разных историй
И песен тогда вспоминал
Про это озерное море,
Про этот священный Байкал.

От пристани к пристани плыли.
Был вечер. Был холод. Был май.
Был поезд, — и мы укатили
В том поезде в синий Китай.

Как часто душа иссякала
В желанье вернуться опять.
Я так и не знаю Байкала:
Увидеть — не значит узнать.

1929

Всадница

От утра до вечера по тропинкам бегая,
Почву перерезавшим всхлипчато и шатко,
Утомилась, взмылилась маленькая пегая,
Под красивой всадницей шустрая лошадка.

Ноги добросовестно много верст оттопали.
Есть — не елось, выпить же — приходилось выпить.
Земляникой пахнули листики на тополе, —
Значит, преждевременно было пахнуть липе...

Птицы в гнездах ласковых накопляли яйца.
В поволоке воздуха возникали страсти.
Всадница настроилась: вот сейчас появится
Никогда не встреченный, кто ей скажет: "Здравствуй".
Поворотов столько же, сколько в рыбном озере,
Вдумчивых, медлительных окуней, — а нет ведь
Тайного, безвестного, кто свежее озими,
Кто вот-вот появится, пораздвинув ветви...

Toila.
1930

Мария

... Туманная грусть озарилась
Серебристою рифмой Марии...

В. Брюсов

Серебристое имя Марии
Окариной звучит под горой...
Серебристое имя Марии,
Как жемчужин летающих рой...

Серебристое имя Марии
Говорит о Христе, о кресте...
Серебристое имя Марии
О благой говорит красоте...

Серебристое имя Марии
Мне бессмертной звездою горит...
Серебристое имя Марии
Мой висок сединой серебрит...

1923

Барельеф

Есть в Юрьеве, на Яковлевской, горка,
Которая, когда я встану вниз
И вверх взгляну, притом не очень зорко,
Слегка напоминает мне Тифлис.

И тотчас же я вижу: мрамор бани,
Зурну, винто, духанов чад и брань
И старую княгиню Орбельяни,
Сидящую на солнышке у бань...

Озеро Uljaste.
1923

Возникновение поэта

Оттого ль, что осенняя возникла рана
В прожилках падающего листа,
Девушка чувствовала себя так странно,
Как будто матерью готовилась стать.

Оттого ли, что думала она из Фета
И в неосязаемое ее влекло,
Девушка чувствовала себя поэтом
От кончиков пальцев до корней волос.

Двинск.
1927

Дым льда

Под ветром лед ручья дымится,
Несутся дымы по полям.
Запорошенная девица
Дает разгон своим конькам.

Она несется по извивам
Дымящегося хрусталя,
То припадая к белым гривам,
То в легком танце воскрыля.

На белом белая белеет —
Вся вихрь, вся воздух, вся полет.
А лед все тлеет, тлеет, тлеет, —
Как будто вспыхнет этот лед!

1923

Любовь — беспричинность

Любовь — беспричинность. Бессмысленность даже, пожалуй.
Любить ли за что-нибудь? Любится — вот и люблю.
Любовь уподоблена тройке, взбешенной и шалой,
Стремящей меня к отплывающему кораблю.

Куда? Ах, неважно. Мне нравятся рейсы без цели.
Цветенье магнолий... Блуждающий, может быть, лед...
Лети, моя тройка, летучей дорогой метели
Туда, где корабль свой волнистый готовит полет!

Топчи, моя тройка, анализ, рассудочность, чинность!
Дымись кружевным, пенно-пламенным белым огнем!
Зачем? Беззачемно! Мне сердце пьянит беспричинность!
Корабль отплывает куда-то. Я буду на нем!

1919

Флакон иссякший

Среди опустевших флаконов,
Под пылью чуланного тлена,
Нашел я флакон Аткинсона,
В котором когда-то Вервэна...

Чья нежная белая шея
Лимонами благоухала?
Чья ручка, моряною вея,
Платочным батистом махала?

Духи, мои светлые духи,
Иссякшие в скудной дороге!
Флаконы мучительно сухи,
А средства наполнить — убоги...

Но память! Она осиянна
Струей упоительно близкой
Любимых духов Мопассана,
Духов Генриетты Английской...

1926

Слово безбрежное

Не надо наименованья
Тому, что названо давно...
Но лишь весеннее дыханье
Ворвется — властное — в окно,
Чей дух избегнет ликованья?
Чье сердце не упоено?

Весна! Ты выращена словом,
Которому душа тесна,
Зеленым, голубым, лиловым
Повсюду отображена.
Ты делаешь меня готовым
На невозможное, весна!

1927

Виноград

В моей стране — столица Виноград,
Опутанная в терпком винограде.
Люблю смотреть на ягоды, в усладе
Сомлевшие, как полуталый град...

Разнообразен красочный наряд:
Лиловые, в вишневых тонах сзади,
И черные жемчужины, к ограде
Прильнувшие в кистях, за рядом ряд.

Над горными кудрявыми лесами,
Поработив счастливые места,
Две королевы — Страсть и Красота —
Воздвигли трон и развернули знамя.
Там девы с виноградными глазами
Подносят виноградные уста.

Valaste.
1925

Привет за океан

М. К. Айзенштадту

Сегодня я грущу. Звучит минорнее
Обыкновенно радостная речка:
Вчера я получил из Калифорнии
Письмо от маленького человека...

Он пишет: "Отзовитесь, если помните
Известного по Риге Вам собрата..."
Как позабыть, кто мог так мило скромничать,
Его, мечтательного Айзенштадта?

Со вздохом вспомнив остренькое личико,
Умение держаться деликатно,
Восторженность наивную язычника,
Я говорю: "Мне вспомнить Вас приятно.

Вам, птенчик мой взъерошенный и серенький,
Хочу всего, чего достичь Вы в силе,
Чтоб в механической, сухой Америке
Вы трепетной души не угасили..."

1925

Песенка о Настоящем

Веселую жизнь проводящим,
Живущим одним Настоящим,
        Я песенку эту пою...
Не думайте вовсе о завтра, —
Живите, как песенки автор,
        Сжигающий душу свою...

На свалку политику выбрось
И, ружья любого калибра
        Сломав, всем объятья раскрой.
Так думай, так действуй, так чувствуй,
Чтоб сердце изведало усталь
        От силы желанья порой!

Подумай, ведь только полвека
Отпущено на человека,
        Вся жизнь твоя — лет пятьдесят...
Заботами краткой не порти,
Живи, как проказливый чертик:
        Хвосты у чертей не висят!..

Так что же ты нос свой повесил?
Будь смел, будь находчив, будь весел,
        Бездумен, как ангел в раю...
Веселую жизнь проводящим,
Живущим одним Настоящим
        Я песенку эту пою!

17 октября 1930.
Toila

Сколько раз!..

Сколько раз бывало: — Эта! Эта!
Не иная. Вот она, мечта!
Но восторг весны сменяло лето,
И оказывалось — нет, не та...

Я не понимаю — в чем тут дело,
Только больно каждому из нас.
Ласково в глаза мои глядела,
Я любил ее мерцанье глаз...

Пусть недолго — все-таки родными
Были мы и счастье берегли,
И обычное любимой имя
Было лучшим именем земли!

А потом подруга уходила, —
Не уйти подруга не могла.
Фимиам навеяло кадило,
Струйки свеяла сырая мгла...

И глаза совсем иного цвета
Заменяли прежние глаза,
И опять казалось: Эта! Эта!
В новой женщине все было — за!

И опять цветы благоухали,
И другое имя в этот раз
Золотом сверкало на эмали,
Вознесенное в иконостас!

Toila.
1930

Подругам милым

У меня в каждой местности — в той,
                                        где я был, —
Есть приятельница молодая,
Та, кого восхитил грез поэтовых пыл
И поэта строфа золотая.

Эти женщины помнят и любят меня,
Пишут изредка сестрински-мягко,
И в громадном году нет ничтожного дня,
Чтобы жрец им не вспомнился Вакха.

Я телесно не связан почти ни с одной, —
Разве лаской руки, поцелуем, —
Но всегда стоит только остаться со мной,
Каждый близостью странной волнуем.

Я живу месяцами в лесах у озер,
На горах, на песках у залива.
Иногда же, расширить решив кругозор,
Я лечу по Европе шумливо.

И тогда, в каждом городе, — в том, где я был,
Как и в том, где когда-нибудь буду, —
Встречу ту, для кого я хоть чем-нибудь мил,
А такие — повсюду, повсюду!..

Кырвэ.
3 окт. 1930

Ужас пустынь

Меж тем как неуклонно тает
Рать рыцарей минувших дней,
Небрежно-буйно продрастает
Порода новая... людей.

И те, кому теперь под тридцать,
Надежд отцовских не поймут:
Уж никогда не сговориться
С возникшими в эпоху смут.

И встреча с новой молодежью
Без милосердья, без святынь
Наполнит наше сердце дрожью
И жгучим ужасом пустынь...

Toila.
1930

Так создан мир

Рассеиваются очарованья
И очаровывают вновь,
И вечное в душе коронованье
Свершает неизменная любовь.

Одна, другая, третья — их без счета,
И все-таки она — одна,
То увядающая отчего-то,
То расцветающая, как весна.

О, весны! весны! Вас зовут весною,
И всем страстям названье — страсть.
Во многих мы, но все-таки с одною,
И в каждой — огорчительная сласть.

1929

В пространстве

Беспокоишься? Верю! Теперь порадуйся, —
Путь кремнист; но таится огонь в кремне, —
Ничего, что ты пишешь "почти без адреса" —
Я письмо получил: ведь оно ко мне.

Утешать не берусь, потому что правильно
Скорбь тебе взбороздила разрез бровей:
Будь от Каина мы или будь от Авеля,
Всех удел одинаков — триумф червей...

Ничего! Понимаешь? Бесцельность круглая.
Преходяще и шатко. И все не то.
Каждый день ожидаем, когда же пугало
Номер вызовет наш — ну совсем лото.

Но мечта, — как ни дико, — живуча все-таки,
И уж если с собой не покончишь ты,
Сумасшествию вверься такой экзотики,
Где дурман безнадежных надежд мечты...

1929

Модель парохода

(Работа Е. Н. Чирикова)

Когда, в прощальных отблесках янтарен,
Закатный луч в столовую скользнет,
Он озарит на полке пароход
С названьем, близким волгарю: "Боярин".

Строителю я нежно благодарен,
Сумевшему средь будничных забот
Найти и время, и любовь, и вот
То самое, чем весь он лучезарен.

Какая точность в разных мелочах!
Я Волгу узнаю в бородачах,
На палубе стоящих. Вот священник.

Вот дама из Симбирска. Взяв лохань,
Выходит повар: вскоре Астрахань, —
И надо чистить стерлядей весенних...

1925

Паллада

Она была худа, как смертный грех,
И так несбыточно миниатюрна...
Я помню только рот ее и мех,
Скрывавший всю и вздрагивавший бурно.

Смех, точно кашель. Кашель, точно смех.
И этот рот — бессчетных прахов урна...
Я у нее встречал богему, — тех,
Кто жил самозабвенно-авантюрно.

Уродливый и блеклый Гумилев
Любил низать пред нею жемчуг слов,
Субтильный Жорж Иванов — пить усладу,

Евреинов — бросаться на костер...
Мужчина каждый делался остер,
Почуяв изощренную Палладу...

1924

Перед войной

Я Гумилеву отдавал визит,
Когда он жил с Ахматовою в Царском,
В большом прохладном тихом доме барском,
Хранившем свой патриархальный быт.

Не знал поэт, что смерть уже грозит
Не где-нибудь в лесу Мадагаскарском,
Не в удушающем песке Сахарском,
А в Петербурге, где он был убит.

И долго он, душою конквистадор,
Мне говорил, о чем сказать отрада,
Ахматова устала у стола,

Томила постоянною печалью,
Окутана невидимой вуалью
Ветшающего Царского Села...

1924

Мариинский театр

Храм с бархатной обивкой голубой,
Мелодиями пахнущий, уютный,
Где мягок свет — не яркий и не смутный —
Я захотел восставить пред собой.

Пусть век пришел, как некий Людобой,
Век похоти и прихоти минутной,
Пусть сетью разделяет он злопутной
Меня, Мариинский театр, с тобой, —

Пусть! Все же он, наперекор судьбе,
Не может вырвать память о тебе,
Дарившем мне свое очарованье.

И я даю тебе, лазурный храм
Искусства, перешедшего к векам,
Театра Божьей милостью названье!

1924

Péristeros

"Вот солнце скрылось — луна не взошла.
Спеши к вервэне: от сумерек мгла.

Ступая тихо в сиреневой мгле,
Дай соты с медом, как выкуп земле.

Вокруг железом цветок очерти,
Рукою левой вервэну схвати

И — выше в воздух! Повыше!" Вот так
Учили маги, кто жаждал быть маг:

"Натрешься ею — в руках твоих все.
Все, что желаешь. Теперь все — твое.

Она прогонит мгновенно озноб,
И просветлеет нахмуренный лоб.

Она врачует упорный недуг:
Она — экстаза и радости друг.

Заводит дружбу вервэны цветок,
Но только помни условленный срок:

Когда нет солнца, когда нет луны,
Коснись до стебля, — цветущей струны, —

И вмиг железом цветок очертя,
Рукою левой своей схватя,

Повыше в воздух. Повыше! Вот так".
— Теперь ты тайной владеющий маг!

1924

Veneris vena

Вервэна, вена Венеры,
Напиток пламный любви!
Пою восторженно-смело
Благие свойства твои:
Ты так же, как и Омела,
Болезни можешь целить,
Злых духов загнать в пещеры,
Враждующих примирить.

Ах, чтили тебя друиды,
И маги, и древний галл.
Не ты ль — украшение термы?
Не страсти в тебе ль закал?
Ведь сок твой исполнен спермы,
И ты очищаешь дом,

Рассеиваешь обиды
Волшебным своим цветком.

Аркан Бесспорной Доктрины
(Их было ведь двадцать два)
Шестой обозначил цифрой
Тебя, Железняк-трава.
С той эры культурьи вихри
Поверья метнули в прах,
Но их аромат не сгинул
И вечно душист в веках.

Да, в дюжину Розенкрейцер
Магическую свою
Премудрость вложил Вервэну
В растительную семью.
Я славлю Венеры вену,
Будящую — как стихи —
Сарказм в лице европейца
И радость детей стихий!

1924

Внезапная горлом кровь

Он нам сказал вчера: "Моя жена больна.
Четвертый день лежит. Она — одна.

Быть может, съездим к ней?" — прибавил тихо мне
И то же самое — моей жене.

И вот на станцию мы, подозвав авто,
Не зная — ехали — где, как и что.

Он в электрический нас проводил вагон.
Весь час пути был молчаливым он.

Лишь устремленные его в окно глаза
Мягчила жалостливая слеза.

В прохладной комнате она встречала нас
С лицом, которому — в иконостас.

О, голубеющая худоба его!
Улыбка дрогнула: — "Я — ничего...

Сегодня бодрая..." Кивнув моей жене,
Она осталась с ней наедине.

1928, март

Закатные облака

По небу, точно хлопья ваты,
Плывут закатные облака.
Они слегка голубоваты
И лучезарны они слегка.

Мечты вплетаются в закаты
Из шелковистого далека.
Они слегка голубоваты
И лучезарны они слегка.

1929

Чего-то нет...

Мне хочется уйти куда-то,
В глаза кому-то посмотреть,
Уйти из дома без возврата
И там — там где-то — умереть.

Кому-то что-то о поэте
Споют весною соловьи.
Чего-то нет на этом свете,
Что мне сказало бы: "Живи!.."

1928

Локарно

Страна Гюго, страна Верхарна,
Край Данте и Шекспира край!
Вы заложили храм в Локарно,
Земной обсеменили рай...

Цветущие с дороги вехи
Влекут к себе издалека:
Вы позаботились о чехе,
Вы пригласили поляка.

Так! В неизбывной жажде мира
Вы совершили мудрый шаг:
Недаром семиструнна лира —
Отныне немец вам не враг...

Усемерив свои усилья,
Задавшись целью всеблагой,
Вселенной озарили крылья
Вы семицветною дугой.

В ней — верный знак, что день погожий
Ненастному на смену дню
Уже спешит. Склонись, прохожий:
Тебя крестом я осеню!

Пусть солнце в небе лучезарно
Еще не плещется, звеня...
Пусть! — веры символом Локарно
Нам озаряет сумрак дня!

1925

Переводы

А. С. Пушкин

Мой портрет

(Перевод с французского)

Нарисованный с натуры
Вы портрет хотели б мой?
В виде — что ж! — миниатюры
Будет вам, мой дорогой!

Я веселая персона.
По утрам хожу я в класс.
Я не глуп. То без фасона
Говорю и без гримас.

К болтовне и скуке склонный,
Я — хотя душа юна —
Сплинней доктора Сорбонны
И болтливей болтуна.

Рост мой с ростом великана
Не сравняется, увы.
Но лицо мое румяно,
Русы кудри головы.

В суетню влюбленный света,
Я безлюдья не терплю.
Отрицаю споры. Это,
Как науку, не люблю.

Бал? Вот я по этой части!
Я сказал бы, ей-же-ей,
О других еще пристрастьях,
Если б не ходил в лицей...

Друг! Теперь меня уж просто
Ты узнаешь без труда.
Как я Добрым Богом создан,
Быть хочу таким всегда!

Я по минам обезьяна,
Бес в проделках...
Тот, кто легкомыслен рьяно,
Тот и — Пушкин, черт возьми!

1929, 5 авг.

Юлий Словацкий

Мое завещанье

(Перевод с польского)

Я с вами жил, страдал, я плакал вместе с вами,
Я благородство постоянно почитал.
Готовясь тенью стать, приветствуем тенями,
Я грустен, будто здесь я все же счастье знал...

Наследника мне нет. Его я не оставил
Ни блеску имени, ни лире золотой.
Я молнией мелькнул, при жизни не прославил
Я имени: оно — потомкам звук пустой.

Но вы, кто знал меня, в преданьях сообщите,
Что для отчизны я всю юность изнурил.
Пока боролся бриг, на мачте я к защите
Взывал. Он гиб, — я с ним пошел ко дну без сил.

День встанет: кто-нибудь, раздумывая в скорби
О судьбах родины тоскующей моей,
Признает духа плащ не милостыней в торбе,
А предков пышностью в сиянии огней.

Собравшись полночью, в пылающем алоэ
Пусть сердце бедное мое друзья сожгут,
Прах той вручив, кем сердце мне дано земное:
Вот плата матерям, положенная тут!

И пусть друзья мои пьют чашу круговую,
В ней смерть мою топя и с ней беду свою...
О, духом будучи, им тотчас просверкну я,
А если вниду в ад — им лика не явлю...

Но я молю живых: Надежд не угашайте,
Несите светоч свой высоко пред толпой.
Когда же час пробьет, смелее смерть встречайте
Камнями, Божьею взметенными рукой!

А я... я, уходя, оставлю вам дружину,
Кто сердце гордое мое сумел любить.
Я, видно, выполнил суровую судьбину,
Гроб неоплаканный согласен получить.

Адриатика

Лирика

Адриатическая бирюза

Как обвораживает мне глаза
Адриатическая бирюза!

Облагораживает мне уста
Непререкаемая красота.

Обескураживает вышина,
От туч разглаживает лик луна.

И разгораживает небеса
Семисияющая полоса.

Обезображивает чары мест
Предсмертным кактусом взращенный шест.

Омузыкаливается мой слух,
Обеспечаливается мой дух.

Париж.
25 февр. 1931 г.

Дрина

В. В. Берниковой

О, ядовито-яростно-зеленая,
Текущая среди отвесных скал,
Прозрачна ты, как девушка влюбленная,
И я тобою душу оплескал!

А эти скалы — голубые, сизые,
С лиловостью, с янтарностью, в дубах
С проржавленной листвой, — бросают вызовы
Вам в городах, как в каменных гробах!

Ведь есть же мощь, почти невероятная,
Лишь в сновиденьях мыслимая мощь,
Взволновывающая и понятная,
И песенная, как весенний дождь!

Ведь есть же красота, еще непетая,
Способная дивить и восторгать,
Как эта Дрина, в малахит одетая,
Как этих скал застывшая пурга!

Босния. Горажда.
15 янв. 1931 г.

Горный салют

Та-ра-ра-ррах! Та-ра-ра-ррах!
Нас встретила гроза в горах.
Смеялся молний аметист
Под ливня звон, под ветра свист.

И с каждым километром тьма
Теплела, точно тон письма
Теплеет с каждою строкой, —
Письма к тому, кто будет твой.

Неудивительно: я вез
В край мандаринов и мимоз
Рябины с вереском привет, —
Привет от тех, кого здесь нет...

Я вез — и бережно вполне —
Адриатической волне
Привет от Балтики седой, —
Я этой вез привет от той.

Я север пел, — не пел я юг.
Но я поэт, природы друг,
И потому салют в горах:
Та-ра-ра-ррах! Та-ра-ра-ррах!

Дубровник (Рагуза).
Вилла "Флора мира".
18 янв. 1931 г.

Январь на юге

Л. Н. Бенцелевич

Ты представь, снег разгребая на дворе:
Дозревают апельсины... в январе!
Здесь мимоза с розой запросто цветут.
Так и кажется — немые запоют!

А какая тут певучая теплынь!
Ты, печаль, от сердца хмурого отхлынь.
И смешит меня разлапанный такой,
Неуклюжий добрый кактус вековой.

Пальм захочешь — оглянись-ка и гляди:
Справа пальмы, слева, сзади, впереди!
И вот этой самой пишущей рукой
Апельсин могу сорвать — один, другой...

Ты, под чьей ногой скрипит парчовый снег,
Ты подумай-ка на миг о крае нег —
О Далмации, чей облик бирюзов,
И о жившей здесь когда-то Dame d'Azow.

И еще о том подумай-ка ты там,
Что свершенье предназначено мечтам,
И одна из них уже воплощена:
Адриатику я вижу из окна!

Дубровник (Рагуза).
Вилла "Флора мира".
18 янв. 1931 г.

Воздух — радость

М. А. Сливинской

Это не веянье воздуха,
а дыханье Божества
В дни неземные, надземные
Божеского Рождества!

Воздух вдохнешь упояющий, —
разве ж где-то есть зима?
То, что зовется здесь воздухом, —
радость яркая сама!

Море и небо столь синие,
розы алые в саду.
Через прозрачные пинии
Бога, кажется, найду.

Господи! голубоватые
вижу брызги на весле.
Это ж просто немыслимо:
неземное на Земле!

Дубровник (Рагуза).
Вилла "Флора мира".
24 дек. 1931 г.

Рождество на Ядране

А. В. Сливинскому

Всего три слова: ночь под Рождество.
Казалось бы, вмещается в них много ль?
Но в них и Римский-Корсаков, и Гоголь,
И на земле небожной божество.

В них — снег хрустящий и голубоватый
И безалаберных веселых ног
На нем следы у занесенной хаты,
И святочный девичий хохоток.

Но в них же и сиянье Вифлеема,
И перья пальм, и духота песка.
О сказка из трех слов! Ты всем близка.
И в этих трех словах твоих — поэма.

Мне выпало большое торжество:
Душой взлетя за все земные грани,
На далмати́нском радостном Ядране
Встречать святую ночь под Рождество.

Дубровник (Рагуза).
Вилла "Флора мира".
Ночь под Рождество 1931

Полдень первого дня

Е. И. Поповой-Каракаш

Море оперного цвета
Шелковело вдалеке.
Роза жаждала расцвета,
Чтоб увясть в твоей руке.

Море было так небесно,
Небо — морево. Суда
В отдаленьи неизвестно
Шли откуда и куда.

И в глаза взглянула зорко
Встреченная на молу
Ласковая черногорка,
Проносившая смолу.

Было солнечно слепяще.
Вновь поэтом стал я весь.
Было так ненастояще,
Как бывает только здесь!

Дубровник (Рагуза).
Вилла "Флора мира".
25 дек. 1931 г.

Прогулка по Дубровнику

Т. И. Хлытчевой

Шевролэ нас доставил в Дубровку на Пиле,
Где за столиком нас поджидал адмирал.
Мы у юной хорватки фиалок купили.
И у женского сердца букет отмирал...

Санто Мариа влево, направо Лаврентий...
А Ядранского моря зеленая синь!
О каком еще можно мечтать монументе
В окружении тысячелетних святынь?

Мы бродили над морем в нагорном Градаце,
А потом на интимный спустились Страдун,
Где опять адмирал с соблюденьем градаций
Отголоски будил исторических струн.

Отдыхали на камне, горячем и мокром,
Под водою прозрачною видели дно.
И мечтали попасть на заманчивый Локрум,
Да и с лодки кефаль половить заодно...

Под ногами песок соблазнительно хрупал
И советовал вкрадчиво жить налегке.
И куда б мы ни шли, виллы Цимдиня купол,
Цвета моря и неба синел вдалеке.

Мы, казалось, в причудливом жили капризе,
В сновиденьи надуманном и непростом.
И так странно угадывать было Бриндизи
Там за морем, на юге, в просторе пустом...

Toila.
4 июня 1931 г.

Конавлянки

Уже автобус на Конавлю
Готов уйти. У кабачка
Я с конавлянками лукавлю,
Смотрящими исподтишка.

Они интеллигентнолицы,
Их волоса то смоль, то лен.
Не зря презрительный патриций
Был в их прабабушек влюблен!

Порабощен Наполеоном
И дав безбрачия обет,
Недаром к Чилипийским склонам
Послал он сына для побед...

Красавиц стройность не случайна.
Высокий рост и вся их стать:
На них веков почила тайна,
И им в наследственность — блистать.

От Ерцегнови до Цавпата
Ядран ядрён и осиян —
Республика аристократа —
Последними из могикан.

Toila.
17 июня 1932 г.

Пераст

Пересекаем бухту на пароме,
В автомобиле сидя. В глубине
Белеет город. Пусто в каждом доме.
Безлюдье в золотистой белизне.
Пераст! Пераст! Что видишь ты во сне?

Сна твоего не видно нам в бинокли.
Покинутость, заброшенность везде.
И остров твой — припомнился мне Беклин —
Мертвяще мрачен в бухтовой воде.
Пераст! Пераст! Где жизнь былая? где?

Где век, когда ты был гнездом пиратов,
Певец, любовник, воин, оргиаст?
Когда, сокровища в себе запрятав,
Окружных гор киркой тревожил пласт?
И вот — как нет тебя, Пераст, Пераст!

Toila.
6 июня 1931 г.

Двадцать восемь

Мы взбираемся на Ловчен.
Мы бежим под облака.
Будь на поворотах ловче,
Руль держащая рука!

Сердце старое не старо,
Молодо хотя б на час:
У подножья гор Каттарро
Двадцать восемь встало раз!

Почему так много? — спросим.
На вопрос ответ один:
Потому что двадцать восемь,
Двадцать восемь серпантин!

Мы пьянеем, пламенеем
От развернутых картин.
Грандиозным вьются змеем
Двадцать восемь серпантин!

Адриатика под нами,
Мы уже в снегах вершин.
В тридцать километров знамя —
Двадцать восемь серпантин!

Дубровник (Рагуза).
Вилла "Флора мира".
20 января 1931 г.

Портрет Даринки

Вас. Вит. Шульгину

Я хожу по дворцу в Цетинье —
Невзыскательному дворцу,
И приводит меня унынье
К привлекательному лицу.

Красотою она не блещет,
Но есть что-то в ее глазах,
Что заставит забыть про вещи,
Воцарившиеся в дворцах.

Есть и грустное, и простое
В этом профиле. Вдумчив он.
В этом профиле есть такое,
Что о нем я увижу сон.

Гид назвал мне ее. Не надо!
Мне не имя — нужны глаза.
Я смотрю на деревья сада.
Я смотрю, и в глазах — слеза.

Цетинье. Черногория.
20 янв. 1931 г.

Перевал через Ловчен

Час назад, в миндалями насыщенных сумерках,
Золотые лимоны, как дети луны.
А теперь, в легком заморозке, в лунных высверках
Колеи оснеженной, стал Ловчен уныл.

Мы уже на горе, на вершине двухтысячной,
Час назад, там, в Каттарро, стояла весна.
А теперь, в горьковатом сиянии месячном,
Всех мехов своих выдвинули арсенал.

Мы нахохлились зябко, как сонные совушки,
И, должно быть, прохожим немного смешны:
Нам смеются вослед черногорские девушки,
Их слова заглушаются хрупотом шин.

Скользок путь. Скользок смех. Проскользнули и Негуши.
Из-за выступа вымолнил автомобиль,
Чуть нас в пропасть не сбросив, как хрусткую ракушку,
Ту, что давишь, не думая сам истребить...

Париж.
20 февр. 1931 г.

Калемегдан в апреле

Как выглядит без нас Калемегдан —
Нагорный сад над Савой и Дунаем,
Где был толчок одной поэме дан,
Поэме той, которой мы не знаем?..

Там, вероятно, все теперь в цвету,
Не то что здесь — мороз, снега, метели,
И, может быть, там встретить можно ту,
Кто, так и кажется, сошла с пастели...

Она в тоске, — заметно по всему, —
Глядит в тоске, как мутно льется Сава,
Как вдалеке туманится Земун,
И все ее волнует чья-то слава...

Ей не хотелось бы идти домой,
На замкнутую улицу в Белграде,
Где ждет ее... Но кто он ей такой,
Я лучше умолчу, приличья ради...

Красавица она. Она тиха.
Не налюбуешься. Но скажет слово...
Я, впрочем, предназначил для стиха
Совсем не то... Начну-ка лучше снова:

Как выглядит теперь Калемегдан —
Бульвар над Савой, слившейся с Дунаем,
Где был толчок одной поэме дан,
Которой никогда мы не узнаем?..

Toila.
8 апр. 1931 г.

В долине Неретвы

Я чуть не отдал жизнь в твоих горах,
Когда, под грохот каменно-железный,
Наш поезд, несшийся на всех парах,
Низринулся — из-за обвала — в бездну.

Когда в щепы разбитый паровоз
И в исковерканный, — за ним — багажный,
Уперся наш вагон, а злой откос
Вдруг превратил его в многоэтажный.

Мы очутились в нижнем этаже:
Стал неприступно скользок линолеум,
Мы вверх не шли, нет, мы ползли уже
И скатывались под наклоном левым.

Но и тогда, почти касаясь дна,
Дна пропасти и неповторной жизни,
Очаровательнейшая страна,
Поэт тебя не предал укоризне.

Он только в памяти запечатлел
Ночь, ветер, дождь — пособников лавине, —
И нет чудеснее на всей земле
Долины Неретвы в Герцеговине!

Париж.
25 февр. 1931 г.

По Швейцарии

Агате Вебер

Мы ехали вдоль озера в тумане,
И было нескончаемо оно.
Вдали горели горы. Час был ранний.
Вагон дремал. Меня влекло окно.

Сквозь дымку обрисовывались лодки,
Застывшие на глади здесь и там.
Пейзаж был блеклый, серенький и кроткий,
Созвучный северным моим мечтам.

Шел пароход откуда-то куда-то.
Я знал — на нем к кому-то кто-то плыл,
Кому всегда чужда моя утрата,
Как чужд и мне его восторг и пыл.

Неслись дома в зелено-серых то́нах.
Вдруг возникал лиловый, голубой.
И лыжницы в костюмчиках зеленых
Скользили с гор гурьбой наперебой.

Базель.
31 янв. 1931 г.

Три перевода из Иована Дучича

Вино из Дубровника

(с сербского)

Разлеглось спокойно море перед садом,
Тихо, неподвижно. Бьет струя фонтана.
А из синих лавров похотливым взглядом
Смотрит лик блудливый мраморного Пана.

Пропиталась страстной музыкой долина.
Общество в саду в беседах возбужденных.
Был обед чудесен, выдержаны вина,
Весело гостям в аллеях освещенных.

Возникают танцы. Беспорядок нежный.
И уже условность склонна к нарушеньям:
Капитан псалмы цитирует мятежно,
А доминиканцу — мандолина с пеньем...

Анна де-Доце, девица тонных правил
И особа столь же правильного тона,
В окруженьи дам, уже считает вправе
Рассказать новеллу из Декамерона...

Белград.
18 ноября 1930 г.

Мадригал из Дубровника

(с сербского)

Вечером у князя мы в разгаре бала,
О madame, станцуем, как когда-то, снова
Бурный вальс. С улыбкой мы пройдем вдоль зала,
Будто между нами ничего былого...

А затем придут веселые кадрили.
Музыка, как буря, забушует страстно:
В шелк венецианский дамы стан обвили,
А мужчины — в бархат черный и прекрасный.

Позже в разговорах общество потонет:
Юность — о поэтах, винах и геройстве,
Старость — о схоластике и о Платоне,
И об Августине и о неба свойстве...

Мы же между тем в глубинах зала сядем,
Утопая в креслах толки поразвеяв,
И сонетом грустным, как бы шутки ради,
Я прочту Вам легкий, милый сердцу, веер...

Белград.
18 ноября 1930 г.

Инок из Дубровника

(с сербского)

Тысяча шестьсот (ах, все равно какого!)
Года некий инок был зимой в Версале,
И Люи Каторз представлен, образцово
Высказал усердье на приеме в зале.

В честь республиканского посла устроен
В Трианоне вечер (блеск любила эра!),
На котором гость почтен и удостоен
Музыкой Люли и труппою Мольера.

Крошечные, в пудре, всю-то ночь маркизы
На носках сатиновых нарядных туфель
Ткали менуэт, и колебались бризы
Вееров по залу, нежа тонкий профиль...

В это время гость расхаживал по залу,
Про Адриатического моря церкви
Говоря торжественному кардиналу,
Думая о туфельке изящной мерки...

Белград.
1930 г.

Голубой цветок

Всех женщин все равно не перелюбишь,
Всего вина не выпьешь все равно...
Неосторожностью любовь погубишь:
Раз жизнь одна и счастье лишь одно.

Не разницу характеров, а сходство
В подруге обретенной отмечай.
Побольше верности и благородства.
А там и счастлив будешь невзначай...

Не крылья грез — нужней земному ноги.
С полетами, бескрылый, не спеши.
Не лучше ли, чем понемногу многим,
Немногой много уделить души?

В желанье счастья — счастье. Повстречались.
Сошлись. Живут. Не в этом ли судьба?
На Голубой цветок обрек Новалис, —
Ну, что ж: и незабудка голуба...

Toila.
26 июня 1931 г.

На необитаемом острове

Ни в жены, ни в любовницы, ни в сестры:
Нет верности, нет страстности, нет дружбы,
Я не хотел бы с ней попасть на остров
Необитаемый: убила глушь бы.

Когда любим и любишь, счастьем рая
Глушь может стать. Но как любить такую?
Как быть с ней вечно вместе, созерцая
Не добрую и вместе с тем не злую?

Вечерние меня пугали б тени,
Не радовал бы и восход румяный:
Предаст. Расстроит. Омрачит. Изменит,
Раз нет мужчин, хотя бы с обезьяной.

Toila.
23 февраля 1932 г.

Наступает весна

Наступает весна. Вновь обычность ее необычна,
Неожиданна жданность и ясность слегка неясна.
И опять — о, опять! — все пахуче, цветочно
и птично.
Даже в старой душе, даже в ней наступает весна!

Мох в еловом лесу засинел-забелел в перелесках.
О, подснежники, вы — обескрыленные голубки!
И опять в ущербленьях губчатых, коричневых,
резких
Ядовитые ноздри свои раздувают сморчки.

И речонка безводная вновь многоводной рекою
Стала, рыбной безрыбная, сильной лишенная
сил,
Соблазнительно, интересною стала такою,
Что, поверив в нее, я удилище вновь оснастил.

Я ушел на нее из прискучивших за зиму комнат,
Целодневно бродя вдоль извилин ее водяных,
Посещая один за другим завлекающий омут,
Где таятся лохи, но кто знает — в котором
из них?

Этот лох, и сморчок, и подснежник
незамысловатый,
Эта юнь, эта даль, что влекуще-озерно-лесна,
Все душе, упоеньем и радостью яркой объятой,
Говорит, что опять, что опять наступает весна!

Toila.
7 мая 1932 г.

Медальоны

Сонеты и вариации о поэтах, писателях и композиторах

1. Андреев

Предчувствовать грядущую беду
На всей земле и за ее пределом
Вечерним сердцем, в страхе омертвелом,
Ему ссудила жизнь в его звезду.

Он знал, что Космос к грозному суду
Всех призовет, и, скорбь приняв всем телом,
Он кару зрил над грешным миром, целом
Разбитостью своей, твердя: "Я жду".

Он скорбно знал, что в жизни человечьей
Проводит Некто в сером план увечий,
И многое еще он скорбно знал,

Когда, мешая выполненью плана,
В волнах грохочущего океана
На мачту поднял бедствия сигнал.

1926

2. Апухтин

Вы помните ли полуанекдот,
Своей ничтожностью звучащий мило,
Как девочка у матери спросила,
Смотря на вздутый недугом живот:
"Он настоящий дядя или вот,

Нарочно так?" — Мы, посмотрев уныло, —
По-девочкину, на его чернила,
Вопрос предложим вкусу самый тот...

Из деликатности вкус не ответит.
Но вы — вы, подрастающие дети,
Поймете, верю, чутче и живей

Красноречивое его молчанье.
Тебе ж, певец, скажу я в оправданье:
— Ты был достоин публики своей.

1926

3. Арцыбашев

Великих мало в нашей жизни дней,
Но жизнь его — день славный в жизни нашей.
Вам, детки, солидарные с папашей,
Да будет с каждым новым днем стыдней.

Жизнь наша — бред. Что Санин перед ней? —
Невинный отрок, всех нас вместе краше!
Ведь не порок прославил Арцыбашев, —
Лишь искренность, которой нет родней.

Людей им следовать не приглашая,
Живописал художник, чья большая, —
Чета не вашим маленьким, — коря

Вас безукорно, нежно сострадая,
Душа благоуханно-молодая
Умучена законом дикаря.

1927

4. Ахматова

Послушница обители Любви
Молитвенно перебирает четки.
Осенней ясностью в ней чувства четки
Удел — до святости непоправим.

Он, Найденный, как сердцем ни зови,
Не будет с ней в своей гордыне кроткий
И гордый в кротости, уплывший в лодке
Рекой из собственной ее крови...

Уж вечер. Белая взлетает стая.
У белых стен скорбит она, простая.
Кровь капает, как розы, изо рта.

Уже осталось крови в ней немного,
Но ей не жаль ее во имя Бога;
Ведь розы крови — розы для креста...

1925

5. Байрон

Не только тех он понял сущность стран,
Где он искал — вселенец — Человека,
Не только своего не принял века, —
Всех, — требовательный, как Дон-Жуан.

Британец, сам клеймящий англичан,
За грека биться, презирая грека,
Решил, поняв, что наилучший лекарь
От жизни — смерть, и стал на грани ран.

Среди аристократок и торговок
Искал внутри хорошеньких головок
Того, что делает людей людьми.

Но женщины для песнопевца воли
Объединились вплоть до Гвиччиоли
В угрозу леди Лэмб: "Remember me".

1927

6. Бальзак

В пронизывающие холода
Людских сердец и снежных зим суровых
Мы ищем согревающих, здоровых
Старинных книг, кончая день труда.

У камелька, оттаяв ото льда,
Мы видим женщин, жизнь отдать готовых
За сон любви, и, сравнивая новых
С ушедшими, все ищем их следа.

Невероятных призраков не счесть...
Но "вероятная невероятность" есть
В глубинных книгах легкого француза,

Чей ласков дар, как вкрадчивый Барзак,
И это имя — Оноре Бальзак —
Напоминанье нежного союза...

1925

7. Бетховен

Невоплощаемую воплотив
В серебряно-лунящихся сонатах,
Ты, одинокий, в непомерных тратах
Души, предвечный отыскал мотив.

И потому всегда ты будешь жив,
Окаменев во вспененностях девятых,
Как памятник воистину крылатых,
Чей дух — неумысляемый порыв.

Создатель Эгмонта и Леоноры,
Теперь тебя, свои покинув норы,
Готова славить Суета,

На светоч твой, вперив слепые очи,
С тобой весь мир. В ответ на эту почесть —
Твоя презрительная глухота.

1927

8. Бизе

Искателям жемчужин здесь простор:
Ведь что ни такт — троякий цвет жемчужин.
То розовым мой слух обезоружен,
То черный власть над слухом распростер.

То серым, что пронзительно остер,
Растроган слух и сладко онедужен,
Он греет нас, и потому нам нужен,
Таланта ветром взбодренный костер.

Был день — толпа шипела и свистала.
Стал день — влекла гранит для пьедестала.
Что автору до этих перемен!

Я верю в день, всех бывших мне дороже,
Когда сердца вселенской молодежи
Прельстит тысячелетняя Кармен!

1926

9. Блок

Красив, как Демон Врубеля для женщин,
Он лебедем казался, чье перо
Белей, чем облако и серебро,
Чей стан дружил, как то ни странно, с френчем...

Благожелательный к меньши́м и ме́ньшим,
Дерзал — поэтно — видеть в зле добро.
Взлетал. Срывался. В дебрях мысли брел.
Любил Любовь и Смерть, двумя увенчан.

Он тщетно на земле любви искал:
Ее здесь нет. Когда же свой оскал
Явила Смерть, он понял: — Незнакомка...

У рая слышен легкий хруст шагов:
Подходит Блок. С ним — от его стихов
Лучащаяся — странничья котомка...

1925

10. Бодлэр

В туфле ли маленькой — "Les fleurs du mal",
В большом ли сердце — те же результаты:
Не злом, а добродетелью объяты
Земнившие небесную эмаль.

В днях юности — семи грехов скрижаль
И одуряющие ароматы.
Благочестивые придут закаты,
И целомудрия до боли жаль.

Ты в комнаты вечерний впустишь воздух,
О ледяных задумаешься звездах,
Утончишь слух, найдешь для тела тишь.

И выпрыгнут обиженно в окошки
Грехом наэлектриченные кошки,
Лишь пса раскаянья ты присвистишь.

1926

11. Боратынский

Ложь радостей и непреложье зол
Наскучили взиравшему в сторонке
На жизнь земли и наложили пленки
На ясный взор, что к небу он возвел.

Душой метнулся к северу орел,
Где вздох крылатый теплится в ребенке,
Где влажный бог вкушает воздух тонкий,
И речи водопада внемлет дол.

Разочарованному обольщенья
Дней прежних не дадут отдохновенья
И горького не усладят питья.

С оливой мира смерть, а не с косою.
Так! в небе не смутит его земное:
Он землю отбывал без бытия...

1926

12. Брюсов

Его воспламенял призывный клич,
Кто б ни кричал — новатор или Батый...
Не медля честолюбец суховатый,
Приемля бунт, спешил его постичь.

Взносился грозный над рутиной бич
В руке самоуверенно зажатой,
Оплачивал новинку щедрой платой
По-европейски скроенный москвич.

Родясь дельцом и стать сумев поэтом,
Как часто голос свой срывал фальцетом,
В ненасытимой страсти все губя!

Всю жизнь мечтая о себе, чугунном,
Готовый песни петь грядущим гуннам,
Не пощадил он — прежде всех — себя...

1926

13. Поль Бурже

Как должного ему я не воздам,
Как я пройду своей душою мимо
Того, кем нежно, бережно хранима
Благая сущность девствующих дам?

Сквернит мужская черствость часто храм
Душ, на земле взыскавших серафима,
Есть тонкий аромат в удушье дыма
Так называемых "мещанских" драм.

Как будто обыватель без души?..
И как его ты, критик, ни круши,
Блажен, в душе найти сумевший душу.

И если, кончив том, вздохнешь: "Уже?.."
Я думаю, я правды не нарушу,
Признав твой возглас честью для Бурже!

1925

14. Бунин

В его стихах — веселая капель,
Откосы гор, блестящие слюдою,
И спетая березой молодою
Песнь солнышку. И вешних вод купель.

Прозрачен стих, как северный апрель,
То он бежит проточною водою,
То теплится студеною звездою,
В нем есть какой-то бодрый, трезвый хмель.

Уют усадеб в пору листопада.
Благая одиночества отрада.
Ружье. Собака. Серая Ока.

Душа и воздух скованы в кристалле.
Камин. Вино. Перо из мягкой стали.
По отчужденной женщине тоска.

1926

15. Белый

В пути поэзии, — как бог, простой
И романтичный снова в очень близком, —
Он высится не то что обелиском,
А рядовой коломенской верстой...

В заумной глубине своей пустой —
Он в сплине философии английском,
Дивящий якобы цветущим риском,
По существу, бесплодный сухостой...

Безумствующий умник ли он или
Глупец, что даже умничать не в силе —
Вопрос, где нерассеянная мгла.

Но куклу заводную в амбразуре
Не оживит ни золото лазури,
Ни переплеск пенснэйного стекла...

1926

16. Вербицкая

К ней свысока относится Парнас,
Ее поставив вне литературы:
Ах, Искренность! твоей фюрирутуры
Хрусталинки на крыльях — бред для нас...

Парнасу вторит Критика: "Она
Способна развратить, всмотритесь в туры
Ее идей..." И вот для креатуры
Читательской она, как грех, нужна...

Но несмотря на все ее бессилье
(Верней — благодаря ему!), обилье
Поклонников — печалящий симптом:

Находит в ней охотник за бациллой
Разврата то, роднящее с гориллой,
Чего она не вкладывала в том...

1926

17. Верди

Поют на маскированном балу
Сердца красавиц, склонные к измене.
А преданный сердцам певучий гений
Подслушивает их, таясь в углу.

О, сквозь столетья розовую мглу,
Впитав исполненную наслаждений
Песнь их сердец, пред нами будит тени
Мелодий, превратившихся в золу...

Пусть эта песнь в огне своем истлела!
Ренато, Риголетто и Отелло,
Эрнани, Амонасро и Фальстаф,

Перепылав, все растворилось в тверди,
Взнесенные в нее крылами Верди,
Нас и золою греть не перестав.

1926

18. Верлен

Абсент, питавший грубость апаша,
В нем ласковые пробуждал оттенки.
Телесные изничтожала стенки
Полетом опьяненная душа.

Он, глубь души вином опустоша,
Уподоблял себя демимонддэнке,
Кого врач Ужас выбрал в пациентки,
И умерщвлял с улыбкой, не спеша.

Он веет музыкальною вуалью,
Он грезит идеальною печалью,
В нем бирюзового тумана плен.

В утонченностях непереводимый,
Ни в чем глубинный, в чуждости родимый.
Ни в ком неповторимый Поль Верлен.

1926

19. Жюль Верн

Он предсказал подводные суда
И корабли, плывущие в эфире.
Он фантастичней всех фантастов в мире
И потому — вне вашего суда.

У грез беспроволочны провода,
Здесь интуиция доступна лире,
И это так, как дважды два — четыре,
Как всех стихий прекраснее — вода.

Цветок, пронизанный сияньем светов,
Для юношества он и для поэтов,
Крылатых друг и ползающих враг.

Он выше ваших дрязг, вражды и партий.
Его мечты на всей всемирной карте
Оставили свой животворный знак.

1927

20. Виснапу

В нем есть протест, простор и глубина,
И солнце в колыбель ему запало:
В цветок огнистый ночи под Купала
Поверил он, в чьем имени — весна.

Он умудрен, — и песнь его грустна:
Мерцанье в ней печального опала.
Ах, буря не одна его трепала!
Он молчалив. Душа его ясна.

Он, патриотом будучи, вселенен,
Трудолюбив, но склонен к бодрой лени
Благочестивых северных полей.

Вот он идет по саду, поливая
Возделанный свой сад, а полевая
Фиалка за оградой все ж милей...

Замок Hrastovec Slovenija.
22 — IX — 1933

21. Гамсун

Мечта его — что воск, и дух — как сталь.
Он чувствовать природу удостоен.
Его родил безвестный миру Лоэн —
Лесной гористый север Гудбрансталь.

Норвежских зим губительный хрусталь,
Который так божественно спокоен.
Дитя и зверь. Анахорет и воин.
Фиорда лед и оттепели таль.

Его натуре северного Барда
Изменнически-верная Эдварда,
Пленительная в смутности, ясна.

А город ему кажется мещанкой,
"С фантазиею, вскормленной овсянкой",
Что в клетку навсегда заключена.

1925

22. Гиппиус

Ее лорнет надменно-беспощаден,
Пронзительно-блестящ ее лорнет.
В ее устах равно проклятью "нет"
И "да" благословляюще, как складень.

Здесь творчество, которое не на день,
И женский здесь не дамствен кабинет...
Лью лесть в ей предназначенный сонет,
Как льют в фужер броженье виноградин.

И если в лирике она слаба
(Лишь издевательство — ее судьба!) —
В уменье видеть слабость нет ей равной.

Кровь скандинавская прозрачней льда,
И скован шторм на море навсегда
Ее поверхностью самодержавной.

1926

23. Глинка

В те дни, когда уже, казалось, тмила
Родную музу муза чуждых стран,
Любимую по-русски звал Руслан
И откликалась русская Людмила.

Мелодию их чувств любовь вскормила.
Об их любви поведал нам Баян,
Кому был дар народной речи дан,
Чье вдохновенье души истомило.

Нелепую страну боготворя,
Не пожалел он жизни за царя,
Высоконареченного Профаном,

Кто, гениальность Глинки освистав,
Чужой в России учредил устав:
Новатора именовать болваном.

1926 — 1931

24. Гоголь

Мог выйти архитектор из него:
Он в стилях знал извилины различий.
Но рассмешил при встрече городничий,
И смеху отдал он себя всего.

Смех Гоголя нам ценен оттого, —
Смех нутряной, спазмический, язычий, —
Что в смехе древний кроется обычай:
Высмеивать свое же существо.

В своем бессмертьи мертвых душ мы души,
Свиные хари и свиные туши,
И человек, и мертвовекий Вий —

Частица смертного материала...
Вот, чтобы дольше жизнь не замирала,
Нам нужен смех, как двигатель крови...

1926

25. Гончаров

Рассказчику обыденных историй
Сужден в удел оригинальный дар,
Врученный одному из русских бар,
Кто взял свой кабинет с собою в море...

Размеренная жизнь — иному горе,
Но не тому, кому претит угар,
Кто, сидя у стола, был духом яр,
Обрыв страстей в чьем отграничен взоре...

Сам, как Обломов, не любя шагов,
Качаясь у японских берегов,
Он встретил жизнь совсем иного склада,

Отличную от родственных громад,
Игрушечную жизнь, чей аромат
Впитал в свои борта фрегат "Паллада".

1926

26. Горький

Талант смеялся... Бирюзовый штиль,
Сияющий прозрачностью зеркальной,
Смеялся в нем вспененностью сверкальной,
Морской травой и солью пахнул стиль.

Сласть слез соленых знала Изергиль,
И сладость волн соленых впита Мальвой.
Под каждой кофточкой, под каждой тальмой —
Цветов сердец зиждительная пыль.

Всю жизнь ничьих сокровищ не наследник,
Живописал высокий исповедник
Души, смотря на мир не свысока.

Прислушайтесь: в Сорренто, как на Капри,
Еще хрустальные сочатся капли
Ключистого таланта босяка.

1926

27. Т. А. Гофман

Вокруг нас жуть: в трагичном и смешном,
В сопутнике живом таится призрак.
Фарфор бездушный часто больше близок,
Чем человек. И стерта грань меж сном.

Иным заранее предрешено
Могущество ничтожного карниза.
Во всем таится месть, вражда и вызов.
Любить Мечту и то порой грешно.

Как прорицательна болезнь фантаста,
Ведущая здоровых к бездне часто,
Сокрытой их здоровьем от очей.

Провидец в лике отблесков столиких,
Не величайший ли из всех великих
Поэтов Гофман в ужасе речей?

1926

28. Григ

Тяжелой поступью проходят гномы.
Все ближе. Здесь. Вот затихает топ
В причудливых узорах дальних троп
Лесов в горах, куда мечты влекомы,

Студеные в фиордах водоемы.
Глядят цветы глазами антилоп.
Чьи слезы капают ко мне на лоб?
Не знаю, чьи, но как они знакомы!

Прозрачно капли отбивают дробь,
В них серебристо-радостная скорбь,
А капли прядают и замерзают.

Сверкает в ледяных сосульках звук.
Сосулька сверху падает на луг,
Меж пальцев пастуха певуче тает.

1927

29. Гумилев

Путь конквистадора в горах остер.
Цветы романтики над ним нависли.
И жемчуга на дне — морские мысли —
Трехцветились, когда ветрел костер.

И путешественник, войдя в шатер,
В стихах свои писания опиcьмил.
Уж как Европа Африку не высмей,
Столп огненный — души ее простор.

Кто из поэтов спел бы живописней
Того, кто в жизнь одну десятки жизней
Умел вместить? Любовник, Зверобой,

Солдат — все было в рыцарской манере.
... Он о Земле тоскует на Венере,
Вооружась подзорною трубой.

1926 — 1927

30. Достоевский

Его улыбка — где он взял ее? —
Согрела всех мучительно-влюбленных,
Униженных, больных и оскорбленных,
Кошмарное земное бытие.

Угармонированное свое
В падучей сердце — радость обреченных,
Истерзанных и духом исступленных —
В целебное он превратил питье.

Все мукой опрокинутые лица,
Все руки, принужденные сложиться
В крест на груди, все чтущие закон,

Единый для живущих, — Состраданье,
Все, чрез кого познали оправданье,
И человек — почти обожествлен.

1926

31. Дучич

"Любовь к тебе была б тебе тюрьмой:
Лишь в безграничном женщины — граница".
Как тут любить? И вот Дубровник снится,
Возникший за вспененною кормой.

Ах, этой жизни скучен ход прямой,
И так желанна сердцу небылица:
Пусть зазвучит оркестр, век немой,
Минувшим пусть заполнится страница.

"Земная дева ближе к небесам,
Чем к сердцу человеческому", — сам
Он говорит, и в истине той — рана.

Как тут любить? А если нет любви,
Сверкни, мечта, и в строфах оживи
Всю царственность республики Ядрана.

Замок Hrastovec Slovenija.
5 — IX — 1933

32. Дюма

Дни детства. Новгородская зима.
Листы томов, янтарные, как листья.
Ах, нет изобразительнее кисти,
Как нет изобретательней ума.

Захватывающая кутерьма
Трех мушкетеров, участь Монте-Кристья.
Ты — рыцарство, ты — доблесть бескорыстья,
Блистательнейший Александр Дюма.

Вся жизнь твоя подобна редкой сказке.
Объектом гомерической огласки
Ты был всегда, великий чародей.

Любя тебя, как и во время оно,
Перед тобой клоню свои знамена,
Мишень усмешек будничных людей.

1927

33. Есенин

Он в жизнь вбегал рязанским простаком,
Голубоглазым, кудреватым, русым,
С задорным носом и веселым вкусом,
К усладам жизни солнышком влеком.

Но вскоре бунт швырнул свой грязный ком
В сиянье глаз. Отравленный укусом
Змей мятежа, злословил над Иисусом,
Сдружиться постарался с кабаком...

В кругу разбойников и проституток,
Томясь от богохульных прибауток,
Он понял, что кабак ему поган...

И богу вновь раскрыл, раскаясь, сени
Неистовой души своей Есенин,
Благочестивый русский хулиган...

1925

34. Жеромский

Он понял жизнь и проклял жизнь, поняв.
Людские души напоил полынью.
Он постоянно радость вел к унынью
И, утвердив отчаянье, был прав.

Безгрешных всех преследует удав.
Мы видим в небе синеву пустынью.
Земля разделена с небесной синью
Преградами невидимых застав.

О, как не жить, как жить на этом свете,
Когда невинные — душою дети —
Обречены скитаться в нищете!

И нет надежд. И быть не может
Здесь, на земле, где смертных ужас гложет, —
Нам говорил Жеромский о тщете.

1926

35. Зощенко

— Так вот как вы лопочете? Ага! —
Подумал он незлобиво-лукаво.
И улыбнулась думе этой слава,
И вздор потек, теряя берега.

Заныла чепуховая пурга, —
Завыражался гражданин шершаво,
И вся косноязычная держава
Вонзилась в слух, как в рыбу — острога.

Неизлечимо глупый и ничтожный,
Возможный обыватель невозможный,
Ты жалок и в нелепости смешон!

Болтливый, вездесущий и повсюдный,
Слоняешься в толпе ты многолюдной,
Где все мужья своих достойны жен.

1927

36. Вячеслав Иванов

По кормчим звездам плыл суровый бриг
На поиски угаснувшей Эллады.
Во тьму вперял безжизненные взгляды
Сидевший у руля немой старик.

Ни хоры бурь, ни чаек скудный крик,
Ни стрекотанье ветреной цикады,
Ничто не принесло ему услады:
В своей мечте он навсегда поник.

В безумье тщетном обрести былое
Умершее, в живущем видя злое,
Препятствовавшее венчать венцом

Ему объявшие его химеры,
Бросая морю перлы в дар без меры,
Плыл рулевой, рожденный мертвецом.

1926

37. Георгий Иванов

Во дни военно-школьничьих погон
Уже он был двуликим и двуличным,
Большим льстецом и другом невеличным,
Коварный паж и верный эпигон.

Что значит бессердечному закон
Любви, пшютам несвойственный столичным,
Кому в душе казался всеприличным
Воспетый класса третьего вагон.

А если так — все ясно остальное.
Перо же, на котором вдосталь гноя,
Обмокнуто не в собственную кровь.

И жаждет чувств чужих, как рыбарь — клева;
Он выглядит "вполне под Гумилева",
Что попадает в глаз, минуя бровь...

Valaste.
1926

38. Инбер

Влюбилась как-то Роза в Соловья:
Не в птицу роза — девушка в портного,
И вот в давно обычном что-то ново,
Какая-то остринка в нем своя...

Мы в некотором роде кумовья:
Крестили вместе мальчика льняного —
Его зовут Капризом. В нем родного —
Для вас достаточно, сказал бы я.

В писательнице четко сочетались
Легчайший юмор, вдумчивый анализ,
Кокетливость, печаль и острый ум.

И грация вплелась в талант игриво.
Вот женщина, в которой сердце живо
И опьяняет вкрадчиво, как "мумм".

1927

39. Келлерман

Материалистический туннель
Ведет нежданно в край Святого Духа,
Над чем хохочет ублажитель брюха —
Цивилизации полишинель.

Хам-нувориш, цедя Мускат-Люнель,
Твердит вселенной: "Покорись, старуха:
Тебя моею сделала разруха, —
Так сбрось капота ветхую фланель..."

Но в дни, когда любовь идет по таксе,
Еще не умер рыцарь духа, Аксель,
Чьей жизни целью — чувство к Ингеборг.

И цело завещанье Михаила
С пророчеством всему, что было хило,
Любви вселенческой познать восторг!

1926

40. Киплинг

Звериное... Зуб острый. Быстрый взгляд.
Решительность. Отчаянность. Отвага.
Борьба за жизнь — девиз кровавый флага.
Ползут. Грызутся. Скачут. И палят.

Идиллии он вовсе невпопад:
Уж слишком в нем кричат инстинкты мага.
Пестрит пантера в зарослях оврага.
Ревет медведь, озлясь на водопад.

Рисует он художников ли, юнг ли,
Зовет с собой в пустыни или джунгли,
Везде и всюду — дым, биенье, бег.

Забыть ли нам (о нет, мы не забудем!),
Чем родственен звероподобным людям
Принявший душу зверя человек...

1926

41. Кольцов

Его устами русский пел народ,
Что в разудалости веселой пляса,
Век горести для радостного часа
Позабывая, шутит и поет.

От непосильных изнурен забот,
Чахоточный, от всей души пел прасол,
И эту песнь подхватывала масса,
Себя в ней слушая из рода в род.

В его лице — черты родного края.
Он оттого ушел, не умирая,
Что, может быть, и не было его

Как личности: страна в нем совместила
Все, чем дышала, все, о чем грустила,
Неумертвимая, как Божество.

1925

42. Конан Дойль

Кумир сопливого ученика,
Банкира, сыщика и хулигана,
Он чтим и на Камчатке, и в Лугано,
Плод с запахом навозным парника.

Помилуй Бог меня от дневника,
Где детективы в фабуле романа
О преступленьях повествуют рьяно,
В них видя нечто вроде пикника...

"Он учит хладнокровью, сметке, риску,
А потому хвала и слава сыску!" —
Воскликнул бы любитель кровопийц,

Меня всегда мутило от которых...
Не ужас ли, что землю кроет ворох
Убийственных романов про убийц?

1926

43. Кузмин

В утонченных до плоскости стихах —
Как бы хроническая инфлуэнца.
В лице все очертанья вырожденца.
Страсть к отрокам взлелеяна в мечтах.

Запутавшись в эстетности сетях,
Не без удач выкидывал коленца,
А у него была душа младенца,
Что в глиняных зачахла голубках.

Он жалобен, он жалостлив и жалок.
Но отчего от всех его фиалок
И пошлых роз волнует аромат?

Не оттого ль, что у него, позера,
Грустят глаза — осенние озера, —
Что он, — и блудный, — все же божий брат?..

1926

44. Куприн

Писатель балаклавских рыбаков,
Друг тишины, уюта, моря, селец,
Тенистой Гатчины домовладелец,
Он мил нам простотой сердечных слов...

Песнь пенилась сиреневых садов —
Пел соловей, весенний звонкотрелец,
И, внемля ей, из армии пришелец
В душе убийц к любви расслышал зов...

Он рассмотрел вселенность в деревеньке,
Он вынес оправданье падшей Женьке,
Живую душу отыскал в коне...

И чином офицер, душою инок,
Он смело вызывал на поединок
Всех тех, кто жить мешал его стране.

1925

45. Лермонтов

Над Грузией витает скорбный дух —
Невозмутимых гор мятежный Демон,
Чей лик прекрасен, чья душа — поэма,
Чье имя очаровывает слух.

В крылатости он, как ущелье, глух
К людским скорбям, на них взирая немо.
Прикрыв глаза крылом, как из-под шлема,
Он в девушках прочувствует старух.

Он в свадьбе видит похороны. В свете
Находит тьму. Резвящиеся дети
Убийцами мерещатся ему.

Постигший ужас предопределенья,
Цветущее он проклинает тленье,
Не разрешив безумствовать уму.

1926

46. Мирра Лохвицкая

Я чувствую, как музыкою дальней
В мой лиственный повеяло уют.
Что это там? — фиалки ли цветут?
Поколебался стих ли музыкальный?

Цвет опадает яблони венчальной.
В гробу стеклянном спящую несут.
Как мало было пробыто минут
Здесь, на земле прекрасной и печальной!

Она ушла в лазурь сквозных долин,
Где ждал ее мечтанный Вандэлин,
Кто человеческой не принял плоти,

Кто был ей верен многие века,
Кто звал ее вселиться в облака,
Истаять обреченные в полете...

1926

47. Лесков

Ее низы — изморина и затерть.
Российский бабеизм — ее верхи.
Повсюду ничевошные грехи.
Осмеркло все: дворец и церкви паперть.

Лжет, как историк, даже снега скатерть:
Истает он, и обнажатся мхи,
И заструят цветы свои духи,
Придет весна, светла как Божья Матерь,

И повелит держать пасхальный звон,
И выйдет, как священник на амвон,
Писатель, в справедливости суровой,

И скажет он: "Обжора Шерамур,
В больной отчизне дураков и дур
Ты самый честный, нежный и здоровый".

1927

48. Метерлинк

В земных телах подземная душа,
В своем же доме все они не дома,
Тревожит их планет других истома.
Дышать им нечем: дышат не дыша.

Луч солнечный — угрозней палаша
В глубоком преломленьи водоема.
Жизнь на Юпитере кому знакома,
Что жизнь земных дворцов и шалаша?

Они глухие здесь, они слепые —
Все умирающие неживые,
Как с белыми ресницами Малэн.

Но зрячи в слепоте и тонкосухи
Глухонемые к трепетанью мухи, —
Как и они, — попавшей в липкий плен.

1926

49. Майн Рид

Я знаю, в детстве увлекались вы
Страной, где тлеет кратера воронка,
Где от любви исходит квартеронка
И скачут всадники без головы.

Где из высокой — в рост людской — травы
Следит команч, татуирован тонко,
За играми на солнышке тигренка,
И вдруг — свистящий промельк тетивы.

О той стране, где в грезах вы гостили
И о которой в снах своих грустили,
Красноречиво с вами говорит

Вождь светлых душ, в чьем красочном колчане
Таланта стрелы, скромный англичанин,
Друг юношества, капитан Майн Рид.

1925

50. Маргерит

Стыдом и гневом грудь моя горит,
Когда, себя не видя в мальчуганке,
Морализирующие поганки
Грязь льют на имя — "Виктор Маргерит".

От гнева и немой заговорит,
Когда амфоры превратив в лоханки,
Бездушье безразличной элегантки
Грязнит вино помоями корыт...

Что ж, торжествуйте, хамы-нувориши,
Кто подлостью набил дома под крыши,
Чей мозг не более чем камамбер...

"Вселенная в границах. Беспредельна
Одна лишь глупость человечья", — дельно
Уже давно сказал Густав Флобер.

1926

51. Маяковский

Саженным — в нем посаженным — стихам
Сбыт находя в бродяжьем околотке,
Где делает бездарь из них колодки,
В господском смысле он, конечно, хам.

Поет он гимны всем семи грехам,
Непревзойденный в митинговой глотке.
Историков о нем тоскуют плетки
Пройтись по всем стихозопотрохам...

В иных условиях и сам, пожалуй,
Он стал иным, детина этот шалый,
Кощунник, шут и пресненский апаш:

В нем слишком много удали и мощи,
Какой полны издревле наши рощи,
Уж слишком он весь русский, слишком наш!

1926

53. Мопассан (2)

Все, что на паруснике "Bel-ami".
Продумал он о людях непреложно:
Людьми не возмущаться невозможно,
Кто знал зверей, зовущихся людьми.

Понять способный суть войны, пойми:
В ее обожествленье все безбожно,
Как и в ее величье все ничтожно,
Как в чести здесь — в бесчестье для семьи...

Все на земле — с землею соразмерно:
Непривлекательна земная скверна,
И преходяща дней земных гряда.

Семь муз земных — лишь семеро уродов...
Для всех времен, как и для всех народов,
Оно есть постоянство: Никогда.

1926

54. Надсон

Любовью к ближним щедро оделен,
Застенчивый, больной, несчастный лично,
Без голоса он вздумал петь публично,
Хвалой толпы бесслухой окрылен.

Он за глагол глаголов награжден
При жизни был. Стих плакал паралично.
Все в этой славе было неприлично:
Хвала глупцов и книги льнущей лен...

Неопытная в стиле юнокудрость
Идейную в нем отыскала мудрость,
Его своим поэтом нарекла.

И умер Надсон, сам того не зная,
Что за алмазы приняла родная
Страна его изделья из стекла...

1926

55. Некрасов

Блажен, кто рыцарем хотя на час
Сумел быть в злую, рабскую эпоху,
Кто к братнему прислушивался вздоху
И, пламенея верой, не погас.

Чей хроменький взъерошенный Пегас
Для Сивки скудную оставил кроху
Овса, когда седок к царю Гороху
Плелся поведать горестный рассказ...

А этот царь — Общественное Мненье, —
В нем видя обладателя именья
И барственных забавника охот,

Тоску певца причислил к лицемерью;
Так перед плотно запертою дверью
Рыдал Некрасов, русский Дон Кихот.

1925

56. Немирович-Данченко

Его возжег огнистый Дагестан
И Грузия, жемчужина Кавказа.
Ему дан дар цветистого рассказа,
Воображенья лебедь с детства дан.

Ни перед кем свой моложавый стан
Он не склонял. Не закрывая глаза,
Он в битвы шел, исполненный экстаза,
Но человека чтил всех в мире стран.

Скиталец по векам, свободы друг,
Он север ощущает, как и юг,
И двести книг создав, он сам не книжник.

Он — наш Жюль Верн, он — истинный поэт.
И, юноша восьмидесяти лет,
Он — Генерала Белого сподвижник.

1925

57. Одоевцева

Все у нее прелестно — даже "ну"
Извозчичье, с чем несовместна прелесть...
Нежданнее, чем листопад в апреле,
Стих, в ней открывший жуткую жену...

Серпом небрежности я не сожну
Посевов, что взошли на акварели...
Смущают иронические трели
Насторожившуюся вышину.

Прелестна дружба с жуткими котами, —
Что изредка к лицу неглупой даме, —
Кому в самом раю разрешено

Прогуливаться запросто, в побывку
Свою в раю вносящей тонкий привкус
Острот, каких эдему не дано...

1926

58. Элиза Ожешко

Отпенился фруктовый сад. И рьян
Луч солнечный, встревожив ароматы.
Незримая душа струится мяты,
И с ней сливает струйку валерьян.

Заполонил бушующий бурьян
Куртины роз. Гортензии изъяты.
Крокетусы запущенно-лохматы.
Глядит на голубой цикорий Ян.

И голубеет в пахаре преданье
О тезке-предке, выбравшем заданье:
Мечту труда увидеть наяву.

"Рви лебеду — и там, где было немо,
Жизнь зазвенит", — подбадривает Неман,
Любовно омывающий Литву.

1926

60. Реймонт

Сама земля — любовница ему,
Заласканная пламенно и нежно.
Он верит в человечество надежно
И человеку нужен потому.

Я целиком всего его приму
За то, что блещет солнце безмятежно
С его страниц, и сладко, и элежно
Щебечущих и сердцу, и уму.

В кромешной тьме он радугу гармоний
Расцвечивал. Он мог в кровавом стоне
Расслышать радость. В сердце мужика —

Завистливом, себялюбивом, грубом —
Добро и честность отыскав, с сугубым
Восторгом пел. И это — на века.

1926

61. Ремарк

Он, как Евангелье, необходим
И, как насущность, он евангеличен.
Тем отличителен, что он отличен
От славословящих огонь и дым.

Пусть не художник он, но, раз своим
Пером способен быть междуязычен
И необычным, будучи обычен,
Нас волновать, преклонимся пред ним.

Покуда Конторек — заметь, историк! —
Городит чушь, наш жребий будет горек,
И нам сужден в удел вороний карк.

Я требую, чтоб дети с первой парты
Усвоили, что для вселенской карты
Священно имя скромное — Ремарк.

Toila.
21 янв. 1933

62. Римский-Корсаков

Мы любим с детства ночь под Рождество,
Когда бормочет о царе Салтане
И о невесте царской няня Тане,
Ушедшей в майской ночи волшебство.

Дивчата с парубками, в колдовство
Вовлечены, гуторят на поляне,
Как пел Садко в глубоком океане,
Пленен морским царем, пленив его.

К ним выйдя в эту пору, ты увидишь
Сервилию, невидимый град Китеж,
Кащея, Золотого петушка...

Взгрустнется о Снегурочке. Сев в санки,
О Младе вспомнив, ставши к Псковитянке
Искать путей, не сыщешь ни вершка...

1926

63. Роллан

Чистейший свет струится из кустов
Пред домиком в Вильневе под Лозанной.
Свет излучающий и осиянный,
Каким всю жизнь светился Жан-Кристоф.

О, этот свет! В нем аромат цветов!
Свободу духа встретил он "Осанной"!
Свободы царь, свободы раб, внестанный
Мятеж души воспеть всегда готов.

Быть на земле нетрудно одиноким
Лишь тем, кто подвигом горит высоким,
Кто заключил в душе своей миры,

Кому насилья демон ненавистен,
Кто ищет в жизни истину из истин,
Вдыхая холод с солнечной горы.

1926

64. Романов

В нем есть от Гамсуна, и нежный весь такой он:
Любивший женщину, привык ценить тщету.
В нем тяга к сонному осеннему листу,
В своих тревожностях он ласково спокоен.

Как мудро и печально он настроен!
В нем то прелестное, что я всем сердцем чту.
Он обречен улавливать мечту.
В мгновенных промельках, и тем он ближе
вдвое.

Здесь имя царское воистину звучит
По-царски. От него идут лучи
Такие мягкие, такие золотые.

Наипленительнейший он из молодых
И драгоценнейший. О, милая Россия,
Ты все еще жива в писателях своих!

1927

66. Ростан

Убожество действительных принцесс
Не требует словесного сраженья:
Оно роскошно. Но воображенья
Принцессу чту за чудо из чудес!

И кто из нас отъюнил юность без
Обескураживающего жженья
Крови, вспененной в жилах от броженья,
Вмещая в землю нечто от небес?

Кто из живущих не был Шантеклером,
Сумевшим в оперении беспером
Себе восход светила приписать?

Кто из жрецов поэзии — и прозы! —
Не сотворил в себе Принцессы Грезы,
О ком вздохнуть, — и на глазах роса?..

1926

67. Садовников

Как смеет быть такой поэт забыт,
Кто в русских красках столь разнообразен,
В чьих песнях обессмертен Стенька Разин
И выявлен невольниц волжских быт.

Моря на паруса судов зыбит,
До красоты в разгуле безобразен,
Плывет Степан, и, чувствуя, что сглазен
Святой разбой, он гневом весь кипит...

О, не умолкнет песнь о Стеньке долго,
Пока не высохнет до капли Волга, —
Но автора родной не вспомнит край...

"Прощай, страна, река и в поле колос,
Прощай меня", — его я слышу голос...
— Нет, ты, поэт, страну свою прощай!

1926

68. Салтыков-Щедрин

Не жутко ли, — среди губернских дур
И дураков, туземцев Пошехонья,
Застывших в вечной стадии просонья,
Живуч неумертвимый помпадур?

Неблагозвучьем звучен трубадур,
Чей голос, сотрясая беззаконье,
Вещал в стране бесплодье похоронье,
Чей смысл тяжел, язвителен и хмур.

Гниет, смердит от движущихся трупов
Неразрушимый вечно город Глупов —
Прорусенный, повсюдный, озорной.

Иудушки из каждой лезут щели.
Страну одолевают. Одолели.
И нет надежд. И где удел иной?

1926

69. Сологуб

Неуловимо солнце, как дракон.
Животворящие лучи смертельны.
Что ж, что поля ржаны и коростельны? —
Снег выпадет. Вот солнечный закон.

Поэт постиг его, и знает он,
Что наши дни до ужаса предельны,
Что нежностью мучительною хмельны
Земная радость краткая и стон.

Как дряхлый триолет им омоложен!
Как мягко вынут из глубоких ножен
Узором яда затканный клинок!

И не трагично ль утомленным векам
Смежиться перед хамствующим веком,
Что мелким бесом вертится у ног?..

1926

70. Станюкович

Они умеют с бурею бороться,
Влюбленные в морской ультрамарин,
Будь то изнеженный гардемарин
Иль, с сиплым басом, грубый, пьяный боцман.

Им глубь морей — не то же ль, что колодца
Глубь для крестьян? Пусть койки без перин, —
Их в каждом порте ждет восторг "смотрин",
Им без хлопот туземка отдается...

Они плывут от гавани и — до,
Где офицеры подзовут ландо,
И на кривых ногах пойдут матросы

Искать в тавернах женщин и вина —
В немудрых радостях земного дна
Об океанском дне залить вопросы...

1926

71. Игорь-Северянин

Он тем хорош, что он совсем не то,
Что думает о нем толпа пустая,
Стихов принципиально не читая,
Раз нет в них ананасов и авто,

Фокстрот, кинематограф и лото —
Вот, вот куда людская мчится стая!
А между тем душа его простая,
Как день весны. Но это знает кто?

Благословляя мир, проклятье войнам
Он шлет в стихе, признания достойном,
Слегка скорбя, подчас слегка шутя

Над вечно первенствующей планетой...
Он — в каждой песне, им от сердца спетой, —
Иронизирующее дитя.

1926

72. Каролина Павлова

"В пример развенчан Божьим Рим судом
Вам, мира многогранные владыки.
Земля и Небо, отвращая лики,
Проходят, новый обреча Содом".

Так возвещала Павлова о том,
Что наболело в сердце горемыки,
И те, кто духом горни и велики,
Почли ее стихов ключистый том.

И вся она, с несбывшеюся славой —
Неаполь, город, вымощенный лавой —
Застывшими отбросами горы.

Вселенен лик ее Маркиза Позы,
Вошедшего в девические грезы,
Ей стих сберегшего до сей поры...

1926

73. Пастернак

Когда в поэты тщится Пастернак,
Разумничает Недоразуменье.
Мое о нем ему нелестно мненье:
Не отношусь к нему совсем никак.

Им восторгаются — плачевный знак.
Но я не прихожу в недоуменье:
Чем бестолковее стихотворенье,
Тем глубже смысл находит в нем простак.

Безглавых тщательноголовый пастырь
Усердно подновляет гниль и застарь
И бестолочь выделывает. Глядь,

Состряпанное потною бездарью
Пронзает в мозг Ивана или Марью,
За гения принявших заурядь.

1928. 29—III

74. Потемкин

Его я встретил раза два в гостиной
У Сологуба в грешный год войны,
Когда мы были пьяны и гнойны
Своей опустошенностью гордынной...

Американцем он казался: длинный,
Проборчатый — как янки быть должны —
В сопровождении своей жены —
Красавицы воистину картинной.

О чем он пел? Кому он отдал рань
Своей души? Простецкая герань
К цветам принадлежит, что ни скажите...

Над пошлостью житейскою труня,
Незлобивость и скромность сохраня,
Посильно он рассказывал о быте...

1926

75. Прутков

Как плесень на поверхности прудков,
Возник — он мог возникнуть лишь в России —
Триликий бард, в своей нелепой силе
Не знающий соперников, Прутков.

Быть может, порождение глотков
Струй виноградных, — предков не спросили, —
Гимнастика ль умов, но — кто спесивей
Витиеватого из простаков?

Он, не родясь, и умереть не может.
Бессмертное небытие тревожит:
Что, если он стране необходим?

Что, если в нежити его живучей
Она, как в зеркале, находит случай
Узреть себя со всем житьем своим?..

1927

76. Пушкин

Есть имена как солнце! Имена —
Как музыка! Как яблоня в расцвете!
Я говорю о Пушкине: поэте,
Действительном в любые времена!

Но понимает ли моя страна —
Все эти старцы, юноши и дети, —
Как затруднительно сказать в сонете
О том, кем вся душа моя полна?

Его хвалить! — пугаюсь повторений...
Могу ли запах передать сирени?
Могу ль рукою облачко поймать?

Убив его, кому все наши вздохи,
Дантес убил мысль русскую эпохи,
И это следовало бы понять...

1926

77. Пшибышевский

Свершает он, подвластный Сатане,
Строй черных месс запретным обаяньям.
Он одиночным вверился скитаньям,
Его сопровождает черный снег.

Мысль видит избавленье в смертном сне
Своим мучительным воспоминаньям,
И всей земле с ее непониманьем
Начертан им девиз надменный: "Вне".

В час чуда город мертвых аметисты
Прольет из глаз. Раскаяньем пречисты,
Для вечной сказки все сыны земли

Во имя счастья оросят слезою
Свои глаза. Но Каина стезею
Идущий не поверит им вдали...

1926

78. Тагор

За синим кружевным массивом гор,
Где омывает ноги Ганг у йога,
Где вавилонская чужда тревога
Блаженной умудренности озер,

Где благостен животворящий взор
Факиров, аскетически и строго
Ведущих жизнь — отчизна полубога
Под именем Рабиндранат Тагор.

Он — Простота, а в ней — душа вселенной.
Знай, европейских предрассудков пленный:
Твой ложен путь, проложенный в тщете.

Услады ложны. Ложны мысли. Ложны
Дела твои. Внемли, что полубожный
Твердит поэт, чье сердце — в простоте.

1927

79. Марк Твен

На Самуэле Клеменсе был грим,
Как на шуте, комического дара
Дремала в нем волнующая чара,
Но до поры он миром не был зрим.

Путь к славе расстилался перед ним,
Уже звучать готовилась фанфара:
"Ты смеха царь, так вот тебе тиара, —
Бери победоносный псевдоним!"

Я не решился бы держать пари,
Что вы не знали Финна Гекльберри,
Что не пленял вас в юности Том Сойер,

Что чуть не выливалась кровь из вен,
Кто б ни были вы — индус, швед или боэр, —
Когда вас обвораживал Марк Твен!

1925

80. Алексей К. Толстой

Языческие времена Днепра,
Обряд жрецов Перуну и Яриле,
Воспламенив, поэта покорили,
Как и Ивана Грозного пора.

Их воскрешал нажим его пера:
Являемы для взоров наших были
Высокопоэтические были,
Где бились души чище серебра...

А как природу пела эта лира!
А как смертельно жалила сатира!
Как добродушный юмор величав!

Гордясь своею родиной, Россией,
Дыша императрицею Марией,
Он пел любовь, взаимности не ждав.

1925

81. Алексей Н. Толстой

В своих привычках барин, рыболов,
Друг, семьянин, хозяин хлебосольный,
Он любит жить в Москве первопрестольной,
Вникая в речь ее колоколов.

Без голосистых чувств, без чутких слов
Своей злодольной родины раздольной,
В самом своем кощунстве богомольной,
Ни душ, ни рыб не мил ему улов...

Измученный в хождениях по мукам,
Предел обретший беженским докукам,
Не очень забираясь в облака,

Смотря на жизнь, как просто на ракиту
Бесхитростно прекрасную, Никиту
Отец не променяет на века...

1925

82. Лев Толстой

Он жил в Утопии. Меж тем в Москве
И в целом мире, склонные к причуде,
Забыв об этом, ждали, что все люди
Должны пребыть в таком же волшебстве.

И силились, с сумбуром в голове,
Под грохоты убийственных орудий,
К нему взнести умы свои и груди,
Бескрылые в толстовской синеве...

Солдат, священник, вождь, рабочий, пьяный
Скитались перед Ясною Поляной,
Измученные в блуде и во зле.

К ним выходило старческое тело,
Утешить и помочь им всем хотело
И — не могло: дух не был на земле...

Ноябрь 1925

84. Туманский

Хотя бы одному стихотворенью
Жизнь вечную сумевший дать поэт
Хранит в груди божественный секрет:
Обвеивать росистою сиренью.

Что из того, что склоны к засоренью
Своих томов мы вздором юных лет!
Сумей найти строфу, где сора нет,
Где стих зовет ползучих к воспаренью!

Восторга слезы — как весенний дождь!
Освобожденная певица рощ
Молилась за поэта не напрасно:

Молитве птичьей вняли небеса, —
Любим поэт, кто строки набросал,
Звучащие воистину прекрасно!

1926

85. Тургенев

Седой колосс, усталый, старый лев
С глазами умирающей газели,
Он гордый дух[1], над ним всю жизнь висели
Утесы бед и смерть, оскалив зев...

Как внятен женских русских душ напев
Ему в его трагичной карусели
От Франции и до страны метели,
Где тлел к нему неправый, мелкий гнев...

Его натуре хрупкой однолюба,
Кому претило все, что в жизни грубо,
Верна любовь к певунье, в чье гнездо

Он впущен был, и — горькая победа, —
Ему давала в роли Людоеда
Тургеневу! — Полина Виардо...

1925

86. Тютчев

Мечта природы, мыслящий тростник,
Влюбленный раб роскошной малярии,
В душе скрывающий миры немые,
Неясный сердцу ближнего, поник.

Вечерний день осуеверил лик,
В любви последней чувства есть такие,
Блаженно безнадежные. Россия
Постигла их. И Тютчев их постиг.

Не угасив под тлеющей фатою
Огонь поэтов, вся светясь мечтою,
И трепеща любви, и побледнев,

В молчанье зрит страна долготерпенья,
Как омывает сорные селенья
Громокипящим Гебы кубком гнев.

1926

87. Тэффи

С Иронии, презрительной звезды,
К земле слетела семенем сирени
И зацвела, фатой своих курений
Обволокнув умершие пруды.

Людские грезы, мысли и труды —
Шатучие в земном удушье тени —
Вдруг ожили в приливе дуновений
Цветов, заполонивших все сады.

О, в этом запахе инопланетном
Зачахнут в увяданье незаметном
Земная пошлость, глупость и грехи.

Сирень с Иронии, внеся расстройство
В жизнь, обнаружила благое свойство:
Отнять у жизни запах чепухи...

1925

89. Уитмен

"О, тени тень, всесильный человек,
Проспавший самого себя, я знаю:
Премудрость скрыта, равная Синаю,
В твоей златовенчанной голове.

Кто б ни был ты, привет твоей листве,
Снежинкам, ручейкам, цветам и маю,
Я человечество воспринимаю,
Бессмертье видя в бренном естестве".

Так говорит поэт страны рассудка,
Кому казалась домом проститутка,
Мертвецкой страсти и дворцом греха,

Кто видел в девке, смертью распростертой,
Громадный дом, уже при жизни мертвый,
Где тел мужских кишели вороха...

1926

[1] Выражения М. Ковалевского, А. Писемского, Гонкура. (*Примеч. И. Северянина.*)

90. Фет

Эпоха робкого дыханья... Где
Твое очарованье? Где твой шепот?
Практичность производит в легких опыт,
Чтоб вздох стал наглым, современным-де...

И вот взамен дыханья — храп везде.
Взамен стихов — косноязычный лопот.
Всех соловьев практичная Европа
Дожаривает на сковороде...

Теперь — природы праздный соглядатай —
О чем бы написал под жуткой датой
Росистым, перламутровым стихом?

В век, деловой красою безобразный,
Он был бы не у дел, помещик праздный,
Свиставший тунеядным соловьем...

1926

91. Фофанов

Большой талант дала ему судьба,
В нем совместив поэта и пророка.
Но властью виноградного порока
Царь превращен в безвольного раба.

Подслушала убогая изба
Немало тем, увянувших до срока.
Он обезвремен был по воле рока,
Его направившего в погреба.

Когда весною — в божьи именины, —
Вдыхая запахи озерной тины,
Опустошенный, влекся в Приорат,

Он, суеверно в сумерки влюбленный,
Вином и вдохновеньем распаленный,
Вливал в стихи свой скорбный виноград...

1926

92. Цветаева

Блондинка с папироскою, в зеленом,
Беспочвенных безбожников божок,
Гремит в стихах про волжский бережок,
О в персиянку Разине влюбленном.

Пред слушателем, мощью изумленным,
То барабана дробный говорок,
То друга дева, свой свершая срок,
Сопернице вручает умиленной.

То вдруг поэт, храня серьезный вид,
Таким задорным вздором удивит,
Что в даме — жар и страха дрожь — во франте...

Какие там "свершенья" ни верши,
Мертвы стоячие часы души,
Не числящиеся в ее таланте...

1926

93. Чайковский

Прослышанье потусторонних звуков.
Безумье. Боль. Неврастения. Жуть.
Он разбудил звучащую в нас суть
И, показав, исчезнул, убаюкав.

Как жив он в нас, он будет жив для внуков,
Он, чьим мотивом можно бы вздохнуть.
Его забыть ли нам когда-нибудь,
Кто в сердце оживлял так много стуков?

И позабыть ли нам порыв простой,
Как на Канавке Зимней в час пустой
Во встречу с Лизой верили упрямо?

И знали на Литейном особняк,
Где перед взорами ночных гуляк
Мелькала в окнах Пиковая Дама...

1926

94. Чехов

Не знаю, как для англичан и чехов,
Но он отнюдь для русских не смешон,
Сверкающий, как искристый крюшон,
Печальным юмором серьезный Чехов.

Провинциалки, к цели не доехав,
Прощались с грезой. Смех их притушен.
И сквозь улыбку мукою прожжен
Удел людей разнообразных цехов.

Как и тогда, как много лет назад,
Благоухает наш вишневый сад,
Где чувства стали жертвой мелких чувствец...

Как подтвержденье жизненности тем —
Тем пошлости — доставлен был меж тем
Прах Чехова в вагоне из-под устриц...

1925

95. Чириков

Вот где окно, распахнутое в сад,
Где разговоры соловьиной трелью
С детьми Господь ведет, где труд безделью
Весны зеленому предаться рад.

Весенний луч всеоправданьем злат:
Он в схимническую льется келью,
С пастушескою он дружит свирелью,
В паркетах отражается палат.

Не осудив, приять — завидный жребий!
Блажен земной, мечтающий о небе,
О души очищающем огне,

О — среди зверства жизни человечьей —
Чарующей, чудотворящей речи,
Как в вешний сад распахнутом окне!..

1926

96. Шекспир

Король, возвышенный страданьем, Лир
Обрел слова: "Нет в мире виноватых".
Всегда рассветным не пребыть в закатах
И не устать их славить строю лир.

Но оттого не лучше бренный мир,
В каких бы взору ни был явлен датах.
В его обманах изнемог проклятых
Мучительно любивший жизнь Шекспир.

Проклятого не прокляв, веря глухо
В бессмертье человеческого духа,
Чем выше возлетел, тем глубже пасть

Был обречен, мифически нездешний,
Мудрец постиг, в истоме ночи вешней,
Что душу обессмерчивает страсть.

1927

97. Шмелев

Все уходило. Сам цветущий Крым
Уже задумывался об уходе.
В ошеломляемой людьми природе
Таилась жуть. Ставало все пустым.

И море посинелым и густым
Баском ворчало о людской свободе.
И солнце в безучастном небосводе
Светило умирающим живым.

Да, над людьми, в страданьях распростертых,
Глумливое светило солнце мертвых
В бессмысленно-живом своем огне,

Как злой дракон совсем из Сологуба,
И в смехе золотом все было грубо
Затем, что в каждом смерть была окне...

1927

98. Шопен

Кто в кружева вспененные Шопена,
Благоуханные, не погружал
Своей души? Кто слаже не дрожал,
Когда кипит в отливе лунном пена?

Кто не склонял колени — и колена! —
Пред той, кто выглядит, как идеал,
Чей непостижный облик трепетал
В сетях его приманчивого плена?

То воздуха не самого ли вздох?
Из всех богов наибожайший бог —
Бог музыки — в его вселился opus,

Где все и вся почти из ничего,
Где все объемны промельки его,
Как на оси вращающийся глобус!

1926

99. Георг Эберс

Его читатель оправдать злодея,
Как император Каракалла, рад,
В Александрию из Канопских врат
Входя в лучах Селены, холодея.

Не у него ль береза ждет Орфея,
Надев свой белый праздничный наряд,
И ламия с эмпузой вдоль оград
Скользят, Гекаты мрачным царством вея?

Изнежив ароматом древних стран,
Слепя сияньем первых христиан,
Прогнав тысячелетние туманы,

Он, точно маг, из праха нас вознес
К годам, где чудо деял, как Христос,
Премудрый Аполлоний из Тианы.

1926

100. Христо Ботев

О многом мог бы рассказать Дунай:
Хотя б о том, как на пути к немецкой
Земле, австрийский пароход "Радецкий"
Был полонен одной из смелых стай.

Попробуй в простолюдине узнай
Борца за независимость, в чьей детской
Душе взметнулся пламень молодецкий:
Мечта поэта, крылья распластай!

Так из Румынии, страны напротив,
Водитель чет, отважный Христо Ботев,
Свою дружину сгрудил в Козлодуй,

И на Врачанском окружен Балкане
Турецкою ордой, на поле брани
Сражен, воззвал он к смерти: "Околдуй!"

София.
25 — XII — 1933

Поэмы

Роса оранжевого часа

Поэма детства в 3-х частях

Вступление

1

Роса оранжевого часа —
Когда восход, когда закат.
И умудренность контрабаса,
И рядом мистика баллад,
И соловьев бездумных трели,
Крылатый аромат цветов,
И сталь озер, и стиль Растрелли —
Роса оранжевых часов...

Пылающие солнца стрелы
Мне заменяют карандаш.
Зыряне, шведы и мингрелы —
Все говорят: "Ты — наш! ты — наш!"
На голове в восторге волос
Приподнимается от стрел;
И некий возвещает голос:
"Ты окончательно созрел.
Но вскоре осень: будет немо...
Пой, ничего не утая:
Ведь эта самая поэма —
Песнь лебединая твоя".

2

Отец и мать! вы оба правы
И предо мной, и пред страной:
Вы дали жизнь певцу дубравы
И лиру с праведной струной.
Я сам добавил остальные —
Шесть самодельных острых струн.
Медно-серебряно-стальные,
Они — то голубь, то бурун.

Когда беру аккорд на лире
Неверный, слышит и луна:
О солнечной душевной шири
Поет та первая струна.
Благодаря лишь ей вся песня,
Где в меди песенной литой
Порой проскальзывает "пресня",
Таит оттенок золотой.
Отец и мать! вы вечно правы!
Ваш сын виновный — правдой прав.
Клоню пред вами знамя славы,
К могилам дорогим припав.

Часть I

1

Я видел в детстве сон престранный,
Престранный видел в детстве сон...

Но раньше в Петербург туманный,
Что в Петроград преображен,
Перелетаю неустанной
Своею мыслью, с двух сторон
Начав свое повествованье:
С отца и с матери. Вниманье!
Начало *до моих* времен.

2

Родился я, как все, случайно
И без предвзятости притом...
Был на Гороховой наш дом.
Отец был рад необычайно,
Когда товарищ по полку
Затеял вдруг в командировку
Из телеграмм бомбардировку.
И, лежа на живом шелку
Травы весенней, в телеграмме
Прочел счастливый мой papá,
Что я родился, дея pas,
Pas, предусмотренные в драме,
Какую жизнью свет зовет.
Ему привет товарищ шлет
И поздравляет папу с сыном
Егорушкой. Таким скотинам,

Как этот Дэмбский, папин друг
Перековеркавший мне имя,
Я дал бы, раньше всех наук,
Урок: ошибками своими
Таланта не обездарять:
Ведь Игоря объегорять —
Не то что дурня объегорить,
Каким был этот офицер...
Ему бы, всем другим в пример,
Лицо полезно разузорить...
Отец мой, вмиг поняв ошибку
Приятеля, с киргофских гор
Прислал привет отцовский в зыбку.
Шалишь, брат: Игорь — не Егор!
"Егор! Егорий!" — так на торге
Базарном звал народ простой
Того, кто в жизни был Георгий
Победоносный и святой.

3

Отец мой, офицер саперный,
Был из владимирских мещан.
Он светлый ум имел бесспорный,
Немного в духе англичан.
Была неглупой Пелагея,
Поэта бабка по отцу:
На школу денег не жалея,
Велела дедушке-купцу
Везти детей в далекий Ревель
И поместить их в пансион,
Где дух немецкий королевил
Вплоть до республичных времен...
Отец, сестра Елисавета
И брат, мой дядя Михаил,
Все трое испытали это,
И как у них хватило сил?
В четыре года по-немецки
Отец мой правильно болтал,
А бабка по-замоскворецки
Копила детям капитал.
Окончив Инженерный замок,
Отец мой вышел в батальон,
Не признавая строгих рамок,
Каких нескопленный мильон
Леонтьевны хотел от сына, —
На то была своя причина:
Великолепнейший лингвист,
И образован, и воспитан,
Он был умен, он был начитан;
Любил, под соловьиный свист,
Немного помечтать; частенько
Бывал он в Comédie Française;
Но вместе с тем и Разин Стенька
В душе, где бродит русский бес,
Обрел себе по праву место:
И оргии, и кутежи
Ему не чужды были. Лжи
Не выносил он лишь. Невеста,
Поэта мать, была одна,
Зато — мильон одна жена...

4

А мать моя была курянка,
Из рода древнего дворянка,
Причем до двадцати двух лет
Не знала вовсе в кухню след.
Дочь предводителя дворянства
Всех мерила на свой аршин;
Естественно, что донжуанство
Супруга — чувство до вершин
Взнести успешно не смогло бы.
Степан Сергеевич Шеншин,
Ее отец, не ведал злобы,
Был безобидный человек.
В то время люди без аптек,
Совсем почти без медицины
На свете жили. Десятины
Прекрасной пахотной земли
Давали все, что дать могли.
Борисовка, затем Гремячка
И старый Патепник — вот три
Именья дедушки. Смотри,
Какая жизнь была! Собачка,
Последняя из барских сук,
Жила, я думаю, богаче,
Не говоря уже о кляче,
Чем я, поэт, дворянский внук...
Они скончались все, но тихи ль
При думе обо мне их сны —
Всех Переверзевых, Клейнмихель,
Виновников моей весны,
Лишенной денег и комфорта?
И не достойны ли аборта
Они из памяти моей?
Все вы, Нелидовы и Дуки,
Лишь призраки истлевших дней,
Для слуха лишь пустые звуки...
Склоняясь ныне над сумой,
Таю, наперекор стихии,
Смешную мысль, что предок мой
Был император Византии!..
Но мне не легче оттого,
А даже во сто крат труднее:
Я не имею ничего,
Хотя иметь как будто смею ...
И если бы я был осел,
Четвероногая скотина,
Я стал бы греческий престол
Оспаривать у Константина!..
Но, к счастью, хоть не из людей,
Я все же человек и, значит,
Как бедность жизнь мне ни собачит,

Имею крылышки идей,
Летя на них к иному трону.
Ах, что пред ним престол царьков?
Мне Пушкин дал свою корону:
Я — тоже царь, но царь стихов!

5

Из жизни мамы эпизоды,
Какие, по ее словам,
Запомнил, расскажу я вам:
Среди помещиков уроды
Встречались часто. Например,
Один из них, граф де Бальмер,
Великовозрастный детина,
Типичный маменькин сынок,
Не смел без спроса рвать жасмина
И бутерброда съесть не мог;
Не смел взглянуть на ротик Лизин,
Когда был привозим на бал.
Таких детей воспел Фонвизин
И недорослями назвал.
Другой потешный тип — Фонтани:
Тот, ростом просто лилипут,
Любил вареники в сметане
И мог их скушать целый пуд.
Он был обжорою заправским,
Чем славился на весь уезд,
Шатаясь по приемным графским,
Выискивая в них невест.
Был и такой еще помещик,
Который, взяв с собою вещи
И слуг, в чужой врывался дом,
Производя в сенях содом;
И, окружен детьми чужими,
Взирая на чужих детей,
Считая их семьей своей,
Кричал рассеянно: "Что с ними
Я буду делать? Чем, о, чем
Я накормлю их? ах, зачем
Такое у меня семейство?"
А вот пример "эпикурейства":
Вблизи Щигров жил-был один
Мелкопоместный дворянин,
Который так свалился низко
(Причин особых не ищи!),
Что чуть ли не без ложки щи
Лакал из миски ... Эта миска —
Его единственный сосуд.
Когда же предводитель, суд
Над ним чиня, его поставил
В условья лучшие, сей Павел
Иваныч Никудышный взял
И долго жить всем приказал, —
Что называется, не вынес:
Людская жизнь не по нутру
Пришлась ему, и поутру
Он умер, так и не "очинясь
В чин человека"... Как-то раз
Вкатил в Гремячку тарантас:
Пожаловала в нем Букашка,
Одна помещица из Горст,
А вслед за ней ее Палашка
Неслась галопом двадцать верст!
Шел пар от лошадей и девки...
Еще бы! Как не шел бы пар!
Какие страшные издевки!
Какая жуть! Какой кошмар!
Одна соседка — белоручка
Весьма типичною была;
Любовь помещица звала:
"Сердечновая закорючка".
Никто, пожалуй, не поверит,
Но вот была одна из дев,
Что говорила нараспев:
"Ах, херес папочка мадерит,
Но к вечеру он примет Вас,
Когда перемадерит херес..." —
Какая чушь, какая ересь!
Неисчерпаемый запас
Дворянской жизни анекдотов!
Но чем же лучше готтентотов
Голубокровь и белокость?
Вбиваю я последний гвоздь,
Гвоздь своего пренебреженья,
В анекдотический сундук,
Где в кучу все без уваженья
Мной свалены, будь то сам Дук,
Будь то последняя букашка...
О, этот смех звучит так тяжко!..

6

За генерала-лейтенанта
Мать вышла замуж. Вдвое муж
Ее был старше, и без Канта
Был разум чист его к тому ж ...
Он был похож на государя,
Освободителя-царя,
И прожил жизнь свою не зря:
Мозгами по глупцам ударя,
Он вскоре занял видный пост,
Соорудя Адмиралтейство,
И выстроив Дворцовый мост,
Он обошелся без злодейства.
Имел двух братьев; был один
Сенатором; другой же гласным.
Муж браком с мамой жил согласным
И вскоре дожил до седин,
Когда в могилу свел его
Нарыв желудка — в Рождество.
Он был вдовец и похоронен
В фамильном склепе близ жены, —
Все Домонтовичи должны
В земле быть вместе: узаконен

Обычай дряхлой старины.
Ему был предком гетман Довмонт,
Из старых польских воевод.
Он под Черниговом в сто комнат
Имел дворец над лоном вод.
Гостеприимство генерала,
Любившего картежный хмель,
Еженедельно собирало
На винт четыре адмирала:
Фон Берентс, Кроун, Дюгамэль
И Пузино. Морские волки,
За картами и за вином,
Рассказывали о своем
Скитании по свету. Толки
Об их скитаньях до меня
Дошли, и жизнь воды, маня
Собой, навек меня прельстила.
Моя фантазия гостила
С тех пор нередко на морях,
И, может быть, они — предтечи
Моей любви к воде. Далече
Те дни. На мертвых якорях
Лежат четыре адмирала,
Но мысль о них не умирала
В моем мозгу десятки лет,
И вот теперь, когда их нет,
Я, вовсе их не знавший лично,
С отрадой вспоминаю их,
И как-то вдохновенно-кличио
О них мой повествует стих.
В те дни цветны фамилий флаги,
Наш дом знакомых полон стай:
И математик Верещагин,
И Мравина, и Коллонтай, —
В то время Шура Домонтович, —
И черноусыч, чернобровыч
Жених кузины, офицер;
И сын Карамзина, и Салов —
Мой крестный, матери beau-frère. —
И Гассман, верный из вассалов,
И он, воспетый де Бальмэр;
И, памяти недоброй, Штюрмер,
Искавший маминой руки
В дни юности. Сановник умер.
И все той эры старики.

7

От брака мамы с генералом
Осталась у меня сестра.
О, детских лет ее пора
Была прекрасной: бал за балом
Мелькал пред взорами ее!
Но, впрочем, детство и мое,
Не омраченное нуждою
(Ее познал потом поэт),
По-своему прекрасно. Зою,
Что старше на двенадцать лет,
Всегда я вспоминаю нежно.
Как жизнь ее прошла элежно!
Ее на свете больше нет,
О чем я искренне жалею:
Она ведь лучшею моею
Всегда подругою была.
Стройна, красива и бела,
Восторженна и поэтична,
Она любила мир античный;
Все воскрыления орла
Сестрой восприняты отлично.
Как жаль, что Зоя умерла!

8

Мать с ней жила в Майоренгофе, —
Ах, всякий знает рижский штранд! —
Когда с ней встретился за кофе
У Горна юный адъютант.
Он оказался Лотарёвым,
Впоследствии моим отцом;
Он мать увлек весенним зовом,
И все закончилось венцом.
Напрасно полицмейстер Гротхус,
Ухаживая, на коне
К ней на веранду, при луне, —
Как говорят эстонцы: "kotkas", —
Орлом, бравируя, въезжал;
Барон, красавец златокудрый,
Напрасно от любви дрожал
И не жалел любовных жал:
Его затмил поручик мудрый.

9

...Я в детстве видел сон престранный:
Темнел провалом зал пустой,
И я в одежде златотканой
Читал на кафедре простой,
На черной бархатной подушке
В громадных блестках золотых...
Аплодисменты, точно пушки,
В потемках хлопали пустых...
И получалось впечатленье,
Что этот весь безлюдный зал
Меня приветствовал за чтенье
И неумолчно вызывал...
Я уклоняюсь от трактовки
Мной в детстве виденного сна...
Той необычной обстановки
Мне каждая деталь ясна...
Я слышу до сих пор тот взрывный
Ничьих аплодисментов гул...
Я помню свой экстаз порывный, —
И вот о сне упомянул...

10

Мне было пять, когда в гостиной
С Аделаидой Константинной,
Которой было тридцать пять,
Я, встретясь в первый раз, влюбился;
Боясь об этом дать понять
Кому-нибудь, я облачился
В гусарский — собственный! — мундир,
Привесил саблю и явился
Пред ней, как некий командир
Сердец изысканного пола...
С нее ведет начало школа
Моих бесчисленных побед
И ровно столько женских бед...
Я подошел к ней, шаркнул ножкой
И, шпорам дав шикарный звяк,
Кокетничая так и сяк,
Соперничая втайне с кошкой,
Что на коленях у нее
Мурлыкала... Увы, пропало
Старанье нравиться мое:
Она меня не замечала.
Запомните одно, Адэль:
Теперь переменились роли,
И дни, когда меня пороли,
За миллионами недель.
Теперь у всех я на виду,
И в том числе у Вас, понятно;
Но я к Вам больше не иду:
Ведь Вам столетье, вероятно!..

11

Я, к счастью, вскоре позабыл
Любви отвергнутой фиаско:
Я тройку папочных кобыл
В подарок получил и каску
Кавалергардскую, взамен
Гусарский меховой с султаном...
Мне захотелось перемен, —
Другим загрезился я станом:
Брюнетки, старшей на пять лет
Меня, Селиновой Варюши;
В нее влюбился я "по уши",
И блеск гвардейских эполет,
Носимых мною, ей по вкусу
Пришелся. Вскоре сделал я
Ей предложенье, не тая
Любви, и подарил ей... бусу
Стеклянную на память! Дар
Предсвадебный невесту тронул.
Вот как влюбился экс-гусар,
Имевший склонность к аристону,
Чью ручку он вертел все дни,
На нем "Ильбаччио" играя,
И гимн "Господь, царя храни!"
Ему казался гимном рая...

12

Совать мне пробовали бонн,
Француженок и англичанок,
Но с ними я такой брал тон,
Предпочитая взвизги санок
Научным взвизгам этих дев,
Что бонны сыпались картечью
Со всей своей картавой речью,
Ладони к небесам воздев...
И только Клавдия Романна,
Mademoiselle моей сестры,
Одна могла, как то ни странно,
В разгаре шуток и игры,
Меня учить, сбирая в стаю
Рои разрозненные дум,
По сборнику: "И я читаю", —
И зачитал я наобум...

13

Мой путь любовью осюрпризен,
И удивительного нет,
Что я влюблен в Марусю Дризэн,
Когда мне только девять лет.
Ей ровно столько же. На дачах
Мы с нею жили vis-á-vis;
И как нас бонна ни зови,
Мы с ней погружены в задачах...
Не арифметики, — любви!
Ее папаша был уланский
Полковник, с виду Антиной,
Германец, так сказать, курляндский,
Что вечно влагою цимлянской
Гасил кишок гвардейский зной...
Упомянуть я должен вкратце
О Сандро, шаловливом братце
Моей остзейской Лорелей,
Про скандинавских королей
И викингов любившей саги
Из уст двух дядь и на бумаге,
Где моря влажь милей, чем твердь;
О толстой гувернантке-немке
И о француженке, как жердь;
Но как ты ни жестокосердь
Моей безоблачной поэмки
Ее фигуркою, madame
Я уваженье лишь воздам...

14

В саду игрушечный домишко
Нам заменял Chateau d'amour,
Где тонконогая Амишка
Нас сторожила, как лемур...
У нас была своя посуда,
Свои любимые цветы
И от людского пересуда

В душе таимые мечты.
Ей шло батистовое платье,
Белей вишневых лепестков,
И, если стану вспоминать я
Ту крошку, фею мотыльков,
Не меньше тысячи стихов
Понадобится мне, пожалуй,
Меж тем как сжатость — мой девиз;
И вот прошу транзитных виз
В посольстве Памяти усталой:
Ведь крошка — только эпизод,
А пункт конечный назначенья —
Все детское без исключенья;
И как для зуба креозот,
Страшны художнику длинноты...
Итак, беру иные ноты,
Что называется, пальнув
В читателя старушьей сплетней;
Все это оказалось пуф
Впоследствии, но нашей летней
Любви был нанесен урон;
Как в настоящей камарильи,
Старушки в кухне говорили,
Что я, как некий Оберон,
В Титанию влюбленный, Варю
Селинову на дачу жду.
Я не могу понять нужду, —
Затем что сам я не кухарю, —
Заставившую рты стряпух
Пустить такой нелепый слух.
Тот слух растягивал их харю
В ухмылку пошлую. Они
Уже высчитывали дни
Приезда маленькой смуглянки
И, в жарком споре, били склянки,
Тарелки, миски и графин.
Строй Аграфен из Агриппин
Судил о детских впечатленьях
С недетской точки зренья; их —
Испорченных, развратных, злых —
Отбросим в грязных их сомненьях
И скажем, что одна из фраз
О Варе долетела раз
До слуха хрупкого Маруси...

15

Закат оранжевый, орусив
Слегка пшеничность мягких кос,
Вложил в ее уста вопрос:
"Я слышала, ты ждешь Варюшу
Какую-то... Но кто ж она?
Она в тебя не влюблена?
О, не смущайся: не нарушу
Я вашей дружбы..." А в глазах
Блеснули слезы, и в слезах
Она обиженную душу
Оплакивала, не шутя,
Маруся это monstre — дитя...
Я ей признался, что до встречи
С ней, может быть, когда-нибудь
И пробовал я обмануть
Себя иллюзией, но путь
Мой твердым стал при ней, что речи
Былые, детские, не в счет,
Что я теперь совсем не тот,
Что я серьезнее и старше,
Что взрослый я уже почти,
Что "ты внимательно прочти
Страницы сердца: в них не марши
Парадные, а траур месс",
Что я без шалостей и без
Каких бы ни было там шуток
Ее люблю, что мрачно-жуток
Мой умудренный жизнью взор;
Я указал на кругозор
Ей мой, на важные заданья,
На взлет идей и, в назиданье,
По предположенным усам
Крутя рукой, "белугой" сам
Расплакался перед малюткой...
И розовою незабудкой
Лицо Маруси расцвело, —
Она нашла успокоенье
В моих словах: спустя мгновенье
Безоблачным ее чело
И ласковым, как прежде, стало.
Чего бы нам недоставало,
Имевшим все: полки солдат,
Корабль и кукол гардеробы,
Любви веселые микробы,
Куртин стозвонный аромат
И даже свой Chateau d'amour —
Объект стремлений наших кур?!

16

Мелькали девять лет, как строфы
В романе, наших дач ряды —
Все эти Стрельны, Петергофы,
Их павильоны и пруды.
Мы жили в Гунгербурге, в Стрельне,
Езжали в Царское Село.
Нет для меня тоски смертельней,
Чем это дачное тягло!..
Но то теперь. А раньше? Раньше,
Не зная духа деревень,
Я уподобен капитанше,
Считавшей резедой... ревень!
Вернувшись с дачи в эту осень,
Забыв роскошное шато
И парка векового лосень,
Я стал совсем ни сё, ни то:
Избаловался, разленился,

Отбился попросту от рук...
Вот в это время появился
Ильюша, будущий супруг
Моей сестры. Я на моменте
Предсвадебном остановлюсь
И несколько назад вернусь...

17

Отец ушел в запас. В Ташкенте,
Где закупал он в город Лодзь
Мануфактуре ткацкой хлопок,
Он пробыл года два. От "стопок"
Приятельских (ах, их пришлось
Ему немало!), от кроваток
На мокрой зелени палаток,
От путешествия в Париж,
Что обошлось почти в именье,
От всех Джульетт, от всех Мариш
Почувствовал он утомленье
И боли острые в груди:
Его чахотка впереди
Ждала. Итак, пока мы скосим
Два года до венца сестры
И обозначим в тридцать восемь
Отцовский возраст той поры.
Случайно, где-то в Самарканде,
На санаторийной веранде,
Он познакомился с Ильей,
Штабс-капитаном гарнизона,
И эта важная персона
Впоследствии моей сестрой
Изволила увлечься, в гости
Отец к нам приезжал зимой
С Ильею вместе. Мрачной злости
С невинных глаз не разобрав
В Илье, в него влюбилась Зоя.
Он показал покорный нрав.
Но, говоря меж нами, — соя
Преострая был этот муж,
И для таких тончайших душ,
Как Зоина, изрядно вреден.
Он внешне интересно бледен,
Довольно робок, в меру беден,
Имел пушистые усы,
Имел глаза темней агата.
Так иногда, ласкаясь, псы
Сгибают спины виновато...

18

Итак, Илья — уже жених.
Немало мог я рассказать бы
О яркой пышности их свадьбы,
Но надо экономить стих,
И трудно говорить о них
Подряд: весь, вспоминая Зою,
Благоговею я душой,
А муж ее — он мне чужой,
Антипатичный. Я не скрою,
Что он нам сделал много зла:
Мне и моей пассивной маме.
Я расскажу теперь о драме,
Которая произошла,
Увы, не без его участья...
У мамочки он отнял счастье
Со мною быть: его совет
Отцу, приехавшему к свадьбе,
Решил мою судьбу. И свет
В новопостроенной усадьбе,
Куда отец меня увез,
Моим очам явился в свете
Совсем ином. О, сколько слез
Мои глаза познали — эти,
Которыми теперь смотрю
На белолистые страницы,
Их бисеря пером! Мне мнится
Сестры венчанье. К алтарю
Введения во храм, в атласе,
Под белым газом, по ковру
Идущая сестра. Беру
Тот миг, когда в иконостасе
Коричневая темень глаз
В лучах лампад глядит на нас.
Я — мальчик с образом. В костюме
Матросском белом шерстяном.
Мои глаза в печальной думе
Все об одном, все об одном:
Как долго проживет родная?
Душа мне говорит: "Проси
У Бога милости: одна я..."
О, Боже, мамочку спаси!..
...А тут и этот бездыханный
Зал, и ладоней гулкий стон...

Я видел в детстве сон престранный...
Престранный сон... Престранный сон...

Часть II

1

Завод картонный тети Лизы
На Андоге, в глухих лесах,
Таил волшебные сюрпризы
Для горожан, и в голосах
Увиденного мной впервые
Большого леса был призыв
К природе. Сердцем ощутив
Ее, запел я; яровые
Я вскоре стал от озимых
Умело различать; хромых
Собак жалеть, часы на псарне
С борзыми дружно проводя,

По берегам реки бродя,
И все светлей, все лучезарней
Вселенная казалась мне.
Бывал я часто на гумне,
Шалил среди веселой дворни
И через месяц не был чужд
Ее, таких насущных, нужд.
И понял я, что нет позорней
Судьбы бесправного раба,
И втайне ждал, когда труба
Непогрешимого Протеста
Виновных позовет на суд,
Когда не будет в жизни места
Для тех, кто кровь рабов сосут...
Пока же, в чаяньи свободы,
В природу я вперял свой взгляд,
Смотрел на девьи хороводы,
Кормил доверчивых цыплят.
Где вы теперь, все плимутроки,
Вы, орпингтоны, фавероль?
Вы дали мне свои уроки,
Свою сыграли в жизни роль.
И уж, конечно, дали знаний
Не меньше, чем учителя,
Глаза в лесу бродивших ланей
И реканье коростеля...
Уставши созерцать старушню,
Без ощущений, без идей,
Я часто уходил в конюшню,
Взяв сахара для лошадей.
Меня встречали ржаньем морды:
Касатка, Горка и Облом
Со мною были меньше горды,
Чем ты, манерный теткин дом...

2

Сближала берега плотина.
На правом берегу реки
Темнела фабрики махина,
И воздух резали свистки
А дом и все жилые стройки
На левой были стороне,
Где повара и судомойки
По вечерам о старине,
Сойдясь, любили погуторить.
Попеть, потанцевать, поспорить
И прогуляться при луне.
Любил забраться я в каретник,
Где гнил заброшенный дормез.
Со мною Гришка — однолетник,
Шалун, повеса из повес,
Сын рыжей скотницы Евгеньи;
И там, средь бричек, тюльбэри,
Мы, стибрив в кладовой варенье,
В пампасы — черт нас побери! —
Катались с ним, на месте стоя...
Что нам Америка! пустое!
Нас безлошадий экипаж
Вез через горы, через влажь
Морскую. Детство золотое!
О детство! если бы не грусть
По матери, чьи наизусть
Почти выучивал я письма,
Я был бы счастлив, как Адам
До яблока... Теперь я дам
Гришутке, — как ни торопись мы
Из Аргентины в нашу глушь,
К обеду не поспеем! — куш:
На пряники и мед полтинник,
А сам — к балкону, дай Бог прыть,
Не слушая, что говорить
Вослед мне будет дрозд-рябинник...

3

А в это время шла на Суде
Постройка фабрики другой,
Где целый день трудились люди,
Согбенные от нош дугой.
Завод свой тетка продавала:
Он был турбинный и доход
Не приносил не первый год;
И, опасаясь до провала
Все дело вскоре довести,
И после планов десяти,
Она решила паровую
Построить фабрику верстах
В семи от прежней, на паях
С отцом, и, славу мировую.
Пророча предприятью, в лес
Присудский взоры обратила.
Так, внемля ей, отец мой влез
В невыгодную сделку. Мило
Начало было, но, спустя
Четыре года, все распалось,
И тетушка одна осталась,
Об этом, впрочем, не грустя;
В том удивительного мало:
Отец мой был не коммерсант,
В наживе слабо понимала
И тетушка: ведь прейскурант
Сортов картона — не Жорж Санд!..
На новь! Прощай, завод турбинный,
И дюферброров провода,
И в час закатный, в час рубинный,
Ты, тихой Андоги вода!

4

От мглы людского пересуда
Приди, со мной повечеряй,
В таежный край, где льется Суда...
Но стой, ты знаешь ли тот край?
Ты, выросший в среде уродской,
В такой типично городской,

Не хочешь ли в край новгородский
Прийти со всей своей тоской?
Вообрази, воображенья
Лишенный, грез моих стези,
Восторженного выраженья
Причины ты вообрази.
Представь себе, представить даже
Ты не умеющий, в борьбе
Житейской мозгу взяв бандажи
Наркотиков, представь себе
Леса дремучие верст на сто,
Снега с корою синей наста,
Прибрежных скатов крутизну
И эту раннюю весну,
Снегурку нашу голубую,
Такую хрупкую, больную,
Всю — целомудрие, всю — грусть...
Пусть я собой не буду, пусть
Я окажусь совсем бездарью,
Коль в строфах не осветозарю
И пламенно не воспою
Весну полярную свою!

5

Лед на реке, себя вздымая,
Треща, дрожа и трепеща,
Лишь ждет сигнального праща:
Идти к морям навстречу мая.
Лед изселено-посинел,
Разокнился весь полыньями...
Вот трахнул гром во льду! Конями
Помчались льдины, снежность тел
Своих ледяных тесно сгрудив,
Друг друга на пути дробя,
Свои бока обызумрудив
В лучах светила и себя
В весеннем солнце растопляя...
И вот пошла река, гуляя
Своей разливною гульбой!
Ты потрясен, Господь с тобой?
Ты не находишь от восторга
Слов, в междометья счастья влив?
О, житель городского торга,
Радиостанции и морга,
Ты видел ли реки разлив,
Когда мореют, водянеют
Все нивы, пажити, луга
И воды льдяно пламенеют,
Свои теряя берега?
В них отраженные синеют
Стволы деревьев, а стога,
Телеги, сани и поленья,
Среди стволов плывут в оленьи
Трущобы, в дебри; и, рога
Прижав к спине, в испуге, лоси
Бегут, спасаясь от воды,
Передыхая на откосе
Мгновенье: тщетные труды!
Вода настигнет все и смоет
Оленей, зайцев и лисиц,
И тем, кого гора не скроет,
Пред нею пасть придется ниц...

6

С утра до вечера кошовник
По Суде гонится в Шексну.
Цвет лиц алее, чем шиповник,
У девок, славящих весну
Своими песнями лесными,
Не дремлющих у потесей,
И Божье раздается имя
Над Судой быстроводной всей.
За ними "тихвинки" и баржи
Спешат стремглав вперегонки,
И мужички — живые шаржи —
За поворотами реки,
Извилистой и прихотливой,
Следят, все время начеку,
За скачкой бешено-гульливой
Реки, тревожную тоску
В них пробуждающей. На гонку
С расплыва налетит баржа,
Утопит на ходу девчонку,
Девчонкою не дорожа...
И вновь, толпой людей рулима,
Несется по теченью вниз,
Незримой силою хранима,
Возить товары на Тавриз
По Волге через бурный Каспий,
Сама в Олонецкой родясь...
Чем мужичок наш не был распят!
Острог, сивуха, рабство, грязь,
Невежество, труд непосильный —
Чего не испытал мужик...
Но он восстал из тьмы могильной,
Стоический, любвеобильный, —
Он исторически велик!

7

Теперь, покончив с ледоходом,
Со сплавом леса и судов,
Построенных для городов
Приволжских, голод "бутербродом
Без масла" скромно утоля,
Я перейду к весне священной,
Крыля душою вдохновенной
К вам, пробужденные поля.

Дочь Ветра и Зимы, Снегурка, —
Голубожильчатый Ледок, —
Присела, кутаясь в платок...
Как солнечных лучей мазурка
Для слуха хрупкого резка!

У белоствольного леска
Березок, сидя на елани,
Она глядит глазами лани,
Как мчится грохотно река.
Пред нею вьются завитушки
Еще недавно полых вод.
Снегурка, сидя на горушке
С фиалками, как на подушке
Лилово-шелковой, поет.
Она поет, и еле слышно
Хрусталит трели голосок.
Ей грустно внемлет беловишня,
Цветы роняя на песок.
И белорозые горбуньи,
Невесты-яблони, чей смят
Печалью лик, внемля певунье,
Льют сидровый свой аромат.
Весна поет так ниочемно,
И в ниочемности ее
Таится нечто, что огромно,
Как все земное бытие.
Весна поет. Лишь алый кашель
Порой врывается к ней в песнь.
Ее напев сердца онашил.
Ах, нашею он сделал веснь!
Алмаз в глазах Весны блистает:
Осолнеченная слеза...
Весна поет и в песне тает...[1]
И вскоре в воздухе глаза
Одни Снегурочкины только
Сияют, ширятся, растут;
И столько нежности в них, столько
Предчувствия твоих минут,
Предсмертье, столько странной страсти,
Неразделенной и больной,
Что разрывается на части
Душа весной перед Весной!..
И чем полней вокруг расцвета
И жизни сила, чем слышней
Шаги спешащего к нам лета,
В горячей роскоши своей,
Тем шире грусть в очах весеньих,
И вскоре поднебесье сплошь
Объято ими: жизни ложь
В весенних кроется мгновеньях:
— Живой! подумай: ты умрешь!..

8

Череповец, уездный город,
Над Ягоброй расположён.
И в нем, среди косматых бород,
Среди его лохматых жен,
Я прожил три зимы, в Реальном,
Всегда считавшемся опальным
За убиение царя
Воспитанником заведенья,
Учась всему и ничему.
(Прошу покорно снисхожденья!..)
Люблю на севере зиму,
Но осень, и весну, и лето
Люблю не меньше. О поре
О каждой много песен спето.
Приехав в город в сентябре,
Заделался я квартирантом
Учителя, и потекли, —
Как розово их ни стекли! —
Дни серенькие. Лаборантам,
Чиновникам и арестантам
Они знакомы, и про них
Особо нечего сказать мне.
По праздникам ходили к Фатьме,
К гадалке (гривенник всего
Она брала, и оттого
Был сказ ее так примитивен...
Ах, отчего не дал семь гривен
Я ей тогда, и на сто лет
Вперед открыла бы гадалка
Число мной съеденных котлет!..).
Еще нас развлекала галка,
Что прыгала среди сорок
По улице, и поросенок,
На солнце гревшийся, спросонок,
Как новоявленный пророк,
Перед театром лежа, хрюкал;
Затем я помню, вроде кукол,
Туземных барышень; затем,
Просыпливая горсти тем,
Сажусь не в городские санки,
А в наш каретковый возок,
И, сделав ручкой черепанке,
Перекрестясь на образок,
Лечу на сумасшедшей тройке
Лесами хвойными, гуськом,
К заводской молодой постройке,
С Алешей, сверстником-князьком!

9

Уже проехали Нелазу,
За нею Шулому, и вот,
Поворотив направо сразу,
Тимошка к дому подает
Не порожнем, а с седоками...
В сенях встречают нас гурьбой,
С протянутыми к нам руками,
Снимая шубы, девки-бой.
Мы не озябли: греет славно
Тела сибирская доха!
Нам любопытно и забавно
Шнырять по комнатам. Уха

[1] М. Лермонтов: "Она поет, и звуки тают...". — *Примеч. Северянина.*

С лимоном, жирная, стерляжья,
Пропомидорена остро.
И шейка Санечки лебяжья
Ко мне сгибается хитро.
И прыгает во взорах чертик,
Когда несет она к столу
Угря, лежащего как кортик,
Сотэ, ризото, пастилу!

10

Был повар старший из яхт-клуба,
Из английского был второй.
Они кормили так порой,
Что можно было скушать губы...
Паштет из кур и пряженицы;
И рябчики с душком, с начинкой,
Икрой прослоенной, пластинкой
Филе делящей; варенцы;
Сморчки под яйцами крутыми;
Каштаненные индюки;
Орех под сливками густыми —
Шедевры мяса и муки!..
Когда, бывало, к нам на Суду
In corpore съезжался суд,
В пустую не смотрел посуду:
Все гости пальцы обсосут,
Смакуя кушанья, бывало,
И, уедаясь до отвала,
С почтеньем смотрят на сосуд,
В котором паровую стерлядь
К столу торжественно несут...
Но и мортира ведь ожерлить
Не может большего ядра,
Чем то, каким она бодра...
Так и желудок — как мортира —
Имеет норму для себя...
Сопя носами и трубя,
Судейцы, — с лицами сатира,
Верблюда, кошки и козла, —
Боясь обеденного зла,
Ползут по комнатам на отдых,
Валясь в истоме на кровать,
И начинают горевать
О мене сытных, боле бодрых
Обедах в городе своем,
Которых мы не воспоем...

11

Но как же проводил я время
В присудской Сойволе своей?
Ах, вкладывал я ногу в стремя,
Среди оснеженных полей
Катаясь на гнедом Спирютке;
Порой, на паре быстрых лыж,
Под девий хохоток и шутки, —
Поди поймай меня! шалишь! —
Носился вихрем вдоль околиц;
А то скользил на лед реки;
Проезжей тройки колоколец
Звучал вдали. На огоньки
Шел утомленный богомолец,
И вечеряли старики,
Ходил на фабрику, в контору,
И друг мой, старый кочегар,
Любил мне говорить про пору,
Когда еще он не был стар.
Среди замусленных рабочих
Имел я множество друзей,
Цигарку покурить охочих,
Хозяйских подразнить гусей,
Со мною взросло покалякать
О недостатках и нужде,
Бесслезно кой о чем поплакать
И посмеяться кое-где...

12

Наш дом громадный, двухэтажный, —
О, грусть, глаза мне окропи! —
Был, разбревенчатым, с Колпи
На Суду переплавлен. Важный
И комфортабельный был дом...
О нем, окрест его, легенды
Передавались, но потом,
Во времена его аренды
Одной помещицей, часть их
Перезабылась, часть другую
Теперь, когда страх в сердце стих,
Я вам, пожалуй, отолкую:

В том доме жили семь сестер.
Они детей своих внебрачных
Бросали на дворе в костер,
А кости в боровах чердачных
Муравили. По смерти их
Помещик с молодой женою
Там зажил. Призраков ночных
Вопль не давал чете покою:
Рыдали сонмы детских душ,
Супругов вопли те терзали, —
Зарезался в безумьи муж
В белоколонном верхнем зале;
Жена повесилась. Сосед
Помещика, один крестьянин,
Рассказывал жене Татьяне:
"По вечерам, лишь лунный свет,
Любви и нечисти рассадник,
Дом озаряет, на крыльцо
Брильянтовый въезжает всадник.
Лунеет мертвое лицо..."

13

И в этом-то трагичном доме,
Где пустовал второй этаж,
Я, призраков невольный страж,
Один жил наверху, где, кроме
Товарищей, что иногда
Со мной в деревню наезжали,
Бездушье полное. Визжали
Во мне все нервы, и, стыда
Не испытав пред чувством страха,
Я взрослых умолял: внизу
Меня оставить, но, грозу
Встречая, шел наверх, где плаха
Ночного ужаса ждала
Ребенка: тени из угла
Шарахались, и рукомойник,
Заброшенный на чердаке,
Педалил, каплил: то покойник,
Смывая пятна на руке
Кровавые, стонал... В подушку
Я зарывался с головой,
Боясь со столика взять кружку
С животворящею водой.
О, если б не тоска по маме
И не ночей проклятых жуть,
Я мог бы, согласитесь сами,
С восторгом детство вспомянуть!
Но этот ужас беспрестанный,
Кошмар, наряженный в виссон...
Я видел в детстве сон престранный...
Не правда ли, престранный сон?

14

Так я лежу в своей кроватке,
Дрожа от ног до головы.
Прекрасны днями наши святки,
А по ночам — одно "увы".
Людской натуры странно свойство:
Я все ночное беспокойство,
При первых солнечных лучах,
Позабываю. Весь мой страх
Ночной мне кажется нелепым,
И я, бездумно радый дню,
Над дико страшным ночью склепом
Посмеиваюсь и труню.
Взяв верного вассала — Гришку,
Мы превращаемся в "чертей"
И отправляемся вприпрыжку
Пугать и взрослых, и детей.
Нам попадаются, по группам,
Другие ряженые, нас
Пугая в свой черед как раз.
И знаете ли, в этом глупом
Обычае — немало крас!
Луна. Мороз. И силы вражьи —
В интерпретации людской.
Рога чертей и рожи яжьи,
Смешок и гутор воровской...
Хвостом виляя, скачет княжич —
Детей заводских будоражич, —
Трубя в охотничий рожок,
И залепляет свой снежок
В затылок Гришке-"дьяволенку",
Преследующему девчонку,
Кричащему, как истый бес,
Враг и науки, и небес...

15

Без нежных женственных касаний
Душа — как бессвятынный храм:
О горничной, блондинке Сане,
Мечтаю я по вечерам.
Когда волнующей походкой
Идет мне стлать постель она,
Мне мнится: в комнату весна
Врывается, и с грустью кроткой
Я, на кушетке у окна
Майн-ридовскую "Квартеронку"
Читавший, закрываю том,
С ней говоря о сем, о том,
Смотря на спелую коронку
Ее прически под чепцом
"Белее снега". И, лицом
Играя робко, но кокетно,
Она узор любви канвит,
Смеется взрывчато-ракетно,
Приняв задорно-скромный вид.
Теперь, спустя лет двадцать, в сане
Высоком, знав любовь княгинь,
Я отвожу прислуге Сане,
Среди моих былых богинь,
Почетное, по праву, место,
И здесь, в стране приморской эста,
Благодаря, быть может, ей,
Согревшей нежной лаской женской
Дни отрочества, все больней
Мечтаю о душе вселенской
Великой родины своей!

16

Давали право мне по веснам
Увидеть в Петербурге мать,
И я, послав привет свой соснам,
Стараясь пароход поймать
Ближайший, несся, через Рыбинск,
Туда, в столицу на Неве.
Был детский лик мой обулыбен,
Скорбящий вечно о вдове
Замужней, все отдавшей мужу —
И положенье, и любовь...
Но, впрочем, кажется, я ужу
Чего не следует... Голгофь

Себя, Голгофе обреченный!
Неси свой крест, свершай свой труд!
Есть суд высоко вознесенный,
Где всё рассудят, разберут...

17

Пробыв у мамы три недели,
Я возвращался, — слух наструнь! —
На Суду, где уже Июнь
Лежал на шелковой постели
Полей зеленых, и, закрыв
Глаза, в истоме, на обрыв
Речной смотря, стонал о неге,
И, чувственную резеду
Вдыхая, звал, в полубреду,
Свою неясную. Побеги
Травинок, ставшие травой,
Напомнили мне возраст мой:
Так отроком ставал ребенок.
И солнце, чей лучисто-звонок
И ослепителен был лик,
Смеялось слишком откровенно
И поощрительно: воздвиг
Кузине Лиле вдохновенно,
Лучей его заслышав клик,
В душе, окрепшей, возмужалой,
Любовь двенадцатой весны, —
И эта-то любовь, пожалуй,
Мои оправдывала сны.
— Я видел в детстве сон престранный —
Своей ненужной глубиной,
Своею юнью осиянной
И первой страстностью больной...

18

Жемчужина утонков стиля,
В теплице взрóщенный цветок,
Тебе, о лильчатая Лиля,
Восторга пламенный поток!
Твои каштановые кудри,
Твои уста, твой гибкий торс —
Напоминают мне о Лувре
Дней короля Louis Quatorze.
Твои прищуренные глазы —
Я не хочу сказать: глаза!.. —
Таят на дне своем экстазы,
Присудская моя лоза.
Исполнен голос твой мелодий,
В нем — смех, ирония, печаль.
Ты — точно солнце на восходе,
Узыв в болезненную даль...
Но, несмотря на все изыски,
Ты сердцем девственно-проста.
Классически твои записки,
Где буква каждая чиста.

Любовью сердце оскрижалясь,
Полно надзвездной синевы.

19

Весною в Сойволу съезжались
На лето гости из Москвы:
Отец кузины, дядя Миша,
И шестеро его детей,
Сказать позвольте: обезмыша, —
Как выразился раз в своей
Балладе старичок Жуковский, —
И обестенив весь этаж,
Где жить, в компании бесовской,
Изволил в детстве автор ваш.
Затем две пары инженеров,
Три пары тетушек и дядь...
Ах, рыл один из них жене ров
И сам в него свалился, глядь!..

Тогда на троечной долгуше
Сооружались пикники
Куда-нибудь в лесные глуши
На берегах моей реки.
По приказанью экономки
Грузили на телегу снедь;
А тройка, натянув постромки,
Туда, где властвовал медведь,
Распыливалась. Пристяжные,
Олебедив изломы шей,
Тимошки выкрики стальные
Впивали чуткостью ушей.
Хрипели кони и бесились,
Склоняли морды до земли.
Струи чьего-то амарилис
Незримо в воздухе текли...
В лесу — грибы, костры, крюшоны
И русский хоровой напев.
Там в дев преображались жены,
Преображались жены в дев.
Но девы в жен не претворились,
Не претворялись девы в жен,
Чем аморальный амарилис
И был, казалось, поражен...

20

Сын тети Лизы, Виктор Журов,
Мой и моей Лилит кузен,
Любитель в музыке ажуров,
Отверг купеческий безмен:
Студентом университета
Он был, и славный бы юрист
Мог выйти из него, но это
Не вышло, слишком он артист
Душой своей. Улыбкой скаля
Свой зуб, дала судьба успех:
Теперь он режиссер "La Scala"

И тоже на виду у всех...
О, мой Vittorio Andoga!
Не ты ль из Андоги возник?..
Имел он сеттера и дога,
Охотился, писал дневник.
Был Виктор страстным рыболовом:
Он на дощанике еловом
Нередко ездил с острогой:
Лая изрядно гордых планов,
Ловил на удочку паланов;
Моей стихии дорогой —
Воды — он был большой любитель,
И часто белоснежный китель
На спусках к голубой реке
Мелькал: то с удочкой в руке
Он рыболовить шел. Ловите
Момент, когда в разгаре клев!
Благодаря, быть может, Вите
И я — заправский рыболов.
В моей благословенной Суде —
В ту пору много разных рыб.
Я, постоянно рыбу удя,
Знал каждый берега изгиб.
Лещи, язи и тарабары,
Налимы, окуни, плотва.
Ах, можно рыбою амбары
Набить, и это не слова!..
Водились в Суде и стерлядки,
И хариус среди стремнин...
Я убежал бы без оглядки
В край голубых ее глубин!
...О, Суда! голубая Суда!
Ты внучка Волги, дочь Шексны!
Как я хочу к тебе отсюда
В твои одебренные сны!..

21

Был месяц, скажем мы, центральный,
Так называемый — июль.
Я плавал по реке хрустальной
И, бросив якорь, вынул руль.
Когда развесленная стихла
Вода, и выстоялась тишь,
И поплавок, качаясь рыхло, —
Ты просишь: "И его остишь!" —
В конце концов на месте замер,
Увидел я в зеркальной раме
Речной — двух небольших язей,
Холоднокровных, как друзей,
Спешивших от кого-то в страхе:
Их плавники давали взмахи.
За ними спешно голавли
Лобастомордые скользили,
И в рыбьей напряженной силе
Такая прыть была. Вели
Сорожек, точно на буксире,
И помню, было их четыре.
И вдруг усатый черный черт
Чуть не уткнулся носом в борт,
Свои усища растопырив,
Усом задев мешок с овсом:
Полуторасаженный сом.
Гигант застыл в оцепененьи,
И круглые его глаза,
С моими встретясь на мгновенье,
Поднялись вверх, и два уса
Зашевелились в изумленьи,
Казалось, над открытым ртом...
Сом ждал, слегка руля хвостом.
Я от волненья чуть не выпал
Из лодки и, взмахнув веслом,
Удары на него посыпал,
Идя в азарте напролом.
Но он хвостом по лодке хлопнул
И окатил меня водой,
И от удара чуть не лопнул
Борт крепкий лодки молодой.
Да: "молодой". Вы ждете: "новой",
Но так сказать я не хочу!
Наш поединок с ним суровый
Так и закончился вничью.

22

Как девушка передовая,
Любила волны ячменя
Моя Лилит, и, не давая
Ей поводов понять меня
С моей любовью к ней, сторожко
Душой я наблюдал за ней
И видел: с Витею немножко,
Чем с прочими, она нежней...
Они, годами однолетки,
Лет на пять старшие меня,
Держались вместе и в беседке,
Бальмонтом Надсона сменя,
В те дни входившим только в моду
"Под небом северным", природу
Любя, в разгаре златодня
Читали часто или в лодке
Катались вверх за пару верст,
Где дядя строил дом, и прост
Был тон их встреч, и нежно-кротки
Ее глаза, каким до звезд,
Казалось, дела было мало:
Она улыбчиво внимала
Одной земле во всех ее
Печалях и блаженствах. Чье,
Как не ее, боготворенье
Земли передалось и мне?
И оттого стихотворенья
Мои — не только о луне
Как о планете: зачастую
Их тон и чувственный, и злой,
И если я луну рисую,

Луна насыщена землей...
Изнемогу и обессилю,
Стараясь правду раздобыть:
Как знать: любил ли Витя Лилю?
Но Лиля — Витю... может быть!..

23

Росой оранжевого часа,
Животворяща, как роса,
Она, кем вправе хвастать раса, —
Ее величье и краса, —
Ко мне идет, меня олиля,
Измиловав и умиля.
Кузина, лильчатая Лиля,
Единственная, как земля!

Идет ко мне наверх, по просьбе
Моей, и, подойдя к окну,
Твердит: "Ах, если мне пришлось бы
Здесь жить всегда! Люблю весну
На Суде за избыток грусти
И лето за шампанский смех!..
Воображаю, как на устьи
Красив зимы пушистый мех!"
Смотря в окно на синелесье,
Вздыхает: "Ах, Мэндэс Катюль..."
И обрывает вдруг: "Ну, здесь я...
Ты что-то мне сказать хотел?.."
И я, исполнен странной власти,
Ей признаюсь в любви и страсти
И брежу о слияньи тел...
Она бледнеет, как-то блёкнет,
Улыбку болью изломав.
Глаза прищуря, душу окнит
И шепчет: "Милый, ты не прав:
Так ты любить меня не можешь...
Не смеешь... ты не должен... ты
Напрасно грезишь и тревожишь
Себя мечтами: те мечты,
Увы, останутся мечтами, —
Я не могу... я не должна
Тебя любить... ну, как жена..." —
И, подойдя ко мне, устами
Жар охлаждает мой она,
Меня в чело целуя нежно,
По-сёстрински, и я навзрыд
Рыдаю: рай навек закрыт
И жизнь отныне безнадежна...
Недаром мыслью многогранной
Я плохо верил в унисон,
Недаром в детстве сон престранный
Я видел, вещий этот сон...

Настанут дни — они обманут,
И необманные мечты,
Когда поблёкнут и увянут
Неувяданные цветы.
О, знай, живой: те дни настанут,
И всю тщету познаешь ты...
Отрадой грезил ты, — не падай
В уныньи духом, подожди:
Неугасимою лампадой
Надежда теплится в груди.
Сияет снова даль отрадой,
Любовь и Слава — впереди!

Часть III

1

Для всех секрет полишинеля,
Как мало школа нам дает.
Напрасно, нос свой офланеля,
Ходил в нее я пятый год:
Не забеременела школа
Моим талантом и умом,
Но много боли и укола
Принес мне этот "мертвый дом",
Где умный выглядел ослом.
Убого было в нем и голо, —
Давно пора его на слом!

2

Я во втором учился классе,
Когда однажды, в тарантасе
Приехавший в Череповец,
В знак дружбы, разрешил отец
Дать маме знать, что, если хочет
Со мною быть, ее мы ждем.
От счастья я проплакал очи!
Дней через десять, под дождем,
Причалил к пристани "Владимир",
И мамочка, окружена
Людьми старинными своими,
Рыдала, стоя у окна.
Восторги встречи! радость детья!
Опять родимая со мной!
Пора: ведь истекала третья
Зима без мамочки родной.
Отец обширную квартиру
Нам нанял. Мамин же багаж
Собой заполнил весь этаж.
О, в эти дни впервые лиру
Обрел поэт любимый ваш!
Шкафы зеркальные, комоды,
Диваны, кресла и столы —
Возили с пристани подводы
С утра и до вечерней мглы.
Сбивались с ног, служа, девчонки,
Зато и кушали за двух:
Ах, две копейки фунт печенки

И гривенник — большой петух!..
И та, чья рожица омарья
Всегда растянута в ухмыл,
Старушка, дочка пономарья,
Почти классическая Марья,
Заклятый враг мочал и мыл,
Была довольна жизнью этой
И объедалась за троих,
"Пашкет" утрамбовав "коклетой"
На вечном склоне дней своих...
Она жила полвека в доме
С аристократною резьбой.
Ее мозги, в своем содоме,
Считали барский дом избой...
И, ногу обтянув гамашей,
Носила шляпу-рвань с эспри,
Имела гномный рост. "Дур-Машей"
Была, что там ни говори!
Глупа, как пень, анекдотична,
Смешила и "порола дичь",
И что была она типична,
Вам Федор подтвердит Кузьмич...
...Ей дан билет второго класса
На пароходе, но она,
Вся возмущенье и гримаса,
Кричала: "Я пугаюсь дна, —
Оно проломится ведь, дно-то!
Хочу на палубу, на свет..."—
Но больше нет листков блокнота,
И, значит, Марьи больше нет...
Был сын у этой "дамы", Колька,
Мой сверстник и большой мой друг.
Проказ, проказ-то было сколько,
И шалостей заклятый круг!
Однажды из окна гостиной
Мы с ним увидели конька,
Купив его за три с полтиной
У рыночного мужика.
Стал ежедневно жеребенок
Ходить к нам во второй этаж...
Ах, избалованный ребенок
Был этот самый автор ваш!
С утра друзья мои по школе,
Меняя на проказы класс,
Сбегались к нам, и другу Коле
Давался наскоро заказ:
Купить бумаги, красок, ваты,
Фонарики и кумача,
И, под мотивы "Гиаватты",
Вокруг Сашутки-лохмача,
Кружились мы, загаром гнеды,
Потом мы строили театр,
Давая сцены из "Рогнеды", —
Запомни пьесу, психиатр!..
Горя театром и стихами
И трехсполтинными конями,
Я про училище забыл,
Его не посещая днями;
Но папа охладил мой пыл:
Он неожиданно нагрянул
И, несмотря на все мольбы,
Меня увез. Так в Лету канул
Счастливый час моей судьбы!
А мать, в изнеможеньи горя,
Взяв обстановку и людей,
Уехала, уже не споря,
К замужней дочери своей.
О, кто на свете мягче мамы?
Ее душа — прекрасный храм!
Копала мама сыну ямы,
Не видя вовсе этих ям...

3

Ту зиму прожил я в деревне,
В негодовании зубря,
По варварской системе древней,
Все то, что все мы зубрим зря.
Я алгебрил и геометрил,
Ха! это я-то, соловей!
О, счастье! я давно разветрил
"Науки" в памяти своей...
Мой репетитор, Замараев,
Милейший Николай Ильич,
Все больше терся у сараев,
Рабочему бросая клич
Объединенного Протеста,
За что лишился вскоре места:
Хотя отец и либерал,
Но бунт на собственном заводе
Несносен в некотором роде:
Бунт собственника разорял.
"Бунтарь" уволен. Математик
На смену вызван из Твери.
Он больше был по части "Катек",
Черт математика дери!
Любила тетка преферансы, —
Учитель был ее партнер.
А я слагал в то время стансы,
Швырнув учебник за забор.
Так, целодневно на свободе
И предоставлен сам себе,
Захлебывался я в природе,
Сидел у сторожа в избе,
Кормил коней, влюблялся в Саню,
Читал, что только мог прочесть...
Об этом всем теперь романю,
А вас прошу воздать мне честь!

4

Учительского персонала
Убожество не доконало
Меня лишь оттого, что взят, —
Пусть педагоги не грозят! —

Я был отцом из заведенья,
Когда, за год перед войной
Русско-Японской, он со мной
Уехал, потерпев крушенье
В заводском деле, на Квантун,
Где стал коммерческим агентом
В одном из пароходств. Бастун
Спасительным экспериментом
Еще не всколыхнул страны:
Ведь это было до войны.

5

Мы по дороге к дяде Мише
(Он в Серпухове жил тогда)
Весной, когда в Оке вода,
Бесчинствуя, вздымалась выше
Песчаноскатных берегов,
Заехали на две недели,
И там я позабыл о цели
Пути и даже был готов
С собой покончить: угодили
Мы, страшно молвить, к свадьбе Лили...
На фабрике громадной ткацкой
Директорский имея пост,
Михал Петрович, добр и прост,
Любил отца любовью братской.
Его помощник, инженер,
Был женихом моей кузины, —
Поклонник рьяный хабанер,
Большой знаток своей машины,
Предобродушнейший хохол
И очень компетентный химик;
На голове его хохол
Не раз от трудолюбья вымок...
Жених хохлацки грубоват,
Но Лиля ведь была земною,
И разве муж был виноват,
Что сделалась его женою
Лилиесердная Лилит?
Летит любви аэролит,
Поберегись-ка, ты, прохожий:
Ты выглядишь как краснокожий,
Когда аэролит летит...
Но я... но я не поберегся,
И что же? сердца краснота
Вдруг стала закопченней кокса, —
Гарь эта временем снята...
Теперь, пролетив четверть века,
Сменяет лирику сарказм.
Тогда же я рыдал до спазм,
От боли был почти калека...
Вспеняя свадебный фиал
И пламную эпиталаму
Читая, я протестовал,
Из пира чуть не сделав драму...
Перед отъездом видеть маму
Мне не дали, и, сев в экспресс,
Умчались мы к горам Урала.
Душа, казалось, умирала,
Но срок истек — и дух воскрес!

6

Ах, больше Крыма и Кавказа
Очаровал меня Урал!
Для большей яркости рассказа
На нем я сделаю привал.
В двух-трех словах, конечно, трудно
Воспеть красоты этих гор.
Их тоны сине-изумрудны:
На склонах мачтовидный бор.
Круты олесенные скаты,
Стремглавны шустрые ручьи.
В них апельсинные закаты
Студят дрожащие лучи.
Вздымаются державно сопки,
Ущелья вьются здесь и там;
Но мы в вагоне, как в коробке,
И потому могу ль я вам
Сказать достойно об Урале,
Чего он вправе ожидать?
Молниеносно промелькали
Мы гор уральских благодать.
И мимо чукча, мимо чума,
Для рифмы вспомнив про имбирь,
По царству бывшему Кучума,
Перемахнули всю Сибирь!
Я видел сини Енисея,
Тебя, незлобивая Обь,
Кем наша "матушка-Рассея"—
Как несравнимая особь —
Не зря гордится пред Европой:
И как судьба меня ни хлопай,
Я устремлен душою всей
К тебе, о синий Енисей!

Вдоль малахитовой Ангары,
Под выступами скользких скал,
Неслись, тая в душе разгары;
А вот — и озеро Байкал.
Пред ним склонен благоговейно,
Теряю краски и слова,
Пред строгой красотой бассейна
Взволнованного божества...
Святое море! Надо годы
Там жить, чтоб сметь его воспеть!
Я только чую мощь природы...
Ответь когда-нибудь, ответь
Моей душе, святое море,
Себя воспеть мне силы дай!
В твоем неизмеримом взоре
Я грежу, отражен Алтай...
Маньчжурия, где каждый локоть

Земли — посевная гряда,
В нее вонзен китайский ноготь
Эмблемой знойного труда...
Маньчжурия! ты — рукотворный
Сплошной цветущий огород.
Благословен в труде упорный
Твой добродетельный народ.
И пусть в нем многое погано,
Он многие сердца привлек,
Когда, придя к ногам Хингана,
В труде на грудь твою возлег...
Кинчжоу, узкий перешеек;
За ним, угрюмец и горюн,
Страна сафирных кацавеек,
В аренду нанятый Квантун
На девяносто девять весен
Портсмутским графом, центр смут.
Вопрос давно обезвопросен:
Ответ достойный дал Портсмут...

7

Мы в Дальнем прожили полгода,
И, трафаретно говоря:
"Стояла дивная погода"
От мая вплоть до декабря.
Я был японкою Кицтаки
Довольно сильно увлечен;
С тех пор мечтать о Нагасаки
Пожизненно я обречен...
И пусть узнает мой биограф,
Что был отец ее фотограф,
А кем была Кицтаки мать —
Едва ль сумею вам сказать...
Когда, стуча на деревяшках,
Она идет, смотря темно,
Немножко сужено на ляжках
Ее цветное кимоно.
Надменной башенкой прическа
Приподнялась над головой!
Лицо прозрачней златовоска;
Подглазье с томной синевой.
Благоухает карилопсис
От смуглого атласа рук.
Любись, и пой, и антилопься,
Кицтаки, желтолицый друг!..

В костюме белопарусинном,
В такой же шляпе и туфлях,
Я шел в Китайский парк пустынный
Грустить о северных полях...
И у театра Тифонтая,
Почти в тропической жаре,
Ложился на траву, мечтая
О внешней северной заре...
Любуясь желтизной зеленой
Воды, чем славен Да-Лянь-Вань,
Вдыхая воздух вод соленый,
Пел Сканды северную ткань
Текучую. У Балтиморья
Скоплялись мысли и мечты.
Так у Квантунского нагорья
Мечтал с утра до темноты.
Вода Корейского залива
Влекла в Великий океан,
В страну, где женщина — как слива...
Вдали белел Талиенван,
Напоминая о боксерском
Восстаньи: днях, когда хунхуз,
В своем остервененьи зверском,
Являлся миру из обуз,
Едва ль не самою ужасной,
Когда, — припомни, будь так добр, —
Его смиряли силой властной
Суда: "Кореец", "Сивуч", "Бобр".

У нас был "бой" в халате ватном,
Весь шелковый и голубой.
Ах, он болтал на непонятном
Китайском языке, наш "бой"!
Китаец Ли — веселый малый,
Мы подружиться с ним могли,
И если надо, что ж, пожалуй,
Я вспомню и китайца Ли.
Мы с ним дружили, но китаец
Однажды высмеял мой флаг.
Он в угол загнан мной, как заяц,
И мой почувствовал кулак:
"Герой" ему вцепился в косу
И, подтолкнув его к откосу,
На нем патриотизм излив,
Чуть не столкнул его в залив.
На вопли Ли сбежались кули,
О чем-то с жаром лопоча,
Но я взревел! и, точно пули,
Они "задали стрекоча"...
Мы вскоре с "боем" помирились,
Вновь дружба стала голуба.
Мне в нос вплывал не амарилис,
А запах масла из боба...

8

Вот в это время назревала
Уже с Японией война,
И, крови жаждя как вина,
Мечтали люди — до отвала
Упиться ею: суждена
Людскому роду кровь в напиток, —
Ее на свете ведь избыток,
И людям просто пир не в пир,
Коль не удастся выпить крови...
Как не завидовать корове:
Ведь ей отвратен лязг рапир!

Туман сгущался, но, рассеяв
Его, слегка поколебал
Наместник царский, Алексеев,
Угрозу битв, устроив бал,
В противовес всему унынью,
Тогда в кипящий летний зной
Над всею необъятной синью,
Верней сказать: над желтизной, —
Красавец лебедь, мелких бурек
Не замечавший в громе бурь,
Наш броненосный крейсер "Рюрик"
Взвивает гордо флаг в лазурь.
К нему, вперед пуская катер,
Припятитрубился "Аскольд",
От "Рюрика" встав на кильватер.
И увертюрой из "Rheingold"
На крейсере открытье бала
Оповещают трубачи.
Как он, потомок Ганнибала,
Я бал беру в свои лучи.

"Аскольд" поистине аскольдчат,
Вокруг хрустят осколки фраз,
И в дальнем воздухе осколчат
Мотивы разных "Pas de grâce"...
Военной строгости указник
Бросает в воду вальса тур.
Эскадра свой справляет праздник,
И вместе с ней весь Порт-Артур.
В серебряных играет жбанах
Шампанское, ручьем журча.
В литаврах звон, и в барабанах —
Звяк шпор весеннего луча!
Замысловатых марципанов
Полны хрустальные блюда,
И лязг ножей, и звон стаканов,
И иглы "ягодного льда"...
Какой бы ни был ты понурик,
Не можешь не взнести бокал,
Когда справляет крейсер "Рюрик"
В ночь феерическую бал!..

9

К искусственному водопаду
На палубе подвешен трап.
Всю ночь танцует до упаду
Веселья добровольный раб;
Будь это в Ницце ли, в Одессе ль,
Моряк — всегда везде моряк!
И генерал приморский Стессель
Шлет одобрительный свой "кряк",
И здесь же Єтарк и Кондратенко,
И Витгефт с Эссеном, и Фок,
И мичманов живая стенка,
И крылья, крылья дамских ног!
Иллюминованы киоски,
Полны мимоз и хризантем.
По рейду мчатся миноноски
С гостями к балу между тем,
Порхают рокотно ракеты,
Цветут бенгальские огни.
Кокеток с мест берут кокеты...
А крейсер справа обогни
И там, у Золотого Рога,
Увидишь много-много-много
И транспортов, и крейсеров
В сияньи тысяч огоньков...
Тут и "Паллада", и "Боярин",
И тот, чье имя чтит моряк,
Чей славный вымпел оалтарен,
В те дни обыденный — "Варяг".

10

За месяц до войны не вынес
Тоски по маме и лесам
И, на конфликт открытый ринясь,
Я в Петербург уехал сам,
Отца оставив на чужбине,
Кончающего жизнь отца.
Что мог подумать он о сыне
В минуты своего конца,
В далекой Ялте, в пансионе?
Кто при его предсмертном стоне
Был с ним? кто снес на гроб сирень?
На кручах гор он похоронен
В цветущий крымский майский день.
Я виноват, и нет прощенья
Поступку этому вовек.
Различных поводов скрещенье:
Отца больное раздраженье,
Лик матери, и голос рек,
И шумы северного леса,
И шири северных полей —
Меня толкнули в дверь экспресса
Далекой родины моей,
Чтоб целовать твои босые
Стопы в деревне у гумна,
Моя безбожная Россия,
Священная моя страна!

Toila

Падучая стремнина

Роман в 2-х частях

Пролог...

Кто говорит, что в реках нет форелей,
В лугах — цветов и в небе — синевы,
У арфы — струн, у пастухов — свирелей?
Кто говорит, не знаете ли вы?

Кто говорит, что в песне нет созвучий,
В сердцах — любви и в море нереид,
Что жизнь — пустой, нелепый только случай?
Не знаете ли вы, кто говорит?

Да только тот, кто чужд душой искусству,
Фантазии, любви и всплеску вод,
Кто не дает в груди развиться чувству
И гонит прочь его, — да, только тот.

И лишь поэт, безвозрастный ребенок,
Юродивый, блаженный и пророк,
Чья мысль свята, чей слух прозрачно-тонок,
Кто знает путь в заоблачный чертог,

О, лишь поэт, вседневно ждущий Чуда,
Печальное увидевший в смешном,
Великое в ничтожном, в царстве блуда
Услышавший моленья о ином, —

Лишь он один властитель дум народа.
Постиг, взойдя на нерушимый трон,
Какую мощь таит в себе Природа,
Каким бы сам ничтожным ни был он.

Ничтожны все, рожденные в убогом
И бренном мире нравственных калек,
Но в миг, когда поэт стал полубогом,
Остался человеком человек.

И в этом их различье. Так для света
Нередко трудно вникнуть в суть стихов:
Ведь для того, чтоб восприять поэта,
Необходимо знать язык богов.

Ему нельзя в земной учиться школе,
Недостижим для смертных и Парнас.
В лесу, в горах, в степях и в поле
Познать язык возможно, не учась.

И в светлый миг, когда познают люди
Язык богов, смысл мира станет прост.
Нежней цветов вздохнут тогда их груди,
И засияют взоры ярче звезд.

Так пусть молчат прозаики-невежды:
Ах, не для них и святость, и краса.
Блажен, неугасающий надежды:
Он уготован видеть чудеса!

Часть I

В год первой революции на дачу
Мы в Гатчину поехали. Весною
Произошла Цусима. Катастрофа
Нежданная совсем меня сразила:
В ту пору я большим был патриотом
И верил в мощь любимой мной эскадры.
Я собирал коллекцию из снимков
Судов всех флотов; на почетном месте,
Примерно вымпелов сто девяносто,
Висел на стенке русский флот, причем
Разделены суда все по эскадрам:
Из Балтики, левее — из Черноморья,
И Тихоокеанская. Тогда мне
Лишь восемнадцать было лет. В ту пору
Мои стихи рождались под влияньем
Классических поэтов. Декаданс
Был органически моей натуре,
Здоровой и простой по существу,
Далек и чужд. На графе Алексее
Толстом и Лермонтове вырос я.

Итак, мы жили в Гатчине — я, мама
И старая прислуга, пятьдесят
Лет жившая у нас. Ее, ребенком

Лет девяти, не больше, взяли в дом.
Я Гатчину люблю: ее озера —
Серебряное, с чем тебя сравню? —
И Приорат, и ферма, и зверинец,
И царский парк, где "Павильон Венеры",
Не нравиться не могут тем, кто любит
Действительно природу, но, конечно,
Окрестности ее, примерно Пудость,
Где водяная мельница и парк
С охотничьим дворцом эпохи Павла,
Гораздо ближе сердцу моему.
Но эту местность я узнал позднее,
Спустя почти что год. Другое лето
Я проводил, само собой понятно,
Уже на мельнице. Однако это
Я расскажу впоследствии. Тоска,
Терзавшая меня, в связи с Цусимой,

Мне не давала наслаждаться летом,
И даже парк мне был тогда не в парк.
Мы в Петербург уехали в июле,
Ни с кем знакомства не приобретя,
И если позабыть о Тимофее,
О старом дачном дворнике, пожалуй,
И вспомнить это лето будет нечем.
Но Тимофея позабыть нельзя,
И я сейчас вам объясню причину:
Я как-то, разговаривая с ним,
Обмолвился о скуке. Пригласил он
Меня к себе. Я, с детства демократ,
Зашел к нему однажды. Проболтали
До позднего мы вечера. В беседе
Бутылку водки выпили. Со Златой,
Своею дочерью, он познакомил.
Ей тоже восемнадцать лет. Блондинка,
Высокий рост, и чудный цвет лица.
Она вернулась вечером с работы
И, поклонясь слегка, прошла в каморку

К себе. Я мельком на нее взглянул,
Но все же различить успел и свежесть
Ее лица, и красоту походки,
И общее изящество. Не странно ль,
Но сразу я почувствовал влеченье
К той девушке. Я больше не встречал
Ее ни разу в это лето. Вскоре
Уехали мы в город.

В сентябре
В осенний парк поэта потянуло,
И я поехал в Гатчину. Весь день
Я пробродил в безлюдном Приорате,
А к вечеру зашел и к старику,
К отцу красивой дочери. Приветлив
Он был со мной и чаем угостил.
И в этот раз мы выпили изрядно
Убийственно-живительного зелья.

Я вскользь спросил о Злате, но она
Уж месяц, как уехала работать,
И в Петербурге у портнихи модной,
Вблизи Стремянной улицы жила.
Ее же сестры — Маша, Анна, Лиза
И Феня — находились при отце.
Две первые, замужние, имели
Уже детей по два — четыре года,
И красотой совсем не отличались,
Но, Лиза, младше Златы, миловидный,
Утонченный и хрупкий был ребенок,
Которому двенадцатый шел год.
И крошка Феня, шустрая резвунья,
Была мила; ей было только семь.
Два месяца еще прошло. Настала
Зима, — мне захотелось в зимний парк.
Ах, Гатчина, излюбленное место
Моих прогулок на норвежских лыжах,
"Музей моей весны", как я однажды
Назвал тебя в одной поэзе, много
Ты говоришь душе моей и сердцу!

Люблю благоговейно повторять
Упругое и звучное названье.
Ах, Гатчина, какая ты теперь?
Боюсь подумать. Скройся злободневность,
Минувшего собой не оскверняй!
И в этот раз зашел я к Тимофею
Из парка отдохнуть и посидеть;
Зашел к нему я в полдень отогреться:
Мороз трещал румяно на дворе.
Все были дома: было воскресенье,
И, как приятный для меня сюрприз,
Приехала из Петербурга Злата.
Одетая со вкусом, очень просто,
Она играла с маленькою Феней
И весело шутила. Я, любуясь,
Невольно засмотрелся на нее.
Она мгновенно взгляд мой уловила,
Слегка смутилась, волоса оправив,
И скромно села к чайному столу.
Я после чая предложил ей вместе
Со мною в парк пройтись; она охотно,
Без всякого ломанья, согласилась,
И, говоря вполне непринужденно,
Мы с ней пошли, так молодо смеясь.
О, белый снег холодный и пушистый!
О, старый парк дремотный и тенистый!
О, первая священная любовь!

Да, верил я всегда в предназначенье,
Во вдохновенность встреч, в любовь такую,
Которая охватывает вдруг
Всего-всего, безразумно владея
И сердцем, и душой. Интуитивно
Я понял вдруг, что Злата неспроста
Мне встретилась, а послана судьбою, —

И к девушке присматриваться зорче
Я стал тогда, и вот что я заметил:
Под кажущимся внешним оживленьем
Таилась в ней какая-то печальность,
Какая-то неясная мне боль.
Я подошел к ней очень осторожно,
И, тронутая ласковым участьем,
Мне девушка доверчиво открылась:

— "Я вижу, человек Вы благородный",
Так начала она повествованье:
"И с Вами познакомиться отрадно,
Поверьте, было мне, но, не сердитесь,
Таится в этом маленькое "но":
Раз Вы хороший, добрый, честный, чистый, —
А в этом я хочу не сомневаться, —
Как Вы могли, как только Вы решились
С моим отцом поддерживать знакомство?
Вы юноша еще, почти ребенок,
И всячески Вам надо опасаться
Дурных влияний, и людей порочных,
Испорченных, стремиться избегать.
А мой отец (Господь простит мне эти
Для дочери опасные слова!) —
Пропойца, негодяй, он нехороший,
Нечестный человек. Вы пьете с ним,
Притом, мне кажется, гораздо больше,
Чем следует; не глупо ль прозвучало,
Что следует пить водку, эту мерзость,
Губящую как тело, так и дух?
Я — враг ее: она мне причинила
Так много горя; матери моей
Ускорила кончину, потому что
Отец мой, вечно пьяный, поведеньем
Бессовестным ее в могилу свел.
Я — враг ее, а раз отец — пропойца,
Естественно, что и ему я враг.
И если Вы действительно хотите
Мне другом быть, не пейте больше, милый,
И не ходите в этот дом проклятый,
Где нераздельно властвует вино". —

Мы долго в этот вечер говорили,
И, с каждой фразой, душами сближались,
Бродя сначала зимним Приоратом,
А под вечер по улицам — аллеям,
Залитым электрическим сияньем,
И занесенным белым покрывалом.
Снег сыпался, и, в отблесках фонарных,
Любовь в глазах у Златы расцветала;
В своих глазах любви не мог я видеть.
Но девушкины очи говорили
Так ясно мне, что и в моих глазах
Заметили они расцвет любовный, —
Я этого не чувствовать не мог.
С последним поездом мы возвратились
В столицу, я отвез ее до дома,
И, слово взяв встречаться и по почте
Беседовать, отправился к себе.

В те годы я бывал ежевечерно
В театрах, преимущественно в зале
Консерватории, где Церетели
Держал большую оперную труппу.
Я музыку боготворю не меньше
Поэзии, и удивляться надо ль,
Что посещенье оперы являлось
Потребностью моей необходимой.
В сезон Поста Великого, у Гвиди,
Я слушал итальянцев с упоеньем,
По воскресеньям даже дважды в день я
Ходил в театр: и вечером, и утром.
Нечасто исполняемые пьесы
Давались там: "Германия" Франкетти,
"Заза" Леонковалло, "Адриена
Де-Лекуврэр" синьора Чилеа.
Там удалось прослушать "Джиоконду",
Чтоб временно увлечься Понкиелли,
Где так неподражаем Титто Руффо.
Да, имена там были звездоносны:
Певала там и Лидия Берленди,
И Баронат, и Гай с Беллинчиони,
И Арнольдсон с Ансельми, Баттистини,
И Собинов, и Фигнер, и Клементьев.
Липковская там делала карьеру,
И Монска промелькнула метеором,
И упояла нас колоратурой
В Титании кудесница Ван-Брандт.
Она была великою малюткой,
И это имя — целая эпоха
В моих переживаньях музыкальных.
И Мравина Евгенья Константинна,
Моя сестра троюродная, Сказка
Снегурочка и Жаворонок Вешний,
В тот год дала прощальный свой концерт,
Заканчивая деятельность грустно:
С печатью смерти, со следами прежней
Блистательной когда-то красоты.
Со мной в театр ходить любила Злата,
И юная старушка "Травиата"
Сближала нас немало, слава ей!
И как бы "Травиату" ни бранили
За ветхость, примитивность и слащавость,
Не поддаваться чарам этих звуков
Не в силах я, и "слабостью" горжусь:
Любя ее до дней своих последних,
Я этим самым верен милой Злате,
И, отдавая должное Пуччини
И Дэбюсси, я Верди не отверг.

По вечерам, когда она кончала
Работу в мастерской, я приходил к ней
И поджидал у лестницы. Она
Спускалась вниз. Я целовал ей руки,

Заглядывал в глаза и, повторяя
В восторге имя, сладостное слуху,
И плакал, и смеялся, как дитя.
О, как была нежна она со мною.
Моя подруга, золотая Злата!
Как глубоко и солнечно любила,
Во всем меня оправдывая вечно!
Мы с нею шли по улицам бесцельно,
Но и бесцельный путь был полон цели:
Он вел к вершинам чувства молодого,
И в этом крылась благостная цель.
Так мы встречались часто. Но и писем
Немало посылали мы друг другу,
И, если их собрать теперь, поэма
Моя, пожалуй, станет бесконечной.
И не ее ли письма неземные,
Земной рукой написанные, дали
Тебе, о Русь, жемчужную поэзу:
"Не может быть! вы лжете мне, мечты!"

Я беден был. Я жил на средства дяди, —
Он маме ежемесячные суммы
До дня, когда мне счастье улыбнулось,
Переводил корректно-аккуратно.
Но переводы были так мизерны,
А жизнь в столице не была дешевой.
Сестра, имея дом свой, нам квартиру
Давала gratis и немного денег.
Я беден был, но поступать на службу
Упорно избегал: дух канцелярий
Был для меня, свободного, противен,
И чувствовать начальство над собою
Казалось мне позорным униженьем.
Но мамочка всегда со мной делилась
Последним и, отказывая часто
Себе в необходимом, доставляла
Возможность посещать театр и книги
Приобретать. Мне было лишь шестнадцать,
Когда приехал к маме я с Квантуна,
Где в Порте Дальнем больше полугода
С больным отцом провел. Он после в Ялту
Один уехал, и весной четвертой
Столетья нового, во время Русско-
Японской бойни, умер от нефрита.
Замечу между прочим, что в реальном
Еще учась, стал собирать я книги.
В два года, проведенных в Петербурге,
Мне удалось, томов в пятьсот, любовно
Составить библиотеку, где были
Все классики и много иностранных
Фантастов с Марриэтом во главе.

Я к фантастической литературе
Питал с младенчества большую склонность —
За благородство бедных краснокожих,
За чистоту отважных амазонок,
За красоту тропической природы,
За увлекательный всегда сюжет.
Густав Эмар, Майн-Рид, Жюль-Верн и Купер,
Андрэ Лори, Люи де-Буссенар
И Памбертон, — не вам ли я обязан
Живою фабулой своих стихов?
Но Эдгар По, Джек Лондон с Конан-Дойлем
Меня не увлекали никогда.
Из мистиков любил я Метерлинка
И в Лохвицкой улавливал его
Налет. Из скандинавцев Генрик Ибсен
Едва ль не первый эго-футурист.
Оскар Уайльд и Бернар Шоу явно
Влиянье оказали на меня.
Из классиков Тургенев с Гончаровым
Излюблены мной были: русских женщин
Они познали сущность. Мопассан
Гуманность воспитал во мне, и Пушкин
Мой стих всегда заботливо яснил.
Благодаря хожденьям постоянным
По операм и к музыке влеченью,
Мои стихи исполнены мелодий.

Я беден был, — душа была богата.
Я счастлив был: меня любила Злата,
Но с ней разлука мучила меня,
И то, что приходилось ей работать,
Чтоб жить самой и помогать сестричкам,
Меня терзало непрестанно. Мне
Хотелось жить с ней вместе, но на это
Изрядно много денег было нужно;
К себе же взять в квартиру не решался,
Боясь ее подвергнуть оскорбленьям,
Не матери, конечно, нет — она
Меня любила слишком беззаветно,
Да и воспитана была прекрасно;

Боялся я другого: муж сестры
И экономка, — их квартира выше
Над нашей этажом, — могли принудить
Мою сестру лишить квартиры маму
За потаканье всем моим причудам;
Да и сама бы Злата, я уверен,
От этого проекта отказалась:
Она была горда, самолюбива,
И "сесть на шею", выразясь вульгарно,
К моей старушке матери, понятно,
Ее натура ей бы воспретила.
Жениться же на ней, сказать по правде,
Мне было дико и смешно немного,
Не оттого, что я боялся шага
Подобного, а просто оттого лишь,
Что не имел в виду работы вскоре,
Не знал, какие ждут меня успехи
В литературе, жил подобно птичке, —
Ну, кратко говоря, я был поэт!

Моя сестра единственная Зоя,
От брака мамы первого, любила
Искусство во всех отраслях, имела
Абонемент в Мариинском театре,
А Фофанов и Лохвицкая были
Всегда ее настольными томами.
И, под ее внимательною лаской,
В версификации я упражнялся.
Она внимала очень благосклонно
Моим довольно смелым упражненьям
И всячески их нежно поощряла.
Моя сестра единственная Зоя
Имела мужа, чуждого духовно,
Поручика саперного в отставке,
В которого в семнадцать лет влюбилась
Неопытною девушкой, но после, —
Я думаю, но я не утверждаю, —
К избраннику немного охладела,
Поближе разглядев его никчемность.

Но никогда не показала вида,
Что может быть несчастной, беззаветно
Всю отдала себя на счастье мужу,
Была высоконравственной при этом,
И никогда никто не мог услышать
От Зоечки ни жалобы, ни слова
Неудовольствия своею жизнью:
Она была весьма самолюбива
И гордо-замкнута. Моя сестра
Имела дом вблизи Морской и дачу
Под Обоянью, но богатой вовсе
Ее я не решился бы назвать.
Да, мне добра всегда она желала,
Но, будучи воспитана иначе,
Чем я, условностям дань отдавая,
Не все во мне оправдывала; то уж,
Что я слонялся целый день без дела
И подпадал под скверные влиянья
Людей, подчас совсем иного круга,
Стал попивать нередко, не имея
Ни денег, ни занятий, было ей
Довольно неприятно, и могу ли
За это осудить мою сестру?
Не в этом дело все-таки, и ближе
Я буду к цели, если я замечу,
Что Клавдия Романовна, сначала
В дни Зоиного детства гувернантка,
А после брака — в доме экономка,
Игравшая большую роль в семье,
Совместно с мужем сестриным старались,
Протестности моей мне не прощая
И недолюбливая за насмешки
Над ними, нас поссорить, чтобы Зоя
Поставила мне строгий ультиматум,
Как старшая, замужняя сестра:
Принять какое-либо место, благо много
Протекции имелось, иль учиться,
Чтобы экстерном выдержать экзамен
И получить, как паспорт мозга, ценз.
При этом мне советовалось — вовсе
Знакомство прекратить с родными Златы,
И даже, правда очень деликатно,
Сквозил намек, что мне она не "пара",
И ничего хорошего не выйдет
Из нашей с нею дружбы и любви.
О, я не внял ничьим, ничьим советам.
И продолжал по-прежнему знакомство
С тем, с кем хотел, на воле развивая
Большой и независимый талант.
И в этом направленьи, как и прежде,
Меня всегда любовно поощряла
Моя сестра единственная Зоя.

Я беден был, и чем я был беднее,
Тем больше мне хотелось жить, и я
Решил, во имя торжества весенней
Любви, большую жертву принести,
Послушайте, не смейтесь: для поэта
И юноши пятьсот переплетенных
В сафьян и коленкор томов, любимых
Писателей, продать — не жертва ль это?
Лишиться их в один несчастный день,
Не с детства чуть ли книги собирая,
Еженедельно с них стряхая пыль, —
Не жертва разве? Как для вас — не знаю,
Но для меня был труден этот шаг.
И вот из Александровского рынка
Позвать велел я Марье букиниста,
И библиотеку, тоскуя, продал
За... семьдесят рублей! На эти деньги
Я нанял Злате комнату поближе
К себе и стал с утра к ней ежедневно
Ходить, и с нею проводить все дни.

О, в пятом этаже на Офицерской,
Вблизи Казанской части, уголок!
Пою тебя восторженно и звонко,
И вдохновеньем светятся глаза!
Что книги мне! ах, что мне всё на свете! —
Я приобрел подругу целиком!
Она мне в этой комнатке убогой
Впервые отдалась, такое счастье
Мне подарив, какому больше в жизни
Уж повториться не было дано!
Такое счастье, что и мне, поэту,
Волхву кудесных слов и выражений,
Словами невозможно передать!
Такое счастье сильное, большое,
Живое, неповторное, такое,
Что, даже странно, как могу на свете
Еще я жить, то счастье потеряв!
Такое счастье, истинное счастье,
Которое спустя шестнадцать весен
И разлюбя с тех пор полсотни женщин,

Испытываю всей своей душой!
Такое счастье ярко-золотое,
Что и теперь, его припоминая,
Я жмурить принужден глаза мечты:
Иначе сердце может разорваться,
Иначе я с ума сойду, — такое,
Такое счастье мне дала она!

Все это продолжалось три недели,
И деньги были прожиты. Достать их
Старался тщетно: неоткуда было.
Чего ни передумал в это время,
Выискивая способы! Подруга
Решительно противилась, жалея
Меня всем сердцем, и нашла работу,
На все мои мольбы не обращая
Вниманья, у придворной генеральши.
Я до пяти часов ее не видел,
И приходил к моменту возвращенья
Ее с работы. Было очень больно,
Что ей помочь ничем не мог. Да, Злата,
В иных условьях, сделала бы имя
На поприще каком-нибудь другом.
Она была способной, развитою,
Недюжинною девушкой. Тем хуже,
Что был я так преступно-легкомыслен...

К концу Поста приехал из именья
В столицу дядя Миша по делам.
Он пригласил меня к себе поехать
Встречать совместно Пасху. Вся семья,
За исключеньем дочери замужней,
Моей кузины Лили, собралась
В усадьбе. Я любил край новгородский,
Где отрочество все мое прошло.
Я с радостью поехать согласился,
Но больно было мне расстаться с Златой
На две недели. Ехать вместе с нею,
Увы, не мог, условности мешали:
Она была любовницей моею,
А не женой. В семье же дяди строго
К безбрачью относились. Я в смущеньи
Довольно долго колебался. Видя
Мое желанье ехать, деликатно
Она пошла навстречу мне, здоровье
Мое найдя расшатанным немного,
И деревенский воздух мне полезным.

Мы были к утру на лазурной Суде.
От станции верстах в семи, не больше,
Именье дяди, при впаденьи Кэмзы
В мою незаменимую реку.
Лиловый дом на берегу высоком.
Вокруг глухие хвойные леса.
Мои кузэны — Кока и Володя —
Любили спорт в его разнообразье;
С утра мы с ними бегали на лыжах,
Спускаясь к рекам с берега крутого;
Днем запрягали в санки "Сибарита"
Иль "Весточку" и мчались в Заозерье;
И вместе с нами мчался темный лес.
Я вспоминал свою любовь былую,
Любовь души двенадцативесенней
К другой душе, пятью годами старшей, —
Я вспоминал любовь к кузине Лиле.

Смотря на эти, милые когда-то
По детским впечатлениям, места.
Не странно ли, они не волновали
Меня, как раньше: полон был я Златой
Физически, духовно, — целиком.
Она прислала мне письмо, в котором,
Благословляя нежно-матерински,
Писала, что заказчица на лето
Решила ехать в Гатчину, где дачу
Уже нашла себе, что, понимая
Мою любовь к природе, Злата тоже
Поедет с нею, но не будет вместе
На даче жить, а комнату подыщет,
Чтоб навещать ее мне было лучше.
"А ты", она писала: "с мамой в Пудость
На лето поезжай; там есть форели,
И лодки, и река, и всё, что надо
Тебе иметь, да и ко мне поближе:
От Гатчины — четвертая верста".
Как раз кончались Праздники, и вскоре
Я возвратился в строгий Петербург.
Идет весна в сиреневой накидке,
В широкой шляпе бледно-голубой,
И ландышей невидимые струйки
Бубенчиками в воздухе звучат...
Она, смеясь, мои щекочет нервы,
Кокетничает мило и остро,
Вплетает в грезы нежно пасторали
Весенней сельней прелести полян.
Цветет цветами, птичками щебечет,
Она — полувиденье, полуявь...
Я к ней спешу, и золотою Златой
Вдруг делается юная весна,
Идущая в сиреневой накидке,
В широкой шляпе бледно-голубой...

На следующий день по возвращеньи
Я за город пошел из Петербурга
С утра пешком; здесь были две причины.
Во-первых, доказать хотел я Злате
Свою любовь, которой не опасны
Ни усталь сорокатрехверстной пыльной
Экскурсии по шпалам, ни затрата
Энергии, чтоб с нею повидаться;
А во-вторых, подчеркивал я этим
Торжественность и трогательность встречи,
Как бы уподобляясь пилигриму,
Спешащему благоговейно в Мекку.

Я шел Балтийской линией. Мой отдых
Был в Дудергофе, сладостно-картинном,
У озера, похожего на лужу.
Потом я шел на Тайцы, встретил Пудость
Впервые на пути своем, где речка
Ижорка малахитовой водою
Своей меня совсем зачаровала
И где я мимоходом нанял дачу.
Я к девяти был в Гатчине у Златы,
Которая от радости свиданья
Нежданного, узнав еще вдобавок,
Что я пришел пешком к своей любимой,
Сначала как-то вся оцепенела
На миг, затем, с рыданьями, на шею
Мне бросилась, лицо мое целуя
И хохоча, сквозь слезы, от восторга.
Как ласково она меня кормила!
Как радостно она меня встречала!
Любовно на руках своих качала...
Я голову склонил к ней на колени,
Она меня баюкала и, близко
Склонясь, в глаза мучительно смотрела:
"О, неужели можем мы расстаться
Когда-нибудь?" Она шептала тихо.
И я, сражен недопустимой мыслью,
Отчетливо сказал: "Не бойся, Злата:
Пока я жив, всегда с тобою буду".
О, горе мне: я клятвы не сдержал.

Я приезжал к ней часто. Переехав
На дачу вскоре, чуть не ежедневно
С ней виделся. Так ярко сохранилось
Одно в блестящей памяти свиданье,
Единственное в некотором роде:
Однажды, нагулявшись вдоволь в парке,
Мы с ней пошли к Варшавскому вокзалу, —
Она меня на поезд провожала
Последний, шедший ночью в Петербург.
Была пора истомная июнья,
Цвела сирень, певучая чарунья,
И, в станционном садике гуляя,
Мы сели на скамейку под кустом.
Сплошной стеной цветущей и душистой
Заботливо кусты сирени влажной
От публики нас отделяли. Злата!
Ты помнишь ли сиреневую ночь?
Лобзаньям нашим счет велся ли в небе?
Что ж нам теперь его не предъявляют?
В уплату жизнь пришлось отдать бы! Злата!..
Ты помнишь ли сиреневую ночь?
Любовью и сиренью упоенье,
Угар и бред, и снова поцелуи,
И полугрусть, и радость, и тревогу,
И исступленность ласк... О, Злата, Злата!
Ты помнишь ли сиреневую ночь?
Соединив в лобзаньи наши лица,
В душистую сиреневую влагу
Бросали, опьяненные... О, Злата!
Ты помнишь ли, ты помнишь ли ту ночь?
Ты не могла забыть ее, я знаю,
И каждый год тебя благословляю,
Предчувствуя грядущую сирень!

На дачу переехав, первым делом,
Я начал строить небольшую лодку
По собственному плану. Наш хозяин,
Крестьянин Александр Степаныч, плотник
Был превосходный. Через две недели
Она была уже совсем готова.
С каютой парусиновой и с носом,
Остро и резко срезанным, похожа
Была своей конструкцией на крейсер.
Я дал названье ей — "Принцесса Грёза".
Она предназначалась мной для наших
Прогулок по Ижорке. Так для Златы
Был приготовлен маленький сюрприз.
Мне флаг она впоследствии в подарок
Андреевский, морской, своей работы,
Преподнесла, и я его хранил
До своего отъезда из России.

Белеет ночь изысканно-больная,
Мистическая, призрачная ночь.
Вздыхает Май, невидимый для глаза,
И отдыхает, лёжа, перед дальним
Путем на юг до будущей весны.
Июнь во всем: и в шепоте дремотном
Зеленых струй форелевой реки,
И в золотисто-желтых ненюфарах,
И в еле уловимых тайных чарах
Пьянительного воздуха ночного,
И в поволоке ненаглядных глаз.
Она поет вполголоса, склоняя
Свое лицо к волне, то сразу резко
Ко мне свои протягивает руки
И прижимает к пламенной груди
Меня, в уста целуя бесконечно,
То шепчет еле слышно, с тихой грустью.
Исполнена мучительных предчувствий:
"О, неужели можем мы расстаться
Когда-нибудь?" — и горько, горько плачет.
Вдали дворец нахмурен обветшалый,
И парк, — из кедров, лиственниц и пихт, —
На берегу реки затих. Он грезит
Пирами императора, когда
Безумствовал державный неврастеник
В тени его приманчивых ветвей.
Как говорит преданье, Павел Первый
В болезненных неистовствах был страшен
И убивал опальных царедворцев
Во время вспышек злой неврастении.

И знает кто? быть может, эти вопли
Нетопырей, летающих над речкой,

Невинно убиенных голоса?
Шумит, шумит падучая стремнина,
Бежит, бежит зеленая волна,
Из-под плотины с брызгами и пеной
Река кристально-чистая течет.
Стремительным течением влекома,
К водовороту льнет "Принцесса Грёза".
Задержана умелою рукою,
Как пёрышко, отпрядывает вспять.
Прозрачно дно реки. Бесшумной стрелкой
То там, то здесь, фунтовые форели
Скользят в воде, и сердце рыболова
В томленьи сладком томно замирает.
Ночь белая, форели, зелень струек
И веянье невидимых жасминов,
И лирикой насыщенные речи, —
Как обаятельна на этом фоне
Неповторимая вовеки Злата!
Из Гатчины, куда к ней ежедневно
Почти ходил, ночами возвращался,
И каждый раз до самой нашей дачи
Меня моя подруга провожала.
Потом мы с нею шли на полустанок,
И в поезде, идущем на рассвете,
Она спешила прямо на работу.
Когда она спала? к моим моленьям —
Беречь себя — она была глухою.

Кончался август. На "Принцессе Грёзе"
Я быстро плыл на почту к полустанку,
И под мостом чуть было не наехал,
С разлёта, на застрявшую там лодку,
В которой было трое пассажирок:
Одна из них была совсем старухой,
Была другая девочкой-подростком,
А третья дамой лет под двадцать семь.
Последняя веслом старалась тщетно
От сваи оттолкнуться. Видно было,
Что лодка их засела очень прочно,
Попав на камень, скрытый под водою.
Я к ним подъехал и по-джентльменски
Им помощь предложил свою, и дамы
Рассыпались в признательности: страшным
Казалось им их положенье. Быстро
Подъехав задним ходом к ним кормою,
Я на буксир взял лодку их, и тотчас
Та с камня соскользнула. Всё случилось
На протяженьи нескольких мгновений.
Средь шуток, сопряженных с катастрофой,
Я с ними познакомился, и Дина,
Сидевшая на веслах, оказалась
Любезной интересною брюнеткой,
Кокетливой, веселой и пикантной.
В деревню мы уже вернулись вместе,
Причем их лодка о бок шла с моею.
Прощаясь, тетка Дины приглашала
Бывать у них, а Дина благодарно
Мне крепко руку сжала, и глазами,
Что я понравился, красноречиво
И выразительно дала понять.

Я вечером сидел, читая, в лодке
И грезил, как всегда, о милой Злате,
Которую я в этот день не видел.
Испуганно я вздрогнул, пробужденный
От грез своих: красивое контральто
Нарушило мечты мои: "О ком Вы
Мечтаете и не меня ли ждете?"
То новая моя знакомка Дина,
Подъехав бесшумно в лодке и швартуясь
У борта "Грёзы", вкрадчиво спросила:
"Переходите же ко мне скорее,
И поплывем куда-нибудь подальше;
Я Вас свезу на остров отдаленный,
На остров голубой и доброй Феи".
По правде говоря, я растерялся
От неожиданного появленья
Ее у нашей пристани, и прыгнул,
Почти не рассуждая, к ней. Плутовка,
Довольная моим повиновеньем,
Лукаво улыбаясь, протянула
Капризным жестом руку, и поплыли
Мы по реке на отдаленный остров...

Не добрая и голубая фея
Владела этим островом, а злая,
Коварная, дурманящая разум,
И было имя этой феи — Бред.
И мы подпали под ее влиянье,
Мы покорялись всем ее причудам,
Безвольными игрушками мы стали
Бесчисленных эксцессов развращенной
Жестоко-похотливой феи Бред.
Я был в бреду: мне диким не казалось,
Что женщина, душе моей чужая,
Меня целует судорожно в губы,
Принадлежащие совсем другой,
И с широко раскрытыми глазами,
В которых пышет явное безумье,
Мне говорит: "Хочу тебя! ты — мой!"
В тот миг мне это диким не казалось,
И не могло казаться: в опьяненьи
Разгулом звучно-чувственных эксцессов.
Я потерял способность рассужденья.
Будь проклят остров чувственной колдуньи
И ты мне адом посланная встреча,
И обольстительная фея Бред!
Из-за тебя я потерял невинность
Своей души, незыблемую верность
Одной, одной! я спутницу утратил —
Незаменимую, родную Злату.

То был сигнал к грехопаденьям сладким, —
Так начался мучительный роман.

Я был в бреду, но, в проблесках сознанья,
Рыдал, в ожесточеньи проклиная
Себя за слабость, каялся, и Злате
В пречистое лицо смотреть не смея,
Готов убить был ветреную Дину.
Однако только слышал шелест платья,
Соблазнами насыщенного, только
Глаза ее, искавшие моих,
Прищуривались наглым обещаньем
Невероятно-извращенных ласк,
Я забывал про все, и к ней в объятья
Бросался, как в кипучий водопад.
Я круто прекратил бывать у Златы,
Не отвечал на письма, сильно запил,
Страдая, упивался новой страстью,
Совсем запутался в противочувствах,
И вскоре переехал с дачи в город,
Где с Диною всю осень провозился,
Когда она, найдя в кафе-шантане
Ангажемент, уехала в Архангельск.
А в октябре пришла ко мне внезапно,
С трудом в себе побарывая гордость,
Проститься — мной утерянная Злата.
"Родной мой, я пришла к тебе проститься.
Не говори, избавь от объяснений.
Не надо их: мне слишком больно, милый.
Ты прав всегда, неправым быть не можешь.
Не надо оправданий, чтобы ложью
Не осквернял ты уст своих правдивых.
Прости меня за дерзость: я не это
Сказать хотела; лгать ты не умеешь;
Ты прав всегда, и ты всегда мне дорог.
Ты честный, чудный, чистый, справедливый.
Во всем виновна только я: я грубо
Нарушила, родной, твое доверье:
Тебе я изменила пятикратно.
Прости меня, молю, тебе я больно
Своим признаньем делаю, любимый,
Но я такая грязная. Мне дурно,
Дай мне воды, пожалуйста. Спасибо.
Я гадкая, я скверная. Не стою
Тебя совсем. Родной мой, я проститься
К тебе пришла, сказать, что неизменно
И несмотря на все свои паденья,
Люблю тебя. Благословенье Божье
Да будет над тобой. Прости от сердца
Меня, и я уйду с твоей дороги". —

Какую боль она мне причинила
Своими, сердце рвущими, словами!
Как я ее на миг возненавидел
И, проклиная, в ослепленьи гнева,
Занес над нею руку, чтоб ударить
В лицо красивое и дорогое.
Но я сдержался и, в изнеможеньи,
Заплакав горько, жалобно, по-детски,
Упав к ее ногам, молил вернуться
И восклицал: "Неправда! О, неправда!
Ты на себя клевещешь! невиновна
Ты в возведенных на себя проступках.
Скажи мне, успокой, что ты все та же:
Моя непогрешимая, святая...
Вернись ко мне"... Но скорбно головою
Склоненная, она сказала: "Нет,
Я не вернусь, я не могу вернуться:
Я — падшая!.." и, не окончив фразы,
В рыданьях содрогнулась над столом.
Я восклицал: "Не верю! быть не может!
Ты — чище чистоты самой. Но, если, —
Хотя я этого не допускаю, —
И изменяла мне, о, неужели,
Любя тебя, я не найду прощенья
И оправданья в сердце, живом только
Тобой одной, тем более что сам я
Действительно преступен пред тобою?!.."
Я Злате рассказал о встрече с Диной
В подробностях во всех чистосердечно,
Молил ее, — была неумолимой,
И, о любви своей твердя упорно,
Меня благословив, простив и плача,
Она ушла — и погрузилась в ночь.

О, Боже! Упокой в раю лазурном
Классическое счастье; что убито
Разнузданными чувствами моими,
И легкомыслие мое, и юность,
И слабость пред соблазном оправдай.
О, Боже! Упокой в раю лазурном
До Своего Пришествия Второго
Все наши речи нежные, все мысли
Друг другу предназначенные, радость
Свиданий вешних, ночи съединений
И душ, и тел по Твоему Завету.
Любви же нашей Ты, о Милосердный,
Великий Бог, свершивший чудо встречи
Двух половин единственной души,
Дай вечно жить и сотвори ей память
На веки вековечные. Аминь.

Часть II

Моя сестра единственная Зоя
Скончалась девятьсот седьмой весною.
Молниеносным цереброспинальным,
Смертельным менингитом сражена.
Ей было только тридцать два, и эта
Внезапная нелепая кончина
Произвела большое впечатленье
На всю семью и всех знакомых наших,
Ее любивших искренне. Сраженный
Несчастьем, я забыл совсем и думать,
Что умерла она без завещанья,
И потому наследства я лишался:

Дом перешел к двоюродному брату, —
Имущество ведь было родовое.
Мы с мамой переехали, немедля,
В излюбленную Гатчину на дачу.
Светлейшая грузинская княгиня,
Рожденная немецкая графиня,
Две комнаты сдала в своей квартире.
Она была художницей. Любила
Искусство, но была "toquée" немного,
Притом нередко сильно выпивала.
Лет сорока, сановника вдовою
Оставшись, замкнуто, уединенно
На пенсии жила. Ее рассказы,
Исполненные образности, дали
Впоследствии мне тему для поэзы.
Она ко мне весьма благоволила,
И часто с нею, сидя на балконе,
Беседовали мы до поздней ночи.
Но беспокойный княжеский характер
И постоянные его причуды
На нервы наши, Зоечкиной смертью
Расшатанные, действовали скверно, —
И через две недели, вняв советам
Знакомого профессора, мы с мамой
Себе другую дачу подыскали,
Покинув ее сумрачную Светлость...

Тогда к нам часто приезжали гости:
Профессор пенья, древний киевлянин,
Противник существующей системы
Горизонтальной нотной, реформатор
С проектом вертикальных начертаний,
Фанатик преводимой им идеи;
И штаба генерального полковник.
Спирит и мистик, Зоечку любивший
Так безнадежно, в культ воздвигший имя
Ее, к нам приезжал еженедельно;
Затем, подруга Зои, институтка,
Большая меломанка и лингвистка,
Эстетка Александра Алексанна,
Моих прогулок спутница, природу
Красиво понимающая, тоже
Гостила в это лето две недели.

Однажды с ней, направясь к Приорату,
Мы шли по городу. У госпиталя
Дворцового я встретил даму в черном,
Которая, завидев в отдаленьи
Меня, внезапно круто повернула
И прочь пошла знакомою походкой.
Узнал я в даме Злату. Дорогая!
Что побудило новое страданье
Мне причинить? Зачем ты отвернулась
От любящего сердца? Ах, в то время
Ты мне была особенно желанна:
С кончиной Зои, круг друзей по духу
Вновь сузился, и ты была так кстати.

Я чуткой Александре Алексанне,
Участливо спросившей о печали,
Поведал скорбное повествованье
Нарушенного, встречей с Диной, счастья.
Над озером мы долго с ней сидели,
И гладила она мне мягко руки;
И траур, по моей сестре носимый
Так свято ею, одухотворенный
Прелестный тонкий профиль оттеняя
И делая лицо еще бледнее,
Являл Печали олицетвореньем
Изысканную строгую фигуру.
Она меня любила, мне казалось,
Уже давно, и, может быть, признанья
Мои ей тоже причиняли боль...

До октября мы прожили на даче,
И с камеристкой фрейлины царицы,
С шатенкой Лизой, девушкою стройной,
Живущей рядом с нами, как-то ночью
У нас в саду я встретился в предгрозье,
И познакомился непринужденно.
Мы стали с ней друзья. Она в минуту
Свободную шла в сад ко мне, и часто
В беседах проводили мы все ночи.
Она была тогда уже невестой,
Но чувствовала сильное влеченье
Ко мне и дружбу. Даже целовала
Меня не раз, но чистым поцелуем,
И никогда у нас не возникало
Предположенья сблизиться телесно.
Я после приезжал к ней даже в гости.
И с ней встречаться было мне отрадно:
Она была хорошим человеком.

Я получил письмо по почте. Зина,
Сестра певички Дины, та, что в лодке.
На камень севшей, девочкой-подростком
Была мной обозначена, свиданье
На набережной, у канавки Зимней,
Мне назначала. Жил я одиноким,
Ведя отшельнический образ жизни,
Лишь в опере по-прежнему бывая,
Но, новым сердцем заинтересован,
Пошел охотно выслушать мотивы,
В нем ныне возникающие смутно.
В семнадцать лет она была блондинкой
Миниатюрной, полной, не лишенной
Пленительности. Очи голубые
Смотрели так безгрешно и открыто.
Ноябрьский снежный вечер над Невою
Уже сгустил свой лиловатый сумрак,
И возвещали дальние куранты
Грядущий час вечернего гулянья.
Меня остановила Зина первой, —
Рассеянно чуть не прошел я мимо;
Мы прогуляли с нею целый вечер,

И от нее я выслушал признанья
В любви давнишней, "с первого же взгляда"...
Она жила одна у старой тетки,
Вдовы какого-то там адвоката;
Мне Зина приглянулась, и тогда же
Я предложил ей переехать в Пудость,
Она охотно сразу согласилась,
И вскоре мы поехали в деревню,
Где Александр Степаныч, тот крестьянин,
Что строил мне мою "Принцессу Грёзу",
В своей избе возвел перегородку
(Большая дача не имела печек)
И Зина поселилась там в уюте
И теплоте, а я из Петербурга
В неделю раза два к ней начал ездить.

Любил ли я ту девочку? Конечно
Я всех любил по-своему. И как бы
Я мог брать женщин без любви взаимной?
Единственной любовью и бессмертной,
И неизменной я любил лишь Злату,
И к ней любовь — с другими вне сравнений.
Но ведь из этого не вытекает,
Как следствие, что я остался верен,
В отсталом смысле, лишь одной и сердце
Свое живое умерщвлял ненужным
Ни мне, ни Злате воздержаньем страсти
И нежности. Без женственных касаний
Моя душа художника зачахла б.
Мне с Зиночкой уютно было: томной
Она меня окутала любовью,
И я любил ленивые движенья
И теплоту ее объятий сильных.
Она была земною, равнодушной
К искусству и мещанкой в полном смысле.
Но все же с нею изредка приятно
Встречаться было мне.

Полковник Дашков,
Спирит и мистик, Фофанова стансы
Одни, любимые моей сестрою,
Напомнил невзначай и предложил мне
Поехать познакомиться с поэтом,
В то время жившим в Гатчине. Мы к Зине
Заехали позавтракать, с собою
Смурова корзину взяв с мадерой
И разными закусками. Оттуда
Пошли мы лесом, в сумерки к поэту.
...Шлагбаум. Рельсы. Старая часовня.
Ноябрьский вечер. Звезды и луна.
Навстречу мужичок в тулупе теплом,
Дубленом, в валенках, в лохматой шапке.
— "Не знаешь ли, любезный, где живет тут
Писатель Фофанов?" — Проникновенный
Взгляд мужичка на нас из-под очков,
И еле уловимая усмешка:
— "Я — Фофанов"...

О, Константин Михалыч!
Да разве Вас забыть я в состояньи?
Ведь Вы такая прелесть, в самом деле! —
Герой, пророк и русский мужичок,
И с головы до ног — поэт великий!
Герой Вы потому, что не страшились
"Великих мира бренного сего",
И хлесткие, и злые эпиграммы
Говаривали часто в лица людям,
Стоявшим у кормила черной власти;
Пророк Вы потому, что предсказали
Мне будущность мою, ее предвидя,
Не ошибаясь в людях, с кем случалось
Встречаться Вам на жизненном пути;
И потому Вы мужичок российский,
Что им родясь, гордясь происхождением
Своим, Вы все условности отвергли,
И своему мужицкому наряду
Остались верны в простоте душевной;
Поэт Вы потому, что Вы... поэт!

Он нас повел к себе, где познакомил
С женой и сыном Костей. Этот мальчик,
Впоследствии Олимпов, футурист,
Сошел с ума, когда отец скончался;
Пункт — мания величья. Вырожденцем
Он несомненно был. Его мне жаль...
Детей всех было девять. Я их знаю.
Мне больше нечего о них сказать...
Жена поэта Лидья Константинна,
Седая в сорок лет, производила
Тяжелое, больное впечатленье;
Она пила запоем и держала
Себя совсем безнравственно. Не должен
Я это скрыть, — совсем наоборот.
В причинах, право, трудно разобраться:
То ли поэт споил подругу, — то ли
Она его — судить об этом трудно.
Несчастная семь раз с ума сходила.

Восторженно приветствовал Поэта
Во мне экстазный Фофанов! И в первый
Знакомства день мне посвятил акростих.
Четыре года с этих пор мы были
Знакомы с ним. Его я видел разным:
Застенчивым, когда бывал он трезвым,
Нередко гениально-вдохновенным,
В минуты опьяненья невозможным:
И наглым, и воинственным, и зверским.
Но все же доброта его бесспорна,
Талантливость ярка, и разум ясен.
Он написал мне двадцать посвящений,
Гостил по дням, не пил, случалось, вовсе,
Причем дырой зияла эта трезвость
На нашей жизни, и ее чинили
Надежною заплатой опьяненья:
Чинили мы, как истые поэты
Ухабно-карусельные попойки...

По-прежнему меня тянуло к Злате,
По-прежнему исполнен был я ею,
О чем твердят весьма красноречиво
Того периода мои поэзы.
И вот, не в силах сдерживаться больше,
Попал я как-то снова к Тимофею, —
Спросить его о ней мне захотелось,
Прочувствовать ушедшее былое,
Возникшее у дворника в подвале.
Знакомая прекрасно обстановка
Отчаянье такое всколыхнула
Во мне, что стал я пить, и в результате
Допился до потери представленья
Где я, зачем и что со мной... В разгаре
Попойки (видно было так угодно
Судьбе моей!) раскрылась дверь и Злата
Предстала перед нами на пороге.

Я смутно понимал тогда; однако
От встречи получилось впечатленье
Тяжелое: любимая, сначала
Застывшая безмолвно, и с тоскою
Смотревшая на оргию, вдруг резко
Какое-то ударное по сердцу,
В негодованьи, мне швырнула слово,
И скрылась, хлопнув дверью возмущенно.
Та встреча предпоследней оказалась:
Спустя семь лет, мы встретились последний,
Последний раз — на несколько минут.

Опять весна, вторая после счастья,
Испытанного с вечно дорогой,
Опять весна пришла, и сердце снова
Упилось пламным солнечным вином.
Опять сморчков коричневые губки
Набухли на опушке лесовой,
Опять подснежники заголубели,
И вся земля опять пошла вверх дном.

С Перунчиком, поэтом-анархистом,
Моих же лет, с которым я случайно
У Фофанова сблизился весною,
Уехали мы в Пудость, где избушку
На курьих ножках сняв, ловили рыбу,
Мечты, стихи и девок деревенских!
Еще в начале года я расстался
С любовницею третьей: поведенье
Ее меня принудило. Хозяин
Избы такие сообщил мне вести,
Что поступить иначе я не мог бы...

Кума Матреша (с нею мы крестили,
У лодочного мастера, ребенка)
По вечерам в избу к нам забегала
Поговорить, попеть и посмеяться
Исполнилось ей только восемнадцать;
Она имела средний рост; фигурой
Была полна немного; но красивей
Матреши — девки не было в деревне.

Я называл ее Предгрозей: имя
Я произвел от душного: "предгрозье".
Она томила, как перед грозою
Томит нас воздух. Всей душой простою
Она меня любила, и немудрой
Была любовь моей ингерманландки.
Два лета мы любились. Много песен
О ней пропето, много поцелуев
Друг другу нами отдано взаимно.
Ах, хороша была кума Матреша!

Андрей Антоныч, краснощекий мельник.
Катюлиньку любовницей имевший,
Печальную и скромную простушку,
Наш постоянный ярый собутыльник.
Вдруг воспылал к моей Предгрозе страстью
Ответной в девушке не возбуждая;
И как-то раз, во время запоздалой
На мельнице пирушки нашей, вздумав
Меня убить из ревности, огромным
Ножом взмахнул над головой моею.
Перунчик, благородный мой приятель.
Взревел, как тигр, и мельника за плечи
Схватив, швырнул под стол, чем спас мне жизнь.
С утра, чуть свет, пришел Андрей Антоныч
В избушку к нам с мольбою о прощеньи,
И я, его отлично понимая,
Сердиться и не думал. В этот вечер
Веселую справляли мировую,
И с той поры не трогал он Предгрози.
Ко мне питая искреннюю дружбу.
Хорошее, читатель, было время!
Свободными мы были удальцами,
И наши юношеские проказы
Отмечены в моих воспоминаньях
Отвагой, благородством, прямодушьем.
Прошло еще два года. Много женщин
Дарили мне любовь свою и нежность:
Annette, похожая на гейшу; Olli,
Эстеточка с эгреткой; Карменсита,
Мучительница сладостная; флёртом
Щекочущая мозг синьора,
И Шура с изумленными глазами,
И Паня с оскорбленными устами,
И Ланочка, и Дунь, и Maricon...
Достаточно. Довольно. Дальше-дальше.
Все это только сладостные миги,
Все это пусто, кратко и мишурно,
Не настоящее какое это.
Я вспоминаю день иной, сыгравший
Большую роль в моей дальнейшей жизни,
Я вспоминаю день прихода Лизы,
Сестры моей боготворимой Златы,

Я вспоминаю день начала с нею
Значительного, властного романа.

Она пришла семнадцатой своею
Невинной и мечтательной весною,
Она пришла, как раненая серна;
В своей любви нашедшая фиаско,
Она пришла доверчиво, порывно,
Влекомая ко мне интуитивно;
Она пришла, как девушки приходят
В Храм Божий или к Божьему поэту.

Князь Русов кирасир императрицы,
Мисс Лиль полгода тонко развращая,
Обратного добился результата:
Он пробудил к себе в ней обожанье.
Когда ж ему наскучила малютка,
Жениться вздумал на аристократке,
И с Лизою порвал, как подобает
Вельможе, очень грубо, очень резко.
Возмущена сиятельным коварством,
Она, не долго думая, в порыве
Негодованья, ранила кинжалом
Князька в плечо в его же кабинете.
Но тусклый князь здесь поступил, как рыцарь:
Замяв пустячный инцидент с девчонкой,
Он просто приказал лакею Лизе
Подать пальто и проводить до двери.

И вот она пришла ко мне и, плача,
Мне рассказала о своей обиде,
О поруганьи девственного чувства.
Она пришла, как раненая серна,
Она пришла, как девушки приходят
В храм Божий или к Божьему поэту.
— "Я лишь двоих люблю на этом свете",
Сказала Лиза просто: "Вас и князя.
Вы мне всегда, еще в эпоху Златы,
Казались небывалой в мире болью".
Из слов ее узнал, что Злата замуж
За видного чиновника из банка
Назад три года вышла и имеет
Уже ребенка: девочку Тамару.
Я был сражен: она ведь этим шагом
Со мной кончала навсегда. Жестокость
Ее мне причиняла снова муки.

Последняя растаяла надежда,
Пусть смутная, на наше примиренье,
На съединенье в будущем, пусть — дальнем.
И странным мне казалось: Злата, чище,
Добрей кого мне не встречалось в жизни,
Вдруг эта Злата, благостная Злата,
Способна на жестокости. Как странно!..
В тот раз, как мог, я успокоил Лизу
И, всматриваясь в личико, с сестрою,
С ее сестрой, мне причинившей горе,
Нашел большое сходство. Послужило
То обстоятельство причиной — новой,
Глубокой связи с девушкою Лизой.

Мила мисс Лиль в английском синем платье,
Фигуру облегающем вплотную,
Когда она идет со мной по парку
С вокзала, где она меня встречала;
Мила мисс Лиль с пикантной черной мушкой
У верхней губки; маленькой головкой
Каштановой качает грациозно;
Высокая и гибкая, вниманье
Всеобщее невольно привлекает;
Мила мисс Лиль, идущая со стэком
В бледно-лимонной лайковой перчатке,
Картавящая щебетно, как птичка,
Кокетливые глупенькие фразки;
Мила мисс Лиль в раздумии тяжелом,
Когда, отбросив глупости, так ясно
И глубоко умеет видеть жизнь.

"Мой милый друг, пожалуйста, немного
Побудь один и поскучай, — я вскоре
Вернусь: мне надо экстренно работу
Снести", — стрекочет девушка, и, шляпу
Надев, сбегает с лестницы. Смеются
За дверью голоса, и оживленно
Две незнакомки в комнату вбегают;
Конфузятся, меня завидев. Робко
Одна из них, постарше, жмется к двери;
Другая... Но ведь это ж упоенье!
Сиреневый шифон небрежно брошен
На тонкую, точеную головку;
Ее прическа с правильным пробором
В ней выдает шатенку; брови стрелкой
Лицу, так в меру, долю изумленья
Сурово придают; в лице тончайшем
Ирония и страстность; ноздри горды.
— "Ушла надолго Лиза?" — мне казалось
Спросила не она, а жемчуг зубок:
Так ослепительно они сверкнули.
— "Нет, вскоре будет. Вы, mesdemoiselles,
Любезны будьте сесть". — Pardon, я дама,
А вот подруга — барышня. Садиться
Не станем мы: в такую ли погоду
По комнатам сидеть? Мы в парк стремимся.
А Вы, пожалуйста, ей передайте...
Нет, впрочем, нет: гораздо лучше, право,
Чем здесь скучать Вам одному без книги,
На полчаса пройтись, — вернемся вместе". —

Я был в восторге от ее отваги
(Сказали бы "нахальство" фарисеи!),
И мы втроем ушли. Я не вернулся
В тот день к мисс Лиль. Я не пришел ни завтра,
Ни через десять дней. Лишь через месяц

Мы увидались вновь, чтоб не расстаться
Семь новолуний. И виной — Инстасса...

Да, мы ушли втроем. Но день весенний
Был так пригож, был так горяч и золот,
И у Инстассы под сиренью газа
Блестели так приманчиво и важно
Большие темно-серые соблазны,
И так интимно прижимала руку
Мою она, что мы... вдвоем остались:
Подруга поняла, что нам помехой
Является она: на перекрестке
Ближайшем поклонилась и исчезла.
А мы пошли не в парк, а в чащу леса,
Откуда целый вечер, ночь и утро
Дороги не могли найти обратной:
Мешала страсть, затмившая глаза!
Дня через два приехала Инстасса
Ко мне на час, и ровно три недели,
Захваченная страстью, прогостила.
Была ль то жизнь? Я думаю, скорее
Ее назвать сплошным дурманом можно:
Болели губы от лобзаний страстных,
Искусанные в кровь; бледнели лица,
И не работал мозг в изнеможеньи.
Но ревность Инсты так была несносна
И так дика, и так невероятна,
Что я устроил бунт, и мы расстались
Молниеносно с пламенной Инстассой.
Впоследствии, однако, с ней друзьями
Встречались мы, когда на содержанье
Ее взял князь... Атракцион-Цимлянский.
Я отдохнуть хотел от связи с Инстой
И написал покаянные строки
Своей мисс Лиль. Смущенно улыбаясь,
В мой дом вошла незлобивая Лиза.

Великий Римский-Корсаков и Врубель,
И Фофанов скончались в эти годы,
И благовестом звонов погребальных
Гудели необъятные пространства.
Три гения, как светочи, погасли.
Их творчество трехгранно, триедино.
И души их, насыщенные Русью.
В слиянии своем — уже эпоха.
Ах, незабвенны Александра Блока
Слова над свежей Врубеля могилой:
"Лишь истый гений может в шуме ветра
Расслышать фразу, полную значенья".
Все трое обладали этим даром
И постоянно вслушивались в ветер,
Отображая в творчестве тот голос,
Который изъясня России душу:
Ведь русский ветер веет русским духом.

Роман с мисс Лиль, неровный и волнистый,
То в нежных замираньях, то во вспышках
"Чудовища с зелеными глазами",
Как говорит Шекспир про ревность, вспышках
Моей косматой ревности, дремавшей
До той поры, и Лизой пробужденной,
Благодаря былой новелле с князем;
Роман с мисс Лиль, нам давший темень муки,
В которой искры счастья слишком тусклы;
Роман с необъяснимым недоверьем
К ее словам и взорам, и поступкам,
Тем более что в скверном не заметил
Ее ни в чем, был прерван новой встречей:
Взошла Мадлэна на престол фатальный
Моей души тревожной и мятежной,
Моей души, как вихрь, неугомонной.

Мой дар расцвел в ту пору полным цветом,
И ею вдохновленные поэзы
Мне дали имя. Я судить не стану
О наших отношеньях, не приведших
К взаимности, как я ее трактую.
Не стану я судить Мадлэны строго,
Чтоб не сказать ей много неприятных
И едких слов: к чему? — Ее кузина
Тиана ей сказала их немало
В мою защиту. Я отмечу только,
Что с мужем, к сожаленью, слишком поздно
По-моему, она рассталась: сердце
Свое тогда Тринадцатой я отдал.
Еще отмечу, что, не помня злого,
Я навсегда признателен Мадлэне
За ею принесенную мне Славу.
И до сих пор не гаснет наша дружба.
И ныне в Юго-Славию, в Апатин.
Я ей пишу желанно, получая
Печальные, молитвенные письма.
В одном из них из старого романса
Цитата, — "Бога ради, ей подайте:

Она была мечтой поэта", — больно
Мое кольнула сердце. О, Мадлэна!
Не плачьте, не тоскуйте: было надо
Должно быть поступить, как поступили
Со мною Вы... Я вас не обвиняю.
С мисс Лиль расстались мы по доброй воле
Ее: она, заметив чутко склонность
Мою к Мадлэне, больше не хотела
Жить у меня. Я нежно, осторожно
Придерживал ее, но было тщетно:
Она ушла. Я, стоя на коленях,
Рыдая, провожал ее. И плача
Ответно, Лиза долго колебалась,
И вдруг ушла, стремительно ушла...
Смущен одним: как сообщает Злата,
Она сказала ей: ее я выгнал
И даже... надругался... Спорить с мертвой
Я не могу, — я просто умолкаю.
А что касается ее ребенка,

Меня письмом ее сестра просила,
В тринадцатом году, о нем подумать.
Я жил тогда на мызе "Пустомерже", —
У старенькой княгини Оболенской, —
С той женщиной, которая имела
Ребенка пятимесячного, дочку
Мою; та, несмотря на уговоры
И просьбы взять малютку, энергично
Противилась. То ревность или глупость?
Во всяком случае — жестокосердье.

Так шли года, и женщины мелькали,
Как лепестки, под ветром, с вешних яблонь:
Княжна Аруся, Сонка, Валентина
И Нефтис, и Гризельда, и Людмила,
И Фанни, и Британочка, и Вера,
И Ната, — и я всех имен не помню.
Я не со всеми был телесно близок,
Но так или иначе с ними связан,
И много филигранных ощущений

Вы, милые, вы, нежные, мне дали.
Я вспоминаю всех вас благодарно.
Так шли года, и год пришел Всемирной
Войны. И Лиза вновь пришла к поэту,
Спустя три года, добрая все та же
И любящая так же, как и прежде.
Она звала к себе меня. И как-то
В компании собратьев-футуристов,
Чудесно пообедав у Эрнеста,
Заехал я за нею в лимузине.
Эгисты поджидали на площадке.
Я позвонил, — мне дверь открыла... Злата!
Она меня войти просила. Лизы
Не оказалось дома. Как в тумане,
Я к ней вошел. Вошел угаслый, вялый
И бледно вспоминающий былое...
И было в этом что-то роковое...
Я был не трезв и утомлен. Неясно
Соображал. Мне все казалось сном.

Спустя семь лет, в Эстонии, в июле,
Пришло письмо от Златы из Берлина.
Откуда адрес мой она узнала?
Но своего мне не дала. О, Злата! —
О, Женичка! Твое письмо — поэма.
Я положил его, почти дословно,
На музыку — на музыку стихов:

Письмо Златы

Hermsdorf, 6 июля 1921 г.

Родной мой! Все твое, что в нашей скудной
Читальне зарубежной я нашла,
Я прочитала. Чистый, благородный
Мой друг, спасибо. Оказалось ложью,
Что грязью ты забрасывал меня.
А эта мысль пятнадцать лет терзала
Меня, и я, под этим впечатленьем,
К твоим стихам боялась прикоснуться.
Не странно ли, что я пишу тебе,
Когда уж все давным-давно забыто?
Я чувствую, ты горе перенес,
И ты поймешь меня, я в это верю.
Душа твоя скорбит, и, значит, ты —
Мой брат, душе моей родной и близкий.
О, правильно пойми меня: ведь мне
Не надо ничего; я знаю — поздно.
Поэтому мне легче говорить,
Забытую потерю вспомнить легче.
Я расскажу тебе, что на душе
Давно уже лежит тяжелым камнем.
Я одинока в мире. Я живу
Лишь для детей, для девочек двух бедных;
Имею мужа, чуждого душе;
Меня он любит искренно и нежно,
В ответ себе не требует любви, —
И я ему за это благодарна.
Моих детей он любит, как отец,
Заботится о них; он свято верит
В порядочность мою, и твердо ждет,
Что полюблю когда-нибудь его я, —
Но благородство умерло во мне...
Ведь одинокой женщине детей
Воспитывать, родной мой, очень трудно;
Нет мужества, нет силы мне одной
Идти путем тернистым. Пред глазами
Стоят примером детские года
Мои и юность. Ты, конечно, помнишь,
Что матери и дома, и отца —
Всего была я лишена. Уж с детства
Я ощущала пропасть. Было жаль
Мне маленьких моих сестер — сироток,
Но я была бессильна им помочь.
Ты знаешь все, ты многое сам видел.
Ты, помнишь, к нам пришел — такой простой.
С открытою душою, добрый, равный.
И гордости, ах, не было в тебе.
Ты был красив своею простотою,
Душа была красива и светла.
Но ты был молод: ширь твоей натуре
Была нужна и бурно жизнь влекла.
Тебя я полюбила, избегала
Тебя, тебе отдаться не хотя:
Я видела те разные дороги,
Которые судьбою были нам
От века предназначены, но, вместе
С тем, видела и сходство наших душ.
Я отдалась тебе самозабвенно:
Ты был моей любимою мечтой.
Так время шло, и ты во мне подругу,
Хорошенькую девочку любил,

Горячие даря мне ласки; все же
Рвалась от боли вся моя душа:
О, неужель, мечта моя, душою
Своею мук моих не видел ты?
А жизнь влекла тебя. Исполнен жизни,
Ты рвал цветы, не всматриваясь вглубь.
Родной мой, согласись, что много старше
Тебя была я в жизни, и душа
Моя перенесла гораздо больше.
Еще ребенком видела я горе
Моей любимой мамы. Я искала
Возможности помочь ей. Уж тогда
Работала и, если удавалось
Ей пособить, бывала так горда.
Прося меня заботиться о сестрах
Моих, малютках, мама умерла.
Была я впечатлительной: все беды
И горе камнем на душу ложились.
Сестру мечтала вырвать из болота,
Из дома пьяницы-отца, и не погибнуть
Самой при этом. Ах, не в это ль время
Явился ты! Тебя не обвиняю:
Мы отдались взаимно. Ты дороже
Всего на свете был мне. Задала я
Себе вопрос: имею ли я право
Твою свободу брать. Мне подсказала
Душа, что разные у нас дороги,
Что жизнь лишь начинается твоя,
Что на твоем пути я помешаю
Тебе. К тому же мамочка твоя,
Тебя боготворившая, казалось,
Мои же мысли повторила. Вот
Тогда, решив уйти бесповоротно,
Твоей дала я маме тут же слово
Не видеться с тобою больше впредь.
Ты помнишь день, когда к тебе пришла я?
Те черные слова неправдой были:
Твоей была тогда я, лишь твоей!
Оставила тебя с какою болью!
О, как тебя любила, как звала я!
Ведь каждый нерв во мне тобою бился!
Мучительно мне было, больно, душно,
Но я сумела жизнь свою убить.
В страданьях этих я терзалась долго.
Я видела, что ты меня все помнишь;
Ты чуткий ведь, не чувствовать не мог ты
Моей любви, вернуть меня хотел.
Чтоб отступленья путь себе отрезать,
Я делаю жестокость: я ищу
Все способы убить в себе святое,
Себя стараюсь, тщетно, развратить,
Хочу бездушной быть... Их было много,
Желавших тело юное мое.
Я холодна, и это их манило.
Я самого развратного в мужья
Себе избрала. Был меня он старше
На восемнадцать лет. Предупредила,
Что я ему отдамся без любви, —
И в этом было главное условье.
О, как его я презираю! сколько
Отвратности и мерзости в прожившем
Аристократе этом я нашла!
Я с ним жила семь лет. Те дни ужасны.
Но и тогда тебя я не забыла:
Чем больше в жизни видела я грязи,
Тем для меня ты делался дороже.
Я так могла погибнуть, но, на счастье.
Была со мною девочка моя,
Которая, мне согревая душу,
Ко мне тянулась ласково, и боль
Стихала в сердце. Я ей говорила,
Как взрослой, о любви моей больной.
Мне было легче. Тихая я стала.
Мне стало жаль себя. Благословляла
Тебя, мечтой жила, любила тихо.
И был со мною ты в моих мечтах.
Не видела и не слыхала больше
Я ничего. Две жизни будто были:
Священная и светлая одна,
Другая — вся в грязи и в черном мраке.
Ах, если б не один тяжелый день!..
Ты помнишь, друг мой, Гатчину? По делу
Приехала к отцу, и там случайно
С тобою повстречалась. Точно стон
Вдруг вырвалось, так больно оскорбляя
Тебя, из уст моих плохое слово:
Во мне боролись вечная любовь
И ненависть. В тот миг я презирала
Тебя. Зачем же ты пришел т у д а?
Зачем, зачем, мечта моя, любовь!
Вся гнусность лживых писем анонимных
Меня невольно думать заставляла,
Что ты... Ведь были сестры мне они,
Любимые, меньшие. Вновь мученья
Ты мне принес. Потом... потом... Потом
Она жила с тобой! Мне безразлично
И пусто стало всё. Я потеряла
Последнюю надежду. Как укор
Моей ошибки, ты стоял пред мною.
Мне было страшно, что обета маме,
Мной данного, исполнить не могла я, —
Я им не помогла, я их столкнула
В трясину, в бездну. Мне о н а сказала,
Что взял ее ты чистой, надругался
И вышвырнул. Ты не признал ребенка.
Как было больно. Жизнь меня учила
Прощать... врагов: и я тебя простила.
Скончался муж, и я вздохнула легче.
Моя душа не знала вовсе боли:
Она была чиста. Мы были квиты.
И ожили опять воспоминанья,
И устремились вновь к тебе мечтанья,
И совладать я не могла с порывом:
К тебе, к тебе, к тебе хотела я!

Я выхода искала, и кружилась
В смятеньи голова. Их было много
И в этот раз, как некогда, бездушных
И бедных мальчуганов, так хотевших,
Меня себе в супруги получить.
Все думали они, что я богата,
Но, кроме двух детей, я не имела,
Поверь мне, ничего. Я им сказала,
Как я бедна, что жаль губить их юность,
Сказала всё. Один из них упорно
Не пожелал уйти: — "не оскорбляйте",
Он мне сказал: "как редкостную душу,
Как благороднейшего человека,
Я Вас люблю". Он обещал быть детям
Заботливым отцом. О, я боролась
С моей к тебе любовью долго, долго!
И я себя на время победила, —
Я согласилась быть его женой,
Себе же поклялась себя заставить
Его любить за честность, и навеки
Тебя, любимый друг мой, позабыть.
Но видишь, нет, любить его не в силах,
Ведь прежняя не заживает рана,
Она, должно быть, слишком глубока.
И я ему сказала откровенно,
Что не люблю его, что ненавижу,
Что каждое его прикосновенье
Наносит боль душе моей, что мы
Должны расстаться. Он тогда уехал
В Германию. Я думать не хотела
О будущем. Не знаю, что тянуло
Его ко мне, но он писал мне письма.
Исполненные трогательной просьбы.
Он в них писал, что ничего не хочет,
Лишь бы была я около него.
Тогда решила я к нему поехать.
Все дорогое мне в России бросить,
На время позабыться. Мне с тобой
В последний раз хотелось повидаться.
Чтоб в душу заглянуть твою. По просьбе
Ее пришел ты. Но не для н е е,
А для себя, мой друг, тебя ждала я,
Ждала тебя увидеть одного,
Последнее "прости" тебе промолвить.
Но ты пришел со свитою, боясь
Чего-то. Ах, не чувствовал ты разве.
Что жизнь твоя была мне дорога?
Тебя я не узнала: бурной жизни
Следы отпечатлелись на лице,
И холодно-насмешливо блестели
Твои глаза. Любимый! ты сказал,
Что ты искал меня, что для тебя я
Хотя и умерла, — в воспоминаньях
Еще живу. Что я могла ответить?
Ты ведь мыслитель: как же ты не понял
Моей большой любви?!.. Что уезжаю,
Из слов моих ты знал, но, вместе с этим,
Я не нашла в глазах твоих привета.
Сердечного и теплого "прости".
Лишь пару слов холодно-грубоватых
Ты бросил мне. Но разве я хотела
Чего-нибудь? Я разве собиралась
Былое, миновавшее, вернуть?
К чему же ты сказал: "Теперь уж поздно"?
С тяжелым сердцем мне пришлось уехать...
Настали дни ужасные: шесть лет
В чужой стране, холодной и бездушной,
Совсем одна, наказана жестоко...
Так девятьсот двадцатый год настал,
Когда мне удалось до Петербурга
С трудом доехать. Я нашла детей,
Сестра покончила с собой; ребенок
Полуголодный умер, и тебя
Считали все давно уже погибшим.
Как пусто и как холодно душе!
Я вскоре возвратилась. Я сказала
Себе: "Будь гордость проклята вовек!
О, если бы ты жив был, мой любимый,
Тебе я рассказала бы свой грех,
Что много лет лежит на сердце камнем.
Но вот твоя "Отчаянья поэза"
Меня так громоносно поразила.
Ты жив, родной! но ты сердечно болен.
Ты много горя перенес, ты страждешь...
Всегда родной, ты стал еще родней.
И в тот же миг тебе писать решила.

Порыв проснувшихся священных чувств!
Прости меня, не смейся, ведь как другу,
Не как мужчине, я к тебе пишу.
Мы умерли, я знаю это твердо
И чувствую, что — поздно... Говорят мне
Твои все книги о твоей душе,
О благородстве, Долг мой — отозваться.
Вот жизни крест, и может быть, в страданьях
Заключена ее же красота.
Удел наш человеческий — тернистым
Путем идти. Да жизни тот не знает,
Кто пережить ее не мог. Прости,
Быть может, я нарушила покой твой,
И человеку близкому, быть может,
Невольно больно сделала, как знать.
Тогда скажи ей — пусть простит: ведь это
Раскаянья последние мои,
Лишь исповедь. Ты должен знать об этом
Давно тобой забытом, я хочу,
Мне трудно жить все время с этим камнем...
Прощай!

— Вниманье! Автор говорит:

Моя любовь — падучая стремнина.
Моя любовь — державная река.
Порожиста порой ее равнина.
Но в сущности чиста и глубока.

Колокола собора чувств

Автобиографический роман в 3-х частях

Два предисловя

1

Когда я в стихах фривольно
Пишу о минувшем дне,
Я делаю многим больно,
Но делали боль и мне...

Ведь все-таки я ироник
С лиризмом порой больным...
Смешное семейных хроник
Не может не быть смешным...

Владимир Иваныч, милый!
Узнал ты себя, небось?
Ну что же, в ответ "гориллой"
И ты в меня в шутку брось!..

И все вы, и все вы, все вы,
Кого осмеял, шутя,
Простите мои напевы,
Затем, что поэт — дитя!..

2

Чем проще стих, тем он труднее.
Таится в каждой строчке риф.
И я в отчаяньи бледнею,
Встречая лик безликих рифм.

И вот передо мной дилемма:
Стилический ли выкрутас,
Безвыкрутасная ль поэма,
В которой солнечный экстаз?..

Пусть будет несколько сырое,
Обыденное во втором,
Но выбираю я второе
Своим пылающим пером!

И после Белого и Блока,
Когда стал стих сложней, чем танк,
Влюбленный в простоту глубоко,
Я простотой иду va banque!

Виденья введенья

В соборе чувств моих — прохлада,
Бесстрастье, благость и покой.
И высится его громада
Над всей небожностью людской.
В душистом сумраке собора,
Под тихий, мерный перезвон,
Лампады нежности у взора
Глубокочтимых мной икон.
Но прежде чем иконным ликом
Отпечатлеться на стене,
Живущая встречала криком
Любви меня и шла ко мне
Доверчиво, порывно, прямо,
Все отдавая, ничего
Взамен не требуя. Для храма
Она отныне — божество.
Мои возлюбленные — ныне
В соборе вечных чувств моих
Почили в мире, как богини.
И перед ликами святых
Клоню благоговейно стих
И поклоняюсь их святыне.

В тяжелые часы сомнений, —
Под старость страшные часы, —
Я в храм несу венки сирени
Для ликов мертвенной красы.
Несу фиалки и мимозы,
Алозы, розы и крэмозы,
И воскуряю фимиам,
И на иконах небылозы,
Рубинные роняя слезы,
Вздыхают по минувшим дням.
И между тем как сердце мечет
Прощенье мне и ласку льет,

Бубенчик ландыша щебечет
И лилий колокол поет.
В тиши я совершаю мессы,
Печальный траурный обряд,
И все они, мои принцессы,
Со мной беззвучно говорят.
И чем звучней беззвучный шепот,
И чем незлобивей слова,
Тем тяжелее мне мой опыт
Уничтоженья божества...
Но стоны муки прерывая,
Так гулко, что трепещет мгла,
Поют, что мертвая — живая,
Собора чувств колокола.
И оживленные иконы
Изнедриваются из рам, —
И все мои былые жены
Толпою заполняют храм.
И молвят речью голубою,
Приемля плоть, теряя прах:
"Обожествленные тобою,
Мы обессмертены в веках...
За это нет в нас зла и мести:
Пей всепрощенье с наших уст..."
И вторят им, сливаясь вместе,
Колокола собора чувств.

Часть I

1

Иван Васильевич Игнатьев,
Эгических издатель книг,
Любимец всех моих собратьев,
Большой проказник и шутник,
Лет восемнадцати с немногим,
Имевший домик на Песках,
В один из невских дней убогих
Ко мне ворвался впопыхах:
"Я только что от Сологуба!" —
Вскричал взволнованный такой
И, жалуясь на схватки зуба,
Затряс подвязанной щекой:
"Он альманаху футуристов
Дает поэму строк на триста,
Но под условьем, чтобы Вы
С ним познакомились и лично
Поговорили..." — "Что ж, отлично, —
Ответил я. — Я ни совы,
Ни ястреба, — орла тем паче, —
Бояться не привык и, значит,
Иду к нему в ближайший день,

Но только Вы, Иван Васильич,
Пристрожьтесь: часто дребедень
Берете Вы, господь Вас вылечь,
От недостойных новичков —
Бездарных жалких графоманов,
И симулянтов, и болванов,
Хотящих ваших пятачков
И более чем легкой славы..." —
Перегружать пугаясь главы
Подробностями, я лечу
На грёзовом аэроплане
Вперед, вперед, поставив Ване
За упокой души свечу:
Зимою следующей бритвой
Он перерезал горло. Что
Его заставило, никто
Не знает. Грустною молитвой
Собрата память осеня,
Я вдаль стремлюсь; влечет меня
Уютный мыс воспоминанья,
Где отдохнуть от лет лихих
Среди когда-то дорогих
Людей смогу я, друг мечтанья.

2

В студеный полдень октября, —
В такой обыденный, но вещий, —
У Сологуба на Разъезжей,
От нетерпения горя
Увидеть стильного эстета,
Я ждал в гостиной. На стене
Лежала женщина в огне
Дождя при солнце. Помню, эта
Картина, вся лучистый зов,
Какую создал Калмаков,
Меня тогда очаровала.
И вдруг, бесшумно, предо мной,
Внезапно, как бы из провала,
Возник, весь в сером, небольшой
Проворный старец блестко-лысый
С седою дымчатой каймой
Волос вкруг головы. Взор рысий
Из-под блистающих очков
Впился в меня. Писатель бритый,
Такой насмешливый и сытый,
Был непохож на старичков
Обыкновенных; разве Тютчев
Слегка припомнился на миг...
Меня смущая и измучив
Осмотром острым, дверь старик
Раскрыл, ведущую из зала
В свой кабинет, и указала
Мне выхоленная рука
На кресло против старика.

3

Мы сели и, храня молчанье,
Сидели несколько минут.
Затем он стал чинить мне "суд"

И делать резко замечанья
По поводу моих доктрин
Футуристических. Вопросы
Я обответил, как умел,
В дыму крепчайшей папиросы...
Я стал вдруг вдохновенно смел, —
И засвистали окарины,
Запчелила виолончель,
Ударил по сознанью хмель,
И трельный рокот соловьиный
Объял всю комнату: то я
Читал, восторг в груди тая, —
Читал поэт перед поэтом!
Смягчая лаской строгий глаз,
Меня он слушал. Мой экстаз
В поэте, чтеньем разогретом,
Святые чувства всколыхнул.
Он улыбнулся, он вздохнул...
И понял я, что было в этом
Так много доброй теплоты
И разволнованной мечты.
В дверях Настасья Николавна,
Его сотрудница и друг,
С улыбкой появилась вдруг...

4

За чаем мы болтали славно,
Иронизируя над тем
Или иным своим собратом
И критиком, совсем распятым
Гвоздями наших ядных тем...
Так совершался мой восход:
Поэт был очарован мною, —
Он вместе со своей женою
Немало приложил забот,
Чтоб выдвинуть меня из мрака
Безвестности. В разгаре драка
В то время с критикой была
У юноши. Его признанье
Меня — в огонь подлило масл,
Но был огонь уже угасл,
И, несмотря на все старанья
Презренных критиков, взошел
Я на Поэзии престол!
Недели через две в салоне
Своем дал вечер мне Кузмич.
За ужином сказал он спич
В честь "блещущей на небосклоне
Вновь возникающей звезды",
И приглашенные светила
Искусства за мои труды
Меня приветствовали мило
И одобрительно. А "Гриф"
Купил "Громокипящий кубок",
И с ним в горнило новых рубок
И сечь пошел я, весь порыв.

5

В те дни еще со мной по-свински
Не поступал никто, и вот
Уже мы с Сологубом в Минске,
Где вечер Сологуб дает,
С участием Чеботаревской,
Его жены, и — слава им,
Меня повезшим! и с моим...
Мы едем с помпой королевской,
Пьем в ресторанах только "мумм"
И производим всюду бум,
Встречаемые молодежью,
Уставшею по бездорожью
Литературному брести
И ныне нам во славу божью
Венки решающей плести.
В разгаре вечер. Старый лектор,
Сошедший с кафедры, под плеск
Ладоней, свой смакует блеск
И пьет хвалы живящий нектар.
Вдруг в лекторскую голоса
Врываются: под смех и взвизги
Две старших классов гимназистки,
Как стрекоза и с ней оса, —
Летят на Сологуба прямо,
И старшая, смотря упрямо
И пристально в глаза ему,
Твердит: "Люблю Вас, — потому
Вас целовать не знаю срама".
И с этими словами в лоб
Поэта длительно целует.
Жена, конечно, не ревнует:
Ведь дети вроде антилоп:
Невинны и наивны. Эти ж
Еще так юны. Как же встретишь
Причуды и проказы их,
Как не улыбкой губ своих?
Поцеловав, смеется звонко,
И вдруг конфузится она,
И шепчет голосом ребенка:
"Я Сонечка Амардина..."

6

"Вы не завидуете, — спросит
Меня читатель, — что не вас
Поцеловать девица просит,
Взобравшаяся на Парнас?"
Что значит зависть? Вот, во-первых,
Мой вопросительный ответ.
А во-вторых, играть на нервах
Самостоятельно поэт,
Привыкший, знающий секрет
Несравниваемых успехов,
Вам холодно ответит: "Нет".
Бряцая золотом доспехов
Своей одарности, в те дни

Поездки первой по России
Я покорял толпу впервые
И зажигал в сердцах огни.
В тончайшей лекции своей
Про "Дульцинею" и "Альдонсу"
Мне из похвал поэт лил бронзу
И пел меня, как соловей.

"Блистательнейший изо всех
Поэтов, здравствующих ныне", —
Он называл меня. Успех
Ему обязан мой. О сыне
Заботится ли так отец,
Как обо мне старик, певец
Елисаветы и Маира?
Ему, поэту, и жене
Его я вечно благодарен:
Она всегда лучиста мне,
Он неизменно светозарен.

Признался как-то мне Кузмич,
Что в первые же дни знакомства
Моих стихов победный клич
И их всевластное огромство
В его душе зажгли такой
Ответный отблеск, что он тенью
Вокруг квартиры, где с мечтой
Я жил, блуждал, дыша сиренью
Живительной моих стихов.
За это я любить готов
Его восторженность весенью.

7

Из Минска в Вильно, а оттуда
Чрез Харьков в Катеринослав,
Дурманя головы от гуда
И блеска двух слиянных слав.
Оттуда в пеструю Одессу,
Попутно Пушкина-повесу
Невольно вспомнив. Вот и пост
Великий — время запрещенья
Стихов и песен. Посещенье
"Гамбринуса" и с Сашкой тост
За Куприна. Автомобили
В "Аркадию". И де-Рибас,
Юшкевич, Лоэнгрин и Нилус,
И Щепкин с Федоровым. Час
Или неделя? Что случилось
За это время? Сологуб
Придумал нам пока забаву:
Поехать в Крым, а сам в Полтаву,
В страну окороков и круп,
Вишневых хуторов и смеха,
Нас в Ялту проводив, уехал
Покушать малороссий борщ
И лекцию прочесть хохлушкам —
Как ты там брови ни топорщь! —
Такую чуждую их ушкам,
Привыкшим к шепоту Грицько,
В котором мед и молоко...
На дряхлом пароходе "Пушкин",
Лет двадцать шесть тому назад,
В год моего рожденья, тело
Семена Надсона несмело·
Привезшего из Крыма, взгляд
Последний бросив на Одессу,
Мы вышли в море, за завесу
Тумана, кушая цыплят
И запивая их "удельным"...
О, не был наш маневр бесцельным:
Кур за детей их не кляня,
Я качку перенес геройски, —
Недаром капитан "по-свойски"
Бороться с ней учил меня...
Мафусаильчат, весь проржавен
И валчат, с горем пополам
Шел этот "Пушкин", как Державин
По взбудораженным валам...

8

С Настасьей Николавной в Ялту,
Заехав в Севастополь, мы,
В разгар таврической зимы,
Попали к вечеру. Приял ту
Красу я тотчас. От Байдар
Вдоль побережья нас автобус
Извилисто стремил. Мы оба
С восторгом на морской пожар —
Заход светила — любовались.
Когда же Симеиз, отдалясь
Своею мраморною тьмой,
Исчез, казалось нам, в самой
Пучине моря, мы отдались
Иным красотам, и Мисхор
Привлек взыскательный мой взор.

В большой гостинице "Россия",
Где мы остановились, я
Узнал, что многие больные
Живут в ней, и, портье прося
Мне сообщить — не здесь ли тоже
И Мравина, ответа с дрожью
Я ждал, и был его ответ:
"Они живут здесь много лет".
Я к ней вошел — и мне навстречу —
О, как я боль свою оречу! —
Поднялся... скрюченный скелет.
Улыбкой выблеклой встречая,
Без голоса и без лица,
С печатью близкого конца,
Она мне предложила чая.
Она была в рядах светил,

В нее влюблялись без рассудка, —
И вот туберкулез желудка
Ее в руину превратил.

Ужель она была Снегурка,
Татьяна, Джильда и Лакмэ?
Удел людей — удел окурка:
Так все истлеем мы во тьме.
Смотря на солнечное море,
Умолк я грустный у окна...
Она скончалась после вскоре,
И стала вновь собой она:
Искусство вечно выше жизни,
И жрец его — сверхчеловек,
В какие рамки нас ни втисни
И как ни дей из нас калек!..

Мы в Ялте пробыли два дня лишь
И наняли автомобиль
На Симферополь, снегопыль
Вздымив. О, как меня ты жалишь,
Змея воспоминанья! — в край
И олеандров, и магнолий
Меня вдруг повлекло всей волей...
Оттуда мы в Бахчисарай
Проехали, и в Симферополь, —
В татарский город сволочей, —
Вернулись на неделю. Чей
Там облик властвовал? Европа ль?
Иль Азия? Ах, для очей,
Конечно, Запад! Но для духа —
Монголка, и притом старуха...

9

А там и дорогой Кузмич
Приехал вскоре к нам в Симферо.
Одна забавная афера
Произошла тогда. Не бычь
Свои глаза, быкообразный,
Но добродушный дилетант:
Твой добродетельный талант
Развенчивать мне нет соблазна.
Наоборот: ты очень мил,
Сердечен, мягок, деликатен,
Но и на солнце много пятен,
А ты ведь солнца не затмил!..
Так вот, один купец-богач,
Имевший дом, сестру и маму
И сто одну для сердца даму,
Пек каждый день, но не калач,
А дюжину стихотворений
И втайне думал, что он гений.
Купец был ультра-модернист
И футурист; вообще был "ультра",
Приверженец такого культа,
Какому очень шел бы хлыст...
Он, например, писал: "Сплету
На грудь из женщин ожерелье", —
Чем приводил всегда в веселье
Ему внимавших на лету.
Нелепость образа смешна:
Каким же нужно быть колоссом,
Чтоб женщинам длинноволосым
Дать место на груди? Одна
На нем повиснувшая дева
Его склонила б до земли,
А несколько — кишки из чрева
С успехом выдавить могли...
Томимый жаждой славы, он
Решил истратить сотен восемь,
Чтоб влезть на славы пышный трон,
А потому, придя к нам: "Просим
К себе на вечер", — он сказал.
Мы были там. Огромный зал
Был декорирован венками.
Гирлянды вились через стол.
Там ело общество руками,
И все, как следует... Он шел
Вокруг стола, завит, во фраке,
Держа в одной руке "Банан",
В другой же водку. Гость же всякий
Ему протягивал стакан.
Хозяин спрашивал: "Вам водки
Или ликера-под-омар?"
Гость залпом пил ликер и, в жар
Бросаемый, куском селедки
Затем закусывал, кряхтя...
А он, безгрешное дитя,
Стремился дальше, и бутылки
Осматривали всем затылки.

10

Ростов с его живой панелью,
Тысячеликою толпой,
В фонарный час вечеровой
Блуждающей и гимн безделью
Поющей после дня труда,
И Дона мутная вода,
Икра ростовская, и улиц
Нью-йорковая прямота, —
Весь город миллионоульец,
Где воздух, свет и чистота, —
Все это выпукло и ярко
Запечатлелось навсегда,
И даже толстая кухарка
В "Большой Московской", что тогда
Раз промелькнула в коридоре,
До сей поры видна глазам...
Екатеринодар. А там
Солончаки, уныние, море
Каспийское, верблюд, киргиз,
Баку, Тифлис и, в заключенье,

Декоративный Кутаис,
Где непонятное влеченье
И непредвиденный каприз
Мне помешали до Батума
Добраться с милою четой:
От впечатленья и от шума,
От славы вешне-золотой
Я вдруг устал и, — невзирая
На просьбы дорогих людей
Турнэ закончить и до края
Кавказа, через пару дней,
Доехать с ними, чтобы вместе
Затем вернуться на Неву, —
Упорно не склонил главу
И пламно бросился... к невесте,
Которую в пути моем
Судьба дала мне. С ней вдвоем
До Петербурга добрались мы.
И понял я тревоги смуть,
Меня толкнувшую на грудь
Моей Гризельды. Эти письма
На мутной желтизне листков,
Сожженные давно! готов
Я воскресить их для поэмы:
В них столько животворной темы.
Чета писателей меня
На поезд нежно проводила
И продовольствием снабдила
До Петербурга на три дня.
Цветы, конфекты, апельсины —
Мне дали все, — и на Рион
Пустился я увидеть сон
Любви весенне-соловьиной...

Но прежде чем помчаться дальше
И продолжать со мною путь,
Прошу вас раньше заглянуть
К одной тифлисской генеральше,
Устроившей для нас банкет
И пригласившей сливки знати
Армянской, и послушать кстати,
Что о Тифлисе вам поэт
Расскажет через десять лет.

II

Над рыже-бурою Курою,
В ложбине меж отлогих гор
Красив вечернею порою
Он, уподобленный герою,
Кавказский город-златовзор.
Иллюминован фонарями,
Разбросанными там и здесь,
Под снежно-спящими горами
Он весь звучит, пылает весь.
Его уютная духана
Выходит окнами к реке,
В который волны, как шайтаны,
Ревут и пляшут вдалеке.
Порой промчится в челноке
Какой-нибудь грузин усатый
С рыдающей в руках зурной
Иль прокрадется стороной
По переулкам вороватой
Походкой мародер ночной.
Гремят бравурные оркестры,
Уныло плачет кяманча.

Все женщины — как бы невесты:
Проходят, взорами бренча,
Вас упоительно милуя.
Все жаждет песен, поцелуя
И кахетинских терпких вин.
И страсть во взорах альмандин
Зажгла, чье пламя, вспыхнув, хочет
Собою сжечь грузинок очи.
В такую бешеную ночь,
Когда прикованы к ракете
Тифлисцев взоры, на банкете
Собрались мы. Пусть, кто охоч,
Подробностями уснащает
Повествовательный свой рот,
Но я не тот, но я не тот:
Естественно, что угощает,
Кто пригласил к себе народ...
Не в пире дело, а в Тифлисе,
В его красотах и в сердцах
Его красавиц, в их очах
И, — на ушко скажу Фелиссе, —
В его помешанных ночах...
Один из призванных хозяйкой
Армянских богачей-вельмож
Встает и, взявши в руки нож,
Стучит и, свой фужер "ямайкой"
Наполнив, держит тамада —
Речь в честь меня высоким слогом:
Он в ней меня венчает богом,
С небес сошедшим к ним сюда.
О, дни моей непревзойденной
И несравненной славы! дни
России, в гения влюбленной,
Господь вас в мире сохрани!

Курьерский поезд верст полсотни
И больше проходивший в час,
Меня на север влек; бесплотней
И низменнее стал Кавказ.
Я вышел на площадку; вскоре
Две девушки пришли туда.
Одна с мечтой больной во взоре,
Мерцающею, как звезда,
Миниатюрная шатенка
С бескровно-мертвенным лицом,

Смотрела мне в глаза, причем
Я видел: голубела венка
У незнакомки на виске...
И захотелось мне, в тоске,
Обняв ту девушку, заплакать,
Не понимая сам о чем...
Одна из них ушла до мрака.
Темнел час вечера. Плечом
Мне полюбившаяся резко
И так нежданно повела
И вдруг сказала: "Я была
В Тифлисе на концерте. Блеска
Немало в чтенье Вашем. Я
Вас полюбила". — "Ты моя", —
Я прошептал. И не устами —
Полузакрытыми глазами
Она ответила: "Твоя..."
Моя Гризельда! Где ты ныне,
Утерянная десять лет?
Я припадаю, как к святыне,
К твоим ногам. Глубокий след
В моей душе твоей душою
Отпечатлен. Как много слез
Я пролил по тебе. Я нес
Любовь к тебе всегда живою
Дни, месяцы, года. Я сам
Тебя покинул, голосам,
Звучавшим лживостью, подвластный.
Гризельда! Нет тебя, прекрасной!
Со мною нет тебя! Жива ль
Еще ты, нежная? Мне жаль
Тебя, утонченный ребенок,
Чей профиль так печально-тонок
И чья болезненная страсть
Тебя толкнула рано пасть...
Ты явь иль сон? Ты жизнь иль греза?
Была ли ты иль не была?
Тебе, былая небылоза,
Собора чувств колокола.

13

Роман наш длился две недели,
И был поэмой наш роман.
Дни соловьями нам пропели,
Но вот сигнал разлуке дан:
Другая женщина, с которой
Я прижил девочку, в мольбе
К ногам склонилась. О тебе,
Своей грузинке грустновзорой,
Я помнил свято, но она,
Изменой так потрясена
Моей была и так молила
Ее с ребенком не бросать,
Что я сбежал — и это было! —
В лесную глушь, а там, опять
Опомнясь, звал тебя, страдая,
Но покорил, но превозмог
Свою любовь к тебе: у ног
Моих она, немолодая,
В печали билась головой...
Я прожил лето сам не свой,
Запоем пил, забыл знакомых
И чуть не одичал совсем, —
В тяжелых пьяных полудремах
Все повторял: "Зачем? Зачем?"
Моя Гризельда! ты, белоза!
Ты слышишь вопль и пальцев хруст?
Тебе, былая небылоза,
Колокола собора чувств.

Часть II

1

Погода или Теккерей,
Чей том читал я на диване,
Но серый день еще серей
Стал к вечеру, и в свежей ране
Моей потери, несмотря
На тлен отлетенного лета,
Боль тихо теребит заря,
Исполненная арбалета
Свиданий нежных на заре
С моею призрачной грузинкой,
Растаявшей живой снежинкой
Весенних яблонь. В сентябре
Меня вы застаете с книгой,
И на предложенное: "Двигай!" —
Рассеяв прошлого туман,
Охотно двигаю роман.

Звонок. Шаги. Стук в дверь. "Войдите!" —
И входит девушка. Вуаль
Подняв, очей своих эмаль
Вливает мне в глаза, и нити
Зеленобронзовых волос
Капризно тянутся из кос.
Передает букет гвоздики
Мне в руки, молча и бледна,
Ее глаза смелы и дики:
"Я Сонечка Амардина". —
Я вспомнил Минск, концерт, эстраду,
Аплодисментов плесткий гул,
И, смутную познав отраду,
Я нежно на нее взглянул.
"Вы помните?" — "О да, я помню..."
"И Вы хотите?" — "Да, хочу..."
И мы в любовь, как в грезоломню,
Летим, подвластные лучу
Необъяснимого влеченья
И, может быть, предназначенья
Повелевающей судьбы,

Ее покорные рабы.
И если это все не сразу,
С двуразия наверняка:
Перебивает фраза фразу,
И в руку просится рука,
И губ так жадно ищут губы,
Глаза вливаются в глаза...
...Ах, все поэты — Сологубы,
Для девы с именем "Гроза"!..
— "Бежим, поэт мой, на утесы!
Над бездной станем, отдадим
Себя себе и под откосы,
В момент слиянья, полетим..." —
Не в этом ли четверостишьи
Вся сущность Сонкиных речей,
Ее громокипящей тиши,
Ее целующих очей,
Смотрящих в душу поцелуев,
Что мотыльчат, мечту балуя...
Она ко мне по вечерам
Ходила чуть не ежедневно.
Ее любовь была напевна
И уподоблена коврам
Текинским — по своим узорам...
Я влекся к ароматным взорам,
К благоухающим устам;
И вся она, блондинка Сонка
С душою взрослого ребенка —
Сплошной живящий фимиам.
Но вот настали дни каникул,
И все курсистки по домам.
Так я Гризельды не отмыкал,
Как принял Сонку в грезный храм.

2

Селим Буян, поэт Симферо,
Решил устроить торжество:
Он пригласил на Рождество
Меня, в поэзии эс-эра,
А Игорь, в очередь свою,
С улыбкой исхитро-бесовской
Собрал искусников семью:
Бурлюк, Игнатьев, Маяковский.
Игнатьев должен был доклад
Прочесть о новом направленьи,
А мы — стихи, и в заключенье
Буян решил свой мармелад
Дать на десерт: "лирионетты"
И "баркароллы", как стихи
Свои он называл: лихи
Провинциальные поэты...
Все вместе взятое звалось
"Олимпиадой футуризма".
Хотя Буян был безголос,
Но в нем немало героизма:
Напудренный и завитой,
Сконфуженный и прыщеватый,
Во фраке с лентой голубой
Вокруг жилета, точно ватой
Подбитый весь, "изящный" шаг
Выделывал по тренировке
И выходил медвежьи-ловкий,
За свой муаровый кушак
Держась кокетно левой ручкой,
А в правой он имел платок,
Обмакивая им роток,
Весь истомлен поэзной взбучкой...
Такие типы, как Буян,
Который голос свой осипил,
Идеей славы обуян,
Типичный тип, и я отипил
Его, как типовой баян.
Все знают, как Давид Давидыч
Читает: выкриком, в лорнет
Смотря на публику, и нет
Смешного в гамме этих выдач
Голосовых; в энтузиазм
Бурлюк приводит зал. И злобно,
Чеканно и громоподобно,
Весь мощь, спокойно и без спазм
Нервических, по залу хлещет
Бас Маяковского. Как я
Стихи читаю, знает точно
Аудитория моя:
Кристально, солнечно, проточно.

3

Стремясь на юг, заехал на день
За Маяковским я в Москву,
Мечтая с ним о винограде
Над Черным морем. Я зову
Его поехать на ночь к "Зону";
Нас провожает "Мезонин
Поэзии", и по газону
Его садов, пружа резин
Круги, несется лимузин.
За ним спешат на дутых шинах
С огнем оглобель лихачи:
То едут, грезя о кувшинах
С бордосским, наши смехачи:
Сам Велимир зелено-тощий, —
Жизнь мощная, живые мощи, —
И тот, кто за нос зло водим.
Чужими музами, галантный,
Сам как "флакон экстравагантный",
Наш Габриэлевич Вадим...
Затем Якулов и Лентулов,
Виновники в искусстве гулов,
Талантливая молодежь,
Милей которой не найдешь...

4

Ночь, день, вторая ночь, и к утру
Дня третьего — пред нами Крым.
Свои прыщи запрятав в пудру
И тщательно устроив грим,
В бобровой шубе, в пышной шапке,
Селим Буян берет в "охапки"
Нас с Маяковским. Мы к нему
В санях несемся. Горожане
Гадают: "Знатные волжане —
Купцы, должно быть..." Потому
Мы смотрим на прохожих важно,
В санях разбросясь авантажно.
Но вскоре Симферополь вестью
Животрепещущей объят:
Участники "Олимпиад"
Уже приехали. И честью
Считает житель, если взгляд
Футуристический уловит...
Но что же нам Буян готовит?
Саженных тысячи афиш
Твердят упорно шрифтом жирным
О происшествии всемирном:
О нашем вечере. И шиш
Зажав в кармане, мой Володя
Смеется едко, "нео-модя"...
"А где ж Игнатьев и Бурлюк?" —
Спросил Буян, платком махая.
"Судьба их, знаете, лихая,
Они упали через люк..." —
"Какой? Куда? Да говорите ж!" —
Вскричал взволнованный Селим.
"Они упали в город Китеж", —
Мы сокрушенно говорим.
"Что значит Китеж?.." — он растерян,
Он обеспудрился, дрожа.
"Я просто вру, как сивый мерин", —
Сказал Володя, без ножа
Селима бедного зарезав...
Он лишь тогда пришел в себя
И, захихикав из "поэзов",
Вдруг забаранил "бе" и "бя".

5

Буянов дом для нас распахнут:
Пекут три бабы пироги
И комнаты "иланжем" пахнут,
Белье ласкают утюги;
И чижики поют нам славу,
Подвешенные под окном;
Сестра изображает паву,
Как бы разнеженную сном
Искусства нашего. И мебель
Одета в чистые чехлы;
И раболепно, как фельдфебель,
Обшнырявая все углы,
Во всем нам угождает сёстрин
Случайно купленный супруг,
Чей дисциплинный лик заострен...
Супругу дан женой сюртук,
Супруг имеет красный галстух,
И сизый нос, и трухлый мозг,
И на носу коньячный лоск,
И на устах всегда "пожалуйста"...
И только стоит мне слегка
Привстать, как привстают все разом;
Иль посмотреть на облака,
Как все на небо лезут глазом...
А если Маяковский гром
Густого кашля тарарахнет,
Семья присядет в страхе, ахнет
И заперхает вчетвером...
Когда ж, читая что-нибудь,
Проходит он из угла в угол,
Буянцы, наподобье пугал,
За ним стараются шагнуть.
Буян имеет целый взвод
Совсем особенных поклонниц:
Старушек с минеральных вод,
Столь специфических лимонниц...
Они приходят на поклон
К нему, вертя сухие ребра,
И он, в глазах их Аполлон,
Дает им пламенный автограф...
Но связь с старушками порвем, —
Расскажем, как в гостях живем.

Живем совсем как борова:
Едим весь день с утра до ночи,
По горло сыты, сыты очень;
Вокруг съедобные слова:
"Еще котлеток пять? Ветчинки
Пол-окорочка? Шемаи
Десяточек?" — так без запинки
В живот хозяева мои
Нам впихивают всякой снеди,
Вливая литрами вино...
Но ведь желудки не из меди, —
И им расстроиться дано!..
А в промежутках меж блю́дами
Буян нас пичкает стишками,
И от еды, и от стишков,
Скрепленных парою стежков,
Мутит нас так, что мы с Володей
Уже мечтаем об уходе
Куда-нибудь и, на постель
Валясь, кричим: "В отель, в отель!"

6

Режим подобный не по нраву
Поэтам, от него больным,
И вот мы требуем, по праву,

Беспрекословным и стальным —
Эстрадным! — голосом: свободы
И переезда в номера.
Переезжаем и "ура!"
Кричим и жадно ищем броды
В кафешантанной глубине...
А между тем "Олимпиада"
Все приближается: о дне
Ее — афишная громада
Оповещает городок:
Через неделю. Этот срок
Решаем мы на Крым истратить,
Чтоб силы, возвратясь, оратить
И дать рутине грозный бой,
Поднявшей в местной прессе вой...
Забавно вспомнить: две газеты
Чуть не дрались из-за меня.
"Он создал слово "триолеты",
Значенья нам не объясня..." —
Одна из них твердила тупо, —
"Что значит "триолет"? Как глупо
Звучит сей дикий "триолет"! —
Я хохотал до слез в ответ...
Иван Игнатьев все не едет
И шлет десятки телеграмм,
В которых смутно что-то бредит,
Но не бредет в Тавриду к нам.
Давно Бурлюк уже подъехал,
Досуг наш дружески деля.
О, сколько было там для смеха!
Какие для забав поля!
...Бристоль. Британочка. Людмила.
Моэта ящики. Авто.
Нелепо, пусто, но и мило,
И впечатлительно зато!..
С утра шампанское и булки,
Чай, оливье, газес, икра —
Все вперемешку! И с утра
Автомобильные прогулки
В Бахчисарай и на Салгир,
В Гурзуф, в Алушту, просто в горы.
Какие выси и просторы!
И пир, как жизнь! И жизнь, как пир!

Живем мы праздно на Салгире,
Жуируя средь "медных лбов"...
А между тем в подлунном мире
Есть город, названный "Тамбов".
И в этом названном Тамбове
Есть дева, ждущая любови
(Дабы не осквернять любви,
Падеж слегка переиначу...),
И эта дева наудачу,
С девизом: "Жениха лови!" —
Мне письма шлет и телеграммы,
Где свадьбы назначает час...
Что ж, я готов! Володин бас
Меня спасительно от драмы
Женитьбы вдруг предостерег...
Вот что мне этот бас изрек:
— "Она ко мне пришла нагою,
Взамен потребовав венца.
А я ей предложил винца
И оттолкнул ее ногою".
А из Москвы мне пишет Лида
Слегка во вкусе fleur d'orange,
И в письмах тех сквозит обида
На разных театральных ханж...
Из Минска присылает Сонка
Своих экстазов сувенир.
О, если необъятен мир,
Объятна каждая девчонка!

7

Но вот уже "Олимпиада",
Так долго жданная, в былом,
И разношерстая плеяда
Поэтов лезет напролом
На Севастополь, повторяя
Победоносный вечер свой,
И с поднятою головой
Докатывается до края.
Зовется Керчью этот край,
Где "от тоски хоть умирай".
Но происходит здесь размолвка
Из-за каких-то пустяков;
И вечер дав, с ухваткой волка
Затравленного, из оков
Антрепренерства, много тысяч
В своем убавив кошельке,
Буян, в смятеньи и тоске,
Выскальзывает. Жаждем высечь
Его за что-то. Я сердит,
Я принимаю грозный вид,
Надменно требую расчета,
Сажусь в курьерский — и домой.
Бурлюк с Володей тоже что-то
Ворчат по поводу помой
И горе-купчиков. И мой
Покинутый, Селим Буян,
В сраженьи потеряв колчан,
В Симферо едет от керчан.

Я возвращаюсь, радый лавру,
Еще вплетенному в венок,
И чуть не упадаю с ног:
По Старо-Невскому на лавру
Печальный движется кортёж.
Кто, сердце надрывая, стонет?
Откуда эта молодежь?
— Жена Игнатьева хоронит.

Часть III

1

Должно быть, всех червей червивей
Тщеславья неуньвный червь:
Позабывает о разрыве
Буян и тащит, как на верфь
Суда на биржу для ремонта,
Ряд государственных бумаг
И, думая затмить Бальмонта,
Предпринимает новый шаг
К смеющейся и скользкой славе:
Буяна генеральный штаб,
Ограндиозив свой масштаб,
Решает, что орлу двуглавей —
Помпезней быть, и в этот раз
Не только Крым, но строй всех рас,
Живущих на Земле, Буяна
Обязан знать; и вот он рьяно
Мне пишет, свой шикаря слог,
И предлагает кошелек.
Что ж, импресарио мне нужен,
Как всякому желудку ужин...
А если он еще к тому ж
Богат, почтителен, не муж
Какой-нибудь мегеры злобной,
Супружескому кошелю
Мешающей, тем лучше: шлю
Согласье и программы пробный
Листок. На этот раз состав
Чтецов я изменил: с докладом,
Футуристический устав
Всем изъясняющим и рядом
Умело выбранных цитат
Живописующим свой тезис,
Намечен Ховин, кто, поэзясь,
На красноречье тороват.
А чтоб слегка разнообразить
Концерт, решаю дать сюрприз:
Позвать с собою поэкстазить
Какую-либо из актрис.
Но так как их удел — отвратно
Читать стихи, хоть имена
Порой звучат довольно знатно,
Совсем особая нужна
Актриса мне: нужна актриса,
Как говорят, не из актрис.
Но как найти ее? Повис
В печали нос, и я у мыса
Раздумья, пригорюнясь, смолк.
В уме проходит целый полк
Знакомых женщин. Но кого же
Из них избрать: ведь не похожа
На чтицу ни одна из них,
Из этих близких и чужих?
Но вдруг, внезапно осененный
Наитьем, свойственным орлу,
Подсаживаюсь я к столу
И Сонечке, в экстаз влюбленной,
Шлю телеграмму: "Ты нужна
Немедленно". — И вот она
Спустя два дня передо мною
Уже стоит: "Что хочешь ты?"
— "Вот книгу я тебе раскрою,
И ты, во имя Красоты,
Прочти мне маленький отрывок
Из этой пьесы". — "Хорошо".
И просто, ярко и свежо
Она читает. Вижу: гривок
Ржи золото, и плеск ручья
В июльский полдень слышу... "Чья, —
Шепчу восторженно, — чья школа
Тобой окончена?" — "Эола,
Любви и Вакха, и твоя", —
Мне отвечает, улыбаясь,
Безгрешная и голубая,
С такой кристальной простотой...
И я кричу в восторге: "Стой!
Мне так нужна была актриска,
Но если в мире нет актрис,
Да будь актрисою курсистка!
Ура! Так хочет мой каприз". —
И в тот же вечер, овагоня
Ее, я проводил домой:
К родителям спешила Соня
В свой Минск, напудренный зимой.
Концерты через две недели
Должны начаться, а пока —
На юг депеши полетели:
Я взял Буяна за бока!

2

А дни идут, день дня лукавей.
Со мною дружен некий бес...
Концертом в Катеринославле
Начнется третий путь поэз,
Как сообщает штаб-квартира,
И Сонечке я знать даю,
С ней свидеться мечту таю,
А сам с улыбкою сатира
Влюбляю женщин и люблю.
Но Сонка смолкла. Нет ответа.
Я беспокоюсь. Я смущен.
Я горячусь. Я возмущен.
Меня уже тревожит это
Молчанье: до концерта пять
Дней остается. Я понять
Не в состояньи, что такое
Произошло, и сгоряча
Я заменить ее другою

Решаю, так сказать, сплеча.
"Ну, подожди же ты, чертовка", —
Я говорю себе и вот
Припоминаю, что живет
Девица с именем Зиновка,
Поблизости у невских вод.
Она девица как девица:
Не то работает, не то, —
Сам черт не знает, деет что! —
Я вас просил бы не дивиться,
Что избираю я ее:
В ней что-то чую я "*свое*".
Она стройна, она красива,
И голосиста, и смела,
И в разных смыслах, — там, — мила,
Подчеркиваю для курсива...
Я шлю с посыльным ей привет
И приглашаю в кабинет.
Что ж, тут как тут она. И разве
Она могла бы быть не тут?!..
Ее мозги ведь не в маразме,
Чтоб не идти, когда зовут
Прославленные повсеместно,
Поставленные на виду...
Я с нею быстро речь веду:
"Итак, да будет Вам известно,
Что Вы с сегодняшнего дня
Актриса: поняли меня,
Надеюсь?" — Предложенье лестно
Для девушки "ни то ни се",
И вмиг мы с ней решаем все.
Она читает. Эта проба
Совсем прилична. Я хвалю,
И мы смеемся с нею оба,
И я почти ее люблю...
"До завтра, девочка! Курьерский
На юг уходит в семь часов". —
Она встает, мне бросив дерзкий
И пылкий взгляд, в котором зов.
А завтра утром, звонко-звонко
Меня целуя, гонит сон
И тормошит со всех сторон
Ворвавшаяся в спальню Сонка!
Послав Зиновке от Гурмэ
Конфект, садимся в поезд трое —
Победоносные герои
В своей поэзокутерьме.

3

Опять встречает нас Буян
С помощниками на перроне;
Опять я чувствую в короне
Себя и вновь, как прежде, пьян
Вином, стихами и успехом;
Опять улыбками и смехом,
Цветами нежа и пьяня,
Встречают женщины меня, —
Но предан я иным утехам:
Я в Сонку не шутя влюблен
И страстью к Сонке распален...
Концерт, озвученный помпезно,
Уже прошел. Успеху рад,
Буян в Елисаветоград
Зовет приехать нас любезно,
Но перед этим, в честь удач,
Решает пир задать богач.
Опять оркестр, вино и бездна
Веселья: там хоть все разрушь!
И Gordon vert, и Gordon rouge...
И Сонка с помпою шампанской
Царит над пиром, вся экстаз:
О, Эсклармондой Орлеанской
Она недаром назвалась!
Я был свидетелем успеха
Ее эстрадного, и эхо
Рукоплесканий огневых
До сей поры в ушах моих:
"Брависсимо! Виват! И браво!!" —
Почти стонала молодежь.
Так неожиданная слава
К тебе идет, когда не ждешь.
И если б Сонка в эту эру
Поверила в свой редкий дар,
Она бы сделала карьеру
Не меньше, чем сама Бернар.
С распущенными волосами,
Взамен костюма прямо в шелк
Стан забулавчив свой, стихами
Она будила в зале толк:
"Откуда? Что это за школа?
И кто ее учителя?" —
А школа та была Эола,
Любви и песен короля!

4

Ее томит отелья клетка,
Она спешит покинуть дом,
И вьется флагом вуалетка,
Когда на жеребце гнедом
Она устраивает гонки
С коляскою, везущей нас,
И в темно-синей амазонке, —
Вся вдохновенье, вся экстаз, —
Будя всеобщее вниманье,
Несется за город, к Днепру,
Где историческое зданье
(Я вам его не отопру!).
Дворец Потемкина, а там,
Хотя нас не встречает сам
Великолепный князь Тавриды,

Какой простор! какие виды!
Какая солнечность зато!
И то в коляске, то в авто
Туда мы ездим постоянно;
И Сонка, наша Сонка, кто
Мне так воистину желанна,
То впереди, то сзади нас
На жеребце своем гарцует
И взглядами меня целует
И вдохновляет на Парнас...

5

Собрав знакомым всем приветы
И запечатав их в конверт.
Мы в городе Елисаветы
Даем впервые свой концерт.
Успех повсюду неизменен,
И может быть, когда-нибудь
В твою страну, товарищ Ленин,
Вернемся мы успех вернуть.
Давно красавицами славен
Елисаветы Первой град.
Мужчина каждый обезглавен
Сердцами их, как говорят.
Брюнетки, рослые, смуглянки
С белками синими слегка
Вас, южные израильтянки,
Я узнаю издалека.
И здесь по городу мы ездим,
И здесь осмотрен город весь,
И здесь, как и везде, мы звездим,
И здесь, как там, и там, как здесь.
И здесь настроен я амурно,
Влюбляясь в Сонку день за днем.
Вдруг на концерте Сонке дурно
Внезапно стало. Мы ведем
Ее поспешно за кулисы,
К ней вызвав экстренно врача:
Трепещем мы за жизнь курсисы...
Рука ее так горяча...
Уложенная на диване,
Она без чувств. Буян, в кармане
Сжимая четвертной билет
И постарев на пару лет,
В волненьи носится от лестниц
По коридорам и фойе,
Где девы продают "кайэ"
И лимонад, и на прелестниц
Не смотрит. Он несется вскачь
И восклицает: "Кто здесь врач?"
Но вот уже и доктор найден,
И начинается осмотр.
Врач улыбается. Он бодр
И ей питье из виноградин
Вливает в рот. Мы ей пальто
Надев, ведем ее в авто.
Врач диагнозит, даже бровью
Не поведя: "Немного жар.
Обычный случай малокровья".
И деньги, как в резервуар,
В карман кладя: "Au revoir"
С улыбкою сквозь зубы цедит...

6

А Сонка дома стонет, бредит
И бурно мечется в бреду.
И вот я в номер к ней иду,
Склоняясь близко к изголовью,
И с исцеляющей любовью
По бреду вместе с ней бреду.
И вижу то, чего не видит,
Кто вместе с нею не тавридит.
И слышу то, чего чужой
Не слышит. Всей своей душой
Я жажду Сонке исцеленья
И силой своего влюбленья
Ее в сознанье привожу.
Она в спокойный сон грузится,
И грезится ей небылица:

Она ступает на межу
В июльский день. И хищный ястреб
Играет с голубем, венки
Свивая клювами, где к астре
Так не подходят васильки.
И оба нежно ей гуторят,
Нашептывают про любовь.
Им волны нив зеленых вторят...
А птицы говорят: "Готовь
В своем сердечке место страсти
И одного из нас бери
Себе в мужья..." — И столько сласти
В речах. Но только — раз! два! три! —
Гром, молния, и шторм, и тучи,
И голубь прячется к ней в лиф,
А ястреб хищный и могучий
Взлетает к небу, весь порыв.
Захвачена его экстазом, —
Сама порыв, сама экстаз, —
Она следит влюбленным глазом
Его полет, а он как раз,
Кружась, парит над головою,
Борясь презрительно с грозою,
И Сонка, в жажде смелых душ,
Кричит ему: "О, будь мне муж!.."

7

Но не пора ли нам в Одессу —
Давать в Одессе вечера?
И, отслужив по чувству мессу,

Нам по домам ли не пора?
В одесском "Лондонском отеле"
Мы проживаем две недели,
Даем концертов пару и
Пьем "реймса" пенные струи;
Автомобилим на фонтаны,
Порою ездим на лиман.
И ревизируем шантаны,
Пунктиром метя в них роман...
Но что мне может дать Куяльник
Какой-нибудь, когда печальник
Я стал, смотрящий на печаль —
Веселой раньше — Сонки? Вдаль
Задумчиво и беспредметно
Она свой устремляет взгляд,
Худеет на глазах заметно,
Бросая фразы невпопад.
Хотя отказа от участья
В концертах мы не слышим, но,
По-видимому, мало счастья
Приносит слава ей: темно
Ее исполненное света
Чело, и как-то вечерком
Она зовет к себе поэта
С ней побеседовать вдвоем.
"Меня ты любишь ли?" — "Как прежде". —
"Ты мне отдашься?" — "Не могу.
Когда-нибудь потом. Есть вещи,
Но... но..." — И больше ни гу-гу.
"Скажи, ты влюблена в другого?" —
"Я этого не говорю". —
"Моею быть дала ты слово". —
"Да, слово, данное царю
Поэзии, сдержу я свято.
Но после, после. Сердце смято
Большим несчастьем, но каким —
Не спрашивай: я не отвечу". —
И, проклиная втайне встречу,
Из комнаты я вышел злым.

8

И, несмотря на все успехи,
Сказав любви своей "прости",
Велел Буяну сбросить вехи
Всего дальнейшего пути.
И, несмотря на уговоры,
На все Буяновы мольбы,
Я все нарушил договоры
И захотел простой избы
Взамен роскошного отеля,
И вместо вин — воды ручья...
И вмиг все цели обесцеля,
С печальной Сонкой, участь чья
Меня томила и терзала,
Уехал вскоре в Петербург.
И там мне Сонка показала
Такую мощность бурь и пург
Душевных, столько муки горькой,
Что я простил ей все, и зорькой
Весенней в памяти моей
Она осталась. Только ей
Я не сказал о том ни слова
И с ней расстался так сурово,
Так незаслуженно, что впредь,
Не зная, как в глаза смотреть,
С ней не хотел бы новой встречи,
Себя другими изувечив,
Которые в сравненьи с ней, —
На протяженьи тысяч дней
Утерянной, — идти не могут.
Не могут, ну и слава богу...

Роман кончается, и пленка
Печали душу облекла...
Но и тебе, то тихо-тонко,
То мрачно, то победно-звонко,
Они звучат — о Сонка! Сонка! —
Собора чувств колокола.

Проза

Уснувшие весны

Критика. Мемуары. Скитания

"Уснувшие весны" — слова Лескова

Из воспоминаний о К. М. Фофанове

I. Стихи, мне посвященные

"Я гость не лишний, не случайный
И говорю Тебе: Поверь,
Нежнее будь с сердечной тайной
И к ней babyприпри плотнее дверь...
Оберегай ее, как сторож,
Когда падет ночная тень,
Чтобы какой-нибудь заморыш
Не отравил Твой добрый день..." —

писал мне К. М. Фофанов[1] на своей книге "Тени и тайны" в 1910 году, осенью в Петербурге, зайдя ко мне почитать и послушать стихи, как он любил это делать, наезжая в столицу из Сергиева, где провел последние два года своей жизни[2]. В этих стихах таится как бы некое пророчество, и сколько с тех пор разных жалких "заморышей" старались и стараются изо всех сил отравлять мои "добрые дни"... Я намекаю на критиков, завистников, женщин... Но — как я сказал когда-то —

"Искусство с нами, — и Бог за нас!"[3].

Фофанов сделал мне много посвящений — и в стихах, и в прозе. В моем альбоме, оставленном — при отъезде из Петербурга 28 января 1918 г.[4] — одному моему хорошему знакомому, Борису Николаевичу Башкирову-Верину[5], имеется (имелось?..) около двадцати фофановских посвящений, и некоторые из них были значительными, как, например , посвящение в прозе, сделанное в 1908 г., когда К. М.[6] гостил у меня несколько дней на мызе Ивановке под Гатчиной:

"Ничего лучшего не мог я придумать, что показал мне Игорь-Северянин. Чту Его душу глубоко. Читаю Его стихи, и все говорит мне: в Тебе — Бог!"

Часто я вспоминаю свои альбомы и очень беспокоюсь об их судьбе: там были стихи и письма, которыми я очень дорожил в свое время и которые с каждым годом приобретают все большее и большее историческое значение. Там были автографы Валерия Брюсова[7], Федора Сологуба[8], Зинаиды Гиппиус[9], Леонида Афанасьева[10], Изабеллы Гриневской[11], Вл.Г.Короленко[12], Т. Л. Щепкиной-Куперник[13], И. Ясинского[14], К. Чуковского[15], Алексея Масаинова[16], Ан.Н.Чеботаревской[17], Н. А. Тэффи[18], Н. Гумилева[19], Н. И. Кульбина[20], К. Льдова[21], А. Измайлова[22] и многих, многих других. У того же знакомого я оставил пятнадцать толстых книг, чьи нечетные страницы сплошь заклеены вырезками из журналов и газет всей России — рецензиями о моем творчестве и о моих эстрадных выступлениях. Были в этих книгах собраны и все карикатуры на меня, а их было порядочно. Там же оставлен и шарж на меня углем работы Влад[имира] Маяковского — голова в натуральную величину. Самое печальное, что этот знакомый бежал из России в 1920 году, и судьба всех этих ценностей ныне мне неизвестна, хотя он и уверял меня в прошлом году в Берлине[23], что эти книги, как ему "достоверно известно", находятся в полной сохранности, однако я все же сильно беспокоюсь[24], тем более если принять во внимание, что многие автографы не подлежат восстановлению, так как иных авторов уже нет на свете, как, напр[имер], Фофанова, Мирры Лохвицкой[25]* или Гумилева. Несмотря на свою блестящую память, большинство стихов, посвященных мне, основательно уже мною за эти годы позабыто, и, дабы избежать полного их забвения, ибо многие вовсе не были напечатаны, я постараюсь привести здесь те из них, которые еще свежо помню.

Очаровательную балладу Фофанова "Об Ире и Принце", мне и Мирре Лохвицкой тро-

* Автограф, обращенный к ее брату Борису Лохвицкому. Книга была куплена у букиниста. (*Примеч. Северянина.*)

гательно посвященную, я, к крайнему моему сожалению, восстановить уже теперь не сумею. Зато я приведу великолепное его стихотворение, обращенное ко мне, носящее название "Пророк Илья":

"Пророки шли дубровой темной.
Один — Илья, чья речь, как гром.
Другой — его преемник скромный,
Босой, с лысеющим челом.
И говорит Илья: "Довольно
Мне в мире быть среди людей —
Гряди и властвуй речью вольно,
Греми, преемник Елисей!
Я ухожу — земного хлеба
Не надо мне, бессильна плоть...
Я ухожу к Творцу на небо:
Пора, пора — зовет Господь"...
И вышли старцы из дубровы.
Смеркалось. Засыпала степь.
Вдали теснился град суровый.
И огоньков далеких цепь
Вдали рассеянно блестела,
И сон пустыни был глубок,
И за Ильею шел несмело
Другой — обиженный — пророк...
Вдруг шум раздался из дубровы,
В пустыне был нарушен сон,
И был, по воле Иеговы,
Илья на небо вознесен!
И в страхе падший на колени
Воззрел на небо Елисей,
Где мчались кони, рвали тени
Среди молниеносных змей...
И роковая колесница
Гремела тяжко меж огней,
И мчалась легкая, как птица,
Четверка пламенных коней!
И между тем как, пламенея,
Гремел и плакал небосклон,
К ногам скатился Елисея
Ильи разодранный хитон!.."

Фофанов вообще очень любил меня, всячески поощряя мои начинания и предрекая им постоянно громкую будущность, но мой уклон к модернизму его всего печалил, а иногда и раздражал... Он написал даже две пародии на мои стихи, которые тоже вошли в один из двух моих альбомов. К сожалению, я их не помню, да и вряд ли они характерны для него, так как написаны... в прозе! Из других полушуточных стихов я приведу следующее, написанное им в одно из моих посещений, когда он проживал в Гатчине. Было это зимою 1908 года. Я пришел к нему с мызы Ивановки на лыжах. Лыжный спорт с детства — один из моих любимейших, и на своих одиннадцатифутовых норвежских беговых лыжах с пружинящими ход американскими "хомутиками" я пробегал большие расстояния.

"Я видел вновь весны рожденье:
Весенний плеск, веселый гул,
Но прочитал твои творенья,
Мой Северянин, — и заснул...
И снилось мне: в стране полярной
В снегу и в инее сады,
Где лился свет луны янтарной
На зачарованные льды.
И спало все в морозной неге
От рек хрустальных до высот,
И, как гигант, мелькал на снеге
При лунном свете лыжеход..."

Никто, думается, не будет спорить, что в этом пустячке много настроения и что он весь насыщен чистейшей лирикой именно в фофановских тонах. Стихи, подобные этим, я причисляю к истым произведениям поэзии: несмотря на свою скромную форму, размер, бедноту рифм и общую кажущуюся банальность, они так пленительны и полны такого тайного очарования, что повторять их бесконечно является настоящим наслаждением, я сказал бы, потребностью каждого, кто любит и чувствует красоту.

Из других посвящений мне Фофанова я вспоминаю еще слегка декадентскую "Стрекозу":

"Над прудом кружилась долго
Голубая стрекоза,
Закрывая от восторга
Изумрудные глаза...
Чуть колеблелась осока,
Наклоняя тощий стан,
А в саду неподалеку
Цвел оранжевый тюльпан.
И, предвидя новолунье,
Он влюбился в стрекозу,
И летит к нему шалунья
Утереть его слезу"...

Бывши поэтом-пушкинианцем, молясь на Пушкина, он любил простоту и ясность, хотя сам не был чужд свежих образов, смелых эпитетов. Он мог сказать: "безлиственная ночь" и, вероятно, весьма удивился бы, если бы ему указали на дерзновение данного выражения. Происходило это оттого, что в творчестве своем, как истинно художественном, он часто бывал подсознателен. Недаром многие критики называют Фофанова первым русским декадентом. Да, действительно: в нем было то, что подходит под это наименование, но как он не любил, можно сказать, даже ненавидел "декадентов", — как называла критика того времени — Брюсова, Блока, Сологуба... В одном из писем ко мне он дошел до того, что прямо-таки называл вышеназванных поэтов... бездарностями (!) и предостерегал меня от подражания им...

В заключение привожу его стихи, написанные мне в 1908 г. на книге его "Иллюзии"[26]:

"Чудному новоявленному поэту.
Все люблю я в Игоре, —
Душу и перо!
Жизнь Его, ты выгори
В славу и добро!
Песнь Его прекрасная,
В мире разнесись
И, как зорька ясная,
Озари, всевластная,
На Парнасе высь!"

II. Последние дни поэта

5-го мая, 1911 г., когда я только что закончил свой знаменитый "Весенний день"[27], раздался звонок, и в мой кабинет вошел, как всегда возбужденный и нервный, Фофанов в сопровождении своего сына, впоследствии футуриста Олимпова[28], оставившего после себя печальную память своими дикими выходками и причудами вплоть до запусканья в публику стульями...

Этот случай имел место на первом моем поэзоконцерте в Петербурге, в зале Тенишевского училища, в декабре 1913 г., где среди двадцати трех участвующих литераторов и артистов выступал и этот неистовый юноша... В этот вечер вступительное слово о моем творчестве произнес покойный ныне Н. И. Кульбин.

Я прочел пришедшему Фофанову свое новое, только что законченное стихотворение, и с каким искренним восторгом он выслушал его, как обнимал меня, растроганный и восхищенный!

— Вот как надо писать, радость моя! — говорил он со слезами на глазах, — забудь все декадентские исхищрения, они тебе не к лицу. Пиши всегда так же просто и ясно, как написал этот "Весенний день", и ты будешь всенародным русским поэтом. А теперь я пришел к тебе напомнить, что жду тебя и твою маму к себе в Сергиево 8-го — день моего рождения. Приезжайте обязательно и помните, что особых приглашений в этот раз не будет. Так смотрите же, будьте непременно.

Посидев около часа, гости ушли, а уже 10-го мая, т. е. через пять дней после их посещения, в "Биржевых Ведомостях"[29] появилось сообщение о серьезной болезни Фофанова.

Тотчас же я собрался поехать в Сергиево, взволнованный этим известием. В это время приехал за мною Леонид Николаевич Афанасьев[30], весьма встревоженный и расстроенный тем же, и мы отправились с ним к больному.

Застали мы его в постели, как всегда, без гроша в доме. Он жаловался на боли в левом боку, кашлял, но был весел и оживлен, по обыкновению много шутя и развлекая нас экспромтами и эпиграммами преимущественно на высочайших особ.

Он потребовал, чтобы жена распорядилась послать за водкой, и, несмотря на наши протесты и на доводы о вреде вина во время болезни, водка все же была добыта, и мы принуждены были, скрепя сердце, выпить с ним несколько рюмок, — Афанасьев наверняка не более одной...

Пробыв у больного до позднего вечера, мы с Афанасьевым возвратились с последним поездом в Петербург, вполне успокоенные состоянием здоровья Константина Михайловича и негодуя на преувеличенные газетные сведения. Можно представить себе поэтому наше изумление, когда через два дня в той же газете и в "Новом Времени"[31] появились заметки об ухудшении здоровья поэта и перевозке его в закрытом автомобиле на Васильевский остров, в лечебницу доктора Камераза.

Мы бросились по указанному адресу и нашли нашего друга в большой светлой палате, до неузнаваемости исхудавшего, пожелтевшего, обстриженного "под ноль", с выбритыми бородой и усами. Вскоре появился Аполлон Коринфский[32], и мы учредили нечто вроде дежурства у постели больного.

Доктор Камераз, сердечно предоставивший больному поэту палату и лечение совершенно безвозмездно, покачивал головой и не скрывал от нас серьезности его положения. Три болезни одновременно — воспаление левого легкого, нефрит и белая горячка — овладели несчастным. Он был еще в полном сознании, лишь по временам впадая в бредовое состояние. Камераз поддерживал его шампанским.

Всю эту неделю, до последнего часа своей жизни, он не переставал водить рукою по стене, как будто что-то писал: очевидно, творчество не покидало его до самой смерти.

Бросалось в глаза полное отсутствие людей искусства, которым даже в голову не приходило навестить больного, хотя бюллетени о его здоровье печатались в газетах ежедневно.

Лидия Константиновна, жена Фофанова, в это время проживала в нашей квартире на Средней Подьяческой, 5, ежедневно навещая мужа. 17-го утром, оставив Афанасьева у постели больного, я выехал на ст. Елизаветино по своим делам. Возвратясь около трех часов дня, я наскоро пообедал и, почему-то переодевшись в черный сюртук, поспешил без "особых приглашений" в лечебницу. Там я спросил у одной из сиделок, встреченной мною в коридоре, о здоровье больного.

— Он скончался сегодня, — был ее ответ.

Я вошел в зал, где шли приготовления к первой панихиде. А. А. Измайлов и И. Ясинский

были уже там. Отведя Измайлова в сторону, я спросил у него, где и на какие средства он предполагает хоронить поэта.

— Видите ли, деньги на похороны дают редакции "Биржевых Ведомостей" и "Нового Времени". Что же касается места погребения, я думаю, лучше всего избрать Волково кладбище, на Литературных мостках которого спят Тургенев, Надсон и другие писатели.

— Да, но известно ли Вам, — спросил я у него, — что у Фофанова было определенно выраженное желание, чтобы его похоронили непременно в Новодевичьем монастыре, о чем он неоднократно мне упоминал, а в последний раз, когда 5-го мая, на вид совершенно здоровый, посетил меня, он еще раз напомнил мне об этом, обронив следующую знаменательную фразу:

— А мне что-то все нездоровится последнее время. Помни, радость моя, когда я умру, обязательно настаивай на Новодевичьем. Только не на Волковом! — почти злобно закончил он.

Измайлов выслушал меня внимательно, но отказал, мотивируя это безумной дороговизной мест на кладбище Новодевичьего монастыря. Редакции же, по его словам, таких расходов нести не пожелают.

Тогда я призадумался, искренно огорченный. Вдруг меня осенило.

— Костя, — сказал я, обращаясь к сыну покойного, — сделаем так, чтобы воля твоего отца была выполнена.

Но Костя, совершенно растерянный, никаким советом помочь мне в моем намерении не мог. Тогда я, взяв его с собою, направился, влекомый интуицией, в редакцию "Санкт-Петербургских Ведомостей", предварительно узнав цену могилы, и просил лакея доложить о нас князю Эсперу Эсперовичу Ухтомскому[33], которого до этого дня лично не знал вовсе.

Когда, минут десять спустя, мы были приняты им, я обратился к нему со следующими словами:

— Как Вам известно, умер Фофанов. Его воля: быть похороненным на кладбище Новодевичьего монастыря. Эта воля для нас с ним (я указал на Костю) — священна: он его сын, я — друг и сам начинающий поэт. Обращаюсь к Вам, как к поэту и человеку: дайте 250 рублей — разницу стоимости мест на двух кладбищах, и Вы выполните свой долг, долг художника.

Князь Ухтомский мгновенно выполнил мою просьбу, и, когда я стал благодарить его, он остановил меня следующей фразой:

— Не Вы меня, а я должен благодарить Вас за любовь к поэту, за стремление выполнить его волю.

Мы с Костей отправились в монастырь и выбрали место рядом с могилой Врубеля.

20-го мая состоялись похороны. Кн. Ухтомский принимал в них живейшее участие. Публики было немного: человек триста. Литературный мир по-прежнему блистал своим отсутствием...

Перечисляю присутствовавших: Леонид Афанасьев, Аполлон Коринфский, М. О. Меньшиков[34], Владимир Лебедев[35], И. Ясинский, А. Измайлов, д-р Студенцов, полковник И. А. Дашкевич и... публика.

Мы читали стихи, возмущались равнодушием людским и разошлись по домам. У нас состоялись поминки.

Так был похоронен выдающийся русский поэт, временами достигавший гениальности!

Он умер пятидесяти лет, и если и дожил до этого возраста, то благодаря лишь А. С. Суворину[36], дававшему ему ежемесячно 50 рублей, и Академии Наук, откуда он получал по 20 рублей в месяц. Все же остальные заработки, как у истого поэта, бывали случайны и более чем эфемерны...

Озеро Uljaste.
1923 г. Декабрь

О творчестве и жизни Фофанова

Творчество Фофанова полярно: с одной стороны, жалкая посредственность, с другой — талант, граничащий с гением:

"Скорей в постелю, поэтесса"... и:
"Я сердце свое захотел обмануть,
А сердце меня обмануло"... —

написано одним и тем же автором! Этому даже поверить трудно, однако это так. И у него это постоянно. И сколько раз Академия Наук не присудила ему из-за этого Пушкинской премии, награждая ею стихотворцев, талантливость которых более чем сомнительна и идти в сравнение с Фофановской вовсе не может[1]. Но зато у них не было того, что сплошь и рядом портило строфы Фофанова: вопиющей небрежности, необдуманной наскорости. Я предложил как-то в Москве своему издателю, ныне расстрелянному, В. В. Пашуканису, издать сборник избранных стихов Фофанова. Пашуканис, человек с университетским образованием, вдобавок обладавший большим вкусом и сам писавший далеко не дурные стихи, сначала улыбнулся моему предложению, но когда я стал приводить ему перлы поэта, улыбка сошла с его лица, и он с большим внима-

нием слушал замечательные стихи, которые я выискивал в Фофановских книгах. В заключение было решено издать книгу страниц в сто, не более, и тогда, ты можешь представить себе, русский читатель, какое сокровище истинной поэзии было бы у тебя в руках! Это была бы воистину изумительная книга, да она и будет со временем, если только Господь продлит мою жизнь, ибо я знаю, что выбрать из Фофанова и что забраковать. Тогда наша идея, пришедшая нам в головы, к сожалению, слишком поздно, не осуществилась из-за... осуществленной революции, отвлекшей людское внимание от печатного художественного слова. Теперь же у меня нет под рукой ни всех книг Фофанова, ни, и это самое главное, тонкого, интеллигентного издателя во вкусе Пашуканиса. Поэтому "Звезды ясные", как думал я назвать эту книгу, не изданы до сих пор. В чем главная сила, в чем же очарование Фофановской музы?

Я думаю, прежде всего в его лирике северной весны с ее белыми ночами, такими больными и призрачными, с ее утонченным целомудрием, с почти бездуханными ароматами, — прежде всего, думаю я. Ни у одного из русских поэтов нет того, что вы найдете у Фофанова относительно северной весны: ее души, ее аромата, повторяю, почти недушистого, но такого пленительного своими возможностями, что эта недушистость душистее всякого яркого аромата, ибо в ней он только подразумевается, не передан, не запечатлен и, именно в силу этого обстоятельства своей неопределенности, насыщен истинным свойством благоухания точного, неприкрашенного, непреувеличенного ничем. Вот это-то и есть, по-моему, отличительная черта его лирики, в этом-то и таится вся ее душа — все ее непередаваемое обаяние, которое не подлежит никаким анализам, никакой формулировке. Его импрессионизм можно постараться обозначить лишь импрессионистическим способом. В этом отношении весьма характерны многие из его стихов, в особенности "Мелодия". Девять книг было выпущено им при жизни[2], две ("Эфиры" и "Слезы и крылья") остались в издательстве А. С. Суворина неизданными, да дома в особом сундуке мне пришлось видеть массу его рукописей; в том числе драму в стихах "Железное время" (революция 1905 г.). Кому известна судьба всех этих произведений, среди которых много выдающихся? Да и кто заботится теперь об этом[3]?.. Меньше всего Фофанову удавалась повествовательная форма, и его поэмы, как, например, "Поэтесса" или "Барон Клакс", испещрены безвкуснейшими строками, бессильными и аляповатыми, хотя справедливость требует заметить, что в этих неудачных произведениях наряду со строками, слабыми во всех отношениях, встречаются все же стихи, достойные всяческого внимания по своей изобразительности, остроумию, проникновенности. В его поэмах ярче всего сказалось его неуменье, возможно нежеланье, работать над стихом. Я говорю: "нежеланье", припоминая такой случай, когда одно лицо, в моем присутствии, попробовало высказать ему свои мнения по поводу его какого-то стихотворения. Добавлю, что лицо не принадлежало к литературе и, следовательно, судило не без примитивной компетенции... И надо было видеть гнев поэта, обрушенный им на этого злополучного критика! Сущность этого "разноса" сводилась к тому, что все напечатанное Фофановым и подписанное его именем, разбору и суждению не подлежало. По этому поводу небезынтересно припомнить рассказ Леонида Афанасьева об одном из его стихотворений в три строфы, предложенном им распространенной газете. Редактор забраковал первую строфу, оставив две другие, критик отверг вторую, собрат-поэт обрушился на третью... Когда Леонид Николаевич передавал мне этот случай, я хохотал до слез... Хотя Фофанов принадлежал к плеяде поэтов пушкинской школы, и декадентство сильно недолюбливал, его талантом бывали заинтересованы и "левые". Бальмонт[4] и Брюсов даже ездили знакомиться с ним в Гатчину. Последние годы Фофанова из-за его "недуга" все покинули, и только трезвейший Леонид Афанасьев остался верным ему до последнего часа. Фофанов очень любил творчество Лохвицкой, и я неоднократно был свидетелем его экстазов при чтении моем из нее. Поэтесса, не бывшая знакомой с ним, в свою очередь, видимо, ценила его дар и прислала ему однажды свой сборник с надписью, но жена поэта, в припадке беспричинной ревности, его уничтожила, и напоминание об этом случае доставляло почившему искреннее огорчение. Надсон[5], бывший современником Фофанова, вписал как-то в альбом Марка Басанина[6] строки, в которых говорилось, что, если бы он, Надсон, имел хотя бы одну десятую дарования автора "Мелодии", он покорил бы мир... Любил Фофанов и Голенищева-Кутузова[7], и Величко[8], и Владимира Лебедева, не переносил лишь определенно К. Р.[9] и Веру Рудич[10]. Рассказывают эпизод, когда полковник П., принимая у себя как-то Фофанова, желая его занять, не подозревая его ненависти к Рудич, предложил его вниманию ее сборник... Поэт пришел в ярость, и, если бы хозяин вовремя не уклонился, этот премированный сборник попал ему в лицо... Про Фофанова складывались легенды, но большинству из них я верить не рекомендую. Я был знаком с ним с 20 ноября 1907 г. по день его кончины — 17 мая 1911 г. и за это время

виделся с ним очень часто. Правда, в моменты опьяненья и невозможное делалось иногда возможным, но, повторяю, большинство россказней про него — ложь и вздор. Я же, со своей стороны, могу и должен сказать, что, несмотря на все свои — иногда и крупные — недостатки, как в творчестве, так и в жизни, Фофанов был обаятельным, мягким, добрым, ласковым и сердечным человеком, очень нравственным, религиозным и даже застенчивым по-детски. Он любил своих детей, в особенности — Константинова (Олимпова впоследствии), а если не умел их воспитывать, что же, он прав: он и не брался ведь за их воспитание... Кроме своей жены, как я имею основания утверждать, он не знал ни одной женщины. Был ли счастлив поэт в семейной жизни? Об этом нельзя даже говорить, так как, в сущности, несмотря на то что был женат по страстной любви и имел девять человек детей, у него семейной жизни вовсе не было, по крайней мере в те годы, когда мне выпало счастье знавать его лично, ибо жена его, подверженная тому же недугу, каким страдал и он сам, иногда где-то пропадала по целым дням, а когда бывала дома, находилась почти постоянно в невменяемом состоянии... За время своего супружества она побывала семь раз у Николая Чудотворца[11]. "Гостил" там однажды и сам Фофанов. Многие спрашивают, кто на кого дурно повлиял? Не отвечая прямо на этот вопрос, я укажу только, что пить поэт начал с тринадцатилетнего возраста. Жена же его, происходившая из вполне приличной — в общественном смысле — морской семьи, окончившая Смольный институт, пить начала спустя много лет после брака. Но без предрасположения к чему-либо мы в это "что-либо" не втягиваемся...

Озеро Uljaste.
1923 г.

Цветы неувядные

(Лирика Фофанова)

Я беру с полки книжку, одну из тех немногих, которые захватил с собою, уезжая из Петербурга в 1918 г. на дачу в Тойла. Книжка издана в 1887 г. Германом Гоппе. Ее название: "Стихотворения К. М. Фофанова (1880 — 87 гг.)". Это первая книга поэта. Издана она в год моего появления на свет и в год смерти С. Надсона — даты знаменательные... Фофанов писал семь лет при жизни Надсона и был многим уже знаком до своей первой книги[1]. И не странно ли: посредственный Надсон был божеством для молодежи, между тем как более чем талантливый Фофанов для большинства оставался чуждым. Надсоном зачитывались, учили его наизусть, всячески "уважали" и чествовали, его появления на эстраде сопровождались овациями, "Литературный Фонд"[2], издававший в бесконечном количестве экземпляров его единственную книгу, разбогател на ней[3], а Фофанова почти не замечали. Я не говорю, конечно, о настоящих, немногих ценителях искусства — я имею в виду так называемую "большую" публику. Объясняется, однако, все это очень просто: у Фофанова не было тенденции, обязательной для русского поэта той эпохи, Надсон же, писавший душещипательные элегии, насыщенные гражданской скорбью и стереотипной лирикой обывателя, отвечал как раз запросам времени. Я убеждался неоднократно, что рядовой читатель, к сожалению, до сих пор плохо разбирается в вопросах стиля, и это — после извержения такой поэтической Этны, как Бальмонт, после офортов Брюсова и аллитерационной волшбы Сологуба!.. Немудрено, что в те времена, когда, прозевав Каролину Павлову, Баратынского[4] и Тютчева, русский читатель зачитывался Некрасовым[5] и Плещеевым[6], Надсон пришелся ему по вкусу и был принят им целиком. Какое могло быть дело публике до жалкого однообразия его размеров, вопиющего убожества затасканных глагольных рифм, маринованных метафор и консервированных эпитетов? Самое главное было налицо: "тоска по иному", все остальное не замечали, не хотели замечать и замечать не умели... Здесь я делаю необходимую оговорку: воздавая Надсону глубокое уважение, как человеку безукоризненной честности, я, вполне сочувствуя его тяготению к иным формам затхлой жизни его эпохи, абсолютно не принимаю его, как поэта, для ухода из этой самой затхлости пользовавшегося затхлыми средствами в своем творчестве. Я не склонен и обвинять его за это, памятуя, что его одаренность была весьма ограниченной и не позволяла ему заняться изысканиями иных средств. Я только хочу констатировать прискорбный факт превознесения малодостойного за счет достойного вполне. Повторяю, я говорю только с точки зрения литературного, специального, подхода и ничего более. Вот для этого-то я и достал с полки книжку Фофанова, современника Надсона, которого высоко ценил сам Надсон, чтобы сделать несколько знаменательных из нее выборок, могущих сказать сами за себя больше, нежели я стал бы пытаться прозой хвалить стихи!.. Но прежде чем сделать это, припомню, кстати, эпизод, происшедший в 1912 г. в Москве, за ужином после моего концерта в "Эстетике"[7].

Присутствовавший на этом ужине ныне покойный проф[ессор] С. А. Венгеров[8], говоря о Надсоне, всячески его восхвалял и защищал от нападок моих и Валерия Брюсова, читавшего на моем вечере стихи, мне посвященные.

— Понимаете ли, — говорил Венгеров, — что, читая Надсона, чувствуешь не только тоску, но и ужас...

Тогда Брюсов саркастически заметил:

—Если в темноте меня схватят за горло, я тоже почувствую ужас. Следует ли, однако, что этот ужас художественного происхождения?.. — Ясно: если Надсон не был художником, и "ужас" его был несколько иного порядка...

Я раскрываю томик Фофанова на первой странице, украшенной его автографом. Дата — 23 мая 1908 г., мыза Ивановка, на ст. Пудость.

"На память Игорю-Северянину.
Это в юности все было,
Прежде я не так любил.
И одно мне изменило,
Я другому изменил.

Эти струны, эта книжка —
Грезы юности былой...
Но теперь амур-мальчишка
Стал и взрослый, и седой.

Потому-то сердцу больно,
Вьюга веет на душе,
И следы любви невольно
Я ищу на порошé".

Той любви своей юности искал престарелый поэт, гостя у меня на даче, когда на нашей "изношенной земле", под "золотой лазурью", "весною, в Божьи именины, тебе веселый праздник дан: в твоем саду цветут жасмины, в твоем саду журчит фонтан", когда над "огненной урной тюльпана" светит "молодая луна", когда —

"Весь заплакан сад зеленый,
Слезы смигивают клены
На подушки алых роз.
Порвана последней тучки
Легко-дымчатая ткань,
И в окно уносят ручки
Юной бабушкиной внучки
Орошенную герань",

Когда —

"едва-едва забрезжило весной,
Навстречу вешних дней мы выставили рамы,
В соседней комнате несмелою рукой
Моя сестра разучивала гаммы.
Духами веяло с подержанных страниц, —
И усики свинцово-серой пыли
В лучах заката реяли и плыли,
Как бледный рой усталых танцовщиц"...

И не хотелось ли поэту, вспоминавшему свою молодость, заключенную в монастыре лет, сказать ей:

"Быть может, тебя навестить я приду
Усталой признательной тенью
Весною, когда в монастырском саду
Запахнет миндальной сиренью?"

Опечаленно вспоминает он дальше:

"Тихо бредем мы четой молчаливой,
Серостью дышат росистые кущи...
Пахнет укропом и пахнет крапивой,
Влажные сумерки гуще и гуще...
... Верно, давно поджидает нас дома
Чай золотистый со свежею булкой.
Глупое счастье, а редким знакомо"...

И не подумал ли он, смотря на осенеющий парк Ивановки:

"Полураздетая дубрава,
Полуувядшие цветы,
Вы навеваете мне снова
Меланхоличные мечты",

о музе прежних дней, о которой он сказал когда-то:

"Увы, ей верить невозможно,
Но и не верить ей нельзя"?

О, молодость Фофанова, когда —

"Заслушалась роза тюльпана,
Жасмин приклонился к лилее,
И эхо задумалось странно
В душистой аллее"...

Теперь же —

"время набожно сдувает
с могильных камней письмена"...

Вспомнились и давние две незабудки, неувядные на клумбе воспоминаний:

"Не грели душу сны живые,
Лишь доцветали на окне
Две незабудки голубые,
Весною брошенные мне"...

Не в те ли дни встретился он впервые с любовью, о которой сказал:

"С тоской в груди и гневом смутным,
С волненьем, вспыхнувшим в крови,
Не поверяй друзьям минутным
Печаль осмеянной любви.

Им все равно; они от счастья
Не отрекутся своего;

Их равнодушное участье
Больней несчастья самого"...

Не любил поэт города:

"Столица бредила в чаду своей тоски,
Гонясь за куплей и продажей.
Общественных карет болтливые звонки
Мешались с лязгом экипажей".

И он шел рассеянно, город его не волновал, мечты мчались туда, где

"...серебро сверкающих озер,
Сережки вербы опушенной
И серых деревень заплаканный простор,
И в бледной дали лес зеленый...
И веяло в лицо мне запахом полей,
Смущало сердце вдохновенье,
И ангел родины незлобивой моей
Мне в душу слал благословенье"...

И не за эту ли свою любовь к природе поэт всегда

"был встречаем природой знакомой,
как нежной сестрою потерянный брат?"...

Но не одну существующую земную природу знал он — ему была хорошо знакома и иная природа — природа фантастическая:

"Я грезою в эдем перенесен:
Меж мшистых скал легко гарцуют лани,
Цветет сирень, синеет небосклон,
И колибри трепещет на банане"...

Это в эпоху-то Надсона!

Вы все-таки еще не согласны, господа, что красота выше пользы?..

Озеро Uljaste.
1924 г.

"Цветы розовой окраски..."

(О лирике Фофанова)

Перелистывая первую книгу Фофанова, вышедшую в свет в 1887 г., я нахожу — среди массы раздражающих своим убогим шаблоном и ходячими клише стихов, мало говорящих об истинной индивидуальности автора и могущих быть приписанными любому выдающемуся стихотворцу той эпохи, если исключить их замечательную плавность, ему присущую, и редкую вдохновенность, постоянно его выручавшую в "несчастных случаях", — много изумительных строк, строф, а иногда — но это значительно реже — и стихотворений целиком. Фофанову хорошо удавалась форма отрицания общепринятого. Так, напр[имер], когда большинство — и большинство громадное! — поэтов, описывая свидания влюбленных, привыкло говорить, что эти свидания происходят обыкновенно в "поэтической" обстановке — при "расцветающих розах", "поющих соловьях", "светящей луне" и иных, на их взгляд, неизбежных атрибутах любовных встреч, — Фофанов позволял себе и встречаться с любимой, и эти встречи описывать несколько иначе, что, на мой взгляд, отнюдь не вредило ни этим свиданиям, ни этим стихам:

"Не правда ль, все дышало прозой,
Когда сходились мы с тобой?
Нам соловьи, пленившись розой,
Не пели гимны в тьме ночной.
И друг влюбленных — месяц ясный —
Нам не светил в вечерний час,
И ночь дремотой сладострастной
Не убаюкивала нас".

Как хотите, а я чувствую в приведенных двух лирических строфах несомненную иронию. Благодаря ей такие стереотипы, как "соловьи, плененные розой", "тьма ночная", "месяц ясный" и "сладострастная дремота", здесь не только не шокируют слух, а положительно уместны и даже нужны, но, несмотря на такую, "несладострастную, безлунную, безрозную, бессоловьиную" обстановку, поэт все же торжествует:

" А посмотри — в какие речи,
В какие краски я облек
И наши будничные встречи,
И наш укромный уголок!
В них белопенные каскады
Шумят, свергаяся с холма.
В них гроты, полные прохлады,
И золотые терема.
В них ты, блистательная фея,
В них я, восторженный боец,
Тебя спасаю от злодея
И торжествую, наконец".

Как уместен здесь, например, иронический стих:

" Тебя спасаю от злодея"!

Все, вместе взятое, дает мне право назвать процитированное стихотворение удачным.

Бродя по городу, поэт умел видеть, как —

" Газовых рожков блестящие сердца
В зеркальных окнах трепетали"...

В дубовой роще он примечал, как "выгнутые корни деревьев извивались серыми ужами"...

Смотря на тюльпан, нарисованный на оконном стекле художником Морозом, он мог думать о тюльпане живом такими стихами:

"Даль окуталась туманом,
Молчаливо сад заснул,
И глазетовым тюльпаном
На стекле мороз блеснул.
Но душа не унывает —
Знаю я, что в свой черед
На окне тюльпан растает,
А на клумбе зацветет".

Своеобразно смотрел он на мир:

"Покуда я живу, вселенная сияет.
Умру — со мной умрет бестрепетно она.
Мой дух ее живит, живит и согревает,
И без него она ничтожна и темна".

Оригинально по мысли, хотя и далеко не безупречно по форме, следующее стихотворение:

"Чужой толпе, чужой природе
Он жаждал бурь и шумных битв,
Не видел Бога в небосводе
И на земле не знал молитв.
Любви не ведая прекрасной,
Он людям зло свое принес
И умер он... И труп безгласный
Зарыли ближние без слез.
Но над его могильным ложем,
В тени разросшихся кустов,
Весной душистою прохожим
Запели птицы про любовь"...

Если бы в этом стихотворении не было разных "шумных битв", "прекрасных любовей", "безгласных трупов" и "душистых весен", оно, несомненно, много выиграло бы...

Выписываю еще одно стихотворение, очаровывающее против воли: в нем так много непосредственности, что невольно прощаешь и его, по выражению обывателя, "задушевность", и его несколько мещанскую тональность.

Называется оно "Май":

"Бледный вечер весны и задумчив, и тих,
Зарумянен вечерней зарею,
Грустно в окна глядит — и слагается стих,
И теснится мечта за мечтою.

Что-то грустно душе, что-то сердцу больней,
Иль взгрустнулося мне о бывалом?
Это май — баловник, это май — чародей
Веет свежим своим опахалом.
Там, за душной чертою столичных громад,
На степях светозарной природы,
Звонко птицы поют, и плывет аромат,
И журчат сладкоструйные воды.
И дрожит под росою душистых полей
Бледный ландыш склоненным бокалом.
Это май — баловник, это май — чародей
Веет свежим своим опахалом.

Дорогая моя! если б встретиться нам
В звучном празднике юного мая
И сиренью дышать, и внимать соловьям,
Мир любви и страстей обнимая, —
О, как счастлив бы стал я любовью твоей,
Сколько грез в моем сердце усталом
Этот май — баловник, этот май — чародей
Разбудил бы своим опахалом!"

"Бледный вечер", "бледный ландыш", "душная черта", наконец, даже "светозарная природа" — вот что хочется похвалить в этих стихах. Но зато сколько в них "грустно глядящих в окна вечерних зорь", "усталых сердец", "звонко поющих птиц" и других банальностей!.. А как вам понравится такая вещица:

"Ты пришла ко мне, малютка,
Ранним утром,
В час, когда душистей незабудка,
И блистают тучки перламутром.
Ты пришла и рассмеялась
Слишком звонко.
В этом смехе много мне сказалось:
В нем звучала хитрость не ребенка...
Понял я — вчера недаром
Ночью лунной
Ты, краснея и пылая жаром,
Вышла в сад походкою бесшумной!.."

Мне она нравится определенно, несмотря на "тучки, блистающие перламутром" (у кого только их нет!), на "бесшумные походки" и на "пыланье жаром"... В этой вещице есть что-то, что я могу обозначить п о э з и е й... Закончу я свой обзор приведением "Элегии" из цикла — "Траурные песни":

"Мои надгробные цветы
Должны быть розовой окраски.
Не все я выплакал мечты,
Не все поведал миру сказки.
Не допел я любовных снов,
Благоуханную отраву
И не допил своих стихов,
И не донес к сединам славу.
А как был ясен мой рассвет!
Как много чувств в душе таилось!
Но я страдал, я был поэт, —
Во мне живое сердце билось.
И пал я жертвой суеты
С безумной жаждой снов и ласки —
Мои надгробные цветы
Должны быть розовой окраски!"

Произведение это я нахожу пророческим: создано оно 29 августа 1886 г., т. е. когда автору было всего 24 года.

И что же? Все вышло так, как он говорит в нем: жажда любви и ласки, ожесточенный жизненными неудачами, подверженный страшному "виноградному пороку", пал он "жертвой суеты", не донеся до седин славы, хотя рассвет его и был ясным и обещал ему так много...

И вот, в результате, настала для него ранняя осень, когда —

"...Коронками к земле склонялись георгины,
Туманным саваном окутывалась даль,
И нити пыльные воздушной паутины
Белели меж ветвей алеющей рябины,
Как хмурой осени истлевшая вуаль"...

Озеро Uljaste.
1924 г.

Встречи с Брюсовым

1

Осенью 1911 г. — это было в Петербурге — совершенно неожиданно, ибо я даже знаком с Брюсовым не был, я получил от него, жившего постоянно в Москве, чрезвычайно-знаменательное письмо и целую кипу книг: три тома "Путей и перепутий", повесть "Огненный ангел" и переводы из Верлэна. На первом томе стихов была надпись: "Игорю Северянину в знак любви к его поэзии. Валерий Брюсов". — "Не знаю, любите ли Вы мои стихи, — писал он, — но Ваши мне положительно нравятся. Все мы подражаем друг другу: молодые — старикам и старики — молодежи, и это вполне естественно". В заключение он просил меня выслать ему все брошюры с моими стихами, т. к. он нигде не мог их приобрести. И неудивительно: брошюры мои начиная с 1904 по 1912 г. включительно выходили всего в ста экземплярах, и только две из тридцати пяти вышли: в двухстах одна и в трехстах экземплярах другая[1]. В письме ко мне Брюсова и в присылке им своих книг таилось для меня нечто чудесное, сказочному сну подобное: юному, начинающему, почти никому не известному поэту пишет совершенно исключительное по любезности письмо и шлет свои книги поэт, достигший вершины славы, светило модернизма, общепризнанный мэтр, как сказал о нем как-то в одном из своих стихотворений Сергей Соловьев[2] — "великолепный Брюсов"[3]. Очень обрадованный и гордый его обращением ко мне, я послал нашедшиеся у меня брошюрки и написал в ответ, что человек, создавший в поэзии эру, не может быть бездарным, что стихи его мне, в свою очередь, тоже не могут не нравиться, что ассонансы его волнующи и остры и пр.[4] Вскоре я получил от него первое послание в стихах, начинавшееся так: "Строя струны лиры клирной, братьев ты собрал на брань". В этих стихах он намекал на провозглашенный мною в ту пору Эго-Футуризм. Я ответил ему стихами, начинавшимися: "Король на плахе. Королевство — уже республика"[5]. Под королем я подразумевал только что скончавшегося — 17 мая 1911 г. — К. М. Фофанова. На одной из брошюрок я сделал такую надпись: "Господину Президенту республики "Поэзия" изнеможенный наследник сожженного Короля". С этих пор у нас с Брюсовым завязалась переписка, продолжавшаяся до первых месяцев 1914 г., когда появилась его заметка в "Русской мысли"[6] о моей второй книге стихов — "Златолире"[7]. Но об этом в свое время. Как-то издатель "Петербургского Глашатая" И. В. Игнатьев[8], приступая к набору альманаха "Орлы над пропастью"[9], попросил меня написать Брюсову и предложить ему сотрудничество. Я исполнил просьбу Игнатьева, незамедлительно получив "Сонет-акростих Игорю Северянину": "И ты стремишься в высь, где солнце вечно". Оба эти стихотворения Брюсова, ко мне обращенные, вошли впоследствии в его сборник "Семь цветов радуги".

2

Однажды зимой я только что зажег лампу, как кто-то позвонил к нам.

— Брюсов, — доложила прислуга.

Взволнованный до глубины души этим новым проявлением с его стороны ко мне исключительного опять-таки внимания, я поспешил встретить его. Быстро скинув меховую шубу и сбросив калоши, он вошел в мою комнату, служившую мне в то время одновременно и спальной, и кабинетом. Разговор наш длился около часа. Он настойчиво советовал мне подготовить к печати первый большой сборник стихов, повыбрав их из моих бесчисленных брошюр.

— Это совершенно необходимо,— говорил он, — на что можно рассчитывать при тираже в сто экземпляров, при объеме в 12—20 страниц? Да вдобавок, как Вы сообщаете, брошюры Ваши почти целиком расходятся по редакциям "для отзыва" и в продажу поступает, быть может, одна четверть издания.

Кстати будет заметить, что как раз в описываемое мною время ко мне стали являться артельщики то от Вольфа[10], то от Карбасникова[11], прося продать им на наличные, безо всякой комиссии, то ту, то другую брошюру. "Публика требует", — поясняли они. Они охотно платили мне обозначенную печатно на обложке цену: по рублю за... четыре страницы брошюры: "Эпилог Эго-Футуризма"! Уже прощаясь, Брюсов пред-

ложил мне выступить со стихами в Московском Литер[атурно]-Худож[ественном] кружке, где он состоял директором[12]. Кроме того, он просил меня прочесть там же доклад об Эго-Фут[уризме]. От последнего я мягко уклонился, стихи же обещал прочесть. Мы условились, что он напишет мне, когда я должен буду приехать в Москву.

3

Получив от Брюсова письменное приглашение и деньги на дорогу, я поехал в Москву. Переодевшись в гостинице, я, как было условлено, отправился к нему на Первую Мещанскую ул., 32. У него я застал проф[ессора] С. А. Венгерова, ныне уже тоже умершего. Валерий Яковлевич познакомил меня с Иоанной Матвеевной[13], своей женой, и мы прошли сначала в кабинет, очень просторный, все стены которого были обставлены книжными полками. Бросалась в глаза пустынность и предельная простота обстановки. На стене висел портрет хозяина изумительной работы Врубеля. Сначала разговор шел о литературе вообще, затем он перешел на предстоящее мое московское выступление.

— Я очень заинтересовался Вашим дебютом,— улыбнулся В. Я.[14], — и хочу, чтобы он прошел блестяще. Не забудьте, что Москва капризна: часто то, что нравится и признано в Петербурге, здесь не имеет никакого успеха. В особенности это касается театра. Впрочем, это старая история, и Вы, думается, сами слышали об этом антагонизме. Главное, на что я считаю необходимым обратить Ваше внимание, это чисто русское произношение слов иностранных: везде Э оборотное читайте, как Е простое. Напр[имер], сонэт произносите, как с о н е т. Не улыбайтесь, не улыбайтесь, — поспешно заметил он, улыбкой отвечая на мою улыбку. — Здесь это очень много значит, уверяю Вас.

Мне не хотелось обидеть его, я ему был признателен за дружеское предостережение, но все же совет его я отклонил довольно решительно. И мне не пришлось пожалеть об этом...

— Читали ли Вы когда-нибудь стихи Ал[ександра] Добролюбова?[15] — спросил меня В. Я. — Ведь это был истый поэт. К сожалению, его мало знают. — И, взяв с полки небольшую, скромно изданную книжку, он прочел нам с Венгеровым два-три любимых своих стихотворения.

— Ну, как Вам нравится? — настойчиво спрашивал он.

— Я не причисляю себя к поклонникам его творчества, — сдержанно возразил я, — я нахожу судьбу автора гораздо интереснее и значительнее его произведений.

Разговаривая, мы перешли в столовую, где Иоанна Матвеевна разливала чай. Брюсов предложил нам джинджера, и мы пили его, закусывая бисквитом. Приветливое лицо некрасивой и молчаливой жены Брюсова дышало уютом и радушием. Я встретил ее всего дважды: в этот вечер и, спустя два года, на своем вечере в Политехническом Музее, когда она зашла ко мне со своею сестрою Брониславой Рунт[16] в лекторскую передать привет от В. Я. и приглашение заехать к ним. К сожалению, этому мне что-то помешало.

4

Мой дебют в "Эстетике" при Лит[ературно]-Худ[ожественном] кружке, состоявшийся на другой день после описанного мною визита к Брюсову, собрал много избранной публики, среди которой вспоминаю художников Гончарову и Ларионова[17], проф[ессора] Венгерова и др. Я прочел около 30 стихотворений и был хорошо принят. После меня выступил Брюсов, прочитав свои стихи, мне посвященные. Читал он резким, неприятным и высоким голосом, как-то выкрикивая окончания строк. Но это было своеобразно, очень просто, и, конечно, исполнение его мне понравилось больше, чем замысловатое и пафосное чтение многих весьма именитых актрис и актеров, которого, откровенно говоря, я не выношу. После стихов дирекция кружка пригласила нас к ужину, во время которого мне пришлось быть объектом речей и тостов.

Моей дамой оказалась Софья Исааковна, первая жена Алексея Толстого[18], упорно уверявшая меня, постоянного петербуржца, что она чуть ли не ежедневно встречает меня в московских трамваях. Возможно, к концу ужина она и уверила меня в этом — теперь уже не помню. Во всяком случае, в Москве я не был перед этим лет девять, в трамваях же и петербургских ездить тщательно избегал. Во время ужина В. Я., сидевший напротив меня, встал из-за стола и, подойдя ко мне и нагнувшись к уху, сказал, что две дамы просят разрешения меня поцеловать. Выслушав мое согласие, он провел меня в смежную гостиную, где познакомил меня с Н. Львовой[19], молодой поэтессой, подававшей большие надежды, вскоре покончившей жизнь самоубийством. Мы обменялись поцелуем с ней и ее спутницей, фамилии которой я не запомнил. Между нами не было сказано ни слова. Это была наша единственная встреча[20]. Я теперь уже не помню лица ее, но у меня осталось впечатление, что Львова не была красивой.

Помню еще в этот вечер разговор Брюсова с Венгеровым по поводу Надсона, двадцатипяти-

летие со дня смерти которого исполнялось вскоре. В. Я. нападал на Надсона, обвиняя его в том, что его бездарность и безвкусие развратили целое поколение молодых стихотворцев.

— Это не заслуга перед родной литературой, а преступление, — горячо доказывал он Венгерову, яростно защищавшему Надсона. Я был согласен с Брюсовым: мой выпад в ямбах против Надсона был только что прочитан в "Эстетике"[21].

— Понимаете ли Вы,— говорил Венгеров, — что, читая Надсона, — чувствуешь не только тоску, но и ужас...

Тогда Брюсов саркастически ответил:

— Если в темноте меня схватят за горло, я тоже почувствую ужас. Следует ли, однако, что этот ужас художественного происхождения?

Брюсов неоднократно давал в "Русской Мысли" заметки о моих стихах[22]. Общий тон этих рецензий был более чем благожелательный, и потому, когда появилась его заметка о моей "Златолире", явно, на мой взгляд, несправедливая и недобрая, я, откровенно говоря, очень обиделся и написал ему — нашумевшую в свое время — отповедь в стихах[23], так больно задевшую его, как это видно из его примечания к большой статье о моем творчестве, написанной специально для сборника Пашуканиса: "Критика о творчестве Игоря Северянина"[24]. Конечно, теперь, спустя чуть ли не тринадцать лет, когда охладился пыл момента, я вижу, что я несколько погорячился, но в ту пору я не мог поступить иначе, больше всего опасаясь, что мое молчание могло бы быть истолковано как боязнь перед "авторитетом", что для меня, дерзкого в то время "новатора", как называла меня тогда некоторая часть отечественной критики, было бы чрезвычайно неудобно...

Несомненно некоторую долю в возникновении моего "бунтарского" стихотворения еще сыграла одна довольно известная, — увы, только в те годы, — актриса, хорошо знавшая Брюсова и предупредившая меня не доверять всем его восторгам и комплиментам.

— Берегитесь этого человека, — говорила она, — он жесток, бессердечен, завистлив и никогда ничего не делает без причины, без предвзятости, и, если он теперь хвалит Вас и всячески обхаживает вокруг, это значит, ему так почему-то нужно и выгодно. Когда же для него в Вас минует надобность, он начнет со спокойной совестью всячески вредить Вам и никогда не простит Вам Вашего таланта. Он бросит Вас, как надоевшую женщину.

И так как я совершенно не знал Брюсова как человека и вдобавок был целиком под чарами говорившей, я и припомнил ее слова, сказанные мне приблизительно за год до моего с Брюсовым конфликта. В результате — стихи, в которых я откровенно обвинял В. Я. в зависти. Статья, написанная Брюсовым для сборника Пашуканиса, несмотря на все ее кажущееся беспристрастие и из ряда вон выходящие похвалы — что же, тем тоньше она, — носит в себе следы глубочайшей, неумело скрытой обиды, и вся она создана под знаком ее.

6

В 1917 году, в феврале, за две недели до революции, заставшей меня в Харькове, я давал вечер стихов в Баку, возвращаясь домой из Кутаиса. По городу были расклеены афиши — Брюсов читал ряд лекций. Мне очень хотелось бы его повидать и примириться с ним, но я не знал, как бы сделать это лучше. Мне было известно, как мало в большой России истинных поэтов, поэтому я привык в душе свято чтить их — нас? — с детства. Что земные нелады перед небесным ладом душ наших?

Мы сидели в отдельном кабинете какого-то отеля (вероятно, это был "Бристоль" или "Астория": ибо в каком же уважающем пошлость, другими словами, себя городе нет гостиниц с такими наименованиями?). Мы сидели втроем: один именитый армянин города, Балькис Савская[25] и я, когда вдруг неожиданно распахнулась дверь и без доклада, даже без стука, быстро вошел улыбающийся Брюсов. До сих пор не знаю, как это произошло и был ли он осведомлен о моем в кабинете присутствии или же он вошел, предполагая найти в комнате, может быть, знакомого ему армянина, но только я поднялся с места, невольно сделав встречный к нему шаг. Этого было достаточно, чтобы мы заключили друг друга в объятия и за рюмкой Токайского вина повели вновь оживленную — в этот раз как-то особенно — беседу[26].

Чудесно начатое знакомство закончилось не менее чудесно, и я все-таки склонен больше верить оставшимся на всю жизнь в моих глазах благожелательным и восторженным последним глазам Брюсова, сердечным интонациям его последнего голоса, головокружительности его последних похвал по моему адресу там, в Баку, чем злостным предупреждениям явно переставшей меня чаровать чаровницы, в сущности далекой искусству и его жрецам.

Toila.
1927 г.

Беспечно путь свершая...

Первый поэт, приветствовавший мое появление в литературе, был К. М. Фофанов (1907 г.). Вторым был В. Я. Брюсов (1911 г.). В этом году я получил от него письмо, книги и первое себе посвящение:

Строя струны лиры клирной,
Братьев ты собрал на брань!
Плащ алмазный, плащ сапфирный
Сбрось! отбрось свой посох мирный!
В блеске светлого доспеха, в бледно-медном шлеме встань!

Юных лириков учитель,
Вождь отважно-жадных душ,
Старых граней разрушитель,
Встань пред ратью, предводитель,
Разрушай преграды, грезы, стены тесных склепов рушь!

Не пэан взывает пьяный:
Чу! гудит автомобиль.
Мчат, треща, аэропланы
Храбрых в сказочные страны...
В шуме жизни, в вихре века рать веди, взметая пыль!

Это стихотворение было написано Брюсовым по поводу провозглашенного мною в России, по примеру Маринетти в Италии, футуризма. В отличие от школы Маринетти я прибавил к этому слову приставку "ego" и в скобках: "вселенский". Спустя несколько месяцев в Москве народился "Кубо-футуризм" (Влад[имир] Маяковский, братья Бурлюки, Велимир Хлебников, А. Крученых и др.)[1]. Эти два течения иногда враждовали между собою, иногда объединялись. В одну из таких полос — полос дружбы — я даже совершил турне по Крыму (Симферополь, Севастополь, Керчь) с Вл. Маяковским и Д. Бурлюком[2].

Лозунгами моего Эго-Футуризма были: 1. Душа — единственная истина. 2. Самоутвержденье личности. 3. **Поиски нового без отверганья старого.** 4. Осмысленные неологизмы. 5. Смелые образы, эпитеты, ассонансы и диссонансы. 6. Борьба со "стереотипами" и "заставками". 7. Разнообразие метров.

Что же касается московского "Кубо", москвичи, как и итальянцы, прежде всего требовали уничтоженья всего старого искусства и сбрасыванья с "парохода современности" (их выражение) Пушкина и др. З ем в своем словотворчестве они достигали зачастую полнейшей нелепости и безвкусицы, в борьбе с канонами эстетики употребляли отвратные и просто неприличные выраженья. Кроме того, они и внешним видом отличались от "эгистов": ходили в желтых кофтах, красных муаровых фраках и разрисовывали свои физиономии кубическими изображениями балерин, птиц и пр. А. Крученых выступал с морковкой в петлице... Я люблю протест, но эта форма протеста мне всегда была чуждой, и на этой почве у нас возникали разногласия. Из эго-футуристов только один И. В. Игнатьев ходил иногда в золотой парчовой блузе с черным бархатным воротником и такими же нарукавниками, но так как это было даже почти красиво и так как лица своего он не раскрашивал, я мог с этим кое-как мириться. "Кубисты" же в своих эксцессах дошли однажды до того, что, давая в Одессе вечер, позолотили кассирше нос, хорошо уплатив ей за это. Надо ли пояснять, что сбор был полный?!.. Из этого видно, что "кубисты" были отличными психологами... Однако эти причуды не мешали им быть превосходными, симпатичными людьми и хорошими, надежными друзьями. Враждуя в искусстве, мы оставались в жизни в наилучших отношениях, посещая вечера противоположных лагерей и нередко в них участвуя. О Маяковском, Вас. Каменском[3] и Д. Бурлюке у меня остались светлые воспоминания, и когда в прошлом году в Берлине, на Unter den Linden, меня остановил возглас Маяковского: "Или ты, Игорь Васильевич, не узнаешь меня!" — я от всего сердца рад был этой встрече: мне нет дела, к какой политической партии принадлежит он теперь, ибо я вижу в нем только поэта, моего некогда враждовавшего со мною друга, дружественного мне врага. Мы зашли в ресторан и просидели около часа, беседуя об искусстве и предаваясь волнующим нас воспоминаниям. Был в тот день с ним и Б. Пастернак[4]. Спустя несколько дней Маяковский посетил меня вместе с А. Кусиковым[5], и мы продолжали неоконченный разговор о стихах и чтение стихов. Заходил я к нему в гостиницу, и он угощал меня там "настоящей" русской паюсной икрой и моими же стихами в своем исполнении, что он любит вообще делать уже с давних пор[6]. Однако возвращаюсь к Брюсову. Привожу второе его посвящение мне:

И ты стремишься ввысь, где солнце вечно,
Где неизменен гордый сон снегов,
Откуда в дол спадают бесконечно
Ручьи алмазов, струи жемчугов.
Юдоль земная пройдена. Беспечно
Свершай свой путь меж молний и громов.
Ездок отважный! Слушай вихрей рев,
Внимай с улыбкой гневам бури встречной!
Еще грозят зазубрины высот,
Расщелины, где тучи спят. Но вот
Яснеет глубь в уступах синих бора.
Назад не обращай тревожно взора

И с жадной жаждой новой высоты
Неутомимо правь конем, — и скоро
У ног своих весь мир увидишь ты!

Обращаю внимание читателя, что этот сонет с кодою является акростихом.

Наконец в 1912 г. я познакомился с Федором Кузмичом Сологубом, представившим меня петербургскому литературному миру на специальном вечере в своем салоне на Разъезжей. Он написал мне восторженный триолет ("Восходит новая звезда...") и не менее восторженное предисловие к моей первой книге — "Громокипящий кубок".

Мережковский[7], прослушав у Сологуба мои стихи, нашел в них "междупланетную тоску", Тэффи — "изыски Бердслея"[8], Щепкина-Куперник — "сердечность и простоту". Гиппиус больше интересовалась, откуда я взял ликер Crème de violette[9], существует ли он или мною выдуман, так что Сологубу пришлось в следующий раз покупать его, по моему указанию, у Елисеева[10], и Зинаида Николаевна, испробовав его, воздала ему должное по заслугам... Таким образом, отвергнутый, как, впрочем, и "некий" Шекспир, Толстым Львом Николаевичем[11] и привеченный тремя большими поэтами, возник четвертый, который пишет теперь эту статью, "беспечно путь свершая", и подписывается под нею своим именем.

Озеро Uljaste.
1924 г.

Салон Сологуба

1

Когда я познакомился в октябре 1912 г. с Сологубом, — об этом достаточно подробно рассказано мною в моем романе "Колокола собора чувств"[1] — он жил на Разъезжей улице в бельэтаже, где изредка давал многолюдные вечера, на которых можно было встретить многих видных представителей литературно-театрального Петербурга. Собирались обыкновенно поздно: часам к десяти-одиннадцати и засиживались до четырех-пяти утра, люди же более близкие, случалось, встречали в столовой за утренним чаем и запоздалый рассвет. Съезжавшиеся гости, раздевшись в просторной передней, входили во вместительный белый зал, несколько церемонно рассаживаясь на его белых же стульях вдоль стен. В одном из углов зала, ближе к столовой, стоял мягкий шелковый диван и такие же кресла вокруг круглого столика. У двери, ведущей в кабинет хозяина, помещался рояль и близ него кожаная кушетка. Одну из стен золотила своим солнечным дождем "Даная" Калмакова[2] и громадное панно по эскизу Судейкина[3] шелково звучало своим лошадиным топом... Собиравшиеся вполголоса беседовали по группам, хозяин обходил то одну, то другую группу, иногда на мгновенье присаживаясь и вставляя, как всегда значительно, несколько незначительных фраз. Затем все как-то само собою стихало, и поэты, и актеры по предложенью Сологуба читали стихи. Аплодисменты не были приняты, и поэтому после каждой пьесы возникала подчас несколько томительная пауза. Большей частью читали сам Сологуб и я, иногда Ахматова[4], Тэффи, Глебова-Судейкина[5] (стихи Сологуба), Вл. Бестужев-Гиппиус[6] и К. Эрберг[7]. Однажды приехала Т. Л. Щепкина-Куперник, но на просьбу Сологуба и его гостей прочесть что-нибудь искренне смущенная отказалась:

— Уж какой я поэт, а тем более чтец, — отнекивалась она. — И без меня найдутся здесь, кому читать более к лицу.

Я подошел к ней, разговорился, и мы весь вечер провели вдвоем в кабинете-жакоб Чеботаревской, поочередно читая друг другу, очень сдруженные и разоткровенничавшиеся. У меня осталось об этом вечере прелестное впечатление: столько уюта и пленительной ласковой искренности было в этой маленькой, глубоко симпатичной и скромной женщине в темном. Она приглашала меня к себе, обещала познакомить с мужем, о котором отзывалась положительно с благоговением. Мне так и не удалось, к сожалению, побывать у нее. Впрочем, одно время мы с нею даже переписывались во время пребывания ее в Италии[8].

2

Сологуб читал очень просто, четко и всегда, даже в минуты бодрости, казалось, устало. Я очень любил его колдовской, усмешливый и строгий голос. Но монотонность его интонаций, в особенности под утомительное утро, действовала усыпительно: был случай, когда я однажды уснул под его чтение.

Пробудился я от звонко расслышанного виноградным утомлением шума внезапно наставшей тишины: Ф. К.[9] и два-три засидевшихся более иных близких его дому человека легчайшими улыбками ободряли мое пробуждение.

Около часа ночи подавался ужин, на много кувертов сервированный, всегда очень нарядный и тонкий. Случалось, прислуживали лакеи из модного ресторана. Пили много вина, воцарялось оживление. Сологуб собственноручно подливал в заостренном разговоре быстро пусте-

ющие бокалы. Он любил во время ужина произносить спичи. Блистательными, большей частью ироническими афоризмами изобиловали они. В сером своем, излюбленного мышиного цвета костюмчике он вставал с места, терпеливо и чуть усмешливо выжидая момента, когда стол, разгоряченный темами вина и вином тем, стихнет. Все взоры обращались на поэта. Гости заранее предвкушали жгучее наслажденье. С бокалом в руке он начинал спич, и вскоре весь стол прыскал от неудержимого смеха или конфузливо опускал глаза. Но спич Федора Кузмича под новый — 1914 год был несколько иного порядка. Во время ужина писатель ушел к себе в кабинет. Исчезновению Сологуба никто не придал значения: он нередко в разгаре вечера любил уединяться у себя в кабинете. Выходил он оттуда всегда отдохнувшим, набравшимся свежих сил. В рассказываемую ночь он принес только что воспринятое в кабинете стихотворение и вместо обычного спича прочел его за столом. Кончалось оно так:

...И ныне, в этой зале шумной,
Во власти смеха и вина,
К тебе, Отец, в мольбе безумной
Моя душа обращена.

Упоминание о Боге во время пира показалось всем несколько странным, необычным. Веселье смолкло. В наступившем году началась мировая война, и, я думаю, многие из встречавших зарождение того проклятого года в столовой Сологуба с жутью вспоминали впоследствии его предостерегавшие стихи[10]...

3

Вспоминается мне и тост, провозглашенный однажды Сологубом по поводу романтической истории общественной деятельницы Z. Дело в том, что г-жа Z находилась в связи с одним лицом, и это лицо однажды, неожиданно приехав к ней, застало у нее лицо другое, тоже мужское... Приехавшее лицо произвело в сидевшее летящий выстрел и ранило руку сидевшего лица... Возник процесс. Слух о происшествии облетел весь город. Затрезвонили колокола и колокольчики газет. По злой иронии судьбы оба лица носили "городские" фамилии: одно — города отечественного, скажем, Грубешева, другое — немецкого — назовем его хотя бы Кенигсбергом. Вскоре после этого, выражаясь названием рассказа Вяч. Шишкова "рокового выстрела"[11], в салоне у Сологуба состоялся очередной вечер. Под конец ужина, на котором присутствовала и г-жа Z, Федор Кузмич и произнес свой изумительный по остроумию спич, укоряя в нем г-жу Z в отсутствии... патриотизма. Не стыдно ли было, бесстрастно вопрошал он, во время войны ездить уважаемой гражданке из русского города Грубешева в неприятельский Кенигсберг? Эффект превзошел все ожидания: в гомерическом хохоте корчилась не только вся столовая, но и сама пострадавшая, кстати сказать, женщина весьма остроумная и ядовитая, не находя от неожиданного убийственного выпада слов для парирования удара, смеялась, малиново переконфуженная, до слез. Смелость подобного тоста граничила с дерзостью, и только одному неподражаемому Сологубу возможно было его простить.

4

В один из званых вечеров я уединился в турецкой комнате с артисткою N. Мы долго с ней оживленно разговаривали и договорились в конце концов до бессловесных поцелуев. В разгаре их распахнулась дверь, и муж артистки, человек с большим в искусстве именем, предстал перед нами. Я приподнялся ему навстречу. Взволнованная актриса незаметно потянула меня сзади за фалды сюртука.

— Александра (допустим, что ее так звали), пора домой, — произнес он в дверях, мастерски владея собою, и, не дожидаясь жены, быстро вышел из комнаты. Я, мужа, конечно, не задерживая, пробовал удержать его жену.

— Из этого может получиться слишком громыхательная история, — испуганно прошептала она, силясь пошутить и торопливо целуя меня на прощанье, — не провожайте меня, заклинаю Вас.

Но все же, пока они одевались, я вместе с хозяевами стоял в дверях передней.

5

Кстати, по поводу "громыхательных" историй. Не все избегали их. Были даже и любительницы таковых. Одна актриса, изредка встречаемая мною в доме Сологуба, совершенно серьезно просила меня в одну из "лирических" минут выстрелить в нее из револьвера, но, разумеется, "не попасть в цель"...

— Это было бы отлично для рекламы, — заискивающе-откровенно поясняла она.

Чеботаревская терпеть не могла, между прочим, этой американизированной нашей соотечественницы, принимая ее только из "дипломатических" соображений, и, когда я как-то вместе с нею приехал к ним, Анастасия Николаевна была более чем холодна с нею, а на другой день формально отказала ей письменно от дома. Оскорбленная и растерявшаяся жрица искусства спешно вызвала меня к себе через рассыльного

и потребовала, чтобы я отправился к Чеботаревской объясняться.

— Я в грош не ставлю ее, — плакала прелестница, — но мне для карьеры во что бы то ни стало нужно сохранить салон Сологуба.

Требование ее было попросту диким, но, каюсь, я был не совсем к ней, мягко поясняя, равнодушен и только поэтому, скрепя сердце, решил исполнить ее истерическое желание.

— Я оберегаю Вас, молодого человека, от разлагающего влияния этой интриганки, — возмущалась Чеботаревская, — мы с Ф. К. любим Вас и заботимся. Да и вообще, на каком основании Вы взяли на себя роль парламентария?

Однако я категорически попросил ее аннулировать утреннее письмо, на что негодующая А. Н.[12] долго упрямо не соглашалась. Целый вечер проговорили мы с ней, и лишь после того, как я заявил, что от ее извинения перед г-жею Икс будет зависеть мое дальнейшее с четою Сологубов знакомство, вынуждена была нехотя согласиться. На другое же утро почтальон принес обиженной примирительное (внешне) письмо, в котором А. Н. просила извинить ее за горячность.

6

Вообще, Чеботаревская делила людей на две определенных категории: приемлемых и отторгнутых. В своих симпатиях и антипатиях она оставалась всегда себе верной. Периодическое издание, на страницах коего кто-либо осмеливался когда-нибудь хотя бы чуть неодобрительно отозваться о Сологубе, никогда уже не могло рассчитывать, при наличии данного редактора, на сотрудничество Сологуба. Она за этим следила зорко[13]. Были люди, одни фамилии — и имена — которых приводили А. Н. в неистовство. Временами, правда, если намечались какие-либо точки соприкосновения, Чеботаревская с лихорадочной поспешностью стремилась использовать намечавшиеся возможности, но едва возникали новые расхождения, она с новым пылом и подчас беспощадной какою-то кликушескою резкостью порывала всякие отношения. В своем боготворении Сологуба, сделав его волшбящее имя для себя культом, со всею прямотою и честностью своей натуры она оберегала и дорогого ей человека, и несравнимое имя его. Всю жизнь, несмотря на врожденную свою кокетливость, склонность к легкому флирту и болезненную эксцессность, она оставалась безукоризненно верной ему, и в наших духовно-обнаженных длительных беседах неоднократно утверждала эта некрасивая, пожалуй, даже неприятная, но все же обаятельная женщина:

— Поверьте, я никогда и ни при каких обстоятельствах не могла бы изменить Федору Кузмичу.

И я, не очень-то вообще доверявший женщинам, ей верил безусловно: воистину сама истина чувствовалась в ее словах. Сологуб платил ей тою же монетой и, если на некоторых своих, в кругу ближайших людей, вакхических вечерах и *истомлял* себя какой-нибудь "утонченкой", дальше *неги*, каждому видной, дело не шло, в такой же "неге" нет измены, как понимают это слово углубленные.

7

На интимных вечерах, когда после ужина гости переходили в зал и рассаживались, кто на стульях, кто на диване, кто просто на диванных подушках на полу, и пили коньяк и всех цветов радуги ликеры, как-то само собой гасло электричество и зал погружался в темноту, нервно посмеивающуюся, упоенно перешептывающуюся, истомно вздыхающую, мягко поцелуйную. Сологуб, любивший неслышную обувь, внезапно повертывал выключатель, и вспыхнувший свет заставал каждого в позах, могущих возникнуть только без света... Я должен констатировать, однако, что эти "темные" позы, порою очень непринужденные, нежащиеся и нежные, не выходили все же за грани дозволенного. Я имею в виду, конечно, дозволенное в мире людей искусства, так сказать, в богеме par exellense[14], ибо богема, напр[имер], "Бродячей собаки"[15] уже несколько иной тональности: у Сологуба именитым мужьям не пришло бы в голову таскать за волосы своих не менее именитых жен, что могло произойти (однажды и произошло!) в знаменитом петерб[ургском] литературно-художественном подвале.

8

Общую "рокфорность" интимных сологубовских вечеринок мне хочется заключить эпизодом о рокфоре. Дарья Мих[айловна] Озаровская[16] и я с ужасом смотрели на этот сыр, готовый, казалось, уползти с тарелки. Ни она, ни я никогда раньше не решались его попробовать, хотя бри или камамбер[17] я всегда очень любил. Ф. К., посмеиваясь, сделал саморучно для нас два бутерброда, и мы... решились. Одновременно мы откусили по маленькому кусочку булки с "живым" этим сыром, с испугом и отвращением взглянули друг на друга и одновременно же бросились из столовой под веселый смех хозяев. Вернувшись, мы долго еще не могли в себя прийти от "опыта", стараясь сардинками от Кано заглушить вкус прочервленного деликате-

са. А Сологуб в это время, блаженно щурясь и выпятив от удовольствия, по своей привычке, нижнюю губу, пил из узкой длинноногой рюмочки "ликерный ерш", разноцветными пластами в нее мастерски влитый. И смакуя его, предлагал испробовать и нам. Но проба рокфора была еще так свежа в памяти нашего вкуса, что мы предпочли ограничиться, выражаясь стихом Брюсова, выпустившего книжку "северянизированных" стихов под псевдонимом моей героини Нелли[18], "маленькою рюмкой triple sec Corantrc"...

9

Кто же бывал у Сологуба на его "открытых" больших вечерах? К. И. Арабажин, Е. В. Аничков, Ю. Н. Верховский, П. Е. Щеголев, прис[яжный] пов[еренный] Н. Переверзев, С. Ю. Судейкин, Д. В. Философов, Вс. Мейерхольд, кн. Шервашидзе, Калмаков, И. С. Рукавишников, П. П. Потемкин, Е. А. Хованская, Тиме, Тхоржевская, Каратыгин, С. А. Кречетов, Н. А. Тэффи, Э. Озаровский, Тиняков (Одинокий)[19] и многие другие, фамилии которых я умышленно опускаю, и это уже из области вечеров интимных... Бывали (и помимо приемов) З. Н. Гиппиус и Д. Мережковский. Посещали его (но это очень редко) Леонид Андреев, Бальмонт, Блок, Брюсов и Гумилев, но с ними мне там встречаться не приходилось, хотя я и бывал письменно приглашаем каждоразно: то мешала какая-нибудь очередная инфлюэнца, то очередное увлечение, то меня не бывало в столице.

Стоило мне упомянуть о Тиме и Тхоржевской, как возникла перед глазами премьера "Заложников жизни" в Александринском театре[20]. Сологуб пригласил меня на нее в авторскую ложу. Была приглашена и Тэффи. Первая из актрис играла Катю, вторая — Лилит. Пьеса имела у александринской публики успех средний. Презрительное бесстрастие Сологуба было обычным.

1927 г.

Сологуб в Эстляндии

1

— Буря на море звучит сегодня, как из Римского-Корсакова, — говорит Тию[1], когда мы проходим с нею вечереющим парком. Колонны его сосен на головокружительном обрыве. Внизу грохочет темная вода.

Я думаю вслух:

— Велик композитор, с музыкой которого можно сравнивать настроенье природы. Что же, значит, Садко гостит сегодня у царя нашего моря[2], влюбленный в какую-нибудь новую, — в этот раз финскую или эстийскую, — Волхову: бессмертные непостоянны...

— А Сологуб? — грустнеет вдруг от моих слов Тию. — Разве он не бессмертен и вместе с тем разве не остался он верен всю жизнь одной Анастасии Николаевне?

Я невольно конфужусь от этого напоминания: да, таков Сологуб. Но ведь это такое исключение среди наших бессмертных...

И мы говорим о Сологубе, 1913—14-е лета проведшем у нас в Тойле на крайней большой даче у кладбища, которую он собирался даже приобрести в собственность[3]. Как сейчас помню, толстяк Мэгар, хозяин дачи, спрашивал с него восемь тысяч, Сологуб же давал только пять. Разошлись из-за трех тысяч. Все же несколько яблонек поэт успел посадить перед окном своей рабочей комнаты, специально выписав их из города. Развертыванье перед нами в природе подводного царства из Садки наталкивает мои мысли на оперу вообще, и я вспоминаю, что Сологуб откровенно признавался мне, что недолюбливает и не понимает музыки, хотя в других ценил и уважал и эту любовь, и пониманье. Так, однажды в Екатеринодаре[4], зимой 1913 г.[5], давали "Миньону"[6] с какой-то (фамилии не помню) испанкой в заглавной роли. Время приближалось к восьми. Анаст[асия] Никол[аевна] что-то очень долго в этот вечер одевалась, и я начинал уже нервничать.

— Так мы и к увертюре опоздаем, — говорил я. И вот Сологуб, не любивший музыки, поддерживал меня.

Кстати, интересный штрих: мы все же в тот вечер поспели к началу, когда оркестр только еще рассаживался, но увертюры не услышали: она была выпущена целиком!..

— Так вот и кажется, — мечтает вслух Тию, — что из-за поворота вот той аллеи мелькнет белое платье и яркий пестрый шарф Чеботаревской. Она любила именно этот путь к морю.

— Да, — соглашаюсь я, — это было так. А еще нравилась ей та полевая тропинка, которая идет параллельно морю. Ты помнишь?

— Никогда, никогда не увидим мы ее здесь, — шепчет моя подруга — и вообще нигде.

2

...Белая майская ночь. Четырнадцать лет назад. Ляля М., Дора Н. и я возвращаемся с кладбища, куда мы ходили читать изысканные

стихи примитивным мертвецам. Весь вечер мы провели в парке — в этом же и точь-в-точь таком же, как и теперь, — лежали на камнях у моря, смеялись, фантазировали, флиртовали, потом, к полночи, забрались на кладбище. Теперь мы идем по деревне, я провожаю своих спутниц по их дачам.

Светло, как днем. За полем совершенно сиреневое море, все сады в распустившейся сирени. Пахнет сиренью, восторгом молодых девичьих лиц, их взволнованной веселой грустью.

— Навстречу Сологубы, — говорит Ляля, — они сегодня приехали из Испании.

Я вздрагиваю и бледнею, как майская ночь: я так виноват перед ними, я так накапризничал за этот сезон. Судите сами: неожиданно расхотел в Кутаисе продолжать с ними турнэ, хотя оставался только один Батум, и, несмотря на все уговоры и ласковые просьбы, умчался в Петербург. Мало этого: спустя несколько месяцев после первой поездки, когда уже афиши с моим именем висели в Двинске и Либаве, я снова что-то разнервничался и не выехал из Петербурга вовсе. Сологуб до самого Двинска был уверен, что я еду в другом вагоне: он сообщил мне заранее о часе отхода поезда и назначил в нем свиданье. Из Двинска я получил от него телеграмму-ультиматум:

"Если не приедете, больше не знакомы". И оттого, что это был "ультиматум", я и не поехал окончательно... И вот — навстречу Сологубы!

Как хорошо было бы примириться с ними: ведь я так люблю их. Сердиться на ультиматум, спустя столько времени, да еще в такую сиреневую ночь, да еще в обществе таких растревоженных белизной ночи и упоеньем сирени девушек — дико. Не Сологубы виноваты передо мною, — я перед ними. Только и всецело я.

— Здравствуйте, Анастасия Николаевна! Здравствуйте, Федор Кузмич! — вдохновенно говорю я, сближаясь с ними.

— Здравствуйте, Игорь Васильевич! — отвечают Сологубы вместе. Мы останавливаемся. Пока Ляля и Дора разговаривают с Чеботаревской, знакомые с нею давно, Сологуб нежно и иронически смотрит долго в мои глаза.

— Ходите на кладбище, не зная, что там делать, — не отрывая от меня взгляда, говорит он четко-устало, — вот пойду я туда завтра сам, отыщу покойника посвежее, да и высосу его, как и полагается мне, Сологубу.

Я хмурю брови:

— Кому говорите Вы это, Федор Кузмич?

Но он уже скомкал маску своего лика, вобрал в себя иронию и только нежно-нежно, на какую нежность способен только он, мой единственный, вновь неотрывно смотрит в мои глаза.

— Приходите завтра к завтраку, — мягко жмет он мне руку.

3

...Леля[7] приревновала меня к Ляле и хочет топиться:

— Если эта противная Лялька еще раз осмелится войти в наш сад, я брошусь вместе с ребенком с обрыва.

В это время скрипит калитка: Дора Н. с мужем и "эта противная (не для меня!) Лялька" входят в сад. Самоубийца ищет ребенка, хватает его на руки и... взбирается на чердак! В испуге я спешу за ней.

— Я передумала: я повешусь на чердаке...

— Ради Бога...

— Это решено...

Я соображаю, что, пока она будет прилаживать веревку, я успею спуститься вниз и как-нибудь объяснить гостям свое отсутствие.

— Куда ты?

— Я сейчас вернусь...

— Помни, я вешаюсь...

— Ради Бога, не надо, — молю я, спускаясь быстро вниз.

Гости сидят в саду на скамейке, не подозревая, что один из них — причина подготовляющегося самоубийства.

— Где же Е. Я.?[8] — спрашивают они.

— Она кончает с собою посредством удушения, — бесстрастно объясняю я.

...Вечером, когда выясняется, что самоубийство отложено, я иду к Сологубу.

— Спасите меня, Ф. К., от ее ревности, — обращаюсь я к его опыту. Рассказываю все подробно.

— Пусть топится или вешается, — успокаивает он меня, — не препятствуйте. Это, очевидно, ее предназначенье. Вы не вправе помешать человеку умереть.

В глазах лукавая усмешка.

4

Профессор Р., запыхавшись, вытирая со лба платком пот, входит ко мне на веранду, висящую над морем. Он только что поднялся по почти отвесной тропинке. Я наливаю ему его любимого светлого пива иевеского завода, он берет ломоть ветчины и, жуя, с губами, покрытыми пивной пеной, начинает импровизировать какую-то песенку:

— Под обрывом... у моря... бродят девушки стройные...

Я срываюсь с места:

— Посидите, голубчик, я сейчас вернусь.

— Куда Вы?

— Сологуб едет сегодня на два дня в Петербург, я должен передать ему стихи в "Заветы"[9].

Выбегаю через калитку на улицу. Леля разговаривает с профессором, провожает меня недоуменными, подозревающими глазами. Вбегаю в чужой — через два от нашего — сад, подбегаю к обрыву и уж действительно почти бросаюсь с него.

Смеющаяся Ляля хлопает в ладоши, невидная сверху благодаря разросшемуся орешнику...

5

Балкон Сологуба. Завтрак вчетвером: А. Н., Ф. К., барышня-переписчица и я. Стол очень прост, яичница-глазунья, рисовая каша. Для меня водка и кильки. Старый Перник привозит из Иеве почту на велосипеде. Велосипед перевязан весь веревками и скрипит, как немазаная телега. Он выглядит старше своего хозяина. Сологуб приглашает почтальона к столу отдохнуть и закусить. С низкими поклонами бритый старик с голосом менялы садится почтительно на кончик стула.

— Вы, кажется, говорите в таких случаях: приступилил, — замечает, обращаясь ко мне, Ф. К.

Красивая брюнетка-горничная в белом чепце подает чай.

Анаст[асия] Никол[аевна] проектирует пикник.

— Жаль, что нет маленькой, — говорит она об Ольге Афан[асьевне] Судейкиной, которую очень любит.

Впрочем, ее любит и Сологуб, и я. Мне кажется, ее любят все, кто ее знает: это совершенно исключительная по духовной и наружной интересности женщина[10].

— Надо написать ей, — продолжает А. Н., — она с С. Ю.[11] теперь должна еще быть в Удреасе. Отсюда не более двадцати пяти верст.

Мы с Ф. К. поддерживаем ее. На балкон входит проф. Щеголев, известный пушкиновед.

— А мы собираемся ловить раков, Пав[ел] Елис[еевич], — обращается к нему А. Н. — Вы с нами?

Добродушнейший Щеголев — человек компанейский и готов всюду и везде. После завтрака Ф. К. с переписчицей уходят в верхнюю рабочую комнату, где продолжают выполнять ежедневную программу: новые стихи, кусочек романа, кусочек рассказа, четверть действия пьесы, немного перевода с немецкого. Вплоть до обеда. Вид из верхней комнаты на бескрайние поля и леса, в далях синевшие. Щеголев уходит через дорогу к себе на дачу, мы с А. Н. проходим в ее кабинет. Мне что-то нездоровится. Она пробует мою голову, заставляет лечь на кушетку, заботливо прикрывает меня пледом, велит Елене[12] подать Мартэлль и горячего чая и садится около меня. Начинается бесконечная наша постоянная литературная беседа. У А. Н. чудная память. Она так и сыплет цитаты из Мэтерлинка[13], Уайльда[14] и Шницлера[15]. Постепенно мы переходим на наших милых современников, и прямолинейная язвительность моей собеседницы доставляет мне не одну минуту истинного — пусть жестокого — наслаждения.

6

Дорога на станцию Иеве.

Расстояние от Тойлы восемь верст. Мы едем вдвоем с Сологубом: он — в Петербург, я — в Веймарн (под Ямбургом). Сплошной лес. Сумерки. Крутой поворот.

— А вот там, у канавки, иногда старушка сидит, — показывает он мне канаву влево, сидит серенькая такая, горбатенькая, беззубая. Сидит и похохатывает знай себе в сморщенный кулачок: хи-хи да хи-хи. И пальчиком к себе приманивает. Лукавая, знаете, такая старушка. Вы разве не встречали ее? — внезапно оборачивает он ко мне все лицо. Поблескивают стекла золотых очков жуткой иронией.

— А Передонова[16] Вы тоже встречали? — с коварной остринкой вставляю я вопрос в его вопрос.

— Передонов из трех лиц создан, — отчеканивает Сологуб, — один из Вытегры, второй из Вышнего Волочка, третий из Великих Лук[17]. Все они жили-были. И все пакостили по своим силам и возможностям.

— Значит, такой мерзавец мыслим, — задумчиво произношу я.

— Не только такой, но и похуже и погуще мыслим в земной мерзости мерзавцы, — воспламенившись внезапным каким-то негодованием, выпаливает Сологуб.

— Поднимите воротник: туман не щадит талантов, — мягко, но все еще, видимо, не успокоясь, а потому сердито добавляет он.

7

Вечерний дождь. На море буря.

— Как из Римского-Корсакова, — сказала бы Тию, если бы четырнадцать лет назад — одиннадцатилетняя — она сидела бы со мною у Сологуба в гостиной. А. Н. играет на рояле из полисандрового дерева, на котором, как говорят местные интеллигентные крестьяне, играл в бытность свою в Риге Рихард Вагнер[18]. Наконец Лист и Брамс утомляют ее, она сидит минут десять в позе

физически и морально уставшего человека и вдруг весело кричит:

— Елена, Катя! идите, если хотите, танцевать.

Дрессированные прислуги не заставляют повторять приглашения. Без излишнего жеманства, но и без фамильярности они вскоре появляются в дверях гостиной и тотчас же начинают кружиться в вальсе, играемом им А. Н. — Малим, как называет ее муж.

Мы с Ф. К., сидя в удобных мягких креслах, мягко хлопаем в ладоши в такт их pas. На лице Сологуба выраженье чисто детской доброты и благожелательства к людям.

Двинск.
1927 г.

Эстляндские триолеты Сологуба

1

Федор Сологуб — самый изысканный из русских поэтов. В своем "Соловье" я сказал о нем в 1918 г.:

"Такой поэт, каких нет больше:
Утонченней, чем тонкий Фет"...[1]

Он очень труден в своей внешней прозрачной легкости. Воистину поэт для немногих. Для профана он попросту скучен. Поймет его ясные стихи всякий, — не всякий почувствует их чары, их аллитерационное мастерство. Как раз это отмечает и Брюсов в превосходной статье о Сологубе, помещенной в своей книге "Далекие и близкие"[2]. "Русский Бодлэр" называет его Ю. Айхенвальд[3], и, действительно, свойственная им обоим изысканная "ядность" роднит их[4]. Трудно представить себе, как из такого типичного пролетария, каким был по рождению Сологуб[5], мог развиться тончайший эстет, истинный гурман в творчестве и жизни. Даже в лице его вы не нашли бы следов его плебейского происхождения. Стоит хотя бы вспомнить, редкий по сходству, портрет поэта работы Сомова: английский дэнди, а еще вернее — римский патриций смотрит на вас с этого портрета[6]. Я мечтаю когда-нибудь написать специальное исследование о его творчестве. В настоящее время у меня нет большинства из его книг. И достать их затруднительно: "культурный" век дает себя чувствовать — ведь это не ноты песенок Вертинского...[7]

Сегодня же я прочту вслух из его "Очарований земли"[8] исключительно стихи, написанные в моей Тойле в 1913 г., когда он жил первое лето здесь на даче. Просто стихов мало, все больше триолеты. Перед тем как остановить свой выбор на местечке, где я имею искреннее удовольствие и радость теперь — вот уже вскоре десять лет — жить, Федор Кузмич с Анаст[асией] Ник[олаевной] Чеботаревской, своей женой, думали обосноваться в "Ливонской Швейцарии", — нынешней Латвии — в Вендене или Загевольде. Они ездили туда весною, осмотрели места, похвалили их, но все же выбрали Эстляндскую Тойлу. Леонид Андреев в своих путевых заметках о "Ливонской Швейцарии", воздавая должное красоте природы, говорит, что остзейские немцы испакостили ее... чистотою[9]. Я вполне понимаю, что он хотел этим сказать. Вот и чета Сологубов была неприятно задета этой самою чистотой. В Тойле имеются все необходимые удобства: безукоризненная почта, аптека, два еженедельно по разу приезжающих приличных доктора, струнный и духовой оркестры, два театра, шесть лавок, а за последние годы во многих домах радио и телефоны. Но здесь вы не найдете ни удручающей прилизанности и вылощенности, ни досчечек* с "verboten"[10], ни подстриженных газонов, — одним словом, всего того, что, вместе взятое, обозначается именно "немецкою" чистотою. Здесь нет "русской" грязи, но нет и "немецкой" чистоты. Тойла — и внешне, и нравственно — просто чистая, очень удобная и очень красивая приморская эстонская деревня, до войны даже нечто вроде курорта, т. к. тогда были в ней и теплые соленые морские ванны, и лаун-теннисные площадки, и пансионы, два из которых, впрочем, функционируют и до сих пор. На дачи ездили сюда исключительно интеллигентные, не толпу, а природу любящие люди, и не только из Петербурга, а зачастую и из Москвы, и даже с Кавказа. Да и за последние годы многие видные представители эстонского искусства и общественности постоянно летуют здесь. Приезжают семьи и из Риги, и из Берлина. А недавно из Японии и Китая приезжали в гости к знакомым. Узнав Тойлу, Сологубы поселились в ней и полюбили ее. Я же познакомился с нею еще за год до них — в 1912 г., когда и написал два стихотворения, приехав только на два дня[11]. Однажды мы даже выступали с Ф. К. на литер[атурно]-музык[альном] вечере в Тойле. До сих пор сохранилась об этом афиша.

2

Уже в те "предвойные" годы сказывалось в Сологубе утомление:

"О, безмерная усталость!
Пой на камнях, на дороге

---

* Как писал это слово Сологуб. (*Примеч. Северянина.*)

О любви, о светлом Боге,
И зови, моя усталость,
На людей Господню жалость"[12].

Еще бы было не жалеть их, если они не постигали слов поэта:

"С вами я, и это праздник, потому что
я поэт.
Жизнь поэта — людям праздник,
несказанно-сладкий дар.
Смерть поэта — людям горе, разрушающий
пожар.
Или ваша дань поэту — только скучный
гонорар?"[13]

Но и гонорар платили далеко не по заслугам, ибо:

"Моей свинцовой нищеты
Не устыжуся я нимало,
Хотя бы глупым называла
За неотвязность нищеты
Меня гораздо чаще ты..."[14]

Кто эта "ты" — подруга или родина? Первая едва ли бросила бы подобный упрек любимому: она была для этого слишком умной и деликатной женщиной, да и, вообще, нищета понятие относительное. По тогдашним условиям, Сологуба можно было счесть, пожалуй, богатым человеком. Вот родина скорее могла бы его укорить, сама давая крохи, — как и подобает такой просвещенной стране, — что он не имеет роскошных вилл в духе — некоторым образом близкого ему — Габриэле Д'Аннунцио[15]... Недаром поэт горько сетует в своем триолете:

"В иных веках, в иной отчизне
О, если б людям столько я
Дал чародейного питья!
В иных веках, в иной отчизне
Моей трудолюбивой жизни
Дивился б строгий судия.
В иных веках, в иной отчизне
Как нежно славим был бы я!"[16]

Но только не в России, где продажная критико-кретиническая бездарь, — классическая свинья в апельсинах, — всячески поносила могущественного своего же русского поэта и, вместо того чтобы гордиться им, глумилась по своему хамскому обыкновению.

И поэт презрительно-спокойно заявлял:

"Звенела кованая медь,
Мой щит, холодное презренье,
И на щите девиз: Терпенье.
...И зазвенит она и впредь
В ответ на всякое гоненье"[17].

И добавлял, обращаясь к печали:

"Так пой же, пой, моя печаль,
Как жизнь меня тоскою нежит.
Моя душа тверда, как сталь,
Она звенит, блестит и режет"[18].

И, чувствуя, что в сердце своем носит солнце, страстно вопрошал:

"Солнце, которому больно!
Что за нелепая ложь!
Где ты на небе найдешь
Солнце, которому больно?"[19]

И глаголил насмешливо-примиренно:

"Благослови свиные хари,
Шипенье змей, укусы блох, —
Добру и Злу создатель — Бог.
...Прости уродство всякой твари"[20].

И — подвижнически:

"В безумно-осмеянной жизни
Власти не дай укоризне
Страдающий лик отемнить"[21].

И — в мудрой гордости:

"Да будут вместо жизни книги
Наградою железных дней.
...Покорен я в железном иге"[22].

Не самоубийством же было, в самом деле, кончать из-за "свиных харь критических тварей":

"Ты гори, моя свеча,
Вся сгорай ты без остатка, —
Я тебя гасить не стану"[23].

Пленительная лесная дорога из Тойлы в Jebe влекла его к себе, и часто, в полном одиночестве, он бродил по ней:

"Что может быть лучше дороги лесной
В полуденной, нежно-спасающей мгле!
Свой дух притаился здесь в каждом
стволе"...[24]

И, созерцая природу, мыслил:

"Здесь учиться людям надо, как любить
и петь..."[25]

Петь, как птичка, потому что —

"Сила звонкой песни сотрясает тело
птички,
В трепетаньи звуков воплощенная мечта"[26].

Тем людям учиться надо у птички, у одного из которых он спросил:

"Чем же ты живешь?"

Возвращался он с прогулки поздно, когда уже —

"Огонек в лесной избушке
За деревьями мелькнул"[27].

И:

"Долина пьет полночный холод
Тоской синеющих высот"[28].

Тогда он взывал к полю и небу:

"Земли смарагдовые блюда
И неба голубые чаши,
Раскройте обаянья ваши..."[29]

Он умел ценить жизнь:

"Тревожный праздник новоселья
Пусть нам дарует каждый день..."[30]

И укорял жизнью не умевших пользоваться:

"Рая не знаем, сгорая:
Радость не наша игра"...[31]

А радость всегда вокруг нас. Разве же, напр[имер], не радость, когда:

"Луна взошла, и дол вздохнул
Молитвой рос в шатре тяжелом"...[32]

В этот час

"...Сад расцвел
Дыханьем сладким матиол"...[33]

И:

"...пурпуреа на закате расцвела"[34].

И разве не радость, когда

"Перванш и сольферино, —
Вершина и долина,
Все в этих двух тонах"...[35]

Но больше всего радовала и утешала утомленного, плохо оцененного сородичами Федора Кузмича его, Данту подобная, великая любовь к Анастасии Николаевне:

"В моем бессилии люби меня.
Один нам путь, и жизнь одна и та же.
Мое безумство манны райской слаже,
Отвергнут я, но ты люби меня"[36].

И:

"Здесь верный наш союз несокрушимо вечен.
Он выше суетных, земных всегдашних дел.
Ты только для меня. Торжественно намечен
В веках наш яркий путь, и светел наш
"удел"[37].

Так коротал в Эстляндии поэт свои дни.

"Коротаю дни я как-нибудь"...[38]

И не клял скромной жизни, малым довольный:

"Жизнь влача печальную,
Вовсе не тужу.
У окошка вечером
Тихо посижу.
Проходящим девушкам
Сказку расскажу"[39].

Сказку своей счастливой в любви, но не в славе жизни... Бедные девушки рыбачьей деревушки, все поголовно владеющие русским языком! Вы и не знали, в чудесной застенчивости своей, какой радости и чести вы лишились — послушать сказку из безгрешных, даже во всех человеческих грехах своих, уст поэта!

3

Я задумываюсь. Мне глубоко грустно. Перечитанные стихи говорят о жизни, которой сам я был близко причастен. Она не вернется, милая. Анастасия Николаевна и Федор Кузмич умерли. Они уже умерли. Их нет на земле. Но дача, где они жили, стоит на том же месте, но, вместо поэта, живет в ней... урядник. Такова ирония жизни. Почти ежедневно по вечерам, проходя мимо, всегда вспоминаю незаменимых людей. Так вот и кажется, что с балкона послышится ее голос:

— Не мешало бы что-нибудь подкушать, Малим, как Вы думаете?

И его ответ:

— Пожалуй, Малим, — я слегка проголодался.

— Ну вот и отлично. Елена, давайте ужинать. Страшно шикарно, страшно шикарно, — слышится мне ее смех...

Toila.
1927 г.

Умер в декабре

(Памяти Ф. Сологуба)

Во вчерашних газетах ("Сегодня" от 5-го декабря) было помещено срочное сообщение из Петербурга о сердечной болезни Федора Сологуба.

Я сказал жене:

— Декабрьская его болезнь опаснее весенней. Она может оказаться смертельной. Ты помнишь его триолет, написанный 4 ноября 1913 г. в Петербурге? — И, достав с книжной полки "Очарования земли", я прочел:

"Каждый год я болен в декабре.
Не умею я без солнца жить.
Я устал бессонно ворожить
И склоняюсь к смерти в декабре, —
Зрелый колос, в демонской игре
Дерзко брошенный среди межи.
Тьма меня погубит в декабре.
В декабре я перестану жить"[1].

В сегодняшних газетах (от 6-го декабря) уже значится: Сологуб умер 5-го декабря. Недаром Лесков говорил: "Замечено, что 5-ое декабря — день особых несчастий в году"[2]. И Лесков, и Сологуб, и я — мы оказались все правы... И не первый раз за эти четырнадцать лет я вспомнил эти стихи, каждый раз, когда я перечитывал, — а это случалось часто, — "Очарования земли", меня жутко тревожило его пророчество.

Итак, Сологуба, самого близкого мне после Фофанова из своих современников, я больше никогда не увижу[3]. По крайней мере — "здесь, у вас на Земле"... То, чего я так боялся и вседневно ожидал, свершилось. Недаром еще в 1919 г. я спрашивал себя в своем "Менестреле":

"...Ужель я больше не увижу
Родного Федор Кузмича?
Лицо порывно не приближу
К его лицу, любовь шепча?
Тогда к чему ж моя надежда
На встречу после тяжких лет?
Истлей, последняя одежда!
Ты, ветер, замети мой след!
В России тысячи знакомых.
Но мало близких. Тем больней,
Когда они погибли в громах
И молниях проклятых дней..."[4]

Никогда не увижу, — ничего не узнаю. И мог бы однажды узнать кое-что, да, видимо, не в судьбе моей было узнать. Дело в том, что осенью 1921 г. эстонский поэт Генрик Виснапу вез мне из Петербурга письмо от Сологуба[5], но на границе письмо это конфисковали, — и что было в нем? Звал ли Федор Кузмич меня в Россию, мечтал ли сам из нее выбраться — вечный мрак, и жуть в этом мраке. И уж это до последнего часа моего. А письмо его было ответом на мое, через того же Виснапу переданное, в котором я звал его к себе, предлагая хлопотать о визе. Я знал, как он любит меня. "Милому Игорю Васильевичу Северянину неизменно всем сердцем любящий Его в прошлом, настоящем и будущем Федор Сологуб. 27 июня 1913 г." — гласит автограф на "Жемчужных светилах"[6]. Я знал, как он любит Тойлу, где провел два лета перед самой войной и где даже домик приобрести намеревался. Я знал, какого высокого мнения он был, вообще, об эстонцах — мирных, трудолюбивых, врожденно интеллигентных. Я знал, сколько очаровательных стихов воспринял он в Тойле. И, наконец, я знал, что лучше всего, всего вернее может отдохнуть он, усталый, именно в нашей приморской прекрасной деревушке, где он был так полно, так насыщенно счастлив когда-то с Анаст[асией] Н[иколаевной], своею Малим, второю и последнею возлюбленною своею![7] Да, здесь, на чужбине, ибо там, на родине

"Мои томительные дни
Россия омрачила бранью,
Моих сограждан щедрой данью"[8] —

как писал он в Тойле в 1913 г. И здесь же тогда же:

"Милая прохлада, — мгла среди полей.
За оградой сада сладостный покой.
Что ж еще нам надо в тишине такой?"[9]

И восклицал восторженно:

"В очарованьи здешних мест
Какой же день не встанет ясен?"[10]

Toila.
7 дек[абря] 1927 г.

Осиянный

(О творчестве Алексея Масаинова)

Вошел он в мою рабочую комнату (впрочем, комната это теперь, тогда был кабинет...) и представился:

— Алексей Масаинов[1].

Лицо было открытое, светлое, улыбалось весело и лучисто, голос ясно звенел — как солнце, этот человек взошел, как шампанское, взыграл! И сразу я почувствовал к нему живейшее влечение, к нему, такому симпатичному, смелому, восторженному. Не обмануло меня первое впечатление: таким он и оказался впоследствии, когда стал у меня "своим человеком", постоянно выступал на моих вечерах с лекциями об искусстве и со своими искристыми стихами, когда ездил со мною на концерты в Саратов, Москву, Псков... Его лекции — в особенности одна из них на тему: "Поэты и толпа" — производили фурор, и в од-

ном Петербурге он прочел упомянутую лекцию три раза подряд на моих концертах в зале Городской думы. И надо было видеть, как обыватель, называемый им "Иваном Ивановичем", неистово рукоплескал ему, боясь, очевидно, быть похожим на... обывателя, которого Масаинов разносил с эстрады за тупоумие, равнодушие и отсталость!.. Это было так весело наблюдать! В те времена я, вообще, любил перед своими стихами просить выступать лекторов, читавших рефераты о моем творчестве, о творчестве русских и иностранных писателей и о задачах искусства. Назову фамилии докладчиков: Н. И. Кульбин, Андрей Виноградов[2], А. Закржевский[3], Виктор Ховин[4], Дм. Крючков[5], Владислав Ходасевич[6], Семен Рубанович[7], Вл. Королевич[8], Георгий Шенгели[9] и др. Но более других мне по душе был все же Масаинов, хотя я и воздаю должное каждому из референтов.

О, это был блестящий лектор! Сын богатого ярославского купца, не стесняясь в средствах, он много и часто путешествовал, и путешествия были его призванием, возможно мешавшим ему целиком отдаться творчеству. Я выпустил совместно с ним два альманаха ("Мимозы льна" и "Острова очарований")[10], где, кроме нас двоих, никого не было. Кроме того, он принимал участие в альманахе "Винтик"[11], в котором сотрудничали ныне покойный А. Виноградов, А. Толмачев и я. В журналах он почти не печатался, отдельной книги, к сожалению, так и не удосужился издать, поэтому я лишен удовольствия говорить о его творчестве подробно, имея его перед собою только в нескольких образцах.

Живя долгое время в Японии, нежно им любимой, он неоднократно пел о ней, и как хороши его стихи о стране Восходящего Солнца! Привожу его "Японию", мне посвященную:

"Душистым вечером гремит так звончато
Концерт фонариков в стране Ниппон.
Ликуй, Япония! Где жизнь утончена,
Где гейши веселы, там весел звон.

Вся в озарении, в цветеньи сливовом
Ты дышишь влагою, Восходный свет.
Деревья белые! привет, счастливые!
Деревья алые! и вам привет!

Как ты изысканна, благоуханная!
Как ты пленительна, сердца пленив!
Клонитесь грезово, головки пьяные
Цветов камелии и ветви слив!

Деревья белые, деревья алые,
Озвоньте шелестно сады утех.
Здесь губы женские всегда коралловы,
Здесь гейши веселы, и весел грех.

Греши, Япония! Весной, как зарево,
Растут слепительно твой смех, твой звон.
О, как блистателен концерт фонариков
На шумных улицах в стране Ниппон!"

Есть стихи, которые меня каждый раз воспламеняют и захватывают. И эти — именно такие. Предвижу, что вы будете утверждать о моем влиянии на автора, о его подражании мне. Возможно, но что из этого: разве я сам в свое время не подпадал под влияния? Это — в порядке вещей. Но я хочу подчеркнуть, что не всякое влияние удачно, у Масаинова же его "подвлиянная" поэза вышла безукоризненной: сколько в ней вдохновения, блеска, колорита, колдовства! О подражании же здесь не может быть и речи: просто он создал нужные ему неологизмы, как, напр[имер], "озвонить", другие же, мои, вроде "грезово" и "звончато", употребил как удачные — ах, не все ли равно чьи? — достижения. А вот и другое его "японское" стихотворение — "Ойя-Сан":

"Пойте, нежные гейши, смейтесь
Над пришельцем далеких стран.
Ах, играй на длинной флейте,
Голубая Ойя-Сан!

Чайный домик светел и легок,
Пахнет сливой, и чай согрет.
Не гляди ж, не гляди так строго,
Ойя-Сан, вишневый цвет!

Косоглазый и странный ребенок
В пышном платье, в прическе крутой,
Голосок твой нежен и звонок, —
Не стыдись же, присядь и спой.

И задумчивыми глазами
Мимолетно взглянув вперед,
Про богиню О-Омиками
Ойя-Сан поет, поет...

Про твои голубые заливы
О, Ниппон, звезда островов,
Про пушистую ветку сливы
И про вишню, красу садов.

Цвет камелий — твой маленький ротик,
Ойя-Сан, Ойя-Сан, стрекоза!
Ах, на самой высокой ноте
Опускаешь ты скромно глаза...

Много стран есть в морях безвестных,
Где немолчен птичий звон,
Но чудесней всех стран чудесных
Светно-радостный остров Ниппон.

Много дев в городские ворота
Входят тихо в вечерний туман,
Но чудесней всех город Киото
И чудесней всех дев — Ойя-Сан!"

Я нахожу это воистину осиянное произведение восхитительным. Какая ясная легкость, какая прозрачность! И ни с чем не сравнимая тональность, присущая одному Масаинову. Не могу не привести и третьего его шедевра, его любимой мною "Франчески":

"Покинутая смуглянка,
Благословенно имя твое!
Она была итальянка,
И звали Франческой ее.

Проносились годы, как птицы,
И пели колокола.
На тихом канале Альбрицци
Она жила и цвела.

Ты, солнце, в славе и блеске
Украситель, зиждитель дней,
Сравнишься ль с глазами Франчески,
Смелой Франчески моей?

Как радовался я, влюбленный,
Как глаза ее целовал!
Помню нежно-зеленый
Полусонный канал...

Помню, как гордо-покорно,
С розой в смуглой руке,
Приезжала в гондоле черной
Франческа в черном платке...

Франческа, пусть знают люди!
Франческа — чудесный цветок!
Не твои ли нежные груди
Целовал я, сбросив платок?

Не твой ли отец затаенно
Смотрел на наше окно
На Calle della Madonna,
Где нам было так пряно-грешно?

О, бросившая смело и дерзко
В сердце храбрых свое копье,
Одалиска, безумка, Франческа, —
Благословенно имя твое!"

Залы гремели восторгом, когда Масаинов читал — и как вдохновенно и блистательно читал! — вышеприведенные поэзы. Просматривая его стихи, я вижу, как в них "бормочут сосны", "стучат насмешливые двери", "бело пустынное всполье", "звезды глядят васильково на землю", "радостно-серебряные перья бросают вниз, в Индийский океан, веселые дожди", "зеленый кузнечик с легким стрекотом звонким закачелил былинку", "пробегают, журчат, лучатся, мчатся звонкие [неразб.] весенней, обручатели душ, смех земли, молодые лесные ручьи" и как, наконец, раскрытая телеграмма лежала на бархате стола:

— Приезжай. В 6 вечера мама умерла.
Как просто! как пусто! как больно,
Ты, Боже, караешь тоской!
Закрываю невольно
Глаза дрожащей рукой...

В мировую войну Масаинов был военным корреспондентом "Биржев[ых] Вед[омостей]" и "Русского Слова"[12]. В 1914 г. из Вильно он прислал мне "Терцины":

"В злой час, когда от пороха туманен
Безумный мир, приют безумных снов,
Я шлю привет Вам, Игорь-Северянин!

Наполеон рифмованных полков,
Победоносец, правящий всесильно,
Вам мой напев, властителю веков!

Слуга войны, в глухом и грустном Вильно
Я позабыл, давно сомкнув уста,
Свои стихи, кипевшие обильно.

И лишь для Вас, чье имя — Красота,
Душа звенит забытыми стихами
Под светлым знаком Красного Креста.

Да будет мир и вдохновенье с Вами!
Да не устанет сладостно звучать
Ваш смелый Дух, бушующее пламя!

И если смерти черная печать
Мне суждена на черном поле битвы,
Я не хочу, я не могу молчать —

Вам мой восторг и Вам мои молитвы
И Вам любовь и память в смертный час,
Ловец сердец, искусный для ловитвы.

О, песнопевец, радужный алмаз, —
Чей гордый блеск так нежно-многогранен, —
О, ювелир цветодарящих фраз,
Поэт поэтов, Игорь-Северянин!"

Заканчиваю работу и, отправляясь перед обедом на лыжную прогулку по озеру, от всей души грущу, что за последние годы потерял из виду симпатичнейшего человека и выдающегося своего современника.

Озеро Uljaste.
1924 г. III.

Успехи Жоржа

("Сады" — Георгия Иванова)

В мае 1911 г. пришел со мною познакомиться юный кадетик — начинающий поэт. Фамилия его была самая заурядная — Иванов, имя тоже обыденное — Георгий[1]. Был он тоненький, щуп-

ленький. Держался скромно и почтительно, выражал свой восторг перед моим творчеством, спрашивал, читая свои стихи, как они мне нравятся. Надо заметить, что, месяца за три до его прихода ко мне, стали в некоторых петербургских журналах появляться стихи за его подписью[2], и так как было в этих стихах что-то свое, свежее и приятное, фамилия, хотя и распространенная слишком, все же запомнилась, тем более что мы в это время имели уже лучшего версификатора эпохи, человека с тою же фамилией, успевшей превратиться в большое, но скучное имя. Я говорю, конечно, о Вячеславе Иванове...[3] Принял молодого человека я, по своему обыкновению, радушно, и он стал частенько у меня бывать. При ближайшем тщательном ознакомлении с его поэтическими опытами я пришел к заключению, что кадетик, как я и думал, далеко не бездарен, а, наоборот, обладатель интересного таланта. В это время стали впервые появляться стихи Анны Ахматовой[4], которая получила на конкурсе, устроенном журналом "Gaudeamus"[5], первую премию за какого-то, если не ошибаюсь, "Фавна"...[6] Я сразу заметил, что в стихах юного Жоржа или, как его называли друзья, "Баронессы"[7] много общего, — правда, трудноуловимого, — со стихами новоявленной поэтессы. Впоследствии это блестяще объяснилось, когда Иванов вступил в "Цех поэтов"[8], основанный покойным высокоталантливым Н. Гумилевым и ныне здравствующим, в той же степени бездарным, Сергеем Городецким[9]: нарождалась новая манера "акмеизма". На лето "Баронесса" уехал к себе в "Гедройцы", а осенью того же года, когда я решил основать в России "Академию Эго-Футуризма", и мой милый мальчуган принял в ней живейшее участие, вступив в ее ректорат. Всего в нем было четверо: я, Иванов, Арельский[10] и Олимпов, сын уже покойного в то время Фофанова. Что касается Арельского, это был тоже юный поэт и тоже талантливый. Учился он тогда в Петербургском университете, нигде не печатался. Мы издали "манифест"[11], разослали его по редакциям почти всей России, записались в "Бюро газетных вырезок" и стали ждать откликов прессы. Эти отклики не заставили себя долго ждать, и вскоре мы были буквально завалены вырезками с отборной руганью по нашему адресу. А в сущности и браниться-то было не за что, так как ничего чудовищного в нашем манифесте не было[12]. Просто мы пытались в нем доказать, — насколько удачно, я уже теперь судить не берусь, не имея под рукою этого документа, — я говорю: доказать, что в мире есть только одна бесспорная истина — душа человеческая, как составная часть Божества. Поэтому брань критики была, как, впрочем, это случается часто, совсем не по существу: критика ничего не опровергала, да и не могла опровергнуть, ибо наши доводы были, кажется, неопровержимы... Получали мы и сочувственные письма и отзывы, но справедливость требует сказать, что их было очень и очень немного, зато тем ценнее были они для нас.

Вскоре после основания Эго-Футуризма Иванов познакомился с Гумилевым, только что приступившим к устройству "Цеха поэтов", занятым идеей "акмеизма"... Познакомил Жорж с Гумилевым и Арельского. Гумилев стал звать их к себе в "Цех", соблазняя тем, что будет помещать стихи "цехистов" в журнале "Аполлон"[13], считавшемся тогда одним из лучших русских строго художественных журналов. Звал неоднократно Гумилев и меня через них, но я упорствовал и не сдавался. Тогда он пришел ко мне как-то вечером сам. Пришел вместе с Ивановым. Познакомились, побеседовали. Он повторил свое приглашение, говорил мне всяческие комплименты. Я "поблагодарил за честь" и категорически отказался. Вскоре Иванов и Арельский мне изменили окончательно, заделавшись настоящими "цехистами", и отреклись печатно, по настоянию старших, от футуризма[14]. В это же время Олимпов внезапно сошел с ума. Остался я один со своим детищем, но так как фактически весь эго-футуризм, мною и выдуманный, был только во мне самом, то ничего не изменилось после того, как трое из четверых выбыли. Я дал знать через печать о происшедшем и заявил попутно, что весь эго-футуризм, видимо, только мое творчество, я же желаю быть впредь поэтом безо всяких этикеток и ярлычков...[15] Тем вся эта шумиха и закончилась. "Изменники" же продолжали бывать у меня почти ежедневно, и оставались мы по-прежнему в хороших отношениях еще около года. А потом их вдруг смыло...

С тех пор миновало двенадцать лет... Теперь у меня в руках четвертая книга стихов *известного* поэта Георгия Иванова — "Сады"[16]. Я сравниваю ее с первою книжкою того же автора — "Отплытье на остров Цитеру", изданной в 1911 г. нашим кружком "Ego", — и какая разница! Жорж превратился в Георгия, фамилия — в имя, ребенок — в мудреца:

"...Теплый ветр вздохнет; я травою
и облаком был,
Человеческим сердцем я тоже когда-нибудь
буду...
Ты влюблен, ты грустишь, ты томишься
в прохладе ночной,
Ты подругу зовешь и Марией ее называешь.
Но настанет пора, и над нашей кудрявой
землей

Полетишь и не взглянешь, и этих полей
не узнаешь...
А любовь — семицветною радугой станет
она,
Кукованьем кукушки, иль камнем,
иль веткою дуба,
И другие влюбленные будут стоять у окна,
И другие в мучительной нежности сблизятся
губы"...

О, милый Жорж, как я рад Вашим успехам! Как доволен, что не обманулся в Вас, что это Вы, мой тоненький кадетик, пишете теперь такие утонченные стихи:

"В меланхолические вечера,
Когда прозрачны краски увяданья,
Как разрисованные веера,
Вы раскрываетесь, воспоминанья.

Деревья жалобно шумят, луна
Напоминает бледный диск камеи,
И эхо повторяет имена
Елизаветы или Саломеи.

И снова землю я люблю за то,
Что так торжественны лучи заката,
Что легкой кистью Антуан Ватто
Коснулся сердца моего когда-то"...

Скажите, разве эти стихи не очаровательны, не прелестны? И много таких же прелестных вещиц в "Садах" Иванова, и мне доставляет истинное наслаждение бродить по их узорчатым аллеям, вдыхая тончайшие ароматы изысканных цветов, среди которых на озерах умирают последние "лебеди романтизма"... И восклицать вместе с автором "Садов":

"Малиновка моя, не улетай! Зачем тебе Алжир, зачем Китай?" И вместе с ним на террасе пить чай из "неуклюжих стаканов", из тех, где "струю крутого кипятка последний луч позолотил слегка"...

И — "проплывающие облака воображать
большими парусами"...
И — " с чуть заметным головокруженьем
Проходить по желтому ковру,
Зажигать рассеянным движеньем
Папиросу на ветру".

И грустить вместе с ним, что "прекрасное тело смешается с горстью песка, и следы в родной океан возвратятся назад"...

В его садах, "садах неведомого халифата", где —

"...очарованная одалиска
Играет жемчугом издалека,
И в башню к узнику скользит записка
Из клюва розового голубка",

в садах, очертания которых "как будто страусовое перо", где "слушают музыку не понимая, как ветер слушают или волну" — в таких садах очаровательного таланта хорошо побродить длительно, погрезить упоительно и сказать приветливо хозяину садов на прощанье те слова, которые я обронил ему более десяти лет назад в своем ответном сонете:

"Я помню Вас: Вы нежный и простой"[17].

Озеро Uljaste.
1924 г.

Шепелявая тень

Поэт Георгий Иванов как-то в "Звене"[1] в своих "Китайских тенях" посвятил мне целый фельетон[2]. Любезность в наши дни исключительная, конечно, и мне только остается быть весьма польщенным, тем более что он находит имя мое "недолговечным, увы", а ему, бессмертному обладателю воистину в е ч н о г о, у в ы, имени, это виднее... К сожалению, "вечный Иванов" — да и тот второй! — в своих "теневых" мемуарах (или таково уж свойство китайских теней?) неоднократно досадно "описывается", и я беру на себя роль корректора, долженствующего исправить его "опечатки"[3]. Не моя вина, если этим деянием своим я, по свойственной мне неуклюжести, "припечатаю" его на обе лопатки. Повинен в этом будет он сам, ибо, на его несчастье, хотя и включенный им в тени, да еще и китайские, я все же еще, — с его разрешения, — не умер, значит, в тень не превратился и, следовательно, обладаю достаточною силою для того, чтобы побороть некоторых стихотворцев и посильнее, чем злополучный Иванов, да еще второй...

Итак, по пунктам.

1) "...до сих пор (1911 г.) имя Игоря Северянина было лишь уделом почтовых ящиков: "...к сожалению, не подошло". Не все стихи мои, как, впрочем, и других весьма именитых поэтов, помещались беспрекословно — не спорю, но н и к о г д а н и в о д н о м почтовом ящике н и о д н о г о периодического издания имени моего ни в положительном, ни в отрицательном случае упомянуто н е б ы л о, что я и удостоверяю.

2) "...домовая администрация, по понятным (?) соображениям, занумеровала номером тринадцатым самую маленькую, самую сырую, самую грязную квартиру во всем доме. Ход был со двора, кошки летали (?) по обмызганной лестнице"... До 1907 года дом № 5 на Средней Подьяческой ул. в Петербурге принадлежал моей сестре[4]. После ее смерти наследники, продавая дом,

оговорили у нового владельца условие безвозмездного пожизненного предоставления одной из квартир в пользование моей матери. Ей с ее согласия была дана квартира в две комнаты с кухней в бельэтаже на солнечной стороне двора. В 1909 году дом был заново отремонтирован, и поэтому и двор, и лестницы, и все квартиры сияли чистотой и опрятностью. Квартира наша была светлая и сухая. Что касается кошек, действительно, это довольно распространенное домашнее животное водилось и в нашем доме, но по чистым лестницам дома оно не летало, а только ходило и бегало, как и сам г. Иванов 2-ой... Г. Иванов принадлежит, если я не ошибаюсь, к группе русских поэтов-эстетов, и ему, как таковому, следовало бы, на мой взгляд, быть построже в выборе выражений.

3) "...старушка ушла за занавеску и стала шептаться. Я огляделся. Это была не передняя, а кухня. На плите кипело и чадило. Стол был завален немытой посудой. Что-то на меня капнуло: я стал под веревкой с развешанным для просушки бельем"... Никакой нигде занавески не было вовсе. Все остальное допускаю, однако упрек, обращенный ко мне, отвожу: мать моя, в силу своей привязанности и доброты, держала старую прислугу, которая проживала в нашем доме более 50-ти лет. Правда, она была полна недостатков и всяческих странностей, но ей многое прощалось, ибо она была почти членом семьи. Возможно, впрочем, что это не принято в кругу "эстетов"... Но мать моя, рожденная Шеншина, это хорошо постигала...

4) "...принц фиалок и сирени встретил меня, прикрывая ладонью шею: он был без воротничка. В маленькой комнате с жалкой мебелью, какой-то декадентской картинкой на стене был образцовый порядок. Хозяин был смущен, кажется, не менее меня. Привычки принимать посетителей у него еще не было"... Титул "принца сирени" принадлежал не мне, милый Жорж! Вы опять путаете. Отнесите его по принадлежности — Борису Башкирову. Меня же в ту пору молодежь, подобная Вам, величала "королем". Не было мне смысла прикрывать ладонью шею, помилуйте: язв на ней отродясь не бывало, водопровод действовал в довоенные годы исправно, а воротнички, если желаете знать, всегда меня, дикаря, терзали и мучили, и всегда я их терпеть не мог. Вот и сейчас, пиша эти строки, сижу у стола в темно-зеленой косоворотке, и, если бы, паче чаяния, целый взвод эстетов посетил меня в моей глуши, так вот и принял бы их в этом варварском — на просвещенный, эстетический взгляд — одеянии, удобство которого способствует написанию таких стихов, вдохновенных и простых, какие многим эстетам могут тайком только грезиться... А что касается "декадентской картинки", то выходит как будто и совсем конфузно, ибо "картинка" эта была не более не менее как репродукция "Музы"... Врубеля! Приходится, видимо, мне повторить — который раз?! — мои строки из "Громокипящего кубка":

...декадентом назван Врубель
за то, что гений не в былом![5]

Так "описываются" эстеты!

"Привычки принимать посетителей у него еще не было"... Напрягаю память: не был ли г. Иванов 2-ой первым моим посетителем? Но нет: до него (и задолго!) бывали у нас в доме и в имении, — если только мне память не изменяет, — и "другие некоторые": офицеры, профессора, прокуроры, адвокаты, писатели, художники, сановники... Только вот эстетов, кажется, действительно не бывало... Мудрено ли поэтому, что, увидев впервые эстета, сробел и хвать рукою за шею!..

5) "... красный бант на шею я завел по внушению Игоря и, не смея, конечно, надевать его дома, перевязывал на Подьяческой"... Эстет Иванов 2-ой, — на этот раз память мне окончательно не изменяет, — действительно носил часто малиновый галстук. Но смею уверить его, что в то время у меня еще не было причин над ним глумиться, а потому внушать ему обзавестись красным бантом я не стал бы. Теперь другое дело: за все его грешки против истины, пожалуй, и посоветовал бы...

6) В меню ужина, объявленного редакцией "Петерб[ургского] Глашатая", "филе из молодых соловьев" не входило: фантазия мемуариста.

7) Ликер Crème de Violette, продававшийся у Елисеева (кстати, сейчас из моего окна видна его вилла), принадлежал фирме не Cusimier, а Cusinier. Соблюдайте точность в своих воспоминаниях.

8) Поэту-народнику Петру Ларионову[6] в 1911 году шел не сорок пятый год, а лишь двадцать третий. Он был заведующим не Царскосельским птичником, а Гатчинским. Никакого отношения к футуризму вообще не имел.

9) "...Я перешел в Цех Поэтов, завязал связи более "подходящие" и потому бесконечно более "прочные". Но лично с Северяниным мне было жалко расстаться. Я даже пытался сблизить его с Гумилевым и ввести в Цех, что, конечно, было нелепостью". Г. Иванов 2-ой, как и Арельский, постыдно бежали от Эго-Фут[уризма] в "Цех". Как теперь он сам сознается, там ждали его

"связи более подходящие и потому бесконечно более прочные". На мой взгляд, это звучит попросту цинично и достаточно ярко обрисовывает личность Иванова 2-го. Вводить же меня, самостоятельного и независимого, властного и непреклонного, в "Цех", где коверкались жалкие посредственности, согласен, было действительно нелепостью, и приглашение меня в "Цех" Гумилевым положительно оскорбило меня. Гумилев был большим поэтом, но ничто не давало ему права брать меня к себе в ученики.

Исправив все неточности и описки, допущенные мемуаристом в своих "тенях" и бросающие иногда нежелательные тени на некоторые имена, позволю заметить ему, что у меня память более точная и надежная, но я постараюсь не пользоваться ею, если мне когда-нибудь в воспоминаниях придется касаться некоторых похождений самого Иванова 2-го.

1927 г. Апрель.
Toila

От редакции

Считаем своим долгом дать место статье нашего давнего сотрудника Игоря Северянина под вышеприведенным заглавием. Нам кажется, что Игорь Северянин напрасно с такой обстоятельностью отвечает Георгию Иванову. Можно было отмахнуться от парижского поэта покороче. Но отмахнуться, конечно, следовало. Сидит себе Игорь Северянин в глуши Эстонии, ловит рыбу, питается акридами, никого не трогает, не суетится. А в Париже издается веселенький журнальчик, в котором Адамович[7] еженедельно болтает, а Георгий Иванов еженедельно вспоминает. И эти две великие посредственности взяли на себя смелость "руководить", с благословения покойного М. М. Винавера[8], литературно-художественным вкусом русской эмиграции!

"Еженедельно вспоминает" Георгий Иванов, как камердинер, для которого нет героев. С тем ерничеством дурного тона, на который способны только неудачники. Адамович болтает на тему: "Анатоль Франц и я", снисходительно треплет по плечу Бетховена (он, Адамович, "преодолел" Бетховена!), а Георгий Иванов "вспоминает", как он, будучи мальчиком, ходил по чужим передним и кухням.

Мы вполне понимаем, что это взорвало Игоря Северянина, но, повторяем, не стоит Георгий Иванов столь длинной отповеди.

Ред.

"Новая простота"...

У меня никогда не было унизительной привычки отвечать печатно прозой на бесчисленные выпады гг. критиков — и просто критикующих! — по поводу моего творчества, и, если бы, в свое время, я стал заниматься писанием этих ответов, я не мог бы, вероятно, уже делать ничего иного: попросту не хватило бы ни на что иное времени, ибо критика всегда дарила меня своим сугубым вниманием, и мне, как постоянному абоненту "Бюро газетных вырезок", присылавшего мне все, что обо мне писалось в России, хорошо известно совершенно невообразимое количество статей и заметок, касающихся моих стихов. Но статья Георгия Иванова в "Звене" меня особо возмутила своей лживой тенденциозностью освещения моей частной жизни, и это тем более, что он был принят у меня как свой человек, бывавший у меня в доме в течение свыше двух лет, часто ежедневно, всегда пользовавшийся посильным гостеприимством, и только поэтому на этот раз я решил отступить от своего правила, дабы дать ему исчерпывающий ответ. Я думал так: "Если о живом человеке осмеливаются писать таким гнусным тоном небывалые гнусности, забывая об ответственности, что же способны написать о мертвом, не могущем оправдываться?" Мои предположения оправдались: пока моя статья "Шепелявая тень" писалась и печаталась в "За Свободу!"[1], Г. Иванов успел в том же "Звене" выступить вторично со своими беспамятными "Воспоминаниями", в которых вновь и вновь, с удвоенной энергией, продолжает всячески глумиться как лично надо мною, так и над людьми, в 1911—14 гг. соприкасавшимися близко со мною, причем двое из них ныне уже мертвые, и моя прямая обязанность вступиться за их память. Оставляя на совести, как сказал бы покойный проф. Р. Брандт[2], "мемуарника" его рассказ о покойном И. В. Игнатьеве[3], на мой взгляд, однако, сильно преувеличенный и извращенный, т. к. я о многих "деталях" слышу впервые, между тем как, казалось бы, не мог не слышать ранее, постоянно бывая у И. В., принимая его у себя и отлично зная всех окружавших его, я скажу о другом персонаже воспоминаний Г. Иванова — о девушке, известной в нашем кружке под дружеским наименованием "Кармен". Да будет известно Г. Иванову, что эта "женщина лет сорока со смуглым лицом, странным и не без прелести, гуляющая по вечерам между Коломенской и Пушкинской", была в 1912 г. восемнадцатилетней, в высшей мере нравственной и порядочной девушкой, скончавшейся в 1914 г., фраза та: "гуляющая по вечерам между Коломенской и Пуш-

кинской" может быть понята мною, как петербуржцем, только и исключительно в одном — единственном — смысле. На подобные же фразы я привык отвечать мужчинам лично, что, конечно, и сделаю при первой же — возможно, скорой — встрече с Г. Ивановым. В заключение не могу не изумиться Антону Крайнему, взявшему под свою авторитетную защиту людей, подобных упомянутому Иванову и находящему их "Воспоминания" "беспретенциозными и очень скромными"[4]. Если назвать беспретенциозным глумление над поэтом несколько иного с Г. Ивановым одарения и содержания и скромностью — опорочивание памяти идеальной девушки, тогда действительно дальше идти уже некуда, и мы, увы, впредь будем в совершенстве осведомлены, какова "новая, послевоенная, простота и скромность — главная черта современных поэтов, — настоящих..."

И хотя Антон Крайний, восхваляя стихи и мемуары Г. Иванова (в первом случае я даже согласен с уважаемым критиком), и говорит, — между строк, — что я поэт не из настоящих, я позволю себе, опираясь, в свою очередь, по примеру А. Крайнего, на долгий мой опыт литературного созерцателя, остаться при особом мнении...

Toila. Estonia.
1927

Газета ребенка

(И. В. Игнатьев и его "Петербургск[ий] Глашатай")

На одной из Рождественских улиц Песков[1], вблизи Греческого проспекта, в небольшом собственном деревянном домике проживала в 1912 году добрая старушка — бабушка с внучком. Этот внучек звался Иваном Васильевичем Игнатьевым и любил литературу в такой степени, что стал издавать маленькую газету в новом жанре, где на первом плане были стихи и критика о них и о театре, который внучек любил не в меньшей степени[2]. В те дни ему исполнилось всего восемнадцать лет[3], мальчуган он был поведения примерного — не пил, не курил, женщин не знавал, — чего еще большего желать от "бабушкиного внучка"?.. Пробовал он и сам, как говорят обыватели, "пописывать" и в стихах, и в прозе, да только ничего путного из этих писаний не получалось[4], но рецензии его о книгах и о новых пьесах не были лишены остроты и оригинальности, и сделался он вследствие этого критиком. Повторилась обыкновенная история: забракованный художник — новорожденный критик... Я не говорю, конечно, о критиках выдающихся, и оставим, пожалуйста, Брандесов[5] в стороне... Надо было так случиться, что одну из моих многочисленных брошюрок, — я печатался тогда в нескольких журналах и выпускал периодически маленькие книжечки своих стихов, — прочитал этот "бабушкин внучек", редактор "Петербургского Глашатая", прочитал, восхитился и написал восторженную рецензию в газете "Нижегородец"[6]. Что поделаешь: был в России, — а может быть, и теперь еще есть, кто его знает? — Ярославль, например, кажется куда-то исчез, — был, говорю, город Нижний Новгород, где еще знаменитые ярмарки устраивались, а раз был город, почему бы в нем не издаваться и газете, и, конечно, "Нижегородцу", ибо это название, согласитесь, больше подходит для Нижнего Новгорода, чем, скажем, хотя бы "Парижанин"... Люди жили в этом городе, видимо, положительные, осмысленные, и поэтому и названия предметам давали такие же. Так вот, написал "внучек" рецензию на модернистическую книжку и послал ее редактору газетки с осмысленным названием. Не забыл упомянуть, что гонорара не требует, благо бабушка, как купчиха, деньгу имеет и в пятачках для любимого внука "вовсе даже" не нуждается. Редактор вскрыл конверт, повертел в руках рукопись, прочел ее, если был грамотен, а не то — в ближайшую лавочку сбегал, — прежде всего, усвоил, что она бесплатная, во-вторых, увидел штемпель столичный и, хотя, может быть, и ничего не понял из ее содержания, поместить решил незамедлительно, так как столичные жители — люди образованные и, по всей вероятности, "глупостей" не пишут, да и что там ни говори, лестно иметь сотрудника, проживающего в самом Санкт-Петербурге...[7] Таким образом была помещена рецензия, а когда она была помещена, Иван Васильевич прислал мне номер газеты прямо на мою квартиру, и я, скомкав бандероль, сразу, в один и тот же день, узнал о существовании "Нижегородца", а заодно с ним и Игнатьева, скрывшегося под псевдонимом "Ивей". Так как рецензия, повторяю, была восторженная, и стиль ее был не лишен вкуса, я запомнил и название газеты, и псевдоним рецензента. Тем более мне легко было запомнить эту хвалебную заметку, что в ту пору неуважаемая и до настоящего дня мною, — критика усиленно меня побранивала, но я только улыбался и посмеивался, душевно радый тому обстоятельству, что могу быть полезным бедным людям, часто обремененным неисчислимыми семьями: "газетчики" на мне недурно зарабатывали, помогай им Бог!.. А дня через четыре после присылки номера Игнатьев и сам явился ко мне — "для представле-

ния". Я поблагодарил его за производство меня в гении, похвалил за стилистику, поощрил к дальнейшей работе в том же духе и попросил иногда "захаживать", что он охотно впоследствии и делал. Он, в свою очередь, пригласил меня к себе на квартиру, где помещалась и его редакция, как он называл ее, — на парижский лад, — "дирекция". Впоследствии, сотрудничая в его газете и альманахах[8], мы часто бывали там, и нам, молодым поэтам, бывать там доставляло удовольствие: в уютном кирпичном кабинете обаятельного "бабушкиного внучка" как вдохновенно читались стихи, как высоко возносились грезы!

Моими постоянными спутниками при посещении "дирекции" были: Георгий Иванов, Арельский, Олимпов, Иван Лукаш[9], Дорин, Петр Ларионов, прозванный Фофановым за свою динамичность — Перунчиком. Гостеприимный хозяин угощал нас на славу, специально приготовляя мне мои излюбленные "Crème de violette" и красное вино "Изабеллу". Умел делать он и поразительную водку, которую мы называли "Махоркой" за странное свойство благоухания именно этим сортом табака... Но этот напиток поглощал в невероятном количестве преимущественно Перунчик, приходивший под утро от него в своеобразный транс, когда он, косноязычный от рождения и не выговаривавший большинства букв алфавита, приобретал вдруг способность потрясающе и захватывающе читать стихи Фофанова. Вдохновенность его делала чудеса, и тогда недостатки речи вовсе не замечались. Он сам рыдал, читая, и часто заставлял плакать слушателей. Я пробовал выпускать его на своих вечерах в Петербурге, Москве и Ярославле, но там, к сожалению, у него ничего не выходило: очевидно, на эстраде он не мог совершенно отрешиться от земли, что называется, настолько забыться, что косноязычие его становилось несущественным, ибо искренность и непосредственность исполнения заглушали все остальное. У Игнатьева были странности: он мне, например, рассказывал, что каждый раз, отлучаясь из дома, в особенности по вечерам, когда он бывал в театре, он нигде не находил себе места, боясь, что его обожаемая им бабушка умрет внезапно в его отсутствие. Нередко, не дожидаясь окончания спектакля, он бросался, мучимый предчувствиями, домой и торопил извозчика, поощряя его "чаевыми". Эта смутная тревога за любимого человека оказалась не напрасной: однажды, гонимый ею, он мчался к дому, обыкновенно мирно спавшему в поздний час театральных разъездов и погруженному в полнейшую тьму. Как боялся он увидеть свет в окнах, который обозначал бы, вероятно, что-нибудь неожиданное, и еще вероятнее ужасное: не то ли, чего он так боялся всегда и болезненно ожидал?.. И что же: все окна были ярко освещены... Предчувствие не обмануло его: бабушка скоропостижно скончалась, и скончалась именно без него. Поздно ночью я получил от него телеграмму, извещавшую меня о смерти старушки и заклинавшую не оставлять его одного в тяжелые для него минуты. Немедленно я поехал на Пески и до глубокого утра просидел с милым юношей, ободряя его, совершенно измученного потерей. После кончины бабушки он загрустил, осунулся, и нередко в "Вене"[10] можно было встретить его за бутылкою "Мартеля", чего раньше за ним не водилось вовсе. Чета Сологубов, симпатизирующая юноше, не могла не заметить происшедшей с ним перемены, и Анастасия Николаевна не раз обращала на это мое внимание. Мне вздумалось его немного рассеять, и, уезжая в Крым давать вечера, я, пригласив с собою Маяковского и Давида Бурлюка, не позабыл и про Игнатьева, предложив ему написать небольшой доклад о футуризме и выступить с ним на нашем вечере. Он охотно согласился и обещал приехать через неделю. Однако обещания своего не сдержал и в Симферополь не приехал. Вместо этого он, бывший всегда принципиальным противником брака и женоненавистником, неожиданно женился на состоятельной девушке, с которою только что перед этим познакомился, а на другой день после свадьбы перерезал себе горло в припадке умоисступления на глазах у жены.

Озеро Uljaste.
1924

Образцовые основы

1

Мне не было еще девяти лет, когда, живя в Петербурге, я стал писать стихи. Отлично помню первое свое стихотворение, включенное мною как курьез в приготовленный для полного собрания сочинений, — восьмой, — том детских и юношеских моих произведений — "Ручьи в лилиях"[1]:

Звезда и дева

Вот и звезда золотая
Вышла на небо сиять.
Звездочка верно не знает,
Что ей недолго блистать.
Так же и девица красна:
Выйдет на волю гулять.
Вдруг молодец подъезжает, —
И воли ее не видать...

Стихотворение хотя и бездарное, на мой взгляд, — я подчеркиваю — на мой, так как на иной оно может и теперь показаться далеко не таковым: увы, я слишком хорошо изучил вкусы и компетенцию в искусстве рядового читателя — однако написано с соблюдением всех "лучших" традиций поэтического произведения: здесь вы найдете и высокопоэтические слова, как, напр[имер], "звезда" и "дева", да еще "красна", и размер "общепринятый и гармоничный"... для слуха обывателя, и такие "гладкие", — не пропустите, пожалуйста, уважаемый корректор, буквы "л", — рифмы, как "сиять"—"блистать"—"гулять"—"видать", и, — что самое главное, — конечно, в этом "образцовом" произведении имеется столь излюбленное классическими поэтами сопоставление, в данном случае в виде "звезды" и "девы", т. е. дева поступает как звезда... Все вышеперечисленные "достоинства" разобранного стихотворения дают право критику, выражающему вкусы обывателя, причислить его — стихотворение, а не обывателя, а если угодно, и обывателя — к разряду классических... произведений, на мой же взгляд — идиотств...

Подобные этим стихи я писал, к сожалению, достаточно долго, восхваляя в них "солнце золотое", "синие моря" и "чарующие грезы", и происходило это главным образом оттого, что я зачитывался образцовыми поэтами, не умея их читать...

Значительно ранее этого времени меня стали усиленно водить в образцовую Мариинскую оперу[2], где Шаляпин был тогда просто басом казенной сцены, выступал в "Рогнеде"[3] и "Игоре"[4], и об его участии еще никого не оповещали жирным шрифтом[5]. Из других артистов выступали тогда Стравинский[6], Славина[7], Долина[8], Куза[9], чета Фигнеров[10], Корякин[11], Бзуль[12], Фриде[13], Яковлев[14], Чернов[15] и др.

Благодаря чтению и слушанию всего этого образцового, в особенности же благодаря оперной музыке, произведшей на меня сразу же громадное впечатление и зачаровавшей ребенка, мое творчество стало развиваться на двух основных принципах, классическая банальность и мелодическая музыкальность... От первого я стал излечиваться в 1909—10 гг., от второго же не могу, кажется, избавиться и теперь: слишком до сей поры, несмотря на всю ее сценическую "вампучность", люблю я оперу, будь то старая итальянская Доницетти[16] или Беллини[17] или же последние завоевания Игоря Стравинского[18] и Сергея Прокофьева[19], моих громоименных соотечественников...

Да, я люблю композиторов самых различных: и неврастеническую музыку Чайковского[20], и изысканнейшую эпичность Римского-Корсакова[21], и божественную торжественность Вагнера[22], и поэтическую грацию Амбруаза Тома[23], и волнистость Леонковалло[24], и нервное кружево Масснэ[25], и жуткий фатализм Пуччини[26], и бриллиантовую веселость Россини[27], и глубокую сложность Мейербера[28], и ...сколько могло бы быть этих "и"!

Бывая постоянно в Мариинском театре, в Большом зале консерватории у Церетели[29] и Дракули[30], в Малом (Суворинском) театре у Гвиди[31], в Народном доме[32] и в Музыкальной драме[33], слушая каждую оперу по нескольку раз, я в конце концов достиг такого совершенства, что, не раскрывая программы, легко узнавал исполнителей по голосам. В особенности часто, почти ежедневно, я посещал оперу в сезоны 1905—07 гг. При мне делали себе имена такие величины, как Л. Я. Липковская[34], М. Н. Кузнецова-Масснэ[35] (тогда еще Бенуа), явила свой изумительный промельк Монска, выступали Джемма Беллинчиони[36], Ливия Берленди, Мария Гай[37], Мария Гальвани, Олимпия Боронат[38], Зигрид Арнольдсон[39], Баттистини[40], Руффо[41], Ансельми[42], Наваррини[43], допевали Зембрих[44] и Кавальери[45]. Одного Собинова[46] слышал я не менее сорока раз. Удивительно ли, что стихи мои стали музыкальными и сам я читаю речитативом, тем более что с детских лет я читал уже нараспев и стихи мои всегда были склонны к мелодии?

2

С 1896 г. до весны 1903 г. я провел преимущественно в Новгородской губ[ернии], живя в усадьбе "Сойволе", расположенной в 30-ти верстах от г. Череповца, затем уехал с отцом в Порт-Дальний на Квантуне, вернулся с востока 31 дек[абря] 1903 г. в Петербург[47] и начал посылать по различным редакциям свои опыты, откуда они, в большинстве случаев, возвращались мне регулярно. Отказы свои редакторы мотивировали то "недостатком места", то советовали обратиться в другой журнал, находя их "для себя неподходящими", чаще же всего возвращали вовсе без объяснения причины. Вл. Г. Короленко[48] нашел "Завет" "изысканным и вычурным", Светлов ("Нива")[49] возвратил "Весенний день"...[50] Продолжалось это приблизительно до 1910 г., когда я прекратил свои рассылы окончательно, убедившись в невозможности попасть без протекции куда-либо в серьезный журнал, доведенный до бешенства существовавшими обычаями, редакционной "кружковщиной" и "кумовством". За эти годы мне "посчастливилось" напечататься только в немногих изданиях. Одна "добрая знакомая" моей "доброй знакомой", бывшая "доброй знакомой" редактора солдатского журнала

"Досуг и Дело", передала ему (ген. Зыкову) мое стихотворение "Гибель Рюрика", которое и было помещено 1-го февраля 1905 г. во втором номере (февральском) этого журнала под моей фамилией: Игорь Лотарев. Однако гонорара мне не дали и даже не прислали книжки с моим стихотворением. В те годы печатался я еще в "Колокольчиках" (псевдонимы: Игла, Граф Евграф Д'Аксанграф), "Газетчике", "За Жизнь-Жизнь") (г. Бобров), Воронежской губ[ернии], "Сибирских отголосках" (Томск) и др. и — везде бесплатно. В то же время я стал издавать свои стихи отдельными брошюрами, рассылая их по редакциям — "для отзыва". Но отзывов не было... Одна из этих книжонок попалась как-то на глаза Н. Лухмановой[51], бывшей в то время на театре военных действий с Японией. 200 экз. "Подвига Новика" я послал для чтения раненым солдатам. Лухманова поблагодарила юного автора посредством "Петерб[ургской] Газеты", чем доставила ему большое удовлетворение... В 1908 г. промелькнули первые заметки о брошюрках. Было их немного, и критика в них стала меня слегка поругивать. Но когда в 1909 г. Ив.Наживин[52] свез мою брошюрку "Интуитивные краски" в Ясную Поляну и прочитал ее Льву Толстому[53], разразившемуся потоком возмущения по поводу явно иронической "Хабанеры II"[54], об этом мгновенно всех оповестили московские газетчики во главе с С. Яблоновским[55], после чего всероссийская пресса подняла вой и дикое улюлюканье, чем и сделала меня сразу известным на всю страну! С тех пор каждая моя брошюра тщательно комментировалась критикой на все лады, и с легкой руки Толстого, хвалившего жалкого Ратгауза[56] в эпоху Фофанова, меня стали бранить все, кому не было лень. Журналы стали печатать охотно мои стихи, устроители благотворительных вечеров усиленно приглашали принять в них, — в вечерах, а может быть, и в благотворителях, — участие...

Я поместил свои стихи более чем в сорока журналах и газетах и приблизительно столько же раз выступил в Университете, в Женском Медиц[инском] Институте, на Высших женских курсах у бестужевок, в Психо-неврол[огическом] инст[итуте], в Лесной гимназии, в театре "Комедия", в залах: Городской думы, Тенишевском, Екатерининском, фон-Дервиза, Петровского уч[илища], Благородного собрания, Заславского, О[бщества] "Труд и Культура", в "Кружке друзей театра", в зале лечебницы д-ра Камераза, в Соляном городке, в "Бродячей Собаке", в конференц-зале Академии художеств, в "Алатре" (Москва)[57] и др. и др.

В 1913 г. вышел в свет первый том моих стихов "Громокипящий кубок", снабженный предисловием Сологуба, в московском издательстве "Гриф", и в том же году я стал давать собственные поэзоконцерты. В том же году я совершил совместное с Сологубом и Чеботаревской первое турне по России, начатое в Минске, а законченное в Кутаиси.

Озеро Uljaste.
1924 год

Трагический соловей

I

Когда я думаю о Мравиной[1], мне невольно вспоминаются слова, сказанные мне о ней св[етлейшей] кн[ягиней] Ольгой Федоровной Иміеретинской, вдовой Варшавского ген[ерал]-губерн[атора] кн[язя] Александра Константиновича на балконе его дачи в Гатчине, где мы с мамой проводили лето 1907 г.

— Трагический соловей, — сказала о ней княгиня.

И хотя самое трагическое — последние годы ее в болезни и полном одиночестве — было тогда еще впереди, действительно, трудно было себе представить более блестящую, но вместе с тем более трагическую судьбу, чем та, которая выпала на долю Евгении Константиновны Муравинской, на сцене — Мравиной. Бесспорная красавица, выдающаяся певица, женщина из очень хорошей семьи, счастливая жена видного офицера, в обществе несколько замкнутая, на сцене несколько холодноватая, обращавшая на себя общее внимание своей внешностью, своим голосом, она, сначала такая счастливая, окончила дни очень несчастно, в чем, за несколько месяцев до ее смерти, я имел тяжелую возможность лично убедиться. Но об этом в свое время. Дебютировала она в "Риголетто" на Императ[орской] Мариинской сцене, будучи совсем юной девушкой, почти девочкой[2]. На ее дебюте присутствовал весь beaumonde, ее Джильда сразу всех покорила, ее карьера была обеспечена. В нашей семье рассказывали, что Николай II, в то время еще просто великий князь, даже не наследник, совершенно очарованный "нашей Женей", пригласив к себе в ложу ее отца, генерала Муравинского, игравшего некоторую роль во времена польского восстания и бывшего, правда недолго, за это чуть ли не в опале, выразил желание поговорить с ней наедине. Генерал якобы ответил ему следующим образом:

— К сожалению, Ваше Высочество, я туговат на ухо, и некоторые фразы, даже при усиле-

нии голоса собеседника, мною все вовсе же не усваиваются...

2

Я помню Мравину с детства. Мы жили тогда в своем доме на Гороховой ул[ице], 66, и сестры Муравинские — Адель и Женя, — и их сестра от второго брака их матери, Александры Александровны, Шура Домонтович[3] часто бывали у нас. Дело в том, что старшая сестра Аделаида первый раз вышла замуж за сенатора Конст[антина] Ив[ановича] Домонтовича, брата первого мужа моей матери, рожденной Шеншиной, военного инженера, ген[ерал]-лейт[енанта] Георгия Ив[ановича], строителя С[анкт]-Петербургского Адмиралтейства и Дворцового моста. От этого брака мама имела дочь Зою, следовательно, Адель была женою ее дяди. Когда мать моя, овдовев, вышла вторично за моего отца, штабс-кап[итана] 1-го Железнодорожного батальона, впоследствии полка, Адель над нею слегка подтрунивала, говоря, что она сама себя разжаловала. Однако, овдовев, в свою очередь поступила сама не лучше: после сенатора вышла за офицера лейб-гвардии Конного полка, флигель-адъютанта Ник[олая] Мих[айловича] Каменева, человека, обладавшего большой фигурой и такою же добротой. Дети Аделаиды от первого брака — студент Миша и курсистка Саша — пошли, видимо, в свою тетушку, "тетю Шуру", Александру Мих[айловну] Коллонтай, теперешнего полпреда: были они с юности большими мечтателями, скитались по Европе, принимали живейшее участие в сходках и неоднократно, как тогда говорилось, "страдали за убежденья". Своими поступками они весьма шокировали высокопоставленных родственников и немало огорченья доставляли своей красивой, хрупкой, вечно моложавой матери, в которую, будучи пяти-шестилетним ребенком, я был "страстно" влюблен — надо ли пояснять? — первый раз. Правда, она была несколько старше меня... лет на тридцать, но это не мешало будущему поэту (хотя поэтами родятся, а не делаются) быть от нее "без ума". Подозревала ли Адель, щедро расточая мне родственные ласки, какое блаженство дарила она мне своими поцелуями? Сильно сомневаюсь в этом...

3

Я не помню теперь уже в точности причин, побудивших Мравину расстаться с Корибут-Дашкевичем, во всяком случае, для нашей семьи их разлука явилась полной неожиданностью, тем более что они так всегда любили друг друга и считались образцовыми супругами. Кажется, ее развод совпал с уходом из Мариинского театра, где она пробыла уж, несомненно, гораздо меньше, чем имела бы основания, благодаря своему одаренью, пробыть[4]. Медея Фигнер постоянными интригами и происками много способствовала ее уходу. Кн[язь] Сергей Волконский в своих "Оперных воспоминаниях"[5] обронил характерную фразу о муже Медеи[6], известном теноре, солисте Его Величества: "Он работал для себя, не для искусства". Очевидно, и Медея Ивановна "работала" для себя... Лидия Яковл[евна] Липковская, в мою последнюю встречу с ней в 1925 г. в Берлине, рассказывала, что, поступив на Мариинскую сцену, она трепетала, не зная, как отнесется к ней, новичку, хор, положительно боготворивший Мравину и плакавший на ее прощальном спектакле. А хорошие отношения с хором, по словам Липковской, значат для солистов очень многое. Уйдя со сцены, Мравина предприняла поездку по России и в одном из городов заболела оспой. Мы были искренне огорчены дошедшим до нас известием: ведь оспа могла ее совсем изуродовать. К счастью, опасенья наши не оправдались: болезнь оставила лишь незначительные следы на ее действительно божественном лице.

4

Зимой 1906 г., в Петербурге, уже с зачатками ужасной болезни — туберкулеза желудка, — сведшей впоследствии ее в могилу, после длительного отсутствия в столице Мравина дала в зале Дворянского собрания свой прощальный концерт, навсегда распростившись со своей деятельностью. Это было тогда, когда в Петербурге сверкали такие колоратурные светила, как Олимпия Боронат, Марчелла Зембрих, Мария Гальвани, Н. Т. Ван-Брандт и др. Мы с Зоей, конечно, не пропустили этого концерта. Зал был переполнен, что называется, до отказа, пела она все еще изумительно, принимали ее как-то благоговейно-восторженно. Но скорбь витала в зале. Чувствовалось, что публика прощается не только с артисткой, но и с человеком, дни которого сочтены. Все еще красивая, в прелестном черном туалете, стояла она на эстраде, и было во всей ее фигуре что-то невыразимо-щемящее, обреченное, одинокое. Казалось, певучий дух вылетал всенародно из изнуряемого страданьями тела. Мне вспомнился ее портрет в роли Людмилы, снятый в расцвете славы. Какая жуткая, какая жестокая разница! Перед нами была только тень былой красавицы, и, как тень, она была своеобразно красива. И эта красивая тень пела лебединую песню своей красоте, своей песне, всей своей

так рано, так незаслуженно рано кончающейся жизни.

В антракте мы встретились в фойе с моим крестным отцом, мужем сестры моей матери, председателем совета инженеров путей сообщения, Вас[илием] Вас[ильевичем] Саловым.

— Зоечка, что же это?!.. — воскликнул глубоко взволнованный старый сановник. — Что сталось с ней, с "нашей Женей"?..

5

Был март 1913 г. Мы с Анаст[асией] Ник[олаевной]) Чеботаревской-Сологуб, пользуясь первой неделей Великого поста, во время которой зрелища и концерты в России в те времена не разрешались, поехали отдохнуть в Ялту, прервав в Одессе свое турне. Сологуб уехал читать лекцию в Полтаву, и через неделю мы условились встретиться с ним в Симферополе, чтобы продолжать оттуда наши совместные выступления в Крыму и на Кавказе[7]. Остановились мы в гост[инице] "Россия". На доске в вестибюле я прочитал: "Мравина"; я совсем позабыл, что она живет в Ялте. Приведя себя в порядок после пыльного автомобильного пробега из Севастополя, я постучал в дверь ее номера.

— Войдите! — послышался знакомый голос.

Еле владея собою от нахлынувших на меня воспоминаний, чувствующий всегда неизъяснимую нежность при звуке ее любимого с детства голоса, я зашел в комнату, сплошь залитую солнцем. Навстречу мне поднялась с кресла совершенно согбенная старуха и, опираясь на палку, сделала ко мне несколько шагов. Какая-то выблекшая улыбка грустно тронула уголки ее увядших, когда-то таких очаровательных, губ. Но это подобие улыбки было бессильно согнать муку, уже годы медленно овладевающую ее неукоснительно разрушающимся лицом. "Ничего от Мравиной — тень тени", — мелькнуло невольно у меня в голове. Да, если на своем прощальном концерте она была только своею тенью, теперь передо мною колебалась уже тень тени... Меня кольнула мысль, что больная заметила, хотя я и постарался тщательно это замаскировать, впечатление, на меня ею произведенное. Она обрадовалась, угощала чаем, много расспрашивала о моих успехах, вспоминала мою умершую от менингита через год после ее петербургского концерта сестру Зою, вспоминала нежно и сердечно, всплакнула о ней и, может быть... о себе. Окно комнаты было распахнуто на море. Стоял дивный весенний крымский день. Я задумчиво смотрел на бескрайние морские южные дали, вполголоса читал стихи, с еле сдерживаемыми слезами вглядывался в изуродованное болезнью, но все еще обворожительно-привлекательное лицо "нашей Жени" и знал, наверняка знал, что никогда уже, никогда-никогда я не буду с нею разговаривать ни по-русски, ни на одном из человеческих, — здешних, земных, даже в самой радости опечаленных, — языков...

Вскоре ее не стало[8].

1930 г.

Оперные заметки

Первая опера, какую я услышал приблизительно в 1895—1896 гг. была "Рогнеда" А. Н. Серова. Мой возраст колебался между 8—9 годами. С тех пор мне не пришлось никогда ее больше слышать, но и сегодня она свежа и ярка в моей памяти: таково было впечатление на душу ребенка! Отлично запечатлелись декорации, костюмы, облики исполнителей. Рогнеду пела Каменская[1], Солнце Красное — Шаляпин, тогда еще просто Шаляпин, только что поступивший на Мариинскую сцену молодой бас, "подававший надежды". Отчетливо, напр[имер], помню его музыкальную фразу: "В твоей руке сверкает нож, Рогнеда!" Так сказал человек, что тридцать пять лет забыть не могу! Затем я слышал "Князя Игоря" Бородина, и снова пел Шаляпин — Владимира Галицкого. Даже походку его помню — вразвалку. Идеальный был задира и кутила. Незабвенный образ. Ярославну пела Бзуль, Игоря — Яковлев, Владимира Игоревича — Чупрынников[2], Кончака — знаменитый Стравинский. Типичны были и Скула с Ерошкой. Вижу мимику их лиц, все ухватки. Но фамилий не помню. Обе эти оперы — русские оперы! — очаровали меня, потрясли, пробудили во мне мечту, — запела душа моя. Как все было пленительно, как небывало красочно: мягкий свет люстр, бесшумные половики, голубой бархат театра, сказочная сцена с витязями, лошадьми, Кремлем Путивльским, киевскими лесами дремучими, пещерой Скульды — и такая большая, широкая, высокая, глубокая! Вокруг, в партере, нарядно, бархатно, шелково, душисто, сверкально, притушенно-звонко. Во рту вкусные конфеты от Иванова или Berrin, перед глазами — сон старины русской, в ушах — душу чарующие голоса, душу зажигающие мелодии, душу потрясающий оркестр. Рядом сестра Зоя — красивая, юная, экзальтированная и своя, близкая, чуткая, родная. Робко сжимаю ее руку, в полусознании, в испуге от блаженства. Сладко кружится голова. Как не пробудиться тут поэту, поэтом рожденному?.. Лучшей обстановки и не выдумаешь. И "Рогнеда", "Игорь" очаровали меня, потрясли. На

другой день с утра я уже напевал многие арии, давал с товарищами эти оперы в детской, совсем с ума спятил от восторга. Взрослые улыбались, поощряли, удивлялись моему слуху. Таким образом я сделался заправским меломаном и без оперы "не мыслил дня прожить"... Эта любовь осталась у меня на всю жизнь. Музыка и Поэзия — это такие две возлюбленные, которым я никогда не могу изменить. А с 1905 г. я уже стал постоянным завсегдатаем оперы Мариинской, Церетели, Дракули, итальянской, Гвиди, Народного Дома. Расскажу же о том, что вспомнится.

* * *

Мне очень нравилась меццо-сопрано А. А. Макарова. Сидя постоянно на своем излюбленном месте — на правом балконе у самой сцены, — я гипнотизировал ее столь удачно, что актриса, с которой я никогда даже не был знаком, невольно между двумя музыкальными фразами закидывала голову и часто, очень часто наши глаза встречались... Ну и выразительные же были у нее глаза: по крайней мере, я научился очень хорошо читать по ним о чувствах, менявшихся в ее груди. Эти взгляды были настолько томны и длительны, что у меня неоднократно возникала мысль, что и мои ближайшие соседи могут заметить их слишком явное значение... Выглядела она всегда очень интересно, пела ли она Кармен, Амнерис или Лауру ("Джиоконда"[3]). Этот, надо признаться, весьма оригинальный роман длился все в одной и той же фазе ровно два сезона, и я даже не видел ни разу объекта своих вожделений вне сцены.

* * *

А какие бывали составы! Идет, напр[имер], "Севильский цирюльник"[4]. Розину поет Боронат, Альмавиву — Ансельми, Фигаро — Баттистини, Дон-Базилио — Наваррини. Или "Миньона". Миньона — Арнольдсон, Филина — Боронат, Вильгельм — Собинов, Лотарио — Сибиряков[5]. Лучшей Миньоны, чем Арнольдсон, я и не слышал, и не видел. Это было само воплощение героини Гете. И даже перед самой войной 1914 г., когда ей было чуть ли не 55 лет, Арнольдсон все же была в этой роли изумительной во всех отношениях, хотя дыхание и заметно уже сдало.

* * *

Великолепны были Баттистини и Титто Руффо. Баритон первого — сплошной бархат, второго — драгоценный металл. И тот и другой имели толпы поклонниц, страстно враждовавших между собою.

* * *

Это напомнило мне другую конкурирующую пару: Собинов и Смирнов[6]. Все же должен сознаться, что тенора лучше Собинова слышать мне не пришлось. Чудесен был Ансельми, очень хороши Клементьев и Матвеев, много других теноров слышал я, но все же Собинов вне сравнений. Смирнов моложе, и в этом, пожалуй, его преимущество. Обаяние Собинова неизменно, и не далее как в конце 1929 г. я прослушал по радио весь его концерт в Петербурге. Пел он мало старого, все какие-то невообразимые бездарные песенки и романсы новейшей формации, голоса почти не осталось, срывы были многочисленны и жутки, но тембр, тембр Собинова никакие годы изменить не осмелились, и отдельные фразы звучали по-прежнему п о - с о б и н о в с к и: тот же вкус, то же мастерство, та же филигранность отделки. Публика неистовствовала. Никогда не прощу Е. И. Арцыбашевой, из-за политических соображений не давшей мне возможности послушать в ноябре 1930 г. в Варшаве любимого певца...

* * *

Вспоминается мне еще сенсационный состав "Евгения Онегина". Ленского пел б а р и т о н Образцов, Онегина т е н о р Большаков[7], Трике... Фигнер! Уж не помню теперь, как справились со своими диковинными "разноголосыми" партиями первые двое, но своеобразный по тембру голоса и по игре Фигнер, премьер, солист Его Величества, в выходной и все же знаменитой арии гувернера был очень трогателен и номер свой исполнил блистательно. Между прочим, один лишь Лабинский отдаленно напоминал по своему тембру Фигнера. Повторяю, у Фигнера был совершенно своеобразный тембр: пожалуй, даже несколько гнусавый, но в то же время пленительный, свойственный лишь ему одному, т. е. редкостно-индивидуальный. Подача его была, во всяком случае, чрезвычайно эффектной, исполнение элегантное. Что-то французское чувствовалось во всем его облике.

***

Однажды я был свидетелем инцидента с Олимпией Боронат. Шли "Гугеноты"[8]. Певица превосходно, по обыкновению, "брала" арию королевы. Оставалось несколько трудных колоратурных ступенек. Вдруг пылинка попадает ей в горло. Боронат пускает "петуха", закрывает

лицо руками и убегает за кулисы. Зал делится на два неравных лагеря: меньшая часть шикает и свистит, большая — бешено аплодирует. Проходит порядочно времени. Расстроенную артистку уговаривают выйти и продолжать спектакль. Она не решается. Наконец выходит, встречаемая аплодисментами и шиканьем. Повторяет арию целиком. В этот раз исполнение безукоризненное. Весь зал устраивает ей овацию.

***

Кстати, о Боронат. Она имела целую армию приверженцев и приверженок, не пропускавших ни одного ее выступления. Лично я был знаком с группой человек в 30 ее восторженных поклонников. Они всегда сидели в правом углу балкона, около самой сцены, над оркестром, где любил сидеть я. Являлись они с целым ворохом маленьких букетиков, которыми осыпали ее, неистово вопя "Боронат!" при каждом ее появлении на сцене. Среди этих "боронатисток" особенно ярко помню двух барышень, дочерей севастопольского (не в смысле войны) адмирала Ф. и их постоянного спутника, тогда только начинавшего художника Ш. Впоследствии он женился на старшей, Валентине, и сделал себе европейское имя.

***

Сорвалась однажды и Акцери[9], исполняя в "Миньоне" полонез Титании. Да, многие артистки избегают труднейшую партию Филины. Вспоминаю, как лет пять назад в Ревеле я зашел в "артистическую" зала "Эстонии" перед концертом Липковской. Лидия Яковлевна любезно предложили спеть что-нибудь по моему желанию. Я попросил ее исполнить любимый мною полонез Титании.

— Филины я никогда не пою, — рассмеялась Липковская, — выбирайте что-нибудь другое.

Тогда я попросил вальс из "Семирамиды"[10] Россини. Оказалось, что и эта партия не входит в ее репертуар. В конце концов поладили на вальсе Джульетты... Лучшими исполнительницами Филины я считаю Ван-Брандт[11] и Боронат. К сожал[ению), фигура последней плохо гармонировала с хрупким обликом возлюбленной Лаэрта и царицей ночи. Маленькая, изящная Ван-Брандт и сценически была очаровательна в этой партии, как и в Лейле, и в Лакмэ.

***

Большое впечатление произвела на меня премьера в Петербурге "Золотого петушка", одной из лучших опер Римского-Корсакова[12]. Шемаханскую царицу, великолепно справляясь с большими трудностями тесситуры, исполняла Андреева-Шкилондзь. Появление в прологе Звездочета сразу наэлектризовало зал. Этот пролог произвел впечатление какого-то музыкального бича... Редковыразительный номер оперной сатиры...

Был еще в труппе Церетели артист Клементьев. У него был громадного диапазона, несколько вульгарный тенор. Нерона он и пел, и исполнял превосходно. Стансы и строфу ему всегда приходилось бисировать. Многократно я слышал его в этой партии, и каждый раз он очаровывал все больше. В особенности бесподобно звучала в его устах музыкальная фраза: "Преступника ведут, кто этот осужденный"...

***

Кто же дирижировал у Церетели? Главным дирижером был Вячеслав Сук[13]. Кроме него, помимо Голишиани, Эспозито (автора "Каморры") и Цанибони. Последний был первой скрипкой, но иногда дирижировал утренниками. Никогда не забуду бешеного темпа увертюры к "Миньоне". Этот совсем молодой человек провел ее вихреобразно, скомкав всю грацию этого классического opus'а.

Репертуар в те годы был весьма разнообразным. Кроме трафаретных общепринятых опер, давались и никогда или довольно редко исполнявшиеся: "Адриена Лекуврер" Чилеа, "Германия" Франкетти, "Царь-Плотник" Лорцинга, "Дон-Пасквале" Доницетти, "Пуритане" Беллини, "Эрнани" и "Отелло" Верди, "Елена" Сен-Санса, "Кащей" Римского-Корсакова, "Каморра" Эспозито, "Сорочинская ярмарка" Мусоргского, "Лючия" Доницетти, "Джиоконда" Понкиелли, "Моряк-скиталец" Вагнера, "Заза" Леонковалло, "Гамлет" Тома, "Гибель Фауста" Берлиоза, "Фиделио" Бетховена, "Электра" Штрауса, "Год в монастыре" Данилевской, "Миранда" Казанли, "M-lle Фифи" Кюи и др.

***

В "Олимпии" на Бассейной удалось прослушать "Черевички" Чайковского с Кузнецовой-Бенуа в роли Оксаны и Боначича[14] в роли кузнеца Вакулы. Опера "очень милая", но мне, конечно, больше хотелось бы прослушать на этот же сюжет "Ночь перед Рождеством" Римского-Корсакова или же ознакомиться для сравнения с "Кузнецом Вакулой" Соловьева[15]. Думается, что у Римского-Корсакова этот сюжет должен быть разработан более колоритно, чем у Чайковского, памятуя хотя бы "Майскую ночь"[16].

Два взгляда

В ноябре 1916 г. в Гатчине, где я проводил зиму за три месяца до революции, я получил из Москвы от одной из своих поклонниц Аси К. довольно загадочное письмо, произведшее на меня сильное впечатление. Знал я эту барышню очень мало, приходила она ко мне всегда в антрактах на моих вечерах в Москве, приносила цветы и забавные игрушки, говорили мы с ней только о веселых пустяках, да и то мимоходом. Но глаза у нее были внимательные и серьезные, что как-то не гармонировало с беззаботностью и шутливостью.

"Я люблю Вас, — писала она, — и мне хотелось бы сберечь Вас от надвигающейся опасности. Я знаю, Вы хрупкий и совершенно неприспособленный к жизни. Уехали бы Вы лучше куда-нибудь из России, право. Назревают события. Люди измучены, люди недовольны. Народ вскоре возьмет власть в свои руки. Будет пролито много крови, будет много жертв. Не до стихов в это время нашей Родине. Думается, Вам все это как-то чуждо. Вы не борец, Вы только лирик, Вам будет невыносимо. Не осуждаю — предупреждаю только. Уезжайте из России, и чем скорее, тем лучше. Послушайтесь меня, поверьте мне. Войдет жизнь в свои берега, понадобится и лирика, может быть, несколько иная, но понадобится, ибо без лирики нет жизни, и тогда Вы вернетесь домой, на возрожденную, очищенную, счастливую Родину".

Вот что писала мне девушка, я все хотел ответить ей, спросить кое о чем, но она не дала своего адреса, а я так и не удосужился его узнать. До революции я дал еще несколько вечеров в Москве, но девушка на них уже не появлялась...

А еще раньше, в мае 1915 г., в Петербурге в мое отсутствие пришел какой-то посетитель в косоворотке, был принят близким мне человеком и сказал приблизительно следующее:

— Мы ждем от поэта шага в нашу сторону. Довольно пробавляться буржуазными пустяками. Его талант обязывает: он нужен народу. Передайте мои слова, пусть серьезно подумает над ними.

— Но кто же Вы? — спросила озадаченная женщина.

— Фамилия моя пока Вам ничего не скажет, но я член той власти, с которой вскоре Россия, и Вы в том числе, близко познакомитесь...

1930 год

Загадочный кучер

Когда в июле этого года я гостил две недели на даче у эстонского поэта Генриха Виснапу в двенадцати верстах от Юрьева на берегах Эмбаха, пианист Всеволод Гамалея[1], встретясь со мной на улицах города, предложил устроить, совместно с ним, вечер стихов и музыки в Печерах, хорошо знакомых по прошлому лету, когда он с семьей жил там на даче.

— Ничего не имею против, — заметил я. — Мне самому давно хотелось побывать в этом древнем городе. Что же касается вечера, не скрою от Вас, меня очень удивляет одно обстоятельство: вот уже вскоре исполнится двенадцать лет моего пребывания в Эстонии, и, однако, печеряне до сих пор ни разу не удосужились пригласить меня почитать им свои стихи. Не знаю, чему бы это приписать, тем более что край издревле русский, преимущественно заселенный русскими, и кому бы, казалось, как не русским, следовало дорожить и интересоваться своим поэтом. Кроме того, в Печерах, как я наслышан, бывают периодически съезды учителей окрестных школ, следовательно, и интеллигенция имеется налицо. Во всяком случае, я проедусь туда с удовольствием, — прибавил я своему собеседнику.

Вскоре после этого разговора я уехал к себе в Тойлу и совсем позабыл и о Печерах, и о нашем проекте. В конце августа Гамалея известил меня, что он списался с Культурно-Просветительн[ым] Обществом, и оно готово устроить наш вечер. Он предлагал мне два числа и просил выбрать любое. Я выбрал восьмое сентября. Итак, мы отправились. На вокзале в Печерах мы были встречены каким-то молодым человеком в картузе. Он очень любезно раскланялся с моим спутником.

— Это, очевидно, делегат от Общества? — спросил я Гамалею.

— О нет, это кучер доктора, высланный за нами, — был несколько поспешный ответ.

Упитанная лошадка быстро доставила нас по холмистой живописной дороге в больницу к квартире врача, где мы были встречены на крыльце любезными хозяевами. Женщина-врач Елена Семеновна Матвеева, ее мать и тетя принимали нас во все время пребывания нашего в Печерах более чем радушно и хлебосольно. К обеду приехали из своего имения в 37-ми верстах от города их добрые друзья — супруги Айвазовы, которые, узнав, что я даю на другой день вечер, оставив свою лошадь у Матвеевых, в холод, бурю и дождь, в полнейшей темноте отправились в свое "Шилово" на автомобиле за цветами для поэта. И жена и муж — страстные

любители цветов, и им непременно хотелось одарить поэта цветами, любовно ими самими взрощенными. Любезность совершенно исключительная в наши дни! Они вернулись на следующий день к обеду, привезя с собою целые вороха флокусов, гортензий, астр и красных лилий. Вечером я был положительно засыпан цветами[2]. Оба дня шел беспрерывный дождь, и поэтому города и монастыря[3] мы почти не видели, успели побывать только у всенощной, которую одухотворенно служил епископ Иоанн вкупе с другим духовенством. Днем в день концерта приходил представитель Общества к соседу доктора и вызывал к себе Гамалею, на вопрос которого, не находит ли он нужным хотя бы познакомиться с Северяниным, ответил, что, может быть, и находит, но, к сожалению, очень спешит и постарается сделать это вечером. Но вот прошел — и очень успешно в художественном отношении прошел — и наш вечер, и наступило утро отъезда, и снова никто из членов Культурно-Просветительного Общества так и не явился проводить нас на вокзал. Я долго не мог прийти в себя от изумления, и мне все казалось, что Гамалея надо мною подшутил и больничный кучер, встречавший и провожавший нас, на самом деле не кто иной, как переодетый представитель Общества, в силу врожденной болезненной застенчивости свято оберегавший свое инкогнито. По той причине я и на чай ему не дал...

1929 г.

По лесам и озерам

I

Тойла расположена на высоком берегу моря, вся в соснах и золотых полях, а море нельзя не любить, потому что оно — море. Из окон наших — его бесконечная синева, сизость, сиреневатость, лимонность, и все эти цвета ежедневно чередуются, меняются, чаруют. Взглянешь влево — острова Гогланд и Тютар вырисовываются, скалистые, верст за 50—60; переведешь глаза вправо — маяк в Гунгербурге белеет, а до него не менее сорока. А там, за ним, Петербург угадывается, и говорят, что в очень хорошую погоду очень хорошие глаза купола Исаакия видят... Из Гунгербурга. Видят потому, что хотят видеть, желание же победительно, верю.

Море нельзя не любить, как нельзя не любить леса, озер, рек — природы Божией. Природы и искусства. Во всех проявленьях. Да и что же любить остается здесь, на земле? Привыкшему к природе трудно жить в городе, может быть, и нельзя уже жить. Безлюдье обворожительно, в наши дни — в особенности. Природа прекрасна. Без людей — вдвое. Нет красоты, которой не испортил бы человек. Я говорю о людях вообще. Но среди людей есть такие влекущие, необходимые люди. Они — исключенье, а без него нет правила. Как гадки люди в целом! Как привлекательны в частности!

Море на север, на восток Россия, Европа на западе. Остается юг. Что же на нем? Что к ближнему югу нашему? Чудское озеро, Пейпус. "Прекрасно озеро Чудское"[1], — сказал Языков, учившийся, кстати, в Юрьевском университете. Теперешний Tartu в теперешней Эстонии. От нас до Пейпуса 60 верст. До железной дороги — восемь. Между полотном и Пейпусом необъятные сосновые леса. В лесах озера. Их 76. Они прекрасны. Я люблю ходить на них. Я делю свою любовь между морем и озерами. Но я рыболов, удильщик. У моря мне делать нечего. На озерах некогда отдохнуть.

Мы выходим в путь на восходе. Нас трое. Проходим просыпающейся деревней, растянувшейся на версту. Сплошная сиреневая аллея. В зарослях сирени — домики. Чистенькие, всегда подновляемые. Улица делает зигзаги. Она узкая, очень сухая. Утренний холодок. Утренний влажный запах сирени. Лавочки еще заперты. Только что проснувшийся аптекарь распахивает окно, поеживаясь и зевая. Рыбаки несут сети. С крутого берега Pühajõgi[2] мы спускаемся в долину, переходим каменный мост, поднимаемся на противоположный, еще более высокий, берег. Долина с отвесными берегами и вьющейся между ними речкой живописна. Есть что-то от Урала. Мы делаем обход старого надречного кладбища, запрятанного в зелень над оврагом, на дне которого сочится ручей, и идем полевой дорогой к югу. По обе стороны от нас хутора, рощи. Лютеранская кирка слепит нас своей позлащенной солнцем белизной. Православная церковь в полуверсте влево от нас напоминает о близости именья Елисеева. Там, за нею, трехэтажная вилла на фоне елей и сосен. И уже что-то от Крыма. Пройдя четыре версты, мы выходим на шоссе Нарва—Ревель, поворачиваем вправо, покрываем легко еще две версты, сворачиваем влево и вступаем в озерный лес. Вот полотно жел[езной] дор[оги]. Пересекаем его и видим прямую, текущую с юга, речку. Она неширока — сажени две. Нам предстоит пройти вдоль нее до первого озера — Пиен — три версты, обогнуть его и идти дальше. Куда? Куда захотим. Здесь сколько соблазнов, столько озер, и каждое своеобразно-очаровательное. Не будем останавливаться на Пиен, пойдем на Изана: до него всего около двух верст. Речка — Vasaverejõgi — бежит все время нам навстречу, протекая в своем стре-

млении через два озера. Ее истоки верст за двадцать, около Пюхтицкого монастыря[3]. Тропка вьется среди медуницы и валерьяна. Речка поблескивает на солнце. Столетний лес. Вдали голубеет озеро Изана.

Лодка ждет нас. Мы сталкиваем ее в воду, удобно рассаживаемся в ней, составляем складные удочки и принимаемся за уженье. 12 верст пройдены, теперь хорошо отдохнуть. При удачном клеве, а он зависит от ветра, луны и других условий, здесь можно поймать много рыбы. Правда, окуни, плотва и красноперка попадаются в этом озере преимущественно мелкие и редко достигают фунта, но количественно мы чувствуем себя удовлетворенными: на долю каждого все же приходится от 15 до 40 штук. Иногда попадается и лещ от фунта до трех. Большие (фунтов на 5—8) часто обрывают лески. Так проходит день, и не успеваем оглянуться, солнце садится. Клев кончается. Теперь на ночлег к леснику, живущему еще далее к югу за полторы версты. Хотя мы и подкрепились захваченной с собой скромной "охотничьей" пищей, к вечеру чувствуем сильный аппетит и с удовольствием мечтаем о стакане горячего чаю.

У лесника большой поместительный дом. Несмотря на свои 72 года, старик жизнерадостен и бодр. Он хороший стрелок, и в его доме всегда найдется какой-нибудь вальдшнеп или рябчик. Он с женой радушно встречает нас и проводит в высокую светлую "нашу" комнату. Хозяйка, женщина лет сорока, накрывает на стол, жарит наш улов, и вскоре мы сидим у кипящего самовара, ведя немудрую, а может быть, воистину мудрую — в силу своей немудрености — беседу с милыми гостеприимными и добрыми "лесными" людьми...

2

Лесник будит нас в два часа утра, и мы, наспех выпив молока с кусочком хлеба, спешим на утренний клев. Несколько слов по этому поводу. Опытные удильщики уверяют, что рыба клюет лучше всего перед восходом солнца. Для них это уже давно стало аксиомой. Об этом же говорит и Аксаков, являющийся для большинства каким-то рыболовным евангелием. Я сам очень люблю книгу Аксакова[4], но мой опыт показал мне шаткость этого утверждения: ранний час клева всецело зависит от местности, места и погоды. Я знаю озера, где рыба рано утром не клюет вовсе. Я знаю озера, где рыба, не трогая червя на восходе, если ветер с востока или холодный дождь, начинает охотно ловиться среди белого дня в случае резкого улучшения погоды. Я знаю реки и озера, когда рыба лучше всего попадается поздним вечером, когда едва различим поплавок, и даже ночью. При северном и восточном ветрах вообще лучше не пробовать. Сегодня мы идем на третье озеро — Рэк. Оно еще дальше к югу, и до него от лесника около двух верст. Мы переходим по мостику через нашу, неизменно до сих пор сопутствовавшую нам, речурку, пересекаем сенокос, идем вдоль нее около четверти версты, затем круто сворачиваем влево, входим в небольшую рощицу, минуем еще один сенокос, и перед нами гора с сосновым бором. Идем узкой извилистой — совершенно парковой — сухой, усыпанной остинками дорогой, от которой в обе стороны разбегаются замысловатые тропинки, и вот наконец перед нами, внизу, под горой, окруженное сплошным лесом, возникает сонное и нежное озеро Рэк. Оно красиво и грустно. Но красота его коварна: его сухие, вереском и мхом поросшие берега изобилуют медянками. От их укусов в здешних местах люди умирали. Вот и сейчас, шагах в семи от нас, лежит недавно кем-то убитая змея. Здесь также много клещей, и, возвращаясь с Рэк, мы всегда находим на себе нескольких.

Поплавок "дяди Саши" молниеносно тонет. На лице удильщика изумление: он вытаскивает леску без крючка.

— Противная щука перекусила поводок, — говорит он и вынимает из кармана коробочку с запасными жилками и крючками.

— Не трудитесь привязывать новый крючок, — хладнокровно замечает наша спутница Ирис[5] — пожалуйста, получите Ваш обратно...

И она передает оторопевшему удильщику... только что откусанный, по его мнению, щукой — крючок с кусочком жилки.

— ?!..

— Ничего особенного, — улыбается Ирис, — вслед за Вами эта рыба тотчас же клюнула у меня, как видите, более счастливо. Откусанный у Вас крючок с кусочком жилки, наподобие уса, я нашла в углу ее рта.

И она показывает свою добычу.

К крайнему нашему изумлению, это не щука, а двухфунтовый бронзовый лещ. Лещ очень осторожная рыба, и этот случай из ряда вон. Мы долго не можем прийти в себя с "дядей Сашей", и только всегда невозмутимая Ирис, слегка посмеиваясь, продолжает внимательно и серьезно ловить рыбу. У нее уже более десятка ершей и окуньков. У нас тоже.

— Нет, сегодня здесь клюет только мелочь, — говорю я, не стоит задерживаться, идем дальше.

Спутники соглашаются, и мы, забрав свои снасти, простясь с Vasaverejõgi, в нескольких саженях от нас опять протекающей вблизи ковар-

ного озера, обходим его наполовину, поднимаемся по одной из бесчисленных тропок в гору и углубляемся снова в лес, ведущий нас к озеру Пан.

Озеро Лийв, продолговатое и глубокое, тоже окаймленное гористым бором, озеро, с берегов которого, крутых и скользких, открывается такой чудесный вид на Пюхтицкий монастырь, отстоящий от озера верст на десять по прямой линии, остается в полуверсте влево от Рэк. Мы не заходим на него: в нем только окуни и щуки, причем первые клюют очень плохо и редко, и нам приходилось целые дни проводить на нем безрезультатно. Щуки же для удильщика интереса представляют мало: даже мелкие зачастую перегрызают лески, заводить же для них специальные металлические поводки мы не находим нужным, не любя этот сорт рыбы.

Верста пройдена. Мы на берегах светлого и небольшого, круглого и бестравного озера Пан. Здесь, как и на Рэк, у берегов раскрыли свои чаши белые лилии. На горе, в отдалении, виднеется дом пильщика, куда иногда мы заходим запастись хлебом, яйцами и молоком. Старик с внешностью царя Салтана пасет свое стадо овец на берегу. Он издали приветствует нас. Мы становимся на подветренный берег, откуда так затруднительно забрасывать лески, но куда скопляется в это время рыба.

— Озеро Пан в этот раз оправдывает свою репутацию, — замечает Ирис с энтузиазмом, холодным, но пламенным, вытаскивая из воды за лещем леща. Вскоре их уже четыре, все они не менее двух фунтов каждый.

— Как на заказ, — смеется "дядя Саша", — вероятно, у Вас имеется какой-нибудь талисман?..

— Власть желания, — замораживает его Ирис презрительными глазами, не меняя позы.

Золотая красноперка мелькает в воздухе и падает к ногам удильщика, у которого лещ, оторвав крючок, передал его повелительнице рыб и поэтов...

3

В трех четвертях версты от озера Пан за лесистым перевалом, поросшим вереском, где то и дело торчат гигантские зонты, червивых большей частью, красных грибов, как раз за Пюхтицкой, ранее названной мною парковой дорогой, узкое и длинное зеркало, отражающее стволы сосен, озера Кульп. По берегам янтарь морошки и фиолетовость гоноболя. И той, и другой ягоды здесь изобилие, и, сидя на берегу с удочкой, стоит лишь протянуть руку, чтобы срывать по желанию любую из ягод горстями. На зеркале озера круглые плавучие острова с ягодами, кустарником и порыжевшим мхом. При ветре они передвигаются, тихо и тяжко, с места на место. Мы наблюдаем, как щуки, выпрыгивая из воды, гоняются за окунями, в этом озере совершенно черными. Другой рыбы здесь нет, но окуни клюют дружно. Однако и здесь крупных мы не вылавливали. Какой-то особой благостью и сказочным очарованием веет от озера Кульп, и нам нравится всегда заходить на него мимоходом. Берега твердые, гористые, не то что берега Пиен и Изана, куда буквально не подступиться — сплошная трясина — и где без лодки нечего делать. Отдохнув, мы взбираемся на крутую гору, по самому краю которой вьется Пюхтицкая дорога, и идем по направлению монастыря. До него еще неблизко — верст одиннадцать. Вскоре влево от нас тоже внизу под горою появляется озеро Мэттас, тоже с плавучими островами, но еще более узкое, с берегами капризных очертаний. Оно безрыбно, и мы не останавливаемся около него. По-прежнему, то вправо, то влево от нас, стремятся бесчисленные тропинки, и по одной из них, круто свернув влево, мы направляемся к одному из самых рыбных озер края — озеру Ноот, соединенному речкой с озером Аллик, прозрачным и небольшим.

Александр Мартынович, лесник, у которого мы вчера ночевали, сидит на маленьком плоту, саженях в пяти от берега, и ловит рыбу.

— Как дела? — спрашиваю у него.

— Окуней семь по фунту, по полтора выудил да два леща упустил, — отзывается он и вдруг умолкает, готовясь сделать подсечку.

Леска наструнивается, удилище сгибается, и линь фунтов семи отчаянно бьется и прыгает на плоту. Лесник хватает его, зажимая рыбу меж коленями. Она выскальзывает, заливает ему брюки молокой, обрывает леску и бултыхает в воду.

— Ну что ты скажешь, ведь третий так уходит, — сокрушенно восклицает старик, качая головой, — а все оттого, что плот мал и скользок.

Мы сочувственно смотрим на лесника, молча насаживая на свои крючки приманку. Но с берега здесь трудно поймать более или менее крупную рыбу, держащуюся в отдалении.

Отсутствие лодки дает себя чувствовать. Но Ноот не соединено с Vasaverejõgi, и на него в нашей лодке с Изана не попадешь. Держать же лодку на Ноот мы не решаемся: озеро слишком отдалено от человеческого жилья и, следовательно, прельстительно для всякого... жулья! Не было бы обидно, если бы браконьеры пользовались ею для рыбной ловли, — на здоровье. А то ведь, как показывал неоднократно прежний опыт, из-

рубят топорами да и утопят. Озера раскинуты на много верст, леснику не усмотреть за всеми. Человек, где только может, везде старается проявить свою животную сущность. Ему даже приятно бравировать ею. Напакостит и исчезнет без следа. Вот и люби людей после этого. Последнее — едва ли не единственное — удовольствие отравят. Бог им судья.

Начинает накрапывать дождь, рыба клюет вяло, и мы, простясь с лесником, складываем свои удочки и, выйдя на большую дорогу, быстро идем на ночлег в монастырь, где так привлекательно всегда и отрадно.

Влево тропинка на большое озеро Акна, вправо — на еще большее озеро — Куртна, вот озеро Ахвен, вот Сэрг, вот Нин. Озера мелькают за озерами. Около каждого свое настроение, свойственное ему только одному. Мы откликаемся на каждое настроение, мы ощущаем каждое своеобразие. Для одной уже этой смены, собственно, нам приятно бродить по лесам. Наконец лес кончается. Мы выходим на шоссе. Вдали, на горе, верстах в трех, купола собора. В монастырь приходим ко всенощной. Пюхтицкий монастырь основан б[ывшим] ревельским (эстляндским) губернатором кн. Шаховским.

4

У монастыря, около самой дороги, перед кладбищем, дуб в два обхвата. От[ец] Иоанн Кронштадтский[6], неоднократно бывавший в Пюхтицком монастыре, определял возраст дуба не менее чем в две тысячи лет. Перед нами монастырская ограда, по углам башенки в древнем стиле. Через калитку запертых ворот мы попадаем во двор. Две церкви и собор, построенный лет пятнадцать тому назад на средства одного генерала из Москвы. Собор — почти точная копия Успенского собора в Москве. Конечно, в миниатюре. В настоящее время в монастыре девяносто монахинь. Все свободное время они отдают огороду, вязанию теплых вещей, стаду, уборке поля. Пожертвования совершенно почти прекратились, поэтому своим трудом приходится им добывать себе скудное пропитание. Длительны и утомительны монастырские богослужения, между обедней и всенощной работают они на воздухе, вязать приходится по ночам. Мы проходим мимо трапезной и по аллее направляемся к дому кн. Шаховской. Старая княгиня — ей 84 года — до сих пор живет здесь. Старушка не утратила, несмотря на преклонный возраст, ни умственной, ни телесной бодрости, только здоровье ее последние месяцы стало заметно слабеть. Муж ее, эстляндский губернатор, большой популярностью пользовался в губернии, и княгиня до сих пор часто видит к себе знаки внимания от местных крестьян. Ежегодно, в день ее рождения, местный оркестр, составленный из православных эстонцев, приходит будить ее по утрам. Монастырю уже 36 лет. Первая из церквей выстроена лютеранином, которому явилась Пюхтицкая Божия Матерь на дубе, о котором я рассказал выше. От домика княгини, тоже расположенного на горе, открывается красивый вид на окрестные леса и поля. Вдали синеет самое большое озеро округа Virumaa — озеро Конзо. Кончается всенощная, умолкает прекрасный хор монахинь, мы идем спать. Рано утром, направляясь домой, мы навещаем озеро Конзо. На берегу живет местный лесник, у которого две лодки. Долго ездим мы по безмятежной влаге, то здесь, то там закидывая удочки. В клевные дни в этом озере можно поймать на раковую шейку окуней по 2—3 фунта. Идут они и на дорожку. Щуки достигают здесь очень крупных размеров. Другой рыбы нет. Вид с озера на монастырь еще красивее, чем от монастыря на озеро. Сосны и ели с трех сторон обрамляют воду. Вдали тают монастырские звоны...

На обратном пути, проходя мимо нашего озера Изана, мы заходим отдохнуть к Александру Мартыновичу, и он, как и всегда, вспоминает разные случаи из своей долголетней рыболовной практики.

— С каждым годом все меньше и меньше рыбы в озерах становится, — говорит он, разливая чай по стаканам, — а было ведь время, когда озерные воды изобиловали ею. Однажды в Изана я поймал плотву в четыре фунта, в Пиен такого же окуня. А сколько щук переловил я! — Он показывает нам громадную щучью челюсть, достав ее со шкапа.

— Эта щука весила больше полпуда. И таких было много.

Мы рассказываем ему в свою очередь, как недавно один старый рыболов уверял нас, что лет семь назад поймал в озере Нымэ окуня в... 20 фунтов!

Старый лесник негодует:

— Ведь как врет человек! И не совестно ему? Да таких окуней и не бывает вовсе. Я слышал, что более пяти фунтов они не достигают.

Мина Ивановна, его жена, наливает нам на прощанье по рюмке медовой наливки. Ирис иронически называет ее "медянкой". — Внутренний ужал, — поясняет она смеясь.

Около часа ночи мы возвращаемся домой. Toila встречает нас теплым, но таким живящим воздухом моря. После озерных туманов и пронизывающей сырости так отрадно вбирать в легкие морской воздух. Тяжелое утомление дает себя чувствовать.

— Из-за такого улова не стоило ходить так далеко, — высказываем мы вслух свои мысли. Но проходит дня три-четыре, мы основательно отдохнули и начинаем снова мечтать о следующем походе, ибо не рыба одна манит нас к себе — влекут нас наши очаровательные леса и озера.

Toila.
1927 г.

5

Пользуясь осенним разливом рек, мы хотим сегодня проехать в лодке по мелкой и узкой в летние месяцы Vasaverejõgi из озера Изана в озеро Куртна. Расстояние между ними верст десять, но путь сопряжен с большими затруднениями, так как через речку перекинуто много бревен и мостиков, под которыми в лодке не проедешь и через которые приходится ее перетаскивать, частью перепиливать бревна.

Мы запаслись пилой-двухручкой, топорами и длинной веревкой, удобно разместившись в лодке, мы въезжаем из озера в речку, но вскоре же наталкиваемся на первое препятствие: большой сосновый пень с массою корней лежит как раз посередине речки, бегущая встречно нам вода, задержанная в своем стремлении этой препоной, ударяется в него и, разрезанная им надвое, переливается с шумом, вспененная, по его корням, и весь этот пень напоминает нам гигантского паука. Волей-неволей мы выходим из лодки, я берусь за веревку, привязанную к средней скамье, и иду, волоком за собою таща лодку. Мне помогает Николай Николаевич, старый фабрикант, частый мой спутник. "Дядя Саша" направляет путь лодки веслом, идя за нами. Препятствие преодолено, мы можем вновь сесть в лодку и плыть до следующего, которое не заставляет себя долго ожидать: вскоре лодка начинает килем задевать за дно, и нам снова приходится с неохотой покинуть ее, изображая из себя волжских бурлаков. Саженей через двадцать мель кончается, и мы вновь плывем вверх по речке, упираясь в дно веслами, так как узость ее не позволяет грести. Таким образом, то вылезая, то вновь влезая бесчисленное множество раз, мы медленно продвигаемся вперед. По обе стороны от нас высится старый и густой елово-сосновый лес. Речка — водяная аллея. Теплый ноябрьский день. Пасмурный и бесснежный. Мы выехали в десять часов утра. Теперь уже более полдня, а мы за это время успели проехать не более двух верст от Изана. А вот вдали виднеется и мостик, ведущий к леснику. Добравшись до мостика, мы перетаскиваем общими усилиями через него лодку и идем обедать к лесным друзьям нашим. Рассказываем им о своем путешествии, и они удивляются нашей причуде — плыть в лодке по несудоходной реке. Для них это совершенно непонятное удовольствие, а главное, что в этом нет никакой пользы... "Блажная затея", думают их глаза, благодушно посмеиваясь над нами. Хороший деревенский обед быстро подкрепляет нас, мы наскоро выпиваем по стакану чаю и спешим к мостику продолжать прерванный путь: уже второй час дня, и надо спешить до темноты попасть к цели путешествия. За мостом речка сразу же расширяется и углубляется, и теперь мы беремся за весла, поочередно гребя ими. Извилистые повороты таят красивейшие уголки. Подбадривает и очаровывает мысль, что никто никогда в глуши этой безлюдной по реке этой зачарованной не ездил ни в лодке, ни на плоту. "Мы первые", — говорю я с гордостью. "Мы первые", — вторят мне мои спутники. Внезапно перед нами за крутым поворотом реки возникает узкий продолговатый островок. Мы направляем наше суденышко в правый рукав и наталкиваемся на мель. Даем задний ход и пробуем проскочить левым проливом. Глубоко. Лодка идет легко и вдруг наскакивает на старую березу, переброшенную через пролив под самой поверхностью. Одновременно мы с "дядей Сашей" вылезаем с двух бортов в разные стороны и обосновываемся на еле покрытой водою березе.

— Идите, Ник[олай] Ник[олаевич], на корму, — командуем мы, берясь за борта и перетаскивая лодку через березу. Лодка до половины въезжает, вернее, влезает на скользкое мокрое дерево. Ник[олай] Ник[олаевич] переходит на нос, нос садится под его тяжестью, и кораблик наш соскальзывает в речку. В это время береза, не выдержав нашей тяжести, переламывается под нами, и мы с "дядей Сашей" внезапно окунаемся в воду, инстинктивно — и очень быстро, к счастью, — схватясь за борта. Все это происходит так молниеносно, что мы не успеваем даже вымокнуть как следует (глупейшее выражение, ибо мокнуть вовсе не следует!). Со смехом мы вскакиваем одновременно с разных бортов в лодку, с удвоенной энергией и неослабеваемым интересом плывя все выше и выше, туда, за бесчисленные живописные изгибы, за одним из которых где-нибудь скрывается же влекущее нас к себе озеро Куртна!

Влево, саженях в пяти от речки, поблескивает, как всегда грустно и нежно, хорошо нам знакомое озеро Рэк, куда из речки ведет проток, по которому можно проехать в лодке. Но мы не останавливаемся здесь и не въезжаем в озеро, хотя нам и очень хотелось бы сделать это. Надвигающаяся темень заставляет нас приналечь на весла. Лодка идет полным ходом. Река все шире и шире. Здесь уже почти нет преграждений в виде

мостов и деревьев. Путь свободен, заманчив и таинственен. Мы знаем, что речка изобилует рыбой, но темная вода ее осенью безмолвна и мертва. Ни одного всплеска не слышит настороженный слух. Куда делись вы, все щуки и окуни? Спите? Отдыхайте, друзья, и простите, что мы тревожим ваш сон, вы, никогда не слыхавшие шума весел.

Вечереет. Тьма все гуще и гуще. Вскоре плыть уже невозможно, тем более что вновь начинают попадаться препятствия, борьба с которыми во тьме гораздо сложнее. Но что это? Влево от нас серебреет какое-то озеро. Снова влево. Как и Рэк. Неужели это озеро Пан? Разве же мы его еще не миновали? Вот и проток в него. Я круто поворачиваю руль, и мы вплываем в проток, и вскоре из-под нависших ветвей, затемняющих дорогу, попадаем на сталь водного простора. Здесь немного светлее.

— Да, это только еще Пан, — говорю я, направляя лодку к берегу; мы поднимаемся на горку. Дом дровосека погружен во тьму. Ощупью пробираясь меж сосен, мы находим его и стучим. Пять часов вечера, но старик уже спит. В одном белье он открывает нам дверь. В кухне нестерпимая жара и духота. Мы снимаем мокрые сапоги, носки и брюки, развешивая их у плиты. Через четверть часа все "высыхает до сухости". Пьем чай, закусываем.

— Ночуйте у меня, — говорит старик. Но на это мы не можем решиться: пугает удушающая жара.

Мы с улыбкой переглядываемся, поручаем дровосеку смотреть за лодкой и, надев на себя подсушенное платье, идем лесными тропками-дорогами, при свете карманных электрических фонариков, ночевать в Пюхтицкий монастырь, туда, на юг, за пятнадцать верст. И, конечно, это приятнее и легче, чем ночь в душной и низкой избе...

Двинск.
1927 год

Дом на диване

На восточном берегу озера — гора в форме дивана, на "сиденье" — новый, крепкостроенный деревянный дом. Налево — конюшня, коровник, кладовая. За ними, под "сиденьем", в отдалении, маленькая догнивающая деревушка. Избы накренились на все четыре стороны, некоторые без труб (через двери не только людям ходить — и дыму не возбраняется!), крышная солома повыдергана ветром. Направо — огород, кузница, баня, старый сад вокруг сгоревшего дома, гумно; далее опять-таки под "сиденьем", вернее, за ним аллея вдоль восточного побережья, длинная, тенистая, вся из сосен, елей и лиственниц; влево от нее — озеро, вправо — чаща непролазная леса, куда солнце никогда не заглядывает. На аллее — два дома — лесника и лесничего; второй даже основательней, с оленьими рогами над террасой.

За новым домом, с которого я повел рассказ, гора вверх, перед ним — гора вниз, к озеру. Вот и получился диван, как видите... В этом "доме на диване" мы и проживаем.

Хозяева бездетные — тишина обеспечена. Хозяин поле обрабатывает, плотничает, кузнечит, рыбачит. Ему сорок три года, и человек он почтительный и почитаемый, водки не пьет, курит по праздникам, сам все своими руками делает, работает с трех утра до заката, вечно хлопочет. Он и дом сам себе выстроил, и сирень с яблонями посадил, и все старается поудобнее в доме и в хозяйстве устроить: приобрел усовершенствованный плуг, сепаратор и проч.

В доме чистота и порядок. Комната наша большая, светлая, высокая. Окна большие, стены бревенчатые, сосновые, гладко струганные. В комнате карилопсисы и олеандры цветут, половички и умывальнички о чистоте гуторят. Хозяйка — женщина молодая, радушная, нравственная. Дела у нее еще больше, чем у мужа: ему во всем помогает да еще по хозяйству заботится. По праздникам оба одеваются "по-городскому", да только бант на голове, эмблема замужества, хозяйку очень огорчает... Страстно хотелось бы ей шляпу завести, но, увы, нет на это мужниного разрешения, ибо шляпа, очевидно, от лукавого, а с чертом наш хозяин не только не дружит, но и знакомиться не желает...

Под домом — озеро. Длина — верста с четвертью, ширина — две трети версты. Северный берег гористый, соснами покрыт. Западный и южный болотистые, молодым сосняком и березками сильно тронуты. На гористом берегу белые и красные грибы растут в изобилии, на болотистых клюква, морошка и гоноболь, разноцветными тонами своими красиво сочетаются. Глубина озера к четырем саженям приближается. Вода прозрачная, студеная. На дне — ил и песочек гофрированный. В озере рыбка проживает — оттого-то и мы с женой проживаем на берегу. И какая "рыбка"! Лещей меньше четырех фунтов никто не видел, все более по семи—пятнадцати, окуни трех фунтов достигают, пудовые щуки бродят, угри вьются, судаки попадаются. Есть у нашего хозяина морская шлюпка, старая, четверть века ей давно стукнуло, новую вскоре завести собирается. Так вот, отдал он нам ее в полное наше распоряжение — ею мы и пользу-

емся при ловле рыбы. А ловим мы ее разными способами. Начну с окуней.

Сядем в лодку, отправимся в одну из бухт — озеро ими изобилует, — встанем на якорь саженях в семи — десяти от берега и начинаем ловить окуней на удочки. Приманка обыкновенная — червяк, насаженный ленточкой. Окунь у нас рано клевать не любит, сибаритничает, спит долго, поэтому выезжаем мы часов в восемь-девять. Пробовали, внемля опытным рыболовам, и в два часа утра ездить, только ничего путного из этого не выходило, напрасно в тумане голоса свои теряли. Еще ловим мы окуней таким способом: лодка идет средним ходом, одна удочка положена на корме, две — по бортам. Клюет окунь на ходу охотно. Третий способ такой — ходим вдоль берега с удилищами и лесками аршинной величины. У северного берега мелко, и рыба видна вся. Берег твердый и навис над водою. Закинем удочки у самого берега и ждем минутку. Если окунь "сидит" под берегом, мигом выскочит и клюнет. Нет его — идем дальше. Попадается, однако, на удочку мелочь: от одной восьмой до трех четвертей. А крупный окунь — от трех четвертей до трех фунтов — идет хорошо на "дорожку". Только мы заметили, чем быстрее лодка идет, тем лучше хватает окунь. Попадаются и щуки, но более четырехфунтовой мы не ловили. Один раз большая щука кольцо разогнула и с тремя крючками ушла. Ставим ежедневно переметы на червей. Червя съест окунишко в восьмую фунта, окунишку — окунь в один-два фунта, а то и щуренок около фунта его проглотит. Сети ставить и острогой рыбу бить в нашем озере воспрещено, да мы этим и заниматься не любим, это уже не спорт. Угри и судаки редко показываются, а что касается маститых лещей — хотя мы их и частенько своими глазами видим, но поймать их немыслимо. Уж чего-чего мы ни пробовали для их уловления на удочку или перемет: и распаренный горох на крючки накалывали, и хлеб, и овес, и червей древесных — хоть бы клюнуло! А много лещей в озере — тысячи! И все крупные, жирные, серо-золотые!

— Не лещи, а поросята, — говорит наш хозяин, — а вот не клюють...

А не "клюють" оттого, что сыты, вероятно: питаются водяными растениями и корнями. В июне, когда они идут к берегам икру метать, плеск стоит на озере: то здесь, то там выскакивают из воды парами, весело играя, дразня рыболовов, бросающих свои занятия и созерцающих с замиранием сердца их весеннее празднество. Знает наш хозяин, когда их ожидать к берегам следует, — за неделю ходит взволнованный и таинственный, все на озеро поглядывает и, когда по озеру, гладкому и тихому, еле заметная зыбь пробежит, просияет весь и зарадуется: лещи идут!.. И точно. Продолжается этот праздник обыкновенно около недели, затем они вглубь обратно уходят — и поди поймай их, если умеешь. Редко-редко когда клюнет какой-нибудь безумец на червяка: один раз в три года, может быть. А и это случается. У одного мальчугана как-то клюнул, да толка мало: удилище сломал и сгинул в глубине... Много лет старик лесничий живет на озере, а поймал всего-навсего двух лещей... Прелестны озерные бухточки, и всем им мы дали названия: "бухта белой лилии", "бухта вереска", "янтарная бухта", "бухта инцидента"... Последнее название произошло оттого, что, ловя как-то окуней, стал я вычерпывать воду из лодки; для этого взял ведро, совсем забыв, что все пойманные окуни в нем находятся... В результате весь четырехчасовой улов одним взмахом ведра очутился опять в озере... После долго смеялись мы над этим и успокоились только тогда, когда дали бухте, в которой произошел вышеописанный казус, подобающее наименование... Летом я почти не работаю, книги же свои создаю исключительно зимами и ранней весной, когда лед мешает моему любимому спорту. Но и зимой иногда удается нам вытащить через прорубь небольших окуньков (червями мы запасаемся с осени), и смею уверить вас, что эти окуньки в свежей деревенской сметане не так плохи...

Озеро Uljaste.
1924 г.

Румынская генеральша

Мы сидели в никелированно-бархатном холле одной из самых фешенебельных гостиниц в Бухаресте в ожидании редактора художественного журнала. Этот восторженный идеалист, по обыкновению, запаздывал, захваченный какой-нибудь очередной непредвиденной встречей на улице, так или иначе имевшей отношение к его любимому детищу, капризному и избалованному, требовавшему предельных жертв и приносившему неукоснительно лишь одни убытки. Я курил сигарету за сигаретой, лениво рассматривая какой-то итальянский журнал. Сверху по широкой лестнице, устланной топким, баюкающим ноги ковром, спускалась маленькая полная шатенка в сером костюме, очень бледная, с капризно очерченным ртом и густыми бровями, в сопровождении тонкого и высокого офицера. Вдруг произошло нечто совершенно необык-

новенное: завидев меня, незнакомка, сойдя с лестницы, опустилась на колени, подняла молитвенно руки и стала подвигаться — на коленях! — в мою сторону. Я, признаться, опешил и стал невольно озираться, предполагая, что она направляется к кому-нибудь другому. Но, увы, хотя в холле и было несколько человек, преимущественно иностранцев, вблизи нас решительно никого не было! Сомнений быть, следовательно, не могло: коленопреклоненная дама направлялась именно ко мне. Чувствуя себя страшно неловко, я смущенно поднялся ей навстречу. Ее спутник, видимо, был смущен не меньше моего. Он что-то пробовал говорить ей по-румынски, лицо его покраснело и выражало полнейшую растерянность и явное неудовольствие. Между тем дама, не обращая на него никакого внимания, продолжала буквально ползти! — с воздетыми в экстазе руками. Пораженные иностранцы прервали свою беседу и безмолвно, с непередаваемым выражением лиц созерцали диковинное представленье. И вдруг она в двух-трех шагах от меня заговорила:

— О, божество мое, наконец-то я Вас увидела! Сколько лет я мечтала об этом миге. Не сочтите меня психопаткой или комедианткой: к таким поэтам, как Вы, нужно приближаться всем, как делаю это я: коленопреклоненно.

И только после этого вступления она встала на ноги, представилась сама и представила мне и моей спутнице Ирис своего жениха, адъютанта одной весьма высокопоставленной особы (принца Николая)... Затем все сели. Полился оживленный разговор. Я приходил в себя постепенно: меня ее поведение и смешило, и трогало, а чувство неловкости еще долго меня не покидало. Из ее слов я понял, что она богатая бессарабская помещица-молдаванка с очень громкой и известной в свое время всей России, — по ее дяде, — фамилией, была замужем за румынским генералом, по образованию филолог, перевела мои стихи на одиннадцать(!) языков и знает наизусть чуть ли не все мои книги, изданные в России.

— Я непременно приеду к Вам летом в Эстонию, — сразу же заявила она решительно, — я должна своими глазами видеть страну, вдохновляющую поэта. Почему-то Эстония представляется мне сплошным зеленым лугом, на котором пасутся бесчисленные стада красных, — Вы слышите? — непременно красных коров. О, в какой идиллической стране Вы живете! — восклицала она, не давая мне вставить слова и объяснить ей, что у нас в красный цвет окрашены только "Божии коровки"!.. Так, вероятно, она и осталась при своем первоначальном убеждении.

— Я непременно хочу рассказать Вам подробно свою биографию, — наконец встала она, протягивая мне свою миниатюрную руку, — и прочесть Вам Вас самого на всех европейских языках. Приходите, пожалуйста, ко мне завтра в 10 час[ов] утра. Я живу в этом же отеле в №15.

Офицер, ни слова не понимавший по-русски, все время сидевший как на иголках, поспешил с явной радостью нам откланяться и последовать за своей эксцентричной и хорошенькой невестой. И оттого что она была хорошенькой, я на другой же день отправился к ней в указанное время...

— Войдите, — раздалось грудное контральто на мой стук. Я вошел. Дверь заперта не была: очевидно, меня поджидали. Женщина лежала в кровати. Я сел в кресло, стоявшее в ее ногах. С места в карьер она начала мне рассказывать свою жизнь. Ничего необыкновенного в ее рассказе не было. Особое внимание она уделяла незначительным деталям, и вот тут-то, надо признаться, это подчеркивание иногда становилось значительным. У меня составлялось о ней представление, как об очень избалованной, взбалмошной, властной истеричке. Во время рассказа она отчаянно кокетничала, то натягивая до подбородка, то нервно опуская, — впрочем, до вполне дозволенного предела, — зеленое шелковое одеяло. Говорила она безостановочно, артистически играя лицом, поминутно меняя его выражение: то скорби, то строгой неприступности, то влекущей нежности, то еле сдерживаемой страсти. Я держал себя холодно-корректно, не верил ни одному ее слову, взглядам и интонациям, был все время настороже. Потом она долго читала мне мои стихи по-венгерски, норвежски, итальянски и т. д. Читала она просто и четко, стихи звучали ярко и красиво. Своим чтением она доставляла мне большое удовольствие. Читала она и по-русски, и должен отметить, что стихи знала отлично, нигде их не коверкая и не заменяя моих слов, подобно многим, именитым даже актрисам, отсебятиной. Подобное благоговейное отношение к стиху делало ей, конечно, честь. Мой визит длился часа два. Наконец в дверь постучали. В этот раз почему-то она откликнулась на стук по-румынски, и в комнату вошел ее жених. При виде меня, сидевшего у кровати его невесты, лицо жениха заметно вытянулось, и опять, как накануне, смущенье овладело им. Но он постарался его, хотя и неумело, скрыть и был подчеркнуто и неестественно любезен. Пробыв еще в номере минут двадцать, я поспешил оставить их вдвоем. Расставаясь со мною, она просила почаще ее навещать.

— Каждое утро в это время Вы всегда можете меня застать дома, — сказала она многообещающе и подарила одну из роз, только что поднесенных ей женихом.

— Кстати, — добавила она, — через две недели я еду к себе в имение под Бендерами. Еду на всю Пасху. Я жажду одиночества и хочу отдохнуть от него. — Тут она кивнула на ничего не понимавшего по-русски адъютанта: — Так вот, Вы обязательно должны дать мне слово, что навестите меня в природе. Но только приезжайте без Вашей спутницы. Мне хочется уединиться с Вами, чтобы читать бесконечно стихи, бегать по полям, забыв обо всем на свете. А этот... мой будущий муж пусть останется здесь. Приедет потом, к концу праздников. Пусть помучается, пусть поревнует немного. — С этими словами она подозвала его к себе, обхватила шею руками, порывисто поцеловала в губы и весело рассмеялась, окончательно смутив жениха и рассмешив меня своим лукавством...

Катастрофа в море

Письмо из Тойлы

В четверг, 17 декабря, с утра начался ветер, ежечасно крепчавший. Около 2 час[ов] дня местные рыбаки выехали на 4 моторных лодках в море, намереваясь забрать ранее расставленные там сети. Для этого им пришлось прорубить канал во льду, так как у берегов, приблизительно на полверсты, море было покрыто льдом. К 6 час[ам] вечера ветер перешел в снежный шторм. На берегу развели костры. Тревога с каждой минутой увеличивалась. В 10 часу вечера одной из 4 лодок — "Зулейке" — удалось после невероятных затруднений достичь устья реки Пюхаеги, которая находится в версте от рыбачьих коптилок, откуда рыбаки обыкновенно выезжают на промысел. Держась около берега, лодка (рулевой Герман Пуес) дошла до места стоянки. Находившиеся в лодке 5 человек сообщили, что шторм, заставший их в открытом море, спутал их с правильного пути и они совершенно случайно взяли курс на берег. Борта лодки покрыты были толстым слоем льда, так как волны захлестывали ее со всех сторон. Люди совершенно изнемогали в борьбе со стихией и уже утеряли веру в возможность спасения. Метель, крутившаяся волчком, и полная тьма превратили обстановку, в которой находились рыбаки, в сплошной ад. Спасательный пароход, вызванный из Ревеля в пятницу утром, не прибыл. Необходимо отметить, что это уже второй случай, когда спасательное судно не является по вызову. Недели 3 тому назад лодка братьев Крейсманов отделена была от берега большой плавучей льдиной, и ей пришлось скитаться в море всю ночь, пока наконец рыбаки из деревни Valaste, отстоящей от Тойлы в расстоянии 8 верст, не выехали им на выручку и не доставили их, уже совершенно обледеневших, на берег. Вызванный из Гунгербурга пароход прибыл только к вечеру следующего дня, причем капитан его позднее прибытие оправдывал неимением раньше угля. В домах Тойлы — скорбь. Родственники пропавших рыбаков в отчаянии. На улицах местные жители собираются кучками и усиленно обсуждают тяжелое происшествие. Как уже сообщалось, в нескольких верстах от Гунгербурга найдена была затем одна из исчезнувших лодок, причем на дне ее оказался рыбак Куск, уже замерзший. У трех остальных отморожены руки и ноги. Так как они не в состоянии были двигаться самостоятельно, то их доставили на берег в салазках по льду.

1925. И. С.

Рассказ моего знакомого

Одна наша очаровательная знакомая, обладательница не менее очаровательного автомобиля, как-то поинтересовалась узнать, почему N. так редко бывает в Ревеле, чем лишает ее большого удовольствия проводить совместно время. Вот что поведал ей N.:

— Я живу, как Вам известно, в семи часах езды от столицы, в глухой деревушке. Ближайшая железнодорожная станция — в девяти верстах. Живу там потому, что люблю деревню, люблю с детства, да и дешевле жить в глуши, это бесспорно. Ежемесячно одно учреждение выдает мне прожиточный минимум в память моих былых заслуг[1]. Этот "минимум" я называю пенсией. Жалованье платят за настоящее, пенсию — за прошлое... Поэтому я обозначаю эту сумму именно таким определением. Что представляю я из себя в настоящем? Человека, не сумевшего вовремя умереть. Не больше. Однако не в этом дело. Дело в том, что, чтобы получить эту пенсию, я должен раз в месяц за нею ездить в Ревель, — иначе не получишь. И не потому, чтобы в нашей местности не было почтового отделения. Оно существует, причем работает превосходно. Не было случая, кажется, чтобы пропала хотя бы открытка. Почтмейстер — человек пунктуальный, добросовестный. Вся беда в том, что, по нашей чудесной русской пословице, "с глаз долой — из сердца вон". Так в данном случае и со мною. Не напомнишь — не получишь. Не

получишь — не поешь. А у меня семья. На письма не отвечают: времени, вероятно, не имеют. А приедешь — изумятся, но дадут. Да еще приговаривают: "Напрасно беспокоились, — лучше черкнули бы нам открыточку, — мигом выслали бы Вам". Изумишься в свою очередь, попробуешь вставить, что писал, дескать, да не отвечаете. Не слушают, свое говорят... Теперь дальше. Дорога до Ревеля, — я говорю про поезд, — стоит 250 марок, а на эти деньги мы с семьею два с половиной дня живы. Столько же обратно. В результате 5 дней из месяца вычеркнуты, ибо пенсия предусмотрена ровно на 30, а не на 35 дней; в месяце же, к несчастью, их не меньше тридцати. Разве только один февраль на сутки покороче. Таким образом, 5 дней в месяце — форменный голод. Ну да ладно, как-нибудь перебьемся летом: грибов насобираем, окунишек наловим. Зимою хуже значительно[2]. Как я уже сказал выше, до станции от деревни 9 верст. Естественно, что "делать" их приходится пешком, так как лошадки у нас кусаются. Такая уж, знаете ли, порода лошадей распространена в наших краях. Кусаются, да и все тут, причем норовят укусить именно таких бедняков, как я. Богатым их укусы не опасны. Если бы я стал при своих путешествиях на станцию и обратно пользоваться этими скверными животными, нам с семьею пришлось бы поголодать еще 5 дней в месяц. Итого — 10. Согласитесь, что это было бы немного вредно для здоровья. А так как оно у нас не ахти какое, приходится его по возможности беречь, тем более что и 25 дней-то в месяц мы питаемся, что называется, впроголодь, ибо наш минимум поистине минимален и ни о каких разносолах даже грезить не приходится. В хорошую сухую погоду пройтись десяток верст — беда небольшая. Получается даже что-то вроде маленькой прогулки. Одно удовольствие... Но осенью, — в грязь, в темноту, в дождь! Бр! Представляете ли Вы, очаровательная горожанка в собственном автомобиле, что такое наша деревенская распутица? Дороги наши, очень приличные и укатанные, при малейшем дожде превращаются в нечто невообразимое. Но если дождь, что называется, из ведра, и идет он несколько дней подряд, невообразимость превращается в просто-таки в ничто, в ноль, ибо дорог фактически не существует вовсе, а полнейшее бездорожье, месиво какое-то сплошное. Ни серединки сухой, ни краешка. Сплошь водяная грязь, полуаршинные выбоины, наполненные грязно-молочного цвета бурдою, напоминающею по цвету и густоте корм для свиней. И вот по такому беспутному пути приходится идти 9 верст. И почти всегда во тьме кромешной, так как поезда проходят мимо нашей станции всегда ночью. На шаг перед собою вы ничего не увидите. Выбирать место посуше безнадежно: ничего не видно, да его и нет. Поэтому приходится двигаться наудалую, напролом. Надо ли пояснять, во что превращается путник при таких милых условиях передвижения? На нем нет сухого места. Пальто, брюки, пиджак, даже белье можно выжимать. Ботинки превращаются в тесто. Подметки отстают. Вода вливается во все щели. С размаха нога проваливается в выбоину с шумом, напоминающим всплеск восьмифунтовой щуки. Холодная, липкая, грязная ванна за ванной. Ноги начинают стыть. В таком виде являетесь на станцию, ждете час-другой поезда, садитесь в него, напоминая собою вынутого из воды тюленя. Пассажиры в страхе мечутся от вас, а вы, дрожа всем телом и не попадая зубом на зуб, едете в "дивном" настроении и наряде в столицу, куда и прибываете через семь часов в полубольном, в полупомешанном от кошмарной дороги и бессонной ночи состоянии. Получаете свой "минимум" и мгновенно же, с первым поездом, несетесь назад, вступая в новую фазу ужаса физического и морального страдания.

— И Вы еще спрашиваете, почему редко я езжу в город?! — почти возмущенно заключил мой знакомый свое повествование.

Очаровательная барынька села поудобнее на софе, затянулась тонкой папиросой и, щуря глаза, спросила меня не без кокетства:

— Воображаю, как бы Вы чувствовали себя в его положении?

Но я решительно переменил тему.

Toila.
1925 г.

Цветущая Бессарабия

(Письмо из Кишинева)

Пряное, ананасное солнце горячим, почти пахучим и золотистым ливнем заполняет весь двор отеля и устремляется в распахнутые настежь окна в нашу комнату. Южная весна покорила город. Еще неделю назад ничего подобного не было, сыпался снег, дул резкий ветер. Но вот уже четвертый день все круто и сразу изменилось. Многие ходят уже без пальто. На солнце 16 градусов. Через две-три недели будет все зелено и душисто. Здесь происходит все это мгновенно. Я слегка простудился в пути, несколько дней не выхожу никуда, берегусь перед завтрашним своим вечером. С утра до позднего вечера приходят люди. Один сменяет другого. Иногда набирается

в комнате человек пять-шесть. Приходят редакторы местных русских газет (их в Кишиневе четыре, и все ежедневные!), интервьюеры, молодые (часто они бывают и пожилыми) поэты, общественные деятели, наконец, просто обыватели. Все жмут руки, улыбаются, поздравляют с приездом. Много все-таки добрых и ласковых людей на свете. Не все еще стали сухими и черствыми. Приносят апельсины, местные сласти, книжки. Армянская колония дает сегодня бал. Дня три назад пришли три армянки [и] армянин, весело и шумно ворвались в номер, обязали со смехом и шутками посетить их празднество. В первые дни по приезде мы с женой много бродили по городу. Город не из маленьких: в нем триста тысяч жителей. Он весь разделен на кварталы. Они — квадраты. Заблудиться нельзя — все ясно сразу. Главная улица асфальтирована. Встречаются хорошие дома. Но много еще от провинции. Главным образом, это относится к домам и мостовым. На улицах много хорошо одетых горожан, в особенности женщин. Но тут же и голь перекатная. Посетители, развлекающие меня, говорят все почти в один голос, что здесь чудесно поздней весной и летом. Они наперебой живописуют радостное очарование цветущей Бессарабии. "Какие у нас арбузы́! — восклицают они, делая ударение — по-южному — на последнем слоге, — иногда два человека поднимают с трудом. Вот с этот стол встречаются!" — восхищенно захлебываются они, показывая на изрядных размеров овальный стол, стоящий в нашем номере.

"А персики? Вы любите персики? — спрашивают они, — так у нас встречаются персики в $^1/_2$ фунта". Из их слов узнаю об изобилии абрикосов, кизиля, винограда. И все это невероятно дешево. Прекрасное "Кабернэ" можно здесь получить за 25 лей кварту. А многие вина и того дешевле. (А лей — очень маленькая ценность: он равен двум эстонским сентам или меньше 3 латв[ийских] сант[имов].) Вообще, здесь все крайне дешево: и продукты, и мануфактура. Но кризис дает себя чувствовать, к сожалению, и здесь, и каждый лей и здесь играет роль первостепенную. Как только начну выходить, надо основательнее ознакомиться с городом и его достопримечательностями: увидеть памятник Пушкину и домик, в котором он жил в свой бессарабский период.

1933 г. Март.

Письмо в редакцию[1]

1 февраля с[его] г[ода] исполнилось 25-летие моей литературной деятельности. 13-й год живя в приморских дебрях, что называется — не на людях, я полагал, об этой дате никто не вспомнит. Однако я основательно ошибся. Оказывается, еще много людей, любящих мое творчество, помнящих обо мне. Сверх всякого ожидания, я получил столько знаков внимания со стороны читающей публики (главным образом от читателей "Сегодня"), и это несмотря на то, что в печати знаменательный для меня день отмечен вовсе не был, — что я положительно лишен возможности поблагодарить каждого в отдельности. Мне остается поэтому просить Вас, господин редактор, не отказать в любезности, посредством Вашего весьма распространенного издания принести милым и ласковым людям мою сердечную признательность за доставленную мне воистину нечаянную радость...

Эстония. Тойла.
1930 г.

Открытое письмо Игоря Северянина редактору "Последних Известий"

Дорогой Ростислав Степанович![1]

Крепко целуя Вас за Вашу сердечную телеграмму, прошу оттиснуть следующее:

Выражаю, как это в подобных случаях принято, признательность поэтам за посвященные моему двадцатилетнему юбилею "приятельские" стихи, знакомым и незнакомым — за письма и телеграммы, газетам — за так называемые "приветственные" статьи[2]... Но больше всех благодарен я — хотя это, может быть, и совсем не принято — неизвестному мне лично мальчику, Вите из Ревеля, принявшему мой призыв в новогоднем номере "Последних Известий" — как это и следовало всем сделать всерьез — и поэтому приславшему сто эстонских марок.

Я горжусь, что еще (или уже?) существуют такие мудрые русские мальчики; он же может гордиться в свою очередь тем, что подарил русскому — своему — поэту день творческой жизни!

Предлагаю всем эмигрантским газетам перепечатать мое письмо.

Ревель.
6.II.1925 г.

В ялике по морю

Уже восемь лет я мечтаю приобрести себе лодку. Мне, как рыболову, она была совершенно необходима, и мне же, как лирическому поэту, разумеется, не хватало на это средств. Поэтому полученные в дар от одного "искусствика" двадцать долларов я, отложив все остальные, весьма насущные надобности, решил прежде всего осуществить на них одну из своих почти неосуществимых для прославленного поэта мечт — купить безотлагательно, наидешевейший для рядового гражданина и наидорожайший для лирика, ялик. Попросив своего знакомого инженера-электротехника сопутствовать мне в поездке по покупке и выторговыванию лодки, — последнему поэты никак научиться не могут, — я выехал с ним рано утром в поезде на Нарву. Нарва от нашей пятая остановка, и поезд идет немногим больше часа. До станции восемь верст, которые мы прошли, конечно, в видах экономии пешком. Спутник мой не менее ярый рыболов, чем я сам, и покупка лодки весьма его заинтересовала. С вокзала мы прямым путем направились к пароходной пристани на реке Нарове. Кончался май. Деревья были в полном расцвете. Светило весеннее солнце. У пристани, под крутым береговым обрывом, стоял под парами пароход "Павел", готовившийся к отходу в Гунгербург. Две крепости — Ивангородская и Шведская, — расположенные по обоим берегам реки, одна против другой, возносили свои башни в синее весеннее небо. Красива старая Нарва! Темный общественный сад, висящий над рекой, по вечерам кишащий гуляющей публикой, днем был совершенно пуст, и, проходя по его аллеям, ведущим к пристани, мы встретили одного из своих знакомых, седоусого Ивана Ивановича Ч., прогуливающегося перед завтраком в небрежно накинутом на плечи плаще. На голове его была мягкая фетровая шляпа. Мы сообщили ему о цели своей поездки, прося совета, где можно дешевле и лучше приобрести лодку.

— Да тут же внизу у пристани, — воскликнул он оживленно, — мой приятель как раз вчера поручил мне продать совершенно новую шлюпку! Он заказал ее для своих топей, ему пригнали ее мужички с верховий, да он забраковал ее: нашел слишком большой и плоской. Пойдем посмотрим.

На песчаном берегу, дном вверх, лежала желтая неуклюжая лодка. Мы попробовали ее приподнять — ни с места.

— Но ведь это же целая баржа, — сказал инженер неодобрительно. Я вполне согласился с ним.

— Как хотите, — заметил Ив[ан] Ив[анович], — не неволю. Одно только могу сказать: лодка новая, крепкая, основательная. Да и цена сходная: десять долларов.

Но мы категорически отказались от этого "броненосца береговой обороны". Ив[ан] Ив[анович] заторопился:

— Пора в Русское собрание: адмиральский час часы в желудке показывают. Идем вместе?

— Нет, мы уже сначала все устроим, — отказались мы, и бывший малиновый стрелок Его Величества величественно зашагал в гору. У пристани стояло яликов пятнадцать. Были они все, как братья родные: красно-бело-синие, в меру длинные, в меру узкие, нумерованные, с решетчатыми креслами на кормах. Легкие лодочки, приятные для глаза.

— Вот один из таких и взять бы, — сказал я. — Что Вы на это скажете?

— Идеальный тип лодки, — согласился инженер.

Худенькая барышня, сидя в одном из яликов, читала книжку.

— Продаете? — спросили мы у нее.

— Нет, — улыбнулась она, — напрокат даем.

— А Вы продайте, — уговаривал ее инженер, — у Вас их много ведь, а нам и одной хватит.

— Вот папа идет, поговорите с ним, — указала барышня на подходившего картузника.

— Лодочку охотца? На часок или на день? — заулыбался он издали.

— В собственность, — пояснили мы.

— Непродажные они у меня, господа хорошие, для себя надобны.

— Уступите одну, куда Вам такую уйму?

— Одну, говорите? А и впрямь — одну куда ни шло. Пожалуй, уступлю.

— Цена?

— Не дороже денег. Дадите десять "ковриков"?

— Хотите пять?

Сторговались за семь. Ковриками зовут здесь эстонские тысячи старого выпуска. Семь ковриков равняется почти двадцати долларам, немного меньше — на доллар.

— Какой же № пожелаете? Выбирайте любой.

— Да давайте поновее, — попросили мы.

— Тогда берите тринадцатый, — посоветовал купец, — вторую только весну празднует.

Тщательно осмотрев все лодки, мы убедились сами, что № 13 во всех отношениях лучше других. Решили тотчас же, не теряя времени, пуститься в дальний путь — двенадцать верст по

реке вниз да по морю около сорока. Узнав о наших планах, купец с дочерью пришли в ужас.

— На ялике по морю? Да вы шутить изволите.

— И не думаем, — засмеялись мы, рассаживаясь в лодке.

— Храни вас Бог, — вздохнул старик, крепко пожимая нам руки.

Барышня пожертвовала нам жестянку для вычерпыванья воды.

— На всякий случай, не ровен час, — благожелательно шепнула она.

— Всего доброго! — закричал инженер, взявшись за весла.

Я сел к рулю, и мы быстро поплыли. Мы выехали на середину широкой реки, и течение, подхватив нас, понесло стремглав к морю. Вскоре Нарва осталась за поворотом реки. Виднелись еще долго крепостные башни и остроконечные шпили кирок. Грести почти не приходилось: сама река несла нас. Приблизительно через час на правом берегу обозначилась Смолка, излюбленное дачное место нарвичан. Песчаный обрывистый берег. Сосны. Среди них дачки. Ничего особенного... Перед нами лежал большой остров. Мы неслись левым проливом. Из-за поворота показался "Павел", шедший уже обратным рейсом из Гунгербурга. В четыре часа дня мы подплыли к устью. Синело вдали море. Северный ветер задул нам в лица. В Гунгербурге мы причалили на берегу, и мой спутник пошел в таможню за пропуском в море. Минут через десять все формальности были закончены, и он вернулся с пропуском и кульками с едой.

— Придется обождать, когда стихнет или переменится ветер, — заявил он, подходя к лодке, — северный будет прибивать нас к берегу.

— Пойдемте пока в Россонь, — предложил я, и мы направили нашу лодку в приток Наровы, впадающий в нее напротив Гунгербурга.

Вплыв в Россонь, мы остановились у подветренного берега и стали приготовлять захваченные из дома удочки. До шести часов проловили мы окуней, и к этому времени северный ветер сменился восточным, попутным нам. Улов был приличным: штук двенадцать средних окуней лежало под кормовым креслом. Мы выехали в море. Так как берег между Гунгербургом и нашей рыбачьей деревушкой Тойлой имеет вид вдавленной в сушь подковы, мы, для сокращения пути, взяли курс напрямик и, значит, долгое время отдалялись от берега. Вскоре мы были уже от него верстах в семи-восьми. Море волновалось. Барашки кувыркались вокруг нас. Ялик качало немилосердно. Из пальто инженера и из наших удилищ мы соорудили подобье паруса и поочередно, ровно по часу, гребли для усиленья хода лодки. Вот уже Гунгербургский белый маяк остался далеко позади нас, вот исчезли из вида дачи Шмецке и Мерекюля. Самая высокая точка еле видного дальнего берега влекла нас к себе, ибо, знали мы, она была гористою рощею нашей Тойлы. До самых Силламяг — половина пути — продолжала трепать наше суденышко качка. Около девяти часов белого майского вечера стал стихать ветер, и вторую половину пути мы плыли уже по лимонному зеркалу стихшего Финского залива. Очаровательною была поездка эта, и наш № 13, мысленно уже названный мною "Ингрид", быстро подвигался вперед. Дальняя роща постепенно все приближалась и росла, но только спустя шесть часов по отплытии из Гунгербурга мы закончили свое путешествие и вытащили лодку на камни Тойлы. В первом часу ночи было это, когда утренняя заря — Койт — целуется с вечерней — Эмарик, — когда рыбаки собираются в море и бледные, весною взволнованные лица приморских девушек соперничают в белизне с вешней белой ночью...

Toila.
1927 г.

В лодке по Россони

Из окна моего кабинета сизеет осенняя Нарова, раздольная и стремительная. Все более светлеет с каждым днем и, возможно, на днях пойдет "шорох", как называют здесь первые хрупкие льдинки, тщетно пытающиеся стать уже настоящим зимним льдом. Надо пользоваться последними погожими днями, солнечными, лазурно-небесными, дивно-студеными и веселяще-прозрачными, хочется — и это так безудержно! — сесть в легкую и устремляющуюся в дали лодку и плыть в ней по глубокой и по осеннему сонной Россони, впадающей в Нарову как раз против моих выходящих на восток окон. Мы берем бело-синие весла, мы спускаемся к пристаньке, садимся в бело-синюю нашу "Дрину", названную так в честь ни с одной речкой не сравнимой малахитовой босанской реки и, переплыв Нарову, скользим по водам ее дочери, извилистой и живописно-бережной. Правый берег — в соснах и елях, левый — в рощах и лугах. Безмолвие, безлюдье, почти ни одной "встречи". Упоительно грести в студеный, бодрящий день, когда сам одет легко, но тепло, когда на руках рукавички и когда ежевзмашно сознаешь, что плыть тебе не 10—15 минут, а часа четыре! А вот уже и "Соловьиный остров" с его уютно-интимными зарослями и густо-красной калиной у самой воды, и сразу за ним два соседствующих

поселка — направо село Вейкюла, налево деревня Саркуль. Знакомые места... Еще бы! Весь прошлый год мы провели в Саркуле, деревне небольшой, но прелестной. Она между Россонью и Финским заливом. Всего 3/4 километра отделяют речную от морской воды. Вот уже возникает заброшенное в соснах гористое Саркульское кладбище, рядом с нам, вплотную, — три необхватных тополя перед домом приятельствующего со мною вдумчивого и ласкового сапожника Отто Денисовича, рядом вишневый сад "дяди Василия", девятидесятилетнего ветерана российского флота, вот резная часовенка — одним словом, вот он весь милый, радушный Саркуль, сегодня такой просолнеченный и влекущий к себе. Мы сворачиваем в бухточку с узким и мелким проходом и пристаем к берегу, так много говорящему душе... Причаливаем лодку, взбегаем на горку, и навстречу к нам выходит из избы в окно завидевший нас ее хозяин. Грустные глаза его выражают искреннюю обрадованность, и нам это приятно, и это нас трогает: немудрено, свои ведь приехали, не чужие...

— Светлый день, — говорим мы ему, крепко и дружески пожимая руку.

Смеясь и оживленно разговаривая, входим в избу с таким обвораживающим глаз видом на раздолье речное и луга противоположного берега, приветствуя его жену и бледную, тонкую и нервную Манечку. Впрочем, они и все бледные, члены этой семьи, какие-то утонченно-обреченные. Мы не были здесь больше недели, когда они, будучи на базаре в Нарва-Иезу, заходили к нам погреться и попить чайку, поэтому у нас столько новых тем, столько вопросов, столько впечатлений. Незаметно бежит время среди живых примитивных, далеких культуре и, следовательно, незлобивых и облагороженных людей в лучшем смысле этого понятия, река чарует через окно, у которого меня поят чаем, и наконец я заставляю себя охотно и неохотно подняться: и здесь хорошо, и дальний путь влечет, такой знакомый и изгребленный, вечно что-то сулящий, редко в посулах обманывающий, такой интересный, молодой, новый! Выплываем "на простор речной волны" и поднимаемся вновь все выше и выше, за противоречивые друг другу извивы, за мечтательные, зачарованные затоны и спирально крутящиеся, неторопливо и как бы гадаючи, омуты. А солнце все выше, и воздух все мягче. "Старая" речка вливается в Россонь. Не завернуть ли в нее, заманивающую на Тихое озеро? До него всего полтора километра. Можно проплыть по узкой по ней, въехать в озеро после округлого поворота и вдоль нагорно-хвойного берега, "взяв" все озеро, пристать у гостеприимного хутора веселоглазого Оскара, с которым тоже не виделись "целую вечность" — больше месяца... Но нет, мы не свернем, пожалуй, сегодня туда, — прельстительнее плыть, думается, прямо: вдали забежевели уже отвесные песчаные берега Кагеля, все в лесах неприкосновенных, и они, эти лесистые, как бы необитаемые берега, так прекрасны своей совершенно безлюдной красотою, что так и тянут к себе, так и влекут неотразимо, а потому "плыви, мой челн, по воле волн!"... Река делает подкову, и вместе с нею делает подкову этот изумительный, весь какой-то заколдованный, берег. Мы плывем совсем под ним: чтобы видеть его вершину, нужно резко откидывать голову. Взмахи весел... Сто? Двести? Может быть — тысяча?.. Мы причаливаем, карабкаемся, поминутно срываясь и утопая в оползающем песке, к высокостоящим соснам, и какой вид оттуда, какое очарованье! Внизу, под нами, совсем маленькая опустошенная "Дрина", — неужели в этой скорлупке приплыли мы сюда? Посидим здесь, свесив ноги с обрыва, не будем никуда торопиться. Запечатлевайте, глаза, всю эту красоту: до весны вы ее не увидите, зимою она станет иною, ибо ее главная, основная прелесть в этой свободной, нескованной еще льдом, воде. Сколько раз мы бывали здесь каждое лето — ловили крупных полещиков и окуней под песчаными оползнями, устраивали многолюдные, красоте и поэзии посвященные пикники, собирали в лесу этом белые грибы и горькушки, лакомились черникой и гоноболем, и вот не надоедают же эти места, не вызывают, как зачастую города, чувства безнадежности и смертельной скуки, чувства ужаса и отчаянья, мертвящего душу человеческую. Здесь все и всегда насыщено мечтою, благостью, верою в жизнь, добро и справедливость, во все то возвышенное и, увы, безвозвратно утерянное, что свойственно городам, преимущественно большим городам. Вечная любовь, и вечная слава, и вечная жизнь благочестивой и мудрой бессловесной Природе, и да охранят ее Небеса от прикосновения с ней людей большого города! Пусть и впредь посещают ее, в особенности этот мой Кагель излюбленный, грибы и ягоды, птицы и рыбы, муравьи и стрекозы, сапожник Отто Денисович, почти столетний "дядя Василий", веселоглазый хуторянин Оскар и я, скорбный и оскорбленный намечающимися путями взбесившегося человечества поэт, плоть от плоти и кровь от крови кагельской пичужки деревенского сапожника!..

Игорь Северянин.
Latvija Dzintari.
10.XII.39.
"Сегодня" (Рига).
27.XII.39

Наглая небрежность

Помнится, осенью в одном из номеров "За свободу"[1] Е. С. Шевченко коснулся вопроса об опечатках, зачастую совершенно искажающих смысл данного произведения. Мне припоминается по этому поводу моя фраза, брошенная еще в 1915 году: "Плохой корректор — нож в горле автора". Иногда опечатки положительно изничтожают книгу. Часто критика, основываясь на них, разгромляет ненавистного автора. В особенности опасны они для автора, чьи произведения изобилуют неологизмами. Представьте себе вновь изобретенное слово, не сразу понятное, искаженное еще вдобавок! Для критика-врага это чистый клад. За последние годы я был лишен возможности лично корректировать свои сборники, т. к. живу постоянно в Эстонии, книги же большей частью выходят в Германии, и господа издатели не утруждают себя присылкой за границу автору корректур, находя это, очевидно, излишней роскошью... Поэтому и опечатки в послевоенное время становятся прямо-таки чудовищными по своей нелепости, и поневоле начинаешь думать, что среди корректоров, служащих в издательствах, имеешь личных тайных врагов, каких-нибудь завистливых, бездарных графоманов, решивших во что бы то ни стало убить книгу... Для примера приведу главнейшие опечатки из своего "Менестреля", вышедшего в свет в 1921 году в издательстве "Москва" в Берлине. Судите сами. Название второго отдела "Снежинки полыни". Так было у меня в рукописи. Представляете вы себе мое изумление, мое негодование, когда я прочел в полученном авторском экземпляре: "Снежники(!) Польши(!!!)". Что-то невообразимое, бессмысленное, дикое. Ясно, что книга, притом изящно изданная, сразу убита благодаря уже одной этой опечатке. Но этим дело не ограничивается. Вместо "грезиться" какое-то безобразное "чрезиться", к тому же еще набранное курсивом: очевидно, корректору хотелось создать за мой счет "неологизм"... "Рондо" превратилось в какое-то "родно"(!), "обоняньe" в "обоянье" (недурно?), "печальная правда" стала "начальной" и проч. В сборнике "Миррэлия", изданном тою же "Москвой", рондель при корректуре утеряла из своих тринадцати, обязательных для этой формы, стихов... целых пять! И этот казус в сборнике стихов поэта, всегда свято чтившего каноны поэтики, приготовившего к печати целые исследования по этому вопросу![2] В книгах моих, выпущенных изд[ательств]ом Отто Кирхнера в том же злополучном Берлине[3], иногда пропущены или же произвольно переставлены строки целиком, причем постоянно встречающееся эстонское женское имя "Tiiu", тончайшее и очень красивое, везде набрано как отвратительное "Tiiü". Мало того что это звучит мерзко, это еще нарушает поставленную в конце строки рифму. Из Виктора Гюго сделали неслыханного "Пого", из "пламно" — "плавно". А один раз даже до такой наглости дошли, что дали героине стихотворения "Tiy" другое имя, "Ани"! Бесцеремонность поразительная, небрежность вопиющая! В заключение всех бед, когда я послал требование отметить на особом вкладном листке замеченные (и как бы их не заметить!) опечатки, мне отвечали, что я опоздал и книга уже поступила в продажу.

Toila.
1925

Блестки

(Афоризмы, софизмы, парадоксы)

1

Все можно оправдать, все простить,
Нельзя оправдать лишь того, лишь
того нельзя простить, кто не понимает,
что все можно оправдать и все простить.

2

Я люблю ее оттого, что ее трудно
любить: она не дается любить.

3

Мое сердце подобно новому перу, твое —
пеналу. Я кладу свое сердце в твое.
От тебя зависит поставить пенал
в сухое или сырое место. Если перо
заржавеет, повинен в этом пенал.

4

Самое обыкновенное биение любимой
женщины прекраснее окаменелости
Венеры Милосской.

5

Самый идеальный вид любви — любовь
без взаимности: такая любовь бес-
корыстна и истинно мечтательна,
ибо нет в ней удовлетворенности.

6

Женщина, рассказывающая посторонним
о своей интимной жизни,
способна выйти из дома без юбки.

7

Единственное мое убеждение —
вовсе не иметь убеждений.

8

Неудачные последователи великого
художника — злейшие враги его.

9

Если Вы желаете меня оскорбить,
подражайте мне.

10

Для того, чтобы хвалить меня, нужно
быть или очень искренним, или равным
мне, или трусом.

11

Плачьте слезами раскаянья: в них
захлебнется Грех.

12

Открытый эгоизм есть истина.
Тайный эгоизм — страшный порок.

13

Открытое преступление — редкая в
наше время искренность.

14

Ничего никому не нужно, кроме
физиологических отправлений.
Искусство, наука, "идейность" — или
поза, или выгода.

15

Не ждать от людей ничего хорошего —
это значит не удивляться, получая
от них гадости.

16

Внушать человеку свои мнения — это
то же, что обучать попугая или метать
бисер перед свиньями.

17

Спор есть спорт: развлечение, и только.
Но не для всякого: попробуйте-ка
страдающего астмой заставить
упражняться в беге!

18

Ударить любимую женщину —
самоубийство.
Просто женщину — самооплевание.

19

Считаться с человеком — недостаточно
его презирать.

20

Ударить человека — считать его
равным себе.
Не оттого ли я никого не бил?..

21

Я рад только тем, кто рады мне.

22

Если хочешь сохранить
с человеком добрые отношения, приписывай
ему то, что ему несвойственно.

23

Сознательная проституция — мудрое
разуверение в любви.

24

Корыстная проституция —
ассенизационный обоз.

25

Проституция из-за нужды — белая
голубка с подрезанными крыльями.

26

Женщина, отдающаяся во имя
существования,
честнее так называемой "честной
труженицы": она получает от жизни
больше, но и дороже расплачивается.

27

Нет ничего бесчестнее — сохраняя
внешнюю честность, тяготиться ею.

28

Женщина, отдающаяся из-за нужды
и упорно своих обладателей презирающая,
обладает вкусом к жизни и
содержит в себе зачатки истинной
любви.

29

Женщина без прошлого — рыба без соли.

30

Человек, мечтающий весною об осени,
а осенью — о весне, человек небезнадежный.

31

Я полюбил бы ее, если бы не боялся, что она обо мне дурно подумает, если я ее полюблю.

32

Красавица в плохом платье — это "Страдивариус" без футляра. Однако "Страдивариус" имеет смысл именно без футляра. Но чтобы его сохранить, футляр обязателен.

33

Женщина, презирающая людей, но любящая кокетничать с мужчинами, упивается воспоминанием о своем исковерканном прошлом и мстит, подавая несбыточные надежды.

34

Женщина, побеждающая в себе потребность измены, невеста богов!

35

Женщина, не думающая вовсе об измене, или очень редкая, или очень тупая женщина.

Toila.
1915 г.
"Старый Нарвский Листок". 1925 г.

36

Бесцельно отдаваться каждому, не беря его, не грех, а наивысшая пакость.

37

Идеальная грядущая эпоха человечества — отмена законов за их ненадобностью.

38

Надобность законов — доказательство низкого культурного уровня человечества...

39

Утопия — счастливейшая страна мира: въезд в нее пошлякам строго воспрещен.

40

Желание быть оригинальным, не имея данных, самый гнусный вид пошлости.

41

Истинная оригинальность — отремонтированная простота.

42

Русская критика плохо воспитана: мною существует и меня же бранит!..

43

Как жаль, что я лишен возможности хотя бы один день накормить на свой счет критиков: эти неудачники, наполнив свои вечно голодны желудки, принялись бы ругать меня еще больше!..

44

Наши критики и факельщики похоронных процессий — это почти тождественные понятия: и те, и другие зарабатывают при похоронах.

45

У всякого великого художника есть свои шуты: это — критики.

46

Наши критики — это никому не подсудные разбойники.

47

Мелкие "поэтики" — моль на шубе великого поэта.

48

Слушая или читая опыты начинающих писателей, я ощущаю чувство неловкости перед собой, ибо я делаюсь сообщником в явно непристойном деянии...

49

Страна, создающая Распутиных, плохо следящая за собою страна.

50

Если Вы скажете при мне: "Распутин", я укажу Вам на непристойность Вашего поведения в моем присутствии.

51

Распутин! О, это из лексикона ломовых извозчиков!..

52

Ходить в гости могут только глубоко разуверившиеся в себе люди.

53

Люди, уверяющие меня, что я похож на Оскара Уайльда, говорят мне дерзость: я очень люблю Уайльда, но с меня достаточно быть похожим на себя.

54

Если Вы в состоянии пережить любимого, остерегайтесь говорить о любви: Вы не были ее достойны.

55

Не то в ней дорого, что вложено в нее, а то, что сердце в ней увидело мое.

56

Если Вы спасаете любимого, как вы о себе заботитесь, как любите себя!

57

Человек, привыкший всегда ссылаться на то, что "это так принято", не понимает того, как это выражение им глупо отдано...

58

Если Вы пожелали читать мне нравоучения, это значит — Вы стали тяготиться моим обществом, и самое для Вас рациональное — избегать встречаться со мною.

59

Относясь к другому покровительственно, мы любуемся своими преимуществами.

60

Друзья существуют для того, чтобы, смотря на них или их слушая, в смущении пытаться перед собою как-нибудь их оправдать или прикрасить.

61

Отказать себе в общении с людьми может или совсем невежественный, или особо культурный человек.

62

Любезным называется человек, не говорящий в глаза правду.

63

Глава Екатерины Великой — великая глава русской истории.

64

Заступаться за слабого имеет право тот, кто сильнее притеснителя: защита озлобляет еще более и, если защитник будет поражен, слабый пострадает вдвое.

65

Просто женщины с прошлым — очаровательны, но женщины-художницы с прошлым — плачевны.

66

Часто люди сходят с ума в тот момент, когда они прозревают тайну мироздания. Этим они лишаются возможности ее выдать.

67

Человечество лишено знания миростроения, дабы оно не контролировало Творца.

68

Лучше подчиняться любимому негодяю, чем ненавистному или безразличному образцовому человеку.

69

Подчиняться любимому — удовольствие.

70

Упрямство — синоним безнадежности.

71

Всеоправдание ни к чему не обязывает.

72

Долг оплачивается при избытке.

73

Нужда — честно устроенная жизнь, согласованная с общественным мнением.

74

Мы нуждаемся только оттого, что не очень желаем не нуждаться.

75

Государство, основанное на действительных принципах свободы, непобедимо.

76

Молодая крапива полезна. Старая — вредна, за исключением порки.

77

Истинная откровенность — привилегия людей, не дорожащих ничьим мнением.

78

Человек, во всем легко себе отказывающий, мудр, но полужив.

79

Женщина, отдающаяся по любви в первый раз, ранее уже отдававшаяся в силу обстоятельств, девственна.

80

Женщина общества, не подающая руки проститутке, сама предрасположена к проституции.

81

Ревнует или тот, кто небольшого о себе мнения, или же тот, кто, осознав свое превосходство, именно в силу этого, ждет каверз со стороны завистников.

82

Женщина, желающая сберечь для себя мужчину, не должна быть одинаковой.

83

Половые эксцессы — изысканная инструментовка симфонии "Чувственность".

84

Чистейшие традиции старинных фамилий часто приводят к грязнейшему прекращению фамилий этих.

85

Старуха, оставшаяся девой из боязни прогадать, омерзительна своей осторожностью.

Тойла.

1915 г. Лето

86

Русские издатели украли у меня все, кроме моего имени.

87

Плохой корректор — нож в горле автора.

88

Если поэт-миллионер жаден, он всегда нищ талантом.

89

Красный цвет — цвет свободы и произвола. В первом случае — кровь угнетателей, во втором — кровь угнетаемых.

90

Люди, делающие из книг костры, вовсе не люди.

91

Есть, несомненно, есть две породы людей, и когда-нибудь наука подтвердит этот взгляд.

92

Человек, поднимающий руку на Искусство, должен быть причислен к преступникам.

93

Дантес, убивший Пушкина, убил русскую мысль пушкинской эпохи: он не дал ей дозреть.

94

Я знал одну учительницу-поэтессу, которая, гостя у меня в доме, запиралась от меня ночами. Надо ли пояснять, что она была бездарна, стара и уродлива?

95

Россия и Рассея — это большая разница. Это две страны, постоянно воюющие между собою.

96

Лунные чары — вещь очень хорошая, но не в комиссариате народного просвещения...

97

Раньше были "оне" и "они". При равноправии убита женственность.

98

Как все меняется! — раньше касторовое масло употреблялось для "изгнания" пищи, теперь оно способствует "вкушению"...

99

Как выразительна иногда аллитерация! — например: "Россия выросла росомахой"...

100

Изысканность — это то, что мы потеряли навеки 19 июля 1914 года!.. Вернее: 25 октября 1917 г.

Toila.
1919 г.

Открытое письмо Казимиру Вежинскому[1]

Светлый Собрат!

Сама Святая интуиция диктует мне это письмо. Я искристо помню Вас: Вы ведь из тех отмеченных немногих, общение с которыми обливает сердце неугасимой радостью. Я приветствую Ваше увенчание, ясно смотрю в Ваши глаза, крепко жму руку. Я — космополит, но это не мешает мне любить и чувствовать Польшу. Целый ряд моих стихов — тому доказательство. На всю Прибалтику я единственный, в сущности, из поэтов, пишущих по-русски. Но русская Прибалтика не нуждается ни в поэзии, ни в поэтах. Как, впрочем, — к прискорбию, я должен это признать, — и вся русская эмиграция. Теперь она готовится к юбилею мертвого, но бессмертного Пушкина. Это было бы похвально, если это было сознательно. Я заявляю: она гордится им безотчетно, не гордясь отечественной поэзией, ибо, если поэзия была бы понятна ей и ценима ею, я, наизаметнейший из русских поэтов современности, не погибал бы медленной голодной смертью.

Русская эмиграция одной рукой воскрешает Пушкина, другою же умерщвляет меня, Игоря-Северянина.

Маленькая Эстония, к гражданам которой я имею честь принадлежать уже 19 лет[2], ценя мои переводы ее поэтов, оказала мне больше заботливости, чем я имел основания рассчитывать. Но на Земле все в пределах срока, и мне невыносимо трудно. Я больше не могу вынести ослепляющих страданий моей семьи и моих собственных. Я поднимаю сигнал бедствия в надежде, что родственная моему духу Польша окажет помощь мне, запоздалому лирику, утопающему в человеческой бездарной бесчеловечности. Покойный Брюсов сказал Поэту:

Да будет твоя добродетель —
Готовность взойти на костер!

Я исполнил его благой совет: я уже догораю, долгое время опаляемый его мучительными языками. Спасите! Точнее, затушив костер, дайте отход безболезненный.

Верящий в Вас и Вашу Родину.

P.S.

Предоставляю Вам все полномочия на перевод и помещение в печати польской этого моего письма.

Tallinn.
26.1.1937 г.

Библиография

Из воспоминаний о К. М. Фофанове.
I. Стихи, мне посвященные.
II. Последние дни поэта.
("Последние Известия", Ревель.)
О творчестве и жизни Фофанова.
("За Свободу!", Варшава.)
Цветы неувядные. (Лирика Фофанова).
("Время", Берлин.)
Цветы розовой окраски.
("За Свободу!", Варшава.)
Встречи с Брюсовым.
("Сегодня", Рига.)
Салон Сологуба.
("Сегодня вечером", Рига.)
("Наша Речь", Бухарест.)
Сологуб в Эстляндии.
("За Свободу!", Варшава.)
Эстляндские триолеты Сологуба.
("За Свободу!", Варшава.)
("Вести дня", Ревель.)
Умер в декабре...
("Сегодня", Рига.)
Осиянный.
("Время", Берлин.)
Успехи Жоржа.

("За Свободу!", Варшава.)
Шепелявая тень.
("За Свободу!", Варшава.)
Новая простота...
("За Свободу!", Варшава.)
Газета ребенка.
("За Свободу!", Варшава.)
Образцовые основы. Глава первая.
("Сегодня", Рига.)
Сбывшаяся мечта. Перевод на франц[узский].
("La Yougoslavie", Belgrade.)
Два взгляда.
("Бессарабское Слово", Кишинев.)
По лесам и озерам (1—5).
("За Свободу!", Варшава.)
("Вести дня", Ревель.) (Первая гл[ава].)
Перевод на эстонский (первая гл[ава].)
("Üliõpilasleht", Tartu. 1927.)
Дом на диване.
("Последние Известия", Ревель.)
Катастрофа в море.
("Последние Известия", Ревель.)
Рассказ моего знакомого.
("За свободу!", Варшава.)
Цветущая Бессарабия.
("Сегодня", Рига.)
Письмо в редакцию.
("Сегодня", Рига.)
Открытое письмо Ляхницкому.
("Последние Известия", Ревель.)
В ялике по морю.
("За Свободу!", Варшава.)
Наглая небрежность.
("За Свободу!", Варшава.)
Блестки (1—35).
("Старый Нарвский Листок".)
Открытое письмо Вежинскому.
Оперные заметки.
("Рубеж", Харбин. 1939 г.)
Трагический соловей.
("Рубеж", Харбин. 1940 г.)

Комментарии

В книгу "Тост безответный" включены все изданные при жизни автора сборники его стихотворений, три автобиографических романа в стихах "Падучая стремнина" (1922), "Роса оранжевого часа" (1925), "Колокола собора чувств" (1925) и неопубликованная рукопись книги прозаических произведений Северянина "Уснувшие весны. Критика. Мемуары. Скитания" (1930-е гг.).

Сборники стихотворений расположены в хронологической последовательности. Сборники избранных произведений "За струнной изгородью лиры. Избранные поэзы" (1918), "Crème des Violettes. Избранные поэзы" (1919), "Pühajõgi. Эстляндские поэзы" (1919), "Трагедия Титана. Космос. Изборник первый" (1923) в состав книги не вошли, т. к. в основном в них содержатся произведения, уже опубликованные в других сборниках. Из сборников "Crème des Violettes" и "Pühajõgi" включено несколько стихотворений, не вошедших в другие книги поэта.

Каждой подготовленной к печати книге Северянин присваивал порядковый номер, считая ее очередным томом своего Собрания сочинений. Но авторская нумерация книг не всегда совпадает с хронологией их издания. Иногда получалось так, что книга, опубликованная раньше, имела больший порядковый номер, чем книга, изданная несколькими годами позже: так, сборник стихотворений "Вервэна", изданный в 1920 г., это — т. 11, а сборник "Миррэлия" — т. 7, хотя опубликован он был лишь в 1922 г. Скорее всего это объясняется тем, что не каждую подготовленную к печати книгу сразу же удавалось издать, иногда более поздний сборник стихотворений быстрее находил своего издателя. Кроме того, Северянин давал номера всем подготовленным к печати книгам, а некоторые из них ему так и не удалось опубликовать. Например, в РГАЛИ хранится несколько неопубликованных сборников стихотворений: "Литавры солнца" — т. 8 (ф. 1152, оп. 1, ед. хр. 1), "Настройка лиры" — т. 10 (там же, ед. хр. 2), "Очаровательные разочарования" — т. 25 (там же, ед. хр. 3).

Иногда одни и те же стихотворения Северянин включал в различные сборники. В настоящем издании стихотворение публикуется только в более раннем сборнике, в последующих оно не перепечатывается, а в примечаниях даются пояснения.

Автобиографические романы в стихах (поэмы) для удобства восприятия расположены после сборников стихотворений, и не по годам издания, а в соответствии с хронологией событий, описываемых в них. В "Росе оранжевого часа" рассказывается о родителях поэта, его детских и отроческих годах; в "Падучей стремнине" в основном повествуется о первой любви Северянина; в "Колоколах собора чувств" описываются события 1910-х гг., гастрольные поездки Северянина, участие в "Первой олимпиаде российского футуризма".

В текстах сохранены авторское правописание слов (за исключением явных опечаток или описок) и авторская датировка стихотворений.

Громокипящий кубок

Первое издание: *Игорь Северянин.* Громокипящий кубок. Поэзы. М.: Гриф, 1913.

За 1913—1918 гг. сборник выдержал 10 изданий.

Изд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 — М.: Гриф.

Изд. 8, 9 — М.: Изд. В. В. Пашуканиса.

Изд.10 — Спб.: Земля, 1918.

Общий тираж 31 348 экземпляров.

Печатается по 2-му изданию — М.: Гриф, 1913.

Эпиграф — из стихотворения Ф. И. Тютчева "Весенний день".

Сборник начинается с предисловия Ф. Сологуба: "Одно из сладчайших утешений жизни — поэзия свободная, легкий, радостный дар небес. Появление поэта радует, и, когда возникает новый поэт, душа бывает взволнована, как взволнована бывает она приходом весны.

"Люблю грозу в начале мая!"

Люблю стихи Игоря Северянина. Пусть мне говорят, что то или другое неверно с правилами пиитики, раздражает и дразнит, — что мне до этого! Стихи могут быть лучше или хуже, но самое значительное то, чтобы они мне нравились.

Я люблю их за их легкое, улыбчивое, вдохновенное происхождение. Люблю их потому, что они рождены в недрах дерзающей, пламенною волей упоенной души поэта. Он хочет, он дерзает не потому, что он поставил себе литературною задачею хотеть и дерзать, а только потому он хочет и дерзает, что хочет и дерзает. Воля к свободному творчеству составляет ненарочную и неотъемлемую стихию души его, и потому явление его — воистину нечаянная радость в серой мгле северного дня. Стихи его, такие капризные, легкие, сверкающие и звенящие, льются потому, что переполнен громокипящий кубок в легких руках нечаянно наклонившей его ветреной Гебы, небожительницы смеющейся и щедрой.

Засмотрелась на Зевесова орла, которого кормила, и льются из кубка вскипающие струи, и смеется резвая, беспечно слушая, как "весенний первый гром, как бы резвяся и играя, грохочет в небе голубом".

О, резвая! О, милая!
Федор Сологуб

Февраль.
1913 г."

Сборник был подготовлен к печати по совету В. Я. Брюсова (см. подробнее: *Игорь Северянин.* Встречи с Брюсовым // Уснувшие весны. Критика. Мемуары. Скитания). В него включены стихотворения (поэзы) за 1905—1912 гг. Большинство из них были ранее опубликованы в альманахах, журналах, газетах и брошюрах Северянина (12—35-я брошюры). Впервые опубликованы стихотворения: "Berceuse осенний", "Эскиз вечерний", "Шампанский полонез", "Virelai", "Гюи де Мопассан", "Газэлла", "Демон", "Любовь и Слава".

Появление сборника высоко оценили современники Северянина: в дневнике А. А. Блока есть запись от 25 марта 1913 г. (сборник вышел в свет 4 марта): "Мы в "Сирине" много говорили об Игоре Северянине, а вчера я читал маме и тете его книгу ("Громокипящий кубок"). Отказываюсь от многих своих слов, я преуменьшал его, хотя он и нравился мне временами очень. Это — настоящий, свежий, детский талант..." (*Блок А. А.* Собр. соч. М., 1963. Т. VII. С. 232). А О. Э. Мандельштам в рецензии на "Громокипящий кубок" писал: "И все-таки легкая восторженность и сухая жизнерадостность делают Северянина поэтом. Стих его отличается сильной мускулатурой кузнечика. Безнадежно перепутав все культуры, поэт умеет иногда дать очаровательные формы хаосу, царящему в его представлении. Нельзя писать "просто хорошие" стихи. Если "я" Северянина трудноуловимо, это не значит, что его нет (*О. Э. Мандельштам.* Слово и культура. М., 1987. С. 248).

Berceuse осенний. *Berceuse* — колыбельная песня *(фр.)*.
Chanson russe — русская песня (*фр.*).
Фиолетовый транс. *Crème de Violette* — букв. фиалковый ликер (*фр.*), сорт ликера.
Шампанский полонез. *Mignon c Eskamillio* — Миньон — героиня одноименной оперы А. Тома, Эскамилио — герой оперы Ж. Бизе "Кармен".
Chanson Coquette — игривая песня (*фр.*).
Prélude I — прелюдия (*фр.*) — музыкальная форма, вступление.
Virelai — виреле (*фр.)* — песенная форма в старофранцузской поэзии.
Гюи де Мопассан. *Beau monde* — высший свет (*фр.)*.
На смерть Массиэ. *Causerie* — непринужденный разговор (*фр.*).
Прогулка короля. *Pliant* — складной стул (*фр.*).
Секстина. *Éclair* — молния (*фр.)*.

Златолира

Первое отдельное издание: *Игорь Северянин.* Златолира. Поэзы. Книга вторая. М.: Гриф, 1914.

За 1914—1918 гг. сборник выдержал 7 изданий. Изд. 1, 2, 3, 4, 5 — М.: Гриф. Изд. 6 — М.: Изд. В. В. Пашуканиса. Изд. 7 — Спб.: Земля, 1918. Общий тираж 12 400 экземпляров.

Печатается по второму изданию — М.: Гриф, 1914.

На первой странице посвящение автора: "Лидии Рындиной посвящается автором эта книга".

Рындина Лидия Дмитриевна (1882—1964) — актриса, писательница, жена поэта и издателя Сергея Кречетова (Сергея Алексеевича Соколова) (1878—1936), основателя издательства "Гриф", в котором были напечатаны многие книги Северянина.

После революции 1917 г. — эмигрировала.

В сборник включены стихотворения за 1908—1913 гг.

Невод грез. *Crème de violette* — см. прим. к сб. "Громокипящий кубок".
Из Сюлли-Прюдома. *No jamais la voir, ni l'entendre* — Никогда ее не видеть, не слышать (*фр.*).
Злата. "*Shocking!*" — "Возмутительно!" (*англ.)*
Рассказ без поясненья. *Fille d'hôtel* — официантка, горничная (*фр.*).
Из Шарля Бодлэра. *En pays parfumé que soleil caresse...* — В благоухающей стране, ласкаемой солнцем (*фр.*).

Ананасы в шампанском

Первое отдельное издание: *Игорь Северянин.* Ананасы в шампанском. Поэзы. М.: Наши дни, 1915.

За 1915—1918 гг. сборник выдержал 5 изданий. Изд. 1, 2 — М.: Наши дни. Изд. 3, 4 — М.: Изд. В. В. Пашуканиса. Изд. 5 — Спб.: Земля, 1918. Общий тираж — 12 960 экземпляров.

Печатается по первому изданию — М.: Наши дни, 1915.

В сборник включены стихотворения за 1903—1915 гг.

Барбарисовая поэма. *Crème d'epine vinette* — барбарисовый ликер (*фр.*).
Цветок букета дам. *Beau monde* — см. прим. к сб. "Громокипящий кубок"; *mésalliance* — мезальянс (*фр.*); *shocking* — здесь: "Ерунда!" (*англ.)*
В лимузине. "*Mais non!*" — "Но нет" (*фр.*).
Berceuse — см. прим. к сб. "Громокипящий кубок".
Chansonnette — песенка (*фр.*); *mais non, regardez, regardez* — но нет, смотрите, смотрите (*фр.*); *en deux* — вдвое, букв. надвое (*фр.*).
Она критикует. *En russe* — по-русски (*фр.*); *mon Dieu* — мой Бог (*фр.*).
Prélude II — см. прим. к сб. "Громокипящий кубок".

Victoria Regia

Первое отдельное издание: *Игорь Северянин.* Victoria Regia. Четвертая книга поэз. М.: Наши дни, 1915.

За 1915—1918 гг. сборник выдержал 4 издания. Изд. 1, 2 — М.: Наши дни. Изд. 3 — М.: Изд. В. В. Пашуканиса. Изд. 4 — Пг.: Земля. Общий тираж — 11 550 экземпляров.

В сборник включены стихи за 1908—1915 гг.

"Виктория Регия" (Victoria Regia) — водяное растение с крупными, до 2-х метров в диаметре, плавающими круглыми листьями, с крупными (до 40 см) бело-розовыми цветами. Существовала легенда, что цветет это растение очень редко и только ночью.

Carte-postale — открытка (*фр.*).

Поэза детства моего и отрочества. *Votre plaisir* — ваше удовольствие (*фр.*).

Поэзоантракт

Первое отдельное издание: *Игорь Северянин.* Поэзоантракт. Пятая книга поэз. М.: Северные дни, 1915.

За 1915—1916 гг. сборник выдержал 2 издания. Изд. 1, 2 — М.: Северные дни. Общий тираж 4180 экземпляров.

Печатается по второму изданию — М.: Северные дни, 1916.

В сборник включены стихи за 1903—1911 гг.

Арнольдсон. *Je vous connais* — я Вас знаю (*фр.*).

Тост безответный

Первое отдельное издание: *Игорь Северянин.* Тост безответный. Собрание поэз. Том шестой. М.: Изд. В. В. Пашуканиса, 1916.

Изд. 2-е. Спб.: Земля, 1918 (Собрание поэз, т. 6).

Печатается по 1-му изданию.

Общий тираж 9100 экземпляров.

Книга имеет посвящение: "Посвящается Моей Тринадцатой" — и эпиграф:

"...Наполняю соком и душой бокалы
И провозглашаю безответный тост!.."

Игорь-Северянин.
"Громокипящий кубок"

Книга посвящена "Тринадцатой" — Марии Васильевне Домбровской (Волянской) (1895—?). Северянин познакомился с ней во время гастролей в Харькове 18 февраля 1915 г. Кроме книги "Тост безответный" посвятил ей множество стихотворений: "18 февраля 1915 г.", "О, горе сердцу" — сб. "Миррэлия", "Музе музык" — сб. "Вервэна" и др.

М. В. Домбровская была актрисой, выступала с Северяниным на его вечерах. Поэт называл ее Балькис Савской (это был и ее сценический псевдоним) в честь героини романа Мирры Лохвицкой "На пути к Востоку" (1897), который Северянин считал шедевром. М. В. Домбровская была гражданской женой поэта, вместе с ним уехала в 1918 г. в Тойлу, где продолжала выступать на вечерах Северянина. Расстались они в 1921 г.

В письме от 13 октября 1921 г. Северянин писал А. Д. Барановой: "Я благодарен Балькис за все ее положительные качества, но одно уже отрицательное — *осуждение поэта* — изничтожило все хорошее". (*Игорь Северянин.* Письма к Августе Барановой. 1916—1918. Стокгольм, 1988. С. 28.)

21 декабря 1921 г. Северянин сочетался браком с Ф. М. Круут. После разрыва с Северяниным М. В. Домбровская, по одним сведениям, вернулась в СССР, по другим (письмо Северянина А. Д. Барановой от 12 июня 1922 г.) — осталась в Ревеле и выступала в кабаре. "Мария Васильевна служит в Ревеле в кабаре — поет цыг[анские] песни, хорошо зарабатывает. Мы не виделись с нею с ноября". (Письма... С. 29.)

Поэза голубого вечера. Pas de grâce — падеграс, танец (*фр.*).

Избегнувшие Петрограда. *In pace* — здесь: мир, покой (*лат.*).

За струнной изгородью лиры

Игорь Северянин. За струнной изгородью лиры. Избранные поэзы. М.: Изд. В. В. Пашуканиса, 1918.

Тираж 12 400 экземпляров.

В настоящем издании стихи из этой книги не публикуются, т. к. в ней собраны лишь избранные произведения Северянина, включенные им в другие сборники стихотворений:

"Громокипящий кубок" — "Berceuse", "Весенний день", "Весенняя яблоня", "Виктория Регия", "В очаровании", "В парке плакала девочка", "Дель-Аква-Тор", "Диссона", "Ее монолог", "Завет", "Зизи", "Интродукция", "Июльский полдень", "Каретка куртизанки", "Клуб дам", "Кэнзели", "Любовь и слава", "Марионетка проказ", "Мороженое из сирени", "На реке форелевой", "Очам твоей души", "Пляска мая", "Тринадцатая", "Ты ко мне не вернешься", "Фиолетовый транс", "Шампанский полонез", "Chanson russe", "Элементарная соната", "Это было у моря";

"Златолира" — "Еще вы девушка", "Катастрофа", "Письмо Феклы", "Поэза о Фофанове", "Принцесса мимоза", "Солнце всегда вдохновенно";

"Ананасы в шампанском" — "Валентина", "Регина", "Рондель";

"Victoria Regia" — "Вервэна", "Весенние триолеты", "Восторженная поэза", "Кузнец", "Не завидуй другу", "Поэза благословения", "Поэза майских дней", "Поэза о Бельгии", "Сегодня не приду", "Соната", "Тиана", "Эстляндская поэза";

"Поэзоантракт" — "Все глуше парк", "Выйди в парк", "Импровизация", "Катюлинька", "Резедовый букет";

"Тост безответный" — "Девятнадцативешняя", "Не улетай", "Поэза голубого вечера", "Поэза маковых полей", "Поэза раскрытых глаз", "Сказанье о Ингрид";

"Миррэлия" — "Бесстрастие достижения", "И это — явь?".

Creme des Violettes

Игорь Северянин. Creme des Violettes. Избранные поэзы. Юрьев: Ogamees, 1919.

Тираж 3000 экземпляров.

Crème de Violette — букв. фиалковый ликер, сорт ликера (*фр.*).

Книга состоит в основном из стихотворений, взятых из сборников:

"Громокипящий кубок" — "Фиолетовый транс", "Полонез "Титания", "Мороженое из сирени", "Качалка грёзэрки", "Марионетка проказ", "Сонаты в шторм", "Шампанский полонез", "Это было у моря", "Зизи",

"Каретка куртизанки", "Нелли", "Клуб дам", "M-me Sans-Gêne", "Диссона", "Ты ко мне не вернешься", "День на ферме", "Фиалка", "Любовь и Слава", "Октябрь", "Янтарная элегия", "Письмо из усадьбы", "В грехе забвенье", "На мотив Фофанова", "Весенний день", "Маргаритки", "Очам твоей души", "Тринадцатая", "Посвящение", "Ее монолог", "Berceuse осенний", "Примитивный романс", "Виктория Регия", "Земля и солнце", "Завет", "Эпилог".

"Златолира" — "Процвет Амазонии", "Самоубийца", "Хабанера II", "Поэза без названья", "Когда ночами", "Еще вы девушка", "Два дня в саду осеннем", "Поэза предвесенних трепетов".

"Ананасы в шампанском" — "Цветок букета дам", "В блесткой тьме", "Увертюра к т. III", "Поэза о тысяча первом знакомстве", "Валентина", "Грациоза", "Барбарисовая поэза".

"Victoria Regia" — "Поэза трех принцесс", "Сувенир критики", "Поэза о Бельгии", "Тиана", "Сегодня не приду", "Весенние триолеты", "Восторженная поэза", "Соната".

"Поэзоантракт" — "Дифирамб", "Женщина в тюльбери", "Все глуше парк", "Выйди в сад", "Катюлинька", "Резедовый букет".

"Тост безответный" — "Поэза издалека", "Красота передсмертная".

"Миррэлия" — "Поэза алых туфелек", "Гастрономы древности", "Поэза странностей жизни", "Поэза лунных настроений", "Поэза о вальдшнепе и зайчике", "Любопытство эклерезиты", "Эпиталама Ингрид", "Увертюра к тому VII", "Поэза без слов", "Поэза строгой точности", "Гатчинский весенний день", "Поэза белой сирени".

"Соловей" — "Соната Изелина", "Интродукция", "Пушкин".

"Вервэна" — "Berceuse сирени".

Стихотворения "За чаем после оперы", "Это сон или бред", "Увертюра к т. VIII", "Месть" были включены Северяниным в сб. "Ручьи в лилиях", а стихотворения "Сердце печалится", "Отъезд герцогини" — в сб. "Настройка лиры"; оба сборника не были опубликованы, поэтому эти стихотворения публикуются в настоящем издании в составе сб. "Creme des Violettes".

На последней странице книги примечания автора: "Многие стихи из этой книги переведены на английский, польский, грузинский, эстонский и др. языки", "Некоторые стихи из этой книги переложены на музыку композиторами: С. Рахманиновым, А. Архангельским, Ю. Кельбергом, Н. Цибульским, М. Багриновским, М. Якобсоном, Малявиным, Вильбушевичем и др."

Pühajõgi

Печатается по изданию: *Игорь Северянин.* Pühajõgi. Эстляндские поэзы. Юрьев: Odamees, 1919.

Тираж 5000 экземпляров.

Pühajõgi — Пюхайыга — эстонское название реки (буквальный перевод — "Святая река"), протекает недалеко от Тойлы.

Эта книга — сборник избранных произведений Северянина; в нее вошли и новые стихотворения поэта, написанные в Тойле в 1918 г., и стихотворения из сборников "Златолира", "Victoria Regia", "Тост безответный", "Миррэлия". В этот сборник, вышедший в свет в 1919 г., Северянин включил 23 стихотворения из сборника "Соловей" (опубликован в 1923 г.). Это объясняется тем, что сборник "Соловей" был подготовлен к печати раньше, в 1918 г. (Северянин сам писал, что в "Соловей" вошли поэзы 1918 г.), но издать его удалось не сразу. На это, в частности, указывает и номер книги — 9-й, хотя она была опубликована только в 1923 г., вышедший же в свет в 1921 г. сборник "Вервэна" имеет номер — 11-й. Подготавливая в 1919 г. сборник избранных произведений, Северянин включил туда несколько стихотворений из уже готовой, но еще не изданной книги "Соловей". Впоследствии, цитируя эти стихи или ссылаясь на них, Северянин всегда указывал, что взяты они из сборника "Соловей", а не из "Pühajõgi", поэтому в настоящем издании полностью опубликован сборник "Соловей", а из "Pühajõgi" взяты лишь несколько не опубликованных в других сборниках стихотворений.

Не включены стихотворения: "Морская памятка" — сб. *"Златолира"*; "Морской набросок" — сб. *"Ананасы в шампанском"*; "Поэза майских дней", "Балтика", "Балтийские кэнзели", "Эстляндская поэза", "Осени предчувствие", "Письмо на юг", "Вервэна", "Рондель белой ночи" — сб. *"Victoria Regia"*; "Поэза о барашках", "Прелюдия", "Утро дня Св. Духа", "Поэза о Гогланде", "Поэза счастья", "Девятнадцативешняя", "Не улетай", "Поэза маленькой дачи", "Томление бури", "Поэза оттенков", "Скорбь, прорезающая смех", "Поэза раскрытых глаз", "Избегнувшие Петрограда", "Поэза лесной опушки", "Поэза о тщете", "Сказание о Ингрид", "Слепая Зигрид", "Бирюзовая поэза", "Поэза о Мариоренгофе" — сб. *"Тост безответный"*; "Койт и Эмарик" — сб. *"Миррэлия"*; "Эст-Тойла", "Опять вдали", "Ах, есть ли край?", "На лыжах", "В Ревель!", "Лейтенант С.", "У Сологуба", "Прежде и теперь", "Царица русского стиха", "Два острова", "Нарва", "Юрьев", "К Альвине", "Почтальон", "Афоризмы Уайльда", "Февраль", "По этапу", "В хвойной обители", "Реченка", "Норвежские фиорды", "В парке", "У моря", "К морю" — сб. *"Соловей"*.

Вервэна

Печатается по изданию: *Игорь Северянин.* Вервэна. Поэзы 1918—1919 гг. Юрьев: Odamees, 1920.

Тираж 5000 экземпляров.

Вервэна — правильно: вервена или вербена (Verbena) — растение с фиолетовыми (иногда красными) цветами, в средние века ему приписывали волшебную силу.

На оборотной стороне титульного листа есть примечание автора: "Все поэзы этого тома, за исключением помеченных 1918 г., написаны в январе 1919 г., причем все написаны в Эстонии, на курорте Тойла. Поэза "Музе музык" написана в Ревеле".

Ликер из вервэны. *Créme de verveine* — ликер из вервены (*фр.*).

Баллада XXII. *Gris-perle* — серо-жемчужный (*фр.*).

Berceuse сирени. *Berceuse* — см. прим. к сб. "Громокипящий кубок".

Восемнадцатый век. *Monde'a* — monde — свет, мир, народ (*фр.*).

Александр IV. *Stile décadence* — в декадентском стиле (*фр.*).

Лэ II. *Adieu* — прощай; *bon vivant* — бонвиван, кутила (*фр.*).

Финал. *Soirée* — вечеринка (*фр.*).

Менестрель

Печатается по изданию: *Игорь Северянин.* Менестрель. Новейшие поэзы. Т. XII. Берлин: Москва, 1921.

Тираж 3000 экземпляров.

Менестрель — в 12—13 вв. профессиональный музыкант во Франции и Англии, воспевал рыцарские подвиги, служение даме. В 14—15 вв. менестрелями называли также простонародных музыкантов, странствующих по городам и селам.

При выходе в свет этой книги в 1921 г. Северянин был возмущен обилием в ней опечаток, которые имели и смысловой характер. По этому поводу им была даже написана статья "Наглая небрежность" и опубликована в газете "За Свободу!" (Варшава). Впоследствии он включил ее в свою книгу "Уснувшие весны. Критика. Мемуары. Скитания". Например, второй раздел ошибочно был назван "Снежнинки Польши" вместо "Снежинки полыни". В настоящем издании опечатка исправлена и воспроизведено авторское название раздела.

Поэза "ego" моего. *Ego* — я (*лат.*).

Малиновый berceuse — см. прим. к сб. "Громокипящий кубок".

Сонет XXXI. *Bleugendarme* (правильно: *bleu gendarme)* — цвета голубой жандармской формы (*фр.*).

Поэза для лакомок. *Tout* — всё (*фр.*); *rien* — ничего, ничто (*фр.*); *bonbons de violettes* — фиалковые конфеты (*фр.*); на *beaumonde*'овых курортах — от фр. *beau monde* — высший свет (*фр.*); *boule de neige* — снежный шар (*фр.)*.

Миррэлия

Печатается по изданию: *Игорь Северянин.* Миррэлия. Новые поэзы. Т. VII. Берлин: Москва, 1922.

Тираж 3000 экземпляров.

В сборник включены стихотворения за 1916—1917 гг.

Письмо Эльгрине и от нее. *Crème des lilas* — ликер из сирени (*фр.*); *oporto* — португальское вино (портвейн) (*фр.*).

Гастроль Ваальяры. *Berceuse*'ы — от *berceuse* — колыбельная (*фр.*).

Баллада VI. *Triple sec* — трижды сухой (*фр.*).

Баллада XI. *Empire'е* — от фр. *empire* — господство, власть.

Поэза не для печати. *Moderne* — современный, новый (*фр.*).

Фея Eiole

Печатается по изданию: *Игорь Северянин.* Фея Eiole. Поэзы 1920—1921 гг. Т. XIV. Берлин: Изд. Отто Кирхнер и К°, 1922.

На обороте титульного листа примечание автора: "Все поэзы этого тома, за исключением особо датированных, исполнены в Eesti Toila".

Sirel — сирень (*эст.*); *Tiiu* — женское эстонское имя.

Kevade — весна (устар. эст.; совр. форма — *kevad*).

Поэза влияний Crème d'épine-vinette — барбарисовый ликер (*фр.*).

Сонет Бальмонту. *Eesti* — Эстония (*эст.*).

С утесов Эстии. *Prélude* — прелюдия (*фр.*); *Crème de prunelle* — терновниковый ликер, ликер из плодов терновника (*фр.*).

Поэза "Villa "Mon repos" — "Вилла "Мой отдых" (*фр.*), название ресторана в Таллине, где в1921 г. выступал Северянин.

Первое письмо. *Charme* — обаяние (*фр.*); *jardin des Tuileries* — сад Тюльерийского дворца (*фр.*); *causerie* — беседа (*фр.*); *petite tournée* — небольшое турне (*фр.*).

Соловей

Печатается по изданию: *Игорь Северянин.* Соловей. Поэзы. Берлин; Москва: Накануне, 1923.

Тираж 10 000 экземпляров.

На обороте титульного листа примечание автора: "Эти импровизации в ямбах выполнены в 1918 г., за исключениями, особо отмеченными, в Петербурге и в Тойле".

Книга была выпущена при содействии В. В. Маяковского: осенью 1922 г., во время гастролей Северянина в Берлине, ему с помощью В. В. Маяковского удалось продать издательству "Накануне" четыре сборника стихотворений: "Соловей", "Трагедия Титана", "Царственный паяц" и "Форелевые реки". Были изданы лишь два первых.

Двусмысленная слава. *Pastilles* — пилюли, таблетки (*фр.*).

Любители "Гелистрона". *Maître d'hôtel* — метрдотель (*фр.*).

Сон в деревне. *Méditerranée* — Средиземное море (*фр.*); *beau-monde* — см. прим. к сб. "Громокипящий кубок".

Валерию Брюсову. *Berceuse*'ные — колыбельные (от фр. *berceuse* — колыбельная).

Те, кого так много. "A rebours" — "Наоборот" (*фр.*), роман французского писателя Ж.-К. Гюисманса (1848—1907).

Madis — эст. имя.

Стихи И. Эренбурга. *Crêpe de chine* — крепдешин (*фр.*).

Рассказ княгини. Полу-*toqué* — полупомешанный (toqué — помешанный) (*фр.*).

Стихи Ахматовой. *Comme il faut* — приличный (*фр*).

Трагедия Титана

Игорь Северянин. Трагедия Титана. Космос. Изборник первый. Берлин; Москва: Накануне, 1923.

Сборник стихотворений начинается с "Автопредисловия": "Эта книга значительна своими противоречиями, противочувствами: какие взлеты! какие срывы... Художник-индивидуалист, захваченный настроениями масс, — зрелище чудовищно отвратное... Ныне, очищенный муками, я делаю в этой книге сводку всех метаний своего духа и, пристыженный падениями

и окрыленный озареньями, стремлюсь к вселенским вершинам, идя впереди своего века, как и подобает Поэту Истому! Берлин, 12.IX 1922".

Эта книга является сборником избранных стихотворений Северянина, опубликованных им ранее в других сборниках:

"Громокипящий кубок" — "Весенний день", "Любовь и слава", "Завет", "Земля и солнце", "Эго-Футуризм", "Поэза вне абонента", "Эпилог";

"Златолира" — "Эгополонез", "Поэза возмездия", "Валерию Брюсову", "Самогимн", "Моя мечта", "На смерть Лермонтова", "Солнце всегда вдохновенно", "Вдыхайте солнце", "Эхо", "И рыжик, и ландыш, и слива", "Душа и разум", "Ave Maria", "К рассказу Ф. Сологуба", "Народная", "Морская памятка", "Вне", "Авиатор", "Charlotte Corde", "Решено", "Когда ночами";

"Ананасы в шампанском" — "Грандиоз", "Предостерегающая поэза", "Ответ Л. Афанасьеву на его послание", "Цветы и ядоцветы", "Все то же", "Чьи грезы", "Стансы", "Электрассонанс", "Сердце мое", "Молчанье шума", "Эго-рондола", "Поэза спичечного коробка", "Родник";

"Victoria Regia" — "Восторженная поэза", "Кузнец", "Поэза доверия", "В июле", "Не завидуй другу", "Предчувствие поэмы", "Перунчик", "Памяти К. М. Фофанова", "Памяти А. М. Жемчужникова", "Памяти П. И. Чайковского", "Памяти Мацкевича", "У Е. К. Мравиной", "Поэза истребления", "Из цикла "Сириус", "Заклинание", "Тарновская", "Лучистая поэза", "Рондолет", "Поэза возмущения", "Поэза к Европе", "Поэза благословения", "Они сражаются в полях", "Переход через Карпаты", "Еще не значит", "Мой ответ", "Белая фея", "Поэза о Бельгии", "Стихи в ненастный день";

"Поэзоантракт" — "Дифирамб";

"Тост безответный" — "Поэза издалека", "Поэза моей светозарности", "Поэза королеве", "Поэза чуда", "Поэза о людях", "Поэза безнадежия", "У памятника Комиссаржевской", "Все — за новь";

"Миррэлия" — "Увертюра", "Поэза северного озера", "Опечаленная поэза", "Мне плакать хочется", "Гатчинский весенний день", "Поэза странностей жизни", "Бывают такие мгновения", "Поэза Дмитрию Дорину", "Поврага", "На смерть Верхарна", "Поэза стыдящимся молодости", "Рифмодиссо", "Осенняя поэза", "Любопытство Эклерезиты", "Секстина мудрой королевы", "Поэза разъяснения", "Гений Лохвицкой", "Промельк", "К шестилетию смерти Фофанова", "Россини", "Поэза бывшему льстецу", "И это — явь", "Баллада XII", "Баллада XIII", "Баллада XIV", "Баллада XV", "Баллада XVI", "Баллада XVII", "Трагическая поэза", "Каприз царя", "Поэза истины", "Поэза оправдания", "Поэза не для печати", "Начальники и рядовые", "Газетчики на Юпитере", "Умалишеннная", "Пир братания", "Мужья земли", "Пора кончать", "Поэза строгой точности", "Поэза последней надежды";

"Вервэна" — "Интродукция", "При свете тьмы", "Фанатики изборов", "Памяти Н. И. Кульбина", "По справедливости", "Крашеные", "Поэза упадка", "Секстина VIII", "Секстина IX", "Квинтина II", "Газэлла X", "Лэ III", "Лэ IV", "Лэ V";

"Менестрель" — "Увертюра к т. XII", "Поэза о Эстонии", "Письмо", "Эфемериды", "Рондо Генриху Виснапу", "Поэза правительству", "Поэза сострадания", "Поэза "ego" моего", "Поэза доказательства", "Люди ли вы", "Молитва Мирре", "К слухам о смерти Собинова", "Поэза моих наблюдений", "Наперекор", "Тебе ответ", "Поэза нови прозаической", "Лэ VI";

"Фея Eiole" — "Любовь-жертва", "Вечеровая", "Мирре Лохвицкой", "На смерть Александра Блока", "Сонет Ольге Гзовской", "Рондо", "Отзнак", "Ж. Оффенбах", "С утесов Эстии", "Письмо из Эстонии", "Хвала полям", "Поэза отчаянья", "Блестящая поэза", "Долой политику".

Классические розы

Печатается по изданию: *Игорь Северянин.* Классические розы. Стихи 1922 — 1930 гг. Белград, 1931.

Тираж 2500 экземпляров.

В книгу Северянина включено также стихотворение 1919 г. "Любовь — беспринципность".

Книга посвящена королеве Югославии Марии: "Ее величеству Королеве Югославии Марии с искренним восхищением почтительно подношу в дар свою книгу. Автор". На обороте титульного листа примечание автора: "Эти стихи, за исключением особо отмеченных, написаны в Эстонии, в Тойла. Ecthonie, Toila — эти два слова являются полным и неизменным с 1918 г. адресом автора этой книги".

Сборник был издан в серии "Русская библиотека" (том 33), в которой издавались книги таких признанных мастеров, как И. А. Бунин, А. И. Куприн, Д. С. Мережковский, А. М. Ремизов и др.

Эта книга была приобретена у Северянина Русским культурным комитетом в 1930 г. во время его гастролей в Югославии. В письме от 5 апреля 1931 г. Северянин писал А. Д. Барановой: "Держ[авна] ком[иссия] приобрела у меня три книги моих стихов: "Классические розы" (1922 — 1930), "Медальоны" и "Lugne". Первая на днях выйдет в свет (я уже читал дней пять назад корректуру) и поступит в продажу". (Письма... С. 66.)

Эту книгу стихотворений Северянин считал своим лучшим сборником, изданным после отъезда из России. Он довольно долго и ответственно подготавливал его к печати. В письме от 5 февраля 1929 г. к А. Д. Барановой он писал: "За это время [1928 — 1929. — *Е. Ф.*] новых книг не выпустил ни одной, подготавливая к печати сборник за семь лет (1923—29) — "Классические розы". Большая книга, страниц в триста. Не все написанное за эти годы — лишь избранное". (Письма... С. 59.) А в 1941 г., отбирая стихи для возможной публикации их в России, он писал Г. А. Шенгели: "Лучшие стихи оказались в сборнике "Классич[еские] розы" [...]. При моей теперешней строгости мне мало что может нравиться. Но то, что я посылаю Вам, я люблю, и стилистически эти вещицы, возможно, совершенны".

Сборник был озаглавлен по названию одного из стихотворений, вошедших в него, этим названием Северянин хотел подчеркнуть свой отказ от новаторства, возвращение к вечным традициям русской классической литературы.

Dame d'Azow. — Принцесса Азовская (*фр.*). Под этим именем в истории известна княжна Тараканова (1745—1775), выдававшая себя за дочь имп. Елизаветы Петровны.

Адриатика

Печатается по изданию: *Игорь Северянин.* Адриатика. Лирика. Издание автора. Эстония. Нарва, 1932.

Тираж 500 экземпляров.

На обороте титульного листа запись автора: "Эта книга отпечатана в количестве 500 экземпляров в тип. О. — П. "Narva Kirjastusühi" в Нарве в 1932 г. Адрес автора с 1918 г.: Estonia, Toila, Severjanin".

Этот сборник составлен в основном из стихотворений, написанных под впечатлением удачных гастролей в Югославии в 1931 г. Издавал его Северянин сам на свои средства. "В настоящее время мы с Фелиссой Мих[айловной] сделались издателями: печатаем в Нарве на свой счет новую книгу стихотворений "Адриатика". Нас побудило на этот шаг два обстоятельства: невероятная дешевизна типографского труда и необходимость (неизбежность, увы!) скорого заработка..." — писал он 5 июля 1932 г. А. Д. Барановой. (Письма... С. 76.) Не поступила эта книга и в магазины — Северянин решил, что "выгоднее" распространять это издание самому с помощью знакомых. "В Париже книжки мои продает Тэффи, в Брюсселе — графиня И. Карузо, давняя приятельница из Харькова, в Нью-Йорке — художник С. В. Животовский, в Софии — вдова акад[емика] Нестора Котляревского..." — письмо от 14 октября 1932 г. (Письма... С. 80.)

Медальоны

Печатается по изданию: *Игорь Северянин.* Медальоны. Сонеты и вариации о поэтах, писателях и композиторах. Белград, 1934.

Тираж 600 экземпляров.

На оборотной стороне титульного листа примечание автора: "Работа, за исключениями, особо отмеченными, выполнена в 1925 — 1927 гг. в Эстонии, Тойле".

О своем сборнике стихов "Медальоны" Северянин писал А. Д. Барановой 5 апреля 1934 г.: "А "Медальоны", вышед[шие] в свет в феврале в Белграде, почти все уже распроданы". (Письма... С. 92.)

В сборник включены сто сонетов, расположенных в алфавитном порядке. Большая их часть написана в 1925 — 1927 гг. Впоследствии Северянин продолжил цикл подобных сонетов: в РГАЛИ хранится рукопись неопубликованного сборника стихов "Очаровательные разочарования" (ф. 1152, оп. 1, ед. хр. 3), в которой, очевидно, в качестве дополнения к "Медальонам" Северянин включил еще 15 сонетов-характеристик, написанных в 1934 — 1938 гг.

В настоящем издании из "Медальонов" исключены сонеты под номерами — 52, 59, 65, 83, 88. Сонеты 52 "Мопассан", 83 "Тома", 88 "Уайльд" были ранее опубликованы в сборнике стихов "Громокипящий кубок" под названиями "Гюи де Мопассан", "Памяти Амбруаза Тома", "Оскар Уайльд". Сонет 59 "Оффенбах" опубликован в сборнике "Фея Eiole", сонет 65 "Россини" — в сборнике "Миррэлия".

Байрон. *Remember me* — Помни меня (*англ.*).
Бодлэр. "*Les fleurs du mal*" — "Цветы зла" (*фр.*).
Мопассан. "*Bel-ami*" — "Милый друг" (*фр.*).

Роса оранжевого часа

Печатается по изданию: *Игорь Северянин.* Роса оранжевого часа. Поэма детства в 3-х частях. Юрьев: Изд. В. Бергмана, 1925.

Книга была написана в 1923 г., но издать ее удалось лишь в 1925 г. 27 октября 1923 г. в письме к А. Д. Барановой Северянин писал: "Русских книг не жаждут [в Юрьеве. — *Е. Ф.*]. С трудом удалось продать Эдуарду Бергману новую поэму в 3-х частях "Роса оранжевого часа", которая выходит в декабре". (Письма... С. 49.)

"Роса оранжевого часа" — второй автобиографический роман в стихах Северянина (первый — "Падучая стремнина" был написан в 1922 г.), он повествует о родителях поэта, его юных годах, прожитых в Новгородской губернии, путешествии на Дальний Восток.

Вступление

Растрелли Варфоломей Варфоломеевич (1700 — 1771) — русский архитектор, представитель архитектурного стиля "барокко".

Часть I

2

... был на Гороховой наш дом — в те годы семья Северянина жила в собственном доме по адресу: Петербург, ул. Гороховая, д. 66.

pas — движение (*фр.*).

3

Отец мой... — Лотарев Василий Петрович (1860—1904). В 1914 г. в "Автобиографической справке" Северянин писал: "Отец: Василий Петрович, отставной штабс-капитан 1-го железнодорожного батальона (ныне полка). Скончался 28 мая 1904 г. в Ялте (44-х лет)". — В кн.: Критика о творчестве Игоря Северянина. М.: Изд. В. В. Пашуканиса, 1916.

...сестра Елисавета — Журова (урожд. Лотарева) Елизавета Петровна.

Инженерный замок — Михайловский замок (в Петербурге), в нем было расположено Военно-инженерное училище.

Comédie Française — театр в Париже.

4

... мать моя — Лотарева (урожд. Шеншина) Наталья Степановна (?—1921).

... всех Переверзевых, Клейнминхель — знатные дворянские фамилии.

Нелидовы — известная дворянская фамилия.

Дуки — династия византийских императоров.

... у Константина — Константин I (1868—1923) — король Греции.

5

...таких детей воспел Фонвизин — Северянин имеет в виду Митрофанушку, "героя" комедии Дениса Ивановича Фонвизина (1745—1792) "Недоросль".

... готтенготов — готтентоты — народность в Намибии и ЮАР, древнейшие обитатели в Южной Африке.

6

... мать вышла замуж — первый муж матери Северянина — Домонтович Георгий Иванович (1822—1885) — генерал-лейтенант.

... имел двух братьев — у Г. И. Домонтовича были два брата: Константин Иванович (1820—1889) — сенатор и Михаил Иванович.

... фон Берентс, Кроун — Беренс Евгений Андреевич (1809—1878) — адмирал, член Адмиралтейского совета; Кроун Роман Васильевич (1754—1841) — адмирал.

Верещагин — Верещагин Ираклий Петрович (1846—1888) — математик.

Мравина — Мравинская Евгения Константиновна (по сцене Мравина) (1864—1914) — певица, лирико-колоратурное сопрано, сестра (по матери) А. М. Коллонтай.

Коллонтай Александра Михайловна (урожд. Домонтович) (1872—1952) — советский дипломат. Северянин считал А. М. Коллонтай своей троюродной сестрой: она была дочерью брата первого мужа матери поэта — М. И. Домонтовича.

Салов Василий Васильевич — крестный отец Северянина, председатель Совета инженеров путей сообщения.

... *матери* beau-frère — зять (здесь — муж сестры) (*фр.*).

Штюрмер Борис Владимирович (1848—1917) — министр внутренних и иностранных дел России в 1916 г.

7

...осталась у меня сестра... — Зоя Георгиевна (урожд. Домонтович) (1875—1907).

8

Майоренгоф — курорт под Ригой.

Горн— владелец кафе.

"*kotkas*" — орел (*эст.*).

10

...с Аделаидой Константинной... — Мравинская Аделаида Константиновна, сестра Е. К. Мравиной.

11

... к аристону — аристон — предшественник граммофона.

13

vis-á-vis — напротив (*фр.*).

Антиной — предводитель женихов Пенелопы в "Одиссее" Гомера.

Лорелей — героиня одной из баллад Г. Гейне (1797— 1856).

14

Chateau d'amour — Замок любви (*фр.*).

... как некий Оберон, в Титанию влюбленный — герой фантастической поэмы "Оберон" (1780) немецкого писателя К. М. Виланда (1733—1813).

Часть II

1

... все плимутроки, вы, орпингтоны, фавероль — породы кур.

2

дормез — старинная большая карета, приспособленная для сна в пути.

3

Жорж Санд (наст. имя Аврора Дюпен; 1804—1876) — французская писательница.

6

кошовник — плоты.

... у потесей — большое весло или руль.

8

Я прожил три зимы в Реальном... — "три зимы" Северянин жил непосредственно в здании Череповецкого реального училища, на квартире его директора Б. А. Тенишева. О директоре училища у Северянина сохранились теплые воспоминания, в 1918 г. он посвятил ему стихотворение "Кн. Б. А. Тенишеву" — сб. "Соловей".

... за убиение царя воспитанником заведения... — в осуществлении убийства Александра II 1 марта 1881 г. принимал участие выпускник Череповецкого реального училища Н. И. Рысаков (1861—1881).

... с Алешей... — сын Б. А. Тенишева.

10

In corpore — в полном составе (*лат.*).

мортира— артиллерийское орудие.

11

"*Сойвола*" — имение Михаила Петровича Лотарева, дяди Северянина.

13

виссон — материя темно-красного цвета.

17

...кузине Лиле — Лотарева Елизавета Михайловна, дочь М. П. Лотарева, брата отца Северянина.

18

Louis Quatorze — Людовик XIV (*фр.*) — французский король (1638—1715).

19

...*обезмыша* — из баллады В. А. Жуковского "Суд божий над епископом".

20

Лилит — по преданию, первая жена Адама (до Евы).

La Scala — театр оперы в Милане.

Vittorio Andoga — сценический псевдоним Виктора Журова.

22

"Под небом северным" — "Под северным небом" (1894) — книга стихов К. Д. Бальмонта.

23

Мендэс Катюль (1841—1909) — французский писатель.

Часть III

1

...*секрет полишинеля* — полишинель — комический персонаж французского народного театра. Его секрет — это то, что всем уже известно.

2

Вам Федор подтвердит Кузьмич— Федор Сологуб (Федор Кузьмич Тетерников (1863—1927) — поэт, прозаик, один из виднейших символистов старшего поколения. В своем знаменитом романе "Мелкий бес" (1905) сатирически изобразил быт русских провинциальных городков.

...*мотивы "Гиаватты"* — имеется в виду "Песнь о Гайавате" (1855) — поэма американского поэта Г. Лонгфелло (1807—1882).

...*сцены из "Рогнеды"* — "Рогнеда" (1865) — опера композитора А. Н. Серова (1820—1871).

4

Квантун (Гуаньдун) — название части Ляодунского полуострова (Китай).

5

... *поклонник хабанер* — хабанера — испанский народный танец.

аэролит — устаревшее название каменного метеорита.

6

... *по царству бывшему Кучума* — Кучум (?— ок. 1598) — хан Сибирского ханства (с 1563 г.).

... *придя к ногам Хингана* — Большой Хинган и Малый Хинган — горы на Дальнем Востоке в России, Китае, Монголии.

... *ответ достойный дал Портсмут* — в Портсмуте был подписан мирный договор по окончании русско-японской войны 1904—1905 гг.

7

... *в Дальнем* — Дальний (Далянь) — город и порт в Китае.

Талиенван — о. Тайвань.

... *напоминая о боксерском восстании* — боксерское восстание — антиимпериалистическое выступление народных масс в Северном Китае (1899—1901), в подавлении которого участвовали и русские военные корабли.

Хунхуз — хунхузы, название участников вооруженных банд в Маньчжурии с сер. XIX в. до 1949 г.

8

... *наместник царский Алексеев* — Евгений Иванович (1843—1918) — адмирал; с 1903 по 1905 г. — наместник на Дальнем Востоке.

"Rheingold" — "Золото Рейна" (1854) — опера немецкого композитора В. Вагнера (1813—1883).

... *как он, потомок Ганнибала* — имеется в виду А. С. Пушкин.

9

Стессель Анатолий Михайлович (1848—1915) — генерал-лейтенант, сдал Порт-Артур.

Кондратенко Роман Исидорович (1857—1904) — генерал-лейтенант, погиб, защищая Порт-Артур.

Витгефт — контр-адмирал, командующий эскадрой, погиб в русско-японской войне.

Эссен Николай Оттович (1860—1915) — адмирал, командир броненосца "Севастополь".

Фок Александр Викторович (1843—?) — генерал-лейтенант. В русско-японскую войну неудачно командовал дивизией при обороне Порт-Артура.

Pas de grâce — бальный танец.

Падучая стремнина

Печатается по изданию: *Игорь Северянин.* Падучая стремнина. Роман в 2-х частях. Иллюстрирован Вл. Белкиным. Обложка работы П. Н. Крупенского. Том XVII. Берлин: Изд. Отто Кирхнер и К°, 1922.

На оборотной стороне листа примечание автора: "Эта работа выполнена в январе 1922 г. Eesti Toila".

Это первый автобиографический роман в стихах Северянина, написан в январе 1922 г. В романе рассказывается о первой встрече Северянина с К. М. Фофановым, первой любви Северянина — Евгении Тимофеевне Гуцан, в замужестве Меннеке (1887(?) — 1951). В романе она выведена под именем Злата. Свою любовь к Злате, несмотря на то что они вскоре расстались, Северянин пронес через долгие годы. Ей было посвящено множество стихотворений: "Ты ко мне не вернешься" — сб. "Громокипящий кубок", "Спустя пять лет", "Аккорд заключительный" — сб. "Златолира" и др.

Роман был написан в ответ на полученное осенью 1921 г., после 16-летней разлуки, письмо от Златы, которая, прочитав в газете "Голос России" стихотворе-

ние Северянина "Поэза отчаянья", написала на адрес редакции в Берлине письмо, откуда его переслали поэту в Тойлу. Возобновилась переписка. Злата в 1920-е годы жила в Берлине и во время гастролей Северянина в этом городе неоднократно виделась с ним. По воспоминаниям В. Б. Коренди, они встречались еще раз, когда в 1939 году Злата приезжала к ним в Гунгенбург. (РГАЛИ, ф. 1152, оп. 2, ед. хр. 43.)

Часть I

...Произошла Цусима... — 14 — 15 мая 1905 г. японский флот разбил в Цусимском сражении 2-ю русскую Тихоокеанскую эскадру.

...На графе Алексее Толстом и Лермонтове вырос я... — В автобиографической справке Северянин писал: "Любимые поэты: в детстве — гр. Ал. К. Толстой..." — Критика о творчестве Северянина. (М., 1916. С. 6.)

"*Музей моей весны*" (1916) — стихотворение, посвященное Гатчине — сб. "Миррэлия".

Церетели Акакий Акакиевич — оперный антрепренер. Содержал русскую частную оперу в Харькове, в начале 1900-х гг. гастролировал в Петербурге.

Гвиди Карло — антрепренер Петербургской итальянской оперы.

"*Заза*" (1900) — опера итальянского композитора Руджеро Леонкавалло (1857 — 1919).

Адриена Де-Лекуврэр — "Адриенна Лекуврер" — опера итальянского композитора Фр. Чилеа (1866 — 1950).

"Джиоконда" — "Джоконда" (1876) — опера итальянского композитора А. Понкьелли (1834 — 1886).

Титто Руффо — Титта Руффо (1877 — 1953) — итальянский певец (баритон).

Баронат — Боронат Олимпия (1867—1939) — певица итальянской оперы (сопрано). Северянин посвятил ей стихотворение "Боронат" (1910) — сб. "Victoria Regia".

Гай Мария (1879 — 1943) — испанская певица (меццо-сопрано).

Беллинчиони Джемма (1864 — 1950) — итальянская певица (сопрано).

Арнольдсон Сигрид (1861 — 1943) — шведская певица (колоратурное сопрано).

Ансельми Джузеппе (1876 — 1929) — итальянский певец (тенор).

Баттистини Маттиа (1856 — 1928) — итальянский певец (драматический баритон).

Собинов Леонид Витальевич (1872 — 1934) — русский певец, лирический тенор. Северянин очень любил творчество Л. В. Собинова, узнав о его смерти (правда, слух оказался ложным), сразу же откликнулся стихотворением "На смерть Собинова" — сб. "Менестрель".

Фигнер Николай Николаевич (1857 — 1918) — певец (лирико-драматический тенор).

Липковская Лидия Яковлевна (1882 — 1958) — русская певица (колоратурное сопрано). В 1921 г. эмигрировала. Северянин посвятил ей стихотворение "Лидии Липковской" (1924) — сб. "Классические розы".

В Титании — полонез "Титания" — ария Филины из оперы "Миньон" французского композитора Амбруаза Тома (1811 — 1896).

Мравина Евгения Константиновна, моя сестра троюродная — см. прим. к роману в стихах "Роса оранжевого часа".

прощальный свой концерт... — в 1906 г. в зале Дворянского собрания в Петербурге Е. К. Мравина дала свой прощальный концерт, уходя со сцены (у нее начинался туберкулез).

"*Травиата*" (1853) — опера итальянского композитора Джузеппе Верди (1813—1901).

Пуччини Джакомо (1858 — 1924) — итальянский композитор.

Дебюсси Клод (1862—1918) — французский композитор.

Зоя — сестра Северянина — о ней см. прим. к роману в стихах "Роса оранжевого часа".

gratis — бесплатно (*фр.*).

... в Мариинском театре... — Императорский Мариинский театр в Петербурге, основан в 1860 г.

Фофанов Константин Михайлович (1862 — 1911) — поэт. К. М. Фофанов первым (в 1907 г.) признал талант Северянина и в дальнейшем поддерживал молодого поэта. Северянин был искренне привязан к нему, посвятил ему множество стихотворений: "Над гробом Фофанова" (1911), "На смерть Фофанова" (1911) — оба в сб. "Громокипящий кубок", "Поэза о Фофанове" (1913) — сб. "Златолира" и др., написал несколько мемуарных очерков (см.: *Игорь Северянин.* Уснувшие весны. Критика. Мемуары. Скитания).

Лохвицкая Мирра Александровна (1869 — 1905) — поэт. В ее произведениях звучал отказ от "идейной" поэзии и утверждение свободы чувств. Северянин считал ее "величайшей мировой поэтессой", в своих стихах воспевал ее и ее творчество. В 1911 г. он писал поэту Б. Д. Богомолову: "Боготворю Мирру Лохвицкую, считая ее величайшей мировой поэтессой, гениальной поэтессой. Ее поэмы: "На пути к Востоку", "Вандэлин" и "Бессмертная любовь" — шедевры мировой поэзии, разумеется прозеванные и критикой, и публикой [...]. Каждый поэт обязан иметь ее стихи" (письмо от 15 июня — РГАЛИ, ф. 2571, оп.1, ед. хр. 343). Поэзия М. А. Лохвицкой оказала большое влияние на творчество Северянина.

дядя Миша... — см. прим. к "Росе оранжевого часа".

кузины Лили... — см. там же.

Дина — Северянин посвятил ей стихотворение "Дина" (1901) — сб. "Поэзоантракт".

Часть II

toquée — помешанный (*фр.*).

Зина — Северянин посвятил ей стихотворение "Зина" (1909) — сб. "Поэзоантракт".

...Я — Фофанов... — эту встречу Северянин описал в стихотворении, посвященном первому дню знакомства с К. М. Фофановым, называется стихотворение "Великому современнику. (День 20 ноября 1907 г.)" — сб. "Поэзоантракт".

...сыном Костей... — Фофанов Константин Константинович (псевд. Константин Олимпов) (1889—1939) — поэт, эгофутурист. Совместно с Северяниным принимал участие в создании Академии Эгопоэзии. Первый сборник стихотворений "Аэропланные поэзы" был опубликован в 1912 г.

Лидия Константиновна — урожд. Тупылева (1867—?).

С Перунчиком... — Перунчик, Ларионов Петр А. (1889—?) — поэт из окружения Северянина, вместе с ним печатался в альманахе "Поэзоконцерт" (М., 1918). Северянин посвятил ему стихотворение "Перунчик" (1914) — сб. "Victoria Regia".

кума Матреша — "куме Матреше" Северянин посвятил стихотворения "На пристани", "Предгрозя" — сб. "Златолира".

день прихода Лизы — очевидно, Северянин встретился с ней в 1909 г., звал "мисс Лиль".

Мадлэна — судя по стихотворениям Северянина, он познакомился с ней в 1911 г. Мадлена была замужем, увлечение носило чисто "платонический характер", продолжалось до встречи в 1915 г. с М. В. Домбровской. Посвятил ей много стихотворений: "Элегия" (1911) — сб. "Златолира", "Поэза для Мадлены" (1915) — сб. "Тост безответный" и др., сохранил с ней дружеские отношения на долгие годы: в 1922 г. он писал А. Д. Барановой: "Переписываюсь только с Мадленой, Златой, Башкировым..." (Письма... С. 29).

Сердце свое тогда Тринадцатой отдал — Тринадцатая — Мария Васильевна Домбровская, о ней см. прим. к сб. "Тост безответный".

с той женщиной, которая имела ребенка, пятимесячного, дочку мою — в 1912—1915 гг. Северянин жил с гражданской женой Еленой Яковлевной Золотаревой, у них была дочь Валерия Игоревна (1913 — 1978).

Колокола собора чувств

Печатается по изданию: *Игорь Северянин.* Колокола собора чувств. Автобиографический роман в 3-х частях. Юрьев: Изд. В. Бергмана, 1925.

На оборотной стороне титульного листа примечание автора: "Эта работа исполнена в январе 1923 г. Eesti, Toila".

В романе повествуется о первом турне Северянина с Ф. Сологубом и А. Н. Чеботаревской по городам России весной 1913 г., "Первой Олимпиаде российского футуризма", состоявшейся в январе 1914 г., любовных увлечениях поэта.

Два предислова.

1

Владимир Иванович — Сидоров Владимир Иванович (псевд. Вадим Баян) (1880—1966) — сотрудник крымских газет, автор сборника стихов "Лирический поток: Лирионетты и баркароллы" (Пб., 1914). В романе выведен под именем "Селим Буян".

2

va banque — ва-банк (*фр.*).

Часть I

1

Иван Васильевич Игнатьев (наст. фам. Казанский) (1892—1914) — поэт, критик, эгофутурист, руководитель издательства "Петербургский глашатай" (1912—1914), в 1912 г. издавал газету "Петербургский глашатай".

С Северяниным познакомился в конце 1911 г. В 1912—1913 гг. организовывал выступления эгофутуристов; был теоретиком эгофутуризма: в альманахе "Орлы над пропастью" (Спб., 1912) И. В. Игнатьев опубликовал обзор "Первый год эгофутуризма", осенью 1913 г. выпустил отдельным изданием манифест-исследование "Эгофутуризм". После разрыва Северянина с эгофутуристами в 1913 г. возглавил литературную группу под названием "Ассоциация эгофутуризма", себя называл "председателем Ареопага".

2

Калмаков Николай Николаевич — художник.

окарина — итальянский музыкальный инструмент, похожий по звучанию на флейту.

3

Настасья Николавна — Чеботаревская Анастасия Николаевна (1876 — 1921) — писательница, переводчица, общественный деятель, жена Ф. Сологуба.

4

Кузмич — Федор Сологуб.

"*Гриф*" — издательство (издатель Сергей Кречетов — см. прим. к сб. "Златолира"), в 1913 г. выпустило первую книгу стихов Северянина "Громокипящий кубок".

5

Уже мы с Сологубом в Минске — Ф. Сологуб весной 1913 г. взял Северянина в турне по городам России.

Сонечка Амардина — Шамардина Софья Сергеевна (1894—1980), минчанка, осенью 1913 г. приехала из Минска в Петербург учиться на Бестужевских курсах, была дружна со многоми поэтами, артистами, художниками — Северяниным, В. В. Маяковским, К. И. Чуковским, В. Хлебниковым, братьями Д. Д. и Н. Д. Бурлюками и др. В "Заметках о Маяковском" Северянин писал: "Софья Сергеевна Шамардина ("Сонка") [...] нравилась и мне и Маяковскому" (*Игорь Северянин.* Стихотворения и поэмы. 1918—1941. М., 1990. С. 394). В трагедии "Владимир Маяковский" В. В. Маяковский писал о ней: "Сонечка-сестра". В своих воспоминаниях С. С. Шамардина писала, что именно она познакомила В. В. Маяковского с Северяниным зимой 1913 г. (см.: Встречи с прошлым. М., 1988. Вып. 6. С. 144). С. С. Шамардина выступала на концертах Северянина под псевдонимом Эсклармонда Орлеанская; поэт посвятил ей стихотворение "Сердцу девьему" — сб. "Victoria Regia".

7

Посещенье "Гамбринуса"... — имеется в виду кабачок в Одессе, о нем писал А. И. Куприн в рассказе "Гамбринус" (1907).

Сашка — в рассказе А. И. Куприна "Сашка-музыкант" — Арон Гольдштейн.

де Рибас — Рибас Хосе де (1749—1800) — адмирал, руководил строительством порта и г. Одессы.

Юшкевич Семен Соломонович (1868 — 1927) — писатель.

Лоэнгрин — псевдоним Герцо-Виноградского Петра Титовича (1867—1921) — драматурга, прозаика, журналиста.

Нилус Петр Александрович (1869 — ?) — художник.

Щепкин Михаил Семенович (1788 — 1863) — актер.

Федоров Владимир Александрович (? — 1918) — актер.

... *Тело Семена Надсона...* — Надсон Семен Яковлевич (1862—1887) — поэт, умер в Ялте 19 января 1887 г.

8

Мравина — см. прим. к роману в стихах "Роса оранжевого часа". Эту встречу Северянин описал в стихотворении "У Е. К. Мравиной" (1913) — сб. "Victoria Regia".

Снегурка, Татьяна, Джильда и Лакмэ — героини опер Н. А. Римского-Корсакова "Снегурочка" (1881), П. И. Чайковского "Евгений Онегин" (1878), Дж. Верди "Риголетто" (1851), Л. Делиба "Лакме" (1883).

11

Фелисса — Круут Фелисса Михайловна (1902 — 1957) — жена Северянина. Северянин 29 декабря 1921 г. писал А. Д. Барановой: "21, XII женился в Юрьеве на молодой, ей всего 19 лет — Эстийской поэтессе". (Письма... С. 27.) Фелисса Михайловна выступала совместно с Северяниным на его поэзовечерах — сценическое имя — Ариадна Изумрудная. У Северянина и Ф. М. Круут был сын Вакх, родился 1 августа 1922 г.

13

...другая женщина, с которой я прижил девочку — см. прим. к роману в стихах "Падучая стремнина".

Часть II

2

...Селим Буян, поэт Симферо, решил устроить торжество — турне по югу России состоялось в конце 1913 — начале 1914 г. Оно было организовано усилиями и на средства В. Баяна и называлось "Первая олимпиада российского футуризма". Позднее В. Баян вспоминал, что в конце 1913 г. ему написал Северянин: "Я на днях познакомился с поэтом Владимиром Маяковским, и он — гений. Если он выступит на наших вечерах, это будет нечто грандиозное. Предлагаю включить его в нашу группу". (Цит. по: Встречи с прошлым. М., 1988. Вып. 6. С. 136.)

Бурлюк Давид Давидович (1882—1967) — поэт, художник, литературный и художественный критик, издатель, один из организаторов и идеологов кубофутуризма. В. В. Маяковский считал его своим учителем: "Мой действительный учитель Бурлюк сделал меня поэтом... Читал мне французов и немцев. Всовывал книги. Ходил и говорил без конца". (*Маяковский В. В.* ПСС. М., 1995. Т. 1. С. 20). В 1920 г. эмигрировал.

"Мезонин Поэзии" — литературная группа и издательство, организованное в 1913 г. московскими "временными союзниками" эгофутуристов: В. Г. Шершеневичем, Р. Ивневым, Б. А. Лавреневым и др.: выпустило сборники: "Вернисаж", "Пир во время чумы" (1913) и др.

Сам Велимир зелено-тощий... — Хлебников Виктор Владимирович (псевдоним — Велимир Хлебников) (1885—1922) — поэт, кубофутурист, один из организаторов и идеологов этого литературного направления.

Наш Габриэлевич Вадим... — Шершеневич Вадим Габриэлевич (1893—1942) — поэт, переводчик, драматург.

Якулов и Лентулов — Якулов Георгий Богданович (1884—1928) — художник, участник выставок "Венок" (1908), "Мир искусства" (1911) и др. В 1914 г. подписал Манифест футуристов. Лентулов Аристарх Васильевич (1882—1943) — художник, один из организаторов объединения художников "Бубновый валет".

4

Они упали в город Китеж... — по преданию, город Китеж скрылся под водой во время нашествия хана Батыя. На его месте явилось озеро.

6

И в этом названном Тамбове есть дева... — В "Записках о Маяковском" Северянин писал о ней: "Валентина Ивановна Гадзевич (поэтесса Валентина Солнцева), служащая Петербургского медицинского института, прислала мне из Тамбова телеграмму, что родители согласны на наш брак. Я был увлечен и готов был осупружиться. В. В. долго и тщетно меня отговаривал. Наконец он признался, что девица завлекла и его и даже обнажалась перед ним. Я верил его каждому слову и потому порвал с нею". (*Игорь Северянин.* Стихотворения и поэмы. 1918 — 1941. М., 1990. С. 294.) Истории знакомства с В. И. Гадзевич Северянин посвятил стихотворение "Валентина" — сб. "Ананасы в шампанском".

fleur d'orange — флердоранж (*фр.*).

7

...происходит здесь размолвка — выступления футуристов состоялись 7-го января в Симферополе, 9-го — в Севастополе, 14-го — в Керчи. В Керчи Северянин прервал свое турне, поссорившись с В. В. Маяковским. Причиной своего внезапного возвращения Северянин называл эпатирующую внешность кубофутуристов, которые обещали ему выступать в обычных одеждах, но не сдержали слова.

Часть III

1

На этот раз состав чтецов я изменил — в своих воспоминаниях В. Баян писал о новом турне: "... мы с Северяниным устроили в гостинице совещание по вопросу организации нового турне с составления декларативного доклада ... решено было пригласить единомышленника неокритика Виктора Ховина, а для полноты ансамбля — С. С. Шамардину, которая и выступала с нами... в качестве первой артистки-футуристки... читая наши стихи". (Цит. по: Встречи с прошлым М., 1988, вып. 6. С. 136.)

Ховин Виктор Романович — поэт, критик, глава эгофутуристического издательства "Очарованный странник", выступал на вечерах Северянина. После революции 1917 г. эмигрировал.

2

Концертом в Катеринославе начнется третий путь поэз...

Первое выступление состоялось в Екатеринославе (с 1926 г. — Днепропетровск) в феврале 1914 г., следующее — 5 февраля в Елизаветграде (с 1924 г. — Кировоград), последнее — в Одессе 7 февраля. Об этом турне см. подробнее: *Поливанов К. М.* Два турне Игоря Северянина зимой 1914 года // О Игоре Северянине. Череповец, 1987.

3

Бернар Сара (1844—1923) — французская актриса.

5

Au revoir — до свидания (*фр.*).

Уснувшие весны

Печатается по авторской рукописи: *Игорь Северянин.* Уснувшие весны. Критика. Мемуары. Скитания. Том 28, Eesti Toila, 1931. Рукопись хранится в РГАЛИ, ф. 1152, оп.1, ед. хр. 13.

Книга состоит из небольших мемуарных очерков о К. М. Фофанове, Ф. Сологубе, В. Я. Брюсове, эгофутуристе И. В. Игнатьеве и др., о начале творческой биографии поэта, его жизни в Эстонии.

Рукопись переплетена автором и подготовлена к печати, судя по титульному листу, в 1931 г., но опубликовать ее не удалось. Работа над книгой была продолжена, о чем свидетельствует наличие произведений, написанных после 1931 г. Они написаны на обратных сторонах листов, которые не были заполнены во время составления сборника: 1939 г. датирована заметка "В лодке по Россони" (это единственная в книге вырезка из газеты, и наклеена она на обратные стороны листов (четные страницы) статьи "В ялике по морю"). (Рукопись заметки "В лодке по Россони" хранится в музее Ф. Крейцвальда в Тарту.) На обратных сторонах листов "Загадочного кучера" Северянин записал воспоминания об одной встрече в Румынии под названием "Румынская генеральша". В составленной Северяниным "Библиографии" — списке произведений, вошедших в "Уснувшие весны" с их выходными данными, им не указаны некоторые работы, включенные в сборник: "Загадочный кучер", "Румынская генеральша", "В лодке по Россони". В то же время указанная там статья "Сбывшаяся мечта" в книгу не вошла. Позднее написаны и выходные данные воспоминаний "Трагический соловей" и "Оперные заметки".

Все произведения, включенные в книгу, были опубликованы Северяниным в 20 — 30-е гг. в зарубежной периодической печати. В нашей стране опубликованы (с купюрами) воспоминания "Беспечно путь свершая", "Трагический соловей" (Встречи с прошлым. М., 1982, вып. 4), "Встречи с Брюсовым", "Образцовые основы" (Литературная Россия. 1987. № 20). Отрывок из "Образцовых основ" (под названием "Мое первое стихотворение"), "Встречи с Брюсовым", "Сологуб в Эстляндии", "Умер в декабре", "Эстляндские триолеты Сологуба" (под названием "Триолеты Сологуба, написанные в Тойла") и "Дом на диване" опубликованы в кн.: "Игорь Северянин. Сочинения". Таллинн, 1990.

"Уснувшие весны" публикуются точно в соответствии с текстом рукописи. Воспроизведены, например, переписанные Северяниным примечания редактора газеты "Сегодня" к статье "Шепелявая тень", а также позднее дописанные Северяниным выходные данные статьи "В лодке по Россони". Произведения, написанные на обратных сторонах листов, помещены вслед за теми, что написаны на лицевой стороне. Сохранено северянинское написание слов ("флокусы", "кизиль", "гоноболь", "полещик" и др.), за исключением явных описок или орфографических ошибок.

Из воспоминаний о К. М. Фофанове

1. Стихи, мне посвященные

[1] *Фофанов* Константин Михайлович — см. прим. к роману в стихах "Падучая стремнина".

[2] Тени и тайны. Стихотворения Константина Фофанова. Спб., 1892.

В 1910 г. К. М. Фофанов жил под Петербургом — станция Сергиева-Пустынь Балтийской железной дороги, Петербургское шоссе, д. 77.

[3] Стихотворение "Когда ночами" — сб. "Громокипящий кубок". М., 1913. С. 45.

[4] В январе 1918 г. Северянин с больной матерью и гражданской женой М. В. Домбровской уехал в Эстонию и поселился в Тойле.

[5] *Башкиров* Борис Николаевич (псевд. Б. Верин) — поэт, его "литературные понедельники" собирали многих молодых философов, поэтов, музыкантов Петербурга. В 1920 г. покинул Россию. Жил сначала во Франции, затем в Германии недалеко от Мюнхена в местечке Этталь, вместе со своим другом молодости С. С. Прокофьевым. Северянин посвятил ему много стихотворений: "Борису Верину" — сб. "Вервэна", "Поэза строгой точности" — сб. "Поэзоантракт" и др. ...Ему же был посвящен сборник стихотворений "Соловей". Северянин называл Б. Н. Башкирова-Верина "Принцем сирени". В письме А. Д. Барановой от 12 июня 1922 г. он писал: "Я произвел Эссена, Башкирова и Правдина в принцы — Лилии, Сирени и Нарциссов. Они заслужили это — они слишком любят искусство". (Письма... С. 29.)

[6] Константин Михайлович Фофанов.

[7] *Брюсов* Валерий Яковлевич (1873—1924) — поэт, прозаик, драматург, критик, переводчик, литературовед.

[8] Федор *Сологуб* — см. прим. к роману в стихах "Роса оранжевого часа".

[9] *Гиппиус* Зинаида Николаевна (1869—1945) — поэт, литературный критик, прозаик, жена Д. С. Мережковского. В 1919 г. эмигрировала.

[10] *Афанасьев* Леонид Николаевич (1864—1920) — поэт.

[11] *Гриневская* Изабелла Аркадиевна (1864—1942) — драматург, прозаик, поэтесса, переводчица.

[12] *Короленко* Владимир Галактионович (1853—1921) — прозаик, публицист, общественный деятель.

[13] *Щепкина-Куперник* Татьяна Львовна (1874—1952) — писательница, переводчица.

[14] *Ясинский* Иероним Иеронимович (1850—1931) — писатель, журналист, редактор журналов.

[15] *Чуковский* Корней Иванович (1882—1969) — писатель, литературовед.

[16] *Масаинов* Алексей Алексеевич — поэт.

[17] *Чеботаревская* Анастасия Николаевна — см. прим. к роману в стихах "Колокола собора чувств".

[18] *Тэффи* Надежда Александровна (Бучинская, урожденная Лохвицкая — сестра Мирры Лохвицкой) (1872—1952) — писательница, автор юмористических рассказов, пьес, фельетонов, критических статей. В 1920 г. эмигрировала.

[19] *Гумилев* Николай Степанович (1886—1921) — поэт, переводчик, критик, один из основателей "Цеха поэтов".

[20] *Кульбин* Николай Иванович (1868—1917) — художник, врач, приват-доцент Военно-медицинской академии, врач Генерального штаба, имел чин статс-советника. В начале XX в. стал заниматься живописью. Первые картины им выставлены в 1908 г. Ярый поклонник русского авангарда, был близок к футуристам.

[21] *Льдов* Константин (наст. имя и фам. Витольд-Константин Николаевич Розенблюм) (1862—1937) — поэт, прозаик, переводчик, в 1914 г. переехал на постоянное жительство в Париж, затем в Брюссель.

[22] *Измайлов* Александр Алексеевич (псевд. Смоленский) (1873—1921) — писатель, литературный критик.

[23] После отъезда из России Северянин виделся с Б. Н. Башкировым-Вериным в 1922 г. в Берлине, когда Северянин был там на гастролях. "Мой верный рыцарь — Принц Сирени — поэт Борис Никол[аевич] Башкиров-Верин 8-го приехал из Ettal (около Мюнхена) [...], чтобы повидаться со мной", — писал он А. Д. Барановой. (Письма... С. 30.)

[24] Судьба альбомов Северянина не установлена.

[25] *Лохвицкая* Мирра Александровна — см. прим. к роману в стихах "Падучая стремнина".

[26] Иллюзии. Стихотворения К. М. Фофанова. Спб., 1900.

II. Последние дни поэта

[27] "Весенний день" — стихотворение Северянина, вошло в сборник "Громокипящий кубок".

[28] *Олимпов* — псевдоним К. К. Фофанова. О нем см. прим. к роману в стихах "Падучая стремнина".

[29] "Биржевые ведомости" — умеренно-либеральная газета, выходила в Петербурге с 1880 по 1917 г., с 1885 г. — ежедневная.

[30] Л. Н. Афанасьев был близок к К. М. Фофанову и его семье, в 1918 г. написал воспоминания о нем: *Афанасьев Л. Н.* Из воспоминаний о Фофанове // Петроградский голос. 1918. № 107.

[31] "Новое время" — одна из крупнейших русских газет, выходила в Петербурге с 1868 по 1917 г., с 1869 г. — ежедневная. С 1876 г. издатель — А. С. Суворин.

[32] *Коринфский* Аполлон Аполлонович (1868—1937) — поэт, прозаик.

[33] *Ухтомский* Эспер Эсперович (1861—1921) — поэт, публицист, редактор-издатель газеты "Санкт-Петербургские ведомости".

[34] *Меньшиков* Михаил Осипович (1859—1919) — публицист, критик.

[35] *Лебедев* Владимир Петрович (1869—1939) — поэт, прозаик, переводчик.

[36] *Суворин* Алексей Сергеевич (1834—1912) — журналист, издатель газеты "Новое время", книгоиздательства "Т-во А. С. Суворина". В издательстве А. С. Суворина были изданы несколько сборников К. М. Фофанова.

О творчестве и жизни Фофанова

[1] Одним из первых, в 1887 г., отметил стихи К. М. Фофанова, как явление незаурядное, С. Я. Надсон. (*Надсон С. Я.* Литературные очерки. Спб., 1887. С. 42.)

[2] Книги К. М. Фофанова: Стихотворения. (1880—1887). Спб., 1887; Стихотворения Константина Фофанова (1887—1889). Спб., 1889; Тени и тайны. Стихотворения Константина Фофанова. Спб., 1892; Стихотворения К. М. Фофанова. Ч. 1—5. Спб., 1896; Барон Клакс. Рассказ в стихах. М., 1892; Саул (Из библейских мотивов). Сочинения К. М. Фофанова. Спб., 1892; Иллюзии. Стихотворения К. М. Фофанова. Спб., 1900; После Голгофы (Мистерия-поэма). Спб., 1910; Необыкновенный роман (Повесть в октавах). Спб., 1910.

[3] Основная часть архива К. М. Фофанова хранится в РГАЛИ, ф. 525, 4878 ед.хр. Документы поэта хранятся также в Пушкинском Доме, ф. 282, 92 ед. хр. и Государственном Литературном музее, ф. 199, 4 ед. хр.

Драма "Железное время" хранится в РГАЛИ, ф. 525, оп.1, ед. хр. 379—383. Отрывок из драмы был опубликован в журнале "Красный Балтиец", 1921, № 5.

[4] *Бальмонт* Константин Дмитриевич (1867—1942) — поэт, критик, переводчик. В 1920 г. эмигрировал.

[5] См. прим. к роману в стихах "Колокола собора чувств".

[6] *Марк Басанин* (псевд. Лидии Алексеевны Лашеевой) (1862—1941) — прозаик, поэт. В альбоме К. М. Фофанова сохранилось посвященное ему стихотворение Л. А. Лашеевой (РГАЛИ, ф. 525, оп.1, ед. хр. 776, л. 47—48).

[7] *Голенищев-Кутузов* Арсений Аркадьевич (1848—1913) — поэт. Во многих его стихотворениях конца XIX в. преобладали религиозно-мистические настроения, проникнутые отрешенностью от реальной жизни.

[8] *Величко* Василий Львович (1860—1903) — поэт, публицист. Большинство современников относилось к творчеству В. Л. Величко-поэта иронично, отмечая рассудочный характер его поэзии. В то же время он ценился как популяризатор восточной поэзии, автор имевших успех переводов из Омара Хайяма, А. Церетели и др. поэм и стихов на восточные темы.

[9] К.Р. — литературный псевдоним вел. кн. Константина Константиновича Романова (1858—1915) — поэта, переводчика, драматурга, внука Николая I. Службу в армии сочетал с гражданской службой: с мая 1889 г. до конца жизни — президент Петербургской АН. Первые публикации стихотворений появились в 1882 г. Пер-

вый сборник стихотворений — "Стихотворения К. Р." (Спб., 1886).

[10] *Рудич* Вера Ивановна — поэтесса, прозаик.

[11] Психиатрическая лечебница в Петербурге.

Цветы неувядные

[1] Первое стихотворение К. М. Фофанова опубликовано в 1881 г. в журнале "Русский еврей" под псевдонимом Комифо.

[2] "Литературный фонд" — "Общество для пособия нуждающимся литераторам и ученым" — благотворительное общество, основанное в Петербурге в 1859 г.

[3] Литературному фонду принадлежало право издавать сочинения С. Я. Надсона. Книга "Стихотворения С. Я. Надсона" (М., 1885) за 15 лет (1885—1909) выдержала 24 издания.

[4] *...прозевав Каролину Павлову, Баратынского...* — Павлова (урожд. Янши) Каролина Карловна (1807—1893) — поэтесса. При жизни Павловой издание ее стихов было предпринято лишь однажды: в 1893 г. в Москве ее друзьями был издан сборник "Стихотворения К. Павловой". Сборник успеха не имел. Лишь в 1915 г. под редакцией В. Я. Брюсова в Москве было издано собрание сочинений К. К. Павловой. Баратынский Евгений Абрамович (1800—1844) — поэт. Первый сборник "Стихотворения" был издан в Москве в 1827 г. В 20-е гг. был в дружеских отношениях с А. С. Пушкиным, И. В. Киреевским, но постепенно оказался в творческой изоляции. Второй сборник "Стихотворения" (М., 1835) почти не вызвал откликов у критиков; третий — "Сумерки" (М., 1842) окончательно выявил литературную изоляцию поэта. На рубеже XIX—XX вв. Е. А. Баратынский был заново прочитан и оценен. А. А. Блок высказывался о нем как о поэте, "опередившем свой век".

[5] *Некрасов* Николай Алексеевич (1821—1878) — поэт.

[6] *Плещеев* Алексей Николаевич (1825—1893) — поэт "некрасовской школы". За участие в кружке М. В. Петрашевского в 1849—1859 гг. отбывал ссылку.

[7] "Общество свободной эстетики" — основано в 1907 г. Северянин выступал там в декабре 1912 г.

[8] *Венгеров* Семен Афанасьевич (1855—1920) — историк русской литературы, библиограф.

Встречи с Брюсовым

[1] В 200 экземплярах вышла брошюра "Гибель "Рюрика" (Спб.,1904); в 300 экземплярах — "Победа "Новика" (Спб.,1904).

[2] *Соловьев* Сергей Михайлович (1885—1942) — поэт, переводчик, критик.

[3] С.М.Соловьев называл В. Я. Брюсова "великолепным" в стихотворении "Московская поэма".

[4] Ответ Северянина В. Я. Брюсову от 19 окт. 1911 г. хранится в ОР РГБ, ф. 386, к. 102, ед. хр. 25.

[5] Стихотворение "На Летуне" (17 февр. 1912 г.) — сб. "Громокипящий кубок". М., 1913.

[6] "Русская мысль" — ежемесячный литературно-политический журнал, издавался в Москве в 1880—1918 гг. Основан В. М. Лавровым.

[7] *Брюсов В. Я.* Год русской поэзии: Апрель 1913 г. — апрель 1914 г. (Порубежники) // Русская мысль. 1914. Кн. 6. Второй сборник стихов Северянина "Златолира" разочаровал В. Я. Брюсова "шаблонностью ритма", "бесцеремонным обращением со словами".

[8] *Игнатьев* Иван Васильевич — см. прим. к роману в стихах "Колокола собора чувств".

[9] Альманах "Орлы над пропастью" был издан в издательстве "Петербургский глашатай" в 1912 г.

[10] Издательская и книготорговая фирма, основанная Маврикием Осиповичем Вольфом (1825—1883), "Товарищество М. О. Вольф".

[11] Издательское и книготорговое товарищество Николая Павловича Карбасникова (1852—1921), "Товарищество Н. П. Карбасникова".

[12] Московский литературно-художественный кружок существовал с 1898 по 1920 г., объединял деятелей литературно-артистической Москвы. В 1905 г. В. Я. Брюсов стал фактическим его руководителем, а с 1908 г. избирался председателем его директората.

[13] *Брюсова* Иоанна Матвеевна (урожд. Рунт) (1876—1965) — переводчица.

[14] *В.Я.* — Валерий Яковлевич.

[15] *Добролюбов* Александр Михайлович (1876—1945?) — поэт. Первый сборник стихотворений "Natura naturans. Natura naturata" ("Природа порождающая. Природа порожденная"). Спб., 1895. С весны 1898 г., бросив учебу в университете, "ушел в народ", начал странствования по Олонецкой и Архангельской губерниям, создал собственное религиозное учение.

[16] *Погорелова* Бронислава Матвеевна (урожд. Рунт) — переводчица, писала рецензии для журнала "Весы", была секретарем журнала. В 1923 г. эмигрировала.

[17] *Гончарова* Наталья Сергеевна (1881—1962) — художница; *Ларионов* Михаил Федорович (1881—1964) — художник. Одни из организаторов первой выставки "Бубновый валет" (1910). В 1912—1914 гг. разработали теорию "лучизма", с 1915 г. жили во Франции.

[18] *Дымшиц* Софья Исааковна (1886—1963) — художница, была замужем за А. Н. Толстым в 1907—1914 гг.

[19] *Львова* Надежда Григорьевна (1891—1913) — поэтесса, начала печататься в 1911 г., автор сборника "Старая сказка". В последний год жизни сблизилась с эгофутуристами, раньше была в символистском окружении В. Я. Брюсова.

[20] Случай, происшедший в "Обществе свободной эстетики", Северянин описал в стихотворении "Ее каприз" (1918) — сб. "Соловей".

[21] Возможно, стихотворение "Поэза вне абонемента" — сб. "Громокипящий кубок". М., 1913.

[22] *Брюсов В. Я.* Новые сборники стихов // Русская мысль. 1911. № 7; Сегодняшний день русской поэзии (50 сборников стихов 1911—1912) // Русская мысль. 1912. № 7.

[23] Стихотворение "Поэза для Брюсова" — сб.Victoria Regia. М., 1915.

[24] *Брюсов В. Я.* Игорь Северянин // Критика о творчестве Игоря Северянина. М., 1916. В частности, В. Я. Брюсов писал: "Недовольный моими критическими замечаниями о его книгах, Игорь Северянин позволил себе заявить в стихах, что я ему "завидую". Любопытно, в чем бы я мог "завидовать" Игорю Северянину. Мне было бы стыдно, если бы я оказался

автором "Ананасов"... Поэту, немного очадевшему, должно быть, оттого, что "идут шестым изданием иных ненужные стихи", следует усвоить себе простую разницу между критической оценкой и завистью" (С. 12).

[25] *Балькис Савская* — псевдоним М. В. Домбровской — см. прим. к сборнику "Тост безответный".

[26] Эту встречу Северянин описал в стихотворении "Валерию Брюсову"— сб. "Соловей".

Беспечно путь свершая

[1] *...Владимир Маяковский, братья Бурлюки, Велимир Хлебников, А. Крученых...* — Бурлюк Николай Давидович (1890—1920?) — поэт, прозаик, теоретик искусства. Начиная с "Пощечины общественному вкусу" (М.,1912), принимал участие во всех изданиях "Гилеи" и футуристических выступлениях в Петербурге и Москве. Крученых Алексей Елисеевич (1886—1968) — поэт, теоретик футуризма, один из создателей и теоретиков "заумного языка". Примкнув в 1912 г. к литературно-художественной группе кубофутуристов, А. Е. Крученых стал "самым прочным футуристом как поэт и как человек" (*Терентьев И. А.* Крученых грандиозарь. Тифлис, 1918). Весной 1912 г. совместно с Велимиром Хлебниковым им была написана поэма "Игра в аду" (М., 1912). О других лицах см. прим. к роману в стихах "Колокола собора чувств".

[2] См. об этом турне в романе и прим. к роману в стихах "Колокола собора чувств".

[3] *Каменский* Василий Васильевич (1884—1961) — поэт, прозаик, драматург. Совместно с Велимиром Хлебниковым, Д. Д. Бурлюком организовал литературную группу "кубофутуристов". В. В. Маяковский шутливо называл его "мамой всего футуристического движения" (см.: *Каменский В. В.* Жизнь с Маяковским. М., 1940. С. 13).

[4] *Пастернак* Борис Леонидович (1890—1960) — поэт, во второй половине 1922 г. (около полугода) жил в Берлине.

[5] *Кусиков* Александр Борисович (наст. фамилия Кусикян) (1896—1977) — поэт-имажинист. Автор сборников стихотворений "Зеркало Аллаха" (1918), "Сумерки" (1919) и др. В феврале 1922 г. совместно с Б. А. Пильняком приехал в Берлин в командировку. В Россию не вернулся.

[6] Л.Ю.Брик вспоминала: "Ему [Маяковскому. — *Е. Ф.*] доставляло удовольствие произносить северянинские стихи, он всегда пел их на мотив (чуть перевранный), на который пел их сам Северянин". *Брик Л. Ю.* Маяковский и чужие стихи // Знамя. 1940. № 3.

[7] *Мережковский* Дмитрий Сергеевич (1865—1941) — поэт, прозаик, философ, литературовед. В декабре 1919 г. эмигрировал.

[8] *Бердсли* (Бердслей) Обри (1872—1898) — английский рисовальщик, его изысканные рисунки отличались "хрупкостью" и виртуозностью.

[9] Crème de violette — см. прим. к сб. "Громокипящий кубок".

[10] *Елисеев* Григорий Григорьевич — купец, владелец известных магазинов в Москве и Петербурге.

[11] См. далее очерк Игоря Северянина "Образцовые основы".

Салон Сологуба

[1] Колокола собора чувств. Автобиографический роман в 3-х частях. Юрьев, 1925.

[2] *Калмаков* Николай Константинович — см. прим. к роману в стихах "Колокола собора чувств".

[3] *Судейкин* Сергей Юрьевич (1882—1946) — художник. Писал декорации к спектаклям Малого театра, театра В. Ф. Комиссаржевской и др. Выставлялся в Салоне Дягилева, на выставке "Голубая роза" (1907), в Союзе художников (1909) и др. "Расписывал" литературный кабачок "Бродячая собака". В 1920 г. эмигрировал.

[4] *Ахматова* Анна Андреевна (наст. фамилия Горенко) (1889—1966) — поэт. Первый сборник стихов "Вечер" (Спб., 1912), жена Н. С. Гумилева.

[5] *Судейкина* Ольга Афанасьевна (урожд. Глебова) (1885—1945) — театральная актриса, жена С. Ю. Судейкина, подруга А. А. Ахматовой, посвятившей ей стихотворения "Голос памяти", "Пророчишь, горькая, и руки уронила". В 1924 г. эмигрировала.

[6] *Гиппиус* Владимир Васильевич (псевдоним В. Бестужев) (1876—1941) — поэт, критик, литературовед, один из ранних символистов. В 1913 г. был сотрудником газеты "Речь", где опубликовал ряд статей о русских писателях, в том числе и о Северянине (Речь. 1913. 24 июня).

[7] *Эрберг* Константин (наст. фамилия Сюннерберг Константин Александрович) (1871—1942) — теоретик искусства, критик, поэт, переводчик.

[8] В РГАЛИ хранится брошюра Северянина "Эго-футуризм" с дарственной надписью Т. Л. Щепкиной-Куперник: "Татьяне Львовне Щепкиной-Куперник, идеальной русской женщине и солнечной поэтессе — с благоговением Игорь Северянин. 1913".

[9] Федор Кузьмич Сологуб.

[10] О вечерах у Сологуба кроме Северянина оставили воспоминания многие писатели. О них вспоминали В. А. Пяст, Г. И. Чулков, Н. А. Тэффи и др. (*Пяст В. А.* Встречи. М., 1929; *Чулков Г. И.* Годы странствий. М., 1930; *Тэффи Н. А.* Федор Сологуб // Воспоминания о серебряном веке. М., 1993).

[11] *Шишков* Вячеслав Яковлевич (1873—1945) — писатель.

[12] *А. Н.* — Анастасия Николаевна (Чеботаревская).

[13] Н. А. Тэффи вспоминала: "Жена его [Сологуба. — *Е. Ф.*], Анастасия Чеботаревская, создала вокруг него атмосферу беспокойную и напряженную. Ей все казалось, что к Сологубу относятся недостаточно почтительно, всюду чудились ей обиды, намеки, невнимание. Она пачками писала письма в редакцию, совершенно для Сологуба ненужные и даже вредные, защищая его от воображаемых нападок, ссорилась и ссорила". *Тэффи Н. А.* Указ соч. С. 84.

[14] *par exellense* — по преимуществу (*фр.*).

[15] Литературно-артистическое кафе в Петербурге, основано молодым режиссером Б. К. Прониным. Открылось в ночь под Новый, 1912 г. (в подвале дома № 5 на углу Михайловской площади) и сразу же стало излюбленным местом встреч поэтов, художников, артистов и околоартистической богемы. В "Бродячей собаке" бывали А. А. Ахматова, К. Д. Бальмонт, Д. Д. Бурлюк, Н. С. Гумилев, С. М. Городецкий, В. И. Иванов, М. А. Кузмин, Ф. Сологуб и многие

другие. Кафе имело свой герб, нарисованный М. В. Добужинским, и гимн, музыку и слова которого написал М. А. Кузмин. Об этом кафе упоминалось во многих воспоминаниях (*Пяст В. А.* Указ. соч.; *Лившиц Б. К.* Полутораглазый стрелец. Л., 1933 и др.), ему посвятила два стихотворения А. А. Ахматова: "Да, я любила их, те сборища ночные...", "Все мы бражники здесь, блудницы..." Несмотря на столь нелестный отзыв о кафе, в нем выступал и Северянин. Так, 11 февраля 1915 г. там был организован "Вечер пяти", в котором принимали участие Д. Д. Бурлюк, В. В. Каменский, А. Радаков, Игорь Северянин, С. Ю. Судейкин.

[16] *Озаровская* Дарья Михайловна (по сцене Мухина) (1873—1947) — актриса Александринского театра.

[17] Бри, камамбер — сорта мягкого сыра.

[18] Книга вышла без указания автора под названием "Стихи Нелли. С посвящением Валерия Брюсова". М., 1913. Это сборник стихотворений, написанных Брюсовым "под Северянина".

[19] *Арабажин* Константин Иванович (1866—1929) — историк литературы, журналист, с 1918 г. жил в Хельсинки; *Аничков* Евгений Васильевич (1866—1937) — литературовед, фольклорист; *Верховский* Юрий Николаевич (1878—1956) — поэт, переводчик, историк литературы; *Щеголев* Павел Елисеевич (1877—1931) — историк, литературовед, пушкинист; *Философов* Дмитрий Владимирович (1872—1940) — литературный критик, публицист, в декабре 1919 г. эмигрировал; *кн. Шервашидзе* (Александр Константинович Чачба) (1867—1968) — театральный художник, с 1922 г. жил во Франции; *Рукавишников* Иван Сергеевич (1877—1930) — писатель-прозаик; *Потемкин* Петр Петрович (1886—1926) — поэт, в 1920 г. эмигрировал; *Тиме* Елизавета Ивановна — актриса; *Каратыгин* Вячеслав Гаврилович (1875—1925) — музыкальный критик, композитор, педагог; *Соколов* Сергей Алексеевич (псевдоним Сергей Кречетов) (1878—1936) — поэт, владелец издательства "Гриф", в 1922 г. эмигрировал; *Тиняков* Александр Иванович (псевдоним Одинокий) (1882—1936) — поэт, критик.

[20] Премьера пьесы "Заложники жизни" Ф. Сологуба состоялась в Александринском театре 6 ноября 1912 г. Спектакль поставил В. Э. Мейерхольд.

Сологуб в Эстляндии

[1] Так Северянин называл свою жену Фелиссу Михайловну (урожд. Круут) (1902—1957).

[2] Имеется в виду опера Николая Андреевича Римского-Корсакова (1844—1908) "Садко" (1897).

[3] Об этом у Северянина есть стихотворение "У Сологуба" (1918) — сб. "Соловей".

[4] Екатеринодар; с 1920 г. — Краснодар.

[5] Зимой 1913 г. Ф. Сологуб взял Северянина в турне по городам России. См. об этом роман в стихах Северянина "Колокола собора чувств".

[6] "Миньон" — опера Абруаза Тома (1811—1896).

[7] Леля — Елена Яковлевна Золотарева. См. о ней в прим. к роману Северянина "Падучая стремнина".

[8] Е. Я. — Елена Яковлевна.

[9] "Заветы" — ежемесячный литературно-политический журнал, издавался в Петербурге с 1912 по 1914 г.

[10] "Волшебной феей Петербурга" называл О. А. Глебову-Судейкину композитор А. С. Лурье. В своих воспоминаниях он писал: "Она жила только искусством, создав из него культ... Ей, актрисе Александринского театра, ученице Варламова, покровительствовал всесильный тогда Суворин. Восхищенный талантом Ольги Афанасьевны, Суворин звал ее в свой театр, но под влиянием Судейкина она ушла в модернизм, к Мейерхольду, и пожертвовала громадной карьерой, которая перед ней открывалась так легко и свободно... Ольга Афанасьевна была одной из самых талантливых натур, когда-либо встреченных мною". (Цит. по: Воспоминания о серебряном веке. М., 1993. С. 514.)

[11] С.Ю. — Сергей Юрьевич (Судейкин).

[12] Елена — горничная Сологубов.

[13] *Метерлинк* Морис (1862—1949) — бельгийский драматург, поэт.

[14] *Уайльд* Оскар (1854—1900) — английский писатель.

[15] *Шницлер* Артур (1862—1931) — австрийский драматург и прозаик.

[16] Герой романа Ф. Сологуба "Мелкий бес" (1905), учитель уездной гимназии, его имя стало синонимом человеческой подлости.

[17] В этих городах жил Ф. Сологуб, когда, после окончания в 1882 г. Учительского института, преподавал в провинциальных гимназиях.

[18] Рихард *Вагнер* (1813—1883) был в 1837—1839 гг. музыкальным директором театра Холтея в Риге.

Эстляндские триолеты Сологуба

[1] Стихотворение "Сологуб" (1918) — сб. "Соловей" (1923).

[2] *Брюсов В. Я.* Федор Сологуб как поэт // Далекие и близкие: Статьи и заметки о русских поэтах от Тютчева до наших дней. М., 1912.

[3] *Айхенвальд* Юлий Исаевич (1872—1928) — литературный критик, с 1922 г. жил в Берлине.

[4] *Айхенвальд Ю. И.* Силуэты русских писателей. М., 1910, вып. 3. С. 110 (статья "Федор Сологуб. Его стихотворения").

[5] Ф. Сологуб — сын портного, в четырехлетнем возрасте лишился отца и воспитывался матерью, работавшей прислугой.

[6] Портрет работы Сомова Константина Андреевича (1869—1939) выполнен в 1910 г., хранится в Государственном Русском музее. Вспоминая внешность Ф. Сологуба, З. Н. Гиппиус писала, что он "...похож на старого римлянина: совсем лысый, гладко выбритый. В черном сюртуке, по-прежнему несуетливый и спокойный, любезный с гостями" (*Гиппиус З. Н.* Отрывочное. О Сологубе // Воспоминания о серебряном веке. М., 1993. С. 100).

[7] *Вертинский* Александр Николаевич (1889—1957) — артист эстрады, поэт, композитор. Многие из песен А. Н. Вертинского, написанные до 1918 г., печатались с нотами и распространялись по всей стране ("Лиловый негр", "Маленький креольчик" и др.). Северянин относился отрицательно к поэтическому творчеству артиста.

[8] *Ф. Сологуб.* Очарования земли. Стихи 1913 г. Собр. соч. Спб., 1914. Т. 17.

[9] *Андреев Л. Н.* Путевые впечатления — Рига, Балтийское море. Очерк // Полн. собр. соч. Спб., 1913. Т. 6. С. 247.

[10] "*verboten*" — "запрещается" (*нем.*).

[11] Стихотворения "Морская памятка" — сб. "Громокипящий кубок" (М., 1913. С. 64); "Морской набросок" — сб. "Ананасы в шампанском" (М., 1915. С. 73).

[12] Все стихотворения Ф. Сологуба из сборника "Очарование земли" не имеют названий, поэтому указываются лишь номера страниц, на которых напечатаны стихотворения, отрывки из которых цитирует Северянин.

"О, безмерная усталость!"... — с. 59.

[13] Стихотворение цитируется не совсем точно. Правильный текст:

С вами я, и это праздник, потому что я поэт.
Жизнь поэта — людям праздник,
несказанно-сладкий дар.
Смерть поэта — людям горе, разрушающий
пожар.
Что же нет цветов привета, если к вам идет поэт?
Разве в песнях вам не виден разлитой пред
вами свет?
Или ваша дань поэту — только скучный гонорар?
— с. 101.

[14] Моей свинцовой нищеты... — с. 79.

[15] *Д' Аннунцио* Габриеле (1863—1938) — итальянский писатель, политический деятель, принадлежал к высшему обществу.

[16] В иных веках, в иной отчизне... — с. 62.

[17] Звенела кованая медь... — с. 82.

[18] Так пой же, пой, моя печаль... — с. 81.

[19] Солнце, которому больно... — с. 64.

[20] Благослови свиные хари... — с. 75.

[21] Цитата не совсем точна:

Безумно осмеянной жизни
Свивается ль, рвется ли нить, —
Что можешь, что смеешь хранить
В безумно-растоптанной жизни!
Лишь власти не дай укоризне
Страдающий лик отемнить,
Свивается, рвется ли нить. — с. 80.

[22] Да будут вместо жизни книги... — с. 80.

[23] Ты гори, моя свеча... — с. 74.

[24] Что может быть лучше дороги лесной... — с. 26.

[25] Здесь учиться людям надо, как любить и петь... — с. 93.

[26] Сила песни звонкой сотрясает тело птички... — и далее отдельные строчки из стихотворения на с. 82.

[27] Огонек в лесной избушке... — с. 117.

[28] Долина пьет полночный холод... — с. 118.

[29] Земли смарагдовые блюда... — с. 229.

[30] Тревожный праздник новоселья... — с. 100.

[31] Рая не знаем, сгорая... — с. 94.

[32] Луна взошла, и дол вздохнул... — с. 191.

[33] ...Сад расцвел... — с. 181.

[34] ...пурпуреа на закате расцвела... — с. 186.

[35] Перванш и сольферино... — с. 180.

[36] В моем бессилии люби меня... — с. 90.

[37] Здесь верный наш союз несокрушимо вечен... — с. 91.

[38] Коротаю дни я как-нибудь... — с. 103.

[39] Жизнь влача печальную... — с. 238.

Умер в декабре

[1] Каждый год я болен в декабре... — с. 16.

[2] Лесков Н. С. — роман "Обойденные".

[3] Об отношении Ф. Сологуба к Северянину см. "Колокола собора чувств".

[4] Стихотворение "Поэза душевной тоски" — сб. "Менестрель". Берлин, 1921. С. 32—33.

[5] *Виснапуу* Хенрик (1890—1951) — эстонский поэт. Северянин перевел два сборника его стихотворений: "Amores" (1922), "Полевая фиалка" (1939). Сборник "Amores" был издан в Москве.

[6] *Ф.Сологуб.* Жемчужные светила. Собр. соч. Спб., 1913. Т. 13.

[7] Возможно, под "первой возлюбленной" Северянин подразумевал сестру Ф. Сологуба — Ольгу Кузьминичну Тетерникову (1865—1907), которую брат обожал. Об этом вспоминали и Н. А. Тэффи (Указ. соч.), и З. Н. Гиппиус (Указ. соч.). Памяти О. К. Тетерниковой, скончавшейся в 1907 г. от чахотки, была посвящена написанная Ф. Сологубом непосредственно вслед за смертью сестры трагедия "Победа смерти", поставленная в 1907 г. В. Э. Мейерхольдом в театре В. Ф. Комиссаржевской.

[8] Северянин цитирует неточно. Правильный текст:

Мои томительные дни
Омрачены жестокой бранью.
Моих сограждан щедрой данью,
Мои томительные дни —
В ночи медлительной огни
От ожиданий к увяданью,
Мои томительные дни
Россия омрачила бранью. — с. 63.

[9] Милая прохлада, — мгла среди полей. — с. 13.

[10] В очарованьи здешних мест. — с. 127.

Осиянный

[1] *Масаинов* Алексей Алексеевич— поэт из окружения Северянина, печатался в изданиях эгофутуристов (см. далее). Северянин посвятил ему стихотворения "Лэ II" (1919) — сб. "Вервэна", "Койт и Эмарик" — сб. "Миррэлия".

[2] *Виноградов* Андрей И. — поэт из окружения Северянина, автор книг "Мои стихи" (Вятка, 1911), "Птицы Радости и Печали" (Спб., 1913).

[3] *Закржевский* Александр Карлович (1886—1916) — критик, прозаик.

[4] *Ховин* Виктор Романович — см. прим. к роману в стихах "Колокола собора чувств".

[5] *Крючков* Дмитрий Александрович (псевд. Келейник) (1887—1938) — поэт, критик, в 1913 г. примкнул к эгофутуристам, высоко ценил творчество Северянина (статья "Демимонденка и лесофея" // Очарованный странник. 1913, № 1).

[6] *Ходасевич* Владислав Фелицианович (1886—1939) — поэт, литературный критик, в 1922 г. эмигрировал.

[7] *Рубанович* Семен Яковлевич (?—1932) — поэт, литературовед, переводчик.

[8] *Королевич* Владимир (наст. имя и фамилия Владимир Владимирович *Королев*) (1894—1969) — поэт, прозаик, драматург. В стихах явно подражал Северянину, о творчестве которого в конце 1915 г. написал статью

"Поэт мечты" (ОР ГРБ, ф. 190, к. 58, ед. хр. 12). С 1916 г. выступал на поэзовечерах Северянина, рассказывая публике о его творчестве. (Так, 25 февраля 1916 г. на вечере в Политехническом музее он выступил с рефератом под названием "Поэт из страны Миррэлия".)

[9] *Шенгели* Георгий Аркадьевич (1894— 1956) — поэт, переводчик. Первые сборники стихотворений "Розы с кладбища" (1914), "Лебеди закатные" (1915) и др. были написаны под влиянием поэзии Северянина. В 1916—1917 гг. Г. А. Шенгели принимал участие в турне Северянина по югу России, выступая с докладом "Поэт вселенчества" на поэзовечерах поэта. В январе 1917 г. в Тифлисе им был прочитан доклад "Самураи духа (Гейне — Пушкин — Северянин)". После 1917 г. с Северяниным не встречались, только переписывались. Дружеские отношения между поэтами сохранились на долгие годы. Северянин посвятил Г. А. Шенгели стихотворение "Георгию Шенгели" — сб. "Соловей", а вскоре после смерти Северянина Г. А. Шенгели было написано стихотворение "На смерть Игоря Северянина", которое повторяло интонацию северянинского стихотворения "На смерть К. М. Фофанова", написанного в 1911 г. В 1946 г. Г. А. Шенгели удалось устроить первый в СССР поэтический вечер Северянина; он же способствовал сохранению литературного наследия поэта, передав его рукописи в ЦГАЛИ СССР (ныне РГАЛИ).

[10] Мимозы льна. Поэзоальманах 2-х. Игорь Северянин. Новые поэзы. Алексей Масаинов. Новые поэзы. Пг., 1916; Острова очарований. Альманах 2-х. Игорь Северянин. Поврага. Коит и Эмерик. Алексей Масаинов. Колдовство. Пг., 1917.

[11] Винтик. Альманах новых поэтов. Тифлис, 1917.

[12] "*Биржевые ведомости*" — умеренно-либеральная газета, выходила в Петербурге в 1880—1917 гг., с 1895 г. — ежедневная. "*Русское слово*" — ежедневная газета, выходила в Москве в 1895—1918 гг. С 1897 г. издатель И. Д. Сытин.

Успехи Жоржа

[1] *Иванов* Георгий Владимирович (1894—1958) — поэт, прозаик.

В 1911 г. Г. В. Иванов учился во втором Петербургском кадетском корпусе. Первый сборник стихов "Отплытье на о. Цитеру. Поэзы" был опубликован в 1911 г. (на т. л. — 1912 г.). С 1922 г. жил в Берлине, затем в Париже.

[2] Первые стихи Г. В. Иванова начали появляться в печати в 1910 г. ("Кадет-михайловец", 1910, № 7; "Ученик", 1910, № 9, 11; "Все новости литературы, искусства, техники, промышленности и гипноза", 1910, № 1.) В 1911 г. печатался в журналах "Gaudeamus", № 6 — 9, 11; "Весна", во "Всеобщем журнале" и др.

[3] *Иванов* Вячеслав Иванович (1866—1949) — поэт, драматург, филолог, переводчик, теоретик символизма. С 1924 г. жил в Италии.

[4] Впервые стихотворение А. А. Ахматовой было опубликовано в журнале "Сириус", 1907, № 2 — "На руке его много блестящих колец". В 1911 г. она печаталась во "Всеобщем журнале", № 3, журнале "Gaudeamus", № 8, 9, 10, "Аполлоне", № 4.

[5] Студенческий литературно-художественный журнал, издавался в Петербурге в 1911 г.; редактор — Владимир Иванович Нарбут (1888—1938), вышло всего 11 номеров.

[6] Северянин несколько неточен: первую премию получил А. Д. Скалдин за стихотворение "Красный песок на дорожках...". См. журн. "Gaudeamus", 1911, № 10.

[7] Мать Г. В. Иванова — баронесса В. Бир Брац-Бауер ван Бренштейн. По мнению Р. Д. Тименчика (см.: Русские писатели. 1800—1917. Биографический словарь. М., 1992. Т. 2. С. 377), этим и обусловлено его прозвище в эгофутуристических кругах.

[8] Объединение поэтов-акмеистов. Существовало в 1911—1914 гг. и 1921—1923 гг. Первое заседание 20 октября 1911 г. состоялось на квартире С. М. Городецкого.

[9] *Городецкий* Сергей Митрофанович (1884—1967) — поэт, прозаик, драматург, один из основателей "Цеха поэтов".

[10] *Грааль-Арельский* (псевд. Стефана Стефановича Петрова) (1888—1938) — поэт, беллетрист. В 1909—1914 гг. учился на физико-математическом факультете Петербургского университета. Начал печататься с 1910 г. В 1911 г. познакомился с Северяниным, принимал участие в вечерах эгофутуристов. Первая книга стихов — "Голубой ажур" (Спб., 1911), на которую Северянин написал поэтическую рецензию "Граалю-Арельскому (Рецензия на его "Голубой ажур")" — сб. "Поэзоантракт"). Псевдоним Грааль-Арельского был явно эпатирующим: Грааль — чаша, из которой пил Иисус Христос во время Тайной Вечери и в которую Иосиф Аримафейский, по преданию, собрал кровь из ран распятого Христа. Чаша была сделана из чистого изумруда и обладала чудодейственной силой.

[11] Разосланный по редакциям манифест выглядел так:

Академия эгопоэзии

(Вселенский Футуризм)

19 Ego 12.

Предтечи:

К. М. Фофанов и Мирра Лохвицкая.

Скрижали:

I. Возславление Эгоизма.
1. Единица — Эгоизм.
2. Божество — Единица.
3. Человек — дробь Бога.
4. Рождение — отдробление от Вечности.
5. Жизнь — дробь Вечности.
6. Смерть — воздробление.
7. Человек — Эгоист.

II. Интуиция. Теософия.

III. Мысль до безумия: безумие индивидуально.

IV. Призма стиля — реставрация спектра мысли.

V. Душа — Истина.

Ректорат:
Игорь Северянин
Константин Олимпов (К. К. Фофанов)
Георгий Иванов
Грааль-Арельский

(РГАЛИ, ф. 1718, оп. 1, ед. хр. 11.)

[12] В. Р. Ховин в одном из отзывов на "Манифест" писал: "Игорь Северянин, который сам себя и которого все считают вдохновителем и вождем русских футуристов, — поэт талантливый, это несомненно, но как ему, представителю "грядущего осознания жизни и искусства", не стыдно подписываться под этой галиматьей, говорящей о убожестве мысли и развязном легкомыслии". ("Воскресная Вечерняя Газета" № 17 от 16 сент. 1912 г.)

[13] Литературно-художественный журнал, издавался в 1909—1917 гг. в Петрограде под редакцией С. К. Маковского. Журнал был тесно связан с акмеистами.

[14] В журнале "Гиперборей" № 2 за 1912 г. было опубликовано письмо Г. В. Иванова и Грааль-Арельского, в котором они писали: "Кружок "Ego" продолжает рассылать листки манифеста "Ego-футуристов", где в списках членов "ректората" стоят наши имена. Настоящим доводим до общего сведения, что мы из названного кружка вышли и никакого отношения к нему, а равно к газете "Петербургский глашатай" не имеем".

[15] Северянин опубликовал в газете "Биржевые ведомости" 21 ноября 1912 г. письмо, в котором написал, что он вышел из кружка "Ego" и в газете "Петербургский глашатай" больше не сотрудничает. Им было разослано также "Открытое письмо Игоря Северянина", в котором, в частности, говорилось: "... мое творчество доказательно. Теперь, когда для меня миновала надобность в доктрине: "Я — в будущем", и находя миссию своего Эго-футуризма выполненной, я желаю быть одиноким, считаю себя только поэтом, и этому я солнечно рад. Моя интуитивная школа "Вселенский Эго-футуризм" — путь к самоутверждению. В этом смысле, она — бессмертна. Но моего Эго-футуризма больше нет: я себя утвердил. Смелые и сильные! от вас зависит стать Эго-футуристами!

23 октября 1912 г. Игорь Северянин".

(РГАЛИ, ф. 55, оп. 2, ед. хр. 74.)

[16] Книга стихов "Сады", Пг., 1921, включала стихи 1916—1917 гг.

[17] Стихотворение "Сонет" — сб. "Златолира". М., 1914.

Шепелявая тень

[1] "Звено" — парижский еженедельник (сначала газета, а потом журнал), в 1927 г. преобразовался в ежемесячный журнал. С 1923 до 1927 г. редакторы — М. М. Виновер, П. Н. Милюков; с 1927 до 1928 г. — М. Л. Кантор.

[2] Серию мемуарных очерков под названием "Китайские тени" Г. В. Иванов начал писать в середине 1924 г. Воспоминания начали печататься в парижской газете "Звено" 7 июля 1924 г. (Название, возможно, было позаимствовано у А. Н. Толстого, который, живя в 1922 г. в эмиграции, выпустил сборник рассказов под аналогичным названием.) Очерк, посвященный Северянину, был опубликован 20 июля 1925 г.

[3] Несмотря на то что Г. В. Иванов назвал свои очерки "мемуарами", многие современники считали, что в них много придуманного, вымышленного. Резко критиковала их М. И. Цветаева ("История одного посвящения" // Литературная Армения, 1966, № 1), Н. Н. Берберова вспоминала, что Г. В. Иванов ей признавался, что в его сочинениях "75% выдумки и 25% правды" (*Берберова Н. Н.* Курсив мой. Мюнхен, 1972. С. 547).

[4] *...моей сестре...* — см. прим. к роману в стихах "Роса оранжевого часа".

[5] Стихотворение "Поэза вне абонемента" — сб. "Громокипящий кубок". М., 1913.

[6] *Ларионов* Петр — см. прим. к роману в стихах "Падучая стремнина".

[7] *Адамович* Георгий Викторович (1892—1972) — поэт, прозаик, критик, переводчик. Впервые выступил в печати в 1915 г. Первый сборник стихотворений "Облака" (М.; Пг., 1916). В 1916 — 1917 гг. — один из руководителей 2-го Цеха поэтов. С 1923 г. жил во Франции, его статьи печатались в лучших журналах русского зарубежья.

[8] *Винавер* Максим Моисеевич (1863—1926) — редактор еженедельника "Звено" (Париж).

"Новая простота..."

[1] Статья "Шепелявая тень" была опубликована в газете "За Свободу!" 3 мая 1927 г.

[2] *Брандт* Роман Федорович (1853—1920) — поэт, переводчик, филолог-славист, чл.-к. Петербургской АН.

[3] *И. В. Игнатьев* — см. прим. к роману в стихах "Колокола собора чувств".

[4] *Антон Крайний* — псевдоним З. Н. Гиппиус. Ее ответ Северянину, скорее даже ответ на примечания редактора, был опубликован в газете "За Свободу!" 22 мая 1927 г. (см.: *Богомолов Н. А.* Об одной литературной полемике 1927 г. // Культурное наследие российской эмиграции 1917—1940. М., 1994. С. 28).

Газета ребенка

[1] Район в Петербурге.

[2] Газета "Петербургский глашатай" была основана И. В. Игнатьевым в 1912 г., вышло всего 4 номера.

[3] И. В. Игнатьев родился в 1892 г., в 1912 г. ему было 20 лет.

[4] Первая заметка И. В. Игнатьева была опубликована в 1909 г. в журнале "Театральное искусство" (№ 21), в последующих номерах печатались его мелкие корреспонденции. В 1910—1913 гг. он вел отделы театральной хроники, публиковал статьи, стихи, рассказы во многих периодических изданиях: "Театрал", "Gaudeamus", "Шиповник" и др. В 1911 г. вышел его первый сборник "Около театра (Юморески, миньятюры, штрихи, пародии)".

[5] *Брандес* Георг (1842—1927) — датский критик, историк литературы, публицист.

[6] Нижегородец, 1911, № 78.

[7] И. В. Игнатьев в 1911—1913 гг. вел в газете "Нижегородец" отдел театральной хроники.

[8] В 1912 г. вышли альманахи "Орлы над пропастью", "Стеклянные цепи", "Оранжевая урна"; в 1913 г. — "Дары Адонису", "Засахаре кры", "Бей, но выслушай", "Всегдай", "Небокопы" и "Развороченные черепа". Северянин принимал участие только в альманахах 1912 г.

[9] *Лукаш* Иван Созонтович (1892—1940) — прозаик. В 1912 г. примкнул к эгофутуристам, писал (под псев-

донимом Иван Оредеж) о творчестве Северянина в альм. "Стеклянные цепи" (Спб., 1912), печатался в альм. "Оранжевая урна", в газетах "Петербургский глашатай", "Дачница". В 1922 г. эмигрировал.

[10] "Вена" — известный петербургский ресторан.

Образцовые основы

[1] Сборник стихотворений "Ручьи в лилиях" издан не был. Позднее Северянин объединил его с другим и в 1933 г. подготовил к печати под названием "Настройка лиры". (Опубликован не был, хранится в РГАЛИ, ф. 1152, оп. 1, ед. хр. 2.)

[2] Мариинская опера — основана в 1860 г. (Императорский Мариинский театр в Петербурге).

[3] "Рогнеда" (1865) — опера Александра Николаевича Серова, русского композитора (1820—1871).

[4] "Князь Игорь" — опера Александра Порфирьевича Бородина (1833—1887), русского композитора, ученого-химика.

[5] *Шаляпин* Федор Иванович (1873—1938) — русский певец (бас); пел в Мариинском театре с апреля 1895 г. до весны 1896 г.

[6] *Стравинский* Федор Игнатьевич (1843—1902) — русский певец (бас).

[7] *Славина* Мария Александровна (1858—1951) — русская певица (меццо-сопрано).

[8] *Долина* Мария Ивановна (1868—1919) — русская певица (контральто).

[9] *Куза* Валентина Ивановна (1868—1910) — русская певица (сопрано).

[10] *Фигнер* Медея Ивановна (1859—1952) — певица (драматическое сопрано). *Фигнер* Николай Николаевич (1857—1918) — см. прим. к роману в стихах "Падучая стремнина".

[11] *Корякин* Михаил Михайлович (1850—1897) — русский певец (бас).

[12] *Бзуль* Анастасия Степановна — русская певица (меццо-сопрано).

[13] *Фриде* Нина Александровна (1859—1942) — русская певица (меццо-сопрано).

[14] *Яковлев* Леонид Георгиевич (1858—1919) — русский певец (лирико-драматический баритон).

[15] *Чернов* Аркадий Яковлевич (1858—1904) — русский певец (баритон).

[16] *Доницетти* Гаэтано (1797—1848) — итальянский композитор.

[17] *Беллини* Винченцо (1801—1835) — итальянский композитор.

[18] *Стравинский* Игорь Федорович (1882—1971) — русский композитор.

[19] *Прокофьев* Сергей Сергеевич (1891—1953) — русский композитор.

[20] *Чайковский* Петр Ильич (1840—1893) — русский композитор.

[21] *Римский-Корсаков* Николай Андреевич (1844—1908) — русский композитор и музыкальный деятель.

[22] *Вагнер* Рихард (1813—1883) — немецкий композитор и дирижер.

[23] *Тома* Амбруаз (1811—1896) — французский композитор, любимый композитор Северянина; его оперы: "Миньон" (1866), "Гамлет" (1868) и др.

[24] *Леонковалло* Руджеро — см. прим. к роману в стихах "Падучая стремнина".

[25] *Массне* Жюль Эмиль Фредерик (1842—1912) — французский композитор, ученик А. Тома.

[26] *Пуччини* Джакомо — см. прим. к роману в стихах "Падучая стремнина".

[27] *Россини* Джоаккино (1792—1868) — итальянский композитор.

[28] *Мейербер* Джакомо (1791—1864) — французский композитор и дирижер.

[29] *Церетели* Акакий Акакиевич — см. прим. к роману в стихах "Падучая стремнина".

[30] *Дракули* Александр Николаевич — содержал оперную труппу, которая в начале 1900-х годов (до 1908 г.) выступала на сцене Большого зала консерватории в Петербурге.

[31] *Гвиди* Карло — см. прим. к роману в стихах "Падучая стремнина".

[32] Театр Народного дома императора Николая II.

[33] Музыкальная Драма — Театр музыкальной драмы.

[34] *Липковская* Лидия Яковлевна (1882—1958) — см. прим. к роману в стихах "Падучая стремнина".

[35] *Кузнецова-Массне* (Бенуа) Мария Николаевна (1880—1966) — русская певица (сопрано).

[36] *Беллинчиони* Джемма (1864—1950) — см. прим. к роману в стихах "Падучая стремнина".

[37] *Гай* Мария (1879—1943) — см. прим. к роману в стихах "Падучая стремнина".

[38] *Боронат* Олимпия (гр. Ржевусская) — см. прим. к роману в стихах "Падучая стремнина".

[39] *Арнольдсон* Сигрид (1861—1943) — см. прим. к роману в стихах "Падучая стремнина".

[40] *Баттистини* Маттиа (1859—1928) — см. прим. к роману в стихах "Падучая стремнина".

[41] *Титта* Руффо (1877—1953) — см. прим. к роману в стихах "Падучая стремнина".

[42] *Ансельми* Джузеппе (1876—1929) — см. прим. к роману в стихах "Падучая стремнина".

[43] *Наваррини* Франческо (1855—1923) — итальянский певец (бас).

[44] *Зембрих* Марчелла (1858—1935) — польская певица (колоратурное сопрано).

[45] *Кавальери* Лина (1874—1944) — итальянская певица (сопрано).

[46] *Собинов* Леонид Витальевич (1872—1934) — см. прим. к роману в стихах "Падучая стремнина".

[47] Подробнее об этом см.: *Игорь Северянин.* Роса оранжевого часа. Юрьев, 1925.

[48] *Короленко* Владимир Галактионович (1853—1921) с 1904 г. был редактором журнала "Русское богатство".

[49] Еженедельный литературно-художественный и научно-популярный журнал, издавался в Петербурге в 1870—1918 гг.

[50] Северянин допустил некоторую неточность: стихотворение "Весенний день" написано им в 1911 г.

[51] *Лухманова* Надежда Александровна (1844—1907) — прозаик, переводчица, драматург. Во время русско-японской войны, в начале 1904 г. отправилась на фронт сестрой милосердия и одновременно собственным корреспондентом газет "Петербургская жизнь" и "Южный край", помещавших на своих страницах ее материалы.

[52] *Наживин* Иван Федорович (1874—1940) — писатель, "толстовец". С 1920 г. жил в эмиграции.

[53] Брошюра "Интуитивные краски" была прочитана Л. Н. Толстому 12 января 1910 г. (см.: *Гусев Н. Н.* Летопись жизни и творчества Л. Н. Толстого. М., 1960. Т. 6. С. 738).

[54] Об этом событии И. Ф. Наживин сообщил в газете "Биржевые ведомости" 29 января 1910 г.

[55] *Яблоновский* Сергей (псевдоним Сергея Викторовича Потресова) (1870—1954) — писатель, журналист. После революции 1917 г. эмигрировал.

[56] *Ратгауз* Даниил Максимович (1868—1937) — поэт.

[57] Литературное кафе, находилось на углу Газетного переулка и Тверской улицы (начало XX в.).

Трагический соловей

[1] *Мравина* (Мравинская) Евгения Константиновна — см. прим. к роману в стихах "Падучая стремнина". Родилась в семье генерала К. И. Мравинского. Пением начала заниматься у известного оперного певца и педагога И. П. Прянишникова.

[2] Дебют Е. К. Мравиной состоялся 7 августа 1885 г. в итальянском городке Витторио, недалеко от Венеции, в партии Джильды в опере Дж. Верди "Риголетто". В этой же партии 6 января 1886 г. Е. К. Мравина дебютировала на сцене Мариинского театра.

[3] См. прим. к роману в стихах "Роса оранжевого часа". А. М. Коллонтай написала воспоминания о Е. К. Мравиной (Советская музыка. 1964. № 4).

[4] В 1900 г. Е. К. Мравина была уволена якобы "по болезни".

[5] *Волконский* Сергей Михайлович (1860—1937) — театральный деятель, художественный критик, прозаик. В 1899—1901 гг. — директор императорских театров. В конце 1921 г. эмигрировал. В его мемуарах "Мои воспоминания" (Берлин, 1923—1924. Т. 1, 2) много внимания уделено театральному миру.

[6] *...муж Медеи* — Фигнер Николай Николаевич — см. прим. к роману в стихах "Падучая стремнина".

[7] О турне Северянина с Ф. Сологубом и А. Н. Чеботаревской см.: *Игорь Северянин.* Колокола собора чувств. Юрьев, 1925.

[8] Под впечатлением встречи с Е. К. Мравиной Северянин написал стихотворение "У Е. К. Мравиной" (март 1913) — сб. "Victoria Regia".

Оперные заметки

[1] *Каменская* Мария Даниловна (1854—1925) — русская певица (меццо-сопрано).

[2] *Чупрынников* Митрофан Михайлович (1866—1918) — русский певец (лирический тенор).

[3] "*Джоконда*" — см. прим. к роману в стихах "Падучая стремнина".

[4] "*Севильский цирюльник*" (1816) — опера итальянского композитора Дж. Россини.

[5] *Сибиряков* Лев Михайлович (1870—1938) — русский певец (высокий бас).

[6] *Смирнов* Дмитрий Алексеевич (1882—1944) — русский певец (лирический тенор).

[7] *Большаков* Николай Аркадьевич (1874—1958) — русский певец, тенор.

[8] "*Гугеноты*" (1835) — опера французского композитора Дж. Мейербера.

[9] *Акцери* (псевд. Ирецкой Наталии Александровны, 1845—1922) — русская певица (сопрано).

[10] "*Семирамида*" (1823) — опера Дж. Россини.

[11] Возможно, *Ван-Зандт* Мария (1861—1919) — американская певица (лирико-колоратурное сопрано).

[12] "*Золотой петушок*" (1907) — опера Н. А. Римского-Корсакова, поставлена в 1909 г.

[13] *Сук* Вячеслав Иванович (1861—1933) — русский дирижер, композитор.

[14] *Боначич* Антон Петрович (1878—1933) — оперный певец, педагог, режиссер.

[15] "*Кузнец Вакула*" (1880) — опера русского композитора Николая Феопемптовича Соловьева (1846—1916).

[16] "*Майская ночь*" (1879) — опера Н. А. Римского-Корсакова.

Загадочный кучер

[1] *Гамалея* Всеволод Гаврилович (1883—1942) — пианист, преподаватель Петроградской консерватории. Северянин писал о нем А. Д. Барановой: "Я его знаю с детства [...]. В 1925 г. мы встретились с ним в Берлине и я перетянул его в Юрьев, где он с тех пор живет постоянно, изредка концертируя" (Письма... С. 64, письмо от 1 ноября 1929 г.).

[2] Об этом выступлении Северянин писал А. Д. Барановой 1 ноября 1929 г.: "8-го сент[ября] я дал концерт в Печерах б[ывший] город Псковской губ[ернии]... Погода была отчаянная: холод, дождь, буря. Собралось же почти $^{2}/_{3}$ зала, и успех был очень большой: "восторгам не было границ". (Письма... С. 64.)

[3] Псково-Печерский мужской монастырь, основан в середине XV в.

По лесам и озерам

[1] *Языков* Николай Михайлович (1803—1846/47) — русский поэт.

Цитата из стихотворения Н. М. Языкова "Две картины".

[2] Pühajõgi — река вблизи Тойлы.

[3] Пюхтицкий православный женский монастырь, основан в 1892 г.

[4] *Аксаков* Сергей Тимофеевич (1791—1859) — русский писатель. Северянин имеет в виду его книгу "Записки об ужении рыбы" (М., 1847); 2-е изд. — "Записки об ужении" (М., 1854).

[5] Ирис — под этим именем Северянин вывел свою жену — Фелиссу Михайловну.

[6] *Иоанн Кронштадтский* (Сергеев Иван Ильич) (1829—1908) — проповедник, духовный писатель, протоиерей Андреевского собора в Кронштадте. Канонизирован русской православной церковью.

Рассказ моего знакомого

[1] За заслуги в области перевода и пропаганды эстонской литературы Северянину в 1926—1931 и 1937—1940 гг. были назначены субсидии из Государственного фонда Эстонии. Кроме того, он получал 4 доллара в неделю от газеты "Сегодня".

[2] 5 октября [1925 г.] Северянин писал: "...должен всем и каждому, больше брать не у кого, [...]часто без

хлеба, на одном картофеле, наступают холода, дров нет...” (Письма ... С. 58.)

Письмо в редакцию

[1] Письмо было направлено в редакцию рижской газеты ”Сегодня”, редактор М. С. Мильруд.

Открытое письмо Игоря Северянина редактору ”Последних известий”

[1] Газета ”Последние известия” выходила в Таллине с 1920 по 1926 г. Письмо было опубликовано 7 февраля 1925 г. Редактор газеты Ростислав Степанович Ляхницкий.

[2] О своем юбилее Северянин писал А. Д. Барановой: ”Юбилей прошел более чем тихо. Этот день я провел в Тойле [...]. Получил пять телеграмм и семь писем, в четырех газетах меня вспомнили немного. Вот и все”. (Письма... С. 52, письмо от 5 февраля 1925 г.)

Наглая небрежность

[1] ”За свободу!” — газета выходила в Варшаве с 1920 по1932 г.; в 1920 г. называлась ”Свобода”.

[2] Северянин написал исследование ”Теория версификации”, в котором обосновал десять изобретенных им стихотворных форм: ”дизель”, ”квинтина”, ”миньонет”, ”кэнзель” и др. Работа не была опубликована, хранится в РГАЛИ (ф. 1152, оп. 1, ед. хр. 12).

[3] Северянин имеет в виду сборник стихотворений ”Фея Eiole” (Берлин: О. Кирхнер и К°, 1922), в том же издательстве в 1922 г. был опубликован роман в стихах Северянина ”Падучая стремнина”.

Открытое письмо Казимиру Вежинскому

[1] Вежинский Казимир (1894—1969) — польский поэт.

[2] Северянин принял эстонское гражданство в 1921 г.

Е. Ю. Филькина

Содержание

Игорь Северянин

Тост безответный

На суперобложке —
репродукция с картины *С. Чехонина*
"Натюрморт" (1916)

Заведующий редакцией *А. В. Никольский*
Редактор *Н. В. Красникова*
Художественный редактор *Е. А. Андрусенко*
Технический редактор *Р. Я. Лаврентьева*

ЛР №010273 от 10.12.97.
Сдано в набор 26.01.97. Подписано в печать 20.01.99.
Формат 70 × 100 1/16. Бумага офсетная. Гарнитура "Таймс". Печать офсетная. Усл. печ. л. 44,20.
Уч.-изд. л. 67,30. Тираж 4000 экз. Заказ № 2444.

Электронный оригинал-макет подготовлен
в издательстве.

Российский государственный
информационно-издательский Центр "Республика"
Государственного комитета Российской Федерации
по печати.

Издательство "Республика".
125811, ГСП, Москва, А-47, Миусская пл., 7.
Полиграфическая фирма "Красный пролетарий".
103473, Москва, Краснопролетарская, 16.